И.М. Дьяконов

Книга воспоминаний

Дневники и воспоминания петербургских ученых

Рисунок А. Смирнова

И.М. Дьяконов

Книга воспоминаний

Фонд
регионального развития
Санкт-Петербурга

Европейский
Дом

Европейский
Университет
в Санкт-Петербурге

Санкт–Петербург
1995

«Книга воспоминаний» выдающегося российского востоковеда Игоря Михайловича Дьяконова открывает серию «Дневники и воспоминания петербургских ученых»

Редакционный совет серии:

Б.В. Анаьич
Л.К. Байбурин
К.И. Поздняков
Б.М. Фирсов
Л.А. Фурсенко

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Министерства науки и технической политики
Российской Федерации
и
Уральского коммерческого банка внешней торговли
(филиал в Санкт-Петербурге)

ISBN 5-85733-042-4

© И.М. Дьяконов, 1995
© «Европейский Дом», 1995
© «Европейский Университет в Санкт-Петербурге», 1995
© «Фонд регионального развития Санкт-Петербурга», 1995

Часть I

Детство и юность

Глава первая
(1915—1922)

Столько дней пришло с малолетства,
Что его вспоминаешь с трудом,
И стоит вдалеке мое детство,
Как с закрытыми ставнями дом.
В этом доме все живы-здоровы —
Те, которых давно уже нет.
И висячая лампа в столовой
Льет по-прежнему теплый свет.
В поздний час все домашние в сборе —
Братья, сестры, отец и мать.
И так жаль, что придется вскоре,
Распрощавшись, ложиться спать.

С.Я.Маршак

I

Первые впечатления — это смутные, не связанные между собой картины, и трудно сказать — если только не по хронологии, которую можно было потом вывести из рассказов взрослых, — какая из них самая первая.

Вот после долгого сидения в комнате я вышел в совершенно чужой и незнакомый сад при нашем белом доме. Сад завален снегом, ходить по нему трудно, он глубиной чуть ли не с мой рост; никакого удовольствия ходить нету; а из снега торчат грязно-белые статуи, тоже все в снегу. На мне пестрая меховая ушанка, я люблю ее, потому что она — зайчик; а пальто какое-то желтоватое, плюшевое. Со мной Миша — мой брат, он в синем пальто, отороченном серым барашком, и в барашковой шапке, вроде кубанки, с ним еще одна большая девочка. Им весело, а мне все кажется трудным и страшноватым.

Потом все пусто. Я сижу у окна и смотрю вниз — там видна железная дорога вдоль Волги, и по ней едет странный, какой-то шестиугольный вагончик. Мне говорят, что это вагончик начальника станции. И вот я сижу вечером на полу и строю из кубиков железнодорожную станцию. Из самых маленьких кубиков сделаны люди: Начальник станции, Помощник станции. Еруг Еругович, Фонарильщик и Воняльщик. У Воняльщика особое сооружение на длинных ножках, а в середине его дырка, заткнутая кубиком, — если его вынуть, пойдет вонь, все пассажиры убегут со станции, и можно будет чинить железную дорогу...

В комнате громадная елка, взрослые и дети — мои двоюродные сестры Надя и Нюра, — и Миша, — но они как бы плоские цветные тени вокруг меня самого. Мы ходим вокруг елки хороводом и поем:

Наш отец Викентий
Нам велел играть:
Что бы он ни делал,
Все нам повторять.

Потом папа присаживается на корточки и кукарекает или лает, и мы все лаем с ним вместе. Но проходить вокруг елки трудно: она стоит в углу. Вдруг кто-то ахает, и огромный дядя Толя — помню только ноги, лицо было уж

очень высоко — твердо кладет мне руку на голову. Оказывается я задел головой за свечку, и у меня загорелись волосы. Волосы у меня беленькие, и я — наверное с маминых слов — очень этим горжусь; у меня и усы есть, они еще белее волос, и поэтому их никому не видно, а они такие длинные, что я завязываю их на затылке. А глаза у меня карие.

Весной я у какого-то сарая разговариваю с Австрийцем. Он пленный и хочет уехать. Он колет дрова и с ним хорошо.

И еще какие-то сценки. Я решительно заперся на ключ в комнате прабабушки, и меня долго не могут оттуда вытащить. Вытаскивают через окно.

Потом я хожу по полутемной квартире и ко всем пристаю: у меня в руках растрепанная желтая книжка с синими разводами: она называется «Щелкунчик», и я прошу, чтобы мне почитали, но никто не хочет. У меня хорошенький коричневый костюмчик «комбинация» в темно-красную клеточку, и у моего медведя такой же: мы с ним одного роста. Но что-то стало скучно: взрослым не до меня.

Потом уже страшно. Я сижу на полу и играю в кубики, а у стола взрослые говорят, что убили царя Николая и всех его детей, даже маленького мальчика — Цесаревича. Почему-то он был Цесаревич, хотя его папа не Цесарь.

Мама, папа и Миша собираются уезжать. Они уезжают из Вольска на большом пароходе в Саратов. Мы стоим на пристани: громадная красивая тетя Женя и я: очень грязно и холодно. Много какого-то оборванного народа, шум; непонятно, жутковато, холодно и скучно.

Но я тоже попал в Саратов. Мы ехали на поезде. А Саратов — очень грязная, мокрая улица вдоль Волги и высокий серый забор. У забора стояли солдаты спиной к нам, в кружок; но они обернулись и окликнули тетю Женю; тетя Женя и Нюша — это моя няня — поскорей потянули меня вперед за руки, и мне стало очень страшно: я понял ясно, что, если не уйти быстро, то эти солдаты убьют меня, как мальчика Цесаревича.

Потом опять был поезд; моя Нюша ехала на верхней полке, а я с тетей Женей — на нижней. А с нами ехали два веселых офицера, и было очень весело и интересно. А в окне почему-то все вещи ехали назад. Потом поезд дернулся, и огромная Нюша полетела со страшной высоты — с верхней полки, и я очень ясно помню, что я видел, как у ней из глаз посыпались искры — это такие брызги. И я ее боялся.

Это все было раньше. А жизнь связная, день за днем, началась много позже — с того дня, когда я проснулся в светлый день на своей кроватке дома, в Петрограде, и увидел: папа что-то делает на столе, а Миша ему помогает. Я стал скорее вставать, а папа повесил в нашей комнате громаднейший план океанского парохода, на котором были нарисованы в разрезе каюты, машины, трапы, коридоры, две трубы, капитанский мостик и многое другое. Мне помнится, что папа сам нарисовал его, но, вероятно, я ошибаюсь — папа так чертить не умел.

Мы живем на Каменноостровском проспекте (он же — улица Красных Зорь), дом 63, квартира 25. Вход к нам со двора. У нас четыре комнаты — папин кабинет, где уютно и темновато, на кушетке черный ковер, вышитые

желтой, красной и белой ниткой черные мутаки и подушки. Есть подушка с попугаем, у которого можно вертеть глаз; ее сделала еще папина бабушка; но в кабинете я редко. Потом столовая — это неинтересно; потом детская; здесь у меня свое место — парта, а у Миши — стол. Но игрушек у меня нет — у Миши был дифтерит, его заперли в мамину спальню, и все игрушки спрятали в шкаф (в 1919 году не устроить было дезинфекции). Через год шкаф открыли, дали мне игрушки, и тут заболел дифтеритом я. Мама сожгла все игрушки на кухне. Жгла и плакала, мне их не было жалко, кроме огромной лошади. Но вместе с игрушками сожгли и мои книжки. Я очень жалел «Слоника Моку» и еще одну книжку, необыкновенную книжку про остров — государство детей: там все были дети — от царя до дворника; кому исполнялось десять лет, должен был уехать.

Часто в ночных мечтах я воображал себя на детском острове, придумывая все новые и новые подробности.

Мамина спальня — это очень хорошее место; можно забраться утром в мамину кровать, чтобы она рассказывала сказку про козу.

Но самое лучшее — это мамина кунья пелеринка; когда холодно, можно под нее забраться, и это значит, что мы — Миша и я — мамины птенчики.

Без игрушек скучно. Я вечно брожу по комнате и ною: «Ма-а-ма, я не знаю, что мне делать! Ма-а-ма, я не знаю, что мне делать!» Это кончается тем, что меня шлепают и запирают в ванную, и тогда приятно думать, как меня будут жалеть, когда я умру.

В комнатах сначала были какие-то шкафы, портьеры, но позже стало меньше вещей: каждый месяц приходила молочница и выбирала, что из вещей ей взять за молоко. А до того мама ходила в «Каплю молока» и сама приходила с молоком:

Ваша мама пришла,
Молочка принесла.

Это было очень хорошо, голос был такой мягкий и симпатичный, — почти как ночью, когда я ложился спать, и мама должна была прийти, приласкаться смуглой мягкой щекой к моей щеке и сказать: «Куры-муры, мои сынуры, спите, мои милые, хорошие». Кто придумал эти слова — неизвестно, но от них внутри делалось как-то тепло, и без них спать было никак невозможно. «Мама, иди куры-муры!» А если она была в хорошем настроении и никуда не торопилась, можно было ее попросить показать колечко и восьмерку папиросой. И потом — спать.

Но мама — это не главное. Главное — это Нюша и Миша. Мама всегда занята: то с Аликом (его недавно принесли из больницы, где он вылез из маминого живота; он был синий и весь покрыт волосками), то на рынке, то в «Капле молока». Нюша мне читает книжки, а потом вдруг я ей читаю, и все удивляются.

С Мишей еще интереснее. У него свитер, расчесанные на бок волосы, большие серые глаза, которые жалобно смотрят, когда его бранят. Разговаривать с ним очень интересно, потому что он все понимает. С ним мы играем в Троянскую войну: строим из кубиков Трою, и ее осаждают маленькие жестяные значки с нарисованными на них аэропланами, пушками и тому

подобными вещами. Если значок перевернется, значит, он убит. А если встретятся два важных значка — например, Ахиллес и Гектор, — то нужно устраивать единоборство: я — Гектор, а Миша — Ахиллес, и меня убивают; это не очень хорошо, и я говорю, что Гектор должен когда-нибудь проколоть Ахиллеса, но это Миша позволяет очень редко. Правда, иногда Миша делает нехорошие вещи: например, он дал мне есть уголь от самовара, и говорит, что это очень полезно, а другой раз крючком хотел вывернуть мне ноздрю, но я на него не сержусь. Потом Миша нарисовал большую карту придуманной страны Ахагии. Я эту карту хорошо знаю, знаю все города, реки и железные дороги, и на глобусе могу найти место Ахагии в Тихом океане — там, где синие линии течения заворачивают кольцом и стоит фабричная марка. Миша еще без меня написал много книг; у него псевдоним: Хуан де Крантогран, только его романы — «Охотники за леопардами», «Дон Порфадио де Рребан» и другие я читать не могу, потому что они написаны письменными буквами. Потом он написал интересную книгу про полет на Марс и про марсианина Гои-Бизаи-Навура; папа ее перепечатал на машинке. Это я прочел. Пишет он и стихи. Первые были сочинены в болезни, в дифтеритном бреду:

Это мне рассказывала стенка,
Когда отблеск лампы падал на нее,
Там блестели золотые буквы «Н.К.»,
Светом огненным покрыто было все.

Приятно жутко, таинственно и непонятно. И никто, даже сам Миша, не знает, что это были за буквы «Н.К.». Потом уже стихи серьезные:

Небосклон туманный смотрит тупо,
Утомленный город задремал.
Лампа стол мой освещает скупо,
Звезд не видно, месяц не вставал.
Иногда глаза автомобиля
Прорезают дремлющую мглу,
И она ворота отворила
И бежит, дорогу дав ему.
Всюду жуть безмолвия ночного...
Лишь гудок провоет на реке,
Прозвучит он словно стон больного
И замолкнет где-то вдалеке.

Конечно, я сразу запоминаю его стихи наизусть, твержу их, и они становятся для меня — как бы это сказать? — каким-то отсветом, ложащимся на всю нашу жизнь.

Со времени моего приезда Миша романов не пишет, — а стихи — редко. Теперь Миша пишет пьесы, читает мне их, рассказывает про театр. Кроме того, он сделал картонный театр с картонными же раскрашенными персонажами, которых Миша двигает с двух сторон на палочках, почти не видных из-за нижнего бордюра сцены — «рампы».

Сам я читаю «Крокодила» Чуковского и тоже пишу пьесу про слона Кёука, только не знаю, сколько в ней должно быть действий. Но это узнать не так трудно: нужно взять Шекспира, найти «Гамлета» и сосчитать, сколько там сцен. Гораздо труднее написать столько же сцен. Я пишу всю зиму, каждый день, со страшной скоростью, печатными буквами, глядящими то вправо, то влево и превращающимися как бы в особую малопонятную скоропись, и

кончаю только 25 апреля 1920 года. Прочесть мое писание может только Миша. Правда, папа тоже раз взял мою пьесу почитать маме; они с трудом прочли первые страницы и к моему недоумению и обиде смеялись до упаду, до слез. О чем там было написано, я расскажу отдельно.

Хотя старые были сожжены, у меня опять появились свои книжки — «Крокодил», «Конек-Горбунок» и еще что-то, но я стараюсь читать то же, что читает Миша. Только всего Шекспира мне не прочесть. Я спрашиваю у Миши, все ли он читал; оказывается, он не знает «Перикла», «Цимбелина» и еще несколько пьес. Тогда я достаю Шекспира и принимаюсь за «Перикла»: хотя я и не читал все то, что Миша, зато я читал то, чего он не знал. Впрочем, я не только читал «Перикла», сидя на столе, но тут же разыгрывал действие, двигая на палочках романтических персонажей, без спросу заимствованных из Мишиного кукольного театра.

Миша ходит в школу в «Г-класс». Я знаю, что это иначе называется — «2-й класс гимназии».[1] Знаю, что и мне когда-нибудь придется пойти в школу, и мне страшно: чтобы учиться в школе, нужна, как мне кажется, храбрость — ведь можно провалиться. Школьник подходит к столу учителя, и если он не знает урока — учитель нажимает кнопку, под ногами виновного открывается люк. Хорошо еще провалиться из второго класса, хотя и то можно поломать руки и ноги; а каково провалиться из 7-го класса? Ведь тогда летишь сквозь все этажи!

Но Миша этим не смущен. В школе, как видно, ему нравится. У него интересные товарищи, с которыми он играет в большом саду напротив — в крокет и еще во что-то: Лена Разумовская, Оля Розенштейн, Наташа Мочан, Костя Петухов, Воля Харитонов, Юра Долголенко, Шура Любарская, Люба Аплаксина, они и со мной играют тоже. Миша и его товарищи к детям не относятся — им по 12 лет и они почти то же самое, что взрослые, только с ними интереснее. А у меня всего один товарищ — Сережа Донов. Он старше меня на два года и очень умный: он спросил, знаю ли я, что такое вулкан, я не знал, и он объяснил, что это — огнедышащая гора, а я все равно не понял.

У Шекспира герои всегда влюбляются — и я тоже. Я влюблен в большую английскую девочку Виви Брэй. Она живет в первом этаже с улицы, и я долго жду, чтоб она вышла на свой большой каменный балкон, чтобы сказать ей «Хаудуюду».

И еще я слушаю, о чем говорят взрослые.

Часто говорят о большевиках. Это — страшное; они могут прийти с обыском и тут же расстрелять. Как это — не очень понятно. Ну и вообще это — за пределами жизни и событий жизни; это порядок, устройство жизни, как квартира, как наша улица, как второй номер трамвая, пробегающий мимо в Новую Деревню — один огонь красный, другой синий (иногда я встречаю на дальних прогулках и другие трамваи, но они не такие красивые, как наш «второй»). Я знаю, что есть какие-то белые, которые где-то воюют против

[1] Петербургские интеллигенты старались отдавать детей в гимназию не ранее 2-го — 3-го класса. (По-нынешнему это были бы 4-ый — 5-ый классы).

большевиков, но это тоже что-то страшное и плохое; над ними папа иногда подшучивает, а над большевиками никто не шутит.

В самом начале в Петрограде жизнь шла как-то иначе: меня катали в детской коляске далеко в Ботанический сад; но в коляске было неудобно; лучше было бегать с санками в глубочайших сугробах Пермской и Вологодской улиц, залезать с каменной завалинки в квадратные железные решетчатые вазоны для цветов, у рыжего, блестящего изразцами дома 61. Потом, когда родился Алик, жизнь установилась и потекла своим твердо определившимся порядком.

Теперь я гуляю редко — больше с мамой в очередь за селедкой, крупой и хлебом на угол Песочной. Это скучно. Можно развлекаться тем, что читаешь вывески — сначала «Булочная», потом «ПЕПО».[1] И еще интересно смотреть на металлических змей, которые вьются вокруг железной палки у дома не доходя реки Карповки. Иногда страшно: на углу Каменноостровского и Вологодской лежит большая дохлая лошадь с разодранным брюхом, и собаки вгрызаются в нее. Я долго потом не любил ходить за Вологодскую улицу. Или ходим с мамой — в «Каплю молока» — идти надо по Песочной, мимо деревянного высокого ящика, где заколочен, говорят, памятник Гроту, основателю дома слепых, через пустырь с деревьями, — где я делаю пи-пи на снегу и спрашиваю, хорошо ли будет расти дерево теперь, когда я его полил, — мимо странного, с куполом, полосатого монастыря Иоанна Кронштадского, в стоящий одиноко кирпичный дом. Дорога эта тоже страшная: то и дело встречаешь слепых. Я очень их боюсь. Жутко видеть слепых в серых шинелях, с пустыми глазами, неверными шагами движущихся по Песочной, постукивая железными клюками. Но я стараюсь в дальней дороге не думать о слепых. Я — поезд в Ахагии, идущий из Тюдора в Туспин. По дороге — станция Грот. Или просто я бегаю вокруг мамы и рассказываю ей последние события в Ахагии, и удивляюсь, что она отвечает невпопад или совсем не отвечает.

Потом о большевиках что-то меньше стало слышно, а кругом все жалуются на еду. Бывает, мама плачет, принеся домой хлебный паек, а бабушка Марья Ивановна (мамина мама), маленькая, сухонькая, только с одним зубом во рту, осторожно режет хлеб на крохотные кусочки. Этот хлеб называется «восьмушка». Я как раз в это время пишу драму про слона Кёука, и там тоже все герои едят обеды и говорят про еду.

И вообще (хотя я никому этого не говорю), семья Кёука — это наша семья: Кёук — это папа, его первая подруга и жена — это мама, вторая подруга (она не зверь, а человек, и зовут ее Гюир) — с двумя точками над «ю» — это тетя Надя Пуликовская, славная, с ямочками на улыбающемся лице, приятельница папы и мамы; слоненок К'кон — Миша, слоненок Гиль — я, а остальные слонята — это Алик. Жизнь слоновьего семейства действительно похожа на нашу: Они ездят на поезде, говорят о еде; в пьесе нарисована карта страны Ахагии, где они живут — есть также расписание железных

[1] «ПЕПО» — Петроградское Потребительское Общество. Покупатели должны были быть пайщиками — чего не знаю; за свои паи они ничего не получали, кроме прикрепления хлебных карточек. Бумажные «миллионы», выпускавшиеся неразрезанными листами, ничего не стоили, меняли ценность за одни сутки. «Паи» были отменены где-то к тридцатому году.

дорог, вроде того, что я люблю читать среди завалявшихся в детской папиных книг; есть список слоновьих «пьес и смешного», есть болезнь «лиловое поле», от которой лечат поливанием «гоира», и многое другое, все это вставлено в драму о Кёуке.

Когда Миша написал роман о полете на Марс и Венеру и об их жителях — марсианах и венузианцах, то Кёук со своим другом — гиппопотамом Шуоном, во второй части пьесы, полетел на Луну и встретил там лунозианцев; главный из них Шыипиин — не так хорошо, как Гои-Бизаи-Навур, но тоже неплохо. В одной сцене К'кон делает игрушечный театр, вроде того, который сделал Миша, чтобы показывать мне свои пьесы. (В Ахагии все — артисты: Миша — на главных ролях, а я на маленьких — в «Гамлете» я играю Фортинбраса. Хотя я и незнаменитый артист, у меня есть сценический псевдоним — Лампадкин). Конечно, это мы «как будто» играем на сцене. На самом деле мы только обсуждаем виденные в Носороговском театре пьесы, спорим о качествах ахагийских артистов. В роли Гамлета хорош Игорь Игоревич Морской, но Офелия плохо удалась Ольге Петровне Волковой. Может быть, ее лучше сыграет Мария Ивановна Дэлон? Вряд ли: у нее талант более драматический, чем лирический. Ахагия давно уже населена десятками фигур из нашего воображения.

Сам я в театре был два раза. Один раз — на балетах «Привал кавалерии» и «Конек-горбунок» — это было скучно. И однажды на «Севильском цирюльнике». Это было очень интересно, я все понял, или так мне показалось — и прекрасно запомнил Шаляпина — дон Базилио — в шляпе с длинными полями и в черном балахоне и с голосом, наполнявшем весь огромный зал. Мы сидели в бельэтаже, во второй ложе справа, и это я при случае с гордостью упоминал. (Билеты тогда продавались сразу на целую ложу, и все рассаживались как хотели).

Иногда я хожу гулять с Мишей на набережную Невки, где мы однажды у часовни, под снегом, нашли бронзовую собаку-сеттера (наверное, от чернильницы) — любимого Найденыша, и где летом мы топим камнями ржавые банки — флот Крака, шедший завоевывать Ахагию. Чаще хожу с Нюшей на Каменный остров сразу за мостом. По дороге на черном мраморном крыльце дома № 67 по нашему Каменноостровскому проспекту сидят матросы в тельняшках и широченных клешах — это они сделали революцию. Революция — это как все устроено в нашей жизни. Помню, меня уже после спросили в Норвегии, когда кончилась у нас революция, и я очень удивился вопросу: как революция может кончиться? У нас, в России — всегда революция, тем она и отличается от других стран.

А в доме 73/75 я, проходя на другой стороне, под серебристыми тополями, сыпавшими пуховые стерженьки на тротуар и деревянную торцовую мостовую, увидел страшное: какая-то женщина вышла на балкон и села на табуретку, облокотившись на балюстраду. Вдруг каменная балясина вывалилась и с грохотом упала с пятого этажа на землю — женщина едва удержалась. И Нюша сказала «Судьба».

Еще одно воспоминание с образом судьбы. Я бегу в комнату к маме с каким-то важным и радостным сообщением, заранее предчувствуя, как мама порадуется со мною. Я уже начинаю говорить, распахивая дверь, задаю

какой-то веселый вопрос — но комната пуста. У меня в груди похолодело, и сцена эта сразила меня. Вбежать в комнату с радостным известием, с вопросом — и обнаружить, что комната пуста. Этот образ потом всю жизнь то и дело всплывал передо мной.

Иногда выдастся хороший день, и тогда мы ходим далеко вглубь Островов с мамой или всей семьей. Когда кончается красивая набережная Каменного острова с мощеной плитами дорожкой и скамейками, — там, притулившись у завершающей ее решетки, на воде стоит странное здание в виде пристани футуристической архитектуры. Оно сделано из чайных ящиков и выкрашено в зеленый цвет. По нему интересно лазить, проскальзывая в его арочки, построенные на мой рост. К сожалению, за арочками, на стороне реки, сооружение все загажено.

Тут же поворот от набережной к аллеям. Здесь стоит большая деревянная арка, а за ней, посреди площади, памятник Труду — огромный, грубо сработанный гипсовый великан с большими ногами, молотом и маленькой головой. Вдоль всех аллей Каменного острова через каждые пятнадцать-двадцать шагов водружен столб, и на каждом — какие-то красные, синие, желтые квадраты, круги, треугольники, что-то вроде зеленой фиги — и все разные, и, по-моему, очень красивые, особенно когда кругом темная листва и темно-красные и желтые клены. Это, видимо, футуристы выносили «новое искусство» на площади и улицы. Картины на столбах просуществовали недолго, но Памятник Труду остался, и арка простояла лет семь-восемь.

А за высокой решеткой какого-то особняка из стены вылезала каменная голова лошади, и это тоже было очень интересно.

Гулять я ходил, кажется, мало, да и дома мной мало кто мог заниматься. И играть мне было не с кем: Сереже Донову не расскажешь про Ахагию и театр, и говорить с ним не о чем. Я был погружен в книги и воображаемый мир — сначала Кёука, а потом Ахагии. «Конек-Горбунок», «Лорд Фаунтлерой», «Крокодил», «Что такое театр» Евреинова, «Гамлет», «Синяя Птица», либретто оперы «Трубадур», сказки Киплинга, «Чудище» английской писательницы Несбитт, «С севера на юг» Н.Н.Каразина, о журавлях, стихи Лермонтова (они лучше Пушкина — «от них во рту пена»), «Живое слово» (очень хорошая хрестоматия по русской литературе для детей), гимназический учебник мифологии, где папой богиням пририсованы усы, — детских книг мало, взрослые неинтересны, — больше всего я читаю свои же пьесы, которые пекутся одна за другой.

Был у нас телефон — коричневая коробка, прибитая к стене, с металлическим микрофоном; трубка для слушания висела на вилке отдельно. Снизу две кнопки: «А» и «Б»; если нажать «А» «барышня» отвечала: «группа А» — и где-то из глубины слышалось непрерывное: «Группа А, группа А, группа А» ...На «группе А» были телефоны на 1... и 2..., на «группе Б» — на 4... и 5... Один раз папа в шутку сказал вместо «Алло» — «Гала Петер» и спросил, не хочу ли я послушать — говорит Чуковский. У телефона была вторая трубка, но она накануне упала и перестала работать. Мне стыдно было сказать, что я не слышал, и я пробормотал что-то утвердительное. Но такие неприятные воспоминания остаются редко: жить интересно.

Иногда на папе появляется кожаная куртка, когда надо идти дежурить с винтовкой под воротами и в Домкомбеде.[1]

А на утро смешные истории, как какие-то профессора выносили из бездействующих ватерклозетов ведра, беседуя о судьбах русской интеллигенции, как какой-то трусливый сосед тайно спрашивал папу, скоро ли конец большевикам, и папа серьезно говорил ему: «Очень скоро. Вот есть слух, что Бразилия выступила против большевиков, ожидают бразильские войска под Псковом». — «Слава Богу! Так вы думаете, скоро?» — И даже я понимаю, что это смешно.

Виви Брэй больше не появляется на своем балконе. Что с ней стало, я узнал через много лет. Ее родители, она и трое мальчиков младше ее — Реджи, Перси и Бэби — переправились в Финляндию на гребной лодке, избегая лучей прожекторов с миноносцев.

Но есть и страшное: это — мертвые. Например, однажды кто-то привез кур. Мама радуется, а я в ужасе: неужели мне придется есть мертвую курицу? Вот подают что-то на стол. Я со страхом спрашиваю: «Это курица?» Мне говорят: «Нет, свинья с двумя куриными головами», — и смеются. Я не знаю, верить или не верить, ем осторожно. Вот, все говорят, что есть нечего, а мне кажется, это хорошо, а то будет мясо. Лучше овсянка, которую папа привез из Вологодской губернии. Они ездили с отцом Сережи Донова и приехали веселые, в кожаных куртках, памятных по дежурствам в подворотнях, в валенках, небритые. Но Николай Поликарпович Донов был не так умен, как папа, — говорят, он вместо овсянки привез картошку, и у них все пухнут. Сережа и правда какой-то толстый и серый — некрасивый. А все-таки картошка — это тоже хорошо. Особенно шелуха.

Но о страшном. Есть страшная собака-бульдог во дворе, ее зовут Пепо, как кооператив. И есть страшные или стыдные слова, которые взрослые говорят, а мне их повторить невозможно ни за что в жизни — расстрел, стенка, жид. И в моих пьесах — хотя это трагедии — я никак не могу к концу уморить ни одного героя, и все они кончаются свадьбой. Теперь я все больше пишу про любовь.

Одна из самых любимых книг, читаемая и перечитываемая, декламируемая наизусть, — это «Сирано де Бержерак» Ростана. Я знал, что взрослые к ней относятся почему-то чуть-чуть пренебрежительно (эффектно, но...) — это не мешало тому, что мне она вошла в плоть и кровь; я понимаю любовь так, как Сирано, и я знаю, что на его месте я поступил бы так же, — раз она любила не меня, а Кристиана.

В моих пьесах есть шпаги и сражения, но военные игры кончились: Миша давно не играет в Троянскую войну, и я сам пытался один строить Трою. Только мама, увидев гордо показанные мной разбросанные по полу трупы жестяных значков, сказала, что у каждого убитого солдата есть мама, которая его ждет и плачет, и я никогда больше не играю в войну. И мне жалко лягушку, которую задавили мальчишки на Крестовском — я знаю, что ее напрасно будут ждать ее голодные лягушата.

---

[1] Домкомбед — Домашний комитет бедноты, предшественник ЖАКТа — Жилищно-арендного кооперативного товарищества, и ЖЭКа — Жилищно-эксплуатационной конторы.

Теперь мы — Миша, Воля Харитонов и я — играем в открытие полюса: закрыв глаза, медленно двигаем опрокинутые стулья-айсберги и давим изумительно сделанный игрушечный картонный пароход, похожий на пароходы компании «Кавказ и Меркурий», запомнившиеся с Вольска; сделала его, наверное, тетя Женя.

Иногда слышны орудийные залпы, и взрослые говорят то о какой-то Красной Горке, то о Кронштадте, но это не бразильские войска, и я не обращаю на это внимания. Хотя, кажется, в это время, — а может быть, годом раньше — не помню — несколько дней не было папы: его зачислили было в добровольно-обязательном полрядке в «Железный полк имени Зиновьева», откуда он вернулся, полный смешных шуток о невоинственности петербургских интеллигентов.

II

Двадцать первый год. Алику было два года. Он заболел тяжелой дизентерией. Каждый день ходит доктор Мочан и каждый раз, когда ему открывают дверь, он говорит взволнованно: «Ну, что?» Нина Гесселевич, папина приятельница из Госиздата, достала где-то вино — об этом говорят, как о самой удивительной вещи. И скоро меня отправляют жить к бабушке и тете Жене на Крестовский остров.

Я живу в деревянном домике напротив березовой рощи, в маленькой двухкомнатной квартирке с покосившимся крашеным полом, где все стены завешаны тети-Жениными рисунками и портретами. В этом доме хозяйничает большая, румяная, кареглазая, красивая, сильная тетя Женя с большим черным бантом в темных волосах; она рубит дрова на взморье и таскает на себе вязанки, плетет веревочные туфли, ходит пешком в город учиться, рисует, метет, говорит громко и определенно, мастерит что-то для меня, варит — когда бабушка хворает — пшенную кашу; бабушка тоже тут, но я ее плохо помню: она тихая, только, когда рассердится, откуда берется голос! А во дворе живут тихие старички: Петр Николаевич Столпянский с женой. Они были бы совсем не интересны, если бы не клетки со множеством пушистых и симпатичных кроликов.

Но ни новая обстановка, ни кролики, ни Миша, который тоже живет тут, и с которым мы составляем список артистов всех театров Ахагии, и я должен придумывать им фамилии — ничто это не спасает от тревоги.

Я понимаю, что Алик должен умереть. Я тихо хожу по бабушкиным двум комнатам и тихо твержу как-то прочитанные Мишей при мне стихи:

В голубой далекой спаленке
Твой ребенок опочил.
Тихо вышел карлик маленький
И часы остановил.
Стало тихо в дальней спаленке,
Тихий сумрак и покой,
Потому что карлик маленький
Держит маятник рукой.

И страшно. Главным образом — страшно стихов.

Много времени прошло, Алик выздоровел, я вернулся домой. Доктор Мочан говорил, что ставил за его выздоровление один против миллиона. Сначала

Алик лежал еще в кроватке и редко только спрашивал слабым, грустным и жалобно-просительным голосом: «Мама, рыбка готова?» И слушать этот голос нашего крошечного мальчика нельзя было без слез в сердце — и еще труднее, когда мама об этом рассказывала. Потом он ползал по полу, смешно надутый, с вьющимися после болезни кудрями — в болезнь он разучился ходить, почти заново учился говорить. Я не помню Алика до болезни: он появился для меня теперь и навсегда остался бедным, больным, маленьким братом, за которым приходила смерть.

Смерть приходила к нашему самому маленькому, самому беззащитному, над которым было пролито столько непонятных мне тогда маминых слез, когда он от тощей груди так скоро должен был перейти на тюрю из черного хлеба и на селедку; к братику, которым я так гордился, когда он сразу сумел говорить «р» — смерть подошла к нашему дому — и прошла мимо.

Но она была, смерть, и напоминала о себе. Я не спал за стеной, когда мама странным голосом читала в столовой письмо, извещавшее о том, что под арестом от тифа умер ее брат дядя Павлюня; я видел, как бабушка вспоминала и ждала без надежды своего любимого младшего — дядю Толю. Много лет одним из моих самых любимых мечтаний было воображать себе нашу случайную встречу: нечаянное узнавание Анатолия Павловича Емельянова и Игоря Михайловича Дьяконова, рассказы о том, где он и где мы были, и радость бабушки. Я помнил, как мама рассказывала сон: она стоит в саду вместе со своей подругой Варей и налетает вихрь — у Вари уносит всех ее детей, мужа, близких, всех, — а мама собирает своих «птенцов» под свои крылья и крепко обнимает их, пока не утихнет буря. Я слышал про то, как бывший папин гимназический товарищ в возбуждении каких-то ранних революционных событий вскочил на подножку автомобиля, выкрикивая лозунги: оказалось, в автомобиле везли кого-то на расстрел, и матросы «за компанию» расстреляли и его; я хорошо знаю, хотя стараюсь не думать, что значит «ставить к стенке».

Смерть ходила вокруг. Мы-то живем, и смерть тут совсем не причем. А все же когда-то, когда-то все умрут — не скоро — через двадцать-сорок лет, но и это страшно. Неужели когда-нибудь мама умрет — сначала мама — она старше. Как же папа будет без мамы? И все мы без нее? А потом и папа... Я лежу в своей кроватке и стараюсь их представить старыми, седыми, а потом и мертвыми. Неподвижность, нечаянно увидев которую, вдруг замрешь от безотчетного ужаса, сердце сожмется, голова кружится, и в засыпающем мозгу разворачивается и рвется белая бумага: никак нельзя ее расправить, она рвется, и черные дыры проглатывают ее неразвернувшуюся гладкость. Наверное — жар...

Не тогда ли была веселая корь, когда я играл в ягуара? И не тогда ли главное стало — мама, и ощущение птенчика под теплыми маминым крыльями куньей пелеринки, и ощущение, что без нее — жить нельзя? Грустная, положив голову на спинку стула, смотрела она молчаливо, как настоящая, с карточки над моей кроваткой. От нее было тепло, такое тепло, как бывает только в детстве; тепло, сразу, — как подумаешь теперь, — физическое и душевное. И все-таки иногда ее было жалко, когда смотрит на себя в зеркало, или когда она в непонятной мне печали.

Раз я поднял голову от книги, которую я читал, сидя за своей партой, и спросил: «Мама, что такое апельсин?» — и вдруг мама залилась непонятными слезами.

Часто она сидит молча и грустно. Грустно глядит она и на наших гостей и на милую молодую Нину Геселевич, хотя и говорит про нее, что она — «настоящий друг».

Нина Геселевич — это Госиздат. Это — папина служба, «Дом Зингера». Я там был один раз. Как мы ехали — не помню, но помню вертящиеся двери и маленькие застекленные комнаты-перегородки наверху. Папа приходит оттуда оживленный и полный интересных для меня рассказов, приносит книги, называет имена писателей. Он и сам пишет и печатает — я видел, как на серой взъерошенной бумаге в журнале «Печать и революция» напечатана папина статья с подписью «Триэмиа»: у папы, как и у меня, есть свой псевдоним: Триэмиа — это М, М, М, И, А — наши имена. Есть и еще один псевдоним — Пау-Амма. Это — краб из сказок Киплинга. Раз писатель Сологуб, с которым папа приятель по службе, приходил к нему в Госиздат жаловаться, что на его перевод написала грозную рецензию «какая-то жидовка Пау-Амма». Папа смеялся, а мне было немножко неудобно.

Папа дружит с самыми разными писателями, но над тем, что они пишут, большей частью посмеивается. Иногда он читает нам свои рецензии. Самая замечательная рецензия была на одного поэта — не то Кусикова, не то Шершеневича, — который написал такие стихи:

Отягченный заботой тяжкою
После с людьми по душам бесед, —
Сам себе напоминаю бумажку я,
Брошенную в клозет.

И «Пау-Амма» прибавляет одну только фразу: «Удалимся же от места гибели поэта».

Папа пишет шуточные стихи, но поэзию — даже не такую смешную — никак не может принять всерьез. Тем не менее, дома все больше тоненьких красивых книжек поэтов — и в некоторых напечатано: «экземпляр Михаила Алексеевича Дьяконова».

Алексей Николаевич Ремизов выдал ему голубую грамоту, написанную славянской вязью, на право ношения хвоста и членства в «Обезвелволпале» — «Обезьяньей Великой и Вольной Палате». Грамота написана от имени «Асыки, царя обезьянского» и скреплена: «Алексей Ремизовъ, канцеляристъ Обезьяньей Великой и Вольной Палаты» и «Алконостъ Алянскій, Волъисполкомъ и кавалеръ», а внизу написано: «Данъ в лесу, на левой тропе и подмазанъ собственнохвостно». Все это папа прочел нам, а грамоту вставил под стекло и повесил на стенку.

Асыка, царь обезьянский, потом жил в наших играх. А в квартире Ремизова, на стене, он, говорят, был намалеван в рост.

Все это узналось не сразу.

Живя у бабушки и тети Жени, я прочел сказки Ремизова. Я ничего не мог понять, только то, что это что-то очень противное, и это меня удивило, потому что я знал, что Алексей Николаевич Ремизов — папин друг. Я спрашивал, но объяснения были еще непонятнее сказок. Только через

тридцать лет я узнал, что «сказки» были вовсе не для детей: это была смесь, на мой взгляд, довольно гадкой мистики с некоторой долей скучной порнографии, хотя героем и был маленький мальчик.

По вечерам все эти годы — папа работает, переводит «Древнюю Ассирию», «Историю труда и трудящихся» и «Война... ради чего?», и потом «Джимми Хиггинса» — за него дали тогда мешок картошки. В квартире теперь стоит тьма. Работают все вокруг стола в столовой, на котором горит тонкий фитилек в остриc «коптилки» — масленки от швейной машины. Эту масленку мама вносит в комнату бережно, прикрывая рукой, и свет ее «прорезает дремлющую мглу». Миша учит уроки, мама шьет, я пишу пьесу. В квартире холодно, на руках — «цыпки», на мне надета какая-то тирольская куртка, но папа всегда шутит, блестя пенснэ, как в одной из маленьких книжек поэтов, которые папа приносит:

Михал Сергеич повернется
Ко мне из кресла цвета бискр,
Стекло пенснейное проснется,
Переплеснется блеском искр.

Только кресла никакого нету, и что такое «бискр» — неизвестно, но надо бы «Михал Алексеич».

Папа ни на кого не похож, но именно такой должен быть папа: худой, с черными-черными волосами, рыжими усиками, блестящим пенсне и со смешинкой в глазах и даже в кончике носа.

Художник Соломонов подарил ему странную картинку «экслибрис»: по мосту в бурю идет Пушкин, а под мостом Время с косой плывет по реке на развернутой книге. И на мосту написано: «Tout passe». Я знаю, что это значит: «все проходит», но почему все должно проходить — не знаю и не интересуюсь. Но папа говорит «Tout passe» — и мама ему улыбается.

И долго после того, как я ухожу спать, в столовой горит фитилек, и папа, склонив голову набок, быстро-быстро пишет своим скорым и непонятным почерком.

В папиных рассказах за обедом говорится о каком-то Ионове и о папиных начальниках-коммунистах.

Коммунисты — большевики. О них говорится со скептицизмом, с раздражением, со страхом, с уважением, с презрительной усмешкой — всяко. Часто говорят «Россия» и вздыхают, и опять — «к стенке», «расстрелы», — красные, белые, зеленые; белые, кажется, всего хуже. В разговоре с пушкинистом Николаем Осиповичем Лернером — он приходит седой, растрепанный, какой-то пыльный (с ним можно серьезно беседовать о драме и об Ахагии) — в разговоре с Николаем Осиповичем папа говорит, подсмеиваясь, о каких-то убежавших писателях и вспоминает про «Россию». Всего этого я как следует не помню — отрывки слов, разговоров. Но много лет спустя я нашел среди папиных книжек книжку Зинаиды Гиппиус с такими стишками:

Если человек подл — я его не вижу,
Если человек зверь — я его ненавижу,
Если человек хуже зверя — я его презираю,
Если кончена моя Россия — я умираю.

Мелким почерком Николая Осиповича зачеркнуто «умираю» и надписано «уезжаю».

В нашем доме появляются Елизавета Ананьевна Михайлова, урожденная Красикова, — двоюродная сестра моей бабушки Ольги Пантелеймоновны и родная сестра замнаркома юстиции П.А.Красикова (умерла она потом в Москве в коммуналке) и ее муж — Лев Михайлович Михайлов-Политикус с мохнатыми бровями и седыми кудрями. Какой-то разговор:

— Я не коммунист!

— Это не важно: нам нужны дельные и честные люди!

И вот, папа и Миша собираются уезжать за границу, в Норвегию, на год. Они идут сниматься на паспорт, Миша в брезентовой куртке, папа — в старом черном пальто. Скоро они уехали. Приходят письма. Мне Миша пишет письма серьезные и дружеские.

А дома все темнее и холоднее, чувствуется, что хочется есть. Все мы живем в одной комнате, жмемся друг к другу от холода, прячемся под кунью пелеринку. Но теперь бывают посылки — деревянные ящички, с волненьем распаковываемые мамой и Нюшей — то от «АРА», американской организации помощи голодающим, то от папы — шоколад, сгущенное молоко, мука «Нестле».

Один за другим появляются люди, о которых я никогда не слышал, или слышал, как о мертвых либо пропавших: так, как слышал о дяде Толе.

Первой, кажется, появилась двоюродная сестра Татьяна. Красивая, с бледным лицом, она разговаривала с нами — Гариком и Аликом — каким-то детским языком, и мне не нравилась; но она играла с Аликом в пуму (конечно, с Аликом, я — просто так, за компанию — у меня были дела поважнее), смотрела из дверей разыгрывавшиеся мной драматические сцены — например, последнюю сцену из «Каменного гостя» — только зря она смеялась, глядя на Алика, как он заплетающимся языком повторял слова Дон Гуана — и еще, чего доброго, сидя на горшке. Она рассказывала что-то об институте благородных девиц, где она училась, и как он был превращен в интернат, и туда поселили беспризорных мальчишек. Не все тут было понятно и все неинтересно. Курила без конца, кашляла, а днем спала до двух, а то и до четырех часов на диванчике в столовой. Не знаю, дежурила ли она по ночам, или еще что, но это помню.

Потом явился ее брат Борис. Высокий, длиннорукий, смущенно улыбаясь, он не без юмора рассказывал, как был мобилизован белыми, как перешел к красным, как спасался от погони по движущимся льдинам на Волге, как лежал в тифу, как его спас приехавший сейчас с ним товарищ — Володя Медведев. Бабушка, мама, тетя Женя слушали его, мало что говоря, но мне было без слов понятно, что Боря сделал правильно, а дядя Толя погиб, потому что ушел на фронт «узнать, в чем дело» и вступил в Белую армию.

Потом появились дедушка — папин папа Алексей Николаевич (Алик был назван в его честь — именно потому, что папа был уверен, что его не может быть в живых), бабушка — Ольга Пантелеймоновна и тетя Вера. Помню только дедушку в блестящих золотых очках, со вставшими дыбом волосиками на большой круглой голове. Они вежливо разговаривали со мной, но

разговаривали так, как я не привык: как с маленьким — и сказать им мне было нечего, потому что я чувствовал: что бы им ни рассказал, им будет неинтересно, в лучшем случае забавно (а это уже обида) — как и мне неинтересно (хотя нисколько не забавно) то, о чем они говорят. Они остались недовольны, говорили, что я смотрю букой. И я видел, что мама неприятно взволнована разговором с ними.

Если перейти площадку черной лестницы — там была дедушкина квартира, выходившая окнами и тяжелым каменным балконом на наш красивый проспект. Мы изредка бывали там в эти годы — в этой огромной, холодной, двенадцатикомнатной пустыне, где вся мебель была покрыта чехлами. Только черная лестница была у нас общая — наша квартира смотрела окнами на пустыри и радиомачты, а дедушкина была обращена лицом к Каменноостровскому.

Помню, в самом начале там обитали две горничные в темных платьях и белых передниках и наколках. Помню потому, что они приходили к папе и чего-то взволнованно от него добивались. Потом они исчезли, и пустые двенадцать комнат сияли теперь паркетом только в специальном альбоме видов квартиры, а на самом деле они где-то рядом с моей жизнью, но совсем за ее пределами, тускнели под пылью. Мы редко заходили в эти комнаты; как-то раз пришли в дедушкин огромнейший зал сниматься. Видимо, туда изредка наведывалась молочница, и это было причиной неприятного разговора бабушки Ольги Пантелеймоновны с мамой. Вернувшись, эту квартиру дедушка не получил, но получил другую, поменьше.

Мир, окружавший меня до сих пор — Каменноостровский от дома эмира Бухарского и страшного пустыря дома Гробова, где ютился «Столбняк», от Силина моста через пузырящуюся, мутную Карповку до Каменного и Крестовского островов, с очередями у ПЕПО, наша квартирка с ее раз и навсегда расположенными холодными комнатами, мама, папа, Миша, Алик, Нюша, бабушка, тетя Женя, Сережа Донов, матросы у подъезда дома 67 — все это было частью моей жизни, и чем-то, что существовало всегда, как смена дня и ночи, лета и зимы. Но этот привычный мир разрушался. Из него выбыли папа и Миша — хотя Миша не выбыл вовсе из жизни: я постоянно сообщал ему новости из Ахагии, он существовал в своих письмах, в его друге Юре Долголенко, который не забывал меня. Все же чего-то в жизни недоставало; за обедом стол был полупустой и непривычно неразговорчивый. Нюша где-то служила, и я видел ее редко.

Лежа больной, я диктовал маме драму «плаща и шпаги» — «Пидог и Эгесмей» из истории Миндосии (это такая страна рядом с Ахагией, на том же острове Гунт). Это была лучшая из шести драм, которые я успел написать, но не было Миши, чтобы прочитать ему. Начал роман, но не писалось. Написал лирическую поэму: «Жена, которая»:

I

Уже тогда желтела роща,
Валились листья с всех деревь,
Жила на свете сила-мощa —
Два льва и лев.

Он был не лев, но был силен,
Всегда он осень уважал
И также был умен.
Он раз однажды полежал,
С тех пор он стал лежать.
Но он не стал нюнить:
Жену он выбирал.

II

Она звалась Минервой,
Была она умна.
Была же она первой
Лишь потому: сильна,

и так далее строк сто. Но не с кем было обсудить, хорошо это или плохо.

И вот пришло известие, что папа останется в Норвегии дольше, чем он думал: во всяком случае, еще на год, — и мы должны к нему приехать. Новая, неизвестная жизнь должна была начаться — и я еще не знал, что с ней изменюсь и я; что Гарик из Норвегии будет вспоминать Гарика с Каменноостровского, как вспоминают старого знакомого, которого уже никогда больше не встретишь.

Прощай, страна дорогая,
Ты мне была мать, но злая
Судьба разделила
Тебя и меня.
Наша семья тебя любила
И уезжает, любя...

Я пишу своими скоропечатными буквами это, последнее, стихотворение и отдаю его Тане, которая, все-таки, больше других входит в интересы моей жизни.

Перед отъездом произошло событие, омрачившее радостное волнение этих дней.

В последней папиной посылке были подарки ко дню рождения для Алика и для меня (в январе мне исполнилось семь лет, а ему — три), — первые игрушки за эти годы: Алик получил желтого мишку, я — долговязую серую обезьяну. Мишке было дано имя — Михаил Иванович Самсоненко, а обезьянке — имя Маргарет Смит, вычитанное мной незадолго перед тем из какого-то американского мещанского романа. Было решено, что они поженятся, как только приедут в Норвегию.

Но дня за два перед отъездом мы сидели с Аликом перед открытой печкой; я перечитывал роман про Маргарет Смит — мастерицу из шляпного магазина, встретившую своего героя — голубоглазого джентльмена со стальными мускулами и кучей денег, — и изредка смотрел в волшебный мир огня, где громоздились светящиеся замки, и огоньки сражались с великанами-головнями. Алик возился с Самсоненко. И вдруг по непонятному движению души он быстро швырнул его в печку.

Я закричал ужасным голосом; кто-то прибежал и вытащил пылающего мишку из огня, но лицо его было сожжено и обуглено. В детстве еще можно чувствовать чужое горе, как свое собственное — сердце разрывалось от горя за безутешную обезьяну. Напрасно мне говорили, что Самсоненко положат

в больницу, что свадьба состоится — Маргарет Смит пришлось ехать на чужбину ни вдовой, ни женой, ни невестой, и она навсегда осталась печальной и никогда уже не могла по-настоящему радоваться, даже когда через год кое-как починенный мишка со стеклянными бусинками на шерстинках вместо черных пуговичных глаз и с лицом темно-бежевого плюша был доставлен в Норвегию, и верная Маргарет Смит, уже постаревшая и облезшая, с вылезавшей из рук и ног проволокой, но которой ее Самсоненко был мил и инвалидом, — вышла, наконец, за него замуж.

Но вот одним прекрасным днем за нами приходит скрипучий черный автомобильчик, входит незнакомый бородатый человек — он служит с папой — мы прощаемся — помню залитое слезами лицо Нюши, — присели перед тем, как выйти из комнаты, потом сбежали по знакомой лестнице с чистыми желтыми и красными квадратиками пола и светло-серыми ступенями — сели в автомобиль — и вот уже поезд — непонятный сон — утро, снег, заснеженные сосны за окном — дым.

Уезжаю в дальние страны.
Свои мысли собрать не могу.
Воздух чист, но дали туманны —
Искры гаснут на белом снегу...

Твержу эти Мишины стихи, хотя искр и не видно.

Как во сне промелькнул Гельсингфорс — помню только, что маме нужно было спросить нескольких человек, пока ей ответят по-русски, как найти магазин, где она на скорую руку покупала нам с Аликом одежду, помню неприятно вежливого продавца, по-русски всучавшего растерянной и не знающей цен маме совершенно ненужные вещи. Потом Або (русское название финского города Турку — по-шведски Обу), черный пароход с сеточными перилами и полосатой трубой.

Пароход долго идет по узкому каналу, прорубленному ледоколом в сплошном льду. Из белого пространства моря выступают мелкие каменные островки, и на них торчит где одна, где десять сосен. По льду, рядом с пароходом, бредут коровы, люди. Подождав, пока пройдет пароход, надвигают на прорубленный канал мостки и идут себе с острова на остров. Но дальше лед ломается, плавают уже только отдельные льдинки, и на сером море начинаются волны; пароход качает. Нам с Аликом становится сонно, мама отводит нас в каюту и укладывает на койку с брезентовым бортиком. И мы спим, а когда просыпаемся — смотрю в круглое окно-иллюминатор с бронзовыми болтами: пароход идет между близких берегов, по которым тянутся красивые разноцветные деревянные домики, сосновые рощи, — и вот уже большой, сияющий огнями Стокгольм. Снова поезд, и опять за окном — скалы, домики и сосны. Последняя таможенная проверка — вдруг в вагон на станции Конгсвингер входит папа в мохнатом серо-зеленом пальто. Они садятся с мамой на диванчик в купе, и мама не отводит от него радостных глаз, и они говорят, говорят.

Как мы добрались до Кристиании, а затем до гостиницы — не помню; но помню номер в мансарде гостиницы «Отель Бульвар», выросшего Мишу с длинными ногами в коротких штанишках, окна на слякотную улицу и серые безлистные деревья в черном сквере, за которым видна еще одна улица,

голубые трамвайчики вместо наших красных, на кровати — новые звери: на этот раз мне — медведь, пленивший меня веселой задорностью мордочки и шапочкой на одном ухе, — это Михаил Михайлович Самсоненко — двоюродный брат пострадавшего, хитрец, но верный защитник и покровитель Маргарет Смит, — а Алику — шимпанзе, которую он потом взял за себя замуж, и она стала носить громкое имя Милы Дьяконовой-Алик. Помню ночь в огромной кровати, и Миша, стоя около на коленях, учит меня считать до двадцати по-норвежски.

Помню тур в такси вокруг скверика — сду один в нанятой папой машине. Ясно помню первый обед в столовой «Бульвара», стеклянные двери, странный, непривычный вкус пищи, за соседним столиком оживленно беседовавшую семью хозяина, — и ощущение чуждой страны, которое было в том, что в этой оживленной речи не понятно ни одного слова.

Через несколько дней мы переехали за город, в Люсакер, — в низкий каменный домик, где наша квартира выходила в сад с темно-красными дорожками, а сад обрывался оврагом, по склонам которого я проложил ахагийскую горную железную дорогу все из того же Тюдора в Туспин, — а за оврагом была глухая серая деревянная ограда угольного склада и пристань с вечно двигавшимся подъемным краном, бревенчатый забор-мол, врезавшийся в воду, песчаный пляжик, старый лодочный сарай, около которого папа с мамой стреляли в цель из охотничьего ружья, — а позади всего этого было большое, окруженное голубыми горами море, полное яхт, моторных лодок и пароходов.

С другой стороны нашего дома был очень грязный двор с флигельком, где жил доктор Баккс[1] («доктор Бакке на собаке» — он ездил на мотоцикле), — и грязные сараи и нужники, — а за двором простиралось вдаль шоссе, которое укатывала невиданная мной машина — паровой каток. А за шоссе по насыпи проносились куда-то поезда, на которые мы глазели в окно, взбираясь на скамеечку — «эскабошку».

Все изменилось. Мне еще казалось первое время, что скоро я вернусь на Каменноостровский, и там опять будет продолжаться та же привычная жизнь — привычные комнаты и вещи, книги, изъеденный червяком черный Шекспир, парта, тополь перед домом, Невка, деревянный Каменноостровский мост, черные мутаки на мягком черном диване в папином кабинете, писание пьес для ахагийских театров — но тот Гарик исчез, а этот был уже не совсем он.

Хорошо, что я предал этот мир бумаге — и он, ведший тающее призрачное существование в моем мозгу, закрепился, стал опять живым. Может быть, красшком глаза в него заглянет мой сын или мои друзья. Более ли реален этот мир детства, чем Ахагия или слоновий остров Кёука? А я сам — да разве это я — тот тихий, вечно занятый мальчик в комстюмчике-комбинации, погруженный в книги и живущий в воображаемых странах? Я — в очках, сорокалетний, беззубый, издерганный кандидат наук... Но мне и сейчас втайне больно за погибшее счастье Маргарет Смит.

(1956)

---

1 Доктор Бакке в 40-х гг. участвовал в сопротивлении и был расстрелян немцами.

Глава вторая
(1922—1926)

О, Дезирада! Как мало мы обрадовались тебе, когда из моря поднялись твои склоны, покрытые манцениловыми лесами...

Л. Шадурн

I

О Норвегии моего детства нельзя рассказывать так, как она раскрылась мне, случайными и разорванными кусками: их становится слишком много, и среди них слишком мало отдельных картин — они сливаются вместе в целые полосы жизни.

И как рассказать о самой моей жизни? С тех пор, как из Люсакера мы переехали в город, я не помню, чем я жил — может быть, теснившими меня впечатлениями. Во всяком случае, мне кажется, что долго не было ни книг, ни Ахагии, — так долго, что о ней я успел забыть.

Был город, который постепенно становился знакомым, моим. Я расскажу, как он открывался нам с Мишей со стороны моря.

С трех сторон Осло (потом мы называли его, по-норвежски, Ушьлу, но тогда еще он был Кристиания) окружен темно-зелеными, шершавыми от еловых вершин горами. Слева — более низкие, голубоватые холмы Уллерна, и еще холмы — мы называли их «пантерой» — и правда, они похожи на гигантского лежащего зверя. Как задник, стоит гора Холменколлен. Над ее верхушкой видны три тоненьких усика радиоматч. Кое-где из темной зелени проглядывают крошечные крыши домов. Справа — отдельно — стоит гора Веттаколлен — она вся зеленая, потому что это — заповедник. Еще правее низкая, лысая и плоская гора Экеберг, обрывающаяся в море, и на обрыве — серое высокое здание морского училища, перед которым, если туда приехать на длинном, белом трамвае, лежит камень, покрытый письменами древних людей. Позже я прочитал сказку о том, что в горе Экеберг жили тролли; они иногда ходили вниз, в город, на базар Стурторвет — маленькую площадь, хотя она и называется «большой» (стур) — за высокой красной киркой Троицы с зеленой медной крышей. Эта площадь вся уставлена крытыми базарными рядами и корзинками овощниц и цветочниц. Иногда тролли на окрестных улицах прямо из магазинов похищали детей, подменяли их в колясочках своими уродцами; здесь же они нанимали сельских девушек в прислуги.

Одна такая девушка долго жила у хозяйки-троллихи в горе Экеберг. Однажды она проснулась от грохота над головой: это тролли, теснимые надвигающимся человеком, грузили на возы свои пожитки и уезжали дальше, на юг. Девушка отпросилась у хозяйки и вернулась домой.

У Миши на столе стоит лампа с троллем, вырезанным из соснового корня. Это — классический тролль: уродливый великан с длиннющим носом, в отороченной мехом куртке и в синих крестьянских штанах с кожаными заплатами на заду, с дырочкой для длинного тонкого хвоста с голубым бантом. Тролли различаются по чинам, а чины — по числу голов (три, шесть, девять) и по цвету банта на хвосте. Тролль занимает мое воображение. Перед сном,

лежа с закрытыми глазами, я разыгрываю сказки с троллями. О добрых гномах-домовых — «ниссах» — я много позже читал в книжках, и они были тогда уже неинтересны. В моих мечтах карлики жили только гриммовские — подземные кузнецы и короли.

Город от моря подымается в гору. В самом центре города — порт, разрезаемый на две части полуостровом, на плане похожим на Индию. С левой стороны на полуострове серая скала, и на ней старинная некрасивая крепость Акерсхюс; в ней серый дом с небольшим темным железным шпилем. С правой — такие же серые, высоченные хлебные элеваторы, низкие деревянные пакгаузы и так далее. Левая часть порта — Пипервикен — неинтересная, потому что сюда заходят только мелкие пароходики, ходящие по фьорду в соседние городки. Только когда происходит визит иностранного флота, Пипервикен наполняется серыми дредноутами и крейсерами. (Но они становились далеко от набережной, перед верфью на другой стороне залива, и их плохо было видно.) Все торговые и пассажирские пароходы причаливают в правой части порта — в Бьервикене, прямо к берегу.

Гораздо позже, после большой забастовки в 1926 году, порт был огорожен высокой решеткой забора, а в эти годы моего детства он был центром города, где мы с Мишей часами пропадали, медленно бродя от Западного вокзала в Пипервикене до Восточного вокзала в Бьервикене и обратно.

На самом мысу причаливали огромные, величавые океанские пароходы Норвежско-американской линии — серые, с двумя желтыми трубами, поперек которых узкие разноцветные полосы — цветов норвежского флага. Но интереснее были бесконечные «купцы» у пристаней Бьервикена. Миша узнавал и учил меня узнавать их по силуэту, по раскраске корпуса и труб, означавшей компанию, которой они принадлежали.

Некоторые были чистенькие, другие были покрыты ржавыми подтеками, тянувшимися от отверстий для пара в борту и вниз, обросли водорослями и ракушками. Желтые стрелы у подножья мачт и огромные решетчатые пристанские подъемные краны, раскрывавшие и сжимавшие черные челюсти ковшей, поднимали из их трюмов ящики и тюки с непонятными надписями; над палубой серых пароходов Фредрика Ульсена и черных, с белой полосой по борту, гигантов Вильгельма Вильгельмсена висели огромные связки зеленых бананов, по лотку ссыпались с борта потоки оранжевой сухой кукурузы. У больших пароходов было по два винта, и об этом предупреждались проходившие мимо лодки большой надписью белыми буквами по черной доске, на английском и испанском языках. TWIN SCREW! были едва ли не первые слова, выученные мной по-английски, и тогда же Миша мне объяснил, что по-испански восклицательный знак ставится перевернутым спереди слова и повторяется потом сзади. На натруженных морем боках пароходов были начерчены странные знаки Ллойд-регистра, обозначавшие предельный уровень ватерлинии в экваториальных, северных и пресных водах.

Люди в порту, одетые в сероватые робы, были заняты своим делом, а когда не были заняты делом, то стояли кучками и щелкали креветки, как у нас щелкают семечки. Шелухой креветок была покрыта мостовая не только в порту, эта шелуха уходила вглубь улиц, узких, самых старых, примыкавших к порту, и дальше, далеко в город. А между зелеными мохнатыми сваями

деревянных пристаней плавали живые креветки — еле видные, тихие, прозрачные, не похожие на тех розовых рачков, которые уже хрустели на зубах моряков и грузчиков. И весь воздух был проникнут опьяняющим запахом моря и водорослей. А за Бьервикеном, на фоне скал Экеберга, толпой молчаливо стояли разоруженные многомачтовые парусники, — отжившая свой век слава старого норвежского флота.

Впереди открывалось море. Оно не было широким, открытым взору и ветру простором, раскинутым до самого горизонта, — каким поразило меня много лет спустя, в Крыму. Серое море было замкнуто со всех сторон голубоватыми горами и холмами, по нему были разбросаны каменистые, лесистые островки, а то место, где вода, уже серо-голубая, доходила до горизонта, было не выходом из фьорда, а длинным тупиком, заливом Бюннефьур, там где-то в белой дачке, мне говорили, одиноко жил великий норвежский путешественник — Амундсен. Но простора мне не было нужно. Наоборот — хотелось перебираться с островка на островок: каждый был новым, необитаемым миром.

И в то же время единая, огромная, разнообразная, как глобус, земля была не книжной выдумкой, а действительностью, из которой к нам приходили пароходы. Перед отплытием на каждом из них поднимались на фок-мачте два флага: на рее — «BLUE PETER», синий флаг с белым четырехугольником, под клотиком — флаг страны, куда направляется пароход. Мы хорошо знали каждый флаг, знали и то, какой именно флаг поднимется через несколько дней на той или другой мачте; наверху фок-мачты серого океанского «Ставангерфьорда» появится полосатый, красно-белый с синим звездным уголком флаг Соединенных Штатов; на зеленых и черных пароходах каботажных линий поднимались красные, с переплетением белых, синих и красных полос в углу, флаги Англии, или красные с белым крестом флаги Дании; на пароходах Фредрика Ульсена и Вильгельма Вильгельмсена, всемирно известных извозчиках, — можно было увидеть и зеленый с ромбом и земным шаром флаг Бразилии, и полосатый флаг Голландии (но мы знали, что пароход идет в Голландскую Индию), и красно-бело-зеленый флаг Мексики, и бледно-голубые широкие полосы флага Аргентины. О далеких, разнообразных и увлекательных странах говорили и пучки бананов, и ракушки, прилипшие к днищу парохода, выступавшие над грязной водой по мере разгрузки, и большой, мохнатый кокосовый орех, качавшийся на волнах у пристани — то ли оброненный с парохода, то ли принесенный из Мексиканского залива водами Гольфстрема.

Земной шар не делился границами, и люди не делились по национальностям. Наш первый хозяин — толстый, самодовольный и заурядный человек — десять лет прожил в Америке; моя приятельница Эллинор выросла на Кубе, сам я пришел с берегов Невки и с Аптекарского острова в России. Норвежский язык быстро перестал быть чужим. Легко переходя с языка на язык, живя в мире, где нет преград между материком и материком, я не видел отличия в людях разных стран и так во всю жизнь не приучился чувствовать себя стесненно перед иностранцем. Я сам был иностранец, но иностранец в Норвегии — это не человек особой какой-то породы. Сами норвежцы во всем

мире одновременно и иностранцы и дома. Вот то, что я «большевик» — это дело другое. Это ощущалось временами очень ясно. Но об этом потом.

За портом лежал город. Сначала несколько коротких и узких улиц старой Кристиании, с двух-трехэтажными желтыми домами еще XVII века, затем, поперек них, улица Стуртингсгате, где находился наш «Отель Бульвар». Бульваром и цветниками она была отделена от главной улицы — Карл-Юхансгате. Слева кусты и газоны упирались в оранжевое здание Национального театра (перед которым, на круглых каменных пьедесталах, похожих на столбики темно-серых сыров, стояли Ибсен и Бьернсон), а справа бульвар замыкало серое, полукруглое здание Стуртинга (парламента), зажатое двумя прямоугольными флигелями. На одном из флигелей вечером загоралась самая интересная из световых реклам: два разноцветных марабу играли в футбол коробкой какао. По очереди загоравшиеся лампы совершенно ясно изображали коробку с нарисованным на ней марабу, перелетавшую от одного конца здания до другого, от марабу к марабу. Затем коробка потухала и выступали огромные огненные буквы Freya.

За Карл-Юхансгате, с ее ресторанами, магазинами, двором белого университета, город круче лез в гору. Странно и до конца непривычно было то, что здесь нигде не было «нормальной», плоской, широкой и прямой улицы; норвежцы так и говорили: «пошел вниз в магазин», или «вниз, в город», или «вверх, к фру Ульсен». «Упал на землю» по-норвежски было: «упал на горку».

Голубые и зеленые трамваи двух соперничающих компаний бегали по узким, мощеным серым диабазом, горбатым уличкам города не посередине, а вдоль одного из тротуаров. В центре города тротуары не блестели чистотой, — на них валялись сигаретные окурки, бумажки, огрызки кренделек, — зато каждое крыльцо мылось по субботам зеленым мылом. В западной части города у домов появлялись палисаднички; палисаднички все росли и поднимались все выше и постепенно забирались на склоны Холменколлена, превращались в сады, а дома уменьшались, превращаясь в особнячки и в белые и цветные, словно бы дачные домики — «виллы» (в них, впрочем, жили и зимой и летом). В середине города зеленел большой сад — «Королевский парк», внутрь которого врезалась покатая площадь перед дворцом — начало Карл-Юхансгате. Здесь стояла конная статуя короля Карла Иоганна Бернадотта и происходила смена караула гвардейцев в синих мундирах и огромных черных шляпах с пером. (В других местах города солдаты ходили в пилотках — невиданный нами тогда головной убор, «пирожок», как мы называли его, каким-то чудом державшийся на одном ухе). Солдат на улицах было мало — срок действительной службы в норвежской армии, не восвавшей со времен Карла XII, составлял шесть недель.

Над широкой и парадной Драмменсвейен, куда краем выходил «Королевский парк», стоял странный памятник математику Абелю — голый юноша гордо попирает какие-то уродливые, нагроможденные друг на друга фигуры, лежащие на вершине узкой вертикальной серой скалы. В городе стояло довольно много памятников, и они были удивительные и запоминались. Так, в крутом садике на Драмменсвейен против советского полпредства стоял трагический бронзовый оборванец — «гражданин города Калэ» Родена с гигантским ключом; где-то на тихой, искривленной, утонувшей в зелени

улице стоял памятник композитору Нурдроку с поразительной оградой из чугунных демонов, скованных цепью; в «Королевском парке» стояла мудрая старушка в сером бронзовом старинном платье, овеваемом незримым ветром — писательница Камилла Коллет.

За городом, на зеленом полуострове Бюгде, можно было наткнуться на старинную деревянную резную церковку, перенесенную сюда, как в музей; здесь же в специальном ангаре-музее стоял откопанный археологами корабль викингов, с загнутым носом и кормой и деревянными круглыми щитами, защищавшими когда-то гребцов. Позже, уже после моего времени, рядом с этим кораблем встали «Фрам» Нансена и плот «Кон-Тики». Тогда Нансен еще не был легендой. Мне однажды пришлось видеть его — высокого, седого, с насупленными бровями под мягкой шляпой странного фасона, в темном, застегнутом на все пуговицы костюме.

Но важнее всех новых впечатлений для глаз, которые приносила Кристиания, и замечательных людей, которых здесь можно было видеть — важнее всего этого была природа, с которой я впервые тогда и познакомился.

Город не был отделен от природы полосой невзрачных предместий. Он постепенно превращался в «загород». На краю того, что еще можно было назвать центром, уже тянулся сад Фрогнерпарк, постепенно переходивший в луга и перелески, пригорки, и, наконец, в леса.

Природа впервые вошла в мою жизнь в Люсакере, около того загородного дома на берегу залива, куда мы перебрались в 1922 году. Но это был не наш маленький сад, не овраг за ним, где мы строили из старых ящиков подводную лодку, не берег моря у деревянного мола угольной пристани, где мы пускали ахагийский океанский пароход «Вельбор», который мне построил Миша, — это был маленький еловый лесок в полукилометре от нашего дома, густо запыленный от проходившего рядом шоссе, но зато заросший пышной малиной по опушке, зеленой кислицей по тропинкам и густым кустарником повсюду. Он, на мой взгляд, мало чем отличался от джунглей, где жил Маугли со своими волками и обольстительной Багирой.

За этим леском — хотя мы попадали туда редко — начинались уже незапыленные сосновые рощи, поля и луга, — густая трава, лютики, кашка, мышиный горошек, — и все это было с трех сторон окружено морем, где у обрывистого скалистого берега водились крабы, ракушки и морские звезды. А если пойти в другую сторону — за железнодорожную насыпь над шоссе, куда окнами выходил наш дом, — то там был грохочущий желтый водопад, а затем начинались каменистые холмы, поросшие соснами. Длинными корявыми корнями эти сосны охватывали слоисто-рассыпчатые, свинцово-серые камни с белыми жилами, едва прикрытые, как всюду в Норвегии, тонким слоем дерна.

Гораздо позже я попал в настоящий лес — в заповеднике на горе Веттаколлен. Сколько мне ни приходилось потом путешествовать, я не могу забыть запаха хвойного леса и вкус чая с лимоном в термосе, радость от темной зелени и голубого неба надо мной, забыть серо-синего фьорда, причудливо опоясывавшего город, и бесчисленных темных островов среди светлого моря. Наша прислуга, фрекен Мелльбю, забравшая нас с Аликом в

воскресенье на Веттаколлен, не знала, что это будет одно из самых сильных в жизни впечатлений ее подопечного.

Нельзя описать Осло и его окрестности, не рассказав о его воскресеньях. Это здесь самые интересные дни. Все, кто может, с утра спешат за город. В летнее воскресенье по скалистым или покрытым черным шиферным гравием берегам фьорда и островов лежат стада купальщиков, а воды фьорда покрываются стаями яхт с огромными светлыми треугольниками парусов. Если видеть только крохотные белые корпуса этих яхт, трудно представить себе громадность паруса, который они могут нести. В России таких яхт нет, так как величина паруса и высота мачты зависят от величины киля, а для такого громадного киля нужны глубокие воды фьорда — в Неве такой яхте будет мелко. На ходу, совершая поворот, ложась на новый галс, яхта валится на бок, волоча свой огромный парус над самой водой — того и гляди зачерпнет им воду. Каждый понедельник, залезая в толстые газеты, я читаю о перевернувшихся яхтах и погибших яхтсменах, — но виной тому, по большей части, пьянство. В Норвегии того времени — сухой закон, но пьют все: пьют контрабандный виски, ввозимый в тросточках, флаконах для духов, термосах для чая; пьют «лечебный» коньяк, прописываемый предприимчивыми врачами; и вздыхают о старом норвежском «аквавите».

А у кого нет яхты, тот старается приобрести моторную лодку. Их много на причалах по берегам Ослофьорда — от самых скромных яликов с подвесным мотором до роскошных крейсерских яхт-катеров с салоном и каютами. Много и гребных шлюпок.

Фьорд мне стал знаком еще в Люсакере. Здесь мы катались на шлюпке. Папа и мама по очереди гребли. Вода фьорда тихая, и лишь время от времени мы попадали на волну, поднятую какой-нибудь проходящей, тарахтевшей — «кури-кури, кури-кури» — моторной лодкой, и маленький курчавый Алик кричал тогда: «Кури-кури! Боюсь кури-кури!» Вдали виднелись спешившие в порт и из порта пароходы («Маленький пароходишко па-ра-ва-чивает!» — говорил Алик), а по всей глади фьорда то катились, круто ложась на бок, то застывали от безветрия, трепеща парусами, десятки яхт.

Или можно было в воскресенье отправиться на гору, куда везли пузатые коричневые трамвайчики. На горе Холменколлен был деревянный ресторан, построенный под старинный норвежский хутор. Во дворе перед ним толстые, солидные норвежские коммерсанты и их служащие пили пиво со своими дамами. (Среди ния я однажды видел длинного рыжего усатого Гамсуна, в окружении каких-то неприятных особ женского пола). Отсюда открывался вид на город и фьорд с бесчисленными островами; здесь стоял телескоп — мечта и страданье моей жизни: днем через него за деньги показывали вид на фьорд, а зимней ночью, когда над горой и фьордом открывалось глубокое, черное, звездное небо, увы, он был покрыт чехлом, и мне так до старости и не довелось взглянуть на небо в телескоп.

Зимнее, морозное небо со звездами и полосой Млечного пути, ели в снегу, чистый воздух на горах — горный лес зимой! Нет, я рос маленьким русским интеллигентом, но городским ребенком я не должен себя считать. Мой детский мир был под звездным, а не под дымным городским небом. Зимой в воскресенье все жители Кристиании покидали город, спеша на Холменколлен. К коричневым бокам трамвая, нарочно для того увешанным ремнями,

привязывали сани, лыжи, палки, шесты, пока он не становился похожим на ежа. До отказа переполненный вагон вез на гору веселую толпу, одетую в пестрые лыжные костюмы или в защитного цвета «ветронепроницаемые» куртки, молодых и пожилых мужчин в синих вязаных шапочках, девушек и женщин в пушистых беретах с роскошными помпонами, в черно-белых варежках с вывязанными на них оленями.

С вершины в город вело две дороги, — «Штопор» и «Холменколленская». Они вились по склону горы между «виллами», а на крутых поворотах были построены наклонные деревянные заборы — виражи. Высыпавшая из трамвая толпа распадалась на группы людей, которые становились на лыжи, за спинку финских саней «спарьк», или садились по двое, по четверо на длинные, с плоской привязанной подушкой салазки «хьельке», управлявшиеся, как рулем, шестиметровым шестом, волочившимся из-под руки заднего седока. Все это вихрем неслось вниз по обеим дорогам; сани мчались по почти вертикальным, высоким виражам, развивая бешеную скорость; внизу все спешивались, образуя сплошной разноцветный поток — и снова шагали к трамваю, чтобы подняться на гору.

Еще одной достопримичательностью Осло был король. Самый высокий человек в Осло, похожий на ходячий газовый фонарь с перекладиной-усами, он чинно дефилировал по улицам в пиджаке и котелке, прогуливая королевиных левреток; знакомые ему кланялись, не знакомые лично — проходили мимо. Встречая короля, гордо проходил мимо и я.

В мое время у короля Хокона было всего две кареты (для торжественных случаев; из новеджцев он единственный еще ездил в карете) и один автомобиль. Из особых привилегий у него была, кажется, только одна — бесплатный проезд в трамвае (эта привилегия не распространялась на кронпринца). Но чаще он ходил пешком, а зимой нередко уходил за город бегать на лыжах. Родом датчанин, но теперь — первый из норвежцев, король давно превзошел лыжную науку. Как-то раз, гуляя зимой в Нурмаркском лесу, за Холменколленом, мы услышали с поперечной лыжни крик: «Хал-вэй! Хал-вэй!» («Дай лыжню! Дай лыжню!») Мы посторонились, и через тропку на полном ходу пролетели три лыжника. Это были король Хокон, кронпринц Улав и королева Мод. Больше никого не было во всем лесу.

Кронпринц был неплохим спортсменом — яхтсменом и лыжником — и регулярно принимал участие в соревнованиях, где, однако, имел мало успеха. Каждый последний понедельник февраля в Кристиании закрывались все магазины и конторы, и весь город двигался на Холменколлен, где над замерзшим озером происходило заключительное соревнование лыжного двоеборья — прыжки с трамплина, в котором участвовало шесть-семь сотен лучших лыжников Норвегии. Один за другим, темно-синие фигуры с белым номером на груди взмывали птицами над утоптанным лыжами склоном, — несравненный по красоте спорт! Среди прочих, с таким же номером на груди, выступал и кронпринц Улав. Норвежская публика не делала для него никаких исключений — за удачный и красивый прыжок он награждался аплодисментами, за плохой — мрачным молчанием или даже свистками. Еще в воздухе обычно было видно, что лыжи он держит «ножницами» и, стало быть, неизбежно падение. Поэтому аплодисменты доставались наследному принцу

редко, чаще свистки, и они, пожалуй, были более энергичными, чем при падении других неудачливых лыжников — каждому лестно посвистеть кронпринцу, тем более, что в деревянной трибуне-ложе, рядом с судейской, невозмутимо наблюдал за ходом соревнования и сам король. Кронпринц принимал эти знаки внимания с чисто спортивной выдержкой; впрочем, в парусных регатах ему везло больше.

С тех пор, как я мог наблюдать за поступками окружающих людей, — а люди эти были норвежцы, — я привык, что высокий чин никого не оглушает. Мне же, запросто общавшемуся в моих книгах с принцами и королями, иначе и не могла представляться жизнь. Король или портовый рабочий, инженер или прислуга — это были первые норвежцы, которых я повстречал в детстве, и я не видел, чтобы какое-то дело могло быть для них неуместным, — разве только для коммерсантов, вроде наших квартирных хозяев, которые действительно «задавались».

Много позже мне пришло в голову, что, пожалуй, норвежские полярные экспедиции кончались удачно там, где гибли английские и американские, именно потому, что в них не было разделения работ на матросские и офицерские, — за всякое дело брались совместно и капитан, и профессор, и матрос, и никто не брезговал ничем.

Это не чувство товарищества: в Норвегии каждый человек стоит сам по себе, и никто ему не поможет, как говорится в стихах Бьернсона:

Если сломаются подпорки
И закапризничают друзья, —
То это только
Потому, что ты прекрасно
Можешь ходить без костылей:
Каждый
Сам себе ближе всего.

Этому стишку меня научили очень скоро, хотя он мне тогда не много говорил. Неприятен он мне был, но — как всякая дидактика.

Да, здесь никто не считает никаких занятий ниже своего достоинства, — но это не чувство товарищества. Это — история Норвегии, которую мне пришлось потом учить, когда я стал готовиться в школу. В этой истории не было ни наследственных феодалов, ни крепостного права; и в ней всегда большое начальство было очень далеко, — в Дании или Швеции.

Но еще раньше, чем мне пришлось учиться ее истории, я постепенно учился языку, — или языкам Норвегии. Все норвежцы говорили по-разному. Пожилые люди Кристиании из старинных чиновьичьих семей говорили наполовину по-датски: «мыло» звучало в их речи торжественно — «сэбе», у нас, же учившихся у детей конторщиков, во втором только поколении живших в городе, «мыло», например, было уже просто «сепе», а книга была не «боген», а «букен». Водопроводчик, маляр или посыльный, заходившие в наш двор, — те говорили «сопе», «бука», и ломали гласный «ё» на-двое, произнося «лёк» («лук») как «лэук».

Каждый разговор начинался негладко, — пока приспособишься к говору собеседника, к непривычному женскому роду в речи недавнего крестьянина, к «доккор» («вы») бергенца вместо «дере» кристианийца. От норвежца к норвежцу было, пожалуй, не ближе — но и не дальше, — чем к человеку

другой страны, например — к папе, говорившему по-норвежски совсем уже беспардонно, или к тому американскому студенту, с которым мы познакомились немного позже.

Зато такая языковая среда учила меня, без моего ведома, филологии — автоматически учила сравнительному языкознанию.

Знакомство с норвежскими людьми началось для меня не сразу. Кроме моих сверстников, — которые были ребята как ребята, без всяких заметных национальных особенностей — первыми людьми, с которыми я столкнулся и невольно познакомился ближе, была прислуга.

Первая из них была фрекен Мелльбю. Это была прислуга, так сказать, аристократическая — не горничная и не кухарка, а экономка, «хюсхóлдешке». Мама тогда еще не знала норвежского, и ей нужен был кто-нибудь, понимающий по-немецки.

Фрекен Мелльбю служила в Швейцарии, отлично говорила по-немецки — лучше мамы, — и в ней чувствовалась немецкая выучка. Она ходила в белоснежном фартуке и крахмальной наколке и обращалась к маме только в третьем лице. Но с Мишей ее отношения были больше чем отношения прислуги к сыну хозяина. В начале двадцать второго года пятнадцатилетний Миша уже прилично говорил по-норвежски; у него были и какие-то норвежские знакомые, с которыми он катался по фьорду на парусной яхте «Вени». Фрекен Мелльбю читала с ним Ибсена в подлиннике, и они разыгрывали для нашей семьи сцены из «Пера Гюнта» — я помню сцену смерти Осе.

Нас с Аликом фрекен Мелльбю водила гулять, исподволь учила норвежскому языку, к которому я начал привыкать уже раньше, играя с мальчиками в саду в Люсакере, а потом в скверах Осло. Там Миша, увлекавшийся тогда легкоатлетическим спортом, устраивал соревнования по бегу между мной и моими товарищами — кареглазым, хорошо одетым Йоном и грубоватым «плебейским» мальчиком Кнютом. Скоро я болтал с фрекен Мелльбю на любые темы; помню, как я описывал ей Питер и рассказывал содержание «Евгения Онегина». После этого она достала где-то немецкий перевод «Онегина» в издании «Reclams Universum» и читала его.

Тогда же я стал читать — следом за Мишей — «Пера Гюнта». Милая Сульвейг еще в 1922 году стояла на Мишином столе в виде фарфоровой куколки, связанной с какими-то его лирическими воспоминаниями. О ней им были написаны стихи:

В один из дней суровых и печальных
Я шел один по улице глухой.
Мой слух, внимавший пенью духов дальних,
Едва ловил трамвая странный вой.
Я равнодушно шел — и вдруг нежданно
На что-то светлое мой взор упал:
В витрине между львом и обезьяной
Я маленькую куклу увидал:
На лыжах девочка бежит куда-то,
И взор ее надежды полн и сил —
Я вниз сошел по лесенке горбатой
И за три кроны куколку купил...
А разве знал торговец бородатый,
Что он мечту мою мне возвратил?

Мише тогда было пятнадцать лет, и в нем жила детская любовь к девочке, к Лене Разумовской, умершей немного лет спустя. Мечта его была мне неизвестна и непонятна, но девочка на лыжах действительно излучала свет и радость, и недаром эти Мишины «Осенние песни» кончались строками надежды, столько раз потом повторявшимися мною:

Снег хрустит под ногами,
Значит — настала зима,
Все бело, и над нами
Ласковей смотрят дома.
Осень уходит, и с нею
Злые уходят сны,
Утром — небо синеет,
Ночью — звезды видны.
Стали резвиться дети,
Старый кончается год.
Что-то нам двадцать третий,
Новый год принесет?

И год за годом с первым снегом приходили мне на память эти полудетские строчки:

Что-то нам двадцать пятый,
Новый год принесет?

Что-то нам тридцать первый... тридцать третий... тридцать пятый... тридцать девятый... сорок первый... сорок третий... сорок пятый, Новый год принесет?

А я знал, что и в мою жизнь обязательно забежит светлая девочка на лыжах.

«Пера Гюнта» я знал наизусть многими отрывками, но, конечно, понимать что-нибудь тогда толком не мог. Главное в нем тогда были звучные стихи:

Шьло́тт оверь шьло́тт сей бю́ггерь —
Хе́й! Фор эн шйнненне пу́тт!

По-видимому, у фрекен Мелльбю был тяжелый стародевический характер, и, может быть, она питала распространнную тогда среди норвежцев неприязнь к советским русским. Вскоре у нее начались нелады с мамой, и она ушла от нас.

С той же неприязнью к русским мои родители сталкивались, когда надо было устраиваться на жилье. На первое время нам нужна была квартира с мебелью. Такие квартиры сдавали ненадолго — на время отъезда хозяев, например. Жить в Люсакере было далеко: папе неудобно было ездить оттуда на службу. Так или иначе, мы скоро оттуда перебрались. Зиму мы проводили на другой квартире — в городе, на «Беззаботной улице» (Соргенфригате). Квартира эта была нам сдана с мебелью и даже с фокстерьером. Хозяева ее — маленький коммерсант Морт и его сухая и чопорная жена выехали за границу. Однажды хозяин приезжал ненадолго в Осло и навестил нас. Этот визит был мне памятен, так как Морт принес две конфетки — угостить детей, и Алик, не привыкший к такому скупердяйству, положил в рот обе.

Когда мы съехали оттуда, наступили затруднения. Квартиры были, но... не для русских. Папа пускался на хитрости, просил договариваться по телефону с хозяевами кого-либо из норвежских сотрудников торгпредства или полуфранцуженку мадам Боди — но все было напрасно. Когда уже обо

всем было договорено, неизменно происходил такой разговор:

— Вы иностранцы?

— Да.

— Простите, из какой страны?

— Из России.

— Из России!.. Ах, извините, тут пришел мой муж, он говорит, что уже обещал квартиру тете.

Русский был в Норвегии явление невиданное. Сколько раз где-нибудь в сквере, пораженные нашими темными глазами и волосами, норвежские мамаши спрашивали нас о нашей национальности, перебирая все возможные, вплоть до абиссинской. Но русские! Это был народ непредсказуем и полудикий, особенно советские русские — большевики. От них можно было всего ожидать. Помню, как папа консультировал норвежского режиссера, ставившего «Власть тьмы», причем оказалось, что старика, лежащего на печи, предполагалось посадить на круглую, узенькую норвежскую чугунную угольную печку, а для того, чтобы острый венец, который составлял ее верх, не впивался ему в сиденье, намеревались положить сверху гладильную доску. Зачем бы старику забираться в такую неудобную позицию? Но это не смущало режиссера: русская душа, чего она не выкинет!

Потом мы жили у симпатичной вдовы Симонсен. У нее был большой мальчик Вилли и долговязая молодая сестра Ранди. Эта семья прошла в моей жизни незамеченной, а в жизни моих родителей она на краткое время приобрела значение. Много лет спустя у нас дома как-то шутя стали составлять списки имен тех, в кого присутствующие были влюблены или с кем имели роман. Папа написал порядочный список разных Марий, Анн и Ольг, но одно место в списке было прочеркнуто. Мы подняли страшный шум и кричали, что это нечестно, но папа не соглашался назвать одно это имя. Наконец он сдался и написал: Ранди. Отождествить это имя было не трудно, и игра сразу потеряла смысл и очарование.

А в моей жизни больше имел значение огромный диван в комнате фру Симонсен, где строилась крепость из подушек, которую мы осаждали, кидаясь подушками же; и еще случай, когда Вилли, получив в подарок велосипед, выехал из нашей тихой Сковвейен на большую улицу и вскоре вернулся, неся в руках странный предмет вроде швейной машинки: это был его велосипед, на котором он попал между трамваем и грузовиком.

И помню еще: мама как-то пришла домой и сказала, что на полпредстве приспущен флаг: кто-то умер. Она подошла к телефону и позвонила к папе на службу. Ей сказали, что умер Ленин.

Ленин — мне было известно, кто это; я даже подумал — кто же будет вместо него? Но ни я, ни мама и никто не мог предвидеть, какое значение для жизни каждого из нас будет иметь эта смерть.

Здесь, на Сковвейен, я опять принялся было сочинять — Норвегия, видно, стала уже привычным фоном жизни, и в этой жизни мне хотелось жить по-привычному. Но теперь я сочинял не драмы, а какой-то приключенческий роман — «Пират из Картахены» — уж не знаю, под влиянием какого норвежского журнала. Мне не понравилось, как получалось, и я бросил.

Почему-то пираты и разбойники одно время занимали нас, кажется, больше всего.

Особенно знаменит был в наших играх разбойник Пишук, устроивший войну, и у нас хранится вырезанный из бумаги «скелет Жовэна», несчастного гражданина, который имел неосторожность проходить около войны и погиб. Алик без конца рисовал в это время в альбом разбойников и «пишуков», подписывая картинки диковинными именами — комбинациями из только что заученных им букв. Слово «пишукость» вошло в наш и во взрослый обиход и обозначает подлое, коварное, злобное действие.

Потом прибавились индейцы. Нам с Аликом папа подарил по полному наряду индейского вождя, и вот в нашей квартире на Сковвейен и в «Королевском парке» разыгрываются сражения благородного индейца Робина Перута с индейцами коварными и с разбойником Пишуком. Об индейцах мы имели тогда смутное представление — только по рассказам старших; романы Купера, Эмара и Ферри были прочтены позже.

А по вечерам, я помню, мы бросали в пылавшую печку большую жестяную банку из-под чая с запертыми в ней шахматными фигурами, — это было путешествие летательного снаряда на Солнце; потом делали зайчики на темной стене крышкой от банки — это были звезды и туманности, наблюдаемые астрономами. Значит, в то время мне была подарена норвежская книжка об астрономии, увлекшей меня на всю жизнь.

А как-то вечером Миша вдруг сел за стол и по памяти снова нарисовал карту забытой нами Ахагии и окрестных островов. Я быстро изучил ее, и несколько дней мы говорили об ахагийских городах и театрах; но вскоре Миша как-то незаметно уехал, а мою жизнь заполнили русские книги; папа выписывал их из издательства Гржебина в Германии, привозил из командировок, когда ездил в Петроград и Москву; книг становилось все больше и больше, и все больше я был занят чтением.

Здесь же, на Сковвейен, впервые мне пришлось самому ходить в магазин — за сигаретами «Акаба» для мамы; они продавались в соседнем доме, в маленькой лавочке с большой стеклянной вывеской: «Табачная торговля такого-то» (уж не помню имени). Такой-то (наверное, Ульсен) был толстый краснолицый человек со строгим и даже сердитым лицом, однако ласково говоривший со мной, несмотря на то, что я не мог пролепетать слова от смущения, а в первый раз даже потерял деньги. Лавочка его была аккуратная, сиявшая никелем и стеклом и полная приятного медово-табачного духа.

При выходе из этой лавочки я увидел как-то двух странных людей, с ног до головы одетых в кольца автомобильных шин; из шин были сделаны и куртка, и штаны, и шапка, под которой еле-еле виднелись глаза и кусок лба, покрытый тяжелыми каплями пота. Это была живая реклама шинной фирмы «Мишле», на фабричной марке которой изображался веселый человек, сделанный из шин. Артисты были, конечно, из безработных, но я тогда этого не знал.

Квартира фру Симонсен была тоже временной; вскоре снова начались поиски жилья. Наконец, с 1924 года мы обосновались прочно. Как это случилось, я узнал из разговора родителей года два спустя. Квартиру нам сдал рыбопромышленник Стеен-Нильсен, имевший постоянные дела с торгпредством и поэтому готовый посмотреть сквозь пальцы на наше

советское происхождение. С рыбопромышленниками нашему торгпредству больше всего приходилось иметь дела. Иной из них приходил и заявлял, что он-де коммунист, а потому мы у него должны покупать рыбу дороже. Коммунизм был тогда в моде. Самые странные люди считались коммунистами: одно время даже вся норвежская социал-демократия примкнула к Коминтерну. Эта была форма для того, чтобы эпатировать буржуазию и демонстрировать свое фрондерство. Однако такие «коммунисты» посылали своих детей к конфирмации и причастию и вообще старались не жечь мостов. Советские коммунисты — это было страшно, но свои, «домашние», норвежские коммунисты могли быть приняты в любом доме. Они были мостиком между нами и норвежским миром. В среде рыбопромышленников, сбывавших Советской России сельдь и треску, советскому русскому можно было найти квартиру.

С этой квартирой на улице Нобеля — Нубельсгате 31 — началась лучшая, самая интересная для меня пора моего детства.

Трехэтажный, оштукатуренный и крашеный в желтую краску каменный дом стоял на тихой, тенистой улице, на самой западной окраине города. Перед домом был двор, а между ним и улицей — сад с могучими кленами и липами, газонами и цветниками, отделенный от двора забором — железной, крашеной в белое сеткой. Посреди сада, как перед всяким норвежским домом, где есть хоть маленький палисадник, стояла высокая белая мачта, и на ней по воскресеньям, по семейным и национальным праздникам поднимался флаг. Утром выходила прислуга Стеен-Нильсенов и поднимала его, а на закате, по морскому обычаю, спускала. Сад этот был всегда на замке, разве только в воскресенье когда-нибудь по его дорожкам чинно продефилирует важная глупомордая фру Стеен-Нильсен с дочкой. Жильцы дома туда не допускались.

Дворик между садом и домом был чистый, посыпанный гравием. Здесь-то и резвилось целый день детское население дома.

По одну сторону деревянный штакетный забор отделял наш двор от сада богатого каменного особнячка, по другую сторону — такой же забор отделял его от сада полицейского участка, размещавшегося в дешевой серой деревянной «вилле» с белыми окнами. Впрочем, полиция в Норвегии — понятие, не вызывающее таких ассоциаций, как в России. Полицейский — это тот, кто укажет дорогу, кто охраняет нас от грабежа (воришек в Норвегии практически нет, но изредка бывает, что грабители забираются в квартиру); в полицию идут, если потеряют или найдут что-нибудь на улице. Так и я раз ходил в участок с найденным мною кошельком. Словом, полицейский — это вполне почтенная профессия. Уже позже, вернувшись в Советскую Россию, я думал: а разве у норвежских рабочих-забастовщиков не бывало каких-нибудь недоразумений с полицией? Но и эти недоразумения имели тогда еще самый патриархальный характер. Полицейский в черной форме и фуражке с султаном — не «лягавый» и не «фараон», а «пул'ти Идланн» или «пул'ти Ульсен» — мирный сосед. Норвежцы того времени никак не могли понять, как это в России сидение в тюрьме — свидетельство о порядочности человека. Для них главы советского государства были опозоренные люди, как всякий, кому пришлось отсидеть в полиции, а полицейские, напротив, — люди самые почтенные.

Через подворотню с нашего переднего двора можно было пройти на темный и вонючий задний двор, где у расставленных в ряд металлических помойных ящиков водилось несметное множество крыс и крысенят, — какое было огорчение, когда гадкие соседские ребята перебили их десятка два и выложили свои трофеи в ряд перед помойкой; сюда же выходила черная лестница с нужниками, где поверяли свои тайны друг дружке девочки; сюда раз в неделю приезжал золотарь — «ду́манн» со своей пахучей бочкой: канализации в столице Норвегии не было.

В первом этаже дома была наша квартира. В ней было три комнаты. Четвертая — спальня — имела отдельный ход и находилась через площадку. Комнаты были обставлены уже не взятой напрокат, а нашей собственной, купленной — очень скромной, впрочем, — мебелью. Здесь была белая детская с раздвижными кроватками, огражденными низкими перильцами — для меня и Алика; опираясь на перильца и подтягиваясь на руках, я иной раз читал здесь, положив книгу на пол и свисая вниз головой, когда мне надоедал мой загроможденный книгами и бумажками стол. По стенам комнаты стояли белый шкаф с глобусом и белый мраморный «сервант» — умывальник с тазом и кувшином. Дальше была столовая, со стенами, обитыми до половины деревом, крашеным в белую краску и образовывавшим кругом комнаты полку, уставленную книгами; у стены стоял матрац-диван, покрытый дешевым синим ковром, и синие стулья конского волоса; тут же стоял медный курительный столик на низких изогнутых черных ножках; на нем позже появился первый детекторный радиоприемник с кристаллом. Потом была Мишина комната с желтым фонарем, на котором были наклеены силуэты — мама сама его делала, как и все абажуры в доме; и многое другое было сделано ее руками. Здесь же стоял маленький Мишин письменный стол с лампой-троллем. В этих комнатах жило наше семейство — мама, папа, Миша, Алик и я, и гостившие у нас — то Мишин приятель, путешествующий американский студент Ральф Хьюстон, то мамин крестник Юра, то папин племянник Алеша, то бабушка Марья Ивановна. (Сотрудникам торгпредства разрешалось пригласить гостя из РСФСР раз в год). И здесь же постоянным членом нашего семейства стала фрекен Агнес.

Фрекен Агнес Нильсен была прислугой рангом пониже, чем Фрекен Мелльбю — не «хюсхолдешке», а «пикс» — «девушка». Это сказывалось и в том, что фрекен Мелльбю только детям иногда дозволялось называть по имени (а звали ее Ашьлэуг), Агнес же не называлась по фамилии. Это была веселая, полная фантазий и довольно невнимательная по хозяйству девушка, быстро выучившаяся объясняться по-русски (впрочем, к изучению русского языка она относилась серьезно, и в свободное время ходила вольнослушательницей в университет на лекции знаменитого слависта профессора Брока). Она была, что называется, из хорошей, даже дворянской семьи.

Дворянства в Норвегии, собственно, никогда не было — были немногие, осевшие в Норвегии во времена датского владычества дворянско-чиновничьи семьи, вроде Нансенов, Моргенстьерне и еще немногих. Дворянское сословие было и формально отменено в 1850 году, и только лица, родившиеся до этого года, имели право носить дворянские титулы и приставки. К одной из таких бывших дворянских семей принадлежала и Агнес, сообщившая нам, ребятам,

с гордостью, что ее полное имя — Агнес Уттилия Лампе Стеен-Нильсен.

В Норвегии женатый человек должен был быть в состоянии прокормить семью. Жена не должна работать: это был бы позор для мужа, да ее и не возьмут почти ни на какую работу. На государственной службе замужним вообще запрещается работать, поэтому, например, школьные учительницы — все «барышни», и ученики так и обращаются к ним — «фрекен». Зато в семьях служащих и таких, которые мы назвали бы семьями интеллигенции (впрочем, у каждого профессора, инженера или адвоката найдется брат-фермер или конторщик), — незамужние девушки непременно должны работать. И они обычно идут в прислуги или в продавщицы и, не смущаясь, выносят горшки или терпят надоедливость покупателей, — есть неписанный закон: клиент всегда прав.

Пока был жив отец Агнес, он тащил на себе семью. Но он рано умер, оставив пятерых детей — двух мальчиков, один из которых был инвалидом (он в детстве упал с дерева и повредил себе позвоночник), и трех девочек. Фру Нильсен, мать, осталась, конечно, дома, а детям пришлось зарабатывать. Едва подросши, девушки оставили родной Берген, от жизни в котором сохранили потом только забавное грассирование. (Агнес уже перестала говорить по-бергенски, хотя и гордилась тем, что она «бергéнсерске»). Рут нанялась в прислуги в Стокгольме, Агнес — в Копенгагене, Хелена — в Осло. Задачей было, конечно, выйти замуж; обе старшие быстро завели себе «форлóведе» — жениха: Рут — шведского барона без денег, Агнес — датского лейтенанта. Но с лейтенантом дело не вышло: за томительное время жениховства (оно длилось в Скандинавии по пять-десять лет, пока жених «выбьется в люди» и сможет содержать семью и квартиру) они с Агнес успели поссориться. По ее словам, сначала он на нее обиделся потому, что раз, надевая шинель, спросил ее, хорошо ли она сидит, и Агнес ответила, что хорошо, а оказалось, хлястик попал ниже пуговиц, а потому жених — на гауптвахту; другой раз он повел ее в ресторан и угостил черной икрой, а она, попробовав, сказала: «Фу, какая гадость!» Икра же стоила 150 крон килограмм, и угощение пробило тяжелую брешь в лейтенантском жалованье. Лейтенант решил, что Агнес не ценит делаемых им материальных затрат. Копейка в Скандинавии — великое дело. Детям с самого раннего возраста дарятся копилки в виде свинки, домика или какой-нибудь подобной штуковины, и слово «спарс» — «экономить» — входит в лексикон очень рано. Экономят на подарок к рождеству, на какую-нибудь игрушку, на приданое. Подарки на рождество — это «полезные подарки»: воскресное платьице, матросский костюмчик, туфли — а уж если игрушка, то наверняка ее запрут в шкаф и будут выдавать только в дни рождения и большие праздники — не дай бог, дитя попортит!

Но неудача матримониальных планов нисколько не повлияла на добрый характер Агнес. Она была всегда весела, непочтительно шутила с папой, рассказывала нам на сон грядущий бесконечную историю приключений своего бергенского кота Трюльса, — приключений, перед которыми бледнел роман гофмановского кота Мурра, осваивала русские блюда (довольно успешно, если не считать печального провала изобретенного ею пирога с цветной капустой) и, несмотря на свое легкомыслие в области хозяйства, пользовалась

у нас в семье большой популярностью. Не разделяла любви к Агнес только гостившая у нас бабушка Марья Ивановна, которая считала ее фамильярной и сердилась на то, что за столом, за которым сидела и Агнес, разговор то и дело невольно переходил на норвежский язык.

Странно было, что Агнес боялась привидений и не любила спускаться за углем для печки в наш довольно светлый, чистый бетонированный подвал, особенно если она накануне непочтительно поминала своего покойного отца.

На том же первом этаже, где жили мы, по другую сторону площадки, в крохотной квартирке из двух комнат проживало семейство Йонс. Папаша был какой-то «диспонент» в коммерческом предприятии. Как все демократы, норвежцы были большие любители титулов. На медных дверных дощечках, на визитных карточках, в деловом обиходе — перед фамилией всегда какой-нибудь титул. Норвежец не любил, когда его называли по фамилии — вежливый человек называет его в третьем лице: «герр диспонент», «герр консул» — хотя бы «герр водопроводчик».[1]

Особенно много консулов в приморских городах. По-видимому — хотя это мой позднейший домысел, — дело объясняется тем, что, плавая по всем странам мира, норвежцы нуждаются в консулах даже в какой-нибудь Коста-Рике. Но консульство — дело взаимности; поэтому все южно-американские республики, не говоря о более серьезных государствах, тоже назначают консулов чуть ли не в каждом норвежском приморском местечке. Конечно, из Коста-Рики не присылают человека сидеть где-то в Саннефьюрс или Хэугесюнне — должность консула поручается одному из местных норвежских коммерсантов. Должность эта, разумеется, почетная: ни платы, ни особых обязанностей с ней не связано. Но зато на медной дощечке на дверях квартиры появляется гордая надпись: «Консул И.У.Ульсен».

Еще более загадочный титул — «диспонент». Вероятно, это что-то вроде столоначальника, но только в частной конторе. «Диспоненту» не положено ходить в кепке или даже в шляпе: он ходит только в котелке и полон важности. Соседи были до крайности шокированы тем, что папа, — а он уже даже не «герр диспонент», а прямо «герр директёр», — ходит в кепке, да еще, того и гляди, высунувшись в одной рубашке из окошка, кричит на двор, зовя маминого крестника: «Юра! Кушать!», что по-норвежски, к нашему ликованию, значит «вымя! коровье дерьмо!». И уж, конечно, никому из норвежских «диспонентов» и «директёров» не могло притти в голову, проснувшись в благодушном настроении поздно в воскресенье, разыгрывать папуасского вождя, разъезжая по квартире в чем мать родила, сидя в бельевой корзине и отпихиваясь метлой.

Господин Йонс, как я уже говорил, был «диспонент» и потому ходил с чрезвычайной важностью, еле отвечая на поклоны и, конечно же, в котелке. Фру Йонс была ему подстать — впрочем, мы видели ее только тогда, когда она, как бомба, вылетала во двор, ругая нас за то, что мы, якобы, обижаем ее детище.

Дочка Йонсов — Ингер Юханне Йонс, как она гордо величала себя, или «Биттеба», была избалованная, растрепанная, драчливая рыжая девчонка в

[1] Посетив Норвегию в 1970 году, мы с женой с удивлением обнаружили, что многое изменилось, даже местоимение «Вы» вышло из употребления, «ты» теперь говорят и профессору и министру.

неизменном комбинезоне, ровесница Алика, с которым одним более или менее и ладила. В основном же ее функция была — портить игру всем остальным.

На втором этаже, над Йонсами, жило семейство знаменитого футболиста Гюннара Андерсена. Он тоже служил где-то в конторе, но не задавался, и иной раз на дворе лихо показывал футбольный прием, которым можно сбить шляпу с соседа. Его жена, красивая, но несколько увядшая фру Андерсен, давала дочкам — курносой и злой десятилетней Ингер и тихой шестилетней Берит, по прозвищу «ангелок», — строгое религиозное воспитание. Помню, как-то в воскресенье мы сидели во дворе и болтали. Ингер шила платье для куклы. Вдруг Ингер испускает не то стон, не то вопль. В чем дело? Сегодня воскресенье, а она работает! Какой грех! Мне это показалось смешно: шить кукольное платье — не работа, а игра! Но высказанное мною мнение только испортило мою репутацию у фру Андерсен, хотя другие ребята меня поддержали. Как-то девочки обсуждали между собой существенный вопрос, откуда берутся дети? Теория аиста была отброшена единогласно, так же как и учение о том, что детей находят под лопухом. Герд Стриндберг, самая умненькая, авторитетно объяснила, что детей покупают у акушерок (почему акушерка и называется «юрмур» — «земная мать»), а акушерки получают их прямо от Господа Бога. Она даже назвала сумму, которая была уплачена за ее сестер. Послушав эту дискуссию, я сказал, что это чепуха, и что дети вылезают из маминого живота; что я это хорошо знаю, потому что, когда должен был родиться Алик, мама давала мне пощупать, как он пинается ногами в животе. Ингер, которая была великой ябедой, немедленно известила свою мамашу, и на другой день моя мама получила от фру Андерсен вербальную ноту протеста, а Ингер и Берит было запрещено играть с этим развращенным мальчишкой, то есть со мной.

Напротив Андерсенов на втором этаже жили наши главные друзья Стриндберги. Мои родители дружили с самим Стриндбергом и его женой, а я с их детьми.

Инженер Стриндберг — худой, болезненный преподаватель военного училища — сам по себе был человеком глубоко гражданским. Подобно почти всем норвежским инженерам, он учился в Германии, хорошо говорил по-немецки и по-английски, много читал, был большим любителем музыки — особенно Чайковского, мог быть интересным, хотя и суховатым собеседником. Предрассудков насчет советской России у него не было, и он даже догадывался, что обычное в Норвегии представление, согласно которому русские — это жгучие брюнеты, которые вечно пьют чай, едят сырую рыбу и ссорятся по политическим вопросам, не совсем соответствует действительности. Но объяснить ему характер нашей революции или даже просто, что такое голод — было трудно. Он и его жена задавали вопросы вроде Марии-Антуанетты: если не было мяса, почему же вы не ели рыбу?

Фру Стриндберг была немного замученная, добродушная, толстая домашняя хозяйка, ничем особенно не замечательная. Но соседи и дети любили ее больше, чем мужа. Ее дочка Герд, моя приятельница, находила ее красивой, и обижалась, если ее мать считали толстой. «Это же только титьки!» — говорила она. И, действительно, эта часть организма занимала у фру Стриндберг почетное место, как и полагалось матери пятерых детей.

Старшая дочка, Кари, обещала стать порядочной коровой. Она уже

готовилась к конфирмации и с нами почти никогда не играла. Следующим был мальчик Бьёрн, на год или два старше меня. Он вечно пропадал где-то с мальчишками в переулках, а меня презирал и называл «ентегютт» — «девчонский мальчишка». (Я в самом деле был похож на девочку — мама хотела видеть во мне дочку, и я носил челку и длинные волосы в кружок). Впрочем, я платил Бьёрну взаимностью. Он был хулиганистый парень и отбил у меня желание играть с мальчишками.

В нашу компанию входили младшие Стриндберги — хорошенькая Герд, младше меня на год, востроносая, разумная Хишти (или Эва-Хирстен), ровесница Алика, обещавшая стать совсем красавицей, и в виде неизбежного довеска, — маленькая Бюлле (или Эллен-Сигрюн), вылитая мама, — двух лет.

Весь третий этаж дома занимал сам Стеен-Нильсен с семьей. Во дворе играла с нами его дочка Эва — рыжая гладенькая дурочка и недотепа в зеленом платье; при ней состоял ее двухлетний брат Арве. Бюлле мы принимали в игры, но Арве — никогда: он был рева, а за его рев доставалось от хозяев, и вообще интересы его были самые низменные: любимое его занятие было ловить и есть дождевых червей, запивая водой из лужи, к восхищению его няньки-сестры.

На нашем горизонте появлялись иногда две славные девочки-близнячки, подруги Кари по классу, и мальчик Рейнерт, приятель Герд, сын «пул'ти Идланна» из соседнего полицейского участка. Так, волею судеб, моя компания — Герд и Ингер и иногда Рейнерт из моих ровесников, Биттеба, Хишти, Берит и Эва из ровесников Алика — состояла почти исключительно из девочек. Единственный мальчик — Рейнерт — был тоже «ентегютт», вроде меня, так что в детстве мне не пришлось играть в мальчишеской компании. Наверное, это сказалось на моем характере.

День начинался так: с утра старшие дети — Кари, Бьёрн, Герд и Ингер — уходили в школу. На дворе играли только Алик с малышами. Это время было мое. В школу я не ходил: считалось, что я недостаточно знаю норвежский язык, а советская колония была маленькая, и русской школы не было. Я читал подряд все книги, которые были у папы, а их было довольно много: я уже говорил — кое-что привез папа, когда ездил в командировку в Петроград, были куплены русские классики в эмигрантских изданиях; и были мои собственные книжки по-норвежски и по-датски — из них я помню «Гулливера» и «Графа Монте-Кристо». Пьес я больше теперь не писал, но Ахагия продолжала занимать меня. Главное в Ахагии теперь был спорт. Причиной тому опять был Миша.

В двадцать третьем году Миша был отправлен в Петроград — кончать школу. Он жил у бабушки и тети Жени на Крестовском острове, ел пшенную кашу (денег в доме у нас всегда было мало: нужно было еще посылать старикам Дьяконовым и бездельнику папиному брату — Сергею, к тому же, сидя в Норвегии, мои родители довольно туманно представляли себе экономическое положение в нэповской России), писал стихи, участвовал в легкоатлетических соревнованиях, влюблялся, дружил и кончал школу. И через год он снова появился у нас. Мы встречали его в Пипервикене — он сошел с белого каботажного парохода выросший, незнакомый. Все те же

большие серые глаза, но вытянулось лицо, нос и подбородок стали длиннее. Но Миша — это был Миша; в тот же день, кажется, я привык к нему такому, каким он стал, а он сейчас же включился в мою жизнь.

Ахагия приобрела новое существование. Теперь устраивались бесконечные первенства по легкой атлетике Ахагии и окрестных, столь же воображаемых стран, — то на бумаге, где по круговой, разделенной на 40 клеток дорожке «стадиона» передвигались фигурки, сообразно очкам, выпавшим на косточке, — то на дворе, где мы прыгали через веревочку или в длину; тут же участвовали не только мы с Аликом, но и девочки. Только, скажем, Ингер Андерсен, прыгая через веревочку, не знала, что она известный ахагийский легкоатлет Альботов, хороший прыгун, но не идущий ни в какое сравнение с легкоатлетом-универсалом, рекордсменом Хониным, которого обычно играл я. Это легко было скрыть от нее — мы что-то записывали в блокнот, что-то обсуждали, но по-русски, и девочек это не интересовало. А у нас была выработана сложная система перевода очков, выпавших на кости, и результатов наших детских прыжков, в настоящие «взрослые» результаты. Например, трижды выпавшие «6» при дистанции 100 метров (десять клеток на нашем бумажном стадионе) — означало результат 10,6; прыжок в высоту на 90 см означал 190 см в Ахагии.

Или мы выходили с Мишей на двор и начинали гонять клюшкой мячик. Это тоже было не просто так. Это была национальная миндосская игра «миндэн». В каждой команде было по три игрока — вратарь, защитник и нападающий. Не нужно говорить, что все три игрока были: в одной команде — Миша, в другой — я. Но мы все время говорили — «Хирол передает мяч Лего», «Лего бьет по воротам» — и все шесть игроков были для нас живыми. Миша был непобедимая команда рекордсменов Миндского спортивного клуба, поэтому не было обидно, что я почти никогда не могу забить ему гола.

Увлечение спортом углублялось еще и тем, что совсем под боком был настоящий стадион, а около него, в углу сада Фрогнерпарк — обычного места наших прогулок — была «Бесплатная горка», с которой был виден и стадион и все, что на нем происходило. Зимой здесь шли соревнования конькобежцев, летом бывали футбол и легкоатлетические соревнования.

Раз здесь выступали и советские конькобежцы — Мельников и Ипполитов; когда они приехали, мы с Мишей водили их по городу и помогали им купить в спортивном магазине Хагена на Стуртингсгате беговые коньки — они привезли только «снегурочки». Мельников имел тогда хорошие шансы стать чемпионом мира, но в последний момент пришло запрещение участвовать в соревновании с буржуазными спортсменами, и наши конькобежцы должны были соревноваться только с членами рабочих клубов, а там сильных конькобежцев не было — всякий норвежский спортсмен получше уходил в «буржуазный» клуб, где было с кем сразиться в спортивной игре.

Здесь же, на этом стадионе, я видел, как тренировалась моя ровесница — чемпионка Норвегии по фигурному катанию, Соня Хени. Тренировал ее отец — злой, толстый, багроволицый лавочник, наставлявший ее тросточкой. То, что она выделывала на льду, было каким-то волшебным балетом; недаром в 14 лет она была чемпионкой Европы, в 16 лет — мира, а в 18 лет — уехала в Америку, запродалась американским антрепренерам, как профессионалка

была навсегда дисквалифицирована и исключена из любительских спортивных клубов и впоследствии сделалась кинозвездой (я видел ее в «Серенаде Солнечной долины») — обычный путь выдающихся спортсменов Норвегии.

Во время больших соревнований, однако, полиция оцепляла «Бесплатную горку», и великого финского бегуна Нурми, бежавшего по гаревой дорожке стадиона, как машина, обгоняя других слишком человеческих бегунов на круг и на два, я видел лишь через щелку в высоком заборе стадиона.

По утру, если я не бродил вдвоем с Аликом или с ним и с мамой — по Фрогнерпарку у его озер с лебедями, по пригоркам, лугам и рощам или, если не читал, если не разыгрывал ахагийских соревнований, не играл во дворе, не решал задач по арифметике — это, впрочем, случалось редко: меня не переобременяли официальными науками — я занимался расшифровкой египетских иероглифов.

В числе книжек, переведенных в свое время папой для хлеба и картошки, была и научно-популярная книжка «Древняя Ассирия». В 1924 году, взяв с собой Мишу, папа отправился в командировку в Лондон и там побывал в Британском музее, чтобы самому посмотреть все эти древности, о которых он когда-то писал так красноречиво. В Музее он купил два путеводителя — по ассирийским и египетским залам. Вернувшись в Осло и разбирая свой чемодан, он наткнулся на эти две довольно толстые книжки. Куда их девать? Увидев меня, который толкался вокруг, жадно впитывая в себя папины и Мишины впечатления, он вдруг, по одному из свойственных ему шутливо-серьезных порывов, протянул путеводители мне:

— На! Это для тебя!

Я немедленно унес их к себе в комнату и стал рассматривать. Я тогда уже довольно прилично читал по-английски. Ассирийский путеводитель был скучен: номера каких-то экспонатов, надписей и т.п.; зато египетский путеводитель был написан очень живо; в нем была и история, и характеристика быта древних египтян; передо мной открылся еще один мир, отличный от знакомого, поэтому интересный, — вроде ахагийского, но имевший еще особое отличие от Ахагии. Оно состояло в том, что все в нем действительно существовало. Пусть оно существовало «когда-то» — разве оно было от этого менее реально, чем Ахагия, в которую все равно «по-настоящему» нельзя приехать (можно было только, сидя на пустыре «Кузнецкой горки» с Мишей, описывать друг другу вид, открывающийся отсюда на город Носорогов); и разве более реальны были и романтический мир героев Шекспира, и Южная Америка, откуда приходили черные пароходы Вильгельма Вильгельмсена, и тропическая Ява, где жил папин брат, дядя Коля?

Особенно же заинтересовали меня иероглифы. Их было много в книге; и в тексте, где каждое характерное египетское понятие или имя приводилось в скобках по-древнеегипетски, и в приложении, где был огромный список всех египетских фараонов — каждое имя по-английски, в транскрипции и в иероглифическом написании. Подбирая одинаково звучащие куски имен, которым соответствовали одинаковые египетские знаки, и пользуясь изложением принципов иероглифики, содержавшимся в книге, я составил себе целую тетрадочку, где, расположенные в алфавитном порядке, были вписаны все иероглифы, чтение которых я мог определить.

Словом — дела было много: и дома и во дворе.

Но, как ни интересно было дома, я все же посматривал из окна, не пройдет ли через двор Герд, возвращаясь из школы. И вот наконец появляется и она, размахивая ранцем и посасывая «любовь на палочке» — длинный красный леденец на деревянном стерженьке, чтобы не мазать руки. Ее окружают младшие ребята и требуют полизать. Начинается перебранка. Наконец она, к моему брезгливому возмущению, дает пососать леденец сестрам и поднимается наверх. Наскоро поев, она еще с губами, покрытыми крошками, дожевывая, выбегает во двор — она знает, что мы ее ждем. Без нее игра не клеилась, но теперь она начинается всерьез. Сначала — хороводные игры в «золотые ворота» или их норвежский эквивалент, в норвежский вариант игры «а мы просо сеяли», в «спящую красавицу», в лапту, в «Tyven, tyven skal du hete!» — «Ты будешь зваться вором, вором, вором, потому что ты украл мою подружку». Это была довольно сложная игра, с приплясыванием, переменой пар и хороводом. Когда же начинает смеркаться, когда открываются окна и разнообразные мамы кличут детей домой, и когда Ингер, Берит и Эва уходят спать, — начинается самая интересная игра — в колдуна.

Я и Герд — муж и жена. Это не просто так. Правда, Герд мне призналась, что любит моего папу. Но «на втором месте» она любит меня. К любви я отношусь серьезно, и Герд тоже. Но женщина слаба — хотя я этого не знал и тогда не понял: когда я болел коклюшем, до меня дошел слух, что Герд вышла замуж за Рейнерта. Венчанье происходило на черной лестнице, между нашей дверью и нужником, и Кари была пастором, а Хишти и Берит — подружками невесты. Как только поправился, я, не делая никаких обобщений по этому поводу, имел с Герд серьезное объяснение и потребовал формального развода. Рейнерт в это время связался с компанией Бьёрна и был довольно равнодушен к разводу. Поздно вечером на пустыре «Кузнецкой горки», Герд принесла мне торжественную клятву порвать с Рейнертом, и с этим было покончено. Теперь как будто бы и по закону я был муж, а Герд — жена. В углу двора очерчивался «дом»; Алик, Хишти, Бюлле и Биттеба были наши дети. Ходили в магазин, устраивали в комнате уют. Но семейное счастье продолжалось недолго. Появлялся колдун (им был по-очереди каждый из «семьи»). Колдун не мог подойти к дому ближе трех шагов, не мог стоять там, где «папа» или «мама» начертят крест. Но он подстерегал ребят по дороге «в школу», «мать» — по дороге «в магазин». От его прикосновения несчастная жертва превращалась в камень. Требовались нечеловеческие усилия и хитроумнейшие уловки, чтобы расколдовать жертву и победить колдуна, укрывавшегося в темной подворотне и у помойки.

Но вот уже совсем поздно. С воем и хныканьем уводится домой Биттеба, фру Стриндберг кличет домой младших девочек. Остаемся мы с Герд. Мы говорим. О чем? Трудно припомнить и даже представить себе, о чем мы могли говорить. Но говорить было о чем. Я рассказываю о России, о Петрограде, о Неве, которая «гораздо шире, чем наш двор вместе с улицей», чему Герд не хочет верить — «таких рек не бывает!» Герд рассказывает о своих приключениях, когда они жили у дяди-смотрителя Хортенского маяка. Здесь однажды они с Бьёрном — Бьёрну было девять, а Герд семь лет — угнали гребную лодку и отправились в город Мосс, где жил другой дядя — добрых

десять-пятнадцать километров по морю поперек фьорда. В Мосс они прибыли благополучно и были доставлены дядей домой на пароходике.

— Вам попало?

— Нет. Мы ведь умеем плавать и часто катаемся на лодке. Вообще папа нас не порет и даже не шлепает. Только один раз я решила уйти из дому и пропадала целый день. Меня привел полицейский, и папа меня вздул подтяжками. Это было довольно больно. Но я уже придумала: у нас дома есть такой тазик; я его подложу в штаны, и тогда не будет больно.

Уже темно. Над высокими деревьями садика Стеен-Нильсена небо становится зеленоватым, и на нем загорается «моя звезда» — Альтаир. Я бегу домой за подзорной трубой и картой звездного неба, нахожу созвездия, пытаюсь рассмотреть кружок Юпитера — но это очень трудно: труба дрожит в вытянутой руке. Холодно. Надо спать.

Но сон приходит не сразу. Тут — еще один мир, еще одна, уже никому не известная тайная жизнь.

Наутро — снова такой же день, и в нем никогда не скучно.

Мне кажется, что если я был довольно важным элементом в жизни девочек из Нубельстате 31, то более важен для них был мой папа, которого они — особенно стриндберговские дети — совершенно обожали. Он часто выходил после работы к нам во двор и участвовал в наших играх или сам заводил игры — иногда с помощью Агнес. Он был великий выдумщик. Раз в свой день рожденья он вынес на двор огромнейшую бадью гоголь-моголя из 50 яиц. Всегда находил, что сказать каждому из ребят на своем странном норвежском языке. Как же его не обожать?

Так проходит лето. Ахагия, египетские иероглифы, игра во дворе, ничем не нарушимое течение жизни. Лишь изредка через двор пройдет почтальон с кожаной сумкой (волнение для Миши) — или «висергютт» — посыльный из лавки со своим велосипедом. Хозяйки здесь не приходят из магазинов с тяжелыми кошелками товаров: покупки делаются в кредит и присылаются с посыльными. Среди дня откроется окно второго этажа и фру Стриндберг бросит на двор бутерброды с темно-коричневым «козьим» сыром, завернутые в прозрачную бумагу. Завтрак детей Стриндбергов не отличается пышностью, да и одеты они все были в поношенное, с чужого плеча. «Спаре! Спаре!» Если уволят с работы, никто тебе не поможет, а пять человек детей — это не шутка! Кари скоро кончает среднюю школу и пойдет куда-нибудь конторщицей или продавщицей, Бьёрна, может быть, удастся протащить через гимназию и отдать в университет, но на руках еще жена и три девочки, сам инженер болезнен, — кто его знает, сколько удастся прожить. И с раннего детства девочки во дворе играют в «хозяйство».

Иногда во двор забежит Бьёрн, подразнит меня на скорую руку и уйдет. Один раз он вбежал на двор, где все девочки в полном составе и мы с Аликом были заняты какой-то игрой, и, быстро расстегнув штаны, под хихиканье притаившихся за углом его товарищей, показал девочкам нечто. Девочки возмутились, а я сказал Герд:

— Что, собственно, ему надо? Ведь всякий видал это у себя.

— Знаешь, — ответила Герд, — такой пипки, как у мальчиков, у девочек нет.

А мне откуда знать? Мы не раз купались с Герд голышом на морском пляже, но мне и в голову не приходило, что у них какое-то там другое устройство. Ведь мама согласилась с моей теорией, что это просто кишка, выведенная наружу для отвода мочи, значит и у девочек она должна быть, — просто они прячут ее, зажимая между ног. Я немного задумался над ответом Герд, но решил, что разница в каких-то деталях устройства, не имеющих значения, и больше об этом не размышлял.

День идет за днем. Ничто не нарушает интересного бытия, которым я весь полон. Даже Алик: он теперь с утра занят игрой с ребятами, разве иногда его приходится разнимать с Биттебой. Тут мы ссоримся и с норвежского переходим на русский — склоняем: «Это из-за Биттебы!» — «А ты не играй с Биттебой, если она такая!», — а виновница злится и кричит: «Я — Биттеба, а не Биттебой!» — «Да мы знаем, это мы по-русски так называем!» — «А мама говорит, что стыдно обзывать!» — Ну как ей объяснишь?

Раньше, еще на Сковвейен, когда я, бывало, погружался в «Детство и отрочество» и на глаза у меня наворачивались слезы (единственная книга, которая доводила меня до этого), вдруг начиналось нытье Алика: «Играй со мной!» — «Да ведь ты играешь в железную дорогу, а у нас нет второго паровоза!» — «Ничего: ты играй рядом в пароход!»... И я, с раздражением, уступал ему — все-таки он маленький и болезненный. Но теперь он — сам по себе, и я могу жить своими жизнями.

Их несколько. Одна жизнь — на дворе, с Герд, с девочками. Жизнь, в которой все могут участвовать. Другая жизнь — Ахагия. Это мое. В ней участвует только Миша, и те, кто видит, как мы гоняем мяч клюшками во дворе, не знают, что это идет борьба за кубок острова Гунт между командами Миндосии и Ахагии. Третья — это с Аликом. Он тоже придумал себе страну, но он мал и глуп, в Ахагию его не пускают (он и не знает, что там он — кассир Носороговского театра.) По своей глупости Алик назвал свою страну «Новый Апельсин», и в ней живут индейцы. Конечно, Новый Апельсин недопустим рядом с Ахагией. Алику разрешается разыгрывать только разбойника Пишука и его гангстерскую организацию, с которой борются правительства Ахагии, Миндосии и других наших стран. Только когда хочется играть в игру, где бы ты не был ограничен условиями правдоподобия, можно играть с Аликом в его индейцев, или зимой — в волшебного северного оленя Рогошеньку.

Но в сущности пираты, индейцы и разбойники давно перестали интересовать меня; а Алика они все еще занимают. Я рассказал ему о моем неудачном пиратском романе, и он, едва научившись писать печатными буквами, сел сочинять свой собственный роман «Пираты и просто люди». Но увлечения Алика — вне моей жизни.

Четвертая жизнь — опять только моя: египетские иероглифы летом, когда не видно звезд, астрономия — осенью и зимой. Об этом Миша знает. Вместе со мной он учит созвездия, но без особого увлечения. Самое главное, что Миша ни над чем моим не смеется, говорит со мной не слащавым языком взрослого, а как с другом. Мы и есть друзья. Иначе и быть не может. Миша задумчивый, — на моем сорокалетнем языке можно было бы сказать — лиричный (а папа говорит — «какой-то вялый»), о задушевном ему, конечно,

не с кем говорить, как только со мной. Мама молчалива, с ней разговор не завязывается, а в папе лирика неудержимо — и обидно — пробуждает чувство юмора. И только мне Миша читает свои стихи:

Луна, как долька апельсинная,
На мостик лестница крута,
Дорожка пенистая, длинная,
Бежит, бежит из-под винта...
Знакомых гор бока зеленые,
У моря — белый городок,
И мысли пестрые, смятенные,
И неба синего кусок...
И вот теперь — воспоминанием,
Надеждами, мечтой живу
И жизни пестрое мелькание
Не в силах видеть наяву.

Мне же Миша читает свои пьесы. Они написаны стихами. Герои в них — рыцари, прекрасные дамы, менестрели, и я знаю, что в жизни должна быть любовь, что

В каждой жизни, тяжелой, печальной —
Должен светлый пройти менестрель.

Но жизнь пока не тяжела и не печальна.

Впрочем, вероятно, это только теперь так кажется. Тогда каждая неудача, неоправдавшееся ожидание, сердитое слово, сказанное тебе, были горем, потрясавшим душу, — хотя и не надолго. Все это с тех пор забылось. Но, ей-богу, по силе чувства это преходящее детское горе было не слабее горя взрослого. То, конечно, существовало вокруг меня: у взрослых и у Миши были свои огорчения, но я этого почти не замечал, во всяком случае, не чувствовал и уж конечно не понимал.

Помню, еще в Петрограде, когда моя Нюша уходила от нас служить, я увидел катящиеся по ее лицу безмолвные слезы и задал недоуменный вопрос: «Как можно плакать молча?» Мама мне сказала, что так плачут взрослые, и эти слезы — самые горькие. С тех пор я старался рыдать бесшумно, в подушку. Но все же эти взрослые слезы были непонятны. Я видел их у мамы, когда она родила мертвую девочку и кляла какого-то модного норвежского врача, который осматривал ее, с трудом оторвавшись от чтения «La garçonne». Я так жалел маму: ведь ей всю жизнь хотелось радоваться дочке, которую я не мог ей заменить; но и жалея, я не вникал в мамино горе; оно прошло незаметно для моей души.

Было еще событие, которое произвело большое впечатление на моих родителей, а на меня — очень мало.

Папин брат — дядя Коля — во время войны был вольноопределяющимся и служил во Владивостоке; с ним была и его жена, а сын оставался на попечении своей бабушки и няньки — в Крыму. Когда началась революция и армия распалась, дядя Коля мог бы вернуться домой, — но чехословацкий мятеж отрезал его от Европейской России. Он взглянул на глобус и убедился, что земля кругла, а потому решил ехать кругом света, полагаясь на свое хорошее знание английского языка.

Он уехал в Японию, поступил там на работу, накопил денег и перебрался в Сингапур, а оттуда — на Яву. Каким-то образом папа еще в Петрограде

узнал об этом, — но далее дяди-Колины следы терялись. Приехав в Норвегию, папа послал наугад телеграмму: «Ява, Дьяконову» и назавтра получил ответ. За ним последовали длиннейшие письма-тетрадки, исписанные красивым мелким почерком, с описанием яванской природы и жизни. Дядя Коля там работал и не имел никаких средств оттуда уехать. Дело было серьезное. Застряв за границей, дядя Коля автоматически стал по советскому закону эмигрантом. Возвращение на родину стало для него теперь невозможным, а если бы оно и было легально возможным, то его положение в Советской России все равно было бы после пребывания за границей смертельно опасным. Сын его потерялся где-то в Крыму.

Сын дяди Коли — Алеша — был болезненный (или так думалось его родителям), невозможно балованный, заевшийся мальчик, которого до одиннадцати лет кормила с ложечки няня не иначе, как при спущенных шторах и при деятельном участии двух теть, которые читали ему книжки, хлопали в ладоши, умилялись его грубостям. Но тут наступила революция, тети уехали за помощью в Петроград, бабушка умерла, у няни Фени не было никаких средств, и она, хотя героически пыталась его кормить и лелеять, но ничего не могла сделать. Красные сменялись белыми, белые красными. При красных, которых возглавлял знаменитый венгерский интернационалист-коммунист Бела Кун — ежедневно водили на расстрел застрявших дачников-буржуев; при белых — рабочих.

Алеша и его няня отправились пешком из Гурзуфа в Судак — разыскивать дедушку Дьяконова, но по дороге нянька слегла в тифу. Алеша, беспризорничая, добрался-таки наконец до Судака и в 1922 году был доставлен в Петроград, а двумя годами позже был выписан папой в Норвегию.

Когда Алеша приехал к нам, оказалось, что это тихий, очкастый, лопоухий, скромный, по виду — самый интеллигентский мальчик шестнадцати лет, но только без всякого образования, если не считать глубоких познаний в области энтомологии и страсти к ловле бабочек. Задача состояла в том, чтобы доставить его к отцу.

Задача была нелегкой. Хотя выезд за границу для советских граждан и не был тогда особенно затруднен, и не было драконовских законов об измене родине, но все же отправить его к отцу-эмигранту в официальном порядке, с паспортом, оформленным транзитными визами, было нельзя.

Но в шестнадцать лет у него паспорта и не было — а стало быть, не требовалось выездной визы, и даже никто не мог, да и не хотел выяснять, уехал ли он домой или еще куда. Поэтому папа договорился в частном порядке с пароходной компанией, имевшей дела с нашим торгпредством, и капитан огромного грузового парохода «Талатта» взялся доставить Алешу, без высадки в промежуточных портах, прямо на Яву, куда он шел за грузом бананов для Англии.

И вот мы на пристани Бьервикена. Медленно отворачивает от нее черный великан-пароход; вот все труднее увидеть светлую голову Алеши, машущего нам платком; вот буксир разворачивает «Талатту» кормой к нам, и она превращается в силуэт на фоне заходящего солнца, и нельзя уже различить белой полосы на ее борту; и мама подносит платок, которым махала, к глазам, и говорит:

— Простились навсегда...

Навсегда? Откуда это знать? И почему промелькнувший в нашей жизни человек должен вызывать эти тихие слезы?[1]

А вот мамино пальто оторочено куньим мехом — это разрезана наша любимая пелеринка. Вот это — горе. Хотя мама обещала ее снова сшить из кусков, когда сносится пальто, но в это не очень верится. Куда же прятаться «под мамино крыло» от наших детских бед, когда нет больше пелеринки?

III

На Нубельсгате жизнь перестала быть неустойчивой, временной, переменной, как было в дни Люсакера, Соргенфригате и Сковвейен. Она стала постоянной, единственно возможной. Лето сменялось осенью, осень — зимой; начинались лыжи, снежная гора на дворе, под которой скрывалась куча мусора, вываленного по приказу Стеен-Нильсена именно там, где играли дети; катанье на «хьельке» с Холменколлена; зима сменялась весной, весна — летом.

Смерти больше не было. Только несколько раз она еще напоминала о себе. Один раз — в самом начале — в Люсакере, во сне. Мне снилось, что по насыпи вдоль наших окон, как обычно, бежит поезд, и мы с Аликом, как обычно, взбираемся на «эскабошку», чтобы посмотреть. И вдруг поезд срывается и падает бесшумно под насыпь, вагоны разбиваются, и я просыпаюсь с криком. Другой раз на Соргенфригате. Папе художник Каррик принес роскошное издание Эдгара По с иллюстрациями — и я с криком просыпаюсь ночью, увидев громадную гориллу с бритвой, пришедшую нас зарезать. Третий раз — когда пришло известие, что умер от коклюша мой двоюродный брат в Питере. Я несколько раз играл с ним, но не любил его. А теперь страшно было представить его себе холодным и мертвым. Еще раз — на Сковвейен. На последней полосе газеты объявление: такие-то с прискорбием сообщают о безвременной гибели своего любимого, ненаглядного, единственного сына Финна.

Финн был сыном крановщика в угольном порту в Люсакере. Я его хорошо знал и часто бывал с ним — обычно это кончалось дракой. Чтобы отец с подъемного крана не видел, что он занимается запретным делом — удит рыбу, — Финн забирался на приступку над водой, по ту сторону забора-мола, отделявшего пляжик от фарватера. Неудачно забросив удочку, он зацепился крючком за чулок; стал освобождать, потерял равновесие и упал, скорчившись, головой вперед, в воду. Над молом продолжалось мерное гудение поворачивающегося крана. Отец ничего не заметил.

За зиму я еще больше сдружился с детьми нашего дома, и меня постоянно приглашали на дни рождения и елки — и к Стриндбергам, и к детям из соседнего особняка, и даже, кажется, к Андерсенам.

Детский праздник или елка у норвежцев казались мне довольно скучным провождением времени, хотя норвежские дети замирали от восторга при ожидании этих дней.

---

[1] Алеша позже приезжал в Ленинград, нашел няню Феню и помогал ей деньгами. Но моих родителей он уже не застал.

С утра чистили и мыли весь дом; линолеумный пол не просто протирался мокрой тряпкой, намотанной на метлу, но мылся зеленым мылом. Руки и рожицы хозяйских детей тоже мылись основательно, а не просто мокрым намыленным полотенцем, как в будние дни. В назначенный час гости в матросских костюмчиках и шелковых «воскресных платьях», мальчики — гладко причесанные, девочки — с бантами в волосах, чинно садились в столовой за длинный стол, покрытый белоснежной накрахмаленной скатертью. У каждого прибора — торчащая дыбом крахмальная салфетка, на столе — громоздкое разборное кольцеобразное сооружение — род печенья — «крансекакс». Каждому подается чашка слабенького шоколаду, покрытого громадной белковой пеной. Все ведут себя чинно — нельзя же замазать «воскресное» платье; за это к тому же могут и высечь дома. Наконец еда закончена. «Такк фор матен» — «Вельбекоммен!». Никто из детей не забудет поблагодарить за угощенье.

«Такк» — «спасибо» — вообще самое распространенное норвежское слово. Посылая дочку к соседке, мамаша говорит ей: «Пойди к фру Андерсен, сделай ей книксен и скажи: «мама просит, не могли бы Вы дать ей мясорубку, спасибо». После еды говорят «спасибо за еду» (такк фор матен), уходя из гостей — «спасибо за меня» (такк фор мей), встретившись на другой день, говорят «спасибо за вчера» (такк фор игóр), встретившись через месяц, говорят «спасибо за прошлый раз» (такк фор сист). Входя в трамвай, контролер, щелкая никелированными щипцами, говорит: «Билеттер, такк!» Никто никогда этого не забывает. Каждая девочка, даже из глухой крестьянской долины, не забудет «нейе пент» — «сделать красивый книксен», обращаясь к взрослому; книксен делается при встрече со знакомыми, даже стоя на педалях велосипеда; каждый мальчик обучен «букке пент» — «красиво кланяться». И — характерно для норвежцев — кланяться надо, не сгибая спины и шеи. Я не видел норвежца, который, входя в дом, забыл бы снять шапку, или же, при входе женщины в комнату, не встал бы со стула. Это и в городе, это и на самом глухом горном хуторе.

После угощенья идут в соседнюю комнату, где стоит елка, украшенная шарами, блестками, картонажными ангелами, гирляндами норвежских флагов и большой «звездой волхвов» наверху. Вокруг елки ходят медленно и чинно, поют заунывные псалмы — то ли дело веселая елка у нас внизу, на первом этаже! Раз я пытался в гостях изобразить, как у нас водят хоровод вокруг елки, — но только шокировал гостей.

Играют тоже чинно и осторожно — из запертых шкафов вынимают спрятанные с прошлого рождества заводные паровозы и роскошные куклы, и родители с опаской поглядывают на новые игрушки, принесенные переодетым «рождественским гномом» — так здесь называется дед Мороз — как бы их не сломали еще до того, как придется и их запереть в шкаф.

На дворе те же дети играют куда веселее!

Снова наступает весна. Вот уже на улицах Восточного Осло прошла первомайская демонстрация; всюду на улицах продают маленькие целлулоидные цветочки в пользу общества борьбы с туберкулезом, и скоро 17 мая, а с ним — конец весны, начало лета.

В этот день весь город высыпает на Карл-Юхан. Будет детская манифе-

стация. Школа за школой, каждая со своими вышитыми цветными знаменами, проходит по улице к дворцу, где на балконе стоит долговязый усатый король, маленькая уродливая королева и еще какие-то люди. Впереди каждой школы — «рюсс» — выпускники: гимназисты в красных мягких фуражках с черным козырьком и черной шелковой кисточкой на длинном тонком шнурке, в красных галстуках, в красных носках, с тоненькими бамбуковыми тросточками, на которых повязаны красные банты; выпускники коммерческих училищ — в голубых фуражках с черной кисточкой, в голубых галстуках, в голубых носках, с голубыми бантами на тросточках. Дальше — школьники младших классов: мальчики в матросках или парадных английских костюмчиках, девочки — в белых шелковых платьях. Они идут чинно, поют патриотические песни.

Вечером будет демонстрация выпускников. Они собираются тайно в одной из школ и оттуда выходят с плакатами и политическими карикатурами на палках, с чучелами; бегут по городу с криками, лупят тросточками по плакатам; когда они прибывают на бульвар перед Стуртингом, от плакатов и карикатур остаются одни клочья. Один из школьников забирается на колени статуи поэта Вергеланна — борца за свободу Норвегии и независимость норвежской культуры — и произносит шуточную, но, говорят, остро-политическую речь. Снова — вой, крик, размахиванье тросточками. Наконец достают огромную красную фуражку и венок; венок надевают Вергеланну на перо, а фуражку, с трудом взгромоздившись на плечи статуи, водружают ему на голову. поодаль кружок полиции — слушают вежливо: пусть молодежь побесится, выпустит пар.

С этого дня в Осло начинается царство выпускников. Они носятся по городу, пируют в ресторанах, разъезжают на грузовиках, шумят, озорничают; раз они взобрались на памятник профессору Швейгору перед университетом и положили ему медяк в протянутую руку. Полиция ни во что не мешается.

Но дни идут. Подходит время «эксамен арциум», выпускники становятся все тише. И вот экзамены сданы, наступает торжественный день имматрикуляции. Накануне «рюсс» собираются на дворе перед университетом, срывают красные шапочки и рвут их. На другой день все являются чинно, молодые люди — во фраках, девушки — в закрытых платьях, и на головах у них не красные, а черные фуражки студентов; тут не побесишься: тяжелая шелковая кисть должна неподвижно лежать на плече, а подкалывать ее булавкой — дурной тон. Один за другим новые студенты и студентки входят к ректору, жмут ему руку и получают матрикул.

В этот день все, кто когда-то кончил гимназию, надевают студенческие фуражки. Дряхлые старики, почтенные толстые коммерсанты — кому уж очень не идет черная фуражка, те прицепляют шнур с тяжелой кистью к канотье или мягкой шляпе. На другой день все — и студенты и старики — спрячут свои черные фуражки на дно сундуков — до следующего дня имматрикуляции.

Не все, кто имматрикулировался, будут учиться в университете. Обучение в университете — бесплатное и не ограничено сроком. Если родители выдержали тяжелое финансовое напряжение, проведя сына или дочь через платные старшие классы средней школы и трехлетнюю «гимназию» (то есть

подготовительные к университету классы);[1] если сын сдал трудный «экзамен арциум», где каждый экзаменующийся сидит с педелем в отдельной комнате и его знания оцениваются по стобалльной системе, — то он получает право учиться в университете; когда ему по жизненным обстоятельствам будет удобно сдать минимум, он получит университетский диплом; а пока, если хочет, ходит на любые интересующие его лекции, или не ходит, зарабатывая себе на хлеб, — два, три года, десять лет — право учиться дальше остается за ним всю жизнь...

В 1924 г. Миша ездил в Россию кончить школу, в следующем году мы встречали его с пароходом в Бьёрвикене. В том же году он поступил в Королевский Фридерицианский Университет в Осло. Советскую школу ему не зачли. Пришлось сдавать «арциум». особенно трудно было с латынью: он почти ничего не знал (готовился сам и недолго). От провала отделял один вопрос.

— Просклоняйте «tempus».

Не знает.

— Можете идти. — И тут Миша у двери вспомнил:

— O tempora, o mores! (О времена, о нравы!)

33 балла: он принят в университет по специальности английской филологии. В обязательные предметы входит сравнительное языкознание и санскрит. Санскрит преподавал замечательный филолог — Моргенстьерне, много лет спустя — близкий друг моей семьи. У него Миша стал слушать заодно и персидский язык. Так востоковедение стало входить в жизнь нашей семьи.

Были ли у Миши близкие товарищи по Университету в Осло? Не знаю. Я видел писателя и переводчика с русского Эрика Крага, но он был, кажется, больше папин знакомый. Мишиным приятелем был Ралф Хьюстон, но не знаю, где он с ним познакомился — в Университете или в полпредстве, или еще где-либо. Во всяком случае, он недели две жил в нашем доме, чрезвычайно способствовав беглости Мишиной английской речи.

Ралф Хьюстон был американский студент; скопив немного денег, он решил объехать Европу на велосипеде. Он изъездил Англию и Уэльс, забираясь в деревушки, где никто не говорил ни на каком языке, кроме кельтского, изъездил Францию, Швейцарию, Германию и Норвегию, мечтал также объездить Россию. Он был очень славный, простой, воспитанный — впоследствии я узнал, что это для американцев совсем нетипично — и как-то пришелся к дому у нас. Но советской визы ему не дали, и вскоре он уехал из Норвегии.

Скоро в доме появилась норвежская студентка — Маргит Ос, и было объявлено, что она Мишина невеста. Это было непонятно. Как же те стихи, привезенные Мишей из Петрограда:

А ты знаешь, прохожий, я счастлив сегодня!
Ты когда-нибудь видел счастливых людей?
Бьется сердце быстрее, дышать мне свободней,
Улыбаюсь я чаще, смотрю веселей.
Мы друг друга так любим, живем друг для друга,
И мы молоды оба — смешны, может быть.

[1] В мое время «народная школа» была бесплатной и обязательной, имела пять классов, платная «средняя» — четыре, «гимназия» — три, итого — двенадцать лет обучения с семилетнего возраста.

Ну а вы? Вы устали от жизненной вьюги
И давно перестали, как дети, любить!

Над этими стихами стояли буквы Н.В.М. — Наталья Викторовна Мочан, а над теми, что были до отъезда в Петроград, стояло Е.Р. Но самое странное, что для Маргит Ос стихов вообще не писалось — ни по-русски, ни по-норвежски.

Маргит была рыжая, бестолково одетая, длинноносая, скучная-скучная мещанка. У нас она называлась «Чукундра» в честь той крысы из «Рикки-Тики-Тави», которая никогда не выходила на середину пола. Меня начали тогда готовить в норвежскую школу — видно, у моих родителей тоже появилось ощущение устойчивости, окончательности этой жизни. Готовила меня Маргит. Боже, какой скукой разит на меня до сих пор от ее тычинок и пестиков! Лучше было, когда она играла на рояле, аккомпанируя Мише, который с некоторых пор начал учиться играть на виолончели.

Но музыка была и бедствием. Нас, младших, тоже решили учить музыке. К Алику ходил учитель-скрипач, а меня отдали в музыкальное училище с громким названием «Консерватуриум», где подвергали роялному мучению. Сколько слез было пролито! А «чижик» так до сих пор и остался для меня недоступен. Хорошо, однако, что я немного привык делать то, что мне трудно, а не только то, что легко и приятно.

Лето. Теперь — время экскурсий. В воскресенье на дворе скучно. Девочки, вернувшись из протестантской безрадостной, серой и холодной церкви, ходят разряженные в свои «воскресные платья» или «шелковые платья», как аршин проглотив, боятся запачкаться. А мы собираемся в поход.

Папина непоседливая душа толкает его в бесконечные экскурсии. С мамой или с Мишей вместе он давно исходил все окрестности. Иногда брали с собой и нас с Аликом — особенно зимой, когда часть дороги можно было тащить нас на санках. Ездили мы зимой и на Холменколлен — кататься по «Штопору» на санках — «хьельке» — только не решались пускаться в путь с самого верху, где были уж очень крутые и опасные виражи.

Папа обратил наше внимание на одну достопримечательность Холменколлена: открытые шкафы с гнездами, — вроде как для писем «до востребования», — стоявшие на остановках трамвая. Положим, на горе лежит туча. Норвежец, едущий вниз, в Осло, на службу, выходит из дому в непромокаемом плаще, с зонтиком и в галошах. Но со станции видно — внизу в городе ясно. Он снимает плащ и галоши и кладет вместе с зонтиком в одно из открытых гнезд шкафа — вечером он заберет их по дороге домой.

Летом мы на Холменколлене бываем реже, но все же и туда часто ведут наши экскурсии. Тогда мы едем на трамвайчике на самый верх, на Фрогнерсетерн, и с покрытого соломкой мягкого сиденья я с замиранием сердца смотрю на большое здание у станции Гэуста, во дворе которого кишат какие-то люди (по моим понятиям — это сумасшедший дом — на самом деле это была школа, где мне еще предстояло учиться), и на глубокую пропасть, над которой дугой проходит путь трамвая — между станциями Грокаммен и Гюллеросен; потом поглощаю красоту, когда за Бессерюдом открывается панорама города и фьорда.

Гюллеросен связан еще с одним запомнившимся событием. Мы прочли в газете «Афтенпостен», что в Гюллеросене сгорела вилла: почему-то нам с Аликом втемяшилось, что необходимо туда поехать и посмотреть. Мы уговорили Агнес, и после долгих странствий в зеленых еловых аллеях, между аккуратными сетчатыми или штакетными заборчиками «вилл», мы наконец нашли то, чего искали. Угрюмая почерневшая руина стояла посреди огромного чудесного сада, где через таинственные пруды, уже покрытые осенними листьями, были перекинуты мостики из белых стволов березы, а сзади чернели заманчивые рощи; перед сгоревшим домом были великолепные, небывалые цветники с астрами и настурциями и еще какими-то невиданными вовсе цветами. И все было пусто. Зачем этим людям был такой дивный сад, где можно было провести целую счастливую, сказочную жизнь приключений, зачем этот великолепный богатый дом, когда все сгорело и ничему не суждено было для них остаться? Это было куда страшнее рассказов с привидениями, которыми в темноте развлекались девочки с нашего двора: «От-да-а-ай мою золотую ногу!»

Почти такое же неуютное впечатление произвела другая богатая вилла, на Холменколлене, где снимала комнаты одна из семей служащих полпредства и куда хозяева виллы почему-то однажды пригласили и нашу семью. Дом был построен по-английски: внизу — холл и гостиная, где, сидя на низеньких креслах перед низенькими столами, мужчины пили сода-виски, наверху — спальни и детская. Но в доме была какая-то атмосфера несчастья: недавно здесь умерла одна из хозяйских девочек, а вторая, Сюнневе, была косоглазая и какая-то забитая. Говорят, ее жестоко секли. Что-то было угнетающее в этом доме, и с ним не мог примирить даже его сад — огромный кусок настоящего елового леса, подлинный рай для мальчишеских игр.

Но эти два темных воспоминания потонули в потоке других впечатлений — от чистого лесного воздуха, от открывательской горячки наших прогулок на Холменколлен, от лазанья на вышку, вроде триангуляционной — на самой верхушке Фрогнерсетерена, у радиомачт, — от заповедного леса лыжников — Нурмарки. Это были близкие прогулки. Но теперь, когда я подрос, я часто отправлялся с родителями и в дальние экскурсии — то пешком, то на автомобиле — к великолепным лесистым горам у перевала Рингклейвы, откуда сквозь зубчатый, спускающийся по склону строй елей, за гранитными столбиками по краю вьющегося шоссе, видны голубые изгибы озера Тюрифьорд; в холмистый Рингерике, где на склонах холмов там и сям, где было можно, расчищены кусочки покатой, тонким слоем лежащей на скалах норвежской почвы, где валуны откатили в кучи внизу поля, и вокруг редко разбросанных красных и желтых хуторов, с белыми наличниками окон, стрекочут красные сенокосилки; через маленькие городки, где тянутся вдоль шоссе или окружают кирпичную кирку и красную бензоколонку несколько десятков аккуратных, обшитых тонкой доской, серых, голубых, зеленых деревянных домиков и аккуратных «вилл» в один-два этажа, с непременными высокими белыми флагштоками в палисадниках; в Сарпсборг, где мы смотрели огромную целлюлозную фабрику и завод ферросплавов — где мы видели огромную вольтову дугу и пылающее море огня, которое рабочие издали размешивали березовыми стволами; а потом мы шли по длинному

качающемуся висячему мостику вдоль широкого, громыхающего желтого водопада; но лучше всех были прогулки по фьорду.

Иной раз мы отправлялись поездом до городка Саннвика и там нанимали шлюпку, которая завозила нас на необитаемый остров, и там бродили целый день по пахучему хвойному лесу, полному малины, никем не собираемых грибов, — здесь жили ежи и можно было лазать по серым полосатым скалам; или по изрезанному, каменистому, окруженному мелкими шхерами берегу. Мы купались на галечных пляжах и ловили крабов или пускали кораблики-ракушки через крошечные каменистые бухточки, превращавшиеся во время игры в неведомые океанские заливы, на дне которых лежали таинственные, разноцветные морские звезды. А иной раз мы отправлялись из дому на узкий морской рукав в тылу Пипервикена, где виднелся белый ресторан-поплавок «Дроннинген» — тот самый, где Амундсен, спрошенный, полетит ли он на неизвестном ему самолете с неизвестными французскими летчиками на спасение своего врага Нобиле — а на самом деле навстречу своей смерти, — впоследствии сказал свое знаменитое «Right away!» и где у причала стояли бесчисленные моторные лодки. Здесь была и моторная лодка Стриндбергов, на которой они, бывало, плавали летом в Данию.

Дети Стриндбергов редко бывали с нами в наших других экскурсиях. За наш счет родители их не хотели пускать, а за свой счет им было не по средствам, так что даже на Холменколлене они бывали очень редко — пожалуй, раз в год. А моторка, видимо, не составляла большого расхода, или уж очень трудно норвежцу без моря — но только не реже раза в месяц они отправлялись на ней кататься и часто брали нас с собой.

Моторка была маленькая, мы набивались в нее битком, — но имела все же каюту на носу, с лавками, где можно было сесть за стол или прилечь; на корме тоже были скамейки и крошечный штурвал сбоку; за него садился сам Стриндберг на откидном стульчике, развернув перед собой морскую карту, где серым по белому были нарисованы все берега, острова и шхеры, а цветными кружками и вехами — маяки; а мы, мальчишки, ложились на бак — на верх каюты. Быстро оставался позади порт, под нашей тарахтящей лодкой открывалась почти бездонная вода, а по сторонам разворачивался вид на высокие темно-зеленые холмы, где там и сям виднелись белые и голубые «виллы», красные с белыми окнами крестьянские домики, иногда — белый маленький поселок-городок, сбегающий к морю среди зелени: и так как дело было в воскресенье, то перед каждым домом на белой мачте развевался флаг — красный с синим крестом, окаймленным белым кантом. А по морю сновали огромные белые паруса маленьких яхт, и изредка из дальних стран степенно проходили океанские пароходы. В самом узком месте фьорда, где он не шире Невы, на одном из лесистых островов, как говорили — хотя ее не было видно — находилась крепость Оскарсборг. нам она казалась такой же несерьезной, как вся мирная норвежская армия. За Оскарсборгом мы поворачивали назад — в сторону Саннвики, к нашему необитаемому острову. Лодка долго шла в лабиринте лесистых островов, обрывавшихся в море живописными серыми скалами, на которых, увы, слишком часто были намалеваны двух-трехметровые буквы: «Privateiendom. Adgang Forbudt» (Частная собственность. Вход воспрещен), а иногда были даже налеплены

рекламные плакаты. Надо было, чтобы наш необитаемый остров был еще и ничьим.

И опять — бродить по лесу, лазать по скалам, ловить крабов, пока папа мечет в воду «блинки», мама распаковывает корзины, а Стриндберг с Бьёрном разводят костер и жарят мидий, которых мы, впрочем, не ели, как почти всю норвежскую еду. Это была область, в которой не было никакого взаимопонимания. Рыбные клецки отвратительного вкуса, пахнущие корицей и кардамоном, рыбный суп с черносливом, полужидкое картофельно-капустное варево с бараниной — «лапскэус» — были нам так же неприятны, как норвежцам наша сметана и простокваша («скисшее молоко пьют только свиньи!»), грибы («можно отравиться!»), пироги («что может быть отвратительнее горячего теста!»), несоленое масло. Впрочем, норвежцы сами обычно не ели никакого масла, а только разные маргарины, отличной, впрочем, выделки. И со всех стен города на прохожих глядели веселые девочки — то в красном лыжном костюме, то в голубом платьице, с неизменным бутербродом в руках и неизменной надписью: «А у маленькой Лотты на школьном бутерброде маргарин «Муну»!» Но мама не желала признавать маргарин. По всем этим причинам наш провиант мы, помнится, со Стриндбергами не делили.

Мы купались все вместе на этом скалистом необитаемом берегу — мужчины в черных или полосатых купальных костюмах, закрывавших все тело и ноги чуть повыше колен, женщины в таких же костюмах, но еще с передником, а мы, дети — голышом.

В сумерки заводили мотор, или за нами из Саннвики приходила шлюпка — и уже в темноте мы возвращались домой.

Летом норвежцы редко уезжают совсем из города: прекрасная природа есть и под боком. Зато, по обычаю, все, кто может, берут отпуск весной, в пасхальные каникулы, когда в окнах магазинов появляются игрушечные зайцы, держащие в лапках грандиозные шоколадные яйца. Кто молод и самостоятелен, или даже не очень молод, забирает лыжи и уезжает из города — и возвращается недели через две, черный от горного загара, а, впрочем, больше не от горного загара, а от специальной мази, имитирующей загар; этой мазью в пасхальные дни бойко торгуют все магазины. Раз как-то отправились на пасху в горы и мы.

Поезд вез нас всю ночь, поминутно ныряя в туннели, а наутро высадил на маленькой станции Гуль. В долине снег стаял, да и по дорогам таяло. Но кругом стояли белые, высокие, казалось, неизмеримые горы, покрытые, как небритой щетиной, соснами, торчащими из снега на скалах. Крестьянин долго вез нас вверх наискосок, и все вверх. Наконец мы прибыли на хутор, где должна была жить наша компания — мы и несколько папиных сослуживцев из торгпредства.

Домики стояли на сравнительно пологом скате, расчищенном среди леса пониже куполов горных вершин, на краю крутого горного склона над глубокой долиной. Весь хутор состоял из двух жилых домов и двухэтажного амбара с сеновалом.

Один дом — более старинный — был отдан нам. Он почти весь состоял из одной большой и высокой горницы; в середине одной стены был «пейс» —

огромный открытый очаг с раструбом дымохода над ним; полгорницы занимали полати, на которых можно было не только лежать, но и стоять. Кругом был глубокий снег — длинные плетни вдоль дороги из вкось поставленных палок почти целиком тонули в нем, — но было тепло, даже жарко. Можно было ходить на лыжах чуть ли не в майке. Горки для катанья были великолепные, но на лыжах я ходил прескверно (стеснялся учиться: ведь норвежские ребята не только «стояли», как говорилось, с самых крутых горок, но и прыгали со снежных трамплинов, начиная с трех-четырех лет. Отваги им было не занимать).

Поэтому, вместо ходьбы на лыжах, я принялся, вместе с детьми нашего фермера-хуторянина, изготовлять гигантскую снежную бабу по кличке «Амбрусиюс». Один лишь раз я ходил со взрослыми еще выше в горы — на «сетер» — летовку, горное пастбище с хижиной. Меня поразило, что встречные каждый раз здороваются, как знакомые, а один крестьянин с обветренным морщинистым лицом не только раскланялся, но и спросил на своем горном, трудно понятном горожанину диалекте:

— Вы из Осло?

— Из Осло...

— Вы знаете там консула Ларсена? Это мой земляк. Увидите — передайте ему привет.

Были и другие поездки — в глушь, на зажатое среди гор лесное длинное озеро Крёдерен, где, кажется, была неземная красота, но мне запомнились только бревенчатые дома, неудобные постели и «стенные мадамы» — клопы. Потом была поездка на океанском пароходе норвежско-американской линии в Берген.

Ничто не может сравниться с атмосферой корабля: высокий серый борт, ряды иллюминаторов; палуба с бухтами канатов, вентиляторами, лебедками, крутые трапы; покрытая черным маслом живая машина глубоко под толстым стеклом; бесконечные ряды кают вдоль коридоров, устланных дорожкой, и перед ними — ряды ботинок, выставленных для чистки: шхеры, шхеры, и где-то за ними — Атлантический океан.

И вот мы в Бергене, идем по набережной, и маленький Алик, которого в Осло можно было завести на борт парохода только силком, так он плакал и боялся — теперь небрежно поворачивается к покинутому нами морскому гиганту и заявляет: «Ничего себе пароходишко!»

Берген так непохож на Осло, как могут быть непохожи два города. Замкнутый, подобно озеру, залив окружен семью отдельными конусами гор, как сахарными головами; в залив вдается плоская коса, на ней и стоит город; с моря он открывается Немецкой пристанью — рядом причудливых средневековых деревянных домов с островерхими крышами — и поразительным рыбным рынком, настоящим рыбным вавилонским столпотворением. Город давно перерос косу и круто поднимается с нее на гору ступенчатыми уличками, а впереди него — туда, наверх, — тянется линейка фуникулера. На крутых улицах играют дети в прорезиненных плащах и «зюйдвестках», бредут из магазинов «бергенсерки» с зонтами и в калошах — в этом странном и своеобразно красивом городе дождь льет более трехсот дней в году.

А затем — назад железной дорогой, вьющейся по обрывам Воссевангена,

над фьордом и узкими длинными озерами, через туннели, мимо высоких снежных, скалистых, лесистых гор, через шумливые каменистые горные речки, — домой, в прочный, привычный, постоянный мир нашей квартиры и двора на Нубельсгате 31.

IV

Так я впервые познакомился с миром, с природой, — и разве не родина та страна, где ты впервые познал мир и самого себя?

Но совсем родиной, единственной родиной, Норвегия мне все-таки не стала. Я не делил ее жизни, не был знаком с ее трудом. Я не мчался стрелой на лыжах с головокружительных гор, не плавал ни на моторке в Данию, ни на гребной лодке через фьорд, не помогал фермеру с чудовищным терпением расчищать горный склон под поле, не готовился, кончив школу, уехать в Америку на заработки. Я не учился сызмала дрожать за копейку, не учился по воскресеньям вести учет грехам и добрым делам за неделю. Я не был норвежцем — только природа Норвегии, только зрительный мир норвежца стал мне родным на всю жизнь.

В такие детские годы только одно лишь реально, все остальное фон — только одно лишь реально — это ты сам. Я жил острой, интересной, но своей жизнью, а не жизнью окружающих норвежцев — взрослых и детей — и моя жизнь была жизнь маленького русского интеллигента в русской семье.

Вообще русских в Норвегии не было. Даже в полпредстве и торгпредстве половина служащих состояла из норвежцев. Дома ли, на улице ли — мы чувствовали себя вполне свободными говорить все, что нам вздумается — о присутствующих или о других — все равно; мы могли быть уверены, что никто нас не слушает, а если и слушал бы — ничего бы не понял. Кроме профессора Брока и молодого писателя — Эрика Крага, переводившего русских авторов и женившегося впоследствии на русской, да еще жены майора Квислинга, секретаря Нансена — урожденной киевлянки, никто из норвежцев не понимал русского языка. Эмигрантов было тоже очень мало — человек пять на всю страну. Да и эти эмигранты вовсе не все считали себя «белыми» — советское полпредство они рассматривали как свое, приходили туда на вечера и не чуждались советских служащих, а советские служащие не чуждались их.

Тогда было такое время. Издательство Гржебина имело филиалы и в Москве и в Берлине, работая на читателя и в России, и в эмиграции, и трудно было сказать, кто, собственно, эмигрант. Эмигрант ли Шаляпин? Эмигрант ли Горький? Эмигрант ли Алексей Толстой? Эмигрант ли Эренбург? Далеко не всех эмигрантов сторонился за границей и Маяковский.

Один из эмигрантов был краснолицый, с огромным орлиным носом художник Каррик, когда-то выпускавший в России популярные детские книжки. Он был мрачен и озлоблен. Но он, собственно, был английский подданный. Мы видали его редко. Я его немножко боялся и не любил, так как раз, после долгих колебаний, решился показать ему рисунок, который стоил мне большого труда — рыцаря на лошади. Он посмотрел небрежно и

сказал, что задние ноги у лошади выгибаются в другую сторону, и мое самолюбие было задето.

Другой был Рощаковский. Я никогда его не видел и знаю только по рассказам. В японскую войну он командовал миноносцем «Решительный», который после одного из морских сражений был вынужден уйти в китайский порт Чифу и там был захвачен японской призовой командой. Рощаковский попытался утопить миноносец на буксире у японцев, как это было сделано со «Стерегущим», но это ему не удалось. Тогда он, заколов часового, спрыгнул в воду и доплыл до берега. Добравшись в Россию, он был награжден и прославился, как герой. Позже он принимал участие в приносившей немало дохода взяточникам и стоившей много жизней постройке Мурманской железной дороги. Когда во время войны в Мурманск был приведен откупленный у японцев «Варяг», командовал им, а когда английские оккупанты решили в 1918 г. захватить крейсер, опять прыгнул в море. После этих перепетий он попал в Норвегию, здесь стал работать маклером для рыбопромышленников. Нередко появлялся в торгпредстве, вел себя лояльно, но это не мешало ему раз в год ездить в Данию на поклон вдовствующей императрице Марии Федоровне по случаю ее тезоименитства. Хотя в то время эмигрантам были решительно отрезаны все пути возвращения, очевидно, он знал какое-то голубиное слово, потому что впоследствии, в 1928 году, папа увидел Рощаковского на улице в Москве. Папа подозревал, что в СССР он приехал для шпионажа. Кончил он, конечно в НКВД, но шпионом он как-раз не был — приехал из патриотизма,считал, что в СССР воссоздается Великая Россия (это узналось из перестроечных мемуаров одного «репрессированного»).

Затем была семья Гейнц. Она состояла из старушки матери, сына и дочери. Когда началась революция и так называемая «разруха», старушка лишилась пенсии (муж ее был чиновником), а сын ее Анатолий был безденежный студент, дочь — девушка Нина — тоже ничего не зарабатывала. Наступил жестокий голод, и дело шло о жизни. У них был какой-то дядя в Финляндии (потом оказалось, что в Норвегии). Они решили отправиться туда и подкормиться, пока не кончится голод. Им в голову не приходило, что на это посмотрят, как на измену, и что возврат домой для них будет невозможен. Они надели одежду покрепче и попроще, заплечные мешки, — и перешли финскую границу. Это ведь, как им казалось, была еще та же Россия, только под другим правительством — одним из тех бесчисленных правительств, которые расплодились на русской земле; но ведь если в Екатеринославе была одна власть, в Киеве — другая, в Самаре — третья, а в Москве — четвертая, от этого Россия не переставала быть Россией. Из Финляндии же дядя выписал их в Норвегию на законном основании.

Когда они прибыли в Норвегию, дядя умер, и они и здесь оказались в очень бедственном положении. Но в них был тот дух неунывающего труда, который был так знаком мне по тете Жене. Они сняли две комнатки в крестьянском доме, за два часа езды от Кристиании. Анатолий Евгеньевич Гейнц рисовал разрезные детские модели памятников архитектуры Кристиании для склеиванья; Нина Евгеньевна делала разные бумажные игрушки; их печатали и торговали ими в канцелярских магазинах; изготовлялись и другие самоделки — из картона, из корней дерева (в том числе знаменитый тролль на

Мишиной лампе), — а как только появились советские русские, брат и сестра стали давать уроки. Это позволяло Гейнцу учиться в университете.

С самого начала Анатолий Евгеньевич давал Мише уроки физики и математики, чтобы он не отстал от школы, а Нина Евгеньевна — русской литературы. Так мы с ними и познакомились. Мы всегда радовались приходу Нины Евгеньевны: она приносила нам разные интересные самоделки, захлопывающиеся бумажные вороньи морды, дергунчиков и т.д. А однажды мне на день рождения был подарен великолепный бумажный раскрашенный дракон с раскрытой пастью. Он был непрочным, поэтому играть с ним было трудно, но мы его подвесили на нитку под лампу в детской, и с этой высоты он озирал весь наш мир игрушек, в котором он был избран президентом.

Игрушек у нас было много, но они редко нас занимали. Были, правда, два великолепных водолаза, которых можно было опускать в ванну, а затем, дуя в резиновый шланг, прикрепленный к голове скафандра, заставлять их всплывать на поверхность. Особенно щеголеват был водолаз Алика; его любимая обезьяна даже развелась с Аликом для того, чтобы выйти замуж за водолаза. Эти водолазы годились в дело: о ни вели подводные работы у берегов Ахагии, а даже губка, которой мама немилосердно нас мылила, была не губка, а хищное морское животное — «сирена боэмская», и в связи с этим на карту острова Гунт были пририсованы Боэмские острова, где она гнездилась. Но что было делать с мишками, львами, паяцами, обезьянами в моих играх, где все должно было быть правдоподобно?

Поэтому только один раз в год все игрушки, включая даже какие-то вырезанные из бумаги фигуры, вытаскивались на свет божий для производства выборов. Дело началось с того, что Алику подарили Кота Феликса — странное, совершенно непохожее на кота озорное существо, скопированное с тогдашнего героя детских мультипликационных фильмов, впоследствии вытесненного Микки-Мышонком. Алик пришел от него в восторг, и Кот Феликс стал своими озорными выходками непрерывно будоражить умы мишек и обезьян. Прежде всего он ополчился на плюшевого льва, который по традиции считался королем игрушек. Феликс сколотил коммунистическую партию и потребовал низложения короля. Среди игрушек был устроен переполох и король был низложен, но по совету хитрого медведя — Михаила Михайловича Самсоненко, выражавшего мое мнение, — вместо советской власти, о которой мы совершенно ничего толком не знали, была установлена республика с президентом. Я тогда по-своему интересовался политикой, и даже написал в 1924 году трактат под названием «Для чего мы живем?» Трактат этот так мне понравился, что я сам перевел его на английский язык. Я высказался в том смысле, что всем должно быть хорошо, надо жалеть, а не убивать, а для этого нужно, чтобы все люди друг другу помогали. Философия эта была недалека от морали «Крокодила» Чуковского.

Смутные воспоминания петроградской поры заставляли меня думать, что хотя большевики и свергли царя, но они убивали своих противников так же, как и белые. Надо сказать, что, в отличие от меня, моих родителей политика мало интересовала, и в то время смысл большевисткой революции для них совсем заслонялся кровавыми событиями гражданской войны. И хотя мои родители крайне редко говорили о политике — и всего менее со мной, —

надо полагать, что мой «трактат» был отзвуком их мнений, особенно мнений мамы, которая была убежденной пацифисткой. И в Ахагии, и в среде игрушек, мне казалось, нужно устроить все как-то по-иному, чем в России — норвежский мир был и привычнее и более устраивал меня.

Поэтому Самсоненко воспротивился коммунистической революции Кота Феликса, и решено было ежегодно производить выборы игрушечного президента. Игрушки разделились на несколько партий: «древесные», «хищные» и «сапоги». Все они выволакивались на середину детской, и им производился подсчет. Выигрывала та партия, которая имела, после всех подарков за год и выбытия развалившихся игрушек, больше всего представителей ко дню выборов — обыкновенно побеждала партия «древесных» (куда зачислялись все животные травоядные и лазающие), или блок «древесных» и «хищников» против «сапогов», которые были люди, и потому — угнетатели животных, как у Чуковского в «Крокодиле».

Вот почему появление Нины Евгеньевны Гейнц с новым пополнением для наших избирателей громко приветствовалось.

Но мы радовались гораздо больше, когда предстояло поехать к Гейнцам в гости. К ним надо было долго ехать на поезде с электровозом, а потом долго идти от станции до хутора Рейста-Гор, где они жили. Дорога вилась от хутора к хутору, взбиралась с горки на горку; зимой тут замечательно было нестись на финских санях; затем — короткий крутой подъем, лай грозных и кусачих собак — и мы на хуторе Рейста-Гор.

Это было несколько низеньких домов, конюшен, амбаров и тому подобного, окружавших пространство двора на холме, а сами эти строения были окружены садовыми и еще какими-то деревьями по склонам. В углу двора стоял домик или хижина, где жили Гейнцы. Мы входили в деревянные сени, где на лавке стояло ведро с колодезной водой, в углу — топор и метла, а оттуда — в горницу; и сразу попадали в Россию.

Не знаю, как это происходило, но в низеньких комнатках Гейнцев, где стояла простая сельская мебель и самодельные стулья из лесных веток, было светло, чисто, как-то по родному, и непохоже на Норвегию. И чистая, неторопливая речь старушки, и русский стол, и сама одежда — Анатолий Евгеньевич ходил в какой-то брезентовой куртке и тяжелых башмаках с крагами, мать его — в черном старушечьем платье с белым кружевным воротником, как не ходили норвежские старушки, — и ненорвежская приветливость (не то чтобы норвежцы не были приветливы, но у них это было как-то по-иному); как и чистая скатерть и занавески здесь были непохожи на неприкосновенную накрахмаленную чистоту норвежских настольных салфеточек и занавесок, которые детям нельзя трогать; во всем я чувствовал эту разницу. Если бы у Гейнцев был телефон — хотя, конечно, в Рейста-Гор его и в помине не было — сосед не мог бы, поговорив по нему, положить на стол пятак, как было принято у норвежцев — даже у Стриндбергов.

Иначе как этим далеким примером трудно объяснить, как и почему это чувствовалось — но это чувствовалось, и навсегда для меня так это осталось: когда я думаю о России, то для меня это — солнечный свет в окнах деревянной горницы, неторопливая, чистая речь опрятной старушки, которая не могла

бы сказать неправду, если бы от этого зависела даже жизнь. Такой свет я видел потом вокруг серовской «Девушки с персиками» и на одной картине Игоря Грабаря в Ереванском музее, а таких старушек еще видал в двадцатых и начале тридцатых годов.

И сами эти люди были какие-то светлые. Анатолий Евгеньевич был высокий, плечистый, с чистыми карими глазами; старушка была маленькая, совсем непохожая на сына, но тоже вся чистая; Нина Евгеньевна была высокая, смуглая, с гладко расчесанными на прямой пробор волосами и большими темными глазами. Некрасивая. Все они трое были разные, но все свои, русские, хотя о России тут мало говорилось — говорилось больше о повседневном.

То, что я так их запомнил, наверное, было бы им приятно, особенно Нине Евгеньевне. Вся ее стародевическая, неустроившаяся жизнь была посвящена сбережению русского языка и русского чувства за рубежом. Уже после нашего первого пребывания в Норвегии к ней, помнится, приезжали из Германии какие-то эмигрантские дети заниматься по-русски; она с огромным терпением с любовью сочиняла рукописный русский детский журнал и посылала его в круговую по знакомым и незнакомым эмигрантским семьям Европы. Вместе с папой она переводила на русский язык норвежских писателей, и кое-что из того, что она писала, вышло в Латвии — и даже в Советском Союзе — конечно, не под ее настоящим именем — это было невозможно; почему-то она называлась на титульном листе Ниной Мореско.

Кроме этих нескольких эмигрантов были, конечно, русские и в полпредстве, и в торгпредстве, но большинство из них плохо запомнились. Они обыкновенно оставались на работе недолго — никто не прожил в Норвегии столько времени, как мы. Поэтому, хотя они и часто бывали у нас, но лица их промелькнули и исчезли, не оставшись в мальчишеской памяти, или оставшись без связи, без впечатлений вокруг себя.

Помню только Николая Федоровича Комиссаржевского — брата великой актрисы — прямого, в черном костюме в светлую полоску и стоячем крахмальном воротничке, с сердитыми усиками и сдерживаемой улыбкой, со шрамами на шее, — и двух его дочек. С ним папа немного сдружился.

А некоторых из папиных сослуживцев не стоило и вспоминать. Был, например, циничный и остроумный черный толстяк Гай с бегающими глазами, который потом оказался скрывавшим свое прошлое «белым журналистом»; был томный декадентский юноша Лебедев, изнеженным голосом рассказывавший о пытках, применявшихся Ватиканом в Средние Века; был высокий, бледный, холодно-презрительный Нагловский с разряженной женой, впоследствии оставшийся в Англии. Наш первый полпред, Михайлов, еще в 1921 году собрал весь свой штат и заявил ему: «Красин ввел в Лондоне слишком высокие ставки для сотрудников, якобы для представительства, а я считаю, что такие ставки развращают. Я попросил утвердить мне оклады в два с половиной раза меньше». И в Норвегии не было «невозвращенцев». Этот сорт людей, которые ехали работать в советское представительство за границей, чтобы нажить валюты и остаться в капиталистических странах, папа глубоко презирал и одобрял старика Михайлова.

Служить признанному правительству, какое бы оно ни было, так уж служить не за страх, а за совесть.

Большевиком отец мой не был. Далеко от этого. Но он связал с большевистской Россией свою судьбу, и другой не представлял себе. Напрасно его соблазнял и звал к себе его бывший шеф из «Азовско-Донского Коммерческого банка», Каминка, напрасно своей славянской вязью писал ему из Праги горькие письма Алексей Николаевич Ремизов, напрасно в берлинском кадетском «Руле» с провокационной целью было напечатано, что в полпредстве СССР в Норвегии единственный порядочный человек — Дьяконов. Возможность бросить Россию даже не обсуждалась и не могла обсуждаться у нас. Но как он был до революции «интеллигентом вне политики», с неопределенными слабо-либеральными взглядами — таким он и остался; в нашем окружении в Норвегии не было ничего такого, что заставило бы интеллигента пересматривать свои взгляды, «перестраиваться». Все вокруг было, как до революции, и само торгпредство было, как обыкновенная торговая контора, в которой часть служащих зачем-то тратит время на какие-то партийные собрания. На столе у папы лежали норвежские консервативные газеты и эмигрантский «Руль» — впрочем, не потому, что он придерживался взглядов этих газет: просто норвежская почта не поставляла «Известий» и «Правды». А то, что печаталось в «Руле», вызывало иногда печально-ироническое замечание о потерявших родину и родной язык, а иногда сочувственный и немножко снисходительный смех, — например, забавный фельетон, описывавший жизнь в большевисткой Москве: безлюдье, тишина, снег, снег, заваливший толстым слоем улицы и площади; фельетон кончался словами:

«... И никого. Только Клара Цеткин в новых калошах бредет из Центробумтреста в Главконфетку».

Конечно, Гай, Лебедев и Нагловский не могли возбудить интереса и сочувствия к советскому правительству. Были ли, однако, настоящие коммунисты? Были, но их было мало, и главным образом в первое время, при Михайлове. Был, конечно, наш полпред Суриц, маленький полный человек с седой бородкой и с голоском, до хрипоты надорванным на митингах, но он был недолго — ровно столько, чтобы внушить уважение, но не столько, чтобы с ним была возможна близость или дружба. Была, наконец, Коллонтай, которая вошла в дом почти как друг: от этого отделяло только то, что она была начальством.

Приезду Александры Михайловны Коллонтай предшествовала молва о ней. Она была известной всем проповедницей свободной любви. Одно норвежское издательство решило сделать себе из нее рекламу и выпустить ее «Любовь пчел трудовых», а Миша заработал для нашей семьи сколько-то крон на переводе. Но образ, который сложился по молве, был совсем не похож на ту, какой она была в действительности. Это была полная, хорошо одетая, молодящаяся дама, с мешками под глазами, отнюдь не красавица, с виду гораздо более дочь генерала и жена генерала Коллонтай, чем революционерка и большевичка. С ней приехала глупая, нудная и сухая приживалка — не то подруга, не то прислуга — Пинна Васильевна, носившая такую же челку, как Александра Михайловна, и бывшая в прошлом женой одного из ее мужей.

Коллонтай была полна ума, юмора и такта; в гостях у нас она громко и

заразительно смеялась папиным самодельным фельетонам из жизни торгпредства, умела очаровывать рыбопромышленников и их жен за парадным столом (я этому раза два был свидетелем в нашем доме). Норвежцы гордились тем, что в их стране первая женщина-посол, — не «фру министер Коллонтай» (госпожа министерша Коллонтай), а «министер фру Коллонтай» (министр, госпожа Коллонтай) — и тем, что эта женщина говорит — хоть не очень чисто, с примесью шведского — на их языке и может даже прочесть лекцию о Советском Союзе. Но, по словам папы, она не отличалась храбростью, боялась самостоятельных решений. Позже я узнал, что она приехала в Норвегию после истории с «рабочей оппозицией»,[1] которую она возглавляла вместе со Шляпниковым и должна была потом каяться. Не очень удивительно, что она побаивалась Кремля.

Мне жаль, что по моему возрасту я мало понимал, да и не слушал рассказы Александры Михайловны. Помню только, как она рассказывала про заседание первого состава Совнаркома, в котором она была наркомом социального обеспечения. По ее словам, они считали там своей задачей как можно скорей издать как можно больше принципиальных революционных декретов, чтобы показать пути пролетарской революции, надеясь продержаться все же немножко дольше, чем Парижская Коммуна. Только один человек, рассказывала она, твердо говорил нам, что мы пришли навсегда. Это был Ленин.

А было много других рассказов. Почему-то запомнилось имя Питирима Сорокина. Часто говорили по-французски.

Коллонтай, как мне теперь кажется, заставила папу больше уважать коммунистов (слово «большевики» теперь у нас не употреблялось, — оно воспринималось как ругательное). Но не своих местных, из торгпредства. Они были уж очень плохи. Это был необычайно хвастливый рыжий французик Боди, женатый на хорошенькой, грассирующей полурусской блондинке, владелец сеттера Педро и любитель охоты, — а вернее, охотничьих историй, так как, по имеющимся данным, стрелять он не умел. Этот Боди, впоследствии направленный Коминтерном на работу обратно во Францию, открыл там мелочную торговлю и тем завершил свое политическое поприще. Был длинный, скучный швед Турс Андерсон, бесконечно щекотавший папино чувство юмора своим русским языком невпопад («жена поручила мне купить электрическую дыру»... — имелось в виду устройство, в котором разогревались щипцы для завивки волос) — и полным отсутствием интереса к чему бы то ни было. Затем был совсем уже глупый и глупо острящий песочно-рыженький норвежец Сунд, к тому же и интриган; лучше всех был швейцар Карлсен; тот, видимо, был настоящий коммунист.

В полпредство постоянно приезжали писатели, политические деятели — например, последний из мужей Коллонтай, знаменитый матрос Дыбенко, и другие; но дома они у нас не бывали, кроме немногих, — например, замечательного человека — кораблестроителя Алексея Николаевича Крылова. Его-то уж папа затащил к нам.

Папа был в детстве болельщиком военно-морского дела; он мечтал стать

[1] Признавая необходимость диктатуры против классовых врагов, «рабочая оппозиция» стояла за демократию для трудящихся.

моряком — помешала близорукость. Мама этому была рада: едва ли он остался бы в живых в революцию. Но страсть к морскому делу сохранилась у него на всю жизнь. У него было множество морских книг, подробные реляции русско-японской и германской войны, он в совершенстве знал морские термины — в этом была его романтика. Как же было не затащить к себе Крылова?

Крылов появился в том самом виде, в каком он смущал лондонских мальчишек, кричавших ему вслед: «Бородач! Бородач!» — высокий рост, большая седая борода, умные светлые голубые глаза, в которых жила такая же смешинка, как у папы, сероватый не то френч, не то толстовка и русские сапоги. Целый вечер шел разговор на морские темы.

Крылов рассказал, как на Лондонских верфях его принимали за рабочего, и это позволяло ему узнавать секреты, которые официальные лица хотели от нас скрыть; рассказал забавную историю о своем выступлении в суде в роли адвоката: в английском морском суде разбиралось дело капитана рыбачьего судна, которого мы обвиняли в том, что он ловил рыбу в наших водах без дозволения. Капитан утверждал, что он не ловил рыбу, а совершал пробный рейс, так как судно было новое. Доказательств противного не было.

Алексей Николаевич, в своей толстовке и сапогах, вышел на адвокатское место и начал перекрестный допрос:

— Скажите, какое это было число?

— Тринадцатое.

— А день недели?

— Пятница.

— Милорд, — обратился Крылов к судье, — кто видел когда-нибудь моряка, который станет испытывать судно в пятницу тринадцатого числа?

Дело было нами выиграно.

Рассказывал о том, как ездил в Бизерту, пытаясь добиться возвращения Черноморского флота, уведенного Врангелем, о том, как в Японскую войну на Невском судостроительном заводе вместо клепки, которую воровали, в железные листы корабельной обшивки строившегося крейсера «Изумруд» вгоняли свечи, о том, как погиб на Черном море линейный корабль «Императрица Мария» — от горящей свечи, занесенной матросом в пороховой погреб (интендантство ставило на матросскую обувь гнилые подметки, и матросы их чинили листовым порохом, который они таскали из этого погреба); и обсуждал с папой мореходные качества разных кораблей старого русского флота.

Но самым замечательным было то, что, проговорив с папой до поздней ночи, Крылов под конец спросил его:

— Простите, вы на каком корабле служили?

Большего комплимента для нашего «сухопутного морского волка» и представить себе было нельзя. Хотя я в это время уже спал, но легко представляю себе серьезное папино лицо и скрытое веселье за пенсне. Разыграть Алексея Николаевича Крылова!

Другим человеком, несшим с собой морскую романтику, был Рудольф Лазаревич Самойлович — известный тогда полярный исследователь. Конечно, ему далеко было до Амундсена, но все же он был первый из русских

полярников, и посмотреть на него было интересно. Это был (как мне казалось) большой, тяжелого сложения человек с огромными черными моржовыми усами и с ярко блестевшей, совершенно гладкой головой без признака волос. Он дважды приезжал в Норвегию по делам своих полярных путешествий — он тогда совершал плавание на маленьком суденышке «Персей» вокруг Новой Земли, — и оба раза бывал у нас. Во второй раз он приехал с женой — красивой, стройной, полной юмора Еленой Михайловной, которая быстро подружилась с папой и мамой. Ее разговоры у нас были, однако, самые домашние, а Рудольф Лазаревич, помнится, был неразговорчив, так что мне нечего рассказать интересного об этом человеке — в своем роде замечательном, как мне теперь ясно. Именно он, по всей вероятности, привлек папино внимание к полярным исследованиям — он и обстоятельства, так как тогда весь мир занимали полеты Амундсена, а перевести его отчеты с норвежского кому было, как не папе? Благодаря и этим переводам и дружбе с Самойловичами папа потом и стал историком полярных путешествий.[1]

Еще один из приезжих стал впоследствии другом. Это был актер театра Вахтангова — Русланов. Вахтанговцы выехали на заграничные гастроли — и в Стокгольме прогорели. Не на что было ни жить, ни вернуться. Были собраны последние средства и посланы гонцы в Осло и Копенгаген. В Осло поехал Русланов и познакомился здесь с папой, который тогда из старших бухгалтеров торгпредства сделался уже заведующим финансовым отделом или даже замторгпреда. Когда Русланов назвал ему сумму, папа свалился на диван, сделав вид, что у него сердечный припадок, а Русланов, войдя в роль, стал считать ему пульс. Словом, папа раздобыл денег для вахтанговцев, съездил с Руслановым в Стокгольм — и вернулся оттуда энтузиастом «Турандот» и обладателем вечного пропуска на любой спектакль театра Вахтангова. А в наше распоряжение достался роскошный альбом с текстом пьесы, с нотами песенок и с подробными воспоминаниями о том, как Евгением Багратионовичем Вахтанговым и веселой труппой его молодых студийцев создавался этот своеобразный спектакль-игра. И нам же достались, конечно, бесконечные папины рассказы — и показы — и исполнение песенок — и, словом, целая вахтанговская «Турандот» на дому в единоличном папином исполнении.

Все эти люди и встречи в целом могли лишь укрепить папу, с одной стороны, в решимости (если она и нуждалась в укреплении) никогда не порывать с Россией, а поэтому с большевиками, а с другой стороны — в убеждении, что политика — нестоящее дело, и никаких политических убеждений иметь не нужно.

Мама была куда определеннее в своих убеждениях, только эти убеждения с трудом можно было бы назвать собственно политическими.

Вообще говоря, мама имела для меня гораздо большее значение, чем папа. С папой бывало весело. Хорошо бывало забраться с ним на диван и слушать, как он поет забавные песни — про «Комарочка», который погиб от несчастной женитьбы, про то, как «было у тещеньки семеро зятьев», про какие-то

[1] Самойлович был расстрелян в 1937—38 г.; сын погиб на фронте; жену чудом занесло в Америку.

непонятные «гречаныки», — но с нами он говорил всегда шутя, и даже его приказы не считались нами обязательными. Иногда было неясно, зачем он от нас что-то требует, иногда его требования казались нам произволом, иногда они делались в сердцах, и не было в таких приказах неизбежности.

Мама — другое дело. Она была очень молчаливой, мало говорила и с нами, но всегда — серьезно; если требовала чего-нибудь, всегда объясняла, почему это нужно, а если не объясняла, мы все равно знали: если мама говорит, значит, есть достаточные причины, почему надо сделать именно так. Раз сказав, она твердо держалась слова: если скажет, что не будет со мной разговаривать, значит не будет, пока не кончится срок. Если была передо мной неправа — просила прощения. Никогда, даже шутя, не говорила неправды, и даже тени неправды не терпела. Поэтому я ей верил совершенно безговорочно, и в голову не могло прийти ее не послушаться. Очень редко, — за все мое детство раза четыре, — мама сердилась, и при этом совсем уже не сдерживала себя — но и то сердилась не на нас. Но гораздо страшнее было, что она посмотрит на тебя своими печальными черными глазами — ее нельзя было не послушаться. Слушался во всем я только маму и Мишу: Мишу потому, что он был мне другом, никогда не говорил свысока, и если требовал от меня чего-нибудь неприятного, — я знал, что это нужно, и считал, что, если Миша сможет, он всегда сделает и для меня то, что будет нужно мне. Поэтому я стоял горой за Мишу, и когда папа раздражался на его медлительность, или «разносил» за что-нибудь (а это случалось нередко: Мишу вообще держали строже, чем меня) — я всегда, как тигр, кидался на его защиту; я вообще имел обыкновение бросаться на защиту попранной — как мне виделось — справедливости, — по большей части, когда дело меня совершенно не касалось, — за что и получил прозвище «доктор Львов».

V

Мама, а позже и Миша, были почти единственными моими учителями — не считать же прескучной Маргит с ее тычинками, — но, как я уже говорил, официальными науками меня утруждали мало; помню обучение четырем правилам арифметики, которые преподавала мне мама с некоторым усилием. Я не очень углублялся в арифметические задачи, и боюсь, что успехи мои были невелики. Гораздо важнее были папины книги, которые я без конца пожирал. Тут были «Детство и отрочество», «Записки охотника», Пушкин, был потрясший меня сборник «Крепостное право» — особенно глубоко запала мне в душу повесть «Миша и Ваня» (хотя я и не запомнил тогда фамилии Салтыкова), а с ней, может быть, запало в душу и первое чувство благодарности революции.

Много было книг совсем не беллетристических — география, астрономия, не знаю еще что. Были бесконечные разговоры с Мишей, сцены из «Двенадцатой ночи», которые разыгрывали мы с ним — ее ставили на выпускном вечере в Мишиной школе, все еще по привычке называвшейся «Лентовской гимназией»; Миша тогда приехал полный впечатлений от этой постановки, в которой он играл герцога Орсино, — полный впечатлений, влюбленностей и дружбы, о которой напоминало золотое колечко «лентовцев»

с буквой «Л» на черном камушке. Мне кажется, Миша так или иначе рассказывал мне — если не все, что он знал, то, по крайней мере, все, чем он увлекался, — и основы индоевропейской сравнительной грамматики были мне преподаны раньше, чем основы русской грамматики и алгебры.

Важным было и то, что говорила мама. Она говорила редко, главным образом, когда я ее спрашивал, но говорила всегда с таким спокойным убеждением, что я на всю жизнь и запоминал, и проникался этим убеждением: то, что мама говорит — это правда. Поэтому я узнал, как несут жизнь по нашим артериям красные кровяные шарики, как защищают нас от врагов солдаты — белые кровяные шарики, как по телеграфу нервов передаются сообщения, а навстречу несутся приказы из мозга, как нас окружает враждебный мир микробов; и я твердо помнил, что еду, упавшую на пол, есть нельзя, и нельзя садиться за стол, не помыв руки; я узнал, что великие люди — это те, которые не жалели жизни, чтобы сделать жизнь людей легче, и боролись с болезнями и со смертью; я научился с уважением относиться к именам Леонардо да Винчи, Пастера и Ивана Петровича Павлова. И, главное, я научился от мамы основным правилам жизни — «что такое хорошо и что такое плохо».

— Не делай другому того, чего ты не хотел бы самому себе.

— Не лезь в драку; если пристают — отшутись.

И как все, что говорила мама, это было абсолютной, несомненной истиной, истиной на всю жизнь. Первое правило выполнить было легко, второе трудно; помогало только то, что если не выполнять его, то вздуют, так как я драться не умею и руки у меня слабые, — только ноги сильные и быстрые. Но с каким невеселым трудом я отшучивался от обид!

Однажды мама принесла вдруг коричневую книжку — «Закон Божий» какого-то эмигрантского протоиерея, и сказала мне:

— Некоторые считают, что Бог есть, другие считают, что его нет. Вырастешь, тогда сам выберешь, что тебе покажется правильным. Но образованный человек должен знать эти вещи, а поэтому я достала тебе книжку, и мы ее будем учить.

И стала добросовестно давать мне уроки закона божьего. Я честно учил истории Адама, Ноя и библейских патриархов, которые показались мне нелепыми, тем более, что от мамы я давно знал, что человек произошел от обезьяны, а Анатолий Евгеньевич подарил мне роскошные, сделанные им самим рисунки диплодоков, трицератопсов и плезиозавров, и мне было известно, что не было никакого потопа. И, вообще, мамина «объективность» была совершенно бесполезной: я прекрасно знал, что мама (и папа тоже) не верит ни в какого Бога, а следовательно, его и нет; даже вопрос о том, что, может быть, есть какой-то Бог, не вставал передо мной, и, вероятно, если бы меня о нем спросили, я отнес бы его к числу детских сказок, вместе с аистом и «земной матерью», покупающей у этого самого Господа-Бога грудных младенцев. Но, следуя маме, я с уважением прочел по-церковно-славянски часть «Евангелия от Матфея», а так же усвоил и принял к исполнению десять заповедей, — кроме «не сотвори себе кумира», что казалось довольно неактуально, и «не прелюбы сотвори», на которой я запнулся и получил разъяснение, что «это ты узнаешь потом»; до «заповедей

блаженства» я либо не дошел, либо не понял их, а идея подставлять вторую щеку меня не прельщала. Я был мальчик злопамятный: любую, самую мелкую обиду я помнил годами, и непротивление злу казалось мне ненужным и непонятным. Зато я запомнил наизусть символ веры, хотя это не требовалось. Помню твердо и сейчас.

Этим почти и ограничилось мое образование, если не считать уроков английского языка.

Папа, приехав в Норвегию с Мишей, в порядке организационного порыва отдал Мишу учиться английскому языку сразу двум учительницам — мисс Стори и мисс Бюринг. Мисс Стори учила по методу Берлица — не говоря ни слова на другом языке, кроме английского. А Мисс Бюринг учила по старинке: просто читала английские книжки с учеником, потом заставляла его писать. При этом кое в чем они расходились в произношении, что приводило бедного Мишу в замешательство, а мисс Стори в раздражение. Поэтому, когда Миша уехал кончать школу в Петроград, я унаследовал от него только мисс Бюринг. Иногда на урок со мной ходил и Алик, потому что ему «было полезно послушать», но он не столько слушал, сколько лазал под кресла и устраивал беспорядок в безделушках учительницы.

Квартира мисс Энн Уотт-Бюринг (однокомнатная) была совершенно непохожа на жилье знакомых мне норвежцев, да и сама она была полунемка, полушотландка. Таких комнат я потом видал немало в России: полутемная, непроветриваемая, вся заставленная протертыми, пропыленными креслами и стульями, обитыми гобеленовой материей, и неуклюжими, неудобными черными комодами с резными ангелочками; на этих комодах — безделушки, слоники, на стенах — выцветшие сентиментальные литографии в духе Каульбаха, на этажерках — книги в сафьяновых переплетах, покрытых водорослевидными золотыми цветами, изданные не позже девяностых годов; на круглых «окказиональных» столиках — пожелтевшие кружевные салфеточки. Сама мисс Бюринг была под стать комнате, хотя — как теперь подумаешь — она была совсем не старая: вряд ли ей было пятьдесят, но мне она казалась невозможно дряхлой и обрюзгшей. Разговор мой с ней был по необходимости ограничен: она говорила со мной почти исключительно по-английски, а я еще долго не мог достаточно хорошо понимать речь на этом языке.

Мисс Бюринг полюбила меня, и я отвечал ей взаимностью. Скоро наши отношения стали какими-то более близкими. Иной раз мисс Бюринг приглашала меня к столу и угощала большой чашкой жестоко крепкого шоколада; осадок густо покрывал стенки чашки, а сердце начинало колотиться. Тут начинался разговор, — а вернее моя безудержная болтовня. Мисс Бюринг слушала меня, улыбаясь мне своими английскими, крупными, выдающимися вперед желтоватыми зубами, и скоро узнала обо мне все, что я мог о себе рассказать, например, что я занимаюсь чтением египетских иероглифов. Мисс Бюринг удивилась, но сразу истолковала это так, что в меня переселилась душа древнего египтянина; и этим объясняла мои довольно быстрые успехи и в английском языке. (В действительности они объяснялись отчасти тем, что английский был для меня уже второй иностранный язык, отчасти тем, что я легко сориентировался в соотношении английского с

норвежским. Кроме того, я не делал типичных для норвежцев ошибок, а отсутствие типичных ошибок всегда радует преподавателя).

Мне было гораздо труднее узнать что-нибудь о моей учительнице, да в этом возрасте, кроме себя, мало кто интересен; но постепенно я узнал, что она родилась в Шотландии от отца-немца и матери-шотландки и в прежние времена была фрейлиной датской королевы.

Метод ее преподавания вполне соответствовал моим привычкам в учебных делах; урок начинался с того, что она меня спрашивала: «Well, what shall we do to-day?» — «Ну, с чего мы начнем сегодня?» На что я отвечал, что сегодня мы будем читать, или сегодня будем писать. Читали мы прекрасные Oxford Readers, где были рассказики о детях одной английской семьи, и ребенок, читая, с интересом следил за событиями, совершенно не замечая, что все слова были подобраны в определенном порядке, так что с каждым новым уроком-рассказом заучивалось новое орфографическое и произносительное правило. Учить грамматические правила не было особой нужды, так как строй английского языка мало отличается от норвежского. Читали мы затем пожелтевшую, с раскрашенными гравюрами книжку «Nursery Rhymes», и во всяком случае по прошествии двух лет я уже мог свободно читать по-английски почти все. Я даже смог, как я уже говорил, перевести на английский язык тетрадку со своим «философским» сочинением; но говорить по-английски я не решался — главным образом потому, что стеснялся. Говорить с ошибками, как папа говорил по-норвежски — совершенно бегло и без всякого внимания к произношению, родам, сложным временам и тому подобному — казалось мне унизительным для самолюбия.

Самолюбие и гордость были самой главной моей чертой. Три черты мне кажутся существенными в моем тогдашнем характере — непрерывная работа воображения, невероятная любознательность, граничившая с любопытством, причем все, что мне случалось узнать, удерживалось сильной благодарной памятью, — и самолюбие. Я был чрезвычайно доволен своей красотой и умом и, главное, считал себя особенным, непохожим на других. Это убеждение поддерживалось тем, что и по образу жизни, и по случайно приобретенным знаниям, и по своей маленькой жизненной истории я действительно резко отличался от моих сверстников.

Гордостью во мне я был тоже непохож на моих сверстников. Как-то, гуляя в «Дворцовом парке», я заметил, что проходивший мимо господин уронил письмо. Я подобрал это письмо, подбежал к нему и подал. Он поблагодарил, вынул кошелек и протянул мне гривенник. Я обиделся и сказал ему:

— Я не делаю услуг за деньги!

Тот несказанно удивился и еще долго пихал мне свой гривенник. И в самом деле — я знаю точно, что никто из знакомых мне норвежских ребят от этого гривенника не отказался бы. Копейки за мелкие услуги, за то, чтобы сбегать в магазин, чтоб отнести взятую у соседки кофейную мельницу — это было в порядке вещей. Иначе на какие же средства можно было купить «любовь на палочке!»

В данном случае эта была гордость, так сказать, «инстинктивная» — я не знал бы, как объяснить ее, если бы меня попросили. Но была и гордость своими знаниями и умом — и в том и в другом я тоже считал, что отличаюсь

от других. Даже, лучше сказать, — это была гордыня!

Помню, как в споре с Ингер Андерсен я утверждал, что ее родители в чем-то неправы (кажется, это была пресловутая история с рождением детей), а Ингер с ожесточением и чуть ли не со злостью кричала мне:

— Как ты можешь это говорить! Что же, ты знаешь больше, чем взрослые? Что же, ты знаешь больше, чем взрослые, когда тебе одиннадцать лет!

Тщетно я пытался ей представить соотношение моих знаний и знаний ее родителей графически, рисуя палочкой на земле диаграмму (хотя я и не знал, что есть такое понятие):

— Пусть это будут все знания, которые есть на свете:

Твои родители знают вот столько:

А я знаю вот столько:

Видишь, я знаю гораздо меньше, чем знают твои родители, но я знаю что-то из того, чего они не знают.

Это произвело на Ингер ровно столько впечатления, сколько — как я узнал гораздо позже — на женщин вообще производят логические доводы. Она ушла в гневе и нажаловалась родителям, что Гарик хвастается, будто знает больше ее папы и мамы.

Приблизительно в это время Миша рассказал мне санскритскую сказочку, прочитанную им на занятиях в университете (с Моргенстьерне):

«Жили-были четыре брахмана, из которых трое было ученых, а один умный. Первые трое решили итти ко двору раджи, чтобы показать свою ученость, а четвертый сказал:

— Погодите, и я пойду с вами.

По дороге они набрели на скелет льва и решили испытать свою ученость:

— Я одену эти кости мясом, — сказал один.

— Я одену это мясо шкурой, — сказал другой.

— Я вдуну в его ноздри живую жизнь, — сказал третий.

— Подождите, я только заберусь на дерево, — сказал четвертый.

Первый брахман одел кости льва мясом, второй одел это мясо шкурой, третий вдунул в ноздри льва живую жизнь. Лев встал и съел всех трех брахманов и ушел своей дорогой. Тогда четвертый спустился с дерева и, оплакав своих товарищей, двинулся далее по своему пути ко двору раджи».

Различие между ученым и умным меня поразило, но заставило думать о силе того, кто был бы и ученым и умным. И таким должен был стать я.

Итак, я был самолюбив и горд, а потому обидчив и злопамятен; всего, что грозило унижением моему самолюбию, я боялся и старался избегать. Зато там, где я был уверен, что не наткнусь на унижение, я любил попозировать. Я часто вертелся перед зеркалом, любил сниматься (папа был превосходный фотограф, и стены нашей квартиры были увешаны его фотопейзажами и портретами). Но, сколько я себя помню, чуть ли еще не с Вольска, я считал невозможным сниматься «просто так»: я непременно принимал либо гордо-романтическую, либо загадочно-задумчивую позу. Кроме того, я считал, что у меня хороший вкус. В этом меня поддержал, сам того не зная, папа: однажды они с мамой обсуждали какое-то мамино платье. Папа позвал меня и сказал:

— Ты эстет. Скажи-ка, что ты думаешь об этом платье?

Хотя я первый раз в жизни слышал слово «эстет», но, конечно, виду не

подал и высказал свое суждение о платье; при том, хотя я понимал, что папу надо принимать не всегда в буквальном смысле, я совершенно серьезно воспринял этот разговор как дань моему вкусу и уму.

В общем, я имел немало шансов стать довольно-таки противным самовлюбленным нахалом, но меня спасало чувство справедливости и мамина максима:

— Не делай другому того, чего ты не хотел бы самому себе. — Поэтому я щадил чужое самолюбие, по крайней мере, когда понимал, что оно задето.

По той же причине мне приходилось туго в драках с Аликом; я знал, как неприятно быть побитым, и не дрался в полную силу, он же лез на меня с ожесточением и бил по лицу — то, чего я никогда не позволял себе: меня даже вчуже коробило, когда норвежские мамаши и старшие сестры запросто хлестали девчонок по щекам.

Но в одном мое чувство самолюбия было нсколебимо, — хотя я и не формулировал себе этого, конечно: то, что я делал, я должен был делать лучше всех, а если я этого не могу, то совсем не надо браться. Поэтому-то я стеснялся говорить по-английски, и поэтому, как только я чуть-чуть подрос, я перестал вылезать на лыжах на «Кузнецкую горку» и на большую, крутую «Фрогнерскую горку», где катались дети постарше. Я предпочитал ходить на лыжах вечером, когда стемнеет и ребята уйдут со двора.

Далеко ходить было не надо: в Осло не было запрета на лыжи и финские сани на улицах города — это было бы так же странно, как запретить велосипеды.

Раз мы с Мишей бежали на лыжах поздно вечером, в темноте, где-то за Фрогнерпарком. Я шел впереди. Лыжня была прекрасная, ровная, какие только и бывают в Норвегии, снег чудесный. Но я стал замечать, что слабый свет — от луны, что ли? — стал неверным, трудно различать спуски и подъемы и неровности пути. Небо какое-то светло-мутное, — наверное, это луна за тучами, подумал я. Но нет, — вот ведь звезды. Что ж такое? И вдруг, подняв голову, я увидел перед собой зеленоватые движущиеся пучки лучей и розоватое пламя посреди черного неба. Северное сияние! Да какое! Мы побежали быстрей — сияние мешало нам различать дорогу, снег стал неверно-бледным, каждый шаг был шагом неизвестно куда. А над нами вставали лучистые столпы, короны, фиолетовый отлив сменял зеленоватое сияние подвижных светлых занавесей — и сердце сжималось от торжественности этого часа. И тут я сделал шаг вперед и через голову покатился куда-то в пропасть, поднимая столбом снежную пыль. Лежа кучей на дне пропасти, я успел крикнуть, чтобы предупредить Мишу, — как раз, когда его фигура показалась на фоне неба на краю обрыва. Это была «Фрогнерская горка», с которой я и днем, будучи не больно-то храбрым, далеко не всякий раз отваживался спускаться. Из-за сияния мы потеряли ориентацию и попали на ее обрыв.

Эта завороженность в ночи и полет в пропасть, к которому она привела, оставили во мне какой-то необычный след.

На следующую весну около этого места воздвигли, по замыслу художника Вигеланна, огромный неотесанный камень — Монолит. Это было концом «Фрогнерской горки» и началом преображения наших раздольных пригорков

в благопристойный парк. Но этого превращения мы уже не увидели. Не знаю, каковы были тому причины, — кажется, просто тоска моих родителей по дому, — но только тем же летом 1926 года мы покинули Норвегию.

Вестником из того особенного мира, который существовал тем временем в России, был крейсер «Аврора», пришедший с визитом в Осло незадолго до нашего отъезда. Газеты были полны ее необыкновенной историей, — не без вранья; я знал ее историю лучше них. Впрочем, для меня «Аврора» была прежде всего не кораблем, давшим своим пушечным выстрелом сигнал к революции, а кораблем, участвовавшим в трагическом Цусимском бою, ход которого я знал по папиным книгам до деталей. Глядя не ее стройный силуэт на рейде Пипервикена, не ее длинные, производившие странное, архаическое впечатление трубы («макаронная фабрика», — повторял папа флотскую шутку), — я представлял ее в строе кильватера, идущей вместе со своими «сестрами» — «Дианой» и «Палладой» — по огромным, еще не виданным мной просторам океана, где длинная цепочка кораблей в обе стороны теряется в тумане горизонта.

Летом в Осло постоянно приходили с визитами иностранные военные суда. Тогда улицы города наполнялись матросами — английскими, со свисавшими сбоку бескозырки короткими лентами, французскими, с красным помпоном на бескозырке, американскими в белых шапочках, похожих на детские, шумливыми итальянскими матросами — даже аргентинскими. По большей части матросы были пьяны, безобразничали и шумели. На перекрестках, рядом с норвежским полицейским, появлялись иностранные моряки с повязкой на рукаве — морская полиция, и часто можно было видеть, как, например, американский морской полицейский волок упиравшегося матроса-пьяницу. Нравы американских моряков мне были хорошо известны и по комическому фильму с Гарольдом Ллойдом, моим любимым киноактером: мордобой, драки, бесчинства, от которых неунывающий Ллойд столько страдал.

Советские моряки поразили норвежцев и нас всех. Морской полиции у наших не было; матросы бродили по городу совершенно трезвые; один лишь раз я видел краснофлотца, который был чуть-чуть на взводе и учился кататься на велосипеде, под одобрительные комментарии владельца, где-то на припортовой улочке. Никакого бесчинства они себе не позволяли. Нам объяснили, что на «Авроре» моряки — сплошь комсомольцы; тогда едва ли не в первый раз я услышал это слово. В то время комсомольцами были немногие; вступление в комсомол требовало серьезных раздумий о своей жизни, которая отныне целиком должна была быть посвящена революции, подчинения всего себя одной цели. Не удивительно, что такие люди не могли вести себя непристойно в иностранном порту, куда они прибывали как живая агитация за оклеветанную буржуазной печатью пролетарскую революцию.

Мы съездили осмотреть «Аврору». На шлюпке вместе с нами сидел грузный, угрюмый, поражавший большущими прозрачно-белыми бакенбардами полярный исследователь Отто Свердруп — третий из трех великих норвежских путешественников, после Нансена и Амундсена.

Дух отважных путешествий окружал нас в те годы. В предыдущее лето мы с замиранием сердца следили за первым большим полетом Амундсена и

его товарищей над полярным морем. Мы, как и вся Норвегия, волновались, когда смелые путешественники пропали, не давая о себе знать; мы радовались, когда через две недели спасшийся самолет (виноват — тогда еще говорили «аэроплан») Амундсена сел на воду у берегов Шпицбергена и был подобран рыбачьим ботом, и по всему побережью Норвегии у каждого дома взвились красно-бело-синие флаги. Потом мы видели этот аэроплан, пришвартованный к бочке в Пипервикене, а пилот его, Рийсер-Ларсен, жил за углом от нас, и часто мы встречали его дочек в нашем магазине. Папа с Мишей тогда срочно переводили отчет об этом необыкновенном полете для издания в Советском Союзе, и я, знавший норвежский язык гораздо лучше папы, часто помогал ему в работе.

Потом начались полеты через Атлантику. Перелетел Линдберг, перелетел Чемберлин, но с Амелией Ирхарт погиб один из летчиков Амундсена, хорошо знакомый нам по его книге, — симпатичный Омдал. Все это нас интересовало, волновало и увлекало, поэтому сидеть теперь рядом с одним из великих путешественников было, может быть, существеннее, чем бродить по палубе «Авроры» и осматривать пушку, выстрелившую по Зимнему дворцу в день 25 октября.

Но это посещение оказало огромное влияние на Алика. Он уже выходил тогда из неосмысленного детства; это был уже мальчик, а не пухлое курносое дитя с толстыми надутыми губками и курчавой шапкой волос: ему исполнилось семь лет — и в этот день он заразился папиной страстью к военно-морскому делу. Он потребовал, чтобы на его матросскую бескозырку была специально заказана ленточка с золотой надписью ASA — названием броненосца из его страны, — теперь уже не «Нового Апельсина», а признанного даже и мной Виррона.

Но меня больше интересовали другие, еще более далекие от реального мира вещи.

Месяца за полтора до отъезда из Норвегии мы были с папой в книжном магазине Каммермейера на Карл-Юхане, около Университета. Роясь в книгах, я увидел здесь на полке великолепные тома «Кембриджской истории древнего мира». Вот то, что мне было нужно! Это было нечто посолиднее, чем давно изученный от корки до корки (которых, впрочем, уже не было — отлетели) истрепанный путеводитель Британского музея. Я стал просить, чтобы мне ее купили, а стоила она не дешево. Родители, конечно, решили, что это блажь. Однако я не отвязывался и, наконец, мне она была обещана — но под условием, что я в течение месяца отучу себя «косолапить» — загребать на ходу левой ногой. Условие показалось мне крайне обидным для моего самолюбия: вообще подарок под условием, да еще таким, — в этом было что-то унизительное! Это было хуже, чем «полезные рождественские подарки» норвежцев. Я был обижен на родителей — я тогда глубоко осуждал людей, которые не уважают детского самолюбия. (Конечно, хорошо уважать детей — но нужно ли потакать в них развитию такого самолюбия? Я сейчас уже этого не знаю). Но мне «Кембриджская история» была очень нужна, и я — пожалуй, впервые в жизни — поборол свою гордыню и в течение месяца приучил себя к «правильной» походке. Папа сдержал свое слово и действительно принес мне три тома «Истории древнего мира» — те, которые были

посвящены Древнему Востоку. Теперь это было главное сокровище моей библиотеки. Я его читал, изучал и постепенно стал знать чуть ли не наизусть. Я даже делал пометки, высказывая свои соображения по поводу того, что писали авторы.

Наступило время отъезда.

Завершилось наше пребывание в Нубельсгате тем, что папа нанял три такси и свез всех детей с нашего и соседнего дворов в кино. Только это я и помню; как мы собирались, как я прощался с ребятами — не помню, не помню даже, ехали ли мы все вместе, или папа с Мишей и на этот раз отправились вперед.

Последние сутки в Норвегии мы опять провели, как и первые, в «Отель Бульваре» — все возвращалось вспять; и за соседним столиком опять оживленно беседовала та же семья хозяина, но каждое слово было теперь разборчиво и понятно. Дальше я опять все позабыл, — как мы ехали, я не знаю. Помню только, что, переезжая норвежскую границу, при виде большого каменного столба-памятника, где написано «Норвегия—Швеция», я не удержался от позы и крикнул: «Farvel, gamle Norge!»;[1] а потом помню лишь, что на вокзале в Хельсинки мы увидели первый маленький самоварчик, в Выборге — два порядочных самовара, а на пустынной пограничной станции Райайоки (теперь — в 1955 году — лежащей в развалинах) — целых четыре огромных самовара в совершенно безлюдном зале. Помню заколоченные дачи петербуржцев вдоль железной дороги у станций Уусикиркко, Райвола, Териоки, Куоккала, напряженное ожидание границы, потом мостик через известную речку с загадочным — а может быть, символическим именем «Сестра»; на одном конце мостика стоял финский солдат в мышино-серой, коротенькой, как будто слишком тесной шинели и лыжной шапке с козырьком, а в пятнадцати шагах от него — красноармеец в длинной грубой рыжеватой шинели до пят и остроконечной буденновке, — и вот полвагона в России, а полвагона еще за рубежом.

Потом долгое сиденье в деревянной избе — таможне или вокзале — в пустынном и унылом Белоострове, и голые мальчишки, купающиеся в Сестре, дерзко вылезая на финский берег (граница еще не была «на замке»); потом хилые, покосившиеся, промокшие от непочиненных крыш, старомодные дачки с остроконечными башнями-шпилями и разбитыми цветными стеклами веранд, невзрачные заводские окраины, заборы, какие-то облезлые кирпичные здания, — и вдруг под железнодорожной насыпью, слева, вдоль булыжной мостовой побежал красный, родной трамвайчик! Значит — дóма, значит — все годы в Норвегии пробежали, как какой-нибудь фильм, которому рано или поздно приходит конец, значит — все возвращается обратно. Нет, Нубельсгате как-никак не дом, не такой дом, как наша квартирка на Каменноостровском, хоть та помнится только смутно, — так же смутно, как я вспоминаю ее и сейчас, много, много лет спустя.

[1] «Прощай, старая Норвегия». — «Старая Норвегия» звучит как «Матушка Русь».

Глава третья
(1926 — 1928)

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

О.Мандельштам

I

Все получилось не так, как я ждал. Мы вышли из низкого захолустного Финляндского вокзала на серую привокзальную площадь, мощеную гранитным булыжником, и взяли извозчика — явление, давно не виданное мной (в Осло последние извозчики исчезли в самый год моего приезда): оказалось, что мы едем совсем не на Каменноостровский, а на Крестовский остров к бабушке Марии Ивановне и тете Жене. За долгое время нашего пребывания в Норвегии квартиру на Каменноостровском отобрали.

Россия встретила меня булыжной мостовой, железными вывесками лавчонок, то и дело встречавшимися пустыми остовами облезлых, разобранных на дрова домов. Березовая роща перед бабушкиным домом на Морском проспекте была почти вся тоже вырублена на дрова, только кое-где торчали жалкие белые деревца среди кочек и пней.

Бабушкина квартира была все та же — покосившийся крашеный пол, железные кровати, некрашеный деревянный стол, тети-Женины рисунки на стенах, дешевые обои цвета густой синьки, и та же большая, красивая, энергичная тетя Женя с черным бантом в волосах. Во флигельке уже не было стариков Столпянских; они жили теперь где-то в другом уголке своего любимого, воспетого Петром Николаевичем во многих красивых книгах Петербурга; изредка они заходили к бабушке, но их кроликов уже не было.

Зато под листвой своих осин, боярышников и рябин двор был полон детворой. Они смешиваются в моей памяти — одетые кое-как, босые, шумливые; играли ли я с ними? Кажется, да. Наверное. Но не помню. Помню только, что и здесь верховодила девчонка. Старше меня на год или два, она отличалась мальчишеской отчаянностью; я помню ее восседающей над толпой мелкоты на пошатнувшемся сером заборе, заросшим по низу крапивой; шевеля пальцами босой ноги, она командовала ребятами, или просто распевала частушки. Несмотря на свое явно пролетарское происхождение, частушки они пела иной раз совершенно контрреволюционные:

Ленин Троцкому сказал:
«Я муки тебе достал —
Будет нам теперь маца!»
Ламцадрица-а-ца-ца!

Я на бочке сижу,
А под бочкой — мышка:
Скоро белые придут —
Комиссарам крышка.

Конечно, она знала не хуже, чем я, что белые не придут, и вряд ли ей и впрямь было нужно, чтобы комиссарам пришла крышка. Просто в ее голове бродили самые разнообразные и противоречивые отзвуки идей и чувств, еще не отбушевавших в самой стране, взбудораженной вчера только что окончившейся гражданской войной. И без перерыва за антисоветскими частушками следовали частушки «красных»:

Эх, яблочко, куды котишься?
К Колчаку попадешь — не воротишься!

Сочувствие тут было, конечно, на стороне яблочка, а не на стороне Колчака.

Потом — так, лирическое, озорное:

Мы на лодочке катались, —
Золотистый-золотой, —
Не гребли, а целовались —
Не качай, брат, головой...

И затем — «Кирпичики»:

На окраине где-то города
Я в рабочей семье родилась
И девчонкою лет шестнадцати
На кирпичный завод нанялась.
Было трудно мне время первое,
Но потом, проработавши год,
За веселый шум, за кирпичики
Полюбила я этот завод.
На заводе том Сеньку встретила:
Чуть, бывало, заслышу гудок,
Руки вымою и бегу к нему
В мастерскую, накинув платок.
Кажду ноченьку с ним встречалася,
Где кирпич образует проход,
Вот за Сеньку-то, за кирпичики,
Полюбила я этот завод.
Тут война пошла буржуазная,
Озверел, обозлился народ,
И по винтику, по кирпичику
Растащили мы этот завод.

Песня тянулась долго, проводя героиню и Сеньку через годы, и кончалась тем, что:

И любовь моя, и семья моя
Возродились от всяких невзгод —
И по винтику, по кирпичику
Возродили мы этот завод.

У бабушки я прожил недолго. На лето нам предоставил квартиру папин товарищ по службе в Азовско-Донском коммерческом банке — Станислав Адольфович Якобсон. Тихий и незаметный, кажется, несколько затурканный шумными сыновьями и энергичной женой (скрипачкой в оркестре тогда еще немого кино «Молния»), Станислав Адольфович относился к папе с чем-то вроде верного обожания. Он всегда был готов прийти ему на помощь. И вот — новая, уже седьмая или восьмая в моей жизни квартира.

Эта квартира была на улице Блохина, которая тогда еще чаще называлась Церковной. Квартиру я не помню, зато хорошо помню двор. Двор этот был очень большой, поросший травкой, заваленный кирпичной щебенкой, железным ломом; в одном углу были скучены деревянные сараи — удобное место для игры в прятки. У стены дома были кое-как сколочены скамейки.

По привычке я и тут втянулся в компанию девчонок, прыгал с ними в «классы» и даже учил их тем замысловатым «классам», которые мы придумывали тысячу лет назад — или год назад — с Герд. Впрочем, резкого разделения на компанию девчонок и мальчишек здесь не было. Младшие мальчики часто играли с девчонками, да и мальчики постарше, хотя иной раз и обособлялись, но нередко заводили и общую игру. Дело портилось, когда во двор выходил главный заводила. Это был парень лет пятнадцати, в лихо нахлобученной кепке, циничный и полный презрения к окружающим. Сидя на скамейке, он пренебрежительно сплевывал и ядовито комментировал всех присутствующих во дворе. Боюсь, что комментарии его бывали иной раз не вполне печатными, но утверждать этого не берусь — дело в том, что я многого не понимал из того, что говорилось вокруг меня. Моего русского языка, который весь, — за исключением узкого круга домашних слов, известных уже к семи годам, — был вычитан из книг, явно не хватало в этом дворе. Да и те слова, которые я знал из книг, я произносил не так, как нужно, вызывая насмешки над моими неправильными ударениями. Опять надо было отшучиваться и прятать в карман жестокое самолюбие.

Особенно задевал меня один из мальчишек, стриженый толстяк, который сам-то по себе был ничего, но, как только появлялся заводила, становился его подхалимом. Вместе они зубоскалили по поводу больших интеллигентных девочек, изредка появлявшихся на дворе и державшихся с мальчиками свысока, вместе хохотали, когда я, по непониманию и языка и вещей, давал наивные ответы на двусмысленные загадки, или когда я при игре невинно употреблял в разговоре все с теми же девочками только что выученные, не очень вежливые слова.

Нет, на дворе дома 12 по улице Блохина было неуютно.

Между тем, наконец была снята квартира (тогда это еще было можно, «уплотнение» началось позже, с индустриализацией). Квартира эта была на Скороходовой (Монетной) улице, во втором этаже; в ней было четыре комнаты, а жил в ней — или, вернее, не жил, а возлежал на единственном грязном диване — нечесанный пропойца, обихаживаемый отчаявшейся женой. Квартира была невероятно грязна, и каждый раз после того, как мама туда заходила, она должна была стряхивать с чулок на площадке лестницы целые черные блошиные гирлянды. Когда, наконец, прежние жильцы выехали, мама вымыла полы всей квартиры жидкой кашей — смесью керосина с нафталином, а затем метлой сметала со стен мириады обалдевших блох. Это кажется сказками, но это было именно так. Папа привел меня туда в первый раз в день после блошиной экзекуции; каша с блохами была уже выметена, но в комнатах еще до одури пахло керосином и нафталином.

Мама сама оклеила квартиру новыми обоями, и комнаты были затем обставлены вещами, привезенными из Норвегии (почти все, что было на

Каменноостровском, было продано в годы голода), — и наше новое жилье напоминало Нубельсгате. Одна комната — та, где жили мы с Мишей, — была на отлете, соединенная с остальной квартирой длинным коридором-передней, вдоль стен которой были выстроены стеллажи с папиными книгами. В одном углу нашей комнаты стояла Мишина кровать, в ногах ее — большая круглая дровяная печь, напротив, наискосок — моя, а у ее изголовья — Мишин маленький письменный стол с троллем; у стены стоял белый шкаф, наполненный отданными в мое полное распоряжение книгами. Это были не только привезенные из Норвегии эмигрантские издания, вроде очаровательных детских стихов Саши Черного, и книги, купленные папой во время командировок в Ленинград, типа тогда несокращенных еще «Деток в клетке» Маршака. Оказалось, что не все детские книги были спалены в двадцатом году после мишиной дизентерии: оставались еще те книги, которые он уже не читал. Тут был «Робинзон Крузо», «История маленького оборвыша» Гринвуда, Де-Амичис, Гектор Мало, «Пиноккио» и все, что полагается. Я с гордостью поставил на них свой «экслибрис» — круглую печать, сделанную из старой катушки; но большинство книг мне не понравилось. Робинзон вызвал у меня чувство отвращения за то, как он поступал с Ксури и Пятницей, а приключения его на острове показались скучными; Гектора Мало, Амичиса и даже Гринвуда я счел сусальными — они говорили с детьми так, как я ненавидел: не всерьез, а особым сюсюкающим «детским языком».

Зато я поглощал индейские и южноамериканские романы Густава Эмара и Габриэля Ферри, и, особенно, романы Жюля Верна. Лучше всех были «80.000 верст под водой» и «Пятьсот миллионов Бегумы».

Против шкафа, у окна стоял мой письменный стол, такой же, как и у Миши; мама обила его рыжим куском одеяла вместо сукна, но писать на этом сукне было неудобно — оно было слишком мягкое. Впрочем, это было не очень существенно, так как стол всегда был завален бумажками — записями ахагийских соревнований («состязаний» — говорили мы тогда), тетрадями иероглифов и еще бог весть чем.

Теперь уже не случалось, что папа и мама, как это бывало в Норвегии, вторгались на мой стол и в мою картонку с бумагами и под отчаянные протесты и рев наводили порядок — так называемое «ауто-да-фэ». Теперь я был волен заводить свой собственный порядок — или беспорядок. На столе были сосредоточены отходы моей фантазии.

А мир фантазии книжной — был в коридоре.

Если отданные мне во владение книги в большинстве не интересовали меня, зато тем интереснее было рыться на длинном стеллаже с папиными книгами. Чего тут не было! Под длинными рядами недоступных мне французских романов в желтых бумажных обложках стояли, ряд за рядом, пестрые команды русских книг. Здесь была книга поразивших меня кадетских фельстонов Александра Яблоновского, разоблачавших гнусную несправедливость царского правительства, мрачный ужас жизни и смерти евреев — все это было, вероятно, довольно либерально, но и того было достаточно, чтобы я уверовал в нашу революцию; на серой занозистой бумаге была напечатана безымянной брошюркой поэма «150.000.000» Маяковского; был тут и Хлебников («О, рассмейтесь, смехачи!»), и малоприличный, неталантливый

имажинистский «Косвангелисран», и петроградские «Записки мечтателя» с некрологом по расстрелянному советской властью Гумилеву, и упоительные стихи самого Гумилева, и вся бурная литературная жизнь первых лет революции, и все советские романы; и тут же именно был Густав Эмар и Локк, и Джек Лондон, — но Лондон меня не занял, кроме «Людей бездны». (Мне не нравилось, что все люди у него злые, а положительные герои — только собаки). Словом — тут хватило впечатлений на несколько лет.

На другом конце коридора была собственно квартира: большая темно-синяя комната с «фонарем» — папин кабинет, где стоял диван из матраца, покрытый все тем же дешевым синим ковром толстого ворса, книжные шкафики, папин письменный стол с золоченым дедушкиным медведем — пресс-папье, и висели разные норвежские фотографические пейзажи. Потом была столовая и затем мамина и папина спальня, где жил также и Алик.

Дворы в нашем доме были дворы-колодцы, и нас туда не пускали. Мальчишки во дворе считались отъявленными хулиганами. А в то же время мама боялась автомобильного и трамвайного движения на Каменностровском (довольно, впрочем, слабого тогда, по сравнению с большими улицами Осло), поэтому нам разрешалось переходить с Аликом только одну улицу — нашу Скороходову, — а затем мы должны были идти гулять в «сквер» — садик, разбитый недавно на месте разрушенного дома за большим, всем на Петроградской стороне известным домом 26/28.

Если же садик был закрыт, как бывало осенью и весной, то нам предоставлялось ходить кругом нашего квартала и отнюдь нигде не переходить улицы. Это было бесконечно скучно и унизительно. Мы с Аликом резко выделялись среди мальчишек квартала своей нерусской одеждой и особенно — короткими штанами. Мальчишки нас терпеть не могли и издали кричали нам: «Американцы» или «Гогочка с... многочко!» Смысл последнего двустишия мне был полностью непонятен, а потому и не обиден. Вскоре после этого я узнал, что «Гога» — уменьшительное от «Игорь», и некоторое время недоумевал, откуда они знают, как меня зовут. Но позже выяснилось, что «гогочка» — бранное обозначение: маменькин сынок, задавака, барчук. Тогда я возненавидел свое имя, которое и раньше казалось мне чем-то, что я теперь назвал бы претенциозным.

Но, верный своему слову и послушный маминым заветам, я строго соблюдал закон и никогда не переходил с Аликом улицы и никогда не отвечал на оклики и дразнилки. Без Алика мне можно было ходить и дальше, да и приходилось. Приходилось ходить к дедушке и бабушке Ольге Пантелеймоновне на Большой проспект, или в аккуратную китайскую прачечную на Рыбацкой улице (улице Олега Кошевого) и на уроки английского языка на Геслеровский проспект.

Я понемногу знакомился с моим городом, которому, казалось, не было краев.

II

Не помню, тогда ли это было или спустя несколько лет, что на решетке нашего садика, выходившей на улицу Красных Зорь (Каменноостровский), стали вывешивать газету, и я ее стал постоянно читать. Во всяком случае, в 1926 году я уже нередко читал газеты, и то, что я в них вычитывал о внешней политике Советского Союза, мне определенно нравилось. Мы выступали за всех обиженных, за малые народы, наши действия и требования были справедливыми. К имени Чичерина, давно знакомому и уважаемому, прибавилось имя Литвинова.

Много слышал я о положении в стране и в мире также из разговоров моих родителей. Папа служил теперь замдиректора Ленинградского Кожтреста. Тогда существовала такая система: директорами учреждений и предприятий были члены партии из рабочих, выдвинувшиеся в гражданскую войну, особенно чекисты, а их заместителями — так называемые «спецы», которые часто фактически и ведали всем. Директор Кожтреста Росин был когда-то рабочим-сапожником, теперь, однако, он держался барином: носил шубу, снаружи и внутри крытую дорогим мехом, ездил на машине (это была тогда очень большая редкость в Ленинграде), и от своего рабочего происхождения сохранял только невеликую образованность в делах управления; впрочем, он был неглуп и дипломатичен. Папу, как видно, задевало то, что он должен подчиняться менее знающему человеку, выскочке, сильному только своим партбилетом, и даже в смысле революционного прошлого обладавшему довольно сомнительными заслугами, — если не считать того, что он, по его словам, расстреливал «беляков» собственными руками. Тем не менее, от моих родителей в это время я все больше слышал положительного о Советской власти. Общее мнение папы и особенно мамы заключалось в том, что, хотя при революции и установлении советской власти было пролито много крови и совершено множество бессмысленных жестокостей, но что это было неизбежно, и что советская власть, во всяком случае, делает много хорошего, в частности для образования и улучшения положения народа и особенно детей.

Борьба за ликвидацию безграмотности заслуживала уважения. Но и другие вещи импонировали моим родителям. Помню, как-то раз — кажется, в 1927 году, когда вскоре после десятилетия Советской власти были исключены из партии Троцкий и Зиновьев, — папа заметил:

— У нас революция продолжается уже дольше французской, а борьба между вождями идет только идейная и нет взаимного истребления, как при Робеспьере.

Правда, далеко не все ему нравилось: например, что партийные начальники так часто из местечковых евреев; или что в Университет принимают вполне еще полуграмотных рабфаковцев. Национальная политика Советской власти вызывала у папы ироническое непонимание; мысль о том, что «сартовский» (узбекский) или «малороссийский» язык возведены до степени государственных и им принуждены обучаться служащие, что во главе Узбекской республики стоит арбакеш, представлялась ему нелепой; но мне как раз это казалось справедливым и важным. Готовясь поступать в норвежскую школу,

я усвоил историю борьбы норвежцев за свою независимость и национальную культуру, за «чистый норвежский флаг».[1] (В угол норвежского флага вшивали голубой и желтый цвета шведского.) Я рос среди детей малого народа и ясно чувствовал, как несправедливо притеснение таких народов и их насильственное подчинение чужому, сильному государству. Что бы делали мои норвежцы, если их лишить их флагов, без которых любой праздник им был бы не в праздник, их национальных песен, их родного языка? И даже то, что самое слово «Россия» в двадцатых годах было почти под запретом (надо было говорить только «РСФСР», если не «Советский Союз»; сказанное публично слово «Россия» свидетельствовало о политической неблагонадежности говорившего) — даже это обстоятельство, так огорчавшее моих родителей, нисколько не шокировало меня. Мне больше всего нравился именно интернационализм нашего правительства — я чувствовал себя как бы патриотом всех малых народов («как бы», потому что слово «патриот» было таким же запретным, как слово «Россия»; больше того — это было бранное слово: «социал-патриот»! Ведь «у пролетария нет отечества». Мне нравилось, что наш самый большой военный корабль носил имя Марата, а по Неве бегал буксир «Камилл Демулэн». (Эти имена мне были знакомы из «Истории французской революции» Мишле или какой-то книги в этом роде; а может быть, я узнал их позже. Впрочем, в чем привлекательность именно Марата, великого доносчика, я и тогда не понимал.)

Из того, что я видел, — а больше из того, что я читал, и еще больше из того, что я слышал от родителей и от Миши, — я понимал, что у нас совершается нечто великое и замечательное; я этим гордился, и это мирило меня с уныло-бедным, пожалуй даже нищенским видом нашего города. Я знакомился с этим новым миром впервые; и опять новый мир внешний оттеснял собой мою внутреннюю жизнь.

Два года как город был Ленинградом; но перемены названия были для него привычны: официально — Санкт-Петербург, в интеллигентском обиходе — Петербург, со времен войны — Петроград, теперь — Ленинград, — по-настоящему он, пожалуй, был Питер; так и в это время он продолжал чаще всего называться.

Похож ли был Ленинград 1926 года — Питер — на Ленинград 1956 года (когда я начал эти воспоминания) — и на Ленинград восьмидесятых годов (когда я надеюсь их кончить)? И да, и нет. Конечно, все та же важная, широкая, серо-синяя Нева в своих гранитных берегах, — гораздо, гораздо шире, чем то, что я по памяти изображал Герд на Нубельсгате, — и те же огромные золотистые зори на холодном небе, и тот же давно не золоченый, уходящий в серые облака и иногда исчезающий в них шпиль Петропавловского собора; те же набережные со строгими дворцами и с тем же ветром в лицо, тогда опьянявшим и будившим душу восторгом, а теперь только заставляющим болеть сердце и слезиться глаза; те же дома с облезающей, сколько ее ни крась, штукатуркой (впрочем, ее совсем и не красили) — дома с пологими железными крышами, которые раз в несколько десятков лет мажут темно-красной краской, от времени приобретающей цвет винных осадков;

[1] В эпоху вынужденной унии Норвегии со Швецией (1814—1905 гг.).

дворники очищают зимой эти крыши от снега, сбрасывая огромные слежавшиеся комья с пушечным грохотом на отгороженный тротуар — к моему удивлению: с крутых норвежских крыш снегу предоставлялось сползать самому после снегопада.

Но если взглянуть на подножья домов, теперь увидишь другое, чем тогда: улицы были мощены булыжником; те, что поважнее, горбились в середине, и грязная дождевая вода стекала в канавки у тротуаров; улицы позахолустнее, наоборот, сток имели посередине; впрочем, из-за колдобин, выбитых колесами и копытами лошадей или образовавшихся от починки мостовой на скорую руку после какого-нибудь ремонта канализационных труб, или даже, быть может, от того, что булыжник был когда-то выковырян на баррикады, — из-за всех этих колдобин и рытвин вода не на всякой улице знала, куда ей течь: к тротуару ли, или к середине, или просто скопляться в пространных кофейных лужах. Тротуары были сложены из квадратных серых или розоватых известняковых плит — большей часть давно расколовшихся, покосившихся, или совсем выбывших, оставив после себя ямы (а в дождливую погоду — лужи): хорошо, когда плиты были целы: тогда интересно было идти по тротуару, стараясь не наступить на стыки между плитами или, наоборот, мысленно штрафовать себя за каждый раз, когда ступишь мимо стыка, прямо на плиту.

Вдоль тротуара шел откос из мелкого булыжника, а по углам и у въездов в ворота стояли покосившиеся низенькие гранитные тумбы — радость дворняжек. Они были, видимо, задуманы для того, чтобы привязывать к ним лошадей — но я этого никогда не видел: извозчики и крестьянские лошади стояли смирно и непривязанные.

Кое-где были и асфальтовые тротуары, но тоже с выбоинами и змеящимися трещинами; на окраинах они заменялись узкими настилами в две или три длинные досочки, приколоченные на низкие деревянные поперечины чуть выше уровня грязи.

Главные улицы, гордость города — Каменноостровский, Литейный, Невский (их официальные имена — Улица Красных Зорь, проспект Володарского и Проспект 25-го Октября — не привились) — имели гладкие асфальтовые тротуары и были мощены торцом. Так же были мощены набережные. Мой воображаемый читатель, наверное, не знает, что такое торцовая мостовая. Торцы — это шестиугольные деревянные шашки, плотно подогнанные друг к другу, лежащие поверх бетонного покрытия, образуя род паркетной мостовой. Они впитывают влагу и, сами чернея и разбухая, остаются на поверхности сравнительно сухими, нескользкими даже в мокрую погоду; машины идут по торцам бесшумно; улица имеет нарядный вид. Правда — торец часто нужно менять, и это перевод ценной древесины; а в большие наводнения торцовые шашки всплывают и бьют по ногам спасающихся от воды пешеходов.

Большого наводнения 1924 года я, естественно, не видел, так как был в то время в Осло — там тоже пронеслась тогда буря, и к нам на задний двор рухнул, обрушив забор, большой тополь; но, не видав наводнения, я сталкивался с памятью о нем: в 1926 году Ленинград еще был полон этой памятью, и почти на каждом доме виднелись где дощечка, где аккуратно

выведенные, где кое-как намазанные краской буквы: «уровень воды 23 сентября 1924 года». Уровень воды солидный: в очень многих местах выше моего роста.

Летом кое-где тротуар чинят, чаще чинят трубы под ним, прорубая канавы по асфальту — нередко вскоре после заливки — и не всегда трудятся над тем, чтобы после починить — засыпают, затаптывают канавку, и по ней тянутся потом лужи, разъедая постепенно и окрестный асфальт. Когда чинят, отгораживают небольшой участок улицы или тротуара, и целое лето ремонт передвигается вдоль улицы, заставляя чертыхающихся прохожих обходить ремонтируемое место. И это в Норвегии было не так: там загораживали сразу всю улицу, но зато работали машинами и кончали работу за неделю — десять дней.

Слава нашего города, как известно, — его летние «белые ночи», но наслаждаться ими трудно, как трудно и радоваться летним дням: летом улицы разворочены, из-за починок ни пройти, ни проехать, стоит стеной мелкая туберкулезная пыль; нет машин, чтобы поливать и мести улицы (да и трудно мести булыжную мостовую); только дворники бьют под ноги прохожим струей воды из шланга, создавая лужи в ямах тротуара, и эти ямы становится труднее переходить, чем осенью. Шланги оставались и в 1956 году — только теперь они были в руках у дворничих, — но, кроме как на дальних окраинах, улицы теперь не те. (А в 1980-х и на окраинах не те, зато шлангов и дворничих не стало).

Поднимая взгляд выше тротуара, переводишь его на стены, почти сплошь исписанные блудливыми мальчишками, которые, наверное, озираясь, вынимали украденный в классе мелок, чтобы перевести возникающее неопределенное бунтовщичество пола в дерзкий знак мужского самоутверждения — краткое заборное слово. Нигде нет столько надписей на стенах, как в Российской Федерации; так было и тогда.

Парадные в 1956 г. закрывались только на ночь (теперь вовсе не закрываются), а до того они были по большей части заколочены из-за налетчиков первых годов нэпа — заколочены грязной фанерой, железом, или просто закрыты на давно заржавевший замок; на полутемных лестницах пылились, как старые гардеробы, давно позабытые лифты.

Затем — магазины и лавчонки. Во всех помещениях магазинов, что побольше, прочно утвердились районные кооперативы. У нас на Петроградской стороне, куда ни кинь взор, видишь синие вывески с большими белыми буквами, подведенными красным:

Петрорайрабкооп

А по бокам, на вертикальных вывесках, покупателю обещают «мясо, рыбу, зелень, дичь», или «гастрономию, бакалею, колониальные товары».

Бывало, когда идешь из дальнего района города и добираешься до первой вывески «Петрорайрабкоопа», чувствуешь себя дома. Это слово удобно было скандировать нараспев:

Пе'трора'йрабко'опе'т —
Ро'райра'б, ко'опе'т,
Ро'райра'бкоо'петро', ра'йрабко'оп,
Пе'тро-ра'й-ра'б-ко'-о'п,

Петрорайра'бко
Оппетрора'йраб
Кооппетро'райрабкоо'п.

Важно было не сбиться и кончить песню на «кооп». Иначе приходилось начинать сначала.

По сравнению с родным «Петрорайрабкоопом» совсем чужими (чувствуешь себя, как в другом городе) выглядели «Пролетарий» — белым на темно-красном, «Василеостровец» — белым на темно-синем фоне, «Выборгский рабочий» красными курсивными буквами на голубом фоне.

«Петрорайрабкооп» был заменен государственными распределителями, а потом — «Гастрономами».

Были и магазины государственных трестов: «Ленинградодежда», соперничающие парфюмерные магазины — московского треста жировой промышленности «ТЭЖЭ» и ленинградского «ЖЭТ»; между ними дело доходило до полемики в газетах и до суда: «ЖЭТ» обвиняли в подделке марки «ТЭЖЭ»: у моквичей марка состояла из переплетения букв «Т» и «Ж», а у ленинградцев — из букв «Ж» и «Т». Суд велел «ЖЭТу» называться «ЛЕНЖЭТ», а потом тот и вовсе был поглощен «ТЭЖЭ»: в пору индустриализации парфиюмерии не хватало и на один парфюмерный трест.

На главных улицах господствовали кооперативы и государственные магазины; в переулках и на таких менее парадных улицах, как проспект Карла Либкнехта (бывший Большой — теперь он опять Большой: он был «распереименован» во время войны, вместе с другими улицами, названными в честь немцев и евреев). На таких улицах было много частных лавчонок с дребезжащими от ветра железными вывесками или с надписями прямо по стене над окном-витриной. Рассчитанные на покупателей, большая часть которых была неграмотна, вывески обращались к проходящим на языке пиктографии: огромный черный сапог на голубом или другом ярком фоне означал сапожную мастерскую, аляповатый красно-синий мячик и труба — игрушечный магазин.

Этой пиктографической системой в какой-то мере должны были пользоваться и государственные магазины, и кооперация. Был золотой крендель перед просторным магазином с мраморной облицовкой, поверх которой была приколочена обычная синяя железная вывеска Петрорайрабкоопа. Были кренделя похуже в переулках. Большая булочная-кондитерская на Большом по-прежнему у покупателей называлась «Лором», так же как большая аптека по соседству — «Ферейном»; еще и сейчас, столько лет спустя, большой «Гастроном» на Невском носит название «Елисеева».

Но действительные частники мало афишировали свои фамилии; пиктографический знак подкреплялся надписью «Сапожная мастерская» или «Портной», а фамилия писалась мелкими буквами снизу.

Меня в то время из продуктов интересовали, конечно, главным образом сласти — конфеты и карамели, гораздо более вкусные, чем норвежские, мороженое, продававшееся угрюмым разъездным частником с голубой тележки, по бокам которой были выведены надписи: «марожиннае и ваффли». Впрочем, мороженое нам не разрешалось: в газетах описывались случаи отравления из-за плохо луженых формочек. Зато были другие необычайные

блага: например, впервые открытая мной здесь халва; пирожные, как кажется, появились немного позднее — или просто нам их не покупали (мама была не сторонница кондитерских сластей); но, кажется, в самом деле, пирожные появились немного позже нашего приезда, одновременно с водкой — «красной головкой», или «рыковкой», — разрешенной к продаже, помнится, как раз в 1926 году, в порядке борьбы с самогонным бедствием.

Вскоре после нашего приезда в городе появилось множество злачных заведений; их пиктографическим знаком, унаследованным от царского режима, были оранжево-зеленые вывески: оранжевый верх постепенно переходил в светлозеленый низ, и поперек обоих цветов шли белые буквы: «Пивная». Были злачные заведения и посерьезнее: в газетах я следил за сообщениями о налетах милиции в игорный дом на Владимирском (проспекте Нахимсона[1]) и в «Трокадеро» на Большом.

В лавках и по тротуарам кишела толпа — поношенные пальто с вытертыми меховыми воротниками, солдатские шинели, быстро буреющие черные жакетки, короткие юбки до колен; женщины почти все в шерстяных платках, повязанных под подбородком; кое-где, особенно ближе к окраинам, встречались девушки в красных кумачевых или пестрых ситцевых косынках; интеллигентные дамы ходили в шлемообразных шляпках, но они терялись в массе платков; на головах у мужчин были кепки; редко встретится классово-чуждый элемент в мягкой шляпе или инженерской фуражке со скрещенными молоточками. Иной раз наткнешься на группу замурзанных цыганок в ярких широченных юбках и цветастых шалях, с полуголыми черными детишками, или на татарина в рваном сюртуке с мешком под мышкой, из тех самых, которые, скупая старье, кричали «'алат! 'алат!» по дворам, или «костей, тряпок, бутылок!», — а обращаться к нему полагалось «князь»; или на китайца в ватнике и даже на китаянку, едва ковыляющую на крошечных забинтованных ножках. А по Каменностровскому, около нашего дома, чинно прогуливается в чистом пальто известный всей улице суровый старик с усами и белой львиной гривой, с тростью за спиной и славой мецената. Это был Осип Семенович Сметанич, создатель частной коллекции картин; ее распродажей он жил до самой смерти в 1934 году; он оставил себе только картины своего любимого художника Френца. Сметанич был женат вторым браком на Ф.М.Магазинер, тетке моей жены, а от первого брака у него были дети — талантливый, самовольный и несколько развязный литератор Балентин Стенич и еще двое уж вовсе непутевых взрослых детей. После его смерти его вдова отдала оставшиеся картины в музей, за что и получила персональную пенсию, рублей семьдесят.

На завалинке садовой решетки или прямо на подоконниках подвальных окон сидели тетки с корзинами семечек или яблок, папиросницы в голубой форме с деревянными лотками-подносами; на углах мальчишки-газетчики распевали истошными голосами: «Из-вес-тия, Правда, Ви-чер-ня Крассна газета!» А если были сенсации, то мальчишки носились, размахивая пачкой

[1] И Владимирский собор, по которому когда-то была названа улица, шуточно назывался «Собор имени товарища Нахимсона».

газет, из улицы в улицу, выкрикивая: «Наш ответ Чемберлену!» «Каш-марное преступление в Чубаровском переулке!», или еще что-нибудь в таком роде.

А в воскресенья и многочисленные, еще не отмененные праздники — на Пасху или Троицу, — по городу разносился далекий благовест колоколов, и выученное мной по хрестоматии стихотворение вдруг оживало:

...и благовест ближнего храма,
и говор народа, и шум колеса...

Колеса принадлежали телегам, — в отличие от норвежских, с дугами, но без ручного тормоза.

Первое время у нас прислуги не было (слово «домработница» получило право гражданства в конце двадцатых); да и потом — девушки то появлялись, то уходили либо учиться, либо на завод, так что часто мне приходилось пособлять в хозяйстве: накрывать на стол, подавать маме утром чай, натирать пол, ходить в магазин.

Поначалу я боялся и стеснялся ходить за покупками, но потом освоился. Помню первые мои походы в мясную лавку на улице Блохина — за печенкой для кошки. В магазинах было грязно и неуютно; висели плакатики: «товар руками не трогать» и «требуя вежливости от продавца, будь вежлив сам», — но особой вежливости, кажется, никто не требовал; в устной речи продавцов первый из этих лозунгов, во всяком случае, нередко заменялся афоризмом: «Не лапай, не купишь!»

Товар покупали, по привычке, на 400 грамм и называли эти 400 грамм «фунтом», так же как дóма объявленную в газетах температуру воздуха переводили из Цельсия на Реомюр. (Маленьким я вместо «целесообразно» говорил «цельсисобразно», понимая это выражение так, что шкала Цельсия — образец осмысленного изобретения, лучше шкалы Реомюра). А названия товаров, написанные фиолетовыми чернилами на клочках клетчатой или бурой бумаги, надо было еще расшифровать, так как орфография была весьма своеобразна.

Не сразу после нашего приезда, но позже, мне поручалось ходить за молоком в густую толпу Ситного рынка (Ситного, а не Сытного: там был хлебозавод, на котором пекли ситный — белый хлеб кирпичиком); здесь на одном конце холодные фотографы вставляли улыбающиеся физиономии наивных скобарей в круглое отверстие разрисованного полотнища, так что скобарь получался лихо несущимся на тройке, где шесть копыт давят шесть куриц; а на другом конце рынка были чистенькие лавочки вежливых китайцев в синих ватниках; между этими двумя концами было море тел и голов, продающих, бранящихся, торгующихся, отвешивающих, покупающих; на площади, что за рядами прилавков, привязанные бок-о-бок кони оставляли на булыжнике полосы навозных куч и сенную труху; в крытых рядах торговали овощами, грибами, мясом; дальше группами собирались с жестяными бидонами молочницы-финки из пригорода, по-русски знавшие только счет да слово «молоко», но и то лучше понимавшие слово «майта»; в толпе женщины с несчастными лицами продавали «корешки» для супа, рамки для фотографий, старинные черные блузки с высокими плечами, ситцевые платки, душераздирательные стишки, отпечатанные резиновым штампом:

а сомнительного вида мужчины продавали какие-то заржавленные машинные части и всякую всячину. В углу, на толкучке, и счет велся уже не по русски, а по блатному: «уч рублей», «беш рублей» — «три рубля», «пять рублей».

Тогда, в 1926—1927 годах, поле моей деятельности было узким; оно было чаще всего ограничено трамвайными линиями; посреди торцовых и больших булыжных улиц тянулись ряды столбов цвета хаки, под расставленными руками которых бежали красные трамвайчики с белыми досками наверху: «Новая Деревня — Балтийский вокзал», со ступеньками, по большей части увешанными «виноградными гроздьями» пассажиров; и никому не было дела до надписи, шедшей по низу вдоль всего вагона: «Входъ и выходъ во время движенія строго воспрещается» — не больше, чем до герба города Петербурга (ключ и два якоря, скрещенные на красном щитке), которым еще украшены были бока трамваев.

Я знал почти только одну свою Петроградскую сторону да ее окраины — Аптекарский и Крестовский острова, где заборы и сараи были кое-как сколочены из ржавого железа, и за ними тянулись полузаросшие бурьяном огороды.

Когда мне случалось ходить по городу одному, без Алика, город становился лишь немного шире. Редко приходилось добираться до Невского, или через Гренадерский мост — на Выборгскую сторону. Мне, мальчику-интеллигенту, там было даже немного жутковато: бесконечные уродливые, черные от копоти кирпичные заводы, сплошные гнилые деревянные заборы, еще более облезлые дома, нигде никакой зелени, — а люди, казалось, смотрели на мой чистый нерусский костюмчик враждебно — мужчины в промасленных темносерых комбинезонах, женщины в красных косынках.

Да и на нашей Петроградской, на Каменноостровском, в двух шагах от оживленного угла Большого, высилось окруженное бурьяном и ржавыми железками пустыря огромное, растрескавшееся, зиявшее дырами в крышах и стенах железобетонное здание «Скэйтинг-ринка», построенное перед войной для модного тогда развлечения — катания на роликах; теперь это было штаб-квартирой полчищ беспризорных мальчишек, известной под названием «кошачьей фабрики»: беспризорные зарабатывали продажей кошачьих шкурок. Ловля кошек была поставлена на широкую ногу, и впоследствии, когда облавой милиции было уничтожено это прибежище «шпаны», в «Скэйтинг-ринке», так же как в конкурирующей «фабрике» — в Павловских казармах, где теперь «Ленэнерго», — были найдены тысячи гниющих кошачьих тушек. Детство эгоистично. Боюсь, что эти истории только тем задевали меня тогда, что я боялся за судьбу своего умного кота — Ивана Петровича.

«Кошачья фабрика» — много позже она была встроена в Дом культуры Промкооперации — глядела редкими и пустыми глазницами на возведенный только до второго этажа и в дни мировой войны спешно прикрытый крышей роскошный темносерый каменный дом — родича всех остальных темно-серых, штукатуренных под рустовку каменных буржуазных домов, выросших на Каменноостровском во время предвоенного бума 1910—13 годах, а по ту

сторону Малого (ныне Щорса) с «кошачьей фабрикой» соседствовал богатый белый особнячок, после революции занятый, кажется, под какое-то учреждение, и кирпичный, так и оставшийся необлицованным, доходный дом эмира Бухарского... далее, за Силиным мостом, за вонючей пузырящейся Карповкой, с ее скошенными берегами, поросшими лопухом и крапивой, начинался потерянный рай моего первого детства — дом со змеями, Песочная, Каменноостровский 63... Я как-то зашел туда и поднялся по знакомым серым ступеням на маленькую теперь площадку пятого этажа, вымощенную желтыми и красными плитками. На двери было несколько звонков, бумажки с незнакомыми фамилиями.

А дальше, за мостом, все так же пряталась в темной зелени маленькая темно-красная мальтийская церковь... А там — хочешь — Новая Деревня, ржавое железо заборов, ветхие, гнилые деревянные домики; хочешь — за не снесенной еще, но уже давно облупленной деревянной белой аркой — запущенные особняки и решетки, лопухи и дорожки Каменного острова, потом Крестовский, — и опять деревянные домики, дровяные сараи из заржавленного железа старых вывесок, унылая, облезлая Большая Зеленина, серые покосившиеся заборы Геслеровского проспекта, пустые глаза церкви Алексея Божьего человека на пустыре, булыжники Лахтинской, Плуталовой, Ординарной — каменная нищета.

Да, думал я, нужно было быть Лениным, чтобы при виде всего этого сказать: «Из России нэповской будет Россия социалистическая!» (Ленин — тот говорил «Россия!»).

Знать, как именно жила страна, конечно, я не мог, но, несомненно, жила она скудно: это я видел на Крестовском, где рабочие семьи питались той же картошкой и тем же пшеном, что и бабушка Мария Ивановна и тетя Женя; но и город, и деревня — я слышал это отовсюду — начали оправляться от разрухи и голода; и город и деревня были довольны сделанным и ждали большего. И как раз тогда Маяковский писал об Америке:

Я стремился на семь тысяч верст вперед,
А приехал на семь лет назад...

И во всей его бедности, неустроенности, мой город был прекрасен; на плоских островах, на широких, прямых, торцовых проспектах, среди камня, облезшей штукатурки и ржавого железа, над великой, светлой, серой Невой, а не на горбатых диабазовых улицах чистенького Осло — был, по-настоящему, мой дом.

А чему предстояло быть потом — это было скрыто в бездне грядущего, и на самом деле этого не знал даже Ленин и вслед за ним не знали ни Маяковский, ни мы.

III

Каменная нищета! В эти годы известный Шульгин нелегально перебрался через границу в СССР и, вернувшись за рубеж, выпустил книгу о советской России с точки зрения непримирившегося эмигранта. Об этой книге был подвал в советской газете. Что он увидал, приехав, как и я, из другого, более богатого мира и (в отличие от меня, двенадцатилетнего) вспоминая другую,

более богатую Россию? «Почти все то же самое, только чуть-чуть похуже». Но для меня-то Россия начиналась с девятнадцатого года, с дохлой лошади, которую ели собаки на углу Песочной, с селедки и осьмушки хлеба. Совсем не то же самое, и определенно лучше. Главное — справедливее. Я гордился тем, что мы уже никогда не получим ни дедушкиных больших денег, ни дедушкиной уныло-великолепной двенадцатикомнатной квартиры. Нам стало хуже — но нужно ли нам было богатство? — зато всем стало справедливее жить. Настолько я мог уже понимать газеты и разговоры взрослых. То «чуть-чуть получше», о котором мечтал Шульгин (а я читал его воспоминания о революции и гражданской войне тогда или вскоре после того), олицетворялось для меня «старшими Дьяконовыми», и это было чужое и неприятное мне. Хождение в гости к дедушке было тяжелой повинностью. Наверное, теперь надо рассказать, кто такие были Дьяконовы. Конечно, я это узнал не сразу. Знакомство с ними и с их историей происходило постепенно, но лучше рассказать сразу все, что я в течение своей жизни узнал о них.

По семейным преданиям, предок наш был татарским мирзой и погиб, обороняя Казань от войск Иоанна Грозного. Его малолетний сын был взят в плен, крещен и отдан в церковное учение. Но византийское велегласное пение показалось потомку Чингиза малоподходящим занятием; он предпочел (совершенно справедливо, если судить по тому, как рисует тогдашнюю Россию Флетчер) заняться разбоем и ушел в Сибирь к Ермаку, но сохранил на всю жизнь прозвище «дьякона». Его потомки в Сибири и осели.

Так я слышал в детстве эту легенду. Действительность от нее, видимо, отличалась. Мой прадед Николай Сергеевич Дьяконов был разбогатевший томский мещанин, переселившийся в Екатеринбург. Семья была грамотная, а почему — видно по фамилии. Мне потом родичи из старшей линии Дьяконовых рассказывали, что дед Николая Сергеевича был в Томске священником, а так как в те времена фамилии детям причетников давали по отцу или по деду, то, вероятно, отец деда Николая Сергеевича (или дед деда) непременно был дьяконом. А так как числили мы себя — с гордостью, сейчас уже неизвестной в современной Сибири — чалдонами, то весьма вероятно, что сей дьякон был сыном ссыльнопоселенца или же сам был ссыльнопоселенцем, отбывшим каторгу, и вполне вероятно, что за разбой. Но, если отсчитывать назад поколения, то окажется, что мой дед родился в 1860 г., прадед — вероятно, в 1820-х; дед его, священник, должен был жить в Томске в конце царствования Екатерины, и каторжный наш предок-дьякон никак не дотягивает до времени Ермака — разве что до Разина, если не всего лишь до Пугачева. Был ли он татарином — неизвестно; Дьяконовы были сплошь голубоглазые, а мои черные глаза и монгольская складка над глазом — от маминых предков, точнее сказать: от польских моих предков — Казарских, когда-то, возможно, увезших в Польшу какую-нибудь ногайскую княжну из Крыма.

Во всяком случае, никто не станет подозревать Дьяконовых в дворянском происхождении; у нас не было родословной, и кем из моих более близких предков, обладавших богатым воображением, изобретено это предание — сказать трудно.

Итак, мой прапрадед Сергей Дьяконов во времена Николая I был томский

мещанин, надо думать — богатый. Сыновья его получили хорошее образование. Кажется, один из сыновей (а может быть, племянник), по имени Иван Дьяконов, был потом профессором в Гейдельберге. Старший сын — Александр — был я уже не знаю кем, а средний — Николай Сергеевич, уехав из Томска, нажился на какой-то торговле и был екатеринбургским городским головой.

Николай Сергеевич был человек образованный, но практический склад ума заставлял его считать, что науки — дело пустое. Пил он жестоко, по-сибирски, и не пьянел. Говорят, на зимнего Николу (шестого декабря по старому стилю) он приглашал в свой загородный дом всю городскую чиновную знать (а в Сибири — всех зажиточных соседей, в округе пятнадцати верст) и поил до отказа: честолюбием его было напоить гостей так, чтобы вывозить их домой на санях в лежку, как дрова. Сам же, чуть почувствует, что пьянеет, выходил на двор и садился в снег — бабушка Ольга Пантелеймоновна рассказывала мне это, из скромности не прибавляя: «голым задом».

Я не знаю, сколько у него было детей, но во всяком случае был сын, — мой дед, Алексей Николаевич. Еще гимназистом он отличался большими способностями к языкам: кроме латинского, греческого и трех европейских языков, он шутя выучил, например, и зырянский (теперь говорят «коми») и, как дед сам мне рассказывал, поражал зырян, приезжавших из глуши на екатеринбургский рынок, разговором на родном их языке. Но на дворе стоял конец семидесятых годов, молодежь читала Писарева, и гуманитарные науки были не в чести. Молодой человек решил уехать в Петербург и поступить на математический факультет. Отец его отнесся к этому проекту с неодобрением и сказал, что денег посылать не будет.

В Петербурге Алексей Николаевич был поражен шумом и сутолокой большого города; смеясь, он рассказывал мне, что по приезде вышел с квартиры, где остановился, и, хоть плачь, не мог найти дороги обратно — о существовании адресов ему было неизвестно, в Екатеринбурге дома запоминали по местным приметам, если не знали имени владельца. Ни древние языки, ни зырянский не гарантировали от провинциальной наивности.

В то время родная моя Петроградская сторона была полудеревней, населенной мастеровым людом Ружейных, Монетных, Пушкарских, Гребецких, Зелейных слобод; за Малым проспектом (сейчас Щорса) паслись коровы; на месте Каменноостровского проспекта шло шоссе к Аптекарскому острову, к Черной речке, где еще не выросла Новая Деревня и стояли табором цыгане. В линиях Васильевского острова жили немцы-ремесленники, бедные студенты, белошвейки.

Алексей Николаевич поселился на Васильевском острове, вместе с друзьями-студентами — двоюродным братом, Михаилом Александровичем Дьяконовым, и еще одним приятелем, отличавшимся тем, что из экономии не сменял белья, наглухо пришив кальсоны к брюкам. Зарабатывали уроками, — сколько было нужно, чтобы не умереть с голоду.

Приятели часто бывали в доме своего товарища по Университету, естественника Сергея Порецкого, сына штатского генерала Александра Устиновича Порецкого, обогатившего русскую литературу известным стихотворением:

Ах, попалась, птичка, стой,
Не уйдешь из сети,
Не расстанемся с тобой
Ни за что на свете...

Генерал был лицо незначительное и во всем спрашивал мнения своей супруги, домовитой немки, — даже насчет того, хочется ли ему еще чаю. Но дом был гостеприимный, полный веселой молодежи — кроме Сергея, было еще три сестры: старшая — барышня на выданье, младшая — еще совсем ребенок; были еще их друзья и подруги, — и наши безнадежные студенты были в доме Порецких как у себя дома.

Незадолго перед тем где-то, кажется в Барнауле, умер купец Пантелеймон Гудима. Когда после его смерти были подсчитаны его «депансы», оказалось, что всем капиталом, который достанется его дочке Оленьке в приданое, будет ее красота. Молодая вдова, Татьяна Петровна, женщина талантливая и энергичная, решила, что для правильного применения этого капитала нужен Петербург; брат ее, купец Анания Красиков, то ли не хотел ей помочь, то ли и сам прогорел (по крайней мере, дети его коммерции не продолжили, а ушли в революцию; сын его, Петр Ананьевич, был впоследствии замнаркома юстиции РСФСР, а уже упоминавшаяся дочь, Елизавета Ананьевна, вышла замуж тоже за профессионального революционера, Михайлова-Политикуса). Так или иначе, Татьяна Петровна, распродав все, что было можно, перебралась с дочкой в Петербург.

С купечеством в духе Островского было покончено. В Петербурге Оленька была отдана в хорошую гимназию, где учились девочки из лучших семей интеллигенции столицы; например, ее товаркой по классу была дочь известного профессора Бекетова; правда, Бекетова не доучилась, вышла из седьмого (тогдашнего старшего) класса замуж за многообещающего адвоката Блока, и бабушка вспоминала, как она прибегала в гимназию хвастать перед подругами своим положением замужней дамы.

Тут ли, в гимназии, или иначе, но Оленька Гудима познакомилась и подружилась с Наденькой Порецкой и тоже стала бывать в большом гостеприимном доме Порецких. В то же время, после окончания гимназии, Татьяна Петровна сумела ввести Олю в свет — она была представлена, в числе многих видных людей, Чайковскому и Достоевскому, за ней слегка ухаживал стареющий Тургенев.

Столь прославленные знакомства не оказали, однако, заметного влияния на Олю — как большинство красивых женщин, она была не умна и не очень образована. Но зато она была собой весьма хороша — статной русской красотой: большие серые глаза, маленький правильный нос, немного тяжелые, но строгие черты лица, прямая походка — да и как ей было не держаться прямо? Ее русая коса, толщиной в руку, лежала на полу, если не убрать ее в прическу. Я сам видел эту косу: как-то, во время болезни Ольги Пантелеймоновны, ее пришлось отрезать, и она хранилась, как семейная реликвия. Но и в старости Ольга Пантелеймоновна носила по утрам косу ниже бедер.

Впрочем, светская жизнь Оленьки продолжалась очень недолго: дом Порецких был полон романов, и почти сразу, одна за другой, состоялись три

свадьбы: Сергея Порецкого и обоих Дьяконовых. Михаил Александрович женился на Наденьке Порецкой, а Алексей Николаевич — на Оленьке Гудимс. Жениху было двадцать один, невесте — восемнадцать.

Это было, вероятно, не то, на что рассчитывала Татьяна Петровна, но молодой студент ей понравился. Оля его любила, и мать не стала противодействовать браку. Зато разгневанный Николай Сергеевич в Екатеринбурге — заявил, что знать не желает сына, и лишил его наследства.

Пришлось Алексею Николаевичу бросить университет и поступить на службу. Он получил маленькую должность в отделении Государственного банка в Томске и, забрав Ольгу Пантелеймоновну и Татьяну Петровну, пустился в долгий путь — по железной дороге, на пароходе и на лошадях — в Сибирь. С друзьями пришлось надолго расстаться. Пути их разошлись. Михаил Дьяконов и Сергей Порецкий стали учеными — Михаил Александрович прославился впоследствии как историк русского права и был академиком. Заметными учеными стали и почти все их дети.

Все это я знаю по отрывочным рассказам, и кое в чем, быть может, ошибаюсь. Татьяна Петровна, — а она, как сказано, была женщина талантливая и настойчивая (на восьмом десятке она выучилась писать маслом и писала довольно порядочные картинки, которые висели еще при мне у дедушки в золоченых рамах), — Татьяна Петровна не была чужда и страсти к писательству, и в глубокой старости частью писала, частью диктовала правнуку Мише (моему брату) свои мемуары, — но я их, к сожалению, не читал. Они хранились у моей тети Веры и пропали в блокаду.

В Томске у Алексея Николаевича выросла большая семья: пятеро детей: Николай, Вера, Михаил, Ольга, умершая в младенчестве, Сергей — да Татьяна Петровна, да еще сестра, как и он, оторвавшаяся от екатеринбургского дома. Затем и отец разорился, приехал в Томск просить убежища у сына. Жалованье было скудновато. Но тут в жизни маленького банковского чиновника внезапно произошел большой поворот: в Томск приехал инспектор, обнаруживший, что захолустный чиновник свободно говорит или читает на четырнадцати языках. В Петербурге инспектор представил рапорт, и карьера Алексея Николаевича была сделана. Рига — Феодосия — Ташкент — Ростов-на-Дону — Москва — Петербург — все выше были ступени, на которые поднимался Алексей Николаевич в банковском мире. С отъездом сына Николай Сергеевич ушел в монастырь, там и умер. А Алексей Николаевич из государственного банка перешел в частные, и ко времени революции он был в Петербурге членом правления крупнейшего в стране Волжско-Камского Коммерческого Банка, богатым человеком, владельцем роскошной квартиры на улице банковских деятелей — Каменноостровском; незадолго до революции мой дед смог подарить на день рождения своей дочери Вере 10.000 рублей золотом.

Революция застала дедушку Алексея Николаевича не в Петербурге, а на даче, в Судаке, в Крыму. Там и умерла Татьяна Петровна. Проживание на даче было в годы революции несомненным свидетельством принадлежности к классу буржуазии, а таковая принадлежность безусловно заслуживала смертной казни. Дачников группами водили расстреливать на гору Сокол или просто на пляж. Ожидая той же судьбы, Дьяконовы покорно выполняли

все, что требовали новые власти, вместе со всеми послушно ходили на доклады о международном положении и гидре конрреволюции; однажды докладчик оказался... сумасшедшим. Он вышел на трибуну и воскликнул:

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

И затем, помолчав:

— Перелетайте и соединяйтесь. Соединяйтесь и перелетайте.

И еще помолчав:

— Соединяйтесь и перелетайте. Перелетайте и соединяйтесь.

Дачники замерли в ужасе, не смея ни смеяться, ни молчать. На их счастье четыре мощных матросских руки выволокли докладчика за сцену.

Когда печальный поток дачников на гору Сокол уж очень усилился, дедушке и его семье удалось скрыться в деревне.

Дело было так. Дедушка Алексей Николаевич, в меховой шапке на седеющем «бобрике», в золотых очках и с кошелкой в руке, пошел на базар города Судака — что-то выменивать. К нему подошел неизвестный и сказал:

— Алексей Николаевич, вы ли это?

Оказалось, это был швейцар Феодосийского Государственного банка. В свое время дедушка был его живым идолом; он старался во всем подражать ему — и в походке, и в прическе, и даже завел себе золотые очки, хотя, по слухам, зрение имел нормальное.

— Вот живем, продаем кое-что помаленьку.

— Вы же здесь погибнете!

И швейцар в тот же день забрал дедушку, Ольгу Пантелеймоновну и тетю Веру в лесной хутор где-то за Старым Крымом — леса там были непроходимые и двадцать лет спустя, когда я там бывал.

При Врангеле дедушка сидел тихо, и в 1922 году, как я уже рассказывал, благополучно вернулся в Питер. Это произошло таким образом. За неимением привычных «Биржевых ведомостей», дедушка по утрам читал «Известия». Листая очередной номер, он наткнулся на упоминание о замнаркома юстиции РСФСР П.А.Красикове. Тогда Алексей Николаевич решился по адресу «Кремль, заместителю народного комиссара юстиции» написать примерно следующее письмо: «Я, конечно, понимаю, что для новой власти я чуждый элемент, однако у меня огромный опыт финансовой работы, знание множества иностранных языков, в моей личной честности Вы, П.А., можете быть уверены, и я думаю, что могу еще приносить какую-нибудь пользу».

В ответ пришла правительственная телеграмма, вызывавшая Алексея Николаевича Дьяконова с семьей в Москву, в Кремль. Они приехали и остановились на квартире у Петра Ананьевича Красикова. Квартира была в их полном распоряжении: Красиков был занят с раннего утра до позднего вечера. Однако с устройством Алексея Николаевича на какую бы то ни было работу дело нисколько не продвигалось.

Однажды в квартиру позвонил длинный худой мужчина в солдатской шинели, из-под которой был виден обычный для руководящих коммунистов френч цвета хаки.

— Петр Ананьевич дома?

— Нет, — ответил дедушка, — но он обещал сегодня рано прийти. Раздевайтесь. Присаживайтесь, подождите, пожалуйста.

Гость подошел к пианино, открыл его и стал играть Шопена. Играл довольно долго — Красиков не шел. Наконец, он закрыл пианино, повернулся на вертящейся табуретке и сидел молча.

— Вы меня извините, — сказал дедушка Алексей Николаевич, — Вы, видно, из коммунистов. Я человек старый и опытный, позвольте, я скажу вам, в чем вы, как мне кажется, делаете ошибки. — И он изложил свою точку зрения на деятельность большевиков с экономической и отчасти с политической точки зрения.

Тут пришел и Красиков.

— А, Феликс Эдмундович! Здравствуйте. Пройдем ко мне в кабинет.

Через полчаса он проводил своего гостя и вышел к Алексею Николаевичу, который безмятежно сидел со своими в гостиной. Имя и отчество гостя были ему незнакомы.

— Алексей Николаевич, что это вы тут наговорили! Знаете вы, кто это был? Это же Дзержинский!

На другой же день Дьяконовы были срочно отправлены в Петроград с письмом Красикова. Дедушка устроился бухгалтером в какой-то из многочисленных тогда трестов.

Круг замкнулся. От прежнего богатства остались только роскошные фотоальбомы с интерьерами дедушкиной квартиры, где огромные диваны и ковры пропадали по углам в океанских просторах гораздо более огромных зал с сияющими паркетными полами. А когда-то у дедушки был в гостях министр финансов Коковцов — и пожаловался, что сам живет скромнее.

Я познакомился по-настоящему со своим дедом в 1926 году, когда все великолепие, сохранившееся из его двенадцатикомнатной квартиры — шкафы черного дерева, уродливые резные буфеты «модерн» со столбиками, красные мягкие кресла, дубовый письменный стол, прабабушкины картины в золоченых рамах, сундуки, шкатулки, картины Бакста, иконы с тлеющими лампадками — тесно столпилось в его теперь всего только четырех комнатах на проспекте Карла Либкнехта. Здесь жили с ним бабушка Ольга Пантелеймоновна — не седая, а только седеющая, все такая же прямая, благообразная, белотелая, с такой же громадной прической на затылке — и еще дочь, громогласная тетя Вера.

Дамы всячески подчеркивали, что дедушка — глава семьи; дом замирал, когда он ложился отдохнуть; по вечерам, затаив дыханье, слушали, как дедушка читает вслух старинные романы, — он числился замечательным чтецом. И сам дедушка держался строгим хозяином. Но на самом деле он был совершенно под башмаком у своих дам.

Не реже, чем раз в неделю, я должен был являться с официальным визитом «к Дьяконовым». Было довольно неуютно. Я все время боялся, что не так сяду, не так встану — мои манеры постоянно подвергались критике. Нужно было есть грандиозные обеды — бабушка была неповторимая мастерица кухонного искусства; когда производился какой-нибудь кулинарный шедевр, с кухни изгонялась даже тетя Вера — производственный процесс держался в полной тайне. Эти тайны свои она так и унесла в могилу. Нигде и никогда я больше не ел таких пирогов, пирожков, пельменей, готовившихся по сибирскому рецепту — выставлявшихся на балкон, на мороз; съесть менее

пятидесяти пельменей значило нанести бабушке смертельную обиду: сто малюсеньких пельменей было нормальной порцией для мужчины, а хороший мужчина съедал и по сто пятьдесят.

Тетя Вера меня занимала рассказами или карточной игрой, но я с нею чувствовал себя неловко: я знал, что она в смертельной вражде с моей матерью, и боялся оказаться нелояльным по отношению к маме, которая была важнее, чем тысяча теть.

Дедушка ко мне относился хорошо, охотно отвечал на мои вопросы, разговаривал со мной, научил меня стихотворению Мицкевича по-польски, когда мы как-то раз с ним заспорили и заговорили о разных языках. В это время ради своих сыновей он в свои шестьдесят шесть лет зубрил по самоучителю норвежский и голландский языки.

Алексей Николаевич был уже очень давно далек от науки, от математики, которую он когда-то избрал, от интересов своих студенческих лет и от студентов-товарищей. Каким он сделался? Мне это очень трудно сказать. Я слышал о нем только от жены и дочери и, конечно, слышал только то, что он был умный и добрый, что все, даже швейцары, его любили. Я могу только догадываться, но я знаю, что в нем была не только мягкость. К жизни от относился по-деловому, без сентиментальности. Чем ни увлекались его дети, — отец мой тянулся к морскому делу, тетя Вера тянулась к серьезной жизни медичек, — сыновья должны были получить образование, нужное для экономиста и финансиста, дочь должна была войти в семью делового человека. Для себя он оставлял вечера, занятые изучением языков, — без особой цели, просто как упражнение ума, иначе зачем ему было в Ташкенте учиться по-узбекски, брать уроки у какого-то неумного муллы, который сочинял нелепые фразы-упражнения, пародирующие самоучители Марго или Оллендорфа: «в моей сегодняшней брюке вчерашняя змея?» Вряд ли ему для дела приходилось говорить хоть с одним узбеком. Дед мой много читал — и читал хорошую литературу, на многих языках. Но образ жизни определялся вкусами и понятиями Ольги Пантелеймоновны, понимавшей только внешнее, показное преуспеяние — и мебель, и картины, и одежда должны были быть добротные и, прежде всего, дорогие; горничные должны были быть в накрахмаленных наколках, и говорилось им, конечно, только «ты». Была Ольга Пантелеймоновна пресной умом — и, наверное, и телом; для души у Алексея Николаевича были книги, языки, заграничные путешествия; какого отдохновения искал он для тела? Мне смутно помнится, что я откуда-то знаю про его любовниц, а может быть, это мне снится. После его смерти осталась библиотека порнографической литературы, которая позволила мне изучить впоследствии нецензурные слова на пяти европейских языках; книги в великолепных переплетах из сафьяна с золотым тиснением и из белой кожи, с красными и золотыми обрезами, — романы, драмы, стихи, дидактические сочинения для юношей, посвященные половым сношениям нормальным, мазохистическим, садистическим, утонченным. Бабушка, не знавшая ни одного иностранного языка, свято хранила эти книги, считая их дорогими изданиями классиков мировой литературы; впоследствии они достались моей маме, и она велела мне их сжечь.

Но глубокие знания, собранные за полстолетия жизни моим дедом на

вершинах и в ямах европейской культуры, были только балластом для заполнения досугов ума и чувственности, которых не могла заполнить сущность жизни, росшая только на почве расходных книг; познание добра и зла, созданного человечеством, было для досуга, но не это было главное и нужное в жизни; главное, как видно, было дело, создававшее ценность благосостояния; или, даже без такого осмысления — но просто надо было заниматься делом, быть деловым человеком. Он был строгим отцом, строгим начальником, был за порядок в жизни и в доме — а втайне от жены дозволял себе быть в одних обстоятельствах человечным, мягким и щедрым, в других — чувственным. Жизнь увела его от товарищей юности; но, несмотря ни на что, и он сохранял такую же, как у них, страсть к познанию, — только для них эта страсть была не делом пустого досуга, а самим содержанием жизни. На фоне той жизни, какой посвятил себя мой дед, его прежние товарищи выглядели учеными чудаками. Но, может быть, он завидовал им посреди блестящих просторов своих зал и гостиных?

Когда-то он был интересный и внимательный собеседник; его любила моя строгая тетя Женя, но прежняя жизнь, о которой он мог бы рассказать, ушла в прошлое. Теперь, когда на старости лет он тащил нисколько не вдохновлявшую его лямку советской службы, содержание его стариковской жизни все более наполнялось размеренным ходом домашнего быта, чтением Диккенса вслух по вечерам, книгами и воспоминаниями о книгах. В отличие от своей жены и дочери, он не был снобом. Он много думал о событиях жизни; ему было интересно жить хотя бы тем, что приносили в своих рассказах, устно и в письмах, его сыновья о жизни в нашей и в других странах. Он не был ожесточен, не замыкал свой ум в непонимании новой России, с интересом слушал своего двенадцатилетнего внука, споривше го с ним о советской власти и справедливости.

Мне нравились его добродушный вид, редкий, мягкий, седой остаток студенческого ежика на круглой голове, золотые очки, почтенные усы, округлый живот, мелкая старческая походка; я не хотел думать о том, что он сек ремнем своих детей — одно из тяжелейших преступлений, какие только, в моих глазах, мог совершить взрослый. Папа был чем-то на него похож — по крайней мере все так говорили, — вероятно, голубыми глазами и светлыми, почти несуществующими, мягкими бровями; но эти глаза могли быть у дедушки колючими и суровыми, — как, например, тот раз, когда он выговаривал мне: я сказал моим родителям, будто дедушка меня за что-то «ругал», а «ругать» значит называть нехорошими словами, он же, дедушка, меня «бранил».

Я по поводу этого выговора с дедушкой поспорил, уверяя его, что «ругать» вовсе не обязательно значит ругаться нехорошими словами. Тогда он вытащил словарь Даля и доказал мне, что «ругать» действительно имеет такое значение. Я сказал ему: «А посмотри на «бранить». — К смущению дедушки, дефиниция слова «бранить» ничем не отличалась от определения слова «ругать». Кажется, я позволил себе сказать дедушке, что язык меняется от поколения к поколению.

В доме дедушки говорили по-старинному и по-сибирски: не «теперь», а

«нынс», не «валенки», а «пимы»; милиционер был для бабушки все еще «городовой».

Дедушкины дети были каждый на свой образец. О старшем — дяде Коле, том самом, который твердо усвоил, что земля кругла, — я знал только понаслышке да по фотографиям красивого, седеющего человека в тропической белой одежде и старинном пенсне. Историю его я узнал позже. Николай Алексеевич был в Алексея Николаевича остро талантлив, но, в отличие от отца, не считал своим долгом применять свои таланты к чему бы то ни было. Получив кое-как высшее образование, он служил где-то в банке — кажется, довольно номинально, — и позволял за собой ухаживать баряшням. Много времени он проводил в доме двух молоденьких баронесс Тизенгаузен, которые были в него без ума влюблены — так и тянулось время, пока одна из них не родила ему сына Алешу. Так дядя Коля стал семьянином, но оформить свой брак ему было недосуг, и Алеше было уже лет восемь, когда, наконец, уходя в армию по призыву, он обвенчался со своей Ольгой Густавовной. Это не мешало ей с самого начала быть принятой «у Дьяконовых» — Коленька был у дедушки любимое дитя, а родство — хоть и незаконное — с баронессой льстило Ольге Пантелеймоновне.

Дальнейшая история дяди Коли уже рассказана. Жена его умерла на Яве, где дядя Коля выслужил себе маленькую пенсию на какой-то железной дороге, построил бунгало и взял на воспитание двух индонезийских девочек. В письмах он торжественно заверял дедушку и бабушку, что они не были его дочерьми, — но папа думал иначе, по крайней мере, об одной.

Письма дяди Коли — целые тетрадки, исписанные мелким каллиграфическим почерком, — были настоящими произведениями искусства; в них были замечательные описания яванской природы, индонезийских и колониальных голландских нравов. Голландцев он терпеть не мог, считал их тупыми, пошлыми и жестокими. Жаль, что эти письма не сохранились.

Конец его судьбы мы узнали много лет спустя. Во время национальной революции в Индонезии его бунгало, как и дома других «белых», подверглось осаде и было сожжено; ему пришлось искать убежища у другой семьи русских эмигрантов; одна из его приемных дочерей отвернулась от него, другая ничем не могла помочь. Умер он в нищете, на чужбине и на чужих руках.

Младшая дочка дедушки Алексея Николаевича умерла в детстве, и вся любовь бабушки была перенесена на младшего сына, Сергея, и на тетю Веру.

Тетя Вера в семье называлась «Петанка» — остаток детской дразнилки, которой изводили властную не по летам девочку: «ка-пе-тан, ка-пе-тан...». Высокая, прямая, сероглазая, не отличавшаяся особой красотой, по-старинному «прилично» одетая, она во всем своем поведении строго придерживалась узких и мещанских понятий бабушки, хотя, в сущности, сама иной раз оказывалась выше многих предрассудков. Но в то же время, хоть и живя по-бабушкиному, тетя Вера, имея властный характер и сильный голос, полностью подчинила бабушку своему влиянию. Вера Алексеевна была неглупа, остроумна, и, при всем том, это было послушное образцовое дитя. Вышла она замуж за богатого «нужного» человека, по выбору родителей. Всю ее историю — и то очень приблизительно — я узнал, конечно, гораздо позже: муж ее, при всех его деловых качествах, к сожалению, не обладал одним

качеством, которое считается необходимым в муже... Пришлось расходиться. Но развестись было нельзя: единственным поводом для развода тогда считалось прелюбодеяние, а при недостатке, которым страдал муж и который сам по себе был достаточно обиден, трудно было требовать от него, чтобы он взял вину на себя; а тете Вере это и подавно было неуместно.

Тем не менее на богатую наследницу нашелся желающий, который согласен был взять ее и без венца — товарищ моего отца, некто Космачевский. Тетя Вера переехала к нему и снова начала семейный менаж. Увы — оказалось, что и Космачевский страдает тем же недостатком, что и Васильев...

Мама, которая терпеть не могла тетю Веру, однажды, когда я уже был женат, хотя совсем не была сплетницей, не удержалась, чтобы не рассказать мне злой анекдот про свою невестку: Космачевский, будто бы, после первой неудачи долго лечился, но когда, пройдя курс лечения, он явился перед очи тети Веры, она так грозно спросила его: «Вылечился?» — что все его леченье пошло насмарку.

После жизненных осложнений всякого рода тетя Вера навсегда вернулась в родительский дом.

Неудивительно, что она казалась типичной старой девой. В силу этой своей роли она держала свирепого любимого рыжего кота Мишку и любила подчеркивать свою девическую трусость. Анекдотов про нее было множество. Она и сама любила их рассказывать и рассказывала с большим юмором — тот особый юмор, который друзья нескольких поколений называли «дьяконовским», был присущ ей в огромной мере. Так, рассказывалось, что раз ее застал в Никитском саду фейерверк, — кажется, по поводу 300-летия дома Романовых. Как только взвилась первая ракета, тетя Вера, взвизгнув, присела на корточки. Но дальше ракета взвивалась за ракетой и не было возможности выпрямиться; тетя Вера, не вставая с корточек, металась из стороны в сторону, пока не спустилась по аллее чуть ли не до самого моря.

Другой анекдот относится уже ко времени нэпа. Устраивая свою новую квартиру, Ольга Пантелеймоновна обнаружила, что в хозяйстве нужен еще один ночной горшок (от времен до канализации пошло в старшей дьяконовской семье, — впрочем, не только в ней, — что ночными горшками пользовались не одни дети). Приобретение его — деликатный вопрос. В эти годы дьяконовского упадка не было прислуги, которой можно было бы поручить это дело. Обе дамы — Ольга Пантелеймоновна и Вера Алексеевна — отправляются в посудно-хозяйственный магазин и, дождавшись, когда у прилавка никого нет, перегибаются к продавцу и шепотом произносят:

— Нам... вазу...

— Вазу? — громогласно возглашает продавец — Пожалуйста! Есть японские! Есть завода имени Ломоносова! Вам какой размер?

— Нет... (шепотом). Нам... вазу...

— Вот я же и предлагаю вам! Вам для цветов или на шкаф?

— Нет... нам... ночную вазу...

— Ночных нет! Есть японские для цветов, есть хрустальные для фруктов, есть...

Между тем у прилавка уже толпа. Мрачный мужчина произносит:

— Да им горшок нужен...

Обе дамы стремглав выбегают из магазина.

Что там горшок! Ни бабушка, ни тетя Вера не могла произнести (и не позволяли произносить другим) слово «штаны» или хотя бы «брюки» — надо было говорить «невыразимые».

В этой игре в чопорность было много напускного. Она не мешала тете Вере очень смешно рассказывать, что она в курсе прейскуранта на проституток, «биржа» которых была у нее под окном. Но считалось, что ее скромность нуждается в особой, сверхординарной охране.

Едва наступают ранние ленинградские сумерки, как тетя Вера уже не решается выходить из дома одна. Как только я стал постарше, меня вызывали не реже раза в неделю телефонным звонком — провожать тетю Веру в гости к ее друзьям Шварсалонам, а потом из гостей.

Ее громогласная, иногда истеричная властность сочеталась с преувеличенными требованиями почтительности к себе, неизвестно почему распространявшимися и на маму: тетя Вера не хотела считать ее своей ровней.

В общем, несмотря на незаурядный юмор и определенный ум, тетя Вера была довольно невыносима. До пятидесяти пяти лет она играла при родителях избалованную барскую дочку.

Человеком она стала позже.

Младший из дедушкиных сыновей — дядя Гуля, как он назывался у нас, дядя Сережа, как его полагалось называть «у Дьяконовых», — был наиболее противным из всех. Рыжеватый, с усиками, он казался плохой карикатурой на моего папу. От своей матери он взял все худшее. При весьма небольшом уме он отличался ленью, крайней пошлостью суждений, отсутствием интересов и, втайне от скромной до чопорности Ольги Пантелеймоновны, — блудливостью. Говорил он всегда бестактно и невпопад, и самый его голос — тенор какого-то особенного рокочуще-скрипучего тембра — вызывал у меня содрогание отвращения. Он без блеска получил высшее образование, — как и братья, экономическое, — женился на швейцарской француженке из хорошего дома — унылой брюнетке с длинным носом, еще более ничтожной, чем он сам, — и имел от нее двоих детей (старший умер в детстве, младшая потом выросла в инструктора райкома). До революции он, как видно, полагался на отцовские капиталы, а после революции оказался ни на что не способен — никогда не мог подняться выше бухгалтера маленького учреждения. Он и его семья постоянно нуждались в материальной помощи от моих родителей. Впоследствии он еще четыре раза женился, в том числе один раз вторично на своей первой жене, ездил за «длинным рублем» на Камчатку, быстро спустил свои рубли. Предпоследняя его жена, балерина, бросила его во время Отечественной войны где-то в эвакуации; он попал бухгалтером в кубанский совхоз, жил в шестьдесят пять лет с колхозницей, произвел на свет дочь и писал сестре, что впервые познал, что такое любовь. Он умер, садясь в телегу, на которой собрался в районный ЗАГС — узаконить дочку.

Кроме «Дьяконовых» были еще «другие Дьяконовы» или «Дьяконовы и Порецкие» — семья Михаила Александровича Дьяконова и Сергея Александровича Порецкого, умерших до моего времени. На первой линии Васильев-

ского острова Дьяконовы и Порецкие в полутора старинных квартирах жили огромным неразделимым кланом. Старшее поколение составляли почтенная, разумная, седовласая, бородатая Надежда Александровна Дьяконова и ее две сестры, старые девушки, глубоко религиозные, добрые — тетя Леля Порецкая и тетя Рита Порецкая, или «слепой мыш». Они отличались необыкновенной скоростью тараторящей, довольно невнятной речи, причем говорила тетя Леля, а ей вторила, как в детстве, тетя Рита. При них состояла до 1941 года в экономках и компаньонках старая няня моего двоюродного брата Алеши. В их комнатке можно было нередко встретить каких-то угнетаемых батюшек. Далее шли бесконечные кузены и кузины Дьяконовы и Порецкие, — как мне казалось, все женатые друг на друге, все бездетные, все естественники, энтомологи, палеонтологи, специалисты по иглокожим и кишечнополостным. Люди они были хорошие, но мне трудно было разобраться, кто из них кто. Я пытался потом даже составлять родословное древо, но так и не запомнил родства. Некоторые из них погибли в тридцатых годах.

В мое время папа уже не был близок «с теми Дьяконовыми» — вообще он оторвался от своей родни, а если поддерживал отношения с родителями и сестрой, то больше по традиции и приличию, чем по действительному душевному родству.

Такова была моя дьяконовская родня.

О маме и маминых родных, которые имели в нашем обиходе гораздо больше значения, я расскажу позднее. Мама была хоть формально и дворянка, но из бедной семьи; родные с трудом пробивались в жизни, с трудом получали образование, — далеко не такое обширное, как у дедушки Алексея Николаевича; от своего отца мама унаследовала молчаливую сосредоточенность в себе, но и жажду знаний, ригористическую честность и веру в то, что человек должен приносить пользу людям; читая тридцать лет спустя «Что делать», я понял, как много было в маме — или, скорее, в ее отце — от этой книги. Скажу, что папа мой женился против воли родителей, и мама уже по одному этому слыла у Ольги Пантелеймоновны и Веры Алексеевны интриганкой, а брак отца с ней — мезальянсом; что поэтому в начале своей жизни папа и мама жили трудно, если не прямо бедствовали; что уже ради мамы я не мог любить «Дьяконовых» и гордился тем, что похож на другого деда — Емельянова.

IV

День в нашем доме начинался без меня. Уходил в Университет Миша, уходил на службу папа, а нам с Аликом не надо было в школу, и мы вставали позже. Позже всех вставала мама. Она перенесла в свое время базедову болезнь, у нее было не в порядке сердце, и с давних пор ей было предписано не вставать сразу, а полежать перед вставанием. Это, впрочем, было и единственным лечебным мероприятием, которое она признавала для себя. Она редко болела, лекарств не принимала, а другим рекомендовала принимать их только в крайних случаях, считая, что от злоупотребления ими чаще вред, чем польза. По привычке, со времен Женского медицинского института, она много курила, и первую папироску выкуривала в постели, но

до этого полагалось выпить ей стакан чаю; когда у нас не бывало прислуги, подать маме этот стакан и пачку папирос считалось моей обязанностью.

В маминой флегматичной молчаливости, неподвижности, в привычке пить чай в постели и вставать поздно не любившие ее видели признаки лени и бездельной инертности. Но это было совсем не так. Инертность в ней была; сказывалось это и в том, что обладая жаждой знаний, убеждениями исследователя и образованием врача, великолепным умением ставить диагноз, она не делала попыток выйти из круга жизни домашней хозяйки. Но безделье было далеко от ее образа жизни. Дом жил ею, ее трудом. Не ею ли самой была вымыта и выбелена, оклеена обоями квартира, не ее ли руками была сделана чуть ли не половина вещей в доме — скатерти, лампы, диванные мутаки, — иногда даже обиты стулья? В нашем доме совершенно неизвестно было понятие портнихи, модистки: себя самое, детей, пока они маленькие, мама обшивала сама; даже ее каракулевая шуба была сделана ее собственными руками; сама мама и стряпала часто, или учила прислуг стряпать; но, сделав то, что было нужно, она возвращалась на диван, и, полулежа на нем, грустно и молчаливо, склонив голову задумчиво набок. курила, пуская голубые кружки дыма, или читала романы.

Фрейд говорит, что всякий мальчик в детстве бывает влюблен в свою мать; не знаю всякий ли, — а я, конечно, был влюблен. Мне было нужно ее видеть, нужно было чувствовать мягкое прикосновение ее руки, ощущать ее нежную щеку, с огорчением всматриваться в ее лицо, уже чуть начинавшее увядать, быть охваченным грустью от ее грустных глаз, слышать ее тихое, редко звучавшее слово, которое было для меня не то что законом, а категорическим побуждением. И другие мне нравились такие, как мама: нелживые, искренние, правдивые, — не в словах, а так, что это видно.

Днем или поздним утром часто приходила тетя Соня, Софья Владиславовна Казарская — подруга бабушки Марии Ивановны, тетка маминого отца. Это была высокая, стройная, по-арабски смуглая старуха в сером ситцевом клетчатом платье, к которому были приколоты маленькие железные часики на тоненькой металлической цепочке, с умными, немного насмешливыми карими глазами под тяжелыми веками — говорят, мои на них похожи; обладала она недюжинным умом, большим тактом и чувством собственного достоинства.

Ее отец был выслан из Польши с новорожденной дочкой в связи с восстанием 1863 года. Так он попал в Туркестан, где жила его старшая сестра; через нее он был в родстве с моим прадедом со стороны Емельяновых, и тетя Соня росла в Туркестане, а Польши никогда не видала. Брат ее был «нелегальным» — кажется, народовольцем, — и сгинул где-то в Сибири в начале царствования Александра III. Судьба его была никому неизвестна. Очень рано Софья Владиславовна осталась совершенно одна; жила она в немецкой семье Киндов, родных своей матери и моего деда Емельянова. Лет двадцати двух она вышла замуж за молодого офицера, образованного, но без всяких средств — некоего барона Бутлера. В то же лето вместе с мужем, в женском седле «амазонкой», она участвовала в экспедиции, исследовавшей горные долины Алая; эта поездка, необыкновенное великолепие диких гор, молодая любовь, кони, альпийские луга остались на всю жизнь ее лучшим,

великим воспоминанием. Сразу после возвращения с Алая Бутлер умер. Тетя Соня поступила на службу почтовой чиновницей, прослужила в маленьких почтовых конторах всю жизнь и после революции получала пенсию — не помню сколько, кажется, семнадцать рублей; других денег у нее не было: у друзей она денег не брала.

В нашем доме она всегда была своя.

Теперь я понимаю, что на ее пенсию можно было бы только умереть с голоду, и что если она, приходя к нам, делала какую-то работу (медленно шила или штопала что-то своими смуглыми, узловатыми, подагрическими болезненными пальцами), — то для того, чтобы ей не стыдно было бывать в доме, обедать. Она не могла жить на чужой счет, хотя в нашем многолюдном и всегда полном родных и друзей доме никто бы и нечаянно не подумал о нашей молчаливой гостье, что она нам что-то должна.

Говорила она мало, но если ее спросить о чем-нибудь, то суждения ее были всегда спокойны и умны, иногда резки. Когда, как нередко случалось, она оставалась наедине с нами, детьми, — она отвечала нам внимательно, о себе не рассказывала, а если вспоминала что-нибудь, то к делу, и всегда понимала нас.

Мои отношения с людьми были определенны и прямолинейны; я называл несправедливостью, что мне казалось несправедливым; дипломатии во мне не было; часто, например, я спорил, сталкивался с папой из-за Миши; труднее было с «Дьяконовыми» — их я не мог принять, но инстинктивно чувствовал, что обсуждать их с моими родителями и, тем более, осуждать — нельзя и не нужно. Часто ссорился и спорил я с Аликом. Все это разворачивалось на глазах тети Сони, и она всегда понимала мои отношения к людям и мелким событиям нашей жизни, детской и семейной. И тетя Соня умела слушать и, когда надо, уверенно успокоить. «Дьяконовское» мещанство она презирала, папу же искренне любила; а родителей его называла «папашкой с мамашкой» — конечно, в то время еще не в разговорах со мной.

Тетя Соня оставила важный след в моей душе. Было в ней что-то необыкновенно близкое моему чувству истинной гордости, когда оно не было искажено у меня самомнением. Как теперь подумаю, она, вероятно, была живым уроком того, что жить надо трудовой и достойной жизнью, ни у кого не быть в долгу, сохранять обо всем свое собственное мнение, не кланяться, не хныкать ни над мелкой неудачей, ни над разбитым счастьем жизни.

Приходила и мамина мама, бабушка Мария Ивановна, маленькая, сухонькая, без единого зуба во рту, прямая, быстрая, когда возбуждена — очень громогласная, так что, казалось, она сердится и кричит. Умела она и громко смеяться папиным шуткам, и грозно высказывать свое мнение в споре. Она была разговорчивее, чем тетя Соня, ласкова с внуками — но не было тут никакой близости, даже когда, как случалось, она подолгу живала в нашем доме. Она тоже иной раз что-то шила, а иногда, надев старинные железные очки с маленькими продолговатыми стеклами, читала романы Марлитт или Локка — другую литературу она решительно отвергала. Или раскладывала пасьянс, а с тетей Соней играла в «японский вист» теми же маленькими блестящими пасьянсными картами с голубым и розовым крапом.

Также как и другая моя бабушка, Марья Ивановна (Маша Лыткина) еще

девочкой осталась сиротой на руках у матери. Кто был ее отец — я не знаю, бабушка сама его не помнила; вероятно, бедный офицер из незнатных дворян (фамилия Лыткин, как я впоследствии узнал, зырянская, а бывает — уральская и сибирская, хотя никто в семье не помнил о каком-либо зырянском родстве). Впрочем, из раннего детства бабушка еще помнила недавно отпущенных на волю крепостных — не знаю, их семьи или соседей.

Оставшись одна, бабушкина мать уехала с дочкой к брату в завоеванный Туркестан. Ехали на почтовых. В повозку запрягались верблюды; дорога длилась два-три месяца. Брат вдовы, Иоаким Андреевич Войцеховский, дворянин польского рода, но считавшийся — из запорожской старши́ны, внук полоненной турчанки, был уездным воинским начальником в городке Катта-Кургане, только что усмиренном царскими войсками.

Что он был за человек, не знаю; говорили, что он добился хороших отношений с «сартами»; была у него и жена «сартянка» (узбечка) — конечно, невенчанная; ее он скрывал от всех, что соответствовало и взглядам узбеков — в том числе и узбечки, жены его, и взглядам офицерского «общества», в котором он вращался и куда ввести узбечку было, конечно, невозможно. Впоследствии он дослужился до генерала и дожил свой век в Петербурге, где-то на Лахтинской улице. У меня сохранилась его фотография в генеральских эполетах и с неслыханно длинной, расчесанной, шелковистой седой бородой.

Иоаким Андреевич принял сестру, а Маше заменил отца. Но с узбечкой, конечно, и они не общались.

Жизнь Маши с юных лет протекала в провинциальной армейской среде; все ее рассказы начинались всегда со слов: «У нас был один офицер...» или «У одного офицера у нас был денщик...» Офицеры в ее рассказах жаловались на дороговизну каких-то медных бля́х, введенных в форму прихотью Александра III, женились в семнадцать лет на девочках, с которыми вели потом кукольные ссоры («она» разрезала на куски «его» мундир, «он» разорвал на клочки «ее» платье), горько пили, не могли свести концы с концами; денщики отличались непонятливостью, сдабриваемой восклицаниями: «так точно, ваше высокоблагородие!», пытались долгим кипячением разварить яйца до мягкого состояния («всмятку»), в роковой для офицера момент бывали пьяны, так что сапоги оставались неначищенными; штатские появлялись в рассказах редко и в комическом виде: один чиновник всю ночь бранился с женой, пока она в ожесточении не вонзила ему в зад вилку; тут она испугалась, и просыпающийся Ташкент стал свидетелем великолепного зрелища: по булыжникам от дома чиновника к квартире военного хирурга тряслась извозчичья пролетка; в ней на заднем сиденье восседала барыня и держалась, — чтобы избавить мужа от мучительного вибрирования, — за роковую вилку, торчавшую в заду ехавшего перед ней стоя мужа...

Еще был рассказ об офицере, несшем службу где-то в тугаях, в низовьях Амударьи. Жил он в «сартовской» мазанке, крытой камышом, и раз, вернувшись затемно домой, услышал громкое мурлыканье со своей постели: на ней спал тигр, разметавший камыш и улегшийся отдохнуть на походной кровати.

Теперь в Средней Азии тигры вымерли.

Общим фоном бабушкиных рассказов была удивительная «туркестанская» природа, где воткнутая в землю палочка вырастает в дерево, где над мутными быстрыми арыками высятся карагачи и гигантские чинары, где кругом голодная степь, саксаулы и перекати-поле, барханы пустыни и где живут «сарты» в тюбетейках, как у папы, и в пестрых халатах.

В семнадцать лет Мария Ивановна вышла замуж за молодого артиллериста. Был он формально из дворян, но их таких, которые никогда не имели ни поместий, ни крепостных.

В последствии я видел у тети Жени автобиографию и послужной список моего прадеда. Таким образом я узнал, что отец прадеда, мой прапрадед, был из государственных (не крепостных) крестьян Смоленской губернии, и звался Сидором Емельяновым Скуматовым. В селе почти все были Скуматовы, и когда Сидора забрали в рекруты, то вместе с ним в роте оказалось сразу несколько Скуматовых. Чтобы их различить, фельфебель их переименовал — по отчествам, что было вполне законно: крестьяне, кроме оброчных на заработках, не имели паспорта, а потому и фамилии, а называли себя, при необходимости (например, как раз при получении паспорта для работы на оброке или при рекрутском наборе), либо по отцу, либо по деду, и иной раз по имени его, а иной раз по прозвищу (отсюда бесконечные Смирновы и т.п.). Так и стал солдат Сидором Емельяновым. Впоследствии в битве на Кинбурнской косе Сидор Емельянов был в числе группы солдат и казаков, которые прикрыли Суворова, выскочившего вперед наших войск и окруженного турками; эпизод этот, описанный в автобиографии моего прадеда, — подлинный и известен историкам. За это дело Сидор Емельянов получил медаль из собственных рук государыни императрицы Екатерины II, и вскоре получил унтер-офицерское звание. У него были сыновья и дочери. Старший сын его, мой прадед Потап Сидорович, был отдан в солдатскую (кантонистскую) школу. Такие школы были двух родов — общие, вроде церковно-приходских, где учили только грамоте и счету, да катехизису, и более привилегированные, позволявшие ученикам — детям особо отличившихся солдат и унтер-офицеров — по окончании попасть в специальные военные учебные заведения. В такую школу и был принят сын Сидора Емельянова, а по окончании он выдержал экзамен в военно-топографическое училище, откуда вышел с чином прапорщика и был послан военным топографом на полуостров Мангышлак.

Задачей было дослужиться до капитанского чина и тем самым получить потомственное дворянство. Но Николай I дважды повышал чин, с которого присваивалось дворянство: когда Потап Сидорович стал капитаном, оказалось, что надо служить до подполковника; когда дослужился до подполковника, надо было служить до полковника.

Всю свою сорокалетнюю службу Потап Сидорович безвыездно провел на Мангышлаке, и не в прибрежном форте, как солдат Тарас Шевченко, а по большей части в пустыне. За все это время он раза три получал премию в виде годичного оклада, но только дважды был в отпуске — оба раза сдил жениться. Первая его жена родила ему дочерей, но не выдержала Мангышлака и умерла. Второй раз он женился на немке, Анне Ивановне Кинд; мать ее была полька Казарская, а ее младшая двоюродная сестра была моя любимая

тетя Соня. От Казарских мой дед, а за ним мама и я унаследовали турецкую внешность, черные глаза и тяжелые веки с монгольской складкой.

Потап Сидорович дослужился до полковника, вышел в отставку и вскоре умер.

Так как средств у новоиспеченного дворянина Потапа Сидоровича не было, то его потомки были навсегда привязаны к офицерской службе: она обеспечивала кошт и возможность давать детям образование. Офицером-топографом, проведшим жизнь в степном захолустье, был Потап Сидорович Емельянов; артиллерийским офицером был его сын, мой дед, Павел Потапович Емельянов.

Я не знал его; знал только выцветшую фотографию: старинная раздвоенная борода, тяжелые монгольские веки над умными, печальными глазами. Из рассказов о нем можно было понять, что он был человек талантливой души и пытливого ума, но только много лет спустя, наткнувшись на его некролог в старой ташкентской газете, написанный с волнением и теплотой, я узнал, что в нем ценили ученого, самоотверженного исследователя нового края, изобретателя, химика. Но все эти его качества не находили настоящего применения в рутине захолустной офицерской жизни. Бабушка Мария Ивановна, горячо любившая его, могла только рассказать мне, как все в доме волновались, когда он взялся отливать по своему новому способу колокол для строившегося русского собора в Ташкенте — было очень дорого везти колокола из России; собор с колоколами чрезвычайно мало интересовал неверующего Павла Потаповича, его волновал изобретенный им новый и простой способ литейного производства. Еще были смутные разговоры о каких-то поисках руд. И для Марии Ивановны, как и для начальства, ее муж был просто командиром батареи в городе Ташкенте.

Когда Маша Лыткина познакомилась с молоденьким поручиком Емельяновым, поручик пил запоем; мать и дядя отговаривали ее от брака, а сам Павел Потапович едва решился просить ее связать свою судьбу с судьбой его, пропойцы. С трудом был собран и денежный залог, необходимый офицеру, чтобы получить разрешение жениться. Но, выйдя замуж, юная Мария Ивановна взяла мужа в твердые руки. Пить он бросил и увлекся наукой. Среди русских в Туркестане семидесятых-восьмидесятых годов не все были «господа ташкентцы»; были исследователи, разыскивавшие древние города и залежи руды, заносившие на топографические карты Алай и Памир; были научные кружки; более полустолетия спустя Миша нашел в одной из библиотек Средней Азии пожелтевшие листы протоколов такого кружка, писанные рукой моей мамы.

Один за другим родились дети — шесть человек, и все остались живы; в те времена это была редкость и в зажиточных семьях. А в бедняцких! А в приютах! В период расцвета батарейной карьеры моего деда бабушка Мария Ивановна была выбрана дамой-патронессой ташкентского сиротского приюта для девочек. Перед ней открылась страшная картина: ни одна девочка не доживала до выпуска из приюта!

Но и на средства полковника, командира батареи вырастить шесть детей было не так уж легко; еще труднее было дать им воспитание. Детей посылали только в младшие классы гимназии; потом отправляли мальчиков — в

кадетский корпус, девочек — в институт благородных девиц, так как там принимали офицерских детей бесплатно или на очень льготных условиях. В Туркестане ни кадетских корпусов, ни институтов не было — дети должны были уезжать в Оренбург — ехали в почтовой повозке, запряженной верблюдами. Это было так далеко, что за время «вакаций» съездить к родным было невозможно. Годы учения были годами ссылки, шестилетнего заключения вдали от родных и близких.

Кто читал Чарскую, тот, отбросив сентиментальную идеализацию, может догадаться, что такое был институт благородных девиц. Maman, влюбленность в красавца-батюшку (преподававшего закон божий), девичьи дружбы и ревности, корсеты (у мамы на всю жизнь остался след на теле от слишком тугого корсета). Но все-таки сюда заносился каким-то ветром свежий воздух. В Оренбурге, помимо батюшки, был еще один мужчина-учитель, который — во внеклассное время — решался выходить за пределы программы по русской литературе (а она кончалась, кажется, на Державине) и читал девочкам Пушкина, «Записки охотника» и даже Некрасова; были учительницы, которые внушали интерес к естественным наукам. Хорошо учили французскому и немецкому языку: все дни недели были французские или немецкие, за разговоры по-русски — даже между собой — наказывали (русский был разрешен лишь на уроках русского языка и закона божьего).

Мама была в Оренбурге, когда в доме Павла Потаповича случилось несчастье. Делами батареи он, конечно, занимался очень мало; помощник его проворовался; Павел Потапович попал под суд. Он был оправдан, но ему пришлось выйти в отставку без пенсии и поступить в Асхабаде на службу — на строившуюся Красноводскую железную дорогу.

Служба была нелегкой и требовала постоянных выездов в пустыню. Один раз Павел Потапович неделю ехал на верблюде от Узун-ады на Каспийском море до Асхабада — это было тяжелее, чем плавание по бурному океану.

Вскоре после возвращения мамы из института — в 1902 году — Павел Потапович заболел в поездке брюшным тифом и умер. Для мамы это был жестокий удар. Она очень любила своего молчаливого и доброго отца. Его выцветшая фотография, с которой на нее смотрели его пытливые, печальные глаза, сопровождала ее до самой смерти. Каждую весну ей присылали из Ташкента первую фиалку года, и она клала ее под стекло фотографии.

Марии Ивановне было сорок два года, когда умер ее муж; но в несколько месяцев она стала старухой; зубы она потеряла почти все еще раньше — среди ташкентцев не было зубных врачей, а если и были, то они были дороги; теперь русые волосы ее поседели, лицо сморщилось. Но мужество ее не было сломлено. А мужества было нужно немало. Как дети железнодорожного служащего и по особым хлопотам друзей Павла Потаповича, дочери Маня (моя мама) и Женя — до замужества, а сыновья — до совершеннолетия получали какое-то вспомоществование, но всех еще предстояло поставить на ноги. Только старшая дочь, красивая, статная, умная, спокойная Анюта была уже замужем за офицером. Сыновья еще учились — старший, Павлюня, в юнкерском училище, средний, Петя, в технологическом институте, младший, Толя, в кадетском корпусе; мама успела окончить институт благородных девиц и служила сначала библиотекаршей в Асхабаде, потом классной дамой

в Ташкентской женской гимназии; младшая, Женя, только готовилась к институту и должна была вскоре ехать в Оренбург.

Родни и друзей было много в Ташкенте; но, видимо, мало кто мог или хотел помочь осиротевшей семье, и из всех родственников никто не остался в нашем поле зрения, кроме тети Сони.

Что было с самой бабушкой между 1902 и 1913 годами — я плохо знаю; знаю, что в 1917—1918 годах она, вместе с нами, со своей матерью и дочерьми, тоже жила в Вольске. Наша семья приехала туда в 1917 году на дачу и застряла до конца 1918 года — с чего и начались мои воспоминания, — оттуда тетя Женя уехала на румынский фронт и туда же вернулась, а дядя Толя позже ушел на фронт гражданской войны «выяснить обстоятельства», попал в белую армию и пропал без вести.

В 1919 году бабушка приехала в Петроград, где чуть не умерла от воспаления легких. Сначала она жила у нас, а когда с фронта вернулась тетя Женя, жила все время с нею, если не считать кратковременного приезда в Норвегию. Была она живой и деятельной; на улице, со спины ее можно было принять за девушку, и еще в восемьдесят лет она могла бежать за трамваем и садиться на ходу; всем в жизни она интересовалась, — хоть не глубже, чем интересовалась бы капитанша Миронова, — и, помню, во время первых выборов по новой конституции в 1937 году она специально приехала к нам в дом, чтобы голосовать за Литвинова, который проходил по нашему округу: она была горячей сторонницей политики разоружения и коллективной безопасности, — хотя вряд ли могла бы запомнить и повторить эту последнюю формулу.

Мамина младшая сестра — тетя Женя — большая, яркая, румяная, темноволосая, энергичная, с темным бантом в волосах, — нередко приходила в наш дом. Она успела побывать на румынском фронте зубным врачом, на фронте гражданской войны сестрой милосердия, художницей, а сейчас училась в Медицинском институте. Была она непримиримо чиста и строга к себе. Помню, как в какой-то день рождения папа угощал ее вином.

— Я терпеть не могу вина! — воскликнула она.

— Да ты его когда-нибудь пила? — спрашивал папа.

— Не пила и пить не буду!

Она была очень хороша собой, но мужчин держала на почтительном расстоянии. Отношение ее к ним было вроде как к вину — ничего хорошего от них она не ждала. И не без основания. Русские и румынские офицеры, несомненно, в свое время имели на нее виды. Она привезла с фронта несколько румынских слов и целую фразу, которой ее научили офицеры и которая должна была значить: «я хочу тебя поцеловать». Увы, через много лет я случайно узнал, что эта фраза значила другое.

Пройдя впоследствии сам через войну, я очень удивился, как это тетя Женя сумела сохранить на фронте эту моральную чистоту. Но как-то раз она мне рассказала, как при ней, в ее походном зубоврачебном кабинете, один подпоручик посмел назвать (вполне, впрочем, справедливо) какую-то женщину «канашкой». Громовым голосом тетя Женя сказала ему: «Вон отсюда!!». Он вылетел пулей и с тех пор забыл зубы лечить.

Был еще удивительный рассказ о том, как солдаты, втащив ее через окно,

усадили ее в вагон сверхпереполненного поезда, уходившего из Румынии — или уже из Одессы? — в Петроград,— и по дороге стерегли как зеницу ока.

Да, при таком характере, спокойствии, громком голосе, умении постоять за себя мужчины и на фронте были тете Жене не опасны.

Ей было в 1927 году уже за тридцать, вполне пора уже было замуж. Наконец она объявила, что выходит за Володю Медведева, приятеля своего племянника Бориса, с которым тот вместе вернулся из Красной Армии.

Из других маминых родственников хорошо помню Бориса, сына маминой старшей сестры, который пытался учиться, но, из-за плохой анкеты и по недостатку средств, бросил и работал мастером на стекольном заводе. Оттуда он приносил красивые, фантастические образцы цветного стекла в виде плоских кружков, служивших как пресс-папье; и его сестер — упоминавшуюся неудачницу Таню, Надю, курносенькую хохотушку с ямочками на щеках — потом врача и мать семейства — и больную Нюру.

С нашим переездом в Ленинград мои рояльные мучения кончились, но Алик продолжал играть на своей маленькой скрипочке, а Миша — на виолончели. Виолончель — замечательный, благосклонный к человеческой душе инструмент; до сих пор она поет во мне свои мелодии. Иной раз к Мише приходили какие-то музыкальные знакомые и разыгрывались квартеты — рояль, скрипка, альт и виолончель. Это было хорошо.

С Мишей, как всегда, было интересно говорить. Он говорил со мной часто — о своем ученье, о своих делах, — конечно, не о сердечных, хотя я знал, что они были: знал по его стихам, по его меланхолическому настроению. Дома он всегда был как-то меланхоличен. Подлинная и, как потом оказалось, вовсе не печальная жизнь его была вне дома.

Тетя Соня, бабушка, изредка тетя Женя, Мишины музыканты — это были дневные посетители, те, которых я, собственно, и видел; настоящая жизнь моих родителей наступала с вечера.

Когда папа приходил с работы, мы все вместе садились обедать. За столом папа с оживлением рассказывал о событиях на службе, шутил, изображал своих сослуживцев, с удовольствием говорил о своих успехах, а иногда, с некоторым раздражением — о неуспехах или неприятных ему людях. Если за столом был гость — а это бывало часто — папа иной раз с большим убеждением и подробностью рассказывал ему какие-нибудь небылицы. Но опытный гость тут же начинал смотреть на маму — по ее глазам сразу было видно, если папа начинал сочинять.

После обеда папа ложился спать; часов в девять вечера, надев узбекский халат и неизменную тюбетейку, он садился за стол и писал, писал, наклонив голову, своим мелким, размашистым, неразборчивым почерком, — один лист перевода за другим. Он еще в Норвегии — для собственного удовольствия — перевел «Антуанетту» и «Подруг» Ромэна Роллана, а потом стал переводить книги Руала Амундсена, и теперь он был уже известным переводчиком.

Изредка раздавался призывный свист, которым папа и Миша обычно звали друг друга:

— Фиу-фи-фиу!

— Фи-фиу-фиу!

Это папа звал Мишу посоветоваться о какой-нибудь фразе, особенно когда он переводил с норвежского.

До глубокой ночи на папином столе горел свет.

Иногда приходили гости: мамина подруга по Медицинскому институту, Серафима Федоровна Филиппова — флегматичная, но с юмором и живым умом — и приставленный к ней невзрачный муж; какие-то папины сослуживцы и поклонницы, — или, напротив, «обже», так называемые «пупочки»; изредка — неприятная мне доктор Можарова, — кажется, папина страсть времен маминой базедовой болезни; иногда писатели — Е.И.Замятин и К.А.Федин, а позже — М.Л.Слонимский, М.Казаков. Но эти приходили большей частью так поздно, что я их не видел и не слышал их разговоров. Раз только Константин Александрович пришел днем; они дурачились с папой, и Федин катался на трехколесном велосипеде Алика по комнатам — я был очень недоволен: боялся, что велосипед погнется. Впрочем, как оказалось, он заметил нас, детей, и много лет спустя, в старости, рассказывал кому-то про наши игры в Ахагию.

V

В то время у меня не было друзей и товарищей, кроме братьев; попытка моих родителей познакомить меня с детьми своих знакомых не привела ни к чему; а на улице, во время наших кругов вокруг квартала — было лишь бы избежать драк; и в садике на Каменностровском, за домом 26/28, было немногим лучше. Там были ребята, с которыми я мог бы играть, — но я не умел знакомиться. Раз только меня позвали в какую-то компанию — играть в «казаки-разбойники». Тут я встретился с Владиком, единственным моим, так сказать, «уличным» приятелем. Собственно говоря, с тех пор я знал и других ребят, например играл со славным еврейским толстяком и недотепой, Мулей, кланялся необыкновенно нежно-красивым, чистым и интеллигентным детям Ковалевым, ходившим в сад с красивой мамой и чинно игравшим отдельно от всех; но это все были ровесники Алика; только с Владиком у меня было то, что называется приятельские отношения.

Владик был мальчик некрасивый, неказистый, прыщавый; и пальто у него было сильно потрепанное, с братского плеча, — видимо, перешитое из какой-то шинели. В этом мальчик было что-то бесхребетное, какая-то угодливость и ущемленность. Но ко мне он питал род восхищения, неизвестно на чем основанного. Насколько помню, он обо мне почти ничего не знал. Такое отношение мне льстило, и я как бы дружил с моим поклонником.

Владик ввел меня в курс жизни «сквера». Была она довольно сложной. В садике верховодили две компании или «шайки» — из дома 26/28 и из дома 17/19 по Карповке. Каждая имела своего главу. У карповских это был красивый, ловкий Мишка Воронин, лет 14, видимо, из интеллигентской семьи, если судить по его внешности и хорошей одежде — он ходил в каком-то зеленом английском костюмчике. Короткие штаны «гольф» ему прощались, не в пример мне и Алику. У компании «дома 26/28» главарем был не помню кто; помню только, что он был сильнее и храбрее Мишки, но на вид был более невзрачен и имел меньше успеха у красавиц садика.

Особенно интриговал девочек сквера шрам на лбу у Мишки. Считалось, что он получил его при каком-то необыкновенном боевом приключении, или — уж самое меньшее — во время одного из регулярных сражений между карповскими и каменностровскими. Но однажды я был свидетелем, как Мишка Воронин, небрежно развалясь на скамейке, рассказывал сидевшим по бокам звездам садика историю этого шрама. Девочки глядели на него с обожанием, но история этого не заслуживала: оказывается, пьяный швырнул в него из-за забора бутылкой.

Владик советовал нам с Аликом держаться подальше от обеих шаек. Во-первых, мальчики в них буяны и драчуны, а во-вторых, хулиганы:

— Они говорят девочкам ..., — сказал он мне с почтительным осуждением. Я не понял, в чем таинственное и запретное значение этой фамилии или формулы, но мудро промолчал — я не афишировал своих познаний, но зато уж никогда не раскрывал перед другими своего невежества. Но Алик не имел еще разумной дипломатичности и наивно спросил, что это значит. Я поспешил объяснить, что Алик все время жил за границей и по своему возрасту еще многого не знает.

На этом опасный разговор и закончился, но, как видно, Владика тревожили эти темы. Как-то раз, после «турнира рыцарей», в котором Владик и я играли роль коней, а наездники — Алик и Мулька — старались вышибить друг друга из седла, — Владик отвел меня в сторону, сказав, что должен рассказать мне одну важную вещь, которая с ним произошла. И рассказал историю, фольклорный характер которой я инстинктивно почувствовал, но которая, по его словам, произошла именно с ним.

Я кое-как перевел разговор на другое. Однако эта история и ее сексуальный смысл теперь не давали мне покоя. Исходя из моих анатомических представлений, рассказанные мне Владиком действия были бессмысленны и неаппетитны. Может быть, мои анатомические понятия требовали пересмотра?

Это было и все, что я извлек из наших посещений скверика; осенью же он был закрыт, и оставались бесконечные круги вокруг и вокруг квартала. Эти круги заполнялись разговорами с Аликом. Ему было теперь почти восемь лет, и общение с ним было уже вполне возможно. Мы обыкновенно рассказывали друг другу историю с двумя героями: за одного из них рассказывал я, а за другого — он. Причем это были не две разных истории, а именно одна; на каждый поступок одного героя или совершившееся с ним событие, рассказанное мной, Алик давал реплику: «А мой делает то-то и то-то», и наоборот.

Героями приключений были по большей части международный разбойник Хокре Пишук — тот самый, в честь которого всякая подлость или коварство на нашем семейном языке называлась пишукостью, — или индейцы и другие деятели Аликовой страны. В Ахагии дело обычно не происходило, так как юное воображение Алика все еще часто изобретало ситуации, невозможные для моей реалистической страны. Однако страна Алика под названием «Виррон» была теперь, как сказано, все же допущена в мою главную игру, центром которой была Ахагия; было установлено, что Виррон и еще некоторые, ранее неканонические, острова, составляют архипелаг Ботор, на

некотором расстоянии от моего архипелага Верена. В несколько беспорядочные и нелогичные фантазии Алика я старался вносить порядок. Например, Алик непременно желал, чтобы в Вирроне жили индейцы, которым там, с точки зрения моих понятий о географии, нечего было делать. Чтобы сделать возможными индейцев, я сочинил, что прежние императоры Виррона в середине XIX века призвали некоторые индейские племена для того, чтобы натравить их на непокорные племена местных полудиких охотников, а затем пампасы восточного Виррона стали местом эмиграции групп индейцев из Северной и Южной Америки, теснимых на родине европейцами. Была нарисована карта Ботора с обозначением мест обитания местных и индейских племен, причем последние я тщательно выбрал по этнографической карте в томе «Северная и Южная Америка» «Всеобщей Географии» издания А.Ф.Маркса.

Мой собственный архипелаг состоял из нескольких островов и многих государств. На острове Гунт были расположены Ахагия, Миндосия и Лерны, на острове Крак — государство Крак и Малая Ахагия, которой принадлежал также остров Фугес, похожий на вырванный зуб; папа как-то увидел его на моей карте, и он произвел на него сильное впечатление; всякий раз, видя меня занимавшимся Ахагией, он спрашивал, что нового на острове Фугес. Затем были еще группы островов, где были расположены государства Пендосия и Делвария.

Игра с этими многочисленными странами в двадцать шестом-двадцать девятом годах стала очень сложной. Были составлены на миллиметровой бумаге подробнейшие цветные карты всего архипелага и отдельных островов, с обозначением гор, равнин, городов, сел и административного деления; разрабатывались языки населения этих островов. Уже давно был придуман миндосский язык (в Ахагии и Лернах язык — русский; они населены русскими колонистами, выселившимися сюда после декабрьского восстания 1825 года). Миндосский же язык изготовлялся из русского путем особого шифра — каждому русскому звуку условно соответствует звук миндосский. Есть мнемонический стих для запоминания соотношения:

Лкуб зевгама тосо, лсефойго,
М бкуману вюклрай леубю
Буто йо эмюпус, га бойго
Бмаю даркюмосо фукбю.
Вгу лбок бмай дагкомюсла багрюй...

и так далее, что значит:

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты...

и так далее.

Придумал его Миша.

Но столь неблагозвучные сочетания в настоящем миндосском языке упрощаются: например, вместо «м бкуману» надо говорить и писать «мэ куману». Пишут по-миндосски особым алфавитом, тоже придуманным Мишей, еще в 1920 или в 1921 году. Он был составлен по акрофоническому принципу — для «л» брался рисунок ложки, для «м» — мыши, для «а» — арбуза, а затем все рисунки упрощались.

Но нужны языки и для остальных островов: это занимает много времени.

Языки Крака и Делварии родственны миндосскому, но в них делаются другие упрощения звукосочетаний (например, «лкуб» — «элкуб», «ликуб», «лекуб»). Все эти фонетические законы записываются в виде специальных таблиц в особую книжечку.

Для Виррона придумывается нами с Аликом другой язык. Система миндосского языка ощущается мной как одна из тех несообразностей, которых я тщательно избегаю в своих ахагийских играх, где все должно быть правдоподобно, кроме самого факта существования придуманных островов; но я сохраняю раз придуманный миндосский язык по традиции и еще потому, что он связывает с моей игрой Мишу (Миша, конечно, уже давно выбыл из игры, хотя иногда с интересом слушает новости из Ахагии). Но вирронский язык создается по совсем другому принципу. С русским он совершенно не связан, придумывается каждое слово в отдельности; облегчает дело только то, что в нем много слов, заимствованных от европейских колонистов XIX века. Но преимущественно он создается так: я спрашиваю Алика, как жителя Виррона, как по-вирронски такое-то слово; он произносит набор звуков, а я записываю в специальный словарь. Я до сих пор помню «Интернационал» на миндосском и вирронском языках.

По-миндосски:

Лбомой, элсамюй шорсуйвуттюй
Мул вюк гулзолбгюж ю котам...

(От верронского освобожу читателя. Эти два «Интернационала» были, впрочем, написаны позже — когда началось установление социализма в наших странах.)

Любимая игра — строить из кубиков храмы и города древних миндосов. Затем они заваливаются ковриком, газетами — и через десять минут производятся «раскопки». Собираются «археологи» — фигурки из хальмы и по развалинам начинают реконструировать здания — и обычно «ошибочно».

Составлен полный хронологический список всех королей государств Верена, не только ныне существующих, но и исчезнувших столетия назад.

Составлена даже рукопись священной летописи древних миндосов о прибытии их из Перу (совсем как впоследствии, у Тура Хейердала, оттуда прибыли полинезийцы).

Составляются альбомы флоры и фауны Верена. Для этого я погружаюсь в книги по географии и зоологии Океании и Южной Америки — все должно быть правдоподобно. Тщательно вырисовываю зверей и птиц, родственных полинезийским, и даю им латинские названия.

Продолжают устраиваться первенства Верена по спорту. Составляются железнодорожные расписания, аккуратно на нескольких языках выписываются пароходные билеты и ахагийские заграничные паспорта с визами.

То, что я узнавал вокруг меня из жизни, вторгалось и в мою игру. В Вирроне и в Верене назревают социальные перемены. Пылкая социалистка Софья Кантенор стреляет в ахагийском парламенте в реакционного депутата; индейские восстания в аликовом Вирроне возглавляются коммунистами. Утопический Франсвиль Жюля Верна тоже оказал свое влияние на ахагий-

ские дела, и вскоре в Кракс и Вирроне вырастают два таких же утопических города уже наступившего социализма и удобной, здоровой, легкой для всех жизни — эти города должны были служить примером для остального веренского мира, где все еще господствуют конституционные монархии. По норвежскому «Дневнику школьника» я изучил текст конституции Норвегии — и нашел, что она во многом нуждается в улучшении.

Словом, дел очень много; мне никогда не скучно, — разве только на прогулках вокруг и вокруг нашего квартала. Алик все больше принимает участие в моей игре. Однажды в день национального праздника своего Виррона он выставил из окна вирронский флаг, который долго шил и готовил: синяя, желтая и синяя полоса. Но ветер сорвал его. Алик опрометью выбежал на улицу, но было уже поздно: флаг сделался добычей дворовых мальчишек. Было большое горе.

Мое главное образование в это время состояло в игре в Ахагию и Верен. По сравнению с этим уроки, которые я брал по английскому языку, алгебре, геометрии и физике, занимали меня куда меньше.

Однако мои учителя были люди в своем роде замечательные. Больше всего для меня значила Сильвия Николаевна Михельсон, у которой на ее квартире, на Геслеровском, я брал уроки английского языка.

Занятия мои с ней были несложны. Она заставляла меня читать по-английски, — что именно, я не помню, только начиналось со «Счастливого принца» Оскара Уайльда, — и рассказывать ей то, что прочту дома, или излагать в письменном виде; я писал ей сочинения, казавшиеся мне ироническими и очень забавлявшими ее. Иногда она заставляла меня писать какие-то упражнения; я считал их легкими и особого смысла в них не видел, но, вероятно, это были упражнения на грамматические правила. Впоследствии она говорила мне, что мисс Бюринг была, видимо, замечательная учительница, так как я пришел к ней, Сильвии Николаевне, с готовыми знаниями, и ей нужно было только их поддерживать и расширять.

Но главное в этих уроках было не английский язык, а сама Сильвия Николаевна. Это был человек, оставивший огромное впечатление, понемногу завоевавший мое сердце навсегда. Высокая, худая, рыжая, с правильными чертами длинного лица, она казалась мне красивой, несмотря на плохие зеленоватые зубы и небрежность, с которой она одевалась. Я считал, что она уже немолода, хотя ей, было, вероятно, самое большее тридцать лет.

Сильвия Николаевна была из полуобрусевших немцев, из когда-то богатой буржуазной семьи. Рано потеряв отца и мать, она лет в семнадцать осталась главой дома, а на ее плечах были брат, сестра (тоже рыжая), да еще девственная тетка.

Но Сильвия Николаевна обладала неистощимым жизнерадостным оптимизмом — не оптимизмом душевной жизни: в душе она, мне кажется, была человеком печальным, — а оптимизмом деятельности. И, главное, огромным чувством долга, обретавшим силу категорического императива. И она училась, работала, тащила на себе семью и не унывала.

Спокойно, смеясь одними глазами, она рассказывала мне, как в студенче-

ские годы она ходила в Университет через Биржевой мост, закутанная в платок, в одном валенке и с одной ногой, замотанной в тряпки, и под такт своих шагов твердила латинские «исключения»: piscis, finis, panis, crinis..., застывая с поднятой ногой в случае заминки; как зарабатывала деньги экскурсиями в Ботаническом саду, показывая легковерным экскурсантам диковинные растения: Oleum ricini, Aqua distillata. Училась, работала, тянула семью; все это дорогой ценою.

Однажды, когда я был уже значительно старше, она рассказала мне, что еще в школе решила стать учительницей, и с тех пор никакие затруднения, соблазны и насмешки не могли ее заставить ни списывать, ни подсказывать, ни пользоваться подсказкой. «Как же я потом смогу требовать от учеников, чтобы они этого не делали, когда я сама это делала?» — сказала она себе. И этого было достаточно, чтобы она ни разу в жизни не отступила от поставленного себе правила. При этом она вовсе не осуждала тех, кто ему не следовал, кто не ставил себе таких правил. Ничто не было дальше от нее, чем любование собственной добродетелью и ханжество. Она относилась к людям благожелательно, с добрым юмором, а сама была строга к себе потому что это вытекало из ее душевной потребности, из категорического императива.

Так по строгому, раз выбранному для себя правилу, она устроила и свою жизненную линию, и это позволило ей с легким сердцем и безунывно тащить свой воз. Этого она мне не говорила, но я знаю: так же, как она отказала себе в жизненном облегчении в виде шпаргалки, так, увидя себя главой семьи, она отказала себе в праве на свою семейную жизнь, на то, чтобы быть невестой, женой, матерью.

И легкая сила категорического императива позволила ей не очерстветь, не высохнуть душевно. Она нашла чем наполнить свою жизнь. В ее старомодной комнате, отличавшейся от комнаты мисс Бюринг меньшим порядком, стоял огромный рояль; она не имела возможности по-настоящему учиться музыке, но, обладая абсолютным слухом, легко подбирала на рояле любую впервые слышанную мелодию. Зимой она не пропускала ни одного концерта в Филармонии, покупая дешевые входные билеты и забираясь на хоры пораньше, чтобы сесть на диване; если в знакомом месте, на хорах Большого зала, не видно было Сильвии Николаевны, можно было уходить с концерта: его не стоило слушать. И, возвращаясь поздно домой, она сразу же у рояля повторяла звучание мелодий.

Летом она уходила в пеший поход и жила полной разнообразия, красоты, усталости и приключений жизнью пешехода; тогда еще не было туристских баз, и маршруты не были благоустроены, но за десять-пятнадцать лет она облазала все уголки России, Кавказа и Алтая.

Изредка, мимоходом, она упоминала своего друга, участника ее походов. Что это был за друг? Когда, спустя год или около того, я стал понимать эти вещи, я пришел к заключению, что это был кто-то, с кем она была близка. Это было безвредно для ее долга, и вряд ли ее убеждения были особенно стародевическими. И это тоже импонировало мне.

Как-то раз она упомянула, что в церковные праздники не ходит на работу, и, весело усмехаясь, говорила мне, что ее спасает то, что она протестантка,

а протестантские праздники неизвестны начальству. О своей вере, о Боге она никогда не говорила, и меня не смутило, что она верующая, хотя я сам считал религию за чепуху. Меня поразила сила ее убеждения, заставлявшая ее идти на чрезвычайно большие неприятности, которыми в конце двадцатых годов грозил невыход на работу по религиозным убеждениям. А религия ее заключалась, как мне кажется, главным образом в чувстве категорической необходимости поступать порядочно (необходимости «добрых дел») — и следовать убеждению. Это живущее в ней чувство она приписывала Богу.

Я занимался с Сильвией Николаевной много лет — до самого поступления в Университет — и все эти впечатления, и моя привязанность к Сильвии Николаевне образовались не сразу. Но и в первый год мне было с ней легко и интересно, и, бредя обратно по захолустным улицам — Геслеровскому, Широкой (теперь часть улицы Ленина), Пушкарской — я шел задумчиво, и голова моя была полна мечтаний и фантазий.

Другим моим учителем, имевшим гораздо меньше значения для меня, был Сережа Соболев, или «Верблюд». Он, действительно, был небывновенно похож в профиль на голову верблюда, выдавленную на обложке моей книжки «По киргизской степи». Чуб песочного цвета над лицом, линия носа и больших, добродушных, улыбающихся губ — это было как нарочно.

Сережа Соболев был товарищ Миши по школе — по «Лентовской» гимназии (она же 190-я единая трудовая школа), — учился с ним в одном классе. Он обладал удивительными способностями, особенно к математике, и еще раньше Мишиного знакомства с ним успел окончить среднюю школу. Но кончил он ее в четырнадцать лет, и деваться ему было некуда, так что с Мишей он уже кончал школу во второй раз. Он и позже продолжал так же феноменально, и в двадцать два года был профессором, и двадцать пять — членом-корреспондентом, в тридцать два — академиком. А в то время он был студентом, кажется, третьего курса.

Впоследствии они разошлись. Сергей Львович был для Миши слишком целеустремлен, сух и педантичен, и, главное, слишком добродетелен. Много позже Миша говорил про него:

— Сережа — образцовый советский молодой человек: член партии, ученый, отец пятерых детей, общественный деятель, депутат Верховного Совета, академик!..

И, в самом деле, он был и тогда образцовым во всем: образцовый сын, студент, учитель. Но мне математика давалась с трудом и была скучна, и математический энтузиазм Сережи был непонятен. Сильвии Николаевне можно было рассказывать про мое увлечение египетской историей, спорить с ней об этом; а Сережа, когда я начал ему рассказывать о том, что хочу стать историком древнего мира, начал мне говорить, что история — не наука и что когда-нибудь исторические проблемы будут решаться математически.

(Впоследствии, когда с 1957 года он работал в Новосибирском отделении Академии Наук, именно он, кажется, вдохновил своих сотрудников на математическую «дешифровку» иероглифов майа. Вышло три тома вычислений — в четвертом должно было быть прочтение текстов. Однако они так и не появились, потому что математики сочли возможным игнорировать основы грамматологии — науки о письменностях.)

Для меня древность была еще одним миром людей, дополнявшим тот, в котором я жил (или, может быть, те, в которых я жил), и мысль о том, что с этим миром людей можно расправляться путем математики, была мне очень враждебна.

Третьим моим учителем был Миша. Ему было поручено обучать меня русской грамматике — другие предметы для предстоящего поступления в шестой класс моим родителям не казались нужными: «Он и так достаточно знает, а по программе подтянется, когда будет в школе».

Но редкие и нерегулярные уроки, которые давал мне Миша, — его никто не контролировал, — быстро превратились из уроков русской грамматики в лекции по общему языкознанию, по сравнительной грамматике индоевропейских языков, в рассказы о Марре и четырех элементах и прочие вещи, очень расширявшие мое образование и подготовившие из меня филолога; только вряд ли они могли сильно помочь на школьном экзамене. От Мишиных лекций шли, конечно, и мои миндосские лингвистические упражнения.

Миша в это время был принят на первый курс университета, на «Ямфак» (факультет языка и материальной культуры), на персидский разряд — интерес к иранским языкам возбудил в нем его норвежский профессор Георг Моргенстьерне. Но Мишины университетские товарищи пока не появлялись в доме. По-прежнему главными оставались его школьные друзья — в этой школе дружба складывалась на всю жизнь. К тому же и Мишин класс в этой интеллигентской школе был очень талантливым — не менее двух третей класса стало потом учеными и писателями.

Но я сожалел, что Мишины школьные товарищи последнего года были уже не те, которых я знал и любил маленьким. Главными его друзьями были Тося (Платон) Самойлович и Шура Романовский, которые казались мне (совершенно ошибочно) бездельниками и лоботрясами; их разговоры были пустыми, а развлечения бессмысленными: например, Миша рассказывал, что они стреляли из монтекристо по изоляционным «стаканчикам» или протыкали финкой книгу «Весь Ленинград» за 1924 год.

Где-то на заднем плане была красавица Наташа Мочан (дочка доктора Мочана), изводившая Мишу еще с 1924 года; несмотря на Маргит, его норвежскую невесту, она порождала в нем отчаянные стихи.

Лучший Мишин друг — Костя Петухов, талантливый гигант из рабочей семьи, прирожденный актер и чтец стихов, почти исчез из его жизни: ушел в летное училище и жил где-то далеко, а в Ленинграде и у нас появлялся редко. Из «старых» оставался любимый всеми нами, и мной больше всего, Воля Харитонов.

Несмотря на свою фамилию, Воля Харитонов был еврей, сын какого-то банковско-адвокатского деятеля и типичной, очень скучной еврейской мамы. Внешность его могла бы быть иллюстрацией к этнографическому альбому под словом «еврей Восточной Европы». Это был тип ученого еврея, доброго, умного, спокойного, увлеченного своей наукой. Он умел так спокойно слушать, так тактично обращаться, а вызванный на разговор, так умно и красноречиво говорить, увлекая слушателей своей, часто долгой, речью, так знал, когда уйти и как помочь советом или молчанием, что его приход всех

радовал, всем был приятен. В нем не было мальчишества Платона Самойловича и Шуры Романовского, не было и важности молодого педанта. Он был свой, как тетя Соня. Если Миши не было дома или он был занят, то Воля беседовал со мной или садился играть в шахматы, медленно и нараспев декламируя, когда игра обострялась, одно и то же четверостишие:

... И топчут кони смежные поля,
Из пехотинцев многие убиты.
И у ладьи должна искать защиты
Священная особа короля...

Шли годы, разные события потрясали и нашу, и его семью, в его волосах уже стала пробиваться седина, а казалось — он всегда будет так спокойно входить, спокойно беседовать, играть в шахматы со своей присказкой, даже когда все мы состаримся и все вокруг изменится.

Он погиб в 1942 году — идя в атаку впереди своего взвода, наступил на мину.

Специальностью его была политическая экономия, и в его речах эта наука становилась увлекательнее романа. Кажется, никто из тех, кого я встречал, не понимал так хорошо экономического строя нашей страны и эпохи. И уж наверное никто не умел так думать политико-экономически. В тот год это еще проходило мимо меня, но когда, лет в четырнадцать, я стал задумываться над вопросами экономики и политики, именно Воля Харитонов, вероятно, открыл мне смысл экономической теории марксизма и сделал меня историком в самом деле. При всем том, я не помню, что именно он говорил, каковы были его идеи; но они научили думать, так сказать, в эту сторону.

Миша любил его, любил его слушать, но с Тосей и Шурой ему, видно, было веселее. А те были с Волей несовместимы. Видимо, они и не любили друг друга и никогда не бывали в доме вместе.

Конечно, все эти люди были тогда только люди «для меня», а не сами по себе; активно относиться к людям и их интересам я еще не скоро научился. Но этот узкий круг людей, существовавший рядом со мной, был все же столь интересен и разнообразен, что оставлял следы в моей жизни надолго вперед, и не было дня, чтобы я не ушел спать полный впечатлений и от книг, и от игр, и от людей. Я уже рассказывал, что у нас дома Мишин стол стоял у изголовья моей кровати; я ложился рано, а Миша зажигал лампу-тролля и писал: писал письма Маргит — она присылала ему каждый день написанное отличным почерком длинное нумерованное послание, — писал стихи. Около полуночи я просыпался, и Миша читал мне свое новое стихотворение; утром, лежа еще в кровати, я повторял его про себя, и запоминал уже на всю жизнь.

Сам я не писал стихов со времени поэмы «Жена, которая», и о самом существовании этой поэмы успел забыть (я нашел ее позже в старых бумагах); да и сочинение драм, пиратских романов и всего прочего было давно заброшено. Но читать стихи я любил, и они постоянно пели у меня в голове. А в этот год я чувствовал в себе какие-то перемены, и первым признаком их было накатившее на меня желание стихотворства.

Над нашими детскими кроватями висели, по старому обычаю, введенному папой, географические карты — то Полинезия, то Средняя Азия, то — в тот год — Сибирь. Лазая глазами по этой карте как-то утром, я наткнулся на

названия рек — Укыкит, Оленек, Индигирка; огромные реки текли по совершенно безлюдному пространству, и совсем редко встречались около них странные названия тунгусских или якутских урочищ. Я как-то очень ясно представил себе огромные, пустые и холодные пространства тундры, якутов в мехах, собак и оленей, огромную зарю на холодном северном небе. Так сложились первые мои «настоящие» стихи — их я, впрочем, не помню; за ними пошли еще и еще.

Ко всем этим стихам я относился не очень серьезно, но как-то раз, идя в лирическом настроении от Сильвии Николаевны, я у садика на углу Гоголевского и Большой Зелениной сочинил стихи, которые уже и мне самому понравились:

Пять часов; уж солнце село; серый сумрак ест глаза...

Не одно увлечение стихами говорило мне, что во мне меняется что-то. Как-то я пожаловался маме, что у меня опухли и болят соски на груди — органы, самое существование которых никогда не привлекает внимания ни мальчика, ни мужчины. Мама посмотрела на меня странно-удивленным взглядом и сказала как-то с трудом:

— Это значит, что ты становишься взрослым. Ты будешь замечать и другое. Рано.

И в самом деле. Вскоре обнаружились признаки, очень меня встревожившие, даже заставившие бояться, что я болен опасной болезнью. Я жаждал посоветоваться с мамой, но стеснялся и боялся осуждения.

Между тем на дворе стояла весна 1927 года. Надо было мне, наконец, поступать в школу. Меня послали на экзамен в одну из школ на Большом.

Я пришел в нее один в грязный весенний день. Классы были на втором или третьем этаже. Я поднялся по обшарпанной лестнице и увидел небольшие кучки ребят, разбредавшихся по грязноватым и неуютным комнатам (классам). Вместе с другими я робко подошел к учителю математики, решил какую-то задачу. Потом что-то писал у учительницы русского языка. Все шло гладко. Истории тогда не было — и это было хорошо, так как я ее никогда толком не учил, хотя мог назвать подряд русских царей. Но это было здесь не нужно.

В одном классе я увидел кучку детей у большой карты мира. Пышная, взрослого вида, тупая девочка беспомощно водила указкой по Африке, ища Бразилию. Учитель спросил, кто поможет. Я помог; он спросил меня еще вопроса два, и тем кончился экзамен по географии.

Но предстояло еще самое трудное. В углу большой комнаты, где экзаменовали, кажется, по физике или по математике, за отдельной партой сидел приятный, высокий, рыжеватый, встрепанный интеллигентный человек в очках. Это был учитель немецкого языка Анатолий Анатольевич Гюббенет. Его я оставил под конец. Когда все уже было сдано — все это сошло удивительно быстро и легко, так что я даже не успел волноваться — я подошел к нему. Он спросил мою фамилию и стал выбирать из книги отрывок. Тут я сказал ему:

— Но я должен сказать Вам, что я жил за границей, в школе не учился и немецкого языка никогда не учил...

— Значит вы совсем ничего не знаете по-немецки?

— Совсем ничего, — сказал я.

— Как же быть? — Помолчав, он добавил: — А, может быть, хоть что-нибудь вы можете прочесть? Буквы вы знаете?

— Знаю латинские, а готические не знаю.

В сущности, я знал еще, что s произносится, как «з» перед гласными и как «ш» перед t и p, и еще два-три правила.

Он протянул мне какой-то текстик, и я прочел, — сделав не так уж много ошибок, — строк пять, и даже отважился начать переводить первую фразу, но споткнулся на непонятном слове Pferd. Мое для меня самого необъяснимое спокойствие, продолжавшееся во все время экзаменов, начало мне изменять, но тут учитель сказал мне самым серьезным голосом:

— Ну, что вы! Вы же знаете довольно хорошо...

Я был очень удивлен, и экзамен кончился. Мне было объявлено, что я принят в первый класс второй ступени (теперь это считается «шестой»).

В этот раз мне не было неприятно, что учитель называл меня на «вы». В Норвегии детям неизменно говорят «ты», и они отвечают взрослым тем же. Там вообще немыслимо, чтобы в ответ на «вы» кто бы то ни было (кроме учителей) мог сказать «ты»: это — крайняя невоспитанность. Но на «ты» там переходят очень легко. Здесь же продавцы называли меня «вы», а полотер называл даже «вы, Гавриил Михайлович» и чуть ли не на «вы» обращался к моему коту, Ивану Петровичу. Мне это казалось неприятно-подобострастным, а радоваться «вы», сказанному мне взрослым, казалось мне мальчишеством, — качество, которого я особенно боялся. Но тут «вы» Анатолия Анатольевича Гюббенета я так не воспринял.

Результатом этого забавного экзамена по немецкому языку было, во-первых, то, что с осени было решено просить Сильвию Николаевну давать мне, кроме уроков английского, также и уроки немецкого языка, и, во-вторых, что я усвоил (конечно, неосознанно) — важное правило: можно, зная только отдельные детали предмета, поражать своей образованностью. Этим, при случае, я потом широко пользовался всю жизнь.

VI

Итак, с осени мне предстояло пойти в школу, а пока мама готовилась к лету. Мы раньше, по обстоятельствам, не выезжали на дачу, но оставаться на второе лето в душном городе было сочтено невозможным, тем более, что эту зиму я болел «железками», а у Алика обнаружили признаки туберкулеза подкожной клетчатки; после разных консультаций с врачами было решено везти нас в Анапу.

Ехали мы с мамой; у папы отпуск был позже, а Миша был, кажется, в военных лагерях.

И вот мы в поезде; в первый раз передо мной открылась карта России — болота и серые избы под Ленинградом, Волга у Твери. Алика было не отнять от окна, и он десять раз принимал за Волгу каждую паршивую речушку; потом — железнодорожные пути, заводы и мрачные пригороды во время многочасового стоянья под Москвой, потом широкие поля и пригорки над

Окой, потом белые, чистые мазанки, подсолнухи и мелко нарезанные разноцветные полоски бесконечных полей за Белгородом, потом терриконы и дымный воздух Донбасса, потом бескрайние, но тоже пестрые от по-разному засеянных полей, степи; поезд все дальше и дальше увозил нас на юг.

Остановки были долгие; пассажиры бегали за кипятком к специальным кранам на платформах. Местные жители продавали пирожки, бублики (а осенью — яблоки, вишни, сливы). В купе ели холодных кур или пироги. На каждой остановке из-под вагона (там были такие ящики над колесами) на перрон выскакивали десятками беспризорники, схавшие подкормиться на юг.

В поезде говорили о железнодорожных ворах, которые выуживают чемоданы с полок через открытые окна, или просто выносят их у зазевавшихся пассажиров на остановках. Особенно славились ворами станции Лозовая и Ростов-на-Дону: перед этими остановками проводники проходили по вагонам, монотонно провозглашая:

— Станция Лозовая, берегите ваши вещи...

— Станция Ростов-на-Дону, берегите ваши вещи...

За тупиком Ростов-Таганрог-Ростов и длинным мостом через Дон мне стало скучно смотреть в окно; в купе было душно и пыльно, ехали мы уже третьи сутки. Лежа на верхней полке, я занялся разгадыванием анатомической загадки, заданной мне Владиком, которая нет-нет да и приходила мне на ум все это время.

Многое в последнее время привлекало снова и снова внимание к этой теме; ясно было, что в моих представлениях о полах были какие-то несообразности. И общий дух времени, доходивший до меня, и мой собственный опыт дружбы и игр с девочками заставляли меня считать, что между мужчиной и женщиной нет, в сущности, никакой разницы: девочки, которых я знал, были такие же, как я, разве что читал я немного больше, но ведь я читал больше и чем мои знакомые мальчики; это было дело случайное. Единственная разница в том, что женщина рожает, а мужчина — нет. И, кроме того, женщины красивее, лучше и слабее — это я знал еще из Шекспира, с детства. Но ряд вещей говорил о том, что есть, кроме всего этого, и что-то еще.

Со станции Тоннельная старенький открытый автобус вез нас по горному серпантину через лесистые перевалы; в этом для меня, много ездившего по горным дорогам, не было ничего нового, только шоссе было менее благоустроенным, и по краям его не было норвежских грубо вырубленных гранитных блоков-тумб. Моря почти не было видно из-за клубов пыли, когда мы спустились на равнину, да и смотреть не хотелось; ехали мы целый день, у нас пять раз лопались покрышки, а за несколько сот метров до конторы автобусных перевозок пришлось вообще снять одно колесо; автобус еще пытался ехать на трех колесах, но затем нам было предложено дотащить вещи самим. Так что мы замучились и потеряли ко всему интерес.

Город Анапа был пыльным южным городишкой, с вереницами розовых, белых, бежевых и голубых одноэтажных кирпичных домиков в чахлых пыльных садиках и палисадничках, откуда свешивались знакомые мне по Норвегии желтые и радовавшие мамино южное сердце белые акации и глицинии; улицы были где мощены булыжником, где просто утопали в тонкой пыли. Совсем вблизи начиналась холмистая степь — неинтересная, серая,

сухая и выжженная, совсем не напоминавшая мне мамины восторженные рассказы о пышных тюльпанных оренбургских степях. Миновали большую, в пыли и колдобинах, в деревянных рыночных настилах-столах Площадь Свободы Совести (бывшую Соборную) и после некоторого блуждания по улицам имени разных деятелей революции, пройдя мимо чахлого сквера с чудовищно странным и уродливым памятником «красно-зеленым бойцам» (!), мы нашли наконец нашу улицу Зиновьева — до Анапы еще не дошла волна переименований улиц и городов, названных в честь троцкистов и зиновьевцев.

Нас встретила наша знакомая по Норвегии, Елена Михайловна Самойлович, жена героя полярных путешествий — Рудольфа Лазаревича Самойловича. Мы все очень любили ее — она была красивая, стройная, приветливая и веселая. Она жила здесь же со своими двумя ребятами — Вовой, лет восьми, ровесником Алика, и Наташей, лет четырех; Елена Михайловна сняла комнату и нам тоже.

Наша комната была большая, довольно темная горница, выходившая на двор недалеко от уборной, — впрочем, от этого соседства в Анапе убежать было трудно: нужники торчали повсюду; наш двор соседствовал по крайней мере с четырьмя, не считая собственного, и все пять наполняли воздух нашего двора сомнительным ароматом.

Во двор выходили и другие комнаты; здесь жили, кроме Самойловичей и самой хозяйки, еще семья с двумя девочками — Ниной и Ирой, двенадцати и десяти лет, еврейская чета из бедных астраханских нэпманов с дочкой Гитой, лет восьми, еще какие-то взрослые и дети, по большей части рыжие и неприятные, и среди них один или два Алика.

С утра мы отправились к известному краснодарскому врачу-педиатру; осмотрев нас, он предписал нам строгий пляжный режим: солнечные ванны от пяти минут в начале лета до пятнадцати в конце лета на каждом боку, на животе и на спине, купанье — пять минут и затем ни минуты более на пляже. Режим этот был чрезвычайно мучителен и тяжел и не допускал на пляже никаких развлечений; разморившись, мы уже не могли освежиться таким коротким купаньем; а далее следовал «дневной сон» в душной и жаркой комнатенке, «домашний» обед в частной столовой, по большей части состоявший из «курбульона» и «куркотлеток», так как у нас почти всегда болели животы, — я и раньше ненавидел мертвых кур, а теперь эта ненависть и отвращение достигли степени отчаянья. Тем более что ежедневно, между нашей комнатой и нужником, происходила, к моему ужасу, казнь хозяйских кур; как раз во время «мертвого часа» слышалось сначала отчаянное кудахтанье смертницы, а затем удар топора и окровавленное молчание. Все это было донельзя отвратительно.

Но эти стороны нашего анапского быта обнаружились только постепенно.

Анапские улицы выходили на «бульвар» — пыльное пространство на высоком берегу моря, с чахлой растительностью. «Бульвар» упирался в обрыв, а направо от обрыва шло огромное пространство пляжей. Сначала на добрый километр тянулся женский пляж, затем такой же длинный — мужской, и лишь дальше начинался семейный. На другой стороне голубой бухты был расположен огромный совершенно сказочный, с глубочайшим нежным

песком, «Золотой пляж», тоже общий; но до него нужно было добираться на «моторке». Обозрев пространство пляжей, мама нашла, что таскаться, по непривычной и мучительной для нас, детей, жаре, каждый день на семейный пляж и обратно — невозможно, тем более, что доктор категорически велел немедленно уводить нас в тень после солнечной ванны и купанья. Поэтому мама приняла решение — водить нас на женский пляж. Критически осмотрев меня, имевшего в коротких штанишках довольно-таки протяженный вид, она сказала, что, конечно, я великоват и это не очень хорошо, но что же делать, и в общем — ничего. Итак — поле исследования открылось для меня самым блестящим образом.

Женский пляж представлял гигантское лежбище обнаженных тел; на сто телес вряд ли приходилось одно, на которое можно было смотреть, не оскорбляя в себе эстетических чувств, так что мое пребывание на этом пляже отнюдь не способствовало преждевременному рождению вожделений. Зато разнообразие вольных поз представляло обширное поле для исследовательской мысли.

Правда, строгий докторский режим не очень-то позволял мне разгуливать по пляжу; к тому же окрестные дамы выражали протест при виде меня, и мама поэтому не позволяла мне от себя отлучаться. Конечно, наша соседка Елена Михайловна загорала, так же как и мама, в купальном костюме, так что около нас не было ни соблазнов, ни протестов. Однако мог же я, например, пройти в пляжную уборную?

Это было поразительное сооружение у кромки песка, на границе двух пляжей. С одной стороны была надпись «для мужчин», с другой «для женщин», однако оба входа вели в одно помещение, не разделенное никакой перегородкой, зато украшенное изнутри афоризмами и иллюстрациями, достойными изучения. Главное же, по пути туда многое можно было увидеть и заметить себе.

Поэтому роковой вопрос был быстро решен, и разгадка оказалась неожиданной: ничего не было.

Но, разрешив загадку анатомии женщины, я был еще мучим загадкой физиологии мужчины. Тут были вещи и непонятные и угрожающие. И я решился, наконец, спросить маму. Но, впервые в жизни, мама не дала мне ясного и достоверного ответа; она явно смешалась и сказала мне как-то нечленораздельно, что я буду что-то делать, когда вырасту, «конечно не один». Я ничего не понял, но так как и сам я был разговором невероятно смущен, и мама, видимо, тоже, то я не стал настаивать на разъяснениях.

Замечательно, что все мои исследования совершенно не связывались для меня ни с вопросами любви, ни с вопросами деторождения. Тот и другой вопрос казались мне совершенно ясными и не требующими никаких толкований. Разве не читал я о любви в бесчисленных книгах и сам не писал о ней с раннего детства? Любовь — это чувство, поэтому и речи не могло быть о том, что оно имеет какое-то отношение к строению человеческого тела или же к безобразным поступкам Владиковых приятельниц или хулиганов с Чубаровского переулка. Такая вещь мне и в голову не приходила. Что касается того, как родятся дети, то дети вылезают из матери, разрывая живот — ведь на анапском пляже я сам убедился, что, не разрывая тела,

ребенку из женщины негде вылезти. В старом и любимом мной папином учебнике мифологии рассказывалось о рождении Диониса из бедра Зевса — конечно, это миф, так как мужчина рожать не может; но я не сомневался, что у женщины механизм рождения приблизительно таков же.

Поэтому, решив для себя анатомический вопрос, я больше не интересовался этим.

Но Анапа как будто была наполнена соблазнами вещей, дающих сексуальное направление мысли. Выходки ли беспардонной Гитки, хождение ли в парк «Курзала», случайно услышанные разговоры взрослых — все подводило к одной и той же теме. В общем Анапа оставила по себе тягостную память.

Осталось великолепное воспоминание о чудовищных арбузах, которые я покупал по маминому поручению, и сладостном восторге первого познания арбузного блаженства; такое же чудное воспоминание о нэпмане из Краснодара, торговавшем под тенистым навесом неслыханным фруктовым и фисташковым мороженым — но, увы, нэпман был вскоре ограблен ночью и вынужден бежать в Краснодар, несолоно хлебавши и навсегда закрыв свою торговлю; осталось воспоминание о морской прогулке на «Золотой пляж» с папой; о поразившем меня забавном газетчике и фотографе, шуте всей Анапы, единственном, кроме меня, мужчине, допускавшемся беспрепятственно на женский пляж, и с прибаутками делавшем свою нехитрую торговлю среди залежей голых грудастых тел. Вот, пожалуй, и все. Да, и еще необыкновенно сосуще-сладкое ощущение, когда я раз на бульваре взял шутя под руку свою соседку-девочку, белокурую глуповатую толстушку Нину, и с ней важно прогуливался среди фланирующих пар.

С приездом папы в нашей жизни кое-что изменилось. Выйдя первым утром после своего приезда на обрыв, от которого начиналась полоса пляжей, папа остановился в шутливом ошеломлении: он никогда еще в жизни не видел такого сборища голых баб. Поэтому он не преминул тут же щелкнуть аппаратом и зафиксировать это невиданное зрелище. Впоследствии, в городе, он увеличил этот кадр, застеклил его и повесил у своего стола, прицепив тут же, «для научно-исследовательских целей», огромную лупу на ниточке. Все это была, разумеется, шутка: и в лупу на снимке нельзя было, в сущности, разглядеть ничего соблазнительного, так что даже мама протестовала против этого нового украшения папиного кабинета довольно слабо.

Затем произошло наше переселение на семейный пляж. Дорога туда шла, впрочем, по самой кромке женского и мужского пляжей; и от дороги и друг от друга эти пляжи были отделены лишь, так сказать, морально. Проходя мимо женского пляжа, папа заметил, что этот вид — лучшее средство навсегда отвадить человека от излишнего преклонения перед женским полом, на что мама, шедшая все время отвернувшись, говорила: «Да ну тебя, Миша!».

Затем, конечно, папа был непоседлив; рутина ежедневного хождения на пляж за три версты его не устраивала. Без экскурсий он жить не мог. К сожалению, выжженная и пустая окрестность Анапы не манила ни к каким прогулкам. Поэтому решено было идти по берегу моря, под обрывом, к видневшемуся вдали мысу Утриш. Тогда еще через каждые несколько километров по берегу Черного моря не были поставлены погранзаставы, и

ходить вдоль моря можно было беспрепятственно в любое время. Итак, мы забрали с собой походную провизию, повязали головы платками и полотенцами, спустились с бульвара на узкую, каменистую прибрежную полосу и двинулись на юг. Мы недалеко успели отойти от города, когда увидели бегущий и прыгающий с обрыва быстрый поток, преграждавший нам дорогу. Мы удивились зрелищу ручья в безводной Анапе и решили по очереди его перепрыгнуть. Но, подойдя ближе, мы услышали клейкое зловоние; прыгая, мы с ужасом обнаружили, что прыгаем через ручей крови. Над обрывом, над нами, была бойня. Настроение, испорченное этим мрачным началом похода, не улучшилось ни от палящих лучей солнца и бесконечного шагания с глыбы камня на глыбу, ни от разлагающегося трупа дельфина, который пришлось обходить. Далеко за полдень мы пришли, наконец, к месту, где был выброшен на береговую мель транспорт, погибший в первую мировую войну — «Елпидифор», о котором мы слышали еще в Анапе. Если бы, как мы мечтали всю дорогу, мы могли влезть на мертвый пароход по его рыжим ржавым бокам, мы были бы с Аликом вознаграждены за все. Но, увы, это оказалось неосуществимым: он был слишком далеко от берега, да и лазать по нему было страшно — по крайней мере страшно за нас нашим родителям, — и мы не могли даже попробовать подобраться к кораблю. Пройдя немного за «Елпидифор», мы нашли укрытую скалами бухточку, где папа и мама с удовольствием купались голышом в прозрачной воде, а мы и этого не могли, потому что дно состояло из больших камней, разделенных провалами, и сразу было глубоко, а плавать мы с Аликом не умели. Мы сидели уныло на берегу, пока папа и мама, натянув костюмы, отдыхали после купанья, и наблюдали за мальчиком лет двенадцати, который, сидя шагах в трех, глубокомысленно производил анатомическое исследование над самим собой. От этой темы в Анапе некуда было деваться!

На обратном пути мы, еще не доходя до бойни, поднялись по обрыву в степь и шли по серой, сухой, растрескавшейся земле, поприщу ковыля, полыни, перекати-поля, навозников-скарабеев и редких кустиков фиолетово-синего цикория, и пришли домой измученные, пропыленные, пьяные от полынного духа и запасшиеся полынью против анапских блох.

Пыль, кровь, зной и анатомия — такой для меня осталась Анапа. Первые три вещи оставили тяжелую и мутную память: четвертая и отвращала и втайне волновала. Это одна из важных вещей, формирующих человека; но дальше останавливаться на этом не стоит. Чтобы потом уже не скоро вернуться к этой теме, скажу, что для пополнения своего образования я впоследствии, в Ленинграде, сделал набег на шкаф с маминими книгами. Книги были у нее не под замком, но — на честность — маминых книг трогать не разрешалось. Но что честность, когда рвется наружу сила пробуждающегося пола! Мамина драгоценность — анатомический атлас Шпальтегольца и обширный труд доктора Фореля «Половой вопрос» — дали мне столь полную осведомленность во всех этих вещах, какую только можно было желать самому просвещенному мужчине. Но доктор Форель преподал мне и хороший урок: взяв его книгу далеко не с самыми красивыми намерениями, я положил ее с сознанием, что отношения полов — это великое и чистое дело. Гораздо позже, перечитав эту книгу, я убедился, как много из моих этических

убеждений было внушено мне Форелем. А непосредственным результатом этого чтения было то, что если раньше я и не думал уступать место дамам в трамвае, убежденный в равенстве полов, то теперь стал уступать место каждой старой и молодой женщине (делая исключение только для «намазанных», которых я презирал) — ведь, может быть, у этой женщины сейчас как раз менструация, и стоять ей тяжело и вредно!

Но волнение пола возникало все чаще и настойчивее, и с каждым годом все сильнее; но, по крайней мере во мне разрушалось убеждение в том, что я абсолютно хорош.

С этой поры секс играл тайную, но могучую роль в моей жизни. Но хотя я и знал теперь тайны пола, мое представление о женщине не изменилось. Я нисколько не сомневался, что, хотя женщина в своих стремлениях, чувствах и возможностях ничем не отличается от мужчины, но она и чище и вернее нас. И кто из окружавших меня мог бы зародить во мне другое мнение? И разве могли с ними в том сравниться лучшие из мужчин, которых я знал?

Настоящая женщина, которая когда-нибудь должна будет войти в мой дом, вбежит в него в ореоле светлых волос, — в ней будет, вероятно, что-то от Сульвейг. В эти годы я совсем по-иному читал и перечитывал любимого мною «Пера Гюнта», боялся походить на него, с опасением находил в себе черты хвастовства, самомнения, непоследовательности и неумения доводить дело до конца; и хотя я понимал, что Сульвейг — идеальный образ, все же, сознательно или нет, считал, что в ней собраны настоящие, наиболее существенные, наиболее глубокие черты настоящей женщины. Я не мог — как не могу и теперь — без волнения читать скромные и искренние слова Сульвейг, сказанные простым языком норвежской крестьянки, когда Пер, справедливо изгнанный за распутное поведение из села и поставленный вне закона, строит в горном лесу себе хижину, а она, тихая, светлая, воспитанная в домашнем смирении, чистая девушка, не смеющая поднять глаз и не выпускавшая из рук молитвенника, прибегает к нему в лес на лыжах, бросив село и родных, чтобы помочь ему в жизни и навсегда делить с ним эту его нелегкую и неправую жизнь:

Бог помочь в работе! Не забракуй меня —
Ты посылал за мной, так уж прими меня.
Ты слал мне вести с маленькой Хельгой,
Ты слал мне вести и в тиши и в ветер...

Он не посылал за ней — только думал о ней. И то редко.

Такова женская любовь — и разве не так любила моя мать моего легкомысленного отца?

А Пер шел своим мужским путем, не щадя и забывая ее — но только она, всегда, — и до того, и в тот миг, и через много лет, и на пороге смерти, была его опорой и спасеньем.

И я, мутный, путаясь нечистыми путями мужских мыслей, хотел бы, чтобы мне можно было в трудный миг крикнуть, как Перу перед чудовищем, — далекой Сульвейг за горами:

Вызволить можешь, девчонка, — спеши ж, вызволяй,
Не глазей себе под ноги, ссутулясь уныло!
Молитвенник! Швырни ему прямо в рыло!

Потому что незримый, вездесущий, заградивший все пути враг, которого нельзя обойти, сам отступит, вздохнув:

Он был слишком силен: за ним женщины стояли.

Конечно, действительные женщины имеют слабости и дурные черты характера, — такова будет и та, которую я полюблю, — но главное, сердцевина женской души, у нее может быть как у Сульвейг; должна быть, потому что, раз такие бывают, то другой я не полюблю.

Все эти тайные мысли — или, вернее, ощущения — сложились постепенно, и я их долгие годы, — пожалуй, даже никогда, — ни с кем не делил. Да и не нужно думать, что так я все это и говорил себе. Нет, это было не рассуждение, а именно ощущение, которое слагалось в знакомстве с хорошими женщинами, которые меня окружали, — моей мамой, моей бабушкой, тетей Соней, Ниной Евгеньевной, Сильвией Николаевной, — слагалось и крепло в те годы, когда мне исполнялось тринадцать, четырнадцать, пятнадцать лет... В образы Ибсена они вылились позже — годам к пятнадцати, и по чувству, а не в сознательных мыслях.

А может быть, все эти знакомые мне женщины были не так уж хороши? Лучше человеку на пороге жизни встречать плохих женщин, тогда хорошие не будут порождать о себе иллюзий? Или иллюзии все же лучше раннего цинизма?

VII

Я забежал вперед на несколько лет. Надо вернуться к осени и зиме 1927—1928 года.

Поездка в Анапу оказалась для нас очень неудачной. Мама привезла оттуда тропическую амебную дизентерию, медленно изводившую ее, а Алик заболел в дороге и в городе сразу слег с брюшным тифом.

Опять, как в раннем детстве, все мы жили ото дня ко дню, от часа к часу, волнуясь и надеясь. Алик поправился. Поправившись, он по маминому декрету стал называться не Аликом, а Алешей. Собственно говоря, так ему полагалось называться с самого начала; но в 1919 году мама, хоть и не была суеверной, не могла решиться назвать его именем двух погибших родных, так как и двоюродный брат Алеша и дедушка Алексей Николаевич не считались тогда в числе живых. В Анапе же мама приобрела отвращение к имени Алик, ставшему модным; его носили бесчисленные рыжие мальчики, по большей части довольно противные, из преуспевающих семейств «ответработников» и нэпманов.

Алик выздоровел и стал Алешей. Как странно, что я ни тогда, ни даже позже долгое время не знал, какой он человек, мой младший брат, которому тогда уже было девять лет. Был он довольно капризный, со мной — довольно сварливый и драчливый мальчик, с болезненным, немного одутловатым лицом и складками под глазами, со все еще слегка вьющейся темной шевелюрой и толстыми надутыми губками. Как странно! Я не знал, чем он живет, и по-настоящему узнал его и подружился с ним, когда мы оба были уже юношами. А ведь сколько игр было вместе переиграно! Я слишком был полон собой. К Мише я тянулся как к любимому старшему, как к образцу, —

а Алеша был только как бы напарник в играх, но душевной близости у нас не было.

Алешина болезнь осенью двадцать седьмого года имела для меня существенное практическое последствие: сразу по приезде у нас был карантин, и я не пошел в школу. Не пошел я в школу и позже: мама решила — пусть подождет еще год. Жизнь наша потянулась по-прежнему. Все так же был замусорен ахагийскими бумажками мой стол, все те же книги, все те же игры, все те же немногочисленные уроки. Все так же ходили мы с Алешей в садик или кругами вокруг квартала; все так же велись научные разговоры с Мишей. Последним моим увлечением была «Эдда» в переводе Свириденко; как-то я читал Мише, больному, целые песни оттуда, несколько поразив его тем, что меня не смутили обвинения Локи против Фрейи в «Lokasenna».

А когда Мише приходило в голову дурачиться, мы перекидывались мячиком по диагонали нашей комнаты, причем тут же были выработаны правила соревнования по этой новой вирронской игре, и сами мы превратились в команды — названия их были сделаны из разных наших семейных словечек: Миша был «Зиж» — это была дразнилка, которой Миша мог доводить меня и Алешу до исступления; я был «Снок» — в честь одной папиной ошибки: Миша как-то пришел в снежную погоду и наследил в передней. Близорукий папа, увидев кусочки снега на полу, спросил:

— Это что?

— Это с ног, — сказал Миша.

— Какой снок? (Общий восторг).

Под рифму к «Сноку» третья команда (Алеша) называлась «Взок» в честь какого-то из распространенных тогда сокращенных названий учреждений. Была даже придумана особая спортивная терминология: запрещенные броски назывались «попечник» (попал в печку), «посудейник» (попал в судью), — словотворчество было на полном ходу. Еще более мощно оно развивалось, когда мы с Алешей, в одних рубашонках, скача утром на его кровати, испровизировали эпическую поэму о путешествии шотландца Мак-Глупа для открытия западного и восточного полюса.

Настоящий, северный полюс тогда и еще долго был романтически недоступен, и в тот год был на всех устах: летом 1926 года в Гатчину через Ленинград пролетел дирижабль Амундсена, направляясь оттуда в трансполярный перелет. От СССР на нем летел Р.Л.Самойлович.

В те годы рождался и наш, советский воздушный флот: на спичках были желтые наклейки с самолетом, оканчивавшимся, вместо пропеллера, огромной фигой, с надписями: «Наш ответ Чемберлену», «Дашь Авиахим» и еще что-то в этом роде. А с улицы Блохина мы раз видели заплатанный, малопочтенного вида советский дирижабль «Химик-резинщик».

Имя Чемберлена напоминает оживленные первомайские и октябрьские демонстрации тех дней — красные бумажные цветы, кепки, косоворотки, куртки, кумачевые платки девушек, красные лозунги и плакаты, растоптанная грязь на булыжных мостовых, трактор на украшенном кумачом грузовике и чучела империалистов на палках — из них же первым был Чемберлен, с моноклем и в цилиндре. Тогда пели «Интернационал» и «Молодую гвардию», и «Низвергнута ночь, поднимается солнце, растет наш рабочий прибой», и

«Белая гвардия, черный барон снова готовят нам царский трон», «Мы раздуем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей» и еще «Как родная меня мать провожала» Демьяна Бедного, а в школах проходили по МУЗО что-нибудь вроде:

Чемберлен — старый хрен —
Нам грозит, паразит,
Но-о мы маху, маху не дади-им, —
За себя-а мы па-ста-им.

А самое любимое было, конечно:

Мы красные кавалеристы, и про нас
Былинники речистые ведут рассказ,
Про то, как в ночи ясные,
Про то, как в дни ненастные
Мы смело,
Мы бодро в бой идем,
Идем.
Веди ж, Буденный, нас смелее в бой,
Пусть гром гремит,
Пускай пожар кругом, пожар кругом,
Мы беззаветные герои все,
И вся-то наша жизнь есть борьба!

И мама, которая для спасения жизни не могла бы спеть песни (кроме благодарственного гимна Александру II за освобождение крестьян, выученного когда-то в Институте и певшегося по нашей просьбе слабым, жалобным фальцетом в шутливый знак того, что мама все-таки умеет петь), — мама, подметая пол и занятая обычными своими печальными мыслями, мурлыкала:

— И вся-то наша жизнь есть борьба...

Мамино мурлыканье неопределенного музыкального характера всегда означало, что у нее на сердце очень, очень нехорошо. Почему? Мне, может быть, тогда бы уже и хотелось знать, да из молчаливой мамы ее мыслей было не извлечь.

Во время революционных праздников мы были пока лишь сторонними наблюдателями. Нашими традиционными праздниками, помимо дней рождения и именин, были пасха и рождество.

И дело вовсе не в том, чтобы мои родители верили в Бога — нисколько; просто это была милая с детства традиция.

За несколько дней до наступления пасхи пеклись куличи, в деревянную пирамидальную форму с «ХВ» по бокам закладывалась творожная пасха, из красной и зеленой папиросной бумаги мастерились розы на куличи; мы, дети, соревновались в изобретательности, раскрашивая пасхальные яйца. Перед полуночью со страстной субботы на пасхальное воскресенье, когда начинал разноситься благовест колоколов, папа и мама отправлялись к заутрене, — захватывающая мистерия воскресения и пасхальное пение были такой же неотъемлемой частью их необходимых артистических впечатлений, как ежегодное посещение Художественного театра (когда он приезжал из Москвы на гастроли, и когда в который раз с восторгом и благоговением повсюду повторялись имена Станиславского, Качалова, Москвина — самые дорогие имена для русской интеллигенции, такие же, как имена Чехова, Толстого, Шаляпина, Павлова).

Куличей и пасхи, конечно, не святили, но дома христосовались. Потомки, знаете ли вы, что это значит? Это для вас, небось, этнография. Это значит трижды, по-русски, поцеловаться в одну и в другую щеку, обменявшись словами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Полагалось христосоваться со всеми знакомыми и незнакомыми. Что до папы, то он предпочитал хорошеньких.

Наутро папа, лежа в кровати, пел:

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ, —

так точно, как после оперы, посещенной в субботний вечер, он мог наутро напевать «Хабанеру» или арию Лизы из «Пиковой дамы».

И все же, хотя для моих родителей это было родом театра, пасхальное воскресенье было важным, светлым, торжественным днем. Только в этот день был яркий пасхальный стол. Когда впоследствии, в порядке борьбы против религиозного дурмана, в магазинах стали продавать сладкие сырки и куличи в будние дни, они не имели того вкуса; вся суть была в том, что пасха была раз в год, и вместе с ней начиналась весна.

В Вербное воскресенье, также по традиции, ставились в вазу ветки вербочек, а на Троицу — молодые ветки березки; но это проходило для нас, детей, совсем уже незаметно.

Для нас более важным праздником было Рождество, елка — праздник европейский и потому только интеллигентский, совсем не связанный с верой и церковью.

С середины дня папина комната стояла закрытой; там водружалась и украшалась грандиозная, до высокого потолка, елка; вечером вдруг распахивались двери, за которыми мы давно уже стояли в нетерпении; в глубине большой темной комнаты елка таинственно сияла десятками колеблющихся огней, блестками золотого дождя, малиновой и темно-зеленой серебристостью стеклянных шаров; наверху темно блестела звезда из бронзовых нитей; картонажные ангелы, деды-морозы, серебрянные зайцы, белки, крокодилы вращались в токе теплого воздуха от свеч, мерцал слочный снег, в бумажных корзиночках между золочеными орехами висели мятные пряники. А под елкой, на белой простыне, скрывавшей крестовину, были расставлены подарки.

Интересны они были главным образом обстановкой, в которой они нам доставались; все эти игрушечные люди, звери, заводные поезда и прочее в другие дни лежали в забросе. Но мне уже, конечно, игрушек не дарили, а дарили книги.

Наигравшись подарками, мы обрывали с ветвей красные, зеленые и голубые хлопушки. В каждой скрывалась ленточка: потянешь — и хлопушка раскрывается с громом, а из нее вытаскиваются причудливые бумажные колпаки и шапки, которые мы напяливаем на себя, на папу, на гостей. А потом: — хоровод вокруг елки:

Наш отец Викентий...

и лай, кукареканье, мяуканье. А там — огненные фонтанчики бенгальских огней...

Вообще говоря, наша елка была очень похожа на норвежскую, но только шумнее и веселее. А мама садилась задумчиво в угол, в кресло, и следила, как гаснет свечка за свечкой, «как жизнь человеческая», — погаснет было, а потом вспыхнет опять, как будто совсем бодрая и здоровая, — увы, ненадолго; потом тухнет вдруг, или тлеет, тлеет, тлеет, дотлевая... После смерти предпоследней свечки в комнате наступала тишина и темнота, и по потолку колебались в слабом свете лапчатые тени ветвей, как в дремучем лесу; примостившись к маме, на ручку кресла, я вместе с ней в очаровании грусти следил, как тухнут золотые огоньки, как мрачная, дышащая свежим лесом мгла наступает из углов, и лапы ветвей колышутся по стенам и на потолке...

Потом — тьма. Зажигается свет, звучат голоса. Очарование кончилось.

Второй раз елка зажигалась на мое рождение, 12 января. Это был мой праздник; Алеша уходил в этот день спать раньше меня, поэтому здесь было меньше шума, больше задумчивости у догорающих свечей. А если елка была свежая и хорошо стояла, то она зажигалась еще и в третий раз, на Алешин день рождения, 21 января.

Незадолго до Рождества 1927 года Миша вдруг предложил мне пойти к его знакомым, где есть ребята почти моего возраста. Я всегда отбивался от попыток «искусственно» познакомить меня с какими-либо ровесниками, с которыми мне, по словам родных, «будет очень интересно». Но — может быть потому, что предложил мне это Миша, может быть просто случайно, — на этот раз я согласился.

Мы отправились с Мишей на угол Каменноостровского и Песочной (что ныне «имени профессора Попова»), в дом 54, и со двора поднялись под самую крышу, на шестой этаж; прошли через кухню, коридор, кого-то спросили — и вошли в комнату. У письменного стола на фоне окна, в профиль, сидела девушка, как мне показалось, поразительной красоты; сидела она гордо и непринужденно, несколько презрительно глядя на нас серыми глазами; нос с горбинкой, волнистые, пышные волосы, высокий лоб, большие янтарные бусы на длинной, лебединой шее, цветная шелковая блузка и шаль, небрежно наброшенная на плечи; самая атмосфера комнаты — все это было благородно, все выше пошлости повседневной жизни. Она милостиво встретила Мишу и меня; откуда-то был вызван ее брат, мальчик лет четырнадцати, застегнутый на все пуговицы в какой-то костюмчик с курткой мышино-серого цвета, с таким же орлиным носом, с вьющимся чубом русых волос, с умными и добрыми голубыми глазами и подвижным смеющимся ртом; за ним в дверях мелькнула некрасивая девочка-переросток, бледно-розовая, безбровая, с плоским носом, с короткой и толстой светло-рыжей косой; девочка явно чувствовала себя неловко и быстро скрылась. Мальчик же поздоровался со мной, назвал себя Иваном и предложил пойти в его комнату.

Это была маленькая, светло-серая, вытянутая в длину комнатка, где, вероятно, когда-то жила горничная. У стены стоял небольшой аккуратный стеллаж с книгами, у другой — аккуратно застеленная кровать; у окна стоял маленький столик, аккуратно покрытый безукоризненно чистой серой бумагой; на нем ничего не было, кроме чернильницы, перьев, тонко очиненных карандашей, пузырьков красной, зеленой, черной и желтой туши

и чистого листка бумаги, сложенного пополам. В углу икона, на стене под стеклом терракотовый рельеф: портрет Александра III, стеклянный ящик с бабочками и гравюра с портретом Канта.

Я не могу описать, как меня поразила эта келья и ее обитатель. Я не мог понять, что здесь принадлежит духу этого дома и что — самому моему новому знакомому. Я был смущен и не мог, да и не был склонен говорить о себе, а мой хозяин говорить о себе, пожалуй, был совсем неспособен; однако мне было легко с ним; он говорил, как взрослый, и в то же время без свойственного мальчикам снисхождения к тем, кто на год-два младше их. О чем мы говорили — не знаю; но я с радостью принял приглашение прийти к ним на Рождество.

На обратном пути Миша мне объяснил, что его знакомая — это Тата Фурсенко, студентка, — как и он, персидского разряда. Он тоже приглашен на Рождество; там будет еще несколько студентов, общих знакомых.

Мы пришли к ним в один из дней Рождества. Пили чай за чинным большим столом, возглавлявшимся величественным Василием Васильевичем Фурсенко. Он сидел, держа в руке чайный стакан в серебрянном подстаканнике, пил чай длительно и не спеша, и казалось — этому не будет конца. Его серебряная кудрявая грива, его огромный орлиный нос и неторопливо-дидактическая речь, которой он как бы снисходил из других, более совершенных времен к несовершенству нынешней молодежи, внушали мне робость, смешанную с тягостным внутренним протестом. Рядом с ним помещалась тяжелая, безликая, неприятная его жена с двумя сопливыми младенцами — мачеха моих новых друзей. Все это было неприятно.

Зато друзья Таты Фурсенко были интересны и любопытны. Здесь был улыбающийся и румяный Иванушка Лебедев, подстриженный ежиком, двигавшийся степенно, делавший округлые движения, говоривший как-то с подчеркиванием, как бы афористически, а моим Ваней встреченный особым шутливым обрядом пританцовыванья и юмористически-восторженного всплескиванья рук, смешно соответствовавшим важности вошедшего лица; Иванушка Лебедев со вкусом цитировал что-то по-французски — то ли всерьез, то ли в шутку разыгрывая утонченность; здесь был Боря Пиотровский — высокий рыжий юноша, сильно заикавшийся, но нисколько этим не смущенный; его книжка силуэтов-карикатур была одним из «гвоздей» вечера; Миша сказал мне, что он египтолог, и я решился выпросить у него книжку о египетском языке и иероглифах; был смешной и, видно, очень добрый, кудрявый медик в очках и с большими руками — Миша Щерба; очень некрасивая и «задающаяся» девушка — Т.Я., строгого вида юноша в черном — Володя Щербина; и несколько ребят моего возраста. Многие из бывших гостями в тот вечер стали потом значительными людьми. Но, приятные или неприятные каждый по отдельности, смешные, ложно или в самом деле значительные, — они составляли вместе очень приятное, веселое, ровное по тону и, кажется, умное общество; загадочные акварели Таты, карикатуры Бориса Пиотровского, стихи, шарады — мне еще не приходилось так интересно проводить время в гостях; я бывал среди детей, бывал среди взрослых, а теперь впервые попал в круг интеллигентной молодежи; каждый здесь был — характер. Я решил не оставлять этого знакомства.

Но ему суждено было развиться лишь несколько лет спустя: с ранней весны снова пошел разговор об отъезде из Ленинграда. Мир норвежский не успел за это время стать далеким и чужим; связь с ним держалась, и я как-то не мог думать, что я не встречусь больше с Герд, не увижу Фрогнерпарка и Холменколлена; все это было так же частью моей жизни, как и Каменноостровский проспект, Нева и мои друзья и родные в Ленинграде; я не мог себя представить ни без того, ни без другого.

Связь с Норвегией ощущалась не в одних ежедневных письмах Маргит, готовившейся приехать сюда насовсем; тогда никому не приходило в голову бояться иностранцев — ведь каждый в стране чувствовал, что он

... землю оставил, пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...

Как же было чуждаться жителей Гренады? А те, кто жили старым, уж и тем более не видели барьера между русским и иностранным.

И потому живые норвежцы то и дело бывали у нас дома. Так, бывал у нас молодой Карлсен, сын швейцара нашего полпредства в Осло, приехавший от безработицы в Ленинград и работавший здесь шофером; появлялся студент Эрик Краг; а осенью 1927 года неожиданно приехала наша Агнес.

Скопив денег, она решила приехать туристом и воочию познакомиться с той удивительной, интересной страной, с которой заочно она сроднилась через нашу семью и язык которой она уже знала довольно хорошо. Мы с большой радостью встретили ее. Она с упоением ходила по Ленинграду и собиралась побывать в музеях, в театрах, пожить нашей жизнью. Может быть, она начинала мечтать и о том, чтобы устроить свою собственную жизнь. Датский лейтенант был давно забыт, и к Агнес в наш дом иногда приходил молодой норвежец, служащий консульства. Но вышло иначе. Не прожив у нас и месяца, Агнес тяжело заболела. У нее открылся бурный туберкулезный процесс; ее положили в больницу, потом в санаторий в Детском Селе; несколько поправившись, еще слабая, страшно изменившаяся, она поспешно уехала в свой родной Берген.

Как раз вскоре после ее отъезда папа получил от Наркомвнешторга предложение — опять поехать в Осло, на должность заведующего финансовым отделом торгпредства. (В конце своего прошлого пребывания там он был заместителем торгпреда). Папа согласился и подписал договор на три года. Опять начались сборы.

Надо сказать, что, хотя я был приятно поражен этим неожиданным известием, я не воспринял его как что-то из ряда вон выходящее — хотя, конечно, это в сущности было необычайное событие: в жизни редко повторяются одни и те же ситуации; второй раз попасть в Норвегию — это было удивительное жизненное совпадение; но мне это показалось в порядке вещей, — ведь все в Осло было мое, как и здесь, в Ленинграде, все было мое, и я принадлежал к тому и к другому.

Тот «переходный возраст», в который я в это время вступил, в начале 1928 года давал себя знать во мне каким-то приподнятым настроением, каким-то поиском чего-то нового. То я взялся было за новую романтическую драму; но, хотя, как все такие мои сочинения, я дотащил и ее до конца, но написал с отвращением и усилием, а, перечитав, понял, что это — гадость.

Драма была инсценировкой средневековой бродячей легенды: муж напрасно отвергает жену, а она, переодетая мальчиком, является к нему и спасает его. Но я нарочно заставил себя придать своей драме, наконец, несчастный конец. Все это было написано сентиментально-пошло, и в судьбе героини я чувствовал какой-то авторский садизм. Мне было гадко и стыдно за это сочинение.

Потом я написал рассказ: последние минуты приговоренного к расстрелу. Рассказ был написан с ходульной напряженностью. Почему-то — я никогда не показывал ничего, что делал, папе — теперь я показал этот рассказ именно ему. Он прочел и сказал, что рассказ неестественен, что ни осужденный, ни офицер, исполняющий казнь, не могут в такие минуты цитировать какие-то литературные произведения. Я с отвращением отбросил и рассказ. Потом мне снился сон — очень странный сон, если иметь в виду, что ничто в доме не настраивало на религиозный лад и никто в доме не верил в загробную жизнь.

Мне снилось, что я умер, я и все наши. Я лечу — или моя душа летит — над огромным голубым, неподвижным и беззвучным морем, как будто отлитым из голубой эмали. Прибываю на остров. Остров покрыт скудной, жестковатой степной растительностью. В низменной его части толпятся тени умерших. Встречаю знакомых. Не говорим, а обмениваемся мыслями: — Как, вы тоже умерли? — Да, уже давно! — Среди толп серых, прозрачных теней бесшумно движутся какие-то гигантские светлые фигуры. Это — ангелы, но они без крыльев. Низменная часть острова соединена мостом с высокой стороной — или это так кажется: мост обрывается. По мосту вверх и вниз бегут огненные трамваи. Без шума: вообще с самого начала нет ни звука, ни движения воздуха. По прошествии некоторого времени приходит моя очередь пройти по этому мосту. Это нужно для очищения. В зависимости от тяжести грехов нужно пройти от двух до четырех раз. Пламя не жжет, итти легко. Мне пришлось пройти три раза. Затем меня, как и других, переводят на высокую часть острова. Перед нами открывается опять та же неслыханно голубая, непонятно неподвижная, всегда до горизонта одинаковая гладь моря; но вдали виднеются два или три острова. Мы стоим и глядим на море — стоим неподвижно, беззвучно — неделю, две — неизвестно сколько времени. Потом от одного из островов отделяется косой, ярко-белый парус. Он с невероятной быстротой скользит по глади моря; бесшумно, не поднимая волны, ладья скользит, парус растет, и вот он уже у нашего берега. Он огромен. Ладья еле видима под обрывом, а верхушка паруса — выше нас. Спускаемся в ладью и она, так же бесшумно, несет нас обратно к отдаленному островку. Причаливаем, выходим на берег — и вдруг молчаливые тени обретают голос: восклицанья, — каждый видит здесь то свое, ту среду, о которой он больше всего мечтал; какой-то счетовод даже увидел свою бухгалтерию. Но легко увидеть и близких: стоит захотеть быть там, в той среде, которую они любят.

Я проснулся и, пораженный яркостью видения, подошел к столу и нарисовал карту острова мертвых. На душе было ясно. Проснулся Миша, и я ему сказал:

— Если бы я жил в Средние века, я бы поверил сну, и сделался бы пророком, вроде Мухаммеда. Как странно: такой ясный сон! Отчего он? И речи не было ни с кем о загробной жизни, и в нее никто не верит, и я не верю.

Сон был такой яркий, что и теперь, через тридцать лет, и через пятьдесят лет я помню каждую деталь и мог бы снова нарисовать эту карту.

Так, полный смутных чувств, неясных порывов и стремлений, доживал я месяцы до отъезда. В эти последние недели меня больше всего занимало одно: я со страшной скоростью конспектировал книжку Эрмана «Die Hieroglyphen», спеша вернуть ее Борису Пиотровскому. Переводить было некогда. Я конспектировал прямо по-немецки. Это была моя первая немецкая книга.

Перед отъездом, как и тогда, в двадцать втором году — в нашем доме появилось много людей.

Появилась мамина приятельница — тетя Варя Трусова; муж ее бежал с белыми в Югославию, а она все эти годы бедствовала, учительствуя на Украине. Теперь она вернулась в Ленинград, и с ней два взрослых сына. Они остановились у нас.

У нас же, по большей части, жила приехавшая из Петрозаводска моя тетя, Анна Павловна, с шестнадцатилетней хорошенькой дочкой Нюрочкой. Другая ее дочка, Надя, была в городе уже давно; все мы только что пережили ее беду: сначала связь с каким-то дон-Жуаном, потом рождение ребенка, потом его смерть... Мне было ее ужасно жалко: она была славная, смешливая, курносая, с ямочками на щечках, труженица — в семнадцать лет кончила акушерские курсы, зарабатывала сама и помогала матери. Очень любила своего сынка. Потерять ребенка — мне это казалось так страшно, что я Надю даже видеть не мог. Позже ее жизнь устроилась благополучно.

Итак, в доме было много народу; жизнь и жизненные вопросы столпились вокруг меня, но мне до них было пока еще мало дела: я все еще жил своим миром.

В квартире мы потеснились: вся она после нашего отъезда должна была быть временно передана тете Варе и тете Анюте с их семьями. Пока же на диванах, в кроватях и в креслах постоянно кто-то лежал — то одна гостья, а то и сразу две — спали и бодрствовали; на полу был рассыпан пепел от папирос, в самых неподходящих местах были приткнуты окурки, а, входя в дверь, постоянно нужно было зажмуриваться, так как вечно кто-то спал или же одевался, или раздевался.

Дом на Скороходовой был как бы уже наш.

И скоро наступил день отъезда.

Глава четвертая
(1928—1929)

Моей души отрада и желанье —
Норвежские долины навещать...

Верхарн

I

Я сижу с тяжелой головой, с трудом находя мысли и слова. Боже мой! Неужели я ровесник моего отца в тот год! Ведь, казалось, все события его жизни в прошлом; а у меня, — я все еще нет-нет да и чувствую себя мальчиком, строю планы на будущее. Неужели и он тогда еще так мало прожил? И в то же время — как я сносился! Да, мой отец был моложе, гораздо моложе меня. Интересно, сколько мне еще осталось? Моему отцу тогда оставалось десять лет. Но — как говорит Гораций:

Ты узнать не желай, — ведать беда! — скоро ль мне и тебе
Боги судят конец, милый мой друг! В суть магических чисел
Ты вникать не должна. Лучше всего, — что ни будет — прими,
Много ль зим впереди, или уже бог последнюю шлет
Днесь, когда этих скал стойкость крушит злой Тирренского вал
Моря...

Хотя в тот год передо мной, облокотившимся на белый сетчатый фальшборт парохода, не Тирренское, а суровое Балтийское море терлось о прибрежные сероватые камни шхер, но была не зима, а раннее лето, и не последнее, а одно из начальных еще лет моей жизни, и небо было голубое, и голубым было тихое и широкое море, и разбивалось оно о камни спокойно и мирно.

В нашем путешествии не было, как в первом, ожидания неизвестного. Знакомый путь, знакомые берега, знакомая жизнь впереди. На душе было спокойно.

Мы остановились на несколько дней в Стокгольме. Пароход причалил к стенке поздно вечером у одного из городских островов, отделяющего воды озера Меларн, широким потоком, как бы короткой и быстроводной Невой, вливающихся в центр Стокгольма, — от вод, таким же, похожим на Неву потоком, уходящих из Стокгольма к Балтийскому морю. Было удивительно чувствовать себя на морском корабле среди обступающих его высоких темных громад домов, со всех сторон светящихся на тебя окнами квартир. Едва видные во тьме черные силуэты многоэтажных строений казались еще выше и многоэтажнее оттого, что — как оказалось утром — они спускались к воде по крутым склонам старинных узких улиц.

С утра мы отправились бродить по Стокгольму. К короткой, широкой и быстрой его реке и просторным водам озера и фьорда Стокгольм сбегает не только средневековыми улочками с нависающими этажами каменных острокрыших домов, но и широкими, полными витрин, реклам и автомобильной сутолоки магистралями Дроттнингсгатан и Биргер-Ярлсгатан, но и зелеными садами, где над водой бронзовый Карл XII указует перстом навстречу Медному Всаднику и над которым высится в отдалении, на фоне

голубого неба, ажурный золотой шпиль красной ратуши с венчающими ее тремя золотыми коронками.

На мощеной, чуть покатой площади перед старинным дворцом, темно-красным с серыми лепными наличниками окон, выстроились рядами шведские гвардейцы в меховых шапках и чуть ли не в тех же синих мундирах, которые видали стены Полтавы.

Мы без труда находим дорогу по чистым диабазовым улицам холмистого Стокгольма, спрашивая — опять по-новержски! — как пройти и где что можно увидеть у легко понимающих нас шведов, — только не забыть произнести «ч» вместо норвежского «хь» и помнить, что «вода» не «ванн», а «ваттен», «двадцать» — не «тюве», а «чугу» и что «мальчик» и «девочка» не «гютт» и «пике», а «пойке» и «фликка».

От ослепительности магазинов и универмага «Вавилонская башня» до желтых дорожек и свежей зелени острова-парка Юргорен, где за решеткой гуляли олени, а на поляне жили — для обозрения публики — в своих чумах лопари в разноцветных шапках и синих кафтанах, в яркости реклам и в шуме больших улиц, и в тишине сада, где мы обедали в маленьком деревянном ресторане и тянули морс соломинками, — Стокгольм промелькнул за два дня, как яркая и живая картинка для рассматривания. Это не имело отношения к моей жизни.

И вот — снова сутолока тесного Восточного вокзала, краем глаза видны пароходы в Бьервикене — и такси мчит нас по знакомым улицам: Стуртинг, Карл-Юхансгате, Гранд-Отель, белый университет; над купами кустов, над улицей — каменный, серый, нагой Абель, нагромоздившийся на кучу демонов; Драмменсвейен — гражданин города Кале в крутом садике — шумная Бюгде-Алле́. Мы перетаскиваем вещи в просторную комнату двухэтажного белого отеля, стоящего в глубине большого, тенистого палисадника. Надо распаковаться, умыться в знакомом норвежском комнатном умывальнике — «серванте» с белым фаянсовым кувшином, потом наскоро пообедать за табльдотом — и затем я свободен... Что мне делать здесь, в гостинице, и почему мне не отправиться бродить, чтобы снова повидать знакомые места знакомого города?

От нашего «Отель Руссе» два шага до Нубельсгате. Я сворачиваю с Бюгде-Алле и поднимаюсь по нашей тенистой, тихой улице. Вот налево начинается высокая, серая бетонная стена с балюстрадой наверху — это стена сада американского посольства; вот направо поворот с широким тротуаром из плит — к гастрономическому магазину; где-то здесь живет знаменитый полярный летчик Рийсер-Ларсен со своей семьей; а вот, за поросшей лопухом канавой, посеревший «стаки́т» — забор-решетка из остроконечных, когда-то белых дощечек — и над ним ветви высоких деревьев сада Стеен-Нильсена. Вот и наши ворота. Знакомый, посыпанный гравием двор между садом и желтым трехэтажным домом. Наш дворе шумно играют незнакомые дети, в окнах первого этажа — чужие занавески. А кто это в белом платье быстро заходит в подворотню, неся корзину продуктов? Неужели это Герд?

Я бегу за ней и окликаю: «Герд! Герд!» Она сначала убыстряет шаги, потом, выходя уже на задний двор, оборачивается, останавливается и смотрит на меня снизу вверх. Перед ней высокий мальчик, почти юноша, в галстуке, сером костюмчике и брюках «гольф», в кепке, из-под которой виден

отброшенный на сторону косым пробором темный чуб; длинное худое лицо, карие глаза, непомерно большие руки и ноги. Узнает ли она того хорошенького кареглазого мальчика с девчонской черной челкой, в детском свитере и коротеньких штанишках?

— «Гаарикь»!

Да, это я, Гарик! Как приятно называться этим именем! Герд хватает меня за руку и мы бегом взлетаем по черной лестнице на второй этаж. Начатый фру Стриндберг с ходу выговор обрывается — Гарик! Откуда? Какими судьбами? Вокруг меня пляшут востроносая Хишти и подросшая толстенькая Бюлле, в дверях косо улыбается Бьёрн. Меня сажают за стол, поят кофе или какао или еще чем-то; я — с некоторым напряжением говоря по-норвежски — кое-как отвечаю на вопросы: да, мы все приехали, надолго, будем опять жить в Осло; да, все, и Дьяконов и фру Дьяконов; — нет, Миши с нами нет, только Алик — а «бабюшька»? — бабушка вам кланяется... Кое-как окончился обряд, и мы выходим вдвоем с Герд на двор.

Все знакомо! Вот под окном второго этажа не хватает балясины: это Герд как-то пришла к нам и заявила, что все уехали за город, и ей не оставили ключа; папа организовал спасательную экспедицию: была добыта зеленая садовая лестница, и Миша полез по ней в открытое окно квартиры Стриндбергов; но лестницы не хватило — Миша ухватился за балясину, чтобы подтянуться к окну, а декоративная гипсовая балясина оторвалась, и он слетел вниз со второго этажа, успев только по-спортивному упасть на поджатые ноги; а потом оказалось, что дверь в квартиру Стриндбергов просто не заперта. Вот черная проволока антенны, протянутая Мишей от слухового окна на чердаке до дерева в саду Стеен-Нильсена — тогда папа укорял Мишу, что он трусит на крыше, и только уже в Ленинграде признался, что, вылезая на крутую крышу вслед за ним, струсил и сам — признаваться в своих ошибках Дьяконовым трудно.

А вот на желтой штукатурке стены, чуть повыше цоколя, карандашом обведен квадратик и написано «Мухин дом». Это мы с Герд как-то вечером долго следили за осенней мухой: сколько ее ни отгоняешь, она все опять прилетала на то же место. Тогда мы оставили муху в покое, а облюбованное ею место очертили и предоставили ей для жилья.

Я показываю Герд «Мухин дом», и мы вспоминаем с ней этот случай нашего давнего детства. Я спрашиваю, кто живет в нашей квартире, дружит ли она с ними. Нет, они противные. Йонсы тоже выехали. Говорить как-то трудно, — непонятно, о чем говорить. Спрашиваю, сильно ли я изменился. Она опять смотрит снизу вверх — как это непривычно — и говорит, что да; раньше я был лучше.

— Разве я стал уж такой некрасивый? — Нет, — говорит Герд вежливо, но все же полуискренне, — не то чтобы некрасивый, но раньше ты был как-то красивее...

Ну что же...

Но долго пропадать нельзя: надо возвращаться к маме, в «Отель Руссе». Герд меня молча провожает, а маме передает приглашение от фру Стриндберг — прийти в гости, когда мы хотим.

Наши собрались не сразу, но этот визит оказался полезен: «Отель Руссе»

был дорог, а Стриндберги порекомендовали дешевый «домашний» пансион — «Борг Хуспитс», который содержит фру Борг, вдова, мать подруги Герд, черноглазой Эллинор, которую я хорошо помню с прошлого приезда.

Пансион Борг находился на четвертом и пятом этажах большого дома в густонаселенной части города, на углу двух узких улиц — Бугставейен и Ураниенборггатен. Четырехэтажные дома здесь покосились под своими шиферными крышами и мансардами от проходившей под фундаментом неудачно проложенной трассы метро; по улице бежал трамвай; — по диабазу гремели машины; зелени поблизости не было — если гулять, так надо было ходить довольно далеко: в скверик на горке у красной остроконечной кирки Ураниенборг, или в Дворцовый парк, или в сад «Санкт-Ханс-Хэуэн».

Наша комната — помнится, одна — была на пятом этаже. На четвертом была столовая с табльдотом, где сидели какие-то неопределенные господа и несколько пожилых дам, и на чистую крахмальную скатерть ставились странные и невкусные норвежские блюда — бутерброды (лучшие из них были с анчоусами и яйцом — но во всех случаях дело портил солоноватый маргарин), хитроумные салаты, огромные омары, густой, пахнущий лавровым листом полусуп, полувторое — «лапскэус», овсяные, хрустящие, жерновообразные лепешки — «кнеккебрё», рыба в разных видах, котлетки — «карбунáдэ», рыбные отвратительные клецки с ванилью и кардамоном.

Герд часто приходила после школы — не то к нам, не то к Эллинор; и так как она была не специально моей, а общей гостьей, было как-то неудобно: сидели все вместе, не поговоришь. Но вскоре установился обычай, который облегчал мое положение.

Последние три года по маминому декрету нам с Алешей было запрещено ходить в кино — мама считала, что это нам вредно. Я из-за этого пропустил много замечательных фильмов, например, чаплиновскую «Золотую лихорадку», затем «Нибелунгов», все первые советские фильмы. А теперь как раз запрет был снят. Я заявил, что в кино мне ходить не хочется, и я прошу выдавать мне деньги, которые пошли бы на мой билет, с тем, чтобы я мог тратить их по своему усмотрению. Это было мне разрешено.

Теперь, когда наши отправлялись в кино, приходила Герд, и мы втроем — Эллинор, Герд и я — отправлялись гулять в какой-нибудь из дальних садов. Я покупал на свои кино-деньги рулон шоколодных кружочков и галантно угощал моих дам. Обе они были, в сущности, еще совсем маленькие девочки — и мне-то было еще только тринадцать, а им не исполнилось и того. Я был гораздо больше их, но мне они не казались маленькими. Особых разговоров вести было не надо — нас занимало то, что мы прогуливались по дорожкам среди цветников, взявшись под руки, — с одной Герд я не мог так ходить: гулять под руку — привилегия «форлóведе» (жениха и невесты).

Вообще, нравы тогда в Норвегии были еще очень строгие. Конечно, если тринадцатилетние девочка и мальчик ходили под руку, — на это не посмотрели бы строго, но вообще пройтись под руку с девушкой было равносильно обещанию жениться; если не женишься, девушке будет позор. Девушке нельзя было пойти в театр с молодым человеком или даже одной, без старшей дамы; если она жила одна, она не могла принимать в гостях мужчину даже среди бела дня; даже и в родительской квартире нельзя было

оставаться с молодым человеком в одной комнате, если только в комнате стоял диван. Все это можно было только с «форловеде». С ним, в сущности, можно было все: иначе трудно было бы дотерпеть до женитьбы — ведь жениховство длилось по пять и шесть лет. Но зато, как сказано, нарушение всех этих строгих правил позорило девушку, бросало на нее тень и делало ее мало приемлемой или вовсе неприемлемой в качестве супруги. То же самое, если помолвка ее с «форловеде» расстроилась. По-видимому, предполагалось, что девушка, раз побывав невестой, вряд ли уже девушка. Все это я уже знал тогда, наслушавшись предназначенных не для меня рассказов папы родным и друзьям, и эти обычаи казались мне дикими и глупыми. Но таков был здесь порядок жизни, а потому в наших встречах с Герд, тогда и позже, был с обеих сторон известный элемент молодечества, известное замирание сердца от хождения на грани дозволенного, — мы ведь считали себя уже почти взрослыми, хотя старшие, вероятно, совершенно спокойно отнеслись бы к нашим скромным вольностям.

О чем мы говорили с Герд и Эллинор во время прогулок — не помню. Девочки мало говорили; про школу Герд вообще почти никогда не рассказывала, а Эллинор немного стеснялась меня. Стало быть, вероятно, говорил я и, вероятно, рассказывал о России. Я, правда, пытался вовлечь в разговор Эллинор, чтобы она рассказала о Кубе, где она выросла и, кажется, даже родилась. Но она рассказывала что-то смутно и мало членораздельное — жара; много цветов... Я спрашивал ее, не кубинец или испанец был ее отец — меня поражало, что она темная брюнетка; но она это отрицала: она чистая норвежка и по отцу и по матери. И в самом деле: фамилия ее — Борг! Но с высоты моей образованности я все же сомневался в ее чисто норвежском происхождении, хотя и молчал.

В пансионе фру Борг мы прожили недолго; недели через три-четыре мы перебрались на постоянную квартиру.

Это был маленький деревянный домик, крашеный в темно-коричневую краску, с крутыми шиферными гранями крыши, стоявший в большом саду, за городом, на станции Виндерен: пузатым Холменколленским коричневым трамвайчиком пять остановок от центра города, куда теперь этот трамвайчик добегал, спускаясь в метро. Но наш дом был так близко от города, что напрямик за полчаса можно было — через пригороды «вилл», через пустыри, холмы и луга за Фрогнерпарком, через парк — дойти до нашей старой квартиры на Нубельсгате.

Домик в Виндерене был двухэтажный; верхний этаж из двух комнат сначала пустовал, потом там поселился некто инженер Сирум с женой и двумя дочками, пяти и трех лет, мамиными любимицами; мама с ними постоянно возилась, вздыхала, что у нее нет своих дочек, рассказывала им сказки; а девочки ее обожали и называли не как другие норвежские дети — «фру Дьяконов», а «Мани-Па», что значило »Мария Павловна».

В нижнем этаже, где жили мы, была одна большая комната, разделенная раздвижной стенкой на две — это была комната родителей и тут же, в другой половине, была столовая; из нее широкая стеклянная дверь вела на большой балкон или веранду без крыши; вторая комната была поменьше; там жил Алик, а одно время и я.

Стены большой комнаты были покрыты рогожкой, по которой лишь кое-где были разбросаны полоски и мазки коричневой, желтоватой и серебристой краски; стены маленькой комнаты были покрыты удивительными обоями с рисунком в виде причудливых, огромных и странных цветов. И то, и другое было очень своеобразно и красиво.

Удивительна в этом доме была даже уборная, стены которой были украшены широкими черными и белыми полосами; сияла чистотой маленькая, кафельная, белая кухонька с электроплитой; целый угол дома занимала просторная и светлая комната, в окна которой глядела сирень и ветви деревьев; в одном углу ее стояла ванна, но вообще это была комната как комната. В коридоре, в столовой, в маленькой и в большой комнате в самых неожиданных углах скрывались потайные стенные шкафы, которых было в квартире, наверное, не менее двух десятков. Позаботился строитель и о прислуге: ее комната — это ведь ее дом; и вот для нее был действительно отведен отдельный крошечный домик, связанный с кухней крытым ходом — коридорчиком; в этом коридорчике был свой выход во двор, чтобы прислуга во внеслужебное время могла принимать собственных гостей, не беспокоя хозяев.

В высоких светлых подвалах дома была устроена топка центрального отопления; достаточно было утром подбросить в нее несколько лопат угля и затем два-три раза в день спуститься — посмотреть на манометр и, в случае нужды, подбросить еще лопату, — чтобы в доме было всегда тепло.

Вообще, я не видал более удобного жилья.

Плохо сначала было с мебелью, но постепенно быт наш устроился. Мама купила на аукционе красивый круглый стол, замечательные ореховые стулья, которые быстро сама же замечательно красиво обила, соорудила занавески и портьеры.

Так как прислуги у нас поначалу не было, то я получил теперь отдельный «дом», поселившись в комнате-домике, за кухней.

Мне было очень хорошо в моем отдельном домике но жил я в нем недолго. Вскоре приехал папин друг — Константин Александрович Федин; его поселили в моем домике, а меня перевели с Аликом в комнаты. Федин прожил у нас тоже недолго. Помню, как они с папой вырабатывали для него маршрут по Норвегии и планировали поездку в Берген, описанный им потом в «Похищении Европы»; помню, как Константин Александрович забрался на большой пень в нашем саду, и папа фотографировал его в виде «монумента». Потом Федин уехал, но прибыл на каникулы Миша, а затем к нам нанялась прислуга — на этот раз молодая хуторская девушка, Ингеборг. Ей и достался отдельный домик; тут в первом этаже нам стало немного тесно (вообще-то оба этажа были рассчитаны на одну семью), и я был переведен в ванную комнату. Тут, в светлом просторе, мне хватало места, а стоявшая в углу ванна мне нисколько не мешала.

Хорош был дом, хорош был и сад. Сначала он весь был наш, потом мы разделили его с Сирумами. Но разделение было формальным, и мы носились в нем повсюду. С одной стороны, между улицей и домом, был роскошный малинник (кусты малины были рассажены рядами и каждый подвязан к шесту); с другой была большая поляна, окруженная кустами крыжовника и

смородины, а в углу стояла куча прошлогоднего сена, таинственно пахнувшая тлением, и была посажена клубника. Мама была счастлива; мечтой ее жизни был дом с садом, огородом, с коровушкой и с большим датским догом. Сад уже был, огород мы устроили, и мама, вместе с нами, много возилась с ним; к сожалению, по нашей неопытности из него мало что получилось: морковка была тоненькая, как ниточка, горох без стручков; петрушку забил заполонивший все огромный, как лопух, горьковатый салат; только редиска исправно попадала на наш стол.

Место, где мы жили, всего несколько лет как начало застраиваться; со всех сторон шла стройка: рубили, пилили, крыли кровлей; то и дело доносился предупреждающий троекратный протяжный вой рабочих, а затем грохотал взрыв и летели комья земли и мелкие камни: не взрывая скалы динамитом, здесь не построишь ни одного дома. Издали взрывы звучали, как канонада.

Кое-где хозяину, видно, не хватило средств на достройку дома. Здесь, посреди крапивы, густой травы и кустов, — иной раз на опушке леса, — стояли, как древние руины, бетонные полуподвалы начатых домов, манившие играть в таинственные игры. Замечательно было и лазать по этажам соседнего недостроенного дома, когда вечером уходили плотники, и играть на «ничьих» пустырях, откуда на наши клубничные грядки делали набеги дерзкие и толстые ежи.

Наш образ жизни сложился как-то иначе, чем в первый приезд. Старых наших знакомых мы встречали мало. С Гейнцами видеться было трудно: времена изменились, и общение с эмигрантами стало криминалом. Все же Анатолий Евгеньевич был у нас раза два, и мы несколько раз ездили в Рейста-Гор. Раза два заходили и Стриндберги — один раз с Герд и Кари; папа, в это время пристрастившийся к рюмочке перед обедом и получивший от мамы на день рождения серебряный графинчик и полдюжины рюмок к нему, — угостил гостей коньяком; пила и Кари — она недавно прошла конфирмацию и кончила среднюю школу (но не среднее образование: до университета надо было еще закончить три класса «гимназии»), и после конфирмации она считалась уже взрослой.

Герд одна бывала у нас часто, — но об этом я еще расскажу.

Раз как-то из Бергена приезжала Агнес — грустная, постаревшая и больная. Бывала Маргит — унылая, все такая же рыжая и веснушчатая, в синей шляпке, сидевшей как-то словно колпак. Сидела и молчала, — говорить с ней было не о чем, ни по-норвежски, ни по-русски (она теперь уже довольно хорошо говорила на нашем языке). Потом она опять давала мне уроки.

Больше всего мои родители теперь встречались с торгпредом Элердовым и его женой. Элердов был экспансивный и, на мой взгляд, неинтересный грузин с толстым носом; жена его была крашеная «дама» — в то время наиболее неприятная для меня категория. Детей у них не было — была любимая собака-боксер, на вид противная, но, как мне казалось, умнее своих хозяев. Элердовы часто приезжали к нам в Виндерен; тогда устраивался «пикник» на лужайке нашего сада. Гости и папа пили, быстро веселели и вели какие-то бессмысленные разговоры — вроде того, есть ли люди на Луне. Такой разговор велся с самым серьезным видом, хотя, кажется, всякому образованному человеку должно быть ясно, что на Луне жизни быть не может. Меня

раздражало это бессмысленное проведение времени и отравление себя алкоголем; я тогда был большим ригористом. С «пикника» в нашем саду, пожалуй, впервые началось мое критическое отношение к родителям — пока к папе; я внутренне казался себе человеком другого, лучшего мира будущего. Папа представлялся мне Ноем, и сочувствие мое было на стороне Хама и сына его Ханаана. Так и начиналась моя тетрадь стихов — называлась она «Энгельберт и Гертруда» — первая тетрадь из тех, которые я уже и потом долго не считал детскими:

И сказал Ной: да будет проклят Ханаан.
(Книга Бытия)

Из страны, что потоплена богом,
Этот смелый сюда нас вез.
Юным нам — непокорным и строгим —
Виноградник его — что навоз.
Наше счастье в стране тридевятой.
Долго будет туда идти.
Но зато мы расскажем ребятам
Все, что встретится нам по пути.
И поутру, прощаясь со станом,
Изольемся большим дождем,
Назовем детей Ханаанами,
Пустынной тропою пойдем.

Страна, «потопленная богом» — это, вероятно, было прошлое, а стихи, я думаю, были вдохновлены «Брагой» Тихонова. Тихонов мне тогда нравился, и еще, почему-то, на губах была «Улялаевщина» Сельвинского, и даже маленькие приятельницы мамы повторяли за мной, искажая по-детски:

Ехали казаки, ды ехали казаки,
Ехали казаки через Дон да Кубань.

Кругом нашего Виндеренского дома тянулись тихие дороги, уставленные хорошенькими «виллами» в садах за белым штакетником и металлическими сетчатыми заборами; неподалеку было красивое, мрачное и торжественное лютеранское кладбище, с тенистыми аллеями из ели и туи, напоминавших кипарисы; с просторными, полными цветов участками могил за черными низенькими решетками; с черными мраморными обелисками и плитами памятников; с таинственным, приземистым, увитым плющом, зданием крематория, из огромной четырехугольной серой трубы которого то и дело зловеще поднимался дым. А идя в сторону, быстро можно было уйти в лес. Вооружась подробнейшей туристской картой, где была нанесена каждая лесная тропинка, мы с Алешей отправлялись в исследовательские экспедиции, иной раз на весь день. Обычной нашей целью было отыскивание озер, лежавших скрытыми в чашах мохнатых, поросших елями гор. Это было не так просто, несмотря на карту: со времени ее издания выросли целые новые поселки, были проложены новые дороги, протоптаны новые тропки в лесу, а старые заросли мелким сосняком, кислицей и черникой. Мы открыли дорогу в новый рабочий пригород Осло, которым норвежцы очень гордились — «Город-сад Уллевол», где стояли одинаковые двухэтажные кирпичные домики, со всех сторон окруженные палисадниками и покрытые дешевыми вьющимися растениями. Этот «город-сад», о котором я много слышал, разочаровал меня — он совсем был не похож на те города-сады будущего,

которые должны были вырасти при коммунизме, как в стихах Веры Инбер:

... Пройдут года,
И в город-сад асфальтово-пчелиный
Сольются города.
Там будут розы на стеклянных крышах...

Но все же он был лучше унылых рабочих окраин Старого города, — с их облупленными доходными домами и полным отсутствием зелени, куда мы попали после самого дальнего нашего похода к большому озеру Маридал, снабжавшему водой город. Оно было действительно красиво: большая, серебряно-голубая гладь посреди темно-зеленых гор, — но окраины города подступали к нему уж очень близко, и я не мог не улыбнуться, вспомнив, как национальный любимец Норвегии, поэт Вергеланн, желая символизировать красоты своей страны, не нашел ничего лучшего, как «головокружительный портал Рингклейвы и прекрасный Маридал» — две достопримечательности, лежавшие под самым носом у Кристиании.

Впрочем, при Вергеланне Кристиания далеко не доходила до Маридала, а до Рингклейвы на лошадях было два-три дня езды. Но все-таки забавно было, что великий норвежский поэт был, в сущности, поэтом одних только окрестностей Осло. К тому же, по правде говоря, поэт он был прескверный. Литературные вкусы норвежцев вообще меня удивляли. Превосходные современные поэты — Вильденвей, Эверланн — не были «классиками»;[1] Ибсеном гордились, но почти не читали, о Гамсуне в гимназическом учебнике было сказано, что он «очень популярен в России», а лучшими считались мещанский (но зато очень «национальный») Бьернсон и посредственный Вергеланн.

В этих наших маленьких путешествиях, вероятно, отражалась романтика тех лет. Это были годы последних на земле путешествий (хотя мы почти не думали о том, что это — последние), — годы полярных перелетов Амундсена и отважных попыток пересечь океан по воздуху... Одни долетали, другие — гибли.

Полярные путешествия были особенно близки нашему дому: я уже говорил, что переводчиком книг Амундсена на русский язык был папа, и в его работе, так или иначе, участвовали мы все. А летом 1928 года приключения полярников прямо вошли в нашу жизнь.

Двумя годами раньше через полюс перелетел дирижабль Амундсена «Норвегия»; к этой экспедиции, с благословения Муссолини и при попустительстве норвежского аэроклуба, где сидели поклонники Муссолини, примазался конструктор дирижабля, фашистский полковник Нобиле. Он даже пытался выдать себя за руководителя экспедиции, и когда на полюсе Амундсен и его друг, финансировавший экспедицию американец Эллсуорт, сбросили маленькие — чтобы не увеличивать груз дирижабля — национальные флаги Норвегии и Соединенных Штатов, Нобиле выволок и с трудом выбросил громадное знамя фашисткой Италии, деревянный крест в рост человека — подарок римского папы, — и еще две-три вещи. Мало того,

[1] Очень хороший поэт Арне Гарборг писал на «ланемоле» (втором литературном языке Норвегии, построенном искусственно на основе горных диалектов), и из-за этого он не только совершенно не известен за рубежом, но и в Осло его с трудом и без охоты читают.

Нобиле вопреки договоренности издал собственную книгу о полете и выступал с лекциями, тем самым подрывая скудные возможности заработка Амундсена, которыми он надеялся покрыть свои расходы по путешествию. Но экспедиция на «Норвегии» осталась экспедицией Амундсена, а молодому фашисткому режиму нужна была собственная слава. И вот, в 1928 году в полет к полюсу отправился новый дирижабль «Италия», на борту которого был лишь один опытный полярник, — тоже из товарищей Амундсена, — швед Мальмгрен. Дирижабль был уже всего в двух часах пути от своей базы на Шпицбергене, когда прекратились его радиосигналы. Экспедиция исчезла, как когда-то в тех же местах исчез воздушный шар шведа Андрэ. Газеты выходили под громадными шапками; из Италии, Швеции, Норвегии, США на Шпицберген направлялись спасательные экспедиции на самолетах, рыбачьих ботах, а оттуда на санях. Французский летчик Гильбо, отправляясь в полет, обратился к Амундсену с просьбой возглавить его экипаж. Предложение это достигло Амундсена по телефону, когда он обедал на поплавке «Дроннинген», в заливе за портом Осло. И Амундсен, никогда не пускавшийся в путешествие, если не готовился к нему годами и не продумывал тщательно каждую деталь, сразу решился на полет. Но летающая лодка Гильбо, с Амундсеном на борту, вылетев из Тромсефьорда, не добралась до Шпицбергена.

Советское правительство немедленно выслало на спасение Нобиле три экспедиции, в том числе самый большой в мире ледокол — «Красин». «Красин» быстро сделался центром внимания всего мира. Во всех газетах появились портреты руководителя экспедиции — Рудольфа Лазаревича Самойловича, комиссара Ораса и капитана Эгге, а захолустная газета города Тромсе, не в силах раздобыть портрет Самойловича, обратилась в местный уголовный розыск с просьбой дать хоть какой-нибудь портрет мужчины с длинными усами — и Рудольф Лазаревич мог впоследствии увидеть свое имя под портретом незнакомца с роскошной шевелюрой, что ему очень льстило, так как он уже много лет сиял стопроцентной лысиной.

Вскоре в СССР, а потом и в других странах, были пойманы радиосигналы Бьяджи, радиста «Италии». Оказалось, что в результате начавшегося оледенения дирижабль ударился о лед; кабина управления оторвалась и осталась на льду с большей частью команды; один человек был убит, а сам дирижабль вместе с мотористами был унесен ветром. Судьба его неизвестна и поныне. Мальмгрен, легко раненый, и с ним два итальянца, отправились со льдины пешком к берегам Шпицбергена. Вскоре главный лагерь итальянцев был открыт советским летчиком, а затем итальянским, который вывез из него... начальника экспедиции, самого Нобиле!

«Красин», между тем, быстро продвигался и через льды и по первым полосам газет, и с его продвижением быстро менялось отношение к советским русским в Норвегии. Вскоре «Красиным» была найдена «группа Мальмгрена» — но сам Мальмгрен был оставлен в пути умирать своими итальянскими товарищами (а ходили слухи, что они его съели); были найдены только цветущий фашисткий офицер Цаппи и находящийся в тяжелом состоянии обморожения рядовой Мариано; Цаппи вел себя нахально, отказался поместиться в одной каюте с рядовым (к возмущению норвежцев и всех советских людей того времени). Затем были подобраны и обитатели главного

лагеря. Пострадавшие были доставлены на итальянскую базу на Шпицбергене, а «Красин», несколько помятый во льдах, вернулся в Норвегию и встал в сухой док в городе Ставангере.

Спасательные экспедиции продолжались — искали дирижабль и самолет Гильбо и Амундсена.

Между тем в Ставангере начался триумф советских моряков. Впервые за много лет они встали в ряды полярников мирового значения, а полярные путешествия были тогда в центре внимания всего мира. Никогда еще престиж Советского Союза не был так высок. Ставангерцы толпились в доке, забирались на ледокол, рано поутру заглядывали в каюты спящих участников экспедиции, шли за ними, когда они направлялись в уборную верфи. Комсомольцы города Ставангера трогательно поднесли красинцам альбом с русской надписью: «Скатертью дорога» (они хотели, конечно, сказать «Счастливого пути»).

Пока шел ремонт, в Осло приехал знакомый, черноусый, блестевший лысиной Самойлович, стройный моряк — Орас и стриженая комсомолка — журналистка Любовь Воронцова, зайцем прникшая на «Красин» в ленинградском порту. Я был случайно с папой в полпредстве, когда они прибыли, и Элердов устроил в их честь маленький ужин. За небольшим круглым столом, в одном из служебных помещений, сидели Коллонтай, Самойлович, Орас, Воронцова — люди, больше всех сделавшие для славы и укрепления положения нашей страны в Европе, — Элердов, папа и я. Было весело, все чувствовали себя непринужденно. Элердов пил вино из огромного рога и провозглашая грузинские тосты — за каждого из сидевших за столом. Был тост и за меня — «представителя советской молодежи», и я гордо чувствовал себя членом этой незнакомой семьи, собравшейся за столом; мне было лестно и приятно. Из сидевших тогда с нами только я один и — чудом — Александра Михайловна Коллонтай пережили 1938 год.

Вскоре «Красин» ушел снова на север, спас гибнувший огромный туристский пароход «Монте-Сервантес» в одном из фьордов Шпицбергена. Спасательные экспедиции работали до поздней осени, норвежцы все еще надеялись на спасение Амундсена — но известий все не было, и газеты постепенно стали уделять свои полосы другому.

Наверное, поход «Красина» облегчил мне поступление в норвежскую школу: для этого потребовалось гораздо меньше формальностей, чем в свое время для Мишиного поступления в университет.

II

Школа, и очень хорошая (а потому дорогая), была поблизости, чуть в горку от станции Виндерен, не доходя до следующей станции — Гэуста. К моему удивлению, это было то самое белое здание, которое я раньше считал сумасшедшим домом; но теперь оказалось, что сумасшедший дом Гэуста спрятан совсем в другой стороне, в лесу, а оживленные группы, виденные мной из трамвая во дворе этого белого большого здания, — вовсе не сумасшедшие, а школьники, и скоро я буду одним из них.

Выяснилось, что для поступления в эту школу (школу аристократическую:

Виндерен был богатый пригород) — нужны две рекомендации. Кроме того, дирекция желала удостовериться, соответствуют ли мои знания тому классу, куда я должен был бы попасть по возрасту. Одну рекомендацию мне написал инженер Стриндберг; за второй пришлось обратиться к мисс Бюринг.

Моя учительница, заметно состарившаяся за эти два года и ходившая, опираясь на палку (незадолго до нашего отъезда в 1926 году она упала и сломала бедро), очень обрадовалась нашему звонку, немедленно надела пальто и черную шляпу с вуалеткой, напоминавшую вороньe гнездо, приехала к нам в Виндерен, выпила с мамой кофе, а затем забрала меня к директору школы. Здесь она меня представила директору, предварительно представившись сама и упомянув о своих связях с царствующими домами Европы, и начала тут же говорить обо мне так, что директор попросил меня выйти и посидеть в приемной. Кажется, и переселение в меня души египтянина не было забыто. Минут через пятнадцать директор — высокий, седой худощавый человек с орлиным носом и строгими бровями, на вид страшный — вызвал меня и, улыбнувшись мне довольно сурово, сказал:

— Ну, твоя учительница дала тебе очень хорошую рекомендацию. Надеюсь, что ты и у нас покажешь себя с хорошей стороны по работе и поведению. Можешь идти. Приходи такого-то числа к девяти часам. — И подал мне руку.

Я смущенно шаркнул ножкой и поклонился по-норвежски, не сгибая спины, и вышел, горячо благодаря мисс Бюринг. Увы, кажется, после этого я ее навестил самое большее один раз.

Итак, ранней осенью я пошел в школу. Пока я узнал, в какой я должен идти класс и где он помещается, и пока дошел до него, звонок уже прозвенел, и все ребята сидели по местам, а на возвышении за кафедрой уже сидел классный наставник — лысый человек в пенсне. Он спросил у меня, что мне надо, и я, запинаясь, объяснил, что меня прислали учиться в этом классе. Он окинул класс взором и, увидев в середине среднего ряда свободную парту, велел мне туда сесть; в смущении я шел на место, проводя рукой по всем попутным партам — я не знал, что в парты вделывают чернильницы — и, когда дошел, обнаружил, что у меня вся ладонь густо-синяя (писать школьникам разрешалось только специальными чернилами).

Я сел ни жив ни мертв.

Классный наставник сообщил нам, какие мы должны приобрести учебники, и стал нас вызывать по очереди к кафедре, чтобы вручить табель и тетрадочку для записок родителей к учителям и учителей к родителям.

Я подошел чуть живой, протянув за табелем синюю руку. Но ничего, сошло. Я мог спокойно сесть на место и осмотреться.

В нашем III-Б классе «средней школы» ребят было человек двадцать пять; каждый сидел за отдельной партой. Два левые ряда, ближе к окнам, были заняты мальчиками, три правые — девочками, так что я (опять!) попал в компанию девочек. Часть парт была не занята. На меня ребята обращали очень мало внимания.

Прозвенел звонок. Ребята встали и быстро вышли в коридор, ловко построившись в пары вдоль вешалки у стены нашего класса. По всему коридору происходило построение. Последним из класса вышел учитель,

закрыл помещение на ключ и, подождав, пока стоявший впереди нас «класс III-А» двинется и спустится вниз по лестнице, повел нас вслед за ним. Мы вышли в большой, просторный школьный двор. Ребята группами рассыпались по двору, завели какие-то свои разговоры. Я одиноко слонялся сам по себе по серому гравию, обошел двор от одного подъезда до другого, — на крыльцах стояли два дежурных учителя, — осмотрел низкий забор, запертую на ключ калитку, подходил издали то к одной, то к другой группе ребят... опять прозвенел звонок, и толпа хлынула вверх по лестницам; перед классом привели себя в некоторый порядок, ожидая, когда учитель откроет дверь.

Так началась моя школьная жизнь. Надо теперь рассказать, что представляла собою норвежская школа.

Среднее образование в Норвегии делилось тогда на три ступени. С семи лет дети шли в «народную школу»: здесь было обучение бесплатное и обязательное, родители должны были давать подписку, что они не будут возражать, если их дитище придется пороть; впрочем, это была пустая угроза: она никогда не приводилась в исполнение. В «народной школе» проходили грамоту, арифметику, затем географию, историю, естествознание — вплоть до основ физики; все это было изложено в учебниках сжато и в то же время образно, и потому запоминалось.

В двенадцать лет детей можно было отдавать в «среднюю школу». Здесь обучение было платное и длилось четыре года. Проходили грамматику норвежского языка, читали отрывки из произведений норвежской (а также шведской и датской) литературы; по математике проходили алгебру, планиметрию и стереометрию, вычисление сложных процентов и основы счетоводства; учили (опять сначала) — всемирную и норвежскую историю, географию и естествознание, включая элементы физики, немецкий и английский язык.

Кто хотел дать детям дальнейшее образование, отдавал их после «средней школы» в коммерческое училище, в реальную или гуманитарную гимназию. Здесь обучение продолжалось три года, так что гимназисты «имматрикулировались» в студенты в возрасте девятнадцати лет.

Из класса в класс переводили по экзамену, а в середине года в некоторых классах устраивали «зачет» — «тентамен». По окончании гимназии устраивался «эксамен арциум», о котором я уже рассказывал.

Говорить о том, как проходили у нас уроки — неинтересно, наверное, как всюду. Лучше, чтобы дать представление о школе, рассказать об учениках и учителях.

Сначала об учениках.

В «среднюю школу» самая беднота не шла, а наша школа была, как уже сказано, дорогая, и располагалась в довольно богатом районе. К тому же она была частная, а потому принимали не всех. В нашем классе из рабочей семьи был один только мальчик, Ролф Нильсен, по прозвищу «Ротта» (Крыса), и две девочки: Лив Торгерсен — рябая, тихая, заядлая двоечница, объект всеобщих насмешек, — и славная, старательная с милыми ямочками на щеках Осе Лэуманн — моя соседка по ряду. Все они учились посредственно; Лив ушла из школы посреди года, а «Ротта» имел все шансы провалиться на экзамене.

Но на экзамене не должен был провалиться (и, как впоследствии выяснилось, и вправду не провалился, хотя учился гораздо хуже «Ротты») другой мальчик — Эллеф Рингнес, внук пивного короля и мецената, одного из самых богатых людей в Норвегии. Это был маленький, робкий, очень скромный и славный мальчик с большими заячьими зубами, с несломавшимся еще голосом, — очень глупый, бедняжка. Но, впрочем, это не должно было помешать ему в жизни.

Все ребята (я был один из младших) были в переходном возрасте, поэтому класс являл пеструю картину — от рослого и уже брившегося Инголфа до крошечного Эллефа, от полногрудой Унни Бюлль, до маленькой Осе Фьеллангер. Большинство мальчиков ходило причесанными на косой пробор, во взрослого образца английских костюмчиках, с галстуками, Инголф даже в длинных брюках, остальные, правда, в брюках «гольф» или в коротких штанах.

Светловолосый красавец Эдвард Бедткер приходил в класс в коричневом костюме, широченных брюках «гольф», кожаных крагах и со стэком. Это был первый аристократ в классе. Учился он хорошо, — хотя частично и за счет эксплуатации других, — но разговаривал со всеми свысока, небрежно упоминал о высокопоставленных лицах, бывавших в доме его отца, о своих подвигах в конном манеже и на лыжном трамплине. За ним тянулись некоторые ребята, например Шак Рэдер, гордившийся своим необыкновенным французским именем (Jacques) и напускавший на себя томность, а в общем — славный парень, и противный Улаф Раабе, мечтавший стать врачом-гинекологом. У Бедткера было что-то вроде романа с самой хорошенькой девочкой в классе — Биби Дал, родители которой были не только богатыми, но и старомодными, и поэтому она одна из всего класса носила не стрижку «шингль» или «кеттинг», а длинные золотые косы. Впрочем, нет, еще передо мной за партой сидела большая, взрослая на вид девушка с толстой рыжей косой, за которую я нет-нет да и потяну тихонько — едва ли не единственная шалость, которую я позволял себе в этом классе. Причиной моего благонравия было то, что по мне судили о моей стране.

В классе было много славных ребят; особенно нравились мне добродушный, немногословный силач и один из лучших учеников — коротко стриженый головастый Одд Эйен, и мой сосед — маленький, умный, веснушчатый Улав Эвергор.

Достопримечательностью класса был Том Ветлесен, толстый чудаковатый парень, страшно поглощенный и довольный собой. Он хромал — у него был костный туберкулез. Том был уверен, что все, что он ни сделает, — отлично. Он и говорил, и урок отвечал всегда с апломбом. Раз Том с гордостью явился в класс со значком фашисткой «Лиги отечества», за что мальчишки, вообще относившиеся к нему хорошо, хоть немного снисходительно (чего он не замечал) — подвергали его насмешкам.

Мальчишки вели себя довольно чинно; более озорными были три девчонки: Вера Рюннинг, Венькс Энгельста и Осе Фьеллангер.

Все они были очень разные. Отчаянная, собою недурная, золотистая, загорелая Вера была лучшей ученицей класса, и ей все сходило с рук. Отец ее был капитан дальнего плаванья; сама она родилась на корабле у берегов

Флориды, и первой ее няней была негритянка. Мы узнали это из ее сочинения: раз мы писали на тему «Мои первые воспоминания», и сочинение Веры было прочитано перед классом. Ее верная подруга — Веньке — была длинный, неуклюжий, ленивый переросток. Была она из довольно бедной семьи. Третья — маленькая, курчавая, курносая и смешливая Осе Фьеллангер — моя соседка справа, была дочерью крупного промышленника или чиновника министерства торговли; любимым ее занятием было отвлекать соседей от урока; сама она хорошо училась.

Где-то на «камчатке» сидела длинная Осе Хейердал, дочь известного географа; ее двоюродным братом был Тур, будущий герой «Кон-Тики». Но я почти ни с кем не был знаком вне нашего класса.

Любопытны были и учителя.

Классным наставником был богослов доктор Мессель. Он был известен своими научными работами по библеистике и древнееврейскому языку, а у нас он преподавал норвежский язык и закон божий. Вид у него был серьезный, чему помогали лысина и пенсне; делал он все добросовестно и как полагалось по программе. Видимо, в каком-то методическом пособии рекомендовалось на уроке устраивать пение романсов на слова патриотических стихотворений классиков скандинавской литературы; и вот доктор Мессель с серьезнейшим видом разучивал с классом песню поэта Вельхавена.

Доктор Мессель отличался удивительной наивной несообразительностью. Когда в один прекрасный день выяснилось, что назавтра будет урок закона божьего, папа написал в моей «книжечке для сообщений» записку к классному наставнику: «Прошу освободить моего сына Игоря как не принадлежащего к лютеранскому вероисповеданию, от преподавания религии». Доктор Мессель долго смотрел в книжечку, затем, сообразив, сказал мне: «Ну да, ты, конечно, будешь ездить по воскресеньям в Стокгольм или Копенгаген к православному священнику?»

Ошалев от такого предположения, я ответил, не без иронии, которая, однако, не была им воспринята: «Нет, я получаю соответствующее воспитание дома».

На этом дело и кончилось, и я с тех пор проводил отличный час дома или во дворе школы с нашими двумя евреями (впрочем, тогда едва ли не единственными во всех школах Осло) — Хансом Селикманом из нашего класса и Давидом Рюбинстейном.[1]

Одд Эйен, мальчик спокойный и справедливый, и мой друг Улав Эвергор находили, что Мессель отметки ставит нечестно. Так, они считали, что по норвежскому я учусь не лучше всех в классе, но, во всяком случае, хуже одной только Веры, и что Мессель снижает мне отметки для того, чтобы не ставить в неудобное положение привычных чемпионов класса — норвежцев, и не по заслугам завышает отметки Эдварду Бедткеру; это, конечно, касалось норвежского письменного; в устном я все же делал ошибки, особенно в мелодическом ударении и в родах.

Отметок по письменным заданиям было шесть, не считая плюсов и минусов: «S» — «чрезвычайно», «M» — «очень», «T» — «удовлетворительно», «N» —

1 Рюбинстейн был впоследствии расстрелян немцами в последний день войны.

«более или менее», «Maatelig» — «умеренно», и «Ikke» — «не», т.е. «неудовлетворительно». «Умеренно» означало, по-нашему, двойку, а «не» — «кол». Кроме Лив Торгерсен и «Ротты», отметки «не» удостаивались, очень редко, только Веньке и еще наш второгодник Каспар; Эллеф — не по заслугам — не спускался ниже «умеренно», но зато и не поднимался выше, чем «более или менее». Однажды по немецкому он получил «Т». Восторгу его не было границ. Секрет же был в том, что старенькая «немка» была больна и ее заменял другой учитель, который, сам того не зная, задал уже пройденный урок.

По устным же ответам отметок было только четыре: «М», «Т», «N» и «Ikke». Так было у всех учителей, но не так было у учительницы английского языка, мисс Шетт-Ларсен. У нее были только две отметки для устных ответов и вообще свои порядки. Это была гроза школы.

Была она — несмотря на свое прозвище «Воз мяса» (Хьетлассе), которым она была обязана исключительно фонетическому созвучию с ее фамилией, — высокой, костлявой, мускулистой, порывистой в движениях, с громовым голосом.

Она входила в класс — все замирали стоя.

— Good morning, children!

— Good morning, Miss Skjött-Larsen! — Называть себя «барышней», как других учительниц, она не позволяла (я уже говорил, что ученики обращались к учительнице «барышня», а к учителю — «учитель», без слова «господин» и без фамилии).

Несколько секунд в классе все стояли молча и навытяжку.

— Sit down, please!

Мы садились. Но если кто-то хотел отдохнуть от стойки смирно — не тут то было! В положении «смирно» требовалось сидеть и за партой. В классе было слышно, как муха пролетит.

Однажды мисс Шетт-Ларсен, войдя в класс и поздоровавшись, объявила, что очень болен английский король, и она предлагает всем спеть английский королевский гимн (думаю теперь, что дело было не в болезни короля; пение песен по-английски входило в курс, и гимн ребята знали с прошлого года; мисс Шетт-Ларсен нужно было повторение заученной песни).

Не садясь, весь класс хором спел «God save the king». Я, чувствуя себя советским человеком и красным, молчал, но, кажется, для вида время от времени открывал рот.

Когда все усядутся по стойке (или по посадке) «смирно», мисс Шетт-Ларсен начинала вызывать к доске и спрашивать слова из прошлого урока. Дело шло стремительно. Каждый быстро выходил к доске и писал только одно слово. Напишет правильно — «очень», сделает ошибку — «не». Так как она успевала опросить на каждом уроке не менее половины класса, то в недельном табеле эта отметка сказывалась для каждого, и это потом имело большое значение для годовой отметки. Метод давал оглушительные последствия: за время моего пребывания в классе ошибка на доске была сделана только один раз, и притом вовсе не слабым учеником, а кем-то из лучших, — так или иначе случайно.

Каждый раз в уроке было что-то новое; сегодня мы садились по двое на парту и должны были поправлять друг друга; завтра мы читали рассказ на

два голоса; в другой раз мы стоя учили великолепную негритянскую песню «Our Old Kentucky Home», и всегда урок шел стремительно, как молния, никто не мог ни охнуть, ни вздохнуть. Учились мы по знаменитому учебнику Рипмана, и, кажется, по нему нельзя был не научиться. У мисс Шетт-Ларсен, по крайней мере, было нельзя. Уже сейчас, на втором году обучения, не только Вера и я, знавшие английский с раннего детства, но и другие довольно свободно излагали содержание урока и писали сочинения по-английски, имели правильный выговор, и было ясно, что при случае они свободно смогут объясниться; действительно, оканчивая «Повышенную всеобщую Риисскую школу» (так именовалось наше учебное заведение), все ученики могли объясняться, а многие — говорить по-английски. Впрочем, причиной тут была не одна мисс Шетт-Ларсен, но и сознание необходимости выучиться: поступить на работу в контору или в магазин без свободного знания английского языка было трудно.

За свои труды «Воз мяса» был дружно ненавидим всей школой.

Совсем иное дело была немка. Это была добрая старушка, и немецкого у нее никто не знал, и видно было, что и не будет знать. Да он был в жизни и не очень нужен. Я перебивался у нее с «более или менее» на «удовлетворительно», да ведь и занимался-то я перед этим немецким всего полгода у Сильвии Николаевны.

Учительницы математики, естествознания, географии, истории — были хорошие, знающие свое ремесло педагоги, но ничем особенным они не были замечательны. На географии запомнился рассказ учительницы, как она во время отпуска ездила на туристском пароходе в Алжир. На уроке истории, помню, я раз поднял руку и робко сказал «фрекен», что надо говорить не «стре́литс», а «стрелец», и что вообще русская история в учебнике изложена неточно. Учительница поручила мне на следующем уроке сделать доклад, и я, стоя у доски, довольно складно вкратце рассказал русскую историю от Рюрика до Петра. Это было мое первое, так сказать, публичное выступление. На переменке Бедткер смеялся и надо мной и над историей России, заявив, что в России только и делали, что секли кнутом крепостных и что сам я небось тоже крепостной и меня тоже секли кнутом, — и я уже готов был кинуться на него с кулаками, не глядя и на его стэк, если бы Одд Эйен не сказал мне спокойно:

— Плюнь ты на него. Очень интересно ты рассказывал, а он — идиот!

Интересно стало на уроках истории, когда учительница заболела и ее заменял молодой учитель, раньше в этой школе не работавший. Мы закончили про Нантский эдикт и проходили французскую революцию. Он говорил горячо и интересно, а потом поставил граммофон с пластинкой «Марсельезы» в исполнении замечательного французского певца. Должен сказать, что в этот урок я лучше понял историю французской революции, чем из всех лекций и книг, вколоченных в меня впоследствии. Когда, много лет спустя, я читал «Книгу Ле Гран» Гейне, я легко понял, как тамбур-мажор обучал моего тезку Гарри революции.

«Кстати о революции» — Том начал задавать учителю вопросы:

— Учитель, а как в России, когда была революция, правда ли, что там... — и дальше шла какая-то пропагандисткая белиберда из правых газет.

Учитель резко оборвал его, сказав:

— Здесь урок, не будем говорить о политике.

Я был разочарован и обижен; я надеялся, что он хоть чуточку даст классу понять правду или попросит меня рассказать что-нибудь.

А из норвежских газет правды о Советской России было не узнать; правые печатали контрреволюционные, а коммунистические — революционные небылицы. Когда в 1927 году исключали из партии Троцкого и Зиновьева, газета «Афтенпостен», отводившая, бывало, целые полосы «большевистским ужасам», теперь поместила портреты и сочувственные статьи, — мол, были порядочные и умные люди среди большевиков, и вот... А коммунистическая «Арбейдерен» обильно смазывала свои статьи патокой.

С языками, с историей, с географией, с естествознанием — даже с математикой — я так или иначе справлялся. Но я очень боялся предметов, с которыми я раньше никогда не имел дела — пения, ручного труда, чистописания, гимнастики. На мое счастье урок пения состоялся только один, с родом проверки музыкальных способностей. Я робко сказал учителю, что слуха у меня нет, но он проверил меня и сердито заявил:

— Кто это тебе сказал, что у тебя нет слуха!?

Потом мальчики были освобождены от пения, так как у них ломался голос.

На уроках ручного труда мальчики занимались отдельно от девочек — у девочек была гимнастика, а мы столярничали в мастерской. Я, конечно, никогда в жизни не держал в руках пилы и рубанка; учитель, симпатичный на вид мастеровой, показал мне, как работать, но рук для работы у меня не было. Мне было поручено соорудить какой-то пюпитр, и более печальное хромое чудовище, чем то, что я соорудил, трудно было себе представить. Когда я показал его учителю, он тяжело вздохнул и по доброте сердечной поставил мне «более или менее».

Вообще он ко мне относился хорошо, — может быть за то, что я был русский. Как-то раз, увлекшись работой, грызя стружки, я весело строгал, напевая по нос какой-то американский фокстрот. Вдруг со своего места меня подозвал учитель. Работавший рядом Одд Эйен сказал мне:

— Эх, сейчас тебе попадет, — я тебя не предупредил, что петь нельзя!

Замечаний в этой школе мне определенно было не нужно, и я довольно невесело подошел к учителю. Но он спросил меня только:

— Это что, русская народная песня?

— Нет, учитель, — робко сказал я.

— Ну, иди на место!

Я теоретически подозревал, что есть люди, особенно хорошо, а не, как чаще бывало, плохо относящиеся к русским, и увидел впервые такого человека в нашем учителе труда.

Не знаю зачем, Бьёрн Стриндберг подарил маме через Герд доску для резанья хлеба — плод своего «ручного труда», созданный им еще во втором классе «средней школы» (он теперь учился в четвертом); доска была очень красивая, и мне казалось, что он подарил ее, чтобы уколоть меня, у которого такая работа не спорилась.

Не имел я успеха и в чистописании — предмете, мне дотоле почти вовсе неизвестном; в Норвегии же ему придавалось большое значение, и все

норвежцы сохраняли до старости что-то общее в почерке, восходящее к школьным прописям. В норвежской школе урок чистописания был во всех классах, по крайней мере до конца «средней школы». Вообще аккуратному письму и черчению придавалось огромное значение. На геометрии мы чертили карандашом в специальных тетрадках с особой бумагой, и помарки и мазня не допускались. В тетрадях сочинений и диктовок также запрещалась малейшая поправка — для мазни существовали специальные черновые тетради, но и они должны были содержаться в чистоте. О том, чтобы рисовать на них чертиков, нельзя было и подумать. Словом, чистописание была важная наука.

Но учитель чистописания был несчастный, взлохмаченный, видимо пивший человек, добрый и не внушавший никакого «респекту». На его уроках ребята преображались и были уже совершенно не похожи на тот чинный класс норвежской школы, каким были всегда. Вместо того, чтобы переписывать прописи, ребята ходили по помещению, ездили на партах, громко разговаривали, подходили то и дело к учителю — главная задача которого именно и была, чтобы дети сидели тихо, пока он читает им вслух классиков норвежской литературы.

Чистописание мне не давалось, но учитель ставил мне не только «более или менее», но часто и «удовлетворительно» — вероятно за то, что я его не мучил. Зато я был первым в классе рисования. Я решил не тратить времени на стандартные кубы, шары и так далее, а выбрал тему оригинальную: рисовал деревянную игрушку сквозь стеклянную бутылку. Рисунок занял у меня весь год и заслуживал мне регулярные «очень» от учителя.

Наконец, была гимнастика. Гимнастику преподавал отставной кавалерийский капитан Дедикен, по прозвищу «редиска» — толстый, лысый, красномордый и злой. Занимались мы в огромном великолепном зале с канатами, шестами, матами, козлами, кобылами, шведской стенкой и всем, что полагается. При этом занимались отдельно от девочек, вместе с параллельным классом. У девочек в это время был урок труда. Но часто вместо шитья у них был пустой урок, и тогда они собирались на хорах (или роде балкона) гимнастического зала, и оттуда Веньке и Осе Фьеллангер делали свои ядовитые замечания. Конечно, не громко, но по их мордочкам можно было понять приблизительно характер их реплик.

Я в жизни не занимался гимнастикой, а у ребят она была уже седьмой год; все они, кроме разве Эллефа, были отличные спортсмены, один другого лучше, так что гандикап был тяжелый. В первый же раз, когда мне было предложено лезть по канату, обнаружилась моя несостоятельность. У Дедикена главным педагогическим орудием была бамбуковая трость, которой он не то чтобы дрался, а тыкал неудачника в зад или в живот. Я пытался объяснить ему, что я никогда не учился в школе и не занимался гимнастикой, но он принял это как личное оскорбление себе, — зачем в его группу сунули какого-то медведя и невежду! С этих пор он со мной вообще не разговаривал. Он делал вид будто считает, что я не говорю по-норвежски (хотя он мог бы догадаться, что будь так, я не мог бы учиться в школе), и он общался со мной только через третьих лиц. При этом не проявлял ни малейшего желания

выучить мою фамилию, а называл меня «Дворский», что на местном диалекте звучало, как «Двошки».

— Скажи этому Двошки, что перед козлом надо отталкиваться обеими ногами...

Или просто тыкал меня тростью.

Если Дедикен был недоволен успехами класса, он заставлял нас ложиться ничком, а затем, по команде, мы должны были подниматься на вытянутых руках и опять ложиться. Темп все убыстрялся, и когда мы были уже все в мыле, он выгонял нас на двор. Уроки гимнастики происходили только зимой; обычных у нас в СССР лыжных вылазок не было: все ребята так или иначе бегали на лыжах, а некоторые, например Эдвард и Одд, не без успеха участвовали в соревнованиях по прыжкам с трамплина, прыгая на двадцать-двадцать пять метров; зимой все ребята, кроме живших совсем близко, как я и Улав Эвергор, прибегали в школу на лыжах; во дворе школы стояла специальная деревянная стойка для лыж, и на переменках знатоки ходили осматривать и осуждать лыжи товарищей. Каких там только не было лыж! С одним, тремя и пятью желобками, с разнообразными креплениями, смазанными самыми причудливыми мазями! Даже в Лыжном музее на Холменколлене едва ли было большее разнообразие. Все ребята ходили зимой в грубых лыжных ботинках с поддетыми и завернутыми за край ботинка толстенными светлыми шерстяными носками и, конечно, в теплом белье под костюмчиком, но без пальто. Переменки проходили во дворе, если мороз был не ниже 10 градусов Цельсия, но мы никогда не мерзли.

Летом гимнастики не было — ее заменяли партии в футбол или регби за школьной оградой. Обыкновенно за одной партией наблюдал сам Дедикен, а вторая разыгрывалась на другой поляне, за углом школьной ограды, без надзора. Энтузиазма в этом случае мы не проявляли, а только делали вид, что играем. Тем временем разыгрывались договоренные заранее драки-поединки.

Однажды, незадолго до перехода на летнее положение, вместо урока гимнастики Дедикен производил нам какой-то антропометрический осмотр. Он велел нам раздеться догола и затем мерил наш рост. Потом каждый был должен подойти к его столу и назвать свое «полное имя», а Дедикен записывал что-то подробно в журнал.

— Каспар Альфред Обэр! Пишется а, у, б, э, р, т.

Запись произведена.

— Эдвард Фридтьоф Бедткер!

Запись произведена.

— Скажите этому Двошки, чтобы он подошел...

Я подхожу:

— Игорь Михайлович Дьяконов.

— Как, как?

— Игорь Михайлович Дьяконов: и, г, у, р; м, и, к, х, а, и, л, у, в, и, т, с, йот; д, и, а, к, у, н, у, ф, ф.

От злости «Редиска» посинел, но я хотя мог бы безболезненно опустить «Михайловича», не пощадил его, а заставил записать полностью, ощущая приятное чувство мести своему мучителю.

Потом ребята спрашивали меня:

— Игур, как ты это ему сказал? Как твое полное имя?

Но я, не испытывая к своим товарищам злобного чувства, не заставлял их повторять свое отчество.

В школе я был «Игур» или «Игор». Я колебался, не назваться ли «Ингвар» — это было бы понятнее норвежцам, а по происхождению одно и то же, — но мне показалось, что называться Ингваром будет снобизмом. Вообще я давно привык носить разнообразные имена. У Фурсенков я был «Игóрчик», у Сильвии Николаевны — «Гарри», где-то даже «Гога», что меня не очень радовало. Но только «Гарика» я терпеть не мог, и это имя жило только там, где оно привилось естественно, — в семье или среди Стриндбергов.

Были ли в этой чинной школе шалости, списыванье, шпаргалки? Было и то, и другое, и третье.

Шалости, правда, бывали редко. Однажды, в гневе на Дедикена, класс решил прогулять его урок. На большой перемене нас отпускали со школьного двора домой. Мы ушли и вернулись только через полтора часа. Болтались по дорогам Виндерена всем классом. За это нас заставили отсидеть час после уроков. Другой раз в класс был принесен чихательный порошок, и все уроки были более или менее сорваны. Правда, смешно было только когда чихал доктор Мессель — других учителей было жалко. За это нас заставили «парадировать». Это наказание было рангом выше, чем сидение после уроков. Я не раз слышал это страшное слово, ожидая в нем самых больших неприятностей, и не смел спросить товарищей, что это такое: «парадировать» не раз заставляли то Ротту, то Веньке, а то и других — за несделанное домашнее задание или, особенно, за опоздание в школу. Теперь же «парадировать» пришлось всему классу. Но оказалось, все дело в том, что надо было явиться утром не в 9, а в 8 часов утра и зарегистрироваться у швейцара. Потом можно было час сидеть в роскошной изразцовой уборной или болтать с другими «парадирующими». Впрочем, «парадировать» одному должно было быть довольно неприятно: этого нельзя было скрыть дома, и это приводило к нарушению домашнего распорядка, а посему — к особым неприятностям от пап и мам.

Нередки были драки. Они носили характер поединков и имели определенный обряд. Едва один мальчишка заедет другому в ухо, а тот даст ему сдачи, как вокруг драчунов во дворе образовывался круг зрителей, начинавший методически издавать особый звук, вроде жужжанья или гуденья, — род обязательной «подначки». Заслышав этот звук, оба дежурных учителя, стоявшие всю перемену на ступенях подъездов школы, кидались, как коршуны, расталкивали толпу и волокли драчунов к директору. Этого наказания боялись больше, чем «парадирования»; нередко виновный появлялся, сконфуженный, лишь через урок. Что происходило у директора, узнать мне пока не случилось.

Если драка имела, так сказать, принципиальные, важные причины, то поединок затем продолжался при секундантах, до крови из носу. Происходило это либо на нейтральной территории, после уроков, либо иногда во время регби — игры, которая и сама-то по себе носила характер общей потасовки, а успехом не пользовалась. В регби вообще в Норвегии играли только

профессионалы, которых за настоящих спортсменов не считали (те состязались не за плату). Футболом же у нас увлекались, как все мальчишки во всем мире. Я был не драчлив. И кроме того, — хотя никто мне этого не говорил, — я хорошо знал, что каждый мой промах в школе будет поставлен в вину не мне, а Советскому Союзу и советскому воспитанию; помимо моего природного законопослушания и склонности к тишине, меня и это особенно побуждало вести себя примерно. Но иной раз от драки не отвертеться.

Однажды на перемене ко мне подошел мальчик на класс младше меня. Я его хорошо знал по виду — он был темноволос, как и я, плохо одет — в какой-то рваный синий свитер, — и очень вспыльчив. Отец его был рабочий, кажется, каменщик. Он подошел ко мне, сверкая глазами, и произнес со злобой:

— У-у, большевик!

Нас разняли Одд и мой друг Улав Эвергор. До жужжания дело не дошло.

Почему изо всей школы именно его ожесточило мое большевистское происхождение? Чтобы ответить на это, мне нехватало моей политграмоты.

Вообще же я твердо придерживался маминого правила: отшучиваться, и на задирания отвечал добродушно. Так, следуя отцовскому примеру, я часто ходил в узбекской тюбетейке и приходил в ней и в школу. Она вызывала насмешливое удивление и называлась «киргизской юртой». Я только посмеивался. Но надо сказать, что мне мало приходилось страдать от насмешек товарищей. Я был своего рода школьной достопримечательностью. Моя слава затмила славу школьных чемпионов и скандалистов; первое время вокруг меня собирались толпы: просто поглядеть на такое чудо — русского; мной гордились — особенно наш класс — и в случае нужды защищали меня.

Но раз я сам полез в драку. Виной тому был Эдвард Бедткер. Незадолго перед этим Эдвард поленился сделать домашнее задание — нарисовать цветную карту Франции. В рисовании карт я был силен, и он попросил, — очень вежливо, — сделать эту карту меня, хотя до тех пор вряд ли сказал мне за все время пять-шесть слов. Я удивился, зная его за прекрасного ученика, но отказаться счел нетоварищеским и нетактичным, учитывая мое особое положение в школе. Возился я с обеими картами — своей и его — до поздней ночи; надо было еще сделать так, чтобы они были непохожи, и чтобы надписи были на его карте сделаны не моим, а измененным почерком. Бедткер получил свою карту, а затем и положенное ему «очень»; но через день он, сбегая с классом по лестнице во двор на перемену и, может быть, взвинченный страшным нагоняем от чопорной немки параллельного класса (за «ругательство»: он споткнулся и сказал «черт»!), — опять начал изводить меня какими-то насмешками, к тому же политического характера. Я вспылил.

Задыхаясь и заикаясь от бешенства, я подошел к нему вплотную и сказал:

— Когда тебе работать лень и нужно, чтобы раб-ботали за тебя другие, чтобы работал за тебя я, чтобы делал за тебя я твою поганую карту, которую тебе делать лень, тогда я «Игорь, пожалуйста», а когда... а когда... ты смеешь, бездельник, мне говорить...

С Эдвардом, королем класса, так никто не разговаривал. Я понимал, что это кончится дракой, и понимал, что сильный и ловкий Бедткер сотрет меня в порошок, но мое бешенство было сильнее рассудка. Я видел перед собой

своего противника, кругом все померкло, и, как из чужого мира, откуда-то издалека, еле слышалось начавшееся жужжанье... Вдруг сильная рука дежурного схватила меня за локоть. Я покорно пошел к директору, уже думая о том, что из этого выйдет, какие пойдут разговоры о советском воспитании, думая о том, не ждет ли меня у директора унижение во сто раз хуже, чем от Бедткера, и — с досадой — о том, что Бедткер, сволочь, успел удрать и не попадет на директорскую расправу.

К моему удивлению, такой свирепый на вид директор усадил меня перед собой в кресло и стал спрашивать, не трудно ли мне учиться, не болен ли я, почему я такой бледный. И через десять минут отпустил меня домой.

Я с неприятным чувством думал о том, что с Бедткером придется «додраться», что он меня вздует и что из всего этого все равно выйдет один позор. Но додраться с ним мне не пришлось: недаром я был бледен у директора; у меня начинался жестокий грипп, который прошел по Норвегии, свалив с ног более половины населения. Когда я вернулся в класс, в нем было всего семь человек. Я невольно подумал, что так, вероятно, выглядела чума, «черная смерть», поразившая в Средние века Европу, когда в Норвегии вымерли целые долины. И мысль о том, что я не был бы в числе выживших, повеяла на меня холодом. Судьба делает по-своему, а в жизни еще столько нужно сделать. Как отвратить судьбу, если она постучится в дверь не в виде невинного гриппа, а всерьез?

А что нужно мне делать в жизни — я уже твердо знал. На вопрос Месселя, кем я хочу быть, когда кончу школу, я сказал: «историком древнего Востока», в который уже раз удивив товарищей и педагогов.

Астрономией я увлекался по-прежнему, но школа меня научила, что математика мне будет не по силам.

В целом же я был доволен своим пребыванием в школе. Я не только не отставал от товарищей, но — если не считать гимнастики, столярки и немецкого, и отчасти математики, — учился не хуже первых — Веры и Эдварда.

Я не срамил Советского Союза.

Мысль об ответственности за свою страну, — эта политическая струя моей жизни, — не забывалась ни на минуту. Все напоминало мне о том, что я представитель страны социализма.

Домой мы часто шли вдвоем с Улавом Эвергором и говорили на политические темы. Я рассказывал Улаву о революции, чувствовал, что это ему интересно, но непонятно, и говорил ему, что вот мы с ним дружим, а если случится война, то это будет война с Советским Союзом, и он очутится «по другую сторону баррикады». Я прекрасно понимал, что в Норвегии нет, и наверное, в течение всей моей жизни еще не будет никаких предпосылок для пролетарской революции, которая, конечно, виделась мне не иначе как в русской форме, с гражданской войной, красными флагами, расстрелами. И, как исход всего — НССР, часть Всемирного Советского Союза. В Норвегии же, с ее общим чувством личной независимости, общим относительным благосостоянием и отсутствием настоящей, грозной нищеты, с давно отмененной смертной казнью, с фанатической любовью к выстраданному национальному флагу — как все это могло бы быть? В газете «Афтенпостен» были напечатаны антисоветские стишки, кончавшиеся словами:

«Никогда мы не спустим норвежского флага, чтобы поднять красную тряпку...»

Это мне было неприятно, но я должен был признать крайнюю маловероятность мероприятий по подъему красного флага в Норвегии.

И что Улав, действительно, будет, как я ему сказал, «по другую сторону баррикады», — тому я очень скоро получил наглядное доказательство.

После моей болезни мне нужно было узнать заданные уроки. Адресов большинства ребят я точно не знал, к нашему близкому соседу — Эллефу идти не хотел, и потому пошел к Улаву Эвергору, хотя его дом был не ближе всех. Улав вышел ко мне в переднюю очень смущенный, в комнаты не пригласил, поскорее сказал мне, что задано, и выпроводил. Я понял, что большевистский мальчик в этом доме — нежеланный гость и что мой друг Улав уже и сейчас «по другую сторону баррикады».

Что таково ко мне отношение, я чувствовал и раньше, и потому я отнесся с недоверием к искренности Эллефа Рингнеса, когда он однажды пригласил меня зайти к нему. Это было еще до моего визита к Улаву — иначе я бы вовсе не пошел. Эллеф жил в небольшой — но побольше нашей — белой «вилле», в густом саду, недалеко от станции. На двери была медная дощечка: «Ellef Ringnes Jr.»

Я удивился, но сообразил, что это его отец был «Эллеф Рингнес Юниор», а мой товарищ был просто Эллеф Рингнес, как и его дед-миллионер.

У Эллефа оказалась славная, простая мама, славная, простая квартира, славный, очень похожий, как и Эллеф, на зайца, но, кажется, более способный брат Трюльс. Приняли меня ласково, звали вместе играть. Но я сидел как на иголках и скоро попрощался, напутствуемый приглашениями Эллефовой мамы «заходить почаще».

Это тоже был политический урок. Я и раньше теоретически знал, что капиталисты вовсе не напоминают тех толстяков в цилиндрах, которых носили на палках во время наших демонстраций. Здесь же я наглядно увидел, что классовый враг может быть лично славным и симпатичным. Что Эллеф был классовый враг — это не подлежало сомнению. Но зато было сомнительно, чтобы Осе Лэуманн, и «Ротта» Нильсен, и мальчик в синем свитере, подросши, стали бы громить «виллу» Рингнесов и ставить Эллефа к стенке. Пути мировой революции будут сложными и неожиданными и часто, может быть, более милостивыми, чем наш русский путь, — это становилось ясно. И в Ахагии придумывались утопические пути перехода к коммунизму.

Иногда политические противоречия принимали несколько комическую форму. Как-то — кажется, в тот раз, когда мы смылись с урока Дедикена, — мы шли целой компанией — Ханс Селикман, Улав Эвергор, Улаф Раабе, Шак Рэдер, Том Ветлесен и я. Ребята говорили о политике, а я молчал, как всегда в таких случаях: не агитировать же мне полкласса за советскую власть! Это была часть моей программы не компрометировать Советский Союз. Более или менее откровенно на политические темы я говорил только с Улавом, да и то до визита в его дом.

Темой разговора был король. Большинство ребят было за республику, а о короле говорили, как о бесполезном украшении. Говорили долго, забавно и убедительно. Нервно молчавший Том вдруг сказал:

— И все же — Боже храни короля!

Все изумились.

— А на что же он нужен, король-то?

— Ну, как... например, выставки открывать...

Общий хохот. Ребята начали подтрунивать над Томом и заодно над его любимцем — Муссолини.

— Муссолини — замечательный человек! — заявил Том. — Он осушил болота и сделал так, чтобы все ходили по левой стороне улицы...

— А зачем это надо, чтобы все ходили по левой стороне улицы? — удивились ребята.

— Ну, все-таки, порядок...

Бог знает, какие отзвуки взрослых разговоров бродили в его толстой голове.

О Муссолини мой читатель знает, конечно, больше, чем Том Ветлесен; но о норвежском короле Хоконе VII, — хотя я о нем уже рассказывал раньше, — стоит рассказать побольше. История его любопытна. Когда в 1905 году Норвегия отделилась от Швеции, державы намекнули ей, что новое государство не будет признано, если оно не будет монархией. Временное правительство стало искать особу королевского происхождения, годную на престол, но притом такую, чтобы с ней вместе не проникло в страну влияние какой-нибудь могущественной державы. Немецких принцев было много, но норвежцы боялись Вильгельма. Сначала они решили просить на престол шведского принца, но шведский король, обиженный «вероломством» Норвегии, запретил членам своего дома принимать норвежский трон (такие вещи еще бывали всего пятьдесят лет назад); тогда выбор временного правительства Миккельсена остановился на одном из младших датских принцев — Карле. Карл служил лейтенантом флота, имел много братьев и никаких шансов на датский престол и, что было существенно с точки зрения поддержки Англии, был женат на английской принцессе Мод.

Однако лейтенант был неглуп и, главное, хорошо понимал тенденции своего века. Он объяснил норвежским посланцам, что сейчас, по политическим соображениям, им нужна конституционная монархия, а через несколько лет, по другим политическим соображениям, норвежцам понадобится республика, и что он предпочитает прочное положение лейтенанта датского флота сомнительной карьере «экс-короля». Поэтому он займет норвежский престол только под условием, что он будет избран всеобщим плебисцитом. Ссылки Миккельсена на то, что норвежская конституция не предусматривает плебисцита, не помогли: Карл был тверд, и плебисцит был проведен. Норвежские газеты вспоминали славное прошлое Норвегии во времена ее древних королей, живописали трудности, грозящие молодому, независимому государству в случае провала идеи монархии, и Карл был избран огромным большинством голосов.

Прибыв в Норвегию с женой и двухлетним сыном, Карл принял древнее норвежское королевское имя Хокона VII и начал завоевание норвежских сердец. Ни высокомерие шведского двора, ни более патриархальные традиции двора датского не были взяты им за образец. Он ограничился самым скромным штатом и небольшим цивильным листом. Весь его образ жизни должен был

быть образом жизни норвежца. С трех лет его сын обучался ходить на лыжах, да и сам король, как я уже говорил, превзошел эту науку. А по достижении школьного возраста кронпринц был отдан в общую школу.

В течение школьных лет царственное происхождение кронпринца сказывалось только в том, что он иногда на свой счет водил весь класс в кино. По окончании школы Улав просил отца разрешить ему учиться на инженера — неизвестно ведь, придется ли править: на дворе XX век! Но король не разрешил. Пришлось уступить традиции и поступить в военное училище. Так же и позже Улаву не было разрешено взять в жены его норвежскую любовницу, а пришлось жениться на костлявой шведской принцессе Мэрте.

Но, впрочем, король, как сказано, во всем пытался вести жизнь скромную и демократическую, как подобает первому из норвежцев. Принимая Коллонтай, делавшую ему визит по случаю вручения верительных грамот, король порекомендовал ей поскорее подписаться на издание классиков норвежской литературы, а то можно не поспеть. «Я уже подписался!» — прибавил король. Тогда же он сказал ей: «В душе я социал-демократ!» И действительно, вопреки мнению своих советников, Хокон VII, глядя вперед, первым из глав европейских государств призвал к власти левых социал-демократов. Но тогда мало кто обращал внимания на его деятельность. Скромный образ жизни и, как подобает конституционному монарху, полное отсутствие всякой реальной власти делали то, что большинство норвежцев попросту не замечали его существования. К тому же первый из норвежцев имел один существенный минус: он так и не выучился говорить по-норвежски. Впрочем, в этом не было большой беды: ведь пользовались же норвежцы датской Библией, да и язык наиболее старых чиновных семейств Кристиании мало чем отличался от датского.

Король Хокон приобрел неожиданно большое значение со времени войны и оккупации: когда один незащищенный норвежский город за другим падал под ударами немцев, когда мирные норвежцы были парализованы неожиданно свалившимся на них ужасом, когда английская помощь оказалась коварным обманом, а норвежское правительство готово было на все уступки Гитлеру, — король ушел в леса вместе с остатками норвежской армии, стойко выступал против капитуляции, возглавил вооруженное сопротивление и уехал в Англию лишь с последними отрядами норвежских солдат. В эти годы его популярность настолько возросла, что даже коммунисты должны были временно снять лозунг о республике. И на этот раз король Хокон показал, что знает своих норвежцев.

Но это было позже. В мое время король Хокон был лишь одной из достопримечательностей Осло, по росту — самым высоким из его обитателей. Роль декоративного короля была несколько смешной, — в Англии, по традиции, такой король, может быть, и имеет вид, но норвежцам повольнодумнее он щекотал чувство юмора. Но, конечно, я бы не позволил себе показать, что он и мне кажется смешным. Я, со всеми вместе, посмеялся над Томом, но в разговоре не участвовал. Не часто при мне развязывались языки — я все-таки был чужаком, да и не делал попыток втереться в сложившиеся компании. Во всяком случае, свои мальчишеские дела —

бойскаутские лагери, школьные вечера, секс — ребята обсуждали без меня и умолкали, когда я приближался.

Так я и бродил один по двору.

На этом дворе, поздней осенью, под приспущенным флагом на мачте, происходил траурный митинг: газеты принесли известие о находке бензинового бака от «Латама», самолета Гильбо. Амундсен погиб.

Наш «проректор» произнес длинную и нудную речь. Она показалась мне сухой и лицемерной: из переведенной папой автобиографии Амундсена я знал, как много горя принесли Амундсену его компатриоты — их финансовые ловушки, их равнодушная клевета.

Я чувствовал себя чужим этому народу.

III

Я был одинок в школе, но не ощущал это как неприятность. Важно было то, что я не представлял в классе жалкого зрелища, всегда был самим собой, — а не скучно мне было и самому с собой. Дружба с норвежскими мальчишками — лыжниками, футболистами и спортсменами, но из книг не читавшими, вероятно, и десятой доли того, что я успел прочесть, — мне была не нужна. Они были уже слишком взрослыми, чтобы играть, и, мне кажется, у них не хватало воображения. Интересы их ограничивались богатеньким мещанским мирком — или спортивными подвигами, которые были мне недоступны и которые поэтому я предпочитал презирать.

Здесь, впрочем, дело обстояло не так просто.

По-моему, всякий человек — во всяком случае, всякий мужчина, — стремится быть первым. Много позже, когда мне сказали, что я честолюбив, я обиделся — я никогда не считал себя честолюбивым. Почестей мне никогда не было надо. Но желание быть первым — не то же, что честолюбие. Это скорее активное самолюбие — не быть хуже других; а я был самолюбив, самолюбив до гордыни. И я инстинктивно чуждался всех тех областей деятельности, где я не имел шансов быть первым. Поэтому я не завидовал товарищам в их спортивных подвигах. Но в жизни есть положения, когда физическая неполноценность не может быть скрыта и неизбежно подаст повод к насмешкам, — и насмешкам заслуженным, не то что по поводу «киргизской юрты». Разве легко мне было трусить перед Бедткером? Разве легко было дважды в неделю на глазах у всех позориться на гимнастике? Разве легко мне было никогда не показываться перед людьми на лыжах? Правда, я не хуже других мог нестись километрами под горку по виндеренским дорогам на финских санях, радуясь, как они слушаются каждой моей мысли. Но это — не то. Зато скатываться на лыжах с большой горы мне было просто страшно, как страшно было на ходу запрыгнуть в трамвай в Ленинграде и соскочить на ходу — как делали все, абсолютно все мальчишки. А за страх — уже не другие, а я сам себя презирал. Только на войне я понял настоящую механику страха и храбрости. Бесстрашие — это не только умение побороть естественный ужас перед опасностью, это еще и уверенность в своих собственных силах и способностях. Я не был труслив, где надо полагаться на свою голову, так как в своих умственных способностях был уверен. Но слабые руки, так и не

смогшие в университетские годы швырнуть гранату на заветные сорок метров, требуемые по нормам ГТО; неловкие руки, создавшие столь печальный пюпитр в Риисской школе; быстрые, но нетренированные ноги, неуклюжее, негибкое туловище, — мое сознание им не доверяло, поэтому и подсознание трусило, когда надо было на них полагаться. Я был трусом, но должен был победить свою трусость, чтобы иметь право уважать себя. Без этого я не мог бы поддерживать свое самолюбие, а без самолюбия я, — ни тогда, ни позже, — не мог бы и жить. Презрение к себе было бы мне смертным приговором.

Что сделал в таком случае Амундсен? Слабый, тщедушный мальчик, он силой воли воспитывал в себе пловца, борца, мастера умелых рук. Так же должен был бы, пожалуй, сделать и я. Живи я среди моих товарищей-спортсменов всю жизнь, или хоть пять-десять лет — может быть, я и сделал бы это. Но судьба меня с ними быстро разлучила. Уже в эти годы я поставил себе задачу стать ученым, книгочеем. И мне куда легче было презирать физическое совершенство, как животное качество в человеке. Так легко было быть первым среди книг, — зачем мне было ради развития силы и ловкости преодолевать такие страшные трудности, которые, еще неизвестно, удастся ли и в лучшем случае преодолеть, — и все это ценой насмешек, ценой унижения, ценой потери самолюбия, может быть, навсегда, — стало быть, ценой жизни? Мне это было не нужно. Было нужно преодолеть только свою физическую трусость — я не знал, что суть тут одна, без одного невозможно и другое. Я должен был научиться не бояться высоты, не бояться ушиба, не бояться кулаков, не бояться Бедткера с его манерой пренебрежительного превосходства, с его насмешечками — и отличными мускулами.

И я забирался на высокий бетонный полуподвал недостроенного дома, утонувший в стороне от дороги в высокой траве, и, дожидаясь, пока пройдут прохожие, заставлял себя прыгать, — и не мог заставить. Не сейчас, — надо хорошенько раскачаться. Не сейчас, — там что-то стукнуло в саду домика за углом, — появится кто-нибудь. Ну, сейчас ничто не мешает, — что же? И я раскачивался снова и снова; прошло минут сорок — или так мне казалось, — пока я заставил себя прыгнуть с двухметровой высоты на неизвестную, может быть каменистую почву, скрытую травой. (Мои сыновья прыгали потом с такой высоты лет в шесть-семь). Правда, для уровня моих глаз этот «трамплин» был не двухметровая, а почти четырехметровая высота: я был неуклюж, но рост мой был 170 сантиметров, и я вставал вторым от правого фланга на уроках Дедикена. Но, увы, рост не оправдание: Инголф стоял на правом фланге, Эдвард стоял всего на три-четыре места левее меня, а они прыгали на лыжах с настоящего трамплина, повыше моего бетонного подвала, и не падали на двадцатиметровом прыжке. Нет, я хотел презирать Бедткера, но выходило, что презирать надо себя.

Трусость я так и не одолел, но это осталось долгом перед собой на будущее.

А дома продолжались «ахагийские» игры — но реже: времени стало меньше, интересов больше. Главным деятелем здесь постепенно стал Алешка.

Центром игры стал Алешин Виррон, наполовину населенный индейцами и другими полудикими племенами. В отличие от моей ахагийской, игра в Виррон была более грубой и мужественной. Там шла гражданская война, потом была установлена советская власть, затем началась индустриализация.

Алеша уехал из Ахагии, бросив свою должность кассира носороговского театра, и,кончив университет в Вирроне и женившись здесь на хорошенькой, тщательно нарисованной в его записной книжке Ринке Рот, стал инженером-оптиком на авиационных заводах Эрруки и астрономом. Между тем Председатель вирронского ЦИК — Урэ Урм — связался с мятежными индейскими племенами, а индейский вождь и марионеточный «император» Робин Перут, напротив, перешел на сторону социализма и даже был избран на место Урма. Шла война, и международные бандитские отряды Хокре Пишука вместе с мятежными племенами индейцев были разгромлены вирронской Красной Армией под командованием Теофиля Казо. Урм признал свои ошибки и ему был возвращен почет. В вирронском флоте был даже крейсер «Урм». Но до мира и порядка в Вирроне было далеко. В этой варварской стране были варварские нравы: каждый день в предместьях Асы, столицы Виррона, водили публично вешать бандитов, к развлечению вирронских мальчишек. Меня это коробило; и у меня был издавна мальчишеский интерес к образам пыток и казней, — еще со времени, когда я читал впервые «Принца и нищего», — но я размышлял о них один, а в Ахагии все должно было быть чисто; смертная казнь там была запрещена.

Боясь дурно повлиять на Алешу и на его Виррон, я постарался переключить игру на другое. Готовилась большая международная межпланетная экспедиция, — и на заводах Эрруки строились две огромные ракеты. Сотни фигурок из хальмы были отмечены снизу номерами, но и без номеров мы знали каждого в лицо: маленькая красная фигурка, которая когда-то была бегун Альботов, стала Ринкой Рот, другая была Алешей; зеленая фигурка с головкой, вымазанной серебряной краской, был отважный пилот Рин Олл; а вот желтые — инженер Форкельпрантов и сам Эрруки, вот молодой синенький астроном Вантин, вот большая красная фигурка — великий астроном Красвиль... этот номер когда-то носил мой любимый спортсмен Хонин.

Ракеты были тщательно склеены из белого картона, произвели пробные полеты вокруг Луны, и раз, в воскресенье, как только выпал первый снег, были выкинуты в форточку в свой полет на Венеру. Мы еле дождались, пока нас выпустят в сад: добрались ли астронавты благополучно, не погиб ли кто-нибудь? Затем началось путешествие наших «хальм» по покрытой сплошной живой первобытной плазмой (снегом) Венере; горячий от тления, со стаявшим снегом старый стог сена был вулканом; многие путешественники едва не погибли на его склонах. Алеша был одним из главных инженеров и фотокорреспондентом экспедиции; его фотографии, в виде серии рисунков с соответствующими подписями, тщательно заносились им в специальный блокнот. И вот — торжественное возвращение на Землю! Собирается научный конгресс, хальмы сажаются в аудиторию из кубиков, Красвиль, Форкельпрантов и Вантин читают отчетные доклады.

Это путешествие было отголоском того, что занимало умы в настоящей жизни. Каждый законченный полет Амундсена означал увлекательную популярную книгу, которая должна была окупить ему расходы экспедиции. Работа над переводом этих книг превращалась у нас дома в общее дело: кто давал советы, кто объяснял отдельные трудные фразы, кто переводил целую

главу. С перипетиями этих путешествий, со стилем этих книг и фотографических иллюстраций мы сжились. В Ахагии все это было повторено по-своему. В моем старом атласе карта Арктики давно уже была исчерчена путями плаваний ахагийских кораблей, а на карте Антарктиды прибавлен открытый и колонизованный нашими воображаемыми учеными остров Месполя. К 1929 году Земля была уже почти вся открыта. Пора было выходить за ее пределы в межпланетное пространство.

И, пожалуй, пора было выходить из Ахагии. Это окончательно произошло еще не скоро, но уже и теперь я принимался за эту игру лишь тогда, когда что-нибудь надумывал Алеша. А у него было много своих занятий и помимо Ахагии и Виррона. Он подружился в это время с соседским мальчиком. Кисс, или Кристиан Хейердал-Ларсен, был, как все дети вокруг, что называется, «из хорошей семьи», но в нем было много чего-то родного. Белокурый, чумазый, добродушный, привязчивый, полный выдумки, он вполне мог бы сойти за русского мальчишку, если бы не короткие штаны, каких русские мальчишки в десять лет обыкновенно уже не носили. Они гоняли с Алешкой по соседним пустырям и по нашему саду, что-то строили, что-то разыгрывали, что-то сооружали, и только очень редко в этом участвовал я и страший брат Кисса — Нурдал, тоже воспитанник Риисской школы. Нурдал был славный парень, но в его ловком, чистом английском костюмчике, в его «спортивности» было уже что-то чужое, как в мальчиках моего класса, и с ним было не так просто, как с Киссом.

Дома и в школе — это было два разных мира, и они не соприкасались. Но раз мир школы ворвался ко мне домой довольно забавным образом.

Однажды по почте мне пришло письмо. Оно было адресовано на имя Igor de Janikoff. В конверте было анонимное любовное объяснение с назначением свидания. В письмо был вложен желтый локон волос, и оно было надушено жестокими дешевыми духами, вроде керосина. Письмо было показано всему дому, и затем торжественно сожжено во дворе, вместе с локоном — чтобы в комнатах не было вони духов. На свидание я, конечно, не пошел.

Через несколько дней я получил новое письмо. На этот раз оно было адресовано Igor de Jakonoff — на дворянской приставке автор настаивал. Ясно, что оно исходило из школы. Я рассказал о нем Улаву и Одду, и они пожали плечами, но выразили предположение, что автор писем — девочка Бет Арисхолм из параллельного класса. Бет была известна своими шальными выходками и с некоторых пор выспрашивала ребят из нашего класса обо мне. Я решил избрать страшную месть: на переменках я находил Бет и останавливался шагах в пяти-шести от нее, глядя на нее бессмысленно-невыразительным взором. Она перейдет к другой группе девочек — я тоже меняю место. Так продолжалось с неделю; наконец, преступница не выдержала.

Как-то вечером я сидел в своей ванной комнате и готовил уроки. На дворе стоял густой туман, — такого я больше никогда не видел: человека было совершенно не различить за метр. Вдруг раздался звонок на парадной. Мама открыла дверь.

— Там тебя просит какая-то девочка, — сказала она, улыбаясь.

Я вышел. В дверях стояла смутно видимая незнакомая девочка лет одиннадцати.

— Игор, — сказала она смущенно, — тебя там просят...

Я ничего не понял: кто просит? Ведь вот же она.

— Выйди к калитке. Там тебя ждут.

Я дошел с ней до калитки, и она скрылась в тумане. Послышалось шушуканье, и другой голос сказал:

— Я Мари Лисбет Арисхолм. Я хотела попросить у тебя прощения за глупую шутку. Ты не сердишься?

— А, это письма? — сказал я. — Нет, нет.

— Так мы друзья? — спросил голос из тумана.

— Хорошо, мы друзья. — Из тумана протянулась рука и появились смутные очертания маленькой фигурки. Я пожал руку.

— Можно, мы с Биргит придем завтра днем?

— Пожалуйста, конечно, — сказал я галантно, хотя нисколько не жаждал ее визита. Впрочем, мне было любопытно познакомиться с ней, и что-то лестно щекотало внутри.

На другой день Мари Лисбет с подругой действительно явились, уже без всякой романтической таинственности. Они сидели у нас в комнатах и хихикали. Из разговора выяснилось, что духи и локон принадлежали прислуге Бет. Больше ничего дельного извлечь из нее не удалось, хотя девочки и позже не раз являлись, — часто совсем не вовремя, когда мне надо было готовить уроки. Я вошел в роль, вел себя с вычурной галантностью; когда же они мне уж очень надоедали, то я подавал условный знак, и из сада появлялись чумазые Алик и Кисс, вооруженные медными прутьями от занавесок. Я был в отчаянье от невежливости этих грубых мальчишек, а те, довольно энергично пуская в действие медные пруты, быстро заставляли девиц ретироваться. Не мог же я отвечать за действия каких-то хулиганов!

Я понимал, что поступаю с Бет коварно и даже нечестно, но понимал и то, что и она сама не выше любой хитрости и любого розыгрыша. Кроме того, все это казалось мне довольно противной пародией на любовь, и я не чувствовал особого раскаянья.

Тем более что существовала Герд, с которой у меня были совсем другие отношения.

IV

Наши почти не бывали у Стриндбергов, — уже начал входить в силу запрет общения с иностранцами. Если это не было прямо запрещено в полпредстве, то, во всяком случае, не одобрялось. Я тоже к ним не ходил, — так уже с прошлого нашего приезда повелось, что Герд и младшие девочки часто бывали в нашей квартире, а я у Стриндбергов — только на днях рождения. К тому же я не имел ни малейшего желания встречаться ни с Бьёрном, ни с Кари, которая — сверх родительских надежд — уже училась в «гимназии» и потому держалась взрослой, немного свысока; ни с Ингер Андерсен, все еще жившей через площадку от Стриндбергов. Других из моих знакомых на Нубельсгате, кроме малышей, не было: приятельницы Кари — близнячки поступили

продавщицами в газетные киоски, Рейнерт исчез из поля зрения. Словом, на Нубельсгате я не ходил, да и Стриндберги появились у нас за весь год раза два.

Но Герд приходила после школы довольно часто, всегда с каким-нибудь объяснением: то было какое-то дело от ее мамы, то все ушли из дому, то еще что-нибудь. Обыкновенно она попадала к обеду и очень мучилась, бедняжка: подавался ли плов или пироги — все это для норвежцев двадцатых годов было несъедобно. После обеда мы шли ко мне в комнату. Сказать по правде, мне и с Герд было так же не о чем говорить, как с Бет Арисхолм. Но с Герд было чувство какого-то молчаливого общения; мы знали, что наши отношения не «просто так». О чем-то мы все-таки говорили; о чем — даже трудно сейчас вспомнить. Помню, как-то она сидела у меня, когда я жил еще в отдельном домике при кухне. Перед ее приходом я был занят изобретением новой религии. Я и тогда, как и прежде, был совершенно неверующим; но мысль о том, что после моего «вещего сна» в Ленинграде я мог бы сделаться пророком и проповедником новой веры, занимала меня, и я, как бы для упражнения, пробовал сочинить, какое «священное писание» преподнес бы я людям, какие были бы в нем этические законы.

Конечно, рассказать Герд об этом было бы трудно, но что-то из моих этических упражнений я все же рассказал ей, вызвав ее безмолвное почтение. Она внимательно слушала, повернув прямо ко мне лицо в рамке светлорусых стриженых волос и серьезно глядя на меня своими серыми глазами. Другой раз я попробовал перевести для нее стихами на норвежский язык романс «Глядя на луч пурпурного заката», который казался мне особо подходящим к нашему случаю:

До гроба вы клялись любить поэта —
Страшась людей, страшась людской молвы,
Вы не исполнили священного завета —
Свою любовь и ту забыли вы!

Я ведь не сомневался, что рано или поздно нам придется расстаться, и совсем не рассчитывал на вечную верность Герд.

Как-то раз я выписал для нее буквы русского алфавита с их произношением. Она ничего не поняла, молча взяла листок и написала внизу: «Я очень глупая, но ты будешь терпеливым и меня выучишь».

Я объяснил ей правило имен и отчеств и говорил, что, когда она будет жить в России, ее будут звать «Гертруда Готфридовна» (почему не «Герда Годфредовна» — ей-богу, не знаю).

Все это было для нее слишком трудно, и на этом уроки и кончились.

Обычно Герд ходила домой пешком, а я провожал ее до края города, за Фрогнерпарком. Но раз, весной, Герд засиделась у нас дотемна; нужно было уже ехать загородным трамваем, и я пошел проводить ее на станцию. Платформа была пустынна. В станционном домике погасли огни, рельсы были освещены только редкими фонарями. Трамвайчик с горы долго не шел; мы молчали. И здесь, в конце платформы, где она стояла, кутаясь в свое черное пальтишко, я вдруг взял ее за плечи и поцеловал. Она посмотрела на меня удивленно и обрадованно.

Впоследствии, в семидесятом, на этой же платформе я назначил ей свидание — и мы мгновенно узнали друг друга.

Но тогда я уже думал о другом. Мне неожиданно открылось, что поцелуй, воспетый в стихах, чистый и без которого немыслима любовь, — что он связан незримыми нитями с тем, в чем и себе-то неохотно признаешься при дневном свете. Слева, сверху, из темноты появились фары трамвайчика; он подлетел к станции, и я молча усадил в него Герд.

В следующий раз мы не целовались. В моем сознании еще не связывалась мысль о Герд и о нашей любви с упоительными и преступными сексуальными мечтами. К тому же, мне было четырнадцать, а ей еще и того не было, и до возможности жениться было далеко, как до неба, — а что же другое мог я представлять себе в моих мечтах? О будущем думалось очень робко, и в душе я понимал, что она не приедет в Россию, а я через два-три года уеду отсюда, — разве что мама и папа захотят меня оставить здесь доучиваться одного, как Миша доучивался в Петрограде.

Но Герд и сама была не лишена фривольного направления мыслей. Как-то раз мы пошли с ней (незаконно) в кино, в большое, великолепное новое здание «Колоссеума». Зал был украшен копиями античных статуй, и Герд, не без игривости, обратила мое внимание на Фарнезского Геракла, отличающегося, как известно, внушительными признаками пола. Может быть, я был немного шокирован, но зато я почувствовал некоторое облегчение: не одному мне любовь не мешает волноваться грубыми вопросами секса, — у девочек это, видно:, тоже так, по-своему. Это был ложный жизненный урок, который впоследствии дорого мне обошелся.

Но тогда мне стало легче и проще с Герд. В это время я жил уже в ванной комнате; здесь она меня и навещала. Раз, как часто бывало, говорить нам было не о чем, и мы развлекались поистине не очень взрослым занятием: балансировали, идя друг другу навстречу, по краю ванны. Встретимся — и расходимся. Так раз, два, три... на третий раз мы потянулись друг к другу и поцеловались. Засмеялись, потеряли равновесие и поспешили кое-как спрыгнуть.

Провожая Герд опять на станцию, как бы невзначай (я часто рассказывал ей о разных диковинках русской жизни), — я упомянул, что в Грузии возраст вступления в брак — 14 лет для девушек и 16 лет для молодых людей (это была правда: тогда был там такой закон). Я сказал шутя, что хорошо бы туда поехать. Мое сообщение вызвало ее интерес, но не очень активный — она хорошо понимала несбыточность такой поездки и, вероятно, с самого начала чувствовала, что всему этому нет будущего. Раз она сказала, что я — ее «форло́веде», но, кажется, прибавила — «раа lissom» («понарошке»).

Между тем, вокруг нас развивались любовные события «всамделишные», а не «нарочные». Недолго побыв у нас летом 1928 года, Миша уехал в Ленинград, а вскоре повидаться с ним выехала туда и Маргит. Вернулась она невеселая и молчаливая. Только уже в Ленинграде мы узнали, в чем дело. Когда Маргит приехала, Миша лежал в больнице со скарлатиной. Мишины друзья и наши родные встретили его невесту цветами и почетом. Но, покуда Миша отсутствовал, за Маргит приударивал наш молодой родственник — Котька Трусов, красивый недоучившийся лодырь и пьяница. Флирт ее зашел

далеко, или так счел за благо принять его Миша, который тем временем был по уши погружен в целых два романа. Он еще и после возвращения Маргит в Осло продолжал в тот год изредка писать ей, но дело явно шло к концу их отношений.

В разгар второго школьного семестра и в разгар моих лирических прогулок с Герд, вдруг, ранней весной 1929 года, выяснилось, что мы уезжаем в Ленинград.

В первый раз папа приехал в Норвегию на год, а задержался на четыре; начал бухгалтером, а дошел до замторгпреда. Нынче он заключил договор на три года на должность заведующего финансовым отделом; но отношения в торгпредстве и полпредстве складывались теперь совсем иначе. Коллонтай ушла — была переведена полпредом в Мексику; Элердов был отозван; в полпредстве надолго воцарилась атмосфера и недоверия к иностранцам — уже готовая перерасти в шпиономанию, — и враждебности к беспартийным специалистам-интеллигентам. Словом, не знаю уж, по своему ли желанию или по воле Наркомвнешторга, папа был отозван в Ленинград и командирован в трест Экспортлес для изучения лесоэкспортного дела с видами на внешнеторговую работу в Англии. Надо было срочно собираться.

Эти последние дни в Норвегии памятны мне потому, что я в это время засел за забытый Мишей советский учебник политэкономии Леонтьева. Я прочел его чуть ли не залпом, пришел в восторг и стал из-за него, как я считал, марксистом. Вся прекрасно знакомая мне зарубежная жизнь получила ясное, логичное и неопровержимое объяснение: и классовое неравенство, и роль капитала — все это получило свое место и открывалось ключом прибавочной стоимости. Меньше удовлетворила меня та часть учебника, где говорилось о политэкономии социализма, — я так и не понял, почему монополия в капиталистических условиях приводит к повышению цен и понижению качества продукции (это было логично доказано и вполне понятно), — а в условиях социализма эти же последствия не должны иметь места. Но я успокоил себя тем, что политэкономия социализма еще не разработана.

Перед отъездом я обошел в школе всех учителей, каждого поблагодарил и попрощался с ним. Не сделал я исключения и для Дедикена. Он встретил меня неласково: «Что тебе надо?» Но когда я сказал ему, что уезжаю в Россию и хочу с ним попрощаться и поблагодарить за все, он растрогался, правильно назвал меня по фамилии и долго тряс мне руку. В дирекции мне выдали справку на английском языке о том, что я был учеником Риисской Повышенной Всеобщей школы и что школа довольна «not only with his conduct but also with his work...» («не только его поведением, но и его работой»). Я был очень рад: я не посрамил своей страны.

Герд пришла в Виндерен провожать нас. Комнаты были уже пусты. Главнейшие наши пожитки были погружены на два такси (остальное шло малой скоростью); в первую машину сели родители и Алеша, во вторую — только я и Герд. Так неожиданным свиданием наедине кончилась наша любовь. Еще несколько минут — и мы расстанемся навсегда. Мы молчали, глядя, как пробегают мимо знакомые улицы. Я знал, что надо в последний

раз поцеловать ее, — и не мог. Невозвратимые минуты бежали. И вот уже вокзал, и вот уже я, на людях, как всем другим знакомым, незначаще пожимаю ей руку: «Farvel». И все.[1]

Маргит на вокзале робко попросила передать, чтобы Миша прислал ей на память виды Ленинграда. Она их не получила.

И дальше — опять Стокгольм, поток первомайской демонстрации с красными флагами, открывающийся с крыши «Вавилонской башни», советский настоящий шелковый флажок, купленный по моему и Алешиному настоянию в шведском универмаге; синие воды Балтики, каменистый, мирный мыс Ханко — старинный Гангут, морское поле битвы и победы петровского флота; маленький, полурусский на вид, Хельсинки с финскими и шведскими вывесками; дачи Уусикиркко, Перкиярви и Териок; серый каменный вокзал пограничной станции Райайоки, заветный мост через Сестру, Белоостров, таможня, убогие пригороды, красные трамвайчики, низкий и захолустный Финляндский вокзал.

Нас встречал Миша.

— В Ленинграде голод, — сказал он, к недоуменному смятению родителей.

— Голод не голод, а социализм будет тогда, когда не будет булыжных мостовых, — подумал я, качаясь в извозчичьей пролетке.

Я еще долго жил Норвегией. Я написал открытки Улаву Эвергору с вопросами о том, как прошли экзамены, Мари Лисбет — нахальную, или, как мне казалось, ироническую; написал мисс Бюринг; и — не Герд, а Стриндбергам, — сообщил о том, что я здесь встретил новый мир, «так же отличающийся от современного норвежского, как тот — от времен Улафа Святого» (я имел в виду различие социально-экономических формаций). Ответов я не получил. Быть может, мои открытки не дошли: не соответствовали все более драконовским правилам почтовых отправлений за границу. Папа, впрочем, еще как-то раз получил письмо от инженера Стриндберга с карточкой Кари, Бьерна и выросшей, необыкновенно похорошевшей Герд. Но сам я получил только — совершенно внезапно — длинное письмо от Ханса Селикмана, с которым я вовсе не дружил. Он сообщал, что экзамены прошли хорошо, никто не провалился, кроме «Ротты» Нильсена, и что мисс Шетт-Ларсен они больше не боятся и всадили гвоздь ей в стул. На этом поразительном сообщении надолго опустился занавес, скрывший от меня мою Норвегию.

[1] С Герд, уже замужней, я еще повидался в 70-х годах. Она умерла недавно.

Глава пятая (1929—1932)

... Огонь ленинизма нам путь освещает,
На штурм капитала весь мир созывает,
Два класса столкнулись в последнем бою,
Наш лозунг — Всемирный Советский Союз,
Наш лозунг — Всемирный Советский Союз!

«Коминтерн» /песня/

I

Ленинград 1929-30 годов встретил нас угрюмо. Вся мелкая мишура нэпа сошла с него, и он стоял опять обнаженный, некрашенный и мрачный, как в годы военного коммунизма. Закрылись лавки и лавчонки «частников», закрывались и превращались в артели последние сапожные, часовые и портняжные мастерские. На полках кооперативов было пустовато, а то и совсем пусто, и часто на требование дать товар, — с полки ли или с витрины, — следовал лаконичный и мрачный ответ: «бутафория». Вскоре ввели карточки, и на тротуарах опять стали выстраиваться очереди. Потом газеты начали выходить с шапками: «Ликвидируем кулака как класс», из деревни доходили слухи о жестокой политике раскулачивания. Бесконечно умножились политические анекдоты; некоторые были просто злобные, но другие — смешные и остроумные, и их рассказывали все, кроме самых убежденных и идейных партийцев, — но рассказывали в тесном кругу, в своих стенах: они карались, как тяжкое уголовное преступление. Я помню, меня это поражало, — с точки зрения закона выходило, что не преступников просто нет. О раскулачивании (не без некоторого основания, — во всяком случае, в наших северных, нищих губерниях) рассказывали, что с приездом комиссаров из города «мужички» (тогда это слово еще не вывелось) выбирали кого-нибудь в кулаки: «Митрич, ты уж пострадай за отечество». Но в деревне было не до шуток. Анекдоты анекдотами, а интеллигенты чувствовали себя неуютно: любой из них был в десятки раз состоятельнее тех крестьян, которые считались зажиточными (а потому — элементами капитализма в деревне, а потому в двадцать четыре секунды экспроприировались — лишались всего до последней копейки и тряпки и ссылались на Крайний Север и в Сибирь: мужчины — отдельно, а женщины и дети — отдельно). Конечно, все мы, — или, по крайней мере, молодежь, уже нюхнувшая марксизма, — понимала, что толстых «мироедов» с газетных карикатур надо понимать в переносном смысле, и что дело тут не в абсолютной зажиточности, а во владении средствами производства, что лозунг, раз данный, требует доходчивого и потому упрощенного преподнесения, — и все-таки было жутковато. Шли первые процессы инженеров, обвиняемых во вредительстве, среди рабочих настроение было сильно накалено против интеллигенции, и большинство инженеров спрятало в глубокие сундуки свои фуражки с темнозелеными околышами, или, по крайней мере, спороло с них инженерскую эмблему — молоток и гаечный ключ. На селе ускоренно создавались сельскохозяйственные коммуны, а кое-где в городе, — но с бóльшим энтузиазмом, — коммуны

жилищные, «дома-коммуны», ростки будущего, воспетые Маяковским, где было общее —

«... все —
Кроме зубных щеток».

На заводах вводилась система оплаты, позже получившая осуждающее название «уравниловки».

Начиналась стройка годов индустриализации, и в город притекало новое, неприкаянное население из деревни — на каждом заборе висели объявления, кое-как написанные чернилами на рвущейся серой бумаге или на обороте обоев:

ТРЕБУЮТСЯ...

И далее шел огромный список рабочих специальностей. Безработица кончилась. Съезжались в города и спасающиеся от раскулачивания, не желавшие идти в колхоз, прирезавшие коров и кур, — чтобы встать за станок. Жить было негде, — вселение рабочих в опустевшие барские квартиры было каплей в море, — и началась новая волна уплотнения квартир интеллигенции. Впрочем, трудящаяся интеллигенция еще имела обычно право на «самоуплотнение» — то есть на выбор вселяющихся.

Так выглядел из интеллигентских окон «год великого перелома».

Но это совсем не значит, что интеллигенция была враждебно настроена против советской власти. Она по-прежнему считала своим долгом быть «лояльной», во всем окружающем старалась видеть хорошее. Еще никому не приходило в голову, что «лояльности» мало, и перед интеллигенцией еще не ставилась задача непременно быть беспартийными большевиками. Между тем и до интеллигентов докатывались волны настроения рабочих и коммунистов.

А им, перенесшим на своих плечах голодную и кровавую тяготу гражданской войны, был несносен нэп, эта нищая пародия на с таким трудом свергнутый капитализм. Они боролись за светлое будущее, непохожее на все, что было в прошлом, и некоторое облегчение быта, которое принес нэп, не могло им его заменить. Да и облегчение было для них невелико, — конечно, не было при нэпе карточек, появились в магазинах товары, но нужны были деньги, а на столе рабочих все еще и при нэпе была пшенная каша, и все годы нэпа перед большим желтым зданием с башней на Кронверкском проспекте (улице Максима Горького с середины тридцатых годов) — перед Биржей труда, — улицу запруживали толпы жалких и оборванных безработных. Возглас «За что боролись?!», ставший уже шуточно-нарицательным, затрепанный в устах пьяниц, которых не пускают без очереди к прилавку, — был в действительности криком души.

Теперь же — со всем этим было покончено. Теперь — отступление кончилось, и начинается всерьез то самое дело, за которое боролись, шли на расстрел и водили на расстрел, голодали, мерли в тифу и под пулеметным огнем: начиналось строительство социализма. Бравшие индустриализацию под сомнение «правые» презирались, а Сталин для рабочих, да и для многих из интеллигентной молодежи стал кумиром. И пусть старшие интеллигенты говорили «эксперимент», — грандиозность и смелость этого эксперимента

захватили и их. Волна подлинного энтузиазма залила города, — рабочих, молодежь, — и от этой волны нельзя было уйти и интеллигенции.

Как всегда в революционный период, достижение цели казалось близким. Социализм, — а он мыслился, конечно, не просто как экономический строй, где все средства производства обобществлены, а как светлая жизнь, — должен был наступить если не к концу первой пятилетки, той самой, к выполнению которой «в четыре года» со всех стен призывали выцветшие кумачевые плакаты, — то уж во всяком случае к концу второй; дети, вот эти самые, наши, еще рахитичные и босые дети на наших улицах, уже будут жить светло и радостно. Никто не любит жертвовать для неизвестных людей, для каких-то будущих поколений; а наши дети — это мы, и даже важнее нас. Как потом корили многих родителей, проживших тяжелую и иной раз героическую жизнь, за то, что они устраивали своим детям жизнь балованых барчуков, — но ведь это только гримаса того чувства, которое одушевляло строителей пятилеток.

«Пятилетку, нашу детку
Создадим, создадим, —
Осетринки, лососинки
Поедим, поедим!»

Так с тогдашней эстрады осмеивались «совмещане» с их потребительским отношением к социализму. Но — ведь это тайно жило в каждом. Не в осетринке дело, — это каждый бы отверг с возмущением и гневом, — но мысль о близости, близости светлой, не омраченной заботами жизни, — разве это, в сущности, не то же? Для одного это — лососинка, для другого — просто человеческие условия существования для себя, еще важнее — для детей (мы-то можем потерпеть!). И это будет скоро, это мы увидим. Так верили вокруг нас коммунисты и сознательные рабочие. И, — это оказалось потом чреватым последствиями, — так учил Сталин. А гражданская война научила и тому, как человеческая жизнь ничего не стоит по сравнению с идеей. Перед идеей человек сходит на нет так легко! Девять грамм свинца!

А интеллигенции хотелось забыть о гражданской войне. У нее было много работы, и она поглощала все мысли. Но при этом хотелось понять общее дело и участвовать в нем, хотелось, наконец, перестать считаться официально людьми второго разряда, — как жиды в «Тарасе Бульбе», которых — придут поляки — вешают поляки, придут казаки — вешают казаки. Ведь придут белые — разве они не перевешают интеллигентов, которые «сделали революцию» или, по крайней мере, служили ей? А в глазах рабочих, едущих с тобой вместе в трамвае, слишком явно виделось желание тоже нас, интеллигентов, перевешать, да и нередко и высказывалось это довольно откровенно. Но интеллигенция верила Ленину, для которого, как думалось ей, — Иван Петрович Павлов, и Художественный театр, и Шаляпин, и все, что было гордостью интеллигенции, — было на самом деле неприкосновенно. А пятилетка открывала перед интеллигенцией совсем уже небывалые творческие возможности. И хотелось быть всему этому не чужими, — хоть и сохраняя свои собственные мысли. Словом, по обыкновению, интеллигенция была ни богу свечка, ни черту кочерга, с точки зрения обывателя.

Папа работал с интересом и с обычной своей энергией. Что получится

хорошо, и что — плохо, справятся ли большевики с продовольственными трудностями, построят ли они большую индустрию — было неясно; пока из новых строек вокруг нас были видны только новые унылые дома-коробки — смутные реминисценции конструктивизма и Корбюзье, весьма невзрачного вида, с низкими коммунальными квартирами или комнатами вдоль длинных коридоров, с подтеками по стенам, не высыхающими уже со второго года жизни; да еще всюду кое-как надстраивались старые дома, — от этих уродливых надстроек с трудом спасли улицу Зодчего Росси. Их и теперь, как присмотреться, видно много в городе повсюду. Такое строительство ни в какой мере не спасало город от все растущей жилищной нужды. Но папа считал, что до сих пор у «них» все задуманное выходило. Во всяком случае, «они» хотят хорошего, и наше дело — работать.

Во вредительство папа не верил — обвинения, предъявлявшиеся на самых громких процессах, печатавшихся в газетах (а сколько «процессов» прошло бесшумно и без огласки!) были столь мизерны, политический и экономический эффект того, что вменялось вредителям, если оно в самом деле было бы приведено в действие, мог бы быть лишь столь ничтожным, любая просто неловкая или глупая мера так легко могла быть перетолкована и так часто перетолковывалась как вредительство, — что с папиной точки зрения, гораздо более вероятным казалось: все это затеяно с целью истолковать для рабочих многие трудности и неудачи индустриализации и натравить их на интеллигенцию.

А трудности и неудачи были неизбежны. Страна была неподготовлена к гигантскому и поспешному техническому прогрессу, у нее не хватало квалифицированных рук, старые инженеры пожимали плечами и с трудом учились работать с такой скоростью и напряжением, которые требовались сейчас. Коммунистов-интеллигентов было ничтожно мало, и руководители всюду были из рабочих, — всё малообразованные, хотя по большей части энергичные и нередко умные и дельные люди. Срочно обучались тысячи и тысячи новых инженеров и техников, были введены сокращенные курсы обучения, учащиеся набирались, по возможности, из рабочих через рабфаки; высшие учебные заведения, — ВУЗ'ы и ВТУЗ'ы, как они теперь назывались, — были разукрупнены и давали, каждое, лишь самую узкую специализацию. Студенты выучивались основам такой специальности, но, конечно, им обычно не хватало технического и научного кругозора, не говоря уже об общей грамотности. Но нельзя же было признать, что и в этом — причины многих недостатков строительства. А с грамотностью в науке и технике дело обстояло из рук вон плохо.

Прямую неграмотность быстро и успешно ликвидировали через добровольные школы и «ликбезы», но от ликвидации безграмотности до образованности куда как далеко. Между тем пыл экспериментаторства охватил и школу — от высшей до низшей. В школах заправляли ШУС'ы — школьные советы учащихся; они вели борьбу с буржуазной педагогикой, фактически увольняли учителей по своему усмотрению.

Баллы в школе (и повсюду) были отменены. Школу кончали с «удовлетворительными», — а по существу часто с никакими знаниями. В университете зоология была заменена животноводством, ботаника — растениеводством,

филология — экскурсионно-переводческим делом. Старая лингвистика была объявлена криминалом, ее заменил «четырехэлементный анализ» по Н.Я.Марру, и кто сомневался в нем — исключался из университета как антисоветский элемент. Миша имел в университете большие неприятности за мягкую шляпу и брюки-гольф. Галстук, мягкая шляпа, танцы — все это было признаком буржуазности; комсомольцы ходили в косоворотках, свитерах, тужурках, в кепках; позже появились форменные «юнгштурмовки» цвета хаки с ремнем через плечо — в подражание немецким комсомольцам; на немецких коммунистов возлагались в те дни большие надежды, и мы рассчитывали по пальцам — не много ли, если положить пять лет до революции в Германии. И, конечно, не сомневались, что тогда капитализм не удержится ни во Франции, ни в других странах Европы.

Вскоре были отменены все праздники, кроме революционных, да и из них под конец остались только 1 мая и 7 ноября; газеты вели бешеную кампанию против религии; поспешно организовывались резолюции о закрытии и сносе церквей — да они и впрямь почти пустовали в городах; в них собирались одни старушки в шушунах и кацавейках и в белых платочках. Отмена пасхи подавалась как борьба с пьянством (точно нельзя было напиться при желании на 1-е мая), а в конце декабря и в начале января на улицах, где жила интеллигенция, всюду окна плотно занавешивались шторами и одеялами: там тайно справляли елку. Елка, интеллигентский обычай, завезенный к нам во время оно из Германии, и за который православная церковь уж никак не могла нести ответственности, была тоже объявлена религиозным предрассудком, разоряющим наши леса. А сказать по правде, елок тогда вырубалось на рождество в десятки раз меньше, чем теперь, когда новогодняя (уже не рождественская) елка благословлена официально и загорается в комнате каждого рабочего — по десятку в иной квартире.

Праздники исчезли, зато был введен шести-семичасовой рабочий день и пятидневная неделя, — мы радовались этому, как первому показателю экономического превосходства социалистической экономики над капиталистической. К сожалению, «пятидневка» была еще и «непрерывкой», — общие выходные дни были отменены, календари выпускались разноцветные — каждый день пятидневки имел свой цвет, и каждый работающий имел свои выходные в дни одного какого-нибудь цвета, — и все в разные; это создавало множество неудобств, когда нужно было кого-нибудь найти на работе и, главное, разобщало людей в их свободное время; но газеты печатали статьи о вреде глупого обычая ходить друг к другу в гости в определенные дни недели.

Бесспорно, что интеллигенция чувствовала себя обиженной; ей не могли забыть, как многие братья, отцы и мужья нынешних «совслужащих» ушли в гражданскую войну с белыми, а больше половины интеллигентов ушло в эмиграцию, — и эту памятливость можно было понять; при этом не верили и в лояльность интеллигентов теперь, держа каждого из них под страхом обвинения в экономической контрреволюции или антисоветской пропаганде; обычаи и образ жизни интеллигенции осуждались, как буржуазные, и даже частично запрещались; и, что было особенно тяжело, ее детям мешали получать образование и самим становиться интеллигентами. Существовал

«классовый прием» в ВУЗ'ы. Приемных экзаменов не было: принимали по анкетам. Рабочий-выдвиженец с трех-пятиклассным образованием попадал на рабфак и через год-два — в ВУЗ, а иной раз и без рабфака — и, надо сказать, во многих случаях, если не в большинстве, чистым напряжением силы воли и энтузиазмом одолевал, — правда, суженный, — круг предстоявших ему наук; а детей интеллигенции принимали в последнюю очередь.

А то еще были «дети лишенцев» — священников, офицеров, нэпманов, — тем был закрыт ход и к образованию и к сколько-нибудь привычной работе, да и на любой работе их могли уволить во всякое время, как «примазавшихся», как «чуждый элемент».

Едва ли не большинство интеллигентских детей шло после школы на завод — «переплавиться в пролетарском горниле», — чтобы через год-два явиться в ВУЗ «от станка». Но многие, — как наши родственники Трусовы, дети белого офицера, — так и остались без образования.

За свою принадлежность к интеллигенции, — свою и своих детей, — держался каждый интеллигент, и пролетаризация детей переносилась особенно болезненно.

Интерес, который вызвал у интеллигенции «эксперимент» индустриализации, сочувствие объявленной благородной общей идее большевиков, широкие, даже неограниченные возможности применения научной и технической мысли, открывавшиеся перед интеллигенцией советским правительством — все это окупало многое. Но, в общем, лояльная работа интеллигентов сочеталась с шуточками, с брюзжанием, с обидами. А правительство придавало этому преувеличенное значение, памятуя белую гвардию. И перед каждым интеллигентом грозно маячил призрак ГПУ. Впрочем, о том, что задумано планомерное уничтожение старой интеллигенции, не догадывались, не задумывались, — хотя, перечитывая через пятьдесят лет старые работы Ленина, Луначарского, где об этом говорилось довольно прямо, удивляешься, как этому не верили сами интеллигенты.

Но мы-то, младшие, мало ощущали те бытовые и социальные неудобства, которые испытывали наши отцы. Хотя мне иной раз и приходилось постоять в очереди за керосином, вымести или натереть пол, накрыть на стол, — но на этом столе все же не было особого недостатка в пище; на одежду мне было наплевать, и когда дешевые заграничные костюмчики с брюками гольф и тяжелые норвежские лыжные бутсы сносились, я столь же легко натянул бумажные брюки, с трудом полученные родителями по ордеру, и скороходовские полуботинки. До окончания школы было далеко, — надо было в нее еще поступить, — семья наша была, в общем, не затронута неприятностями, — и мы, ребята, имели достаточно сытости и досуга, чтобы увлекаться идеей всемирной справедливости социализма, с жадностью читать логичные, увлекательные, справедливые — и всегда отвергаемые буржуазными дипломатами речи Литвинова, с жадностью читать новости о разгорании революционного движения в Германии, Австрии и в Китае, и считать месяцы и годы, которые отделяли нас от германской, а затем — и мировой революции.

В то же время нам все время внушалась психология «осажденной крепости»: мы на военном положении; кругом, со всех сторон, лютые враги; война с империализмом не кончилась в 1924 году, а лишь отсрочена — при этом

мыслилась в первую очередь война с «Антантой», с Англией и Францией, а не с Германией, и это впоследствии сыграло важную роль в развитии событий.

Эти впечатления, — трудно разделить их по годам: так запомнился целый период жизни, от возвращения в Ленинград в 1929 году до первых университетских лет. Таков был фон моей новой жизни, в которой развивалась душа моего юношества, — третья, что ли, или четвертая душа, жившая «в этом теле до меня».

II

Когда мы вернулись, уже вступили в силу законы о жилищной норме; ни мы не могли получить обратно на законном основании всю свою квартиру на Скороходовой, ни наши родственники не могли съехать, просто наняв себе жилье. Мы потеснились; тетя Варя Трусова и ее сыновья, Котя и Женя, въехали в комнату на отлете, — ту, что была раньше Мишиной и моей. (Позже, в 1931 году, тетя Анюта с дочерьми Надей и Нюрой тоже поселились у нас — в папином кабинете). Мы же все тогда разместились в двух комнатах. Мою и Алешину «походные» кровати поставили в столовой, и там же у окна стояли два наших стола.

Было тесно, неудобно и неуютно. Жизнь шла самым беспорядочным образом. Папа по-прежнему работал поздно, часов до двух; Надя часто спала днем, а ночью дежурила; по ночам дежурил и Женька Трусов, работавший сторожем на мосту лейтенанта Шмидта, днем же он учился играть на флейте, а брат его Котя рисовал плакаты и лозунги; у того вообще были смешаны день и ночь; в комнате у Трусовых были всегда беспорядок, грязь и неприбранность; на полу лежали недорисованные плакаты, кто-то спал, кто-то курил, кто-то пил; ложась спать, Женька вывешивал свои носки на палке в форточку, так как держать их в комнате, даже при самых скромных гигиенических требованиях, было невозможно.

В наших собственных комнатах было немногим больше порядка. На моем столе громоздились книги и бумаги; иногда я клал на них сверху доску, и уже на ней отлагались дальнейшие геологические напластования. Я и Алеша вставали поздно, Миша — смотря по лекциям и в зависимости от того, как проведен был вечер; папа вставал довольно рано, мама — позже. Поэтому в доме кто-то вечно умывался, кто-то запирался в уборную, кто-то орудовал на кухне, кто-то сморкался в умывальник, кто-то ложился спать, кто-то вставал; а так как ход в ванную был через нашу с Мишей комнату — она же столовая, — и затем через спальню папы и мамы, а уборная была за стеной, к которой примыкала папина и мамина кровать — то непрерывно было ощущение, что все друг другу мешают.

Папа, хоть и сам был не ахти какой любитель порядка, пытался по-своему навести какой-то строй в этот безалаберный быт. Перед тем, как ложиться спать, он мерными шагами обходил всю квартиру с видом ночного сторожа, и протяжным голосом провозглашал:

— Два-а часа-а но-очи, регули-ируйте ва-аши желу-удки, два-а часа-а но-очи, регули-ируйте ва-аши желу-удки, два-а часа-а но-очи, регули-ируйте ва-аши желу-удки...

На уборной, куда я спасался от многолюдия, — спокойно почитать что-нибудь, — он — для моего посрамления и для пользы прочих жильцов — прибил плакатик:

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ ИМ. И.М.ДЬЯКОНОВА,

а над умывальником повесил другой плакат:

ДАВЛЕНИЕ В НОСУ,

превышающее 1000 атмосфер
и приводящее к обсмаркиванию умывальника,

ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Квартуполномоченный.

Дом вечно как-то лихорадило. Все время происходили какие-то экстренные случаи. То Котька придет домой пьяный, то Женьку за руки и за ноги снимали с кровати, кровать переворачивали и клали на него сверху, а затем поливали Женькс лицо водой через дуршлаг — более гуманные средства на него не действовали.

Младшая дочка тети Анюты, хорошенькая, глупенькая, черноглазенькая, веселенькая Нюрочка, рисовальщица и вышивальщица, страдала циклотимией — а попросту маниакально-депрессивным психозом. Временами она впадала в мрачное уныние, сидела целыми днями в каком-то угнетении на диване; потом начиналось возбуждение — она пела, лихорадочно рисовала, — то саму себя — в зеркало, то кого-то из нас: суетилась, собиралась поступать куда-то учиться, — а потом исчезала из дома. Начиналось общее беспокойство. Раз ее брат, Борис, нашел ее через неделю у какого-то неизвестного типа, с которым она познакомилась на остановке трамвая.

Все это не украшало жизни тети Анюты, да и нашей тоже. Тетя Анюта, мамина старшая сестра, имела много общего с моей мамой. Она была выше ростом и красивее ее, но в ней была такая же флегматичность, та же склонность полулежать на диване с книжкой в руках. Только жизнь ее была много труднее маминой.

Муж ее — брат тети Вари — был офицер; еще до мировой войны в припадке душевной болезни, которую унаследовала от него Нюрочка, он покончил с собой. Тетя Анюта осталась с четырьмя детьми. По счастью, бабушка Мария Ивановна, еще до смерти мужа, настояла, чтобы все дочери имели профессию; тетя Анюта была зубным врачом. Сначала она работала в Вольске, где жил ее брат, дядя Петя; потом, во время поволжского голода, она перебралась в деревню, завела козу и этим спасла там Надю и Нюру (двое старших, Борис и Татьяна, с начала революции вели самостоятельную жизнь). Потом она работала в Петрозаводске, и с 1928 года — в Ленинграде.

В течение всего времени своих странствий она непрерывно крайне бедствовала, а Нюрочка еще при этом болела. Тетя Анюта легко могла превратиться в желчную, нервную, ожесточенную, измученную старуху (в тот год ей было около пятидесяти); но ее характер сделал ее иной. Она смотрела на жизнь философски, размышляла о людях и вещах, говорила всегда спокойно, несколько даже медлительно, со снисходительной усмешкой. И — трудилась, не унывая: мастерила на продажу из тряпок замысловатых

и занимательных кукол: полицейских, паяцев, дам, грелки на чайник, мушкетеров; вышивала стенные коврики-картины и, прежде всего, работала у своего зубоврачебного кресла. И хотя была рядовым амбулаторным врачом, но врачом очень хорошим, — дай бы многим знаменитым врачам-частникам, прославившимся, главным образом, из-за высоких гонораров (раз столько берет, наверное уж хороший врач).

Кроме нас пятерых и шестерых наших родственников, в нашей квартире непрерывно было еще много разного народу: бабушка Мария Ивановна, брат Борис, тетя Соня, Воля Харитонов. Появлялась Маули Витс — Мишина ровесница, дочка маминой близкой подруги по медицинскому институту. Биография ее была во многом странной. Во-первых, «Витс» была фамилией ее матери, а не отца, — и при том не «Вите», а «Витте» — фамилия была изменена из-за однофамильца, ненавистного реакционера, графа Витте. Во-вторых, когда Маули родилась, ее прогрессивные родители решили ее не крестить, и назвали Адой; а за сходство с лягушонком ее звали Маугли или Маулишкой. Но ее некрещеное состояние создавало трудности: не было крещения — не было и метрики, нельзя было, например, отдать Маулишку в гимназию. Поэтому перед самой революцией, в возрасте одиннадцати лет, она была крещена и во святом крещении названа Мариной; после революции она по документам стала, вместо Марины Арсеньевны Грачевой, числиться Маули Арсеньевной Вите.

Отец ее, вскоре после того как ее мать, в 1917 году, разошлась с ним, сошел с ума, и застрелил ее отчима в его служебном кабинете. Потом он вышел из сумасшедшего дома и более двадцати лет по всему Союзу преследовал семью своей бывшей жены — с целью... жениться на ее дочке от второго брака, Айни, и тем самым «исправить несправедливость». История Грачева — или, как сам он называл себя — Грачева-Борецкого-Стюарта, — материал для целой новеллы, которую я когда-нибудь напишу.

Мать Маули была коммунисткой, а сама Маули была комсомолкой; нравы комсомольцев того времени можно узнать из известного в свое время романа Богданова «Первая девушка». Они отвергали любовь и брак, как буржуазные пережитки; несколько иные взгляды Ленина, изложенные после его смерти Крупской и Кларой Цеткин, еще не успели проникнуть в среду комсомола; считалось, что половое сношение — род товарищеской услуги, которую следует оказывать друг другу. Так считала и Маули; результатом были бесчетные аборты, растрепанные нервы, попытки к самоубийству; меланхолическое равнодушие ко всему.

Любовь отнюдь не отрицалась поколением; но любовь, — как и все в послереволюционной жизни, — должна была быть свободна; брак должен был быть союзом двух любящих, скрепленным только любовью и только пока она длится. Иначе мы не могли себе и представить: все иное казалось крайней степенью безнравственности. Браков не по любви в двадцатые и тридцатые годы в моем поле зрения не было.

А если ты видишь, что та, кого ты любишь, что твоя жена полюбила другого — твое дело уйти, удалиться, не мешать ее счастью. Это было очевидно. И хотя сами слова «нравственность» и «безнравственность», как и

«добродетель» и «порок», казались чем-то архаическим и чуждым нашему времени, понятия такие были.

Когда я прочел, лет тринадцать спустя, «Что делать?», то понял, что моя мораль, впитанная с воздухом моей юности и бывшая моим естественным состоянием, подобно тому как ходить, дышать и спать — шла от Чернышевского.

И мы осуждали Маули не за пестроту ее связей, а только за сожительство без любви. У меня уже были твердые понятия о любви и браке.

Как же с точки зрения этих понятий оценивалась семейная жизнь старших — например, самих моих родителей? Очень просто: они, конечно, любили друг друга. Впрочем, мне разумеется, было известно, что папа неравнодушен к хорошеньким женщинам. Всех женщин он разделял на три категории: хо или пупочка, ро, или мо, и мо-мо. Знал я, конечно, и то, что маму это тревожит, что она нарочно ходит с папой в гости к неинтересным ей людям, если она подозревает, что там будет очередная папина «пассия». Слышал я за стеной по поздним вечерам — плохо разбирая слова — что иногда, — хоть и не очень часто, — у папы с мамой были тяжелые объяснения. Но знал я и то, что мама очень любит папу, а папа — маму; раздельно они не мыслимы; и еще то я знал, что мама — ригористка в нравственных вопросах. И, зная это мамино свойство, я не допускал мысли, что у папы были когда-либо более серьезные увлечения, чем невинные флирты, проходившие у нас на глазах, иначе мама бы его не уважала, а значит, считал я, — не могла бы его любить. Я даже слышал, что папу называли на службе «Дон-Жуан бескорыстный», и это успокоило все мои возможные сомнения по этому поводу. Семью моих родителей я считал примером настоящей любви; у настоящих людей (а мог ли я сомневаться, что мои родители — хорошие люди?) не могло быть подпольных романов и измен.

К этому времени я уже знал мамину и папину историю. Они познакомились в Ташкенте, когда мама собиралась ехать учиться в Петербург, в Женский медицинский институт: Мама была тогда классной дамой в женской гимназии; было ей двадцать три года, а папе было двадцать; он только что вышел из гимназистов и тоже собирался в Петербург, учиться. Мама была далеко не первым папиным увлечением, но самым сильным. Насмотря на недовольство папиных родителей, они поженились, как только папа примчался в Петербург, жили бедно, по-студенчески, и дружно. Круг их составляла веселая студенческая компания, центром которой, вместе с папой, были два папиных неразлучных друга — умницы, остроумцы, такие душевные люди, что, когда кто-нибудь из них входил к нам, не только у папы и мамы, но и у меня все расцветало внутри: Лев Васильевич Ошанин и Глеб Никанорович Черданцев; были тут и мамины подруги по медицинскому институту — моя крестная, горбатенькая, милая тетя Катя, флегматичная Серафима Федоровна, непонятная мне Лидия Николаевна Витс (Маулишкина мама): и младшие мамины брат и сестра — Толя и Женя; и веселые «Пуличата» — Сергей, Надежда и Ольга Пуликовские (они все кончили плохо: Сергей был расстрелян в 1938 году, Надежда Пуликовская-Римская-Корсакова умерла

от чахотки, а Ольга случайно была занесена в эмиграцию, потом вернулась, — не имела возможности ни работать, ни учиться из-за анкеты, и в конце концов бросилась в Неву с Тучкова моста).

Во всяком случае, весь Дьяконовский дом с их мещанством и богатеньким самодовольством остался у моих родителей за бортом. Конечно, после свадьбы были сделаны все необходимые визиты по многочисленным папиным родственникам; но, когда гостеприимная хозяйка, провожая молодых в переднюю, говорила трафаретно-любезным голосом:

— Ну, теперь, конечно, Вы будете у нас бывать, — то моя правдивая и молчаливая мама только дважды прищелкивала языком за зубами:

— Цц-цц!

Откуда было петербургской родне знать, что на всем мусульманском юге это значит «нет»?...

Очень скоро родился Миша. Тянулись студенческие годы — после революции 1905 года все высшие учебные заведения были долго закрыты, и мама кончила Медицинский институт только через восемь лет после поступления.

Мише было пять лет, когда мама проходила практику по заразным болезням в Боткинских бараках; она боялась заразить Мишу, и мои родители списались со старшими Дьяконовыми, которые жили тогда в Ростове-на Дону, с просьбой взять его к себе на время. Те согласились. Потом пришла телеграмма, что это им неудобно, но мама была уже в дороге.

На вокзале в Ростове ее встретил дедушка, предварительно хорошо проинструктированный. Он приветливо поздоровался с ней (он хорошо относился к маме, — по крайней мере, когда не было поблизости Ольги Пантелеймоновны и тети Веры), затем... посадил Мишу в экипаж и уехал, оставив маму в полном недоумении, в обиде и в слезах, на вокзале. Она все же пришла, чтобы рассказать, какой у мальчика режим, но в тот же день уехала. Такие вещи не забываются.

Мама кончила институт в 1913 году и приняла врачебную присягу, но никогда не работала. Период студенческого бедного житья был уже окончен; «Тормаза Вестингауза» и другие переводы с английского и уроки были уже не нужны. Папа еще раньше окончил экономический факультет Политехнического института (где он не очень переобременял себя экономической теорией) и, с дедушкиной помощью, поступил на работу в Азовско-Донской коммерческий банк — серое новое здание у Арки на Морской (что теперь улица Герцена). Дедушка к этому времени был уже большой человек в банковском мире, и перед папой открывался широкий путь к преуспеянию. Он был против того, чтобы мама работала, а мамина инертность и мягкость мешали ей настоять на своем. Мечты о микробиологии остались мечтами, которые потом робко внушались мне.

Потом мама заболела базедовой болезнью, которая надолго вывела ее из строя. Наверное поехала бы за границу лечиться, как, года за два перед тем, она «возила» папу оперировать аппендицит у какого-то швейцарского светила; тогда они провели чудное лето в Швейцарии и Италии, где уже

раньше побывал папа со своими родителями (как просто это тогда было!); но теперь началась война.

Война вовлекла папу в новые дела и знакомства. Он не подлежал призыву как туркестанец (было такое изъятие по законам о мобилизации), а был назначен заведующим военным лазаретом, организованным на средства банка; это была синекура (по существу заведовали, конечно, врачи), но поведшая за собою новый вид препровождения времени среди сестер и докторов; тут-то появилась доктор Можарова. Нравы в лазарете были легкомысленные, а техника легкомыслия разработана до тонкостей: здесь лежали по-преимуществу выздоравливающие офицеры, и заводились романы с сестрицами, в том числе — с вырвавшимися из чопорного света титулованными барышнями. Не знаю, впрочем, увлекался ли здесь кем-нибудь папа всерьез.

Мама была беременна. Появился на свет — я. И тогда же, наверное, появилось на свет печальное мамино душевное смирение, усилилась замкнутость, давно уже развивавшаяся в ней.

В семнадцатом году мы всей семьей уехали на лето в Вольск, где жил мамин брат дядя Петя, — и застряли там до осени восемнадцатого года. Жизнь становилась все более жестокой, и революция виделась только с жестокой стороны. Мамины подруги-врачи были мобилизованы на тиф, на чуму, как Лидия Николаевна Вите; а мама не решилась оставить своих птенцов и сделала последний выбор между семьей и жизнью вокруг нас; в ее виде на жительство — или каком-то другом документе, — какие уже тогда были, не знаю, — слово «врач» приходилось на самую серединку, где бумага складывалась; она нарочно протерла в этом месте складку. За эту большую ложь моя нелживая мама постоянно казнилась.

Дальше читатель уже знает — возвращение в Петроград, Алешино рождение, голод, Норвегия. И вот — «год великого перелома».

У Миши в это время уже был явный роман с Татой Фурсенко, и я часто — сначала с Мишей, а потом и один, — стал бывать в доме на углу Песочной и Улицы Красных Зорь, в большой квартире на шестом этаже. Меня все так же зачаровывала странная келья Вани Фурсенко и сам он, — я, бывало, молча сидел где-то позади, а он, за своим чистым столом, покрытым серой толстой бумагой, разрисовывал цветной тушью какие-то листки и тетрадочки, исписанные его быстрым, угловатым, непонятным почерком с пропадающими посреди слова буквами. Мы сидели и молчали, но мне было хорошо здесь. Иногда приходил сын приятеля Ваниного отца, Кот Пиотровский, брат Бориса, или, — весь в мягких, округлых движениях, румяный, со смешным ежиком, — Ваня Лебедев, округлым голосом дразнивший моего Ваню, говоря о преимуществах Лейбница перед Кантом, отчего мой Ваня шутливо бесился, выхватывал с полки томик Канта и прикладывался к портрету своего любимца. Я уже знал, что икону у него повесила его любимая няня, и что до Александра III ему нет никакого дела, а что портрет его — терракотовый рельефчик под стеклом — он повесил из чудачества, но в чудачестве его не было жеманства; это было, скорее всего, желание отстоять свою индивидуальность в этой большой, тяжелой, начиненной тайной внутренней враждой семье, — желание, такое обычное в его возрасте. Он, как и я (в этом, пожалуй,

было единственное сходство между нами), инстинктивно чуждался стандартного мальчишества, и поэтому его самоутверждение происходило в странной, полусумасшедшей даже, форме. Я чувствовал его хорошее отношение ко мне; и еще привлекала его самостоятельность.

Ему тогда было шестнадцать лет, а мне — четырнадцать; он относился ко мне все же немножко покровительственно, но меня это не обижало; это было не в словах; я был «Игóрчик», — даже иногда «милый Игóрчик», и мне радовались, когда я приходил, — мой Ваня был весь полон приветливости, — хотя мы большей частью молчали вместе; а настоящая его дружба была с Ваней Лебедевым, который был бесконечно старше его: года на три — на четыре. Эту дружбу было трудно понять, как и вообще все отношения в этом доме, где говорили всегда с иронией, и нельзя было постичь, где кончается приветливость, и где начинается насмешка. Ваня Лебедев упивался утонченностью разговора, французскими речениями, изысканными цитатами, своей округлой, продуманной жестикуляцией — и все это не шло к его добродушному, румяному, — по-моему, не очень умному лицу. Мой Ваня встречал его каким-то странным шутливым обрядом, припрыжкой, затейливыми прозвищами, какими-то им одним понятными шутками. Например, в числе прочего, Ваня Лебедев был «макаронный плантатор», так как он совсем недавно узнал, что макароны не особый овощ, а мучное изделие; постоянной шуткой было и то, что старшего Ваню купает в ванночке «Нянюка», — их общая с моим Ваней няня, сгорбленная старуха, полная мудрых крестьянских притч, говорившая удивительно красочным языком старинной псковской деревни; и, кажется, именно «Нянюка» была истинным связующим звеном двух Иванов.

Уже несколько лет назад Ваня Фурсенко стал издавать домашний юмористический журнал «Антикот». Почему «Антикот»? Это мне никто не мог объяснить. По-видимому, от слова «Антик». Тата рисовала в нем загадочных, символических красавиц и масок — в духе Обри Бердслея, что ли? Ваня и Надя рисовали карикатуры на своего друга Ваню Лебедева и других молодых людей, мальчиков и девочек этого круга. Как только в «Антикоте» появились первые карикатуры на «макаронного плантатора», Ваня Лебедев создал блок с двумя молодыми людьми (поклонниками Таты) и стал издавать контр-журнал «Антипсина». Это сразу придало жизни «Антикоту»; без «Антипсины» он не прожил бы столько лет.

Из журнала «Антикот» превратился в организацию: в нем были действительные члены (Ваня и его сестра Надя, ее подруга Наташа Кавун и Кот Пиотровский), шефы (Тата и ее подруга Торочка Ярцева) и кандидаты. Борьба с «Антипсиной» велась не только карикатурами, статьями, последними известиями, разоблачавшими гнусные заговоры «Антипсят», но и диверсиями и похищениями неоконченных номеров и других важных документов; все документы «Антикота» — старые номера, наброски рисунков, список членов, печать, материалы, позорящие «Антипсину», присяги членов, — хранились в запертой металлической шкатулке, а шкатулка пряталась.

Я сам был принят в кандидаты «Антикота», а позже и в действительные члены; но в год моего появления «Антикот» уже еле влачил свое существо-

вание — члены «Антикота» взрослели, а члены «Антипсины» уже и совсем были заняты взрослыми интересами.

Иногда в комнате появлялась Надя, рыженькая Ванина сестра-близнячка. Она теперь не носила больше косу; ее золотистые кудри стояли солнцем вокруг головы. Была она, пожалуй, не очень красивая, — только улыбка была острая и живая. Надя и Ваня очень дружил, хотя совсем были непохожи — Ваня был горбоносый, светлоглазый, с темнорусым, вьющимся чубом, сутуловатый, медлительный, всегда застегнутый на все пуговицы своего френчика, а Надя была прямая, ходила по-мальчишески, быстро и широко шагая. И учились они не в одном классе — Надя на класс младше Вани, и не очень хорошо. Дома она считалась золушкой, и всегда она была какой-то угнетенной, — мачеха, кажется, ненавидела и обижала ее. Наедине с нами Надя не дичилась, шутила, называла меня «Игóрчиком» — и все же была невеселой; рисовала — и для «Антикота» (обе сестры хорошо рисовали), и просто для себя: печальные деревеньки, пейзажи, скорбных и задумчивых девушек, похожих на нее.

Мне она была непонятна, и я хотел понять ее.

Как-то зимой меня пригласили смотреть спектакль у Ярцевых, где-то в «Городке Сан-Галли», на Петровском острове. Пьеса была сочинена старшей молодежью; Иван Никитич Кавун (известный педагог-математик, отец Наталки) написал к ней музыку; пьеса была трогательно-романтической, — конечно, иронически, так как женские роли играли мужчины, и наоборот. Героиню, невинную девушку Шарлотту, играл Ваня Лебедев, бесконечно серьезный, с ежиком, в розовом платье; злая разлучница, она же субретка (один из Татиных поклонников) пела арию, делая прыжки, причем из-под широкой юбки выставлялись длинные ноги в черных брюках; Тата блистала красотой в виде юного кавалера со стрижеными под пажа волосами и со шпагой; смешна была Торочка Ярцева, игравшая второго кавалера; Ваня — конечно — играл ведьму, и играл очень хорошо, а Надя и ее подруга, толстая и избалованная Н. играли пажей. Было очень весело, очень интересно, а слаженность и остроумие этой старшей молодежи вызывали мое восхищение.

В школе я опять не учился: нужно было засесть за учебники и готовиться по новой программе. Опять со мной занималась Сильвия Николаевна, но Сережу Соболева заменил новый учитель — Мишин товарищ по университету, Кирилл Гришанин — юноша с усиками, остроумный, добродушный, горячий, почему-то занимавшийся санскритом и тибетской философией (почему, он и сам не знал). Он входил в Мишину студенческую компанию.

Эту компанию составляли: Кирилл Гришанин, поэт и «колбасник» (на трамвайных вагонах сзади болтался резиновый шланг для сцепки — «колбаса», на которой всегда висели мальчишки-«колбасники»), воспитанный в имении Муравьевых — тех, кто вешает, а не тех, кого вешают (его мать, гувернантка, вышла замуж за Муравьева). Был он веселый и неприкаянный; Одя Казин, в тяжелой шинели до пят, в огромных калошах, в шапке-ушанке, с толстым томом китайского словаря под мышкой, человек неслыханной памяти и учености, мывший руки сулемой и подозревавший, что у него проказа; Саша Шпринцин, маленький и подвижной студент-этнограф; Леля Штакельберг (баронесса!), курчавая озорница; медлительная, русая красавица Оля Элькин, Глаша Балашова с толстоватым носом и без подбородка,

изысканная Тата Фурсенко, и Миша — это был «Детский сад», — неразлучная компания студентов-восточников, которая теперь постоянно бывала у нас дома. Первый раз они пришли робко; но когда приоткрылась дверь, чтобы впустить хозяина дома — самого «предка» Дьяконова (то есть моего папу), и в щель двери вместо «предка» появилась волчья морда (елочная волчья маска), мрачно посматривавшая на остолбеневших Мишиных гостей — стеснение отпало само собой, и из папиной комнаты, уступавшейся для таких вечеров Мише, неслся до поздней ночи смех и бестолковый шум.

Мише бесконечно звонили какие-то девушки, а к телефону подходил папа.

— Миша, это ты?

— Да, — говорил папа чистосердечно, и начинался долгий и непонятный флирт по телефону.

На другой день Миша в мрачной ярости требовал объяснений.

— А что? — говорил папа. — Они говорят: Миша, это ты? А разве я не Миша?

Дни шли, всегда оставляя мне много свободного времени.

Мы бродили по улицам с Алешей, выдумывая вдвоем истории из жизни Ахагии и других стран Верена — мы только что разыграли войну между Виррoном и моими странами с помощью флотов, построенных из кубиков; Алешина меткость в стрельбе спичками принудила меня к капитуляции; все наши страны слились в одну федерацию Верен, в моих государствах было введено нечто вроде того, что позже называлось народной демократией (даже королям разрешили мирно дожить свою жизнь. (Именно тогда-то был переведен «Интернационал» на миндосский язык). Но назревал конфликт Верена с Соединенными Штатами; задумывалось строительство большого флота, продумывалась его организация и взаимодействие представителей отдельных членов федерации, рассказывались истории о подвигах адмиралов Ахагии и Виррона.

Наши пути теперь не ограничивались уже кругами вокруг квартала, но мы все так же — или больше — раздражали местных мальчиков своей изоляцией и нерусским покроем костюма. В нашем дворе был тогда штаб мальчишеской хулиганской шайки «Черных Воронов» (впоследствии мирных и хороших людей, рабочих окрестных заводов), и мое еженедельное путешествие через три задних двора с помойным ведром бывало испытанием моей храбрости. «Черные Вороны» то окликали, то дразнили, то угрожали мне, и сердце мое неизменно уходило в пятки. Раз они — человек пять — пристали к Алеше и собрались его бить; но тут куда девался мой страх — я кинулся на них так отчаянно, что они потеряли интерес к предприятию и ретировались.

Наши брюки-гольф, однако, бывали нам и на пользу: бывало, мы заходили в кооператив, разговаривая между собой по-английски, а с продавцами — на чудовищно ломаном русском языке, спрашивая халву; и продавец, весь в улыбках, бежал куда-то за кулисы и открывал для нас свежий бочонок с халвой. Тогда не сторонились иностранцев, как это было с тридцатых по семидесятые годы. Как-то раз папа поручил мне встретить на Финляндском вокзале какого-то шведа-коммуниста, шурина одного бывшего сотрудника нашего подпредства в Швеции.

Я встретил шведа, водил его по центральным улицам Ленинграда, с гордостью показывал исторические места 1905 и 1917 годов; он удивлялся допотопным методам строительства наших домов (я вежливо заметил — «приезжайте нас учить»), удивлялся, что не видит почти никаких новостроек (я объяснил, что они на окраинах). Так как я чувствовал, что его надо накормить, а ресторанов не знал (да и были ли они тогда?), то мы пошли с ним на крышу «Европейской гостиницы», где он был сражен ценами и буржуазным видом сидевших кругом иностранцев. Но когда с подлетевшего к нам толстого официанта мигом слетел еще более толстый слой подобострастия, как только мой швед, посмотрев в свой кошелек, спросил только пустого чая, — тогда швед сказал мне: «Я плохо себя чувствую в такой среде» — и ушел из гостиницы. Потом мы с ним пробивались в трамвае сквозь тесноту толпы — было, по нашим-то понятиям, не очень много народу, но швед сошел на следующей остановке в полном ошеломлении. Мне казалось правильным показать другу Советского Союза и наши трудности, чтобы он лучше понял наши достижения; о достижениях он знал больше моего, да и ехал в Москву, где все увидит.

В вагоне московского поезда он открыл чемоданы и стал совать мне сувениры какие-то и бананы; я, конечно, гордо отказался.

Уроки не обременяли меня; я увлекался греческой мифологией и историей Микен, составлял генеалогию древних ахейских героев и старался доказать их историчность; ходил на Васильевский, где садился на еще существовавшие тогда ступени большого, не до конца облицованного (из-за войны и революции) здания Библиотеки Академии наук, и смотрел на входивших и выходивших ученых чудаков, стараясь вообразить себя между ними.

Я видел маленького гнома — библиотекаря Университета, со светлым нимбом волос, в виде точного круга стоявших вокруг его головы и лица; сумасшедшего, грязного человека необычайной учености, с вырванным под мышкой пиджака огромным клоком материи; рыжего историка Польши, непрерывно шевелившего вывернутыми, мокрыми губами и вздрагивающего головой; надо мной на крыльце как-то встал огромный, толстый человек с большой седеющей головой, с рыжими усиками и маленькими острыми глазками на добродушном красном лице; на его голове покоилась меховая шапочка на много номеров меньше, чем надо, а тоненький подобострастный дискант не вязался с его могучей фигурой. Это был египтолог профессор Струве, разговаривавший с сухим, небольшим старичком в академической чеплашке и в черном пальто поверх черного сюртука — академиком Коковцовым, прославившемся когда-то как эксперт по делу Бейлиса.

Часто по Васильевскому острову мы ходили и с Алешей. Он в это время начал строить модели вирронского флота; флот стал его страстью, и у нас развился спорт: мы коллекционировали советские военные корабли, и для этого ходили по набережным.

Как-то, проходя мимо конференц-зала Академии, я гордо сказал Алеше: «здесь я буду жить» (я хотел сказать — работать: мне казалось, что ученые работают в здании Академии). Алеша поднял меня на смех, заявив, что в этом здании живут только дворники, и что дворником в Академии я, очевидно,

и буду. Он, вообще, несмешливо относился к моим научным увлечениям, хотя втайне и уважал их.

А увлечения зашли далеко. Как-то осенью 1929 г. я решился — переступил порог Библиотеки Академии наук, и с замиранием сердца поднялся на самый верх — в Азиатский музей. Я вошел в его молчаливый читальный зал, где стояли огромные картотечные шкафы с ящиками, надписанными старинным писарским почерком; почти весь зал занимал огромный черный стол, на котором, говорят, Кирилл Гришанин и Леля Штакельберг однажды в отсутствии старших плясали чарльстон — это не вызывало во мне одобрения. Мрачный служитель в коричневом халате и с тяжелыми усами строго спросил меня, что мне надо; я пытался объяснить, что именно я хотел бы почитать, и он как бы неохотно, все так же мрачно, научил меня пользоваться каталогом; потом я стал здесь часто бывать; Еремей Данилович Сысоев был всегда столь же мрачен и строг со мной, но всегда через три минуты передо мной была уже нужная мне книга. Я читал о филистимлянах, о хеттах, я выписал издание знаменитого «Фестского диска» и систематически приступил к его расшифровке. Залезал в словарь ассиро-вавилонского языка — но не научился им пользоваться. Тогда стала складываться и моя научная библиотека: первые мои книги мне подарил пушкинист Николай Осипович Лернер, в огромном кабинете которого стояло несколько письменных столов, в несколько рядов заложенные книгами, покрытыми толстым слоем слежавшейся в войлок пыли; с этой пылью не смели спорить его жена и взрослая дочь, называвшая запыленного отца на «Вы» и по имени и отчеству.

Читая впоследствии гофманского «Кота Мура», я отождествлял мейстера Абрахама с Николаем Осиповичем Лернером.

А больше всего я любил бродить один, пьянея от ветра на набережных, влюбленный в этот город, все еще немного мне чужой, сочинял о нем стихи — по-норвежски.

Я ходил по улицам, и иной раз мне казалось, что я держу под руку Герд, как когда-то в садике Уранисборг.

Однажды, я шел в ясный, голубой день по Пушкарской, и навстречу мне прошла высокая, темноволосая, стройная девушка в темносинем платье. Я взглянул на нее — и вдруг почувствовал освобождение; Герд — ушла в прошлое. Это — кончилось.

III

Летом 1929 года Миша уехал в Таджикскую Автономную республику, бывшую Горную Бухару — на педагогическую практику.

Между тем, мы — мама, тетя Соня, Алеша и я, — выстояв долгую очередь за билетом, отправились в Рыбинск, чтобы сесть там на волжский пароход.

Все русские провинциальные города, — кроме южных, — похожи друг на друга; по России настроено много Рыбинсков. Улицы пыльнобулыжные и пыльные просто, — покрытые глубокими залежами мелкой пыли, поднимаемой колесами унылых телег; избы на окраинах у широких улиц, — таких широких, что это уже не улица, а целое пространство, местами поросшее грязной травой, бурьяном и лопухами; козы, псы или свиньи в непросыха-

ющих лужах; центральные булыжные улицы, с двух и трехэтажными кирпичными домами, с более или менее облезлой штукатуркой, железными вывесками, не лишенными орфографических ошибок; бывшие присутственные места; трактир (все равно, называется ли он теперь рестораном или столовой) с шикарным и причудливым названием — какой-нибудь «Палэ Рояль» или «Савой», внутри полутемный, с грязными скатертями на столиках, с низким бревенчатым черным потолком, едва видимым сквозь клубы дыма; грязные официанты, огромные полчища назойливых мух, равнодушно ползающих по скатерти, по лицу и по жирным ложкам и равнодушно утопающих в единственном рыжем жирном глазке серо-бурых щей; скорее вон! И потом — высокий берег над поплавком-пристанью и над золотистым пляжем у синей, широкой Волги. За рекой зеленеет лес, вдали разрывом в лесной полоске видно устье Шексны или Мологи — бог ее знает... теперь этого ничего нет, лес вырублен, пляжи и низины залило Рыбинское «море».

Но тогда синяя Волга, и золотой песок под высоким обрывом, и далекий лес, и Шексна — это было хорошо. Мы не купались («неизвестно, какое дно»!), но сидели на пляже, и я следил за простодушной, непристойной игрой голых мальчишек.

Пришел красивый, белый колесный пароход, с красной полоской на низкой черной трубе, с плоскодонной лодкой, подвязанной стоймя под флагштоком на корме — он как будто выплыл из самого раннего детства, из Вольска, из времен «Кавказа и Меркурия».

Нам дали каюту второго класса, наверху; на променад-деке стояли деревянные дощатые скамейки и шезлонги, и над сетчатым фальшбортом перед нами побежала панорама крутых и лесистых берегов еще неширокой здесь, верхней Волги; красивые — издали — городки на склонах: Кинешма, Кострома, Плес... Я читал путеводитель, как роман, но вычитывал совсем не то, что там было написано: град Китеж, Великую Булгарию... Когда перед нами стали пробегать пристани с двойными названиями («Чебоксары — Шапошкар»), во мне пробудился мой всегдашний интерес и «патриотизм» к малым народам; мне мерещились государства марийцев, мордвы, чувашей, — опять Великая Булгария; толстым, мягким черным карандашом я перечерчивал на карте границы этих воображаемых государств. А иногда хотелось воображать себя на океанском пароходе, разрезающем воды неведомых морей где-нибудь в Зондском архипелаге.

В первом классе ехала англичанка с девочкой — ей почему-то взбрело на ум провести лето в стране большевиков, на легендарной Волге: сказано — сделано. (Ведь это был еще двадцать девятый, а не тридцать девятый год, когда иностранцы стали удивляться, почему их письма к друзьям в Россию остаются без ответа). Поборовши свою робость, или проявив нахальство, я подошел к этой англичанке и с трудом выдавил из себя несколько слов по-английски.

Но, может быть, самое сильное впечатление произвела на меня толпа, собиравшаяся на пристани, и с гулом, переругиваясь, протискивавшаяся через узкие мостки на нижнюю палубу; было стыдно нашего променад-дека, когда видел эту оборванную, немытую, грязную толпу, сидевшую и стоявшую вплотную, не оставляя ни малейшего просвета, ни одной свободной бухты

каната, ни одного кнехта по всей нижней палубе; этих детей, одетых в тряпки, с прыщами на лицах, сосущих тряпичные соски или жующих черные корки. Удивительно ли, что я, как все мое поколение, был захвачен идеей строительства социализма и весь, всей душой, готов был поддержать наше правительство в его трудном и смелом деле? Только моей поддержки пока не требовалось.

На пристани в Нижнем Новгороде нас встречала бабушка Мария Ивановна. Незадолго до нашего приезда из Норвегии тетя Женя, наконец, вышла замуж, ее муж получил назначение на работу, и они уехали в Нижний Новгород.

В Нижнем меня поразил старинный кирпичный кремль, — со стен которого мне мерещились за Волгой войска татар, — и широкое пространство слившихся Волги и Оки, и маленький обелиск под спуском к Оке с надписью:

Здесь в ознаменование десятилетия
Великой Октябрьской Революции
будет построен
мост через Оку

Шел уже двенадцатый год советской власти, постройка моста даже и не начиналась, и было странно, как это через тринадцать, пятнадцать или семнадцать лет после Октябрьской революции будет построен мост в ознаменование ее десятилетия!

Тетя Женя со своей семьей жила на окраине города, позади булыжной площади, на которой высилась темнокрасная тюрьма с белой надписью по фасаду:

Трудискупитвину

Одноэтажный деревянный домик, где жили наши, стоял на совершенно деревенской улице, поросшей травой, посреди запущенного садика с полусгнившим забором гуляли петухи и гуси, росли во множестве и яблони и лопухи. Позади сада начинались поля, луга и овраги.

Муж тети Жени, Владимир Васильевич Медведев, был прорабом на постройке Дома Советов в нижегородском кремле. Дом Советов строился на месте снесенного собора николаевских времен. Собор был стандартный, строившийся когда-то по уродливому проекту, утвержденному самолично Николаем I, и его никому не было жалко. Но в нем находились исторические реликвии: могилы нижегородских князей XII—XV веков и Козьмы Минина. Однако история тогда не пользовалась уважением — ее заменяло обществоведение, у пролетариев не было отечества, и могилы феодалов-эксплуататоров и ставленника торгового капитала велено было уничтожить. Князья были выкинуты, Минина Владимир Васильевич на свой риск и страх решил не трогать. Его могила, вероятно, и до сих пор находится непотревоженная под асфальтом у Дома Советов.

В семье тети Жени недавно произошло прибавление — родилась дочка — Наташа. Днем тетя Женя была на службе — она работала детским врачом; с младенцем возилась бабушка, и я, если не бродил по полям и оврагам, принимал активное участие в пеленании, носил Наташку на руках; вечером тетя Женя принималась за дочку, а бабушка садилась играть с тетей Соней

в японский вист. Тогда я бренчал на рояле, тщетно пытаясь подобрать «Баркароллу» Чайковского, или читал газеты. Кажется, тогда была первая наша небольшая война после окончания гражданской: конфликт с китайским милитаристом Чжан Сюэ-ляном из-за КВЖД — Китайской Восточной железной дороги, последнего остатка русского владычества в Маньчжурии. Эта дорога все еще принадлежала СССР и имела довольно многочисленный русский штат служащих, которые были на каком-то промежуточном положении — не то эмигранты, не то граждане СССР. Красная Армия вступила в Маньчжурию для защиты КВЖД от Чжан Сюэ-ляна.

(Помню, после этого Миша был вторично на военных сборах, и приехал с самыми лучшими впечатлениями о Красной Армии: рассказывали, что в Маньчжурии не было ни одного случая воровства или грабежа: каждый боец маленькой армии — «солдат» тогда не говорили) — армии, хорошо воспитанной в революционной традиции, — чувствовал себя представителем революции. Командиры от бойцов отличались только геометрическими значками на петлицах — но не по покрою, ни по материалу форменной одежды, и не по питанию. Обращения на «Вы» придерживались строго, мата почти не было слышно — разве только так, добродушно. Командиром взвода у Миши была женщина. Словом, армия была особая, революционная и отличная. Только командиры были мало образованные, но ведь так было не только в армии. Все тогда учились.).

Но в то лето, как сказано, Миша был на практике в Таджикистане. Едва мы успели приехать, как мама получила тревожную телеграмму: Миша заболел тяжелым брюшным тифом. Мама сорвалась и уехала в Среднюю Азию.

В Таджикистан были посланы на практику Миша, Тата Фурсенко, Оля Элькин и Глаша Балашова. Ехали весело, дурачились — и, как мне потом рассказывала Тата — Миша ей сделал в вагоне очередное предложение и был отвергнут.

Таджикистан был тогда еще недавно объявлен автономной республикой; столица его, Дюшамбе, была небольшим захолустным кишлаком. Железной дороги туда не было; добирались на грузовиках, через горы и долины, овраги и арыки. По приезде все получили назначение кто куда: Тата осталась в Дюшамбе, а Миша был направлен в районный центр, кишлак Курган-тюбе; явился к заведующему РайОНО — и не застал его: он был на молитве в мечети.

Таджикистан в это время был полон слухов о басмачах. Не далее как за год до этого маленькая группа басмачей перешла, вооруженная английскими винтовками, Аму-Дарью и, быстро выросши в большой отряд, взяла штурмом районный центр Гарм, где вырезала всех русских и всех, кто «крестился в веру большевиков». Спасся один какой-то почтальон, который положил руку на шею, когда его рубили саблей; с рассеченной рукой он кинулся в реку и схоронился в камышах на острове.

Затем, уже в 1929 или даже после, в тридцатом году, басмачи взяли в плен целую экспедицию в ста километрах от Ташкента; члены экспедиции спаслись только тем, что выдали себя за врачей.

В 1929 году Таджикистан был уже очищен от басмачей; в Курган-тюбе

было тихо, но Миша в нем не успел осмотреться, потому что почти сразу свалился в тифу. Тата, извещенная каким-то знакомым, все бросила и примчалась, застав Мишу в жестоком бреду. Когда он начал поправляться, она перевезла его в Дюшамбе и поместила в больницу. Здесь разразился рецидив тифа, опять с тяжелым бредом, бредом увлекательным, сюжетным, где Миша был не Миша, а Андрей Деянов, чьи сложные жизненные переживания Миша наблюдал с интересом со стороны. Между тем, мама была вызвана по телеграфу; когда она приехала в Ташкент, Миша, после рецидива, был уже тут; но и на этом дело не кончилось: в Ташкенте начался второй рецидив. Мама и Тата были неотлучно около больного.

Мы с Алешей, между тем, остались на попечении тети Сони. За это время я с ней особенно подружился. Поздно вечером, лежа на полу на матраце в Нижнем, я подолгу разговаривал с ней, рассказывал о моих взглядах на жизнь, на справедливость; говорил, что хотел бы навсегда сохранить понимание детской психологии, как его сохранил Марк Твен, сумевший написать «Тома Сойера» так, словно он не забыл ничего из того, что думают и чувствуют дети; жаловался, что взрослые легкомысленно говорят о «счастливом детстве» и не принимают всерьез детских огорчений, между тем как для детей, — пусть причина ничтожна, — но каждое огорчение вызывает такую бурю чувств, что становится настоящим горем; упомянул о том, как на всю жизнь запомнил разочарование, от которого так страшно упало сердце, когда я радостно вошел в комнату, чтобы рассказать маме что-то хорошее — а комната была пуста. Тетя Соня, лежа на походной кровати с черной повязкой на глазах (она не могла спать, если в комнату проникал свет) соглашалась со мной, говорила об ужасах гражданской войны, рассказывала о своем брате — народовольце, высказывала свое мнение о людях и о жизни спокойно, без лишних откровений и без снисходительной скидки на мой возраст. Понятия ее были строги, ригористичны, и в то же время человечны. Очень она мне нравилась. Хотя революцию, — которую я успел почувствовать нужной людям, а потому и мне — она не принимала.

Вскоре мы уехали с ней домой, — через Москву. Вся старина доживала здесь последние дни: начиналась стройка новой Москвы, вместо «буржуазно-феодального старья».

Почти одновременно с нами в Ленинград вернулись Миша и мама. Миша был странно возбужден, непрерывно рассказывал про свой бред и про приключения Андрея Деянова — и вскоре свалился с третьим рецидивом тифа: едва ли не уникальный случай в медицине. Но за жизнь его как-то не было страшно. И в самом деле, после полагающегося срока он воспрял с одра, пополневший, со слегка вьющимся чубом. Теперь Тата Фурсенко часто бывала у нас в доме, и дружба ее с Мишей была всем известна и всеми признана.

Все домашние и общественные впечатления, о которых рассказано выше, пришли главным образом предыдущей зимой. Я в это время постоянно бывал у Вани, и едва ли не тогда завязался у нас многомесячный спор по философии. К моему удивлению, Ваня был... солипсистом! Вернее, он считал материальность мира недоказуемой, но принимал, что практически надо исходить именно из материальности мира, а затем уже признавал все выводы

материализма — с оговоркой о гипотетичности первичной философской предпосылки. Мы спорили с ним часами и в его комнате, и на улицах, неутомимо бродя из конца в конец города, а, вернувшись домой, начинали строчить друг другу философские письма-тетради на десятках страниц. И все-таки не переспорили друг друга. Для меня это было очень важно — я передумал все философские вопросы, и на Ванин иронический вопрос — считаю ли я себя марксистом, ничего не читав из Маркса — я смущенно, но твердо отвечал: да, считаю.

Спорил я тогда и позже, в университетские годы, — и с мамой, если можно было назвать это спором, потому что мама была уж очень немногословна. Она была материалистом, но — как полагалось естественнику начала века — «вульгарным» материалистом. Человека она считала высокоразвитым животным, управляемым биологическими законами, и видела только биологические причины для человеческих побуждений, Огорчалась тем, что я увлечен общественными науками, — и тщетно я пытался объяснить ей, что меня интересует именно психология человека, которая, кроме физиологии, объясняется и общественными условиями, и их-то я и хочу изучать, но не сами по себе, а потому что меня интересует мышление и духовная жизнь человека. И разве стремление к правде, к принесению людям пользы — все, чем ей были дороги Леонардо да Винчи и Павлов, — можно объяснить одной биологией? — Мама вздыхала и не спорила, но явно была не согласна. Пользу человеку, считала она, могут принести только естественные науки: избавить человека от болезней, технически облегчить его существование — вот все, что можно и нужно сделать, и за что лучшие люди положили свою жизнь. А общественных законов, отличных от биологических, нет: есть борьба за существование, — есть и будет. Я сердился и огорчался — между мной и мамой возникало непонимание, которое так и не удалось преодолеть: оно росло и росло.

— Ну, а ликвидация безграмотности — это хорошо?

— Хорошо. И все, что у нас делают для детей — очень хорошо.

— Так ведь... — и все начиналось сначала. Мама была упряма.

IV

Ваня в этом году кончал школу; часто он бывал занят или его не было дома, когда я — бездельник — приходил к ним. Все чаще я проводил время с Надей, которая совсем перестала меня дичиться, и у нее я теперь часто назывался «милый Игорчик». Она была всегда грустной, — и вправду, жизнь ее, видимо, была невеселой. Отданная во власть грубой, жирной и неопрятной мачехи, она росла нелюбимым в семье ребенком — даже в школе училась она нехорошо, отстала от своего брата-близнеца; сравнение с красивой и эффектной старшей сестрой тоже не шло на пользу ее самочувствию. От жизни она не ожидала ничего хорошего. Отец, — величественный, сентенциозный, — являлся только на общие продолжительные чаепития; опекала Тату, Ваню и Надю сестра их матери — тетя Дина, — как нам казалось, глубокая старушка, старая дева, погруженная в повседневные, будничные заботы, — преданная ребятам, но совсем не способная войти в их душевные

интересы. Все это рассказывалось мне, как свойственно ранней юности, не прямо, а таинственными полунамеками, умалчиваниями и молчаниями.

В феврале или в марте Миша, как-то оставшись со мной вдвоем, сказал мне, что собирается жениться. На Тате Фурсенко. И спросил меня, нравится ли она мне, и что я о ней думаю. Мне было пятнадцать лет, а Мише — двадцать два. Но он сказал это так, как спрашивают совета, — во всяком случае так, как спрашивают человека, мнением которого дорожат. Я был в трудном положении. Ни за что на свете я не мог бы соврать и тем более Мише. А она мне тогда не нравилась: потому что красилась, потому что казалась неискренней, потому что небрежно и не всерьез относилась к Наде, и совсем уж как к незначащему мальчишке — ко мне. Впрочем, к преувеличенным печалям Нади, может быть, и надо было относиться не всерьез; но для меня Тата сливалась с массой Надиных угнетателей. А Надя очень любила сестру, да и Тата, как умела, любила ее. В общем, Тата мне не нравилась. Но я не мог этого сказать Мише.

С конца зимы Тата часто бывала у нас. В их доме было принято недоверчивое и даже, пожалуй, враждебное отношение к «предкам»; во всяком случае, молодежь и «предки» там были два разных лагеря. Меня это словечко «предки», примененное к моим родителям, как-то коробило. Мама к Тате была ласкова, но как-то настороженно; папа держался просто и доброжелательно. Между тем мачеха Таты распустила слух о Мишином развратном поведении, а арабист С. — страшный, тощий, парализованный, волочивший ноги между костылями, и в то же время слывший Дон Жуаном, пакостником и интриганом, встретив папу на Невском, начал рассказывать чуть ли не уголовные небылицы о Тате. Оба эпизода способствовали тому, что мои родители стали относиться к Тате теплее: у них создалось впечатление — не лишенное основания — что у нее до сих пор не было настоящего дома и семьи.

У Таты была привычка всем давать прозвища; сама она была «Леопард» или «Пардалис», Миша назывался «Пес», ее брат и сестра вместе были «Зобы», а по одиночке — «Хобот» и «Обезьяна Жако», я же был «Крокодил» или «Инфузориум». Ване и Наде это нравилось, потому что нравилось все, что делала старшая сестра, да Ваня и сам был большой выдумщик на клички и прозвища; мне же эти названия казались натянутыми и вымученными, но я принимал это, как все, что шло из дома Фурсенко. Однако же никогда не называл Тату иначе как Татой, Надю — Надей, Ивана — Ваней. И с Мишей стиль разговора Таты был весь какой-то условно-выспренний; ни словечка не говорилось в простоте, а если и говорилось, то слова употреблялись в ироническом смысле. Но Мише было все равно — его поглощало другое; когда они с Татой сидели на нашем диване, и она была в его объятиях, мне от них становилось не по себе.

Свадьба была в апреле. Часов в двенадцать Миша прибежал из ЗАГС'а и, по-ребячьи, выставил брачное свидетельство под стеклом книжного шкафчика в большой папиной комнате, которая должна была первое время быть отдана молодым, и потом завихрился и исчез. Часов в шесть вечера был обед у Фурсенко. В столовой обеденный стол был раздвинут до крайних пределов и стоял по диагонали, из угла в угол всей большой комнаты; кроме того,

отдельно стоял «музыкантский стол» для младших — для Вани и Нади, для меня, для всей нашей компании и для Алеши. На обед собралось человек сорок Фурсенковской и нашей родни и друзей. А вечером был «бал» у нас; в одной комнате стояли закуски, — как говорил папа, «а ля фуршет», — а в остальных комнатах вся мебель была сдвинута; приглашен был тапер и были танцы. Здесь гостей было еще больше — человек шестьдесят. Всего на Мишиной и Татиной свадьбе побывало человек восемьдесят — такой свадьбы я уже больше не видал. Был здесь и дедушка Алексей Николаевич, степенный, с прозрачным ежиком на большой голове и в золотых очках, и величественная бабушка Ольга Пантелеймоновна с лицом очень правильным, но не доброжелательным, вместе с громкой тетей Верой, и дядя Гуля с очередной женой; и бабушка Мария Ивановна скрывалась где-то в толпе, и Анна Павловна с детьми, и Трусовы, и Воля Харитонов, и Платон Самойлович, и Шура Романовский, и восточники из «Детского сада», и Пиотровские, и Кавуны, и Торочка Ярцева, и две главные татины тети — Евгения Георгиевна и Дина Георгиевна, и многочисленные другие фурсенковские родные, и «старшие» Дьяконовы, и Порецкие, и тетя Соня. Миша был в чем-то красивом, — чуть ли не в папином смокинге, Тата в белой фате, по всем правилам, а я был, по обыкновению, в тяжелых норвежских лыжных ботинках. От шампанского ли или от общего оживления, но я чувствовал себя весело и смело, и даже — нисколько не умея — впервые в жизни пустился танцевать, и отдавил тяжелыми ботинками носки Наталки Кавун; только с Надей было танцевать легко, и я пьянел от успеха своей неожиданной уверенности. И я понял, что люблю ее. Она была в розовом платье и сама вся розовая, в ореоле золотых волос.

Танцевали часов до трех утра, пока невеста не свалилась, в чем была, без сил на мамину кровать; и я подумал, что мне-то и гостям, верно, весело, но так ли должна начинаться жизнь молодых — их первый день, их первая ночь.

А впрочем, я был пьян ощущением родившейся во мне любви, и мне ни до кого не было дела.

Любовь эта начиналась в самых мрачных тонах.

Как-то раз Надя нарисовала акварелью картинку — в большом густом саду в петле висит девушка в розовом платье, с пышными рыжими волосами: опустила голову — лица не видно. Мне стало жутко и грустно — я попросил эту картинку. Надя разорвала ее, но я подобрал кусочек — тот, где была голова среди темной листвы, — и, придя домой, сшил из тряпочек ладанку и, выпросив у мамы сапожный шнурок, положил обрывок картинки в ладанку и повесил на шею.

Я писал стихи, — такие же мрачные, загадочные и печальные, как Надины рисунки.

Стихи прескверные, но, слава богу, в их качестве я нисколько не обманывался. Просто чувства мои были слишком неясны, чтобы их можно было выразить в прозе.

Но не всегда было одно уныние. Первого мая Наде, в числе других учеников их школы, было поручено продавать бумажные красные цветы — не помню, в пользу чего именно. Девочке, конечно, неловко было одной навязывать

цветы неизвестным прохожим, а Надя в своем классе была довольно одинока — и позвала с собою меня.

Мы встретились рано утром, помнится, на Площади Льва Толстого; у Нади была корзинка с кучей бумажных гвоздик; погода была чудная (по крайней мере, для нас), кругом была веселая, оживленная толпа; мы весело двигались сквозь нее, куда нам хотелось; не следовали ни за какой определенной колонной и часто шли навстречу движения людей. Демонстрация была не как нынешняя, а гигантской длины: она заполняла все главные улицы, по тротуарам же стояла в три ряда приодевшаяся толпа зрителей. В колоннах двигались не только транспаранты, но и украшенные кумачом грузовики с ряженными толстыми «капиталистами» в цилиндрах, страшилищами в масках и при уничтожающих мировую буржуазию лозунгах; пели, танцевали лезгинку или гопака.

Мы шли, пьянея от весны, молодости, веселой толпы, от шуток покупателей — корзинка с маками редела, но мы следили, чтобы не все распродать: под фирму общественной обязанности продавать цветы мы прорывались навстречу течению и сквозь милицейские кордоны с конечным намерением — выйти на Дворцовую площадь, к трибунам. Только в проходах между Ламоттовским павильоном и Эрмитажем — с одной стороны, и с Зимним — с другой стояла уже воинская охрана и дальше нас не пустили. Но я еще никогда не переживал такого радостного, такого веселого дня.

18 июня 1930 года, в день моих именин (которые, впрочем, у нас дома не справлялись), Надя зашла за мной на Скороходову 9, и мы отправились с ней гулять по Каменноостровскому проспекту в сторону моста. Шли, как всегда, быстрыми шагами, за руки не держались — мало что и говорили, но, казалось мне, все между нами стало понятно. Этот день я много лет потом справлял; еще тридцать с лишним лет спустя явился внезапно к Наде. И только где-то в шестидесятых годах обратил ее внимание на то, что дата моего ежегодного прихода к ней — неслучайна. И рассказав, разрушил какие-то чары: с тех пор 18 июня я всегда оказывался чем-то занят, и нить моих традиционных визитов оборвалась, хотя изредка мы все еще продолжали встречаться.

Однако, хотя между нами как будто бы установилось взаимное понимание, но наши отношения оставались каким-то неопределенными и еще осложнялись разными мелочами, которым в пятнадцать лет придается такое значение. Раз она зашла за мной и почти сразу ушла. Я пошел за ней, она бросилась бежать — и бежала в полную силу по торцам Каменноостровского до самого дома своего на углу Песочной — а я бежал таким же темпом за нею.

V

Миша и Тата кончили университет, и сначала он, а потом она уехали на работу — в Самарканд; а мы уехали летом на Украину, в Винницу. В белой хате в глубине сада, над большим оврагом, спускавшимся к Бугу, поселилась нас целая большая компания: мама с двумя сыновьями, ее подруга Серафима Федоровна Филиппова с сыном Юрой (постарше меня), и тетя Соня. Потом приехал еще папа и муж Серафимы Федоровны — маленький, тихий

человечек, бывший в доме за хозяйку. Ночью мы лежали в комнатах чуть что не вповалку. Но я жил своей собственной жизнью, и пока взрослые говорили о своем и заняты были своими делами (Серафима Федоровна лечила папу от ишиаса крапивой, тетя Соня раскладывала пасьянсы, мама что-то читала), я забирался на дерево читать «Фауста» или уходил на берег Буга купаться или писать письма Наде. Моим родителям, видимо, казалось, что я скучаю, и они старались придумать мне компанию, но из этого, конечно, ничего не выходило. На другой стороне оврага, в большой, — видимо, прежде господской — белой даче жила знакомая семья Курбатовых; в ней был мальчик Дима, который подружился с Алешей, поэтому Алеше я был, в общем, не нужен. Дима, как и Алеша, увлекался флотом, поэтому у них было о чем говорить и во что играть. В это время я мало вникал в Алешины дела. И я не знаю, почему он тогда, кубарем вылетев из нашего сада, скатился в овраг с воплем: «Несправедливость! Несправедливость!» У друзей Курбатовых, — хозяев дачи, — были две девочки, бледные, красивые, чахоточные подростки. Старшая мне была чем-то интересна — я не знаю, чем; она казалась таинственной, а была, видимо, просто больной. Как-то, когда мы сидели у Курбатовых, зашла речь о том, что на днях в дом приедет еще семья — мать с двумя детьми, из них один — мальчик моего возраста, с которым я должен обязательно подружиться. Я, конечно, твердо решил не иметь ничего общего с хорошим мальчиком, которого мне навязывали. Вообще, жить мне было тошно и без хороших мальчиков.

С Надей мы дружили; она мне писала хорошие, дружеские письма — немножко с иронией; я ей писал письма — не помню какие — вероятно, очень литературные, со стихами, цитатами и философскими размышлениями. Тоска Нади передалась мне очень всерьез — или это моя собственная юношеская тоска — только она выливалась в сознание собственной никчемности, неуклюжести, неприспособленности ни к чему. Я хорошо знал, какой я — такой, как на Надиной карикатуре, где я был изображен злым силуэтом, в попытке танца — с нависшим чубом, с нелепо болтающимися руками, с коряво поставленными ногами в тяжелых лыжных ботинках. Я вспомнил, с каким ожесточенным мучением я пытался соорудить для Алеши линкор из доски — и как это легко и изящно вскоре научился делать сам Алеша; и свой знаменитый пюпитр в Виндерене; и неумение переспорить Ивана, и свое глубокое невежество, которое я лихо прикрывал во-время употребляемыми, случайно запомнившимися с чужих слов необычными цитатами — часто из нечитанных мною сочинений. А тут еще вдруг, среди дружеских, грустных, согревающих писем Нади — письмо охлаждающее, ставящее на место, как тот жест руки, когда я склоняюсь слишком близко. В таком настроении я вышел бродить над оврагом, тянувшимся вдоль нашего и других садов к Бугу. Стояло чудное украинское лето; по склонам оврага мечтательно цвел лилово-голубой цикорий. Навстречу мне, над оврагом, сверху по дороге от колодца за горой спускалась девушка приблизительно моих лет, ловко неся на плечах большое коромысло с тяжелыми полными ведрами.

Я сказал себе — если я сумею пронести это коромысло, значит, я что-то могу, на что-то я еще могу быть способен. Не может быть, чтобы это было

труднее, чем тянуть домой из очереди двадцатилитровый бидон с керосином — это я умею — хоть и с трудом. Если же нет, — если я не могу снести двух ведер воды — то жить больше не надо.

Подойти и заговорить с чужим человеком — да еще с девушкой — было очень трудно. Но тут было не до стеснения. Я готовился к более решительному шагу, чем разговор с незнакомой украинкой. Я решительно подошел к девочке и сказал ей:

— Дайте мне понести Ваши ведра.

— Зачем? — спросила она с удивлением.

— Так. Мне надо. Зачем Вам нести, я могу.

— Та Вы не сумиете.

— Я очень прошу, дайте попробовать, — сказал я, приходя в отчаяние от ее слов.

— Ну що же, пожалуйста?.. — Я с трудом, неловко взвалил себе на плечо коромысло и сделал два шага, кривясь от тяжести и расплескивая воду.

— Нет уж, давайте я, — сказала девушка, решительно забрала у меня ведра, и пошла вниз, легко и грациозно ступая по каменистой тропке босыми ногами, как будто не чувствуя груза тяжелого коромысла.

Я стоял, глядя, как ее фигурка исчезает внизу, и потом мрачно двинулся к Бугу.

Недалеко от нас, чуть правее нашего оврага, был наплавной белый мост, ведущий в город, поднимавшийся за ним по склону, к высокому зданию гостиницы — «Готель Савой». На мосту была водружена белая вывеска: «На мосту іхати тихо» — или, как говорил юморист Юрий Филиппов — «На мосту икать тихо». (Этот мост был постоянным предметом его шуток, которые он выпаливал быстро и серьезно, и сюжетом его веселых карикатурок, изображающих утопающих и милиционеров). Все это мне вспомнилось, когда я стоял, опершись над темной водой Буга на белые перила. Мне не нужно было, чтобы смешной милиционер бросал мне в голову шар с восклицанием: «мсть в голову, чтобы меньше мучился», как это изображал Юра. Я дожидался, пока на мосту станет пусто, и думал: неужели это я решился, и сейчас в эту воду? В этот самый момент на мосту появился сам Юра.

— Ты что это? Куда собрался?

На миг я хотел сразу же броситься через перила, но сообразил, что Юрка отличный пловец и все это будет чистый водевиль. И поэтому ответил небрежно и шутя:

— Так вот, утопиться задумал.

— Для того чтобы утопиться, — заметил Юрий,— надо хорошо плавать. А то будешь барахтаться. Вообще утонуть нельзя, если не знаешь как.

— Однако же, многие тонут.

— Ну, это они рот разевают. Наглотаются, и тогда — тяжелее воды, пожалуйста. А так человеческое тело легче воды. Да тут и не глубоко. Пошли в город?

И мы пошли — по главной улице, где через дом встречались почему-то только две одни и те же вывески: «Продаж жіночіх капелюхів» и «Продаж трунів» — как будто жители города только и покупали, что дамские шляпки

да гробы. Да еще на краю «Ерусалимки» висела гигантская вывеска:

Кравець

Затем, когда вы входили во двор, была другая вывеска, поменьше:

Портной

И пока вы шли по закоулкам двора, за каждым новым углом вас встречали все более мелкие вывески, гласившие то «Портной», то «Кравець», пока, наконец, в тупике, на двери, Вы не натыкались на совсем маленькую вывеску-записочку (вроде «ушел в булочную, буду через полчаса»):

портной укис

Укиснувший портной! — какая тема для каламбуристической музы Юркиных карикатур!

Дальше начиналась «Ерусалимка» — страшная улица еврейской нищеты. Мне уже трудно сейчас описать, как она выглядела. Я помню какое-то нагромождение лачуг, какие-то двухэтажные деревянные галереи — и впечатление нечеловеческой тесноты, вони и грязи — и бесконечные оборванные, горластые ребятишки, и какие-то женщины, и сапожники, и тряпичники, и разные бородатые, пейсатые евреи в чистых, поношенных черных лапсердаках и черных фуражках, степенно среди страшного смрада и гомона обсуждающие какие-то важные дела на идиш. Всего этого нет — кто не выбрался в люди с помощью советской власти, не уехал — тот расстрелян, сожжен, задушен в душегубках — и эти старики, и эти женщины, и детишки.

«Ерусалимка», как и полагается кошмару, лежала где-то сбоку. А город был, в общем, чистый и приятный. Но — с провинциальными смешными картинками. Вокзал, как обычно в русской провинции, лежал в стороне от города; туда полз — очень долго — маленький полупустой трамвайчик. На своем пути, на самой большой, поросшей кое-где травкой площади, окруженный венком одноэтажных мастерских и лавчонок, он внезапно останавливался. Пассажиры высыпали на площадь. Что такое? Свалилась дуга. Дело было, видимо, обычное: украинец-вагоновожатый привычно высовывался в окошко и скричал:

— Сруль!

— Сруль!

— Сру-у-уль!

После третьего крика и третьей паузы из сапожной мастерской выскакивал босой человек в черной фуражке и грязной розовой косоворотке, забирался на крышу вагончика, — и трамвай ехал дальше, с дугой, подпираемой находчивым Срулем.

Дня через два я лежал после купания на зеленом берегу Буга, как обычно — отдельно от всех, отгороженный кустами ивы или ракиты (бог ее знает) и от реки и от своих. В это время сверху, с речной террасы, спустился курчавый мальчик моих лет, — но меньше меня, — с необыкновенными, огромными глазами, опушенными темными ресницами. Разделся и лег поодаль от меня.

Лицо его было такое, что я ясно понял, что это и есть хороший мальчик, которого мне сулили. Но мне он чем-то понравился, и я подумал, что,

наверное, он не так уж плох. Или я ничего не подумал, а просто стало скучно лежать одному. Я заставил себя заговорить с ним.

— Вы живете в доме ...ских?

— Да, а что?

— Вы, наверное, тот самый хороший мальчик, с кем мне велено дружить, — но только я не имел намерения следовать этому повелению?

— И мне тоже велели с кем-то дружить — наверное, с Вами. И я тоже не испытывал ни малейшего желания.

Мы оба засмеялись — я и Котя Гераков незаметно подружились.

У Юры Филиппова была тайная мечта — он хотел стать археологом. Это было мне интересно — близко моим собственным мечтам, хотя Юра увлекался больше людьми каменного века, а я древними цивилизациями. Как раз в эти дни Юра, облазав подробно купленную перед отъездом карту-трехверстку Винницкой области (или тогда еще губернии — не помню) нашел на ней несколько археологических объектов. В страшную июльскую жару мы ходили с ним километров за двадцать разыскивать курган в степи. Курган мы разыскали, — он зарос высокой пшеницей, и копать его было все равно нельзя. Теперь Юра сообщил, что километрах в четырех-пяти выше от нашей дачи по Бугу есть старая крепость Богуна — сподвижника Богдана Хмельницкого. Надо ее исследовать. Он объяснил нам, что любительские раскопки запрещены, да и могут только испортить памятник, — но что составить план крепости стоит: это может иметь важное значение. Мы решили организовать экспедицию. Встретив во второй или третий раз на берегу Буга своего нового приятеля Котю Геракова, я предложил и ему участвовать в ней. Остальные участники были Алеша и еще один мальчик; откуда он взялся — уже не помню.

Старая крепость лежала в густом лесу на крутом берегу Буга. От ее стен остались только земляные валы и рвы, которые с большим трудом можно было проследить среди густой заросли и колючих кустов. Снимали мы план по всем правилам — Юра соорудил планшет, ориентировались по компасу. Попутно мы хорошо полазали по лесу, поели лесной малины, порвали брюки, поцарапали немало рук и ног — но дело свое сделали за неделю. Каждый день, возвращаясь из похода, мы являлись пыльные, усталые, веселые, с лопатами на плечах, под марш: «Штанами на солнце сверкая...»

Винницкое пребывание кончилось весело, интересно и с пользой: план крепости был сдан в Государственную Академию истории материальной культуры, и у меня появился новый друг.

Котя Гераков очень привязался ко мне и — совершенно неожиданно — оказался искренним поклонником моих стихов, когда я как-то решился их прочесть ему.

Это было мне немного странно (я справедливо считал свои стихи плохими), и очень лестно. Что бы я ни нафантазировал в литературном плане — например, я то собирался писать роман о гибели богов на фоне современной войны, то современного «Фауста» — все это находило у Коти горячее сочувствие и полное одобрение. Перед ним я безболезненно мог распускать свой павлиний хвост — Ваня бы этого мне не позволил.

Приходя к Коте на Надеждинскую (теперь улицу Маяковского) — я всегда

тут же забирал его бродить по улицам. Много было исхожено улиц, много прочитано стихов. С ним мы вели и политические разговоры — пытались представить себе судьбы Европы и мира, рассчитывали, через сколько лет можно ожидать революции в Германии, и какие это будет иметь последствия для скорейшего наступления мировой революции; и обсуждали, вызовет ли это мировую войну, или капитализм будет поставлен этими событиями в такие условия, что не сможет развязать ее.

Хотя в нашей дружбе лидерствовал я, но это не значит, что Котя был мой поклонник и только. Как ни лестно было его отношение ко мне, но он был мне дорог и нужен не поэтому — или не только поэтому. Он был мне равный, одинаковый со мною. И помимо этого меня завораживала самая его судьба, трагическая, как его глаза и глаза его матери. Дело в том, что Котя был сыном расстрелянного.

Жуткое присутствие смерти, с раннего детства холодившее и парализовавшее меня, должно было жить в его доме с утра до поздней ночи, каждый день, зимой в Ленинграде и летом в Виннице, следовать за ним в школу и на улицу, быть с ним, когда он смеялся и когда он смотрел на сестру и на мать. Так я думал.

Тогда еще — несмотря на недавнюю гражданскую войну — дети расстрелянных встречались редко. Куда они девались? Или погибли, или бежали, — или просто не попадались мне на глаза.

Я знал о его отце не от него, а от Курбатовых. Он об этом не говорил.

Отец его, Николай Николаевич Гераков, был из старого дворянского рода, где все старшие из поколения в поколение были Николаями (поэтому и мой друг был Котей: чтобы отличить его от отца — Коли; но это отличие не надолго потребовалось). Николай Николаевич-старший — дед Коти, был воспитанником Училища правоведения — одного из самых реакционных учебных заведений царской России, того самого, которое готовило салтыковских «помпадуров» — и в начале революции был расстрелян, как почти все правоведы. Гераков-отец был замешан или считался замешанным в какой-то контрреволюционный заговор — едва ли не тот самый, в котором будто бы принимал участие и Н.С.Гумилев.

С течением времени я с удивлением заметил, что Котя вовсе не одержим каждодневно мыслью о своем отце и своей судьбе; что он — как все. Правда, он, конечно, отдавал себе отчет в том, что он не как все в смысле своих жизненных возможностей; что, например, ему не придется учиться в Университете, что жизнь ему предстоит трудная, что быть ему в нашем обществе вроде как бы изгоем, и в то же время кормильцем матери и сестры. Но повседневное между тем шло у него как у всех интеллигентских мальчиков нашего возраста. И не было в нем никакой озлобленности, и о мировой революции он думал точно так же как и я, считал ее неизбежной и необходимой.

С Ваней и Надей я Котю не познакомил. Это было особое. Уже одно предположение, что он мог их не понять и они могли ему не понравиться, было достаточно для того, чтобы держать эти две стороны моей души врозь.

О Наде Котя знал только по стихам.

VI

Не нужно думать, что если лирическая тоска Винницкого лета кончилась веселой игрой в археологию, то моя любовь была делом детским и несерьезным. В моей жизни была потом и более глубокая и всепоглощающая любовь, но и эта никогда не забывалась. А тогда я любил — очень. Может быть, Надю никто не любил потом так, как я тогда.

А остальная жизнь шла своим чередом. Разыгрывались игры в страны Верена, читалась древняя история Востока. И своим особым путем — известным только Алеше — шло сладкое, тяжкое, мучительное и грешное внутреннее развитие.

За лето в стране произошла между тем очередная реформа школы.

В течение последних нескольких лет шла ее политехнизация; школа, наряду с общим образованием, должна была теперь готовить и к производственному труду. Поскольку же число общеобразовательных предметов сравнительно ограничено, а производство почти бесконечно разнообразно, постольку каждая школа получила свой особый производственный «уклон». Были школы со слесарным, с токарным, с портняжным уклоном. Одна из соседних школ на Петроградской стороне была даже с пекарским уклоном.

Общеобразовательные предметы, впрочем, тоже претерпевали изменения. Так, из курса была исключена история, замененная обществоведением — довольно неопределенным винегретом из политической экономии и исторического материализма; а из собственно истории учили только про первобытный коммунизм и затем сразу начинали с промышленного переворота в Англии и Парижской коммуны.

Одновременно вводились изменения и в методы преподавания. Как действовал введенный «бригадно-лабораторный метод» — я расскажу вскоре. Как уже говорилось, еще начиная с середины двадцатых годов было введено школьное самоуправление, и ШУС — орган этого самоуправления школьников — имел формально равные права с педагогическим советом, а фактически — часто большие. В школах развернулась «классовая борьба», и многие старые гимназические учителя были выброшены из школы. Как обычно бывает в таких случаях, выгнали часть тех, кого действительно следовало выгнать, и многих из тех, кто вызвал классовый гнев учеников (или сослуживцев) либо более или менее случайно, либо в порядке сведения счетов — главным образом выгоняли слишком хороших учителей. Часть тех, кого следовало выгнать, вовремя перестроилась и стала рьяными поборниками новых порядков, — изредка потому, что считала: «чем хуже, тем лучше», а чаще всего — из карьерных соображений и «страха ради иудейска» — что, между прочим, значит «из страха перед иудеями», то есть перед духовными властями в евангельской римской Палестине.

Все это движение по перестройке школы, выражавшееся в почти ежегодных официальных реформах, дошло осенью 1930 года до высшей точки. Было объявлено о закрытии старших классов «единой трудовой школы» (продолжавшей старую гимназию), как дающих буржуазное воспитание, не соответствующее задачам политехнизации и подготовки кадров для строящейся промышленности. Ученикам было предложено перейти в техникумы. Но в

виде компромиссной меры в каждом районе была оставлена одна школа, в которой сохранились восьмой и девятый классы (тогда это были последние классы школы); родители, желавшие, чтобы их дети окончили по старой программе, могли — с некоторыми трудностями — перевести их в эту школу.

На Петроградской это была 176-ая единая трудовая школа, помещавшаяся в большом голубом здании на набережной у Сампсониевского моста (Мост Свободы), где теперь (после Отечественной войны) Нахимовское училище.

Вполне естественно, что — помимо небольшого контингента учеников из окрестностей этой школы (из «микрорайона») — сюда перевелись из других школ преимущественно дети интеллигенции.

Сюда был зачислен (на этот раз без всяких экзаменов, которые в системе «бригадно-лабораторного метода» были отменены) и я.

Может быть, я и дальше продолжал бы учиться дома, но, во-первых, надо было получить аттестат о среднем образовании — мне полагалось уже быть в последнем, девятом классе школы; а во-вторых, стало ясно, что мы за границу уже больше не поедем.

Я уже писал о том, что папа после возвращения из Норвегии был зачислен в ленинградскую контору треста «Экспортлес» с тем, чтобы познакомиться с лесоэкспортным делом для будущей работы в советском торгпредстве в Англии. Однако обстановка складывалась так, что было очевидно — беспартийного «старого специалиста» из буржуазной интеллигенции теперь за границу не пошлют.

Не помню, в том году или в следующем происходила очередная чистка советского аппарата. Выглядело это так: создавалась комиссия по чистке (по-видимому, райкомом партии) из незаинтересованных лиц, по большей части рабочих из другого предприятия. Эта комиссия просматривала личные дела и все те материалы на каждого сотрудника обследуемого учреждения, которые могли поступить (естественно, что в это время в комиссию сыпались жалобы и доносы). Затем на общем собрании учреждения каждый сотрудник по очереди должен был выступить, рассказать свою биографию и различные обстоятельства своей жизни и работы, и затем ответить на вопросы, задаваемые комиссией и желающим из публики (устные и письменные). Вопросы были самые разные: тут была и «политграмота», и международное положение, и разные каверзные вопросы по биографии проходящего чистку. Затем комиссия выносила решение «считать прошедшим чистку» или «вычистить»; последнее решение имело несколько «категорий». Вычищенный по первой категории увольнялся с работы без права поступить на работу в советские учреждения. Что это собственно значило — не совсем ясно, потому что в начале тридцатых годов никаких других учреждений, кроме советских, не было. Другими словами, вычищенному по этой категории предлагалось либо воровать, либо скрывать свое прошлое — при раскрытии которого он увольнялся с работы уже автоматически, так как считалось, что он «пролез», «примазался» и «скрыл свое классовое происхождение». Впрочем, для таких людей дело обычно, кажется, кончалось высылкой под надзор, а там уж был свой порядок принятия на работу. Вычищенный по второй категории тоже увольнялся, но какие-то права на работу ему сохранялись. Была еще третья и, если я правильно помню, четвертая категория. Все они были связаны с

позором для вычищенного, но последствия для его дальнейшей работы были сравнительно милостивы. Главные поводы для чистки были биографические или генеалогические: почти без исключения, — если не было особо смягчающих обстоятельств, — вычищались все дворяне (не говоря уж о бывших царских и белых офицерах, бывших крупных чиновниках и, тем более, жандармах), бывшие члены всех партий, кроме большевистской, а позже — участники различных партийных оппозиций; вычищались кулаки и их дети, священнослужители и их дети, и тому подобное. Наряду с этим вычищались пьяницы, морально разложившиеся люди (в то время это не значило, как в пятидесятых-семидесятых годах, что человек просто разошелся с женой или имеет любовницу: термин понимался в прямом смысле); наконец, люди, нелюбимые в своем учреждении и такие, с которыми сводили счеты. Само собою разумеется, что нередко обвинения было трудно проверить; в таких случаях обыкновенно считали — вернее будет вычистить.

Под такую-то чистку попал и мой папа. Правда, он не был ни дворянином, ни купцом, ни кулаком, ни офицером, ни сыном священника, ни сыном раввина, ни сыном жандарма; однако отец его был членом правления большого банка, а главное — и это, почему-то, обычно производило больше впечатления — надворным советником (члены комиссии, по-видимому, смутно представляли себе это так, что папин отец что-то кому-то советовал; на самом деле это был один из самых мелких чинов) и, мало того, имел «Орден Бухарской звезды». Тщетно было бы объяснять комиссии, что «Бухарская звезда» — самый пустой орден, какой только может быть, — нечто вроде «Ордена Ишак» у Салтыкова-Щедрина. Так или иначе, папу вычистили по какой-то там третьей или четвертой категории. Правда, потом вышестоящая комиссия отменила это решение, и перед папой извинились. Но он понял, что в «Экспортлесе» дольше работать ему невозможно. Он ушел оттуда и вскоре поступил главным редактором в издательство «Academia», выпускавшее роскошные издания классиков. Дело в том, что к этому времени он был хорошо известен в литературных кругах как один из лучших в Ленинграде переводчиков и редакторов.

Итак, наши путешествия кончились, — ни о каких отъездах давно уже разговоров не было. А нашу советскую школу надо было окончить так или иначе. О техникуме я слышать не хотел, и мои родители, зная характер моих способностей, о нем тоже не думали. Поэтому они добились моего зачисления в девятый класс 176-ой школы.

Ваня в это время уже благополучно успел поступить на биологический факультет Университета, а Наде, как и мне, надо было еще кончить девятый класс. Поэтому — к моей радости и волнению, — и она тоже попала в ту же 176-ю школу. Я представлял себе, что теперь мы будем видеться ежедневно, и в то же время беспокоился — не будет ли неловкости друг перед другом от моих неуклюжестей и от ее пробелов в знаниях. Но и радость и беспокойство были, как вскоре это будет видно, напрасны.

В день начала занятий нас всех собрали в какой-то большой пустой комнате. Собрание проводила немолодая, усталого вида учительница русского языка. Она объяснила нам задачи школ с сохранившимися восьмыми и

девятыми классами — я не очень слушал и не запомнил, что она говорила. Поразила меня только одна фраза:

— Ввиду многочисленных реформ программы вы не должны рассчитывать, что школа выпустит вас полностью грамотными по русскому языку.

От такой декларации я, что называется, «закачался». Но в дальнейшем выяснилось, что это было еще слабо сказано.

Нас разбили на три параллельных класса. Я уже успел познакомиться с несколькими мальчиками и девочками, державшимися вместе; оказалось, что все они из 190-й школы — бывшей «Лентовской гимназии», той самой, где учился Миша и куда мечтал попасть и я. Об этом я им и сказал, и они посоветовали держаться с ними. Мы все попали в 9-б класс. Надя сидела в стороне и держалась как незнакомая. Она попала в другой 9-ый класс, и не видно было, что она этим огорчена.

Новая школа удивляла меня на каждом шагу. Во-первых, не было постоянных классных помещений — мы кочевали по верхнему этажу из кабинета в кабинет, где стояли довольно обшарпанные и разношерстные столы, парты, стулья и скамьи. Во-вторых, если в начале было что-то похожее на уроки, то постепенно всякое сходство с уроками исчезло. Отметки не выставлялись; занимались мы «бригадами» — садились группками за столы, каждая группка вокруг одного учебника, и долбили его — или делали вид, что долбим. На переменках хотели — выходили в коридор, не хотели — болтали в классе. На уроках немецкого языка нагло играли в «словесные» игры, и в спорных случаях подзывали учительницу в качестве арбитра, на что та робко говорила:

— Вы бы хоть в немецкие слова играли.

За год сменилось шесть математиков и пять учителей физики — кто-то был уволен по анкете, а кто-то не хотел оставаться работать в «обреченных» девятых классах, тем более, что восьмые — ниже этажом — закрыли среди года. На этом, между прочим, окончилось школьное образование Коти Геракова, попавшего в такой остаточный восьмой класс.

Несколько человек из восьмых классов перевели среди года в девятый — не за особые успехи (все равно где было бездельничать — в восьмом или девятом), а потому, что их родители захотели и смогли избежать перевода ребят в техникумы, которые не пользовались популярностью у интеллигенции.

Мне смена учителей была на руку, так как я был совершенно не подготовлен к программе 9-го класса. Каждый новый математик вызывал учеников к доске, начиная с буквы «А», и до «Д» успел дойти только один. Я был вызван к доске, что-то промычал нечленораздельное и был отпущен. Кирилл Гришанин учил меня физике, а по математике как-то не успел подготовить, и я застрял на том, что проходил в Норвегии — где-то около умножения многочленов и не доходя до Пифагоровой теоремы. Поэтому синусы, тангенсы и логарифмы, которыми здесь оперировали, были мне совершенно незнакомы. А так как я, будучи близорук, отсиживался на «камчатке», то и не имел даже приблизительного представления о том, что делалось на доске.

Из учителей мне запомнилось только трое-четверо.

Во-первых, заведующая школой — Фаина Моисеевна Пугач. Она преподавала у нас — или вернее делала вид, что преподает — обществоведение. Про нее ходил слух, что она выдвиженка из уборщиц. Не знаю, так ли это было, но это вполне возможно. Ходила она в красном кумачовом платке на седых волосах и занималась больше общественной работой и классовой борьбой, чем преподаванием. На урок она обычно являлась назадолго до звонка; не помню, чтобы она что-нибудь сообщала по программе. По большей части она ораторствовала, сверкая на нас большими, злыми, впалыми глазами. Например, она объясняла нам, что мы должны следить за дисциплиной учителей и немедленно сообщать ей об их опозданиях, а также о политических ошибках; или она сообщала нам, что школа не может уделять нам, буржуазным сынкам, классово-чуждым, особого внимания, так как главное внимание будет уделяться пролетарским детям, учащимся в младших классах. Главной ее заботой было еженедельно возобновляемое и вывешиваемое на видном месте расписание. Под конец года за целый день хорошо если бывал хоть один урок. Математики и физики окончательно разбежались, а учитель черчения, дав нам всего один урок, вскоре после Нового года умер. Но в еженедельном расписании, к нашему превеликому восторгу, значились даже в большем количестве, чем раньше, и физика, и математика, и черчение. Дело в том, что по вечерам в нашей школе занимались рабочие курсы, и перед ними нужно было показать бурную работу школы.

Во-вторых, учитель естествознания, Яровой. Он почти единственный из всех учил нас по-настоящему (генетике), — несмотря на то, что по его предмету «бригадно-лабораторный» метод проводился наиболее последовательно. Помню, как меня глубоко поразила основательность учебников по биологии и физиологии после примитивных и поверхностных учебников норвежской школы, — да, впрочем, и все учебники содержали очень много подробных сведений, по-видимому, с учетом последнего слова науки. Запомнились устные уроки Ярового, в те довольно короткие минуты, когда он говорил, а не предоставлял нам, согласно правилам «бригадно-лабораторного» метода, читать, — мы сидели, раскрыв рот.

Лишь много позже я понял, что преимущества наших учебников по сравнению с норвежскими были во многом кажущимися. Все, что я учил в Норвегии, я запомнил на всю жизнь, — хоть ночью разбуди, я могу перечислить реки Франции или норвежских королей; а из того, что было в наших советских учебниках для девятого класса, не запомнилось почти ничего: какие-то обрывки — механизм уставания мышц, доминантные и рецессивные признаки, наследуемые по закону Менделя (да и то это я, скорее, запомнил по книге Филипченко, которую читал в Виннице; тогда менделизм еще не был осужден). Что еще? Там было и о доменном процессе, и о полезных ископаемых в разных странах; всего этого нельзя было запомнить, как ни интересно это было; впрочем, не все было и интересно, — например, я и до сих пор не пойму, зачем в нашей школе учат экономическую географию со всеми ее цифрами и процентами; ведь в школе надо давать те знания, которые должны остаться неизменно на всю жизнь, а это и запомнить возможно только до вызова к доске, и будет меняться в течение всей жизни из года в год.

Возвращаясь к Яровому, надо сказать, что он еще потому был популярен,

что держался с нами как-то подчеркнуто близко, даже, пожалуй, запанибрата; девочки были в него чуть-чуть, — а может быть, и не совсем чуть-чуть, — влюблены, и он явно работал на публику.

Всеобщим любимцем был и учитель физкультуры, Григоров; он учил с увлечением, весело, большинство мальчиков было спортсменами, и им он нравился. Меня же и еще двух-трех астеников он не донимал, — и поэтому он нам тоже нравился.

Еще была маленькая, молодая учительница химии, отважно учившая нас, как ни в чем не бывало, почти без приемов «бригадно-лабораторного» метода — правда, и без опытов, так как их не на чем было ставить.

А в целом нам было не до уроков, и администрации было не до уроков, и учителям было не до уроков. Мы развлекались, начальство делало карьеру, учителя думали о том, куда итти работать, когда закроют девятые классы...

В том году всевластие ШУС'ов кончилось: вводилось единоначалие заведующего школой. Была комсомольская организация, комсомольские собрания, — но чем они занимались, я не знаю; до нас они не касались. Класс резко делился на комсомольцев и интеллигенцию. Вожаком комсомольцев была Маруся Шкапина; она ходила в «юнгштурмовке», глядела на нас сжигающим взором небывало голубых глаз и с нами не разговаривала. Большинство комсомольцев казалось мне довольно неинтересными, мало способными ребятами. Им до меня не было дела, а мне до них. Ярче других был Александр Цейтлин. Цейтлин был из интеллигентов, а комсомольцем был из карьерных побуждений. Его демагогия и подхалимство, коварная ласковость и легкость в предательстве до того бросались в глаза, что иметь с ним дела не хотелось никому.

Ребята из 190-ой школы составляли ядро интеллигентской части класса. Душой их был маленький, большеглазый, курчавый и русый Оська Финкельштейн. Щуплый, некрасивый, рябоватый и с дурными зубами, он не мог завоевать популярности успехами в спорте или томными взглядами в сторону девушек; зато он был неистощимо остроумен; он не пленял сердец, но забавлял; и стал бы клоуном класса, если бы не был всех умнее. Острил он с каменным лицом, задумчивым, немного протяжным голосом; и ему принадлежало решающее слово во всех затеях и конфликтах. Впрочем, он был скептик и, может быть, немного циник — таков был, в общем, дух всей этой компании.

Другой, которого тоже любили, не влюбляясь, был Сережа Лозинский, сын знаменитого поэта-переводчика. Самый длинный в классе, — неуклюже-длинный, с длинным, неподвижным лицом, которое только изредка дрогнет, и на нем появится добрая улыбка, — он отличался большими странностями. То, бывало, он выбрасывает из себя одну остроумную реплику за другой, — какие-то сравнения и цитаты ужасно к месту, — а был он необыкновенно начитан и образован; а то молчит, не отвечает на обращенную к нему речь, как будто не слышит и не видит тебя. Он был блестящий математик, и вообще все знал, и ребята часто — особенно в начале, пока в школе еще *учились*, — прибегали к нему за помощью, и он охотно всем помогал; но в то же время он был вечной мишенью разных розыгрышей и проделок. Не хуже других, он играл с ребятами в «очко» и принимал участие в общем трепе и прочих

затеях — кроме спортивных. «Очко» было очень распространено в классе, и Сережа Лозинский был одним из сильных, отъявленных картежников; как-то раз кто-то его встретил уже под утро на Каменноостровском — он шел, и на лице его была написана твердая решимость. Оказалось, что он играл всю ночь у кого-то из товарищей, и только что дал зарок бросить карты.

Оська и Сережа придавали компании прелесть, одухотворяли ее, делали ее веселой и остроумной; но костяк составляли не они. Это были Вовка Касаткин, Володя Толяренко, Димка Войташевский и Коля Зеберг, не претендовавшие ни на высшую интеллигентность, ни на особую тонкость остроумия. Это были способные ребята, спортсмены, хорошие, дружные товарищи. Девочки влюблялись именно в них.

«Жён-премьером» компании был Вовка Касаткин, черный, с союзными бровями, ловкий, порядком циничный, немного свысока смотревший на таких как Оська или я, да и на Сережу. Многие девочки вздыхали по нем, но роман у него был с Милой Мангуби, переведенной среди года из 8-го в 9-ый класс, тоже из компании 190-й школы, — хорошенькой караимкой, но несколько чужой не только для комсомольцев, но и для нас, — потому что делала маникюр и (вне школы), по слухам, красила губы, хотя в этом не было ровно никакой необходимости.

К этой компании тянулся и я, и еще кто-то из ребят: наивный и веселый Кирилл Шуркин и русский богатырь Вася Скачков.

О Скачкове мне хочется рассказать подробнее. Высокий, добродушный, с белыми как лен волосами, с огромными ручищами, он был очень способным, особенно по математике, но с интеллигенцией он не имел ничего общего; зато по ходу его разговоров было видно, что он хорошо знает крестьянский быт; было непонятно, почему он тянется к нам; и вообще, в его жизненной позиции для меня было что-то загадочное. Я тоже невольно тянулся к нему, как тянутся юноши к тем, кто близки им по годам, но старше по опыту. По анкете он был крестьянин-середняк. Я как-то был у него дома, и был поражен увиденным: в большой, пустой комнате где-то на чердаке бывшего доходного дома человек десять-пятнадцать спали вповалку на полу; вещей не было никаких; было ясно, что в городе эта семья — оторванная от корней. Вася очень неясно говорил о том, как попал в город, и вообще не любил упоминать о себе и своих. Числился он комсомольцем, но держался в стороне от комсомола, всегда с нами. Мне он сказал, что когда наша комсомольская организация снималась на групповую фотографию, он, когда фотограф нажал на спуск, присел в заднем ряду, чтобы не попасть на снимок. Меня это покоробило — если тебе неприятно быть среди комсомольцев, зачем же вступать в комсомол? А в то же время не было более доброго и верного товарища, более добродушного, дружелюбного парня, чем Вася Скачков. Он, один из немногих, учился серьезно и упорно, и во всем был необыкновенно добродетелен. Когда мы с Сережей Лозинским выпустили рукописный сборник афоризмов и стихотворных эпиграмм, посвященных всем рабятам класса (не исключая и самих себя), то Скачкову Сережа посвятил латинскую (!) эпитафию Ньютона «Да поздравят себя смертные, что толикое существовало рода человеческого украшение». Но если Сережа Лозинский поражал нас латинскими цитатами, то Вася Скачков лишь втайне мне, как лучшему

другу, показывал свои русские стихи... в них не было ни складу, ни ладу, ни смысла, ни элементарной грамотности; такие стихи идут потоком в литературные консультации; уж не помню, какие вежливые замечания о русском стихосложении я сделал Скачкову.

О том, как решал Вася Скачков вопрос о своих взаимоотношениях с советской властью, мы тогда ничего не знали, а я узнал кое-что позже. Но, хотя это никогда не было предметом разговора, проблема эта стояла и перед всеми нами.

Мы, конечно, были все за советскую власть, в этом для нас не было сомнения. Правда, мы позволяли себе вольности — отлынивали от обязательной для всех общественной работы, шутили над социологией, проводившейся в уроках русской литературы, — Сережа Лозинский однажды сочинил четыре равно убедительных варианта социального анализа «Преступления и наказания»: Раскольников — представитель дворянства, Раскольников — представитель разночинной интеллигенции, Раскольников — представитель крепостного крестьянства, Раскольников — незаконный сын Николая I; а я написал анализ «Войны и мира» нарочно так, чтобы в нем не были упомянуты ни Наташа, ни Пьер, ни князь Андрей — и удостоился одобрения учительницы, которая этого не заметила. На первомайской демонстрации, — на которую тогда ходили и школьники, — мы дерзко маршировали под фокстрот «Парагвай»; и в то же время все девочки явились в красных косынках, и этот жест был вполне искренен: мы были за советскую власть.

Но похоже было на то, что советская власть была против нас, — по крайней мере, если ее представляли Пугачиха и комсомольская организация. От нас не скрывали, что мы — буржуазные сынки и классово-чуждый элемент; Борис Бодаревский общался с нашей компанией не без известной осторожности, а еще один парень, Суриков, которого мы привлекли художником к изданию нашего классного сатирического журнала, о котором я еще расскажу, — являлся к нам уже совсем тайно, под страхом больших неприятностей.

Вопрос об отношении к комсомолу был внутренне довольно мучительным для меня, — и, наверное, для всех нас. Вступление в комсомол, как и в партию, рассматривался у нас дома и в нашей компании как проявление карьеризма, если не прямого предательства, — ведь именно партия и комсомол были орудием утеснения интеллигенции. Но, с другой стороны, если мы — за советскую власть, если мы считали в целом справедливым то, за что она борется, — то как же стоять в стороне от комсомола и партии? Дело решалось главным образом тем, что от комсомольца, по нашим понятиям того времени, требовалась, прежде всего, самоотверженность, способность ставить интересы партии выше всех других, — а требования партии чаще, чем официально признавалось, вступали в противоречие с личными интересами, связями, привязанностями и вкусами; ни я, ни большинство из нас не были способны на такую самоотверженность; уподобляться же Цейтлину, пошедшему в комсомол по карьерным соображениям, мы не хотели. Впрочем, думаю, что так рассуждали не все; некоторые, например, не вдавались в глубокие принципы, а просто держались со своей компанией. Но для меня было ясно, — если вступать в комсомол, так уж по-настоящему; а для этого мне было необходимо не только верить в общую идею коммунизма, но и во

все мероприятия партии и правительства, которые мне придется самому проводить в жизнь. Многие тогда преодолевали эту трудность верой в то, что коллективная мудрость сосредоточена в Центральном Комитете, и поэтому партия умнее отдельного человека: если тебе что-то кажется неправильным, то это по твоему неразумию: партия, Сталин знают лучше. Другими словами, они приобретали необходимую уверенность в правильности всего, что предписывает партия, ценой отказа от своего суждения. Для меня это было невозможно. Кажется, как раз в этот год шел процесс вредителей — «Промпартии», — и по всем заводам, фабрикам и учреждениям еще до самого процесса проводились митинги с требованием расстрела обвиняемым; проводились они и у нас в школе по классам, и это утвердило меня в решении не вступать в комсомол: побуждать детей, чтобы они требовали смертной казни кому бы то ни было, да еще до суда, показалось мне безнравственным, а суд, находящийся под влиянием таких официозных требований, казался мне неправосудным, и я понял, что таких требований партии я выполнять не смогу; а значит и делать мне в партии и в комсомоле нечего. Я формулировал это для себя так: я за тот общий ход исторического развития, которому способствует коммунистическая партия и советская власть, но я не за все частности проводимой для этого политики; мне казалось, что частности возможны и другие. При этом совесть моя перед советской властью была чиста: я, как и все интеллигенты того времени, наивно считал, что от нас требуется только лояльность.

Кроме этих общих, была еще и другая причина, мешавшая мне вступить в комсомол. Комсомолец, член партии должен был безоговорочно склоняться перед волей партии; это, может быть, было и правильно, но беда-то в том, что на практике «партия посылает тебя» означало «тебя посылает наша партийная или комсомольская организация», а это, в свою очередь, означало, что мне придется склоняться перед волей не партии, а Маруси Шкапиной, Сашки Цейтлина, и других, — людей, ум и чувство справедливости которых я не мог уважать.

Все это решалось более инстинктивно или чувством, хотя и не без некоторых сознательных размышлений. Как сказано, в школе мы больше развлекались, — и чем дальше шло время, тем меньше было занятий и больше развлечений. Под конец уроков почти не было, но мы все же почему-то регулярно ходили в школу, хотя кое-кто уже позволял себе являться и к одиннадцати и даже к часу.

Сначала Сережа Лозинский импровизировал применение цитат из классиков, в виде афоризмов и эпиграмм, к нашим учителям и соученикам; я в это тоже включился, потом записал все это в виде рукописного сборника афоризмов. Это подало Оське Финкельштейну идею издавать журнал. Комсомольцы иногда — к большим праздникам и довольно вяло — издавали обязательную стенгазету; она была очень неинтересной, влачила жалкое существование, да и то вышло всего два или три номера. Юмористический журнал, — и с Оськой в роли редактора, — показался нам куда интересней. Мы начали с того, что нарисовали на бумаге красной краской огромнейший вопросительный знак, больше человеческого роста, и вывесили его в конце нашего широкого и длинного коридора. Через два дня сменили его на

восклицательный знак, а еще через два дня вывесили в коридоре гигантские буквы: «Клоп». Это загадочное слово было названием готовящегося к выпуску журнала. Но Пугачиха, не входя подробнее в вопрос, что означает «Клоп», приказала комсомольцам немедленно снять наше объявление. Тем не менее на другой день «Клоп» вышел, и имел огромный успех, — и проза, и стихи, и рисунки. Вышел вскоре и второй номер, но попал в руки Пугачихи, и тут разразился большой скандал: Оську вызвали в канцелярию и очень резко объявили ему, что выпуск неутвержденного и не одобренного комсомольской организацией журнала является антисоветским деянием. Сурикову за рисунки намылили голову на комсомольском собрании. Апеллировать к полной невинности содержания журнала было бесполезно, и уже готовый третий номер «Клопа» так и не вышел. Нам повезло, что дело происходило в 1930, а не в 1938 году, — иначе бы нам не снести голов. Все это, однако, не помешало Фаине осенью на районной педагогической конференции хвастать, какая у нее в школе самодеятельность — ребята даже журнал издают.

Между тем, в новом полугодии в школе уже вовсе нечего было делать, и мы нашли себе новое развлечение — гипноз. Сережка Лозинский стал выдавать себя за гипнотизера — по очень тонко разработанной тайной подсказке своих ассистентов (меня и Касаткина), — подсказке, которую трудно было заметить среди общего галдежа в школьном коридоре, — он угадывал цифры, имена и тому подобное. Совершенно обнаглев, мы входили во время урока физики в параллельный класс, и Сережа с обычным своим невозмутимым, серьезным выражением лица объявлял:

— Довольно вы показывали ваши опыты, теперь мы покажем свои опыты! — И учительница покорно отсаживалась в уголок и предоставляла нам ставить «гипнотический опыт».

Сергей дошел до виртуозности, и раза два, когда удаляли всех его одноклассников во избежание подсказки, он, проявив чудеса находчивости и знания психологии, все же угадал загаданные ему цифры и без подсказки. Теперь уже вся школа поверила в гипноз, и Сережу вызвали к школьному врачу; докторша сказала ему:

— Вы обладаете редкими и очень интересными способностями, но ими нельзя злоупотреблять: есть некоторые нервные и впечатлительные мальчики (тут она назвала одного из наиболее отпетых циников), им Ваши опыты вредны.

Сергей открыл свою тайну доктору, но убедил не выдавать нас, и «опыты» продолжались. Лишь к концу года Сергей стал объяснять, как он это делает; но вера в его гипнотические способности так укоренилась, что нашлись ребята, которые так и не поверили его саморазоблачению.

Пугачиха была очень озабочена тем, чтобы в ее школе все ребята были «охвачены общественной работой», да мы и сами знали, что важно иметь хорошую общественную характеристику при окончании школы. У всех нас были разные «нагрузки» — кто собирал копейки на «МОПР», «ОСО-Авиахим» и «Друг детей», кто был старостой, кто еще чем-то. Я был бригадиром учебной бригады, хотя вряд ли кто-либо мог это заметить.

Весной среди школьников проводилась подписка на заем; меня назначили

председателем комиссии содействия, а в помощь мне дали хоршенькую, бледную, чахоточную семиклассницу, комсомолку Веру Бастыреву, очень славную девушку. Дело было сложное — заем был и для родителей порядочной нагрузкой на бюджет, а сборы с детей ее еще увеличивали; своих денег ни у кого не было — ребята из младших классов ходили в школу пешком, девятиклассники, жившие по всей Петроградской стороне, ездили на трамвае зайцем; в столовой кормили школьников плохо — потом кормили уже только учителей; у нас был афоризм: «наукой юношей питают, котлеты старцам подают» — так что пока действовала столовая — деньги и на завтраки мало кто получал из дому.

А потом столовая и вовсе прекратила существование. Словом, собрать с ребят деньги было не легко. Кто-то платил сразу, кто-то по частям, кто-то подписывался, но денег вовсе не вносил. И я совершенно запутался с бухгалтерией, концы у меня не сходились с концами, денег все время оказывалось то больше, то меньше, чем записано. Бастырева путалась еще больше, чем я, мне не хотелось ее подводить, а Пугачиха метала громы и молнии и грозила отдать меня под суд. И вот, когда я уже пришел в совершенное отчаяние, в дело вмешалась умная и энергичная Нина Икорникова, девочка из параллельного класса, которую я знал совсем мало; она привела в порядок мою бухгалтерию, успокоила мою душу и удовлетворила Фаину.

Как-то тою же весной всем было дано еще одно общественное задание: провести сбор взносов, не то на «МОПР», не то на «ОСО-Авиахим», по квартирам в нашем «микрорайоне» — то есть в тех квартирах, где дети из младших классов были прикреплены к нашей школе. А так как даже Пугачиха сообразила, что мальчикам и девочкам пятнадцати-шестнадцати лет ходить одним по лестницам и квартирам Большой и Малой Посадских улиц, славившихся хулиганами — «посачами», небезопасно, то дано было указание ходить по-двое. Я тогда опять болел и в этом мероприятии не участвовал; другие ходили, причем ребята, у которых были романы, соответственно разбивались по парочкам.

Но наши девятиклассники не учли, что в «микрорайоне» в каждой квартире жили младшие школьники из нашей школы, так что они находились под непрерывным наблюдением. И вот, одна шестиклассница является раз в школу и, захлебываясь от восторга, рассказывает в классе, что она видела из окна своей кухни, как напротив на подоконнике лестничной клетки сидели Вовка Касаткин и Мила Мангуби и целовались.

Хорошо вымуштрованная староста шестого класса побежала сообщить об этом в комитет комсомола; дело мгновенно дошло до Пугачихи, и разразилась страшная гроза. В параллельном классе, где училась Мила, было срочно вместо урока проведено классное собрание, и там Фаина метала громы и молнии. Мила и Вовка опозорили звание советских школьников, они лили воду на мельницу врагов, клевещущих на советскую школу и советскую молодежь, и так далее и тому подобное.

Начался так называемый «процесс о поцелуе». Вся школа разделилась на три партии. Одни считали, что в шестнадцать лет можно целоваться, и в этом нет ничего ни худого, ни позорящего советскую школу. Так считало

большинство «интеллигентов». Ортодоксы, главным образом из комсомольцев, считали, что до окончания школы целоваться ни в коем случае нельзя. Наконец, соглашатели, которых было немало и среди беспартийных, и среди комсомольцев, считали, что целоваться можно, но не на лестнице и не в своем микрорайоне, — так сказать, не публично. Но пока на классных собраниях и в школьных коридорах шла бурная дискуссия, Мила Мангуби со стыда перестала являться в школу, а Вовка твердо стоял на том, что той девочке померещилось, и что они с Милой не целовались. Правда, роман его с Милой был всем известен.

Дело взяла в свои руки Нина Икорникова. По ее предложению была создана комиссия из трех человек. Двое из них должны были пойти на лестницу и сидеть на подоконнике, имитируя Вовку и Милу, а третий должен был пойти на квартиру шестиклассницы и смотреть в кухонное окно. Это взяла на себя сама Нина. Комиссия пришла к заключению, что из кухни видно, что кто-то сидит на подоконнике, но что они делают — не видно. На том дело и кончилось.

Все это было, конечно, чистый вздор, но, к сожалению, на протяжении всей моей жизни подобные «процессы о поцелуях» повторяются в школе — и не только в школе — снова и снова.

Бурный мир секса был скрыт во мне наглухо. Мне было слишком стыдно, и в то же время это было что-то слишком важное, чтобы походя осквернять себя непристойной терминологией в разговоре с товарищами. И к тому же, чтобы произнести похабное слово, нужно было сделать над собою такое усилие, что преодолеть барьер было невозможно. Я не понимал, как ребята так легко матерятся — а матерились они хуже извозчиков. Был у нас такой Гольм, — я как-то шел с ним от угла Большого и Каменноостровского до Введенской, он говорил без умолку, и я подсчитывал, скажет ли он хоть одну фразу без матюга — не сказал. Правда, Гольм принадлежал к презираемым ребятам, и развлечения его были самые низкие: плевать окурками, прилепляя их к потолку в уборной, или разбивать унитаз, а потом спускать воду. Но матерились все.

И все, конечно, все знали про пол — это почти даже перестало быть занимательным. Как-то я сидел дома у Нины Икорниковой, и ее приятель по спорту Леша Иголкин, взрослый уже парень, рассказал, что он разошелся с женой, так как половая жизнь нарушает необходимый для спортсмена строгий режим. Нину этот разговор нисколько не смутил — меня, пожалуй, смутил немножко, но только потому, что шел в присутствии Нины. Но Лешке Иголкину не приходило в голову быть иным при Нине, чем при других товарищах — это ведь была эпоха, когда все мы были убеждены не только в равноправии полов, но и в том, что между мужчинами и женщинами, кроме анатомических особенностей, нет никакой разницы, в том числе и психологической.

Впрочем, особой последовательности в заботе о нашей нравственности не было. На Новый год, в порядке борьбы с Рождеством и елкой, в школе проводился антирелигиозный вечер; организовать его было поручено Яровому, который, видимо, пользовался любовью и доверием не только ребят, но и администрации. Составляя программу вечера, он предложил мне выступить

с чтением... «Гавриилиады». Я отказался, он настаивал. Тогда я набрался дерзости и спросил его — читал ли он «Гавриилиаду». Он сказал: «Читал, ну что ж такого», но в конце концов отказался от попыток уговорить меня. Это было не просто «отсебятиной» Ярового — я уверен, что Пугач одобрила бы чтение «Гавриилиады» на школьном вечере — не в пример поцелуям на черной лестнице.

В порядке политехнизации школы ученики проходили производственную практику. Девятые классы разбили на две группы — первую послали в один из недавно образованных колхозов под Ленинградом, вторую отправили работать на завод «Электроприбор» поблизости от нашей школы. Я попал во вторую группу. Меня поставили работать сразу на конвейер, где из деталей собирали электросчетчики. Вся моя функция заключалась в том, чтобы взять от соседа слева деталь, бегущую по ленте конвейера, вставить в нее маленький винтик, повернуть его отверточкой и затем передать деталь дальше так, чтобы не задерживать мою соседку справа. Как эта деятельность должна была влиять на развитие во мне технических навыков или рабочей идеологии — я не знаю. Вся эта практика продолжалась около недели. За это время я сделал огромное количество брака, так как, боясь задержать соседку, которая сердилась и не скрывала этого, я торопился со своим винтиком и в двух из трех случаев обламывал ему головку. Так как мы были в нижнем конце конвейера перед самой окончательной сборкой счетчика, то это означало, что целый счетчик будет забракован и пойдет на разборку. Единственную пользу, которую ребята извлекли из этой практики, заключалась в том, что они наворовали магнитов.

Другая группа, как сказано, поехала в колхоз. Части ребят предложили жить в бане, части в холодильнике — по крайней мере ребята нашли, что этот сарай предназначен служить холодильником, — и поручили сеять не то морковь, не то редиску, и «вносить костные удобрения на грядки». Засыпав в землю семена, ребята потребовали еще, — но оказалось, что они посеяли уже все, что предназначалось для целого огорода. В порядке «костного удобрения» они, по вполне искреннему неведению, забросали грядки костями, и едва ли еще и не тряпками и битым стеклом. Позже им, все же, что-то объяснили, но так или иначе, большой пользы и от их работы не было. По ночам было очень холодно, и в одну из ночей, по предложению Нины Икорниковой, было решено немного помести диск, для чего из нетопленной бани, куда они к тому времени перебрались из «холодильника», была взята вьюшка с плиты. Однако метание диска на деревенской улице скоро кончилось плохо: та же Нина Икорникова разбила окно нужника, когда же ребята забежали туда, чтобы по крайней мере спасти «диск», оказалось, что он попал туда, откуда выловить его уже было невозможно... Проснулись соседи, наутро же стал назревать такой скандал, что большинство ребят, не дождавшись конца практики, сбежали в город.

Пугач, между тем, приезжала раз на машине в колхоз и раза два появлялась на заводе. То, что она увидела, по-видимому, удовлетворило ее или, по крайней мере, позволило ей «козырять» «политехнизацией школы» в РайОНО. Теперь она решила не оставить без последствий нарушение порядка при прохождении колхозной практики. Провинившиеся «колхозники» долж-

ны были предстать перед ее светлые очи, причем она произнесла громовую речь, из которой явствовало, что они совершили диверсию, непосредственно направленную на подрыв советской власти и колхозного строя. На робкое возражение кого-то из ребят — они только замерзли и бросали диск, чтобы погреться, — Пугачихой был высказан бессмертный афоризм:

— Одно дело бросить камнем в собаку, другое — в мавзолей Ленина.

Тут встал кто-то, — кажется, Оська, — и спросил ее, знает ли она, куда именно попала вьюшка, и на что, она, собственно, намекает. Тогда она сообразила, что завралась, и дело было замято.

Где-то ближе к весне происходило последнее учебное мероприятие, которое я могу припомнить: академический бой. Мне это кажется единственным интересным изобретением «бригадно-лабораторного метода», и мне жалко, что вместе со всем методом впоследствии выбросили из школьной жизни и академические бои.

Заключался он в следующем: два параллельных класса выбирали из своей среды по четыре-пять лучших учеников из разных бригад. В большом классе собирались все девятиклассники в роли «болельщиков», а по двум торцовым концам большого стола сидели «бойцы». Каждая команда должна была по очереди задавать трудные вопросы противоположной команде по программе всех школьных предметов. За вполне исчерпывающий и ясный ответ, данный одним из членов команды, вся команда получала два очка, за не вполне исчерпывающий — очко. Если представитель команды не мог ответить или ответил неполностью, ответ должен был дать представитель спрашивающей команды, иначе та теряла, соответственно, очко или два очка. Выигрывала команда, набравшая наибольшее число очков.

Академический бой должен был содействовать повторению программы перед выпускным экзаменом и учил ясно выражать свои мысли в публичном выступлении; в какой мере он оправдывал свое назначение, я не знаю, но во всяком случае это было очень интересно, и при этом не только «командам», но и болельщикам, которые кипели и волновались, как на футболе. Победа нашего класса была обеспечена, потому что по математике и физике, да и по литературе мы имели такого непобедимого бойца, как Сережа Лозинский, по находчивости не было равных Оське Финкельштейну, а я и Димка Войташевский тоже могли не посрамить нашего класса.

После этого, помнится, занятия по существу совершенно прекратились, — даже в слесарке они шли что-то очень вяло; только химичка героически спокойно проходила свою программу. Близился выпуск. По традиции 190-й школы он должен был быть ознаменован спектаклем, — причем должны были играть настоящую пьесу. Так, в год Мишиного выпуска там играли «Двенадцатую ночь», позже я видел у них «Майскую ночь» и «Трех толстяков» Юрия Олеши. Наша компания твердо решила, что и мы поставим настоящий спектакль. Оказалось, что Оська и я — оба большие поклонники Вахтангова, и мы решили отважно ставить «Турандот». Конечно, мы не имели в виду просто скопировать эту неповторимую постановку, но мы хотели поставить ее по принципам Вахтангова — как спектакль-игру, откровенно условную, как детские игры. Ребята из 190-й школы советовали обратиться к режиссеру Майковскому, бывшему ученику их школы, который уже ставил у них с

большим успехом «Трех толстяков», но выяснилось, что по каким-то причинам и Майковский отпадает. Тогда я почувствовал прилив жившего во мне авантюризма и предложил, что сам поставлю «Турандот» — с помощью Оськи. Это предложение неожиданно вызвало общее одобрение, и постановка была поручена мне.

Это был мой первый опыт работы не одному, а с другими, как говорят теперь, работы организационной. Труд был нелегкий, тем более что я не имел среди ребят, так сказать, автоматического авторитета, не был признанным главарем и центром их дел и замыслов; за год со мной успели хорошо познакомиться немногие, и хотя я был «в компании», но как-то на периферии ее.

Прежде всего, надо было собрать моих актеров. Репетировали мы в физкультурном зале, и большого труда и терпения требовало оторвать их от гимнастических снарядов. Затем, большинство из них не учило ролей — особенно Катя-Адельма, и Зоя-Турандот.

Мало-помалу пьеса была разучена. Оська притащил смешную кубистическую рекламу — приложение к журналу «Die Woche»: одного из двух немецких буржуазных журналов, которые почему-то свободно продавались тогда в Ленинграде: это был портрет, по которому Калаф заочно влюбился в Турандот; для Бригеллы достали милиционерский шлем и китель (милиционеры ходили тогда в белых кителях с позументом, и — странным образом — в белых тропических шлемах). Роль Турандот еще более сократили, а Катя-Адельма обзавелась личным суфлером. Раздобыли платки и занавески, выкрасили обои и сделали из них яркие «сукна», заменявшие задник. Тата Дьяконова дала грим, и они с Надей согласились быть гримерами.

Наконец, состоялось представление. Зал был полон: не только вся школа — весь «микрорайон» был здесь, да и все папы и мамы, братья и сестры актеров. Я был в отцовском фраке, еще времен торгпредства, со шпагой Татиного отца и в тюрбане из Татиной шелковой шали: легкий грим мне необыкновенно шел; я был явно красив, и это очень поднимало мою уверенность в себе; император Альтоум был в феске и с ракеткой вместо скипетра, Адельма в красном узбекском халате, который я притащил из дому, в тюбетейке и с двумя длинными черными косами. Турандот — в своем розовом «выходном» платье и в кокошнике с бутафорскими мелкими алмазами.

Спектакль шел весело, оживленно, занятно — у нетребовательного зрителя произошло «вахтанговское» чудо: явная чепуха, разыгрываемая наряженными как на домашних шарадах ребятами, увлекла, и все с замиранием сердца следили за судьбою героя; публика благодарно реагировала на Оськины более или менее импровизированные остроты-mots. Только в самом конце, уже после счастливого конца сюжета, ребята вдруг задумали отсебятину: устроили на сцене какие-то танцы, — «всеобщий балабиль» по случаю свадьбы Турандот и Калафа: «сукна» начали рушиться, заключительные реплики пропали. Но все было уже неважно: успех был несомненный, гром оваций сопровождал закрытие занавеса, нас вызывали, и я, конечно, стал бы на некоторое время самым популярным человеком в школе, если бы не пришел миг с нею проститься.

Не помню, в какой момент — кажется, во время репетиций — мы сдали нашей химичке на набережной Малой Невы наш единственный настоящий зачет (и я до сих пор помню, что иприт — это дихлордиэтилсульфит). На набережной — потому, что там тайно выставлялись отметки, официально объявленные буржуазной штучкой.

По математике был устроен зачет письменный, но для облегчения дела наши девочки вызвали на помощь своих знакомых — студентов-математиков; для них в коридоре был поставлен стол, за которым решались все задачи, после чего записки направлялись под классную дверь и далее по конвейеру с парты на парту. К сожалению, средний листок моей задачи с ходом ее решения потерялся, пока шел до меня на «камчатку», но условия задачи и решение я все же смог списать, и этого оказалось вполне достаточно.

Остальные учителя поставили нам всем и без зачета наше «удовлетворительно», и вот я явился к Пугачихе за аттестатом. Но аттестатов еще не напечатали — выдали справку об окончании школы.

VII

А как же Надя? Да, мы учились с ней в одной школе, но никогда не говорили между собой на переменках. Она сразу дала понять, что ей неприятно это. Она не имела никакого отношения к моей школьной компании — у нее были свои подруги вне всяких устойчивых компаний — только с одной из них, Нелей (Неонилой) Кузьминой, тихой и скромной маленькой девочкой, я был хорошо знаком и даже раза два бывал у нее; кроме того, Надя втянулась в главную компанию их класса. Как и в нашем, в ее классе было дружное интеллигентное ядро, но только там оно состояло из девочек; они не имели, на наш взгляд, особых интересов, кроме нарядов и танцев, за что и носили у нас прозвище «балерош».

Первое время я иногда после занятий издали провожал Надю, думая, что когда она расстанется на каком-нибудь углу с подругами, то даст мне возможность подойти и проводить ее; но она, только оставалась одна, пускалась бежать или вскакивала в трамвай, так что я уныло шел домой один.

Заходил я к Фурсенкам по вечерам; но Надя не выражала особого желания быть со мной, отвечала мне односложно, и мои попытки возобновить прежний характер наших разговоров ни к чему не приводили. Попросила вернуть ей ее письма — и обещала отдать мои, но не сдержала обещания. Однажды, придя к ней вечером, я попытался спросить ее — а что же с прежним? Как она ко мне относится? Она отвечала уклончиво и даже немного раздраженно, и я сорвался с места и убежал, сказав, что мне, видно, не надо здесь больше бывать.

На другой день ко мне явился мальчик — сосед Фурсенко по квартире — с письмом от Вани: очень ласковым вызовом к нему. Я пришел в назначенное время. Ваня сидел за своим столом, а Надя сидела на столе, болтая ногами. Я сел, и Ваня так же ласково прочел мне длинную нотацию, в течение которой Надя все время молчала. Я сейчас уже не помню содержания того, что мне говорил Ваня, но его речь произвела на меня огромное впечатление. Он не

сказал ни слова о наших с Надей отношениях; основная мысль его речи была в том, что я живу, поглощенный сам собой, а другие для меня лишь фон, а что эти другие — живые люди. И хотя это была нотация, но как-то он так умел говорить, что она не ощущалась как нотация, а была мной воспринята всей душой. Выслушав, я ушел и провел нелегкую ночь; на другой день я опять пришел к ним, приходил и впоследствии, но уже не пытался заговаривать с Надей на лирические темы, и не пытался понять — любила ли она меня, разлюбила ли она меня, или ей нечего было и разлюблять; это так и осталось мне неизвестным. Я приходил точно так же, как это бывало до романа с Надей, молча сидел у Вани или принимал участие в общем разговоре — иной раз и с одной Надей, но уже совершенно не лирически.

Только стихи писал по-прежнему и оставлял их у Нади на столе.

Первое мая тридцать первого года прошло грустно. Нам с Колей Зееберг поручили проверить подготовку оформления к первомайской демонстрации на двух заводах Выборгской стороны. Год был скудный и тяжелый, и демонстрация вышла не очень веселой и не очень яркой. Вся школа, конечно, была на демонстрации, девочки — и даже Катя Молчанова и Мила Мангуби — в традиционных красных косынках; но хотя, конечно же, мы и пели «Низвергнута ночь, поднимается солнце над гребнем рабочих голов» (под эту песню хорошо было шагать), но боюсь, что с бóльшим удовольствием, как я уже рассказывал, мы пели фокстрот:

«В Па-ра-гвае,
В этом чудном крае,
Средь лиан
Павиан
Жил!»

Когда демонстрации останавливались, люди танцевали — но не мы: «лезгинку» мы не умели, а фокстрот был буржуазный танец.

Все эти годы Надя приводила меня в настроение грустное, насмешливое и самокритичное. Я все продолжал ее любить — но никогда не говорил с ней об этом; однако мои стихи она брала с явным удовольствием.

Я кончил школу шестнадцати лет, и поступать в Университет мне было рано; поэтому-то я проводил опять время в безделии: ходил по вечерам к Фурсенкам, писал стихи, подводил итоги игры в Ахагию и Верен — составлял подробный географо-исторический справочник по Верену и одновременно разыгрывал с Алешей сложнейшую, — с замысловатыми с логически продуманными правилами игры, — войну между странами Верена и Соединенными Штатами. Войну эту мы кончали, когда я уже был студентом. Алеша в это время построил целый веренский флот из деревянных моделей. Ни одна из них не повторяла какого-нибудь действительно существовавшего военного корабля, но каждый корабль имел тот характер, вооружение, обводы и детали, которые положены кораблю его класса. Для этого изучался справочник Jane's Fighting Ships, нашедшийся у Алешиного друга — Димы Курбатова, новый советский справочник военных флотов Шведе и различные книги по истории флотов и кораблестроению.

Алеша был поэт кораблестроения; сама техника не так его интересовала, как именно поэзия корабля. Под стеклом на этажерке у его стола стоял

настоящий шедевр — модель эсминца в крупном масштабе. Она была сделана из полена и стиральных резинок (ластиков, говоря по-московски), простым перочинным ножом; масштаб был слишком мал, чтобы снасти и антенны можно было натянуть из ниток, и они были натянуты из нитей столярного клея. Модель была выкрашена в серую эмалевую краску, и ни один специалист не мог бы придраться ни к одной детали: такого эсминца на свете не было, но он мог быть. Впрочем, эта модель была построена позже, когда Алеше было уже лет пятнадцать. В тот год, о котором я рассказываю, ему было всего двенадцать, и флот его только начинал строиться.

Алеша рос скрытным и немного грубоватым мальчиком. Он был очень музыкален, и знал, кажется, все песни, которые тогда пелись: впрочем, в то время пелись только революционные песни: «Красный Веддинг», «Песня венгерских шахтеров», «Огонь ленинизма нам путь освещает» и так далее, и еще множество красноармейских — про тачанки, про походы гражданской войны. Все эти песни мы пели, — обычно все три брата вместе; я, конечно, со своим весьма несовершенным слухом, только подпевал, зато я лучше всех знал слова. Но собственно музыку мы в это время забросили: с приезда в СССР я уже не учился на рояли, Миша уже не так часто брался за виолончель, и Алеше постепенно надоело учиться играть на своей детской скрипочке. На следующий год он поступил в школу, стал пионером, и мы называли его «партийной прослойкой» в нашей семье, употребляя ходовое тогда выражение. Он не только, как и я, интересовался политикой, но и был гораздо ортодоксальнее в этом, чем все мы; в его Вирроне была введена настоящая советская власть, без всяких оговорок, и когда он начал писать стихи, это были стихи о советском флоте, о партизанской тачанке, о будущей схватке с капитализмом.

Много позже я понял, что главной Алешиной чертой была верность — верность раз принятому убеждению, верность справедливости, верность друзьям. Но дома он часто раздражал меня своей неотесанностью, грубостью, насмешками.

В мой школьный год многое изменилось у нас дома. У дедушки Алексея Николаевича был удар, и жить старшим Дьяконовым — двум женщинам — одним с больным стариком в целой квартире — не хотелось; к тому же и сохранить всю квартиру при новых жилищных нормах им нельзя было надеяться. Поэтому был организован обмен — в их трехкомнатную квартиру на Большом въехала тетя Анюта с Нюрой и Борисом, и тетя Варя Трусова с Костей и Женей, а старшие Дьяконовы въехали к нам; старики получили комнату на отлете — бывшую нашу с Мишей, а тетя Вера получила темную половину большой комнаты, бывшего папиного кабинета, теперь разгороженного уродливыми тети-Вериными шкафами; перед ними, со стороны окон, жили мы с Алешей. Дело это было тяжкое, не только для мамы (на кухне то и дело разражались скандалы, и тетя Вера делала маме громогласные реприманды), но и для нас. Так, у тети Веры был чуткий сон, и мы не смели шевелиться, пока она не встанет утром. Помню, у Алеши как-то был сильный насморк; он лежал утром в постели, не смел взять платок и высморкаться, но это не помогло ему: встав, тетя Вера устроила колоссальный скандал нам и маме, за то что Алеша мешал ей спать, «швыркая носом».

У нас справлялась дедушкина золотая свадьба, — на ней присутствовало четверо первоначальных гостей — три сестры Порецкие и дедушкин шафер, случайно найденный незадолго перед тем (его дочь была подругой двоюродной сестры Нади). Но вскоре у Алексея Николаевича сделался второй удар; он остался жив, но совершенно лишился координации движений; большой, крупный человек, он ходил по квартире, представляя опасность для людей — того и гляди что-нибудь сокрушит или опрокинет. К тому же он лишился и дара речи — понимал, что ему говорят, но в ответ произносил что-то нечленораздельное, а потом и вовсе перестал отвечать, понимая, очевидно, что говорит не то. Когда же оказалось, что он не может уже и контролировать своих отправлений, пришлось уложить его в постель и пеленать, как ребенка. По нескольку раз в день папа, я и тетя Вера ворочали его тяжелое, грузное тело и перепеленывали его. Так тянулось более полугода. Как-то утром к нам вбежала бабушка и сказала, что дедушка скончался...

Похороны были с попом в золотой ризе, с дьяконом, кадившим сладковатым ладаном, и с певчими. Торжественные слова панихиды поразили меня:

«... Упокой, господи, душу усопшего раба твоего... в месте святе, месте блаженне, идеже праведные упокояются... идеже нет болезни, ни печали, ни воздыхания...»

Да, церковь знала свое дело — знала, как взять человека за душу...

«Земля ты есть, и в землю отыдеши...» Это была первая смерть в моей жизни — по крайней мере, первый мертвый человек, которого я видел, первые похороны.

Но — молодость! Эти тяжкие полгода дедушкиной болезни и его смерть прошли для меня, не оставив больших следов в душе. Я даже рассказываю все эти события, не помня их действительного порядка.

Еще при жизни дедушки, проработав в Самарканде и в Харькове, в Ленинград вернулись Миша и Тата. После смерти Алексея Николаевича им была отдала родительская спальня, папа и мама переехали в большую синюю комнату — кабинет (тетя Вера переселилась к бабушке «на отлет»), а столовую перегородили фанерной перегородкой — ближе к окнам теперь была наша комната с Алешей. Здесь стояли два стола, замусоренные книгами и бумагами, две походные кровати — одна из них, Алешина, была наполовину загорожена белым шкафом, а на шкафу, образовывая крышу над его постелью, были положены две доски от обеденного стола (раздвигать теперь его было невозможно — он едва помещался в столовой за фанерной стенкой), и на этих досках был расставлен веренский флот.

Итак, вся наша семья опять была в сборе — плюс Тата. Я старался с ней быть как можно дружелюбнее, понимая, что ей нелегко в чужой семье. В то короткое время, когда Миша уже уехал в Самарканд, а Тата еще оставалась у нас, мы даже подружились с нею; она много рассказывала мне о себе и о своих отношениях с Мишей и, между прочим, о Мишиных прежних романах — я о них тогда знал мало — Миша со мною ими не делился; оказалось, что их было больше, чем я предполагал, и даже в школе было много поцелуев с разнообразными девчонками. Я старался продолжать дружить с Татой и теперь, но неожиданно эта дружба кончилась крахом.

А дело было в том, что мы — и в особенности папа и я — совершенно не

отдавали себе отчета в том, что молодым нужен свой дом, а не включение в наш дом. Между тем, папа, работая над своими переводами, то и дело отрывал Мишу от работы, да еще, к Татиному возмущению, свистал нашим семейным свистом — высвистывая Мишу «как собаку», говорила Тата (впрочем, она Мишу сама и называла «Пес», но это было в другом смысле — он смотрел на нее собачьими, преданными глазами). Да и я то и дело входил к ним со своими делами. А у них тем временем шел трудный процесс, который бывает во всех молодых семьях — процесс превращения романа в быт. И Тате казалось, что Миша не так охотно уделяет ей время, что его отвлекает прежняя семья; на самом деле просто роман угасал, и начиналось «семейное счастье» — или семейное равнодушие; впрочем, Миша был всегда с нею нежен, и один, и на людях, — и страстен наедине — я знал это, моя койка была за перегородкой, — но, может быть, как раз это ей было не так уж нужно. Но что-то было не так, как хотелось; это всегда бывает. Кто-то должен был быть виноват. «Предкам» устроить сцену было нельзя, да это было бы и глупо; оставался я. Конечно, как раз я был полон доброй воли; но мне было шестнадцать лет, и я не знал, что в таких случаях нужно и что не нужно.

По приезде Миша поступил в аспирантуру Эрмитажа. Тата некоторое время работала в каком-то экскурсбюро, а потом тоже поступила в Эрмитаж. По обыкновению, Миша рассказывал множество историй и об Эрмитаже и его людях, и об искусстве и истории Востока. Сектором Востока Эрмитажа заведовал И.А.Орбели и, по словам Миши, его первое знакомство с сектором состояло в том, что его водили по залам и кабинетам и показывали экспозиционные объекты, не только как памятники культуры, но и как памятники гнева Орбели:

— Вот это надгробие Орбели бросил в Якубовского.

— Вот здесь Струве прятался от Орбели.

Но самым интересным для меня из того, что рассказывал мне Миша об Эрмитаже, было существование при нем Египтологического или, вернее, Древневосточного кружка. В нем регулярно читались научные доклады по египтологии, ассириологии, урартоведению, и издавался, на средства членов кружка, небольшой, но дельный журнал. Миша мне советовал ходить на заседания этого кружка; хотя я стеснялся и отнекивался, он все же затащил меня туда.

Я помню, что на первом заседании докладывал Исидор Михайлович Лурье. О чем он говорил — не помню, помню только, что было нудно, и что говорил он негладко, тяня и запинаясь. Зато хорошо помню его растрепанный черный чуб, лезший на очки, сутулую фигуру в кожаной тужурке и белые штрипки, свисавшие из-под брюк. Хорошо помню необычайно красивый профиль Орбели и его смоляную бороду:

... Точно высечен из гранита,
Лик был светел, но взгляд тяжел:
Жрец Лемурии, Морадита
К золотому дракону шел.
И казалось, земля бежала
Под его стопы, как вода;
Смоляною доскою лежала
На груди его борода.

Ничего нельзя сказать более точного про то, каким мне представился тогда Орбели, чем эти строки из посмертно опубликованной поэмы Гумилева.

Из членов египтологического кружка я помню Наталию Давыдовну Флиттнер — с добрым лицом, с зеленой лентой на седых волосах, в зеленой кофточке и с большой брошью из зеленой яшмы; и маленькую, горбатую, с челкой, умными глазами и чудовищными корявыми зубами Милицу Эдвиновну Матье, и ярко-рыжего, длинного и прямого Бориса Пиотровского, и бледного, похожего на добродушный череп Николая Александровича Шолпо, и совсем еще молодого Алексея Мачинского, и толстоногую, рыхлую, добрую Ревекку Ионовну Рубинштейн.

На втором заседании доклад читал Иван Иванович Мещанинов. В пенсне, с видом и голосом джентльмена, немного, впрочем, помятого, он докладывал свою теорию о том, что Rusa Erimenahi надо понимать не как «Руса, сын Эримены», а как «Руса — армянин», что этот последний урартский царь был одновременно первым из армянских царей. Доклад показался мне очень неубедительным и каким-то несерьезным. Но то обстоятельство, что первые слышанные мной научные доклады по древнему Востоку были мне неинтересны, нисколько не ослабило моей твердой решимости стать историком древнего Востока. Я уже решил, что самая интересная проблема, которой мне и нужно заняться — это историческая подоплека Троянской войны, «народы моря» и связь древнегреческой и микенской культур с культурами древнего Востока. Поэтому я решил стать хеттологом. Я понимал, что для этого нужно прежде всего знать ассиро-вавилонскую клинопись. Но так как этой специальности не было в то время в Университете (или, вернее, в ЛИЛИ — институте, возникшем на развалинах «ямфака» — факультета языка и материальной культуры Университета), то я решил поступить на специальность арабистики, справедливо считая, что со знанием одного семитского языка — арабского — мне легче будет учить и другой семитский язык — ассиро-вавилонский. Я пробовал с помощью транскрипции и подстрочных переводов в книге Шилейко «Вотивные надписи шумерийских правителей» разобраться и в шумерской грамматике, но из этого у меня ничего не получилось. И неудивительно — шумерская грамматика сильно отличается от грамматики всех тех языков, с которыми мне приходилось иметь дело.

Лето 1931 года мы провели в Вольске, у маминого брата дяди Пети. В воспоминании почти ничего не осталось от этого лета. Маленький, весь засыпанный тяжелой цементной пылью городок. Широкая, но безрадостная Волга. Обычная провинциальная инженерская квартира в стандартном каменном доме. Несчастный, как-то отставший, мне казалось, от жизни, красивый, чернобородый дядя Петя. Трудные характеры в его большой семье. От этого лета, тянувшегося долго и уныло, запомнились какие-то пустяки — простокваша-варенец, да то, как мне кто-то сбил с носа пенсне, когда я стоял на балконе дяди-петиной квартиры. С нашего приезда из Норвегии у меня обнаружилась близорукость (впрочем, я заметил ее сам уже несколько раньше, лет в тринадцать), и с пятнадцати лет я завел себе пенсне — из бессознательного подражания папе, а главное — из кокетства: мне казалось, что пенсне меньше, чем очки, искажают черты лица. В школе я, разумеется, пенсне не носил (засмеют, да и собьют) — но это было и не нужно, так как я не утруждал себя глядением на доску. Но после школы стал было носить

регулярно. Однако после трагикомического случая на дяди-петином балконе я завел себе очки и снимал их только на ночь.

В Вольске пошли мы как-то искать «дачу Воронцова», — ту самую белую дачу моего первого детства, с которой начинаются в 1917—1918 годах, эти воспоминания. Мне она, по памяти, казалась громадной и окруженной большим и густым садом. оказалось, что она маленькая, и сад тоже. Войти туда не удалось — она была обнесена высоким серым, досчатым забором, и там был какой-то склад бочек. Я вспомнил, как незадолго перед отъездом из Норвегии я побывал в Люсакере, в том доме, где мы жили, впервые приехав заграницу, и как дом тоже оказался очень маленьким, и в калитке надо было нагибаться под перекладиной; и все было другое, кроме знакомого с раннего детства соседа-врача с его мотоциклом — доктора Баккe.

А от того лета, может быть, более всего запомнился мне город Аткарск, где мы пересаживались на обратном пути на московский поезд, — бревенчатые домики, чудовищная черноземная грязь на главной площади, грязная столовка «Палэ-Рояль» — в точности его повторил для меня город Буй в 1942 году.

Когда же это лето прошло, и мы опять вернулись в Ленинград, папа сказал мне, что, пока я не смогу поступить в Университет, мне следует заняться делом и начать зарабатывать, — раз школу я уже кончил. Я, конечно, с этим согласился. Постоянной работы у меня сначала не было (да и не стоило устраиваться всего на год), но я что-то переводил — один чудовищный по глупости рассказ какого-то норвежского пролетарского писателя о кроликах, переведенный мной, был напечатан в журнале «30 дней» или другом каком-то; может быть, был напечатан и не один перевод — не помню точно; кроме того, я давал уроки норвежского и, кажется, также английского языка. Норвежский язык я преподавал одному пожилому толстому инженеру, мало способному — не знаю, зачем ему понадобился норвежский; и еще студентке старшего курса ЛИЛИ, Татьяне Григорьевне Гнедич.

Мои уроки с Татьяной Григорьевной длились года два или три, и мы с ней подружились. Татьяне Григорьевне в это время было лет двадцать шесть-двадцать семь. Была она высокая и какая-то нескладная, старомодная, всегда в длинном, темном платье со старыми матовыми кружевами; нос ее был длинный, подбородок тоже, рот ввалившийся, как у старухи, плохая, пористая кожа. Но в ней жила поэтесса, — или, она сказала бы, поэт, — экзальтированный поэт, но все-таки настоящий; не только версификация, но и поэтическое настроение давалось ей легко. Жила она с матерью, пожилою, тихою и смирившеюся с жизнью. Жизнь же, видимо, была нелегкая: отец Татьяны Григорьевны был не только дворянин, что уже было, по тем временам, довольно скверно, но еще и уездный земский начальник, что было всего на один градус лучше жандарма. Ей не сразу удалось поступить в Университет (или в ЛИЛИ, вернее), и ее не раз оттуда собирались исключить, а может быть и исключали. Особенно преследовал ее некий однокурсник — Кокорин; он был настолько активным общественником и борцом с классовыми врагами, что невольно приходилось задумываться — а не жандарм ли был его собственный папенька?

Между прочим, однажды Татьяну Григорьевну вызвали в деканат и

предъявили обвинение в сокрытии дворянского происхождения — это было тогда самое страшное и в то же время самое ходячее обвинение. Татьяна Григорьевна сказала, что с фамилией «Гнедич» скрывать дворянское происхождение бесполезно: кроме дворян, носителей этой фамилии нет. Тогда ее стали исключать из института за то, что она «кичится своим дворянским происхождением».

Впрочем, она отнюдь не была антисоветски настроена. Совсем напротив. Я уже говорил, что я не встречал тогда среди интеллигенции моего поколения людей, действительно антисоветски настроенных, хотя они и могли критиковать ту или иную черту советской действительности. Идея построения социализма, явный и искренний энтузиазм коммунистов и рабочих заражал всех. А если был кто, думавший иначе, то гражданская война приучила таких молчать, как мертвых — и их голос и мысли до меня не доходили.

В меня Татьяна Григорьевна была чуточку влюблена. Это не самомнение, она сама мне это говорила много лет спустя. Но я об этом мало задумывался — просто мне нравилось с ней говорить на высоинтеллигентные темы — о поэзии, о языкознании. Позже, уже на втором курсе Института, я изобрел некую лингвистическую теорию о происхождении индоевропейских корней на основе первобытных семантических пучков — она очень заинтересовалась и увлеклась этой теорией — а, может быть, просто мной, — я же не хотел разрабатывать придуманного, так как собирался быть историком, а не лингвистом, и все уговаривал ее взять мои тетрадки и продолжить работу — и поэтому эта работа называлась между нами «кукушонком». В конце концов я подарил ей свои тетради — хочет продолжать, пусть продолжает, нет — пусть бросит. Меня не смущало даже то, что в этих тетрадях, между прочим, анализировались и нецензурные слова: мне была нужна наиболее архаичная лексика славянских языков, и я брал ее и из Срезневского, и из Даля, и с улицы, — и мне казалось, что на том высоконаучном уровне, на котором велось нами это обсуждение, мы должны относиться к этим вещам чисто научно. Не знаю, что она об этом думала, но она не показывала вида, что это ее шокировало. Впрочем, к подобным вещам точно так же относились и другие наши студентки и студенты, увлекавшиеся мифологией и семантикой, ученики И.Г.Франк-Каменецкого и О.М.Фрейденберг. Но об этом дальше.

Где-то ближе к новому 1932 году я поступил уже на настоящую службу. Устроил меня туда романо-германист Шадрин, приятель и однокурсник Вани Лебедева. Это была школа для детей английских и американских специалистов, работавших в Ленинграде. Я поступил туда учителем географии. Директоршу не смутило ни то, что я не имел какого-либо специального педагогического или географического образования, ни даже то, что мне и семнадцати лет не было. Беда была в том, что в эту школу никто не хотел идти работать, да и трудно было найти учителя, который достаточно хорошо говорил бы по-английски.

Юный возраст в то время вообще не мог быть препятствием для педагогической работы. Учителей всюду нехватало. Учительницей, как выяснилось, работала с 1931-32 года и Вера Бастырева, а она была моложе меня на два года.

Если 176-ая единая трудовая школа меня в свое время удивила, то школа для детей английских специалистов удивила меня еще гораздо больше.

Занятия школы происходили в помещении районной библиотеки где-то на Выборгской стороне, за Кондратьевским проспектом. Были младшие классы, к которым я не имел отношения — у них уроки кончались рано — и шестой класс. Он состоял всего из двенадцати ребят, одетых в странную смесь заграничной и русской одежды — заграничные джемперы и русские валенки, и тому подобное. Беда с ними заключалась в том, что предшествующий шестой класс был в полном составе принят в техникум или в ремесленное училище, где ребята и учились и работали, получая не то стипендию, не то заработную плату; того же самого требовал и нынешний шестой класс, и им никак нельзя было объяснить, что за это время произошла очередная наркомпросовская реформа, и в техникум теперь уже принимали только после седьмого класса. И ребята устроили обструкцию. Как сказал кто-то из учителей, они привыкли, что в школе порют, а школа без наказаний была для них синонимом безнаказанности. Сначала их немного беспокоила угроза вызвать родителей, но потом они поняли, что и это не опасно. Так как их было всего двенадцать, то они легко сговорились между собой, и «разделять и властвовать» в этом классе, противопоставляя «хороших» «плохим» было невозможно. Чего они только не выделывали! Бедного Шадрина они довели чуть ли не до припадков. Учитель открывал шкаф, чтобы достать тетради — они запирали учителя в шкаф; или раздавал тетрадки — они тут же, во время урока, сжигали их на самодельном костре посреди пола; добивались, чтобы их выгнали из класса, и запирали класс снаружи. Единственная, кого они любили и немного уважали, была заведующая школой — красивая, энергичная молодая женщина, — как ее звали, я уже не помню; но у нее сделались от них нервные колики.

Центром класса были брат и сестра — Мери и Алан. Они одни в классе были англичане (остальные были преимущественно дети американских финнов). Родители Мери и Алана однажды поспорили с леди Астор, которая утверждала, что они не выдержат трех лет жизни в СССР — и приехали сюда на работу в самом начале пятилетки, когда иностранных специалистов в СССР было еще очень мало; пока не открылась эта английская школа, Мери и Алан учились в обыкновенной советской школе и прекрасно научились говорить по-русски. Поэтому они служили здесь как бы переводчиками — остальные ребята по-русски не понимали, или делали вид, что не понимают. Алан был главным заводилой всех безобразий, но Мери была организующим началом порядка. Ребята слушались ее беспрекословно, и через нее иногда удавалось повлиять на класс. На педагогическом совете никак не могли решить, что делать с этой парой: Алана можно и должно было выгнать — он был главным корнем зла, и в то же время отлично мог учиться в русской школе. Но тогда пришлось бы перевести в русскую школу и Мери, а без нее никто не брался справиться с классом.

В этот-то класс я пришел учителем географии в неполные семнадцать лет. Впрочем, за все недолгое время, что я там проработал, я вряд ли сказал по географии более пяти фраз. Это было нелегко и само по себе, так как у меня вовсе не было свободной беглости английской речи; но главной моей задачей

(как мне объяснили) были совсем не занятия — я должен был хотя бы заставить ребят просидеть до конца урока более или менее спокойно. Поэтому, кроме «Shut up» и «Sit down» я мало что успевал произносить. Они усаживались вокруг длинного библиотечного стола, я ставил на стол глобус; в тот же момент они снимали глобус со стержня и начинали им играть. Я с трудом добивался относительного спокойствия и начинал говорить. В это время один из ребят медленно и чинно подходил ко мне с валенком в руках. «What do you want?!» — «Teacher, smell!» («Что тебе надо?» — «Учитель, понюхайте!»).

Учтя, что они были всего на два-три года моложе меня, я понял, что с этим делом не справлюсь, и через две недели уволился. Когда я через несколько дней пришел за расчетом, я увидел в читальном зале библиотеки бесподобное зрелище: происходило классное пионерское собрание с участием заведующей и представительницы РайОНО. (Все ребята были пионерами, но ни одна пионервожатая у них не уживалась: если она была англичанкой, ребята объясгяли, что не могут с ней работать, так как она «petty bourgeois» — «мелкобуржуазна», а если русской — заявляли, что ее не понимают).

Сейчас все ребята сидели чинно вокруг очень длинного стола; во главе его сидела робкая, испуганная американка — пионервожатая, которая вела собрание, и двое взрослых: заведующая школой и заведующая РайОНО. Впрочем, не все ребята сидели за столом — Мери сидела на выступе книжного шкафа на другом конце комнаты и болтала ногами. Изредка она давала указания председательнице (конечно, по-английски):

— Ну, чего же ты сидишь? Спроси: есть ли вопросы.

— Ну, чего же ты? Скажи: кто хочет высказаться.

И переводила для тетки из РайОНО что ей хотелось из выступлений.

Я махнул рукой, получил свои деньги и ушел. Мой вклад в семейный бюджет оказался небольшим.

Несколько месяцев спустя я встретил свой английский класс (или «группу», как тогда говорили) на площадке трамвая. Они были в прекрасном настроении и неудержимо трепались — по-русски.

В воспоминаниях и автобиографических романах обычно рассказывается, как в детство автора вошла революция, — революционные события, революционные рабочие. Нет, я должен прямо сказать, что с рабочими я в детстве почти не соприкасался.

В темной комнатке, отгороженной от кухни, у нас жили наши быстро сменявшиеся домработницы: теперь служба у хозяйки была для засзжих девушек только промежуточной станцией, с которой они шли в дальнейшую жизнь — работать или учиться. Сначала — кажется, еще до нашего второго отъезда за границу — была Оля «скобская», говорившая на «о» по-псковски, так что не всегда можно было и понять. Про мою бабушку Ольгу Пантелеймоновну она говорила: «Красивая бабка, постановная, подзобок-то висит!». Она была веселая: рассказывает и сама над своим рассказом хохочет. Меня она смущала анекдотом о том, как по ошибке вместо коровы стала доить быка. И в то же время равнодушная и даже злая — я не мог ей простить, что она занесла куда-то моего любимого кота Ивана Петровича. В конце концов она исчезла, утащив какую-то мелочь из дома.

Потом была огромная, толстоногая, молчаливая, рябая деревенская девушка, довольно глупая, но почему-то слегка волновавшая меня; потом какая-то полоумная старуха, которая не могла привыкнуть к высоким дверям без порога, и входя, всегда наклонялась и высоко поднимала ногу; потом большая, белокурая, пышная Оля номер два, тоже деревенская, но по виду барышня, учившаяся по вечерам на курсах счетоводов; мама помогала ей решать задачи. Впоследствии я встречал ее — она работала бухгалтером. После нее была маленькая, умная Маша, обладавшая точеным носиком с аристократической горбинкой; как-то папа дал мне два билета, и я пригласил ее в театр — в «выходном» лиловом платье она оказалась изящной и интересной; мне была приятна такая дама, и то, что я могу быть ее «чичероне»: она еще никогда не бывала в театре. Она тоже собиралась учиться, но в конце концов поступила на завод и вскоре вышла замуж вполне классически — за пьяницу.

Несколько раз маму навещали наши старые, еще дореволюционные прислуги — строгая полумонашка Настя, когда-то державшая свою молодую хозяйку в страхе божьем, и моя няня Нюша — теперь сама мать троих детей. Изредка приходил швейцар Азовско-Донского банка Иван Вылегжанин — «проздравить Михаила Алексеевича» — долго молча сидел, потом получал некую сумму «к празднику» и уходил на полгода.

С осени 1931 года у меня опять была температура — «желёзки» — и в январе мне папа достал путевку в дом отдыха профсоюза полиграфистов в Петергоф. Здесь я впервые встретился с рабочими — со мной в комнате жило четверо: добродушный рослый глухонемой парень — печатник, второй печатник, старик, и два наборщика — один молодой, чуть постарше меня, другой лет сорока. Мне было любопытно, что это за люди. Больше всего говорил старший из наборщиков, скептик и юморист. Меня поразило, что они все отлично разбираются в политике, и умно судят о ней, но, как будто, мало ею интересуются: по большей части рассказывались неприличные анекдоты и сказки, вроде легенды о Семирамиде и деревянном коне — в роли Семирамиды выступала Екатерина Вторая, и анекдот был рассказан, как безусловно исторический. Удивительна живучесть фольклорных анекдотов! Если я не ошибаюсь, он впервые записан Ктесием в начале IV века до н.э. В других анекдотах героем был Пушкин.

Они взялись обучить меня карточной игре в «козла» — научили ходам, но не научили сигналам, которые, совсем по-шулерски, в этой игре партнер подает партнеру, и очень веселились.

Существенным однако, было не это. Важно для меня было то, что эти рабочие действительно чувствовали себя здесь, в бывшем царском имении, хозяевами.

Нам показывали петергофские царские дачи. Я запомнил дачи Николая I и Николая II. Жилье Николая I было наполнено безличной холодной тоской позднего ампира. Дача Николая II больше говорила о ее обитателях — богатых мещанистых дворянах конца века — стояли морщинистые пуфы, козетки и пышные буфеты; на камине у государя императора стояла игрушка — «ванька-встанька» с головой Бебеля. В этом же роде были и те комнаты царей, которые еще сохранялись тогда в Зимнем дворце. Только там еще поражал

огромный золоченый иконостас, в который были превращены стены над широкой кроватью императрицы Александры Федоровны. А у Александра III была комната, кругом обстроенная шкафами светлой березы, в которых висели мундиры всех полков Российской империи. На внутренней стороне дверец были портняжные чертежи этих мундиров, и скучающий самодержец иногда открывал тот или иной шкаф и цветными карандашами менял зеленые выпушки на красные или пририсовывал к мундиру какую-нибудь пуговицу или бляху. И по всей России срочно офицеры переделывали свои мундиры. Недаром бабушка Мария Ивановна бранила Александра III за то, что он вводил артиллеристов в ненужные расходы.

Почему-то в доме отдыха не было лыж, и деваться, по зимнему времени, было некуда. Днем дулись в «козла», а по вечерам устраивались танцы. Я, конечно, не танцевал — все это были польки, краковяки, да еще вальсы, а я в лучшем случае отважился бы на простенький (но тогда запрещенный) фокстрот, — и стоял в стороне и смотрел. Здесь я обратил внимание на двух молоденьких женщин, почти девочек, тоже стоявших у стены и внимательно следивших за танцующими. Я заговорил с ними.

Одна из них оказалась женой поэта Лихарева, другая — поэта Корнилова. Эта вторая почему-то особенно поразила меня. Тоненькая, стриженая, похожая на мальчика или на совсем юную девушку, и уж совсем не на чью-то жену, эта Ляля запомнилась мне своим печальным, страдальческим, почти прозрачным, тонким лицом, как будто она уже успела много испытать тяжелого или даже трагического. Но говорила она со мной резко и словно даже презрительно — почему-то ее, наверное, раздражал интеллигентский мальчик — и в то же время в немногих словах, сказанных ею, звучало, как мне послышалось, высокомерие несколько циничного опыта и знания о жизни и искусстве. Какие-то мои робкие суждения она оборвала решительно и кратко. И мне казалось, что ее вкусы и понятия относятся к моим так, как правильное пролетарское к извращенному интеллигентскому. А может быть, все это мне только померещилось от юношеской робости. Во всяком случае, я отошел и больше не заговаривал с нею. Если я не ошибаюсь, это была Ольга Берггольц. Ей предстояли жестокие, неслыханные испытания.

VIII

Что ни происходило тогда в мире хорошего или дурного, дома у нас было хорошо, особенно когда вечером все собирались за обеденным столом. С обедом всегда дожидались папы; никто никогда не обедал отдельно. За столом папа выпивал серебряную рюмочку водки из своего любимого серебряного графинчика, и сразу с него сходила раздражительная усталость. Начинались рассказы о приключениях служебного дня, всегда юмористические, а когда папа был особенно в ударе — то и немножко тартареновские. Папа, как и все мы, Дьяконовы, любил похвастать и, в рассказах о своей службе, присочинить что-нибудь неожиданное. Все мы это знали, очень любили застольные рассказы, а если с нами между этим круглым, еще норвежским столом и новой фанерной перегородкой протискивался какой-нибудь гость, то он, услышав что-либо уж очень невероятное, украдкой глядел на маму —

на ее лице всегда было написано, когда папа начинал сочинять. А мы, сыновья, в таких случаях хором исполняли туш:

— Там... трам-там-там-тарарам-тарарам-тарарам-там-там-там...

С нашими собственными рассказами нам редко удавалось прорваться, но мы бодро делали попытки, и если в свою очередь начинали при этом хвастать каким-нибудь успехом, то в ответ и нам доставался тот же иронический туш:

— Там... трам-там-там-тарарам-тарарам-тарарам-там-там-там-там...

По этой части — хвастать и петь туш — Тата очень хорошо включалась в наши обычаи.

После обеда папа отправлялся спать к себе в кабинет, а поздним вечером, в дедовском золотистом бухарском халате и в неизменной узбекской тюбетейке, садился за письменный стол, — за очередной перевод, и долго, до двух часов ночи, писал своим мелким почерком, наклонив голову на бок.

В это время он был, сейчас уже точно не помню, — не то заведующим, не то главным редактором ленинградского отделения издательства «Academia», выпускавшего классиков мировой литературы: тут была «Тысяча и одна ночь», «Декамерон», Гольдони, мемуары Авдотьи Панаевой, и многое другое. И в то же время в других издательствах регулярно выходил девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым изданием папин «четвертый сын» — его перевод «Джимми Хиггинса» Эптона Синклера; каждый раз принося гонорар, папа говорил, что хотел бы видеть такую заботу от своих остальных сыновей на старости лет.

Впрочем, хотя материально мы жили относительно благополучно, но особого изобилия не было. Гонорары были вещь ненадежная и нерегулярная — то ту, то другую из переводимых папой книг «зарезывали», да и никогда не было известно, когда уплатят и за принятую книгу. Так «зарезали», между прочим, и драму замечательного норвежского писателя Нурдала Грига «Варавва», которую за папу в течение нескольких дней перевели мы вдвоем с Мишей. Миша вообще часто участвовал в папиных переводных работах, и довольно много переводил и самостоятельно. Что касается меня, то я, иногда вместе с Мишей, призывался папой в трудных случаях на совет и, кроме того, несколько раз переводил вставные стихи в романах.

Папа, по обыкновению, получив «дикие» деньги, — то есть неожиданный гонорар, — немедленно тратил их бог весть на что, а потом где-то «стрелял», забирая авансы под договоры, которые не мог исполнить, и невозмутимо признавал в суде иски издательств. Бабушка Ольга Пантелеймоновна ахала: «Какой позор! Мой сын под судом!», ей трудно было объяснить, что судебное дело состоялось по полюбовному соглашению с издательством, для того, чтобы можно было на законном основании прекратить неосуществимый договор.

А когда мама тихо упрекала папу за траты, — вон тебе, дескать, штаны новые надо, — то папа говорил пылко: «Не для того я работаю, чтобы штаны покупать!»

Между тем в стране была карточная система — продукты «забирали» по «заборным книжкам», одежду получали по ордерам, то и другое с большими очередями. Питались мы вполне прилично, но не роскошно, а одеты были кое-как. Я, например, носил Мишин краноармейский темнорыжий свитер, доставшийся ему, когда он отбывал очередные военные сборы в качестве

лейтенанта, и его же красноармейские сапоги поверх бумажных брюк — ордерных скороходовских полуботинок хватало мне не надолго.

Бабушка Ольга Пантелеймоновна и тетя Вера вели изолированную от нас жизнь в своей комнате «на отлете». Папа помогал им деньгами, и кроме того, тетя Вера выучилась писать на машинке, и было договорено, что папа будет отдавать ей перепечатывать свои рукописи и платить ей за это. Мама была этим недовольна: раньше она перепечатывала их сама.

Комната их была загромождена остатками былого величия; столики и сундуки, покрытые кружевными салфеточками, дорогой зеркальный шкаф, кожаный диван; на стенах висели в темных золоченых рамах картины, писанные прабабушкой Татьяной Петровной Гудимой, и старинные фотографические портреты — дедушки, бабушки и дедушкиного отца, Николая Сергеевича, того самого, что был екатеринбургским головой.

Бабушка никак не могла свыкнуться с нынешней жизнью. Как-то раз, в особенно тяжелое время разных скудных и странных «выдач» по карточкам, у нее с папой произошел следующий разговор:

Бабушка: «Что-то ты сегодня невеселый, Миша, не случилось ли что-нибудь на службе?» (А папа, напротив, был в самом смешливом настроении, и только и ждал случая, чтобы придумать какую-нибудь юмористическую историю).

Папа: «Да вот, на службе у нас предлагают выплатить жалованье кирпичом и железным листом, — не знаю, брать ли?»

Бабушка: «Конечно, бери, бери!».

Тут они оба были «в своем репертуаре».

Между тем, для меня встал вопрос о поступлении в высшее учебное заведение, — или, как тогда уже стали говорить, в ВУЗ, хотя к этому слову как-то еще не совсем успели привыкнуть.

Для части моих товарищей, которым уже исполнилось семнадцать лет, вопрос о ВУЗ'е мучительно встал еще с осени. Дело было непростое — вступительных экзаменов и конкурсов не было, принимали по анкетам, и интеллигентские дети попадали с трудом. Из наших ребят трех параллельных классов попали в ВУЗ сразу лишь немногие: Сергей Лозинский поступил на математический факультет университета, Оська Финкельштейн — в электротехнический институт связи, Катя Молчанова — в медицинский, Игорь Михайлов — в кораблестроительный. Большинство же поступило на заводы — зарабатывать себе рабочий стаж. Значительно старший, чем я, Юра Филиппов, проработал несколько лет на деревообделочной фабрике и в конце концов, одновременно со мной, поступил в институт по специальности технологии дерева — мечты об археологии пришлось оставить. Котя Гераков кончил техникум и работал геологом-коллектором. Пролетарием, однако, не стал никто. Меня, впрочем, все это мало беспокоило — я почему-то был уверен, что поступлю туда, куда мне хочется; но странно было, что мои сверстники предаются таким взрослым занятиям — работают на заводах, в геологических партиях или даже вступают в любовные связи, а я все еще мальчик, играющий с Алешей в войну между Вереном и США.

Сложно получилось и у Нади. Она мечтала стать геологом — геологи были гусарами тех лет, самой привлекательной и романтической профессией. Надина мачеха была геологом и преподавала в университете, но она

категорически отказалась ходатайствовать за падчерицу. Поступающих распределили, не особенно считаясь с их желаниями, и Надя попала в ботаники. И хотя она нашла какого-то молодого человека, который попал на геологический факультет, а хотел на биологический, и они с ним вместе ходили в ректорат и просили поменять их местами, им там довольно грубо отказали.

Впрочем, Надя быстро утешилась. Она втянулась в новую компанию — студентов-спортсменов, танцоров, лыжников, быстро разогнавших ее меланхолию. Она стала прихорашиваться, красить свои белесые брови, а иной раз и губы, втянулась в какие-то новые романы. Теперь все чаще по вечерам я не заставал ее дома.

Что касается Вани, то он второй год учился на биологическом — по специальности физиологии, которою очень увлекался. Я же твердо решил поступить на историческое отделение Ленинградского историко-лингвистического института — одного из многих мелких институтов, созданных в это время, преемника Ямфака, ФОН'а и Историко-филологического факультета Университета. Но дело терпело до осени. Пока же опять наступило лето и новая поездка на юг.

Глава шестая

(Коктебель)

Сюда душа моя вступает,
Как Персефона, в легкий круг,
И в царстве мертвых не бывает
Прелестных, загорелых рук.
<...>
И раскрывается с шуршаньем
Печальный веер прошлых лет, —
Туда, где с темным содроганьем
В песок зарылся амулет,

Туда душа моя стремиться,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.

О.Мандельштам

I

Летом 1931 года началось для нас рано — в июне. Уезжала на юг мама с нами, двумя младшими братьями: мне было семнадцать, Алеше тринадцать. Опять сначала сосновые леса, потом лиственные; белые мазанки от Белгорода — но на этот раз мы ехали не на Ростов-на Дону, а на Джанкой, через знаменитый Перекоп, вдоль болотистого Сиваша.

Год был не сытный в городе — но там открылся Торгсин; мама продала часть серебряных ложек и наши нательные, давно уже не носившиеся золотые крестики с надписью «Спаси и сохрани», — и что-то можно было купить, и из продовольствия, и из носильных вещей. «Золотая лихорадка» времен первых лет первой пятилетки нас миновала — у нас не было ни золота (кроме этих нательных крестиков да еще одной крошечной чайной ложечки с витой ручкой, которую кто-то нечаянно уронил в мусор — так она и пропала), ни серебра, кроме ложек (а других ложек, кроме серебряных, мы и не знали), ни драгоценностей, кроме маминых бирюзовых сережек.

Но в деревне был голод неслыханный, смертельный. Огромные полчища изможденных женщин и детей хлынули на юг из деревень (мужчин среди них было мало видно, — наверное, кого сослали, а кто подался на новостройки в города). Голод этот был нам непонятен: единоличные хозяйства были уже почти полностью вытеснены колхозами и, казалось бы, преимущества кооперации перед индивидуальным хозяйствованием должно было уже сказаться. Мы знали, что крестьяне, идя в колхоз, по возможности прирезывали свой скот, — хотя вскоре за это стали жестоко карать, — а в колхозных хлевах и конюшнях каждый старался ухаживать за прежней своей скотиной и лошадьми; мы видели собственными глазами, что колхозные поля совершенно не похожи на прежние единоличные: хлеб стоял низкий и редкий, весь забитый сорняками. Громко рекламировались в газетах процессы похитителей... колосьев (каралось, как кража государственного имущества, — до 10 лет). Вообще газеты много писали о саботаже подкулачников, не желавших сдавать государству урожай в размере спущенных планов (на

кулаков уже нельзя было валить — их больше не было). И что-то тут не вязалось — или планы были спущены совершенно нереальные, не оставлявшие ничего для колхозников? Но среди интеллигенции ходили мрачные слухи о том, что государство могло бы учесть трудности периода становления колхозов, что должны были быть государственные запасы зерна, но что Сталин их нарочно задерживал, желая «проучить» крестьянство. Так или не так, но кроме того, конечно, ни тогда, ни много позже никак не было налажено ни хранение зерна, ни транспортировка из более удачливых в совсем голодные районы. да и обещанные трактора — может быть, их и было выпущено тысяча-другая, но требовались сотни и сотни тысяч... И особенно удивляло, что более всего была поражена голодом самая хлебородная полоса, Украина.

На остановках вместо веселых, чумазых и бодрых беспризорников, вылезавших из-под вагонов в предшествовавшие годы, поезд осаждали изможденные крестьянки с детьми на руках; другие лежали прямо на перронах, видно, неспособные двигаться. Мама не пускала нас выходить на остановках и держала подальше от окон. Но мы и сами, увы, старались не вдумываться в то, что было за окнами.

Проехав Джанкой, мы увидели в другом роде удивительное зрелище: вся степь, от Перекопа до гор, отделявших от нее Южный берег, сплошь цвела красными маками и другими — белыми, желтыми и синими цветами. Поезд наш между Джанкоем и Феодосией из скорого стал почтовым и останавливался на каждом полустанке. И на каждом полустанке весь поезд до последнего человека высыпал в степь — собирать цветы, после чего машинист с кочегаром и проводники с трудом загоняли пассажиров обратно в вагоны — ехать. К Феодосии мы двигались сквозь какой-то сплошной цветник.

Ночевали ли мы в Феодосии — не помню. Должно быть, ночевали, так как приехали мы туда, наверное, под вечер, и точно, что уехали днем — очевидно, на следующий день. И успели походить по городу немного — издали увидели порт — уменьшенное подобие порта в Осло; кроме советских, видна была и пара турецких флагов с луной и звездой на красном фоне. За портом виднелись на холмах какие-то старинные, наверное, генуэзские стены. Побывали мы и в музее Айвазовского. Он меня интересовал, потому что от папы я слышал о том, как мой дедушка водил его в 1899 году к престарелому художнику. Айвазовский с неимоверной быстротой, прямо при посетителях, начинал и почти заканчивал картину с морскими волнами и рассказывал, как юношей, учась в школе при Академии художеств, был представлен Пушкину, посетившему с друзьями их мастерскую.

Кроме того, мы прошлись по улицам, повидали дом, где папа жил мальчиком, здание его гимназии и банк, где служил дедушка.

Город напомнил мне Анапу — белые и цветные домики с палисадниками, чистые улицы, каких я не видел в России — ни в пыльном Вольске, ни в утопающем в грязи серо-бревенчатом Аткарске, ни в Рыбинске, чуть получше Аткарска, ни даже в Нижнем Новгороде.

Из Феодосии мы поехали в Коктебель на линейке. Линейка — это род телеги, запряженной двумя лошадьми, на которой вдоль имеется скамейка, где пассажиры (человек шесть) усаживаются спинами друг к другу (по трое); кучер сидит впереди на небольшом облучке.

Дорога была утомительная: холмы, покрытые негустой низкой травой с разбросанными там и сям цветами, небо синее и жаркое, а линейка подымала вокруг себя и за собой облака белой пыли. Ехали медленно и долго. Вдруг перед нами, за небольшим перевалом, стеной открылась даль синего, чистого, бесконечного, никогда не бывалого, хватавшего за сердце, упоительного моря.

Я видал серые (редко — голубоватые) норвежские фьорды, видал сквозь ряды шхер серую полосу Атлантического океана, видал Анапскую бухту, но мне показалось, что только сейчас я увидел Море, великое, свободное, вечное, чистой, неземной синевы. Я никогда не забуду этого мига.

Вскоре дорога отвернула прочь от моря; мы скатились под горку и въехали в белое село, оставив справа два странных небольших конусообразных холма, покрытых травкой; кругом была ровная степь; лишь вдали, впереди виднелась серая цепь остроконечных гор.

— Это Карадаг?

— Сюрю-кая, — ответил возница. — Карадаг левее, у моря.

Село не отличалось от украинских — белые мазанки и садочки; только на одном из домов — вероятно, на сельсовете — красовался кумачовый плакат с надписью на неизвестном мне славянском языке, но тем не менее понятный: плакат призывал ликвидировать кулака как класс. Проехав через село, мы свернули в сторону моря, заслоненного сначала садами, ветвями гребенщика вдоль дороги слева и впереди, и обывом справа — нас подвезли к «дому Манассиной», который стоял в довольно большом саду. Пожилая хозяйка вышла нам навстречу, мы внесли чемоданы в дом, мама расплатилась с возницей, и мы пошли спать, — видно, мы устали, да и был уже вечер, хотя солнце еще не село. Наутро, проснувшись, Алеша увидел в окно обрыв низкого плоскогорья Тепсень, подходивший почти к самому саду Манассиной — и спросил:

— Вот это Карадаг? —

— Что ты, — сказал я, — это же не гора, а какой-то кукиш.

С тех пор обрыв Тепсеня — даже и после нас — называли Кукиш-кая.

В саду нас было не удержать — мы сразу начали разведывательные прогулки.

Я не могу описать Коктебель отдельно, какой он был в 1932, 1933 и 1934 году — изменения тогда были невелики. Я сразу опишу этот безвременно погибший рай.

В деревне Коктебель жили болгары. Они занимались виноградарством, и море их поэтому не интересовало. Деревня располагалась в зелени, в глубине долины, ее почти ниоткуда не было видно.

К морю от сада Манассиной мы выходили через аллею тамарисков-гребенщиков — чахлую, но резко необычную для северных глаз. Мама была ужасно рада гребенщикам как старым знакомым из пустынь Средней Азии. Чуть выше человеческого роста, гнутые от морского ветра с тонкими корявыми темносерыми стволами, они были покрыты не листвой и не хвоей, а чем-то средним между тем и другим, и были похожи на бедного родственника кипариса или туи.

Вдоль всей дуги коктебельской бухты тянулся довольно широкий, довольно плотный, тепло-желтый песчаный пляж, почти единственный в Крыму. На

узкой полосе, куда доплескиваются тихие волны в летнюю пору, песок был крупнее, из мелких камешков, отчасти серых и черных, но с пестрой примесью кварца, халцедона, сердолика, агата — некоторые совсем крошечные, чуть побольше песчинок, некоторые довольно большие. Дальше от моря шла довольно широкая полоса песка; еще подальше от моря, куда волны доходили только зимой, лежали более крупные обкатанные гальки. Пляж отделялся от долины невысоким земляным срезом. Над пляжем было тогда очень немного домов: каменный желто-серый куб дома Манасеиной с садом, еще несколько скрывавшихся в зелени белых домов, — и затем Дом поэта, дом Максимилиана Волошина, примерно над серединой пляжа.

На восточном его конце (слева, если смотреть в нестерпимо прекрасное море) бухта была окаймлена невысокими, но все повышавшимися холмами. В тот момент, когда мы приехали, они, наверное, были покрыты низенькой травкой, но я больше никогда не приезжал в Коктебель в раннем июне, и я запомнил эти холмы только выжженными, желтыми. От холмов отходил, как их продолжение, резко ограничивающее бухту, «Хамелеон» — узкий земляной мыс длинной метров двести, похожий на гигантского ящера, вошедшего по колени в воду и пьющего море; за ним где-то вдалеке виднелся очень длинный и как бы фигурный по профилю мыс Киик-атлама.

Справа от пляжа (на западе) были видны коричнево-темно-серо-зеленые каменистые голые обрывы, метров пятьдесят в высоту, а дальше сто, двести и больше — это была гора Кок-кая, образовавшая на фоне яркого неба вертикальное очертание, похожее на человеческий профиль то ли Пушкина, то ли Максимилиана Волошина, в зависимости от воображения смотрящего. Из-за Кок-кая с пляжа еле видны были вершинные очертания Карадага; это черное пятно с трудом отделялось от Кок-кая; не зная, и не заметишь, что тут не одна, а две горы друг за другом.

В сторону суши гора Кок-кая отделена лесистым перевалом — понижением — от отдельно стоящего конуса Святой горы, метров 700 в высоту, или так кажется из Коктебеля. Святая гора густо заросла лесом от подножия до вершины: кизилом, мелким дубом, сжевикой. Далее направо опять провал в линии гор, и за ним начинаются светлосерые зубцы горы Сюрю-кая. Подножия Святой и Сюрю-кая покрыты виноградниками, а между селом и пляжем Коктебеля и горой Кок-кая — плоское низкое, выжженное, широкое городище Тепсень, — место древнего и средневекового города.

Именно светло-серый острый рисунок Сюрю-кая и виноградники у его подножия господствуют над Коктебелем.

Правее Сюрю-кая, где проходит большое шоссе из Феодосии на Судак, еще зеленеют лесистые холмы и горы пониже; у въезда в деревню, как уже упоминалось, стоят два остроконечные холма — их можно было бы скорее назвать курганами — так называемая «Грудь Женщины» — но они уже окружены придвинувшейся к самым границам деревни совершенно плоской степью: когда мы въезжали сюда в первый раз — цветущей красными маками, потом — всегда выжженной.

Горы лесистые; на западе — горы каменистые, коричневые, черные и зеленоватые; на северо-западе — светлосерые в обрамлении зеленых виноградников; синее море с юга; ящер, пьющий это море, кажущийся черным

на ярком фонс; выженные желтые холмы на востоке; ровная, то цветущая, то полупустынная, полынная степь с севера — все это окружало белую в зеленой оправе садов деревню и немногие сады вокруг двух-трех дач у моря. Как будто несколько миров сбежались к этой бухте — мир бесплодных, грозных, темных скал, мир непроходимо густого леса, гор лесистых, гор отсроконечно-серых, мир бескрайней степи, мир желтых пустынных холмов, синий мир моря. Все это мреет в жарком солнечном воздухе под южно-синим небом, «где прозрачным стеклом обливаются сонные горы».

Разные миры сбегались вместе в Коктебеле не только в пространстве, но и во времени. На Тепсене Барсамов откопал фундаменты домов и церковки времен раннего Средневековья — как он думал, поселение на городище принадлежало Тьмутараканскому княжеству. Леса на Святой горе и за Сюрю-кая, вероятно, мало отличались от тех, где обитали древние тавры, гроза приморских античных греческих колоний — тавры, приютившие Ифигению; в одном месте, в глубине лесов между Отузами и Старым Крымом, куда мы как-то раз забрались под папиным водительством, мы нашли отрезок мощеной, — вероятно, римской или византийской — дороги. На вершине Святой была огороженная решсточкой могила — то ли христианского, то ли мусульманского святого, и на остриях решетки и вокруг на ветках кизила болтались выцветающие тряпочки и ленточки, повешенные по обету окрестными крестьянами. В соседних городах — Феодосии и Судаке — высились башни генуэзских крепостей.

Я знал, конечно, что в гомеровские времена Крым еще не посещался греками, но что весь Крым к востоку от Южного берега был, конечно, по Геродоту, Киммерией, и что в одиннадцатой песне Одиссеи Гомер помещает именно в Киммерии обиталище «мертвых»; здесь Одиссей вытянул на берег свой черный корабль, чтобы беседовать с душами Ахилла и Тиресия.

Но если не Одиссей, то корабли хитроумных ионян и афинян, без сомнения, не раз вытягивались на коктебельский пляж. Срез обрывчика над пляжем битком был набит, послойно, — только протяни руку и копни — киммерийскими, греческими, римскими, скифскими, славянскими, генуэзскими, татарскими черепками, а повезет — и монетами. А то найдется пуговица екатерининского солдата — может быть, моего прадеда:

За два столетья от Екатерины
Мы вытоптали мусульманский рай...

писал М.А.Волошин, за что посмертно и удостоился выговора от А.И.Солженицына. Но знал ли Волошин, что еще мы учиним впоследствии в этом раю!

Сад дома Манассиной, где мы жили, был отделен от Тепсеня узенькой желтоватой грунтовой дорогой, ведшей направо в деревню, а налево — через тамарисковую аллею к морю. В середине сада стояла двухэтажная каменная дача, и с другого боку — длинная мазанка, видимо, для прислуги. В этом году Манассина отдала — или продала, уж не знаю — свою дачу Ленинградскому отделению Литфонда, а сама жила в мазанке с двумя приятельницами. Дальше на некотором расстоянии находился сад, уже освоенный первым домом отдыха — МЭИ (Московского энергетического института); в нем были небольшие жилые корпуса, волейбольная площадка, столовая и все как полагается.

Прийти в дом Волошина можно было прямо по пляжу, да была еще тропка от МЭИ. И за ним дальше не было уже ничего. Влево от дома Волошина, и перед подъемом на «Хамелеон» находился род кургана — уж не знаю, естественного или насыпанного, и в нем была сделана каменная камера: это была «могила Юнга». Камера, впрочем, была пуста.

Пляж так и мерился: «от Юнга до Кордона»:

От Юнга до Кордона
Без всякого пардона
Мусью подряд
С мадамами лежат.

Песенка эта, впрочем, относилась, вероятно, к дореволюционным временам: в 1932 приезжих мусью и мадам не хватило бы, чтобы занять такое пространство. Да и Кордона не было. Он, по-видимому, находился где-то в бухточках западнее пляжа, у подножий Кок-кая. В наше время там не было никаких следов строений. Не было нигде вблизи и пограничной охраны. Идея содержать многочисленные войска вдоль берега на тот маловероятный случай, что здесь высадятся турецкие контрабандисты или, не дай Бог, шпионы-диверсанты, как-то никому не приходила в голову. Да и численность всей Красной Армии в то время едва превышала полмиллиона. За мысом Киик-атлама, правда, находился (как всем было известно) минный завод, и путь туда был прегражден военной охраной.

Отдыхающим, которые всего и знают, что спальню, шезлонг, пляж и столовую, Коктебель, несмотря на его своеобразие, скоро надоедал. По-настоящему же чудо Коктебеля открывалось только в хождении и в плавании на рыбачьих ботах. Куда ни глянешь — все было такое, что хотелось увидеть поближе своими глазами. Позже, когда маленький Коктебель летом наполнялся ленинградскими, а потом и московскими писателями, эти временные жители рая разделялись на «хилжиков», не покидавших дом-отдыховского сада и пляжа, и «пылжиков», пытливых ходоков, пловцов и мореплавателей. Первым из пылжиков был, собственно, мой папа, веселый, с черным чубом, загорелый, в пенсне, с рыжими усиками, в раскрытой на груди пижаме и в цветном пиратском платке. В его голубых глазах всегда жила искорка юмора, готового придти в действие.

...Ведет нас пылжик, морской пират,
И с ним не страшен ни рай, ни ад...

Но это было позже, в 1933-34 годах, когда общество «коктебельцев» как бы окончательно сложилось. В то наше первое лето папа получил отпуск поздно и приехал только в середине июля, а до того мы с братом бродили одни, как умели.

Я, конечно, в юности тоже был по природе пылжик, но стеснялся взрослых, с которыми папа быстро дружился, и предпочитал либо совсем одинокие прогулки, либо с Алешей, и в компанейские походы стал включаться позже — отчасти по папиному настоянию, отчасти же потому, что кое-кем я уже был признан личностью.

Впервые в жизни меня стала называть на «вы» Надежда Януариевна Рыкова, женщина тощая, вумная, с тиком и нервным подхихикиванием. Она была из воспитанниц Института истории искусств, одного из недолговечных

высших учебных заведений первых лет советской власти. Оно дало Ленинграду немало интеллигентных и талантливых женщин — литературоведов и искусствоведов; они же нередко славились как приверженцы свободы любви и матерщины.

Первая, самая ближняя и очевидная прогулка была вправо от пляжа, вдоль подножий Кок-кая. Тропа вилась здесь под каменными обрывами вдоль бухточек, въедавшихся в берег через каждые сто метров или около того; разделяли их каменистые мысы и огромные глыбы камня, сорвавшиеся с горы; сами бухты были усеяны округлыми камнями, и берега их были каменисты, а между камней, колышимые набегавшими волнами, карабкались большие, наглые крабы.

А на мысе, где ждут сердолики
Любопытных и жадных людей,
Крабы ползают злы и дики,
Охраняя покой камней.

Это уже из стихов Алеши, которые он начал писать здесь — год или два спустя.

Каждой бухточке соответствовала круглая долинка или лощина, подбегавшая снизу к очередной выгнутости горного обрыва; одна из них, самая большая, заросла кустами одичавших сливы, вишни, яблони, абрикоса — говорили, что здесь до XIII века был маленький христианский монастырь с фруктовым садом. Но, хотя я и тщательно облазал это место, никаких следов строений заметить здесь уже было нельзя: видно, постоянные землетрясения, осыпи и обвалы совершенно скрыли остатки монастыря. Но сад был.

Тропа вдоль моря в конце концов утыкалась в поперечный, тяжелый, черный, отвесный обрыв Карадага, спускавшийся прямо в море. Бухта перед обрывом называлась почему-то Лягушачьей, а по ту сторону каменной стены лежала Сердоликовая бухта; но стену мог бы преодолеть только опытный альпинист. Не то, чтобы в Сердоликовой бухте было больше сердоликов, чем на пляже в Коктебеле (или в Козах) — но именно там были над водой обнажены жилы сердоликового камня.

В Сердоликовую бухту посуху пройти было нельзя. Пыльжики, во главе с моим папой и мамой, добирались туда вплавь из Лягушачьей бухты, или даже прямо с коктебельского пляжа. В 1934 году поплыл туда с ними и я; по счастью, для верности позади шла лодка, потому что на пол-пути я испугался и решил, что мне не доплыть. С большим успехом вслед за моими родителями и другими проплыла вокруг мыса в Сердоликовую из Лягушачьей в августе 1932 года Нина Магазинер, впоследствии моя жена.

Несколько раз ходил я на Карадаг. Для этого надо подняться по жаркой, вьющейся дороге через виноградники на перевал между Карадагом и Святой, а оттуда налево по круглому травянистому склону выходишь к обрывам над морем. Слева огромную вертикальною башней стоит «Чертов палец»; под ним страшный крутой спуск к морю, где, говорят, погибла группа альпинистов, а правее него — выступающие параллельные горизонтальные каменные валы образуют нечто вроде балкона, откуда можно безопасно смотреть с пятисотметрового обрыва прямо в бездонное синезеленое море; направо внизу у берега видно отдельно стоящие Золотые ворота — действительно золоти-

сто-рыжие: вертикальная скала-островок со шпилем и сквозным гротом, выступающая вверх из моря метров на тридцать и окруженная черным Карадагом; сверху ворота кажутся крохотными.

Здесь, на вершине Карадага, позже завелся (или возобновился) обычай встречать встающую из моря зарю: поднимались на гору с вечера, ложились спать на «балконе» под шерстяными одеялами. Я удостоился провести ночь на Карадаге в хорошей компании и под одним солдатским одеялом с Агнией Васильевной Десницкой, впоследствии известным филологом.

Далее с Карадага — крутой спуск с перевала вниз, в долину Нижних Отуз, к Биостанции, лежащей близко за Золотыми Воротами.

Но можно податься с перевала и направо вверх, сквозь колючий кизил, на вершину Святой Горы, к могиле святого. Отсюда видны гора Ай-Петри с Аюдагом на западе, а в особенно ясную погоду — горы между Анапой и Цемесской бухтой на востоке.

А если начать идти с противоположной стороны пляжа — «от Юнга», то, перевалив через покрытые сухой травой серожелтые холмы, выходишь в Мертвую бухту. Это голубой ковш чистой-чистой воды, лежащий позади «Хамелеона» в манящих песчаных берегах; выше по склонам взбирается жесткая трава и красный сумах. Ничего больше нет. А между тем вид поистине захватывающий. Чем? Я думаю, нетронутостью, первозданностью. В Мертвой бухте нет воды, и здесь никогда никто не строился; не укрывались здесь и корабли. Нет даже следов на чистом песке.

За Мертвой бухтой можно идти по берегу в сторону Киик-атлама, пока не наткнешься на красноармейцев. Берег безжизненный, сухие обрывы, иногда с таинственными пещерками; камень — песчаник или попросту слежавшийся песок, будто нет в нескольких верстах отсюда серых и черных вулканических скал. Но между синим небом и морем, то голубым, то зеленым, — невысокие обрывы, вдоль которых пробираешься, перелезая с камня на камень, удивительной раскраски: песчано-желтые и потом фисташково-зеленые, розовые, опять песчано-желтые. Безжизненный, но удивительный берег. Мир до человека, даже до Одиссея.

Может быть, еще интереснее подняться на Сюрю-кая. Это узкий светло-серый скальный гребень, обрывающийся по обе стороны вертикально на 50-100 метров, поднятый над виноградным склоном северо-западнее села. В лоб на главную вершину подняться невозможно, — по крайней мере, без крючьев и веревок; но в обход, с «изнанки», с западной стороны, где виднеется шевелящаяся масса лесов и следующий хребет — Кызылташ, — подняться можно: там есть только метра три-четыре крутого каменного склона, где (для меня) нет никаких зацепок; но этот кусок можно преодолеть, сделав быстрый бросок вперед. И далее, на самую вершину, поднимаешься уже как по лестнице.

Очень хотелось пройти вдоль по всему гребню. В 1934 году нас — меня, А.В.Десницкую и еще одну девушку — взялся провести тут Ю.Н.Тюлин, композитор и альпинист. Гребень состоит из остроконечных или опять-таки гребневидных пиков, очень узких и оторванных друг от друга седлами-понижениями, лежащими на основном гребне, ширина которого, как мне помнится, нигде не превышает метра-полутора метров. Поднявшись на

главный пик Сюрю-кая, мы вслед за Тюлиным легко спустились на седловину между этим и вторым, гребневидным пиком. На тот, как сказал нам Юрий Николаевич, подняться без крючьев нельзя, но можно его обойти сбоку по покатому уступу-карнизу, прислонясь грудью к скальной стене. Ю.Н. прошел карниз сам до следующего седла между гребнями-пиками, потом, возвращаясь, перевел одну девушку, затем другую. Я перешел сам.

Но тут, как оказалось, гребень дальше не имеет ни малейших уступов: всюду вертикальный обрыв, с «нашей» стороны метров на 50, а с другой метров на 20. Ю.Н. приказал возвращаться. Опять он сам перешел, потом вернулся и перевел одну девушку, затем другую; но тут я сказал, что обратно сам перейти не могу, и Ю.Н. пришлось перейти над пропастью в одиннадцатый раз и перевести здорового парня. Видно, в наказание за мой юношеский физический страх, мои сыновья и стали впоследствии альпинистами.

Срамиться так срамиться. Расскажу уж и о другом своем, еще гораздо более сильном позоре. Мы приехали на ботике в Новый Свет. Это поразительной красоты зеленый круглый залив-ковш между мысом Меганом и Судакской бухтой, в то время почти никем не обитаемый, если не считать скрывавшегося в зелени дома отдыха милиции.

Нас хорошо покачало в пути, и все уселись отдыхать на пляже, а я пошел лазать по скалам. Скалы над бухтой невысокие, но осыпающиеся; я шел по карнизику чуть ниже того места, где травяной покров образует сверху навес — из-под него крошащиеся камни и осыпáлись; кое-где надо было нагибать голову под навесом. Дошел до места, где карниз кончился, и вперед ступить было нельзя; я стоял одной ногой на крошечном покатом уступе, не в силах повернуться на 90 градусов — и уступ был мал, и я был согнут под навесом; да, насколько я мог судить по звукам осыпания камней, и сзади за мной мои следы уже обвалились.

Положение мое показалось мне отвратительным. Можно было, конечно, пуститься вниз по наклонной осыпи, но там было море, бившееся о скалы, и отдельные глыбы камня, но я думал, что не смогу устоять, не сверзившись в водную стихию и не разбившись о камни. Не знаю, сколько я стоял, — вероятно, минуты, хотя они показались мне часами; потом я увидел местных ребят, гребущих в лодке в бухте внизу, недалеко от берега. Я глубоко спрятал свое самолюбие и подал им голос. Они подгребли к берегу, и один из них выскочил босой на скалу, развил бешеную скорость вверх по осыпи — скорость и удерживала от падения — схватил меня за руку, сорвал с моего уступчика и дернул вниз; мы добежали до лодки, я прыгнул, и они выгребли меня к пляжу.

Нет, поистине, мне нечем было гордиться; я опять в который раз показал себя полным ничтожеством. Парню, наверное, было лет четырнадцать, а мне восемнадцать. Что об этом сейчас сказали бы мои сыновья?

Тут надо рассказать о наших дальних прогулках.

К ним принадлежали прежде всего прогулки морские; тут уже я был не один, а входил в состав целой экскурсии-экспедиции. Мама в этих экспедициях обычно не участвовала, она предпочитала медленно гулять по пляжу «от Кордона до Юнга» и обратно, глядя под ноги и выбирая своим зорким взглядом сердолики. Зато папа всегда эти экскурсии возглавлял.

Нанимался парусно-моторный бот с мотористом или с двумя. Маршруты были разные. Наиболее замечательный — под Карадагом от Коктебеля до Отуз, с заходом или без захода в Сердоликовую бухту. Более дальний — в Отузы и Козы, где тоже был сердоликовый песчаный пляж, похожий на коктебельский. Самый дальний — вокруг мыса Меганом в Судак с заходом в бухту Новый Свет и с осмотром хорошо сохранившейся Генуэзской крепости на прибрежных скалах Судака. Вход в Судакскую бухту был мимо горы Сокол (где еще недавно расстреливали судакскую буржуазию — то есть дачников).

Путешествие в Судак было целым приключением. На обратном пути на траверзе мыса Меганом (мы выражались по-морскому) на довольно большой зыби заглох мотор, и нас неплохо помотало. Из примерно двадцати пяти экскурсантов двадцать лежало влежку; я хоть влежку и не лежал, но чувствовал себя весьма неважно. Веселились только папа, Ю.Н.Тюлин и Стефания Анатольевна Заранек, полненькая, очень хорошенькая и лукавая молоденькая женщина, тоже композитор. Стефания стояла у мачты и кокетливо босой ножкой, тыкала в живот своего очередного поклонника, Н.К.Чуковского, лежавшего совершенно мутнозеленым на скамейке поперек лодки как раз под мачтой. Мотор удалось завести, но когда завернули за Карадаг в коктебельскую бухту, из-за горы с суши подул такой сильный, порывистый ветер, поднявший крутые, хлопающие волны, что, казалось, о высадке не может быть и речи. По берегу, с растрепанными от ветра волосами, бегала моя обезумевшая мама, за ней еще кто-то из женщин. Но нас снова и снова волны отбрасывали от берега. Тогда, обвязав себя канатом, с носа лодки в волны нырнул Тюлин; ему удалось пробиться сквозь прибой и вытащить канат на берег. Далее подтянуть бот к берегу было уже «делом техники». Это показалось нам блестящим подвигом.

Но бесконечно более потрясающим душу плаванием было повторяющееся каждое лето путешествие вокруг Карадага. Между Карадагом и лодкой бездонное море было одновременно и прозрачным и темнозеленым, какого-то невообразимо волшебного цвета; а в сторону горизонта море было ярко-синим и в отдалении — голубым. А над нами на полукилометровую высоту поднимался черно-рыжий обрыв Карадага, уходивший в синеголубое ясное небо. Карадаг, как известно, — потухший вулкан еще юрского, кажется, периода. Гораздо ближе к нашей эпохе его раскололо сверху донизу, по центру, необычайной силы землятрессением, и теперь нашим глазам явлено самое нутро вулкана: застывшая в камень, все еще закрученная белесой спиралью лава, и белесая полоса, где был ход из этого нутра к кратеру.

Сплошной вертикальный обрыв лишь в самом начале нарушен тоже почти вертикальным кулуаром между Чертовым пальцем и Сердоликовой бухтой. А в конце плавания, когда лодка уже готова войти в Отузскую бухту, появляется маленькая зеленая (от воды) и золотистая (от камня) бухточка, посреди которой природой поставлены Золотые ворота, через которые мы и проплываем.

Другой дальний поход был начат по шоссе. Идея была сначала в том, чтобы обойти массив Сюрю-кая и выйти в Отузы по проезжей дороге. Но по пути экскурсанты взмолились — жара, пыль! Папа решил «сокращать путь» через

густой лес и повел свой отряд сверху, с шоссе, вглубь долины. Мы быстро заблудились и потеряли всякий ориентир. Наш главный пират не умел ходить по солнцу, так как оно, как известно, по небу передвигается. Мы шли через густой, курчавый зеленый лес, в котором не было даже троп, шли, кажется, бесконечно. Найденная в конце концов римская дорога вела из никуда в никуда. На самом деле мы прошли по прямой, от шоссе километров двенадцать, не больше, но сколько мы до того крутили — сказать трудно. Уже под вечер лес вокруг нас стал редеть, открылся луговой склон, и внизу — белый городок. Это был Старый Крым, очаровательный, чистый, как все южные города. Пить хотелось ужасно. На углах улиц были воздвигнуты каменные фонтанчики с питьевой водой — мы пили, пили, пили из каждого, но все было мало, и мы заходили в чайные, в магазины, пили чай, лимонад, минеральную воду — и опять шли пить чистую воду из фонтанчиков.

Где-то в одном из этих домиков незадолго до этого тяжко умирал, в нищете и голоде, замечательный писатель-поэт А.С.Грин. Но я еще не слыхал о его существовании.

Хорошо помню экскурсию в степь. Уж здесь никакой тени: мы шли цепочкой по растрескавшейся равнине, покрытой скудной засохшей растительностью, под палящим зноем, где не было ветра и неподвижно лежали колючие шары перекати-поля, шли в одних трусах и шляпах, тюбетейках или платках на голове; а позади, несколько отставая, шел некий толстенький доктор, он снял с себя вообще все и остался в чем мать родила, плюс соломенная шляпа.

Вытерпев эту невозможную жару, мы спустились в удивительные, прорытые весенними дождями, глубокие каньоны; там немного отдохнули в тени и пустились дальше, на плато планеристов.

Плато это представляло почти такую же ровную степь, только приподнятую над нижней степью метров на двадцать пять, а может быть и выше. Когда мы поднялись по тропе, мы застали планеристов за своим делом. Легкий (с виду) планер, с размахом крыльев в восемь-двенадцать метров, подтягивался к краю обрыва, в него садился человек, как в байдарку, к планеру прикреплялся толстый, в руку человека, резиновый канат, который затем оттягивали назад — уж не помню, машиной или воротом, — затем он отпускался — и планер выстреливался, как из рогатки, в воздух и реял, как птица, ловя восходящие потоки воздуха. Конечно, тогдашний планер был не то, что нынешний дельтаплан — или крылатый человека Грина, — но все же он куда точнее, чем самолет, соответствовал мечте о свободном полете человека.

Наверное, среди толпившися тут летчиков и конструкторов могли быть люди, впоследствии знаменитые — К.К.Арцеулов, Л.А.Юнгмейстер, С.В.Илюшин, А.Н.Туполев, С.П.Королев? Не знаю — они нам не представлялись.

Большую часть времени мы проводили все-таки не в походах, а в саду Манасеиной и, главным образом, на пляже — среди очень интересных и разных людей.

Говоря о людях Коктебеля того времени, надо, конечно, начать с Максимилиана Волошина.

Я не уверен, что я знал что-либо из стихов Волошина до этого времени. Его печатные дореволюционные стихи (которые, впрочем, я тоже прочел позже) были очень плохи; гениальный «Северовосток», «Дом поэта» и стихи о гражданской войне, конечно, никогда не были напечатаны; их я впервые услышал, вероятно, именно в Коктебеле в следующее лето. Но о Волошине-легенде я слышал здесь с самых первых дней: человек, спасавший в Гражданскую войну красных от белых и белых от красных в своем неприкосновенном Доме поэта, имевший, по слухам, охранную грамоту от Ленина, духовный владыка Киммерии, ходивший, как Зевс, в древнегреческом хитоне...

В один из первых дней я встретил его: он шел по пляжу, рослый, курчавый, бородатый, в длинном хитоне с наброшенным на плечи... ну, все-таки, не халатом, а скорее некоей мантией; с повязкой вокруг головы; шел, опираясь на посох. За ним шли две женщины, одетые без затей — его жена и жена кого-то из его гостей. На Зевса он был все-таки не похож — что-то в нем было, мне показалось, пародийное.

Через несколько дней в доме Манасеиной возникла какая-то необходимость попросить что-то из дома Волошина. Я напросился исполнить поручение и пошел в Дом поэта, о котором сказано:

...Мой дом — моя каюта:
И красный вождь, и белый офицер,
Фанатики непримиримых вер,
Искали в нем привета и приюта.

Я не бывал в Коктебеле более пятидесяти лет, и уже не помню дом Волошина в деталях. Вероятно, в чем-нибудь ошибусь. Мне помнится, что он был белый, двухэтажный, какой-то не вполне правильной формы, в одном углу его была круглая башня, совсем немного возвышавшаяся над самим домом. Внутри был большой холл, как в западных домах, бывший (тоже если память мне не изменяет) на двух уровнях и, помнится, с лестницей в углу, ведшей из башни, а в другом углу был огромный, в рост человека, гипсовый слепок скульптурного лица египетской царицы Тии, жены фараона Аменхотепа III: «...огромный лик царицы Таиах».

Сам хозяин сидел в хитоне за столом, как мне сейчас представляется, в повышенной части холла. Тут он принял меня, мы обменялись необходимыми малозначащими словами, и я ушел.

Это было последнее лето Максимилиана Волошина. Он умер в августе 1932 года и был, по его желанию, похоронен между коктебельской и Мертвой бухтами.

В первый «заезд» 1932 года в новорожденном Доме отдыха ленинградских писателей в бывшем доме Манасеиной было очень мало народу — мне кажется, взрослых человек двенадцать. Старожилами, жившими в Коктебеле уже не первый год, были Десницкие — отец, мать и трое детей.

Василий Алексеевич Десницкий, в белом чесучовом костюме и светлой шляпе, острыми усами и довольно большой седой бородкой, в черных очках (маленьких, как тогда носили) был человек весьма незаурядный. В Коктебеле, правда, он славился, прежде всего, как коллекционер сердоликов и других камней. Коллекция его уже тогда занимала несколько шкатулок, он их редко

кому показывал. Поговаривали, что ему нельзя показывать свои коллекции — он не мог бы удержаться от соблазна тайно похитить какой-либо особо необыкновенный сердолик или «куриного бога». Он был замечателен своей весьма необычайной биографией. Попович (как ясно из фамилии), он учился в духовной семинарии, прежде чем поступить в университет; ушел в революцию, был одно время членом ЦК РСДРП(б), но вышел из партии где-то около июля 1917 года; потом дружил с Максимом Горьким, издавал вместе с ним до середины 1918 года оппозиционную «Новую жизнь».

Ленин, очень нуждавшийся на первых порах в людях, предложил В.А.Десницкому пост какого-то наркома. Рассказывали, что В.А. ответил: «Я должен посоветоваться со своей группой», — и ушел, а Ленин после этого очень смеялся, говоря окружающим: «Да нет у него никакой группы».

Десницкий был неразговорчив, когда же говорил, то с иронией и скептицизмом. Г.А.Бялый, ученик Б.М.Эйхенбаума в области русской литературы и один из лучших лекторов нашего Университета, впоследствии рассказывал нам с женой, что как-то раз спросил В.А., как имеющего духовное образование, можно ли верить биографии Иисуса по евангелиям, и тот сказал: «Можно. Как биографии Горького».

Как-будто хранимый волшебным оберегом, В.А.Десницкий благополучно прожил тридцатые и сороковые годы и умер своей смертью профессором, заведующим кафедрой ленинградского Педагогического института в 1958 году. Из детей его известным человеком стала его дочь Агния Васильевна, тогда хорошенькая, черноглазая, неслыханно моложавая (ее спрашивали: «Девочка, в каком классе ты учишься?» А она отвечала: «На третьем курсе аспирантуры»). Впоследствии — в отличие от отца — она вступила в партию, стала заведующей Ленинградским отделением Института языкознания Академии наук, в начале пятидесятых годов — по обязанности — проводила политические «проработки», в том числе и своего учителя В.М.Жирмунского. (Про нее говорили: «плакала и прорабатывала, плакала и прорабатывала»). Была избрана членом-корреспондентом Академии наук.

Не знаю, почему не оставила по себе следов — может быть, рано умерла? — младшая дочь Десницкого, в то время еще школьница. О ней моя жена рассказывала такую историю:

— Когда я в 1943 году защищала в Кыштыме кандидатскую диссертацию в эвакуированном Герценовском институте, Василий Алексеевич — а он был деканом факультета, — пригласил меня к себе на обед. Это по тем временам было немалое дело: ведь по карточкам выдавалось ничтожно мало, а на рынке все имело астрономические цены. Я сидела за столом ужасно голодная, но, конечно, стеснялась взять кусочек хлеба. И вдруг младшая дочь А.В., художница — вот не вспомню ее имени, — видно, заметила это и протянула мне ломтик хлеба.

Я согласился с Ниной, что младшая дочь Десницкого располагала к себе больше всего.

Десницкие никогда не смешивались с другими отдыхающими, их почти ежедневные прогулки-экскурсии были делом семейным. Едва ли не по большей части они ходили за сердоликами — просто по коктебельскому пляжу, или в Сердоликовую бухту, или в Козы.

Другой заметной коктебельской семьей были Томашевские. Возглавлял ее Борис Викторович Томашевский, один из самых выдающихся русских литературоведов, основатель научной текстологии для памятников новой литературы, лучший пушкинист. Если Десницкий помнится мне беловато-серым или серовато-белым, но Томашевский — светло-коричневым. Высокий, стройный, с некрасивым, но необыкновенно мужественным лицом, с каштановыми волосами и небольшими усами, он был одет в коричневую пижаму. По образованию Томашевский был инженер, а в пушкинистику пришел из любви к Пушкину и стоял несколько поодаль от литературоведов-«профессионалов», — они были склонны придираться к нему, но в конце концов не могли не признать в нем истинно великого мастера. Он испытал свою долю гонений — попал под горячую руку проработчиков едва ли не в качестве формалиста, но приказанное свыше многотомное издание «юбилейного» Полного собрания сочинений Пушкина не могло обойтись без него.

Много лет спустя, работая с пушкинскими рукописями «Онегина» и с VI томом «Полного собрания», которое готовил Томашевский, я не мог не дивиться его палеографическому и текстологическому мастерству — но и замечал следы спешки (VI том должен был выйти к 100-летию смерти Пушкина). Однако и торопясь, он поступил как мастер: подготовил строгое издание рукописей, идеальное по прочтению и по принципам воспроизведения, и позволил себе спешить только с беловыми рукописями, не представлявшими принципиальных трудностей для прочтения.

В 1949-50 годах, когда страну захлестнула волна официального антисемитизма, Б.В.Томашевский, подойдя к стенной газете Пушкинского дома, которая была украшена огромной «шапкой»: «Любовь к Родине, ненависть к космополитам», сказал: «Зачем так длинно? Раньше говорили короче: «Бей жидов, спасай Россию».

Как и Десницких, Томашевских было пятеро: он, очень приятная его жена, и трое детей: Николай, Борис и совсем маленькая Зоя.

Как и Десницкие, Томашевские, — по крайней мере, старшие — держались несколько особняком, ходили лишь в свои семейные походы. Как и все, собирали камушки, но не с той оголтелостью, что Десницкие.

Самым замечательным человеком, с которым я познакомился в Коктебеле, я считаю Бориса Михайловича Эйхенбаума — самым благородным, самым умным, самым милым, самым изящно-простым. Но он не вмещается в толпу моих коктебельских воспоминаний, и о нем я лучше потом расскажу отдельно.

Очень яркой фигурой был художник Николай Эрнестович Радлов, карикатурист и остроумец, сын известного в свое время философа Э.К.Радлова, брат талантливого режиссера С.Э.Радлова и переводчицы Шекспира Анны Радловой. Лицо у Н.Э. годилось бы для герцога или пирата — резкий орлиный нос, загорелая кожа, серые, выразительные, вечно меняющие свой цвет глаза. На лице никогда ни улыбки, но между тем из него лился поток остроумных замечаний, наблюдений, эпиграмм, пародий. Более остроумного человека я не встречал; сейчас, через пятьдесят лет, попытка передать его остроты могла бы заставить читателя только пожать плечами — ведь важно и что говорилось, но и как говорилось.

Николай Эрнестович совершенно затмевал моего отца, который тоже был

немалый острослов. Папа брал свое в походах, потому что по этой части Николай Эрнестович был хилжик.

К «нашей компании» неизменно примыкала Софья Ангеловна Богданович, дочь известных литераторов начала века, Ангела Ивановича и Софьи Владимировны Богданович, еще молодая женщина с огромной золотой косой, по толщине и длине уступавшей только отрезанной косе моей бабушки Ольги Пантелеймоновны. К «нашей» же компании принадлежала и уже упоминавшаяся женщина-композитор Стефания Заранек.

Мне всегда хотелось описывать ее стихами из «Трех Будрысов»:

Нет на свете царицы краше польской девицы —
Весела, что котенок у печки,
И как роза румяна, а бела что сметана,
Очи светятся будто две свечки.

Котенок был довольно полненький, но необыкновенно добрый и доброжелательный. Осложнение было в том, что Стефания была «доньей Жуанитой». Она совершенно не могла видеть никем не оккупированного мужчину без того, чтобы сразу его не «охмурить». Как-то мы садились на бот в Судаке, чтобы плыть обратно в Коктебель и нетерпеливо ждали Стефанию, — а она была занята «охмурением»... постового милиционера на пристани.

В 1933 году, когда Дом отдыха уже имел свой штат, включавший и некоего мрачного доктора с внешностью неандертальца, Стефания вдруг увезла его с собою в горы и пропадала там вместе с ним с неделю. Потом так же внезапно, как уехала, так и появилась — а Дом отдыха был разбужен ночью воплями несчастного доктора и отчаянным его стуком в окно невозмутимой Стефании. Наутро папа упрекнул ее:

— Стеня, как же Вам не жаль несчастного медика?

— Я же ему сказала, что он мне больше не нужен, чего же ему еще надо?

Доктор был далеко не единственной жертвой. Последний на моей памяти был известный молодой писатель. Он даже бросил жену, и осенью Стефания принимала нас вместе с ним в ее квартире «по-семейному». С ним она выдержала целые три месяца, но затем велела ему возвратиться к жене:

— Я тебя люблю, — будто бы сказала она, — но ведь я все равно тебя скоро брошу — и куда же ты денешься?

Интересно, что к Стефании хорошо относились не только мужчины, но по большей части и женщины. Даже моя мама, при всей ригористичности ее этики, любила Стефанию — правда сказать, на папу та не покушалась. Но в любом случае по своей кратковременности ее увлечения не могли принести никому особенно тяжкого вреда.

Но женщины постарше говорили:

— Она готовит себе горькую старость. Что она будет делать, когда начнет стареть?

Стефании посчастливилось умереть молодой, красивой и любимой, так что с решением этого вопроса ей не пришлось столкнуться.

К нашему кругу принадлежала еще Надежда Януариевна Рыкова. Больше никого из того, первого коктебельского лета я не помню.

Уже много позже мне кто-то рассказал, что в то лето в доме Волошина жил О.Э.Мандельштам, и что он даже заходил на дачу Манассеиной. Но он

был не из тех, чье присутствие афишируется — о нем, наверное, немногие и знали. Во всяком случае я его не видел, а если видел — не отождествил.

Имя Мандельштама мне было тогда известно. Я помнил два его стихотворения наизусть: «Я изучил науку расставанья» и «За то, что я руки твои не сумел удержать». Они меня странно будоражили. Почему-то не хотелось признать, что это хорошо— слишком было непонятно — но нельзя было и не запомнить на всю жизнь.

Сверстников для меня в Коктебеле не было, да я к сверстникам и не тянулся — боялся уколоться или уколоть. В папином кругу, или тем более, при Николае Эрнестовиче — я совсем сходил на нет. Но оказалось, что для меня тоже нашлась в этом социуме своя «ниша», как говорят социальные психологи. Выяснилось, что я интересовал женщин, более старших, чем я. На самом деле, как я теперь понимаю на старости лет, я был мальчик красивый и неординарный; как объект любовного увлечения я, конечно, по самому моему возрасту рассматриваться не мог, но как эмбрион чего-то интересного, что могло из меня развиться в будущем, я уже представлял для женщин известный интерес.

С Надеждой Януариевной Рыковой мы могли говорить немножко о стихах; она читала мне стихи обэриутов, неизвестные мне стихи Ахматовой и Гумилева, Волошина — я отвечал ей чем-то в этом роде. С другой дамой — Анной Андреевной Беленкиной у меня установились отношения более доверительные, и как мне казалось — душевные. Она совсем не относилась к писательскому Дому отдыха. Жила она в мазанке Манассиной, как ее приятельница и гостья, была красива, приятна, доброжелательна. Я, признаться, впервые в жизни поведал ей свои сердечные увлечения и горести. Не знаю почему (может быть как раз потому, что она была черноглаза и черноволоса), я рассказал ей, что мне нравятся только совсем светлые девушки — светловолосые, может быть, даже рыжеватые. Она мне сказала:

— Вот на днях сюда приедет очень красивая белокурая девушка Нина Магазинер, она тебе должна понравиться.

Нельзя сказать, чтобы я отнесся к этому известию с безразличием.

Но до тех пор приехал в дом отдыха молодой профессор Григорий Александрович Гуковский. В его лице не было тонкости и изящества Бориса Михайловича Эйхенбаума — хотя он тоже был светлый и очень светлокожий, но черты лица его были крупны, и соответственно громкой и авторитетной была его речь. Говорил он очень интересно, часто неожиданно (по крайней мере, для меня). О поэзии, прежде всего. И вдруг я осмелел и решился попросить его послушать мои стихи. Он согласился. Я прочел ему то, что мне казалось наиболее современным, самостоятельным:

«На красном ковре были вышиты синие птицы, На белом лице ослепительно красные губы» и так далее.

Довольно читателю? Думаю, что довольно. Григорий Александрович прослушал до конца и сказал решительно:

— Плохие стихи.

С этим я, конечно, был совершенно согласен; ничего другого и не ожидал, но предполагал, что он даст какой-то разбор, скажет, что именно плохо и как надо. Я все же спросил его, в чем их недостатки. Он сказал, что это

несамостоятельно, и указал как на мой источник почему-то на Есенина, которого я вовсе и не читал еще тогда, а когда позже и прочел, то без всякого восторга.

Чуть ли не на следующий день приехали Магазинеры. Я болел весьма неромантично животом, видел Нину издали, и нас познакомили лишь дня через два. Это была действительно удивительно красивая девушка. По сравнению с тем, что я себе мысленно нарисовал, она была крупнее, лицо было полнее, а главное — волосы были хоть и золотистые, но совсем не того, а чуть более темного оттенка. Мы обменялись с нею несколькими словами; оказалось, что мы оба поступаем в один и тот же Литературно-исторический институт, обещали там встретиться. На другой день я уехал.

Однако надо еще рассказать про коктебельские знакомства следующих лет.

В 1933 году мы приехали — на этот раз вчетвером, с папой — уже в более благоустроенный дом отдыха.

Самой Манассиной больше в Коктебеле не было. Зато появился целый, хотя и небольшой, штат служащих.

В саду Манассиной была построена на живую нитку небольшая самостоятельная столовая, в которой кормили уже значительно лучше, чем прежде. А аппетит и у меня, и у брата Алеши был дай боже. Мы были известны под прозвищем «двух удавов».

Однажды утром, когда мы мылись в загончике-умывальне (еще одно новое сооружение в саду), мы услышали через фанерную перегородку разговор двух новоприбывших дам:

— Мне говорили, что в Крыму змей нет, а сейчас мне сказали, что в доме на горке живут два удава.

Действительно на горке у забора, что у дороги в сторону Тепсеня, был построен для семейных одноэтажный дом с верандой во всю длину; там мы и получили комнату, рядом с Десницкими и Томашевскими с одной стороны и с Эйхенбаумами и Рождественскими, с другой. Дом этот почти сразу получил название «корабля», — так он, кажется, если цел, называется и поныне, — а папа звался «капитаном» (или «пиратом»). Веранда «корабля» была одним из центров жизни дома отдыха; еще большим центром стало крыльцо большого манассинского дома; оно получило название «Женского клуба».

Здесь собиралось от пяти до десяти или двенадцати дам; считалось, что мужчины в Женский клуб вообще не допускаются (я там часто околачивался, но я по молодости был не в счет). Вскоре, однако, женщины единодушно решили, что Михаил Алексеевич Дьяконов должен быть почетным членом клуба; в связи с этим женщины купили голубой лифчик, вышили на нем надпись «Добро пожаловать» и «в торжественной обстановке» вручили его моему папе. Через некоторое время в Женский клуб был допущен и Борис Михайлович Эйхенбаум — но уже без церемониала. Приходили и другие мужчины потрепаться — острили, пели комические песенки стоя; только члены клуба размещались на ступеньках. Впрочем, неразлучные тогда Геннадий Фиш и Борис Соловьев влезали на вблизи стоящее дерево.

«Женский клуб» я помню как целое; индивидуально запомнилось не много лиц. Помню учительницу Марию Павловну Ивашкевич, с которой мы

случайно познакомились еще в поезде. Мама не имела обыкновения заговаривать с соседями по вагону, но эта строгая на вид, прямая, круглолицая молодая женщина, с сумкой на ремне через плечо (что тогда было очень необычно) сама предложила в чем-то помочь и так ласково улыбнулась, что разговор завязался сам собой — а тут еще выяснилось, что и она едет в Коктебель, и — что обе они Марии Павловны. С тех пор (с 1933 года) М.П.Ивашкевич регулярно ездила в Коктебель (живя при этом в деревне) и бывала у нас и в Ленинграде.

После конца тридцатых годов, и она исчезла, как многие, из поля нашего зрения. Я соприкоснулся с ней еще дважды: В конце пятидесятых годов она позвонила мне и предложила подарить мне — поскольку ей уже недолго жить — несколько книжечек поэтов двадцатых годов — Белого, Шкапскую, Клюева, Шагинян. Второй раз, уже после смерти Марии Павловны, я прочитал в одном из блокадных сборников ее очерк о том, как она спасала своих школьников, вывезя их в пригород и научив их там огородничать.

Помню гладко причесанную, умную Наталию Семеновну — жену известного тогда пролетарского писателя С.Семенова, автора образцово-ортодоксального и, помнится, очень скучного романа «Наталья Тарпова» (и мать будущего поэта Глеба Семенова). Помню жену известного уже тогда критика, а потом известного погромщика, непринужденно рассказывавшую, как она, приехав домой ранним утром от любовника, сообщила мужу, что задержалась из-за разведенных мостов, забыв, что дело было зимой. Помню симпатичную и очень умную редакторшу из ленинградского Гослитиздата со странным именем и отчеством: «Фанеда Иудовна». Из ее рассказов запомнилось, как она с родителями и братьями жила в гражданскую войну в Екатеринославе, который не то двенадцать, не то пятнадцать раз переходил из рук в руки: белые, красные, немцы, Центральная рада, Петлюра, махновцы, красно-зеленые, бело-зеленые, белые, красные, опять белые, снова красные. Они узнавали, можно ли выходить на улицу за хлебом, или убьют, по тому, что пели солдаты. Трудность, однако, была в том, что красные и белые пели на одни и те же мотивы разные слова: белые, например «Смело мы в бой пойдем за Русь святую и как один прольем кровь молодую», а красные: «Смело мы в бой пойдем на власть Советов и как один умрем в борьбе за это».

В одноэтажной мазанке с краю сада теперь помещался директор дома отдыха Тютюнджи с дочкой Леной, интересной бледной девочкой, в которую, как мне кажется, в конце концов (уже когда я не ездил в Коктебель) несчастно влюбился мой брат Алеша (впрочем Алеша был невероятно скрытен). Там же в мазанке жили поэт Анатолий Мариенгоф, высокий, красивый — но мне почему-то не понравившийся, его жена, актриса Никритина и их сын, черноглазый мальчик лет десяти, вскоре трагически погибший, который показался мне славным. Родители подружились с Мариенгофами и встречались с ними в городе.

Совершенно не смешивался с остальной публикой очень популярный тогда писатель Борис Лавренев со своим особым окружением. Лавренев был стройный мужчина в очках, с чубом, с неприятным, злым лицом.

Пляж во второй год Дома отдыха уже довольно четко разделялся на мужской, женский, общий (семейный) и пустующий ничей. Пляжи были размечены, и на первых двух купающиеся лежали на солнце нагишом. Однако Лавренев устраивался нагишом (лицом к солнцу) как раз посредине семейного пляжа, а вокруг него, тоже нагишом, лежали на животах, в виде звезды, шесть или восемь его поклонниц. Это не вызывало восторга окружавших его чужих жен и мамаш.

Столько я видел в Коктебеле назаурядных людей, а вспоминать их мне нечем, кроме беглого описания внешности или какой-нибудь дурашливой выходки.

Так, например, Павел Лукницкий, молодой, спортивного вида, сильно курносый блондин, нарядился в дамские трусики, яркий лифчик и головную повязку, намазал губы и в таком виде полез на мужской пляж. Лицо феминизированного Лукницкого являло собой нечто весьма похабное, хотя он совершенно не прибегал к мимике. Надо было видеть смущение мужчин, срочно делавших жест Медицейской Венеры, а также и гнев дам, мимо которых проследовала «эта особа».

Павел Лукницкий был личностью с незаурядной биографией, но третьесортным писателем, специализировавшимся на романах о борьбе пограничников с басмачами в Таджикистане. Он нимало не обольщался относительно их качества. Зато забавны — и, по тем временам, отчаянно смелы, — были его куплеты на приезд в Ленинград короля афганского Амануллы-хана.

Это был первый приезд коронованной особы в Советский Союз, и власти не знали, как достойно поместить его в городе — не в Европейской же гостинице? Решено было поселить его в императорских комнатах Зимнего дворца, для чего пришлось временно потеснить занимавший эти комнаты Музей революции. (После своего возвращения в Афганистан, Аманулла, король-реформатор и отчасти даже либерал, был свергнут Бача-Сакао, восставшим в Джеллалабаде и поддержанным мусульманским духовенством). Куплеты пелись на популярный мотив братьев Покрасс «Мы красные кавалеристы», где были слова «Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер, сумеем кровь пролить за Эр-эс-эф-эс-эр»:

Ведь с нами Аманулла, первый красный падишах,
И с ним режима старого сотрем мы прах! — Но ах:
Бывают же оказии
У нас и в Средней Азии —
Поддал под зад
Джеллалабад!
Ах, не сносить на кратере
Га-ла-вы!
Катись к такой-то матери
До Москвы,
А мы тебе за службу там дадим не алимент, —
В Музее революции а-пар-та-мент:
Сиди и пой с гитарою
На мир весь
Ни новую, ни старую весть:

(и тут переход на «Очи черные, очи страстные»):

«Ах, Британия,
Забыв все правила,
Без пропитания
Меня оставила,
Книжка заборная
На грудь мне взвалена —
Ах, очи черные
И речи Сталина!»

Кто бы мог подумать, что Лукницкий уже много лет подряд посещает почти позабытую новым поколением Анну Ахматову, подробно записывает разговоры с ней и навсегда этими записями войдет в историю русской литературы.

К сожалению большинство писателей проходит перед моей нынешней памятью как бледные тени.

В светлом костюме, одинокий, ни с кем, кажется, не общавшийся Андрей Белый, лысый, но не старый, с каким-то неожиданно прозаическим лицом. Я помнил почти наизусть его поэму «Первая любовь», пытался читать его статьи о поэтике и романы — и те и другие показались мне, — видимо, несправедливо — скучными, вычурными и неубедительными. Я был изумлен, увидев его: мне казалось, он относится к давнему, дореволюционному миру, и я думал, что его давно нет в живых.

Асеев с женой на террасе большой дачи. Асеев принадлежал для меня к комсомольскому поколению, где-то вместе с Виссарионом Саяновым, Александром Безыменским, Александром Жаровым, Иосифом Уткиным, Михаилом Светловым, Джеком Алтаузеном, — а он выглядел очень старым, отяжелевшим.

Сохранивший офицерскую выправку, интеллигентный Леонид Соболев, автор одного-единственного неоконченного романа; другой бывший морской офицер, Сергей Колбасьев, автор отличного романа о переходе молодых офицеров к красным («Поворот все вдруг»). Седоватый мужественный писатель и полярный путешественник Пинегин. Грустно-молчаливый, всегда с печальными глазами Михаил Михайлович Зощенко. Томный профессор западных литератур Стефан Стефанович Мокульский. Журналист и деятель Литфонда Еремей Лаганский, дядя моей будущей жены, раздражавший меня пародийной схожестью поведения с манерой моего отца.

Несмотря на то, что все были на отдыхе, иногда кое-кто читал стихи. Очень расширила мои представления о русской поэзии XX века Надежда Януариевна Рыкова, читал стихи Г.А.Гуковский. Читали поэты свои стихи. Двоих из них я должен здесь вспомнить.

Один — Всеволод Александрович Рождественский. Это было очень интересное для меня явление: живой акмеист, ученик и подражатель Гумилева, благополучно признанный советской властью. На Гумилева, как говорила Надежда Януариевна, он был похож и дикцией (но Гумилев не произносил еще больше букв, чем Рождественский), и интонацией: как бы необоснованным распевом стихов. Мне было очень интересно услышать, как читает стихи живой акмеист и сравнить с музыкально точной передачей моим братом Мишей чтения другого акмеиста — Георгия Иванова.

Вид у Рождественского, в очках, в смятых брюках был при этом мало поэтический, но распев стихов все-таки захватывал.

Совсем иной фигурой был великолепный Борис Корнилов. Это был поэт бесспорно и полностью советский, и при том с своеобычным и сильным поэтическим голосом. Приехал он со своей замученной женой Ольгой Берггольц, которая в тот период стихов не писала, — у ней был хлопот полон рот с мужем, который был непрерывно пьян, и вечером его нужно было провожать домой чуть ли что не из-под забора.

Читал он стихи великолепно, громко, ясно и ритмично, лучшего чтения я никогда не слышал. Читал не «с выражением», как делают актеры, для которых «выражение» важнее самого стиха, а как читают поэты, с выразительностью необычайной. Читал он поэму о «кулацком восстании» и героической гибели группы комсомольцев в Триполье на Днепре во время Гражданской войны и продразверстки. Главной движущей силой восстания был глава крестьянской секты, считавшийся у своих приверженцев воплощением самого Бога: «Бог сидел на скамейке, чинно с блюдечка чай пил...»

Эта поэма уже подверглась в 1933 году жесточайшей критике со стороны партийной печати — за то, что кулаки у него написаны более выразительно, чем комсомольцы. Не сочувственнее, а выразительнее! В конце концов Корнилов погиб.

Из смутных воспоминаний о писателях выделяется еще один — пролетарский драматург, по фамилии, кажется, Громов. Это был профессиональный рабочий, честно считавший, что для того, чтобы стать писателем, достаточно макать перо в чернильницу и водить им по бумаге. Мне довелось прочесть одну его пьесу — она была неправдоподобно похожа на пародию. Сцена 1 открывалась ремаркой: «Роскошная гостиная. Слева плюшевый диван, справа зеркальный шкаф».

Это не помешало ему быть видной фигурой во Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей — чуть ли не секретарем ЛАППа или, по крайней мере председателем секции драматургов.

Держался и он, и его рябоватая жена скромно, и с ним у всех были хорошие отношения — по крайней мере в доме отдыха, не знаю как на собраниях и на страницах печати.

Вообще, 1933 год был еще годом писательских группировок — группировались по художественным убеждениям; против советской власти никого не было, но и это уже называлось в печати «групповщиной». Однако в Коктебеле не было заметно ни группировок, ни групповщины. Доходило до того, что пролетарский поэт, могучий и дородный Илья Садофьев соглашался включиться в групповую фотографию вместе с Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, «вождем формалистов». Во всяком случае, не было никаких непожатых рук, отвернутых лиц, шепотов за спиной. Все жили дружно и веселились. Не хватало только Казотта, способного к предсказаньям.

1934 год был годом созыва первого Всесоюзного съезда писателей, после чего был утвержден единый Союз писателей, включавший все группировки. Тогда же был объявлен социалистический реализм как общее для всей советской литературы течение, но летом это все еще было впереди. Несмотря на купание, солнечные ванны и общую атмосферу трепа, конечно, были и

разговоры о том, что принесет съезд. Что будет создан единый Союз писателей — это уже было известно; известно было и то, что распускается РАПП. (Печать и власти били по РАПП'у и по конструктивистам. Видимо, в этой организации чуялся начальству некий душок возможной партийной оппозиции). Большинство определенно считало, что закрытие РАПП'а и прекращение его претензий на монополию как организации, правящей истинно-пролетарской литературой — это хорошо. Ведь до сих пор все остальные писатели — даже Маяковский — были в лучшем случае — попутчики, в худшем — буржуазные последыши.

Прекращение деления писателей на пролетарских и попутчиков Коктебель приветствовал. Насколько благом является создание единого Союза писателей — тут мнения несколько расходились; группировки единомышленников в разработке художественного слова все же казались необходимым явлением всякой живой литературной жизни. Никто, однако, не предвидел размеры бедствия, которое представит единый союз во главе с железными партийцами (а порой и чекистами); где будет господствовать фактически партийная дисциплина с ее «демократическим централизмом». Однако серьезных обсуждений ситуации не было — все уже привыкли, что за нас решает партия.

Но как-то на веранде «Корабля» кто-то высказал в шутку мысль, что писателям надо выдавать единые знаки различия, как в армии: «ромбы» генералитету, «шпалы» старшему, «кубики» среднему и «треугольники» младшему комсоставу — или писсоставу.

Кто-то — чуть ли не я — предложил вместо геометрических фигур помещать поэтам в петлицу лиру. Это предложение сейчас же уточнили: лиры — генералитету, гитары — старшему поэтическому составу, мандолины — среднему, балалайки — младшему. Все тут же увлеклись раздачей знаков различия ныне здравствующим поэтам. Всех согласились на лиру или две Пастернаку и Тихонову, и на одну лиру — после долгих и ожесточенных споров — Маршаку. Четыре гитары получили Борис Корнилов и Павел Васильев. Вера Инбер и Александр Безыменский получили что-то вроде трех или двух мандолин, Жаров и Уткин — по три балалайки, и тому подобное.

Вдруг Н.Я.Рыкова встрепенулась: «Есть еще один генерал, три лиры! Мандельштам! Это — белый генерал, но все-таки генерал. Белый — но генерал», — повторила она, нервно хихикая.

От этого предложения мне вдруг сделалось жутко, хотя до 1937 еще оставалось три года.

Про Белого и Ахматову, кажется, и не вспомнили. Их как бы уже и не было в русской литературе.

Глава седьмая (1932—1933)

И так до победного края
Ты, молодость наша, пройдешь,
Покуда не выйдет другая
Навстречу тебе молодежь.
И, в жизнь вбежав оравою,
Отцов сменя,
Страна встает со славою
Навстречу дня.

Б.Корнилов

Вы — соль земли. Если же и соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.

Матфея, 5, 13

Между временем, когда я писал первые шесть глав этих воспоминаний, и вот этим, когда я пишу главу седьмую, пробежало двадцать пять лет. И мне представлялось, что я один из немногих последних интеллигентов — как принято было говорить, «старых интеллигентов», «буржуазных интеллигентов» — и что с этой точки зрения я могу представлять, как некий образец, известный исторический интерес; и даже то, что детство мое и для «старого интеллигента» прошло не вполне обычно, тоже, казалось мне, придает моим воспоминаниям какое-то своеобразное значение. Перечитывая теперь первые главы воспоминаний, я с огорчением обнаруживаю: многое из того, что я тогда помнил — и поэтому считал именно очень важным для формирования личности, — сейчас начисто забылось: эпизоды, имена, лица. Стало быть, волей-неволей мои дальнейшие воспоминания будут менее точны, с неизбежными лакунами, смутностью и хронологическими сбоями. Кроме того, и из жизненного опыта я узнал, что многие события, имевшие иногда особенно важное значение для истории воспитания души, как раз часто вовсе нельзя вспомнить: в памяти существует защитный механизм, выбрасывающий из ее хранилищ то, что уже не нужно для сегодняшней жизни, и, в особенности, то, что вспоминать мучительно или стыдно. И число впечатлений, обрушивающихся на взрослую душу и задерживающихся в памяти, столь огромно, что изложить все на бумаге просто невозможно. Поэтому для пишущего мемуары встает вопрос: каково значение отобранных воспоминаний — в какой мере мы выражаем себя в них, а в какой — прячемся за ними? Я, конечно, старался не прятаться — но удалось ли? В то же время я пришел к заключению, что я вовсе не «последний интеллигент», что так называемая «старая» интеллигенция неистребима и что она может исчезнуть лишь с концом света — быть может, близким. Кстати, постараюсь дать определение, что такое интеллигенция. По-моему, это некий круг людей, способных видеть вещи не с одной, а с разных сторон. В этом историческая слабость интеллигенции: фанатик (а это просто обыватель, вышедший из статики в действие) активен: он видит перед собой классового врага — к стенке; жида —

в газовую печь; иностранца — взять под наблюдение как шпиона, отгородиться от него непроходимой колючей проволокой границы (и надо бы истребить, да руки коротки). А интеллигент пассивен, потому что видит: да, вот это помещик (или, там, капиталист), он живет за счет прибавочной стоимости. Но кроме того, он благородный, честный человек, у него милые дети (которые пойдут в беспризорники); мало того, он принадлежит к той группе населения, которая является носителем наиболее ценных генов (сосчитайте, какой процент русских писателей, ученых, художников с 1817 по 1917 г. был не из дворян, в крайнем случае — священников, купцов?). И много ли равноценного мы получили за те десятилетия, когда дворяне и прочие «лишенцы» были избавлены от возможности образования, и, по большей части, лишены жизни? Или интеллигент видит: да, вот этот — он еврей, ни из чего не видно, что быть евреем плохо, а притом ведь евреи, в условиях почти непрерывной двухтысячелетней дискриминации, дали миру наибольший по отношению к численности населения процент великих ученых, мыслителей, музыкантов, и в газовой печи или просто за бортом высшего образования легко оставить Иисуса, Эйнштейна, Менухина, Левитана.

И потому, что интеллигенция, как Кассандра, видит вещи сразу со многих сторон, она — соль земли. Интеллигенция не «социальная прослойка», а мыслящая часть человечества.

Это одно. А другое заключается в том, что за эти четверть века произошли столь грандиозные изменения в миропонимании и мироощущении окружающих меня людей, что мое былое восприятие мира, показанное в его сложении по крохам, по едва заметным ступенькам, совершенно непонятно, если попутно не объяснять: а как же именно думали, верили и воспринимали мир вообще все те люди, среди которых я рос и жил. Поэтому теперь изложение придется перебивать экскурсами в миропонимание среды, в которой я жил, на разных этапах моей жизни.

Я прошу верить, что если какой-нибудь перекос против истины произошел, то это не потому, что мне этого хотелось, а потому, что так это сохранилось в памяти. Кое-где я, несомненно, ошибся в именах и фамилиях — на них память особенно сдает. Некоторые фамилии я счел необходимым заменить или просто обозначить условными буквами. Кое-что записано по слухам, и потому может оказаться неверным. Я старался избегать подобной сомнительной информации, но, с другой стороны, для историка эпохи важны и бытовавшие слухи.

Еще в норвежской школе, зимой 1928—29 г., когда кто-то из учителей спросил меня, кем я собираюсь быть, я твердо ответил: «историком древнего Востока». Мечта об астрономии — так сказать, альтернативная мечта — была уже тогда давно отброшена, так как математика мне явно не давалась; алгебра была единственным предметом, по которому я должен был постоянно прибегать к помощи папы. И к окончанию школы мое решение заниматься историей древнего Востока стало лишь еще более твердым.

Надо сказать, что мои родители никогда не пытались влиять на выбор сыновей — чему им учиться, кем стать. Правда, когда Миша в 1930 г. кончил университет по специальности персидской филологии, папа заговорил с ним

о необходимости устроиться на работу где-нибудь по линии Наркомвнешторга и был поражен резко отрицательным отношением Миши к разговорам такого рода и его решительным желанием заниматься наукой. Но мое такое же желание, сложившееся еще ранее мишиного, и притом желание заниматься древним Востоком, никогда не вызывало у старших никаких возражений.

У меня были об этом как бы косвенные разговоры с мамой; она была, конечно, огорчена моим выбором и говорила мне, — по своему обыкновению тихо и печально, — что нужно заниматься тем, что приносит пользу людям, а из наук пользу могут приносить только такие как биология или медицина, общественные же науки в лучшем случае бесполезны. Я возражал ей, говоря, что сейчас уже можно изменять человеческое общество на научной основе, и что без улучшения общества и медицина вместе с биологией не смогут приносить настоящей пользы людям. Однако именно в результате этих разговоров с мамой я составил себе план жизни, которому потом и следовал, с естественно возникавшими модификациями, и следую до сих пор.

План заключался в том, что сначала надо изучить социально-экономический строй древнего человечества. Почему именно древнего? Об этом я расскажу немного позже. Потом надо изучить его мышление, которое определяется общественным строем.

Подход к мышлению должен быть через язык.

К 1932 г. идея о связи языка с мышлением как формы с содержанием уже стала всеобщим достоянием — даже не столько через непосредственное влияние так называемого «нового учения о языке» Н.Я.Марра (которого никто не понимал), сколько через комплекс идей, лежавших в основе созданной им же гораздо ранее этого учения Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК). Учрежденная по ходатайству Марра декретом Ленина, официально она должна была заниматься разработкой истории производительных сил в pendant к истории производственных отношений, которыми занималась, например, Комакадемия; в действительности ГАИМК объединяла археологов, лингвистов, историков древности и средневековья и была неким заповедником, где под эгидой Марра и ленинского декрета могли спасаться неприкаянные гуманитарии. От ГАИМК постепенно отпочковался Институт языка и мышления Академии наук (с тем же Н.Я.Марром в роли директора) и ИЛЯЗВ — Институт сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока (который, в отличие от Азиатского музея, занимался разными теоретическими проблемами). Под влиянием шедших отсюда идей и теоретических установок, считавшихся более совместимыми с марксизмом, чем традиционная филология, даже запрещенная, произошла реформа и в Университете, где разные традиционные факультеты были преобразованы в ФОН — факультет общественных наук, внутри которого существовал Ямфак — отделение языков и материальной культуры, который Миша и кончил в 1930 г.

Попытки «выйти к изучению мышления» через язык были впоследствии, вместе с «новым учением о языке», оставлены в нашей стране после гениальной брошюры Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», но для меня этот выход остался на всю жизнь реальной, живой и плодотворной задачей.

И наконец, к концу жизни я надеялся через мышление сомкнуться с физиологией мозга, ибо как бы ни было мышление по своему содержанию обусловлено обществом, его механизмы в конечном счете должны были быть общечеловеческими — биологическими; и таким способом я примирялся со взглядами моей мамы. Так или иначе, мы с ней оба были материалистами: она —«механическим» (но не столько от каких-то «Бюхнера, Фогта и Молешотта», сколько от Павлова и Сеченова); я же —«историческим материалистом».

Этот план был позже, после лекций и докладов И.Г.Франк-Каменецкого, дополнен предполагаемым ходом к мышлению через мифологию, но в целом уже для меня никогда не менялся. Нечего говорить, что до физиологии мозга я не дожил.

Почему я решил начать именно с древнего Востока? Во-первых, конечно, из-за начавшегося еще в девять лет увлечения египетскими иероглифами и Египтом; затем — из-за подаренной папой «Кэмбриджской истории древнего мира» и ради особенно заинтересовавших меня «народов моря» (битвы которых с египтянами и сирийцами разыгрывались мной с Аликом на крепостях из кубиков с помощью фигурок «хальмы»). «Народы моря» же, естественно, связывались с гомеровским эпосом; я исписал множество карточек и тетрадей генеалогиями греческих героев — по «Илиаде», по папиному учебнику мифологии и «Реальному словарю классической древности» Любкера, купленному уже мною самим у букиниста; я пытался доказать себе (чтобы в будущем доказать и другим), что эти генеалогии согласуемы, а потому историчны. Ключ к решению вопроса, как казалось мне, лежал в изучении недавно открытого хеттского общества на стыке эгейского и ближневосточного мира. При этом из всего того, что я уже успел прочитать по истории древнего Востока, было ясно, что подходить к хеттам надо, начиная с изучения ассиро-вавилонской клинописи и древних языков.

И наконец, уже независимо от детских увлечений, потому еще мне нужен был древний Восток, что здесь было ближе всего к первоначальному, общечеловеческому: правда, археология заходит еще дальше вглубь времен, но черепки и фундаменты не дают «выхода» ни к социальным отношениям, ни к мышлению. Я не помню уже, почему я отверг этнографию — отчасти, наверное, потому, что питал склонность к письменному тексту, к документу, а этнография все же доходит до нас через субъективное восприятие этнографа или, того гляди, миссионера.

Итак, было решено, что я буду учиться истории древнего Востока. Дома я не встречал никакого сопротивления, а Миша меня поддержал. Я стал читателем библиотеки Азиатского музея[1] и посещал заседания Кружка древнего Востока при Эрмитаже.

Теперь речь шла о том, как претворить мой замысел в действительность. К 1930 г. на университет, как и на среднюю школу, распространилась реформа образования: был введен бригадно-лабораторный метод, совершенно отменены лекции (бывало, что профессоров увольняли «за превращение

[1] Штат ее состоял из одного хранителя без высшего образования, Еремея Даниловича Сысоева. Он научил меня пользоваться библиотечным каталогом, за что я ему по гроб жизни благодарен. Карточки писали профессора.

занятий в лекции»), в университетах и других высших учебных заведениях (интеллигенция еще никак не могла произнести слово «вузы») линия велась на крайне узкий практицизм. Так, биологический факультет был преобразован в «факультет животноводства и растениеводства», а «ямфак» был и вовсе закрыт; взамен его был открыт отдельный институт под названием ЛИЛИ — Ленинградский институт лингвистики и истории; он делился не на факультеты (они были упразднены вместе с лекциями и некоторыми буржуазными науками, как то филологией), а на «отделения»: историко-педагогическое, экскурсионно-переводческое и музейно-краеведческое. Прием производился исключительно по классовому признаку, продолжительность обучения была четыре года, но поощрялось перевыполнение плана в виде завершения курса за три года.[1] Ямфак работал еще в Главном здании Университета, но ЛИЛИ получил отдельное здание по Университетской набережной 11, где и теперь (1983 г.) помещаются филфак и востфак. Дух этого учреждения хорошо рисует следующий эпизод.

В вестибюле, симметрично двум лестницам, ведущим на полуэтаж, стояли два гипсовых бюста. Новый директор (не упомню его фамилии), входя впервые в здание, спросил у кого-то (своего заместителя или же завхоза?):

— Кто такие? — Древние философы: Платон и Аристотель. — Материалисты? — Да нет... — Убрать! — А они на металлическом стержне. — Разбить! — И разбили.

Он же, председательствуя на собрании, после доклада говорил:

— Пусть теперь выскажутся партийные товарищи, а потом прочая публика.

В этих условиях осуществление моего намерения — готовиться стать историком древнего Востока — казалось совершенно нереальным. Но я не очень беспокоился: все так или иначе менялось на глазах, а из моих сверстников, кончивших вместе со мною 9-й класс 176 школы, в высшие учебные заведения все равно попали пока лишь очень немногие (хотя большинству из них, в отличие от меня, к моменту окончания уже исполнилось 17 лет, что было необходимо для поступления); большинство поступило на заводы — зарабатывать себе рабочий стаж.

Однако, еще за два года до обращения Сталина, Кирова и Жданова о преподавании исторических наук, в ЛИЛИ обозначилось начало новых реформ, в общем направлении обратно к традиционному университету (они продолжались до 1936 г.): хотя на старших курсах еще кончали студенты

[1] В 1935 г. студентка африканского цикла филфака Тютрюмова рассказывала мне о характере обучения в ЛИЛИ между 1930 и 1932 гг. Она училась на историко-педагогическом отделении по таджикскому циклу. Поскольку ее дважды исключали из института за происхождение, а затем ей пришлось кончать институт в ударном порядке, она не успела выучить по-таджикски ничего, кроме «салам алейкум» и «бисйор бэд» («очень плохо»). После окончания она с большой группой других студентов была распределена в Институт этнографии. Здесь всех вновь поступающих построили в один ряд, и к ним вышел директор института Маторин (это, наряду с Пригожиным, был тогда главный методолог по истории в Ленинграде). Он прошелся вдоль ряда и, тыкая пальцем по очереди в грудь каждого поступающего, приговаривал: «Вы будете работать по Австралии», «Вы будете работать по Полинезии», «Вы будете работать по Африке», и так далее. Тютрюмовой досталась Африка, о которой она, конечно, не имела ни самомалейшего понятия. Поэтому, когда на кафедре Рифтина в 1934/35 г. открылся африканский цикл с преподаванием амхарского (Н.В.Юшмановым) и хауса (Д.А.Ольдерогге), Тютрюмова решила вновь поступить учиться по своей новой специальности. Кроме амхарского и хауса, у «африканцев» преподавали еще эфиопский (тоже Н.В.Юшманов) и суахили.

музейно-краеведческого и экскурсионно-переводческого отделений,[1] но для первого курса был объявлен прием на историческое, литературоведческое и лингвистическое отделения. Я подал бумаги на историческое отделение. Бумаги эти были следующие: заявление, автобиография (увы, очень коротенькая!), фотокарточка, анкета; здесь наиболее тяжелые пункты были «социальное положение» — в моем случае «из служащих» — и «бывшее сословие» (так! Через 15 лет после «отмены» сословий!) — в моем случае «из мещан»; последнее было неточно, так как мой отец как окончивший курс высшего учебного заведения был «личный (т.е. непотомственный) дворянин», а мать была, хоть и вроде Маши Мироновой из «Капитанской дочки», но все-таки дворянкой. Однако, поскольку ко мне дворянство не могло перейти ни от отца, ни от матери, то я, живи я в царское время, был бы мещанин.

Кроме того, в числе бумаг требовалось свидетельство об оспопрививании, о среднем образовании (аттестат) и характеристика с места работы, из рабфака или школы. — Я еще осенью 1931 г. пошел за аттестатом и характеристикой в свою школу. На ступенях лестницы я встретил Веру Бастыреву (на два года младше меня), с косой, свернутой на затылке; ее окружала толпа младшеклассников: «Вера Дмитриевна! Вера Дмитриевна!»...

— Здравствуй, Вера, — сказал я. — Что это, ты уже учительница?

— Да, окончила краткосрочные педагогические курсы после 7-го класса.

Я прошел к самой Пугачихе — она так и сидела за письменным столом в кумачовом платке. Аттестат она мне выдала (весной еще не было бланков), а с характеристикой оказалось сложнее.

— Какая у тебя была общественная работа? — Я был бригадиром учебной бригады. — А кто входил в твою бригаду? — Финкельштейн, Толяренко, Касаткин, Зеберг, Молчанова, Россолевич.

— А ты знаешь, в чем они обвиняются?!

Я знал; махнул рукой и весной 1932 г. подал бумаги без характеристики.

II

Вернувшись в сентябре 1932 г. из Коктебеля, я зашел в ЛИЛИ и там на полуэтаже (где сейчас книжный киоск) стал смотреть свою фамилию в списках принятых. В списках принятых меня не было, но я был в списках кандидатов. Это значило, что если в течение первого семестра кто-либо из рабфаковцев не выдержит бездны премудрости, то меня зачислят на его место, в противном же случае — отчислят.

Из других фамилий в списке было две знакомых: Ошанина Е.Л. (Галка)[2] и Магазинер Н.Я. Обе они были детьми научных работников, а научные работники в нынешний прием были приравнены к рабочим. А мои родители

[1] На последнем курсе экскурсионно-переводческого отделения состояла моя ученица по норвежскому языку, Татьяна Григорьевна Гнедич. Она чудом попала в число студентов ЛИЛИ и дважды подвергалась исключению. Главным ее преследователем был некто Павел Кокорин, на вид вполне интеллигентный человек, но, видимо, твердо перешедший на пролетарские позиции.

[2] Она была Елена, а не Галина, а звалась Галкой за смуглый цвет лица, черные волосы и черные глаза, и была дочерью Льва Васильевича, папиного главного друга.

научными работниками не были, почему я и удостоился быть принятым только в кандидаты. Это не мешало мне сразу же приступить к занятиям.

Они почему-то начинались с 1 октября. В этот день я пришел к 9 часам утра, посмотрел на расписание и пошел в актовый зал. Помнится, должна была быть лекция Петропавловского по политэкономии.

Я сел где-то с краю, ни далеко от эстрады с воздвигнутой на ней кафедрой, ни близко к ней. Лектора еще не было, и я стал рассматривать толпу своих товарищей.

Лица были чужие, серые, еще более чем у «микрорайонских» комсомольцев из 176 школы. Поражала крайняя бедность одежды — такой бедности в школе 1930—31 гг. не было, хотя и там ребята и девочки не блистали нарядами; здесь в зале виднелись рубашки простые и косоворотки, клетчатые и серые, часто — штопаные свитеры. Конечно, ни одного галстука — это был признак буржуазности. Девочки были в дешевых блузках, в юнгштурмовках или дешевых ситцевых платьицах, в свитерах, в каких-то мужских куртках с чужого плеча. Все было поношено, обмахрилось, засалилось, кое-что было и залатано. Мы были больше похожи на сцену из «На дне», чем на университетскую аудиторию. Правда, в нашем школьном классе, конечно, меньше было ребят из рабочих семей, которые в те годы были одеты все еще в целом гораздо хуже семей служащих; здесь же, в ЛИЛИ, рабочие (и рабфаковцы) явно и очень преобладали. Но за два года сильно обносились все: одежды в годы первой пятилетки в магазинах купить было нельзя; получали ее в «закрытых распределителях» (ЗРК) по «ордерам», а получать ордер служащему, да и рабочему, было нелегко — давались они «ударникам» как премия. Сам я одет был тоже не блестяще, но тем не менее чувствовал себя чужим среди этой молодежи.

А на мне были рыжевато-черные ордерные брюки, заправленные в кирзовые сапоги, и желто-коричневый бумажный солдатский свитер. И сапоги, и свитер были Мишиным наследством: прошлый год, как уже упоминалось, его на шесть месяцев призывали на военную службу, и по окончании ее он имел возможность оставить себе часть обмундирования.[1]

В аудитории я сидел рядом с длинным, вихрастым, интеллигентного вида мальчиком в очках. Я, кажется, познакомился с ним еще в толпе в коридоре. Записывать лекции я еще не умел (кажется, и тетради у меня не было), а Петропавловский своим однообразно-певучим голоском — скорее дискантом, чем тенором — говорил что-то очень неинтересное. Я заглянул через плечо

[1] Служил он в 31 (учебном) стрелковом полку —

Тридцать первый полк стрелковый
Ка-а-мсостав стране своей кует,
В грозный бой идти готовый
За-а трудя-а-щийся на-арод...

Комвзвода у него была женщина, тов. Приставка. Она потом еще участвовала в Отечественной войне и дослужилась до полковника (как-то ее имя я прочел в «Красной звезде»).

Миша привез со своей военной службы самые лучшие впечатления. Она не была тяжелой — тем более, что Миша много раз получал отпуска в Ленинград за отличную стрельбу из винтовки. Его поразила демократичность командиров («офицеров» в Красной армии не было), отсутствие разницы в обмундировании и питании между ними и красноармейцами, дисциплинированность и скромность бойцов. Я потом, сам служа в армии, не раз вспоминал Мишины рассказы. А еще больше — в старости, в 70—80-е гг., в эпоху внедрения в армии нравов уголовного мира («дедовщина»).

соседу и увидел, что он красивым, вычурным почерком пишет в тетрадь по-английски.

— «So you know English?» — спросил я его тихо.

Он качнулся на стуле и с усилием заикания сказал: «Y-yes».[1]

Во всей аудитории, кроме него и меня, не похоже было, чтобы кто-либо мог знать по-английски. Мы разговорились, и разговор продолжался на перемене. На вопрос «Как вас зовут?» — он ответил: «Тадик Шумовский».

— Что за имя —«Тадик»? — спросил я. — Т-теодор, — произнес он с уверенной гордостью. — Теодор Адамович.

Вскоре он рассказал мне, что он поляк; но родился и вырос в Шемахе, говорит по-азербайджански, что семьи у него нет, но что его двоюродный брат (или брат отца — уж не помню) — заместитель наркома в Москве. Все это я, конечно, принял на веру, кроме одного: что его зовут Теодор; если он поляк и при этом Тадик, то он, очевидно, Тадеуш, только правильно расшифровывать свое имя как «Фаддей» (наподобие Фаддея Булгарина) ему не хотелось. Постепенно выяснилось, что и другие его сведения не вполне достоверны — так, например, об английском он имел едва какие-то начальные сведения, по-азербайджански он с трудом мог объясняться, и я уже начал догадываться о том, что если, возможно, у него и есть дядя в наркомате, то вряд ли он замнаркома. Однако я успел ему рассказать, что тоже знаю по-английски и что вырос в Норвегии. Особенно распространяться о себе я не стал. Я сразу понял, что в этой среде выдавать какую бы то ни было исключительность своего воспитания или образования было бы неделикатно, и старался никак не выделяться среди других. Ни об английском, ни о Норвегии я никому, кроме Тадика, не сказал.

После лекции проводились собеседования деканов со студентами по отделениям; не могу вспомнить, и о чем шла речь, помню только красивое и бледное лицо секретаря деканата Лиды Прошлецовой, потом пережившей многих деканов.

Насколько я помню, только наши товарищи-лингвисты были сразу разбиты по специальностям, называвшимся «циклами» (англисты, германисты, романисты, классики, русисты, китаисты и северники; кажется, на год старше них были курдоведы).

В первом полугодии нам читались только общие курсы — политэкономии (Петропавловский), введения в языкознание (Башинджагян), истории первобытного общества (И.Н.Винников), истории древнего Востока (В.В.Струве), истории Греции и Рима (С.И.Ковалев).

Петропавловский говорил путано и неясно, на каждом «потоке» (у историков, лингвистов и литературоведов) повторяя одни и те же остроты, которым сам и смеялся.

Лектор по введению в языкознание, Башинджагян, рослый человек приятного вида, с усиками, был учеником (вероятно, аспирантом?) Н.Я.Марра. О «буржуазной» лингвистике он не имел никакого представления, а излагал марровское «новое учение о языке». Как-то после лекции я подошел к нему и сказал, что слова «стол» и «столб» нельзя производить от элементов

[1] — Так вы знаете английский? — Да (англ.).

САЛ и САЛ+БЕР, потому что их нельзя отделить от «стоять», где нет и не было никакого Л, и привел немецкое stehen, английское stay, норвежское staa и т.д. Он был неожиданно поражен этим, сказал, что это очень интересно и что мне стоило бы об этом сделать доклад. Я, конечно, отказался, заметив, что это, кажется, вещи общеизвестные. Впрочем, я и сам ошибался: «стол» — не от «стоять», а от «стлать».

Василий Васильевич Струве, как и Петропавловский, читал скучно, но то, что он рассказывал, было ближе к моим интересам; после одной из лекций я подошел к нему с каким-то вопросом; он принял меня благосклонно, предложил проводить себя и по дороге убеждал меня в правильности каких-то своих теорий — в общем, говорил о чем-то своем, и этот разговор мне не запомнился. Был он высокий, более чем упитанный, румяный, с очень большой, слегка всклокоченной, совершенно седой головой и рыжими усиками; когда говорил (тоненьким, писклявым голоском, все время приговаривая «голубчик»), показывал редкие зубы. Несмотря на проявленную ко мне доброжелательность, чем-то он мне не понравился. От острот его не хотелось смеяться.

Струве считался в партийных кругах «старым ученым, перешедшим на наши, советские позиции». Причиной такого взгляда были не столько постоянные его ссылки на Маркса и Ленина в лекциях (их делали и другие профессора), сколько седая голова. На самом деле он был вовсе не стар: ему, самому младшему из учеников египтолога Б.А.Тураева, было тогда от роду всего сорок два года.

Ближе к концу первого семестра в коридоре на стене, между двумя входами в актовый зал, появилась большая мраморная доска, на которой золотыми буквами были высечены имена ударников ЛИЛИ за 1932 год; не знаю, кому пришла в голову странная идея увековечивать годичные успехи преподавателей и студентов на мраморной доске. На первом месте стояло имя нового директора Горловского, на втором — освобожденного секретаря парторганизации Альберта, на третьем — профессора В.В.Струве; затем следовало еще семь или восемь студенческих фамилий; помню, что в одной из них была орфографическая ошибка.

К Струве, который казался наиболее интересной фигурой среди профессоров, подходило довольно много студентов. Двоим из них, Тадику Шумовскому и еще некоему Мише Черемных, было поручено вести запись лекций В.В.Струве, которая потом должна была выйти книгой. На следующий год она и вышла, и даже в твердом переплете; это был так называемый «Малый Струве» — «История древнего Востока, курс лекций по конспекту Т.А.Шумовского и М.А.Черемных».

Шумовский записывал красиво и замысловато, но медленно, Черемных, может быть, и быстро, но нескладно: был он вполне неграмотный парень, зато с идеальной рабочей анкетой — у него были и папа от станка, и мама от сохи. Как мне кажется теперь, тем-то он и был важен для Струве: вряд ли его записи лекций представляли сами по себе особую ценность.

Сданный в печать конспект являл собой нечто ужасное; по-видимому, Струве не счел нужным «пройтись» по нему «рукой мастера» и даже читать корректуру предоставил тем же двум студентам, а они о корректуре не имели

ни малейшего представления. В результате на каждой странице было не менее 20—30 опечаток, и редкое имя собственное было напечатано без ошибки (ведь записывалось на слух!).

Я всегда недоумевал, как относился к этому продукту сам Струве? Думал ли он, что его уважаемые коллеги-профессора никогда в эту книгу не заглянут, или что в их глазах он настолько скомпрометирован марксизмом, что уже все равно? Я не раз вспоминал про эту книгу двадцать четыре года спустя, когда В.В. написал на мою докторскую диссертацию отзыв в 287 страниц на машинке, цепляясь за каждую запятую.

Существование печатного текста тогдашних его лекций полностью освобождает меня от необходимости излагать их содержание, но все же перечислю основные идеи: из первобытной общины выводилось существование на древнем Востоке общинного (а не индивидуального) рабства и царского деспотизма; поскольку ирригационная система была делом общинным, постольку частная собственность на землю возникала только на каких-то «высоких полях», которые невозможно было орошать. Как на неорошаемой земле в условиях сухих тропиков мог расти хлеб, не разъяснялось.

Гораздо лучшим лектором был Сергей Иванович Ковалев. И то сказать, в его материале были живые исторические деятели — Солон, Перикл, Леонид, Фемистокл; и рабовладельческий характер общества, утверждавшийся им, на этом материале получался гораздо убедительнее. Сам Ковалев был очень некрасив — длинный нос, исчезающий подбородок, лицо в красных пятнах. Но лекции его слушались с интересом, и сам он вызывал к себе симпатию.

Но наиболее поразительным лектором был Исаак Натанович Винников. Маленький, с огромными ушами, как карикатура из антисемитского журнала и одновременно как карикатура на д-ра Геббельса, он говорил с ужасающим акцентом, свойственным анекдотам из еврейской жизни (хотя, как вслушаешься, он говорил, когда хотел, на грамматически, хотя и не фонетически, безупречно правильном русском языке). Несмотря на все это он буквально завораживал своей своеобразной речью, ее неожиданными поворотами, сведениями из самых неожиданных областей, живостью жестикуляции (послевоенный арабист Сергей Певзнер позже говорил про него:.«Кажется, взмахнет ушами и полетит»). Еще интереснее он был в разговоре; он обладал бездной познаний и был знатоком живой истории науки; ужасно жаль, что его не записывали на магнитофонную ленту.

— Тайлор! — восклицал он и делал паузу. — Я говорю «Тайлор»! Некоторые говорят «Тейлор», таки они не знают английского языка. Тайлор, что он выдвинул? Он выдвинул понятие пэрэжитка. Вы знаете, что такое пэрэжиток?

Тут он, стоя на эстраде актового зала, поворачивался спиной к слушателям и начинал медленно задирать край пиджака к пояснице.

— Вот что такое пэрэжиток! — восклицал он. — Вы знаете фрак? Так у фрака фалды, а на этом месте пуговицы. Почему на этом месте пуговицы? Вы думаете — ув чем сэкрэт, пришили тут пуговицы! Ув чем сэкрэт? Сэкрэт нэ ув этом. Джентльмены охотились на лисиц верхом, так фалды им мешали, они их туда пристегивали. — (Жест.) — Но теперь дирижер, он не охотится на лисиц, он стоит во фраке и машет палочкой. Вот это есть пэрэжиток.

Все это кажется анекдотом, но анекдот только приковывал внимание, а вся лекция была наполнена увлекательным содержанием. Рассказ его об ирокезах поражал живостью обрисовки самой сути первобытного общества. Попутно он рассказывал, как ирокезы избрали Л.Г.Моргана своим почетным вождем; как он, Винников, сличал книгу Моргана с нашим русским переводом основанной на ней книги Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и нашел в нем сотни ошибок, как он добился исправления перевода и нового издания книги Институтом Маркса и Энгельса, как он издавал по-русски самую книгу Моргана и для уточнения некоторых вопросов переписывался с нынешним сахемом ирокезов. — Впоследствии я с удовольствием нарочно прослушал курс винниковской «Истории первобытного общества» еще раз. Читая вторично тот же курс, Винников ни в чем не повторялся.

Насколько Винников увлекал студентов, видно из следующего эпизода. Примерно через месяц после начала занятий первого курса студентам-историкам предстояло выбрать специальность —«цикл». Предлагались история первобытного общества, история Греции и Рима (специализации по истории древнего Востока не было), новая и средневековая история Западной Европы, русская история (курса «истории народов СССР» еще как будто не существовало), история арабских стран эпохи империализма и, кажется, история Китая — не помню, были ли другие. Но, во всяком случае, около половины студентов подали на историю первобытного общества! До такой степени в рабочей среде не было никакого антисемитизма.

Я подал на историю арабских стран эпохи империализма. Это предполагало курс арабского языка, а изучение арабского, как языка семитского, казалось мне, открывало хоть какую-то щелку к будущему изучению ассиро-вавилонской клинописи. Вместе со мной на это же отделение подали Миша Гринберг, Костя Горелик, Тадик Шумовский, Латыфа (татарка с русской фамилией, чуть ли не Беляева) и еще две девицы, фамилии которых я тоже забыл. Помню, что одна из них была рослая, краснощекая и грудастая и звали ее Фаня, а по паспорту Федосья. Другую не помню даже в лицо.

Одновременно все студенты исторического отделения были разбиты на три группы для семинарских занятий. Начались семинарские (классные) занятия по политэкономии (доцент Виленкина), истории Греции и Рима (преподаватель Л.Л.Раков), английскому языку (некая Литвин) и арабскому языку (Николай Владимирович Юшма́нов — он и в подписи всегда ставил ударение). Кроме того, существовал добровольно-обязательный кружок по изучению истории ВКП(б) (по учебнику, написанному кем-то из позже уничтоженных оппозиционеров). Серьезно готовиться приходилось (по «Капиталу» Маркса) только к семинару по политэкономии.

С него начиналась учебная пятидневка. Семинар всегда проходил оживленно, и здесь мы более всего знакомились друг с другом.

На языковедческое отделение рабочие шли неохотно — во-первых, боялись трудностей (немецкий преподавали во всех «единых трудовых школах», но практически никто ничего не выучивал), а во-вторых, ребятам трудно было представить себе ситуацию, в которой пригодилось бы знание языков — разве

что когда начнется мировая революция, но это все же уже не казалось очень близким. Напротив, исторический материализм был наукой наук, и история привлекала многих. Поэтому в условиях классового приема на историческое отделение из детей служащих попадало мало: в нашей группе их, насколько помню, было пятеро или шестеро: это были Игорь Дьяконов, Женя Козлова, до поступления к нам работавшая учительницей для глухонемых, Леля Лобанова, Зяма Могилевский и Тадик Шумовский;[1] остальные считались «из рабочих», многие из рабфаковцев, — хотя, по крайней мере, часть была на самом деле из «переварившихся в рабочем котле» (год-два-три, как например, Коля Родин). Наш парторг Николаев был «из нищих», чем он необыкновенно гордился, а некто Могильный был «из цыган». Из старой интеллигенции в числе историков-первокурсников в нашей семинарской группе, кроме меня, не было никого.[2] В соседней группе — или группах? — сюда можно отнести Аню Ф. и Сашу М.; о них ниже.

Такой состав отделения определял и средний возраст. Многим было по 25 и даже по 30 лет; я, в 17 лет, был самый младший.

Мне сейчас вспомнилось двадцать три студента нашей группы (причем трех девушек и одного парня помню только в лицо или по имени, а фамилию забыл); может быть, их было и немногим больше. Во всяком случае, из этих двадцати трех было, помнится, шесть или семь членов партии (Аракса Захарян, наша староста Марина Качалова, парторг Николаев, профорг Проничев, Коля Родин, Миша Сегедин и, может быть, Лида Ивашевская; позже в партию вступили Зяма Могилевский и еще кто-то). Не состояло в комсомоле всего трое — Егоров (по возрасту), Женя Козлова и я. Евреев было трое: Горелик, Гринберг и Могилевский. Была одна армянка (Захарян), одна «черневая (сибирская) татарка» — Латыфа, один поляк — Шумовский, один цыган — Могильный и 16 русских и украинцев.

Из нашей группы добились впоследствии ученых степеней и некоторой известности лишь трое: Могилевский, Шумовский и я. Может быть, еще Горелик — его судьба мне в точности не известна, хотя знаю, что он работал по специальности после войны и что вел себя очень благородно в трудные 40-е годы. Тем не менее, хотя мои товарищи в большинстве и не оставили по себе следа, мне все же как-то приятно здесь остановиться на них и обрисовать их портреты.

Хотя бригадно-лабораторный метод в чистом виде был с 1932 г. отменен — возобновились лекции и индивидуальные зачеты и даже были введены еженедельные отметки студентам по семинарским занятиям, — но бригада как наименьшая обязательная коллективистская единица была сохранена.

---

[1] Не помню, кем числился Миша Гринберг; он мало говорил о своем собственном прошлом. Мне кажется, что он, как многие другие, прошел через рабфак.

[2] Не помню, чтобы кто-нибудь из моих товарищей 1932 года был «из крестьян». Конечно, не было ни одного студента и из дворян (хотя они изредка все же попадали в вузы как «дети служащих» — если отец был не помещиком, а где-либо служил на более или менее скромном месте, или если был научным работником — как в случае Галки Ошаниной). И уж, конечно, не было и не могло быть никого из детей священников. Священники в большинстве были высланы или уничтожены в начале 20-х гг. Если кое-кто и бежал из прихода, то скрывал свое прошлое и тем подвергал себя еще едва ли не большей опасности, ибо скрыть плохое происхождение было еще хуже, чем открыто иметь плохое происхождение. Это очень увеселяло И.Ильфа и Е.Петрова — см. их »Двенадцать стульев».

Кроме того, официально продолжалась внутри института классовая борьба. Не случайно при делении групп на бригады в одну бригаду были сведены «классово-чуждые»: оба наших беспартийных (Женя Козлова и я) и пятеро из шести «служащих»; для партийного руководства бригадиром был нам поставлен Коля Родин. Не то чтобы распределение по бригадам шло в приказном порядке — учитывалось совместное проживание в общежитии, уже успевшие завязаться приятельские отношения, — но, несомненно, играло роль «классовое чутье», а дети служащих считались если не буржуазией, то во всяком случае «мелкой буржуазией», и, конечно, не могло получиться так, чтобы Николаев, Проничев и Аракса Захарян захотели бы иметь меня или столь же беспартийную Женю в своей бригаде. При всем том, я не могу не предположить, что разбивка на бригады была предрешена на партгруппе, а затем ей был придан вид спонтанности. Во всяком случае (хотя мы не скоро об этом догадались), так всегда происходило дело при «спонтанном» выборе старосты и профорга.

Так или иначе, само существование бригад было проявлением «классовой борьбы в школе[1] и вузах», которой были ознаменованы конец 20-х и начало 30-х гг. У меня сохранился синий лист университетской многотиражки 1930 г., где последние выпускники «Ямфака» — члены партии и комсомольцы подводили итоги своих студенческих лет. С похвальбой и глумлением перечислялись студенты-«враги», которых этим активистам удалось исключить из университета: один усомнился в марровских «четырех элементах САЛ, БЕР, ИОН, РОШ», от которых якобы пошли все слова всех языков мира — ему «помогли избавиться от необходимости изучать марксистское языкознание»;[2] другой неудачно скрывал свое происхождение, третий еще что-то — и так десятки имен.[3] В 1932 г. классовый отсев поступающих

[1] Не знаю, где классовая борьба принесла наиболее мощные плоды — в школах или вузах. В 176 школе главный этап школьной классовой борьбы был уже позади, так как главным классовым врагом там считались не столько даже школьники из интеллигентных семей, сколько опытные педагоги старых гимназий. В школе Нины Магазинер, моей будущей жены, — это была известная всему Петербургу немецкая «Анненшуле» на Кирочной, но в то же время уже имевшая номер «единой трудовой школы» — это имело характер погрома, чего-то вроде «хрустальной ночи». Школой практически управлял — через ШУС («школьное ученическое самоуправление») комитет комсомола. Техника была такова: вначале в стенгазете появлялась статейка про кого-нибудь из наиболее любимых и знающих учительниц (и учителей — тогда еще бывали и учителя, потом их почти не стало); статейка с издевательскими остротами и личными оскорблениями — все сводилось, конечно, к тому, что данная преподавательница — затаившаяся гидра контрреволюции. Потом собиралось классное собрание — комсомольцы голосовали за исключение, другие кто как; девочки плакали, но голосовали — у немногих четырнадцати-пятнадцатилетних хватило мужества проголосовать «против»; вслед за тем учительницу или учителя увольняли — и заменяли «выдвиженкой», которая предмета не знала, а замечания могла делать в таком роде: «Иванова, у тебя плохое сидение» (о посадке за партой). Уволенные — кто впадал в нищету, кто помирал от инфарктов и другого; немцев и немок ждал, по большей части, Казахстан; кое-кто выбился, и даже в преподаватели университета.

Зато в 1986 г. справляли 250-летие «Анненшуле», и называвшиеся с трибуны имена умерших учителей и учительниц — тех самых, уволенных — встречали громом аплодисментов.

И в университете было нечто схожее.

[2] Автором одной из наиболее гнусных статеек был видный тогда студенческий активист, некто Марморштейн; в 1941 г. он ушел в ополчение и в нем, вероятно, сложил голову.

[3] В числе их был гениальный, хотя полубезумный китаист Всеволод Николаевич Казин — он был исключен за то, что полушутя (как всегда, с серьезным лицом) выдвинул мысль о необходимости создания заповедников для малых исчезающих народностей; в этом усмотрели расизм, колониализм и еще что-то такое. — Впоследствии он сдал за университет экстерном. Умер в блокаду.

студентов был куда строже, чем на «Ямфаке» (где училась даже баронесса Штакельберг!); наши рабфаковцы твердо намеревались и дальше вести борьбу с враждебными элементами в своей среде. Достаточно было почитать студенческие стенгазеты.

В настоящее время (1983) филологический и восточный факультеты занимают все здание «Университетская набережная 11» — и часть, выходящую на набережную, и оба флигеля, выходящих на переулок и во двор, и задний флигель. В то время ЛИЛИ занимал только переднюю часть здания. Из вестибюля две лестницы вели на полуэтаж, где налево были только административные помещения, а направо — бухгалтерия и библиотека; вверх с полуэтажа шла лестница на второй этаж мимо приказов и расписаний; две аудитории были расположены направо и налево на площадке, затем большая дверь вела в главный коридор. Перед этой дверью были входы в актовый зал, с его эстрадой и многими рядами скрепленных стульев (для писания никаких пюпитров не было). В левом конце большого коридора, за аудиторией английского цикла лингвистов, была женская уборная с дверью, вечно хлопающей, как гром, и еще две-три аудитории до запертой снизу лесенки; дальше коридор был перекрыт. В правом конце коридора была профессорская (перемещавшаяся то в несколько бóльшую, то в совсем маленькую комнату), и начинался под прямым углом еще один коридор с выходившими в него небольшими аудиториями — больше других была только сдвоенная 32-я, где коридор расширялся, а напротив находилась мужская уборная; затем коридор сужался, шли ступеньки, и затем совсем узенький тупиковый коридор, опять с аудиториями с обеих сторон. Все это было крашено в грязно-зеленый цвет до половины высоты стен, а выше побелено — но явно уже давно.

Мужская уборная была своего рода достопримечательностью. Хотя она была отремонтирована перед началом учебного года, ее успели загадить до невообразимого состояния; писсуары были застопорены бумажками и окурками, а об унитазах не будем говорить. Администрация придумала поставить внутри входа в уборную особое должностное лицо, которое мы с Мишей Гринбергом называли «сортирмейстером». Каждому входящему он мрачно и деловито говорил:

— С...ть — налево, с...ать — направо. — Затем приглядывал за действиями вошедшего и добавлял (в зависимости от левой или правой половины помещения):

— Окурки, бумажки не бросать.

Или:

— Не забудь спустить воду.

Сходя из институтского коридора обратно на полуэтаж с расписаниями, можно было открыть выход на двор, где росли тополя и был ход в подвальное помещение. В нем находилась студенческая столовая, где мы питались — конечно, по «заборным книжкам». Она занимала три смежные комнаты, и над входом из второй в первую был вывешен лозунг: «Превратим кролика в краеугольный камень рабочего питания». Крольчатины, однако, я что-то там не помню: основным питанием был винегрет с селедкой, что у нас называлось «студенческий силос» или «силосование студенческих кормов».

В годы первой пятилетки, наряду со всеми религиозными праздниками, было отменено и воскресенье, а заодно и семидневная неделя вообще; вместо нее была введена пятидневка —«непрерывка» без фиксированного общевыходного дня — идея заключалась в сохранении непрерывности процесса производства; выходили даже календари в пять цветов — у каждого были выходные в дни своего цвета. Взмолились работницы, так как семейное хозяйство шло вкривь и вкось, а обещанные фабрики-кухни, которые должны были заменить семейное питание общественным, возникали (если вообще возникали) крайне медленно, да и лишь кое-где. У нас пятидневка в ЛИЛИ была с самого начала фиксированная. Позже с пятидневки перешли на шестидневку, и лишь перед самой войной восстановили семидневную неделю.

Учебная пятидневка начиналась с семинара по политэкономии. Собирались все не в 9 часов, а немного загодя — даже я, столь всю жизнь склонный к опозданиям: дело в том, что дисциплина была очень строгая, и даже за пятиминутное опоздание можно было вылететь из комсомола, а мне — из института. Рассаживались за черными, обитыми рваной клеенкой столами на разномастных стульях.

В начале 30-х гг. из употребления молодежи совершенно исчезли романсы, лирические песни и прочее буржуазное наследие. Пели:

Заводы, вставайте,
Шеренги смыкайте..

или:

В гранит земли тюремной
Стучи, шахтер,
Тяжелый пласт подземный
Ломай, шахтер,
— А дома дети и жена,
Их жизнь убога и темна,

— и т.д., или «Красный Веддинг» и тому подобное.

Но уже к поступлению в институт один из первых советских художественных звуковых фильмов принес нам почти лирическую песню «Встречный». Она была написана, как говорили, на музыку Шостаковича и, как опять-таки говорили, бригадой писателей; но считалось и, кажется, значилось на титрах фильма, что слова были Бориса Корнилова. Эта песня была как освобождение: революционная по содержанию, она в то же время была лирической и высвобождала не только общественные, но и более интимные чувства. А любовь была так важна для всех моих сверстников.

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река,
— Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?
Не спи, вставай, кудрявая:
В цехах, звеня,
Страна встает со славою
Навстречу дня.

Кажется, Аракса Захарян как-то предложила перед семинаром спеть всей группой эту песню. Все охотно согласились. Пели стоя, чтобы не прозевать входа преподавательницы Вилькиной (при входе преподавателя в аудито-

рию полагалось, как в школе, вставать — обычай, вывезшийся на Западе, но существующий еще у нас). Пели весело и дружно, чувствуя себя чем-то единым, и о классовой борьбе не думалось: разве не победила уже революция?

Слова «Не спи, вставай, кудрявая» невольно относились к нашим двум кудрявым — Жене Козловой и Ире Огуз. Ира Огуз была лет девятнадцати, русая и кудрявая, тоненькая, очень живая, глаза лукавые, круглый кок на лбу. Ира сидела в центре аудитории, вместе с подругами по бригаде — крепенькой, презрительной Мариной Качаловой и большой, какой-то размашистой, темноволосой Верой С. (не помню точно фамилии). Женя Козлова была одной из старших в группе — ей было не меньше 25 — и самой молчаливой; ее русые кудри были коротко, «под мальчишку», острижены, глаза были грустные и зеленые; бледная, с чертами лица правильными, она смотрела на нас так, как будто знала многое, нам еще недоступное: сидела она всегда в уголочке, не пела с нами и старалась быть незаметной — да ее, кажется, и в самом деле не замечали; но я ее заметил, и мне показалось, что она как королева в изгнании. Рядом с ней обычно сидела Леля Лобанова, совсем не бледная и не худая, с темной стрижкой, слегка волнистой понизу, с утиным носом и большими серыми глазами, глядевшими на мир с веселым оптимизмом.

Под слова «Страна встает со славою навстречу дня» открывалась дверь, и в аудиторию входила Виленкина. Начинался семинар.

По существу, он был похож на обыкновенный школьный урок. Виленкина начинала с краткого повторения темы, затем вызывала поочередно учеников или спрашивала, кто желает высказаться. Класс она держала в руках хорошо — строго, но строгость компенсировалась тем, что говорила она ясно и очень понятно. Из сумбурных дискантовых лекций Петропавловского выучить политэкономию было нельзя, но совсем другое дело были четкие введения к занятиям Вилекиной — и, конечно, чтение Маркса, без которого выступать и отвечать было невозможно. Не помню какого-либо учебника — если он и был, им, во всяком случае, не пользовались более сильные студенты — такие как Родин, Сегедин, Могилевский, Гринберг и я. За двухчасовое (с перерывом) занятие Вилекина успевала опросить многих, и многие выступали и по собственному желанию: то вставал во весь рост черно-лохматый Егоров, в каких-то серо-голубых обтрепанных штанах, в такой же куртке с заплатами и в зияющих башмаках, и провозглашал что-то громким басом, как дьякон; то вставал маленький Капров, с седловидным носом и корявыми зубами (врожденный сифилис!) и плел какую-то нескладицу ни к селу ни к городу; то вставал Шумовский; чтобы бороться с заиканием, ему приходилось держаться за спинку стула, и если на стуле никого не было, он с силой ударял им об пол при каждом заикании; он отвечал, однако, правильно; то вставал Николаев в потертом пиджаке поверх серого свитера, с седой прядью в волнистых волосах и со светло-серыми глазками (напоминавшими мне Шкапину, только у той глаза были ярко-голубые); вставая, Николаев часто не мог вообще ничего выговорить; маленький, на вид деревенский Проничев, одетый почти как Егоров, но не рваный, говорил больше, но лишь немного более складно, чем Капров. Я выступал редко и только по вызову Вилекиной — это входило в принятую

мной программу «не выставляться»; впрочем, политэкономия — не английский язык, и тут я не мог тягаться с Родиным или даже с Мариной Качаловой, с красивой, полной, высокой и милой Лидой Ивашевской или даже с Араксой Захарян. Выступление высокого, чернооkого, красивого, несмотря на круглый нос и круглое лицо, Кости Горелика было всегда дивертисментом. Он был хотя и способен, но ленив, и редко мог сказать что-нибудь дельное по существу, зато всегда умел весело и остроумно вывернуться из трудного положения. Костя Горелик был любимцем публики. Когда некоторое время спустя на комсомольском собрании встал вопрос о его исключении за прогул — или, вернее, за заметное опоздание, — он был спасен голосами девочек.

Помнится, в нашей группе тогда еще был М.; потом он был не у нас, но я помню его выступавшим на семинаре — и значит, не иначе как у Виленкиной. Он был лицом несколько похож на моего друга Котю Геракова — слегка кудрявые волосы, большие серые глаза, но в отличие от Коти, в его лице не было ничего доброго, и самые глаза были жесткие. Он тоже, как и я, был явным чужаком в этой рабочей среде, но если я старался быть как можно незаметнее, то М., напротив, держался Наполеоном, глядел на всех свысока.

У него еще в школьные годы был роман с одной из подруг Нины Магазинер; следующий интимный разговор М. я знаю через эту подругу и Нину. М. сказал своей приятельнице, что считает большую часть человечества достойной истребления.

— А ты сам как же? — почтительно спросила его ошеломленная приятельница.

— А я? Я буду среди тех, кто расстреливает, — сказал ее кумир.

Позиция, которую теперь занял М. в коллективе, была довольно опасна: высокомерие не прощалось, а прилично одетому мальчику из «буржуазной» семьи — и в особенности. Но свое высокомерие М. компенсировал активной комсомольской, а впоследствии партийной деятельностью. Большой карьеры он не сделал, но все же в 50-х гг. попал в Москву, в Институт истории (? — во всяком случае, в академический институт) и считался известным специалистом по истории Польши. Сволочные поступки за ним числились, и не мало.

На занятиях по политэкономии было интересно; зато бесконечно скучно было на занятиях по английскому языку. Я, конечно, легко мог бы получить от них освобождение, но мне опять-таки не хотелось «выставляться». Кроме того, мне было интересно, когда Литвин, наша преподавательница, заметит, что я уже знаю английский. У нее был какой-то высокопоставленный муж, и в этом заключалась ее почти единственная квалификация для занятия ее должности. Что-то скороговоркой она объясняла по грамматике, а затем мы читали какой-то текст про станки и суппорты, каждый по строчке, и я в свою очередь. The man регулярно произносилось «ве мен»; мое иное произношение не привлекло ее внимания, но когда Костя Горелик вдруг произнес «зе мен», она задержалась и спросила его:

— Вы, наверное, уже раньше учились английскому языку?

Только во втором полугодии она задала подобный вопрос и мне. Я ответил утвердительно, и она отпустила меня со своих занятий совсем.

Это были занятия групповые, цикловыми были занятия арабским два раза в пятидневку. Руководил ими Николай Владимирович Юшманов. Был он роста ниже среднего, краснолицый, с огромными рыжими усищами и с волосами, подстриженными коротким бобриком. Он более всего напоминал мясника или полотера, но уж никак не профессора. Как беспартийному специалисту ему не возбранялось носить галстук бабочкой, чего в СССР, кажется, больше нигде нельзя было увидеть.

Вначале нас, студентов, у него было только пять — Тадик Шумовский, Миша Гринберг, Костя Горелик, Латыфа и я. Николай Владимирович обучил нас арабскому алфавиту и фонетике, затем очень сжато и очень ясно объяснил нам правила отыскания корня и пользования корневым словарем, склонение в единственном числе, спряжение в перфекте и имперфекте первой «породы», затем упомянул о существовании ломаного множественного и предложил выучить наизусть, как стихи, все глагольные «породы» в перфекте и имперфекте. Затем мы перешли к чтению простеньких текстов.

Фонетику постарались усвоить только Тадик и я; другие не старались, а Н.В. не спрашивал; в тогдашней арабистике соблюдать оттенки фонетики было не принято; даже И.Ю.Крачковский не был строг к фонетике. Мы же двое усвоили и грамматику — но, пожалуй, еще лучше меня Миша Гринберг, имевший за спиной древнееврейский (правда, в хедерном, «ашкеназском» варианте); Латыфа и тем более те две девочки, которые попали на «цикл», когда Н.В. уже успел закончить грамматику, ничего не понимали, но буквы разбирали.

Между тем, выйдя на просторы хрестоматии «Малого Гиргаса», Николай Владимирович перестал нами особенно интересоваться. Урок проходил таким образом: Николай Владимирович являлся с некоторым опозданием, все садились кругом стола; затем Юшманов, усмехаясь в ус, тихо рассказывал анекдот или говорил пословицу, или просто какую-нибудь фразу кому-нибудь из студентов на его именно языке и диалекте: Горелику на одесском диалекте языка идиш, Гринбергу — на «лотвикском» (белорусско-литовском) диалекте, Латыфе — на языке сибирских татар, Шумовскому — по-польски или по-азербайджански. Затем мы начинали читать своего Гиргаса один за другим против часовой стрелки, после чего Юшманов почти немедленно засыпал, и его приходилось будить. Какая-нибудь из девиц бубнит-бубнит текст, а потом спросит:

— Николай Владимирович, я правильно читаю?

— А?! — просыпался Юшманов. — Нет, нет, совершенно неправильно. — И правда, откуда бы она сумела читать правильно.

Видя столь безнадежное положение, Миша Гринберг, а за ним и я стали «заводить» Юшманова, задавая ему «тонкие» грамматические вопросы.

На них Николай Владимирович покупался; сон немедленно сходил с него, и следовала интереснейшая лекция по данному поводу, а то и по целому фрагменту семитской исторической грамматики или даже общего языкознания.

Кроме того, во время перемены и перекура Николай Владимирович иногда выдавал различные диковинные истории: то как он в начале революции

служил телеграфистом на радиоперехвате и раз был послан в Смольный передать Ленину телеграмму о гибели Карла Либкнехта и Розы Люксембург; то как был изобретен язык эсперанто и как волапюк; то как однажды, вскоре после закрытия Ямфака, он подошел к преподавательской кассе ЛИЛИ за месячной получкой, но вместо того, чтобы получить деньги (преподаватели тогда и несколько лет позже оплачивались только по часам), он обнаружил в кассе, что он, напротив, ей должен какие-то ранее не взысканные с него деньги — то ли по займу, то ли по налогу; все это говорилось тихим, ровным доверительным голосом (как и диалектные анекдоты) — он никогда не острил явно и не поднимал голоса, не было в его речи ничего эмфатического, эмоционально подчеркнутого (в воспоминаниях Т.А.Шумовского он говорит не со своей интонацией, а с интонацией Шумовского). А один раз, взявшись за свой синий лацкан, он доверительно сказал мне:

— Вот этот костюмчик — мне с ним необыкновенно повезло: я купил его за день до закрытия НЭПа.

Мы были ошарашены: в том-то и штука была с НЭПом, что его никто не «закрывал» — он просто сам постепенно исчез.[1]

Другой раз, опоздав больше обычного (но это было уже на следующий год), он сказал в перерыве студентам:

— Вчера был юбилей Шишмарева, я пришел домой на бровях.

На переменках о науке речи никогда не было; зато на уроке, «заведенный» Гринбергом, он сообщал нам множество самых разнообразных сведений.

Мало-помалу мы осваивали премудрость арабского языка и узнавали еще много полезного. Мы трое — Гринберг, Шумовский и я — к концу года в основном справились с «Малым Гиргасом». Шумовский, раскачиваясь на стуле и стукая его ножками об пол в такт своему заикающемуся чтению, четко выговаривал арабские фонемы; я тоже, хотя в целом читал я негладко, запинаясь на огласовках; легко читал Миша, зато он совсем не старался произносить фарингалы; и даже девочки умели отличать существительное от глагола. Безнадежен был только Костя Горелик: он не мог усвоить понятия долготы гласного, и сотни раз встречающееся в начале предложений fa-qāla —«и сказал (он)» — читал, не дрогнув, «фáкала» и искал в словаре на букву «ф». Это, впрочем, и было единственное арабское слово, которое он за год запомнил.

В конце учебного года Горелик упросил директора перевести его на другое отделение; тот дал согласие, но с условием, что Юшманов поставит ему зачет по арабскому. Костя попросил меня сходить к Юшманову с его матрикулом (он же зачетная книжка); я был старостой арабского цикла.

На звонок мне открыл сам Николай Владимирович и, введя меня в свою комнату, произнес мне довольно обширный текст — предложений десять — на vikarspraak'е, диалекте трущоб Осло и его уличных мальчишек. Произнес он его великолепно, со всеми фонетическими оттенками, вроде ретрофлексного l,

[1] Нэпманы не выдержали стремительно возраставших налогов: либо сами закрывали заводик, мастерскую или лавочку, либо садились за неуплату налогов. — Но я еще в 1929 г. смог для брата Алеши заказать в частной типографии комплект визитных карточек для него как гражданина фантастической страны Виррон: горлит, где ты был?! В пятидесятых годах шифр горлита ставился даже на конвертиках презервативов.

с правильными мелодическими тонами. В полном изумлении я его спросил:

— Kan De snakke norsk? (Вы говорите по-норвежски?) — Тут он перешел на русский и объяснил, что не понимает в этом тексте ни слова, а воспроизводит его наизусть по опубликованной фонетической записи.

Я сказал Николаю Владимировичу, за чем пришел, и заметил, что, как мне кажется, Горелика надо отпустить. Беря из моих рук его матрикул, Николай Владимирович, лукаво подмигнув мне, сказал:

— «Фа́кала?» — И подписал.

Тогда же к концу года перед зачетом заволновались и наши три девицы и как-то раз, хлопая крыльями, подлетели к Юшманову с вопросами о том, что он будет спрашивать. Особенно волновалась большая, грудастая и румяная, золотоволосая Фаня.

— Что вы волнуетесь, — сказал Николай Владимирович. — Я еще никогда в жизни никому не поставил тройки.

На занятиях Николая Владимировича я все больше расходился с Тадиком и все более сходился с Гринбергом. Шумовский всегда говорил только о себе; наоборот, Гринберг о себе говорил редко, больше хотел узнавать, чем рассказывать, а то, что он рассказывал о еврейской местечковой среде, было занимательно, для меня совершенно ново и неожиданно, и поэтому интересно; меня он тоже всегда расспрашивал с жадной любознательностью.

Мне Миша Гринберг нравился своей нестандартностью. Обо всем у него было собственное, именно свое мнение. Например, он не мог видеть марширующих солдат. Недалеко от нашего института, в бывшем здании первого кадетского корпуса, было какое-то военное училище. Гуляя по набережной с Мишей, мы часто наблюдали, как они учатся шагистике.

— Не могу этого видеть. Милитаристы! — говорил Миша. Я этого не принимал всерьез — эпитет «милитаристы» по отношению к Красной Армии казался мне смешным. Но, в сущности, невелика разница, если раввинов у нас вполне серьезно называли «клерикалами» — все зависит от точки зрения. Я не сомневался, что если будет надо, Миша Гринберг будет в рядах этих «милитаристов». И, как выяснилось позже, не ошибся.

Я из Норвегии вывез интерес к национальным своеобразиям и особым нравам малых народов. То, что рассказывал Миша о своем местечке за Гомелем, было так же своеобразно, как его странный русский язык и его акцент, не столь карикатурный, как у Винникова, но немножко забавный. Диспут о том, табуированной ли пищей (треф) является муха, нечаянно проглоченная в компоте; анекдот про то, как учитель объяснял ученикам непонятное слово в священном тексте: «А мин сорт мешугенер фиш» — «Но она же сидит на дереве!» — «Ну так азой из зейн мешугас».[1] — Текст для обсуждения для мальчиков, начинающих изучение Талмуда: «Девушка, не сохранившая девственности до первой брачной ночи, подлежит каре — а что если она упала с крыши и напоролась на сучок дерева?». —«Шехина́» — нечто вроде духа святого, — нисходящая ночью на дом местечкового цаддика. Как сам Миша отошел от религии:

— Когда я был совсем маленький, меня учили: когда ты проходишь мимо

[1] «Некий сорт сумасшедшей рыбы». — «Ну так это и есть ее сумасшествие» (идиш).

церкви или казенного дома, надо прочесть молитву для сохранения от зла, иначе Бог может сразить тебя молнией. Когда установилась советская власть, то же правило было распространено на все советские учреждения. Я хожу по улице, но советских учреждений становится все больше, я бормочу, бормочу уже беспрестанно, все быстрее и быстрее. Устал, думаю, попробую не молиться — что сделает мне Бог? Ничего не сделал — так я перестал верить в Бога.

Из всего этого веяло таким древневосточным архаизмом — что твой Тайлор (некоторые говорят «Тейлор»).

Кроме того, мне нравился своеобразный еврейский юмор. Раньше я не раз слышал так называемые «еврейские» (антисемитские) анекдоты. Насколько остроумнее показались мне подлинные еврейские анекдоты, рассказываемые на идиш или на смеси всех языков.

Из времен мировой войны (тогда еще не «Первой»): генерал выстраивает полк, затем тычет пальцем в грудь рядового: «Два шага вперед!»

Рядовой выходит: это Рабинович.

«Рядовой, какие у нас перспективы в этой войне?»

«Ваше превосходительство, аз их бин дер серый герой, ун Николай Второй из дер главнокомандующий, то какие могут быть перспективы?»

В сумерках на краю местечка. Золотарь выезжает на бочке с работы, проститутка идет на работу.

«Дзень добрый, пане гувняж!»

«Дзень добрый, пани курво!»

«Цо новéго ин дер штетле (=местечке)?»

«Ин дер шул (=в синагоге) сперли тойрес (=тору).»

«Вай! Вообще-то говоря их кáк аф ди тойрес. Но мне обидно, что в нашей синагоге 'с тут зех (=делается) азой а блядство!»

Очень глубокая форма патриотизма.

Роясь по обыкновению на полках у одного из букинистов на Литейном, я нашел самоучитель языка идиш и немедленно купил его копеек за сорок. Я выучил буквы и начал читать упражнения. Сначала были иллюстрации с подписями: «дер жук», «ди жилетке», потом уже фразы. Я заучил первые, в которых мне послышалось что-то не только смешное, но и символическое:

Фар вос хосту гекойфт а гройсер чемодан?

Дос айзен из фаржаверт геворен.[1]

Мне не хватило терпения учить весь самоучитель подряд: вместо этого я время от времени покупал еврейскую газету «Дер Эмес» и читал международные новости. Они были довольно однообразны, и даже если у меня не было под рукой номера «Правды» за то же число, все равно международная хроника «Правды» и международная хроника «Дер Эмес» представляли собой нечто вроде билингвы. Скоро я — правда, медленно, по складам — мог уже читать статьи и фельетоны и даже стихи на злобу дня.

Консультировался с Гринбергом и Гореликом.

— Как по-идиш будет «изюминка»?

Гринберг: — Рóзинкэ. —

[1] «Зачем ты купил большой чемодан?» — «Железо заржавело».

Горелик (а он работал грузчиком в одесском порту): — Вот таких, которые говорят «розинкэ», мы в Одессе били: ру́жинкэ!

Тут же Костя рассказывал, как он чуть не потерял глаз «на почве международного антисемитизма». В порту работал один ассириец, и ребята его дразнили:

— А наши евреи вашего Навуходоносора бивали. — И так довели его, что он швырнул камень и попал Косте в глаз. Костя лежал в больнице, и ему объяснили, что с одним глазом ему будет тоже хорошо. Но все-таки вылечили.

С Мишей Гринбергом мы нередко обсуждали и научные вопросы, особенно — занимавшие меня: во-первых, если производительные силы в обществе первобытного коммунизма (так тогда говорили) принадлежали всей общине — см. курс Винникова, — то каким образом с самого начала наступления классового общества вся собственность оказывается в руках переродившегося вождя-деспота — см. курс Струве? Ведь это означает полную экспроприацию населения, даже знати? Каким образом община принимает характер храмовой организации? И второе: когда произошел переход от древности к средневековью? Ну, на Западе это совпало с падением Римской империи, а на Востоке?

Мой Миша — брат — давал мне читать разные материалы по дискуссии о формациях на Востоке — Кокина и Папаяна, Мадьяра, Годеса[1]. В лекциях наших профессоров дискуссионные вопросы не поднимались — и Струве, и Ковалев к тому моменту, проделав быструю эволюцию, уже пришли к определению всех древних обществ как рабовладельческих, хотя мы знали о еще недавних иных положениях, которые высказывались, по крайней мере, Струве. Обсуждая эти вопросы в своей среде, мы браковали как азиатский способ производства — потому что он противоречил здравой, как нам казалось, идее о единстве исторического процесса для всего человечества (это было уже аксиомой; ведь даже отрицать в языкознании единство глоттогонического процесса означало «политическую ошибку»); a priori не убеждал нас и «извечный феодализм». И в то же время и древнее рабовладение в изложении наших профессоров не убеждало.

Дети своего времени, мы хорошо понимали, что все эти вопросы имеют политический характер. Например, было очевидно, и так и печаталось черным по белому, что вопрос об азиатском способе производства — это вопрос об ориентировке Коминтерном китайской коммунистической партии для классовой борьбы (против капиталистов? или против феодалов? или против джентри?).[2] К интеллигенции, к науке предъявлялось требование — «перейти на марксистские рельсы»; но часто было не ясно, какие именно рельсы являются марксистскими, а какие взгляды «льют воду на мельницу» врагов рабочего класса и коммунизма. Выросший до порога юности в совершенно другом мире, я несколько недоумевал: либо то или иное положение соответствует истине, либо не соответствует, и тогда, если эта истина даже и невыгодна «нам», то ее надо принимать, ибо она истина и как таковая не может «лить воду» ни на чью мельницу. Но нам объясняли, что

---

[1] К концу 30-х годов все они были уничтожены..

[2] «Джентри» — собственно, «джентльмены» — было условным названием очень многочисленного в Китае грамотного сословия — главным образом, чиновников.

поскольку марксизм есть правильное научное учение («учение марксизма непобедимо, потому что оно истинно»), постольку не может быть истины, расходящейся с марксизмом. Казалось бы, наоборот: если другие учения доказуемо неправильны, то марксизм правилен? Нет, тут строилась иная логическая цепочка: марксистское учение отражает интересы рабочего класса; а так как именно рабочий класс — класс передовой, способный создать будущее совершенное общество, то и сознание его, отражением которого и является марксизм, содержит единственное познание истины. Следовательно, все, что не соответствует рабочему сознанию, не может быть истинно. Человек, рожденный и выросший в среде буржуа или мелкой буржуазии (куда относили и интеллигенцию), не может иметь правильного классового сознания, а потому истина для него недоступна. Только переварившись в «рабочем котле», только восприняв рабочее классовое сознание, человек становится способным понимать истину, которая и есть марксизм. — Вряд ли Маркс согласился бы с такой концепцией. Ведь предположение А: что рабочий класс предназначен создать новое общество — есть нечто вытекающее из предположения В: что марксистское учение истинно, поэтому нельзя, в свою очередь, В выводить из А. Да и между утверждением, что некоторый класс имеет за собой будущее, и утверждением, что его идеология не содержит в себе ошибочных положений, нет необходимой логической связи.

Все это меня очень занимало, поскольку на конечном отрезке моего будущего научного пути мне маячили проблемы мышления. Однако пока что в студенческой среде — и, по-видимому, также в среде ученых, искренно хотевших встать на позиции марксизма, — ходячим было представление о стадиях мышления, соответствующих стадиям развития языка, с одной стороны, и стадиям развития общества — с другой: первобытное, или, по Леви-Брюлю, дологическое мышление — яфетическая стадия в развитии языков — первобытное, или доклассовое общество;[1] логическое, или формально-логическое мышление — прометеидская стадия в развитии языков[2] — классовое общество; диалектическое мышление — язык будущего — бесклассовое общество будущего. Поэтому логические рассуждения, подобные приведенному выше (относительно А и В), отметались как формально-логические, механистические, недиалектические. Ведь «формальная» логика не случайно была выкинута из числа учебных предметов и фактически не преподается и сейчас (в 80-х годах); лишь математическая логика теперь допущена ввиду своей необходимости для физиков и недоступности широким массам, и с трудом просачивается в другие дисциплины — например, в лингвистику. Мы же доходим до логики своим умом, догоняя Аристотеля на самодельном и самоизобретенном велосипеде. — Впрочем, до таких глубин рассуждений я добрался лишь много позже.

Надо заметить, что тогда еще нехватало нескольких лет до момента, когда высказывание ошибочных мнений вело автоматически к «хватанию»[3] прови-

---

[1] Забавным образом к яфетическим относился грузинский язык; поэтому грузинские языковеды так и не приняли «нового учения о языке».

[2] Бывшая индоевропейская семья языков.

[3] Слово «репрессирование» (очень удобное: то ли сгноили в концлагере, то ли расстреляли) тогда еще не было в употреблении.

нившегося и вычеркиванию его имени из всех книг, ссылок и справочников и уничтожению всех его писаний. Как Кокин и Папаян, с одной стороны, так и Годес, с другой, были еще на свободе и в живых; впоследствии я видел в библиотеке моего тестя Я.М.Магазинера печатные отзывы на его работы Пашуканиса и других столпов ранней партийной юриспруденции. В этих отзывах значилось, что Я.М.Магазинер — лакей империализма как самое меньшее. И, однако, хотя он вылетел из университета (и ведь вылетели постепенно также и Е.В.Тарле, и Л.В.Щерба, и В.М.Жирмунский — им же несть числа, хотя они и не значились специфически лакеями), однако он оставался на свободе и на второстепенной, но все же на работе.[1] Метод тогда был несколько иной, чем позже: проходя курс политэкономии, истории партии, исторического и диалектического материализма, мы должны были, помимо марксистских положений, тщательным образом выучивать — и сдавать на экзаменах — и разные ошибки и заблуждения: например, ошибки Розы Люксембург, деборинщину, какую-то сарабьяновщину и т.д. и т.п. (Это не мешало как раз в те годы, при сильном сопротивлении академиков, выдвинуть в Академию наук того же Деборина, а также Бухарина и Фриче, уже тогда уличенных в ошибках).

Ну, сарабьяновщина и деборинщина нас в тот год интересовали мало; зато было далеко не безразлично, какое именно направление в истории будет признано соответствующим «генеральной линии партии». Выступать с концепциями было делом, связанным с немалым риском, — хотя еще не было видно, сколь этот риск велик, и при этом как мало может защитить беспартийность от смертельных обвинений в расхождении с генеральной линией партии. Однако В.В.Струве, тогда человек еще молодой и — что, казалось, делало его менее уязвимым, — беспартийный (и тогда, и позже), шел на риск.

Мой брат Миша сообщил мне, что на днях в ГАИМК'е состоится большое заседание с докладом В.В.Струве «Возникновение, развитие и упадок рабовладельческого общества на древнем Востоке». Влиятельность В.В.Струве уже в то время была очень велика, и о докладе заранее говорили как о событии весьма большого значения. Я решил пойти с братом в ГАИМК; со мной попросился и Миша Гринберг.

ГАИМК помещался с самого своего основания в Мраморном дворце (потом там был Музей Ленина). Мы пришли довольно поздно; громадный (как мне показалось) зал был полон народу — сидело несколько сот человек. Заседание открыл Пригожин — вместе с Маториным первый в Ленинграде теоретик в области истории. После довольно пространной вводной речи он дал слово Струве.

Содержание его доклада здесь нет смысла пересказать. Как этот доклад, так и прения по нему были через несколько месяцев опубликованы в «Известиях ГАИМК», а года через два-три номер этого журнала был изъят из библиотек — не из-за доклада Струве, а из-за Пригожина. Впервые (в сокращенной форме и по-английски) я переиздал доклад Струве в 1970-х гг.

[1] Чего бы не могли сказать о себе многие наши величайшие ученые, поэты и писатели того времени. Великое дело — партийное руководство наукой и литературой. — Кто вернулся живой, кто нет.

Для моего восприятия 1933 г. он дал мало нового по сравнению с им же читавшимся у нас курсом («Кратким Струве» в записи Черемныха и Шумовского). Однако положения Струве были тут гораздо подробнее аргументированы. По-прежнему вызывали мое недоумение изначальная собственность деспота на всю землю, невероятная (мне казалось) для самой ранней стадии данной формации степень развития рабовладения, да и сам рабский статус описываемых Струве работников шумерских храмовых и государственных хозяйств. В центре доклада были данные шумерских хозяйственных документов, с которыми Струве — до тех пор египтолог — впервые сравнительно недавно ознакомился, став хранителем восточных древностей в Государственном Эрмитаже. Египтологического материала в изложении было мало, и он был довольно бледен и малодоказателен.

Доклад длился около четырех часов с перерывом. Слушать было трудно — Струве говорил плохо, длинными, запутанными фразами, не всегда согласовывавшимися, тонким голосом и, по обыкновению, со множеством паразитических словечек. Однако слушали его внимательно. Только где-то в углу, в раскрытых книжных шкафах, почти все время доклада, спиной к публике и к докладчику, рылся кто-то седой и маленький. Лишь когда он повернулся к нам лицом, держа в руках какое-то in folio, Миша (брат) шепнул нам: «Это Жебелёв».

Имя Жебелева мне было известно по скандалу, поднятому вокруг его имени в газетах. С.А.Жебелев был избран академиком в 1927 г. Но оказалось, что за ним числился, чуть ли не в чехословацкой печати, некролог эмигрировавшему академику-византинисту Н.П.Кондакову, и при этом, говоря о временах гражданской войны, он употребил выражение: «В годы лихолетья». Газеты писали (я помню — внизу справа на первой странице «Ленинградской правды»), что Жебелеву не место в Академии наук, и он, как мне кажется, даже действительно был исключен, или выборы были признаны недействительными — уж не знаю каким академическим или неакадемическим органом, но затем он без большого шума остался академиком; вероятно, С.Ф.Ольденбургу, тогда «непременному секретарю Академии», удалось убедить правительство в невозможности нарушить устав Академии наук и в нежелательности международного скандала.

После доклада В.В.Струве было много выступавших. Большинство соглашалось с докладчиком, хотя по большей части с теми или иными оговорками. Из критических выступлений помню эмоциональную, но не очень вразумительную речь маленького рыжего очкарика М.А.Шера — он уличал В.В.Струве в ошибках против египетской грамматики; сутулого, тоже в очках, с черным чубом и в кожаной куртке И.М.Лурье — уже знакомого мне по эрмитажному кружку; он стоял на точке зрения Н.М.Никольского и был наиболее верным сторонником теории феодализма в древности (и отступился только под влиянием выступления Сталина в «Кратком курсе истории ВКП(б)» в 1938 г.),[1] а сейчас он побивал Струве цитатами из Маркса и

[1] Часто приходилось слышать, и у нас, и за границей, что рабовладельческую формацию выдумал Сталин в своем «Кратком курсе», а что Струве повторял за ним. Это неверно — напротив, Сталин позаимствовал ее у Струве. Конечно, Струве не настаивал на авторстве, и в дальнейшем всегда ссылался на «вождя народов».

ссылками на бóльшую вероятность другого, чем у докладчика, толкования некоторых египетских терминов времени Древнего царства. Ближе к концу кратко выступил не известный мне тогда А.П.Рифтин. Он вообще не задевал никаких исторических проблем, но указал на филологические погрешности в докладе — помнится, не в шумерской части, а там, где В.В.Струве бегло коснулся плохо знакомого ему старовавилонского материала.

Главный вывод, который я сделал для себя из этого вечера в ГАИМК'е, был тот, что историк должен быть прежде всего лингвистом (понятия «филолог» не было в моем поле зрения), прежде чем делать какие бы то ни было свои обобщающие выводы.

Вскоре после этого была ноябрьская демонстрация. Она была такая же веселая, как и в 9-м классе, но в чем-то и иная. Конечно, участвовали в ней все поголовно — и потому, что не участвовать было бы грубым политическим выпадом, но более всего потому, что это было весело и приятно. Было ощущение дружного единства всех. Пели «Молодую гвардию» и «В гранит земли тюремной» — не пели в «В Парагвае, в этом чудном крае». Весело было бежать со всей колонной, когда после долгого стояния на месте оказывалось, что соседи уже сильно подвинулись. В этом году уже не было замысловатых повозок с ряжеными капиталистами — только знамена, красные транспаранты, портреты членов Политбюро. Не было — как было вскоре после этого — танцев, даже народных.

Наша бригада стала встречаться чаще. К занятиям наукой эти встречи, происходившие примерно раз в неделю, никакого отношения не имели. Встречались мы всегда у Жени Козловой — единственной из нас, у кого была своя отдельная комната, на Невском, в доме, где кинотеатр «Аврора» («Невский» был тогда только неофициальным названием). Я, как сын состоятельных родителей,[1] стипендии не получал, а карманных денег мне хватало только на трамвай, — я даже чаще всего не обедал в институтской

[1] Мой отец сначала работал в «Экспортлесе», стажируясь для перевода на внешнеторговую работу в Англию, однако примерно в год моего поступления в ЛИЛИ, когда происходила «чистка аппарата», он чистки не прошел (был «вычищен» по какой-то наименее страшной — кажется, 3-й — категории) и, хотя был почти незамедлительно восстановлен, ушел из «Экспортлеса»: было ясно, что ему как беспартийному, и почти «вычищенному», за границей больше не работать. Что имела против него комиссия по чистке — не знаю. После этого папа работал редактором в издательств «Academia», а затем заведовал издательством Арктического института; года с 1935 он ушел и оттуда, так как в результате очередной реорганизации над ним поставили какое-то неприятное лицо; с тех пор папа зарабатывал только литературным трудом: это означало, что у нас в доме всегда было «то густо, то пусто», и периоды веселой траты денег сменялись периодами строгой экономии. Наибольшая сумма зарплаты, которую получал мой отец, составляла 300 р.; иногда он получал меньше, но не ниже 200 р.; напомню, что в семье было пять человек и еще обычно прислуга (или «домработница», как стали говорить с 30-х гг.). В стране была карточная система; на одежду почти не тратились — ее получали, главным образом, по случайным «ордерам», которые выдавались за ударный труд:

«Будет день — мы предъявим ордер
Не на шапку — на мир...»

Мясо получали по карточкам по дешевой цене, но очень мало; сыр, конфеты были роскошью, редко доступной. Черный хлеб, по карточкам же, стоил 4 коп. кило, но без карточек можно было купить жареный пирожок — 5 коп., и даже полоску шоколадного пралине, которое часто заменяло мне студенческий обед — за 40 коп. Когда я женился в 1936 г., наш с женой завтрак состоял из консервной банки очень вкусной вареной кукурузы, стоившей 1 р. 01 копейку. Сколько стоило мясо — не знаю; в магазинах его давали редко, а «колхозные рынки» еще, помнится, не возникли. В общем, на еду в день на человека уходило рубля три; на дьяконовскую семью, считая пищу, непищевые расходы: квартиру, электричество и налог — как раз 300 р. в месяц.

столовой, — поэтому на «бригаду» ничего не вносил; ребята приносили пол-литра водки, бутылку очень гадкого портвейна («настоянного на ржавом гвозде», говорили мы), хлеба и запас «студенческого силоса» с селедкой. Стоило все это очень недорого — наверное, не более рубля на брата, — но учтем, какова была стипендия: помнится, Женя получала 28, позже — 35 рублей. Чай пили без сахара.

В составе бригады были свои звенья дружбы: я дружил с Мишей Гринбергом, Коля Родин — с Зямой Могилевским, Леля Лобанова дружила, конечно, с Женей, а влюблена была в меня. Женя объединяла всех.

Попробую нарисовать портреты. Миша Гринберг имел характерные еврейские черты лица (но прямой нос в линию со лбом) и еврейскую курчавую голову, однако кудри имел очень светлорусые, такие же, как Женя, или светлее, розовую кожу и голубые глаза; движения угловатые; жестикуляция у него была умеренная, но заметная; ростом был почти с меня. Коля Родин был роста среднего, лицо бледноватое, волосы темнорусые, черты лица правильные, очки; движения спокойные, речь тоже. Зяма Могилевский был ростом пониже Коли, смуглый, волосы черные, черты лица тоже правильные, но было в них что-то... не то заискивающее, не то нагловатое... А может быть, это позднейшее толкование. Все мы имели к Зяме полнейшее доверие, как и ко всем другим в нашей бригаде, но все же я почему-то любил его меньше других и винил себя за несправедливость. Нечего и говорить, что все были худые — более всех я: длинное узкое лошадиное лицо, смуглая кожа, под очками черные глаза, черный чуб волос; носил я коричневый свитер, а остальные ребята — клетчатые рубашки или, как Коля, косоворотку — под серый или черный (зеленовато-черный) пиджак. Наших девочек я описал выше, на уроке политэкономии.

Как всегда у русских, за стол садились молчаливо, но после первой порции водки сразу начиналось оживление. (Иногда пили сначала водку, потом портвейн, а иногда сразу делали «ерш»). Миша Гринберг начинал что-то рассказывать, изображать сценки из хедера или описывать еврейскую пасху. Зяма вставлял свои комментарии. Женя иногда с улыбкой поправляла Мишин русский язык; Коля объяснял мне превосходство рабочего сознания над мелкобуржуазным. Я же говорил ему:

— Коля, разница между тобой и мной только в том, что я — мелкая буржуазия, и знаю это, а ты — мелкая буржуазия, которая воображает, что перековалась.

Этот диалог повторялся почти каждый раз.

Коля и Зяма пили больше других и довольно скоро выбывали из строя: один засыпал на Жениной кровати, другой на стуле; Леля пила меньше, но достаточно, чтобы, привалившись ко мне, тоже задремывать. Миша открывал форточку и, сев на стул лицом к окну, вытянув ноги, что-то пел, первое время спрашивая:

— Красиво, правда? Замечательно, правда? Это «Кол нидре».

Так как у него не было ни малейшего слуха, ни голоса, то судить нам было трудно.

Женя не пила, а только пригубливала, и не пьянела. Что касается меня, то я никак не мог приучиться «хлопать» водку, а пил глоточками — и от

этого не только не пьянел больше, чем мои товарищи, как они мне предрекали, а напротив, пьянел меньше всех. Впрочем, обычно и те, кто, бывало, задремывал, вскоре более или менее приходили в себя, и мы расходились. Мне было идти с товарищами недалеко — только до угла Невского и Садовой. Коля обычно оставался позже других; сначала мы это объясняли себе тем, что он сильнее других выпил; но раз Зямка надоумил нас:

— Что, вы думаете, что Женя так в девушках и ходит?

Ну что ж, я желал Жене только всего самого лучшего. Дело в том, что я в нее был влюблен — не так, чтобы без ума, но все же... На лекции сочинил про нее странные стихи.

Мы все были очень молоды, и любовь играла для всех нас свою обычную обольстительную роль. Дух любви исходил в особенности из бригады Марины Качаловой. Сама Марина была бабка бывалая. Как она объясняла приятельницам (а стороной это доходило и до нас), у нее было три мужа: один для учебных семестров, один для каникул, один для времени после окончания — но и помимо этого она проявляла к мужчинам немалый интерес. Даже на что уж я, казалось, ничего не представлял собой, но и то Марина Качалова говорила про меня: «Когда он подрастет, им будет стоить заняться». Когда я услышал это, я гордо заметил: «Она не учла, захочу ли я тогда сю заниматься». Мужем ее для учебного семестра был видный деятель парторганизации, аспирант (или даже доцент?) Алимов, имевший уже, как говорили, ряд печатных работ в духе «нового (т.е. марксистского) востоковедения», резко громивший «буржуазное», т.е. классическое востоковедение.

Алимов кончил жизнь трагически: после вечеринки у него дома (едва ли не в общежитии «на Мытне») он не то выбросился в лестничный пролет с пятого этажа, не то его кто-то туда столкнул. Ходили темные слухи: то ли зиновьевцы его сбросили, то ли, наоборот, сам Алимов тяготел к зиновьевцам, и его сбросили в пролет чекисты; то ли он запутался во фракционной деятельности и покончил с собой. Не видно было, однако, чтобы Марину это слишком потрясло.

Ее подружки по бригаде, Ира Огуз и Вера С., имели своих постоянных приятелей. Когда кто-нибудь из них принимал гостя в их комнате в общежитии, на дверях вывешивалась белая бумажка. Если Иры не было дома, то на вопрос, где она была, следовал ответ скороговорочкой:

— Сидели в кино и целовались.

(«Мы на лодочке катались, — золотистый-золотой, Не гребли, а целовались, — Не качай, брат, головой!»)

В коридоре со мной часто заговаривала интересная, интеллигентная Аня Ф. Она успела побывать замужем (т.е. регистрироваться) в 16 лет, потом сделала большую и многообразную брачную карьеру, не всегда безопасную. Особым благородством она, мягко говоря, не отличалась.

Эпизоды жизни Марины и Ани — все это были пережитки комсомольской концепции «свободной любви», или «стакана воды», господствовавшей в 20-е гг., несмотря на осуждение Ленина. Следом ее остался нашумевший в свое время роман Богданова «Первая девушка»; бедственные последствия «стаканов воды» видели мы и среди товарищей, и среди знакомых.

Но в 30-е гг. стали распространяться более прочные связи. Они не регистрировались, но через некоторое время становились признанными среди окружающих; и сами любовники называли себя «мужем» и «женой», и юридически последствия такого брака ничем не отличались от последствий брака регистрированного.

Я находился вне этого мира любви, и это смущало и тяготило меня.

К зиме 1932—33 г. я, наконец, стал полноправным студентом: из нашей группы сам ушел Капров, который был хоть, казалось, и кретин, но все же соображал достаточно, чтобы понять — с экзаменами ему никак не справиться; он просто ничего не мог понять — что это там говорилось в лекциях и на семинарах?

Между тем подошла зимняя сессия. Это должны были быть первые в моей жизни экзамены, если не считать опроса по химии на набережной у 176 школы. Как к ним готовятся, я не знал, но, идучи в институт, не помню уж зачем (занятия вроде бы кончились, а экзамены еще не начинались), я размышлял о том, что нужно бы засесть за подготовку к истории первобытного общества; тут я повстречался с Колей и Зямой, которые шли мне навстречу.

— Куда это вы? — К Винникову, в Институт этнографии. — Зачем? — Сдавать экзамен, пошли с нами. — Да я еще и готовиться не начал. Надо хоть три дня... Ведь и сессия еще когда начнется?

— Чепуха, пошли!

На меня налетела авантюристская волна, и я пошел с ними. По счастью, Винников имел обыкновение каждый год на экзаменах придерживаться какой-нибудь одной отметки. В этом году он ставил «четверки», т.е. «хорошо»; что мы все и получили — я определенно незаслуженно, так как у меня не было за душой ничего, кроме некоторых воспоминаний о лекциях. Правда, память тогда была хорошая, но все же... — Это отчасти было причиной тому, что я впоследствии еще раз прослушал курс Винникова.

Остальных экзаменов той сессии (Л.Л.Ракову, В.В.Струве) не помню совершенно. Перед экзаменами можно было ходить на консультации, но я справлялся сам. Ребята же с удовольствием являлись к В.В.Струве, где Костя Горелик задавал классический вопрос:

— Василий Васильевич, вы не родственник Петра Бернгардовича Струве? — Вопрос был ужасен, ибо П.Б.Струве был хорошо известен по ленинским работам как один из наиболее злостных оппортунистов и антимарксистов.

— Что вы, что вы, голубчик, — говорил В.В.Струве.

Вопрос этот повторялся на консультациях год от году, ради удовольствия посмотреть на реакцию «старого профессора» (а потом и академика), и, говорят, В.В.Струве стал впоследствии прибавлять: «... и даже не однофамилец», — что всех забавляло (и так и было задумано), но в действительности было правдой: Вильгельмом фон Струве он как будто стал по усыновлению, по словам хорошо знавшей его Н.Д.Флиттнер.

После зимних каникул Женя Козлова явилась в институт в обновке: в новом зимнем пальто, которое сама сшила. В то время в моде были стоячие меховые воротники, спускавшиеся далеко вниз на грудь. У Жени, конечно, не хватило средств на нужный кусок даже дешевого искусственного меха (черного к черному пальто; только на самом деле мех был фиолетовый, а

пальто отдавало в зелень); она все же сделала воротник по моде, но был он оторочен «мехом» только с наружной стороны; на коротких русых кудрях был берет (шляпки носили только некоторые «барышни» с языковедческого, которых мы все за то и презирали, — настоящие девушки ходили в беретах или платках).

Женя с гордостью показала нам свою новую шубу, и мы горячо поздравляли ее. Но на ногах, к сожалению, черные резиновые калоши были на босу ногу: туфли окончательно сносились.

Все равно она была королева.

Вспоминаю, как я, сидя позади нее на лекции, постучал по спинке ее стула, чтобы обратить ее внимание и сообщить ей что-то. Она сказала:

— Не надо стучать, мне больно в груди. — Тут я вспомнил, что у нее далеко зашедшая чахотка.

Женя была королева, но я легонько флиртовал с Лелей.

Перед Новым годом была опубликована речь первого секретаря ЦК ВЛКСМ А.Косарева. В ней говорилось о том, что комсомольцы должны жить веселее, что танцы — красивый и вовсе не обязательно буржуазный обычай. Женская часть нашей группы оживилась.

На одной перемене ко мне подошла Аракса Захарян:

— Игорь, ты можешь меня обучить танцам? — Аракса, да с чего ты взяла, что я умею танцевать?! — Ах, не умеешь... — разочаровалась она.

Я-то понял, «с чего»: раз я такой буржуазный (а это на лице у меня, что ли, было написано?), уж конечно должен знать буржуазные танцы!

Вероятно, в тот же год была разрешена (вместо «религиозной» рождественской) новогодняя елка для трудящихся семей. Кончились рождественские затемнения окон! Обычай зажигать елку двинулся от интеллигенции в рабочие семьи — и началось безудержное вырубание молодого елового леса, пока для этого не стали выделять специальные плантации.

В новом семестре начались новые предметы — история средних веков и русская история. Кроме того, продолжал читать политэкономию безнадежный Петропавловский.

У него были стандартные и иногда довольно странные остроты и примеры, повторявшиеся на всех параллельных потоках. Одну из лекций (после зимней сессии) он начинал словами, произнесенными его обычным тягуче-певучим голосом:

— Аудито-ория похо-ожа на поле битвы: много раненых и много отставших. Хе. Хе. Хе.

Запомнился один из его примеров:

— Заключения по аналогии бывают опасны. Например: у коровы четыре ноги. У кошки тоже. На кошке шерсть стоит дыбом. На сапожной щетке тоже. Но это не значит, что сапожную щетку можно доить.

Как-то Петропавловский стал чертить на доске линии перехода «товар—деньги—товар» и т.п., в этих линиях мы совершенно запутались, но молчали. Вдруг с задней парты цыган Могильный громко сказал, выразив наши чувства:

— Ирригационная система! — Петропавловский на миг замолчал, но затем продолжал лекцию.

Вскоре он внезапно куда-то пропал. Умер ли, поссорился ли с начальством,

был ли арестован как уклонист? Мы не знали. Так или иначе, вместо него появился А.А.Вознесенский. Это был серьезный человек и хороший профессор; к сожалению, он читал нам теорию ренты, которую — имея в качестве базы лекции Петропавловского — мы даже и в толковом изложении Вознесенского плохо понимали. Я уже позже разобрался в этой теории, прочтя самостоятельно третий том «Капитала», но теперь, пожалуй, уже почти все позабыл, хоть и был представителем СССР в Международной ассоциации историков-экономистов в конце 60-х гг.

О Вознесенском говорили, что он девушкам принципиально ставит на один балл выше, но проверить это нам не удавалось, так как весной мы сдавали политэкономию Виленкиной.

Был еще курс психологии. Его читал Шахвердов, красивый пожилой армянин с ярко блестящими, как бы «гипнотическими» черными глазами. Курс показался мне неинтересным: там было что-то о механизмах восприятия, еще о чем-то таком, но не было ничего о содержании мышления — о том единственном, что меня могло заинтересовать.

Вместо экзамена по курсу Шахвердова был тест не то на сообразительность, не то на интеллигентность. Я получил четверку.

Весной следующего 1933 года — незадолго перед партийной чисткой — было постановление ЦК ВКП(б) о ликвидации педологии как лженауки. Педология — это психология детей и подростков; в ней широко применялись тесты и эксперименты (это из-за расцвета педологии Пугачиха красила стены классов в разные цвета и выгоняла старых педагогов). Мне очень хотелось пойти в РОНО, послушать, как Пугач будет проходить чистку. (Кажется, ее в самом деле вычистили). — Вместе с педологией «закрыли» и психологию шахвердовского толка (да и других — ибо павловской физиологии, предполагалось, достаточно). На полстолетия исчезли тесты.

В них-то именно и было дело. В 30-х гг. психология, правда, еще не полностью дошла до массового применения IQ-теста (Intelligence quotient — «коэффициента ума»),[1] но дело явно шло к этому. Тесты пока, возможно, были плохи, не давали достаточно точных результатов, но их безусловно нельзя было сфальсифицировать. А это давало большую фору интеллигенции. Высокое IQ получали, конечно, далеко не одни дети интеллигентов, но среди интеллигентов, пожалуй, чаще давали себя знать добротные гены.

Интеллигенция рассматривалась после Октябрьской революции как буржуазная интеллигенция — не имея якобы своей идеологии, она будто бы могла только отражать идеологию господствующего класса — буржуазии. В принципе она отождествлялась с классовым врагом и в качестве такого подлежала физическому уничтожению. Правда, среди революционеров-большевиков много — даже большинство — было выходцев из интеллигенции; для них, конечно, делалось исключение, как для «переварившихся в котле революции». Но оказалось, что и в промышленности, и в армии необходимы так называемые «спецы». Если они явно выражали свое желание и намерение перейти на сторону красных — а интеллигенция только и занята была в те

[1] Понятие IQ было введено психологом Терманом еще в 1916 г., но понимание как значения соответствующего теста, так и его несовершенств относится лишь к середине XX века.

годы поисками места в новом укладе жизни, который был несомненным и неотвратимым фактом, — тогда делалось исключение и для них, хотя не без элемента дискриминации и не скрывая, что это — временно, пока не будут подготовлены «свои» кадры, своя «новая» интеллигенция не интеллигентского происхождения, которая будет отражать идеологию нового господствующего класса — рабочего.

Как и во многом другом, Ленин и большевики не учли здесь биологии. Дворянство и интеллигенция были огромным хранилищем лучших генов русского народа и других народов России. Ведь и в царское время, как бы того ни добивалось царское правительство, между народом — и дворянством, тем более интеллигенцией (как дворянской, так уж и подавно разночинной) не было непроницаемой пленки, а происходило непрерывное осмотическое взаимопроникновение. И наверху оставались не только Скотинины и Бенкендорфы, но и Рылеевы, Тургеневы, Лермонтовы, Толстые, Белинские, Некрасовы, Софии Перовские. Условия для сохранения наиболее биологически ценных генов были лучше наверху, да и снизу наилучшие гены имели тенденцию подниматься вверх. Я не дворянин, а праправнук сибирского дьякона из ссыльно-каторжных и солдата из государственных крестьян — не бог весть какое возвышенное происхождение. Но возьмем и генеалогию почти любого дворянина — она уткнется в «выходца», в солдата, в стрельца, в крестьянина.

Отлично, что революция сняла барьеры для развития интеллигенции из рабочих и крестьян. Жаль, что не было введено барьеров для карьеристов и дураков. Но истребление уже имевшегося генофонда интеллигенции обескровливало умственные силы народа на десятки поколений вперед. Как в Испании после инквизиции. Но это мы поняли по-настоящему только полстолетия спустя. Пока же «хлипкие, неустойчивые» интеллигенты считали себя обязанными служить народу, и в то же время всеми способами боролись за существование. А я учился истории.

Историю средних веков (Европы) читали вдвоем Пригожин и Розенталь. Это была странная упряжка. Сначала на эстраду в актовом зале выходил и становился за кафедру Пригожин и читал «методологическое введение», затем он сходил, и на кафедре появлялся Розенталь, который читал «факты» (признаться, я плохо за всем этим следил; к этому времени я уже понял, что могу освоить только такую лекцию, которую я запишу, — а писал я быстро, с почти стенографической точностью, — и затем дома еще раз перепишу по-своему. Но Пригожин меня не интересовал — ни, впрочем, Розенталь — и я их не записывал). Пригожина я в лицо плохо помню; Розенталь был высокий, округлый, благообразный, лысеющий, с усиками. Слушали мы его вместе с языковедами и литературоведами.

Как-то раз он, описывая Великое переселение народов, оглянулся на доску и с досадой заметил, что нет карты. Студент Тима Заботин (один из языковедческих дураков)[1] сказал:

— Я сейчас принесу, — и ушел надолго. Розенталь так и читал, махнув

[1] Их было немало. Помню одного, который на собрании говорил:

— Раньше я был партизаном, а теперь я стал лингвинистом. — Но Заботин партизаном не бывал, просто рабфаковцем.

рукой, без карты. Заботин к концу часа пришел на цыпочках и развесил карту на доске за спиной профессора. Заметив это, Розенталь сказал:

— Да вот как раз и карта... — и застыл: на доске висела карта Африки вверх ногами.

— Что это вы принесли! Это же Африка!

— А я взял, которая была почище.

Русскую историю читал — или, вернее, бубнил — некто Н.; он читал что-то про Киевскую Русь — но совершенно невнятно. Время от времени слышалось: «Енгельс показал...», «Индульзация земли...».

Конечно, были сочинены стишки (кажется, Женей, она нам их и читала):

«Уж сколько раз твердил нам Енгельс
Про индульзацию земли...»

Инд-ди-ви-ду-а-ли-за-ци-ю. А что, и в самом деле трудное слово: Н. был выдвиженец.

Учебника по русской истории не было. Вместо него нам выдали книгу М.Н.Покровского «Русская история в самом сжатом очерке», представлявшую развернутую «марксистскую» критику на «буржуазную» историю России в изложении В.С.Ключевского. Фактов у Покровского не приводилось — они предполагались известными из Ключевского. Покровский был как бы Пригожиным при Ключевском-Розентале. Но книгу Ключевского нам запрещено было выдавать — между тем, и из лекций, которые читал нам Н., было трудно что-либо узнать по фактической части. — Впрочем, сам Покровский, хоть и был выбран в Академию наук в 1929 г., был вскоре осужден за антимарксистскую «теорию торгового капитализма в России», не укладывавшуюся в одобренную Сталиным схему смены общественно-экономических формаций (а посмертно — также и за недоучет провиденциального значения русской науки), и едва успел вовремя умереть в своей постели в 1932 г.

III

Наступил май, веселая, дружная майская демонстрация.

Сразу после Первого мая мы на заседании бригады пили и договаривались, что потом пойдем смотреть макет ледокола «Челюскин». Макет этот был выставлен, с людишками и льдинами, в сквере перед Казанским собором, как дань его эпопее на Северном морском пути, за которой все следили с волнением по газетам. Но к концу бригадной вечеринки все заснули, кроме Жени и меня. Мы решили идти смотреть «Челюскина» вдвоем. Я взял Женю под руку — что у тогдашних студентов вовсе не было принято — и мы побрели к Казанскому собору. Но тут я обнаружил, что мое поле зрения вдруг сузилось со всех сторон, и хотя Женя мне «Челюскина» показывала, я так его и не увидел.

Я простился с нею, как-то добрался до дому и тихо, чтобы родители не видели, лег в постель. Так я впервые был пьян.

Между тем, выпивки выпивками, а наши «заседания бригады» проходили как-то менее весело. Я-то был и не член партии, и не комсомолец, и что происходило на партийных и комсомольских собраниях, я понятия не имел.

(Это теперь беспартийные узнают решения парткома раньше иных партийцев, а тогда партийная тайна была святыней). Но Коля знал много — он был членом партбюро отделения (или даже парткома?) на странной должности «информатора». Много знал или чувствовал Могилевский — от Коли или с комсомольских собраний, не знаю (в партию он вступил значительно позже). Во всяком случае, ясно было, что на факультете идет классовая борьба, и во главе атакующих стоят Николаев, Проничев, Марина Качалова, Аракса Захарян, а объектом атак является наша бригада. Мрачным признаком была история с моей общественной работой.

Мне, как вовсе беспартийному, было трудно подобрать общественную работу, однако иметь ее было необходимо. Я, правда, о ней не хлопотал, но где-то в начале второго семестра, когда я уже перестал быть «кандидатом» и стал полноправным членом коллектива, мне было поручено проводить какие-то беседы в общежитии «на Мытне» — не помню уж о чем, наверное, о международном положении. Я честно побывал несколько раз в общежитии, но мои слушатели вскоре перестали собираться. На этом, казалось бы, дело и кончилось. Однако не тут-то было. Месяца через полтора-два на меня было подано заявление в партком о том, что я будто бы требовал деньги за общественную работу. Дело, видимо, пошло через Колю Родина и, во всяком случае, скоро было погашено, однако мне пришлось подавать письменное объяснение. И ясно было, что это был только первый из признаков окружающих настроений.

Активистов-крикунов появилось немало, и их никто не осаживал. Как-то раз мы сидели с Гринбергом на общеинститутском собрании — выступал один из таких активистов, Эмма Вязьминский с языковедческого отделения. Он произносил горячую речь о необходимости бороться с пережитками буржуазной идеологии, с недобитыми врагами коммунизма, и тому подобное. Миша Гринберг глядел, глядел на него и сказал мне:

— Когда я смотрю на таких, которые бьют себя в грудь, я всегда хочу угадать — был ли его папа жандармом или фабрикантом?

Мы посмеялись. Так как евреев в жандармы не брали, оставалось заключить, что отец Эммануила Вязьминского был фабрикантом. Может быть, и так. Но он был более похож на сына преуспевающего врача или адвоката — во всяком случае, он безусловно был интеллигент. Как все интеллигенты в ту пору, он стоял перед нелегким выбором — как выжить, и избрал стезю цинизма, в еще большей степени, чем М. Жажды быть «в числе тех, кто будет расстреливать» была в нем более явной. Интересно, что безобиднейшая Т.Г.Гнедич казалась партийным рабочим замаскировавшимся врагом, а явный циник Вязьминский казался интеллигентом, ставшим на пролетарские позиции. Во всяком случае, помимо того, что он был интеллигентом по рождению, он был еще и доносчиком по собственному выбору. В китайской группе с ним соперничал за первое место по успеваемости Володя Кривцов, талантливый парень из рабочих, а может быть, из крестьян (это ведь не всегда можно было различить: смотря как глубоко заглядывать в анкету). В удобное для сведения личных счетов время — сразу после убийства Кирова — Вязьминский донес на Володю, что он скрыл свое «кулацкое» происхождение, и Володя был исключен из института.

На последнем нашем «заседании бригады» перед весенней сессией Зяма Могилевский поднял стакан и произнес тост:

— Чтобы нам дожить до конца второго курса! — Мы все чокнулись, понимая, что шансы, быть может, половина на половину.

Но экзамены все сдали благополучно.[1]

Мне запомнился экзамен по новой истории Запада. Курс ее читал не Е.В.Тарле — он читал для старших курсов, на нашем курсе читал наш директор Горловский. Читал он довольно складно, но помню, как он объяснял нам, что выражение «богат как Крез» происходит от названия французской финансово-промышленной фирмы Шнейдер-Крезо. Сдавали же мы экзамен почему-то византинисту Митрофану Васильевичу Левченко, который был глуховат и считался — может быть, поэтому —«добрым» экзаменатором.

Непосредственно передо мной экзамен сдавал некто Бадалян, крошечного роста армянин, одетый в пиджак с намного большего плеча. Он был родом из Багдада, приехал, видимо, в отечество трудящихся, но по-русски говорил очень плохо, а делал вид, что говорит еще хуже. На экзамен он пришел с гигантским русско-армянским словарем — и личным переводчиком. Личный переводчик представился М.В.Левченко и сообщил ему, что Бадалян плохо знает русский язык и отвечать будет по-армянски — через него, переводчика. Левченко уставился в него изумленными глазами, но спорить не стал —«национальные меньшинства» пользовались тогда почти безграничными привилегиями. Обратясь к Бадаляну, он сказал:

— Пожалуйста, объясните причины падения Парижской Коммуны.

— Камуны! — воскликнул Бадалян и стал со страшной скоростью листать лексикон.

— Парижской! — опять листает.

Затем, обратясь к личному переводчику, быстро-быстро заговорил что-то по-западноармянски (этот язык и наши восточные армяне понимали плохо). Затем воскликнул:

— Причины! — и опять стал листать лексикон!

— Абеснить! — опять листает — и опять быстрый-быстрый монолог, обращенный к переводчику.

Затем переводчик, очень складно и толково, и значительно в большем объеме, чем все бормотание Бадаляна, изложил причины неудачи Парижской Коммуны экзаменатору.

---

[1] Хочется еще вспомнить «парад физкультурников», в котором мы участвовали в июне 1933 г. На парад брали не только действительно физкультурников, а любую молодежь — чтобы парад был более многолюдным и можно было отчитаться в массовости физкультурной работы в городе. Заявил о своем желании участвовать в параде и я: одним из главных притягательных факторов было то, что всем участникам парада выдавали красивые белые футболки с голубыми отворотами. Видит бог, я никогда не интересовался тряпками, но с моими одежками дело обстояло уж очень неважно. — Парад вылился в еще одну демонстрацию, веселую, как все они, и наши девушки в белом с голубым стоили того, чтобы на них поглядеть — помню Иру Огуз, Нину Магазинер и еще других

Миши Гринберга, конечно, не было: шагать в ногу его было не заставить даже ценой футболки.

Помню торжественный парад на площади Урицкого (Дворцовой), комбрига на коне:

— Парад, смирно!! В батальонных колоннах, с дистанцией на одного линейного, первая колонна прямо, остальные на...пра...во!! Шагом—арш!

Голубые отвороты футболки не выдержали первой стирки — голубое расплылось по белому, и футболка погибла.

Левченко, с видом полной растерянности, взял матрикул Бадаляна и что-то в нем написал.

Разумеется, на таком фоне мне нетрудно было отлично сдать ему экзамен.

IV

В начале лета я навестил Надю Фурсенко на университетской биологической базе в Саблино. Видались мы не наедине, а вчетвером — с двумя ее подругами. Было весело. Горькая и светлая любовь эта миновала. Потом побывал в Колтушах, где проходил практику Ваня. И это стало отходить в прошлое. Остальное же мое лето 1933 года — второе лето в Коктебеле — описано в предыдущей главе.

Между тем, еще прошлым летом, когда мы тоже были в Коктебеле, без нас дома у Миши и Таты родился сын Андрюша, или Бусыга, как сразу назвала его Тата, с ее страстью к кличкам, — и если раньше я на нее сердился, то теперь мы помирились. Мама очень привязалась к мальчику, который рос (и остался) добрым и ласковым; у него были живые и умные синие глаза (за которые он и получил свою кличку) и русый локон на лбу.

В тот же год — а может быть, предыдущей осенью (время теперь путается в моей старой голове) — на долю мамы досталось тяжелое испытание. Заболел скарлатиной тринадцатилетний Алеша; его отвезли в детскую инфекционную больницу где-то в Новой Деревне (помещавшейся чуть ли не в пресловутой «Вилле Родэ»)[1] и, как было положено, маме не было разрешено его навещать, хотя она и ссылалась на свой медицинский диплом. Во время одного из ее посещений больницы врач сказал ей:

— Ваш мальчик чувствует себя хорошо: он очень поправился.

Мама вся похолодела: отеки, указывающие на то, что врачи запустили характерное скарлатинное осложнение — нефрит! После этого она проявила чудо настойчивости, все-таки каким-то образом прорвалась к Алеше, настояла на анализе — и выяснилось, что мамин диагноз, как всегда, был правилен: у Алеши действительно был упущенный нефрит.

Его вскоре выписали из больницы, но он продолжал лежать дома. Это было тяжело для мамы, может быть, еще тяжелее для него: год строжайшей диеты, ограничение движений и всякой деятельности. Вся зима прошла в волнении — а мне тогда и особенно после вспоминался мой товарищ Сережа Донов, которому после такого же запущенного нефрита врач предвещал, что он доживет до 21 года. Сережа Донов тогда был жив — он даже исполнил за меня мою мечту стать астрономом; но о судьбе Алеши мне пришлось опять со страхом подумать в начале следующего учебного года; я тогда навестил Сережу Донова, лежавшего ослепшим в начинавшейся уже уремии; он умер ровно в 21 год.

Нам постоянно и потом приходилось бояться за Алешину жизнь, иногда у него отекали веки — хотя он всегда чувствовал себя, казалось, хорошо, лихо бегал на лыжах, плавал.

Той же осенью 1933 года произошло совершенно неожиданное для нас

[1] До революции — дорогое увеселительное заведение не без оттенка публичного дома.

событие — был арестован Мишин главный друг, Воля Харитонов. Его продержали под следствием три месяца — и выпустили, и он снова появился у нас, все такой же спокойный, с таким же ясным и понятным разговором.

Был он арестован по доносу одной студентки, Наташи Е., за которой он слегка ухаживал — дело не доходило далее катания на лодке по прудам «сада Дзержинского», что на углу Лопухинки (ныне ул. профессора Попова) на Аптекарском острове. Хотя Воля был беспартийным, но он обвинялся в протаскивании на лекциях каких-то антипартийных идей. Следствие свелось к дискуссии по истории социализма в России между Волей и следователем. Воля доказывал ему, что одна приписываемая ему идея принадлежит меньшевикам, а другая — эсерам, и что они логически и исторически несовместимы. Дискуссия эта, как ни странно, окончилась тем, что Волю выпустили, при этом обращение с ним в течение всех трех месяцев было в высшей степени корректное.

Такие скорые освобождения чаще всего обозначали, что освобожденный получил задание от ГПУ, но иногда — особенно в те ранние годы, а изредка бывало и позже, — они ничего зловещего не обозначали, и окружающие напрасно шарахались от подозрительного счастливчика (так было, например, впоследствии с Ольгой Берггольц). Но Воля был человек кристальной чистоты, подозревать его было невозможно, да и в последующем не было ничего, что могло бы его компрометировать. Зато у нас сложилось впечатление, что порядки в ГПУ стали более соответствующими человеческим представлениям о законности — в это хотелось верить, и мы верили, хотя совсем недавно прошла «золотая лихорадка» (описанная М.Булгаковым в «Мастере и Маргарите») и процессы вредителей, в липовом характере которых мало кто из беспартийной интеллигенции сомневался.

Но еще до возвращения Воли в мою жизни произошло важное изменение.

Через несколько дней после нашего возвращения с юга у папы в кабинете раздался телефонный звонок. Неизвестный мужской голос попросил Игоря Дьяконова. Я подошел, назвался.

— С вами говорит Александр Павлович Рифтин. — Я слушаю, Александр Павлович. — С этого учебного года на первом курсе языковедческого отделения открывается цикл ассириологии и гебраистики. Мне говорил Николай Владимирович Юшманов, что вы интересуетесь ассириологией. Не хотели бы вы перейти к нам?

— Что вы, Александр Павлович, еще бы! Конечно!

И так начался мой второй первый курс — на языковедческом отделении. Родители, конечно, не возражали.

Много предметов у меня было сдано за первый курс, и поэтому оставалось немало свободного времени. Я решил продолжать сдавать экзамены и за историческое отделение; я даже ходил на некоторые лекции и, таким образом, был еще в течение полутора лет связан с нашими историками.

Поэтому я расскажу о дальнейших судьбах моих товарищей-историков до того времени, пока их не влили в состав исторического факультета ЛГУ, в 1937 г.; тогда они окончательно перешли в другое здание, и я почти потерял их из виду.

А уж потом буду рассказывать о жизни языковедческого отделения и наших новых древневосточников.

Осенью 1933 г. наш институт расширился — к нему прибавилось философское отделение. Институт был переименован в ЛИФЛИ. Философы были еще более рваные, чем историки, и стояли гораздо ниже по умственному уровню. Зато произошли и некоторые более ценные усовершенствования: прежде всего, впервые за много лет были введены вступительные экзамены. Эти экзамены не были чисто конкурсными, так как классовому подходу все еще отдавалось преимущество, но их было двенадцать (взамен школьных выпускных), и уже само это число отчасти отсеивало претендентов типа Капрова или Тимы Заботина. Во-вторых, с этого года начался и беспрерывно продолжался в течение трех или четырех лет процесс восстановления старой профессуры и устранения невежд вроде Петропавловского или Н. Расширен был курс специальностей, в особенности на языковедческом отделении.

Но для студентов предыдущих годов поступления главным событием 1933 г. была чистка партии. Происходила она необычно (для нас) демократическим образом: все члены партии, поочередно, должны были публично рассказать всю свою биографию и отвечать на вопросы не только перед партийной комиссией по чистке, состоявшей из нескольких старых членов партии, преимущественно рабочих, но и перед общим собранием всего института, не исключая и беспартийных; любой из них мог встать, задать вопрос или высказать свое суждение — от чего мы, беспартийные, давно отвыкли. Дело происходило в актовом зале, отчитывались коммунисты на эстраде, слева за кафедрой; справа (от зрителей) стоял стол комиссии.[1]

Первые жертвы были неожиданны. Выступила Виленкина и сообщила, что вместо двух студентов ее группы другому экзаменатору — не ей, поскольку она всех своих студентов знала в лицо — сдавали экзамен по политэкономии и получили пятерки в чужие матрикулы два не тех студента. Она назвала фамилии: сдавать должны были Николаев и Проничев, а по их матрикулам на самом деле сдавали Родин и Сегедин. Виленкина требовала исключения из партии всех четверых. Вызванные на комиссию держались смущенно, хотя Николаев пытался вставать в позу и говорить о своих рабочих и партийных заслугах. Проничев пробормотал что-то неясное, Коля Родин сказал, что ему казалось долгом — помочь, по его просьбе, товарищу из рабочей среды по предмету, который был для него слишком труден при его слабой доинститутской подготовке. Сегедин прямо сказал — виноват.

Комиссия приняла решение всех четверых исключить из партии.

Решение прозвучало для нас громом из ясного неба. Как Коля мог на это пойти — и для кого? Для Николаева, который только и мечтал, чтобы мы все вылетели из института! Впрочем, если вдуматься, это было вполне в Колином духе: ведь Николаев — рабочий, сознательный партиец, такие не

[1] Много раз потом я думал: как было бы хорошо, если бы выборы в партийные органы происходили так же публично, как эта чистка! Ведь выбираются люди, которые будут управлять и нами, беспартийными, — почему же не предоставить возможность и беспартийным высказать о кандидатах заранее свое мнение? Сколько самодурства было бы сэкономлено, сколько ненужных страданий, нелепого расходования природных ресурсов! — Впрочем, уже в то время беспартийные все равно побоялись бы высказать свое мнение, или потом жестоко бы пострадали.

могут ошибаться, и долг Коли как нерабочего по происхождению — любыми средствами оказать рабочему товарищу посильную помощь.

Но был еще другой болезненный вопрос: от кого узнала Виленкина? Кто мог это знать? Коля сказал: — Никто не знал, кроме Зямы, — я с ним совстовался. —

Зяма не отпирался. Он сказал, что это был единственный способ избавиться от Николаева и Проничева. Стоило ли из-за них губить двух товарищей — на этом он не останавливался, а припертый к стенке, сказал, что надеялся — они отделаются выговором.

Конечно, всех четверых тут же исключили и из института. Судьба Николаева и Проничева мне неизвестна — думаю, что их, так же как и Сегедина, забрали в армию (еще не был закончен призыв). Коля в армию не попал — он был белобилетник по зрению. Примерно через год ему удалось восстановиться в партии и в институте. Женя вышла за него замуж. Жили они в полудеревенском доме на Среднеохтинском, в квартире с покосившимся крашеным полом. Мы с моей женой Ниной (тогда мы еще не были регистрированы, но уже считались мужем и женой) были раза два у них в гостях зимой 1935—36 г., а в 1939 г. встретили их обоих, нарядных, в Сочи. Незадолго до войны Женя родила мальчика; я тогда опять навестил их. Они все трое умерли с голоду в блокаду.

Между тем, чистка продолжалась; было вычищено несколько пьяниц и мздоимцев, двое-трое каких-то малозаметных студентов.

Потом произошла особая история. В ЛИФЛИ поступил новый студент — помнится, на философское отделение. У него было страшноватое, мрачное лицо, всклокоченные волосы, и обе руки были отрублены. В период коллективизации он выдавал кулаков, за что и был застигнут в лесу и порублен.

Потом он учился в Ярославле в техникуме, и там знал Альберта под другой фамилией; и знал, что тот был исключен за кражу казенных простынок. Обо всем этом он рассказал на парткоме — это было необходимо, без его разрешения и без явных улик милиция не арестовала бы его секретаря.[1] Но после парткома безрукий пошел в общежитие, где у Альберта как у семейного имелась отдельная комната, и зашел к нему «в гости» — с целью не дать ему ничего уничтожить. Так он и сидел несколько часов, пока не явилась милиция, под охраной которой Альберт и был явлен на чистку.

Комиссия по чистке сообщила, что по данным милиции все документы Альберта, включая даже билет «ОСО-Авиахима», были подделаны, а волосы выкрашены. Путь его от кражи казенных простынок до избрания освобожденным секретарем парторганизации ЛИЛИ остался не освещенным, но тут, конечно, сильно пахло уголовщиной.

Затем слово было дано Альберту. Альберт держался дерзко и вызывающе; защищался он только от обвинения, что у него крашеные волосы.

Справедливость, казалось бы, торжествовала; и даже, хотя нам было жалко Колю Родина и Мишу Сегедина, мы не могли не признать, что наказание

[1] Все равны перед законом, но иные менее равны, а другие — более.

им было справедливым — ибо то, что Николаева и Проничева надо было выгнать, казалось очевидным, а тогда как было бы оправдать мягкость к их сообщникам? Тем, что они хорошие люди? А из чего это парткомиссия могла бы заключить?

Но тут произошло нечто, бросившее иной свет на всю чистку. После целой вереницы партийцев, быстро и благополучно прошедших перед комиссией, предстал перед нею Женя Островский, секретарь партбюро языковедов. Это был высокий худой человек с характерным лицом рабочего-питерца (не знаю, соответствовало ли это впечатление его действительному месту происхождения), много старше нас всех, очень популярный в институте за свою теплоту и внимательность, участник гражданской войны. Член комиссии объявил, что имеются материалы, согласно которым Островский — бывший колчаковец.

Получив слово, Островский объяснил, что он не колчаковец и никогда им не был, а что он был направлен партией на подпольную работу в колчаковской армии.

Спрошенный, есть ли у него документы, подтверждающие это, Островский ответил, что документов у него, конечно, нет, но что они, несомненно, имеются в архивах ЦК и Наркомата обороны.

Потом выступал еще кто-то, клеймя бывшего колчаковца. Островский был исключен из партии и из института. Больше ничего я никогда о нем не слышал; не сомневаюсь, что он погиб, может быть, даже раньше 1937 г. Галка Ошанина и другие девочки, сидевшие в зале, плакали.

После окончания чистки я сказал Мише Гринбергу, что вычистили тех, кого надо, хотя далеко не всех, кого было надо, и часть тех, кого бы не надо вычищать. Вера в объективность партийной чистки была определенно подорвана. Ведь велось фактически судебное следствие, с самыми серьезными, даже гибельными поворотами судьбы для подсудимых, — но без защитников, без присяжных, без вызова свидетелей, без разбора доказательств — массово и поверхностно, похоже на массовый террор в ослабленной форме. Одно хорошо, что дело происходило публично, но решение не ставилось на обсуждение публики, которая в ряде случаев решила бы иначе, чем комиссия — хотя бы потому, что лично знала подсудимых. Впрочем, неизвестно, выступила ли бы публика, если бы и могла (имевшие место немногие выступления были, вероятно, заранее подготовлены) — люди уже слишком были приучены к роли безмолвствующего народа.

Я часто слышал и читал слова: «член партии — солдат партии»; «партия посылает тебя» туда-то (куда я как личность вовсе не хочу идти, а иду, подчиняясь священной партийной дисциплине). Но ведь посылать-то меня будет, как я давно понял, Пугач, Шкапина — более того, Альберт, Николаев. И апелляции на них практически нет — в силу демократического централизма.

Четверка — Николаев, Проничев, Родин и Сегедин — были не единственными, выбывшими из нашей группы в начале 1933/34 учебного года и несколько позже: цыган Могильный не выдержал экзаменов, а косматый громогласный Егоров попался на воровстве и угодил за решетку. Год спустя в ЛИФЛИ поступил парень — земляк Лели Лобановой (не то из Торжка, не

то из Старой Руссы) — и сообщил в партком, что она скрывает свое социальное положение (из торговцев) и настоящую фамилию (не Лобанова, а Лобанёва). Лелю исключили из комсомола и из института. Ей, однако, удалось доказать, что социального положения она не скрывала — в ее анкете значилось, что отец короткое время был мелким торговцем в годы НЭПа, но потом находился на советской службе. Труднее оказалось с фамилией: ее братья по паспорту действительно были Лобанёвы, в согласии с местным произношением этой фамилии; записывали в паспорт то «Лобанёвыми», то «Лобановыми» по усмотрению паспортистки. Однако все же ее в конце концов восстановили; она вышла замуж за парня с того же истфака ЛГУ, который она и кончила в 1939 году.

Но не все остальные из нашей группы кончили благополучно. Лида Ивашевская, вышедшая замуж за курдоведа Исаака Цукермана, вскоре умерла — кажется, не то от быстрого рака, не то от неудачного аборта. В один день я хоронил двоих — на Смоленском — мою милую тетю Соню, медленно умершую у тети Анюты на Большом проспекте от рака пищевода, и Лиду Ивашевскую на каком-то кладбище далеко, чуть ли не у Фарфоровского поста. Похудевшая Лида лежала в гробу необыкновенно красивой.

В 1937 г. был арестован приятель Иры Огуз (не помню его фамилии), а Ира как его «жена» была сослана в Сибирь. Кажется, была арестована и Марина Качалова — но тогда, в 1937 г., трудно было уследить, кто арестован, а кто исчез из твоего поля зрения по иным причинам.

Зяма Могилевский стал впоследствии преподавателем истории, в войну — штабным политработником, после армии — профессором, преподавал в ЛГУ и в других вузах Ленинграда, а также в Высшей партийной школе. Раз, выехав в Париж на какую-то конференцию, он выступил с такой «антисионистской», а вернее, антисемитской речью, что схлопотал от кого-то публично по морде (о чем он сам рассказывал знакомым). Вскоре после этого, в 1980 или 1981 г., он подал заявление в ОВИР[1] и уехал в Израиль — не в США; потому что говорить по-английски он, по-моему, так и не научился, а в Израиле можно было обойтись и русским.

Что касается меня, то я в 1934/35 гг. еще ходил на некоторые наиболее интересные лекции на историческом отделении, в частности, слушал поразительные лекции Е.В.Тарле по концу XIX—началу XX в. в Европе. Он говорил так ясно, так интересно и увлекательно, что невольно все клали карандаши, чтобы не упустить ни единого слова, и казалось, что эту лекцию нельзя не запомнить навеки. Увы, то была иллюзия — все забылось, и даже быстро.

В начале 1934/35 учебного года я решил сдать экзамен по русской истории XVII—XIX вв. Курс этот я не слушал (он совпадал с какими-то занятиями у лингвистов), но я был уверен, что могу хорошо подготовиться.

Надо сказать, что разница между историческим отделением 1932/33 г. и лингвистическим 1933/34 г. была разительной. Там мы могли дремать на лекциях, готовиться регулярно только к семинарам по политэкономии, а на

[1] Отдел виз и регистрации иностранцев (министерства внутренних дел).

подготовку к каждому экзамену тратить максимум два-три дня или даже два вечера. На лингвистическом отделении у А.П.Рифтина нужно было после шести часов занятий готовиться ежедневно еще не менее четырех-шести, а то и восьми часов, а каждый экзамен требовал долгой и серьезной подготовки.

Поэтому я решил со всей серьезностью сдавать и свои экзамены на втором курсе у историков.

Перед экзаменом по русской истории XIX века я пошел в Публичную библиотеку и не менее недели, а то и больше сидел за специальной литературой, читал даже некоторые источники. Но на экзаменатора мои знания не произвели впечатления — видимо, и у историков времена переменились даже больше, чем я мог предполагать. Узнав, что я учусь сразу на двух отделениях, он спросил меня, за какое из них я сдаю.

— Дело в том, — сказал он, — что если вы сдаете за лингвистическое, я поставлю вам четверку, но если вы считаете, что сдаете за историческое, то я поставлю вам тройку.

Конечно, за какое именно отделение я сдаю, по моему матрикулу все равно не было бы видно, но я сказал гордо: «За историческое!», получил свою тройку и более уже за истфак сдавать не пытался и на экзамен к Е.В.Тарле не пошел.

Так закончилось мое собственно историческое образование.

Но зато еще раньше, осенью 1933 г., у меня был большой академический успех. Переход обратно на первый курс, естественно, освободил меня от повторного слушания тех предметов, которые я уже слышал — политэкономии, истории и т.п.; я просто не ходил на них — и все. Но то же самое касалось и военного дела, а тут нужно было получить разрешение у военрука.

Военрук у нас был некий Эгле, в высшей степени неграмотный. Из всех занятий на первом курсе я запомнил только два-три эпизода. Во-первых, как мы заболтались на задних столах, а Эгле это заметил и резко спросил Лелю Лобанову:

— Вы слышали, что я сказал, вы там? Что нужно делать, если на вас летит вражеский самолет бреющим полетом?

— Прятаться в б-бандажи, — пролепетала Леля.

Мы все грохнули и своим смехом перевели гнев Эгле на себя.

— Два наряда вне очереди! — Какие наряды? Никаких нарядов не было. Впрочем, Эгле так и не усвоил, что произошло.

Другой раз, помню, после долгого изучения затвора винтовки[1] («курок с пуговкой, ударник с бойком» и прочее), мы тренировались по стрельбе в каком-то длинном бетонированном коридоре; на его дальней поперечной стенке, во всю ее ширину и высоту, была прикреплена мишень. Мы с Колей Родиным (два очкарика) залегли в противоположном конце коридора, Эгле объяснил нам, что не попасть здесь вообще нельзя, и мы выпалили. Однако все поиски наших пуль, не только в мишени, но и в боковых стенках, не

[1] Это была еще трехлинейная винтовка 1891, а не 1891-дробь 30-го года. Как пелось в 31-м учебном стрелковом полку:

«Если ранят очень больно, отделенному скажи,
А из фронта самовольно ни за что не выходи.
Если есть запас патронов, то товарищу отдай,
Но винтовки-трехлинейки никому не доверяй».

увенчались успехом. На этом Эгле нас отпустил с миром. — Потом еще, помню, рисовали «кро́ки» местности (croquis) на Крестовском острове.

Вообще у Эгле был здравый скептицизм по отношению к осмысленности наших занятий. Раз мы пошли сдавать нормы ГТО[1] по гребле на Ждановке у стадиона, что за Тучковым мостом. Эгле сказал нам:

— По правилам зачет дается за то, чтобы проплыть полкилометра на лодке. Но не сказано, по течению или против течения. Мы будем сдавать по течению. Садитесь в лодки.

Ну, словом, я пошел к Эгле получать освобождение от военного дела за первый курс. Объяснил ему, что я учился на первом курсе и сдал все военные предметы за первый курс, а теперь учусь опять на первом курсе другого факультета, и второй раз сдавать мне эти предметы не нужно. Не понял. Объяснил ему еще раз. Он долго думал, потом взял мою зачетную книжку и долго в ней что-то писал.

Наконец, он отдал ее мне — я вышел в коридор и нервно полюбопытствовал, что же он мне записал в зачетную книжку. О, радостное изумление! В матрикул были вписаны все военные предметы за все курсы, и после каждого наименования стояло: «Зачет. Эгле».

Итак, я получил еще запас свободных часов, которые можно было потратить на более полезные науки, и мог более не беспокоиться — звание командира взвода по окончании университета мне причиталось автоматически (впрочем, оно аннулировалось «белым билетом» по зрению).

Покончив с университетскими делами, я уехал со своими в Коктебель. О Коктебеле 1933 г. мной уже рассказано в шестой главе.

[1] «Готов к труду и обороне». Всей молодежи в обязательном порядке было велено сдавать минимум по нескольким видам спорта, за что выдавался эмалированный значок.

Глава восьмая (1933—1935)

Иль я не знаю, что, в потемках тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Б.Л.Пастернак. «Борису Пильняку»

I

По ходатайству А.П.Рифтина, мне очень скоро — чуть ли не на второй или третий день 1933/34 учебного года — разрешили перейти со 2-го курса исторического на 1-й курс лингвистического отделения. Это создало мне с осени 1933 г. идеальные условия для занятий специальными языками (аккадским и древнееврейским), так как я был свободен от общих предметов, уже пройденных на 1-м курсе исторического — от политэкономии, истории первобытного общества, истории древнего Востока, Греции и Рима, средневековой Европы и Руси, новой истории Запада, от введения в «новое учение о языке» — и осталась масса свободного времени, даже если учесть, что не все эти предметы были обязательны для лингвистов. Конечно, я был также свободен от иностранного языка.

Вполне своеобразное лицо лингвистическое отделение ЛИФЛИ приобрело с 1934/35 учебного года, когда оно стало факультетом, но и в 1933/34 г. оно во многом отличалось от исторического отделения ЛИЛИ предыдущего года. Оно не имело того ясно выраженного рабочего и партийного характера со специфическим классовым устремлением интересов и убеждений, которому я был свидетелем у студентов-историков 1932 г. приема. Бригады все еще существовали, но были необязательными — скорее, дружескими компаниями, чем производственными единицами.

Прием 1933 г. был впервые по истечении ряда лет конкурсным, студенты поступали по большей части опять из восстановленных в 1932 г. девятых классов школы. Однако социальное происхождение тоже принималось во внимание. При этом вступительный экзамен заменял школьный выпускной и включал все школьные предметы, в том числе математику, физику и химию. По правде сказать, в полной мере конкурсным он не был: отметки, правда, ставились честно, но все же, помимо отметок, учитывалась и классовая принадлежность[1] (о том, что можно было додуматься ставить отметки в

[1] Не принимались к экзаменам дети «лишенцев» — то есть лиц, лишенных избирательного права, однако это уж бог с ним, но эти лица были фактически лишены права на какой-либо труд, разве что устроятся на работу, скрыв происхождение, или куда-то, где люди так нужны, что начальство на анкету не смотрит, — так, например, принимали на многие заводы. К «лишенцам» относились дети царских офицеров, жандармов, священников, нэпманов, раскулаченных, дворян-помещиков, владельцев доходных домов, фабрик, заводов, лавок и т.д. и т.п. Ремесленники-кустари были двух родов: «с мотором» (что предполагало использование чужого труда — такие были «лишенцами») и «без мотора» — такие приравнивались к служащим. Плохое

зависимости от национальности — этого тогда еще и в голову никому не приходило). Для детей рабочих и для рабфаковцев хорошие отметки были не так обязательны для поступления. Например, Лиза Фалеева, учившаяся со мною вместе, умудрилась провалить одиннадцать экзаменов из двенадцати (получив, впрочем, пятерку по русской литературе) — и все-таки поступила, поскольку до института работала уборщицей. Но о Лизе Фалеевой надо будет рассказать отдельно.

Из-за того, что в 1933 г. на лингвистическое отделение подало много абитуриентов из школ и мало — с рабфаков, состав студентов был в значительной мере интеллигентский или, по крайней мере, «из служащих». Именно интеллигенты неофициально задавали тон среди студентов, потому что заметно отличались по успехам и определенности интересов. Поступившие были в среднем гораздо моложе, чем в прошлом году, и уже потому партийцев было мало; официально ведущую роль играл комсомол; к концу 1937 г. и из детей интеллигентов, пожалуй, уже меньше половины оставались вне комсомола.[2] Хотя общие предметы по-прежнему часто читали слабые преподаватели, специальные предметы обычно поручались знающим людям. Вообще же студентов этого курса политика занимала меньше, а больше — новые знакомства, любовь, — и довольно многих занимала наука. Комсомольцы не противопоставляли себя беспартийным, и в повседневном общении ни членство в комсомоле, ни беспартийность («внесоюзность» по-официальному) никак не ощущались — только иногда было обидно прочесть во время экзаменационной сессии в стенгазете: «Комсомольцы — впереди» (имелось в виду — впереди беспартийных), «Члены партии — передовики учебы», что, мягко говоря, не всегда соответствовало действительности.

Четыре отделения ЛИФЛИ — историческое, философское, лингвистическое и литературное (года через два они превратились в факультеты) — не имели своих особых помещений; аудитории были общими для всего института, хотя некоторые из них и были закреплены за специальностями.

происхождение могло частично, а иногда и полностью компенсироваться заслугами перед Советской властью — службой в Красной Армии, работой на советской службе в качестве специалиста, работой на заводе; но во всех таких случаях, в зависимости от усмотрения местных партийных и кадровых органов, могло перевесить либо «благо» («служил Советской власти», «переварился в рабочем котле»), либо «зло» («бывший», «скрывший свое происхождение»). По «Сталинской конституции» 1936 г. категория «лишенцев» была упразднена, однако графа «бывшее сословие» не исчезла из анкет и сохранялась чуть ли не до пятидесятых годов.

[2] Парторгов выделяло партбюро отделения, а в группах были выборные комсорги, профорги и выборные же, но утверждавшиеся деканатом старосты. Выборы их были демократическими: после избрания комсорга в одной из групп юная студентка Н. сообщила студенту постарше, Б.К., который как раз отсутствовал по болезни:

— Знаешь, кого у нас выбрали комсоргом? Лику! — Неужели? — сказал он, так многозначительно, что Н. поняла, как делаются выборы. Не только комсоргов.

Только деканаты были раздельные — впрочем, сначала они не назывались деканатами.[1]

Одеты мы были немного лучше, чем в прошлом году — правда, если внимательно смотреть на одежку девочек, то оказывалось, что все это не новое, а перешитое — нередко из дореволюционного добротного старья; но все же выглядели мы более благообразно, чем на историческом факультете в прошлом году.

Приоделся и я. Вместо солдатского свитера и кирзовых сапог на мне была темносиняя (цвета «морской волны») курточка, что-то среднее между френчиком и пиджаком — с пиджачными отворотами, но приталенная, с поясом и с накладными карманами; под курткой я носил белую рубашку и, по возможности, черный галстук; на ногах были полуботинки, но брюки были все те же, ордерные, бумажные («х/б», как говорят теперь: только хлопок тогда был не роскошь, а дешевка. Синтетика родилась лишь поколением позже).

Лингвистическим отделением, на которое я перешел с сентября 1933 года, заведовал некто Горбаченко, совсем еще молодой человек неопределенной специальности — может быть, просто партийный работник. Это он говорил успевающим студентам, что «нельзя спать на лаврах».

Вскоре он исчез, подобно другим фигурам подобного рода, и первым нашим уже собственно деканом, а не заведующим (поскольку отделение уже превратилось в факультет) стал в 1935 г. маститый, седовласый филолог Владимир Федорович Шишмарев. Впрочем, реально всю факультетскую работу вел некто Шуб, человек очень энергичный и преданный делу, благожелательный к студентам, хотя и не без некоторой склонности к «волевым решениям». Техническая работа по составлению расписаний, переписке и т.п. лежала на Зиночке, впоследствии жене Шуба. Это и был весь состав деканата.[2]

Студенты годов поступления раньше 1932 г. (как например, из группы Татьяны Григорьевны Гнедич) были сравнительно малочисленны, да и учились они не пять лет, а четыре или даже три года; мы их плохо знали, и вскоре они совсем ушли из нашего поля зрения. Я был хорошо знаком со студентами моего года поступления, 1932-го, а также и года моего «вторичного» поступления, 1933-го. Из последующих приемов знал только некоторых наиболее ярких студентов.

Число специальностей на отделении все время увеличивалось, и сейчас мне уже трудно вспомнить, какие специальности тогда были лишь на втором, а какие — лишь на первом курсе. На курсе 1933 г. поступления «западных»

---

[1] Лишь к концу моих студенческих лет исторический факультет ЛИФЛИ был слит с историческим факультетом, воссозданным в Университете (в здании «Старого Гостиного двора»); философский был тоже переведен в университет (туда же), а под конец (с 1937/38 учебного года) и лингвистический с литературным факультетом были переведены в состав Университета, сделавшись единым филологическим факультетом; но они остались в старом здании по Университетской набережной, дом 11; восточный факультет был выделен (тоже в этом же здании) лишь в 1943/44 учебном году.

[2] Деканат сначала состоял из двух лиц — заведующего и секретаря, потом из трех — декана-профессора, заведующего учебной частью и секретарши (Марии Семеновны Лев на литературном, Лидии Леонидовны Прошлецовой на историческом и Зиночки — у нас). Сейчас состав каждого деканата не менее чем в пять-шесть раз больше. Зачем?

специалистов как будто вообще не было; были циклы иранской, семитской, японской и классической филологии (во главе с А.А.Фрейманом, А.П.Рифтиным, А.А.Холодовичем и О.М.Фрейденберг) и, конечно, были русисты (более общая специальность «славяноведение», кажется, появилась позже, так же как индийский, финно-угорский и кавказский «циклы», а на нашей кафедре с 1935 г. появилась специальность африканистики, и сама кафедра получила название «семито-хамитской», так что нас товарищи дразнили «хамитами»).

В течение всего первого моего курса на лингвистическом отделении состав студентов был совершенно неустойчив и неопределенен: царила порядочная неразбериха. Это объяснялось в немалой степени тем, что поступившие не имели, по большей части, никакого представления об иностранных языках (тем более о языкознании), не понимали разницу между той или другой специальностью и не представляли себе, какова будет в будущем их работа. Распределение по циклам и тогда, и позже — даже и в сороковых годах — происходило, главным образом, по воле секретаря деканата, причем она частично исходила из национальности поступавшего, посылая евреев на гебраистику, корейцев на японское отделение, таджиков на иранское и т.д., отчасти же руководствовалась какими-то другими деканатскими соображениями. Особенно томились на своих циклах, куда они были занесены судьбой, ребята и девушки пролетарского происхождения, из мелких служащих и т.п., — их новые специальности ни с чем для них не ассоциировались.

На каждом «цикле» естественно выделялись, с одной стороны, «лидеры» и с другой — серая масса, которая совершенно не могла одолеть бездну лингвистической премудрости; эти люди, и окончив, никогда не работали потом по специальности. Но «лидеры» выделялись часто не сразу — в семитской группе лишь на втором курсе и отчасти на третьем. На первом же состав студентов был совершенно случайным.

Если не считать одного или двух ребят — совсем уж идиотических личностей, вскоре отпущенных с миром, — ассириологическая группа первоначально включала трех женщин и меня. Из них Э. была интеллигентная, несколько томная дама лет под тридцать, русская — фамилия была по бывшему мужу. Как она очутилась в нашей группе, было совершенно туманно. У нее был любовник — не нерегистрированный муж, а именно любовник, фигура тогда нечастая, — какой-то деятель горисполкома.[1]

---

[1] Поклонник Э. был, видимо, ответственен за благоустройство города, и Э. раз с гордостью сказала мне, что это по его распоряжению будет выравнена мостовая на всех крутых ленинградских мостиках через каналы, в частности, на Дворцовой набережной (тогда «Набережной 9 января») и на Кутузовской (тогда «Жореса»). Ранее профиль мостовой воспроизводил профиль арки над каналом. На этом мы с Э. поссорились, потому что я находил, что переделывать традиционные черты нашего города нельзя; напрасно она объясняла, что меняется только наклон мостовой, но очертание парапета и арки остаются прежние. — Она была права: для автомобильного транспорта прежние арочные по профилю диабазовые покрытия этих мостиков были несносны; даже после их переделки моя жена Нина, едучи в такси, всегда просила шофера: «тише на мостике».

Но друг Э. сделал непонятным для читателей стих Ахматовой из «Поэмы без героя»:

...Были святки огнями согреты И валились с мостов кареты...

Стих этот — скрытая цитата из «Невского Проспекта» Гоголя. Странным образом такой великий знаток, как В.М.Жирмунский, сделал здесь в комментарии к Ахматовой ошибку. Поняв «валились» в смысле «опрокидывались», он, со ссылкой на мнение К.И.Чуковского, написал, что в 1913 г. был сильный гололед. На самом деле это выражение встречается еще у Гоголя и относится к крутому переходу от арочного моста к плоской мостовой. «Святочные огни» — это костры, разводившиеся на углах улиц в сильные морозы (в частности, и в конце октября 1917 г., по старому стилю; ср. описание встречи с Блоком в поэме Маяковского «Хорошо!»).

Начальную клинописную премудрость она осваивала легко, но она была ей совершенно ни к чему, и на второй курс она не пришла — перевелась куда-то, кажется, на курсы иностранных языков. Другая — Дробязко — была лаборанткой с химического завода, что на Петроградской стороне у Биржевого моста, много лет отравлявшего желтым дымом воздух далеко вокруг. По-видимому, она мечтала учиться английскому или немецкому языку, на наш цикл, конечно, попала случайно, и при первой же возможности ушла на другой факультет.

Лиза Фалеева была необычной фигурой. Курносая, вся в веснушках, круглое личико под прямой темносерой челкой, редкозубая, всегда улыбающаяся и неунывающая. Лет шести мать отвела ее к одной своей знакомой, попросила присмотреть, пока она сходит по делам, а затем исчезла бесследно. Лиза росла отчасти у чужих людей, отчасти в детском доме; лет в пятнадцать случайно узнала адрес матери, жившей с новым мужем, — где-то под Москвой, и поехала туда. Но мать и отчим приняли ее без восторга; она вскоре разругалась с ними и на свои последние гроши уехала обратно в Ленинград. Приехала, не имея в кармане ничего даже на трамвай, но, выйдя на площадь, встретила сверстницу (очень красивую девушку по имени Наташа Полевая) и разговорилась с ней. Узнав о положении Лизы, Наташа пригласила ее к себе ночевать и позже посоветовала ей поступить в двухгодичный библиотечный техникум, где давали место в общежитии.

Проучившись в техникуме год ни шатко ни валко и перейдя на второй курс, Лиза пошла раз встречать Новый год у каких-то знакомых — и проспала занятия 1 января. А Новый год тогда по неизвестным причинам приравнивался к религиозным праздникам, и справлять его не рекомендовалось, а тем более прогул после Нового года был большим криминалом. Лизу вызвал директор и стал ей выговаривать. Лиза, не теряя времени на споры, обозвала его дураком. Это был не первый ее выбрык, и директор, потеряв терпение, тут же отдал приказ о ее отчислении из техникума; но понимая, что ей останется только идти на панель, предложил сохранить за ней место в общежитии, при условии, что Лиза поступит к нему же на работу уборщицей. Так Лиза стала мыть полы в комнатах своих товарок. Но когда ее товарки, окончив техникум по весне, дружно подали заявление в ЛИФЛИ, с ними подала заявление и Лиза Фалеева. Хотя она не имела даже законченного среднего образования и, как уже упоминалось, провалила 11 экзаменов из 12, она была принята ввиду ее прекрасного социального положения уборщицы и, по ее собственному желанию, зачислена на ассириологию.[1] В первые же дни она лихо зазубрила первые сто клинописных знаков, так что А.П.Рифтин ставил ее перед всеми нами в пример. Однако дальше дело пошло хуже: Лиза ровно ничего не учила, вызванная читать или к доске, упорно молчала, зато среди занятий подавала довольно необычные реплики. Так, например, А.П. читал нам коротенький курс введения в ассириологию и, по тогдашним правилам, на каждом занятии спрашивал по предыдущей своей лекции и

[1] Вообще, кроме Веры Глотовой, которая стала японисткой, кажется, все поступавшие в ЛИФЛИ из библиотечного техникума оказались студентами семитского отделения: оба Старковых, Валя Подтягина, Дуся Ткачева, Зина Тарасова и, кажется, Соня Безносая. Видно, учились стайкой и поступали стайкой — и может быть, поступили на эту специальность именно вслед за Фалеевой, которая единственная из них сделала выбор сама.

ставил отметки. Речь шла о «Хождении Иштар в преисподнюю»; Э., отвечая, забыла имя богини и назвала ее «эта девица». А.П. заметил, что богиня Иштар славилась своим легкомыслием и что поэтому эпитет «девица» к ней не идет. На это Лиза с места заметила: «Подумаешь! Я, например, легкомысленная, но девица». В общем, Лиза непрерывно превращала уроки в эстрадные номера с разными афоризмами в этом роде.

После каждого занятия, кроме общих лекций, выставлялись баллы, а успевающим студентам полагалось в порядке общественной нагрузки заниматься с отстающими — «подтягивать» их. Я, естественно, занимался с Фалеевой, и тут было еще больше цирка, чем на занятиях с Рифтиным. Лиза не хотела понимать ни слова из моих объяснений, но на каждую мою фразу у нее имелась какая-нибудь оригинальная реплика.

Как-то нам выдали для заполнения очередную анкету, и в ней была графа «семейное положение». Я был старостой и отвечал за заполнение анкет. Но Лиза категорически отказалась заполнять эту графу. Я говорил ей: — Какая тебе разница? Это ж для статистики, напиши, что хочешь; нравится «замужем» — пиши «замужем», нравится «не замужем» — пиши «не замужем». — Бился я с ней верных полтора часа (как человек законопослушный, не хотел допускать и в этой мелочи недоделок), но ничего не добился. Так и подал анкету с пустой графой.

Известны были различные внеинститутские эскапады Лизы. Например, как-то под ночь она влезла на «Медного всадника», другой раз вместе с Наташей Полевой — на какую-то будку (билетерскую, что ли?), стоявшую под колоннадой Казанского собора.

К концу года Лизу все-таки, несмотря на отличную анкету, исключили из ЛИФЛИ. Когда я сообщил об этом намучившемуся с ней Рифтину по телефону, он невольно сказал: «мазл тов!» («слава Богу!»). Это единственное еврейское выражение, слышанное мною от него: Рифтин был в высшей степени русской культуры человек.

На другой год, однако, Лиза вновь появилась в числе студентов ЛИФЛИ — теперь она захотела учиться на китайском отделении, но и его не кончила — вышла замуж.[1]

Где-то в конце первого или в начале второго полугодия к нам в группу был принят Ника Ерехович. Ника был сын царского генерала. Поэтому было чрезвычайно удивительно, каким образом ему, да еще уже в середине года, удалось быть зачисленным в студенты ЛИФЛИ. Желание его попасть туда было неслучайным. Ника с малолетства был увлечен египтологией, умел читать египетские иероглифы и, насколько я понимаю, на его зачислении настояла такая в то время persona gratissima как В.В.Струве, с которым — как и с некоторыми другими учеными-специалистами по древности (например, с А.И.Доватуром) Ника давно познакомился именно из-за египтологических и классических интересов. Вероятно, В.В. посочувствовал мальчику, бедствовавшему из-за своего социального происхождения. А его Ника отнюдь не скрывал; постепенно мы узнали, что отец Ники, Петр Николаевич

[1] Весьма своеобычно шла жизнь Лизы в военные годы (она служила в армии) и в послевоенные — но это заслуживает отдельной повести. Она, как и я, всех сверстников пережила.

Ерехович, был «из простых» — не помню уж точно, но кажется, из солдатских детей — и начинал военную службу чуть ли не писарем; однако, продвигаясь по военно-канцелярской службе, дослужился до коменданта Аничкова дворца и в этой должности получил чин генерал-майора (точно как повар у Сталина). Подобно тому, как служащим дворца после года использования передавались царские сервизы с двуглавым орлом, так же точно было принято, чтобы царствующие особы крестили детей дворцовых служащих, и Ника был крестником Николая II.

Семья Ники осталась в живых при советской власти, но родители его были высланы на Кольский полуостров; в Ленинграде жила и училась в каком-то техникуме его младшая сестра Рона (Вриенна Петровна Ерехович), впоследствии близкая подруга Таты Старковой, о которой еще много будет рассказано ниже. Сам Ника снимал где-то угол, прирабатывая то ли уроками, то ли переводами (он хорошо владел иностранными языками — между прочим, учился английскому на курсах иностранных языков вместе с моей будущей женой Ниной Магазинер, а учили там чрезвычайно хорошо).

Хотя Ника с детства увлекался древним Египтом, однако египтологию нигде не преподавали. Многие древневосточники начинают с увлечения египтологией, но путь туда еще сложнее, чем в ассириологию. Попав к нам, учился Ника прекрасно, и если бы не постоянные бытовые трудности и не то, что его время от времени исключали из института, он, вероятно, нисколько не отставал бы от меня.

Ника Ерехович был небольшого роста, тоненький, с волнистым темно-русым чубом, с необыкновенно приветливым лицом, казавшимся чуть-чуть лукавым из-за чуть-чуть курносого носа и чуть-чуть странным из-за разных глаз — один был светло-карий, а радужка другого была разделена наискосок на зеленую и светло-карюю половины. Одет он был в очень поношенный серый пиджачок и в застиранную клетчатую рубашку, из которой как будто вырос, всегда чистую (может быть, у него их было две, но скорее, он стирал и высушивал все одну и ту же). Беднее некуда. Был он человек доброжелюбный и общительный и имел много знакомых старше себя в самых разных кругах. С профессорами был особо почтителен.

Ерехович был старше меня года на два, не меньше, так как долго не мог поступить в высшее учебное заведение.

Первоначальный состав второй группы семитологического цикла — арабской — был чрезвычайно серым: он состоял из четырех провинциальных девочек — Вали, Сони, Дуси и Зины,[1] а возглавлял всю компанию коренастый армянин Мусесов, низколобый, тяжелого сложения, гориллоподобный. К нам его загнала секретарша деканата, — вероятно, по тому признаку, что он был «восточный человек». Мусесов был единственный партийный в нашей группе (да и на всей кафедре, включая преподавателей!), и за глаза мы называли его «наш кворум» или «наш расширенный пленум». Действительно, когда по

[1] Судьба одной из них, Вали, была печальна: она вышла замуж за Володю Старкова, ставшего к тому времени моряком. В войну он пропал со своим кораблем без вести, а Валя была сослана в лагерь как «жена врага народа». Соня была исключена из ЛИФЛИ и, может быть, арестована; Дуся и Зина впоследствии преподавали русский у себя на родине.

партийной линии исходило указание что-либо предпринять по партгруппам, Муссесов делал это единолично.

Несколько лучше был первоначальный состав третьей группы, гебраистической. Секретарша Зиночка сначала подряд зачисляла туда всех тех евреев, которые не выразили определенного желания учиться на какой-либо другой специальности, но потом ей, видимо, сказали, что надо зачислять и русских, и поэтому в гебраистическую группу попали брат и сестра — Володя и Тата (Клавдия) Старковы.

Володя Старков был юноша с приятным мужественным лицом, сероглазый, весьма неглупый. Но ничто не могло его интересовать меньше, чем древнееврейский язык, и он выдержал его только в течение одного года.

Тату поначалу гебраистика тоже нисколько не занимала, но она осталась, и занималась хорошо. Она, как и большинство других ее товарок, была из библиотечного техникума. Тата была румяная, здоровая девушка с нежной кожей, но ее портили тяжелые очки (-23 диоптрии!),[1] носимые с самого раннего детства и продавливавшие ей нос, уж и так немного курносый. Невзрачные волосы, закрученные на затылке в маленький виток, тоже не красили ее. Замечательные человеческие ее качества узнались далеко не сразу. Характер она имела прямолинейный до неразумия.

Остальные студенты-гебраисты были два Левина, Стрешинская и Свидер. Одного из Левиных я по имени не помню — он назывался у нас просто «Старик Левин»: ему было значительно за тридцать, он был лыс и неинтересен. Имел он традиционное еврейское образование — хедер и ешиву и знал древнееврейский хорошо, но в диком, с точки зрения научной семитологии, восточноевропейском (ашкеназском) произношении, и не имел представления ни об истории народа, ни о грамматике языка. Мирон Левин был красивый чернявый мальчик, моложе меня на три года; о его происхождении я ничего не знаю. О семье он никогда не говорил, — видимо, она не вызывала у него положительных эмоций. Попал он на отделение гебраистики по воле Зиночки, — о древнееврейском языке he could not care less[2] и не делал ни малейших усилий, чтобы освоить его. Он был русский поэт, и если ему где надо было учиться, так это на литературном отделении, куда он вскоре и перешел. Поведение его было эксцентричным — он как бы подчеркивал свое полное безразличие к тому, что о нем кто бы то ни было думал. Ему, например, ничего не стоило в ответ на удивившие его слова, сказанные мной, вдруг с размаху сесть прямо на тротуар на людной улице. Поэзия его шла от обэриутов (Олейникова, Заболоцкого, Введенского, Хармса, Шварца), из других поэтов он чтил, пожалуй, более всего — или

[1] Сейчас бы (1983 г.) она на восточный факультет не попала. Как ни ограничивали прием в высшие учебные заведения в 30-е гг., но он был много демократичнее, чем сейчас. Нынче восточный факультет закрыт для всех «очкариков», для всех беспартийных, для всех евреев, для комсомольцев, если они не имеют рекомендации горкома комсомола, почти полностью закрыт для женщин, — и для всех неблатных вообще (кроме иногородних «целевиков» — но те, конечно, имеют местный иногородний блат, и не малый). Это в ФРГ есть запрет на профессии. У нас — нет.

[2] Ничто не могло интересовать его меньше (англ.).

даже только — Пастернака. И еще Алика Ривина.[1] Мирон был очень низкого мнения о людях, окружавших его; когда я упрекнул его в том, что он никого не уважает, он ответил, что это не так, и что он уважает трех профессоров и трех студентов — из профессоров Франк-Каменецкого, Эйхенбаума и еще не помню кого третьего (Тарле?), а из студентов Выгодского, кажется, Верховского с литературного отделения и Соню Полякову — с нашего.[2] Других он позволял себе разыгрывать, дразнить, нахально обрывать.

Но поэт-то он был настоящий. Это ощущалось даже по его комически-сатирическим произведениям из серии, которая называлась как-то вроде «Поэма быта»:

Квартира, квартира, квартира, квартира,
Блаженный уют небольшого сортира
И кухня, подобная кухням царей,
И дети соседей у наших дверей.
О дети соседей! О сами соседи!
О страстная мысль о вкусном обеде!
Кастрюли, дуршлаги, макотры, плита —
Прославься, властитель желудков — еда!
Дубовый комод, лихорадочный сон
И поиски блох в лабиринтах кальсон...

Соседи лопали, а поэт, видимо, как водится, голодал.

Серьезные его стихи я прочел впервые много после его смерти.

А вот это стихотворение было им написано и вовсе в четырнадцать лет:

Смотрите: в дерзостном решенье
Нам здесь художник, не дыша,
Представил женщину в движенье
Как нежный жест карандаша.

Вот что писал в том же возрасте этот насмешливый ниспровергатель всех официальных авторитетов:

---

[1] Алик Ривин, примерно моего возраста или немного старше, был странным, вероятно душевнобольным человеком и замечательным поэтом, по характеру своего стихотворчества стоявшим где-то между Мандельштамом и обэриутами. Насколько мне известно, его поэзия никогда не печаталась; может быть, что-то сохранилось в чьей-либо памяти.

Меня познакомил с Аликом Ривиным на улице Мирон Левин; они оба проводили меня домой до Скороходовой, и по дороге Ривин перечислил мне множество моих родных и указал, чем они занимаются, — это было как чудо. Чем он жил — совершенно неясно. Последний раз я встретил его в начале 1941 г. около здания Библиотеки Академии наук; он вылетел со страшным матом из соседнего Института галургии, куда он пытался продать для экспериментов мешок кошек. После этого он зашел в библиотеку, повесил мешок с кошками на крюк в гардеробе и поднялся в читальный зал. В начале войны он явился в ленинградский военкомат, чтобы вступить добровольцем в армию на должность переводчика с румынского, но ему, естественно, было отказано. Умер в блокаду.

К сожалению, в моей памяти из его произведений сохранилось только стихотворение-двустишие:

«Вниз головой, вниз головой,
Грызть кукурузу мостовой»

— булыжной, конечно.

И еще начало стихотворения: «Вот лежу я в могиле, Засохлый еврей...»

Это, конечно, не дает представления о его оригинальном и замечательном поэтическом творчестве.

[2] Ко мне, впрочем, Мирон тоже относился хорошо. Однако суровость его оценок меня несколько шокировала. Мы с Мишей Гринбергом были более снисходительны к нашим профессорам. Мы были согласны, что они делятся на три группы: те, которые интересуются только наукой и ничем больше, — к ним мы относили Юшманова, Крачковского, Франк-Каменецкого и Борисова; те, которые интересуются наукой по-настоящему, но не упускают из виду и жизненных интересов, — сюда мы (не совсем справедливо) относили Рифтина и, с некоторыми колебаниями, Винникова, Мавродина; и те, которые пользуются наукой как булкой с маслом, — сюда мы относили Башинджагяна и все марровское окружение, а также большинство преподавателей по общественным наукам и истории.

Оставьте! Не трогайте! Бросьте
С утра поднялся тарарам,
С утра телефонные гости
Звонили по всем номерам.
Голубчики! Вы им не верьте!
Они ни с того, ни с сего.
Он умер совсем не для смерти
И тлен не коснется его.

(14 апреля 1930 г.: смерть Маяковского).

Стихи Мирона были впервые напечатаны в 1981 г. в Австрии.

Келя Стрешинская была высокая, живая, стройная еврейская красавица с лицом египетской царицы, активная комсомолка («Саша Косарев сказал...»), но небольшого ума и скромных способностей. У нее вскоре появился постоянный друг[1] не с нашего факультета — некий Леша Лебедев, блондин и пролетарий; лишь много лет спустя он с ней расстался. Маленькая Мария Свидер тоже, если присмотреться, была хороша собой — бледная, сероглазая; но очень уж безмолвная и незаметная. Мы редко слышали, чтобы она вообще произносила что бы то ни было, но относились к ней хорошо, потому что и она была нетребовательна и тоже ко всем доброжелательна. Из какой она была среды и семьи — понятия не имею; знаю лишь, что она жила на свою скудную стипендию. Училась весьма слабо, хуже даже Кели. Умерла после войны — говорили, что с голоду.

Были ли на «семитском цикле» ребята рабочего происхождения? Был Муссесов, Соня Безносая была, кажется, из рабочих, а «Старик Левин» «переварился в рабочем котле». Свидер была из очень бедной, но не рабочей семьи, Келя Стрешинская была дочь кустаря-фотографа («без мотора»), а остальные были дети служащих, хотя, конечно, была большая разница между Старковыми — детьми потомственных интеллигентов, и Зиной или Дусей, у которых если не отцы, то уж во всяком случае деды пахали землю, а отцы вышли в советские служащие сельского или районного масштаба лишь с приходом Советской власти. Комсомольцев на «цикле» тоже было мало, особенно поначалу: Стрешинская — наверное, Свидер и Безносая — вероятно; потом (когда они перевелись к нам) еще Миша Гринберг и Тадик Шумовский. Но принадлежность к комсомолу на лингвистическом отделении, в отличие от 176-й школы и исторического отделения ЛИЛИ, практически никакой роли не играла.

Первым после меня и, помнится, раньше Ереховича в нашу группу (на арабский цикл) перевелся Миша Гринберг; вслед за ним несколько позже[2] —

---

[1] Теперь это называется boy friend.

[2] В печатных воспоминаниях Т.А.Шумовского этот эпизод рассказан совершенно искаженно; имени Миша Гринберга и моего он совсем не упоминает, как будто этих людей и не существовало — по какой причине, я расскажу ниже. При всей сложности своих отношений с Советской властью, Тадик следовал ее примеру: кто ей не нравится или чем-либо против нее провинился, того она начисто предает забвению потомства и стирает резинкой из истории. Так же пытался поступить и Тадик. И столь же бесполезно: из-под главной резинки все равно выступают через многие годы Гумилев, Вавилов, Бабель, Бунин, Рахманинов, — даже Игорь Северянин, а из-под резинки Тадика — его тщательно скрывавшиеся товарищи и романы. Шумовский рассказывает совсем несообразную историю, как он будто бы получил на руки (!) из рукописного хранилища (кто видывал такие порядки?!) манускрипт неизвестного арабского поэта; манускрипт будто бы погиб при его аресте, но сохранился стихотворный перевод, который он и опубликовал в своих мемуарах. Арабские поэты никогда не упоминают в стихах имен своих возлюбленных — здесь же было названо имя — но не арабское.

Тадик Шумовский. Они вдвоем образовали ядро арабской группы, в то время как остальные, кроме, пожалуй, Вали, были лишь необходимыми статистами, балластом для остойчивости кафедрального корабля (слишком малочисленную группу могли бы закрыть, а преподавателей уволить!). Где-то уже ко второму курсу на гебраистике откуда-то появился бледный, старше нас, до крайности бедно одетый и державшийся особняком Илья Гринберг — не знаю, где он учился раньше; но мне представлялось вполне понятным, что евреев, как и людей любой другой национальности, интересует история их собственной культуры, и люди с традиционным знанием иврита, подобные Ильe Гринбергу и «Старику Левину», казались естественными на этой специальности. Но не все думали так.

Еще немного позже к нам на гебраистику перешел Велькович. Это был маленький, веселый, необыкновенно прелестный молодой человек, эллинист и поэт, весь сиявший доброжелательством и добродушием. В отличие от «Старика Левина» и Ильи Гринберга, он легко вошел в нашу компанию. (Он последним поступил на наш цикл — и первым с него выбыл: его арестовали в конце 1936 или начале 1937 года). Теперь группа гебраистов состояла из пяти евреев и одной русской. Мы не придавали этому ни малейшего значения, просто не задумывались об этом (и кому же учиться еврейскому, как не евреям, подобно тому, как таджики учатся на иранском цикле?). На самом деле такой состав группы имел для дальнейшего очень серьезное значение.

«Старика Левина» и Илью Гринберга, как кажется, не особенно интересовали другие предметы, кроме древнееврейского языка. Оба были воспитанниками еще хедера (как и Миша Гринберг), но хедерное учение так засело в «Старике Левине», что обучить его научной гебраистике никак не удавалось. Илья Гринберг, который был моложе «Старика Левина», но старше всех остальных, напротив, усваивал лингвистические знания хорошо. Наверное, сейчас наши русские националисты назвали бы их обоих сионистами, но тогда такого бранного обозначения в ходовом политическом лексиконе не было.[1]

---

[1] Евреям были первоначально предоставлены Советской властью довольно широкие возможности развития собственной национальной культуры; возникли еврейские сельскохозяйственные коммуны в Белоруссии, Новороссии и степной части Крыма. Правда, неудачей было создание Еврейской автономной области в болотисто-таежных местах Дальнего Востока; хотя она и сейчас существует для вида, но идиш там считают родным языком менее 1% населения. До начала 30-х гг. идиш был одним из четырех официальных языков Белоруссии (наряду с белорусским, русским и польским; даже названия железнодорожных станций некоторое время писались на четырех языках), выходили газеты и книги на идиш, в Москве был еврейский театр, возглавлявшийся великим актером Михоэлсом; но узаконен был именно только идиш, но отнюдь не иврит; к началу тех же 30-х гг., если не раньше, были закрыты все хедеры и ешивы, и всякий интерес к ивриту преследовался — не как сионизм, а как «еврейский клерикализм». Дело в том, что само сионистское движение было ответвлением социал-демократии, а большевизм еще помнил, что и сам он был из РСДРП; все другие социал-демократические группы и секты считались поэтому гораздо опаснее открытых классовых врагов.

В период становления Советской власти на территории бывшей Российской империи были разные еврейские культурно-политические движения: среди городской еврейской интеллигенции было подавляющее число обрусевших, отдававших должное своему народному прошлому, но полностью принявших русский язык и культуру как свою собственную: некоторые крестились, но большинство, по примеру русских интеллигентов, оставили всякую религию. Что бы они ни были обязаны писать в документах, они считали себя русскими; в числе их были кадеты, меньшевики, большевики, эсеры и просто беспартийные; далеко не все прочие евреи были сионистами, т.е. сторонниками создания еврейского национального центра в Палестине (вместе с арабами, а позже — за счет арабов). А сионистско-масонский всемирный заговор никогда не существовал — давно доказано, что он был придуман в царской охранке в 1903 г. после Кишиневского погрома, а позже воскрешен из небытия гитлеровцами. Вне России и Польши

Я не могу сказать, был ли интерес «Старика Левина» и Ильи Гринберга к ивриту просто интересом к собственному культурному прошлому (скорее всего, так) или имел и какой-нибудь политический оттенок. На внутриполитические темы в 1933/34 гг. уже никто между собой не разговаривал.

Несколько раньше других — на втором курсе — в нашей ассириологической группе, состоявшей в тот момент только из Ереховича и меня, появился Липин.

Было уже не самое начало второго курса, «ассириологические» женщины выбыли, и мы с Ереховичем уже привыкли, что вдвоем именно и составляем группу ассириологов, но раз мы с ним вошли в ту крошечную аудиторию, где обычно занимались с Рифтиным, — а за столом сидел новый для нас человек лет под тридцать—чуть меньше, чуть больше, небольшого роста, коренастый, скуластый, с широким ртом и широким носом, впалыми глазами и черными волосами бобриком. Мы остановились и посмотрели на него, он назвался:

— Лева Липин. Зачислен на второй курс по специальности ассириологии.

Мы несколько удивились, но не очень — столько народу перевелось к нам не с самого начала занятий — и не только из других групп ЛИФЛИ, как Миша Гринберг, Тадик и Велькович, но и откуда-то извне, как Илья Гринберг или Ника Ерехович. Уже впоследствии, когда мы ближе познакомились, Липин рассказал, что до института работал продавцом в Торгсине,[1] а о нашей специальности узнал от Миши Гринберга, с которым был издавна в приятельских отношениях (честолюбием Миши было либо быть знакомым со всеми евреями Ленинграда, либо, по крайней мере, знать про них все, что возможно — биографию, характер и т.п.). По словам Липина, Миша как-то раз сказал ему, что в ЛИФЛИ открылась специальность ассириологии. Он спросил Мишу, что это за наука; тот ответил, что она изучает Ассирию, Ашшур.

«Тогда я спросил его, — рассказывал Липин, — Зелбикс Ашшур ви им тойрс? — «Йо», — ответил Миша,[2] — и я решил поступить к вам». Липин знал уже, что я понимаю идиш.

Про экзамены он сказал что-то неопределенное, но поскольку могли же

были люди иудейского вероисповедания, говорившие на совершенно различных народных языках. Но язык иврит был единственным общим достоянием всех евреев вообще: экзамен на знание иврита входил в течение более двух тысяч лет в обязательный для всех мальчиков обряд вступления в совершеннолетие и в еврейскую общину.

Секрет железного преследования иврита и писателей и поэтов, писавших на иврите, был в том, что иврит был официально принят сионистами, а сионисты, как все бывшие социал-демократы, рассматривались как более вредные, чем прямые капиталисты. Официальным же объяснением преследования иврита было то, что он якобы только религиозный и «мертвый язык», что воскрешать мертвое так же плохо, как сохранять мертвое и не закрывать и не сносить православные храмы и синагоги. И партийные массы, конечно, в это верили твердо.

[1] Торгсин (в народе это сокращение, на самом деле обозначавшее «Торговый синдикат», истолковывалось как «Торговля с иностранцами») представлял собой сеть магазинов с очень богатым ассортиментом продовольственных товаров и одежды, которыми торговали на валюту, в том числе на золото и серебро, дополняя достижения «Золотой лихорадки» (описанные, из цензурных соображений, в виде «сна» в «Мастере и Маргарите»). Торгсин (без этого названия — по той же причине, почему «Золотая лихорадка» описана в виде сна: книга была рассчитана на подцензурную печать) тоже описан Булгаковым в «Мастере и Маргарите» (это его громят в конце романа Кот с Фаготом). Конечно, работники Торгсина тщательно отбирались ОГПУ.

[2] «Та же Ассирия, что в Торе?» — «Да» (идиш).

принять Фалееву и даже Ереховича, я не видел причин, почему не могли бы принять Липина. Во время приема 1934 г. по-прежнему учитывалось социальное происхождение. Отец Липина считался рабочим, а продавец Торгсина — это тоже чего-нибудь да стоило.

Так или иначе, Липин взялся за учение очень усердно и к концу второго курса почти догнал нас с Ереховичем, хотя и позже всегда немного отставал от нас.

Александр Павлович Рифтин вел у нас на первом курсе специальный предмет; года с 1937 он читал также введение в языкознание для всех первокурсников (вместо башинджагяновского «нового учения о языке») и общее языкознание для пятого курса и аспирантов. Первокурсники обожали его: переходя к новой теме, он любил ставить ее как загадку, разгадка которой — у него, Рифтина, и это увлекало студентов и заставляло их думать. Но старшие любили его меньше — его педагогические приемы уже казались им примитивными. Зато преподаватель языка он был идеальный; не выучиться у него просто было нельзя. После зазубривания первых клинописных «ста знаков» начался собственно курс аккадского языка. Вот тут-то и было самое главное. Занятия шли так: первый из двух ежедневных уроков он начинал с повторения определенного раздела русской грамматики (правильно считая, что из школы студенты ее не помнят) и лишь затем излагал соответствующий раздел грамматики аккадской; в начале следующего урока он вызывал к доске и заставлял писать парадигму за прошлый урок, и не двигался дальше, пока мы не ответим эту парадигму без ошибок и наизусть; на втором уроке в тот же день мы читали текст. Часов на языковые занятия было достаточно (четыре-пять двойных уроков в шестидневку), так что мы проходили весь грамматический курс на первом курсе и успевали прочесть два больших текста. Мы читали по немецким учебным пособиям, пользуясь приложенным к ним немецким словарем. Это было не очень трудно, так как число текстов в хрестоматии Делича было не особенно велико, и, соответственно, словарик был небольшой и, хотя он и был, по семитологическому обычаю XIX века, расположен в порядке согласных корня, и по еврейскому, а не по латинскому алфавиту, и притом давал, естественно, лишь немецкий, а не русский перевод слова, но находить семитские корни я научился еще у Юшманова; Ника Ерехович тоже быстро усвоил эту премудрость (поскольку параллельно мы занимались и древнееврейским; а Липин знал идиш, а потому читал еврейские буквы и с грехом пополам понимал и немецкие слова).[1] Александр Павлович никогда не спрашивал,

[1] Впоследствии Лев Александрович Липин (впрочем, в студенческих списках он числился как Леонид Харитонович, а по метрике — Лейб Хацкелевич) выпустил русскую хрестоматию по аккадскому языку и словарь. Не затрудняя себя, он просто воспроизвел хрестоматию Делича, прибавив лишь один большой текст, изданный великим французским ассириологом Тюро-Данжэном; словарь он тоже перевел с немецкого словарика Делича, почти вовсе не включая в него слов из добавленного Тюро-Данжэновского текста и не затрудняясь уточнениями значений аккадских слов, выявленными в течение 50 лет после Делича. Немецкий он по-прежнему знал слабо и часто выбирал не те значения немецкого слова, что надо, например, давал в свой словарик омоним действительного перевода. Любопытно, что «хрестоматией Липина» охотно пользовались преподаватели аккадского... в США, так как русский перевод слов был тамошним студентам, слава богу, непонятен, и они не могли пользоваться устаревшими, а потому вводившими в заблуждение переводами — ни Делича, ни Липина. Но вообще мне кажется правильным для такого сложного предмета, как наш, пользоваться международными учебными пособиями — попутно поневоле выучивая и немецкий и английский, а без них в науке все равно как в темном лесу.

знают ли студенты немецкий: учили же они его в школе! В конце недели по всем языковым занятиям выставлялись отметки по пятибалльной системе.

На следующий год мы быстро повторили грамматику и прочли еще несколько текстов: в первом полугодии «Поход Саргона на Урарту» — тяжелый текст, после одоления которого чувствуешь, что уже взаправду стал ассириологом; во втором — несколько литературных текстов, а также Законы Хаммурапи. А.П. читал нам краткий курс ассиро-вавилонской литературы, но при этом во второй час (учебные часы были сдвоенные) мы читали разбираемые литературные тексты по транскрипции из французской книги Дорма. На третьем курсе мы читали дальше аккадские тексты, в том числе много староассирийских и среднеассирийских надписей и законов, а кроме того, проходили шумерскую грамматику и читали простые шумерские тексты; на четвертом А.П. читал введение в клинописное право, а в классе мы читали с ним образцы старовавилонских юридических документов и писем и старовавилонскую версию эпоса о Гильгамеше, а по-шумерски — надписи Гудеи и Урукагины. Кроме того, для меня и Ереховича Александр Павлович читал краткий курс введения в хеттский язык,[1] а у Александра Васильевича Болдырева я факультативно занимался греческим. Наконец, на пятом мы читали у А.П. по-шумерски «Цилиндр А» Гудеи — необыкновенно трудный текст; занятия превращались в споры, и нередко Рифтин признавал толкование, предложенное мной или Ереховичем, более удачным, чем свое. На пятом же курсе А.П. читал историю аккадского языка с чтением образцов текстов из всех диалектов и эпох.

Работать в заданном темпе было трудно. Вплоть до середины третьего курса я, придя домой и пообедав, немедленно садился за урок и сидел за ним чаще всего до часа или двух, а к девяти надо было опять в университет. Но когда я несколько освоился с клинописью и ушел немного вперед, я давал себе сам еще дополнительные задания, и таким образом еще до «Похода Саргона против Урарту» я прочел сверх всякого задания три маленьких поэтических текста, ставившие предо мной весьма непростые загадки, и «Вавилонскую хронику», писанную не ассирийским, а незнакомым мне тогда нововавилонским пошибом и к тому же сплошь зашифрованную шумерограммами.

Помимо аккадского и — с третьего курса — шумерского, для ассириологов и арабистов был обязателен древнееврейский. На первом курсе нам его читал И.Г.Франк-Каменецкий: был он, вообще-то говоря, египтолог, и хотя когда-то учился древнееврейскому у П.К.Коковцова, но знал этот язык слабо и нередко сбивался, излагая парадигмы; но у меня была куплена у букиниста великолепная подробнейшая грамматика Гезениуса-Кауча, и я ее постепенно отлично выучил. Читали мы отрывок из «Бытия» про Иосифа и его братьев,

[1] В печати появилось сообщение, что первым в ленинградском университете вел курс хеттского В.К.Шилейко. Это не так: В.К.Шилейко занимался с Александром Павловичем хеттским, но это было до появления первых грамматик и учебников, так что это был, скорее, неофициальный совместный разбор текста, чем систематический курс. Официально Шилейко читал курс «клинописи» вообще: тут были и шумерский, и аккадский, и хеттский языки, причем на уровне последних достижений мировой науки. В недавно опубликованных в журнале фантастичных и сурово осуждавшихся А.А.Ахматовой мемуарах неплохого поэта Георгия Иванова Шилейко посвящено строк пятьдесят — и в них не меньше пятидесяти ошибок и прямой лжи.

но для собственной пользы и удовольствия я прочел и «Книгу Ионы» и кое-какие отрывки из «Книги царств».

Что касается гебраистов, занимавшихся у М.Н.Соколова, а потом у А.Я.Борисова, ближайших учеников П.К.Коковцова, то они, конечно, успели за первый год гораздо больше нашего; но там была особенность: если Тату Старкову, Келю Стрешинскую и Мусю Свидер надо было учить, как и нас, с азов (Мирон Левин вообще не снисходил до того, чтобы выучить толком хотя бы только еврейский алфавит), то «Старик Левин», Илья Гринберг и «Продик»[1] Велькович еще до университета свободно читали по-древнееврейски (но по-ашкеназски), и их надо было не учить, а переучивать, и, кроме того, отучить от хедерного перевода, основанного на модернизированных реалиях (например, Илья Пророк возносился на небо не в «карете», как переводил Илья Гринберг, а в «колеснице»). Кроме того, надо было и не нюхавших ранее древнееврейского языка заинтересовать им; это тоже было совсем не легко — для девушек и Мирона это была какая-то чудовищно запутанная диковина, которую совершенно непонятно было зачем надо учить. Ну, может быть, у Муси был еще какой-то интерес к древнееврейскому как к языку ее предков; но эта очень славная и скромная девушка была в высшей степени неспособна к языкам вообще.

Для гебраистов, кроме древнееврейского, был обязателен и арабский, который арабистам преподавал Эберман, а гебраистам — красивый, молодой, стройный В.И.Беляев; но А.П., пользуясь тем, что у меня было много свободного времени, приказал мне тоже ходить на арабский к В.И.Беляеву, а на втором курсе — и к И.Ю.Крачковскому, который читал арабистам историко-географическую литературу арабов и Коран.

И.Ю.Крачковский был человек неколебимого, даже беспощадного благородства, стройный, красивый, с благородной седой бородой. Говорил гладко, без запинок и придаточных предложений.

Лекции его были тяжелым испытанием. Он четко произносил название очередного арабского сочинения — а каждое из них, названий, представляет собой рифмующееся двустишие, совершенно бессмысленное, никакого отношения к содержанию произведения не имеющее — примерно «Ожерелие мудрых Для просвещения темнокудрых». Все это, конечно, произносилось по-арабски, а арабский я знал плохо; затем упоминался автор произведения, какой-нибудь Абдаллах ибн Фуфу Курдуби, или Мухаммед ибн Ахмад Кайравани; затем сообщалась дата старейшей рукописи, хранящейся в Эскориале или другом хранилище, цитировались мнения двух-трех арабистов о вероятной дате написания; и так далее, до конца лекции шло перечисление названий и авторов рукописей. Зарезаться! И все это без повышения и понижения голоса, без малейшего жеста. Удавиться!

Что касается Корана, то это бессмертное произведение было, как известно, записано п о с л е смерти пророка Мухаммеда со слов его учеников, наизусть

[1] «Продиком» он был назван на классическом цикле за предполагаемое сходство с греческим философом V в. до н.э. Продиком Кеосским, который славился тем, что любому аргументу мог противопоставить контраргумент, не считая истину абсолютной. Прозвище так привилось, что настоящего имени Велькович я не упомнил. Продик был еще и поэт; об этом я узнал десятилетиями позже.

хранивших его проповеди в памяти. Никто уже к тому времени не помнил, в каком порядке и даже в какой связи эти проповеди (суры) были произнесены, а никакой логической связи между ними нет, — так что премудрые главари ислама решили записать их в порядке длины каждой проповеди — начиная с самой длинной суры «Корова» и кончая самой короткой. Игнатий Юлианович счел, что для студентов лучше начинать с самых коротких сур, и в результате мы читали Коран задом наперед. Но так как весь Коран сочинен монорифмическим раёшником (рифмованной прозой), с одной сквозной рифмой на каждую проповедь, а последние суры посвящены малопонятным видениям судного дня в конце времен; а этот погонщик верблюдов, даже когда не касался судного дня, не отличался большой стройностью мышления (ни образованностью, даже по древневосточным масштабам), то все чаще наше чтение лежало в плане поэзии абсурда. Кончилось это для меня тем, что я не выдержал и сбежал: мало того, не сдал даже экзамен В.И.Беляеву. В результате арабскому я не выучился, кроме, впрочем, фонетики и грамматики у Юшманова. Арабская грамматика — строгая и логичная, как геометрия, и я сразу запомнил ее хорошо.

Зато необыкновенно интересен был курс введения в семитологию, которую читал на первом курсе Николай Владимирович Юшманов. Александр Павлович сделал ошибку, что поставил «Введение» на первом курсе — это был «не в коня корм», потому что никто еще не знал никаких семитских языков, и все, что рассказывал Н.В., ни с чем не могло ассоциироваться и не могло заинтересовать. Поэтому, кроме двух-трех студентов, уже познакомившихся с арабским или ивритом, его никто не слушал. Уже для Тадика Шумовского, Ильи Гринберга и Ники Ерховича его лекции были трудноваты.

Николай Владимирович всегда входил в аудиторию с опозданием минут на пятнадцать, садился, хмыкал, улыбался в пышные рыжие усы и рассказывал кому-нибудь из сидевших в первом ряду некий анекдот или вспомнившийся случай, иной раз на идиш; затем уже приступал к лекции. Читал он, излагая свои факты с необыкновенной логичностью и краткостью, и его легко было записывать. Но курс был годичный, а свой материал по введению в общую семитологию он легко уложил в течение первого полугодия.

Во втором полугодии курс его стал фантастически интересным — о чем он только не рассказывал! О родстве семитских языков с так называемыми «хамитскими», о теории неточных фонетических соответствий А.Майзеля, о гипотезе первичных диффузных фонем, об искусственных языках, об обстоятельствах изобретения волапюка и эсперанто, о теориях Щербы и Шахматова, о происхождении редких русских слов, фамилий русских и еврейских, об эпизодах из жизни Юлия Цезаря Скалигера, Нёльдеке или Велльгаузена, о принципах топонимики с примерами из России, о сложнейших этимологиях русских слов «зимогор» и «абрикос», причем давал разбор закономерности каждого перехода из языка в язык — «абрикос» проходил через шесть языков — всего не только не перечислишь, но даже и не вспомнишь. А я все точнейшим образом, почти стенографически записывал.

Ребята же, как не слушали его в первом полугодии, так не слушали и во втором. Николай Владимирович очень скоро заметил пары, игравшие в

крестики и нолики, и одиночек, читавших романы за задними столами. Он отнесся к этому со своим обычным спокойствием. Однако с течением времени он приходил на занятия все позже, анекдоты «Старику Левину» рассказывал все дольше, а на предпоследней своей лекции, закончив анекдотическую часть, он сложил руки на груди и, ухмыляясь в рыжие усы, замолчал. Самое интересное, что студенты, занятые каждый своим, этого даже не заметили. Дождавшись звонка на переменку, он вышел, погулял по коридору, пришел в аудиторию опять с опозданием в пятнадцать минут и, уже не рассказывая никаких анекдотов, просто сел на свое место и просидел молча, ухмыляясь, до конца академического часа и затем ушел.

Аудитория этого просто не заметила. Но я, человек законопослушный по природе и к тому же староста цикла, внутренне похолодел. Ведь только недавно был очередной грозный приказ о дисциплине не только студентов, но и преподавателей, какие-то комиссии ходили по аудиториям, и все это грозило большими неприятностями — не нам, конечно, но Николаю Владимировичу. Вдруг кто-нибудь войдет в аудиторию и обнаружит молчаливую лекцию — или тот же Муссесов капнет в партбюро. Поэтому на следующей неделе я забежал минут за пять перед лекцией Юшманова к нему в профессорскую (это было крошечное помещение на том месте, где узкий коридор ЛИФЛИ отделялся от широкого; в нем едва помещался десяток стульев, а стола вовсе не было). По обычной студенческой наивности я думал, что всякий профессор или преподаватель, входя в аудиторию, излагает знания, доступно покоящиеся у него в мозгу, — о том, что к каждой лекции нужно готовиться, и нередко столько же времени, сколько ее приходится читать, мне было совершенно невдомо.[1]

— Николай Владимирович, сейчас у нас последняя лекция — не могли бы вы прочесть краткую обзорную лекцию по всему вашему курсу?

— Обзорную лекцию? — сказал Николай Владимирович совершенно спокойно. — Можно.

Я рысью бросился в аудиторию.

— Ребята, сейчас записывайте тщательно, Николай Владимирович будет читать обзорную лекцию по всему курсу — все, что он будет спрашивать!

И он вошел в аудиторию без опоздания и за два часа прочел вкратце, очень ясно, полный обзор сравнительной грамматики семитских языков.

Еще до экзамена он отпечатал основную суть своего курса на 15 машинописных страницах, размножил, сообщил, что это он и будет спрашивать, поэтому экзамены сдавались всеми с большим успехом. Кажется, и эти тезисы его курса (под названием «Введение в семитологию» или «... в семитское языкознание») не сохранились в факультетской библиотеке.

Я этой записью не пользовался, потому что у меня был толстенный подробнейший рукописный конспект всего курса, включая и его вторую половину, представлявшую особую ценность. Я собирался, — по своему

[1] Не только мне это было невдомек, но и министерству до сих пор невдомек: служебная нагрузка преподавателя рассчитывается только по аудиторным часам; часы подготовки, так же как заседания кафедры, методические совещания и т.п., в счет не идут, что, конечно, приводит к увеличению рабочего дня мало-мальски добросовестного преподавателя намного сверх законных 8-ми часов в день — даже если учесть более длинный отпуск (48 дней). Но тогда и штатно-окладной системы для преподавателей не существовало, и они оплачивались только по фактически прочитанным часам. Штатные оклады были введены лишь в 1937 г.

обыкновению (когда дело касалось важных курсов), — весь этот материал переписать начисто; задача непростая, так как он занимал три или четыре очень толстые тетради, завернутые в общую бумажную обложку, — страниц триста рукописных. Но пока я собирался это переписывать, Дуся-арабистка решила проявить особую добросовестность.

— Игорь, — сказала она, — ты очень подробно записывал курс Юшманова — не можешь ли дать мне твою тетрадку?

— Пожалуйста, — сказал я, — но зачем тебе? Николай Владимирович ведь подготовил машинописный конспект на 15 страницах и больше ничего спрашивать не будет!

— Да, но я хочу подготовиться как следует. — Я дал ей тетрадку. Осенью на втором курсе я решил наконец переписать ее начисто и попросил ее у Дуськи обратно. Она обещала принести в следующий раз. Но и дальнейшие мои настойчивые просьбы не помогали. Наконец, уже к весне, она призналась:

— Знаешь, я думала, что тебе она больше не нужна, и бросила твою тетрадку в урну.

Так погиб неповторимый, насыщенный бездной познания курс Юшманова.[1]

Кроме Юшмановского, общим для всех семитологов был курс истории Древнего Востока, который читал Василий Васильевич Струве. Я уже слушал его с историками, но нынче курс был более подробный, годовой, и я, конечно, опять слушал его. Кроме уже знакомых (не только по прошлогодним лекциям, но и по знаменитому докладу в ГАИМКе) Египта и Шумера, тут была еще и более подробная, чем раньше, история Вавилона и Ассирии и Ахеменидской Персии. Все это было мне малоинтересно; несложную концепцию Струве я уже хорошо усвоил, а излагавшиеся им факты я знал даже гораздо лучше и подробнее, чем давал он, а именно из «Кэмбриджской истории древнего мира», давно заученной мною почти наизусть. Слушать Струве было трудно — читал он плохо, пищал, запинался, с бесчисленными «словечками». Однако я слушал очень внимательно — и с огорчением замечал его неточности.

Помимо семитологических и древневосточных дисциплин у нас в тот же год (или в первом полугодии следующего учебного года) был семинар по элементному анализу (САЛ, БЕР, ЙОН, РОШ). Вел его ученик Марра Т., небольшой представительный джентльмен с черной бородкой. Понять было ничего невозможно. И не удивительно — впоследствии выяснилось, что Т. тяжелый параноик. Он благополучно пережил все бедствия 30-х и 40-х гг. и еще сорок лет спустя печатал как сотрудник Института языкознания свои вполне параноидальные труды, хотя уже без четырехэлементного анализа.

На курс старше аналогичный семинар вела другая особа из окружения Марра — некая Б. Уровень ее лингвистической подготовки ясен из того, что она определяла «междометие» как «непроизвольный звук, испускаемый человеком».

Общегрупповые занятия были у нас еще по немецкому языку — с милой,

[1] Юшманову вообще не повезло с работами: со второй половины 20-х до начала 50-х гг. издавать в СССР что-либо по востоковедению, да и по языкознанию (кроме марровского) было почти невозможно, и 80% его важнейших и интереснейших трудов остались в рукописи или просто погибли.

умной и красивой Сандухт Арамовной Акулянц, когда-то влюбленной в брата Мишу — впрочем, в числе многих. Я знал немецкий не особенно хорошо,[1] но все же гораздо лучше остальных, и на занятия Сандухт Арамовны стал ходить лишь на старших курсах. Ника, помнится, тоже был освобожден от немецкого.

Из обязательных общеобразовательных лекций я на первом курсе лингвистического отделения слушал только диалектический и исторический материализм. Этот курс читал молодой, полный, несколько растрепанный человек в очках, которого все называли «Додик Розенштейн». Семинар же вел некто Власов — для совместной группы семитологов и классиков. В группе классиков учились две способные интеллигентные девочки — Соня Полякова и Наташа Морева (впоследствии Вулих), две-три менее способные девочки и молодые дамы и еще кто-то, в том числе важный и тупой Ш., впоследствии профессор. Наташа Морева старалась блистать, все другие — кажется, без исключения — старались по возможности не быть вызванными: занятия были неинтересными. Первый и третий том «Капитала», «Происхождение семьи, частной собственности и государства» я внимательно читал еще на первом курсе, теперь пришлось читать «Анти-Дюринг», что было довольно интересно, затем «Диалектику природы» — маловнятный конспект, который Энгельс писал для себя, а не для опубликования, и который касался каких-то физических и химических открытий столетней давности; затем ленинский «Материализм и эмпириокритицизм»; эту книгу, кроме беспардонной ругани по адресу Маха и Авенариуса, я понимал плохо; и еще какие-то ленинские статьи, тоже с резкой полемикой против кого-то абсолютно неизвестного, и к тому же написанные по разным совершенно частным поводам. Общей картины не получалось, и делу не помогал и преподаватель, ведший семинар — Власов явно сам скучал. Когда пришла пора нас экзаменовать, он взял все наши матрикулы, разложил их раскрытыми друг на друга так, чтобы из-под верхнего матрикула в следующем была видна только нужная ему строка, и, не глядя на фамилии, всем поставил «удовлетворительно». Итак, напрасно старалась Наташа Морева, томно выговаривавшая: «Людвиг Фа́йербах...»

На семинаре по диамату, да еще на профсоюзных собраниях познакомился я с однокурсниками из других групп: в таджикской группе учился умный, красивый, стройный поэт Гриша Птицын и его будущая жена Мирра Явич, неразлучные подружки — косенькая блондинка Вера Расторгуева и веснушчатая, незначительного вида, но на самом деле очень способная и умная Валя Соколова, дружившая и с Татой Старковой; не особо способный таджик Мирзоев, все же неплохо успевавший, поскольку у него не было затруднений с персидским языком, и потом вышедший в академики, и еще двое-трое обычных в каждой группе дурачков. В японской группе главенствовали две подруги — Ира Иоффе, вторая после Нины Магазинер красавица факультета, чем-то похожая на нее — такая же крупная, русая, сероглазая, — и Женя Пинус, не красавица, однако с интересным, правильным, смуглым, но

[1] Я недостаточно долго занимался с Сильвией Николаевной Михельсон! В те годы она преподавала английский в ЛИФЛИ, и я часто встречал ее в коридорах и беседовал с ней, но у нее уже больше не бывал. Она погибла от голода в блокаду.

мрачным лицом; еще там училась Вера Глотова — приятельница наших арабисток, тоже из библиотечного техникума, и такого же невысокого уровня; несколько корейцев, частью очень толковых, но нынче я уже не помню, кто из них был кто.

Так как у меня было много свободного времени, то я ходил к историкам на потрясающие лекции Е.В.Тарле по новой истории, и еще я ходил и на лекции, читавшиеся лингвистам-старшекурсникам, — иногда только для того, чтобы составить себе представление о лекторе. Так я побывал на одной или двух лекциях Н.Я.Марра. Хотя я уже понимал, что марровское учение о языке — патологический бред (это я понял, прослушав лекции Башинджагяна и попытавшись читать кое-что из сочинений самого Марра),[1] я все же решил его послушать сам.

Марр, черноглазый, седой, но не до белизны, со всклокоченными волосами и маленькой седоватой, клином, бородкой, бегал по эстраде актового зала, возбужденно и даже ожесточенно говоря что-то мало связное, причем пенсне, зацепленное за ухо, падало на длинном шнурке и раскачивалось у его колен. Он яростно клеймил и почти проклинал буржуазную лингвистическую науку, а заодно и своих учеников — за то, что они не могли угнаться за его развитием и твердили зады, оставленные им уже более двух недель тому назад. Фразы его были запутаны, к подлежащему не всегда относилось соответствующее сказуемое. Понять было ничего невозможно. Мне было странно, что кому-нибудь могло быть не ясно, что он сумасшедший.

Еще будучи на «ямфаке», мой брат Миша как-то подошел к Марру и спросил его, почему первичных языковых элементов именно четыре.

— Па-та-му-что не пять! — резко ответил Марр. И это действительно был главный резон.

На суку ворона «Кар-р!» —
Голос эмфатический.
Слышит академик Марр:
«Корень — яфетический!»
Яфети-фети-фети,
Дальше некуда идти!

Слышал этот стишок от Б.Б.Пиотровского — может быть, он и сочинил.

Годом спустя я в том же актовом зале слушал великого фонетиста Льва Владимировича Щербу.[2] Это был замечательный ученый, но отвратительный лектор, гнусавым голосом произносивший фонетические примеры, а иногда он даже вставлял в нос резиновую трубку и дышал сквозь нее, чтобы показать разницу между назализованными и неназализованными звуками. Студенты

---

1 Единственно как можно было поступать с этими сочинениями, это учить весь этот набор слов наизусть. Так и делал любимый друг Вани Фурсенко, тонкий, ироничный Иван Сергеевич Лебедев по прозвищу «Француз», но все другие были бессильны. Существовал написанный И.И.Мещаниновым «Ключ к яфетическому языкознанию» — читай: к публикациям Н.Я.Марра, никаких других «яфетидологических» работ практически не было. Но и этот ключ был немного более внятным, чем сама «яфетидология».

2 После смерти Марра И.И.Мещанинов, встав во главе языковедческой науки (Сталин любил, чтобы каждая наука имела своего признанного главу и последовательно проводил это правило), дал возможность Л.В.Щербе и другим серьезным ученым-лингвистам вернуться к работе и преподаванию, от чего при Марре они были отстранены — не столько самим Марром, хотя и при его согласии, сколько его прихлебателями.

ничего не могли понять, а известная наша острячка Н.Н.Амосова однажды во время его лекции довольно громко сказала:

— Вот мельница. Она уж развалилась...

Я был знаком с Л.В.Щербой — встречал его на квартире В.В.Фурсенко, хорошо знал его очаровательных сыновей, но не рассчитывал, что он может меня помнить, и, постеснявшись, не подошел к нему. И на лекции его больше не ходил, решив лучше читать его работы. Но впоследствии едва не умер со смеху, когда у нас за столом дома изображал лекцию Щербы бесподобный Ираклий Андроников. Кто слышал его только с эстрады, тот, конечно, не имеет представления о гениальности его перевоплощений. А Ираклий, как сам он рассказывал, ходил целый год один на факультативный семинар Л.В.Щербы — специально, чтобы создать этот номер. После смерти Л.В. он его больше не изображал. Вообще И.Л.Андроников никогда не изображал покойников, если только они при жизни не видели номера и не разрешили ему его широко показывать.

III

Несмотря на разношерстный состав нашего «семитского цикла», мы жили дружно и ощущали себя как единое целое. Этому немало способствовали заседания кафедры, проводившиеся ежемесячно, причем Александр Павлович требовал, чтобы приходили не только все преподаватели, но и все студенты; каждый раз, среди прочих дел, обсуждалась студенческая успеваемость и другие наши дела. Нередко давали слово и студентам, особенно «активу»: я был по большей части старостой, Коля была обычно комсоргом. Профорги менялись, но они лишь собирали членские взносы и на кафедре не выступали. Молчал и Муссесов, наш бессменный парторг.

Много позже я узнал, что среди наших студентов было три стукача по числу групп.

Заведующим кафедрой, не по старшинству, но по праву, был Александр Павлович Рифтин. Ему было всего тридцать три года; если не ошибаюсь, до 1933 г. он работал в Институте сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ), потом закрытом. Узнав о предстоящей перестройке ЛИЛИ—ЛИФЛИ, он добился приема у С.М.Кирова, тогда первого секретаря ленинградского обкома, и убедил его в необходимости создания семитологической кафедры и соответственного «цикла», со специальностями ассириологии, гебраистики и арабистики. Надо сказать, что тогда не только первые две казались экзотической роскошью, но и арабская специальность тоже: хотя И.Ю.Крачковский еще до первой мировой войны занимался современной арабской литературой и впервые ввел ее в научный обиход,[1] однако тогдашняя арабистика по-прежнему была «классической», то есть была основана на Коране, доисламской поэзии и раннесредневековых историках. Арабские полуколонии Англии у нас никого не интересовали.[2]

[1] Это не помешало поднять против Крачковского кампанию за «недооценку современной арабской культуры» и за «колониализм» и довести его до смертельного инфаркта.

[2] Но зато, как выяснилось потом, они очень интересовали нацистов. Насер, Садат и многие другие послевоенные арабские лидеры вышли из гитлеровских военных академий.

Александр Павлович Рифтин нам, конечно, совсем не казался молодым. Лицо у него было круглое, соколиное, черные волосы зачесаны назад, голову он имел привычку держать слегка набок, как снегирь, может быть, в связи с тем, что он хорошо видел только одним глазом — другой, слегка косивший, был почти или вовсе слеп (почему Александр Палович и не был мобилизован в Красную Армию).[1] Говорил он с интонацией убедительной, любил ставить студентам вопросы, на которые сразу сам и отвечал («Вы не знаете, а я знаю»), и завершал отрезок речи формулировкой, приговаривая: «Только так».

На кафедру им были привлечены самые лучшие силы, но решение, вынесенное свыше, делало заведующим кафедрой молодого, еще почти ничего не напечатавшего Рифтина, а не профессора кафедры (снова с 1934/35 г.), ученого с мировой известностью Игнатия Юлиановича Крачковского; и это было хорошо, так как у Игнатия Юлиановича не было (уже не было?) той энергии и энтузиазма, что у Рифтина, ни его умения говорить с начальством и добиваться своего.

Александр Павлович сидел посреди за столом, управляя своей кафедрой, слегка наклонив набок голову. Рядом с ним, как бы признавая со снисходительной улыбкой его фактическое право, сидел профессор И.Ю.Крачковский.[2] Этот человек огромных знаний лишь казался холодным и недоступным. Так хотелось бы ввести в мое повествование его седоватую, ухоженную, прямоугольную бороду — с помощью ходового литературного приема, заставив его поглаживать ее; но прием тут такой неприемлем: Игнатий Юлианович не жестикулировал даже настолько, чтобы погладить бороду.

По левую руку Александра Павловича сидел Израиль Григорьевич Франк-Каменецкий. Это был небольшого роста сутулый человечек, с русыми с проседью волосами и бородкой, и в pendent к Александру Павловичу — тоже с одним сильно косившим, слепым глазом. Он был человек не только необычайно интересный в устной речи и разговорах, но и необычайно добрый. Учился он в свое время у Б.А.Тураева, потом в Кенигсберге, в Германии, там и получил докторскую степень по египтологии. Он сыграл для всех нас большую роль — однако не своими занятиями по древнееврейскому, а своими частыми и необыкновенно интересными докладами-лекциями по мифологии

[1] Точнее, он был мобилизован, но из-за зрения был взят санитаром и служил в самом Петрограде, и уже после военной службы продолжал работать на петроградской «Скорой помощи». Как-то ему довелось отвозить в больницу попавшего в уличную аварию В.К.Шилейко — поэта, гениального ассириолога и в то время мужа А.А.Ахматовой. Пока А.П. сидел с ним в приемном покое, ожидая, когда оформят бумажки, Шилейко успел сагитировать его пойти учиться ассириологии. А.П. поступил в университет, где учился арабскому у И.Ю.Крачковского (в одной группе с В.И.Беляевым, И.Г.Бендером и И.Н.Винниковым; арабский А.П. знал отлично); а аккадскому и древнееврейскому он учился у П.К.Коковцова. Но он занимался аккадским, шумерским и даже хеттским и у В.К.Шилейко, которого и считал собственно своим учителем — учился одно время неофициально, так как Шилейко был не в фаворе у П.К.Коковцова: тот провалил его по еврейскому языку, за анекдотически микроскопическую ошибку. Тем не менее Шилейко потом преподавал в университете, хотя как-то попутно, а служил (и жил) в ГАИМКе (т.е. в Мраморном дворце); позже, разойдясь с А.А.Ахматовой, он уехал в Москву и работал сначала и в Ленинградском университете, и в Московском музее изобразительных искусств, потом только в Москве. В Москве и умер в 1930 г.

[2] И.Ю.Крачковский был академик, но не позволял себя так называть в университете: «В университете я профессор; в Академии я академик».

и семантике мифа, которые он читал для всех желающих. Самому Израилю Григорьевичу казалось, что в них он примыкает к Марру и даже к О.М.Фрейденберг, но на самом деле он был вполне оригинален и глубок. В его осанке и манере говорить было что-то старческое, обесцвеченное, глаза были впалые; редкие волосы — вроде бы и не седые, а какого-то неопределенного цвета, — тоже как-то старили его. Но обожали его все студенты: сильные — за необыкновенно оригинальные и увлекательные доклады; слабые — потому что он, обычно молчаливый на заседаниях, горячо заступался за отстававших.

Сбоку, тоже молчаливо, но время от времени выразительно ухмыляясь, сидел Николай Владимирович Юшманов; с другого боку — нервный, стройный, с глазами, которые казались мне полубезумными, Эберман, успевший к тому времени отсидеть; и тихий, незаметный (даже трудно через столько лет описать его внешность) Михаил Николаевич Соколов[1], многолетний ассистент академика П.К.Коковцова и, говорили, блестящий преподаватель.

Обсуждалась работа за месяц — отчитывались один за другим преподаватели с упоминанием пройденного и успеваемости студентов, а также и студенты — те, кого время от времени вызывал Александр Павлович. Не прийти на заседание кафедры было невозможным делом.

Более скучно было на общефакультетских профсоюзных собраниях. Я сидел обычно рядом с Мироном Левиным или Соней Поляковой, писал шуточные стихи, рисовал кошечек и кораблики и тому подобное. Но одно такое профсоюзное собрание привело к моей дружбе с Ниной Магазинер.

После нашей встречи в Коктебеле мы здоровались с нею в институтских коридорах, иногда перебрасывались несколькими словами — тем более, что у нас была общая приятельница, Галка Ошанина, близко дружившая с Ниной. Но знакомиться ближе не хотелось: она казалась «барышней», и к тому же всегда была в окружении обожателей, а я — как я объяснял себе сам — не желал участвовать в concours hippique;[2] главным образом, впрочем, потому, что считал свое поражение в подобном конкурсе неизбежным. Недаром же на меня с таким высокомерием, сверху вниз, смотрел Галкин муж — красавец Петр Потапов. А в ту зиму к Нине был приближен молодой человек из ее английской группы — Гриша Розенблит. Небольшой — но ладный, собой довольно красивый парень, Розенблит принадлежал к тому типу строгих комсомольцев, который еще со времени школы внушал мне недоверие, — если только правильность их не сочеталась с добросердечием, что тогда еще встречалось нередко: таков был в Эрмитаже Исидор Михайлович Лурье, а из более поздних моих знакомых — Толя Ляховский и Леня Брстаницкий, о которых речь будет особо. В Розенблите этого не было — жесткое знание текущей политики и марксистской философии не смягчалось никакими общечеловеческими качествами — по крайней мере такими, которые были

1 В 1938 г. М.Н. и его жена были схвачены и погибли; их дочку удочерили знакомые, но их постигла та же судьба; новые родители заменили девочке не только фамилию, но и отчество.

2 Конский конкурс (франц.).

бы мне видны. Не нравились мне и его друзья — Исаак Цукерман[1] и Саня Чемоданов; у последнего дружба с Розенблитом между тем разладилась, так как Саня был сам без ума влюблен в Нину.

Однако к зиме Нина рассорилась с Розенблитом — вследствие чего он распустил слухи, что он будто бы жил с ней, за что я и собирался бить ему морду, но судьба его неожиданно повернулась иначе.

Нина Магазинер была девушка удивительного обаяния, очарования и необыкновенной красоты. Русые, золотистые, гладко причесанные, но курчавившиеся над ушком волосы, большой ясный лоб, ясные темноголубые глаза под густыми темными ресницами, нежный овал лица, прелестные нежные губы, не знавшие помады и не нуждавшиеся в ней, жемчужные зубы; рост высокий для девушки, чудные плечи, прелестный (позже испорченный преподаванием) голос; хотя она иной раз и появлялась в шляпке, что несколько роняло ее в моих глазах, но в институте, во всяком случае, она ходила в берете — и, поверх белой блузки, в черном костюме (сшитом, как позже выяснилось, частью из дедушкиных брюк, частью из маминой юбки).

Едва ли не самое удивительное в Нине было то, что она совершенно не считала себя красавицей и была очень скромного мнения как о своей внешности, так и о своем уме и возможностях. Работоспособностью она всю жизнь обладала в высочайшей мере, и в конце концов, по крайней мере в свою работоспособность поверила.

Я думаю, здесь можно рассказать об интеллектуальной истории Нины — целесообразно все сосредоточить в одном месте, чтобы потом уже не возвращаться.

Яков Миронович, отец Нины, видя, как она с шестнадцати—семнадцати лет закручивается в романах, решил, что ее нужно пристроить к делу — чем скорее, тем лучше. По совету В.И.Балинской уже в 9-м классе — без малого в 16 лет — Нина поступила на английское отделение Высших педагогических курсов иностранных языков, где не требовали никакого диплома и не было ограничения возраста для поступающих; большинство учащихся были гораздо старше Нины, что-то на 10-15 лет. Эти курсы давали оканчивающим право преподавания; учили здесь сплошь только превосходные преподаватели — либо англичане, либо люди, побывавшие в Англии, либо имевшие с детства

[1] Исаак Цукерман был студентом 1931 г. поступления, курдского цикла. Вместе с ним учились три курда, все трое активные члены партии — Мирзоев, Курдоев и Джангоев. Читал им курдскую грамматику и литературу Иосиф Абгарович Орбели; но при всех его огромных достоинствах как человека и ученого, Иосиф Абгарович не выносил однообразной работы. Поэтому, поскольку Цукерман много лучше других успевал в курдской грамматике, Орбели добился его перевода с третьего на четвертый курс и затем поручил ему занятия курдской грамматикой с третьекурсниками-курдами — и этим создал пожизненную вражду против Цукермана со стороны его бывших товарищей, ставших его учениками. В тот же год все они экзаменовались у Орбели и получили тройки. Один из курдов, Мирзоев, пошел объясняться в Эрмитаж (где И.А. был к тому времени уже директором), собираясь напирать на то, что он не кто-нибудь, а председатель профкома института. Видевшие рассказывали, что Мирзоев постучался в дверь директорского кабинета и вошел. Через десять секунд раздался могучий рык Орбели и последовал ускоренный вылет Мирзоева из директорского кабинета обратно в помещение секретаря, причем тот уверял, что к нижней части мирзоевского туловища был явственно приложен носок орбелиевского ботинка. — Мирзоев, Курдоев и Джангоев окончили институт в 1936 г. — не ручаюсь за их судьбу, но, во всяком случае, в нашем поле зрения впоследствии остался один Курдоев, впоследствии долгое время секретарь парторганизации Института востоковедения (в Ленинграде), доктор наук и, после Орбели, заведующий основанным им Курдским кабинетом — не гнушавшийся обыскивать столы своих сотрудников (умер в 1985 г.).

очень хороших гувернанток. Курсы эти имели своего партийного «зитц-председателя» (директора Чугаева), но фактически руководила ими Вера Игнатьевна Балинская, бывшая домашняя учительница Нины, блестящий преподаватель, очаровательный человек, великолепный организатор, с которой все преподаватели охотно обсуждали и отдельные приемы уроков, и особенности учеников, и т.п. Эти преподаватели были «вручную» выбраны (hand-picked) Верой Игнатьевной и были действительно как на подбор, великолепные, преданные делу педагоги, люди самоотверженного труда; у них было просто невозможно отлынивать от работы; и ученики и ученицы, сами готовившиеся стать такими же преподавателями и по большей части уже знакомые с жизнью, не только блестяще выучивали английский язык, но учились трудиться. Фонетику преподавал там знаменитый С.К.Боянус. Курсы, которые Нина закончила в 17 лет, давали право преподавания языка в высших учебных заведениях.

Поступив 17-ти лет в ЛИЛИ, Нина оказалась по языку впереди всех своих товарищей, а так как в то время полагалось, чтобы отличники занимались с отстающими, то Нину сразу пристроили давать своим же товарищам дополнительные уроки. У нее было даже две языковые группы, а с одной из них она в течение не менее двух лет занималась регулярно два раза в шестидневку. Но кроме очень общего представления, что она когда-нибудь станет преподавателем английского языка, у Нины не было ясности в том, каково должно быть ее будущее. У нее не было никакого устремления овладеть лингвистической наукой — романы с мальчиками казались ей куда интереснее.

На втором курсе, на занятиях английской литературой у глупой и невежественной Е., Нине было поручено сделать доклад о романах Олдоса Хаксли — его «Прекрасный новый мир», пародия на тоталитарные режимы, в том числе и на наш, тогда еще у нас не был известен, и когда появился, его у нас еще рассматривали только как критика буржуазной цивилизации, чуть ли не «попутчика» коммунистов, вроде Ромэна Роллана. Русских переводов его романов почти не было, да и английские тексты можно было найти только в Отделении иностранной литературы Публичной библиотеки, которое помещалось на Моховой, на месте закрытого в середине 20-х годов для пользы просвещения знаменитого издательства «Всемирная литература».[1]

Тихий зал Отделения, имевший форму буквы L, обслуживаемый интеллигентными и преданными своему делу бывшими дворянками, знавшими все особенности характера и занятий каждого из читателей, сердечно заботившимися об их книжных нуждах, и даже теплая печка в дальнем углу —

[1] «Всемирная литература» всегда упоминается в нашей прессе как свидетельство великих культурных начинаний в ранние годы Советской власти и к ее названию всегда — не помню исключений — прибавляется: «основанная А.М.Горьким». На самом деле Горький только подписал бумажку, которая пробила дорогу для «Всемирной литературы» у Луначарского в Наркомпросе; если кого и считать ее основателем, так скорее К.И.Чуковского, поддержанного литераторами, как А.А.Блок, Н.С.Гумилев, М.Л.Лозинский, философами. Когда Горького отослали лечиться на Капри, «Всемирную литературу» партийные органы быстро закрыли. Главным действующим лицом был директор Госиздата И.И.Ионов. Он же закрыл и великолепный научно-популярный журнал «Восток», который вела плеяда блестящих востоковедов — В.М.Алексеев, Н.И.Конрад, И.Ю.Крачковский, Н.А.Невский, С.Ф.Ольденбург, А.А.Фрейман, В.К.Шилейко, Ю.К.Щуцкий и другие.

помещение было холодное, — все это располагало к себе, завлекало в книжный мир. Огромное впечатление произвел на Нину и Хаксли: так зримо изображенное им переплетение судеб людей одаренных, ярких, но лишенных подлинных интересов, никчемных, мятущихся, но не могущих выйти из круга тривиальных романов и тривиальных разговоров, заставило ее оглянуться на себя: неужели и я буду такая?

Доклад был написан быстро, со вдохновением, красноречиво прочитан; Е. даже попросила отдать ей текст прочесть еще раз. Успех не только окрылил Нину, но и убедил ее в том, что она выбрала не ту специальность; она пошла в деканат проситься, чтобы ее перевели на литературное отделение. Но Шуб ответил ей:

— Сильных студентов мы не переводим.

(Ага, значит она сильная?)

Это как раз был период начинавшейся нашей дружбы, и Нина решила сделать, как я: учиться на одном отделении (или факультете), а сдавать и за другое — литературное. И если я не выдержал двойной нагрузки, то Нина, с ее внутренней самодисциплиной, полностью сдала все экзамены за оба факультета.

Еще на первом курсе института в январе 1933 г. Нина, кончив педагогические курсы, опять по настоянию и с помощью Якова Мироновича начала преподавать английский в Институте восточных языков им. А.С.Енукидзе. Это было заведение, несколько схожее с позднейшим Университетом Лумумбы; в нем учились и преподавали главным образом взрослые профессиональные революционеры стран Востока и наши партийные работники, готовившиеся к работе на Востоке, — но преподавали и некоторые серьезные филологи-востоковеды. Там же читал лекции по государственному праву и сам Яков Миронович.

Итак:

занятия на «английском цикле» лингвистического отделения (факультета);

занятия с группой отстающих, там же;

сдача экзаменов за литературное отделение (факультет) и иногда слушание лекций там;

преподавание в Институте восточных языков;

и уж только сверх всего этого романы; но и на них вполне хватало времени.

Такой темп жизни задала себе Нина в 1934 г., и так она продолжает жить и в 1989 г.;[1] только еще прибавились дом, дети, хозяйство, — и, конечно, немного испортился характер; она стала утомленной, раздраженной, даже немного властной — или это кажется потому, что голос стал громкий, а слух стал слабеть. Но не работоспособность. И не блеск ее преподавания.

Вот вам портрет в молодости нынешнего профессора, доктора филологических наук, известного литературоведа Нины Яковлевны Дьяконовой.

Возвращаюсь к 1933/34 учебному году. Я, конечно, отличал Нину среди

[1] И сейчас, в 1994 г.

ее однокурсников, но мне казалось, что вся она до такой степени не для меня, что я не очень и смотрел в ее сторону. Урок Вани Фурсенко не прошел для меня даром, и я представлялся себе молодым человеком малоинтересным.

19 апреля 1934 г. мы присутствовали на каком-то скучнейшем общеинститутском профсоюзном собрании; я сидел рядом с Келей Стрешинской, а Нина (которая недавно поссорилась со своим последним кавалером) с некоторой грустью, как она потом рассказывала мне, окидывала взором аудиторию в поисках — кого бы выбрать в провожатые: не одной же ей уходить из института! В этом отношении она была довольно избалована: первое предложение руки и сердца она получила — или, вернее, ее мать получила за нее — в Крыму, когда Нине было 14 лет; и когда эта цифра была сообщена соискателю, он ушел с восклицанием:

— Боже, какое несчастье!

Так или иначе, Нинин взор упал на меня. По решению судьбы, я накануне разбил очки, и в ту весну ходил без них, что, говорят, мне было к лицу. Мы вышли втроем — Келя, я и Нина, и так дошли до начала Невского. Келя жила на Гороховой (Дзержинского) и повернула направо, — а я остался и двинулся с Ниной по Невскому; как она потом рассказывала, она торжествовала победу.

Весна 1934, осень 1934, весна 1935, осень 1935 года...

Не буду я дальше рассказывать эту историю — она слишком дорога и мучительна моему сердцу; много лет я помнил каждый день в отдельности, каждую дату; записывал в календарик, хотя и записывать было не надо, все врезывалось в память, — а я записывал, записывал даже, в чем была Нина в важные для нас с нею дни. Все, все помнилось; впоследствии многие годы я намеренно не вспоминал тех дней, тех дат, чтобы себя не мучить. Я не смогу передать читателю все мое волнение тех месяцев, а кое-как рассказывать не надо. Такого не было больше никогда ни у кого — это я знаю; хотя знаю и то, что у читателя тоже было свое, что он вспоминает таким же небывалым. Тем и ограничимся.

Были бесконечные хождения по нашему прекрасному городу — двадцать, тридцать, сорок километров; была лужайка в березовой роще на Крестовском острове, еще не ставшем Парком Победы, и старик-сторож, подошедший к нам и сказавший:

— Маркс учит! Что надо беречь государственную собственность! А вы мнете траву.

Было стремительное нарастание чувств, быстро несшее нас к чему-то. Было, когда я взбегал позади нее в кабинет фонетики и вдруг увидел, что у нее толстенькие, некрасивые ножки, и сердце наполнилось к ней теплом, жалостью и еще большей, чем всегда, любовью. Были опять хождения по проспектам, по скверам, по рощам; еще более стремительное нарастание чувств, за которым уже нет пути назад; был вдруг увиденный страх в этих ясных глазах — перед неизбежностью грядущего, и я обуздал свои чувства в тот самый момент, когда они перестали быть загадочными и непонятными, и я поступил (или я так думал?) к ней на службу — «не мне, не мне, а только ей». Было и то, что я, приблизив лицо к ее милому лицу, раз сказал ей, чтобы избежать сглаза:

— Какая ты некрасивая... — а она поверила и залилась непонятными мне слезами. Поверила!

Все это время вспоминается как вечно окутывавшее нас облачко счастья. Помню только, как все, что вокруг нас, — все это мы и любили и не любили одинаково — людей, стихи, книги, поступки.

Но было и одно страшное событие, которое я старался не вспоминать, но помню всегда, и сейчас так же ярко, как в первый раз.

Я шел встречать Нину после ее занятий (в Институте восточных языков в Максимилиановском переулке, где она тогда преподавала), шел по узкой Гороховой. У тротуара остановился полный автобус — они тогда лишь недавно стали частыми на улицах. По тротуару шла молодая женщина и вела за руку очаровательного, в золотых кудрях, чистенько одетого ребенка лет двух с половиной. Вдруг она повернулась и стала переходить улицу перед самым носом автобуса — так близко, что шофер, ничего не подозревая, пустил автобус с места. Она побежала, таща ребенка за руку — тот с трудом ковылял на своих глупеньких ножках, — и колесо автобуса его переехало. Раздался общий крик на улице, шофер затормозил — но было уже поздно. Мать, взяв на руки тело ребенка, кинулась к двери расположенной напротив поликлиники.

Если бы я был суеверным, мне бы это показалось ужасным предзнаменованием. Но я ничего не сказал Нине — вообще никому не говорил об этом; мы встретились и пошли гулять, как обычно. Сейчас рассказываю едва ли не в первый раз.

Молодость, как вскоре оказалось, может все пережить и не переставать быть молодостью.

Мы бродили по городу часами — но все эти месяцы мы оба и очень много работали: она — не только занятая своим ученьем в своем институте, но, как я уже упомянул, и преподаванием в Институте восточных языков; я — готовясь по-многу часов ежедневно к занятиям с Рифтиным, а потом к экзаменам, не только на языковедческом отделении, но в тот год все еще и на историческом.

Наступило лето. Я уехал в Коктебель, Нина в Железноводск.

Второй мой студенческий год окончился хорошо. Если отвлечься от личного и обратиться к тому, что я считал планом своей жизни, то можно было сказать, что я научился работать. Не только в течение 1933—34 учебного года, но и двух следующих, три года подряд, я после возвращения «из института» (или из хождения по Ленинграду и Островам) каждый день, без выходных, работал еще четыре-шесть часов, а то и больше, и не только по заданному, но и читал незаданные клинописные тексты.

Летом 1934 г. было важное событие в жизни моего брата Миши: в Эрмитаже происходил Международный конгресс по иранскому искусству и археологии. Кроме собственной эрмитажной богатой коллекции, прибыли экспонаты с разных концов Советского Союза и из-за рубежа; весь сектор Востока, да и другие сектора, были мобилизованы на устройство выставки, на что, как всегда, было отпущено очень мало времени: когда в первый день И.А.Орбели

вместе с руководителями Конгресса и представителями наших властей перерезал ленточку, в последнем зале еще прибивали полочки.[1]

Съехались сотни иностранных ученых. Миша делал доклад по теме своей диссертации — в духе школы Орбели он показывал на примере одного памятника искусства (средневекового бронзового сосуда в форме коровы с теленком, с надписями), что такой памятник может служить источником не только для искусствоведческих, но и для исторических выводов. Доклад имел успех, выступал ряд видных зарубежных ученых, и это считалось победой советской исторической науки. Не исключено, что для этого успеха много значил Мишин хороший и свободный английский язык; и вообще, участвовав в течение жизни во множестве международных научных конгрессов, я теперь отдаю себе отчет в том, как важны для успеха и привходящие моменты — умение говорить, необычность подхода, вежливость присутствующих корифеев, относящаяся часто не столько к докладчику, сколько к его народу, редко представленному до сих пор в науке, и множество других причин. Но, конечно, сам опыт использовать памятник искусства как памятник истории был нов и интересен, а лектор Миша был отличный.

У своих соотечественников он имел меньше успеха с этой же самой темой. Как раз в то время были вновь введены ученые степени (вместо магистра почему-то ввели кандидата — так раньше назывался человек, окончивший институт, но не получивший степени). Заслуженным ученым давали степени без защиты, молодежи приходилось защищать. Миша был одним из первых, защищавших диссертацию. Она имела неудачное название «Ширванский водолей 1205 г. до н.э. как исторический памятник». Степень ему дали, но продернули в «Ленинградской правде», и недоброжелатели всячески обыгрывали слово «водолей».[2]

---

[1] Еще до закрытия выставки Орбели вызвали в Угрозыск и показали ему большую скифскую золотую гривну (подковообразное украшение, надевавшееся на шею) и спросили:

— Это ваше? — (то есть эрмитажное).

Орбели ответил:

— Это, конечно, подлинная скифская гривна, но у нас ничего не было похищено.

— Проверьте. — Стали искать в первом зале экспозиции, где были самые ранние памятники. Там были стеклянные витрины, где лежали, одна внутри другой, четыре золотые шейные гривны — казалось, нетронутые. Печать была пластилиновая, и следов, что она снималась, было незаметно.

В спешке перед открытием выставки не успели сделать фотографической или хотя бы рисованной «топографии» витрин. Но экспозицию в первом зале делала А.А.Передольская, античница, опытный музейный работник. Обратились к ней. Она, с выработанным инстинктом музейщика, не могла сдать зал для открытия без «топографии», и хотя в целом по выставке ее не делали, но витрины «своего» зала она зарисовала, с указанием номеров экспонатов, в блокнот. По блокноту в подозрительной витрине оказались пять гривен, одна внутри другой: вор сумел открыть витрину, не повредив оттиск печати на пластилине (это была личная печать Передольской), и вынул одну из пяти, сдвинув остальные так, что исчезновение ее не было заметно.

[2] Наученный этим опытом, я всегда требовал от своих аспирантов понимания, что титул диссертации — половина успеха. Он должен быть понятен публике и особенно — начальству. Так, Хрущев однажды жестоко расправился в одной из своих речей с какой-то биологической диссертацией, представив ее как образец словоблудия в науке — между тем, диссертация была посвящена важнейшему предмету; но сложность ее названия вводила в заблуждение.

IV

С 1931 г. я сравнительно редко встречался с моими прежними друзьями. Надя была замужем, и ходить к ней мне было неловко. Ваня Фурсенко, который еще в школе обогнал Надю на целый класс, уже осенью 1930 г. поступил на биологический факультет, и хотя он и превратился в факультет животноводства и растениеводства, все же продолжал учиться на специальности физиологии человека — у А.А.Ухтомского. Этого ученого не погубило ни то, что он был бывший князь, ни то, что в науке он во многом расходился с И.П.Павловым, учение которого — особенно после его патриотического, в высшей степени лояльного по отношению к Советской власти выступления на Международном конгрессе физиологов в Ленинграде в 1935 г. — стало официозным в нашей стране. По своему облику Ухтомский чем-то напоминал А.Н.Крылова — седой бородой, демократической курткой, высокими мягкими сапогами — вроде валенок. В 1933/34 гг. Ваня был очень занят своей наукой, а в 1936 г., окончив, и вовсе переехал в Колтуши. Я почти не виделся с ним. Котя Гераков в высшее учебное заведение попасть, конечно, не мог, но все же учился в каком-то техникуме. С ним мы видались сравнительно часто. У меня не проходила какая-то жуть, когда я с ним общался, от смущения, что он сын расстрелянного. Но он «к своей указанной судьбе привык»,[1] а отношение его ко мне было такое теплое — и, честно говоря, так подкупало его серьезное и доброжелательное отношение к моим стихам, которые я ему единственному и решался читать, — что у него я бывал часто и любил его, как и он явно любил меня.

Говорили мы с Котей и о международной политике. По крайней мере, с четырнадцатилетнего возраста я внимательно следил за новостями из-за рубежа. Было это тем легче, что в те годы всякий раз, когда цитировалась какая-нибудь зарубежная статья, за названием газеты в скобках называлась партия, которой она принадлежала или чьи мнения выражала. Цитировались далеко не одни коммунистические газеты, — хотя, конечно, все иные — всякий раз с разоблачающим комментарием.[2]

В те годы происходило немало важных и волновавших нас международных событий. В 1931 г. Япония захватила китайскую Маньчжурию и затем создала там марионеточное государство Маньчжоу-го; вскоре Япония распространила свое господство на все важные города и железнодорожные узлы Китая. Коммунистические районы южного Китая — одна из последних надежд на мировую революцию — были ликвидированы, а китайская Красная армия, возглавляемая Мао Цзэ-дуном и Чжу Дэ, совершила свой великий поход на север, где обосновалась в глухих местах вокруг г.Яньани, почти под носом у японцев.

В 1932—33 гг. в Германии — сначала голодавшей из-за проигранной войны и версальских контрибуций, а затем из-за мирового кризиса 1929—31 гг. —

[1] Из песни А.Городницкого под гитару, 50-е годы.

[2] Не было того, что при Брежневе: под рубрикой «За рубежом» шли «Отклики на выступление Л.И.Брежнева», а далее подзаголовки: «Болгария»», «Польша», «Венгрия», «Монголия», «США», «Франция», »Италия», «Швеция» — но во всех случаях, без всякой оговорки, цитируются только коммунистические газеты, иногда многотиражки (читателю это не сообщалось).

развернулась ожесточенная борьба между коммунистами, социал-демократами, христианскими демократами католического центра, националистами и национал-социалистами с их вонизированными отрядами чернорубашечников. Борьба эта выражалась не только в парламентских выступлениях, в стачках и демонстрациях (слева и справа), но и в прямых побоищах, погромах, в политических убийствах. Что этим занимались национал-социалисты, было очевидно всем, но и те обвиняли коммунистов в террористических актах, в частности, в убийстве фашистского активиста Хорста Весселя и других. Коммунисты в тысячный раз подтверждали свое осуждение индивидуального террора.[1]

В ответ на создание националистических («Стальной шлем») и национал-социалистических вонизированных и одетых в коричневую форму отрядов (штурмовики, или СА) коммунисты пытались несколько вонизировать немецкий комсомол — с 1929 г. создавались отряды «Юнгштурма»; и у наших комсомольцев, как уже упоминалось, тоже появились форменные гимнастерки цвета хаки с ремнем через плечо — «юнгштурмовки». Начало у нас распространяться и немецкое коммунистическое приветствие — сжатый у плеча кулак и восклицание «Рот фронт!» — ответ на нацистскую протянутую руку и «Хайль Гитлер». Но позже «Рот фронт» у нас не привился по понятным причинам.

Немецкие события были у всех на устах, вместе с именами вождей коммунистов — Тельмана и Торглера. Коминтерн (из которого в 1929 г. был выведен его генеральный секретарь Н.И.Бухарин, сменивший свергнутого еще ранее Г.Е.Зиновьева) под прямую диктовку Сталина (если правильно помнится, таковы были установки в его речи на XVI съезде партии в 1930 г.) запретил коммунистам блокироваться в борьбе против фашизма с социал-демократами —они именовались не иначе как «социал-фашистами» или «социал-предателями» и были объявлены худшими врагами, чем открытые фашисты — национал-социалисты. Несмотря ни на что, коммунисты имели явно очень широкую поддержку в немецком народе, и были серьезные надежды на их победу в парламентские выборы 1933 г. Такая победа, очевидно, была бы началом нового тура социальных революций, в согласии с предвидением Ленина.

Зимой 1932—33 г., когда мы с Котей Гераковым обсуждали перспективы победы коммунистов в Германии и дальнейшего распространения революционной ситуации на Францию, Котя считал, что перспективы такие скорее благоприятны. Помню, что я был поражен тем, что он это сказал как о чем-то само собой разумеющемся и естественном. Такую же лояльность не только по отношению к Советской власти, какова она сегодня, но и по отношению к дальнейшим перспективам революции я наблюдал и у Ники Ереховича.

На выборах 1933 г. в Германии коммунисты, набрав 6 миллионов голосов — больше, чем социал-демократы, — все-таки проиграли, потому что национал-социалисты, блокируясь со «Стальным шлемом», собрали голосов более чем вдвое того. Выживший из ума от старости президент, фельдмаршал Гинденбург, вручил должность рейхсканцлера Гитлеру.

[1] Но не массового.

Первое заседание рейхстага должен был открыть и впредь до выбора постоянного председателя — вести его старейший из выбранных делегатов. Им оказалась депутат от коммунистов, ветеран международной революционной борьбы 86-летняя Клара Цеткин.

Вскоре затем была организована провокация — поджог рейхстага. На месте пожара был схвачен подоспевшим Герингом и его людьми некий Ван дер Люббе — пьяница и подонок, однако в прошлом коммунист; заодно были привлечены к делу три болгарских коммуниста, случайно оказавшиеся в Берлине — Димитров, Попов и Танев, — а также второй человек в германской компартии — Торглер. Тельман был тоже схвачен и брошен в тюрьму, но выставить его на открытый процесс гитлеровцы не решились — его ораторское искусство было хорошо известно, а Торглер оказался сразу человеком слабым. Однако гитлеровцы не оценили ума и ораторского искусства Димитрова. В отличие от Торглера, он отказался от адвоката и выступал на суде сам. Неделя за неделей шла борьба его со лжесвидетелями, с прокурором, с судом. Протоколы суда печатала вся мировая пресса, в том числе и наша, — правда, выступления гитлеровцев давались сокращенно, однако же не вовсе опускались, и в частности, ругань по адресу Димитрова и коммунистов воспроизводилась. Гитлеровцы выпустили в качестве свидетеля самого Геринга, второго человека среди нацистов, — Димитров оставил одни клочки от его показания и отдал на посмешище и презрение всей прессы. В конце концов суд приговорил Ван дер Люббе к смертной казни, а остальных — к длительным срокам заключения. Немедленно ЦИК СССР издал декрет о даровании Димитрову, Попову и Таневу советского гражданства и, видимо, выменял их на кого-то — по крайней мере, уже через несколько дней они с торжеством прибыли в Москву, где Димитров вскоре встал во главе Коминтерна.[1]

Несмотря на успех Гитлера на выборах, процесс о поджоге показался всем грандиозным политическим поражением нацизма. Мы не сомневались, что, подавленный и угнетенный фашистами, немецкий рабочий класс только стал еще более революционным. В начале 30-х гг. коммунизм пользовался таким успехом во всех странах мира без исключения — и среди рабочего класса, и, может быть, еще более среди интеллигенции, — что нельзя было, казалось, сомневаться в правильности «теории слабого звена» и неизбежности эпохи войн и социальных революций во всемирном масштабе, предвиденной Лениным. События с 1933 по 1939 г., как представлялось, подтверждали это предвидение; сомнения начались у нашего поколения лишь после поражения Испанской республики.

В Германии, между тем, произошло несколько событий, которые, как нам казалось, должны лишь еще более ожесточить немецкий народ.

---

[1] Что касается Попова и Танева, игравших роль скорее статистов, то они были расстреляны в 1937 г. Они разделили судьбу всего ЦК польской компартии и лидеров венского восстания (в феврале 1933 г.), социал-демократов «шуцбундовцев», отошедших с боями через Чехословакию в Советский Союз (где их торжественно встречали). Они и многие другие коммунисты и революционеры, бежавшие в СССР, все были расстреляны по указанию Сталина. Торглера Сталин оставил, видимо, гитлеровцам. Тельман был ими еще раньше арестован, но убит лишь во время войны. Что касается рядовых членов «Шуцбунда», то после того, как они недолго поработали на наших заводах, они были посланы в концлагеря и в 1939 г. как германские граждане переданы Гитлеру. Я читал воспоминания одного из них, попавшие в мои руки во время войны вместе с разным трофейным имуществом.

Во-первых, это была ночь, во время которой были убиты шеф СА Рем и большинство его приверженцев. Место СА заняли новые вознизированные отряды — СС, чернорубашечники, отбиравшиеся по признаку абсолютной расовой чистоты, засвидетельствованной по крайней мере с... 1700 г.;[1] однако небольшие группы СА были сохранены — они играли слишком большую роль в истории нацистского движения и упоминались даже в официальном партийном гимне «Horst-Wessel-Lied», и совершенно истребить их не решались.

Во-вторых, это была «хрустальная ночь» всеобщих еврейских погромов, сопровождавшихся убийствами и неслыханными грабежами, а затем конфискацией всего еврейского имущества. («Хрустальной» эта ночь была потому, что били стекла в магазинах).

В-третьих, это было слияние «Стального шлема» с национал-социалистической партией. За этим последовало запрещение «марксистских» — коммунистической и социал-демократической — партий (а позже и христианско-демократической партии центра) с изгнанием их депутатов из парламента — теперь рейхстаг ничего не обсуждал, а только хором кричал «Хайль Гитлер» и единогласно принимал все, что ему ни предложат. Далее последовала отправка коммунистов, социал-демократов, ведущих центристов и большинства евреев в концлагеря. Компартия официально самораспустилась, и лишь немногие наиболее верные были оставлены в сохранённых подпольных организациях, число которых, впрочем, все таяло. Были распущены также старые «марксистские» профсоюзы.

Антисоветская направленность политики гитлеровцев была столь явной, что неизбежность войны между СССР и Германией — вернее, нападения Германии на СССР — стала для всех нас очевидной. Однако нас заверяли, что Красная Армия сильна как никогда (недаром в таких темпах и ценой таких лишений создавалась индустриализация в 1-й и 2-й пятилетке), и, как все мы пели на праздничных демонстрациях,

«...на вражьей земле мы врага разгромим Малой кровью, могучим ударом».

(Это была перефразировка слов из речи наркома обороны К.Е.Ворошилова).

А навстречу Красной Армии решительно поднимется во весь рост славный немецкий пролетариат.

(По обыкновению, мы сами себя обманывали своей собственной пропагандой. Все репрессивные действия Гитлера широко освещались прессой, но нигде не писалось, что были у гитлеровской Германии и успехи — правда, только в расчете на большую поживу в будущей войне).

Рост коммунистических настроений во всем мире в годы мирового кризиса 1929—31 гг. представлялся явным успехом дела СССР, ибо целью самого существования СССР было установление «Всемирного Советского Союза». Но успехи были не только в этом. Если в 20-х гг. нас признавали лишь сравнительно немногие государства, то в начале 30-х гг. прокатилась волна

[1] Я сам держал в руках такой Ahnenpass во время войны — среди бумаг эсэсовского батальона, захваченных нашей войсковой разведкой.

признаний по всему миру, увенчавшаяся признанием СССР со стороны США и вступлением Союза в Лигу наций.

Огромной популярностью пользовались речи наркома иностранных дел М.М.Литвинова на ряде (безуспешных) конференций по разоружению, и затем — с трибуны Лиги наций. Во всех случаях мы выступали безусловно за правое дело, ибо главной линией нашей внешней политики было требование всеобщего разоружения. Ощущение жизни в осажденной крепости (чем мы объясняли себе жестокость карательных мер правительства) порядком всем надоело, и вообще разоружение казалось делом нужным и достижимым. Правда, Литвинов уж как-то слишком непреклонно требовал только всеобщего полного разоружения; казалось бы, разумнее начать с более компромиссных мер, но ведь трудно было нам спорить с литвиновским умом и красноречием.

Другой важной проблемой, которая тоже обсуждалась интеллигентной молодежью, была возможность «построения социализма в одной отдельно взятой стране». Это было нововведение Сталина, — теория «перманентной революции» теперь целиком приписывалась Троцкому и осуждалась, но роль Сталина в создании теории «построения социализма в одной стране» не подчеркивалась; напротив, эта возможность подавалась как естественный вывод из учения ленинизма.

Как обыкновенно, сомнения выражались в анекдотах. Миша Гринберг рассказал мне, что у одного ребе спросили:

— Правда ли, что в Талмуде все написано, что было, есть и будет?

— Правда.

— А что говорит Талмуд — возможно ли построение социализма в одной стране?

— Талмуд говорит, что возможно. Но у Раши[1] написано, что жить в этой стране будет нельзя.

Ответ на все сомнения принес в начале 1934 г. XVII съезд партии — «Съезд победителей», на котором было объявлено, что 100% промышленной продукции и почти 99% сельскохозяйственной выпускается государственным и обобществленным секторами. Основы социализма в одной отдельно взятой стране построены.

Однако оставалась еще жизнь в окружении врагов, в любой момент, как нам объясняли, готовых возобновить буржуазную интервенцию в СССР, и в то же время, согласно Ленину, не снимается с повестки дня проблема социалистической революции во всех промышленных странах; а там и вправду все кипело.

И, помнится, не на том же ли самом XVII съезде в речи Молотова впервые была произнесена формула «рабочий класс, колхозное крестьянство и советская (или трудящаяся) интеллигенция», несказанно обрадовавшая нас — с этого момента слово «интеллигент» не было уже синонимом классового врага. Правда, обозначение «советская интеллигенция» предполагало, что существует еще и «буржуазная интеллигенция», но нам

[1] Курсивный сплошной маргинальный комментарий, печатавшийся во всех изданиях Талмуда и принадлежащий средневековому талмудисту рабби Шеломо бен Йицхаку, сокращенно — Раши.

представлялось, что нашей лояльности и незамешанности ни в чем враждебном Советской власти было вполне достаточно, чтобы считаться «советскими интеллигентами».[1]

Еще более нас обрадовал Сталин, когда однажды сказал, что непартийных советских граждан можно рассматривать как «беспартийных большевиков» (а не как какую-то низшую категорию). Нам показалось, что это значит полное уравнение нас в правах с членами партии. На самом деле, как потом выяснилось, это означало, напротив, что на нас, в равной степени как и на партийных, распространяются любые решения партийных органов, которых мы не выбирали и не могли выбирать, — даже хотя бы так формально, как выбирали их сами члены партии. Другими словами, на нас распространились все обязанности членов партии без их прав и привилегий. Но это обнаружилось позже.

В связи с недавним роспуском РАППа (воспринятым беспартийными литераторами с огромным облегчением: ведь, бывало, хорошо еще признают писателя «попутчиком», а могут признать «буржуазным писателем» без права публиковаться.[2] То, что распускались и все другие писательские группировки, показалось менее важным). В августе 1934 г. был созван Первый всесоюзный съезд писателей — учредительный съезд Союза писателей СССР (постановление ЦК о его учреждении состоялось еще в 1932 г.). Съезд был очень представительным, хотя никого не удивило, что среди делегатов (а впоследствии — среди членов ССП) не было О.Э.Мандельштама, А.А.Ахматовой, М.А.Булгакова и еще кое-кого из менее крупных.

Руководящую речь произнес Н.И.Бухарин — это тоже показалось хорошим признаком общего замирения. Ведь еще года четыре назад его поносили всячески как правого уклониста, вывели из Коминтерна, сняли с редакторов «Правды» — и хотя он был сделан редактором «Известий», но по сравнению с «Правдой», где каждая статья получала силу закона, «Известия» имели немногим более авторитета, чем, скажем, «Труд» или «Гудок». Мы уже привыкли, что в каждой области деятельности должен был быть признанный партией лидер: в физиологии — И.П.Павлов, в истории — М.Н.Покровский, в языкознании — Н.Я.Марр. А тут крупнейшим из советских поэтов Бухарин объявил Пастернака,[3] поэта вполне беспартийного.

Однако сам Пастернак, как мы теперь знаем по его запискам, был этим лишь встревожен и озадачен. И тогда же начатая еще РАППом травля Маяковского, как всего лишь «попутчика» и «непонятного народным массам» поэта, была посмертно начата снова. Тогда-то Лиля Брик написала свое

---

[1] В «Записной книжке» И.Ильфа сказано: «Недостаточно полюбить советскую власть — надо, чтобы она полюбила тебя». Так что можно было бы сообразить, что одной лояльности недостаточно.

[2] Мы только сорок лет спустя узнали, что ЦК партии еще в 1925 г. принял постановление, запрещавшее великому поэту А.А.Ахматовой печататься и публично выступать, тем самым обрекая ее на нищету.

[3] С его гениальными строками:

«Все сбиралось всхрапнуть, и карабкались крабы, и к центру
Тяжелевшего солнца клонились головки репья,
И мурлыкало море, в версте с половиной от Тендра
Серый кряж броненосца оранжевым краном рябя».

Какой ракурс, какие цвета!

знаменитое письмо Сталину, на углу которого Сталин положил резолюцию «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

Это было опубликовано (в форме «т.Сталин сказал»), и тогда Маяковского стали, по выражению Пастернака, насильственно «насаждать, как картошку при Екатерине».

В своем предсмертном письме Маяковский написал: «Товарищ Правительство! Очень прошу позаботиться о моей семье — маме, Люде, Оле [сестры Маяковского] и Лиле Брик». Хотя у Маяковского была своя отдельная комната (где он и покончил с собой), но жил он преимущественно у Бриков — Лили и ее мужа. На дверях их квартиры была и его фамилия. Там и был сделан музей Маяковского. Отношения Маяковского с Лилей Брик были сложные — см. поэму «Про это», которая в 50-х гг. не перепечатывалась; но он Лилю долго и страстно любил; если у него бывали «отклонения», то потому, что сама Лиля Юрьевна не могла решиться бросить мужа и окончательно стать женой поэта. Связь их прекратилась в 1925 г., но дружба не прекращалась, и была по-прежнему договоренность о том, что все произведения Маяковского будут посвящаться Лиле Брик. Муж ее это превосходно знал и не прекращал хороших отношений с Маяковским, вместе с которым издавал (в качестве теоретика) журнал ЛЕФ («Левый фронт в искусстве»). Что она Маяковского никогда не любила, Л.Ю. сама рассказывала Е.Ю.Хин, второй жене моего брата Миши. Однако же она была очень предана Маяковскому, что и показала дважды: один раз — когда Горький пустил слух, что Маяковский бреет голову потому, что у него, как у сифилитика, лезут волосы; она пошла к Буревестнику революции и заставила его принять самому меры для прекращения клеветнического слуха; второй раз — написав упомянутое письмо Сталину. Эти сведения у меня от Е.Ю.Хин.

Но в разгар антисемитской травли начала 50-х гг., отчасти под влиянием Л.В.Маяковской, всегда не терпевшей Л.Ю.Брик, а теперь поддавшейся мутной волне антисемитизма, про Л.Ю.Брик стали печататься клеветнические статьи; музей в квартире Бриков был разорен и закрыт, портрет Лили и фотокопия письма к Сталину исчезли из нового музея (подлинник оставался у Сталина); а сама Л.Ю. была вычеркнута из официальных биографий поэта. Протест сестры Л.Ю.Брик — французской писательницы Эльзы Триоле — и ее мужа, Луи Арагона, напечатанный во Франции, у нас отказались перепечатать.

Только десятилетиями спустя и мы узнали, что уже в самой публикации завещания Маяковского («Товарищ Правительство!..») была сделана купюра: оно кончалось словами «и Веронике Витольдовне Полонской» — при которой он и застрелился.

Но возвращаясь к Пастернаку: он написал не только революционные поэмы «1905 год» и «Лейтенант Шмидт», но и «сомнительную» поэму «Спекторский», где описание Ленина можно было толковать и так и сяк, да и посвящение революционерке в «1905 годе» было какое-то странное:

«...Отвлеченная грохотом стрельбищ,
Возникающим там, вдалеке,
Ты огни в отчужденье колеблешь,

Точно улицу держишь в руке.
И в блуждании хлопьев кутежных
Тот же гордый, уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств.
Как поэт, отмечтав и отдумав,
Ты рассеянья ищешь в ходьбе:
Ты бежишь не одних толстосумов —
Все ничтожное мерзко тебе».

Как это «собой недовольный художник»?

Да и ниже в той же поэме: «те лаборантши — наши матери или приятельницы матерей» — они же химичат бомбы: народоволки — может быть, эсерки?

Словом, превознесению Пастернака мы были рады, хотя я его плохо понимал и не был тогда его поклонником — лишь Пастернак 40-х годов вполне открылся мне и был безоговорочно мною принят. (И сам Пастернак позже отверг свою поэзию, созданную ранее 1940 г.).

По всем линиям все становилось лучше внутри страны; сложилось впечатление, что время эксцессов и неграмотных перегибов кончилось, преследование интеллигенции кончилось, образование налаживалось все лучше, — социализм, вроде бы, получился, рабочие были за Советскую власть, голод в деревне прекратился, в городе снабжение начало налаживаться (хотя бы и через «коммерческие» магазины;[1] но и по карточкам стали выдавать больше).

Ощущение перелома к лучшему охватило всю интеллигенцию, не исключая, конечно, и меня; весной 1934 г., разговаривая с Ниной Магазинер, я сказал ей:

— Интеллигенция повернула к социализму. — И так оно и было.

Брат мой Алеша вступил в комсомол; мы называли его «наша семейная партийная прослойка».[2]

Ощущавшийся поворот достиг высшей точки — полного принятия советского социализма подавляющим большинством интеллигентов, кроме одиночных старых зубров, — к 1936 г.

Но в моей собственной жизни происходил поворот иного рода: любовь.

Летом 1934 г. я уехал с моими родителями в Коктебель — как оказалось, в последний раз. Об этом уже рассказывалось в шестой главе — теперь хочу показать Коктебель 1934 г. глазами моего четырнадцатилетнего брата Алексея Дьяконова.

Далеко за полями и шпалами,
Сотни верст от меня отдалив,
Заискрясь водяными опалами,
Спит зеленым залитый залив.

---

[1] Так назывались магазины, в которых товаров было больше, чем в «кооперативах» (которые, впрочем, давно ничего не уплачивали пайщикам, да и понятия «пайщик» больше не было), но по ценам во много раз большим, чем те, которые уплачивались при получении товаров в «кооперативах» по «заборным книжкам» (карточкам).

2 Был такой ходовой термин. В подавляющем множестве «коллективов» партийные пока еще, действительно, образовывали лишь «прослойку».

Тут за мысом далеким и гордым,
Изогнувшись дугою, как лук,
Окруженный холмами и горами,
Спит, раскинувшись, старый друг.

Пусть эмаль зашуршит о камень,
И песок зашипит, как во сне,
А закат озарит, словно пламя,
Эти горы и степи мне.

А вулкан завернулся в лаву,
В глубине приютив сатану;
Тень его зеленым удавом
Погрузилась на дно в глубину.

И за мысом, где ждут сердолики
Любопытных и жадных людей,
Крабы ползают, злы и дики,
Охраняя покой камней.

Заворачиваются в рулоны
Волны быстрые о песок, —
Ветер только доносит их стоны
И песчинки крутит у ног.

Пусть последним, но тщетным звоном
Отзвенит последняя трель...
Грозовым надышавшись озоном,
Продолжает спать Коктебель.[1]

Вечер

Солнце заходит за синей горой —
И тени ложатся, длинны —
Озаряя холмы с желтоватой травой,
И поля, что кому-то родны.

Золотятся верхушки задумчивых гор,
Ярко-красные тучи ползут;
Вот уходят за море, в далекий простор,
А наутро к нам снова придут.

Солнце село. А сумрак крадется, как вор,
Он окутал холмы и поля;
Полземли отошло в темно-синий шатер,
Отдыхает от солнца земля.

V

Осенью 1934 г. умер Марр, выбывший еще год назад после инсульта; 1-го декабря 1934 г. был убит Киров. В первой газетной заметке убийца, Николаев, был назван белоэмигрантским агентом, что предсказывало репрессивные меры против интеллигенции и остатков дворянства — тех, у кого могли быть родные или друзья в эмиграции; но чуть ли не на следующий день газеты дали понять, что убийство — дело троцкистско-зиновьевского блока.

Обе версии и тогда не казались вполне надежными — первая потому, что от нее сразу же печатно отказались (по крайней мере, имплицитно), вторая потому, что зиновьевцы как-никак были большевиками и как таковые должны были бы быть против индивидуального террора — это было

[1] Теперь там ни сердоликов, ни крабов.

обязательной частью большевистского кредо. Но, видимо, в ОГПУ-НКВД теперь давно уже было не до тонкостей партийных программ (которым еще недавно в деле Воли Харитонова было придано столь важное значение).

Убийство Кирова было как гром из ясного неба; было очевидно, что последуют широкие репрессии, противоречащие общему настроению улучшения социальных отношений в стране и явному затуханию — уже, казалось, давно мнимой — классовой борьбы. Поражал и сам факт террористического акта. Последние в истории Октябрьской революции на нашей территории акты индивидуального террора, о которых мы знали, относились к началу 20-х гг. — покушение на Ленина, убийство Урицкого, Володарского; но то были действия эсеров, партии принципиально террористической, — однако эсеры сошли со сцены после левоэсеровского мятежа 1918 г., после антоновского мятежа на Тамбовщине в 1921 г., после сдачи Савинкова в 1924 г., и трудно было представить себе реально существующую эсеровскую организацию в Ленинграде десять лет спустя — в нашем представлении практически все эсеры были давно расстреляны. Воровский и Войков были застрелены за границей, где не было и не могло быть непроницаемой охраны НКВД.

Но террористический акт, организованный левыми большевиками, был непонятен.[1]

Весь город в добровольно-обязательном порядке участвовал в похоронах Кирова; было известно, что сам Сталин приехал из Москвы. Но Киров жил и держал себя просто, был популярен, и многие искренне хотели отдать ему последний долг. Сам я о Кирове знал тогда очень мало и вряд ли пошел бы хоронить его по доброй воле; меня одолевал скорее страх за будущие последствия.

Толпы шли колоннами по учреждениям и предприятиям, с черными лентами на красных знаменах, с портретами Кирова в траурной рамке и с портретами Сталина без оной. Все было как на ноябрьской демонстрации — и все было не так: и маршрут был иной — шли к Смольному по Шпалерной (Воинова), куда именно — не знаю (все же ушел до окончания процессии), и шли молча. На душе у меня, да и наверное у всех, было неважно: впереди ожидали серьезные неприятности. Какие? Мы не знали.

Хотя была принята версия об убийстве Кирова зиновьевцами, однако первоначальный удар был нанесен по дворянам, в чем, казалось, не было никакой логики. Вскоре после похорон ко мне забежал Котя Гераков: прошла облава по комнатам и комнатушкам, где ютились сохранившиеся дворяне — главным образом, старушки-вдовы, но были и немногочисленные мужчины и довольно много юношей и подростков. Им было предложено, не помню уж, в 48 или 72 часа выехать из города в назначенные места высылки под надзор НКВД. Операция была почти всеобъемлющая, но все же не совсем: некоторые

[1] На Сталина как на действительного организатора убийства Кирова намекнул в 1961 г. Хрущев; более подробно (хотя не вполне ясно до конца) дело было рассказано нам в 60-х гг. одной женщиной из окружения Кирова. Существенно, что до всякого следствия была расстреляна вся охрана Кирова, и сам Николаев был убит, и что были арестованы все родственники и личные друзья Кирова и их дети.

полезные дворяне-специалисты, занимавшие нужные посты в промышленности или в высших учебных заведениях, даже в армии, были оставлены в покое (хотя опять-таки не все);[1] но более всего акция касалась именно старых и юных. Но и из них кто-то по непонятным причинам сохранился в Ленинграде, как например, баронесса Клодт, у которой позже для совершенствования в английском языке брала уроки моя жена; или, например, Ерехович.

Я пошел провожать Котю и его мать и сестру на вокзал. Местом жительства им была назначена станция Медянка (Пятаково) в Казахстане. Уезжали они в купированном вагоне, но поезд был дополнительный, сверх расписания: так называемая «Дворянская стрела».

Я не терял Котю из виду до самой войны, и еще расскажу о нем. Претерпев много трудностей и опасностей, он перед войной все-таки поступил в какой-то технический институт на Урале и, насколько знаю, был потом видным геологом в Москве. После войны я встретил его только раз.

Не все охваченные «кировской» акцией дворяне отделались высылкой под надзор: у нас с кафедры вдруг исчезли Эберман и Соколов: судьба первого мне не известна — могу только догадываться; о трагической судьбе Соколова и его жены и узнал много лет спустя от его дочери, которую воспитала — и дала ей новую фамилию — совсем другая семья.

Что об этом исчезновении думали студенты? Вот я остановился над этим вопросом, и мне трудно на него ответить. Уже в 1935 г. такие вещи старались не обсуждать между собой, так как отдавали себе отчет в опасности подобных разговоров, в том, как они легко могут дойти до власть предержащих, а говорящий — последовать за обсуждаемыми. К тому же за годы советской власти к спорадическим арестам привыкли и, кроме того, совсем не представляли себе реально судьбу арестованных. Знали, конечно, что за анекдот можно быть осужденным по пресловутой статье 58-10, знали, что по этой статье меньше пяти лет не дают, что ссылают на Соловки, но не представляли себе даже приблизительно тех условий, в которых осужденные проводят свой срок, и не представляли себе того, как широко НКВД пользуется расстрелами и без тех показательных судов, которые и сами по себе потрясали воображение и были явной пародией на правосудие.

Но вслед за «дворянской» акцией последовала акция «троцкистско-зиновьевская». Много лет спустя мы узнали, что Сталин просто называл НКВД каждый раз цифру подлежащих расстрелу — цифру шестизначную; однако в те времена было принято думать, что инициатива этих акций принадлежит руководству НКВД, прежде всего Ягоде, а что Сталин, замкнувшись за высокими стенами Кремля, имеет дело только с безликими бумагами и реально не представляет себе многого, что творится в стране. Выступил же он в 1930 г.[2] с предупреждением о «Головокружении от успехов», когда страна прекрасно знала о страшном терроре по деревням, а потом о катастрофическом голоде.

---

[1] Так, был выслан и умер в дороге наилучший наш археолог А.А.Миллер.

[2] Дату я мог и соврать: это выступление не упоминается в энциклопедиях (БСЭ-1 не достать, а в БСЭ-2 статья «Сталин» напечатана уже после его смерти).

Вот два эпизода тех лет, из тех, что издали доводили до моего сознания то, что творилось по стране:

Однажды Мусесов вдруг разговорился и рассказал, как он ездил в деревню на раскулачивание. Он не скрывал, что имущества у раскулаченных практически никакого не было, но что все равно отбирали каждую тряпку и что лично он, Мусесов, под предлогом, что ценности можно спрятать на себе, лазал обеими руками под блузку к плачущим раскулачиваемым девушкам и неспешно щупал их.

Котя Гераков, через год после его высылки или около того, приезжал в Ленинград и рассказывал свои приключения в качестве коллектора геологической экспедиции. Он рассказывал, как в уральских деревнях ждут «своих»: как однажды, завидя на холме двух всадников, приняли их за «своих» и кинулись было вязать сельсоветчиков; как, когда он сам, уезжая из какой-то деревни, попросил у хозяйки веревку, чтобы перевязать свой мешок, услышал такой ответ:

— Мне самой моя веревка пригодится, когда будем таких, как ты, большевиков вешать.

Все это, конечно, в масштабе громадной страны были такие пустяки, которые вовсе не грозили устойчивости государства.

Проводя «троцкистско-зиновьевскую» акцию, органы НКВД были временно поставлены перед задачей: как среди членов партии отделить овец от козлищ. Активных зиновьевцев — из числа тех, кто лет шесть-восемь тому назад устраивал в Ленинграде про-зиновьевскую микродемонстрацию — была ничтожная кучка, да и из той вряд ли многие еще находились на свободе. А если брать тех, кто в свое время в речах и статьях цитировали Троцкого, Зиновьева и т.п., то пришлось бы брать поголовно всех, кто вступил в партию до середины 20-х годов — ведь заключительной формулой любой речи при жизни Ленина было «Да здравствуют товарищи Ленин и Троцкий», и всем было известно (и было напечатано в первом издании Собрания сочинений Ленина), что Зиновьеву принадлежала часть глав такого важнейшего ленинского сочинения, как «Государство и революция», — и Зиновьев же до 1926 г. возглавлял штаб мировой революции Коминтерн.

Было ясно, что как рассадники зиновьевцев стали рассматриваться Комакадемия («имени Зиновьева»!), располагавшаяся в Таврическом дворце, Институт Красной профессуры (готовивший партийные кадры вузовских преподавателей), Институт истории партии, — ну и, конечно, все те, которые лично соприкасались в своей работе с Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Радеком, Бухариным, Рыковым, Томским, Пятаковым и другими.

Вот тут-то исчезли из ЛИФЛИ (и из только что организованного исторического факультета университета, и из руководства академических институтов и музеев) партийные ортодоксы: выдвиженцы, крайние вульгарные социологи. Исчезли Пригожин, Маторин, Зайдель, Цвибак, Малышев, Томсинский, Ванаг, Горбаченко, Горбачев, Бухаркин и множество других.[1]

[1] «Проигравшие» дискуссию об азиатском способе производства — Кокин и Папаян, Мадьяр — были схвачены раньше всех, но вскоре пришли и за «выигравшим» дискуссию Годесом: он бросился в пролет лестницы — или был туда сброшен, как до него Алимов, еще раньше — вождь эсеров Савинков и другие.

А так как эта акция почти совпала по времени с официальным переводом интеллигенции из разряда прислужников буржуазии в разряд трудящихся, то открылась возможность привлечь к преподаванию отстраненных ранее видных ученых, а при приеме в институты и университеты ввести конкурс, одинаковый для всех рабочих и «из служащих» — и такой конкурс просуществовал с 1935 по 1946 г.[1] Что-то я не помню, чтобы в моем поле зрения кто-либо был огорчен этими переменами — а если кто и был огорчен, то помалкивал. К этому времени дети рабочих и дети служащих оканчивали одни и те же единые трудовые школы, и поэтому при поступлении формально имели совершенно равные возможности — нельзя было сказать, что детей дискриминируют. Конечно, сельские школы не шли ни в какое сравнение с городскими, но поскольку колхозникам не выдавались паспорта, и в город им было все равно попасть не просто, — да и поскольку после 1929 г. союз рабочего класса и крестьянства все равно превратился в пустое слово, — постольку проблема, будут ли крестьянские дети попадать в университеты, в общем-то и не стояла. Нельзя, однако, не признать, что дети из семей, где привычка к чтению шла из поколения в поколение и умственная работа была и традицией, и потребностью — то есть из семей интеллигенции, конечно, были сильнее других при поступлении. Но сама интеллигенция еще до 1937 г. сильно поредела: до 60% эмигрировало, из остальных немалый процент погиб, деклассировался, осел в Казахстане и за «сотым километром». Хотя лишенцев к середине 30-х гг. оставалось мало, а с 1937 г. эта категория была упразднена, однако на сословие в анкете продолжали обращать внимание, особенно при распределении после высшего учебного заведения и вообще при приеме на работу. Дети священников, царских и белых офицеров и теперь

[1] Стоит еще раз сказать несколько слов о студенческих приемах 1934 и последующих годов. Прием студентов в 1934 г. — еще один признак перемен к лучшему! — происходил строго по конкурсу для всех допущенных к экзаменам, уже без скидки на классовое положение, но по-прежнему с большим трудом и не во все ВУЗы принимали детей «лишенцев». Таковы же были приемы 1935 и 1936 годов, а в 1937, 1938, 1939 и 1940 гг. не было ограничений и для них. При этом не было ни блата, ни взяточничества — в это трудно поверить в 80-х гг., но мои современники еще помнят, что в эти годы профессор или преподаватель, берущий взятку, чтобы повлиять на прием, или ставивший значки у фамилий в списке абитуриентов — кого принимать, кого не принимать, — были так же невозможны, как в дореволюционные годы, когда, случись хоть малая толика чего-либо подобного, подавляющее большинство профессоров вышло бы отставку. Теперь профессора, конечно, этого сделать не могли бы, — государственной службе нет альтернативы, а за «демонстрацию» могут и посадить — на нее решился только И.Ю.Крачковский в 1948 г. при попытке увольнения И.П.Винникова из Института востоковедения АН СССР. (Собрание в фундаментальной библиотеке на Менделеевской, устроенное для «проработки» И.Ю.Крачковского, вылилось в откровенный бунт студентов, обожавших своего «шейха». Общий моральный уровень все же еще не позволял злоупотреблений, и «дело» замяли). Так как при этом не было и дореволюционной процентной нормы, то в результате интеллектуальный уровень студенчества никогда не был так высок, наверное, за всю историю университетского образования в Петербурге—Петрограде—Ленинграде. И тот же честный конкурс приводил к чрезвычайно высокому проценту принимаемых студентов-евреев — до 25% и даже до 40%. Ведь помимо всего, евреи — традиционные люди книги, грамотные по требованиям самой религии в течение двух с половиной тысячелетий. Кроме того, уже практически не было русских интеллигентов из дворян, купечества, государственных служащих.

Был высок и уровень преподавательского состава. С 1946 по 1986 г. (вероятно, так будет и далее) он неуклонно снижался: в деканы, в заведующие кафедрой, а в провинции — даже в доценты ставили не за научные, а за партийные заслуги. Студент, сообразивший на втором курсе, что одной наукой он «в люди» не пробьется, вступал в комсомол, в партию — и через десять лет становился начальником тех, кто только корпел над науками — или же давал им руководящие (но обязательные) указания из райкома, горкома, министерства или ЦК. И чем серее становилась профессура, тем еще более серых она подбирала себе аспирантов — свою смену.

неохотно принимались в «вузы» — еще какой-то процент русской интеллигенции оставался по-прежнему за бортом высшего образования. Менее других пострадала еврейская интеллигенция — среди нее было крайне мало офицеров (все же были зауряд-прапорщики, произведенные начиная с 1916 г.), вовсе не было жандармов. Конечно, были среди них дети фабрикантов, торговцев (преимущественно мелких лавочников), кустарей — но фабриканты по большей части бежали вовремя за границу или были уничтожены, нэпманы же, хотя и кончали, как правило, свою экономическую деятельность тюрьмой или высылкой, но не на большие сроки, и успели по большей части стать «совслужащими», и их дети уже не имели испорченной анкеты. Вот дети раввинов — тех, конечно, не жаловали; но они не составляли большого процента. К тому же надо учесть, что евреи, как народ, особо угнетавшийся при царском режиме, охотно шли в коммунистическую партию, в партизаны, в Красную Армию даже без особой зависимости от их пролетарского или, чаще, мелкобуржуазного происхождения. Все же большинство еврейских студентов тогда было беспартийным.

Но по понятным причинам в партии евреев тоже было очень много, и, как предвидел Троцкий, их высокий процент в партийном аппарате и при дележе теплых местечек (столь важном в бюрократической иерархии послойно привилегированных элит, создаваемой Сталиным) должен был неизбежно привести к расцвету махрового антисемитизма; но до этого должно было пройти еще почти целое десятилетие.

Кроме Троцкого, в то время никому в голову не приходило, чтобы в Советском Союзе могла бы когда-нибудь возникнуть опасность национализма. Все мы были искренними интернационалистами, совершенно не интересовались национальностью наших товарищей, часто ее и не знали (один мой товарищ только в ЗАГСе узнал, что его жена — еврейка). По правде сказать, в моем окружении никого, по-моему, не интересовало и социальное положение, и всем казалось справедливым, что в институты и университеты попадают наиболее толковые — среди них было совсем не мало и детей рабочих, но детей интеллигенции стало, конечно, гораздо больше, чем раньше.

И интеллигенция была довольна — угроза деклассирования детей была, пожалуй, основной причиной ее недовольства до сих пор: к спорадическим гонениям на какие-то группы населения, к редким арестам относились как к неизбежным издержкам революции, которую, как-никак, делают, мол, малограмотные люди. Довольны были и исчезновением ограниченных и малообразованных ортодоксов, пытавшихся руководить наукой и образованием, — они исчезли, не оставляя следов; и никто не задумывался над тем, что некоторое улучшение положения интеллигенции дается ценой немалого кровопролития, — в сущности, даже не знали о нем: в воображении была ссылка в Соловки, рисовавшаяся, как мы теперь знаем, идиллически по сравнению с действительностью, — а не расстрелы. «Лагерные чистки» — то есть массовые расстрелы, — начавшиеся именно на Соловках, тремя годами позже, — никому и в голову не могли прийти.

Между тем, мы продолжали учиться своей будущей профессии.

Главным новым событием на нашей кафедре с нового 1935 г. было появление А.Я.Борисова. Еще в конце первого семестра Александр Павлович, с которым у меня стали складываться доверительные, почти дружеские отношения, сказал мне:

— С Нового года у нас будет работать Андрей Яковлевич Борисов: это гениальный человек.

Борисов был и в самом деле очень замечательный человек, необычный. На нас и на других «сильных» студентов он произвел совершенно неизгладимое впечатление — учителя, праведника, мудреца — может быть, именно потому, что он был совсем простой, не похожий ни на учителя, ни на мудреца. Но всю мою научную жизнь мне помнилось его умное, очень русское лицо и его необыкновенно светлые глаза. Рассказывать о нем здесь значило бы очень затягивать мое и так непомерно растянутое повествование; я лучше расскажу о нем в отдельности.

Кроме А.Я.Борисова, у нас на кафедре появился еще один интересный человек — африканист Дмитрий Алексеевич Ольдерогге; живой, умный, замечательный рассказчик, Д.А.Ольдерогге начинал как египтолог, — кажется, одновременно с Ю.П.Францовым, в последний год жизни Б.А.Тураева, — потом занимался с Н.Д.Флиттнер, В.В.Струве и М.Э.Матье (некоторое время был мужем последней). Однако В.В.Струве, став после смерти Б.А.Тураева главой египтологической школы, не выносил близких коллег, которых рассматривал как соперников; тогда еще можно было сравнительно легко выезжать за границу, и Д.А.Ольдерогге добился, чтобы его университет командировал в Гамбург, где он переквалифицировался на африканиста, учась у И.Лукаса и других знаменитых немецких профессоров. Как ни странно, это ему сошло с рук в конце 30-х годов, а после войны единичные наши африканисты (тогда только ученики Д.А.) оказались в большой цене, и Ольдерогге был избран членом-корреспондентом.

Что касается Андрея Яковлевича, то он заступил у нас на кафедре место Михаила Николаевича Соколова — вел основной курс древнееврейского у гебраистов, — помнится, древнееврейскую (библейскую) литературу читал им Израиль Григорьевич Франк-Каменецкий. Впоследствии А.Я. читал у гебраистов курс средневековой еврейской литературы — с другими семитологами (историей семитских языков) он начал заниматься позже.

Появление А.Я. изменило все течение жизни Таты Старковой — он глубоко поразил ее душу и воображение, и целью ее жизни стало — стать его ученицей, помощницей, продолжательницей, другом. Древнееврейский язык стал ей интересен, и она быстро вышла вперед «Старика Левина», Ильи Гринберга и «Продика» Вельковича, не говоря уже о Келе Стрешинской и Мусе Свидер.

Родители Таты жили сначала в Парголове, а потом в Павловске, при доме для психически отсталых детей, где ее мать, Клавдия Михайловна Старкова, была главным врачом (отец же ее был инженером). Дом Старковых был необыкновенно гостеприимным; еще со времени библиотечного техникума там постоянно проводили время Татины товарки — подкармливались (продовольственное положение становилось лучше, но со стипендии особенно сытно не наешься), часто ночевали, брали деньжат (более или менее без

отдачи). Дуся Ткачева, Валя Подтягина, Лиза Фалеева, Ника Ерехович и его сестра Рона, Велькович, Келя Стрешинская, да и другие были там завсегдатаями. Привлекала их не только обстановка семейного дома и дружба с Татой, — особенно, я думаю, привлекала ее мать, женщина не только большой доброты, но и большого ума, здравого смысла, житейской мудрости, способная помочь словом, советом и, насколько могла, и делом. Я у Старковых бывал редко — в это время каждый свободный миг (а я ведь очень усердно работал) был занят другим — there was metal more attractive.[1] В большой компании у Старковых должны были бы возникать и романы — но беда в том, что не все посетительницы дома отличались секс-аппилом. Однако же Валя вышла замуж за Володю Старкова, да судьба их сложилась печально.

Зато я бывал дома у Александра Павловича Рифтина. Я приходил к нему за консультациями — я читал сверх плана и клинописные тексты, и специальную литературу; кое-что брал у А.П., другое он мне советовал взять в библиотеках, заглядывая в свои карточки. Оставался я у А.П. дома не подолгу: жил он в огромной, враждебной коммунальной квартире; его комната располагалась в самом конце длиннейшего коридора; было в ней квадратных метров 16—18; две стены доверху были заставлены полками и тесно забиты книгами без переплетов, разлетавшимися по листкам и, кроме наиболее часто читаемых, густо покрытыми жирной черной пылью. Жил в этой комнате Александр Павлович с женой — Софьей Конрадовной (говорили — полуяпонкой; вряд ли) и с маленьким сыном. На столе — неубранная посуда; другой, письменный стол был задвинут в угол между окном и кроватью и завален бумагами. Примерно год спустя А.П. нанял себе в частном порядке (что в то время было довольно незаконно) кабинет в квартире каких-то знакомых, перетащил туда все важнейшие книги, картотеки и рукописи — и даже как-то повеселел: работа, видно, стала спориться.

После его смерти бывшие ученики А.П. не забывали Софью Конрадовну и посещали ее до ее кончины.

Кажется, весной 1935 года Александр Павлович однажды попросил меня проводить его и по большому секрету рассказал мне, что есть вероятность ему быть посланным на год в командировку во Францию, в Лувр. Что за вероятность, кто ему такую командировку сулил, он мне не сказал — Александр Павлович вообще любил таинственность; зато он сказал мне, что это ставит под сомнение дальнейшее существование нашей группы, но что он хлопочет, чтобы в командировку вместе с ним был послан и я. Конечно, я очень горячо его благодарил и некоторое время находился под известным впечатлением возникшей мечты о Париже. И если Александра Павловича волновала судьба ассириологической группы, то меня волновала Нина — я был достаточно реалистом, чтобы ясно представить себе осаду ее все новыми поклонниками и малую вероятность того, что она меня дождется. Уже и так, хотя были отставлены и Гриша Розенблит, и Саня Чемоданов, и другие возможные поклонники, вокруг Нины всегда вился невесть откуда взявшийся великовозрастный (с нашей точки зрения) ботаник Марк Школьник; он избрал ее, как мы постановили, чисто умственно, решив, что это для него

[1] Был металл, притягивающий сильнее (из «Гамлета», англ.).

хорошая партия из интеллигентной еврейской семьи; однако, во всяком случае, уезжая на время отпуска в Сочи, он слал ей каждые два-три дня длиннейшие письма — рекордом было 24 страницы — но Нина в любом случае читала только первую и последнюю. А однажды он прислал ей вместо открытки лист магнолии с почтовой маркой и трогательным текстом. Это все были шутки, но легко мог появиться кто-либо и посерьезнее.

Однако я, пожалуй, лучше Александра Павловича представлял себе нереальность длительной заграничной командировки в 1935 г. — да еще в Лувр, of all the world![1] Да еще двух беспартийных! Потому вскоре успокоился, да и А.П. больше не возвращался к этому разговору.

В тот год Ереховичу, Липину и мне читал курс истории Ассирии и Вавилонии Василий Васильевич Струве. В третий раз я слушал изложение его концепции о рабовладении на древнем Востоке, о частной собственности на «высоких полях», о деспотизме. Нового было мало. Печально качая седовласой головой, как бы с упреком Хаммурапи и Ашшурбанапалу, он говорил об их жестокости по отношению к рабам — черт возьми, это было уж не так актуально, тому прошло четыре тысячи лет! Нововведением была в его курсе история Урарту — было тогда такое «указание»: «Урарту — древнейшее государство на территории СССР».

И опять с тоном упрека Василий Васильевич говорил тоненьким голосом, качая своей огромной головой:

— Урарту, да, конечно, это было первое государство на территории СССР. Но, к сожалению, к сожалению, мы должны признать, вот признать, — и он разводил коротенькими толстыми ручками, — что Урарту, вот видите, было менее развитым по сравнению с Вавилонией. Потому что, ведь, знаете, вавилоняне сумели использовать воды Евфрата и Тигра[2] для ирригации! Это создало великую, знаете ли, цивилизацию, которая имела огромное мировое значение. А урарты, к сожалению, они не смогли использовать вод Ванского озера...

Я не удержался и сказал с места:

— Василий Васильевич, Ванское озеро соленое, — и тем навеки испортил свои отношения с академиком.

Он настолько уже привык к раз навсегда известному объему своих лекций, что этого запаса на годовой курс ему не хватило. Под конец он просто приносил на занятия второй, неизданный том своей диссертации об эллинистическом египетском историке Манефоне, читал эту рукопись, по обыкновению запинаясь — и путаясь, где текст был отпечатан неотчетливо или была правка.

Из весенних экзаменов я помню только экзамен по аккадскому у того же Александра Павловича. Имея в виду, что нас в его группе было всего трое, что мы занимались с ним по два часа пять раз в шестидневку и что за каждую неделю занятий выставлялись отметки, можно было бы предположить, что экзамен будет чистой формальностью. Но не тут-то было: Александр Павлович «гонял» каждого из нас минут по тридцать-сорок и спрашивал со

[1] Из всего на свете! (англ.).

[2] На самом деле — только Евфрата.

всею строгостью, притом так, как будто он впервые нас в глаза видит. И так было и впоследствии, каждый семестр, — и каждый семестр мы все трое упорно готовились (обычно у меня дома), хотя скоро выяснилось, что мне всегда будет причитаться пятерка, Леве Липину — четверка, и весь вопрос состоял в том, будет ли у Ники на этот раз четверка или пятерка.

Дома я заявил родителям в этом году, что не поеду в Коктебель. Они огорчились, особенно мама, стали меня уговаривать. Но я стоял на своем, уверял, что хочу сам себя проверить — способен ли я на самостоятельную жизнь и самостоятельное прокормление. Мама сдалась — секрет ей был известен: она обнаружила среди груд бумаг у меня на столе маленькую фотографическую карточку.

Я договорился в это лето уехать вместе с Юрой Филипповым — сыном маминой подруги С.Ф.Филипповой, тем самым, с которым мы когда-то под Винницей обследовали валы старинной крепости Богуна. Попозже летом к нам приехал Ваня Фурсенко. Мы выбрали для нашего летнего отдыха финскую деревню Хиттолово (ныне Осельки) — вторая остановка по пригородной железной дороге после излюбленного лыжниками Токсова; Хиттолово мне рекомендовала Нина — там она провела два месяца вдвоем со своей подругой; она хвалила леса, одиночество, обилие ягод и катание на гребной лодке по озеру, над которым и возвышался дом рекомендованных нам хозяев-финнов.[1]

Лето оказалось, однако, неинтересным. Хозяева сдали нам пустой сеновал, где мы спали прямо на голых досках; хорошо, лето было теплое, а то в холодную и дождливую погоду в широкие щели между досками пола дуло. Я привез с собой огромный запас сосисок (которые быстро протухли), Юра привез черных буханок хлеба — сверх того, мы покупали у хозяев яйца и картошку и в лесу собирали чернику, бруснику и грибы — лес оказался болотистый, и мы часто бродили почти по колено в воде. Черпали воду из озера в чайник — а потом на дне обнаруживали вареную лягушку. Потом ненадолго приехали Юрины родители; с ними и без них особо увлекательных разговоров у нас не получалось. Интересной была только экскурсия на Кавголовское озеро — на песчаную косу, где, по словам Юры, была неолитическая стоянка. Копать там он нам не дал, справедливо заметив, что это было бы варварством, и для этого нужен открытый лист от ГАИМК, но мы все-таки собрали на косе несколько фрагментов ямочно-гребенчатой керамики, оставленной здесь предками финнов — в таежной зоне со времени неолита не было больших этнических передвижений.[2]

Я привез древние черепки Нине:

---

[1] Впоследствии, конечно, все финны — коренные жители нашей области — были сосланы НКВД.

[2] Правда, отдельные финноязычные группы передвигались. Ленинградские финны, или «чухонцы», в основном заселили эти места после Столбовского мира в XVII веке, а до того здесь, вероятно, были какие-то другие финноязычные племена, — скорее всего, карелы или вепсы. На южном берегу Невы с новгородских времен жили русские, а западнее Ерика (Фонтанки) — ижорцы (ингры, инкерилайсет) и водь — остатки их сохранились западнее и сейчас (80-е гг.).

Век несется, время шутит —
На круженье положись:
Как захочет, он закрутит
Нашу глиняную жизнь.

Я тебе, когда на деле
Срок для жизни наступил,
Обожженной той скудели
Два кусочка подарил, —

Подожди еще немного:
Круг шуршит, верна рука, —
И совсем не дело бога
Обжигание горшка.

Впрочем, ямочно-гребенчатая керамика делалась без гончарного круга. А Нина не стала хранить эти неказистые глиняные кусочки и выбросила их.

Глава девятая (1935—1936)

... Давно уж Ева изгнана из рая,
И в сердце стружки, мусор и содом —
И ты, моя хозяйка молодая,
Одна вступаешь в запустелый дом.

«Зеленая тетрадь»

Сердце! Тебе не хочется покоя,
Сердце! Как хорошо на свете жить!
Сердце! Как хорошо, что ты такое —
Спасибо, сердце, что ты умело так любить!

Советский шлягер середины 30-х годов

I

Новый учебный год, новый, важный год в моей жизни начался рано: уже в первой половине августа я вернулся из Хиттолова, где стало мокро, холодновато и, главное, скучно, — и поехал в Лугу — навестить Нину. Там она жила с сестрой, семнадцатилетней Лялей, и ее ежедневно навещал Шура Выгодский, недавно обретенный друг, познакомившийся с ней, когда она посещала лекции и сдавала экзамены на литературном факультете. Он был немного, а может быть, и не совсем немного, влюблен в Нину, — но я к нему не ревновал: хотя он не уступал мне ни внешностью, ни умом — напротив, я считал его много умнее себя, — но я знал, что он прям, правдив и благороден — и он знал о нашей с Ниной любви; поэтому мне не приходило в голову его бояться.

Ум Шуры Выгодского признавал даже такой разборчивый презиратель человечества, как Мирон Левин.

Что касается Шуриной правдивости, то она была провербиальной и иной раз являлась предметом шуток. Без страха говорил он и в споре с преподавателем, что он думал. Но для Нины он поступался даже принципом. Как-то к ней в Лугу приехал ее неудачный воздыхатель, Школьник, и сообщил, что вернулся в Ленинград и намерен через день навещать ее в Луге. Нина сказала Шуре, что сразу же заявит Школьнику, будто она уезжает из Луги.

— Нет, — заметил он на это, — так будет неубедительно. Нужно, чтобы Ляля небрежно тебя спросила: «Нина, ты не забыла про чемодан, который тебе нужно взять с собой, когда поедешь в Серебрянку?»

Против меня же защитных мер не принималось; мы гуляли с Ниной по лесам и полям и договорились встретиться 15 августа в Главном здании Университета. Нине нужно было взять книги в университетской библиотеке для экзамена по методологии, который предстояло сдавать на литературном факультете некоему Малахову: он был арестован среди прочих методологов еще в 1934 году, но, в отличие от других, был (пока?) выпущен.

Но нам было не до методологии литературы. На обратном пути из читального зала библиотеки я завел Нину в пустую аудиторию и с бьющимся сердцем попросил ее быть моей женой. И не был отвергнут.

Потом был не столько поход, сколько полет на крыльях по всему Ленинграду: катер на Неве, улицы... Ботанический сад, уже как место воспоминаний о более ранних, очень важных встречах... И ощущение полного изменения в наших отношениях. Свобода.

Другими глазами я смотрел теперь и на родной дом — как на гнездо, которое предстоит покинуть.

Мама была недовольна, и это меня очень огорчало. Вообще было непонятно, как Нина, такая во всем совершенная, во всем думающая точно так же, как я, может кому бы то ни было не нравиться — и менее всего можно было понять, чем она не нравилась маме. Я привел Нину в дом. Бабушка Ольга Пантелеймоновна как бы нечаянно вышла из своей комнаты и прошла на кухню — я растерялся, а она потом обижалась, упрекая меня за то, что я Нину с ней не познакомил. Но как знакомят в бабушкином поколении? «Бабушка, познакомься, это моя невеста»? Да мне слова такого не выговорить.

Папе Нина определенно понравилась, и он ласково с ней шутил. Мише тоже. Тата, жена его, — не помню уж, появлялась ли она, я просто ее в этой ситуации не помню. Алеша был скорее смущен.

Но мама, мама... Она же совершенно не умела скрывать своих чувств, и ее неудовольствие сразу заметила и навсегда запомнила обиженная Нина.

Конечно, я наделал ошибок. Считая, что между любящими все, естественно, общее, и что они могут думать только одинаково, я рассказывал Нине про маму и, в частности, про ее сомнения — то, чего никогда нельзя рассказывать. Наверное, и маме я неудачно цитировал Нину — это были два нарушения первейшей заповеди брака, и они имели роковые последствия, которые особенно тяжело сказались к концу маминой жизни. Но это был, конечно, результат маминого воспитания — абсолютная правдивость, не глядя ни на что, и уж, конечно, правдивость перед теми, кого любишь, кому доверяешь как себе. — В дальнейшем все мои попытки заставить этих двух самых любимых мною женщин полюбить друг друга оставались совершенно тщетными.

Мама сказала: она не может примириться с тем, что Нина — дочь Якова Мироновича Магазинера, а он заведомо плохой человек, и давала понять, что он способствовал какому-то наверное же довольно невинному папиному роману, когда они оба работали в «Экспортлессе».[1] В действительности Яков Миронович был чистый ангел по своему характеру, — да если бы он был и демон, какое это отношение могло иметь к его дочери?

Другой раз мама сказала:

— Мне бы не хотелось, чтобы у меня были рыжие внуки.

— Мама, откуда же возьмутся рыжие? Нина же русая блондинка, а отец ее блондин еще светлее! — И все это я, от большого ума, рассказывал Нине, исходя из того, что между нами не может быть тайн! Любое умолчание — это трещина в лютне, the little rift within the lute — так, как у Теннисона: «...unfaith in aught, is loss of faith in all».[2]

---

[1] Много лет назад я встретил эту самую папину «обжэ». Боже ж мой! Ну, правда, прошло немало времени, но все же вряд ли такая дама могла нравиться папе.

[2] Маленькая трещина в лютне... неверность в чем-то есть неверность во всем (англ.).

Дом, который мне предстояло оставить, между тем был очень тесным: в бывшей нашей с Мишей комнате «на отлете» (в конце коридора-передней, где стояли полки с папиными книгами) жили бабушка Ольга Пантелеймоновна и тетя Вера. Большая комната, с эркером и синими обоями, была папиной и маминой. Бывшая столовая была разделена фанерной перегородкой: в темной половине еле втискивался норвежский круглый стол и норвежские, обитые собственноручно мамой, с фигурными спинками обеденные стулья, да еще буфет; в светлой половине вдоль фанеры стояла Алешина кровать, отгороженная у изголовья невысоким белым детским книжным шкафом; от верха шкафа к перегородке, на которую были набиты рейки, были положены доски, ранее служившие для раздвигания стола в случае приема гостей, а теперь они образовывали навес над Алешиным изголовьем: а на досках стоял Алешин игрушечный флот — многие десятки игрушечных военных кораблей, построенных им для страны Виррона (части федерации Верен),[1] чтобы обороняться от Соединенных Штатов. Ни один корабль не повторял в точности ни одного реального корабля, но по обводам, относительным размерам, вооружению, расположению труб и мачт и мостиков каждый корабль представлял собой возможный образец своего класса. Тут были два линкора — «Аса» и «Виррон», четыре крейсера, два крейсера-авианосца, не менее десятка эсминцев и множество служебных судов, торпедных катеров и подводных лодок — при этом выдерживалась серийность sister-ships. Для этого тщательнейшим образом изучались справочники военных флотов мира — советский краткий справочник Шведе и международный справочник «Jane's Fighting Ships»,[2] полученный от главного Алешиного друга — Димы Курбатова, сына папиного знакомого инженера.

В нашей половине комнаты перед окнами рядом стояло два одинаковых стола, каждый с двумя ящиками, мой — левый — беспорядочно заваленный бумагами, Алешин — правый, а еще дальше справа у окна, на тумбочке под самодельным стеклянным колпаком, стояло чудо мастерства — крупномасштабная модель воображаемого эсминца. Она была сделана одним перочинным ножом, с еще большей тщательностью и точностью, чем мелкоразмерный флот. На малых моделях не было ни снастей, ни радиоантенн, потому что в том масштабе их нельзя было воспроизвести. Но на этой модели были и снасти, и антенны. Не было нитки, настолько тонкой, чтобы правильно воспроизвести канаты и провода в масштабе — и они были натянуты из тончайших нитей столярного клея.

Это было не просто моделирование — это была поэзия военно-морского флота, унаследованная от отца, но еще приумноженная. В этой жизни Алеши участвовал только я (мы разыгрывали с ним по сложнейшим правилам игры морскую войну между Вереном и США) и еще Дима Курбатов. Сюда не допускались другие его друзья, хотя дружба с ними у Алеши была очень

[1] Верен — это была федерация воображаемых стран — моих Ахагии, Миндосии и других, и Алешиного Виррона.

[2] «Боевые корабли Джейна» — английский справочник, содержавший силуэты всех военных кораблей мира, расположение орудий и много фотографий. Был изъят с боевых кораблей советского флота на том основании, что... там были силуэты и советских кораблей! Но ведь там были силуэты и немецких кораблей! Следовало бы лучше на этом основании изъять справочник у наших противников...

тесной. Вообще весь класс его (он учился в бывшем Александровском лицее — в школе на улице Рентгена, в двух шагах от нашей Скороходовой) был очень дружным, а Алеша всячески поддерживал его солидарность. Это он сочинил забавную классную «Школьную энциклопедию» и он же перед расставанием в десятом классе весной 1936 г. написал каждому однокласснику по стихотворению. Сборник этот, к сожалению, не сохранился; помню только коротенькие стихи, посвященные товарищу, поступавшему в мореходное училище:

Ну, капитан, погляди на компас,
Отдавай концы, да и в путь;
Но, капитан, не забудь про нас,
Про нас, смотри, не забудь.[1]

Но самыми близкими школьными друзьями и теми, кого нам приходилось видеть и дома, были тогда неразлучные Фима Эткинд и Эрик Найдич. Фима, хорошенький черный кудрявый мальчик, с острым (сквозь очки) взором живых глаз, чуть-чуть нахальный; Эрик, со слегка неправильными чертами лица, выглядевший явно неглупым, но пока каким-то наивным. К их тройственной (вместе с Алешей) компании примыкали две девочки — хорошенькая Катя Зворыкина и на вид незаметная, но добрая и способная Гета Волосова, да еще поклонник (и вскоре муж) Геты — молодой медик Леня Салямон, поразительный красавец, с глубокими черными глазами пророка.

С ними было связано памятное событие в жизни Алеши. Уже после того, как я переехал к Нине, родители купили ему красивую шубу. Надо было жить в середине 30-х гг., чтобы понять, какое это было важное и неповторимое событие. Алеша ей очень радовался. Надев шубу, он пошел в гости к Гете Волосовой, где встретил Леню Салямона; после приятно проведенного вечера они с ним вышли в переднюю коммунальной квартиры — и не обнаружили Алешиной шубы! До дома был один квартал — добежать было не трудно, но обида! В милиции к заявлению о краже, конечно, отнеслись вполне индифферентно. Нужна была воля, чтобы это огорчение обратить в шутку. По образцу шумевшей тогда, в связи со всесоюзным юбилеем Шота Руставели, поэмы «Витязь в тигровой шкуре» (1936) была сочинена поэма «Что-то в тигровой шубе» (произносилось «Шо-то в тигровой шубе»). В ней описывался в эпических тонах визит Тариэла и Автандила в замок Нестан-Дареджан, охраняемый бешеной волчицей и пятьдесят одним запором:

Посидели, поболтали — вот уже пора идти:
Тариэлу с Автандилом до трамвая по пути —
Но никак они не могут шубы собственной найти!

[1] А еще была такая игра (опасная по тем временам): коллекционировать Балтийский флот. Для этого мы ходили на Неву в дни парадов — и так как сюда в эти дни ставили особо отличившиеся в боевой учебе корабли (или, по крайней мере, мы так думали), то они сменялись от раза до раза (только у моста лейтенанта Шмидта неизменно стояла знаменитая «Аврора»); кроме того, мы ходили, насколько было возможно, вниз по Неве — там у Невского завода из года в год стоял корпус недостроенного в Германскую войну линейного крейсера «Бородино», а иногда ремонтировались и другие суда.

Видно, кто-то наши шубы из передней тихо спер!
Смотрят витязи — отвинчен пятьдесят один запор,
Брошен бешеной волчице в пасть разинутую мор
И бесследно испарился, точно дым, нахальный вор!

Тариэл тогда воскликнул: О, я жалкий мещанин!
Как теперь пойду ходить я по морозу, как кретин?
В чем теперь пойду гулять я с несравненной Тинатин?

Это показывает, что эпизод происходил несколько позже — несравненная Тинатин была Нина Луговцова, будущая Алешина жена, которая в 1936 г. не появлялась в поле нашего зрения, хотя тоже была из Алешиных одноклассников. Но до нее была другая, несчастная любовь, о которой никто, даже из ближайших друзей, от скрытного Алеши ничего не знал, а я догадывался по показанным мне стихам:

Степь

По степи я ходил вчера.
Вспоминались мне вечера,
Вспоминались мне знойные дни, —
Так и ты обо мне вспомяни!
.....
Расскажи, для чего же ты
Появилась из темноты,
Из тумана забытых дней, —
Ушибить мое сердце больней?
.....
Первый раз я плакал в рукав,
Горю волю при звездах дав,
Ветру я рассказал про все, —
Ветер — пусть до тебя донесет!

1934

Вечер в степи

То же небо смеется ехидно,
Расстелив свой ковер надо мной,
То же море шумит обидно,
Тот же ветра немолкнущий вой.

Каждый день так похож на брата,
Что с зарею ушел вчера,
Тех же гор неподвижные латы
Разбросали лучей веера.

Та же степь потаенным ухом
Мои мысли слушает зло;
Опьяненный полынным духом,
Расправляет орел крыло.

Видит он то, что нам не видно,
Знает то, что не знаем мы...
То же море шумит обидно
Средь идущей на Землю тьмы.

1934

Прощанье

Что же, уезжаю,
Я с тобой прощаюсь.
Люди по перрону бегают спеша...

Молча провожаешь.
Встречи я не чаю.
Вот, у лет грядущих можно поспрошать.

Солнце блещет ясно,
Море плещет яро,
Словно тоже хочет мне сказать «Прощай!»

Что же, все прекрасно.
Надо жить не даром —
Север, снова желтой осенью встречай!

Я не обижаюсь..
Я любви не чаю.
Жизнь и так, по-моему, очень хороша.

Что же, уезжаю.
Я с тобой прощаюсь.
Люди по перрону бегают, спеша.

1935

Все

Соленый пепел строк лиловых,
Листов измятых серый ком,
Шипенье в печке щеп сосновых ..
А город белый — за окном.

Целует пламень жарко строки,
Как я когда-то целовал,
А пламень жжет, а пламень строг — и
Он косит строки наповал.

А в этих строчках столько жарких,
Забытых чувств, забытых снов —
Что пламя вспыхивает ярко
Зубцами желтых языков.

Но вот последних букв узоры
Слизнул горячим языком...
Меня простит за все укоры
Вот этот теплый пепла ком.

1936

Утро

Утро разливается
Над морским туманом,
Солнце подымается
Из-за моря краном,
Серый дым таинственный
Тает в бледной мгле,
Солнца луч единственный
Виден на земле.
Моря вздохи слышатся
У больших мысов
И едва колышатся
Щеки парусов.
Степи просыпаются,
Только горы спят.
Лес перекликается
Песнями цикад
Правит сон татарами,
Лишь поет петух,
Да овец отарами

Гонит в степь пастух;
Песенка печальная
Слышится вдали.
В песне той причаливают
Где-то корабли.
Песня как загадочный
Заунывный стон,
Словно беспорядочный
Непонятный сон.
Кто поет ту песенку?
Может, я пою?
Вот вхожу по лесенке
В комнату твою —
Что меня встречаешь ты
Грустною такой,
Иль не различаешь ты:
За моей рукой
Солнце подымается
Медленно в зенит,
Утро разливается,
Горы золотит!
Утро это ясное —
Это наши дни.
Ты печаль напрасную
В сердце не храни.
Утро занимается
Над морским туманом.
Песня заливается
Где-то за курганом.

1936

Телефон

Небо вымазано черно-черно,
А на нем месяц, как ноготь медный,
Ему все равно, и мне все равно, —
Он такой же, как я, неудачник, бедный!

Только месяц плывет, а я иду,
Наступил на плиту тротуарную, серую.
И он, и я на свою беду
Любим ее, и в нее не веруем.

В то, что сказал, неужели вникли вы?
Все равно не поймете, не врите мне!
Я простую монету — гривенник никелевый
Подымаю с белесых камней.

Я за этот гривенник, до дыры не протертый чуть,
Отдам коль не жизнь, так треть ее...
Черные вороны клюются в грудь —
Первая, вторая, третья.

Автомат зарычал, как тигр простуженный,
А сердце стучит в микрофона щелки.
Телефон привык монетами ужинать,
Рыгает в ухо, плюет и щелкает.

Сквозь треск и рычанье тебя услышу я,
Как ты упрямо говоришь «нет», —
Далеко за домами, за ржавыми крышами,
В лицо, в глаза прокричала мне!

В то, что сказал, неужели вникли вы?
Вы поняли? Очень странно. А мне
Понятно одно, — что гривенник никелевый
В брюхе автомата лежит на дне.

1936

*

Вспомнил: ты умерла вчера...
По стеклу барабанил дождь,
Он шумел за окном до утра
Меж ветвей обнаженных рощ.

Продолжала лампа гореть
Как всегда над твоим столом.
Твой стакан осушен на треть,
Запотело его стекло.

Я еще не запер дверей,
Но остаться с тобой нельзя,
Вижу я: отпечатки теней
По лицу твоему скользят.

А в глазах открытых твоих
Наши встречи отражены.
Знаю я, что о нас двоих
Песни горькие сложены.

Ухожу, закрываю дверь
И стою, прислонясь к стене.
Что мне делать, скажи, теперь?
Только песни остались мне!..

1936

Сон

Кажется, что я опять стою
У перил чугунного моста —
Неужели я опять пою
(Или снова я беспечным стал?)

Или я опять стою с тобой
У литых, заплескавших перил
И опять ты говоришь мне: «Пой!»,
И опять смеются фонари?

Там, внизу, зевающая мгла,
Далеко туманные огни
Освещают медленную гладь,
И над этим мы стоим одни.

Ты мне руку тихо подаешь,
Молчаливо смотришь на меня,
И в руке твоей — немая дрожь, —
Жизнь еще не прожитого дня.

1937

По нашим с мамой предположениям, его первой любовью была бледная, сероглазая, русая и красивая, — но, как нам казалось — быть может, ошибочно — незначительная, — Лена Тютюнджи, караимка, дочка директора коктебельского писательского дома отдыха, чуть постарше Алеши и, по

слухам, в 1935 г. приехавшая в Ленинград учиться. Серия стихов тянулась с 1934 до 1937 г. (Алешины 15—18 лет), и там был юг, море, ступеньки одноэтажного дома, серые печальные глаза и ленинградские улицы. Но, безусловно, мы могли ошибаться.

Папа последнее время нигде не работал — он был уже год или два как принят в Союз писателей, ушел из Арктического института, где отношения стали складываться неважные с начальством, — прежде всего, с новым директором издательства, — теперь папа, сидя по обыкновению за столом перед золоченым медведем до поздней ночи в пиратском головном платке и золотистом дедушкином бухарском халате, что-то переводил, но, главное, писал книги по истории полярных исследований — уже вышла книга «Руал Амундсен» для серии «Жизнь замечательных людей» и краткая «История полярных исследований» и была начата большая книга на ту же тему. Книга была задумана как научно-популярная, но специальных монографий на эту тему не существовало, — и дома появились многочисленные подлинные отчеты об экспедициях — Шекльтона, Скотта, Седова, де Жерлаша, Нансена, Крашенинникова. Обед происходил все так же весело и шумно, на столе появлялся на серебряной тарелочке дареный серебряный кувшинчик с водкой и крошечными серебряными рюмками. Ровно одну папа выпивал перед обедом, потом шел отдыхать перед долгой работой. Дом был постоянно полон гостей из числа литераторов и завсегдатаев Коктебеля — М.Э.Козаков, М.С.Слонимский, С.А.Заранек, С.А.Богданович, Н.Я.Рыкова, и, конечно, в любое время заходили старые друзья и родные — тетя Анюта, тетя Женя, тетя Варя, бабушка Мария Ивановна; Борис и Надя Дьяковы, Серафима Федоровна Филиппова с мужем. И многие другие.

Раз в году появлялся неизменный Иван Вылегжанин, бывший швейцар Азовско-Донского коммерческого банка — «проздравить Михаила Алексеевича».

В тот последний год, когда я еще жил дома, я начал понемногу зарабатывать. По рекомендации А.П.Рифтина я взялся писать инвентарь клинописной коллекции Института книги, документа и письма (ИКДП).

Этот институт был создан вокруг Музея истории книги, документа и письма, а музей был первоначально частной коллекцией академика Николая Петровича Лихачева. Н.П. в царское время был богатым промышленником, в свободное время занимавшимся палеографией и особенно сфрагистикой — наукой об оттисках печатей на исторических документах. Он был активным членом Российского археологического общества, профессором Петербургского археологического института и с 1925 г. академиком. Он рано поставил себе цель создать музей истории письменности — начиная с первых ее шагов до появления книгопечатания. До войны он часто наезжал в центры антикварной торговли — в Париж, Стамбул, Каир — и действительно собрал совершенно уникальный музей, которому не было и нет подобных в мире. В нем были фрагменты египетских иероглифических надписей всех периодов, ближневосточные, латинские и византийские рукописи, карфагенские надписи, надгробия сирийских несториан из Семиречья, редкие печати с надписями, самого различного происхождения. Но особенно замечательна была его коллекция клинописных документов. По числу единиц хранения

она, конечно, не шла ни в какое сравнение со знаменитыми собраниями Британского музея, Лувра, Берлинского музея, Стамбульского музея; но ни в одном собрании мира не были так полно представлены *все* периоды развития клинописи, от самого первого в мире предклинописного иероглифического документа четвертого тысячелетия до н.э. до эллинистических текстов последних веков до нашей эры; и все жанры клинописных текстов — хозяйственные, юридические, культовые, литературные, словарные, математические, геодезические. Не было и нет на свете коллекции, лучше приспособленной для воспитания ассириологов-универсалистов. Если я стал тем, чем я стал в науке, этим я во многом обязан коллекции Н.П.Лихачева. Она, вместе с соответствующей библиотекой, занимала целый отдельный дом на Петроградской стороне. В годы гражданской войны этот дом стало невозможно отапливать, и это грозило сохранности бесценных памятников. Н.П.Лихачев подарил свою коллекцию, вместе с библиотекой, Академии наук (оформлено дарение было лишь в 1928 г.). Коллекция была перевезена в построенное перед самой войной и еще не полностью облицованное здание Библиотеки Академии наук и заняла там половину второго этажа. Вскоре Н.П.Лихачев не по своей воле был вынужден уехать в Астрахань, заведовать коллекцией был поставлен египтолог Юрий Яковлевич Перепелкин, а затем вокруг музея возник целый Институт истории книги, документа и письма, с директором, ученым секретарем, просто секретарем, машинисткой и десятком сотрудников. Что именно они делали, я не знаю — в те времена печатание гуманитарных работ, не призывавших непосредственно к классовой борьбе или мировой революции, было чрезвычайно затруднено. Единственное известное мне издание — это краткий путеводитель по музею, блестяще написанный Ю.Я.Перепелкиным и содержащий весьма основательные сведения и обобщения по истории письма, и, по-моему, не потерявший научного значения и сейчас. К сожалению, путеводитель вышел крошечным тиражом, о существовании музея публике не сообщала даже самая невзрачная вывеска, ни у входа в здание, ни у входа в институтскую половину второго этажа. Ю.Я.Перепелкин, единственный из сотрудников музея, совершенно лишен был способности создавать какую-либо рекламу, — и уж тем менее, скажем, напечатать заметку в «Вечерней Красной газете»! В результате, в книге для посетителей, где им полагалось расписываться, за все время существования ИКДП не набралось, пожалуй, и десятка подписей.

Коллекция, однако, находилась на материальной ответственности Юрия Яковлевича, и он обязан был обеспечить ее инвентарными книгами. Ко времени моего появления здесь арабские рукописи уже описывал В.И.Беляев, а семитские алфавитные надписи (пунические и сирийские несторианские) — А.Я.Борисов. Работал в музее и А.П.Рифтин, но он готовил издание «Старовавилонских юридических и административных документов в собраниях СССР», копирование текстов отнимало у него много времени, а дел у него, при его живой энергии, и без того всегда было много, и писать инвентарь документов, не представлявших для него интереса, он, естественно, не хотел. Поэтому он предложил Юрию Яковлевичу мою кандидатуру.

Юрий Яковлевич Перепелкин был выдающимся ученым, но прежде всего он был замечательным и совершенно своеобычным человеком. Что в нем

содержалось — было полностью скрыто внутри, и мне понадобилось полвека, чтобы понять и оценить его. Тот же, кто встречался с ним случайно — как я тогда в ИКДП, — видел только черты внешнего чудачества. Бледное лицо, бледные усы, много понимающие, но себе на уме глаза, некоторая непривычная для 30-х гг. подтянутость при весьма, весьма скромной одежде (ордерный костюмчик из дешевой синей фланели) — так же бедно он одевался и позже, когда уже получил степень доктора без защиты и звание старшего научного сотрудника, — руки чисто вымытые и часто вновь умываемые с мылом, чаще даже скрытые в перчатках, манера насмешливо титуловать каждого (хоть бы и меня) «профессор»... — и обязательно с именем и отчеством, — рукопожатие, представляющее целый обряд, какая-то непрестанная ирония к другим и к себе... О Юрии Яковлевиче, каков он был на самом деле, я попытаюсь, если успею, написать отдельный очерк.[1]

Музей занимал одну большую комнату, заставленную горизонтальными стеклянными витринами; по стенам было несколько опечатанных шкафов, а у окон — несколько маленьких столиков для писания. В зале было очень тесно — видимо, музей стеснили, чтобы разместить директора, ученого секретаря, просто секретаря, машинистку и тот десяток сотрудников, — было тесно и довольно темно, кроме как у окон.

Когда я пришел в этот музей и представился Юрию Яковлевичу, он повел меня к ученому секретарю — договориться о работе. Ученый секретарь был уже привычным мне типом советского чиновника, который вряд ли мог иметь какое-нибудь реальное отношение к книге, к документу (кроме своей канцелярской отчетности) или к письму. Он объяснил мне, что я должен буду записывать в книгу внешнее описание документа, и так как содержание его нельзя установить без специального исследования (все это он, очевидно, повторял за Перепелкиным), то мне следует скопировать подлинный текст первых и последних строк документа. Он прибавил, что В.И.Беляеву и А.Я.Борисову платят по 1 р. за номер, но что, поскольку я студент, то буду получать 50 копеек. Это меня совершенно не устраивало, и я сказал ему, что, по-моему, должен оплачиваться мой труд, а не мое образование, и что за одинаковый труд должна причитаться одинаковая плата — 1 рубль. Он опешил и согласился, и тут же был написан договор черным по белому. Кто таким поворотом событий был ошеломлен, так это Ю.Я.Перепелкин. Он потом вспоминал мне этот эпизод всю жизнь и изображал даже в лицах. Тем не менее, он не счел меня за рвача, и то, что я могу за себя постоять (что ему самому никогда не удавалось), как видно, произвело на него даже благоприятное впечатление; по крайней мере, он всю жизнь ко мне хорошо относился и даже как-то выделял из других своих коллег (наряду, пожалуй, со старорежимно-благородным коптологом Петром Викторовичем Ернштедтом, тоже немалым чудаком). По крайней мере, я был единственным человеком, которому он когда-либо в жизни предложил соавторство — с другими он не только никогда не соавторствовал, но даже не соглашался оказаться с ними под одной обложкой; по этой причине он никогда не публиковал статей в журналах.

[1] Ю.Я. был из семьи морских офицеров, перешедшей на службу к СССР, но полностью уничтоженной.

Мне было отведено место за маленьким столиком справа у окна; левее меня за таким же столиком, часто в те же часы, сидел А.Я.Борисов, который составлял инвентарь — а вернее, копировал надписи — семиреченских несторианских надгробий: это были тяжелые, сантиметров 50х25, базальтовые валуны или обкатанные сверхгальки, с выбитым на них крестом и надписью по-сирийски.

Как-то раз, взваливая на стол очередной камень, Андрей Яковлевич сказал:

— Эх, хорошая щебенка получилась бы. Знаете, как я бы хотел жить? Полгода странствовать по дорогам и бить щебенку: обмотаешь ноги тряпками, зажмешь камень и бьешь молотком. А полгода читать семитские надписи.

Юрий Яковлевич в комическом ужасе воздел руки к небу:

— Андрей Яковлевич, Андрей Яковлевич, что вы говорите!

Еще левее был стол Александра Павловича Рифтина, но он редко приходил в те же часы, что я. Как-то раз я пришел, когда он был на своем месте: подошел к нему — он сидел, вставив часовщицкую лупу в глаз, читал клинописный текст и быстро копировал его на ватмане тушью поверх слегка нанесенного карандашом контура. Текст был старовавилонский, а старовавилонские курсивные почерки, тесные, неразборчивые — самые трудные для чтения. Я взглянул на глину — и ужаснулся, подумав, что такого я никогда не смогу читать. Видя мой ужас, Александр Павлович улыбнулся и процитировал свое любимое четверостишие:[1]

«Милый мальчик, ты так весел, так нежна твоя улыбка —
Не проси об этом счастье, разрушающем миры!
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателей игры».

Я-то копировал шумерские документы из Лагаша, самое красивое и легкое, что есть в истории клинописи.

Виктора Ивановича Беляева я видел в ИКДП редко. Зато вскоре стал появляться сам Николай Петрович Лихачев. Он отбыл свой срок высылки в Астрахань и вернулся в Ленинград, где жил где-то, — вероятно, в каком-нибудь углу у родных или знакомых, одинокий. Ни академического звания, ни какой-либо работы ему не вернули, о его прежнем научном положении напоминала только черная академическая чеплашка, в какой ходили дореволюционные профессоры. Он зарабатывал себе на хлеб, рассказывая хранителю бывшего собственного музея провенанс[2] собранных им памятников. Провенанс этот мало что давал — подавляющее большинство вещей было куплено у спекулянтов-антикваров, которые сами не знали, а часто не хотели сообщать — откуда происходят продаваемые ими вещи. Делал Н.П. эту работу на основе почасовой оплаты, но подолгу выдерживать не мог — был он уже стар и немощен. В конце концов он говорил Юрию Яковлевичу:

---

[1] Из Н.С.Гумилева, тогда, конечно, запрещенного.

[2] Насколько возможно точное определение происхождения музейного объекта: где именно найден, кем, когда, издавался ли; если куплен, то те же данные со слов продавца; кем именно и когда продан. Если ранее издавался, то кем, где и когда.

— Ну, Юрий Яковлевич, на сегодня довольно: я уже три часа проработал.

На что Перепелкин отвечал:

— Нет, Николай Петрович, только два часа сорок пять минут; так мне и придется записать.

Старик сердился, но Юрий Яковлевич был неумолим.

Меня это вчуже возмущало. И ведь Юрий Яковлевич вовсе не был злым человеком — напротив, он был человек добрый. Но он был педант, и, кроме того, неправильная запись была бы ложью, а солгать было для него грехом вовсе невыносимым. Как он выходил из жизненных положений, столь частых в нашем веке, когда не солгать невозможно, — это особая поэма.

Однажды Николай Петрович подошел к моему столу.

— Здравствуйте, молодой человек. — Я встал. — Как вас зовут? Вы ученик Александра Павловича Рифтина?

Я подтвердил это и назвался.

— Сидите, сидите, работайте, пожалуйста. Вы копируете документы из Ширпурлы? — (Это было старое ошибочное чтение названия шумерского государства Лагаш). — А знаете, когда я их приобретал, они считались древнейшими в мире. Эрмитажу предлагали купить документы Блау, Михаил Васильевич Никольский правильно определил тогда их большую древность и подлинность, но с ним не согласились, и они уплыли от нас. А я, когда был в Берлине, меня в музее принимал хранитель (он назвал имя прославленного ассириолога). Он не знал, что я понимаю в этих вещах, и открыл передо мною ящик с неизданными таблетками. И я нечаянно воскликнул: «Это же древнее Ур-Нины!»[1] Он сразу захлопнул стол. Это были таблетки из Фары, их потом издал патер Даймель.

Я подивился. Узнать за секунду, что документы из Фары отличаются от лагашских и старше их — для этого нужен очень опытный глаз. А я знал, что Николай Петрович клинописи читать не умеет.

Он, конечно, был виртуоз. Когда впоследствии вся его коллекция клинописи перешла в мое хранение, я обнаружил в ней множество фальшивок. Н.П. нарочно ими восхищался и покупал их, чтобы заморочить голову антиквару; а потом говорил: «ну, для круглого счета заверните еще и это», — а «это» и был неведомый самому антиквару уникум истории письма. Так Лихачев приобрел, между прочим, шумерский текст, по сей день остающийся древнейшим в мире (издававшийся Шилейко в «Энциклопедии Брокгауза и Ефрона», а потом мной). А если он так понимал клинописную палеографию, то насколько же лучше и глубже он знал палеографию средневековую, в которой он и сам считал себя специалистом!

В конце 70-х или начале 80-х гг. в большом зале ленинградского отделения Института истории (бывшем доме Лихачева на Петрозаводской улице) состоялось научное заседание «памяти академика Николая Петровича Лихачева». Зал был битком набит, один за другим выступало чуть ли не

[1] Ур-Нина — старое прочтение имени старейшего тогда известного правителя шумерского государства Лагаш; теперь читают Ур-Нанше или Ур-Нази. Его надписи составлены еще до-клинописным, линейно-иероглифическим письмом. Если бы от его времени сохранились не только надписи, но и документы, они выглядели бы примерно так же, как документы из Фары.

полтора десятка ораторов. Тут оказалось, что Николай Петрович внес незабываемый вклад в русскую науку.

Тогда же, в 1935 г., его имя мало кому что-либо и говорило. Он умер вскоре после того, как я с ним познакомился; Институт книги, документа и письма был влит в Институт истории, а музей был ликвидирован в 1940 г. — при обстоятельствах, которые я еще опишу. Значительную часть коллекции — но не всю ее — отдали Эрмитажу, якобы под условием создать там постоянную выставку истории письма. Но тут подошла война, а потом различные внутренние трудности помешали осуществлению этой идеи, хотя сначала я, а потом А.А.Вайман пытались — half-heartedly[1] — что-то сделать. Но чтобы подготовить такую выставку хорошо и интересно для публики, нужна была универсальная эрудиция Лихачева и организационные, экспозиционные и даже рекламные способности, которыми мы или не обладали, или просто не могли посвятить всему этому нужное время, отрывая его от других повседневных трудов.

В ту же осень 1935 г., когда я работал в ИКДП — впервые как профессиональный ассириолог, — я написал и свою первую научную статью. В годовщину смерти Н.Я.Марра состоялась в актовом зале общеинститутская студенческая научная сессия, и доклады должны были быть опубликованы в литографированном журнале «Лингвист», два номера которого уже успели выйти.

Мой доклад был первый. Он был посвящен происхождению аккадского термина для «города» и содержал первые зачатки тех исторических идей, которые я разрабатывал и впоследствии, пока не бросил заниматься историей в начале 70-х гг. Нина так волновалась за меня, что ее однокурсник Борис Карпович прислал ей записку: «Я боюсь за твое здоровье». Поскольку выступлений по докладам не полагалось, я не знал, как удалось мое выступление. Но, по крайней мере, в зале было молчание — правда, и доклад был коротенький. Он действительно вышел потом в литографированном сборнике экземплярах в пяти, максимум — десяти. Свой экземпляр я много лет спустя отдал в библиотеку Института востоковедения, а уже в 80-х гг. его издали по-английски в Венгрии.

Второй на сессии имени Марра выступала Наташа Морева, в то время преданная ученица Ольги Михайловны Фрейденберг, которая славилась своими — довольно заумными, как мне тогда казалось — штудиями в области мифологии с точки зрения учений Н.Я.Марра. Наташа была на вид такая, как мы представляли тургеневских или, как сказали бы сейчас, викторианских девушек. К нашему удивлению, она делала доклад о Марциале, трактуемом с точки зрения мифологемы священного брака. Марциал — очень остроумный поэт (я впоследствии баловался переводами из него), но совершенно непечатный, вроде Баркова, только лаконичнее и веселее, не эпик, а лирик: мы с замиранием сердца следили за изгибами текста доклада Наташи Моревой, направляемыми Ольгой Михайловной Фрейденберг.

Третий докладчик был Борис Карпович, интеллигентный, уже женатый молодой человек из группы англистов; он входил в одну компанию с Ниной

[1] Не очень решительно (англ.).

Магазинер, Галкой Ошаниной, Петром Потаповым, Лисй Рабинович, Талкой Амосовой. Но независимо от этой дружбы, Борис Карпович был комсоргом их группы — вследствие чего томнейшая и глупая профессор Е., читавшая у них историю английской литературы, смело высказав вдруг какую-нибудь не ахти сколь глубокую мысль, склонялась в его сторону и говорила:

— Это и методологически правильно, товарищ Карпович.

Доклад его был из истории английского языка, по-видимому, интересный. Борису сулили большую научную будущность. Но у него были жена и сын, он где-то подхалтуривал, и ему было не до науки. Позже он из армии (где служил на Дальнем Востоке и остался жив) в 40-х годах не вернулся и остался армейским политработником.

Кстати, насчет истории английского языка. Этот предмет читал милейший Владимир Карлович Мюллер, автор множества словарей, наивный старорежимный профессор — и поразительно искренний враг немецкого милитаризма. Переход от староанглийского к среднеанглийскому и утерю внешней грамматической флексии он объяснял... эпидемией чумы в XIV в. А после него курс исторического синтаксиса английского языка читала уже упоминавшаяся в предыдущих главах Т.Я., в то время восходящая лингвистическая звезда; нельзя было сказать, чтобы она была красива; ее часто видели беседующей о науке с А.П.Рифтиным, однако голос ее (на публику) был пискляв (дома она говорила баском), а держалась она так жеманно, что в отличие от иных я был уверен в чистой научности их отношений с А.П.Рифтиным.

Переход к среднеанглийскому Т.Я. объясняла развитием буржуазных отношений в Англии. На экзамене она и В.К.Мюллер сидели рядом.

Экзаменуется Е.Л.Ошанина. В билете вопрос — причины перехода от англосаксонского к среднеанглийскому. Обернувшись к Т.Я., Галка обстоятельно объясняет влияние буржуазного развития на фонологию. Но тут вступает сидящий сбоку Мюллер:

— Да, а еще какая тут была причина?.. — довольно робко спрашивает он.

— Чума! — оборачивается в его сторону Галка.[1]

II

В тот год вместо Марра объявленный курс «Нового учения о языке» читал Иван Иванович Мещанинов. Ему — и разным обстоятельствам из жизни нашей филологии в 30-е—50-е гг. — я надеюсь посвятить отдельный очерк, но есть смысл немного рассказать о нем и здесь.

Иван Иванович Мещанинов был воспитанником училища правоведения,[2] но во всяком случае изучал археологию и был близким сотрудником Н.Я.Марра по ГАИМКу с его основания. До тех пор он выпустил некоторое количество работ по урартологии («халдоведение», как она тогда называ-

[1] Осмысленность обоих объяснений примерно одинаковая. Такое же изменение шло во французском языке в VI—X вв., в болгарском в течение средневековья, в древнееврейском — аж в начале I-го тысячелетия до н.э.

[2] В «Большой Советской Энциклопедии» говорится, что он учился в Петербургском археологическом институте. Но в этот институт принимали только лиц с законченным высшим образованием.

лась), совершенно неудовлетворительных даже на глаз таких «клинописцев», какими были мы — то есть даже на глаз ассириолога-первокурсника; и два сборника цитат из работ Марра, предназначенных для непосвященных в таинственный смысл «яфетидологии» — таких было много, точнее, все лингвисты и филологи принадлежали к их числу, поскольку учение Марра стало к концу 20-х гг. вполне параноидальным. Лучше других был самостоятельно написанный Иваном Ивановичем II-й том «Языка ванских надписей» (первый том был сборником цитат из Марра); но и во втором томе что было верно, то принадлежало немецким филологам И.Фридриху и А.Гётце, а что принадлежало самому И.И., было на 90% неверно.

Н.Я.Марр сделал И.И.Мещанинова академиком и вообще среди всех своих учеников выделял именно его; это было общеизвестно, и после смерти Марра И.И. стал столь же признанным главой советского языкознания (признанным, во всяком случае, партийными органами). Но удивительно было то, что в этих условиях Мещанинов, во-первых, начал серьезно учиться лингвистической науке (говорили, что наставниками его были А.П.Рифтин и С.Д.Кацнельсон, оба прекрасные лингвисты, особенно в области лингвистической типологии); и во-вторых, он вернул в науку добрый десяток крупных филологов и лингвистов, выжитых марровскими прихлебателями. Говорили, что лектор он хороший, что в подборе и при аттестации аспирантов строг, но справедлив, халтурщикам и горлопанам не дает потачки.

Мы часто видели его и успели присмотреться к нему и на лекциях, и в коридорах. Он был роста ниже среднего, ходил в светло-сером костюме, стройный, подтянутый, и на его правильном, но словно бы ничего не говорящем лице блистало пенсне — его с середины тридцатых годов уже почти никто не носил, кроме моего папы; но у папы пенсне способствовало веселой игре глаз, а у Ивана Ивановича оно только делало лицо еще более сухим и неподвижным.

Курс, который он читал у нас, был в сущности неким «Общим языкознанием» (так потом и назывался), — а точнее говоря, это было изложением теории стадиальной типологии языков, очень стройным и несомненно интересным. Пресловутые четыре элемента исчезли из этого курса; главное внимание уделялось в нем синтаксической типологии, которой придавалось стадиальное значение (не без некоторого интуитивного основания, но, к сожалению, еще без достаточных прямых доказательств того, что типологические стадии сменяются именно в этой последовательности, и что именно такая смена стадий носит универсальный характер). Главная беда в том, что Иван Иванович оперировал юкагирскими, чукотскими, алеутскими,[1] а также грузинскими и адыгейскими примерами, но совершенно

1 Для этого он пользовался недавно вышедшей весьма замечательной книгой «Языки народов Севера», Т.I, под редакцией политической фигуры — некоего Я.Алькора, но составленной отличными учеными — Таном-Богоразом, Крейновичем и другими. Второй том не вышел — Богораз умер, а другие были «репрессированы».

отсутствовали примеры из индоевропейских языков и их характеристика — надо думать, что И.И. отдавал себе отчет в том, насколько он в этой области явно слабее множества старших коллег, и как легко он тут мог наделать ошибок.

Для меня особенно интересны были чукотские примеры, ибо этот язык очень близок типологически к шумерскому — языку с настолько странной грамматикой, что хочется считать, что это «придумано нарочно» — как в прошлом и считали. Вообще для меня, который должен был профессионально иметь дело с языками различной типологии: хеттским и греческим (индоевропейскими), семитскими, шумерским (а до того — с английским, немецким, скандинавскими, а после того — с эламским, урартским и хурритским), типологическое языкознание было очень интересным и важным. Правда, изложение лекций Мещанинова было несколько абстрактным, и больше я почерпнул из грамматических вступлений Александра Павловича к его ежедневным языковым занятиям — они носили характер бесед, поэтому кое-что, важнейшее, повторялось, а кое о чем можно было спросить и переспросить.

Наша тройка ассириологов в 1935/1936 году очень сдружилась. Этому немало помогли начавшиеся у А.П.Рифтина занятия шумерским языком — дело довольно замысловатое и как нельзя более способствовавшее взаимопомощи. Примеры он брал из учебника А.Даймеля — это было очень удачно, так как у этого автора они были подобраны из разных периодов и жанров — хозяйственные документы, надписи, царский список, литературные отрывки, — а мы заодно знакомились и с общим характером шумерской письменности и с пошибами разных периодов и немножко с шумерской историей. Грамматика же Даймеля была не в пример хуже. Я вел подробный конспект лекций А.П. — впоследствии переписанный мной начисто и позволивший мне впоследствии самому разбирать еще не читанные тексты и начать заниматься шумерским со студентами. Для этого, правда, пришлось еще на пятом курсе одолеть труднейший «Цилиндр А» Гудеа.

Позже, когда я женился, мы иной раз готовились, особенно перед экзаменами, у меня дома, до этого же мы бывали друг у друга редко — Ника Ерехович жил вообще неизвестно где, то ли снимал где-то угол, то ли обитал у друзей. А друзья у него были старше его и необычные — по его же словам, один из них был чистый немец, а другой — бывший эсер; то и другое в то время уже звучало зловеще, и мы даже, кажется, говорили об этом Нике, но он только отшучивался. Он позволял себе еще и не такое. Еще в декабре 1934 г. — мы как-то шли с ним в хороший невский ветер через Троицкий мост — он вдруг сообщил мне, что перешел в лютеранство (что Ника верующий, он никогда не скрывал). Однако чем лютеранство предпочтительнее православия, мне было неясно. Из Норвегии лютеранская служба запомнилась мне как что-то очень занудное и скучное, а с точки зрения догматической я знал лишь, что лютеране отрицают заступничество святых, в которое, по-моему, все равно никто не верил, по крайней мере в моем поле зрения.

Другой раз, в характерной для него серьезно-шутливой манере, Ника сказал, что предложил бы ввести во всех армиях в военное время людоедство.

Если столько людей убивают, то почему уж их и не есть? Как облегчится армейское снабжение!

У меня Ника иной раз бывал и даже оставался ночевать, если почему-либо в нашем перенаселенном доме находилась свободная койка (раскладушки тогда, кажется, не вошли в употребление).[1]

Бывали мы оба и у Липина. Он жил на Петроградской (кажется, на Пушкарской), в маленькой, помнится, однокомнатной квартире первого этажа. Ходили мы — или, по крайней мере, я — обменяться книгами или конспектами; у него никогда не занимались — обстановка была неподходящей. Липин был женат. Жена его, хорошенькая, но незначительная черненькая молодая женщина, была, помнится, медицинской сестрой, работала на ночных дежурствах и в наши приходы либо тут же спала, либо что-то делала по хозяйству и явно стесняла Липина.

В одно из этих посещений Липин рассказал мне про себя. Далеко не все, как выяснилось впоследствии. Он сообщил, что смолоду вступил в партию, был призван в армию и там не поладил с командиром — уж не помню, не то просто обругал его, не то даже ударил, за что был исключен из партии. Я спросил его, пытался ли он восстановиться в партии — статус исключенного был в те дни не только крайне обременителен и неприятен, но прямо опасен; он сказал, что не захотел унижаться и снова, может быть, подвергать себя риску. В дальнейшем, как я уже знал, он попал на работу в Торгсин. Меня это несколько удивило — я представлял себе, что в Торгсине к анкетам служащих предъявлялись более чем придирчивые требования, — но тогда уже начали вырабатываться привычки не спрашивать о том, о чем тебе сами не рассказывают.

С женой, между тем, у Липина начались серьезные беды. По его рассказу, как-то, возвращаясь поздно из института, он застал у нее неизвестного гражданина. Они пили чай. Липин сел пить с ними. Пообедали. Видимо, пили не только чай. Наконец, неизвестный гражданин, осмелев, попросил у Липина разрешения остаться переночевать. Ему постелили на матрасике на полу. Липин лег и заснул, но под утро проснулся в страшной ярости. Он схватил одежонку неизвестного, выбросил ее на площадку лестницы, а затем разбудил самого неизвестного и, под вопли жены, в одной сорочке вывел его, подталкивая пинками, тоже на площадку лестницы, где тот, одевшись, принялся барабанить в дверь. Липин открыл, но не впустил его, а сказал какую-то фразу, которая тогда показалась мне остроумной, но сейчас, хоть убей, не могу ее вспомнить.

Как Липин получил эту квартирку, я не знаю. Вскоре он разошелся с женой и переехал в комнатушку где-то в трущобный дом за Малым проспектом, ближе к Ждановке. Это был такой дом, что милиция в него не смела соваться, и когда в одной из его квартир убили человека, а труп выставили на лестницу, то он стоял там неделю, и никто не решался подступиться. — Конечно, по сравнению с таким жильем наша сверхтесная квартирка на Скороходовой казалась раем. Тем более что скоро надо было ее покинуть.

[1] Было понятие «походной кровати», но она была железная, а не алюминиевая, как наши нынешние «раскладушки».

В моей собственной жизни в этот семестр, пожалуй, наиболее интересным событием был «Веер леди Уиндермир». Эту уайльдовскую пьесу, под руководством преподавательницы Буштуевой (которая сама играла, и хорошо играла, престарелую герцогиню), ставила по-английски Нинина студенческая группа. Роль юной леди Уиндермир немедленно отхватила для себя беспардонная П. Это была отвратительная, нахальная баба с носом как руль и убегающим назад подбородком. Известен был такой анекдот про Нину Магазинер: ее подруга Талка Амосова ядовито бранила П.

— Но она же такая красивая, — робко сказала Нина.

— Кто тебе это сказал, мать моя, — басом возмутилась Талка.

— Но она же сама мне это говорила!

Анекдот, характерный для Нины, с ее неуверенностью в себе и готовностью верить в чужие достоинства. Но П. еще и не то говаривала Нине. Особо интересна была история о том, как она нечаянно потеряла невинность, играя в мяч.

Лорда Уиндермира, конечно, играл золотоволосый, приглаженный, рослый красавец Петр Потапов. А Нине — за отличное знание языка — досталась роль матери леди Уиндермир, средних лет дамы легкого поведения. Средних лет, однако, не получилось (как и у П. не получилось молодости): в платье 80-х годов прошлого века, в кринолине, с голыми плечами, с обольстительной прической Нина была такой, какой была — юной и обворожительной, и даже еще лучше, чем была: из-за кринолина она даже двигалась царственно: исчезла ее как бы падающая назад походка, по которой я, близорукий, узнавал ее очень издалека, — но, кроме как для меня, эта походка ее, наверное, не красила.

Пьесу ставили трижды — второй раз с афишей, в Доме Красной Армии (теперь почему-то Доме только офицеров — на углу Литейного и Кирочной). Я, конечно, присутствовал не на одном спектакле; долго, очень долго ожидал Нину на Кирочной у артистического подъезда — но, к моему огорчению, она вышла с Розенблитом, пересмеиваясь с ним, меня не заметила и прошла мимо. Пусть читатель не волнуется — мы очень скоро помирились; но я человек злопамятный, и пятьдесят лет спустя помню свое тяжелое огорчение.

Вскоре после этого Нинина компания англистов стала распадаться: Галка Ошанина заболела туберкулезом и надолго уехала в Ташкент, Петр Потапов открыто сошелся с Буштуевой, студенты требовали, чтобы она ушла из их группы, и т.п.

Осенью 1935 г. умерла бабушка Ольга Пантелеймоновна. Она немного простудилась — может быть, был легкий грипп, — лежала в постели, но чувствовала себя хорошо. Вечером у нее был в гостях дядя Гуля, после его ухода зашел папа, шутил с ней, она смеялась. Когда и он вышел, она встала перестелить постель — и вдруг без звука упала между постелью и стеной. Тетя Вера выбежала, позвала — мы с папой вбежали вдвоем, стали ее поднимать — она издала какие-то легкие хриплые вздохи, но это уже просто воздух выходил из легких оттого, что мы ее двигали; и не было сомнения, что она мертва.

Панихиды дома не было, — видно, знакомый батюшка тети Лели и тети

Риты был уже в лагере; но панихида была на Смоленском кладбище, торжественная и красивая, только без певчих уже — одни лишь кладбищенский священник и дьякон.

«Упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея Ольги, в месте святе, месте блаженне, идеже праведные упокояются —

Иде же несть болезни, ни печали, ни воздыхания — но жизнь бесконечная...»

В эту же зиму я справлял последний Новый год в родном доме. Я сам купил большую красивую елку, выстояв за ней долгую очередь (покупка елки последнее время была моей обязанностью). Раньше устраивали ее за закрытой дверью родители, а мы с Алешей входили, с восторгом, лишь тогда, когда она была уже зажжена. Теперь соблюсти этот обряд было невозможно. Украшали мы елку с Мишей — из заветной коробки были вытащены мишурные «серебряные» и «золотые» гирлянды, цветные, отсвечивающие металлическим блеском стеклянные шары, серебристая большая звезда на вершину, золоченые, уже несъедобные орехи; кажется, в этом году появились и мандарины; были бумажные клоуны, деды-морозы. И десятки свечек в защипках-подсвечниках, прикалываемых на ветки. Прежде, когда свечки были запрещены, я покупал большие стеариновые свечи в керосиновой лавке (они продавались на случай аварий с электрическим освещением), растапливал их и из топленого стеарина и ниток сам лепил маленькие, но быстро сгоравшие елочные свечи. Но нынче елочные свечи продавались настоящие, разноцветные, хорошо и стойко горевшие — продавались даже бенгальские огни.

На Новый год папа слушал радио — недавно был куплен радиоприемник, и можно было слушать не только Москву, но и Швецию, Чехословакию, и — что было не очень-то приятно — Берлин. Раз слушали даже лающие выкрики Гитлера, но папины комментарии в тот год были совершенно в духе речей Литвинова в Лиге наций — мы были против фашизма, мы хотели успеха Советскому Союзу, — только чуть больше ума и грамотности для тех, кто нами управляет.

Свечи зажигались тогда сначала на Рождество (или же на Новый год, все равно), и еще раз на мой день рождения — 12 января. Каждый раз мы дожидались, пока одна за другой гасли свечи и на потолке появлялись дрожащие черные лапы теней — прижавшись к маме, я смотрел с нею вместе, как догорает последняя свеча...

В этот год елка достояла и до 21 января — Алешиного дня рождения.

А на зимние каникулы нас с Ниной (мы уже воспринимались как одно целое) пригласили вместе со всей компанией Старковы к себе в Павловск.

Старковы недавно переехали из Парголова в Павловск. Тогда была живы оба Татиных родителя. Клавдия Михайловна, как я уже упоминал, была женщина большого характера, ума и доброты, учившаяся когда-то в Париже, много повидавшая; Борис Владимирович запомнился хуже. Я там, к сожалению, бывал редко, так как выделять время для прогулок в Павловск я не мог при всем желании. Ясно помню только эту поездку; справлялся какой-то праздник — то ли трехлетие кафедры, то ли что-то семейное, но,

во всяком случае, тот раз была вся семитологическая группа, — но не было Липина, он был слишком занят своими личными невзгодами; не помню, был ли «Старик Левин» и Муссесов, остальные были все, и кроме того, было двое из преподавателей: Андрей Яковлевич и Александр Павлович. Группа наша, особенно три арабистки, мне к этому времени порядком поднадоели, но у Старковых всем было как-то легко и весело, и наши преподаватели чувствовали себя естественно и просто. Пили ли что-нибудь? Кажется, нет, разве что лимонад и, может быть, чуть-чуть какого-то легкого вина. После ужина Андрей Яковлевич виртуозно играл на балалайке, но стало душно, и мы с Ниной и Александром Павловичем вышли в снежный парк. Было не холодно. Александр Павлович много и хорошо читал стихи — Ахматову, немного Гумилева, еще какие-то незнакомые стихи — кажется, Ходасевича.

Вероятно, именно тогда он рассказал начало своей истории: призыв в армию, работа санитаром на «Скорой помощи», знакомство с Шилейко. Сначала А.П. учился клинописи у П.К.Коковцова, который Шилейко не любил, но затем тот все же читал в Петроградском университете курс «Клинопись» — занимался с одним А.П., читал самые разные тексты.

Шилейко был человек необыкновенных знаний, странный, нищий, трудный — ходил в кавалерийской шинели поверх рубашки, его могли видеть спящим под этой шинелью на скамейке Летнего сада, пока он не получил от ГАИМКа комнаты в служебном помещении (Мраморном дворце), — а говорили, что и позже. Неизвестно каким образом он так блестяще знал шумерский (самое существование которого отрицал П.К.Коковцов, считавший его, вслед за французским востоковедом Галеви, семитской тайнописью); еще до революции Шилейко великолепно издал архаические шумерские надписи коллекции Н.П.Лихачева, сопроводив их умной и глубокой статьей по истории Шумера, до сороковых годов непревзойденной в мировой литературе; почти сразу после открытия Б.Грозным хеттского языка издал и хеттские тексты, не говоря уже о труднейших аккадских. Его мечтой было издать собрание шумеро-аккадской поэзии, но при его беспорядочном образе жизни много рукописей затерялось.

Александр Павлович бывал дома у Шилейко в Мраморном дворце, когда тот был женат на А.А.Ахматовой, читал нам стихи, посвященные Владимиру Казимировичу Анной Андреевной (помню только одно):

Проплывают льдины, звеня,
Небеса безнадежно бледны.
Ах, за что ты караешь меня,
Я не знаю моей вины.
Если надо — меня убей,
Но не будь со мною суров.
От меня не хочешь детей
И не любишь моих стихов.[1]

[1] Тамара Шилейко, его невестка, писавшая в 80-х годах в «Новом мире», утверждает, что Ахматова посвятила Шилейко только два стихотворения, и этого среди них не называет, но очерк ее очень субъективен и фактически неточен (например, она утверждает, что существовало две рукописи Шилейко — «Эпос о Гильгамеше» и «Ассиро-вавилонская поэзия»). Какая же может быть «Ассиро-вавилонская поэзия» без эпоса о Гильгамеше? На самом деле Шилейко, видимо, собирался сделать художественный перевод всей ассиро-вавилонской поэзии, но в издательство

Занятия Александра Павловича с Шилейко оборвались, когда тот окончательно переехал в Москву и стал работать в Музее изящных искусств (Цветаевском, что ныне — Изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Александр Павлович познакомился с клинописной коллекцией этого музея, готовя свое издание «Старовавилонских документов в собраниях СССР», и говорил, что инвентарь В.К.Шилейко — это часто не инвентарь, а образцовое издание трудно читаемых текстов.

Возможно, что все это я извлек не только из этого разговора в Павловске, но и из других. Тогда, кажется, было много стихов, и А.П. адресовался скорее к Нине, чем ко мне.

В последний раз Нина видала Александра Павловича в начале 1944 учебного года. Он, уже успевший создать Восточный факультет и уже быть отставленным из его деканов (уже действовало указание: евреев «не задвигать, но и не выдвигать»), по обыкновению занимался в бог знает каком помещении со своей маленькой группой — в то время у него было всего две студентки-первокурсницы, обе Нинели, а помещение, где он с ними занимался, было проходное — к группе англистов, в которой преподавала Нина. Она опаздывала, открыв дверь, попросила прощения и начала проходить к своей аудитории, но А.П. попросил ее остановиться и сказал своим студентам:

— Вот эта дама — жена моего первого ученика.

Он умер перед зимней сессией, организм был изношен блокадой, и саратовскими передрягами в эвакуации, и новыми ленинградскими; сердце не вынесло. Ему еще не успело исполниться 45 лет.

Но возвратимся на восемь лет назад. Во втором семестре 1935—36 г. продолжались наши занятия у А.П.Рифтина. Что тут было раньше, что позже — трудно укладывается в памяти, да в общем виде о нашем ассириологическом образовании я уже рассказывал.

Зато запомнились занятия со всеми семитологами, которые вел Андрей Яковлевич Борисов по арамейскому языку. Они были продолжением занятий по древнесемитской эпиграфике (финикийским надписям) в первом семестре.

«Academia» передал только готовую рукопись — перевода «Гильгамеша», и там она была потеряна. То, что его вдова передавала мне в 1940 г. для подготовки к изданию под видом «Ассиро-вавилонского эпоса» (или «Ассиро-вавилонской поэзии»), были перепечатанные на машинке явно черновые и незавершенные наброски, часто без начала и конца, во всех случаях без указания, с чего и откуда это переведено; часть текстов была не из ассиро-вавилонской, а из шумерской или, напротив, мандейской литературы, значительную часть рукописи составлял перевод Omina (гаданий по естественным явлениям), хотя и написанных столбиком, но поэзией не являющихся. Все это, по-видимому, были отрывки и заготовки для будущего, — большей частью неправленная машинопись. Я сказал тогда Вере Константиновне Шилейко, что мемориальное издание неоконченных работ В.К.Шилейко сейчас неосуществимо, а что «Ассиро-вавилонскую поэзию» можно издать только, если кто-то переведет хотя бы основные недостающие произведения. В.К. сочла это за мои козни. Позже рукопись побывала у В.В.Струве, у шизофреника К., может быть и еще у кого-нибудь, и в еще более сильно поредевшем виде была передана мне сыном Шилейко и хранится в архиве группы древневосточной филологии вместе с описью более обширной рукописи, какую я держал в руках в 1940 г. Кое-что из переводного наследия Шилейко мне все же удалось опубликовать. В 1986 г. вышел мемориальный сборник некоторых переводов Шилейко под редакцией и с предисловием Вяч.Вс.Иванова — и, увы, с прозрачными намеками на то, что будто бы мои собственные переводы «Гильгамеша» были сделаны под влиянием переводов Шилейко и едва ли не просто списаны с него. Всякий, кто взялся бы это проверить по печатным текстам, легко убедился бы, что это не так. Этот слух был несомненно пущен еще в 50-х гг. одним моим недоброжелателем.

На этот раз они начинались введением в историю арамейских диалектов и краткой грамматикой библейского и «имперского» арамейского. В отличие от А.П., А.Я. не перемежал грамматических занятий с чтением текстов. Все мы, — во всяком случае, все сильные студенты, — хорошо знали парадигмы арабские и древнееврейские (а мы с Ереховичем — и аккадские), поэтому староарамейскую грамматику, легкую, похожую на сильно упрощенную грамматику древнееврейского, можно было изложить со всеми парадигмами за несколько уроков. А затем мы читали тексты — сначала надписи, потом — уже на следующем курсе — библейские арамейские отрывки из книг Эзры и Даниила, потом образцы элефантинских папирусов, и наконец — самое трудное — образцы восточноарамейских поздних текстов из Талмуда. Чтение сопровождалось непринужденно излагаемыми языковыми, историческими и историко-религиозными комментариями. И что особенно нас пленяло — ошибившись в чем-либо (а кто не ошибается), Андрей Яковлевич не пытался вывернуться, а попросту говорил: «Вчера я вам соврал: не так-то, а так-то».

По-прежнему за каждое языковое занятие ставились отметки, и каждый раз Андрей Яковлевич к моей пятерке ставил минус — так я и не смог выучиться читать квадратный огласованный масоретский текст как ноты (вместе со знаками огласовки и распева он занимает пять линеек), и читал, запинаясь. Даже легче было читать текст неогласованный — если бы только сам арамейский текст Талмуда не был так труден и деформирован. Читали мы аггады (талмудические повести) — о гибели Иерусалима и Тур-Малки, мюнхаузениаду Раббы Бар Бар-Ханы.

Трудность с арамейским заключалась в том, что не было учебника, который можно было бы раздать студентам на руки. Правда, я очень тщательно записывал (и переписывал) грамматические лекции А.Я., но в этой же тетрадке у меня была транскрипция «Цилиндра А» Гудеи, и поэтому она была постоянно на руках у Липина или Ереховича. А заниматься по грамматике по вечерам в библиотеке было невозможно, потому что нас с Ниной ждали очередные прогулки по проспектам и островам.

Выход из положения нашелся неожиданно. Зайдя по своему обыкновению к букинисту на Литейном[1] и роясь на полках, я обнаружил два томика — латинские издания XVII века; в одном были вместе переплетены две краткие грамматики с парадигмами и примерами — одна сирийская (средневековая арамейская), другая — «халдейская», то есть, по нынешней терминологии, староарамейская; в другом томике был словарик-конкорданс к сирийскому евангелию. Хотя эти парадигмы и прочее были составлены в XVII веке, они полностью удовлетворяли требованиям курсов.

В тот же год я занимался факультативно греческим у умного, красивого (и уже побывавшего в узилище) Александра Васильевича Болдырева (боже, что за чудовищный язык этот греческий!) — увы, только год; и факультативно хеттским с Александром Павловичем (казалось бы, тоже древнеиндоевропейский язык, но какая простая и легкая грамматика!).

1936 г. был годом нападения итальянского фашизма на Абиссинию

[1] Закрытие букинистических лавочек и развалов после войны было большим ударом по традиционной петербургской культуре. Причина была та, что их не мог контролировать Горлит (цензура).

(Эфиопию). Эти события вызывали огромное волнение — трусливое поведение Лиги наций, героическое сопротивление войск негуса, международное движение помощи Эфиопии... Все мужчины следили за событиями по карте и говорили: «Диредауа, Харар, провинция Шоа...» К весне огромное количество студентов подало на эфиопское отделение — благоразумно приняли лишь немногих.

У нас на кафедре состоялось научное заседание, посвященное Эфиопии. Н.В.Юшманов делал доклад о многообразных языках Эфиопии, цитировал разные экзотические грамматические формы, вроде *мастакатабашиш* от арабского (заимствованного) *катаба* — «писать» — с тремя показателями заставительной породы! Опять говорил о родстве семитских языков с хамитскими — в данном случае с кушитскими языками Эфиопии — упоминались 'афар (данакиль — тот самый, что «припал за камень с пламенеющим копьем»), сомали, важный язык галла.

Другой доклад делал Д.А.Ольдерогге об этнографии, культуре и нравах Эфиопии. Меня, давно уже интересовавшегося долговым рабством, игравшим такую важную роль в истории Вавилонии, особенно поразило, что еще в нашем поколении в одной из провинций, кажется, Каффа, а может быть, и в Шоа, действовал закон против ростовщичества, по которому неоплатного должника приковывали к ноге кредитора — не давай денег кому попало! Но чаще приковывали к столбам открытой веранды перед домом.

В Эрмитаже по-прежнему действовал научный кружок — теперь уже не «египтологический», а «древневосточный», но больше не издавался «Сборник» его трудов — для этого теперь требовалось слишком высокое разрешение. Миша — который занимал определенно видное место среди молодых сотрудников Отдела Востока — договорился, что на очередном заседании поставят мой доклад. Сейчас мне трудно вспомнить его тему: во всяком случае, это был кирпичик в том здании концепции социальной истории древнего Востока, которое я строил с первого моего выступления на сессии памяти Марра и до тех пор, как я бросил заниматься историей в 70-х годах. Мой следующий доклад, на кафедре у нас, был по истории Ассирии; чему же был посвящен первый? Идея о двух секторах шумерского хозяйства мне тогда еще не могла прийти, потому что читать лагашские документы я стал только уже поступив на работу — значит, надо думать, доклад был посвящен реконструкции древнейшего шумеро-аккадского общественного строя по эпосу. Эпос Гильгамеша мы тогда с Рифтиным уже читали, и эпос о сотворении мира тоже. Пожалуй, об этом я и делал доклад. Я ссылался на пример эллинистов, реконструирующих общественный строй Греции по Гомеру, и приводил случаи упоминания совета старейшин и народного собрания в мире богов и в мире людей в вавилонском эпосе и т.п. Идея моя заключалась в том, что необязательно рассматривать самое раннее древневосточное общество как деспотическое.

Гораздо лучше, чем содержание доклада, я помню мое волнение. Доклад состоялся в маленькой приемной Отделения древнего Востока, вход в которую был с Комендантского подъезда — с площади; помню, что стол был покрыт красным плюшем, а стулья были белые и тоже обиты красным плюшем. Народу пришло много, стулья приносили и из кабинетов. Было из-за чего

волноваться: на моем докладе присутствовали два академика: А.И.Тюменев и И.А.Орбели, — и трое профессоров: Н.Д.Флиттнер, М.Э.Матье, И.М.Лурье и весь цвет эрмитажного Востока — и, конечно, мой брат Миша. И — что волновало, может быть, не меньше академиков — пришла Нина, которая тогда еще проявляла большой интерес к моей научной работе — или, по крайней мере, к моим научным успехам — но надо, чтобы успех был.

Успех был. Полный. Даже И.М.Лурье, который любую дискуссию по докладу всегда начинал своим неизменным «Я не согласен», на этот раз критиковал меня довольно нежно. Острые вопросы задавал Александр Ильич Тюменев (еще один косивший глазом древневосточник); впрочем, вообще-то говоря, он был эллинист, но было известно, что он уже несколько лет как углубился в шумерологию, чтобы проверить казавшиеся ему неубедительными положения Струве. Кроме того, он был хоть и беспартийный, а в науке марксист чуть не тридцать лет.[1] Исидор Михайлович Лурье был и коммунист и даже бывший партизан, но уж марксист во всяком случае, и он был антиструвианец, стоял за «вечный феодализм» на Востоке, что мне импонировало еще меньше, чем концепции Струве, поэтому от него я ожидал особенно жесткой критики. Выступили в мою поддержку Наталия Давыдовна Флиттнер и еще кто-то. Орбели молчал, но определенно доброжелательно. И Нина была довольна.

С доклада мы ушли вместе с Ниной и Мишей, но он скоро ушел, поздравив Нину с «сюксэ».[2] Мы же пошли к Нине домой.

II

Квартира Магазинеров была на Суворовском проспекте — в месте, еще не так давно называвшемся Песками и занятом домами бедноты. Однако с начала века Пески стали обстраиваться и заселяться «чистой публикой»; даже дореволюционное название проспекта, возвращенное ему во время войны (с революции он назывался Советским, потому что вел к Смольному), было связано с новостройкой начала века — музеем Суворова, построенного тут же неподалеку в «стиле рюсс» в связи со столетием со дня смерти полководца. Раньше проспект был короткой улицей, не доходившей до Староневского, а шедшей от Первой до Девятой Рождественской и называвшейся Слоновой, потому что именно здесь «слона водили, как видно напоказ». От 9-ой Рождественской до Смольного была открытая проезжая дорога, лишь постепенно застраивавшаяся в течение XIX века.

А снята была квартира Лидией Михайловной Магазинер в связи с ожидавшимся прибавлением семейства. Была она снята в 1915 г. в новом, только что построенном доме, облицованном по моде 10-х годов серым рустованным камнем, с лифтом, правда на пятом этаже, шестикомнатная, — по той причине, что прежняя четырехкомнатная была достаточна для мужа

---

[1] За это он и был избран в Академию наук. А как только был избран, сейчас же уволился с работы, считая, что ему с женой академического оклада за глаза хватит, а времени на изучение шумерских документов лишнего не было — Александр Ильич был уже в пожилом возрасте.

[2] Франц. *succès* 'успех'.

и жены с кухаркой, но с прибавлением ребенка и няньки стала бы уже недостаточной.

Теперь в первой комнате, со входом из передней, была сделана приемная-гостиная Якова Мироновича. Он имел скромное положение помощника присяжного поверенного, но был теоретик, автор книг, и преподавал хотя и не в Университете, но на Бестужевских курсах, и успех ему как юристу казался обеспеченным. После революции принимать стало некого, и приемная стала спальней. Рядом в кабинете стоял (как у дедушки Алексея Николаевича) дубовый стол с резьбой на дверцах, дубовое резное кресло, книжные шкафы с зеркальными стеклами, на полу — хороший настоящий ковер, вокруг — мягкие кожаные кресла. Из кабинета в одну сторону был ход в спальню с двойной кроватью полированного ореха, с неудобной голубой козеткой[1] неопределенного назначения, с грандиозным тройным зеркалом бельевого шкафа. В другую сторону из кабинета была дверь в столовую, со свисающей с потолка огромной двойной бронзовой люстрой на восемь ламп, с широкими кожаными стульями красного дерева вокруг раздвижного круглого стола, с великанским, тоже красного дерева, буфетом необыкновенного уродства, обладавшим массивными малахитовыми колонками, а в углублении между верхней и нижней частью — зеркалами, наверху же изукрашенным шпилями и эркерами. Впрочем, в полном блеске мебель являлась только при гостях — обычно же вся она, как и у бабушки Ольги Пантелеймоновны, была под полосатыми полотняными чехлами.[2] Далее шла комната неопределенного назначения («родильная» — там Лидия Михайловна рожала дочерей; мама сочла бы это негигиеничным, а Л.М., напротив, считала родильный дом не местом для молодой дамы). А в самом конце анфилады и тянувшегося вдоль нее коридора была детская, отделенная, таким образом, от спальной тремя комнатами, чтобы не слышно было детского крика.[3] Детская была вся белая — бельевой шкаф, шкаф для игрушек, белые покрывала на кроватях со стальными полукружиями изголовий и металлическими шариками на перекладинах. От передней параллельно анфиладе комнат шел коридор, и по другой стороне коридора была небольшая пустая запасная комната, а также ванная и кухня — с большой дровяной плитой и баком для горячей воды; за кухней была еще комнатка, или вернее закуток — для кухарки. (Нянька, а потом гувернантка, жили в детской).

Конечно, изменение состава семьи и, главное, обязательное «уплотнение» квартир внесли свои изменения, и я застал в 1934—36 гг. квартиру Магазинеров уже иной. Кабинет был теперь частично соединен со спальней, где письменный стол соседствовал с двуспальной кроватью, козеткой и зеркальным шкафом. Место кабинета заняла столовая, со всей ее тяжелой

---

[1] Козеткой назывался небольшой диванчик без спинки, но с закругленным повышением, чтобы, полулежа, опереться локтем.

[2] Между квартирой и хозяйством обеих дам — Ольги Пантелеймоновны и Лидии Михайловны — было много сходства: обе были барыни и вкусы их были сходны, только Ольга Пантелеймоновна была богаче и глупее.

[3] Поэтому Лидия Михайловна была твердо уверена, что ее дети никогда не кричали, а если наши дети (и внуки) кричат, то исключительно из-за нашего плохого их воспитания и оттого, что мы «не принимаем мер». Впрочем, одно время спальня была перенесена в родильную, а первая комната была сдана учительнице — княжне Урусовой.

мебелью и еще с маленьким бюро для работы Лидии Михайловны, тут же был оставшийся от кабинета неуютный пристенный диван красной кожи, окаймленный застекленными башенками для книжек мелкого формата, и с нависшей сверху полкой для Брокгаузовского Пушкина, Большой энциклопедии Ларусса и т.п.; а бывшая столовая стала комнатой для девочек — Нины и ее младшей сестры Ляли; в бывшей «родильной» жила посторонняя женщина — сначала Роза Соломоновна, героиня поразительного романа: она уступила когда-то мужа сопернице; когда же умерла соперница, бывший муж снова сделал ей предложение и увез ее в Свердловск; тогда в этой же комнате поселилась ее сестра, Анна Соломоновна Лебен, одинокая, спокойная и дружелюбная седая дама. Самая последняя комната в анфиладе — бывшая детская — была передана в соседнюю квартиру, которая рано стала коммунальной, а в «запасной» комнате по другую сторону коридора поселился холостой жилец.

Я был уже с 1934 г. принят в квартире на Суворовском — ведь я познакомился с Яковом Мироновичем и Лидией Михайловной еще в Коктебеле, и Я.М. относился ко мне хорошо.

Пожалуй, на этом месте имеет смысл подробно рассказать об этой семье. Я уже описал Якова Мироновича в шестой главе — это был красивый (с немножко мелкими чертами лица), приятный, спокойный, сероглазый, светлолицый человек со светлым, нежным, тщательно причесанным пушком на лысеющей голове, с легким брюшком и размеренными движениями. Как я уже говорил, он был видный юрист-теоретик, но из-за своей большой ученой и интересной книги «Общая теория государства и права» он в 1924 г. вылетел из Университета, где успел проработать шесть лет после революции; в советской печати его обзывали наемным лакеем империализма и всячески в том же роде, но, по нэповским временам, других репрессий, кроме изгнания из университета, к нему не было применено. В инкриминированной ему книге была изложена, помимо прочих, и теория советского государства. Автор оговорился, что излагает теории каждого государства «исходя из того, что это государство само о себе думает», но в конце им было заключено, что советская власть — «небывалый и неповторимый социальный опыт».

С тех пор Я.М. работал юрисконсультом у Графтио на Волховстрое,[1] а потом в «Экспортлесе», где он познакомился и отчасти подружился с моим отцом. Как-то раз Я.М. рассказал ему, что в юности был уволен из Харьковского университета, где он учился математике, «за политику», и мой отец, по его словам, сказал ему:

— А, так это вы заварили всю эту историю?

Биография Якова Мироновича была небезынтересна. Отец его был в Харькове «папиросочником»; это значит, что он покупал пустые бумажные гильзы и дешевый табак, которым и набивал гильзы ручной машинкой, и продавал; такие папиросы расходились среди бедноты, потому что коробка их была копейки на две дешевле коробки фабричных. Самая фамилия его говорит о бедном происхождении — *магазинер* значит по-польски «складской

[1] Я.М. рассказывал о печально характерной для того времени реплике Графтио на какой-то его доклад: «Я вам дело говорю, а вы мне законы тычете»..

сторож». Отец Я.М. был, видимо, человек незначительный. Зато незаурядной женщиной была его жена, Берта Владимировна; Я.М. даже хранил тетрадь записанных им ее афоризмов, а после ее смерти в каждый день ее рождения писал ей письма, недавно найденные мной.

Как позже я узнал от сестры Якова Мироновича, Берта Владимировна была одной из двух дочерей местечковой еврейки не от мужа, а от польского улана, скрывавшегося от царских властей после восстания 1863 г.; в этом, будто бы, мать их впоследствии каялась, рыдая на могиле мужа. Но отсюда у Берты Владимировны и у ее детей, и у ее внучек были голубые глаза, почти гладкие русые волосы и правильные «европейские» черты лица.[1] Была она женщина необразованная и неважно говорила по-русски (который, однако, был обиходным в доме — Яков Миронович на идиш говорить не умел, ивриту не обучался), но у нее были нерелигиозный философский ум и воля — оттого-то ей удалось дать гимназическое образование всем четырем выжившим детям — Моте,[2] Фанни, Юлии и Еремею, — а мальчики смогли стать и студентами.

Яков Миронович сначала поступил в Харьковский университет, но когда он, как сказано, был вскоре изгнан «за политику», ему удалось устроиться репетитором[3] к детям одного помещика на Украине, в гостеприимнейшем доме которого он смог значительно расширить свое образование. Позже ему удалось поступить в Петербургский университет на юридический факультет. Здесь он слушал замечательных профессоров, с некоторыми — например, со знаменитым Максимом Максимовичем Ковалевским[4] — был близко знаком; активно участвовал в работе Юридического научного общества, выступал с докладами, еще на студенческой скамье начал печататься. Он не принадлежал ни к какой партии, но по образу мыслей был, вероятно, близок к социал-демократам-экономистам. В период бесцензурный, после первой русской революции, он напечатал вольнодумную книгу «Самодержавие народа», сожженную по приговору суда «рукой палача»; самому Я.М. грозила за нее высылка, а может быть, и тюрьма, но он подпал под амнистию 1912 г. к 300-летию дома Романовых.

Мысль его была четкой, стройной и логичной.

По окончании университета он, как упоминалось, стал помощником присяжного поверенного (выше было нельзя — надо было креститься; Я.М., как все это поколение, был неверующим, но креститься значило сделать уступку самодержавию). Работал он с известным адвокатом Винавером.

---

[1] Лев Васильевич Ошанин, друг моего отца и виднейший в свое время антрополог, определил меня как смешение генов средиземноморской, северноевропейской и монгольской рас, а мою жену Нину — как «чистый североевропейский (нордический) тип».

[2] Мотя — это и был Яков Миронович, по метрическому свидетельству Янкель-Мордух, на иврите — Я'ков Мордехай Магазинер.

[3] Нелегально: по царским законам, репетитор должен был иметь свидетельство о праве на преподавание, иначе мог подлежать уголовной ответственности. Тем не менее, «вольных» репетиторов была тьма, это был обычный студенческий заработок, ведь стипендий не было

[4] По словам Я.М., М.М.Ковалевский был человеком не только блестящего ума и широких знаний, но и независимого характера. Будучи назначен в Государственный Совет, он позволил себе в речи упоминать «моего друга Энгельса» и даже раз заговорил о Парижской Коммуне: но тут уж он был остановлен председательствующим и вынужден был извиниться:
— Я же говорю только с осуждением...

Гимназические годы Я.М. ознаменовались его романтической связью с незаурядной женщиной, которая была ему не только любовницей, но и почти матерью, наставницей, учительницей, едва ли не вторым университетом. Она взялась за его образование; благодаря ей он хорошо знал немецкий язык и литературу, мог читать по-английски и по-французски, не говоря уже о латыни. Она дисциплинировала его ум, следила за систематичностью его чтения; Яков Миронович поддерживал с ней почтительную дружбу и тогда, когда их связь прекратилась — и даже представил ей как-то впоследствии свою жену. Женщина немецкой культуры, она заставила его не только влюбиться в Гёте и Шиллера, но и сам его образ мыслей и поведения стал в чем-то немецким. И в то же время, конечно, он вырос в настоящего интеллигента, какие бывали только в России. Интеллигентные женщины играли и позже большую роль в его становлении. Женился он поздно.

Яков Миронович никогда не отрекался от еврейства. Был такой характерный эпизод: я уже жил в их доме, как вдруг к Я.М. явился совершенно незнакомый человек и на одном только основании их общего еврейства попросил у Якова Мироновича, ввиду крайней надобности, триста рублей. Яков Миронович был полностью под каблуком у своей супруги и нормально не мог бы распоряжаться такой суммой. Но тут он немедленно раздобыл деньги и отдал их просителю — без отдачи.

Быт семьи был, однако, русско-интеллигентский. Если даже Рифтин мог в момент волнения сказать «мазл тов», то в доме Магазинеров никогда нельзя было услышать ни одного еврейского слова, и за правильностью русской речи детей очень следили (хотя у Лидии Михайловны в речи сквозили иногда «харьковизмы» — как, впрочем, и у Таты Дьяконовой: «кошьчкя на окошьчкс пьет из чашьчки»). Еврейские словечки, давно получившие право гражданства в русском языке, — или, по крайней мере, в русском слэнге, — «хохма», «цорес» и т.п. — были девочкам Магазинерам неизвестны; их воспитывала гувернантка — сначала осиротевшая дворянская девушка, говорившая с ними по-французски (Нина еще через шестьдесят лет бегло болтала по-французски, хотя не так была сильна в орфографии);[1] потом добродушная немка, а из рук гувернанток они должны были перейти в немецкую Annenschule — и не вина их родителей, что уже год спустя после поступления туда Нины (конечно, не в первый, а, как полагалось в интеллигентских семьях, в пятый — бывший третий класс), Annenschule была превращена в обычную среднюю трудовую школу, и, как я уже говорил, немцы-учителя — а потом и все опытные и любившие детей старые учителя — были выгнаны из школы в результате начавшейся классовой борьбы, возглавлявшейся ШУСом и комсомолом.[2]

---

[1] Нину эта ее гувернантка даже обратила в православие, хотя крестить не успела — повздорила с Лидией Михайловной, и ей было отказано от места. Нина в детстве даже мечтала принять мученическую смерть за Христа.

[2] Детей немецкой национальности (в Петербурге издавна было много — точнее говоря, 8% — так называемых «василеостровских немцев») перевели в особую национальную школу — а ту вскоре закрыли в порядке борьбы с национализмом. Сейчас — после 30-х и 40-х гг. — в Ленинграде «этнических немцев», как принято говорить теперь, практически не осталось — как не существует «Республики немцев Поволжья». Немцы «по паспорту», почти полностью или даже полностью обрусевшие, встречаются в Казахстане, Южной Сибири, Узбекистане и, может быть, в селах Азербайджана.

Итак, в этом доме я, с самоучителем языка идиш за плечами и знанием древнееврейского языка и Ветхого Завета, был несомненно самым еврейским евреем из всех. Здесь справлялись русские, а не еврейские праздники, на пасху красили яйца, а о еврейской пасхе только старшие иногда вспоминали что-то из детства, и когда я заявил, что в качестве *гер цедек* («праведного чужеземца») я могу принимать участие в *сейдере* (пасхальном обряде) и задавать *фир кашес* (четыре обязательных историко-догматических вопроса, которые каждую пасху младший за столом мужчина задает старшему), то это вызвало шутливую сенсацию. Яков Миронович, конечно, в детстве еще знал идиш (еле-еле), но Лидия Михайловна лишь тщетно пыталась воспроизвести какие-то непонятные слова, якобы слышанные от ее бабушки.

Однако для окружающего мира — если внуки англичанина или шведа, само собой разумеется, считаются за русских, то даже прапрапраправнук еврея числится евреем, какова бы ни была фактически его национальная культура. У Якова Мироновича были не только еврейские, но и русские друзья, но он побаивался русской дружбы, не без некоторого основания думая, что слишком часто русский в душе антисемит.

Миша Гринберг уверял меня, что я — единственный русский, которого он с уверенностью может не считать антисемитом. Думаю, что он преувеличивал — в моем поколении антисемитизм не процветал. А мне тогда в голову не приходило, что национальность по паспорту может иметь какое-либо значение.

Когда я сказал Мише Гринбергу про Нину (впрочем, про наш роман, конечно, знал весь институт) и упомянул ее отца, он сказал:

— Магазинер? Я его знаю. У него был отец фотограф.

Что было совершенно неверно, но Мишу нельзя было убедить, что в Ленинграде есть евреи, про которых он ничего не знает.

В семье Магазинеров был некоторый культ Якова Мироновича: Яков Миронович работает, Яков Миронович отдыхает — даже в соседней комнате должна была быть полная тишина. За столом никто не перебивал его неспешной речи с его любимыми афоризмами, латинскими цитатами.

— Да вот, — говорил он среди застольной беседы, — как это сказано у Канта? — Вставал из-за стола, подходил к полке и находил нужную цитату.

Впрочем, по большей части ему смотреть не надо было — все его любимые афоризмы и цитаты были у него в памяти. Ему была свойственна некая мягкая и слегка забавная сентенциозность. После его смерти, разбирая его книги, я находил прототипы его сентенций подчеркнутыми в старых книгах, купленных и читанных им еще в 900-е или даже 90-е годы.

Ближе познакомившись со мной, он вполне меня одобрил.

Совсем иной человек была его жена, Лидия Михайловна — она же на самом деле и главный человек в доме. Отец ее, Михаил Игнатьевич Футран,[1] был известный в Харькове врач, даже профессор, и столь же известный донжуан, начавший изменять своей рыхлой и незначительной жене чуть ли не на втором месяце брака. Две сестры — Анна и младшая Лидия — росли без всякого родительского надсмотра: отец делал деньги и крутил романы,

[1] Футран значит «меховщик» — совсем другое социальное происхождение!

мать, ничем не выдающаяся женщина с нееврейской внешностью и нееврейской фамилией Ярошевская, была погружена в хроническое уныние. Дом, видимо, был довольно нестерпимый. В 16 и 14 лет обе сестры сбежали оттуда в Одессу к своему деду, владевшему там мельницей. А став постарше, уехали заграницу — Анна Михайловна в Швейцарию, Лидия Михайловна в 1910 г. в Париж. Обе получили там юридическое образование; Анна Михайловна, человек очень незаурядный, написала потом две замечательные книги — одну о тюремном деле, другую — «Дети-убийцы» (о беспризорниках гражданской войны); вторую я читал, и должен сказать, что она произвела поразительное впечатление.[1]

Лидия Михайловна, по ее словам, не особенно утруждала себя занятиями в Сорбонне, а больше занималась флиртом, порой жестоким: так, она однажды уехала с поклонником в Женеву, где они жили в гостинице... в отдельных номерах, и она его к себе не подпускала. Сдав быстро экзамены в Сорбонне, она уже в 1912 г. приехала в Петербург; ходила на заседания Юридического общества более в видах интересных знакомств, и тут-то влюбила в себя Якова Мироновича Магазинера.

К тому времени, когда я с ней познакомился, ей было лет сорок семь. Это была полная дама с округлым, энергичным и умным лицом и чуть вздернутым носом; пристрастные дочерние глаза могли еще находить ее хорошенькой — но очень портили ее толстые влажные губы. Волосы ее были неопределенно-темного цвета: видимо, уже тогда она пользовалась так называемым «восстановителем». Работала она адвокатом, но больших дел не брала. Дома она была женщина властная (вынужденно — поскольку никто в доме более хозяйственными вопросами не интересовался), и считала само собой разумеющимся, что все должно твориться в соответствии с ее волей.

Любое распоряжение Лидии Михайловны, раз сделанное, было законом и обсуждению подданных не подлежало. И решения касались не только дома и хозяйства, но и поступков самих ее подданных, их одежды и прочего.

Перед принятием решения она любила его обсудить на «семейном совете». Информация бралась с необычайной тщательностью: один и тот же вопрос, казалось бы, уже получивший удовлетворительный ответ, снова ставился параллельно другому лицу, потом третьему, потом снова первому и т.д. По всякому, даже маловажному поводу устраивались затяжные совещания: если я сделаю так, тогда я скажу этак — и так до бесконечности. Мнения должны были высказываться всеми членами «совета», и это занимало очень много времени — и совершенно бесполезно, потому что, во-первых, само дело по большей части не стоило выеденного яйца, а во-вторых, ни с чьими мнениями, кроме собственного, Лидия Михайловна все равно не считалась. Ну, добро

---

[1] У Лидии Михайловны был еще младший брат Александр, эсер. В начале 1918 г. он был прислан в Петроград с заданием застрелить Ленина. Он отправился в Смольный — был принят Лениным, но рука отказалась стрелять. Что было бы дальше — неизвестно, ибо Александр сразу после этого заболел «испанкой» (была такая грозная эпидемия гриппа, опустошавшая Россию и Европу в 1918 г.) и умер.

Еврейская интеллигенция еще более, чем русская, была в начале века всегда близка к революционерам. Одной из семей, которая была в поле зрения Магазинеров, были Каннегиссеры, родственники террориста, убившего главу петроградского ЧК, «межрайонца» (т.е. троцкиста) Урицкого. Разумеется, все Каннегиссеры были мало-помалу «репрессированы» (кроме одной дочери, вовремя вышедшей замуж за известного английского физика Пайерлса, впоследствии участника создания атомной бомбы).

бы обсуждение было нужно для того, чтобы не ошибиться в решении. Но раз принятое решение все же можно было потом поставить под сомнение — правда, только ей самой. Тогда оно опять обсуждалось: может быть, напрасно я сделала так, а надо было сделать этак. И подданные должны были убеждать ее в том, что решение было единственно правильное. При всем том оно, как сказано, было обязательно для всех, точно решение Политбюро, и ничьих советов она никогда не слушала.

Каждый свой декрет она вынашивала долго, обдумывала все возможные варианты развития событий. Она в жизни ничего не умела делать руками, зато была великолепный организатор любого мероприятия; достать невозможное, устроить невозможное — это она блестяще умела. Но при этом у нее были твердые понятия о том, что (и, особенно, как) должны делать другие, а также какая чему цена — всегда требовался минимум денежных затрат, даже тогда, когда настоящая цена ей и известна быть не могла. За столом она вдруг могла назвать цену съеденного вами продукта. При этом она любила покорность подданных, поэтому необыкновенно ценила свою прислугу Анюту, или Анну Ефимовну, нарочно унижавшуюся перед ней — и наушничавшую.

— Я правлю, — говорила Лидия Михайловна, — по принципам просвещенного абсолютизма: благо народа, но не воля его.

— «А мы, сударь, и не пикали», — говорил на это Яков Миронович, цитируя какого-то автора.

Впрочем, и дочерям никогда не приходило в голову прекословить — мамин авторитет был абсолютен, и никаких даже самых отдаленных сомнений в правильности ее решений не было и быть не могло. Наверное, по большей части они и были правильны. Нина любила и идеализировала свою маму («мамочка, лапочка» — писала она ей), и если кто-нибудь хоть немного ее критиковал, очень обижалась, — так я и не критиковал. Но я ставлю себе в немалую заслугу, что за 50 лет ни разу с Лидией Михайловной не поссорился. Впрочем, ее абсолютизм касался главным образом хозяйственной части, в которую я и в молодости мало вникал, а позже и вовсе был отставлен от нее как якобы ни к чему такому не способный (а я, по моей унаследованной от мамы инертности, и не перечил, и это очень облегчало мне жизнь — и утяжеляло жизнь Нины). Поэтому поводов для конфликтов с тещей и было немного, а когда и были, я — опять-таки в маму — всегда предпочитал уступить, хотя бы и считал себя правым.

Это было мне легко по той причине, что позволяло совершенно не заниматься вопросами дома и хозяйства. Нельзя мне это поставить в заслугу — по существу это значит, что все заботы я раз навсегда переложил на жену. Чем так облегчать себе жизнь, быть может, лучше было бы думать об облегчении жизни жены, облегчении жизни других — даже ценой некоторых ссор с тещей. Этот абзац — мысли не того времени, а ретроспективная самооценка.

Жестоким комментарием к Лидии Михайловне была ее прислуга Анна Ефимовна. Всякое мне приходилось едать, но худшей поварихи, чем Анна Ефимовна, я не встречал. Однако в доме Магазинеров не было культа еды — если невкусно и когда с продовольствием в городе было плохо, если невкусно и

когда с ним было все в порядке. Зато Анна Ефимовна была полна подобострастия и изображала неестественный и преувеличенный страх перед Лидией Михайловной и слепую исполнительность. Так, раз, уезжая на дачу и оставляя Я.М. и меня одних с Анной Ефимовной в городе, Лидия Михайловна сказала ей:

— Не надо тратить времени, покупайте что-нибудь в кулинарии, например, антрекоты. Только не надо пережаривать.

И мы почти месяц каждый день ели антрекоты, поджаренные только с одной стороны. Когда же я взбесился и попросил Анну Ефимовну жарить с обеих сторон, то она подала их сожженными — нарочно, конечно.

Если предложить ей что-нибудь сделать по-иному, она говорила:

— А я не могу, а то Лидия Михайловна как закричит, как затопочет ногами.

Но чего Лидия Михайловна никогда не делала — так это повышать голос, и тем менее — топать ногами.

Впоследствии, когда я обжился в доме и уже пользовался благосклонностью тещи, я как-то на четырех листах подал ей мотивированное по пунктам заявление о необходимости отпустить Анну Ефимовну на все четыре стороны — и Лидия Михайловна вдруг на это согласилась. Но потом жалела, и уже после войны снова взяла ее на работу.

Четвертым членом семьи была сестра Нины, Ляля (Елена Яковлевна). Ей было тогда восемнадцать лет. У нее были еще более светло-золотые, чем у Нины, волосы. Она уже училась на втором курсе Политехнического института (поступила шестнадцати лет из девятого класса — в тот год не только были восстановлены девятые классы, но введены и десятые, однако в вузы принимали и из девятых). Но на вид она была настоящей девочкой, добродушной и наивной, только очень увеличенной, как юный сенбернар — все большое, но милое. С ней у меня были хорошие, но немного неровные отношения.

По характеру она была полной противоположностью матери: она была вся — отталкивание от нее: неспособная думать не то что на два дня — на два часа, на две минуты вперед, и такая щедрая, что это уже была не щедрость, а какая-то неспособность хранить ничего своего, если только это можно отдать кому-нибудь другому. Но очень упрямая при этом.

Почти членом дома — пятым — была старшая сестра Якова Мироновича — Фанни Мироновна. Яков Миронович был внешне похож на нее — такие же мелкие красивые европейские черты, — но характер у нее был какой-то совершенно поломанный. В молодости она была очень хороша собой — не только правильные, тонкие черты лица, но и стройность, повадка аристократической дамы. Сейчас этого ничего не осталось: в пятьдесят с небольшим это была маленькая старуха с быстрыми и резкими движениями.

Как и остальные дети Магазинеров, она кончила гимназию, но дальше зубного врача не пошла, да и то практиковала только в молодости. В душе ее, — по крайней мере, к моему времени, — боролись два истерических стремления — приносить себя в жертву и чувствовать себя жертвой. Жертвуя собой для братьев, она вышла замуж за Осипа Семеновича Сметанича (джентльмена с длинными серебряными волосами и в черной крылатке); он

считался богатым управляющим каких-то еще более богатых лиц, а во время мировой войны он еще разбогател — видно, играл на бирже, как многие тогда (даже мой папа играл немножко). Известно было, что Сметанич подарил жене соболью пелерину и жемчуг. Обязанности не требовали от него много времени, и он проводил его в дружеских беседах с художниками и покровительствовал им. Беда была в том, что он был вдовцом с тремя, по мнению тети Фанни, совершенно нестерпимыми, отпрысками (говорят, старик Магазинер, человек флегматичный, говаривал тихим голосом: «Я все думаю и никак не пойму, кто хуже: Валя или Митя? Кажется, что Валя!»). Каковы они были на самом деле, мне сказать трудно: я знал их только со слов тети Фанни, а она говорила о них только с раздражением и отчаянием и с характерными для нее гиперболами. У нее выходило, что Маша якобы проститутка, а Митя и Валя (известный литератор и переводчик Валентин Стенич) — отпетые бандиты.

Так или иначе, самоотвержение в браке со Сметаничем оказалось напрасным: во-первых, он оказался не таким уж богатым; во-вторых, видимо, он не очень был склонен благодетельствовать братьям Фанни Мироновны; а в-третьих, какое богатство и было, оно сгинуло с революцией. Сметанич ненадолго попал в ЧК («на Гороховую 2»), но ему повезло — он вернулся домой. Когда в начале 30-х гг. Осипа Семеновича взяли на Шпалерную для изъятия золота (это называлось «болел золотой лихорадкой»; см. «Мастера и Маргариту»), у него, как оказалось, нечего было брать — ни золота, ни другого чего (кроме картин, которые не представляли интереса в валютном плане). Его вскоре выпустили, как и других. Известно, что «золотая лихорадка» была «не в зачет» — она не лишала работы и положения в обществе, не портила анкеты и не должна была даже в ней упоминаться.

Когда Маша погибла от черной оспы, Митя уехал за границу, сам Осип Семенович умер, а Валя больше не находился на ее ответственности, Фанни Мироновна понемногу жертвовала собой своим друзьям и знакомым (ухаживала за больными, наводила чистоту, покупала что-нибудь для хозяев). Но при этом у нее было неприятное обыкновение: принеся какую-либо жертву дому А, сейчас пойти в дом Б жаловаться на А, и наоборот. Фанни Мироновна была прирожденная актриса. Она не рассказывала, а разыгрывала сцены — и всегда была в той или иной роли. В этих условиях ее самопожертвования не всегда были желанны.

На людей Фанни Мироновна смотрела с желчным пессимизмом, особенно на мужчин. Она совершенно всерьез утверждала, что все мужчины — сифилитики, без какого-либо исключения. Впрочем, не так: одно исключение было — это был ее любимый брат Яков Миронович, — его она любила преданно и нежно и никаких вообще недостатков в нем не видела.

Было у нее одно светлое воспоминание: Анатолий Федорович Кони, великий судебный деятель и гуманист. Еще в бытность ее зубным врачом в Харькове, в ее кабинете была явка каких-то революционеров (каких именно — Фанни Мироновна, вероятно, понятия не имела, но помогать революции среди левой интеллигенции считалось необходимостью). Полиция дозналась об этом гораздо позже, когда Фанни Мироновна была уже богатой петербургской дамой. Однако ей грозил суд и, как теперь говорят, «срок», и

довольно солидный. Осип Семенович заявил, что поедет за ней в ссылку, и было дано в газеты объявление о сдаче их квартиры на Каменноостровском. Посмотреть квартиру пришел Кони, тогда уже старик, ходивший на двух костылях (когда-то, возвращаясь по железной дороге из Царского Села в Петербург, он зачитался какими-то деловыми бумагами и не обратил внимания на то, что поезд уже прибыл — заметил это только тогда, когда поезд уже собирался дать задний ход, чтобы идти в депо. Анатолий Федорович побежал, чтобы выскочить, попал одной ногой на платформу, а другая была еще на площадке вагона, когда поезд дернул — разорвал ему связки в шагу).

Кони удивился, почему Сметаничи сдают такую прекрасную квартиру, и Фанни Мироновна призналась ему, что ее ждет суд и ссылка. Тогда он посоветовал ей явиться на суд в самой дорогой шляпе, пелерине и с кольцами на руках — и все отрицать: кто ходил — ничего не помню. Она так и сделала, и суд ее оправдал. Так завязалась ее дружба с А.Ф.Кони до конца его жизни.

Таково было окружение, в котором мне предстояло жить всю мою остальную жизнь. То, что записано здесь, конечно, узнавалось постепенно, из года в год, но основные черты каждого из этих людей стали быстро знакомы.

III

Мы с Ниной сообщили еще зимой 1935—36 г., каждый своим родителям, о том, что намерены жениться, — и правильнее, конечно, было бы нам не тянуть, потому что это вопрос внутреннего хода развития отношений, а не каких-либо привходящих обстоятельств. Но Лидия Михайловна сначала давала согласие только на время после моего окончания — потом соглашалась на время после Нининого окончания — потом на осень 1936 года. Она не хотела понять, что это дело должно определяться внутренним ходом наших отношений, и — как я узнал много, много лет спустя — боялась, что Нина сразу же забеременеет — знала ли она, что это можно предотвратить? В конце концов она согласилась на лето, но пока еще была ранняя весна. И мы-то, с тех пор как решили жениться, уже вполне готовы были считать себя мужем и женой — да и в институте все нас так и числили, по этой причине нас вместе приглашали и к Старковым, и к Коле и Жене Родиным.

Мерять проспекты как-то к концу второго года нам уже не хотелось. А тут на счастье уехала соседка Анна Соломоновна, и мы уютно в тепле проводили свое время в ее розовой комнате. А комната эта была как раз напротив кухни — Анютиных владений.

Однажды — дело было, пожалуй, в конце мая 1936 года — мы услышали, как Анюта из кухни проследовала в сторону столовой, где обитала Лидия Михайловна. Мы слышали это, так сказать, «одним ухом» — мало ли какие дела есть у Анюты с «барыней».[1] Но затем послышался быстрый и раздраженный топот Лидии Михайловны, приближавшейся к комнате Анны Соломоновны по коридору. Комната была пуста — мы сидели с Ниной в ее соседней комнате в огромном разбитом кресле и мирно разговаривали. Но

[1] У моих родителей такого слова в обиходе не было и быть не могло.

мы услышали звучные, раздраженные повороты ключа в двери комнаты Анны Соломоновны — этого нашего убежища мы лишились по доносу Анны Ефимовны; уж не знаю, что именно о нас она доложила хозяйке.

Я очень рассердился. Что, собственно, она — Лидия Михайловна — думает? Что, имея плацдарм в виде комнаты Анны Соломоновны и возможность соблазнить невинную девицу, я немедленно скроюсь в кусты, отказавшись жениться? Или что именно? Однако разумно не стал показывать своего раздражения, зная хорошо, что ссора с тещей может стать гибельной для счастья дальнейшей нашей жизни. Да уж до свадьбы оставались недели.

Лишь позже я понял, что этот эпизод ничего не значил, оглядываясь на всю ее жизнь, должен сказать, что Лидия Михайловна была мудрым и мужественным человеком.

Наши финансовые дела тоже казались нам устроенными — после вступления в брак мы оба получали право на стипендию. Нина, помимо того, преподавала английский на Высших курсах иностранных языков;[1] а я договорился с Эрмитажем, что с осени начну там работать экскурсоводом — тоже сдельно. На пропитание этого должно было хватить, об одежке особенно не думалось. Покамест делались разные приготовления. Я мечтал, что мы снимем где-нибудь комнату, но Нина как-то подошла к эркерному окну в своей комнате, откуда открывается дивный вид на Смольный собор, и задумчиво сказала:

— Неужели я буду вставать по утрам и этого не видеть?

У меня растопилось сердце, и я перестал ходить по возможным адресам (раза два и сходил-то). А между тем, Лидия Михайловна (великий организатор) сделала блестящий ход: у Фанни Мироновны было две комнаты на Каменноостровском 26/28; с тех пор как она подарила государству коллекцию картин своего покойного мужа, она получала персональную пенсию, и это давало право на самоуплотнение (вторую комнату, вероятно, все равно бы отобрали). Лидия Михайловна устроила Нине прописку во второй комнате Фанни Мироновны, а затем обмен этой, якобы Нининой, комнаты на комнату холостого жильца в их собственной квартире.

Мы решили свадьбы никакой не устраивать, но и отъезда жильца не ждать — так большей частью тогда и поступали: начинать новую, общую жизнь с выпивки и «горько» казалось нецеломудренно и неловко. К ЗАГСу вообще тогда было отношение как к пустой и немного смешной формальности. Мне как-то раз пришлось побывать в ЗАГСе Петроградского района (на Скороходовой): там же помещался народный суд, и мне было поручено отнести туда какую-то папину бумагу, в которой он признавал справедливость требования издательства о возврате аванса за неисполненный перевод — и я зашел в ЗАГС из любопытства, обнаружив там на стене большой цветной плакат с изображением бледной спирохеты, бациллы сифилиса. А Надя Фурсенко — вернее, уже Фиженко — даже записалась[2] за свою подругу с ее женихом — подруга была занята на работе и попросила Надю сделать ей эту маленькую услугу.

[1] В это время она уже не преподавала в Восточном институте имени Енукидзе.

[2] Тогда не говорили «расписались в ЗАГС».

Мои экзамены закончились к двадцатым числам июня, а Нинин последний экзамен был 22-го июня. Я зашел к ней в институт, и мы поехали на трамвае на Старо-Невский. Нина была в перекрашенном в розовый цвет чесучовом платье, перешитом из бабушкиной юбки, а я в белой рубашке нараспашку; только у меня как раз незадолго до этого прохудились штаны, и мама их еще не заштопала, так что я взял другие брюки у старшего брата. Было жарко.

В ЗАГСе по летнему времени шел ремонт, стояли малярные козлы, стены были наполовину побелены, а пол в коридоре был закапан известкой. Мы встали в порядочную очередь — одна и та же девица регистрировала смерти, браки и разводы (развестись тогда стоило трешку, и не требовалось не то что согласие, но даже и извещение другой стороны). Очередь двигалась медленно, мы изнывали от жары и решили выскочить и купить поблизости черешни, продававшейся на улице с лотка. Но когда мы вернулись, наша очередь уже прошла; услышав стандартное «вы тут не стояли», мы заняли очередь еще раз.

Когда мы дошли до столика, девица взяла наши паспорта, спросила «осведомлены ли вы о здоровье друг друга», мы сказали, что осведомлены; тогда она сказала сурово:

— За дачу ложных показаний вы будете отвечать по статье 99 уголовного кодекса, — и выписала нам два свидетельства о браке.

Оттуда мы поехали сначала на Петроградскую к моим. В тесной столовой за фанерной перегородкой вокруг круглого стола собрались мама, папа, Алеша, Миша с Татой, тетя Вера и почему-то совсем уже ненужный дядя Гуля, который сумел, поздравляя, сказать Нине какую-то бестактность. Но мои все были милы и взволнованы. Был подан обед; папа поднял за нас бокал шампанского и сказал несколько теплых слов, другие больше молчали; съели еще мороженое, нас снова поздравили, поцеловали — и Нина поехала на Суворовский проспект — помогать готовить прием для моих родных, которых я должен был сопровождать. Вечером я приехал с родителями, с Мишей и Татой (почему-то без Алеши). Здесь опять были поздравления и поцелуи (я поцеловался и с Яковом Мироновичем, что было вовсе против моих норвежских привычек), мы довольно долго сидели за столом и потом пили чай.

Ближайшие дни прошли в приготовлениях — я должен был отобрать то немногое из вещей, что надо было взять с собой; папа уступил мне некоторые из своих книжек. Нина занималась закупками на наше лето. Наконец, к 26-му июня все сборы были закончены; я распростился со своими, последний раз приласкался к маме — и ушел (тут не обошлось без комического эпизода). У Магазинеров нам предназначалась собственная большая комната; Ляля должна была выехать в столовую.

Однако, к моему удивлению, к вечеру Лидия Михайловна декретировала, что эту ночь на кожаном диване в столовой буду спать я. Наша приготовленная комната, оказывается, была не совсем нашей, во всяком случае, определенно не моей. Диван был узкий, скользкий, холодный и неуютный.

На другой день мы с Ниной уехали через Лугу в деревню Шалово. Уезжали мы с Варшавского вокзала, и провожала нас одна Лидия Михайловна, дававшая на прощание Нине какие-то разумные советы.

Мы приехали в рай. Домик, в котором нам была сдана комната (хутор «Зеленое озеро»), стоял на пригорке между двумя чистыми озерами — одно, Круглое, темное, окаймленное слями, было совершенно безлюдным. Оно считалось питьевым — к нему вели небольшие мостки, — но купаться в нем было нельзя. С другой стороны дома можно было спуститься к большому Зеленому озеру; на него где-то вдали выходил пионерский пляж, но были и другие маленькие бухточки и пляжи, где можно было купаться голышом.

В садике хутора, в самом углу, нам был отведен маленький столик, где мы поглощали нашу самодельную пищу — я сам тоже пытался стряпать, и один раз даже испек вполне съедобный бисквит, у которого, правда, один угол сгорел; и был он моим последним кулинарным упражнением. Любили мы сидеть и среди цветов на лугу, на высоком берегу Круглого озера, но гораздо больше мы бродили — сосновые леса были прорезаны не только лесными просеками, но и песчаными дорожками, проложенными в вереске — в случае пожара они должны были задерживать низовой, вересковый огонь, — так что вся окрестность на версты и версты вокруг была похожа на бесконечный парк, только вместо газонов и лужаек земля была покрыта вереском, к концу лета зацветавшим всюду, куда бы мы ни шли.

Приезжали к нам гости — Нинины друзья: Шура Выгодский, Воля Римский-Корсаков, Талка Амосова. Однажды приехала Ляля. Был и мой Алеша.

Но лучше, чем с друзьями, нам было вдвоем.

То лето было самое счастливое, наверное — единственное сплошь, всегда, каждый день, каждые сутки счастливое время моей жизни — и я надеюсь, что и Нининой.

Уезжая к осени, мы пели потихоньку песенку, переложенную нами из негритянской, выученной мной еще в Норвегии у мисс Шётт-Ларсен: прощание с Кентукки, наше прощание с нашим Зеленым озером...

Жизнь и смерть не останавливаются: на другой стороне дома и при нас жила умирающая от туберкулеза юная девочка, а едва она умерла, как туда приехала тетя Надя Пуликовская — теперь Надежда Николаевна Римская-Корсакова, старинная приятельница моих родителей — и тоже приехала умирать. Шаловский сосновый климат прописывали тяжелым туберкулезникам.

Но молодость умеет закрывать глаза на приметы смерти.

IV

Весной 1936 г. Алеша кончил школу и поступил в Кораблестроительный институт.

В мои студенческие годы я как-то отошел от него, а теперь мне его-то и не хватало. Хорошо помню его именно таким, каким он был в тот год: высокий, стройный, смуглый — какой-то другой смуглостью, чем я: я был коричнево-смуглый, а он желтовато-смуглый; чуб волос у него, как и у меня, вбок на одну сторону, но у меня он был прямоволосый (мы потом шутили, что Гитлер подделывается под меня), а у него немного коком — след курчавости, развившейся у него в раннем детстве после дизентерии и немного

возобновившийся недавно после скарлатины. Носил он темный пиджак, распахнутую рубашку и — подражая папе — узбекскую тюбетейку. Он был довольно похож на меня — незнакомые узнавали в нем моего брата, — но чем-то и не похож, может быть, более пухлыми губами. Друзья помнили его гибкие движения в лыжном беге и длинные, как у меня, но более «бамбуковые» пальцы.

В этом году поступили к нам на факультет Е.Эткинд и Э.Найдич, других я уж не могу распределить по годам поступления; белокурая Лида Лотман, Готя Степанов, Георгий Макогоненко, Федя Абрамов — кто из них и других незаурядных людей поступил в наш институт в тот год, кто раньше, кто позже? Во всяком случае, было впечатление множества веселой и талантливой молодежи.[1] Однако некоторые из них, хотя и достигли впоследствии высокого официального положения, больше оставили по себе память подлостью, чем ученостью: Г.П.Бердников, Е.Наумов, Е.Брандис.

Свой процент неспособных был, конечно, и в числе поступавших во второй половине 1930-х годов. Вспоминается толстая, неуклюжая, с лицом как кусок мяса особа, носившая удивительным образом имя Анна Каренина и жаловавшаяся кому-то из англистов:

— Знаешь, начав половую жизнь, без нее трудно обходиться.

Еще была некая О. — ходячий секс-аппил, надвигавшийся на всех мужчин подряд своими буферами; особенно забавно было смотреть, как при виде нее наглядно млел и сникал один скромнейший и партийнейший, не такой уж молодой студент-историк. Говорят, до 17 лет О. была презираемым в школе заморышем, в очках; теперь о ней этого сказать было нельзя! Ее скоро выгнали, чтобы не соблазнять активистов и отличников, но в жизни (кроме половой) она, говорят, оказалась вполне порядочным и неглупым человеком. Еще вспоминается какая-то очень серая и, по слухам, феноменально тупая и необразованная девица, которая оказалась дочерью прославленного героя гражданской войны.

Моя компания в тот год переменилась. Нина не проявляла интереса ни к нашим семитологам, ни к ассириологии,[2] и ни Миша Гринберг, ни Тата Старкова,[3] ни Липин, ни даже Ника Ерехович у нас не бывали (Ерехович и Липин бывали у меня только во время подготовки к государственным

---

[1] Сразу запомнилось еще десять имен очень талантливых студентов-западников 1935—37 гг. поступления: один ушел к немцам, один служил в армии со мной; одна была участница испанской войны, выведенная Хемингуэем в романе «По ком звонит колокол», потом она же наша разведчица, потом зэк, потом жена выручившего ее замминистра; одна литературовед и переводчица, позже эмигрировала в США; один убит под Ленинградом; два переводчика в испанскую войну и позже наши разведчики; один академик; один литературный переводчик; одна довольно известная германистка; один переводчик и литературовед, рано умер. Две очень заметные на факультете девочки ничем, кажется, не прославились. — Если исключить неизбежный процент людей серых, никак не запомнившихся, то все-таки запомнилось много: из человек ста или чуть больше поступавших моя память сохранила два десятка — их судьбы тоже характерны. Тридцать седьмым—тридцать восьмым годом это поколение было сравнительно мало затронуто; многие уцелели — а в 1941—44 гг. они успели уйти в армию офицерами, главным образом переводчиками.

[2] Я этим огорчался и удивлялся, но в то же время понял, что так оно и должно быть: ведь ясно же, что моя ассириология — форменная мура, я сам всегда говорил и другим объяснял, что, ею занимаясь, нельзя терять чувство юмора.

[3] Со Старковыми мы, и особенно как раз Нина, сдружились после войны. Особенно Нина любила Клавдию Михайловну.

экзаменам весной 1938 г., но лишь когда Нина была на службе). Котя Гераков исчез из моего поля зрения; бывал Ваня Фурсенко, и даже ухаживал за Лялей — но вместе молчать с ним теперь мне было невозможно, а разговоры с ним уже как-то не клеились. Надя вышла замуж — я раза два навестил ее, но муж ее, широкоплечий спортсмен и танцор, мне не очень понравился, и мои посещения ее скоро прекратились. Я бы охотно повидал ее у себя, но Нина не желала ее видеть — довольно нелогично сердясь на нее за то, что она не меня избрала.

Зато я полностью втянулся в Нинину компанию. Сама Нина вошла в нее недавно — когда стала сдавать экзамены за литературный факультет и иногда посещать литературоведческие лекции. Компания эта была дружная, сплоченная и состояла сплошь из умных, даже блестящих людей — в других исторических условиях, мне кажется, она могла бы сыграть роль кружка Станкевича или братьев Шлегель.

То, что сплачивало эту компанию, было ясное ощущение цели в жизни и науке. Все были убежденными марксистами, но все точно так же были убеждены в том, что в сегодняшних условиях марксизм вульгаризуется и опошляется. Средством против этого было, во-первых, более ясное ознакомление ученой публики и общественности вообще с подлинными взглядами Маркса и Энгельса, с дословным текстом их сочинений; во-вторых, активная борьба устным словом и в печати с вульгаризаторами, с «вульгарными социологами». При этом они сознавали себя именно литературоведами и не ставили себе каких-либо задач за пределами литературоведения, а также, по связи с литературоведением, философии. Тут я не совсем мог согласиться с нашими друзьями — мне казалось, что литературу надо изучать, разрабатывая для этого методы, специфичные для этой науки, а не рассматривать литературное произведение исключительно как способ проявления тех или иных философских или, шире, мировоззренческих взглядов. Тем не менее, интересы и устремления компании Шуры Выгодского были мне близки: и я, как они, считал себя марксистом — или, по крайней мере, историческим материалистом, — в том смысле, что я был убежден в единстве закономерностей исторического процесса и, следовательно, в закономерности смены социально-исторических формаций; и я, как они, считал, что сейчас историко-материалистическая теория грубо вульгаризуется и что дело ученых — разобраться самим в действительном характере общеисторических закономерностей.

Более того, я признавал, что мы живем в эру наступающего социализма и что социализм и в самом деле есть та очередная формация, которая неизбежно должна одержать победу в нашу историческую эпоху; но я не был уверен, что именно у нас создается именно научно обоснованный, «тот самый» социализм.

Авторитетным образцом для компании Шуры Выгодского был Дьердь (тогда еще Георг) Лукач, a dii minores,[1] однако тоже бывшие почти непререкаемыми авторитетами (иногда, может быть, даже более чем Лукач), были два москвича. Один был публицист-философ и литературовед, умней-

[1] Меньшие божества (латин.).

ший, красивый и остроумнейший Михаил Александрович Лифшиц, редактор задорного (по тем временам) журнала «Литературный критик»; его близким соратником считался другой москвич, В.Р.Гриб.

Что еще привлекало меня в этой компании, это то, что у них совершенно отсутствовал алогичный фетишизм пролетарского самосознания как якобы единственного, которое по каким-то непостижимым имманентным причинам способно быть носителем истины. Для наших друзей марксизм был наукой, и как таковой должен был двигаться вперед учеными. В этом они вполне совпадали с моим старым другом Волей Харитоновым.

Центр притяжения всей компании был Шура Выгодский. Отец его был врач, известный с дореволюционных времен, квартира его — на набережной Васильевского острова почти против Николаевского моста (лейтенанта Шмидта) — была нетронутым обиталищем петербургского интеллигента: хорошая мебель, мягкие кресла, необыкновенной ширины и мягкости диван, на котором могла уместиться сразу почти вся компания. У Шуры мы по большей части и собирались. Доктор Выгодский был совсем ветхий старик, страдал болезнью Паркинсона; мать и сестра были довольно заурядные еврейские интеллигентные дамы — но мы, придя к Шуре, всегда предоставлялись самим себе. Шура был среднего роста — ниже меня, черноволосый и голубоглазый, в лице его была какая-то неправильность, которую не берусь определить, но это было одно из тех лиц, которому не надо быть правильным, потому что сияющий в нем ум и доброжелательность делают его прекрасным. Шура не только располагал к себе, но каждый сразу и охотно признавал его превосходство над собой — тем большее, что он был необыкновенно человечен, скромен, тактичен, бескорыстно внимателен и морально чрезвычайно щепетилен. Если бы Нина влюбилась в Шуру, я без ревности признал бы за ним право на ее любовь. Но Шура был такой человек, для которого чужая любовь была неприкосновенна, и он неспособен был пожелать жену другого.

Ближайшим товарищем в идеях и замыслах Шуры был Юра Фридлендер. Ростом поменьше Шуры, блондин с коком волос на лбу и серыми глазами слегка навыкате, говоривший всегда как-то неуверенно, как бы извиняясь за высказываемые им убеждения; но был он совершенно необыкновенный эрудит. Он тоже был из старой петербургской интеллигентской семьи; жили Фридлендеры в маленькой квартирке в одной из линий Васильевского острова (видимо, вовремя сменили большую квартиру на меньшую) — в ней же Юра живет и сейчас (1990 г.), и все та же вокруг интеллигентская обстановка — книжные полки, дубовый письменный стол, старинная фарфоровая посуда и хрусталь. Отец и мать Юры были разного, но оба — сложного международного происхождения; но так как в документах царского времени записывали не национальность, а вероисповедание, то оба значились «лютеранами», а при первой выдаче паспортов (в 1932 г.)[1] их записали «немцами». Немецкий, действительно, был вторым, наряду с русским, родным языком «нашего друга Гастона» (по паспорту Юра был Эдгар Гастон Георг), и он со школьных лет

[1] До 1932 г. в СССР паспортов не было, и в первом издании «Большой Советской энциклопедии» они определены как «орудие классовой эксплуатации».

начитал огромное количество немецких классиков, а в университетские годы читал в подлиннике и хорошо изучил Канта, Гегеля, Шеллинга. Он в тонкостях знал также сочинения молодого Маркса и способен был на очень четкое и стройное изложение своих мыслей. Но ему еще не хватало самостоятельности ни в мышлении, ни в жизненной позиции.

Любимцем компании был Воля Римский-Корсаков. Длинный, в очках, еще по-юношески немного нелепый в движениях, он был бесконечно преданный друг и Шурин верный последователь. Он был, безусловно, очень талантлив — прекрасно, например, переводил, в стихах и в прозе, — но по уму он, конечно, не мог сравняться со своими друзьями.

Но меня изо всей компании более всего привлекал Яша Бабушкин. Мы тогда как-то не интересовались не только национальным, но и социальным происхождением наших друзей; о Яше я знал только, что он родом из Евпатории. Даже то, что Яша — еврей, я узнал только из нашего мужского разговора в кафе «Норд» в августе 1941 года. Остальное узнал по кусочкам, главным образом, от Юры Фридлендера, уже в недавние годы. Может быть, поэтому я буду в чем-нибудь неточен в моем рассказе.

Отец Яши был типичный еврей из местечка, кустарь-ремесленник эсерских наклонностей, но бородач, начетчик и талмудист. Он был очень добрым и терпеливым человеком, но единственное, что он знал и чувствовал совершенно точно — это то, что советская власть для него неприемлема ни в малейшей мере. Яшу он не убедил, и тот ушел еще совсем мальчиком из отцовского дома. Уехал в Москву, к тетке, которая не то сама занимала высокое положение в партийном аппарате, не то была замужем за высокопоставленным лицом.

Яша был маленький, тощий, гибкий; курчавые его волосы были коротко острижены, а лицо смотрело на мир из-под дуг бровей огромными, глубокими серыми глазами, смотрело с невероятным интересом к жизни и чистой, беспримерной бескомпромиссностью. В доме у тетки он увидел самодовольство и непростительный для революционера комфорт; он ушел из теткиного дома, поступил учиться в какой-то техникум — без общежития; вся его крошечная стипендия уходила на плату за комнату, снятую вместе с таким же бездомным и бесштанным товарищем; они вместе учились, вместе жили, вместе голодали и болели туберкулезом; похоронив товарища, Яша перебрался в Ленинград и поступил на литературный факультет ЛИФЛИ. Шурина компания ему подошла — к этому времени Яша уже вступил в партию, но и ему нужен был марксизм без вульгаризации.

Яша в Ленинграде жил тем же бытом, что и в Москве. Одет он был кое-как (словно вышел из моего первого курса истфака), а в маленькой комнатушке, которую он снимал, стоял один дощатый стол, один гнутый стул и вдоль стены был один пружинный матрас, поставленный, вместо ножек, на тома собрания сочинений Маркса и Энгельса, — когда Яша читал какое-нибудь сочинение классика марксизма, матрас качался с одного угла.

В эту комнату к нему приходила подруга.

В нашу компанию наряду со всеми входила Ляля Ильинская, и в нее были в большей или меньшей степени влюблены все наши мужчины. Она была очаровательна; лицо ее было красиво — не так красиво, как у некоторых

других девушек, которых я встречал; то есть ее не хотелось назвать красавицей, но в очерке ее лица, задумчивых больших глазах, в ее движениях, в хрипловатом прокуренном голосе, в тихом пении старинных песен была неотразимая прелесть. Ляля Ильинская была замужем, но с мужем как будто не жила, а у нас (кроме меня), как сказано, все были в нее немного влюблены — но она всем предпочитала только Яшу, и я считаю, что вкус ее был правилен.

Более «сбоку» в компании были муж и жена — Анка Эмме и Гриша Тамарченко. Анка, несмотря на фамилию, была несомненно русская (может быть, из эстонцев?): стриженая светлая блондинка, маленькая, с резкими движениями, с еще более хриплым голосом, чем у Ляли, несомненно умная, с живыми литературными интересами. Гриша Тамарченко, тоже маленький, черный, курчавый, был, вероятно, еврей, хотя мы, конечно, об этом не задумывались; он как бы состоял при Анке, и как самостоятельную личность я как-то его и не помню. Еще была, но скоро как-то исчезла — может быть, перевелась в Москву? — Сусанна Альтерман (позже Розанова).

Ну и мы с Ниной вошли тоже в эту компанию.

Это был год начала гражданской войны в Испании. Среди всей нашей молодежи борьба испанских республиканцев против Франко и фашизма вызвала большой энтузиазм и большие надежды. С одной стороны, все мы хорошо понимали, что это — генеральная репетиция большой войны с фашизмом, и выиграть ее казалось важным лично для всякого человека. С другой стороны, внушало надежду то, что испанские республиканцы были продолжением французского «Единого фронта», в котором смыкались все антифашисты, от лидера правых социалистов Леона Блюма до коммунистов во главе с Морисом Торезом. В этом был какой-то залог прекращения ситуации «осажденной крепости», которой мы приписывали все жестокие крайности советской власти: ведь в осажденной крепости, естественно, действуют законы военного времени, более жестокие, чем в нормальное время. Решительный отказ Коминтерна блокироваться с другими левыми силами именно и привел к победе Гитлера на конституционных демократических выборах. К 1936 г. результат в Германии был налицо. Ликвидацию в СССР революционных партий, кроме РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б), нам объясняли тем, что те партии не поддержали советской власти, а левые эсеры — даже восстали против нее; стало быть, в других условиях, в других странах, где революционные партии сумели бы сговориться между собой, не было бы причин, почему нельзя было строить социализм не на однопартийной основе, а на основе Единого фронта разных партий? (Впрочем, изучая Ленина, мы могли бы ясно понять, что ленинизм всегда рассматривал всякий блок с другими партиями как только временный, как наилучший путь проникнуть внутрь других, «союзных» партий, с тем чтобы их либо вытеснить, либо растопить в массе коммунистов). Мы понимали, что «железная генеральная линия партии» способна на изгибы в зависимости от обстановки; разрушение ситуации «осажденной крепости» казалось нам необходимым условием нормального развития страны, а Единый фронт казался возможным шагом по этому пути; испанские же республиканцы были Единым фронтом в боевой обстановке гражданской войны — то есть в такой

обстановке, когда у нас Единого фронта уже не было. Значит — в принципе возможно?

Кроме того, всем была ясна неизбежность предстоящей схватки с фашистской Германией, как международного продолжения схватки между коммунистами и националистами в самой Германии.

В моей голове тогда бродила еще идея — но она, кажется, нашей новой компании не была присуща, я говорил о ней только Коте, — идея была в том, что наша страна, совершив социальную революцию раньше, чем полностью созрели все противоречия последней стадии капитализма, должна была, исполняя непреложные законы общечеловеческого исторического развития, неизбежно пройти этап, в который капитализм только теперь вступает — этап тоталитаризации, как говорят нынче во второй половине XX века; тогда этого понятия не было, но ощущение того, что национал-социализм и советский социализм, помимо капиталистической сущности одного и некапиталистической — другого, относятся к одному типу явлений эпохи позднего империализма и социальных революций, было.

Для понимания того, что́ и как мы думали в те годы, очень важно понять, что мы принимали ленинский тезис об империализме как последнем этапе капитализма. Историю капитализма в Европе принято было начинать с промышленного переворота в Англии (английская, голландская буржуазные революции, итальянские и германские бюргерские города относились все же к предкапитализму); историю империализма нам начинали с американо-испанской и американо-филиппинской войны и англо-бурской войны, то есть с 90-х—900-х гг.; стало быть, от начала преобладания капитализма до начала его последней стадии прошло немногим более ста лет. Сколько же мог продлиться последний его этап? Тридцать лет? Сорок лет? — Казалось ясным, что время капитализма на исходе, а время мировой социалистической революции наступает. И нам, право же, хотелось, чтобы она наступила в виде Единого фронта.

Во время испанской войны вся брань по адресу социал-демократов и даже просто демократов прекратилась; безудержно бранили только испанскую организацию ПОУМ, которую принято было — не вполне основательно — отождествлять с троцкизмом, и, кроме того — главным образом, за распущенность и неорганизованность — бранили анархистов.

Со всего мира на помощь испанским республиканцам съезжались антифашисты и критики капитализма; ожидалось, что СССР тоже окажет помощь.

СССР и вправду послал танки, самолеты с экипажами — и военных советников. Больше сделать, по обстановке, вряд ли и можно было. Другое дело, что некоторые советники были малокомпетентны, и иной раз более мешали, чем помогали своим подшефным. Но были, видимо, и блестящие военачальники.

У нас в актовом зале состоялся митинг в поддержку испанских республиканцев. Первые речи были довольно обыденными. Хулили фашистов, стандартными газетными словами выражали одобрение республиканцам. Но вдруг на кафедру вышел Яша Бабушкин. Он говорил свободно и горячо — и, главное, с необычной для этой трибуны искренностью и личным отношением к делу, о котором шла речь. И когда он сказал, что каждый из

нас по первому призыву пойдет сражаться за республику и умрет за нее, это прозвучало таким от души вырвавшимся, выстраданным, неподсказанным — таким созвучным тому, что думали в этом зале. Зал грохнул долго не смолкавшими аплодисментами.

Действительно, вскоре был объявлен набор на курсы, назначение которых было довольно поверхностно засекречено. Воля Римский-Корсаков ходил с такой важной таинственностью, что всем все становилось ясно.

На курсах учили испанскому языку; не знаю, была ли какая-либо военная подготовка. Из числа уже знавших иностранные языки готовили переводчиков для советских военных советников, отправляемых в Испанию. Принимали с большим отбором, и даже уже окончивших курсы мандатная комиссия часто отводила по анкетным соображениям. Не прошел и Воля Римский-Корсаков; в порыве неразумной искренности он написал в автобиографии, что первый муж его матери выехал за границу лет за десять до его рождения, т.е. примерно в 1905 г. Не прошел и наш председатель профорганизации Гриша Бергельсон. С нашего факультета уехали Ляля Константиновская (на два курса старше меня), Давид Цукерник (однокурсник Нины Магазинер), Захар Плавскин, Валерий Столбов, Готя Степанов (младше нас), подруга Гриши Бергельсона, Юля Бриль, с исторического факультета Давид Прицкер.

Только что женившись и к тому же понимая, что такая поездка покончит навсегда с моей ассириологией, да и вообще не принадлежа к энтузиастам по характеру, а скорее, к скептикам, я, конечно, и не думал об испанских курсах.

Мы хорошо понимали, что всем все равно придет черед. Как-то, кажется, Воля Римский-Корсаков сказал Шуре:

— Недавно я подробно изучил географию Абиссинии, а теперь я здорово знаю географию Испании.

— Погоди, — сказал Шура прозорливо, — мы скоро выучим географию всего мира.

Из нашей компании только Воля подавал на курсы переводчиков. Яша как член партии не мог подать на них без направления парторганизации, а она такого направления не дала.[1] Почему не подал Шура Выгодский — не знаю; скорее всего потому, что они вместе с Юрой Фридлендером были заняты важной работой: под руководством Михаила Александровича Лифшица они, хоть еще и студенты, готовили монументальное комментированное издание «Маркс и Энгельс об искусстве», требовавшее немалой эрудиции, чувства ответственности и огромного объема работы.[2]

---

[1] Возможно, потому, что у Яши было плохо с иностранными языками.

[2] Книга эта вышла в свет и переиздавалась. Комментарий к ней, составленный Шурой и Юрой, был весьма замечательным, особенно если учесть, что авторам было по двадцать два года от роду.

Глава десятая (1936—1937)

Ну, здравствуй, князь с княгиней молодой!
Дай Бог вам жить в любови да совете.

I

Наша комната на Суворовском была нашим домом, и мы стали уютно в нем устраиваться. Казалось, закрой дверь — и никто не имел к нам больше никакого отношения. Мы не собирались жить за счет родителей — да тогда это как-то было и не принято — и, стало быть, надо было начать с создания своего бюджета. Была куплена амбарная книга для тщательной записи каждой копейки расходов — и она велась со всей серьезностью до тех пор, пока события, над которыми мы не имели власти, не нарушили течение нашей жизни.

Приданое мое было такое, что о нем не стоило и говорить. Старые чиненые брюки, синяя куртка-френчик, свитер, не очень новые полуботинки, две-три смены белья и носков, старое демисезонное пальто и кепка. Еще я взял из дому, под сомнительные звуки, издававшиеся папой, томиков двадцать папиных книг, не считая книг моих собственных — трех томов «Кэмбриджской истории древнего мира», шилейковских «Вотивных надписей шумерийских правителей» и еще десятков двух менее ценных книг по древности. У папы я взял также ценность большую: английскую Библию короля Якова в карманном издании. Она была в мягком кожаном переплете, загибавшемся по краям, чтобы карманом не повредить страниц: текст ее был напечатан петитом и нонпарелью на тончайшей бумаге, и, кроме собственно книг Ветхого и Нового завета с тематическими пересылками на полях, в тот же томик входил и сборник «В помощь изучению Библии»: археологические иллюстрации, образцы рукописей на древнееврейском, греческом, латинском и староанглийском языках, минералогия, зоология, ботаника, монеты, пророчества, чудеса в Библии, краткое изложение библейских книг, исторические очерки событий, упоминаемых в Библии, два конкорданса, симфония четырех евангелий, имена и эпитеты Бога, предметный и именной индекс и атлас. Прямо хоть садись и пиши проповедь на любую библейскую тему. Эта книга сослужила мне в жизни огромную службу как профессиональное пособие и источник информации для себя и для всех, кто желал получить от меня консультацию.

Время от времени Лидия Михайловна «доставала» нам — то штаны, то пресловутый шкаф. Мне не хотелось чувствовать себя у нее в долгу, но надо было быть благодарным: все это и вправду было нам нужно, хотя все дары мне делались без спросу: это *ей* ведать надлежало. За квартиру тоже платила Лидия Михайловна.

Сразу по приезде и водворении в «наш семейный дом» Нина показалась мне как-то немного изменившейся: еще бы! Ей надо было учиться и работать, и готовиться и к тому и к другому, — удивительно ли, что у нее было меньше возможности и охоты болтать со мною? В дни жениховства, когда я приходил к ней, такое время, конечно, находилось — но, очевидно, за счет каких-то других необходимых дел; теперь же время нельзя было делить на «наше» и

трудовое. Нина приходила домой очень усталой, и ей было не очень до меня; я уставал меньше.

В то же время, за годы нашего романа у меня накопилось много дел по университетской и собственной науке; все свободное время я проводил за письменным столом и, конечно, тоже казался Нине изменившимся — и не к лучшему.

Я решил было: раз нам теперь жить вместе до конца жизни, то, очевидно, нередко придется говорить с Ниной о моих профессиональных делах, о работах, которые я буду писать, о проблемах, которые я буду себе ставить. И раньше обо всем этом приходилось говорить, хоть отрывочно и мельком, но Нину это интересовало, и она даже была на моем докладе в Эрмитаже (перед двумя академиками и чуть ли не десятком профессоров). Чтобы очень не затруднять ее, я решил написать ей тоненькую тетрадку — страниц 12—16 — с изложением (крупным почерком) основных вех древней истории Востока: чтобы не объяснять каждый раз, когда жили шумеры и кто такой был царь Хаммурапи, и чем он отличался от Ашшурбанапала. Увы, когда я положил эту старательно написанную тетрадку ей на стол, она ее отшвырнула. Я скомкал тетрадь и спрятал ее подальше.

Сидя за письменным столом и задумавшись как-то над работой, я по дурной привычке качнулся на стуле. Нина мне сказала:

— Не качайся на стуле, мама не любит, когда качаются на ее стульях.

Эта пустяковая фраза больно ударила меня под сердце — вот и сейчас помню. Значит, стул не наш, и я не у себя дома? Сказала бы: «Не качайся на стуле, я этого не люблю!»

Каждый дом имеет свои обычаи и привычки и имеет на это право — например, у нас было принято мочить белье только в специальном корыте, у Магазинеров — в общей ванне. Я понимал, что обычаи не только могут, но и должны быть разные, и меня угнетала не непривычность этих обычаев сама по себе, а невозможность ощутить себя членом семьи. Я-то мечтал о другом: чтобы мы с Ниной были бы членами одной, только для нас вдвоем, новой семьи. Но у Нины совершенно не было ощущения, что она начала новую жизнь и основала новую семью: она ведь не уходила ниоткуда из своей собственной, и осталась ее членом — все так же, как и прежде, подданною Лидии Михайловны. And where did I come in?[1] Я не основал новой семьи, а сижу на обочине чужой; только довесок к дочке в ее семействе, приймак, не более того, и мне надо приспосабливаться к трену жизни этой чужой для меня семьи.

Надо сказать, что Яков Миронович принял меня очень дружески и ласково — но ведь и он был не более как подданный Лидии Михайловны.

Нина никак не могла понять, в чем тут проблема. Естественно, образ жизни ее семьи, в которой прожита вся жизнь, казался ей не просто правильным, а прекрасным, наилучшим из возможных, а выраженная мною как-то раз, в первые же наши общие дни, ностальгия по моему старому дому обидела ее как нелояльность к ней самой.

Трудно было не потому, что было трудно, а потому, что никто не мог

[1] А я какое имею значение? (англ.).

сочувствовать моей трудности — не дома же жаловаться! Если бы мы перед этой трудностью стояли вдвоем! Но для Нины было даже непонятно, что тут есть хоть какой-либо особый вопрос. Я начал учиться важной науке, на всю жизнь важной — быть одним самим с собою, не вылезать со своими комплексами и ощущениями. Науке этой пришлось учиться всю жизнь, всегда срываясь и не выучив ее до конца и в старости.

Было, однако, одно средство, чтобы все кончалось прекрасно: никогда не позволять размолвке продлиться за ночь, к вечеру принести извинения, кто бы ни был в размолвке виноват. И жизнь шла — не так, как на Зеленом Озере, но все-таки шла хорошо. Мы были молоды, мы были молоды, нам было хорошо.

II

Как только началась наша семейная жизнь, оказалось, что заработчик у нас Нина. Смешно подумать, что об этом важном вопросе у нас не нашлось времени подумать раньше. Нина работала с этой осени там, где когда-то училась: у Веры Игнатьевны Балинской на Высших курсах английского языка, вскоре переделанных во Второй Ленинградский педагогический институт иностранных языков. Штатного расписания у преподавателей до 1937 г. не существовало, оплата была почасовой: 5 р. 25 к. в час, а в месяц получалось 200—250 рублей, так как надо было еще оставлять время на то, чтобы учиться (на двух факультетах). В ЛИФЛИ Нина получала еще 60 р. стипендии.

С осени 1936 г. и я стал получать стипендию.

В общей сложности наши доходы составляли рублей триста с небольшим. Это было очень мало. На еду (смотрю я по нашей старой расходной книге) уходило около 8 рублей в день.

Завтракали мы с Ниной вдвоем, и завтрак был стандартный: по одной банке консервированной (очень вкусной) кукурузы на двоих, что стоило 1 р. 01 к. Обедали часто в столовой — либо университетской, либо Нина — в институте, а я — в Эрмитаже, примерно на три-четыре рубля. Чай пили вечером у Нининых родителей за круглым столом.[1]

Денег брать от моих родителей мне не хотелось, — тем более, что в их хозяйстве с его постоянными литераторскими «ups and downs»[2] сейчас явно было down. От Нининых родителей мы тоже наличных денег не брали — жили они очень небогато. Меня крайне поражали магазинеровские общие чаепития: у Дьяконовых, когда денег не было, стол был пуст, зато когда деньги были, на столе было чем поживиться. У Магазинеров же на ужин к чаю подавались, всегда одинаково, только конфеты; и когда я, сладкоежка, раз взял две конфеты, получился конфуз: конфет выдавали строго по одной на брата.

Трехсот рублей на двоих не хватало: не говоря уж об одежке, на одну еду,

---

[1] Вскоре, когда наши заработки несколько стабилизировались, нас, как и старших, стала обслуживать обедами домработница Лидии Михайловны, Анна Ефимовна. Прескверные были обеды. Деньги на них мы вносили.

[2] «Вверх и вниз» (англ.).

туалетные принадлежности и транспорт выходило больше, — а еще случалось у букиниста купить кое-какие книжки.

Конечно, по-настоящему надо было мне поступить на работу; но вечерняя работа на пути не валялась, а к тому же я понимал, как дороги для будущего мои вечера, полные не только подготовкой к занятиям, но и успешным накоплением знаний для будущей работы в науке. Кроме того, я ни тогда, ни в течение всей моей жизни не мог освободиться от национальной обломовской склонности к laissez faire:[1] если кто-то что-то как бы естественно уже делает, мне трудно было сделать усилие, чтобы это «что-то» взять на себя. — Пока что я поступил в Эрмитаж экскурсоводом.

Для «сквозняков» (так тогда называли «сквозные» экскурсии для общего ознакомления со всем музеем) у меня не хватало знаний и подготовки; но в те годы поход на эрмитажную постоянную выставку Древнего Египта входил в программу 5-х классов всех школ, и в сентябре-ноябре шел огромный наплыв заявок на эти экскурсии; да и среди широкой публики, и даже у командования военных училищ, выставка Египта пользовалась большой популярностью; осенью экскурсоводов очень не хватало.

Сначала экскурсии разрешалось водить учителям школ и даже просто руководителям клубов и т.п.; эти экскурсии, как и все вообще, прослушивались сотрудниками Отделения Древнего Египта. Но тут начались анекд ы. Одну экскурсию прослушивала Наталия Давыдовна Флиттнер: экскурсовод привел своих подшефных в ту часть выставки, где стояли гигантские базальтвые саркофаги позднего периода египетской истории, и, выстроив группу вокруг саркофага, сказал:

— Вот сто гхроб. И ложат стот гхроб в сгхипетскую пирáмиду.

(Пирамиды, конечно, возводились на две тысячи лет раньше).

Неподалеку стоял шкафчик, в котором было выставлено много десятков ушебти — фигурок из голубого фаянса в виде запеленатой мумии Осириса. Такие фигурки клались умершему в гробницу для того, чтобы, когда царь мертвых Осирис вызовет покойного на барщину, дежурная в этот день фигурка откликнулась бы и вышла за него на работу. Экскурсовод объяснил только, что это изображения покойников. Кто-то спросил — мужчины это или женщины, и если это одни мужчины, то почему? (Естественно, потому, что они в облике Осириса). Экскурсовод сказал:

— Вот вам задание: пока мы занимаемся, определите, кто из них мужчина, кто женщина.

— Каким образом?

— По признакам.

После нескольких подобных печально-комических случаев такие «самодеятельные» экскурсии были запрещены. Стали их поручать экскурсоводам-профессионалам, которые должны были сдавать (обычно заведующей египетским Отделением — Милице Эдвиновне Матье) экзамен по теме. Но прослушивание — чтобы не смущать новичков — проходило не на первой их экскурсии, а на третьей или четвертой. И тут тоже не обходилось без анекдотов. Однажды к нам заявился некий одноглазый молодой мужчина в

[1] Предоставлять делам идти самим по себе (франц.).

поношенном морском кителе, получил литературу и консультации по древнему Египту и был выпущен на первую экскурсию.

Прослушивали обыкновенно, стоя поодаль, иногда даже за фанерным пилоном (такие пилоны, ради увеличения полезной площади стен, разделяли на отсеки всю египетскую выставку, помещавшуюся в глубинной части Растреллиевской галереи; передняя ее часть, ближе к Иорданскому подъезду, отделенная фанерной стеной, еще принадлежала тогда Музею революции). На одном из пилонов была витрина с предметами египетского быта, и для оживления ее в выставку были включены копии с древнеегипетских рисунков, в частности — фигурка лютнистки в прозрачном платье.

Расставив пятиклассников вокруг этой витрины, экскурсовод показывал исключительно эту копию рисунка и рассказывал, что это — альмея, египетская женщина легкого поведения, которая исполняет танец живота, заключающийся в том, что надо делать такие движения бедрами, как будто между ног залетела оса. И он эти движения тут же воспроизводил. Пришлось его выгнать.

Но это, конечно, были редкие экземпляры и монстры, хотя не такие уж и редкие. Большинство экскурсоводов были женщины с педагогическим или искусствоведческим образованием, отлично знавшие свое дело, и у них я с удовольствием учился умению ясно излагать мысли, заинтересовывать и держать в руках буйную толпу пятиклассников. Труднее было заинтересовать «смешанные» группы, поставлявшиеся по ЖАКТам;[1] в них могли входить слушатели от профессора до дворничихи. Заинтересовать их всех древним Египтом было практически невозможно, а это означало, что кто-то отходил в сторону и рассматривал что-нибудь вовсе не входящее в тему экскурсии, кто-то переговаривался между собой и т.п. Раз я оборвал экскурсию на полуслове и пошел доложить в просветотдел, что я ее до конца не довел. Когда я проходил через зал по дороге назад, в египетское отделение, я видел, что мои экскурсанты не разошлись, а продолжают ждать меня. Но я уже к ним не вернулся.

И еще гораздо труднее было вести экскурсию бойцов (тогда не говорили «солдат») или курсантов, которые печатали шаг, ели тебя глазами и не выражали ничего на лицах — ни заинтересованности, ни даже скуки.

На трудных группах, пожалуй, еще интереснее было слушать наших лучших экскурсоводов. С удовольствием вспоминаю их здесь: это была прежде всего умная, рыжая, живая, наизусть знавшая, чем живы мальчишки, Любовь Владимировна Антонова, когда-то первая жена египтолога Исидора Михайловича Лурье, в годы войны — заведующая детским домом эвакуированных эрмитажных детей, потом многие годы — заведующая школьным кабинетом Эрмитажа; и затем это была остроумная не без ядовитости, тоже великолепный педагог, Ксения Владимировна Ползикова-Рубец, тогда еще

[1] ЖАКТ, или ЖКТ — «Жилищно-кооперативное товарищество» — существовало, как правило, в каждом доме, для регистрации и обслуживания жильцов. Возглавлял его управдом, или управхоз, отвечающий за чистоту и порядок в доме. Позже ЖАКТы были заменены «жилконторами» — одной на целый квартал, а потом районными жилуправлениями. Соответственно, исчезли чистота, порядок и регулярное действие лифта, водопроводного, канализационного хозяйства, покраска и уборка подъездов, и стал застопориваться вывоз мусора.

жена Мишиного учителя, историка и востоковеда Александра Юрьевича Якубовского; красивая и дельная Марина Владимировна Андреева, Рейхардт (не помню имени и отчества), жена специалиста по истории мебели, профессора Лесотехнической академии, Ядовина, впоследствии много лет ученый секретарь Эрмитажа (после меня); и другие.

Экскурсионная работа была для меня школой, учившей не только ясно и понятно излагать мысли, но и быть способным повторять раз за разом одну и ту же экскурсию-лекцию, не становясь однообразным и скучным, и держать внимание многих разных людей одновременно. Платили, помнится, 3 р. за экскурсию, всего набегало рублей сто в наш семейный бюджет.[1]

III

Наш с Ниной дружеский кружок составляли Нинины приятели по литературному факультету. Кроме того, Нина дружила (по отдельности) с двумя своими еще школьными подругами — Ирой Волынской и Шурой Хейфец. Ира Волынская была во многом замечательный человек. Семья ее состояла из матери и брата; была она «из дворян», но очень преданной и убежденной комсомолкой. Была она стройной и красивой; Нина даже считала ее красивее себя (у нее все были якобы красивее нее) и приготовилась ревновать ее ко мне, когда я с ней познакомлюсь. Шура Хейфец, напротив, была довольно заурядная «буржуазная барышня» (по тогдашним понятиям). Мне они не понравились — ни та, ни другая, но так или иначе, они вскоре выбыли из нашего поля зрения: Ира окончила медицинский институт и была направлена по распределению на Дальний Восток, где работала врачом-фтизиатром; а Шура была занята какими-то романами, и ей было не до нас — а нам не до нее: мы были оба очень заняты учением и работой.

Дома у своих я старался бывать раз в неделю — я понимал, что маме этого было мало, но больше времени было не выкроить. Там не много было перемен. Папа по-прежнему много работал — теперь он писал книгу по истории полярных экспедиций; по полу бегал маленький сын Таты и Миши, — сероглазый Андрюша, или Бусыга, полностью завоевавший мамино сердце. Тата была в своем репертуаре — красива и афористична. Вечно в доме околачивался ее поклонник Сергей Гушнер.

Вся семья побывала летом 1936 г. опять в Коктебеле — без меня, но зато впервые с Мишей (и без Таты): это имело потом важное значение для его жизни, потому что в Коктебеле он встретился с Евгенией Юрьевной Хин, женой нашего университетского профессора, литературоведа Ореста Цехновицера, и завязался долгий и трудный роман. Как кажется, нелегкий роман был в Коктебеле и у Алеши — но это мои догадки, он был слишком скрытен, чтобы можно было что-либо узнать о его жизни. В доме по-прежнему бывал мудрый, остроумный и способный Воля Харитонов, но стали появляться и

[1] Мои «никакие» заработки беспокоили Якова Мироновича, который в это время преподавал в Институте восточных языков, где он выхлопотал для меня перевод английского текста недавно введенной Конституции Индии, тогда еще британской колонии. Было чрезвычайно скучно, а дохода очень, очень мало, отвлечение же от науки меня волновало: я готовил новый научный доклад. Перевод я сделал как мог: не хотелось огорчать Якова Мироновича, — он был такой милый, кроткий и весь светлый, голубоглазый, с еще не седевшим, совсем светлым пушком волос на висках.

Алешины школьные друзья — Фима Эткинд, Эрик Найдич, Леня Салямон, Гета Волосова и другие, заметные впоследствии лица.

В 1936 г. исполнилась Алешина мечта — он поступил в Кораблестроительный институт — не без легкого подталкивания приемной комиссии со стороны Ораса — того самого комиссара «легендарного» ледокола «Красин». Экзамены Алеша сдал с полным блеском, но конкурс даже для «отличников» был очень большой — с другими отметками, кажется, и вообще не брали. Если бы не блестящая сдача экзаменов, Орас бы не помог.

Вступительные экзамены в университеты и институты, как я уже говорил, в середине 30-х гг. были и строже, и — в пределах некоторых классовых ограничений — честнее: о взятках профессорам никто и слыхом не слыхивал, а знакомства хотя, как видно на Алешином примере, и могли играть какую-то роль, но только для все равно отличных абитуриентов, и только в таких «особых», почти сплошь партийных институтах, как Кораблестроительный.

Нина на Скороходову улицу со мной приходила редко. Папа и братья относились к ней хорошо, но ее отношения с мамой были холодными — ни та, ни другая не умели скрывать своего настроения. Также не любили друг друга Нина и Надя Фурсенко (теперь Фиженко) — хотя, казалось бы, ни той, ни другой для ревности не было причин. Я изредка бывал у Нади — особенно на 18 июня, мои именины и «нашу с ней» годовщину (но она этой даты не замечала); при ее муже мне у нее было тоскливо, а она ко мне не приходила, ни с мужем, ни одна. Ваня жил в Колтушах, где он работал в павловском Институте физиологии — и был практически невидим; кроме Ники Ереховича и Левы Липина, с которыми мы вместе иногда готовились к шумерскому для А.П.Рифтина, когда Нины не было дома, из моих прежних друзей у нас в доме не бывал никто.

Впрочем, Котя Гераков, как я уже рассказывал, однажды появился в Ленинграде. Он повидал меня в ЛИФЛИ, рассказал мне, как они бедствовали с матерью и сестрой в «Поселке имени Пятакова», где он должен был еженедельно регистрироваться в местном НКВД; как потом ему удалось устроиться в геологическую экспедицию. Один эпизод из жизни его экспедиции рассказан выше. А вот другой.

Экспедиция, как водится, работала с заключенными (уголовниками). Раз начальник экспедиции уехал в город — за зарплатой или за продуктами, — а заключенные убили конвоира и захватили его винтовку. Коллекторы были безоружны, а у заместителя начальника экспедиции хотя и был маузер, но расстояние его действия было недостаточно, чтобы стрелять по восставшим. Тогда он взял в руку бутылку и, делая вид, что это граната, загнал заключенных в шурф, где и держал их под угрозой, пока один из коллекторов (чуть ли не сам Котя) не поскакал на лошади за милицией и не прискакал обратно с подкреплением.

В течение всего этого времени уголовники не могли сообразить, что винтовка, захваченная ими у конвоира, гораздо дальнобойнее и маузера, и гранаты, и что им ничего не стоит перебить всю экспедицию с безопасного расстояния.

После этого Котя уехал, и я многие годы его больше не видел. Встретил его на улице году в 1947, уже известным ученым-геологом. Мы оба

торопились, но договорились, что я на другой день приду к нему в гостиницу. Я пришел — но Котя уже уехал. Я не догадался записать его адрес, и больше мы с ним уже не увиделись.

IV

В ЛИФЛИ четвертый курс принес мне некоторые облегчения: я настолько прилично освоился с аккадской клинописью, что мне уже не требовалось многочасовых трудов перед каждым ежедневным занятием.

По-прежнему ежемесячно собиралась кафедра Александра Павловича. Кафедра была теперь «семито-хамитской», и при ней открылась африканская группа с преподаванием языков амхарского, суахили и хауса. Поэтому умножилось число студентов. Помимо привычных нам членов кафедры, появились еще Клавдия Васильевна Оде-Васильева, палестинская арабка, читавшая, как мне помнится, арабскую диалектологию для арабистов; седовласый арабист Даниил Владимирович Семенов; щуплый, какой-то изможденный гебраист И.Г.Бендер в пиджаке словно с чужого плеча; иногда появлялся длинный, костлявый, черепообразный Равребе, сотрудник Публичной библиотеки, первый в нашей стране взявшийся за новооткрытые угаритские тексты; и, конечно, видное место занял неповторимый Исаак Натанович Винников, читавший гебраистам введение в Талмуд.

Из общих курсов «Историю лингвистических учений» читала профессор из Москвы — Розалия Осиповна Шор. Я давно знал ее книгу, совершенно лишенную «марризма». Но я никогда не мог заинтересоваться описаниями старых философий и лингвистических концепций, давно потерявших актуальность и даже смысл. Я слушал ее вполуха. Другой общий курс был история философии, который читал некий профессор Пипер; читал он довольно хорошо, и хотя и здесь давно отвергнутые философские системы казались мне неинтересными, но все же древняя философия имела какое-то отдаленное отношение к моим научным интересам, а Беркли и Кант интересовали меня из-за прежних споров с Ваней Фурсенко, поэтому я все-таки кое-что слушал и даже хорошо сдал экзамены.

Зато очень интересны были у нас языковые занятия. С третьего курса Александр Павлович начал нам читать шумерский язык, и теперь мы проходили все более сложные тексты.

Грамматику А.П. читал по Пёбелю, но вносил и много своего, оригинального. Я тщательно записал весь грамматический курс А.П. и потом изложил в полном порядке в отдельной тетрадочке. По ней я впоследствии сам читал курс шумерской грамматики в 40-х годах.

Кроме того, А.П. читал очень интересный курс «аккадской диалектологии» — или, точнее, истории аккадского языка, с параллельным чтением текстов разных эпох, писанных разными пошибами. Этот курс плюс инвентаризация и чтение маленькой, но удивительно разнообразной клинописной коллекции Эрмитажа дали мне свободу обращения с клинописными текстами разных жанров и эпох, чем я впоследствии удивлял моих зарубежных коллег. Такой же курс я тоже несколько раз сам впоследствии прочел уже для своих учеников.

Продолжались интереснейшие занятия с Андреем Яковлевичем Борисовым.

Приятно было заниматься немецким с прелестной Сандухт Арамовной Акулянц. Хотя, связанная группой в целом, она не давала ничего такого, чего я уже не знал от Сильвии Николаевны Михельсон, я все же с удовольствием всегда ходил на ее уроки.

И, наконец, я, как уже упоминалось, ходил к Александру Васильевичу Болдыреву на факультативные занятия по греческому языку. Греческий язык показался мне самым трудным из всех, которые мне до тех пор приходилось учить, — за исключением, конечно, шумерского, но там трудности были связаны не только собственно с языком, но и с фантастически трудным письмом. Александр Васильевич — брат Н.В.Болдырева, друга моего тестя, и дядя ираниста А.Н.Болдырева — был высокий, красивый человек, уверенно и ясно объяснявший нам греческую премудрость, и мы любили его. Судьба его — как большинства классиков — была нелегкой и включала, между прочим, арест и не то Соловки, не то высылку в Сибирь. Но теперь он благополучно вернулся к преподаванию в Ленинграде.

Все Болдыревы были очаровательные, умные и интересные люди.

Довольно неожиданно, чуть ли еще не до зимней сессии, из нашей группы была исключена Соня Безносая, несмотря на заступничество Израиля Григорьевича Франк-Каменецкого: дело было тут не в одной неуспеваемости — она ничего не понимала в арабском уже давно, и чтобы исключить ее за неуспеваемость, не нужно было ждать четвертого курса. Исключили ее по политическому доносу Мусесова — в чем именно он заключался, я не помню, может быть и не знал; какие-то обычные пустяки. Самое пикантное было в том, что она с самого первого курса жила с Мусесовым — и, очевидно, теперь ему наскучила.

И тогда же, еще до зимней сессии, исключили Нику Ереховича. В чем было дело, он нам не рассказывал, да и не нужно было: сын царского генерала! Приняли его по протекции В.В.Струве и еще кого-то, но долго эта протекция не могла быть действенной. Он сразу же куда-то уехал, — может быть, на Кольский полуостров к ссыльным родителям.

V

Опять на моем горизонте появился Мирон Левин.

Мирон уже давно покинул семитологию, но я продолжал встречаться и болтать с ним в коридорах ЛИФЛИ. Он непрерывно занимался трепом, иной раз небезобидным: всячески разыгрывал напыщенного комсомольского деятеля Петушкова («Наш приятель Петушков без задорин и сучков»), влюбил в себя маленькую, хрупкого вида девочку, и потом отверг ее в тот самый момент, когда она готова была ему принадлежать. Меня это злило, и я все более от него отдалялся.

Однажды Мирон пригласил меня в его нынешнюю компанию и объяснил, что у них игра: один из компании — якобы Председатель некоего «Комитета по распределению сил», но несмотря на свою занятость государственными делами, он имеет литературный салон, в котором собираются молодые

многообещающие поэты и литературоведы. Он очень просил, чтобы я пришел, и я без особой охоты согласился. Из его компании я знал, кажется, только одного Юру Люблинского, молоденького, славного и пока недалекого студента литературного факультета. Собирались в отдельной квартире кого-то из родителей участников этой компании; я пришел и застал ее (компанию) в некотором смятении: заболел и не явился тот, который должен был играть Председателя Комитета. В конце концов решили сделать Председателем одного из ребят — Колю Давиденкова; правда, вид у него был довольно мальчишеский, но его решили посадить в халате в темный угол в кресло, повязать ему голову полотенцем (будто бы болит голова) и велели ему говорить только односложно. На столе была уже расставлена родительская посуда, хрусталь и серебро человек на десять. Наконец, явилась девица, ради которой устраивался весь этот маскарад. Это была С., маленькая еврейская девушка, третьекурсница с романского отделения. Она робко подошла к Председателю и поздоровалась; все (кроме Председателя, который отговорился плохим самочувствием) сели за стол, положили себе не бог весть какой салат, розлили по рюмкам дешевое вино и водку, заговорили об умном. Кого-то упросили прочесть стихи, довольно пустые, но важно (и односложно) одобренные Председателем. Скоро оказалось, что вина не хватает; кто-то из «заговорщиков» вышел на кухню и налил в бутылку холодного чаю — С. пила и ничего не заметила. Затем она, волнуясь, стала прощаться; ее проводили в переднюю — не успела захлопнуться за ней дверь, как грохнул хохот.

Я спросил Мирона, не считает ли он, что вся эта сложная инсценировка для того, чтобы обмануть одну несчастную девочку — стрельба из пушек по воробьям; Мирон объяснил, что розыгрыши должны продолжаться и с другими; было ли это так — не знаю: меня больше не звали. Еще я сказал Мирону, что это не только слишком громоздко для такой ничтожной цели, но и опасно — разве он не знает, как караются самые невинные компании ребят, если только они носят характер организации, имеющей название, — и не одобрены комсомолом? — И от этого Мирон отмахнулся. Я простился с гостями и ушел.

Судьба Коли Давиденкова была ужасна. Он был арестован, затем освобожден; взятый в армию во время войны, он попал в плен, был освобожден союзниками и вернулся; но здесь был, конечно, обвинен в шпионаже и расстрелян. Зато его отец, врач-профессор, был почтен мраморной доской на стене своего института.

Вскоре у Мирона обострился туберкулез. Он долго лежал в больнице, что против Мальцевского (Некрасовского) рынка, а затем уехал в Крым. Я его не навестил в больнице — уезжал, закрутился — и мы больше уже не виделись.

На этих страницах я должен буду еще к нему вернуться — уже как к трагической фигуре, незадолго перед его смертью.

В декабре 1936 г. появился выдвинутый на всенародное обсуждение проект новой Конституции СССР. Я был в тот день у родителей, и мы слушали с папой эту передачу по радио. Нина тоже была. Проект вызвал у нас большое удивление, при этом приятное. Хотя и не без некоторых сомнений. Раньше

у нас выборы в Советы производились путем открытого голосования. Я один раз участвовал в таких выборах — они производились в Василеостровском доме культуры; никакого подсчета избирателей не происходило: на сцене стоял кандидат в члены райсовета (академик В.В.Струве), его нам представил какой-то неизвестный деятель; голосовали единогласно: из партера, из лож, со сцены из президиума торчали руки, и опять никакого подсчета голосовавших не было. Кроме того, выборы в Советы были многоступенчатые: народ выбирал этим способом районные советы, те — городские и областные, те — Всесоюзный Центральный исполнительный комитет. Это был цирк совершенно явный, но нам объясняли, что это и есть то, что отличает истинную, советскую демократию от ложной, буржуазной, парламентской. Потому и государство наше называлось Советским. Первое советское правительство было вообще избрано Петроградским Советом с небольшими неопределенными добавками из солдат, рабочих и матросов и из других губерний.[1]

Теперь же новая Конституция предлагала нам те самые единые, тайные, равные выборы, за которые стояли меньшевики и эсеры. И двухпалатный парламент, лишь — казалось — совершенно формально называвшийся Верховным Советом. Не стояли ли мы на пороге демократизации нашего общества? Так хотелось в это верить.

Конечно, всенародное обсуждение конституции через газеты не имело особых преимуществ перед голосованием из ложи Василеостровского дома культуры, потому что было очевидно, что всех откликов газеты не смогут напечатать при всем желании, что для учета их неизвестно, существует ли какой-нибудь орган (работа его должна была быть огромной) и что раз уж всего напечатать нельзя, то ясно, что будет произведен отбор публикуемых произведений, — а именно только того, что хочет начальство. Впоследствии, впрочем, Сталин выступил по результатам «всенародного обсуждения» и какие-то незначительные поправки принял.

Одно вызывало сомнение в реальности Конституции: без законной оппозиции было вероятно, что Верховный Совет будет все равно лишь органом формального утверждения решений Политбюро и даже «лично товарища Сталина». Несколькими годами раньше меня поразило решение Политбюро об улучшении школьного дела, где, в числе прочего, упоминалось, что в школьных тетрадях должны быть промокашки, и я подумал: «Господи, и о промокашках должен распорядиться лично Сталин!» А тут дело шло о более серьезном. И вообще было неясно, насколько все это будет соблюдаться, и для нас было впоследствии некоторым удивлением, что на первых выборах по новой конституции действительно были закрытые кабины

[1] В 1967 г., по случаю 50-летия Советской власти, на всех тумбах для объявлений были расклеены фотокопии первых актов Советского правительства. Каково же было мое изумление, когда я увидел декрет об утверждении «Временного правительства Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов» — «впредь до созыва Учредительного собрания»! Очевидно, это была уступка эсерам, которых много было тогда в Советах. Можно было без труда предвидеть, что в Учредительном собрании, избранном на основе «всеобщего, гласного, равного, тайного голосования» («четырехххвостки»), большинство получит крестьянская партия — эсеры. Можно было, очевидно, предвидеть и то, что это учредительное собрание будет разогнано большевиками, что и случилось 5(18) января 1918 г. в Таврическом дворце — знаменитым возгласом начальника караула, матроса Анатолия Железнякова: «Караул устал!» Кстати говоря, этот Железняков — не тот «матрос Железняк, партизан», о котором пелась популярная песня. После этого был еще расстрел демонстрации против разгона Учредительного Собрания.

для голосования, и их использование было даже необходимо, так как бюллетень — при желании вычеркнув фамилию или, как делали многие, приписав какие-нибудь пожелания, — нужно было вложить в конверт и заклеить. Впоследствии всю эту блажь тихо отменили.

Но каковы бы ни были частные сомнения, ни у папы, ни у меня не было сомнения в том, что народ примет эту конституцию с удовольствием, и что мы сами безусловно всегда будем лояльны по отношению к правительству, которое поддерживает наш народ.

В Институте такие вещи как конституция между собой как-то уже не обсуждались. Я заговорил с Мишей Гринбергом — он был односложен и вроде бы скептичен. Зато она подробно обсуждалась нами у Шуры Выгодского в нашем дружеском кружке. Там господствовал оптимизм, с некоторым оттенком «посмотрим». А Анка Эммс со смехом рассказала довольно макаберную историю о том, как на каком-то заводе при обсуждении конституции выступил старый, заслуженный рабочий и, горячо одобрив ее проект, выразился о желательности поправки: чтобы по каждому избирательному округу выдвигалось более одного кандидата. «Конечно, — сказала Анка, — его сразу взяли».

Она не предвидела своей судьбы: как она будет, спасая детей, вывезенных навстречу наступающим немцам, через фронт переходить с ними обратно в осажденный Ленинград, и как двадцать лет спустя она уедет в Соединенные Штаты, не находя на родине ни настоящей работы, ни пути для детей, и забудет про марксистское литературоведение.

Одновременно с конституцией происходили и более зловещие события: еще в августе 1936 г. состоялся процесс зиновьевцев, а в январе 1937 — процесс бухаринцев; и тех, и других немедленно расстреляли. Среди них были такие люди как Осинский, блестящий знаток финансов и статистики, подпись которого, если не ошибаюсь, стояла на всех денежных купюрах; Муралов, славившийся честностью, бывшие главы Коминтерна, выдающийся пропагандист Карл Радек, — почти все первоначальное окружение Ленина.[1]

Дела эти были приняты к сведению. Общее мнение было такое, что и «левые», и «правые», будучи политическими деятелями, — в условиях, когда внутрипартийная деятельность для них была сделана невозможной, — вполне могли нащупывать связи с заграничными деятелями; но что обвинения против них — особенно во вредительстве, занятии явно бессмысленном, да и в шпионаже, — несомненно очень преувеличены; что и Сталин, поставленный в такие условия, вероятно, пытался бы наладить контакты с внешними силами, и что Ленин в аналогичном случае не казнил бы своих старых сотрудников. Недоумевали только, почему почти все они признали все вменявшиеся им обвинения — но что они их признали, было несомненно: ведь один из первых советских звуковых кинофильмов был посвящен именно суду над «вредителями» и, в частности, собственным признаниям Бухарина и других. Загадка разрешилась — и то сначала за рубежом — лишь двадцать лет спустя, в воспоминаниях энкаведиста Орлова. Но из моего окружения

[1] Радек не был приговорен к расстрелу, но позже все равно был расстрелян.

мало кто настолько интересовался судьбой тех или иных большевиков, чтобы особенно беспокоиться.

За большими процессами последовали многочисленные исчезновения среди менее видных партийцев, да и беспартийных, в том числе и среди преподавателей — уже без объявления о процессах в газетах. Все же мы предполагали (ошибочно), что процессы были.

По случаю этих процессов Яков Миронович, как говорили тогда, «чистил свою библиотеку».

Но от мыслей об этих вещах многое отвлекало в другие стороны.

Глава одиннадцатая (1937—1939)

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек —
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

В.И.Лебедев-Кумач, 1936
(Позывные Московского радио, музыка И.Дунаевского)

The show must go on.

Представление должно продолжаться.
(Актерская максима)

Cum subit illius tristissima noctis imago...[1]

Ovid.

I

Я уже говорил, что лето 1936 г. было началом явно улучшившихся времен. Заборных книжек и коммерческих магазинов уже не было. В стране все складывалось хорошо. Мы это обсуждали с Шурой Выгодским, когда он с Волей Римским навещал нас с Ниной на Зеленом озере, и пришли к заключению, что определенно наметился поворот к лучшему. Интеллигенты были признаны (или нам так показалось) равноправными с рабочими и крестьянами. Перебирая в уме стариков и молодых, мы не находили никого, кто мог бы считаться недовольным советской властью, — чисто материальные потери отдельных интеллигентов не в счет. Это высказал Шура, и я с ним согласился. О деревне даже умный Шура не вспомнил — да и что мы о ней знали? Из газет — ничего, из романов — одно розовое, или неоконченное, как шолоховская «Поднятая целина».

Вульгарный социологизм в марксизме должен был скоро изжить себя. С ним велась борьба: в Москве М.А.Лифшиц, умница, красивый, боевой, издавал в союзе с В.Р.Грибом серьезный, остроумный журнал «Литературный критик», отмахиваясь от окриков вульгарных ортодоксов и сам нанося удары. Борьба эта велась в Ленинграде тоже, и в ней принимали участие и профессора со студентами — нашими друзьями. И споры, как нам казалось, велись хотя принципиально, но академично, без наклеивания политических ярлыков.

На экран стали выходить комедии — плохие комедии, даже, говоря по правде, совершенно дурацкие, но все же и это было что-то — чем-то они были приятны: оказывается, можно было и развлекаться; и вся молодежь пела песни из этих кинофильмов и другие подобные («На закате ходит парень возле дома моего»). Алеша, брат мой, с его замечательным слухом, знал все мотивы песен — и старинных и революционных, и новейших из кинофильмов, — но не так хорошо запоминал тексты, поэтому я ему осторожно подпевал, «подавая» строки. Пели мы без гитары — гитара тогда считалась

[1] Только встает предо мной печальнейшей ночи той образ... (латин.).

атрибутом мещанства; до моей женитьбы пели вдвоем с Алешей, а иногда все дьяконовские мужчины вместе.

Постепенно стали выходить и приличные фильмы и даже по тем временам показавшиеся очень хорошими («Чапаев», «Трилогия о Максиме»).[1]

Что ни возьми, дела указывали на начавшееся улучшение. После долгого невыезда писателей за границу (пожалуй, со времен смерти Маяковского) в Америке побывали Ильф и Петров; а их еще недавно не хотели пропускать в печать,[2] резко критиковали: их остроумные сатирические романы смогли выйти в свет лишь после хлопот Горького[3] (правда, позже цитаты из них на десятилетия стали поговорками, как из Грибоедова); а затем Ильф и Петров стали выпускать и фельетоны в центральной московской печати, уже и официально одобренные и очень веселые. Из Америки они привезли веселую же, насмешливую, но все-таки доброжелательную к американцам «Одноэтажную Америку». Какие-то намеки на возможность дружественных отношений с Западом вычитывались и в фильме «Цирк», поставленном по сценарию того же Е.Петрова, — уже после тяжело воспринятой всеми смерти Ильфа весной 1937 г.

Мы пожимали плечами, когда в Красной Армии были введены офицерские чины («звания», однако не само слово «офицер» — оно все еще было одиозно: «офицерье»!); пять полководцев были сделаны маршалами: Блюхер, Буденный, Ворошилов, Егоров и Тухачевский. Но это было в одной линии со введением новых орденов (сверх «Красного Знамени» времен гражданской войны), со званием «Герой Советского Союза», придуманным сначала для летчиков, спасавших «челюскинцев», а потом дававшимся летчикам, совершавшим трансконтинентальные перелеты: это нравилось народу и казалось нам невинным его развлечением, желанием дать что-то, когда материально ему пока мало что еще можно было дать. Потом были «Герои» испанской войны.

Японская оккупация Маньчжурии в сентябре 1936 г. и испанская гражданская война, последовавшая за героической обороной Эфиопии против войск Муссолини, напоминали о том, что назревает война мировая. Мы — в «осажденной крепости», стало быть, столкновение с враждебным миром неизбежно, и мы готовились к тому, что оно будет: когда-нибудь, но будет;

---

[1] Кинофильмов тогда на экраны выходило очень мало, и все видели все фильмы. Сталин считал, что чем ставить много фильмов, из которых немало плохих и немного хороших, лучше ставить мало фильмов, и все хорошие. Естественным результатом было, конечно, что выпускалось мало фильмов и все плохие — но нет, все-таки было два-три фильма хороших и два-три терпимых; впрочем, из 80-х гг. и тогдашние хорошие фильмы, что называется, «не смотрятся».

[2] Романами Ильфа и Петрова об Остапе Бендере увлекались все, особенно «Золотым теленком». Папа послал «Двенадцать стульев» на Яву дяде Коле, но тот написал, что держит книгу на веранде, потому что от нее «несет». Мы удивились. Лишь много позже мы по-настоящему поняли, что бессознательно и тогда шебуршило: что бывший священник, чудом спасшийся в гражданскую войну от расстрела, — совсем не комический персонаж.

[3] Вернее, первый их роман «Двенадцать стульев». Такие выступления Горького (который был «главным писателем» у Сталина — у него каждая область жизни должна была иметь своего начальника) и делали его важным для интеллигенции в это время. Вообще же его деятельность в 30-е гг., от пьес-разоблачений давно физически уничтоженных купцов и злобного антиинтеллигентского романа «Жизнь Клима Самгина» до кровавого лозунга «Если враг не сдается — его уничтожают», и до его участия в пропагандистской поездке писателей в концлагеря, где заключенные строили технически совершенно негодный Беломорско-Балтийский канал, — казалась двусмысленной. Самая смерть его в июне 1936 г. была загадочной.

и не один лишь Шура Выгодский понимал, что испанская война — это уже репетиция большой войны с фашизмом.

А пока мы были в оптимистическом настроении, тот же оптимизм сохраняли во втором семестре 1936/37 г., и с ним мы вошли в 1937 год.

Ничего особенного не происходило. Занятия шли своим чередом; время от времени мы встречались всей компанией у Шуры Выгодского, говорили больше о литературе и литературоведении. В мае наши самолеты высадили «папанинцев» на Северном полюсе: молодых ученых Федорова и Ширшова, радиста Кренкеля и начальника, он же комиссар, Папанина. Говорили, что он был назначен начальником экспедиции в последний момент: в принципе он был партийный активист, хотя и имел некоторый опыт работы на Крайнем Севере. Однако, как кажется, он оказался мужиком хозяйственным, покладистым и приспособленным к долгому изолированному совместному проживанию на льдине. Вся страна следила за их дрейфом; время от времени к ним запросто летали самолеты и сбрасывали все необходимое. Это была экспедиция не чета Русановской или Седовской,[1] ни экспедициям Р.Л.Самойловича, из которых самая значительная — на «Красине» — была все же вспомогательной, а полет на немецком цеппелине с Эккенером — и подавно несамостоятельным; и ни даже экспедиции «Челюскина», которая, так или иначе, кончилась гибелью корабля. Высадка на полюс — это было событие, которое должно было занять почетное место рядом с экспедициями Нансена, Амундсена и Скотта. Она была много эффектнее, чем перелет Амундсена через полюс на дирижабле. В круг завоевателей полюса, так занимавших умы людей первой трети века, мы входили победителями.

Мне все это было особенно интересно и близко, так как папа писал историю полярных исследований, и, как во всех его работах, и в этой участвовала вся семья; а притом наши коренные полярники — Р.Л.Самойлович, его жена и ее брат М.М.Ермолаев — были близкими друзьями, а Н.В.Пинегин, В.Ю.Визе и даже комиссар Орас — во всяком случае, хорошими знакомыми.

В июне Валерий Чкалов вместе с Байдуковым и Беляковым перелетели через полюс и приземлились на юге Канады, в Ванкувере.

В мае-июне у Нины были государственные экзамены — только за лингвистический факультет (дипломных работ тогда не было). Я уже говорил, что Нина сдавала курсовые экзамены и за литературный факультет, но государственные сдавать за два факультета ей не разрешили, да ей было бы и трудно: ведь она еще и работала. Сдала она прекрасно, и вообще государственные экзамены (первые в ЛИФЛИ, раньше выпускали без них) прошли хорошо, омраченные только тем, что одна из студенток была поймана со шпаргалкой на последнем госэкзамене — ей сочли недействительными их все, выпустив из Университета[2] без диплома и с плохой характеристикой.

---

[1] В.А.Русанов — исследователь Новой Земли и Шпицбергена; в 1913 г. предпринял плавание на корабле вокруг Новой Земли; корабль погиб в Карском море, часть экипажа добралась до Таймыра, но погибла, не дойдя нескольких сот шагов до жилья. — Г.Я.Седов — морской офицер, в 1912—1914 гг. предпринявший поход к Северному полюсу (от Земли Франца Иосифа — на санях); умер по дороге от цинги.

[2] Был уже приказ о слиянии ЛИФЛИ с университетом, и Нина получила уже университетский диплом.

II

Не помню, той же ли весной или уже осенью в актовом зале было институтское профсоюзное собрание. Отчитывался за прошлый срок, стоя за кафедрой на эстраде, председатель профкома Гриша Бергельсон, с которым я потом познакомился и подружился в армии. Кажется, он был политически олл-райт; хотя мандатная комиссия почему-то и не утвердила его направление переводчиком в Испанию, но насколько было известно, за ним ни родства, ни знакомства нежелательного не числилось, и был он членом партии. Когда он завершил доклад и было предложено задавать вопросы, кто-то из задних рядов спросил:

— А в каких вы были отношениях с вашим двоюродным братом, который принимал участие в убийстве Кирова?

— У меня нет никакого двоюродного брата, — сказал Бергельсон в недоумении. Собрание окончилось мирно. Любопытно, что сам Бергельсон после войны забыл этот эпизод; но я его хорошо запомнил.

В начале марта 1937 г. состоялся очередной пленум ЦК ВКП(б) (Сколько их было? А надо было знать наизусть). На нем выступил Сталин с очень странной речью, которая называлась «О некоторых недостатках в партийной работе и ликвидации троцкистских и иных двурушников». В ней были, как обычно, одиннадцать пунктов, пять ошибочных линий, намеки на пользу доносов (это называлось «учиться у народа») и упоминался какой-то Николаенко, которого затирали в Киевской партийной организации. Главной мыслью, насколько можно было понять, была та, что с построением социализма не затухает, а должна усиливаться классовая борьба.

Мы совершенно не обратили внимания на это сообщение. Не поняли, в чем дело — во всяком случае, не обсуждали в нашей дружеской компании. Однако и здесь, как обычно, был «не Шекспир важен, а комментарии к нему», как мы узнали двадцать лет спустя из речи Хрущева; и странный эпизод с отчетом Гриши Бергельсона — и очень, очень многое другое — находило тут свое объяснение.

А в газетах начали появляться краткие официальные сообщения о назначении новых наркомов. Их были десятки. Мы скоро догадались, что в сообщении снятый предшественник назначаемого не упоминается по той причине, что он арестован. Не сразу мы догадались, что за таким арестом, как правило, следовал расстрел. Но, во всяком случае, любой арест влек за собой запрет упоминания этого лица вслух (тем более уж — в печати), изъятие его книг из библиотек и даже номеров газет с упоминанием его имени. Около этого времени газеты более трехмесячной давности стали сдаваться в библиотеках в так называемый «спецхран» — то есть в засекреченный фонд.

И среди нас, на факультете, стали исчезать студенты: сначала Старик Левин, потом, уже к концу учебного года — милый, очаровательный Продик Велькович. Об их аресте объявлялось на комсомольских собраниях — я сам не слышал, но мне рассказывал Миша Гринберг.

С недавних пор мой брат Миша подружился с одним молодым инженером-связистом. Он недавно окончил институт и работал на Главном почтамте —

как потом оказалось, он отвечал за поддержание связи с самолетом Чкалова: радиус действия передатчиков был тогда небольшой, и Москва не могла держать с ними связь сама. Этот молодой человек раз вдруг позвонил Мише и сказал:

— Я хочу проститься. Меня переводят в Москву.

— Куда?

— Приходите — расскажу.

Оказалось, что за последнее время дважды сменялись (шли под расстрел) наркомы и заместители наркомов связи. Нашли в очередной раз кандидатуру для наркома и получили утверждение Сталина, но кого назначить замнаркома — не придумали, в чем и признались Самому. Тот сказал:

— А вот там в Ленинграде был парень, замечательно поддерживал связь с Чкаловым. Его и назначьте.

И назначили. Какова была его дальнейшая судьба, ни Миша, ни я не знали.

Вскоре был арестован директор ЛИФЛИ Горловский — тот самый, который читал новейшую всеобщую историю (после курса Е.В.Тарле) и который объяснял, что выражение «богат как Крез» происходит от названия французской капиталистической монополии Шнейдер-Крезо. Что делать, нельзя было требовать от партийного директора, чтобы он читал Геродота. Хотя Горловский ничем хорошим себя не проявил, но мы жалели его, как и всех в его положении, — и также жалели о нем, потому что как-то ждалось худшего. Покамест обязанности директора стал исполнять завхоз Морген. Он, видимо, находился в «творческом перепуге». И начал массами исключать студентов — «как классово-чуждый элемент», «за сокрытие», «за связь с враждебными элементами» и прочее. Многие исключались с последнего курса. Все это было далеко не шутка: рассказывали, и совсем не как анекдот, о немедленном аресте какого-то полуграмотного директора артели, написавшего в предпраздничном майском приказе: «В кабинете повесить вождей» — он имел в виду портреты вождей.[1] И «за сокрытие» могли посадить, тем более «за связь».[2]

Костя Горелик говорил, что студентам подходить к доске приказов на полуэтаже можно было только втроем, чтобы двое могли поддержать третьего, когда он прочтет в приказе о своем исключении.

Но мы как-то не боялись за себя. Нам тогда казалось, что у каждого попадающего под удар должен был быть хоть какой-нибудь, хотя бы пустячный изъян с точки зрения партии: рассказывал анекдоты, дружил с

---

[1] Слово «вожди», очень популярное в официальном обиходе 20-х гг., стало вымирать в СССР, когда «вождями» (дуче, фюрер, каудильо) стали называть своих лидеров-диктаторов фашисты. Однако Сталин — и только он теперь — нередко назывался «вождем народов» (среди прочих громких и обязательных эпитетов).

[2] Была же осуждена на пять лет и отправлена в концлагерь «за связь с Пастернаком» (не арестованным) его возлюбленная Ивинская, см. пастернаковское стихотворение:

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был как побег,
Кругом следы разгрома.
.....

Этот случай был далеко не единичен: нередко сажали «за связь» с лицом, еще только намеченным к «посадке», но которого потом, по той или иной причине, не посадили (например, историки — «за связь с Тарле», писатели — «за связь с Тихоновым»). Но эти вещи выяснились потом, и не сразу, а постепенно.

кем не надо. Мы не дружили с кем не надо. На счет анекдотов особенно не грешили, да они и сильно поубавились за последние два-три года; а если иногда и говорили что-нибудь предосудительное, то только среди верных друзей.

Между тем, люди и шутили. Всплыл старый анекдот о постановке оперы «Гугеноты» в еврейском театре, где якобы был такой дуэт:

«— Вам зовут из подземелья!
— Кого? Мине? Чичас!»

Этим летом мой брат Алеша и его друг Эрик Найдич поехали в самостоятельное путешествие: Орджоникидзе—Военно-Грузинская дорога—Тбилиси (или еще Тифлис?)—Батуми — на пароходе до Феодосии—Коктебель, где уже были наши родители. Результатом этой поездки была забавная поэма «Путешествие Евгения Онегина по СССР», в которой героями были оба путешественника: «Онегин строит корабли, а Ленский учится в ЛИФЛИ» (к сожалению, эту поэму взял у меня «временно» Эрик Найдич — а потом сказал, что не вернет).

В августовском номере журнала «Костер» за 1936 г. появилась статья Алеши:

«Я буду строить корабли»

Алеша Дьяконов недавно окончил десятилетку. Мы печатаем в «Клубе» его рассказ о том, почему и как он выбрал себе профессию кораблестроителя.

В детстве я жил в Норвегии, в Осло. Там в порту всегда стоит множество пароходов. Для меня самым большим удовольствием было ходить по пристани и смотреть на эти пароходы. Вон покачивается грязный греческий пароходик, вон большущий японский, немецкий, итальянский, английский. Вот стоит большой теплоход — он пришел только что с Борнео. На мостике висят огромные связки бананов, а матрос, стоящий на носу, держит на руках обезьяну. Рядом с этим теплоходом — большой английский пароход, пришедший с островов Самоа. Краны вытаскивают из его трюмов корзины кокосовых орехов (эти орехи величиной с детскую голову и все покрыты шерстью).

Я знал флаги почти всех государств и сразу мог определить, что за пароход пришел. Если мне удавалось пробраться к самому борту парохода, я всегда старался погладить, потрогать его рукой.

Приходя домой, я смотрел по атласу, из каких стран и через какие моря пароходы пришли к нам в Осло.

Летом в Осло всегда заходили военные корабли — длинные, серые. Они становились на якорь на рейде (у пристани было для них слишком мелко). Только маленькие суда, вроде миноносцев, подходили вплотную к стенке.

С приходом иностранной эскадры улицы заполнялись матросами: французы ходили в шапочках с красными помпончиками, американцы — в белых шапочках, напоминавших пирожки, английские матросы носили черные галстуки.

Военные корабли интересовали меня больше торговых, они привлекали меня своим хищным видом, пушками, треногими мачтами и всякими другими

таинственными предметами, которые поблескивали на солнце или скрывались под брезентом. Я мечтал побывать на военном корабле.

Однажды в Осло пришла наша «Аврора». Вся советская колония отправилась туда, и моя мечта наконец сбылась. Я ходил по темным коридорам, спускался в машинное отделение, забирался на мостик. Нам показали баковую (носовую) пушку, из которой был дан выстрел по Зимнему дворцу 25 октября 1917 года.

Осматривая судно, я старался представить себе его во время боя, когда разрываются снаряды, падают раненые и убитые, пылают пожары...

После посещения «Авроры» я начал строить военные кораблики из кубиков.

Скоро я стал настоящим «специалистом» по флоту, знал наизусть все военные суда, участвовавшие в русско-японской войне. Моим любимым чтением сделались старые номера журнала «Морской сборник».

Когда я приехал в Ленинград, я каждый свободный день ходил в Морской музей. Он помещается в Адмиралтействе, на набережной Рошаля, дом 2—16. Кто из вас еще не бывал в Морском музее, обязательно пойдите. Там вы увидите множество моделей кораблей, начиная с древнейших галер и до «Марата».

Перед каждой моделью я стоял часами. Мне казалось — увеличь модель до размеров настоящего судна, и она сама пойдет. И вот я решил построить себе флот из моделей. Правда, у меня не было никаких инструментов, кроме тупого ножа, но это не так существенно, — для начала и он годится.

Строительство своего флота я начал в 1930 году, когда мне было 11 лет. Первые «суда» выглядели довольно неприглядно и совсем не походили на модели из Морского музея. Но я не унывал и все время совершенствовал технику.

Часто я бродил по Васильевскому острову у моста лейтенанта Шмидта, у Балтийского завода, чтобы посмотреть стоящие там корабли.

Как-то летом на Неву пришли военные корабли из Кронштадта. В числе их был крейсер «Профинтерн». Мне удалось побывать на нем с экскурсией. Он был не чета старушке «Авроре» — все было на нем сделано по последнему слову техники. Комендор одной из пушек позволил мне даже покрутить маховики пушки, и она ворочалась, а я воображал себя комендором во время боя.

К тому времени «флот» мой достиг уже порядочных размеров. У меня еще хранится список моего «флота» на 15 октября 1932 года; он состоял тогда из 151 судна: пяти «линкоров», 14 «крейсеров», 2 «авианосцев», 3 «эсминцев» и 54 «подводных лодок». Остальные 40 — «торпедные катера», «транспорты» и т.п. Суда мои были, примерно, в одну трехсотую натуральной величины, а делал я их из дерева, надстройки — из резинки, из бумаги. Краску для судов я употреблял эмалевую — ее было трудно достать, и я бегал неделями по магазинам. К сожалению, приходилось делать только надводную часть «судна», потому что я жил в городе. По воде «флот» пускать было негде, и я ставил мои корабли на пол, воображая, что они стоят на воде. Для такого огромного «флота» было слишком тесно на шкафу, и пришлось приспособить для него длинную полку.

В 1933 году «флот» мой состоял почти из 200 вымпелов, но расти перестал. Мне приходилось много заниматься в школе, времени для строительства не

хватало, я стал старше и начал больше интересоваться научной стороной дела.

Я купил книгу Шведе «Военные флоты», и книга эта до сих пор моя настольная книга, с которой я никогда не расстаюсь.

Я знаю теперь все важнейшие корабли всех государств, слежу за литературой: в какой стране какие суда строятся, какие разбираются как устарелые, знаю, что нового в кораблестроении.

Два года тому назад я раздарил весь свой «флот», оставив себе на память только лучшие экземпляры, но они уже поломались с тех пор, так что «флот» мой перестал существовать.

В этом году я окончил школу. Многие из окончивших со мной колеблются, не знают, в какой вуз пойти. Но я уже давно выбрал себе цель: я поступаю в Кораблестроительный институт. Говорят, там трудно заниматься, но я должен преодолеть все трудности. И через пять лет я буду инженером-кораблестроителем. Уже настоящие корабли я буду строить, и они пойдут по всем морям, во все страны, высоко неся наш красный флаг.

Я надеюсь, что среди читателей «Костра» найдутся такие, которые, так же как и я, интересуются кораблями, тоже, может быть, строят модели, наверное — лучше моих, а окончив школу, так же как и я, пойдут строить корабли.

Вы построите пароход вдвое больше французской «Нормандии», медленно отведут его буксиры, он заворочает винтами и помчится с тысячами пассажиров в Америку!

Алексей Дьяконов
9 июля 1936 г.»

Настроение у меня было похуже, чем у Алеши, похуже, чем у меня самого год назад, но все же ничего особенно плохого для себя мы и сейчас не ждали. Пока же мы с Ниной стали собираться к выезду на лето 1937 г. На хутор Зеленое Озеро мы еще раз не хотели — нельзя искушать судьбу и ехать туда, где был раз так счастлив; да и хозяйка нас не очень хотела, и чуть ли не в то же самое время на том же хуторе умирала от туберкулеза тетя Надя Пуликовская (Римская-Корсакова), такой милый, веселый друг моих родителей; в Коктебель тоже не хотелось — хотелось жить летом своей, самостоятельной жизнью — и Лидия Михайловна достала нам курсовки в дом отдыха «Широкое», недалеко от Бологого (или — «от Бологое», как говорят нынче). Курсовка — это означало, что мы можем питаться в доме отдыха и пользоваться другими его услугами (если таковые будут иметь место!), но жить надо где-то у хозяев.

Все шло еще не так плохо, и макаберная наркомовская чехарда и даже деятельность Моргена нас вроде бы не касалась. Но в середине июня я подошел, по привычке, к доске, где выклеивались газеты — на 8-й Советской, около Мальцевского (Некрасовского) рынка — и на первой странице прочел невероятное. Это было краткое правительственное сообщение: были преданы суду как шпионы и агенты империализма Тухачевский, Егоров, Уборевич,

Якир... Маршал Тухачевский, герой гражданской войны, приведший Красную Армию под стены Варшавы!.. Невероятно! Маршал Егоров! Уборевич! Якир! Гамарник![1]

Тут же состав суда: ближайшие товарищи — маршал Ворошилов, маршал Буденный, маршал Блюхер, командующий воздушными силами Я.Алкснис. «Приговор приведен в исполнение». Что же происходит с нашей армией, которая, как нас учили, «всех сильней»?

... Мы войны не хотим, но в бою победим,
Ведь к войне мы готовы недаром,
И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом!

Эта много раз петая песня была почти дословной цитатой из съездовских речей 1934 г. Сталина — и Ворошилова, того самого Ворошилова:

Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер[2]
Сумеем кровь пролить за РСФСР...

Мне, конечно, не снилась и тысячная доля той беды, которая от этого газетного сообщения обрушилась на нашу армию и на каждого, без исключения, каждого из нас. В нем было заложено отступление 1941 г. с его миллионными потерями в людях.

Поехали мы с Ниной московским почтовым поездом в Лыкóшино (так называлась станция; деревня называлась Лы́кошино). Зарегистрировались в доме отдыха «Широкое», устроились на житье в деревенской избе километрах в полутора, в деревне Порожки. Не помню никакой хозяйкиной семьи, только помню хозяйку, бодрую и здравную старуху, говорившую красивым старым тверским говором, нараспев, ясно произнося все гласные, чего теперь уже не услышишь. Изба была пятистенка, мы жили на чистой половине на аккуратно застеленных кроватях, а на черной половине происходила непрерывная борьба хозяйки с курами, не желавшими пастись на дворе: «Ишь, блядишшы паршивые, нажрались, а теперь срать пришли!» — повторяла хозяйка ежедневно с некоторым недоумением.

Место было красивое, лесистое; была чистая порожистая речка, на которой мы проводили время, купаясь или катаясь на лодке. Вылазки на лодке совершались обычно втроем — с веселым инженером по фамилии Шмуклер, кудрявым, с выпуклыми черными глазами, приятелем Паустовского, по прозвищу почему-то Поршня. По вечерам Нина писала реферат, который требовался для поступления в аспирантуру.

Все бы ладно, но именно в этой избе я проявил себя как последнее ничтожество. Самое печальное в этой истории для меня было то, что я ее сам вовсе не заметил, а Нина, по обыкновению, затаила обиду и рассказала мне о ней с большой горечью не раньше, чем лет через двадцать. Так или

[1] Уборевич был после Тухачевского наиболее талантливым и любимым полководцем Красной Армии. Якир был начальником «Робин Гуда» гражданской войны — Григория Котовского. Гамарник был заместителем наркома обороны — Ворошилова, начальником политуправления Красной Армии. Застрелился при аресте.

[2] Слово «офицер» здесь было метафорой: в Красной Армии не было солдат и офицеров, а были бойцы и командиры.

иначе, но, вероятно, в ближайший год или два нас разнесло бы в стороны, если бы не грозные события, властно приказавшие нам быть вместе. Но ничего этого я тогда не знал.

Газету я читал даже и в Лыкошине. Летом М.М.Громов, не имевший шумной славы Чкалова, но летчик весьма замечательный, повторил с двумя товарищами чкаловский перелет через полюс и приземлился уже не в Канаде, а прямо в США — в Калифорнии, где был принят с восторгом. США только недавно признали Советский Союз. В августе по тому же маршруту вылетел через полюс в Америку Герой Советского Союза Леваневский — и погиб в пути.

ЛИФЛИ был закрыт и влит в состав Ленинградского университета: лингвистическое и литературное отделение составили филологический факультет (оставшись в прежнем помещении), историки ЛИФЛИ были переведены на университетский исторический факультет, философы составили отдельный философский факультет.

Еще при выпуске из нашей компании были рекомендованы в аспирантуру: Талка Амосова, Шура Выгодский, Нина Дьяконова, Воля Римский-Корсаков, Яша Бабушкин и Юра Фридлендер; были, конечно, и другие.[1] Аспирантурой филфака заведовал тоже знакомый — Исаак Цукерман, курдовед, ученик И.А.Орбели, старше нас на два-три курса, и ближайший друг Нининого былого поклонника, Гриши Розенблита.

Поступление в аспирантуру не было особенно сложным делом: требовалось подать реферат и пройти собеседование. Оно состоялось в первые дни сентября; был вывешен приказ о зачислении аспирантов и выдан им аванс в счет стипендии. Занятия должны были начаться несколько позже, а пока Нина со своей закадычной подругой Талкой Амосовой уехала отдыхать на несколько дней в Павловск. Эти дни Нина всю жизнь вспоминала как самые беззаботные и веселые в жизни. Талка была человек не только очень умный, но и остроумный очень, они с Ниной вели в Павловске юмористический дневник, который Нина потом всю жизнь не уставала цитировать — действительно забавный, хотя для того, чтобы полностью оценить каждую цитату, надо было бы слышать за нею своеобразный, густой и убедительный Талкин голос.[2] Но когда Нина вернулась из Павловска и явилась в Университет, ей было сообщено, что «Москва вас в аспирантуре не утвердила». И не только ее, но — какое необычное совпадение! — еще и Амосову, Выгодского, Римского-Корсакова и Бабушкина. Жалуйтесь в Москву.

Все не принятые собрались у нас с Ниной на «совещание» — решили ехать

---

[1] Были приняты Борис Карпович из Нининой группы (оставивший потом аспирантуру — у него была семья, и надо было зарабатывать) и известные впоследствии лингвисты Ю.С.Маслов и его жена С.С.Лошанская. Из литературоведов — Юра Фридлендер, Н.Верховский, А.С.Ромм. Но были и не принятые, например, подруга Сары Лошанской, Гуля Фейгельсон, которая очень скоро после этого (хотя, конечно, не от этого) сошла с ума и выбросилась в окно.

[2] Талка имела на Нину большое влияние. Как-то, году в 1933—34 (может быть, под влиянием Гриши Розенблита), Нина, гуляя с Талкой под ручку по институтскому коридору, сказала ей, что подумывает подать в комсомол. Талка вырвала у нее свою руку, и это произвело на Нину такое же впечатление, как на меня в 176 школе — обязательное голосование пионеров за смертную казнь, предшествовавшее суду в деле Промпартии.

в Москву бороться. Я не хотел оставлять Нину в такой критический момент. Мне предстояло зачисление на постоянную работу в Эрмитаж, но я еще не успел оформиться, а в Университете я как-то договорился с Александром Павловичем и смог поехать со всей компанией в Москву.

В поезде (мы говорили «в вагоне отвергнутых аспирантов») мы держали еще один «военный совет» — как действовать в Наркомпросе. Здесь Талка Амосова рассказала, что встретила в университете хромого Саню Чемоданова (давно и безнадежно влюбленного в Нину, и так до конца жизни — он спился и покончил самоубийством в 50-х годах). Саня сказал ей, что ездил в Москву, в Наркомпрос, по собственным делам, и, будучи оставлен чиновником наедине с его столом (чиновник куда-то вышел), он прочел лежавшую у него бумагу, посланную вдогонку к официальным документам о приеме этого года в аспирантуру. Эта бумага была не что иное как донос — формально же «дополнительная характеристика», посланная в наркомат за подписью заведующего аспирантурой филфака ЛГУ И.Цукермана. В ней значилось, что Амосова состояла в связи с врагом народа Кадацкой (это была скромная женщина — скромная и по способностям — жена Кадацкого, председателя горисполкома и члена обкома, личного друга Кирова; Кадацкий к этому времени был расстрелян, а жена отправлена в «лагерь жен». Особой близости с Кадацкой у Амосовой не было); что Дьяконова состояла в связи с врагом народа Розенблитом (этот Нинин былой поклонник был арестован в июле. Надо сказать, что с тех пор как Нина, после трехмесячного увлечения им, с ним рассталась на втором курсе, Розенблит был на нее обижен, не разговаривал с ней, хотя они учились в одной группе, и говорил о ней всегда плохо); и такие же доносительские сведения были поданы о Выгодском, Римском-Корсакове и Бабушкине.

В Москве Шура Выгодский жил у своей двоюродной сестры, детской писательницы Брустейн, Нина жила у своей тети, милой и доброй Юлии Мироновны, другие тоже устроились у разных друзей и знакомых, а я...

Раньше наши останавливались в Москве у Сергея Пуликовского, брата тети Нади, — я у него побывал в 1929 г. по дороге в Нижний Новгород, и хотя его почти не помнил, но несомненно поехал бы ныне именно к нему, если бы мои родители не узнали случайно, что он арестован и исчез. Миша посоветовал мне остановиться у его друга, математика Сергея Львовича Соболева, моего бывшего репетитора, а тогда уже бывшего накануне избрания действительным членом Академии наук.

Дорога к Сереже Соболеву на Якиманку шла мимо «самого знаменитого дома» в стране — углового дома, поднятого и сдвинутого на десять метров в сторону и затем установленного на новом фундаменте. Эта широко популяризировавшаяся в газетах операция была проведена ради расширения улицы по «плану реконструкции Москвы».

Началось наше хождение по приемным Наркомпроса на Чистых прудах и предъявление характеристик и заявлений — а по составлению их главным мастером считался я. Я был за то, чтобы не сдаваться; когда Шура Выгодский вышел, подавленный, из какой-то очередной канцелярии и стал говорить на ту тему, что, пожалуй, он и вправду не тот человек, которого нужно принимать в аспирантуру, я сказал ему, что не нужно уподобляться герою

Ильфа и Петрова Васисуалию Лоханкину. Но, во всяком случае, нас только отфутболивали из комнаты № *x* в комнату № *y*, а потом сказали, что это не в компетенции наркомата.

Университет тогда почему-то находился в двойном подчинении — Наркомпросу и Комитету по делам высшего образования. Наркомпросом тогда, после падения А.В.Луначарского, был А.С.Бубнов, в честь которого наш университет был недавно переименован в «Ленинградский университет имени А.С.Бубнова»; но нарком нас не принял, и мы перекочевали в Комитет, который возглавлял старый большевик И.И.Межлаук.[1] Мы не скучали в очередях; честно говоря, мы были тайно уверены, что в крайнем случае все устроится и без этой аспирантуры. Мы шутили, острили, Воля Римский-Корсаков сочинял стихи.

На популярный мотив «Песни беспризорника» («Позабыт, позаброшен с молодых-юных лет») мы пели:

Намечался, выдвигался
С молодых-юных лет,
Аспирантом назывался,
А потом сказали «нет».
Когда был на факультете,
Все хвалили меня,
Но завяз я в Комитете,
Где могилка моя.

Или на мотив нэповского фокстрота «Джим-подшкипер с английской шхуны»: (Там в заливе, где море сине, Где небо как хрусталь, Где туманны изгибы линий И голубая даль — Есть Россия, свободная страна, Всем примером служит она...) писался стишок:

В Наркомпросе, где и поныне
Наши заявки спят,
Где туманны изгибы линий
И гибнет кандидат...
Наркомпрос — отличный наркомат,
Там цветет махровый бюрократ... и т.д.

Чуть ли не перед приемной Межлаука Воля сочинил «Речь председателя Комитета»: «Пришли в Пантеон просвещения? Привет пышно подготовленным! Пора прекратить просвещаться — поезжайте подальше!»

Межлаук нас принял поздно, уже ночью. И приказал выдать нам бумагу в Отдел аспирантуры ректората ЛГУ с указанием не то «пересмотреть», не то «рассмотреть заново» дела пятерых отвергнутых кандидатов в аспиранты. Вернулись мы в Ленинград почти окрыленные. Однако Талка Амосова встретила в университетском коридоре Петра Потапова — красавца блондина, бывшего мужа ее и Нининой подруги Галки Ошаниной, — и имела с ним настораживающий разговор. Потапов давно выбыл из их дружеской компании, потому что действительно отвратительно поступил с Галкой; сейчас он был женат на преподавательнице Бустуевой. Талка возобновила с Потаповым отношения на выпускном вечере (мы с Ниной были в то время в

[1] Мы могли бы догадаться, что Межлаук не может быть способен на решительные действия: на свою должность в Комитете он был снижен из зам.председателей Совнаркома и председателей Госплана, а это значило, что он в серьезной опале. Жить ему оставалось считанные дни — как и Бубнову.

«Широком»): порядочно перепившись, она обнаружила себя танцующей с ним. Когда она теперь рассказала ему историю пяти аспирантов, Петя, хорошо осведомленный в подобных вещах, сказал ей, что у нее ничего не получится, и чтобы она написала заявление начальнику спецотдела о том, что она просит защитить ее от злостной клеветы. Талка не принадлежала к компании Шуры Выгодского; она рассказала этот разговор Нине, но не знаю, повторила ли она его остальным. Да и вряд ли они последовали бы этому совету, а если бы и последовали, то сама множественность заявлений была бы, по тем временам, расценена как «коллективка», что могло бы вызвать самые тяжелые последствия.

В ректорскую комиссию первой вызвали Талку Амосову — и она вышла сияющей: восстановили! Второй пошла Нина. Ей задали вопрос, что писал Ленин в XVI томе собрания сочинений? Она не знала. Ее попросили перечислить наркомов СССР. Это было невозможно потому, что они все время менялись — вопрос был рассчитан на то, что она ненароком назовет какого-нибудь врага народа. Но она просто совсем не ответила.

— Вот видите! А вы еще претендуете на аспирантуру!

Остальные уже решили не ходить в комиссию.[1]

Помнится, Межлаук был расстрелян несколько недель спустя. И около того же времени и Бубнов.

Яша Бабушкин долее других оставался связан с Университетом, потому что находился там на партийном учете. Он воспользовался ближайшим партсобранием, чтобы публично обвинить Цукермана в ложном доносе на Нину — в составлении бумаги о ее якобы связи с Розенблитом, хотя было общеизвестно, что вовсе не Нина, а сам Цукерман был близким другом Розенблита.

Цукерман отперся от доноса на Нину, но признался «в своей тяжкой вине» — дружбе «с этим подонком, мерзавцем, врагом народа Розенблитом».

— Но, — сказал он, — за это я уже ответил в другом месте.

Где — это выяснилось.

Около этого же времени Нина встретила Саню Чемоданова. Саня, потрясенный, сказал, что Гриша Розенблит, который был самым близким его другом, был арестован по доносу своего другого ближайшего друга и участника многих бесед с ним о теоретических вопросах марксизма и мировой революции — Исаака Цукермана. Тогда еще политические процессы проходили (по крайней мере, иногда) через суд — на него свидетелями были

1 Шура и Воля вскоре поступили в аспирантуру других институтов. Около этого времени вышел в свет подготовленный и комментированный Шурой и Юрой Фридлендером под руководством М.А.Лифшица монументальный том «Маркс и Энгельс об искусстве». С 1940 г. Шура поступил на работу в Ленинградский Радиокомитет, где уже с 1938 г. работал Яша Бабушкин; Яша там и проработал всю блокаду; во многом благодаря ему, с трудом державшему стоя у микрофона, голос радио был жив в течение всех роковых 900 дней; но после снятия блокады Яша был уволен и заменен каким-то москвичем; был мобилизован в армию и сразу погиб, — Шура был мобилизован еще в 1941 г. и тоже быстро погиб.

вызваны и Чемоданов, и Цукерман. Саня рассказывал, как Гриша Розенблит вскакивал в бешенстве, слушая спокойную и смертоносную ложь Цукермана.[1]

С осени 1937 г. Нина продолжала работать во Втором Педагогическом институте иностранных языков; английская кафедра по-прежнему была под умным и любовным управлением Веры Игнатьевны Балинской[2], и состав преподавателей был тот же, весьма замечательный — все это были люди знающие и преданные делу. А я из экскурсионного бюро перешел с октября в Отдел Востока Государственного Эрмитажа — в Отделение древнего Востока, или так называемый «Египет».

III

«Египет» помещался на Комендантском подъезде Зимнего дворца, на отскоке от всех других служебных помещений. И ходить на работу надо было тоже через Комендантский подъезд, с Дворцовой площади; тогда еще не было издано распоряжение — открывать лишь один служебный подъезд — на набережной, так же как открывался, в целях безопасности, только один для публики (в то время — подъезд с «Атлантами»). Помещение было уютное: сначала комната заседаний с большим столом, крытым малиновой бархатной скатертью и окруженным красными креслами; из нее шел коридор в просторную комнату заведующей отделением Милицы Эдвиновны Матье и ее сотрудницы по хранению и изучению коптских художественных тканей, К.С.Ляпуновой, племянницы композитора. Из коридора же была витая лестница вверх, и там находились еще три комнаты; по стенам они все были заставлены одинаковыми черными застекленными шкафами, где хранились главным образом фаянсовые и бронзовые мелкие египетские изделия — ушебти и боги: ибисы, кошки и т.п. В дальних, меньших комнатах были большие окна до полу и стояли столы египтологов — Наталии Давыдовны Флиттнер и Исидора Михайловича Лурье, мужа Милицы Эдвиновны. Комната ближе к двери на лестницу, большая, была отчасти разгорожена надвое, потому что четыре черных застекленных шкафа стояли здесь боком к простенку между двумя большими окнами, и спинами друг к другу. Слева от простенка стоял стол Н.А.Шолпо, а справа — Б.Б.Пиотровского. Мне поставили столик в дальней маленькой комнате, оттеснив столик Наталии Давыдовны несколько вглубь. Шолпо скоро ушел: в Эрмитаже ставки были

---

[1] О Розенблите мы тогда больше не слышали, но в 60-х годах Нине кто-то сказал, будто Розенблит жив и работает в каком-то городе на Северном Кавказе. Цукерман служил в то время со мной вместе в Институте востоковедения. Он очень пытался дружить со мной и раз спросил, почему я сторонюсь. Я сказал: из-за дела Розенблита и Нининой характеристики в аспирантуру. Он горячо отрицал свое участие в обоих этих делах. Я хотел сказать, что Розенблит жив и что все это легко проверить, — хотя я был не совсем уверен, что он действительно жив, но мне очень хотелось поглядеть на реакцию Исаака. Но он был так жалок, что мне стало противно, и я ничего больше не сказал. Несколько лет спустя, когда мы выпивали на каком-то диссертационном шмаусе, Цукерман подсел ко мне и доверительно рассказал, как он в армии раз конвоировал двух пленных немцев, и когда — как нередко бывало — по дошел незнакомый советский штабной офицер и пожелал расстрелять их («убей немца», как учил Эренбург), он этому не воспротивился. Нужно ко всему прочему иметь в виду, что взять двух «языков» означало, по большей части, уложить из посланных за ними разведгрупп десятки наших.

[2] Вера Игнатьевна кончила жизнь монахиней в Пюхтице, в Эстонии.

нищенские. На его место был взят к нам и получил его стол Михаил Абрамович Шер, один из самых чудных людей, которых я когда-либо знавал.

Почти все столы были необычайной красоты, музейные, и стулья тоже. Исидор Михайлович сидел за миниатюрным письменным столиком карельской березы с яхты Николая II «Штандарт», у Наталии Давыдовны было потрясающее бюро XVIII века, с тысячью выдвижных лотков, «гнезд» для бумаг и безделушек, и даже с потайными ящиками.

Четыре года, проведенные в этом уютном уголке науки, были для меня вторым университетом, и мой долг — описать здесь моих товарищей-учителей.

Старшей была Наталия Давыдовна Флиттнер. Седая, с зеленой лентой в аккуратно убранных волосах, всегда в темнозеленой шелковой кофточке с янтарной брошью, она была общительна, проста со всеми и дружелюбна. Вечно у нее под крылышком были какие-нибудь юноши, интересовавшиеся древностью и Востоком. Это она приголубила и привела в Эрмитаж еще мальчиком Бориса Борисовича Пиотровского. Она не была большим ученым, — в том смысле, что писала она мало и по мелочам; но зато она была замечательной учительницей, в науке и в жизни. Она всегда говорила: «Надо, чтобы они (т.е. древние люди) у вас жили, ногами дрыгали». Именно она научила меня в каждом научном построении прежде всего стараться себе представить — а как это было в реальной жизни? Она же утвердила меня в давнем убеждении — необходимости неукоснительной честности в науке, как и в жизни.

Наталия Давыдовна была петербуржской немкой: предки ее в непрерывной линии со времен Анны Иоанновны были пасторами на Васильевском острове или в Анненкирхе на Кирочной. Однако говорила она не на Baltisch Deutsch, а на отличном Bühnen-Deutsch; но особенно хорош был ее чистый и красивый русский язык: учили ее хорошо. Вместо школы училась она в Екатерининском женском институте, основанном еще Бецким, на Мойке; после института пошла на Бестужевские курсы. Эти курсы были заменой университета для молодых женщин, которых при царе в университет не пускали, — однако часто профессора были одни и те же, и можно было без шума посещать занятия в Академии Художеств (у А.В.Прахова) и в Университете (у Б.А.Тураева). Наталия Давыдовна вспоминала, как она с товарищами носила на занятия из университетской библиотеки за четыре угла старинные издания египетских иероглифических текстов, фолианты почти в человеческий рост.

Выбор науки как жизненного поприща тогда означал для женщины отказ от семейной жизни — Наталия Давыдовна на это пошла. В 1913 г. она, почти одновременно с выпускником («кандидатом») Петербургского университета Вильгельмом Вильгельмовичем Струве, была послана в Берлин и Мюнхен совершенствоваться; Струве учился у Эдуарда Мейера, Н.Д. — у Германа Ранке, и оба — у Адольфа Эрмана.

Война вернула ее в Петербург, а революция привела и в Эрмитаж. До февраля 1917 г. он был подчинен министерству двора, а в его служебных помещениях господствовал строгий ученый декорум, визитки, крахмальные воротнички, строгие галстуки, подстриженные бороды — и женщины были решительно невозможны. «Наверху», в помещении за картинной галереей,

говорили только по-французски; внизу, за античными залами — только по-немецки. Наталию Давыдовну принял в античный отдел степенный эрудит Вальдгауэр. Она горячо участвовала в перестройке музея для народа — водила первые экскурсии, читала популярные лекции. Ходившие за ней мальчики были началом знаменитого эрмитажного школьного кружка.

С созданием в начале 30-х гг. Сектора Востока (во главе с И.А.Орбели), Эрмитажу был отдан Ламоттовский павильон и часть Зимнего дворца (в остальной части помещался Музей революции). Было создано Отделение древнего Египта (потом — Древнего Востока, потому что тут хранились также шумерские таблетки и ассирийские рельефы); во главе его встал один из младших учеников Б.А.Тураева, Василий Васильевич Струве. Он, впрочем, не поладил с И.А.Орбели, а с 1933 г. перед ним открылись более широкие дороги в Университете и в Академии материальной культуры, и он ушел. Наталия Давыдовна была немножко обижена, что новым заведующим отделением стала не она, а ее ученица Милица Матье, но это не испортило ее доброжелательного отношения к новой заведующей, как и ко всей молодежи.

Жила Наталия Давыдовна в двух шагах от Эрмитажа, на набережной, в квартире первого этажа, хорошо известной всем ходившим мимо — ее большие сплошные окна были сверху донизу изнутри загорожены сеткой необыкновенных зеленых растений, а иногда на подоконнике сидели кошки. В ее гостеприимной квартире постоянно бывал кто-то из ее родных и друзей, а также ее покровительствуемые мальчики. Заходил и Василий Васильевич Струве, к которому она относилась несколько иронично и критично. «Василий Васильевич — человек добродушный, но не добрый», — говорила она. Она же рассказывала о том, как он, приехав в Берлин, заказал себе визитные карточки:

Wilhelm von Struve
Mag. phil.

и о том, как Эрман спрашивал ее, что это значит — Mag. phil., а она отвечала не без яду: Magister philanthropiae, ибо магистром философии Струве еще не был.[1] Струве, конечно, знал, что она подтрунивает над ним, но ей разрешалось то, что другим не было разрешено.

Совсем другой человек была Милица Эдвиновна Матье. Она была дочерью морского офицера, англичанина по происхождению, но рожденного в России и русского подданного, поэтому «по паспорту» была русской. Небольшого роста, с умным некрасивым лицом, со странными торчащими зубами; она опиралась на палку и волочила ногу, и не то чтобы у нее был выраженный горб, но одно плечо было явно выше другого. В то время ей было тридцать восемь лет.

Милицей она была названа, конечно, в честь великой княжны.

Детство Милица Эдвиновна провела в страшных мучениях, лежа в больнице «на вытяжении», ходила в ортопедическом корсете и ортопедиче-

[1] Звание магистра примерно соответствовало современному кандидату наук, хотя получить его было несколько труднее.

ской обуви. В молодости была очень религиозной, даже входила в «церковную двадцатку», и, как при случае выяснилось, была весьма образована в богословии. Успела еще застать Б.А.Тураева и учиться египтологии у него в университете (Тураев принял малый постриг в 1921 г. и вскоре умер).

Совсем девочкой Милица Эдвиновна вышла замуж за Д.А.Ольдерогге. Дмитрий Алексеевич был человек обаятельный, во всех отношениях интересный мужчина, замечательный рассказчик, всеобщий обворожитель — и что Милица Эдвиновна сумела его женить на себе, казалось родом чуда. Впрочем, брак продлился недолго, — официально считалось, он прервался по инициативе М.Э. — и вскоре она второй раз вышла замуж: за Исидора Михайловича Лурье, который был хоть и поплоше Дмитрия Алексеевича, но все же муж хоть куда.

До своей смерти Тураев успел подготовить довольно много египтологов; это были Н.Д.Флиттнер, И.Г.Франк-Каменецкий, рано умершие И.М.Волков и И.Коцейовский, И.Г.Лифшиц, В.В.Струве, затем Ю.Я.Перепелкин, затем М.Э.Матье, Ю.П.Францов, Д.А.Ольдерогге, М.Л.Шер, И.М.Лурье; А.А.Мачинский же, И.Л.Снегирев, Н.А.Шолпо, Р.И.Рубинштейн, Б.Б.Пиотровский, Д.Г.Редер, И.С.Кацнельсон отчасти учились уже у В.В.Струве или у М.Э.Матье. Еще позже появился М.А.Коростовцев, коммунист-ортодокс, братишка в тельняшке, со стажем партийной и, поговаривали, будто и чекистской работы.[1] Да еще в Москве были В.И.Авдиев и еще несколько египтологов, ученики В.В.Викентьева. Прокормить столько египтологов было невозможно, поэтому среди них шло постоянное разбегание в стороны, но в то же время и подспудная, но довольно ожесточенная борьба; создавались группы. Это поняли уже первые ученики: Волков занялся ассириологией и семитологией, Струве, сохраняя за собой и поле египтологии, однако, будучи хранителем шумерских хозяйственных табличек, сделал себе имя на исторической теории и на шумерологии. Другие этой ситуации не поняли, и Струве, всегда в душе шахматист, постарался помочь уйти из египтологии наиболее многообещающим, чего они по гроб не могли ему забыть. Перепелкин всю жизнь был тише воды, а в роли хранителя Музея книги,

[1] Человек он был своеобразный и неоднозначный. То, что он писал до войны, было поверхностно и неинтересно. Во время войны он был послан по партийной линии в командировку постоянным корреспондентом в Египет, с женой. Здесь он стал учиться у лучших египтологов, а когда кончилась командировка, просил о ее продлении, но получил отказ; на пароходе по дороге в Одессу он и жена его были арестованы и посланы в лагеря. Вернулся он в 1954 г., писал уже более основательно, в войне Струве — Авдиев поддерживал Струве; написал убийственную рецензию на книгу И.М.Лурье, и вообще умел писать жестокие отзывы: так, он два раза подряд писал смертельные отзывы на мою большую книгу «Языки древней Передней Азии» — как оказалось, потому, что ему наврал Иська Кацнельсон, что я будто бы называл его белым офицером. Узнав это, я ему сказал, встретив его в коридоре Московского Института востоковедения: «Михаил Александрович, мы с вами не такие молодые люди, и за мою жизнь я мог говорить про вас всякое, и плохое, и хорошее. Но единственное, чего я никогда о вас не говорил, это что вы — белый офицер».

— Ах, мерзавец Иська, — сказал Коростовцев, и тут же взял назад свой отрицательный отзыв на меня; но дружбы с Иськой не оставил.

В академики его выбрали буквально случайно: фракция А хотела провалить кандидата Б., а фракция Б — кандидата А; согласились на Коростовцеве.

Став академиком, он сделался верной опорой всех обиженных и жаждущих справедливости, отважно боролся с антисемитизмом.

Любопытно, что он оказался по рождению дворянином и тщательно хранил свои родовые бумаги и фотографии.

документа и письма как бы ушел в полную тень; Ольдерогге добился командировки в Гамбург и переквалифицировался в африканисты; Францов ушел в музей атеизма и религии и потом сделал большую философско-дипломатически-журналистскую карьеру, кончив жизнь академиком и ректором Высшей партийной школы; Франк-Каменецкий работал по сравнительной мифологии (но не по египтологии) в ГАИМКе, а потом в Институте литератур и языков Запада и Востока, и наконец на кафедре у А.П.Рифтина; Снегирев и Кацнельсон выбрали роль адъютантов и «теневых авторов» при Струве; Мачинский ушел в археологию СССР, Пиотровский — в урартскую археологию (здесь он справедливо прославился, а с языками у него всегда было плоховато, хотя ему удавались кое-какие комбинации с марровскими четырьмя элементами на материале египетской иероглифики); Шолпо с Рубинштейн устроились на преподавании всеобщей истории и на музейной работе. Лифшиц кое-как перебивался. Хуже всего был устроен М.А.Шер, отличавшийся большой прямотой и напрямик говоривший, что именно он думает о египтологических познаниях В.В.Струве. Работал Шер в Музее этнографии гардеробщиком.

Большой любви среди египтологов к В.В.Струве не было, а М.Э.Матье и И.М.Лурье сыграли немалую роль в том, что Струве ушел из Эрмитажа, хоть тут были и другие причины. Я уже упоминал, что после его ухода заведующей отделением Египта стала не Н.Д.Флиттнер, как предполагалось, а поддержанная парторганизацией Милица Эдвиновна, к тому времени вступившая в партию, — под влиянием И.М.Лурье, как думал он сам, а скорее по подсказке собственного ума.

Ибо Милица была человеком незаурядного ума, воли и способностей. Даже Ю.Я.Перепелкин, скептически смотревший на научные возможности большинства своих коллег, признавал ее научные достижения. Она сумела написать и напечатать больше, чем кто-либо из ее сверстников-египтологов (по искусству и религии Египта, по коптскому искусству; вместе с И.М.Лурье издала хрестоматию по египетской скорописи и начальный учебник египтологии). Если бы наши издания доходили бы до заграницы, то, несомненно, она была бы среди видных людей международного востоковедения.

Она была приятна в общении — не только по своему уму: разумно советовала, — но и по широкой образованности: хорошо знала поэзию, даже тихонько пела — «Александрийские песни» М.А.Кузмина, например.

Для того, кто ей нравился и представлялся достойным, она не жалела усилий, стараясь всячески помочь; но к тому, кого невзлюбит, была жестка и непреклонна (как к своей ученице Элле Фингарет, которая провинилась только легким отношением к любви — почему такой ригоризм вдруг? — может быть, не до конца сведенные счеты Милицы с матерью?). Жизнь не берегла Милицу от страданий и унижений, — можно понять, что она не считала нужным щадить других, когда не было у них особых заслуг.

Ко мне она относилась очень хорошо, внимательно следила за моей научной работой и спрашивала моего мнения о своей.

Внизу вместе с Милицей Эдвиновной в кабинете сидела хранительница коптских тканей, искусствовед Ксения Сергеевна Ляпунова. Какая она была — я не могу рассказать; кроме того, что она была крупная, со здоровым

цветом лица, сероглазая, темноволосая — и очень тихая и молчаливая. Я лучше узнал ее как надежного, добросовестного, трудолюбивого товарища во время эвакуации Эрмитажа в 1941 г. За все довоенное время я помню только одну ее реплику: когда мы сверху зачем-то спустились к М.Э. и очень галдели вокруг ее стола, она обернулась на стуле и сказала вдруг:

— Можно я процитирую Гоголя?

— Можно, можно, Ксения Сергеевна.

— Пошли вон, дураки.

Это так не шло к ее старомодной вежливости и дворянской осанке, что мы все засмеялись и ушли.

Наверху как бы «главным» был Исидор Михайлович Лурье. Он уже не носил кожанки и слишком коротких брюк, но пиджачный костюм сидел на нем как кожанка. Он был минчанином, сначала подпольщиком-партизаном, а потом учеником Н.М.Никольского (библеиста, давно осевшего в Минске, сына «старика» М.В.Никольского, профессора Духовной академии, издававшего шумерские хозяйственные документы коллекции Н.П.Лихачева). Из Минска И.М. рано перебрался в Ленинград, где он учился египетскому то ли у Струве, который его не выносил, то ли у Милицы Эдвиновны. Исидор Михайлович был партийным ортодоксом, негибаемым («я не согласен!»), и твердо верил в генеральную линию партии и в теорию феодализма на древнем Востоке, внушенную ему Н.М.Никольским. Египтолог он был средний, по образованию самоучка, но очень доброжелательный к людям, — к которым он, впрочем, не совсем относил тех, в ком видел идеологических и классовых врагов. Он тоже очень интересовался моей научной работой, а так как он был принципиальный спорщик, быстро замечавший слабые места собеседника, то говорить с ним и обсуждать свои работы было очень интересно. Он и свои работы охотно давал читать и обсуждать товарищам. Мне было, конечно, странно, что при всей его явной доброте, по всем спорным вопросам посерьезнее ему всегда хотелось писать письма в обком или, чего доброго, в ЦК — к 1938 г. различие между письмом в ЦК и письмом в НКВД становилось несколько теоретическим. Я как-то спросил его:

— Ведь если марксизм-ленинизм — это наука, то, как всякую науку, ее должны развивать ученые, так как же?

Он ответил:

— А ее и развивают.

— Где же?

— В ЦК нашей партии.

Он умер после речи Хрущева на XX съезде.

Борис Борисович Пиотровский по части науки держался в стороне от нас — история как таковая его не интересовала, ни соцэк, ни искусство, ни религия — он весь уже давно ушел в археологию, был учеником А.А.Миллера, основательно готовился к ведению раскопок в Армении (археолог он вообще был очень обстоятельный, серьезный и аккуратный). Незадолго до моего появления в Эрмитаже он совершил вместе со своими эрмитажными товарищами А.А.Аджяном и Л.Т.Гюзальяном большое разведывательное путешествие по Армении с целью полного учета возможных урартских городищ и выбора наиболее перспективного. И он не ошибся, выбрав Кармир-блур.

Бориса Борисовича в Эрмитаже тогда очень любили — был он человек компанейский, всегда готовый помочь в любом техническом деле: поднять, передвинуть, прибить, сделать рисунок для статьи.

Находился он уже не на первой стадии своего развития. Сначала он был мальчиком-египтологом при Наталии Давыдовне, потом — как пелось (до меня) в песне Сектора Востока:

Кто из всех нас моложе и выше,
Кто быстрей всех работы печет,
Кто по виду живет тише мыши,
A de facto не скучно живет?
Египтолог и ассириолог,
Начинающий он халдовед,
Замечательный яфетидолог —
Вот Б.Б. вам готовый портрет.

В песенке не сказано того, чем Б.Б. бесспорно был: замечательным археологом — пока не стал директором. Но и как у археолога у него все-таки был грешок — он всегда жаловался, что его обижают, и не терпел никого самостоятельного на своем раскопе. Как и М.Э., Б.Б. был сыном офицера. Во время войны он вступил в партию — по любви ли — не знаю.

Кончил он жизнь сейчас (1990 г.) академиком, директором Эрмитажа и Дома ученых, членом буквально десятков академических и других комитетов и зарубежных академий, единолично представлявшим всю эрмитажную науку в многосерийном телефильме.

Мы с ним были в хороших отношениях.

И, наконец, Михаил Абрамович Шер. Это был маленький быстрый очкарик, хранивший в своей лысеющей под слегка рыжеватыми кудрями голове необыкновенную ученость. Когда-то Б.А.Тураев написал магистерскую диссертацию о египетском боге Тоте. После этого каждому из учеников он старался дать тоже тему по какому-нибудь египетскому богу. Так, Франк-Каменецкий написал диссертацию о боге Амоне (по-немецки — и защитил ее в Германии, в Кенигсберге, что ныне Калининград). Шеру достался бог Сет. Надо сказать, что в ходе развития египетской религии Сет, брат и соперник Осириса, постепенно превращается в божество злого начала. Шер начал искать параллели в демонологии всего мира и, в особенности, христианской. Товарищи его шутили, что, встретив в романе XX в. персонаж, который восклицает: «Черт возьми!», Шер его выносит на отдельную карточку. Это, может быть, было преувеличением, но верно то, что Шер был не в состоянии ограничить свои поиски параллелей. После войны его картотека одно время побывала в нашем отделении, и я ее видел: это был огромный ящик, примерно 150x100 см, тесно набитый карточками нестандартного формата и самого странного, но всегда чертовского содержания: Шер был величайшим в мире специалистом по черту. Не знаю, владел ли он латынью, но, наверное, владел: патрологические сочинения, во всяком случае, им были изучены. А также православные славянские жития и хождения по святым местам: на свои гроши он собрал их целую библиотеку.

В то же время Шер был милый, приветливый и готовый всем помочь человек. Однажды он увидел недалеко от служебного выхода Эрмитажа

пожилую машинистку, что-то делавшую в общем районе своего колена. Шер немедленно подбежал:

— Могу я чем-нибудь помочь?

— Да нет, у меня узел завязался на подвязке, не могу развязать.

— Разрешите, я перекушу?

Но при этих его умилительных качествах Шер был начисто лишен какой-либо сообразительности. Поначалу его посадили за составление инвентаря египетских амулетов. Такой инвентарь был уже когда-то издан В.С.Голенищевым, — но по-французски. Теперь его предстояло вписать по форме в инвентарную книгу, слегка сокращая голенищевский текст и переводя его на русский, — но, конечно, сверяя каждый раз инвентарную запись с подлинным предметом.

Время от времени от стола Шера неслись восклицания:

— Что такое! Что такое! Понять не могу!

Тогда я или Б.Б. шли ему на помощь. Один раз его затруднение заключалось в том, что он не мог понять, почему у Голенищева написано «амулет в форме двух пальцев правой руки».

— Почему правой? Откуда он знает?

Показываю ему, что средний палец (справа) длиннее указательного. Шер возражает:

— Но можно же перевернуть! — Да, но тогда на пальцах не будет видно ногтей. — Ах, да!

Другой раз у нас была очередная проверка наличия. По «топографической описи» (картотеке) каждый предмет из шкафов вынимался и сверялся с инвентарем. Шеру досталась проверка бронзовых фигурок богов. Он благополучно просмотрел весь шкаф, вынимая и отставляя каждую фигурку, но потом, кинув взгляд на полки своего шкафа, бросился вниз к Милице Эдвиновне:

— Милица Эдвиновна! Гнойник! — «Гнойником» на нашем музейном жаргоне называлась всякая неполадка и неувязка в учете и хранении. Милица Эдвиновна поднялась к нам на второй этаж. Боги лежали на столах, а на всех полках шкафа стояли бронзовые ступни ног — незаинвентаризированные.

Дело в том, что бронзовые предметы доходят до археологов сплошь покрытые зеленой ярью-медянкой, разъедающей поверхность предмета. Но путем электролиза металл восстанавливается, вплоть до тонкого врезанного орнамента, иероглифических знаков и т.п. — за исключением тех мест, где ярь проела насквозь, и уже нет металлического ядра, вокруг которого мог бы восстановиться остальной металл. У богов таким «узким местом» были щиколотки, и ступни у них не могли воссоединиться с остальным телом; они и стояли, не прикрепленные к фигуркам. Хлопотно было установить, чьи ноги от какого бога!

Такого рода анекдоты происходили почти ежедневно. Наконец, Шера посадили на инвентаризацию фотографий, снимавшихся с вещей и из книг за прошлые годы. И тут было не все слава богу: например, фото деревянной

фигурки, изображающей двух борцов, числилось у Шера в картотеке под рубрикой «Драки».

Однажды дамы почуяли, что Шера надо сводить в баню. Это деликатное задание было поручено Б.Б. Оказалось, что у Шера в комнате дома ветром выбило стекло и стоял уличный холод. Поэтому он перестал раздеваться. Б.Б. позаботился, чтобы вставили окно, сводил его в баню и в магазин, где ему была куплена пара белья и, взамен его весьма замызганной полосатенькой пиджачной пары, синий фланелевый тренировочный костюм.

Другой раз выяснилось, что Шер никак не может написать статью для «Трудов Отдела Востока Эрмитажа», хотя мысли у него были вполне интересные и здравые. Мы сели с Б.Б. вдвоем и велели Шеру объяснить нам, что он хочет сказать — и таким способом соорудили статью. У него за всю жизнь их было две, — вторую тоже кто-то ему помогал делать.

Жили мы, всем Отделением, очень дружно, советовались друг с другом, показывали друг другу неоконченные работы, спорили — и учились друг у друга; во всяком случае, я учился и очень многому выучился, — хотя бы тому, как писать научные работы.

С «Верхним Востоком» мы сталкивались редко — только во время общих собраний в зале перед библиотекой Николая II, а ныне библиотекой Отдела Востока, которой ведал высокий, красивый, пышноволосый и видный собой, every inch a king,[1] несмотря на скромную одежонку, Андрей Иванович Корсун с трубкой. Подобно Шеру, но не в столь комичном роде, он принадлежал к тем, о которых сказано: «суждены им благие порывы, но свершить ничего не дано». А.И. был поэт, но до конца жизни он издал только свои переводы (с подстрочника) эпических песен «Эдды», — довольно слабые.

От библиотеки за углом была ванна-бассейн императрицы Александры Федоровны, ныне отдельский архив, которым ведал тихий П.А.Сауков, и большое, метров на 16, помещение императрицына сортира: это был кабинет заведующего отделом, и над его столом красного дерева, сзади, на стене, еще висел бачок, тоже красного дерева; а в ящик красного же дерева (для горшка), обитого изнутри голубым бархатом, заведующий сбрасывал ненужные бумаги. У нас все еще служили в охране бывшие императорские лакеи, а в мастерских — старые рабочие. Один из них, водопроводчик, всю жизнь хвастался тем, как был раз вызван поправить кран в ванной императрицы и, открыв дверь, обнаружил ее голышом в бассейне. Другой бывший камер-лакей, уже в советские годы, во время очередной исторической съемки (в Зимнем дворце без конца снимались исторические фильмы), когда «вертели» кадр, где какой-то генерал говорил с великим князем Николаем Павловичем, — подошел и сказал актеру:

— Ваше высокопревосходительство, разве можно так стоять в присутствии высочайшей особы? — и тотчас же был зачислен в съемочную группу консультантом.

Заведующим Отдела Востока уже не был И.А.Орбели — он незадолго до моего появления в Эрмитаже был назначен его директором. Я не буду здесь

[1] Король каждым дюймом своего роста (англ.; из Шекспира).

писать о нем, — для этого постараюсь написать отдельный очерк, — скажу только, что он был человек в высшей степени замечательный, смелый и благородный. Я бесконечно многим ему обязан и чту его память, как одного из достойнейших людей, которых я знал.

А сейчас заведующим Отделом Востока был А.А.Аджян, ученик И.А.Орбели, молодой человек (тогда всюду «руководителями», как говорят на официальном языке, были молодые) — из беспризорников, по общему признанию — человек большого таланта. Женой его была Т.А.Измайлова, одна из самых первоначальных сотрудниц Отдела, арменистка, довольно красивая собой и с тяжелой судьбой.

Ужасно мне хочется описать всех их, «Верхний Восток», каждого по отдельности, — однако и так течение моих воспоминаний, которые начали было становиться стремительными, попало в некий тихий омут.

Расскажу только, что в библиотеке у Корсуна находилось некоторое подобие «мозгового треста», или «центротрепа», под названием «Перузарий», имевший лозунгом (или, скорее, эпиграфом): «Not to read, but to peruse».[1] Главным лицом был иранист Александр Николаевич Болдырев, высокий, красивый, с лукавой улыбкой, талантливый, умный, добрый; и с ним мой брат Михаил Михайлович, тоже красивый, талантливый и умный; вхожи туда были, конечно, сам хозяин, Андрей Иванович Корсун, и иногда Андрей Яковлевич Борисов. В числе прочих премудрых вопросов, разбиравшихся в перузарии, был вопрос о классификации ученых-востоковедов по «пядям во лбу». Здесь А.Я.Борисов (так как университет кормил плóхо, он поступил в 1937 г. в Эрмитаж... аспирантом к К.В.Тревер) был «семипядником-титаном», так же как китаист В.Н.Казин; И.Ю.Крачковский был просто «семипядником», А.Ю.Якубовский и сами авторы классификации, А.Н. и М.М., тянули на пять пядей, К.В.Тревер — не выше трех, а В.В.Струве был «семипядником по нижнему уровню». Были и «семипядники in spe».[2]

IV

К моей работе в Эрмитаже я еще вернусь; но я ведь продолжал и учиться, поэтому сначала о моих студенческих делах и впечатлениях.

С осени я учился уже не в ЛИФЛИ, а в университете. Большой разницы мы, студенты, не заметили, разве что исчез Морген и его приказы на доске — соответствующие приказы теперь вывешивались в Главном здании Университета, где мы не бывали.

Для преподавателей ввели «штатно-окладную систему» с твердой заработной платой.

Кафедра выросла: появилась группа африканистов — амхаристы, хаусоведы и бантуисты — ими ведали Н.В.Юшманов (он, конечно, знал амхарский, и язык хауса тоже знал — главный язык черной Нигерии) и уже упоминавшийся Д.А.Ольдерогге, ведший языки хауса и суахили.

В ту осень была у нас горестная потеря. Основная работа у Израиля

[1] Не читать, а вчитываться (англ.).

[2] Ожидаемые в будущем (латин.).

Григорьевича Франк-Каменецкого была не на факультете, а в Институте языкознания, который помещался тогда на Дворцовой набережной 18, где теперь (1990) Институт востоковедения. Дом этот имеет выступающий вперед подъезд, перерезающий почти весь тротуар (когда-то над подъездом был еще козырек, чтобы дамы, выходя из кареты, не попали под дождь). Выходя из института и, как всегда, задумавшись, И.Г. нечаянно, но естественно ступил прямо на мостовую: он был слеп на один глаз. Его сшибла машина. Когда его подняли, он сказал:

— Шофер не виноват. — А когда его привезли в больницу, он велел подвести себя к телефону-автомату и позвонил жене, чтобы ее успокоить: «Пустяшный ушиб», и т.п. И к утру умер.

Мы хоронили Израиля Григорьевича в дождь. На его могиле неожиданно говорила всегда молчавшая Мария Свидер — говорила от всего сердца, с огромной болью. Она чувствовала, что после Израиля Григорьевича у нее не будет ни защитника, ни любящего учителя.

Но это были не единственные потери на кафедре. Был арестован Илья Гринберг, Велькович и лишь частично связанный с кафедрой хранитель еврейского рукописного фонда Публичной Библиотеки Раввече. Зато самым неожиданным образом опять появился — как всегда, жизнерадостный — Ника Ерехович.

Где и у кого жил тогда Ника — я не знаю, вероятно у друзей; однако оба его старших друга вскоре исчезли — бывший эсер был «взят», а немец — не знаю, что с ним стало; ходили слухи, что его выслали в Германию. Лева Липин, наконец, разошелся с женой и жил теперь в каком-то страшном трущобном доме на краю Петроградской стороны — дом был такой, что там в одной из соседних квартир убили человека, а труп выставили на площадку, и он стоял там трое суток — в этот дом милиция входить не отваживалась. Ника жил часто у Липина, но, стараясь не слишком утруждать его, время от времени переезжал куда-то еще.

Александр Павлович с лета снял себе комнату у квартирохозяев на Таврической (улице Веры Слуцкой);[1] эта комната стала для него столь давно необходимым кабинетом, куда он перетащил свои картотеки и нужнейшие научные книги.

Где-то в октябре мы потеряли парторга, гориллоподобного Муссесова, но необычным образом: в бывшем «ректорском доме» Университета, где когда-то была квартира Бекетовых и Александра Блока, теперь были созданы курсы по подготовке надзирателей исправительно-трудовых лагерей. Туда-то и ушел от нас Муссесов.

Из учебных дел того года я особенно помню интереснейшие занятия шумерским с Александром Павловичем («Цилиндром А Гудеи»). Занимались мы в очень странной аудитории: наряду с большими мужской и женскими уборными на втором этаже, на первом полуэтаже был маленький одномест-

[1] Кто такая была Вера Слуцкая? Девочка-коммунистка, посланная с группой на грузовике агитировать солдат в Гатчине, не соглашавшихся перейти на сторону большевиков в октябре 1917 г. — и убитая в кузове грузовика шальною пулей. Боже мой! С тех пор столько достойных людей сложили голову и не удостоились поминания! А Вера Слуцкая получила улицу, фабрику и больницу.

ный сортирчик для служащих деканата и профессоров. У сортирчика был «предбанник», а в нем-то и занимались мы. Но иногда в разгар бурного обсуждения шумерских грамматических форм раздавался скрип двери, и она распахивалась, обнаруживая перед глазами уже не удивлявшихся шумерологов белый унитаз.

В какой-то из дней этой же осени в газетах на первой полосе появилось Постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома о создании, для усиления борьбы с врагами народа, шпионами и вредителями, ускоренного производства — вместо суда (со следствием, прокурором и адвокатом) дела поступали «тройкам», назначавшимся НКВД и имевшим право приговаривать к любому наказанию вплоть до десяти лет исправительно-трудовых работ и высшей меры наказания, без обжалования.

Между тем, все больше слышалось фамилий арестованных: писатели — и интеллигенты (П.Губер), и многие бывшие пролетарские писатели; поэты — О.Э.Мандельштам, Бенедикт Лившиц, Борис Корнилов и позже его бывшая жена Ольга Берггольц:[1] «правая, левая, где сторона?» Комиссар Орас — и наш друг, Рудольф Лазаревич Самойлович (первый советский полярник), и его шурин Михаил Михайлович Ермолаев — а Елена Михайловна Самойлович с детьми исчезла в неизвестном направлении.[2] Впервые — академик: Александр Николаевич Самойлович, тюрколог, отец Мишиного друга Платона. Сейчас уже не помню, кто был «взят» в 1937, кто в начале, кто в конце 1938 г.

В университете студенты думали о других вещах куда больше, чем о науке.

То и дело происходили комсомольские собрания по «персональным делам», а вернее сказать — по доносам; они неизменно кончались исключением «провинившегося» из комсомола. Он продолжал ходить на занятия, учиться, — но к нему уже никто не подходил близко. Все знали, что теперь вопрос недель, а может быть, и дней, когда «за ним придут» — комсомольское решение передавалось в НКВД. Дел было много, не упомнишь. Тем более что я сам не бывал на этих закрытых собраниях. Расскажу только о двух случаях, о которых я знал подробнее.

У аспирантов-японистов вел занятия по живому языку японец, конечно, коммунист. Две подруги, красавица Ира Иоффе с волнистыми светлыми кудрями и Женя Пинус с черной челкой, заметно выделялись по успехам из всех остальных. Японец пригласил их приходить для дополнительных занятий к нему домой — у него была отдельная комната в нашем студенческом общежитии на Мытне. На Иру был подан донос. Как выяснилось вскоре (сам

---

[1] Фамилии назывались шепотом, не всегда сведения были верны. Бориса Корнилова арестовали рано по доносу некоего литератора Лесючевского, потом директора издательства «Советский писатель» — и расстреляли сразу. Он был обвинен в шпионаже в пользу Англии и Франции. Ольга Берггольц приткнулась к Николаю Молчанову (которого потом хоронила в блокаду), но сама была арестована почти год спустя. В тюрьме у нее выбили ребенка из утробы — и выпустили, после чего от нее долго шарахались: кто был выпущен, был под сомнением.

[2] Судьбу их я узнал в пятидесятых годах от немецкого профессора при совершенно необычайных обстоятельствах. Сын Елены Михайловны погиб под Берлином; сама она с Наташей спаслась было от ареста, бежав в Пятигорск, но там попала под немецкую оккупацию и вынужденную эвакуацию в Германию, оттуда попала в Бразилию и, наконец, в США, где осталась одна — Наташа умерла молодой. Рудольфа Лазаревича, конечно, расстреляли; Михаил Михайлович, хоть и тяжелый туберкулезник, выжил в лагере и вернулся в Ленинград.

деятель похвастал), в соседней с японцем комнате жил партиец-аспирант, арабист Ревнов. Решив, что девицы ходят к японцу для любовных игр, он провертел дырочку в перегородке и якобы увидел Иру Иоффе в объятиях капиталистического агента. Не знаю, поверил ли этому кто-нибудь; я и мои друзья не поверили. Но, во всяком случае, через две недели Иру взяли, а Женю, тоже общавшуюся с агентом империализма, почему-то не взяли; известно было, что она выступала свидетелем по делу Иры Иоффе: оно почему-то все еще проходило не через тройку, а через суд; Ира получила не то 5, не то 8 лет, что было верным признаком того, что «дело» было совершенно дутое даже с точки зрения НКВД. Ее отец, однако, имел какие-то сильные связи и впоследствии добился ее досрочного освобождения. Но Жени Пинус все стали сторониться, и это продолжалось годы, пока Ира сама не рассказала, что Женя держалась замечательно, носила ей передачи, переписывалась с ней в лагере и т.п.

Тогда же арестовали всех корейцев (наших, конечно, из Приморья), поступивших на японский цикл в прошлом году.

Вторым хорошо известным мне случаем было дело Тадика Шумовского. Кто-то донес, что его видели выходящим из польского консульства. Это было дело совершенно неслыханное, уже много лет в нашей стране немыслимое. На комсомольском собрании Тадик объяснил, что он — поляк, что у него мать — безработная, живущая в Польше, и что он до сих пор всегда посылал ей посылки по почте, но теперь почта перестала принимать отправления за границу, и почтовые работники велели ему в дальнейшем передавать посылки через консульство.[1]

Тадик был арестован ровно через две недели.

Общественные характеристики, равносильные смертным приговорам, подписывала секретарь комитета комсомола Дудина (позже, по мужу, Редина).

Но это еще были цветочки. В течение этого года исчезла целая группа студентов-славистов в полном составе, большая часть студентов-индианистов. Были взяты и погибли почти все ученые-индианисты, — остались только дураки: Баранников, вскоре ставший академиком, и В.И.Кальянов — этот-то уж достоверно писал доносы.

Посреди всех этих событий Миша Гринберг, во время какого-то нейтрального разговора, вдруг сказал мне:

— Игорь, я хочу тебе что-то сказать. Знаешь, я еще шестнадцати лет входил в организацию «Поалей Цийон».[2] Когда всех арестовали, меня тоже посадили, но выпустили до суда как несовершеннолетнего. Никто не знает, кроме Левы Липина и тебя.

---

[1] Насчет почты это была истинная правда. К нам перестали приходить письма от дяди Коли с Явы, и лишь случайно в начале 1938 г. дошло письмо от двоюродного брата Алеши с Цейлона: он писал, что окончил Лейденский университет, женился и сейчас пишет письмо с дороги — едет пароходом на Яву, где получит работу в Бейтензоргском ботаническом саду. Следующие новости мы получили от него через двадцать лет.

[2] «Рабочие Сиона» (иврит в восточноевропейском произношении). Лево-сионистическая социалистическая организация, просуществовавшая в Белоруссии, примыкая к коммунистам, сначала легально, потом подпольно; просуществовала в СССР до конца 20-х гг. (Миша был 1913 г. рождения). Эта партия была предком Коммунистической партии Израиля.

Зачем он это сказал мне? Я тогда не представлял себе, что перед коллективизацией и индустриализацией, всего восемь-десять лет назад, еще существовали какие-то политические партии. Поразило меня — и успокоило — доверие Миши Гринберга к Липину: все-таки с его Торгсином он как раз в это время стал вызывать у меня известные сомнения.

В одну ночь из эрмитажников взяли нашего заведующего Отделом, А.А.Аджяна, Мишиного (и Б.Б.) близкого товарища, ираниста Л.Т.Гюзальяна и только что поступившего Гюламиряна, о котором я ничего не знал, кроме того, что он был интеллигентный и красивый. Мне тогда не было известно — аресты вообще тогда не обсуждались, — но это была специальная «армянская ночь», в которую погибли и нелепый багдадец Бадалян, и почти все армяне в Ленинграде.

Орбели уцелел. Мало того, он немедленно поехал в Москву — хлопотать у А.И.Микояна. Немало времени и настойчивости — и мужества — нужно было, чтобы дойти до приемной Микояна, — но все же туда его допустили. Микояна не было в его кабинете. Секретарь не раз предлагал Орбели уйти и вернуться на другой день. Орбели не уходил. Наступала ночь. Сказали, что Микоян у Самого.

Наконец, уже ночью появился Микоян — усталый, мрачный.

— Я знаю, зачем вы приехали, — сказал он Орбели. — Вам надо было приехать на несколько часов раньше. Я ничего не могу сделать. Теперь уже поздно.

Но этот эпизод из жизни Орбели я узнал только после его смерти.

Вскоре после этого взяли Стрелкова,[1] элегантного эрудита-москвича, занимавшегося связями Запада и Дальнего Востока; и много людей в Отделе Запада.

Хотя на людях об арестах почти не говорили, но в семье, но с самыми лучшими друзьями — с такими, как Шура Выгодский и его компания, — все ж вновь и вновь мы возвращались к вопросу: А этого за что? А этот что такое мог сделать? Ну, уж этот — совсем ни с чем несообразно! Была привычка искать: какая тут может быть хоть малая причина?

Надо было осмыслить события. Мы склонны были все приписывать тупому, неграмотному, безответственному аппарату НКВД. Очевидно, — казалось нам, — где-то действительно была какая-то незначительная враждебная политическая активность, а эти — ничего не умеют (что я потом и в самом деле мог наблюдать в армии); а не умея, вырубают целые слои населения, чтобы не упустить единичных виновных. Шура Выгодский в конце одного из разговоров на эту тему сказал мрачно:

— Перегиб — трагическая закономерность социализма. — Известно, что на «перегиб» ссылались у нас после раскулачивания и насильственной коллективизации.[2]

Знает ли Сталин? Из тех немногих, с кем я говорил, большинство считало,

[1] Как потом выяснилось, «за связь с И.А.Орбели».

[2] На самом деле «перегиба» не было ни в том, ни в другом случае: в 1929 г. уже не было в социальном смысле кулаков, а в 1937 г. не было — вообще не было — «врагов народа».

что не знает, или знает очень приблизительно. Заперся в Кремлевских стенах, о том, что творится в стране, не ведает. Такое объяснение плохо удовлетворяло: неужели так уж ничего не знает? А с другой стороны — если знает, то почему допускает такую вредную бессмыслицу? Ведь где, как не тут, сказать, по Талейрану: «это больше чем преступление — это ошибка»?

Приблизительно в феврале 1938 г. я зашел к моим на Скороходову, застал там ужас и разгром: ночью был обыск и увели моего отца. Среди того, что обыскиватель взял с собой, была между прочими бумагами огромная таблица генеалогии всех моих родных, которую я написал со слов тети Веры, бабушки Ольги Пантелеймоновны и покойной тети Сони. Но мы не успели ни начать горевать, ни начать пытаться что-то делать, потому что через два дня папа вернулся; сказал, что перед ним извинились, и он как ни в чем не бывало сел за свою привычную работу: на днях должна была идти корректура большой книги «История полярных исследований».

Я видел эту корректуру. Меня поразило, что наряду со скромными маленькими портретами Кука, Беллинсгаузена, Нансена, Скотта, Амундсена, были целые полосы огромных портретов наших Героев Советского Союза — летчиков и папанинцев, — и портрет Сталина на целую полосу, портреты членов Политбюро...

В феврале папанинцев сняли со льдины, а в марте была их торжественная встреча в Ленинграде. Весь Невский, украшенный флагами, был полон ликующим народом, и среди них медленно двигалась машина с героями, тоже вся украшенная.

V

Читатель другого поколения не сможет вообразить себе жизни в конце 30-х годов XX века, не представив себе жизни общественной — газет и собраний.

Из газет почти исчезли международные известия. Если ранее мнения иностранных газет цитировались каждый раз с указанием, чьи интересы газета отражает или какой партии принадлежит, то теперь давалось только название газеты, и только тот, кто держал все названия в памяти, мог заметить, что все цитируемые газеты — коммунистические. Конечно, всегда цитировалось только то, что поддерживало официальную советскую точку зрения.

Не только передовая, но и всякая другая статья на любую тему непременно кончалась так называемой «здравицей» в честь Сталина, причем одного только «да здравствует товарищ Сталин» было недостаточно — его имя должно было всегда сопровождаться самыми униженными и восхищенными комплиментами. Кое-кто пытался их собирать. «Великий вождь и учитель» было только ядром, на которое наращивались все остальные: «лучший друг советских детей» (особенно, очевидно, тех, что были в «детских домах для детей врагов народа»), «гений всех времен», «отец и учитель», «лучший друг физкультурников», «лучший друг удмуртского (или любого другого) народа», «мудрый, родной и любимый», «самый лучший, самый мудрый, самый проникновенный», «несгибаемый ленинец», «горный орел» — десятки тысяч

людей исхитрялись, чтобы еще как-то по-новому превознести «вождя и учителя». Молодой пролетарский писатель Авдеенко так закончил свою речь на VII съезде Советов в 1935 г.

— И когда любимая девушка родит мне сына, первое слово, которому я его научу, будет — «Сталин»! — (Это не помешало «посадить» Авдеенко и продержать его 17 лет в каторжных лагерях).

Были и еще прихотливее этого. Всего не упомнишь.

Были детские стишки:

Я маленькая девочка,
Играю и пою:
Я Сталина не видела,
Но я его люблю.

В каждой газете, от «Правды» до «Мурзилки», Сталин славился десятки раз. Кто-то сосчитал, что в одном номере газеты (на шесть полос) Сталин упоминался до шестидесяти раз, и каждый раз с новыми восхвалениями.

То же самое на собраниях — а их было много. Были собрания партийные, комсомольские (от них мы с Ниной были избавлены), профсоюзные (на них приходилось присутствовать), по случаю предстоящего политического процесса (все единогласно и заранее за высшую меру), проклинательные (поносились «гнусные подонки, грязные лакеи империализма, своим вонючим дыханием отравлявшие наш советский воздух», которые «заслуженно уничтожены» — но напоминалось, что «только политические идиоты забывают, что у троцкистско-бухаринских гадов остались корни; каждый честный советский человек должен приложить руку к тому, чтобы их выкорчевать» и т.п.), радостные (по поводу наших побед в Арктике или еще где-нибудь). И на каждом собрании каждый выступавший кончал «здравицей в честь товарища Сталина» — а нередко также в честь «нашего железного наркома Николая Ивановича Ежова». И при этом имени каждый раз все вставали и аплодировали почти бесконечно — каждый боялся быть тем, кто первым прекратит хлопать. Редко кто, выступая, мог посметь ограничиться, например, словами «Да здравствует советский народ».

По счастью для нас, никто не вынуждался сам проситься выступать — все выступления заранее предрешались парторганизацией, и текст согласовывался с нею.

«...И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному —
Но не против, конечно — а за!»

(А.Галич)

И не только молчали, но и вставали, и если не могли удачно смыться — то и голосовали. За все годы с 1936 по 1956 я помню только одну героически воздержавшуюся — византинистку Алису Владимировну Банк — «совесть нашего отдела».

Сталина и «сталинское ЦК» восхваляли и огромные кумачевые плакаты на зданиях — повсеместно в праздники, в некоторых местах города и в будни, и это несмотря на то, что и из «сталинского ЦК» то и дело исчезали фигуры; отдельно еще восхвалялись «партия и ее единство с народом».

По прекращении «открытых» судов и по мере учащения арестов, собрания

для «осуждения» (те, что я назвал проклинательными) постепенно стали исчезать. Вместо этого негласно подавался сигнал — и фамилия переставала упоминаться, книги снимались с полок в библиотеках, и мы сами дома вырывали из книг страницы с этим именем. Когда я говорю «переставали упоминаться», то я имею в виду не официальное только, а полное прекращение упоминаний — даже в кругу ближайших знакомых не решались произносить запретные имена. Призывы к бдительности и общие проклятия врагам народа, однако, только усиливались, но стали более безымянными. Также и сообщения о наших производственных успехах — а они занимали три четверти места в газетах и по радио — стали более безличными: похвалишь какого-нибудь директора или ударника — глядишь, завтра его посадят.

Исчезли из газет юбилеи лиц, некрологи, траурные объявления. Сейчас (1985), когда крутишь радиоприемник и слышишь в эфире на всех языках на 70% Москву, поражаешься однообразию и однообразной хвастливости советской пропаганды и удивляешься, что она вообще имеет успех за рубежом. Тогда наша пропаганда была еще хвастливее и еще однообразнее — и однако капитализм и все его гримасы так надоели западным интеллектуалам, что все большее их число выступало в нашу пользу в печати, на всяких антифашистских слетах и съездах; тут большую роль играло и то обстоятельство, что антисоветская пропаганда была очень некомпетентна, и рассказываемые ею ужасы о Советском Союзе рассматривались большей частью как небылицы — очень часто ими и были: за отсутствием подлинных известий подновляли старые новости и псевдоновости времен гражданской войны — или сами сочиняли. А на самом деле что рассказать — было. В антисоветской пропаганде читателей раздражала и непоследовательность: давно ли Троцкий и Зиновьев были большевистскими чудовищами, а теперь их объявляют единственными порядочными людьми в России. И шло паломничество либеральных интеллектуалов в Советскую Россию — Бернард Шоу, Ромэн Роллан, Лион Фейхтвангер, Андре Жид — последний, правда, по возвращении плевался, за что и был у нас предан проклятию.

Но наш читатель газет — а ведь теперь вся страна стала грамотной, — который, казалось бы, имел возможность сопоставлять пропаганду с действительностью? По-видимому, никакая действительность не может конкурировать с пропагандой, даже самой однообразной и хвастливой, если она достаточно долго твердит одно и то же.

Есть социально-психологический опыт: сорока зрителям показывают на экране геометрические фигуры, и каждый должен вслух назвать каждую фигуру. Но тридцать зрителей знают секрет эксперимента, и когда после квадрата, окружности, прямоугольника, трапеции и тому подобного на экране показывают ромб, тридцать зрителей выкрикивают «треугольник» — лишь десять робко отвечают «ромб?» И так повторяют — пять, десять, двадцать раз; число говорящих «ромб» редеет, и, наконец, остается всего одна или две «критически мыслящих личности». Так и вся страна — даже те, кто теряли братьев, мужей, отцов, даже сами «репрессированные».[1]

[1] Характерный термин эпохи; неизвестно, что он значит: посаженный в тюрьму? Сгноенный в концентрационных лагерях? Расстрелянный? А и не надо знать! И теперь говорят о «репрессиях», когда надо говорить о геноциде, об убийстве миллионов.

Читая эту главу, нужно все время помнить, что каждое событие в жизни — моей, нашей, всей страны — происходило в неизменной рамке громких, непрестанных восхвалений Сталина, Сталина, Сталина, Ежова, Сталина, Сталина, силы нашей армии, несравнимости нашей промышленности, непобедимости нашей армии, подвигов наших людей, Сталина, Сталина, Сталина, Сталина.

VI

Как-то весной 1938 г. я шел по набережной пешком с Александром Павловичем и спросил его, не беспокоится ли он о том, что нелегко будет устроить на работу, когда они кончат, всех принятых нынче новых студентов-ассириологов? Александр Павлович сказал:

— НКВД позаботится. — Мне его ответ показался было циничным, но на самом деле он был от горечи. Действительно, должно было казаться, что НКВД «заботится» уж очень о многих. Только позже я узнал, что накануне были схвачены хозяева, которые сдавали А.П.Рифтину его кабинет на Таврической; квартиру всю опечатали, и Александру Павловичу предстояли сложные и неприятные хлопоты в НКВД для того, чтобы получить обратно свои книги и картотеки. Это срывало его работу — и, между прочим, и диссертацию: он все еще был «без степени».

В феврале-марте я болел, а вернулся на занятия — нет Ники Ерховича. Как я уже говорил, он в это время по большей части жил у Липина, и его не нашли по месту прописки. Во время утренних занятий Александра Павловича и моих двух товарищей раскрылась дверь нашей аудитории-сортирчика, вошли двое военных и увели Нику. Этот арест произвел в нашей семитологической группе особое впечатление: Нику все любили. «Старик Левин» и даже Илья Гринберг были как-то в стороне от всех, и по возрасту, и по характеру, да и к Вельковичу группа не успела привыкнуть. В коридоре наши товарищи обсуждали Нику, но Лева Липин — он был самым старшим, — убеждал их в том, что этот арест был неизбежен: не в социальном происхождении даже дело, хотя, конечно, отец — царский генерал: это не могло не играть роли; но его знакомства — с немцами, с эсером! Что удивительного, что власти его подозревают.

В марте газеты были полны отчетов о показательном процессе «право-троцкистского блока» — странное словосочетание! Для нас это было прежде всего дело Ягоды, ненавистного шефа ОГПУ — того человека, которому были поручены аресты 1937—1938 гг. Отчеты об этом процессе носили совершенно параноический характер: подсудимые обвинялись в намеренном умерщвлении сына Горького с помощью простуды, тайном убийстве самого Горького[1] и в покушении на жизнь нового наркомвнудела Ежова путем подмешивания яда в сиккатив при наклеивании обоев в его кабинете. Может быть, это Ягода

[1] Сразу после смерти Сталина разговоры об убийстве Горького право-троцкистскими вредителями, как по сигналу (да, наверное, по сигналу!), исчезли из учебников литературы и энциклопедий. Убийца был впоследствии назван за рубежом много лет спустя, но как проверить досконально? Во всяком случае, вся обслуга Горького в особняке бывшего миллионера Рябушинского была поставлена ОГПУ, с этим, кажется, все согласны.

виноват в бессмысленных массовых арестах? Нет, напротив, после мартовского процесса аресты в городе только умножились.

В середине марта я был у моих на Скороходовой. Все было мирно, если не считать явно напряженных отношений между Мишей и Татой, его женой. Маму я застал за работой: она шила себе новый красивый халат для Коктебеля — черный с широким раструбом по низу и огромным красным цветком на одной поле. Сидела грустная — но это как всегда. Несмотря на то, что ей 1-го апреля должно было стукнуть пятьдесят пять, она еще выглядела интересной; новый халат, было видно, очень ей пойдет. О Мише и Тате речи не было, зато мама по-прежнему не могла нарадоваться своему шестилетнему внуку, Андрюше. Алеша по вечерам писал конкурсный киносценарий — о нашем военном флоте в предстоящей войне. Мы обсуждали перчатки морских офицеров — замшевые или лайковые? О событиях в стране ничего не говорили — а вообще же кругом называли какие-то новые имена. Папа шутил — вспоминались годы гражданской войны:

Нам всем подчас бывало жутко,
Но ты, подбадривая нас,
Всегда бросал веселой шуткой
И приговаривал: Tout passe!

На Суворовском главные разговоры были о Лялиных делах: она училась на втором курсе Политехнического института, и у нее не ладилось с черчением и еще с чем-то. Это, по обыкновению магазинеровского дома, было предметом обсуждения на «семейном совете» за чайным столом. Яков Миронович хотел поговорить с заведующим Лялиной кафедрой профессором Лойцянским, а Ляля сердилась и заклинала его этого не делать.

В «Египте» было лучше всего. Нас там пока никакие беды не затронули, мы с увлечением занимались наукой и спорами о ней; я водил экскурсии по египетской выставке.

Возвращаться с работы я любил пешком, по Невскому, останавливаясь у витрин магазинов — не то чтобы в них было так много товаров, но меня занимал сам процесс window-shopping[1] — не знаю почему. Отвлекались мысли, что ли.

Однажды в самом конце марта я шел так из-под арки по Невскому и не доходя Казанского собора встретил папу. Он был, как всегда, в кепке и серо-зеленом косматом демисезонном пальто. Он обрадовался мне.

— Вот хорошо: давай пойдем вместе, я тебя провожу. Мне только ненадолго надо зайти в Госиздат.

Кажется, Госиздата тогда уже не было, а было много разных издательств, но папа так называл по старой привычке весь Дом книги.

Мы поднялись на лифте. У папы оказалось не один, а много визитов, и мы ходили из одной в другую застекленную контору на четвертом и на пятом этажах — кое-где папе надо был только поздороваться и пошутить. Всюду дамы (а мужчин там было мало) встречали его радостными восклицаниями, и он, весело поблескивая своим пенсне, начинал каждый раз рассказывать какую-нибудь новую занятную историю, или отвечал на привет шуткой —

[1] Разглядывать товары на витринах без серьезного намерения что-нибудь купить (англ.).

и потом шел дальше. Никак было не дождаться, когда он, наконец, дойдет до той комнатки вдоль коридора, где у него собственно и было дело. Я сначала ходил с ним, потом сказал, что подожду в коридоре, потом стал нервно смотреть на часы и наконец решил уйти, не дождавшись. Все равно через два дня приду на мамин день рождения вечером.

Через два дня, придя на Суворовский с работы, я застал в коридоре сцену: Яков Миронович стоял растерянный, а Ляля кричала благим матом:

— Как ты мог, как ты мог, как он теперь на меня посмотрит! Как ты мог!

— Да я ведь только поговорил с ним, я ни о чем его не просил...

— Все равно, как ты мог, как ты мог!!! Я же тебя просила, как ты мог!!!!

Раздался телефонный звонок — телефон стоял тут же в коридоре, у двери в нашу комнату. Я расслышал слабый мамин голос, совершенно заглушаемый Лялиным визжащим криком.

— Да, мама, да, я слушаю?

Она что-то говорит, я не могу разобрать. Наконец, сквозь вопли слышу:

— Привет тебе от папы.

Я что-то бормочу, что приеду сегодня и что я папу только что видел. Крик за моей спиной не прекращается.

— Тебе папа просил передать привет. Его взяли. Нынче ночью.

Я повесил трубку и помчался на Скороходову. (Нина еще не приходила с работы).

На Скороходовой все было перевернуто. Не помню, видел ли я братьев, не помню, что я говорил маме, кроме того, что напоминал: прошлый раз все обошлось — папа почти сразу же вернулся. Не мог не думать о том, что, кроме этого единого необычного случая, среди уже известных мне ни один из арестованных пока не возвращался. На маму страшно было смотреть. Тетя Вера заперлась у себя в комнате и не выходила.

— Ведь папа ничего не ждал; в чем его могут обвинить?

— Нет, ждал, — сказала мама. — По ночам, как проедет по нашей улице машина, он прислушивался — остановится у нашего подъезда или нет?[1]

Я уже не стал дальше убеждать ее в том, что папу ни в чем не могут обвинить — слишком много было примеров ареста явно ни в чем не повинных людей. Мы оба тогда подумали, что это связано с папиной работой за границей: уже давно, перебирая в уме совершенно непонятный набор фамилий арестованных и неарестованных, все замечали, что к весне этого года людей, побывавших за границей, как будто совершенно не осталось на свободе. Через много лет я узнал, что папин арест не имел к его работе за границей никакого отношения; вернее, если имел, то только очень, очень косвенное.

На другой день я пришел в университет, а молчать о моей беде было трудно. Я вспомнил о Мише Гринберге — но его что-то было не видно, и решил сказать Леве Липину.

— Лева, вчера ночью арестовали моего отца. Я говорю тебе, но пожалуйста, пока не сообщай никому другому: подожди три дня. Послезавтра будет утверждение характеристик, я не хочу, чтобы до этого времени меня сняли

[1] Сначала приезжали арестовывать с машиной; но к этому времени «двое» приезжали на трамвае, а машину вызывали по телефону после конца обыска.

со старост, а то бог знает какая будет характеристика ребятам. — Липин согласился.

Сообщать об аресте в семье было обязательно, — в противном случае следовало почти неизбежное исключение из университета.

Однако на послезавтра, когда проекты характеристик из комсомольского бюро были переданы старосте, комсоргу и профоргу (комсоргом была Келя Стрешинская, а профоргом кто-то из арабских девочек), оказалось, что в мою собственную характеристику уже вписано, что «отец арестован как враг народа»,[1] и что я «скрыл этот факт»: Липин меня продал!

Беспокойство мое было оправдано: ужасную характеристику написали почему-то Мусе Свидер, да и у других были характеристики весьма неважные. Мы с Келей сели их переделывать, и я велел ей отстаивать наш текст у Нади Спижарской, которая ведала ими в бюро. Как ни странно, мы добились некоторого смягчения.

Я продолжал ходить в университет и на работу, старался почаще забегать к маме. Весть о папином аресте, как видно, уже разнеслась по городу — каким образом, было трудно понять. Бесконечные звонки многочисленных друзей, приятелей и приятельниц сразу же прекратились, как отрезанные. Мама рассказала, что к ней вся в слезах прибежала «Женя беленькая», обнимала ее. Я не помню ее действительной фамилии — в Коктебеле она называлась «Женей беленькой» в отличие от другой какой-то «Жени черненькой», от «Жени рыжей» — Евгении Юрьевны Хин. С папой у «Жени беленькой» был флирт — насколько серьезный, это, как обычно, трудно было понять; но папу любили все, особенно любили женщины, даже независимо от флирта. Ее приход, по крайней мере в течение месяца, был единственным визитом в мамин дом. Не появлялась Надежда Януарьевна Рыкова, Стефания Заранек и другие коктебельские друзья. Даже самая близкая мамина подруга Симочка — Серафима Федоровна Филиппова — не подавала признаков жизни. Где-то в мае пришел Станислав Адольфович Якобсон — тот самый старый папин сослуживец по Азовско-Донскому банку, у которого на квартире мы жили летом 1926 года; с тех пор мои родители встречались со Станиславом Адольфовичем и его женой, может быть, два раза за двенадцать лет.

Мама настаивала на том, чтобы хлопотать, получить характеристики отца; я понимал бесполезность этого, но все-таки решил позвонить самым близким приятелям из Союза писателей. Позвонил Анне Георгиевне Томас, секретарше Союза — она ужаснулась и сказала: «Что мы можем сделать...» Позвонил Надежде Януарьевне Рыковой — она бросила трубку.

Одиннадцатого апреля, поздно вечером, все обитатели квартиры на Суворовском были заняты своим делом: Яков Миронович сидел за своим столом в магазинеровской спальне, Лидия Михайловна за своим столиком в столовой, я в нашей комнате — за своим, Ляля была у себя, домработница Настя[2] легла спать, Анна Соломоновна, жилица, кажется, тоже. Нины дома

[1] Виновность следовала тогда — да и теперь почти что так — не из «результата судоговорения», как считалось в старину, а из самого факта ареста.

[2] Сменившая, по моему серьезному ходатайству, Аню Ефимовну.

не было — у нее были вечерние занятия на Мойке 108, во Втором Педагогическом институте иностранных языков. Я всегда несколько беспокоился за нее — на Мойке в полночь было темно, но они выходили с работы обыкновенно группкой.

Около 12 часов ночи раздался звонок в дверь. Я подошел.

— Откройте, управдом.

Я понимал, что это значит. Дверь открыл. Вошли двое военных — командир с кубиками в петлицах и мечом в венке на рукаве и молоденький боец с винтовкой. Сзади маячила тяжелая фигура нашего добросовестнейшего управдома, Якова Яковлевича Лиелтурка, бывшего любовника домработницы Анюты. В слабом освещении передней следователь сунул мне в нос какую-то бумажку на голубом бланке; я рассмотрел только вписанные слова фиолетовыми чернилами вверху: «Магазинер Яков Миронович» и внизу — «произвести обыск». Против всякого вероятия, я ощутил надежду: может быть, только обыск? Я позвал тестя.

Пришедшие стремительно вошли в освещенную столовую. Яков Миронович вышел им навстречу, позади него Лидия Михайловна. Следователь спросил, какие комнаты на лицевом счету Магазинера Якова Мироновича, ему показали. Вошла перепуганная Ляля. Следователь вернулся в столовую — начался обыск. Все собрались тут же. На кожаном диванчике, на котором я проводил свою первую ночь в этом доме, сидел красноармеец, поставив винтовку между ног. Вынимались посуда, книги, бумаги из столов. Следователь лазал на шкафы, шарил среди ваз и позади бюста Гермеса, поднимая кучи пыли. Рылся в постелях. Ничего предосудительного найти было нельзя: все книги запрещенных авторов, по которым еще недавно учились марксизму-ленинизму — том собраний сочинений Ленина, где говорилось о соавторстве Зиновьева при написании «Государства и революции», речи Троцкого, статьи Пашуканиса, где громился Яков Миронович как агент империализма, брошюры Бухарина, предисловия Бухарина в других книгах, предисловия и статьи других лиц, ныне арестованных, — все они были давно уже, год назад или больше, как и во всех ленинградских интеллигентских квартирах, заблаговременно уничтожены. Но что-то обыскиватель все же отложил в сторону из книг. Бумага и мусор — на полу, на стульях. Яков Миронович был спокоен, — он тоже, быть может, надеялся, что дело обойдется обыском. Лидия Михайловна очень волновалась, но сдерживалась, только Ляля плакала горькими слезами. Солдатик, пользуясь тем, что начальник перешел в соседнюю комнату, тихо утешал ее:

— Напрасно вы так, все обойдется, там разберутся. Ваш отец скоро вернется.

В разгар погрома послышался звук ключа во входной двери, и в столовой появилась Нина, в пальто и синем берете, с портфелем в руках.

— Что это?

— Обыск, — сказал кто-то. Может быть, это был я. Она опустилась на стул.

На нашу с ней комнату обыск не распространялся.

Часам к четырем утра следователь спросил:

— Где у вас телефон? — и вызвал машину. — Собирайтесь, — сказал он

Якову Мироновичу. На этот раз он дал внимательно прочесть ордер на обыск — и арест.

Собираться! Что надо дать с собой человеку, которого уводят в тюрьму? И с большой вероятностью того, что его вышлют — куда? Нам до сих пор мерещились Соловки, хотя было уже ясно, что они всех «взятых» не вместят. И что можно дать? Во что собрать? Сунули что-то — две смены белья, носки, еще что-то... Начались объятия, слезы и прощание.

В ордере было сказано «опечатать две комнаты» — Яков Миронович успел уговорить опечатать Лялину и Настину.

— За меня не беспокойтесь (или что-то в этом роде), — сказал он, и за ним захлопнулась входная дверь. Через несколько минут в тишине ночи послышался рев включаемого мотора.

Завтра тоже день. Мы разошлись доспать эту ночь.

На следующее утро я пошел в университет, Ляля — в Политехнический (говорил ли Я.М. с Лойцянским — уже стало неважно). Лидия Михайловна тоже ушла, — как видно, советоваться.

Вечером она вызвала нас с Ниной и Лялю и сказала, что в случае обвинительного приговора по существующей практике имущество осужденного конфискуется, а члены его семьи высылаются в Казахстан или еще куда-нибудь. Но что «имущество осужденного» означает находящееся на площади, входящей в его жилищный лицевой счет, и «членами семьи» считаются только проживающие на той же площади; что поэтому нам с Ниной ничего не грозит; но что обстановка будет ценностью, которая может остаться единственным доходом, и поэтому всю мебель надо передвинуть в нашу комнату. Весь этот день и несколько следующих прошло в передвижке мебели. Теперь наши кровать и диван, мой канцелярский стол и Нинино бюро занимали минимальное место вдоль стен, а промежуток занимал гигантский буфет с зеркалами и малахитовыми колоннами и с бюстом Гермеса, круглый карточный стол (когда-то «для газет») и другое, чего уж я не упомню: кажется, кожаный диван с окружавшими его шкафчиками с колонками по бокам и верхней дубовой книжной полкой, несколько кресел, стулья красного дерева, козетка — ну, не помню точно; лишь буфет и малахитовые колонны точно маячат в моей памяти и то, что к кровати и к столу надо было пробираться как по лабиринту. Потом весь этот мебельный склад понемногу разрядился, потому что Лидия Михайловна начала продавать вещи. Тогда появилось много желающих приобрести дорогие вещи за бесценок. У Валентина Катаева есть «незабываемый» рассказ о том, как он ходил покупать спешно продаваемую мебель, с весьма ортодоксальным глумлением над несчастной семьей «врага народа».

Для меня разъяснения Лидии Михайловны значили, что во всяком случае мама и Алеша отправятся в ссылку. Тете Вере ничего не грозило — у нее был свой лицевой счет. Тате с Андрюшей — тоже, — они, видимо, не подойдут под понятие «членов семьи». Что касается Миши, то он вскоре, еще тем же летом, окончательно порвал с Татой и ушел из дому. Эрмитаж временно предоставил ему огромную пустую комнату, с одной койкой, двумя стульями и столом, где-то со двора в Ламоттовском павильоне. Миша был, конечно, подавлен папиным арестом, но для него это было лишь часть разверзшихся

над ним судеб — разрыв с женой, неопределенность отношений с той, другой женщиной. Во всяком случае, он был неспособен в тот момент принимать какие бы то ни было решения относительно мамы, дома, Алеши, и груз этот лег на меня.

Четырнадцатого апреля был день маминых именин — я пришел к ней — и застал ее в слезах, катившихся градом, стоящей посреди комнаты с букетом роз в руке. В этот день папа непременно дарил ей розы — и этот раз Миша, чтобы подбодрить маму, решил продолжить традицию и тоже принес ей розы. Но их было... четыре. Миша, видно, не знал о поверье, что четное число цветов дарят только на похороны, но — четыре... Папа дарил ей пять роз, по числу членов семейства. Пятого нет — и не будет.

Увидя, как мама расстроилась, Миша процитировал ей папино любимое: Tout passe. — Но теперь это прозвучало зловеще.

Я дал маме выплакаться и забраться в угол дивана.

С тех пор, как я ни приходил на Скороходову, мама лежала на диване, уставившись в одну точку. Тата безумствовала. Маленький Андрюша на вид был спокоен и разговаривал о чем угодно, только не о родителях и не о дедушке, которого, казалось, очень любил. О том, что было у него тогда на самом деле на душе, он немножко рассказал нам, когда стал взрослым. Каждый приход мой к маме был мукой — она заставляла меня — не Мишу, меня — писать письма: прокурору, начальнику ленинградского НКВД Гоглидзе, Литвинову (депутату от нашего Петроградского района в Верховный Совет), Сталину и еще не знаю уж кому. В каждом письме придумывались новые доказательства папиной невиновности и полной лояльности к советской власти. Летом из Архангельска пришли авторские экземпляры «Истории полярных исследований» — мама велела мне аккуратно вырезать оттуда портреты героев и Сталина и патриотический текст заключительных абзацев и послать в очередном письме к Сталину. Первое время я эти письма посылал, но на отчаянные послания (которых, конечно, в «инстанциях» набрались многие миллионы) ответов не было. Только Литвинов ответил стандартным письмом на бланке, но за собственной подписью, о том, что он, к сожалению, в этом деле ничего сделать не может.

Надо было узнавать что-то о папиной судьбе, — о Якове Мироновиче Магазинере узнавала Лидия Михайловна; она считала, что я не должен попадаться по его делу в поле зрения. Надо было отстаивать очереди — сначала в огромнейшей, тянувшейся далеко по улице очереди в приемную Большого дома в отдельном здании бюро пропусков с улицы Чайковского — там указывали, помнится, в какой тюрьме находится заключенный, и там же сообщали изредка, что заключенный осужден на десять лет; помню, что эту очередь я отстаивал не один раз. Зачем была очередь, что нам отвечали, я помню смутно: как от всех бед, так и от этой мозг защищается, не хочет помнить. Потом стояли к приемному окошечку в тюрьме на Шпалерной (улице Воинова). Тут очередь была тоже очень длинная, но почему-то двигалась быстрее. Никаких передач не принимали, только сообщали, есть такой заключенный или нет; вот тут я помню, как немного впереди меня какой-то женщине, казавшейся пожилой и изможденной, хотя на самом деле она, вероятно, была довольно молодая, ответили:

— Такого-то нет, — и она вдруг закричала, жалобным, пронизывающим до костей криком:

— Папочка, папочка, за что, за что!?

Даже тюремщик, сидевший в окошечке, высунулся из него и сказал ей:

— Да что вы, гражданка! Жив он, его в госпиталь перевели.

Но она продолжала причитать «за что, за что?!», пока соседки по очереди не вывели ее на улицу.

Этот крик был невыносим именно потому, что всем нам в этой безмолвной очереди было не лучше.

Была еще одна очередь в военную прокуратуру (почему — военную?), находившуюся в бывшем здании Азовско-Донского банка, но не помню, чтобы я стоял в ней. Может быть, ходил Миша? Но в этой очереди бывала Лидия Михайловна.

Позже она рассказывала, как, разбирая после обыска бумаги Якова Мироновича, она нашла вырезку его статьи 1918 г., кажется, из горьковской «Новой жизни», подумала, что это-то и могло послужить причиной ареста, и решила было написать на имя прокурора о том, что Яков Миронович не состоял в меньшевистской партии, но что-то ее удержало. И конечно, такое заявление могло подбросить следователям новый обвинительный материал, которого им так не хватало. Потом выяснилось, что характер обвинения был совсем другой.

Лидия Михайловна от прокурора Шпигеля не получила ответа, но многим он отвечал:

— Узнаете через десять лет.

У мамы на Скороходовой никакой передвижки имущества не происходило. И куда передвигать? К тете Вере? Она почти прекратила всякие отношения с мамой. Остальные три комнаты (одна — разделенная фанерой) были на папином счету. Да и какие вещи были? Дедушкин черный книжный шкаф, золоченый медведь — пресс-папье на письменном столе, круглый обеденный стол в темной столовой и обитые мамой норвежские шесть стульев; буфет, не представлявший ни художественной, ни материальной ценности; родительская металлическая, крашеная под дерево норвежская кровать, наши походные кровати. Не продавать же это! Вместо этого — бесконечные, бесцельные разговоры, кому еще можно написать.

Однажды, когда я вечером пришел, мама вынесла мне откуда-то прекрасный портрет Александры Михайловны Коллонтай — ее подарок папе, писаный масляными красками, — и велела его сжечь. Я сжег ради маминого спокойствия, хотя понимал, что сжигать что бы то ни было после обыска бессмысленно, что портрет хороший, и что это вандализм. Кто же мог знать, что из всех старых большевиков именно Коллонтай, оппозиционерка в прошлом, уцелела и далее уцелеет?

Тогда же мама рассказала мне про шкатулку Ионова. Уже отстраненный от заведования Госиздатом, в ожидании грядущих бедствий, он, оказывается, где-то в начале тридцатых годов пришел к папе и дал ему на хранение (как «единственному, кому он мог доверить») тяжелую шкатулку; уж не помню, какие сувениры предполагались в ней. Но когда начались аресты зиновьевцев, папа вскрыл шкатулку и обнаружил, что она набита золотыми полуимпериалами. Он закрыл шкатулку и в темноте осенней ночи бросил ее в Фонтанку.

Маму нельзя было узнать, так она постарела; говорила как безумная. Я

часто задерживался у нее допоздна и, возвращаясь уже ночью в пустом трамвае, часто видел сидящими на площадке двоих в голубых фуражках: командира с кубиками на красных с лиловым кантом петлицах, с венком и мечом на рукаве, и красноармейца с винтовкой. И я думал: вот еще один дом, где все сейчас мирно ложатся спать, будет через несколько минут разорен и разрушен.

Алешу исключили из Кораблестроительного института — кажется, не только как сына «врага народа», но и вспомнили, что он был рекомендован институту Орасом, уже арестованным и, вероятно, расстрелянным. Теперь Алеша был занят хлопотами, чтобы его приняли в Политехнический институт. Тут уж никто не мог ему помочь, но он добился того, что исключение превратилось в перевод. Он поступил на отделение, где занимались турбинами, надеясь через корабельные турбины вернуться к кораблестроению.

Как-то Нина принесла с работы известие об Архангельском, любимейшем их преподавателе из Второго института иностранных языков, арестованном еще с осени, — кто-то вышел из тюрьмы и рассказал, что его видели в здании, где содержали смертников. Так мы впервые узнали, что есть не только аресты и высылки в лагеря на десять лет, но есть и расстрелы.

Мои государственные экзамены прошли как в тумане — помню только, что я получил «отлично» по всем трем: это был аккадский вместе с шумерским, история философии и что-то еще — общее языкознание? Не могу вспомнить.

Зато помню наше распределение. Мишу Гринберга и Тату Старкову оставили в аспирантуре на филфаке, Липина взял в аспирантуру В.В.Струве на истфак. Келю Стрешинскую по своей крайней доброте взяла Наталия Давыдовна Флиттнер по специальности «история искусств Древнего Востока» по Академии художеств. Это был блеф, потому что об истории искусств Келя не имела самого бледного понятия, и даже по курсу самой же Наталии Давыдовны получила четверку только потому, что троек Н.Д. вообще не ставила. Остальным предложили места школьных преподавателей в разных местах — Вале Старковой в ее родном Арзамасе, Дусе и Зине — тоже куда-то ближе к их родине, на Черноземье. Муся Свидер никуда не устроилась и, говорили, она голодала. Я же, хотя и предъявил справку, что работаю и.о. научного сотрудника в Эрмитаже, получил направление в один из районов Ленинградской области — не то в Волховский, не то в Тихвинский — куда-то дальше в «глубинку», сейчас уж не помню.

На распределении не было Мирона Левина — он лежал с тяжелым туберкулезом в больнице напротив Мальцевского рынка. Не видно было и его приятелей из «Комитета по распределению сил» — Юры Люблинского, Коли Давиденкова и других — они «сидели», и не за «контрреволюционную организацию» ли?[1] О Коле Давиденкове я рассказал выше.

[1] Я Мирона не навещал в больнице — мы по крайней мере весь последний год совсем не разговаривали в институтских коридорах, а сейчас, понятно, мне было не до него. Но не навещали его и другие (ибо были за решеткой), что вызвало у него, когда он вышел из больницы и должен был ехать в санаторий, такое горькое и несправедливое стихотворение:

На углу Литейного и Невского
Мне спросить, зачем я болен — не с кого.
Год прошел и позабыли выблядки
Наши песни, наши шашни, наши выходки.

Одна из распределяемых — русистка Оля Жукова — сразу же оспорила решение комиссии. Она сказала, что у нее есть серьезный разговор с председателем комиссии, и они уединились в соседней пустой аудитории. Скоро сделалось известно, что она претендует на лучшее распределение и, по возможности, на аспирантуру, на том основании, что она — не жена «врага народа», как могла по ее характеристике предположить комиссия, а напротив — она проявила партийную бдительность и сама разоблачила своего мужа как врага, и он был «репрессирован». К чести комиссии надо сказать, что она не изменила своего первоначального решения, — по крайней мере, на наших глазах.

Я ничего не оспаривал, а пошел доложить о моем распределении Иосифу Абгаровичу Орбели. Он пришел в ярость, тут же снял трубку и при мне позвонил в комиссию.

— Говорит директор Эрмитажа Орбели. Вы тут давали направление на работу Дьяконову. Да, Дьяконову Игорю Михайловичу.

Там подтвердили. Тогда Орбели, постепенно взвинчиваясь, стал говорить:

— Вам что, обязательно нужно, чтобы сельский учитель знал именно четырнадцать языков? Он мой сотрудник — что же, вы прикажете его увольнять? На каком основании?!

Трубка что-то слабо заблекотала, Иосиф Абгарович с силой ее повесил и сказал:

— Можете не беспокоиться, Игорь Михайлович, продолжайте работать.

В начале лета я был на Скороходовой, когда раздался звонок; какой-то неизвестный молодой человек, по одежде рабочий, спрашивал маму.

Он сказал, что сидел на Шпалерной в одной камере с Михаилом Алексеевичем, но что его собственное дело прекратили и самого его выпустили (бывало, значит, и такое!). Михаил Алексеевич чувствует себя хорошо, его вызывали к следователю два раза, в чем его обвиняют — еще не ясно. Рассказывал также, что он из вечера в вечер подробно рассказывает камерникам «Графа Монте-Кристо» наизусть. Из рассказа смутно выявилось, что в камере людей очень много. Все это было и неясно, и неопределенно, но как-то обнадеживало, — хотя ясно было, что, передавая известия нам с этим молодым гонцом, папа, конечно, постарался изобразить дело как можно лучше.

В папины именины, в июле, у мамы впервые после всего этого в дверь позвонил незнакомый звонок. Но это был Иван Вылегжанин — приходил «поздравить Михаила Алексеевича». Ушел, совершенно потрясенный — как будто был «взят» не наш, а его собственный отец.

Мы с Ниной, в те дни, как никогда, близкие по-новому — беда сблизила нас совсем вовсе, — все же решили уехать на лето. Для Лидии Михайловны мы были не в помощь, а что до моей мамы, то отпуск у меня тогда был 24 рабочих дня, да и так я не мог приходить к ней чаще, чем раз или два в неделю — с ней еще будут два сына: уеду на часть лета на Зеленое Озеро, вернется ощущение воли.

Нина, у которой был длинный преподавательский отпуск, уехала раньше. На этот раз хозяйка сдала нам не комнату в доме, а низкий сарайчик позади дома. Все равно, рядом было темное Круглое и светлое Зеленое озеро, строгий,

чистый лес и песчаные бесконечные дорожки — просеки в вереске. Дышалось уже уходившей в прошлое юностью.

Без меня у Нины жила гостья — Нина Панаева — новая ее подруга, ученица с Курсов иностранных языков (а там большинство учениц были даже не ровесницы, а много старше нее). Когда я приехал, приходили другие гости — Сергей Львович Соболев, отдыхавший поблизости в Шалове — «милый верблюд». Он был весь какой-то теплый, говорил про математиков, про какую-то свою войну с академиком, о том, что творческий век математика — тридцать-сорок лет. Самому ему было тридцать лет, и он уже пять лет как был членом-корреспондентом Академии наук. Мы шутили о его статье, которую он подарил Мише: «Плотность нулей в L-ряду», и о его науке, которая грозила заменить все остальное, а пока считает нули. Никак нельзя было предположить, что он станет таким сухим академиком.

Дня на два приехал брат Алеша. Так как койки на него не было, мы составили наши рядом и спали все втроем поперек коек. Алеша, всегда такой замкнутый и сдержанный, был с нами свободнее обычного. Читал свои стихи. Читал свой вольный перевод из Лонгфелло («The day is long and dark and dreary»). Не знаю, был ли он у него записан, но Нина вдруг вспомнила его в 80-х годах — к сожалению, уже после того, как сборник стихотворных переводов братьев Дьяконовых (старших) вышел в свет:

Ненастный день, холодный ветер стонет,
Холодный дождь деревья долу клонит
И лозы бьет об изгороди зло —
Ненастье смерть и тленье принесло.
Ненастный день и ветер стонет.

Вся жизнь моя — как этот день ненастный,
Вся жизнь моя — ненужный труд напрасный,
Все лучшее, что было, то прошло,
Ненастье смерть и тленье принесло —
Ненастный день и ветер стонет.

Смирися, сердце, позабудь печали!
Утихнет дождь и прояснятся дали —
Проглянет солнце — терпеливо жди:
Есть в каждой жизни солнце и дожди —
Иные дни полны печали.

О том, как он чувствует себя в комсомоле, мы не говорили; это была запретная тема. Алеша прекрасно знал, что я не одобряю его вступление в комсомол. Мы все равно очень любили друг друга.

Но к сентябрю надо было возвращаться в ленинградский водоворот. Мама все так же лежала, вся черная лицом, на диване, уставясь в одну точку, или опять начинала совать мне черновики писем или диктовать письма Сталину, Калинину, уж не знаю кому. По большей части лежала одна — даже «Бусыгой» (Андрюшей) она не в силах была заниматься, и он мастерил что-то сам по себе. Тата и Алеша весь день отсутствовали, а вечером Тата говорила о своем, истерически. Мне приходилось и ею заниматься, пытаясь вывести ее из этого состояния. Она два раза травилась — по счастью, не очень всерьез. В разрыве она была отчасти сама виновата — позволяла себе у нас дома вести страстный флирт с поклонником Сергеем Гушнером, — ну, правда, и то верно, что и у Миши, вероятно, были увлечения и до Евгении Юрьевны, —

но еще в прошлом году, казалось — весной этого года, он подчеркивал хорошее отношение к Тате, защищал ее от замечаний друзей.

С Евгенией Юрьевной Хин он познакомился в 1936 или 1937 г. в Коктебеле. Меня в те годы там, конечно, не было, и о ее существовании он мне не говорил, хотя в юности нередко посвящал меня в свои сердечные дела, — по крайней мере, в некоторые.

Евгения Юрьевна Хин была, как я уже упоминал, женой Ореста Цехновицера, профессора на Литературном отделении ЛИФЛИ, а позже на филологическом факультете университета. Если он известен потомству, то по воспоминаниям о трагедии эвакуации Таллинна осенью 1941; в них он играет важную и достойную роль. В числе многих он погиб тогда на своем посту. Но в университете он считался одним из непочтенных профессоров.

Жил Цехновицер в доме на набережной, прямо напротив Университета, в бельэтаже. Его трехкомнатная квартирка была выкроена из бывшей квартиры царского министра — чуть ли не министра финансов Коковцова, — и ему, как часто бывало в 1918—20 гг. при вселении в покинутые квартиры буржуазии, досталось не только само жилье, с роскошными цельными стеклами арочных окон на Неву, но и обстановка этих комнат — бюро, столики, стулья из светлого ореха, целая библиотека книг в старинных кожаных потемневших переплетах XVIII—начала XIX в., которую он, видимо, пополнял, так как был ревностным посетителем букинистов и книжного развала у башни Городской Думы на Невском; он был специалист по литературе второй половины XIX в., и у него была подобрана прекрасная библиотека русских писателей и XIX и начала XX веков.

Сама Евгения Юрьевна была собою видная, почти можно было бы сказать — рослая женщина с медными волосами и фигурой Венеры. Говорят, она была красива еще в Коктебеле, но когда я ее впервые увидел в 1938 г. у Миши в Ламоттовском павильоне, я красивой ее не нашел; видно, она была «не мой стиль». У нее были маленькие карие глаза, полное, не вполне правильное лицо. Ну, конечно, я не судья, и это описание, может быть, пристрастно.

О ее прошлом, кроме того немногого, что она мне впоследствии говорила о себе, я знаю мало, и все по слухам, достоверность которых, видимо, весьма сомнительна. Она была одесситка, с юных лет соприкасалась с одесской литературной средой, — так, близко знала приезжавшего туда Маяковского, позже писала воспоминания о их встрече. Много имела литературных знакомств в Ленинграде и также в Москве; была настолько близко знакома с возлюбленной Маяковского Лилей Брик, что та рассказывала ей вещи, которые, казалось бы, рассказываются только близкой подруге. Была очень умна; но ее приятельница Лидия Николаевна Браудо говорила про нее: «У Жени ум действует сразу по нескольким этажам», а это уже был комплимент несколько сомнительный.

Рассказывали, что она была (подобно М.М.Зощенко и Илье Ильфу) одно время следователем милиции; рассказывали, что однажды один ее неудачный поклонник при ней застрелился, и она нашла в себе силы сразу же вынуть свои письма из его кармана. Но все это вовсе не факты, за истинность которых я мог бы поручиться, и я привожу эти рассказы только постольку, поскольку

человек характеризуется не только своими поступками и событиями своей жизни, но и тем, какая вокруг него создается легенда. Может быть, все это неправда.

Соседом Цехновицеров по бельэтажу был не кто иной как начальник Ленинградского управления НКВД Гоглидзе; вход к нему был с другого подъезда, но всего в трех-пяти шагах от подъезда, ведшего к ним. У входа к Гоглидзе стояла, конечно, военная охрана. Я познакомился с Е.Ю. у Миши в его громадной пустой комнате именно в связи с тем, что она бралась позвонить в квартиру Гоглидзе и лично передать ему наше ходатайство об отце. Миша вызвал меня посоветоваться — я как-то незаметно стал главой семьи. Предложение Евгении Юрьевны я категорически отверг — оно показалось мне авантюристичным и безусловно бесполезным: как будто решение судьбы заключенного зависит от того, держит ли Гоглидзе в собственных руках заявление его близких! Он так же точно может взять любое из таких заявлений из рук секретаря или, напротив, очутившееся у него в руках передать секретарю.

Маме пришло письмо от К.А.Федина — он спрашивал, не может ли чем-нибудь помочь, может быть, написать письмо какому-нибудь начальству? Мама была тронута, и я тоже, поэтому я впоследствии не верил своим ушам, когда слышал о поведении Федина в 1948—50 гг. Но к тому времени Федин был вознесен высоко, был в почете, был чуть ли не классиком.

Кроме мамы и Миши, я решил навестить и Леву Липина — узнать, нет ли новостей о Нике. Я застал его в тяжелом нервном состоянии. О Нике известий не было, но он сказал мне, что вышел из тюрьмы один из друзей его отца и сообщил, что в НКВД бьют заключенных и применяют пытки.

Я почти каждую ночь и так думал о папе: старался представить, что́ с ним в камере, как выглядит камера, как выглядят допросы. Теперь меня наяву преследовало видение, как папу в первую же ночь вызывает следователь, бьет по лицу и разбивает пенсне. Мне казалось, что, лишившись его, он растеряется в расплывчатом мире, который обступит его. Однако «Граф Монте-Кристо» показывал мне, что он не только не теряет мужества, но старается поддержать его и у своих соседей. Это была не легенда — полстолетия спустя мне подтвердил это другой его однокамерник, специально нашедший меня. Но пытки...

Новости в Ленинграде были чем дальше, тем хуже. В канцелярских магазинах изымали тоненькие школьные тетрадки, где на оборотной стороне была таблица умножения, а на лицевой стороне обложки на синевато-сером фоне было плохонькое клише — одно воспроизводило картину Ге: «Пушкин читает стихи няне в Михайловском», другое изображало дуб у лукоморья: утверждали, что тени, образуемые звеньями цепи вокруг дуба, складываются в буквы, а буквы — в антисоветский лозунг. Эти тетрадки были буквально у всех на руках: я тщательно разглядывал злополучную цепь и так, и в лупу; были какие-то закорючки, но в буквы они никак не складывались. Но кто-то был расстрелян за эти закорючки.

Потом в недавно открытом на Невском кафе «Норд» было массовое отравление от плохо полуженных медных котлов. Об этом — как о преднамеренном террористическом акте — было на другой же день офици-

альное сообщение, большой список арестованных и — «приговор приведен в исполнение».

Поздней осенью битком набитый троллейбус, шедший по Фонтанке (потом эту, недавно проложенную, троллейбусную линию оттуда сняли), забуксовал на обледенелой мостовой и свалился со всеми пассажирами в канал. Двери уже тогда закрывались автоматически, и их мог открыть только вожатый и кондуктор — они только и успели выскочить. Остальные, сотни полторы пассажиров, утонули. И опять на другой день сообщение о заговоре и расстрелах, — конечно, вожатого и кондуктора, — но, кроме того, руководителей и инженеров-эксплуатационников трамвайного парка. В списке расстрелянных мы увидели знакомого: мужа нашей соседки по лестнице, Киры, знакомой Нины по школе; она три месяца как была замужем. Он служил инженером в парке, к этой линии и к этому троллейбусу не имел никакого отношения. Ее, конечно, сразу выслали — она вернулась в Ленинград только после войны, уже при Хрущеве.

На Шпалерной мне сообщили, что папа переведен в Кресты. Эта тюрьма (у Финляндского вокзала) в прошлые времена считалась пересыльной. Там принимали денежные передачи.

Маму опять посетил человек, сидевший вместе с отцом. Он рассказал, что папу обвиняют в шпионаже и что он признался в том, что шпионил в пользу Венесуэлы. (Многие тогда оговаривали себя самым фантастическим образом, надеясь попасть позже под пересмотр дела. Так, в Таджикистане один человек признался, что его завербовал в английскую разведку Джордж Гордон лорд Байрон, а в Ленинграде один признался, что готовился застрелить Сталина из блюминга,[1] если он приедет в город Котлас; это узналось позже). Тот же папин сосед по камере сказал маме, что деньги в тюрьме тратить не на что, но что папа просил передать ему четырнадцать рублей, если все живы, здоровы и в городе, а если кто-либо из семьи выслан или арестован, то, соответственно, послать меньшую сумму. Я передал эти четырнадцать рублей в конце сентября — передачи принимали раз в месяц.

В следующую передачу — она совпадала с 35-й годовщиной свадьбы мамы с папой — мама решила передать 35 рублей. Передачу у меня не приняли, сказав: «выбыл 26 октября».

Начался поиск по другим тюрьмам — прежде всего в другой тюрьме за Московским вокзалом, считавшейся пересыльной, потом еще где-то. Нигде его не было, и мой путь привел меня опять в длинную очередь в здании бюро пропусков на Чайковской. Человек за прилавком — как сейчас помню его квадратную рожу, серые глазки и рыжие торчащие брови — посмотрел в картотеке и сказал мне, как говорил и другим, до меня:

— Десять лет без права переписки.

У меня похолодело сердце. Одним из постоянных моих чтений за эти месяцы были «Уголовный» и «Уголовно-процессуальный кодекс», всегда лежавшие сбоку на рабочем столике у Лидии Михайловны, вместе с последними номерами юридических журналов — ведь она была адвокатом. Такой меры наказания в кодексах не было. «Узнаете через десять лет». Я

[1] Постройка гигантского прокатного стана — блюминга еще недавно не сходила со страниц газет, как один из величайших подвигов пятилетки.

отошел, но вслед за мной опять слышалось: «Десять лет без права переписки», «Десять лет без права переписки».

Пришлось идти к маме и сказать ей. Я назвал ей срок — без прибавления. (О нем я и братьям не сказал). И пришлось опять отправлять мамины письма или писать за нее. Я теперь уносил письма и складывал к себе в стол.

Между тем, как будто появились какие-то проблески надежд.

Освободились друзья Мирона Левина. Ко мне позвонил Коля Давиденков и просил прийти. Я застал его в добротном кабинете его отца, знаменитого невропатолога. Коля сидел за письменным столом, положив на него локти, серьезный, очень взрослый — не узнать было того юношу, которого пришлось сажать в кресло в темном углу, чтобы скрыть предательскую моложавость мнимого «Председателя Комитета по распределению сил». Он видел моего отца в тюрьме, передал от него привет. Сказал, что папа признал себя виновным в шпионаже в пользу Венесуэлы. Я еще о чем-то спрашивал, но никаких подробностей не услышал. Спросил его, что значит названный мне приговор — он ответил: «Не знаю».

Я ушел в каком-то смущении. Коле Давиденкову предстояла совершенно ужасная судьба, о чем я узнал чуть ли уж не в старости.

Лидия Михайловна, выстояв очередную очередь к прокурору, увидела за столом незнакомую физиономию. Прежний прокурор Шпигель был арестован. Когда она рассказала об этом Нине и Ляле, они возликовали. Но Лидия Михайловна возразила:

— Вы рано радуетесь, сняли одного прокурора — поставят другого.

На что Нина воскликнула:

— Позволь мне иметь бескорыстные радости!

Вскоре появилось известие, что арестован — и расстрелян — сам «железный нарком» и на его место назначен никому не известный грузин. Пошли слухи, что факты «перегиба» дошли, наконец, до Сталина.

Именно в эти дни Толя Ляховский, ортодоксальный комсомолец и партиец, сын друзей Я.М. и Л.М. и старший товарищ-наставник Нины и Ляли, пошел в Большой дом и сказал там, что ручается партбилетом за Якова Мироновича. И это мы узнали только позже.

Пришло письмо и от Льва Васильевича Ошанина — новость о папином аресте не скоро дошла до Ташкента. Лев Васильевич писал, что папа ему еще двадцать лет назад дал большую сумму денег, и сейчас он может ее маме отдать. Никакой суммы денег не бывало, и мама денег, понятно, не взяла, хотя денежный вопрос для нее стоял уже остро: я зарабатывал гроши, да и Миша и Тата много не зарабатывали.

Но пришел новенький томик папиной «Истории полярных исследований» из Архангельска — там еще ничего не знали, иначе рассыпали бы набор, — и, видимо, мама каким-то образом получила гонорар (вероятно, Миша расписался в переводе за папу).

Мама ждала высылки, однако совершенно пассивно — ничего не продавала, ничего не укладывала. По счастью, мы узнали, что высылки родных осужденного отменены: видимо, эти массовые миграции создавали для властей все бóльшие трудности.

Прибыли двое в форме с машиной, вывезли папин письменный стол,

книжные шкафы, обитые когда-то мамой стулья. Осталось несколько простых («венских») стульев, стол, кровати, еще что-то — не совсем было пусто.

Вскоре к маме подошла тетя Вера и сказала, что она обменяла комнату. Туда, за передней-коридором, «на отскоке» въехали какие-то чужие люди.

После смены Ежова были кое-какие возвраты из тюрьмы. Помню, я сидел в садике рядом со зданием Бюро пропусков Большого Дома (стоял в очереди, вероятно, по поручению Лидии Михайловны — и вышел в садик посидеть). Со мной на скамеечке была женщина. Она заговорила со мной (что случалось редко — эти очереди были молчаливыми). Говорила с надеждой, называла освобожденных.

Но не тогда ли я был у мамы, и она встретила меня встревоженная — были двое «гэпэушников», присматривались к квартире — квартира им не понравилась.

— Я сказала им, — передавала мне мама, — он еще вернется, вы еще услышите о нем! А один из них говорит: «Разве с того света возвращаются?» Другой на него зашикал: «Что ты глупости говоришь!» Что это значит? Они его убили?

Я поспешил уверить маму, что в этом случае мне так бы и объявили в «Большом Доме».

Белые вешали сравнительно немного, но они вешали публично. То же и немцы на нашей территории (лагери пленных оставляем в стороне). Этим они отчуждали от себя народ. Сколько расстреливали красные еще в гражданскую войну, можно, как ни странно, прочитать в Энциклопедическом словаре «Гранат» под словом «Смертная казнь» — в этом словаре публиковали свои статьи еще Ленин и Сталин, и — как пережиток НЭПа — он дожил до войны, до 1941 г., а некоторые его тома (до 1924 г.) были бесцензурные. Зато тираж его был экземпляров 500. А расстрелы были невидимые — в подвалах, в дальних оврагах.

Гениальным приемом советской власти было — оставлять надежду.[1] Если бы, как в 1918—19 гг. и позже, на улицах вывешивались бы списки расстрелянных, страну охватило бы отчаяние, а отчаявшиеся люди были бы готовы на крайности. Но людям оставляли надежду — и они старались своим поведением не повредить арестованным близким. Я не скрою, что, наперекор моему рассудку, и я позволял себе надеяться, старался представить себе, что такое лагеря — и папу в бараках, на каторжной работе, ничего не видевшего перед носом — без пенсне.

Или — расстрел. Мне надо было знать, где, как и кто расстреливает. Рядом со старым Эрмитажем, через канавку, помещались казармы Конвойного полка НКВД,[2] и в окнах вечно висели мальчишеские рожи. Они? Папа как-то давно (недавно — но теперь давно) говорил, что вызывают из тюрьмы якобы

[1] О расстрелах, видимо, мало знали даже в камерах. В мемуарах Аксеновой-Гинзбург рассказывается, что когда обвиняемого выводили перед лицо тройки — выслушать приговор, бойцы-охранники протягивали руки за его спиной — настолько приговор «смертная казнь» бывал совершенно неожиданным, что многие падали.

[2] Раньше тут были казармы Преображенского полка; здесь в гостях у Катенина бывал Пушкин.

к следователю в связи с пересмотром дела — и застреливают в затылок в подземном коридоре между Шпалерной и Большим Домом. Но сейчас все это приняло бы слишком большие масштабы — рядом живут люди (например, Нинина подруга Нина Панаева) — слышали бы стрельбу, видели бы вывоз трупов. Кто-то говорил, что грузят заключенных в товарный поезд из «Малых Крестов» (бывшей[1] женской тюрьмы у Финляндского вокзала) — вывозят в погранзону за Кавголово, там роют братские могилы и т.д. Только теперь выяснилось — на Левашевскую пустошь.

Но узнать было нельзя, и это был в руках советской власти очень важный козырь.

Мы продолжали встречаться всей компанией у Шуры Выгодского в старой докторской квартире на набережной против Николаевского моста (моста лейтенанта Шмидта). О чем мы говорили? О своих бедах менее всего. У Шуры была арестована его двоюродная сестра, японистка Колпакчи, у Яши Бабушкина — отец в Евпатории, у меня — отец, у Нины — отец, у Юры Фридлендера — брат, у Воли Римского-Корсакова — сводный брат, у Ляли Ильинской — отец. Не было арестов только в семье Анки Эмме и Гриши Тамарченко. То же и кругом — у ближайшей Нининой подруги, молодой врачихи Иры Волынской был арестован брат. Тем не менее, никто не потерял веры в социализм — только не могли верить в эту его форму; и даже я верил так, — хотя был, пожалуй, скептичнее других (я с детства склонен был считать себя скорее социал-демократом). Но другие продолжали верить в то, что именно партия — эта партия — исправит перегиб; в это верил и Шура Выгодский, и Ира Волынская, и мой брат Алеша.

Еще с сентября я был зачислен в Университет ассистентом (на полставки) по кафедре А.П.Рифтина и занимался с ассириологами-первокурсниками историей Вавилонии и Ассирии и чтением литературных текстов; кроме того, у меня была маленькая группа начинающих ассириологов и на историческом факультете. (Кафедра В.В.Струве своих студентов ранее не имела, а обслуживала только общие курсы на «потоках»; но вот с 1938 г. были разрешены по этой кафедре факультативные языковые занятия). В Эрмитаже я занимался научной работой, прочел большой доклад по социальному строю новоассирийского периода — вот не помню теперь, кажется, на кафедре А.П.

Несмотря на то, что с исчезновением Ежова число арестов как будто уменьшилось, а кого-то и выпускали, они, аресты, не прекратились совсем.[2] Так, примерно в октябре арестовали нашего историка Греции и Рима, Сергея Ивановича Ковалева, и с ним еще несколько человек, в том числе Л.Л.Ракова — он был ассистентом Ковалева в Университете, но главная его работа была в Эрмитаже, где он был ученым секретарем.

Вскоре после нового 1939 года из Москвы приехали главные партийные

[1] Восстановленной было как больница для алкоголиков, но сейчас опять превращенной в женскую тюрьму.

[2] Так, уже после своих побед над японцами у оз.Хасан (в июле 1938 г.) и в довольно серьезной войне на р.Халхин-Гол в Монголии, был арестован и расстрелян маршал Блюхер, кроме того — Я.Алкснис и вслед за тем огромное множество «высшего комсостава» — практически все от командиров дивизии и выше и многие командиры полков. «Высший комсостав» продолжали расстреливать до поздней осени 1941 г. (Узналось много позже).

методологи по античной истории — А.С.Мишулин и Н.А.Машкин. Мишулин имел перед исторической наукой заслугу — после расстрела А.Сванидзе, зятя Сталина и основателя журнала «Вестник древней истории», он спас журнал от закрытия (на втором номере!) и возглавил его.

Теперь же Мишулин и Машкин приехали для осуждения методологических ошибок арестованного Ковалева. Весь исторический факультет согнали в амфитеатр актового зала; на одной из задних скамеек сидел и я, а неподалеку от меня — рыженький сын Ковалева и черноволосая дочь — студенты.

Мишулин прочел доклад о вредительстве Ковалева в трактовке заговора Катилины. Затем начались выступления преподавателей с отмежеванием от вредителя. Отмежевавшихся было много, зрелище было однообразное, и я этих выступавших не запомнил. Но близость каких-то новых времен была заметна: отмежевались не все. Ко всеобщему изумлению выступил В.В.Струве и, по обыкновению мямля, писклявым голосом проговорил, что, возможно, обвинения Ковалева не имеют никакого отношения к древней истории; и затем выступила античница К.М.Колобова, женщина очень умная и хорошо знавшая, с которой стороны бутерброд намазан маслом; она сказала, что следствие по делу С.И.Ковалева не закончено, исход его неизвестен, и обсуждать исторические взгляды Ковалева преждевременно.[1]

В феврале или в марте 1939 г. я получил повестку о явке в Большой Дом к следователю имярек. Ничего хорошего такая повестка не предвещала, и бывали случаи, когда человек, вызванный в качестве свидетеля, домой не возвращался. По какому поводу меня вызывали? Это знать было невозможно, а потому трудно было и подготовиться к разговору. И вот я получил пропуск, и вот я иду по пустым коридорам Большого Дома — будто тут ничего и не происходило и не происходит. Стучусь в кабинет № такой-то. Вхожу. Следователь, молодой, очень коротко стриженый, в форме, сидит за столом в углу — другой стол не занят. Предлагает мне сесть. Как все мирно выглядит!

Спрашивает меня, знаю ли я Ерехович Николая Петровича. Знаю.

— Охарактеризуйте его политически.

Я говорю подробно, что, несмотря на свое непролетарское происхождение, Ерехович всецело поддерживает советскую власть, считает революцию справедливой и т.п. Следователь медленно записывает каждую фразу, так что допрос идет очень тягуче.

— Еще что-нибудь вы можете сказать? Можете сказать что-нибудь в его пользу?

В его пользу? Это интересно! Выжимаю из себя еще что-то в том же роде.

— Не думаете ли вы, что Ерехович мог быть неискренен с вами?

---

[1] И Ковалев, и Раков вернулись осенью 1939 г., вместе с другими заключенными, не успевшими до тех пор ни быть расстрелянными, ни высланными в концлагерь. Стали даже известны некоторые подробности их дела. Один из «свидетелей» показал так:

— Большими шагами в аудиторию вошел Ковалев и сказал: «Пора переходить к террору» — Он якобы замышлял также прорыть подземный ход от здания Исторического факультета в конце Биржевой линии Васильевского острова до Дворцовой площади под Невой, чтобы устроить террористический акт во время демонстрации.

Возможность террористического акта во время демонстрации было пунктиком НКВД и осталась пунктиком КГБ. И доныне (1989 г.) все учреждения перед майскими и октябрьскими праздниками (почему не перед другими?) опечатывают, а на крыше Эрмитажа и Зимнего дворца учреждена военная охрана — раньше она там была только по праздникам, а теперь постоянно. Сколько тунеядцев ест у нас хлеб!

Тут, вспомнив Нику, его характер и понятия, я решил, что он непременно сказал на следствии о своих религиозных убеждениях, и будет глупо, если я буду изображать его идейным сторонником комсомола и партийной линии. Я сказал, что Ерехович — очень искренний человек. Искренне верующий, и что это делает для него ложь невозможной.

(Впоследствии за это мое показание меня осуждал адвокат Ереховича Ю.Я.Бурак — но ни сам Ника, ни сестра его Рона меня никогда не осуждали).

— А что вы знаете о Шумовском Теодоре Адамовиче? Что вы можете сказать в его пользу?

Я выражаю удивление — какое отношение это имеет к Ереховичу: хотя они с Шумовским учились в одной группе, но почти даже не разговаривали друг с другом.

— Охарактеризуйте Шумовского политически.

— Он комсомолец, этим все сказано.

— Этого недостаточно. Каковы его политические взгляды?

— Комсомольские, — повторяю я. Он настаивает.

Что еще придумать? Как трудно доказывать отсутствие фактов — фактов, отягчающих судьбу обвиняемого.

В конце концов я сказал:

— Шумовского судить вообще нельзя, потому что он явно неуравновешанный. У него мания.

Этого Шумовский мне никогда не простил.

— А что вы знаете о Гумилеве Льве Николаевиче?

На моем лице, вероятно, изобразилось крайнее удивление. Я раз как-то слышал, что сын Гумилева и Ахматовой учится в университете на историческом факультете — и только.

— Гумилев? — спросил я. — Я знаю только то, что Ерехович с ним безусловно не был знаком. И Шумовский, насколько я знаю, тоже.

— Вы в этом уверены?

— Совершенно уверен.

— А что еще вы знаете о Гумилеве Льве Николаевиче?

— Я знаю только, что он сын поэта.

— Какого поэта?

— Знаменитого поэта Гумилева.

— Буржуазного поэта?

— Как вам сказать? Конечно, не пролетарского.

Больше вопросов у следователя не было, но он долго еще оформлял протокол на бланке в виде вопросов и ответов. Затем он дал мне его перечитать и подписать. Я внимательно прочел. Все вопросы и ответы в его изложении получились совершенно идиотскими, но общее содержание того, что я говорил, было передано верно. Я подписал протокол, дал подписку о неразглашении сведений о допросе (под угрозой статьи 58.10),[1] он подписал пропуск мне на выход, и я ушел.

[1] Статья 58.10 была посвящена антисоветской пропаганде. Почему рассказ об официальном допросе в официальном учреждении должен был рассматриваться как антисоветская пропаганда? А потому, что деятельность учреждения сама по себе была антисоветской.

Общее впечатление от моего допроса — в смысле шансов для Ники и Тадика — у меня осталось скорее благоприятное. Хорошо было уже то, что следствие не довольствовалось, как было обычно (об этом мы уже хорошо знали), только доносом и собственными признаниями обвиняемых, а привлекает и независимых свидетелей. И следователь специально настаивал на том, что я могу сказать в пользу обвиняемых. И само соединение Ереховича, Шумовского и Гумилева в одно «дело» было такой явной чепухой. И было известно, что кое-кого стали выпускать. Мне хотелось поделиться обнадеживающими известиями с друзьями и близкими Ереховича. Из них мне были знакомы немногие. Родители его были, как известно, в ссылке на Кольском полуострове. Если не они, то ближе всего Нике была, во-первых, сестра его Рона (Вриенна Петровна) — но я не знал, как ее найти, и в городе ли она вообще. Во-вторых, Тата Старкова: она нарочно выдала себя за невесту Ники, чтобы иметь возможность носить ему передачи. Но я был уверен (наверное, даже знал, только сейчас не упомню), что ее вызывали к следователю еще раньше меня. Оставался Лева Липин, весь последний год в Университете особенно друживший с Никой; у него же он и жил до самого дня ареста. Я отправился на дом к Липину и сказал ему, что, похоже, дело Ники будет пересмотрено в благоприятном смысле. Я не придал значения тому, что Липин предал меня, когда я просил его три дня помолчать об аресте моего отца: это была такая мелочь в тогдашней атмосфере общего страха; а напрасно не придал значения.

Продолжение этой истории состоялось через полгода, но я расскажу его здесь. Ереховича, Шумовского и Гумилева судила не «тройка», а «нормальный» суд, адвокатом был ученик и приятель Я.М.Магазинера Ю.Я.Бурак. После приговора (пять лет — всего ничего!) осужденные получили свидания с родными: Лева Гумилев — с А.А.Ахматовой, Ника — с Роной. Он рассказал ей, что первым вопросом следователя к нему, сразу как его привезли, было:

— Кто вас знает? Кто может за вас поручиться?

Ника назвал Липина. Тогда следователь положил перед ним на стол донос... Липина. Позже, к концу следствия, был и второй его донос — результат моей вполне неудачной откровенности, которая, впрочем, ничего не изменила в деле. Обо всем этом я узнал через Тату Старкову, дружившую с Роной.

Услышав обо всем этом, я задумался над тем, почему Липин предал Нику (и Шумовского), а как потом выяснилось — и Вельковича, но не меня, и пришел к заключению, что в тот момент я имел относительно крепкое положение: все мои были еще на свободе, а Ника имел положение столь ненадежное, что рассчитывать на спасение в ходе этой кампании ему все равно было нельзя — на него донес бы не Липин, так другой. А у Липина в прошлом было исключение из партии, и им двигал страх. Я тогда не сообразил еще простой вещи: что с момента своего исключения из партии Липин был полностью в руках НКВД, и то, что он делал, вменялось ему в обязанность: он, наверное, даже старался делать только минимум... Гибель Ереховича была все равно предрешена, как и гибель Шумовского, — ведь эпизод с консульством, смертельный в те годы, был неопровержимым фактом. А Вельковича писал стихи на иврите, это был явный криминал. Но почему он пожалел Мишу Гринберга — зная о его аресте в прошлом?

Пятьдесят лет спустя я узнал и кто посадил Илью Гринберга — Келя Стрешинская.

На Суворовском была скромные адвокатские доходы Лидии Михайловны, Нинина ставка (500 рублей) и мои полторы ставки, тоже рублей 500, может быть и меньше; Ляля стипендии не получала, а была еще домработница Настя — и на душу едва приходилось по 300 рублей. Насте выплачивалось столько-то, и Лидия Михайловна столько-то откладывала на случай все еще возможной высылки в Казахстан, так что мы держались около прожиточного минимума (240—250 р. в то время). Что-то я давал маме, но сколько я мог дать? На Скороходову бывшая наша домработница-украинка приходила изредка помогать — почти за один стол, из любви и уважения к нам; Тата зарабатывала не больше трехсот рублей, Миша — рублей четыреста-пятьсот, но он жил теперь отдельно, рублей полтораста давал на Андрея; Алеша стипендии не получал. Поэтому на Скороходовой на четверых выходило почти вдвое меньше, чем на Суворовском. Мамины сестры, тетя Анюта с больной дочерью на руках и тетя Женя с двумя дочерьми и почти что беглым мужем, тоже были довольно безденежны; семья тети Жени включала еще бабушку, которой не полагалось пенсии. На счастье, помощь появилась с неожиданной стороны.

И помимо материальных вопросов, Миша был плохой опорой. Как шла жизнь на Скороходовой — это было теперь уже мое дело. Алеше не исполнилось еще и двадцати, а Миша был в разгаре своей любовной трагедии. У Евгении Юрьевны был муж — она могла бы его и бросить, но у нее был еще и сын. Поэтому она то появлялась у Миши в Ламоттовском павильоне на несколько дней, то уходила обратно к себе, на Адмиралтейскую набережную. Раз она вошла в мужнюю квартиру и застала картину: за накрытым столом спал, уронив голову вперед, пьяный Орест, а напротив него сидела сложенная из подушек кукла, одетая в ее платье; перед ней был налитый стакан.

А пока она отсутствовала у Ореста, она мерещилась Мише. Приходила к нему, просвечивая, прямо среди бела дня. Стал Мишу навещать психиатр, подшучивал над ним, рассказывал о полученном им письме с таким адресом:

Ленинград Сумасшедшей Дом на пряжках[1] Главврачу тов. Псехеатр.

Я курсировал между Суворовским, Скороходовой и Ламоттовским павильоном. Нина находила, что я преувеличиваю мамино тяжелое положение, или что мама сама преувеличивает — ведь ее мама в таком же положении? На мне лежал Скороходовский бюджет, Мишин психоз, Татин психоз, мамин психоз. По крайней мере, я должен бы был этим заниматься.

И вот тут маму стал навещать Михаил Васильевич Чернорудский — известный в городе терапевт, профессор, заведующий терапевтическим отделением в больнице Эрисмана на Петроградской, а главное, папин одноклассник и приятель. Это не был такой друг, как Лев Васильевич Ошанин или Глеб Никанорович Черданцев, — то были друзья ближайшие, гораздо ближе, чем родные. А Михаил Васильевич был именно приятель — супруги

[1] На реке Пряжке.

Чернорцкие и мои родители были, что называется, «знакомы домами», изредка бывали друг у друга — и только. Но тут он явился в наш опустевший дом и сказал мне, что мы можем на него рассчитывать. Михаил Васильевич, как профессор и заведующий отделением в больнице, зарабатывал довольно хорошо, а вся его семья была — жена да он. Ни мама, ни я тогда не взяли у него денег, но хорошо было знать, что есть такой резерв. А к лету Михаил Васильевич оказал нам просто необыкновенную помощь: он предложил маме работу в качестве библиотекаря-библиографа в Первом медицинском институте — в маминой alma mater, ибо когда-то он был Женским медицинским институтом. И, главное, он уговорил ее поступить на работу — сыновей она не слушала, погруженная в свою парализующую скорбь.

Лето было тревожное, не только внутри страны: без большого шума шла довольно большая война с японцами на границе Монголии, на реке Халхин-Гол. Обороняли союзных нам монголов.[1] В Испании мучительно кончалась гражданская война — в пользу фашизма. Вернувшись в 1939 году в Москву, Михаил Кольцов, наш блестящий журналист, репортажами которого зачитывалась вся страна, был расстрелян. Гитлер беспрепятственно слопал Австрию и Чехословакию. В поражении республиканской Испании большую роль сыграли Англия и Франция, блокировавшие морские пути республиканцев в гораздо большей степени, чем франкистов. Имея в виду, что все мы считали эту войну репетицией большой войны с фашизмом, мы ждали теперь войны уже с меньшей уверенностью в нашем быстром успехе. Казалось все более вероятным, что мы будем воевать не с одной Германией, а со всей Европой.

Лидия Михайловна с Ниной уехала в июле в деревню Даймище Лужского района — там не было ничего интересного, трудная пересадка, пыль. Я навестил ее только раз или два — еще не было отпуска. Но тут я догадался, что пора вырваться хоть ненадолго из Ленинграда — и мы с Ниной уехали на Кавказ. Просто купили билеты в жестком вагоне и уехали, сами не зная куда. В те дни мы очень были друг другу нужны.

До начала второй великой мировой войны оставалось около месяца.

---

[1] «Расскажи-ка, песенка-подруга, Как боролись с черною ордой Три танкиста, три веселых друга, Экипаж машины боевой!»

Так, не в первый раз рифмуя «друга—подруга», подавали нам войну на реке Халхин-Гол официальные поэты и композиторы. И нам не так еще ясно представлялось, что у «черной орды» тоже есть свои «три танкиста, три веселых друга»; мы еще не знали, что танки горят, как факелы; но что победа не будет поднесена нам «на блюдечке с голубой каемочкой» (опять Ильф и Петров!), мы стали уже догадываться, следя за ходом испанской войны. Однако как далеки были наши догадки от будущей действительности!

V

Покинув убитых горем матерей, в неведении о судьбе арестованных отцов, мы с моей женой Ниной поехали в Сочи. Город был переполнен отдыхающими; мы не знали, как тут можно снять комнату, во многочисленные санатории у нас не было никакого пути. Но море сияло синевой, вдоль дорог росли экзотические эвкалипты, а нам еще в Ленинграде кто-то посоветовал Аше, местечко к северу от Сочи по дороге на Туапсе. Туда мы и уехали на «мотрисе» — маленьком, странного вида поездочке, вроде тех, что проходили мимо моего окна в Вольске в 1918 году. Нашли «туристскую базу» — нечто вроде летнего общежития, там переночевали, а на другой день пошли гулять вдоль горной речки Шапсуго. Мы увидели наверху над собой, где-то на выступе, белый домик, который нам ужасно понравился. Нина предложила попытать там счастья.

В доме, чистеньком, опрятном внутри и снаружи, окруженном садиком с высокими мальвами, жили старик и старушка (старые, по крайней мере, на наш взгляд). Они приняли нас радушно, сказали, что у них живут дачники, но они съезжают завтра, и — можете ли вы где-нибудь до тех пор переночевать? Мы сказали, что можем, ушли на турбазу, а вернулись на следующий день.

«Верхний» поселок Аше разделялся горной речкой на казачью часть и часть шапсугов (это одно из черкесских племен). Хотя обе части входили в один колхоз, но разница в их жизни была разительной. Казаки жили чисто и зажиточно, шапсуги — бедно и в невероятной грязи. У наших идиллических старичков было так хорошо жить, что никуда больше не хотелось. Утром, после завтрака (картошки и простокваши), мы сбегали вниз по долине речки к морю. Никогда больше не пришлось мне увидеть такого дивного берега.

Вдоль моря, метрах в 50—100 от линии воды, шла железнодорожная линия; тропинка с горы приводила к пляжу, усеянному сравнительно редкими телами купальщиков и перегороженному слева «зоной отчуждения» — тут был охраняемый железнодорожный мост через речку. Но мы сообразили, что можно выше по речке перейти по мостику на правую сторону и по тропе, среди пятен сумаха, густых зарослей кизила и еще каких-то кустов и невысоких деревьев, можно пробраться на берег по другую сторону «зоны отчуждения», где должно быть меньше народа. Мы так и сделали — и были вознаграждены: перейдя через железнодорожный мост и густые заросли спелой алычи, мы вышли на необыкновенной чистоты песчаный пляж (а к югу от Сочи была только галька), совершенно пустой на километры и километры, огражденный длинной зарослью алычи от нескромных глаз поездных пассажиров. Можно было лежать на пляже голышом, купаться голыми, гулять голышом на целые километры, а проголодавшись, питаться алычой.

С темнозеленой выси, где в волненье
Мы прерываем праздный разговор,
Недвижный в вечно-плещущем движенье,
Нам вечный открывается простор.

Когда был ревом полон лес косматый
И неисхожен мир, дремуч и гол,
Из чащи вышел некто волосатый
И, хитроумный, камень расколол.

Воздвигнув мир, как дед шалаш свой дикий,
Свершали люди страшные дела,
И под стопы их мудрости великой
Природа разоренная легла.

На полосе песков все было пусто,
Все рокотали струи без конца —
Мы продолжали речи про искусство,
Не помянув косматого отца.

Четверть века спустя я с тоской глядел из окон вагона на этот берег, переполненный почти до отказа полуодетыми телами.

Тридцатые годы не прошли мимо и нашего идиллического убежища — единственный сын наших стариков был арестован, но старики еще надеялись на его возвращение... А нас влекло двигаться, двигаться дальше. Мы покинули милое Аше и вернулись в Сочи, где сняли косчку на веранде дома какого-то железнодорожника за вокзалом, у самых путей. Весь дом был забит отдыхающими, а длинная веранда была разгорожена на четыре части одеялами, и в каждой спало по паре. Утром мы поехали в таинственную, волшебную самшитовую рощу над заросшим зеленью ущельем, бродили по сочинскому ботаническому саду, а на другой день автобусом направились в Мацесту, откуда ходил другой маленький автобус на гору Ахун. Будь я старше, я бы, наверное, махнул рукой на это путешествие: оно требовало стояния в многочасовой очереди под палящим солнцем, посадка была с ужасающей давкой, с дракой, с криками: «Вы здесь не стояли!», «Убирайтесь к черту!», с матом. Но с горы и с башни на ней открывался необычайный вид и на бесконечное море, и на синие горы вдали, и на кипящую зелень лесов вокруг.

У подножья башни на цепи сидел довольно большой медведь.

Я сказал, что не буду стоять на обратный автобус, и предложил Нине спуститься к берегу напрямик через лес. Этот крутой спуск через непролазные колючие джунгли мне запомнился и даже помог мне впоследствии в моей исторической работе: я мог с уверенностью сказать, что конные отряды киммерийцев не могли пройти в Азию по Черноморскому побережью, как обычно считалось: ведь эти заросли в древности были еще гораздо непроходимее — и для людей, и для лошадей тем более — и гораздо обширнее, по всей длине побережья от Сочи, спускаясь к самому галечному пляжу — по которому вряд ли долго могут идти некованные кони.

Единственным ориентиром для нас был уклон, под который мы спускались, — уже ночью мы вышли на огни Хосты.

Потом мы уехали автобусом в Гагры, на узенькую дачно-санаторную полосу под обрывом скал; где-то ночевали — плохо ночевали, кажется, где-то под лестницей и в большом обществе блох и клопов.

Из Гагр мы взяли билеты на пароходик и поехали в Новый Афон; недалеко от полуразрушенного монастыря, в котором было не то какое-то колхозное учреждение, не то санаторий, лазали с проводником по холодным и скользким пещерам — спускались по какому-то узкому наклонному туннелю к подземному озеру; нам объяснили, что смельчаки ныряют в это глинистое, ледяное озеро, «потолок» над которым касался воды, и выплывают в лабиринт пещер по другую сторону, тянущийся на многие километры. Довольно неуютно; я пожалел людей каменного века, несколько утешившись тем, что они все же по большей части жили не в пещерах, разве что только у самого входа, а в шалашах, и понял, почему вымерли — от ревматизма — пещерные медведи.

Чуть ли не в этой пещере мы познакомились с попутчицами — двумя милыми девушками-подругами: черненькой хорошенькой грузинкой Кето и светлой, русской Ирой; с ними мы отправились дальше на пароходе до Сухуми, где опять спали в какой-то клопиной дыре и смотрели в обезьяннике очаровательных макак (одна из них бегала прямо по веткам за клеткой) и серьезных синезадых павианов, и затем в Батуми, где граница все еще была не очень «на замке» и продавались с рук контрабандные товары.

Ира была из Баку, но совсем недавно приехала с родителями из Франции; там она кончила лицей, и рассказывала о необыкновенной строгости выпускного экзамена, когда двенадцать предметов надо было сдать за две недели, и надо было знать наизусть всех французских королей от Карла Мартелла. Это меня не очень удивило — я тоже знал наизусть всех норвежских королей; но я подивился, что и она, и ее родители, после того как они жили за границей, были благополучно на свободе.

На пляже в Батуми Нина показала какую-то девушку, которая показалась ей необыкновенно красивой. Но Кето поглядела и сказала холодно:

— Армянка!

По спине пробежал холодок.[1]

Из Батуми мы еще решили навестить Зеленый Мыс и Цихис-дзири, который показался нам самым красивым из всего виденного. Вернувшись усталые после всей этой красоты в Батуми, мы расстались с нашими попутчицами — мы собрались в Тифлис, где Кето нам дала адрес своей мамы, сказав, что мы можем у нее жить. Сами они отправились еще куда-то — кажется, как раз в Баку, а мы купили здесь сидячие места до Тбилиси. Я поступил и тут так же, как в поезде Ленинград—Сочи: заплатил проводнику, чтобы он пустил Нину на свободную верхнюю полку в своем купе, а сам залез на третью полку в битком набитом вагоне. Утром я подошел к Нине и спросил, как она спала. Она сказала, что плохо: едва она улеглась на полку и натянула одеяло, как что-то защекотало ей нос: она открыла глаза и

[1] Сестра моей жены Нины, Ляля, рассказывала и еще более устрашающий эпизод. Она отдыхала где-то на Кавказском побережье и была на пляже, когда на глазах у всех утонула девочка. Все женщины на пляже (разных национальностей) обменивались своими чувствами ужаса. Но одна грузинка, узнав, что утонувшая была армянкой, воскликнула: «Так ей и надо» — Видимо, в Закавказье в национальных отношениях было и тогда все очень неблагополучно — но ни в Ленинграде, ни в Москве ничего подобного рода произойти не могло.

увидела, что проводник-грузин сует ей в физиономию букет цветов; когда она отвергла букет, он полез ее обнимать, и только мощный пинок ногой несколько урезонил его, после чего она уже не решалась заснуть.

«Я страусенок молодой, Заносчивый и гордый, Когда сержусь, я бью ногой, Мозолистой и твердой», — пошутил я. У нас даже возникло свое домашнее слово: «мозтверног».

Мы поняли, что едем по Грузии, а не по России.

Мама Кето нас замечательно приняла, и мы впервые смогли выспаться в мягких и чистых постелях, без блох и без клопов. Бродили по старому Тифлису, еще нетронутому, с ветхими двухэтажными домиками со сплошными двойными внутренними верандами, заросшими плющом и виноградом. Раз как-то я зашел за чем-то в магазин, оставив Нину на минуту снаружи, и, выйдя, обнаружил ее окруженную стайкой молодых грузин. Она была необыкновенно красива, от солнца ее волосы стали совсем золотыми, а на голове она носила огромную широкополую шляпу, как нимб вокруг лица юной мадонны.

Было видно, что здесь вся жизнь — на улице; повсюду на крыльцах сидели скучающие кинто. Один из них, поглядев на Нину, громко сказал:

— Ах, напрасно я жинился!

Поднялись на гору Давида, посмотрели на могилу Грибоедова.

«Имя твое будет бессмертно в памяти русских,
но зачем пережила тебя любовь моя?»[1]

На верху горы зашли в ресторан; что следует есть в Грузии? Я спросил шашлык (никогда его не ел!). После долгого и мучительного ожидания официант принес нам какие-то клочки свинины с салом и на мои протесты стал уверять, что это и есть шашлык, — видно, я выглядел юным и неопытным. Я огорчился, но не стал спорить.

Потом мы съездили поездом к месту впадения Арагвы в Куру. Поезд шел по правому (южному) берегу; мы сошли на станции, недалеко от знаменитой ЗаГЭС (почти как ДнепроГЭС!). Перегороженная плотиной, желтоватая Кура уже не мчалась, шумя, рядом с сине-черной струей Арагви, но на образовавшемся тихом озере все-таки ясно отличались желтые от черных вод. Мы увидели на горном выступе по другую сторону Куры руины монастыря и поняли, что это монастырь Мцыри:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, словно две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь...

1 Второй раз мы были с Ниной тут уже в 60-х или 70-х годах. Тогда нам показали также могилу славного грузинского поэта князя Ильи Чавчавадзе и рядом — могилу большевика, сталинского друга Михи Цхакая, который, по преданию, возглавлял террористическую группу, убившую Чавчавадзе. Итак, в 1905 г., видно, были не только террористические «экспроприации», проводившиеся как эсерами, так и большевиками, но и прямые террористические акты, хотя индивидуальный террор официально отвергался большевиками. — О Сталине-террористе мы прочли полвека спустя у Фазиля Искандера. — А новая волна всемирного террора 1970—80-х гг.? Она остается загадкой, несмотря на намеки ЦРУ.

Нам захотелось туда. Нашли лодку и перевозчика. Он высадил нас на другом берегу и быстро погреб назад. Но не успели мы оглядеться, как к нам подошел красноармеец.

— Здесь запретная зона, я должен вас задержать, — и повел к командиру через весь военный палаточный лагерь.

— Товарищ командир, задержал двоих.

Нина была в легком платьице, в знаменитой шляпе, но без сумочки; я был в брюках и белой рубашке — конечно, никаких документов! Но нет, я нащупал в брючном кармане эрмитажный пропуск и протянул его командиру:

— Видите, я музейный работник, мы хотели осмотреть развалины монастыря.

— Джвари? — сказал командир, разворачивая мой пропуск. Потом к красноармейцу:

— Проведешь товарищей за лагерь. — Мы прошли сквозь «секретнейший» строй палаток и вышли к крутому горному склону, поросшему полынью, колючками и голубым цикорием. Лезли мы по этому склону вертикально и — молодость! — даже не задохнулись. Потом открылась строгая архитектура Джвари и захватывающий вид на темные горы по долине Куры и более светлые уступы гор над скачущей Арагвой; внизу лежала Мцхета.

Как мы спустились, как опять попали на станцию железной дороги — не помню. Запомнил только, что в вагонах было жарко, и мы стояли в тамбуре, открыв двери на сцепку. Из конца поезда в нашу сторону быстро шел начальник поезда. Завидев Нину, он остановился.

— Вы из Москвы? — спросил он вежливо обоих нас.

— Из Ленинграда.

— Ленинград — хороший город. Я приеду.

— Конечно, приезжайте обязательно.

— Я у вас остановлюсь.

Я опешил, но он, видно, тут одумался и прошел дальше в вагон.

Скоро начинался новый, 1938—39 учебный год, и надо было возвращаться домой. Обратный путь шел через Военно-Грузинскую дорогу. Ехали мы в характерном для экскурсий тех времен открытом автобусе — кузов автобуса (они тогда были небольшие), был без крыши, и в кузове поставлены рядами мягкие кресла. На нашу беду, мы сели рядом с какой-то провинциальной семьей — папа, мама, взрослые сын и дочка. Они громко говорили, не переставая, непрерывно отпускали глупейшие остроты; романтические виды долины Арагви, Джвари, Пасанаури, снежные горы, знаменитая серпантина, ведущая на Крестовый перевал — все это вызывало у них глумление и глупое хихиканье. Наконец, я не удержался и сказал папаше:

— Пожалуйста, помолчите, вы нам мешаете смотреть.

Сразу вся семейка переключилась с пейзажа на нас. Мы подвергались издевательствам, хохочущим насмешкам, передразниваниям — и так всю

---

[1] Владикавказ был переименован в Орджоникидзе — грузинская фамилия для осетинской столицы! — при его жизни; а после его самоубийства стал называться по-осетински Дзауджикау; и начиная с правления Хрущева — опять Орджоникидзе; а теперь снова Владикавказ.

[2] Нина уходила на время к тете Юле, но я, помнится, простоял ночь и день.

дорогу почти от Пасанаури до перевала. Но чем выше поднимался автобус, тем тише становилась семейка — и когда наверху перевала он остановился, оказалось, что у них высотная болезнь, носы текут кровью, и им очень нехорошо. Нина достала ваты и бинт, я — какое-то лекарство. Они благодарили, не знали, что и сказать — и в течение остального пути, слава Богу, молчали — дали нам посмотреть Казбек и мрачное ущелье Терека.

Во Владикавказе (не помню, был ли он уже переименован)[1] мы достали билеты только на московский поезд, в Москве выстояли невероятную очередь[2] и получили билеты на ночной поезд в сидячем вагоне. Вагон был купированный, новый — четыре полумягкие полки и над дверью в коридор ящик для чемоданов, но не во всю ширину купе, как теперь (т.е. на три метра), а короче. В купе сидело восемь человек и двое лежали, в том числе Нина, и все, кроме меня, с устатку, сидя заснули. Я почувствовал, что не выдержу сидя; тихо встал, подтянулся к верхним полкам, сдвинул в ящике чемоданы в две стороны, залез между ними, лег на спину, поджал ноги к животу и так уснул. Утром внизу началась паника, когда пассажиры наверху вместо своих чемоданов увидели чужого мужчину.

IV

Пока мы ездили по Закавказью, успели сорваться наши переговоры с Англией и Францией. Дело в том, что Гитлер не скрывал своих агрессивных намерений; у СССР был пакт о взаимопомощи с Чехословакией, но он входил в действие только при условии, что и Франция выступит на вооруженную помощь. Перед захватом Чехословакии Гитлером мы подтвердили свою верность пакту, но Франция (и Англия) выступить отказались — Чемберленом и Даладье было заключено знаменитое Мюнхенское соглашение, и Чехословакия была проглочена. Но вскоре стало ясно, что Гитлер на этом не остановится — уже велась ожесточенная немецкая пропаганда против Польши. Англию и Францию раздирали смешанные чувства: с одной стороны, если Гитлер начнет войну с Россией (а уж войну с большевиками он обещал еще в «Майн Кампф», в начале 20-х годов), то там он, вероятно, и завязнет, и Запад будет в безопасности; но для этого надо пожертвовать Польшей. Однако вернее было бы грозить Гитлеру войной на два фронта — тогда нужно договориться о взаимодействии с Советской Россией. Сталин соглашался на военный союз с Англией и Францией, но говорил, что не может воевать с Германией через голову Польши, и требовал, чтобы наши войска были заранее введены в Польшу. Англия и Франция понимали, что это будет означать советизацию Польши, и Польша это понимала еще лучше — и на введение на свою территорию советских войск не согласилась. Англо-французская делегация

1 По Версальскому договору, Германии не разрешалось иметь военной авиации и танковых войск. Однако многие немецкие танкисты и летчики получили специальное образование... в СССР, и не только в короткий период нашего пакта с Гитлером, но и раньше, еще до испанской войны, после Рапалло.

уехала, и сразу за этим последовал визит Молотова в Берлин и наш договор с Гитлером.[1]

Формально это был «договор о ненападении» (и торговле), но легко было догадаться, что есть и неопубликованная договоренность. Так оно и оказалось. 1 сентября 1939 г. гитлеровские войска вторглись в Польшу;[2] произошла разрушительная бомбежка Варшавы, поляки — полагавшиеся, как и мы, на конницу — были мгновенно разбиты танковыми колоннами Гитлера, покатившимися с огромной скоростью на столицу и на Краков; миллионы польских евреев и левых поляков бросились во Львов и Белосток, а мы объявили, что необходимо защитить от немецкой агрессии родственных нам западных белорусов и западных украинцев, и силами ближайших наших военных округов вступили на польскую территорию с востока. Вскоре наши войска сомкнулись с немецкими — особых недоразумений и стычек не было, — конечно, потому, что демаркационная линия была определена заранее. Это называлось «освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии», хотя и выглядело довольно двусмысленно. Конечно, если бы Тухачевский в 1920 г. выиграл бы советско-польскую войну, то эти территории безусловно отошли бы к Советской Украине и Советской Белоруссии, — но в том-то и дело, что ту войну мы проиграли, и все это напоминало лозунг «падающего — толкни». И, выходит, что «чужой земли не хотим»[2] надо понимать «кроме как земли, принадлежавшей царской России, а если даже не принадлежавшей, то населенной...» — кем? Родственными народами? А как с землей, принадлежавшей царской России, но населенной народами, не живущими в массе в СССР? И нельзя ли оговорку расширить и еще далее?

Словом, вся эта акция вызывала по меньшей мере недоумение, но, с другой стороны, с Гитлером все равно придется воевать, а на своей земле мы обещали не воевать — так не лучше ли создать перед своими пограничными укреплениями возможно большее предполье? Мы еще не знали, что вступившие в СССР поляки были расстреляны.

Началась вторая мировая война.

Но вся остальная страна, помимо двух западных военных округов, жила обычной жизнью; присоединение новых территорий еще не совершилось — была только превентивная оккупация.

В сентябре Нина сдавала аспирантские экзамены в Институт Герцена — Михаил Павлович Алексеев (впоследствии академик) не побоялся ее «плохой анкеты», — да и из Большого дома стали возвращаться одиночные арестанты.

Тем же сентябрем — еще не кончились Нинины экзамены в аспирантуру —

---

[1] Под предлогом провокации со стороны поляков. На самом деле группа немецких диверсантов, переодетых в польские мундиры, перешла границу Польши и оттуда уже «вторглась в Германию». Битый прием, потом не раз повторявшийся в XX веке и с трудом поддающийся фактической проверке! Лишь здравый смысл подсказывает, что более слабый не станет провоцировать более сильного — но здравый смысл не есть доказательство. — Сталин, по-видимому, поверил в германскую версию — недаром он потом так панически боялся спровоцировать немцев на войну!

[2] Таков был объявленный Сталиным лозунг: «Чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного клочка своей земли не отдадим никому».

как-то позвонил телефон, и чей-то голос предупредил, что сейчас домой придет Яков Миронович Магазинер. И действительно, примерно через полчаса позвонили в дверь, и явился мой тесть. Пришел он в том же своем синем костюме, сильно поношенном и помятом, и сам имел первый день или два довольно помятый вид. Началось ликование, хотя я невольно возвращался к мысли, что у моих на Скороходовой такого ликования не будет.

Как и большинство возвращающихся из тюрьмы или концлагеря, Яков Миронович почти ничего не рассказывал о пережитом. Конечно, все выходящие давали подписку «о неразглашении» с указанием статьи уголовного кодекса, карающей за таковое, но главное все-таки было не в этом: так точно и пережившие осаду Ленинграда обычно ничего не рассказывали о пережитом во время блокады. Возникает какой-то рефлекс психологической самозащиты. О тюремном быте, о том, как в одиночках сидело по двадцать пять человек, а в общей камере — по сто и двести, как спящие переворачивались с боку на бок по команде, как новенького укладывали у параши (к которой стояла очередь), а ветерану давали место у окна, и о многом другом я узнал позже от Иосифа Давыдовича Амусина и других. От Якова Мироновича мы узнали — и то очень постепенно — очень постепенно — лишь немногое.

На вопрос: «В чем тебя обвиняли?» он рассказал, что следователь первоначально предложил ему сознаться в том, что он террорист-диверсант, на что он отвечал:

— Посмотрите на меня: разве я похож на бомбиста? — Следователь взглянул на добродушное лицо ученого в светлом пушке волос и сразу перешел на другой вариант:

— Ну, тогда экономическая контрреволюция: вы же работали в «Экспортлесе»?

На вопрос: «Тебя били? Пытали?» Яков Миронович отвечал уклончиво:

— Нет такого места в теле человека, которое не могло бы причинить ему невыносимую боль.

На вопрос, кто на него донес, он не отвечал.

Много позже Яков Миронович рассказал, что от него требовали сообщников, и он каждый раз называл имя умершего.[1] Пока они выясняли, что этот человек умер, его оставляли в покое. Затем все начиналось сначала. В конце концов его «отцепили» от коллективного дела, к которому его «шили» (со своими «соучастниками» он был совершенно незнаком) — и вследствие этого он задержался в тюрьме до момента, когда было сочтено политичным выпустить тех, кто еще не расстрелян и не отправлен в лагерь — чтобы народ знал, что НКВД делает различие между виновными и невиновными.

Я не решался спросить его напрямик — каков порядок расстрелов. Вместо этого я написал вопрос на бумажке и вложил ее в справочную книгу, которую

[1] Как мы теперь (1991 г.) знаем, тот же прием на своем следствии применил Гумилев; но ему это не помогло.

он часто открывал. Когда в следующий раз я взял книгу, бумажки в ней не было.

К Якову Мироновичу приходил, между прочим, его ученик, адвокат Ю.Я.Бурак, защищавший, как я уже упомянул, между прочим, кого-то из обвиняемых по делу Ереховича, Шумовского и Гумилева. Я уже знал от Роны и Таты Старковой о роли в этом деле Липина, и что все трое получили по пять лет «исправительно-трудовых лагерей»: мы к тому времени уже знали, что это означает отсутствие даже видимости какой-либо вины.[1] Ника Ерехович, Тадик Шумовский и Лева Гумилев выжили в лагерях; Ника переписывался с сестрой. В 1944 г. их вывели на поселение; Ника работал в Норильске и жил в каком-то общежитии — он прислал Роне свою фотографию, лежащим на нижней койке двухэтажных нар. Но вскоре после окончания войны он умер от приобретенного в лагере туберкулеза. Шумовский и Гумилев вернулись в 1948 г. и даже успели защитить кандидатские диссертации; вернулся и Илья Гринберг. Но в 1948 г. многие сидевшие с 1937—38 гг. были посажены по второму заходу, и этот раз Илья уже не вернулся.

Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным; Липин был «сексотом» (термин мы узнали только после массового возвращения при Хрущеве выживших жертв сталинских репрессий) — этим он, очевидно, платил за свою безопасность после исключения из партии, ставившего его в очень уязвимое положение. Был он стукачом, вероятно, еще в Торгсине, несомненно, был специально подсажен к нам на втором курсе в связи с созданием «подозрительного» гебраистского цикла; среди его жертв безусловно был студент-поэт Велькович (это выяснилось из опубликованных за рубежом воспоминаний одного бывшего лагерника), вероятно — Старик Левин; Илья Гринберг сказал нам, что его посадил не Липин; но кто его посадил, он сказал только Тате Старковой, взяв с нее клятву молчания. Любопытно, что когда я, окончательно узнав о делах Липина, счел нужным рассказать об этом В.В.Струве (Липин был в 50-х гг. у него ассистентом), то В.В.Струве на другой же день представил популярную книгу для детей Липина и Белова «Глиняные книги»... на Сталинскую премию по историческим наукам. Он, конечно, прекрасно знал, что за эту книгу премию не дадут, но счел нужным выслужиться перед человеком, которого имел основание считать приставленным к себе.)

Адвокат Бурак рассказал больше: во-первых, что было два доноса Липина — второй был передан уже новому следователю, которому дело было передано для подготовки к суду, тому самому, который допрашивал меня: услышав от меня мои добрые вести, когда я рассказал ему о моем свидании со следователем и о шансах Ники на освобождение, Липин поспешил «добавить»: боялся разоблачения; во-вторых, что вторым следователем были,

1 По общему мнению, «за анекдоты» давали 10 лет (по статье 58.10), столько же за «экономическую контрреволюцию». Выше 10 лет «сроков» не было, дальше шел уже расстрел. По уголовному кодексу, за предумышленное убийство давали лишь 6 лет (ибо преступники не были «социально-чуждыми»!).

кроме меня, допрошены все остальные студенты нашей группы, и все, кроме одной только Таты Старковой, но — увы! — не исключая даже Миши Гринберга, дали совершенно одинаковые показания, в точности совпадавшие с тем, что Липин нам говорил: знакомство с немцем, эсером, отец — генерал, «не наши взгляды». Но и то сказать, Липин, самый старший и самый опытный в жизни из всех нас, имел на всех огромное влияние. В-третьих, Бурак относил и мое показание к плохим; но я уже рассказал, что именно я говорил следователю; в оправдание я могу привести мою полную неподготовленность к тому, что меня будут допрашивать именно о Нике, Тадике — и еще почему-то о Гумилеве (и что их вообще можно соединить); только мою юность и неопытность; и еще то, что ни Ника, ни Лева Гумилев не осудили меня. Только Тадик исключил меня из числа людей, но, к счастью для меня, его опубликованные воспоминания совершенно фантастичны.

И наконец, мы узнали, что Тата Старкова назвалась невестой Ники и получила разрешение носить ему передачи. — Ника был влюблен в Тату, но невестой его она безусловно не была и любила она другого; поступок ее был, конечно, смертельно опасным.

Вернувшись из тюрьмы, Яков Миронович застал мою Нину беременной. Я получил нежный упрек, почему я не вынес этот вопрос предварительно на семейный совет.

Семейный совет — это, конечно, смешно; но все-таки, почему ребенок? Потому что отцов наших не стало, и нам нужен был ребенок. Что Яков Миронович вернется — на это мы не надеялись.

Я продолжал работать в Эрмитаже — а также и в университете. У меня теперь были две группы: одна на кафедре Александра Павловича, на филологическом факультете, вторая — на историческом.

На филологическом факультете основной предмет у ассириологов, конечно, вел сам Рифтин, а я читал со студентами литературные тексты (я тогда уже успел опубликовать в поэтическом переводе отрывок из эпоса о Гильгамеше для популярной книжки Н.Д.Флиттнер), а также читал им курс истории Ассирии и Вавилонии. У меня было четыре студента: Слава Арцыбушев, Люда Васильева, Ира Дунаевская и Наташа Овсянникова. Арцыбушев считался «приемным сыном» И.И.Мещанинова (и, видимо, очень тяготился этим), Ира Дунаевская перешла к нам по собственному желанию с германского цикла, — как я когда-то, со второго обратно на первый; остальные девочки были случайные, но Наташа довольно толковая.

Я ужасно старался сделать свой первый лекционный курс содержательным и неизбитым — и перестарался: перегрузил студентов материалом, и они, к моему ужасу, на экзамене показали полное незнание. Я поставил Дунаевской четверку — чем она была очень обижена, заявив, что она рассчитывала получить четверку по другому предмету, а при двух четверках она лишится стипендии. Я нашел это заявление нахальным. Остальным я поставил по тройке, причем Арцыбушев расплакался: он тоже рассчитывал на стипендию и на нее собирался жениться. Я предложил похлопотать за него в экскурсионном бюро Эрмитажа, но он ко мне не явился.

Арцыбушев был в 1941 г. забран в армию, перешел к немцам и служил

переводчиком в лагере военнопленных. Увидев среди них филфаковца — Готю Степанова,[1] кажется, — он сказал ему:

— Помнишь Рифтина? Неглупый был жидочек. — Рассматривал его уже как мертвого.

Наташа Овсянникова вышла замуж за бывшего Нининого поклонника Володю Вальтера; они эвакуировались из Ленинграда, но вскоре оба умерли от какой-то болезни. Васильева умерла в блокаду. Дунаевская ушла вместе с молодым мужем добровольно в армию, муж сразу был убит; она же служила в госпиталях в блокаду, потом переводчиком на фронте, была ранена в лицо, вышла замуж за некоего лейтенанта, вернулась из Германии беременной, восстановилась в университете на германском отделении, а впоследствии с помощью И.И.Мещанинова поступила в аспирантуру по хеттологии (будучи знакома как с клинописью, так и с индоевропейскими языками) и потом работала со мной по специальности. Новый муж не только ее бросил, но еще и написал на нее донос.

Что касается исторического факультета, то я уже не помню, как я там оказался. Во всяком случае, у меня появилась здесь ассириологическая группа из четырех энтузиастов, с которыми я вел занятия по начальному курсу клинописи. Двое самых многообещающих — Майзель и его длинная вполне русская жена — не выдержали бездны клинописной премудрости и ушли на политэкономию; оба выжили. Двое оставшихся, наибольшие энтузиасты, но не самые способные, Миша Переслегин и Миша Храбрый, оба потом погибли — один от голода в блокаду, второй сложил свою голову в саперах.

VI

А на сентябрь 1939 г. Эрмитаж запланировал археологическую экспедицию в Армению для раскопок урартского городища, и в этой экспедиции должен был участвовать и я.

Б.Б.Пиотровский в течение многих лет — до 1937 г. — в сопровождении А.А.Аджяна и Л.Т.Гюзальяна — обходил Армению и регистрировал ее городища в поисках урартских, и наконец остановился, совсем близко от Еревана, на большом, очень сохранном городище Кармир-блур, на склонах которого одним геологом был найден обломок клинописной надписи. Была договоренность начать здесь совместную археологическую экспедицию — один отряд от Эрмитажа во главе с Б.Б.Пиотровским (научные сотрудники Е.А.Байбуртян, недавно раскопавший интересное городище Шенгавит, и И.М.Дьяконов, которого взяли в расчете на находку урартских надписей), другой отряд, чисто армянский, от Музея Армении, во главе с Каро Кафадаряном.

Урартская клинопись (в надписях по камню) чрезвычайно сходна с ассирийской, и поэтому читается очень легко. Но урартский язык не имеет

[1] Г.В.Степанов (впоследствии академик), участник Испанской войны и, как все они, курируемый НКВД, был по-видимому заброшен за линию фронта с заданием. Он сам об этом никогда не говорил, но таков был слух — а легенда тоже важна для истории. Человек он был весьма порядочный.

ничего общего ни с семитскими (включая аккадский), ни с индоевропейскими — вероятна его связь с кавказскими языками. В ожидании находок надписей я решил изучить урартский язык. Считалось, что его знают три человека за рубежом (И.Фридрих, А.Гётце и М. де Церетели) и два человека в СССР (академик И.И.Мещанинов и Б.Б.Пиотровский). Ну, Иван Иванович был недоступен, и я обратился к Борису Борисовичу. Он сказал, что тут нечего учить: эргативный падеж (падеж действующего лица) кончается на *-ше*, абсолютный — без окончания или на *-ни*, первое лицо переходного глагола кончается на *-уби*, непереходного — на *-ади*, третье лицо переходного — на *-уни*, непереходного — на *-аби*. После этого он выдал мне шуточное удостоверение об успешном окончании полного курса урартского языка и посоветовал прочесть не толстую книгу И.И.Мещанинова «Язык ванских надписей, часть II», а тоненькую немецкую книжечку И.Фридриха.

На самом деле грамматика урартского языка — замысловатая и трудная, но это я познал уже сам, разбираясь в надписях, когда составил полную картотеку всех встречающихся грамматических форм, и не доверял ничему написанному по урартской грамматике до меня. Но это было много позже.

В этом году Борис Борисович успел уехать в экспедицию до того, как я вернулся из отпуска, и я сразу же, едва заявившись в Эрмитаже и в Университете, отправился догонять его в Ереване. В последний день в поезде я подошел рано утром к окну в коридоре вагона и увидел желтую, выжженную степь Араратской долины, зеленую полосу вдоль невидимого Аракса, необычайной, не нашей голубизны небо и в нем — висящий белый с розовым краем конус Арарата. Низ его, покрытый растительностью, синий из-за атмосферной дымки, полностью сливался с фоном неба — даже легкого очертания видно не было; великая гора парила в пространстве.

Я стоял ошеломленный. Это была любовь с первого взгляда и навеки. Кроме Норвегии, я никогда не любил так, как Армению, ни одной чужой страны — а видеть их мне потом довелось много.

В Ереване поезд остановился почему-то не у перрона, а на путях; я спрыгнул с высокой лесенки-подножки вместе с чемоданом — и растянул связку на ноге. Еле добрался до заказанного мне места в номере Бориса Борисовича (гостиница «Интурист», теперь — «Ереван») — и три дня не мог выезжать на раскоп.

Сначала мне было, пожалуй, не добраться и до ресторана, да тут помогла неожиданность: подстегнутые успехом 700-летнего юбилея Шоты Руставели у грузин, армяне только что с помпой, с участием писателей и художников со всего Союза справили 1500-летие армянского эпоса «Давид Сасунский». Не совсем ясно, как может у эпоса, который не имеет автора, быть юбилей[1] — но не это было важно, а важно приподнятое настроение, которое мы застали в городе — и в гостинице, что, к моему утешению, выразилось, между прочим, в том, что в каждом номере гостиницы стояла большая ваза, полная бесплатных фруктов — абрикосов, персиков, груш, слив и винограда, так что с голоду нельзя было умереть.

[1] Это еще что! Позже я постараюсь рассказать о юбилее поэта Низами в Азербайджане.

Выйдя на другой день в ресторан, я нашем там сидящего за отдельным столиком Иосифа Абгаровича Орбели, молча пившего чашечку за чашечкой крепчайший восточный кофе.

Питаться в ресторане оказалось, однако, невозможно: первые дни мы еще считались «гостями юбилея», но потом приходилось платить, а цены были для меня малодоступными, тем более что официанты рассчитывались исключительно по системе «сорок да сорок — рубль сорок, папирос не брали — два восемьдесят». Поэтому дальше я перешел питаться в столовую через площадь от нашей гостиницы, где меню неизменно ограничивалось «малой кашей». Я бы сказал — «манной», но в обозначении «малая каша» был известный смысл, так как ее и впрямь было мало — правда, зато она была с кусочками яблок.

Город тогда посмотреть мне не удалось — Борис Борисович был требовательный начальник. В половине шестого утра он вставал и надевал мне на нос очки, отчего я просыпался. Затем мы быстро одевались, умывались, что-то наскоро ели и выезжали на раскоп. С раскопа мы возвращались вечером смертельно усталые, и бродить по городу не хотелось, да и в городе не так легко было объясняться — по-русски тут не говорили, — но иногда меня Б.Б. водил в гости к архитектору Н.М.Токарскому. Помню с тех времен прямую, мощеную брусчаткой улицу Абовяна, зелень деревьев, двух-трехэтажные каменные дома с решетками-сетками на окнах первых этажей; улица поднималась к строившемуся зданию Оперы; по сторонам от нее еще сохранились кое-где восточные кварталы, с узкими улочками между глинобитных грязно-белых домов; трамвай провозил нас через ворота еще не снесенной, тоже сырцовой, городской стены. Помню великолепную скульптуру Давида Сасунского на скакуне.

Ехали мы на раскопки почти до самого места на трамвае. Жара даже утром стояла невыносимая, а к вечеру пассажиры по большей части вообще не входили в «салон» трамвая, а ехали большими гирляндами на «колбасе», на подножках, а главное — снаружи, прицепившись за полностью открытые окна. Никто, конечно, не платил, кондукторши (русские) бранились — бесполезно. Мы с Б.Б., однако, ездили все же внутри трамвая.

Борис Борисович мне объяснил, что в Армении русские только кондукторши, проститутки, милиция и НКВД. Это было неточно, потому что проститутки были и армянки тоже, и среди милиции начали уже появляться армяне. Зато в Ереване и его окрестностях было много азербайджанцев. Дело в том, что с 1724 по 1828 г. Эривань была столицей тюркского Эриванского ханства,[1] армян тут много вырезали, и их всегда было гораздо больше в Тифлисе (больше, чем грузин — после кровавого персидского погрома 1795 г.).[2] В Ереван армяне стали съезжаться после бегства их из Турции от

[1] С последним ханом я познакомился лет десять спустя в Баку. Он ходил по городу и жаловался: «Десять тысяч заплатил за докторскую диссертацию — а Высшая аттестационная комиссия провалила!»

[2] Персы тогда изнасиловали всех женщин Тифлиса, которых смогли схватить, и каждой подрезали ахиллово сухожилие, чтобы все вечно знали, что женщина побывала под персом.

резни 1915 г., а потом из Тифлиса, из Нахичевани Ростовской, из Москвы и т.д. — когда Ереван стал столицей Армянской республики.

От конечной остановки трамвая нужно было идти по жаре пешком. Рядом с городищем лежала маленькая азербайджанская деревня, с домиками из сырцового кирпича и почти слепыми стенами; ее кладбище (необработанные грубые вертикально поставленные камни без надписей) находилось на склоне Кармир-блурского холма. От городища деревню отделяла тенистая рощица фруктовых деревьев, где бежала чистая вода для его орошения, и было видно, как от воды все дивно зеленеет, а отойти на шаг — растрескавшаяся серая сухая, бесплодная земля, лишь кое-где колючки или полынь.

За рощицей простиралась большая плоскость городища — сухая земля, мало покрытая даже полынью, забросанная камнями. Справа возвышался собственно холм Кармир-блур — отчетливый, явно скрывающий под собой большое здание. На его правой вершине высилась разрушенная средневековая церковка.

В центре плоской части городища уже велись работы под руководством Е.А.Байбуртяна и Каро Кафадаряна. Был вскрыт фундамент дома; от стен не сохранилось ни следа, и утвари никакой найдено не было — только бесформенные обломки черепков. Накрапывал легкий дождичек из набежавшей тучки; но скоро прошел.

Так как у меня не было пока никакого определенного дела, Борис Борисович позвал меня подняться с ним на главное городище. Под ногами, окаймляя городище, быстро бежала по каменьям неширокая Занга;[1] за ней опять виднелся низкий скальный обрыв и затем степь. В небе опять висел белый Арарат, а в противоположном краю неба — менее эффектный многоголовый белый Арагац, синим абрисом снизу касаясь горизонта. И эта сухая, с горьким незабываемым полынным запахом серо-желтая степь, чуть на шаг отойдешь от воды, и эта яркая зелень, где есть вода, и это глубокое синее небо, и эти величественные древние шапки гор, так же глядевшие на колесницы урартских царей, как теперь они смотрят на нас, говорили о том, что современность, Европа, Россия остались где-то далеко. Я пришел, наконец, на мечтавшийся мне Древний Восток. Мы стояли наверху городища, и Борис Борисович показал мне, где за рекой, вдоль нее, проходит канал, проложенный, вероятно, еще урартами.

Я взглянул под ноги и обратил внимание, что на сухой земле холма видны чуть более темные длинные прямоугольные пятна; они как будто окружали большие светлые прямоугольники. Я обратил на них внимание Бориса Борисовича и сказал:

— Это похоже на план здания.

Так оно и было: середины комнат строения, скрывавшегося под холмом, заполнял завал от обрушившихся стен из сырцового кирпича, а части самих стен стояли и задерживали влагу, успевшую относительно более рыхлым

[1] Ее называют также Зангу, или Раздан. Армяне считают, что Раздан — это по-армянски. Слово это, однако, среднеиранское.

завалом испариться под жарким солнцем. Так это вскоре объяснил мне Борис Борисович, а сейчас он молча взял камушек и стал оконтуривать чуть влажные тени на земле; и я тоже, чуть поодаль от него. Оба мы зарисовали получавшийся план.

Через полчаса мы сверили, что у нас получилось: наши планы, охватывавшие шесть-восемь продолговатых комнат с толстыми стенами, совпали; только у меня в части холма ближе к реке получился еще причудливый план каких-то мелких помещений. Борис Борисович сказал, что таких помещений не может быть и что я вижу больше, чем можно углядеть на самом деле. Однако же почти через тридцать лет и эти помещения нашлись.

Спустившись на плоскость, Борис Борисович немедленно прекратил работу над фундаментами городских домов: под холмом, во всяком случае, скрывались хоть, может быть, и небольшие, но настоящие стены; именно здесь был найден и фрагмент надписи. Холм был разделен между двумя экспедициями: более высокая часть, дальше от древнего города, вокруг руин церковки, была отдана Каро Кафадаряну и его бригаде,[1] более низкую, в сторону древнего города — именно там, где мы обнаружили теневой план, — Борис Борисович взял себе и своей бригаде, включавшей Байбуртяна и меня.

Борис Борисович поставил нас обоих у крайнего от склона холма теневого прямоугольника: Байбуртяна извне его, меня — внутри; сам он с рабочими копал следующий прямоугольник. Рабочие у нас были частью армяне — они работали, кроме одного большого мальчика, не знавшего ни слова по-русски,[2] невнимательно, обрез получался осыпающийся; отчасти же они были кубанские казаки, бежавшие в Армению от голода 1932 года; эти работали споро, чисто, никогда не зарезали сырцового кирпича стены, которую мы старались обнажить. По понятным причинам армяне работали у Каро, на вершине, где он рыл громадный и археологически довольно непонятный котлован, и отчасти у Байбуртяна; у меня, самого неопытного, работали казаки.

Мы старались углубиться сразу по всей площади раскапываемой комнаты, в отличие от Каро, который пытался сразу углубиться как можно более в одной точке — с риском нарушить возможные культурные слои. Я то и дело распрямлялся, оглядываясь на волшебное зрелище, окружавшее нас: белый конус Арарата, белые зубцы Арагаца, зеленые полоски вдоль реки и внизу, за кладбищем, и серо-желтая, желтая, дышащая полынным духом сухая полупустыня кругом. Темноголубое небо жгло нестерпимо, то и дело кто-нибудь из рабочих сбегал вниз к роще и ручью с кувшином за водой. Джур чка? («воды нет?») были первые выученные мной армянские слова.

Зато как рады мы были обеденному перерыву, когда мы спускались в тенистую рощу, на мягкую травку под сенью абрикосовых деревьев, где

---

[1] У Каро был один научный сотрудник, который мне почему-то почти не запомнился, и женщина-фотограф, про своеобразные ласки которой мне вечером, делясь своими любовными похождениями, рассказывал один участник экспедиции. Я не видел, чтобы Каро вел записи.

[2] Впрочем, когда он откопал большущего скорпиона, он долго материл его вполне правильно по-русски. Вообще армяне нередко ругались по-русски.

уже жарился шашлык для всех и лежали груды винограда и тонкие листы лаваша.

В раскопе сырцовая внутренняя стенка обнаружилась легко; завал осыпáлся сам от близкого к стене удара лопатой, и почти не приходилось прибегать к щетке. Поэтому задача моя была несложной: я сидел во все углублявшейся яме с совком и щеткой, следя, чтобы рабочий не «зарезал» стенку (как это происходит, я наблюдал на чьем-то чужом раскопе — кажется, у Каро: вещество завала и вещество стены — одно и то же, необожженная спрессовавшаяся серо-желтая глина, поэтому нет ничего легче, чем копнуть стену — но тогда на обрезе ясно выявляются швы между сырцовыми кирпичами). Кроме того, я должен был перебирать отвалившуюся сухую глину в поисках возможных мелких находок. Ведь предсказать глубину раскопа было невозможно: на лучших городищах Месопотамии высота сохранившихся стен редко превышала полтора-два метра, на нашем нижнем городище сырцовых стен и вовсе не сохранилось. Все ждали пола. Но раскоп углублялся все более, открывавшиеся стены росли все выше, а находок не было. Наконец я нащупал пол на глубине четырех метров. Пол был пуст. Борис Борисович велел мне закончить расчистку комнаты и перейти к Байбуртяну, к внешней стене, где положение казалось более интересным.

Байбуртян работал у стены, не только внешней по отношению к «моей» комнате, но, очевидно, вообще у внешней стены огромного здания — или зданий, — что скрывал холм Кармир-блур. Свое название — по-армянски «Красный холм» — он приобрел от красного цвета осыпи над речным обрывом — явного следа сильного пожара, обжегшего в этом месте сырцовые стены. Но с нашей стороны следы пожара мы нашли не сразу.

На раскопе Байбуртяна ниже рядов кирпича сырца обнаружился высокий цоколь, сложенный из дикого камня, сцементированного глиной. Скоро мы здесь работали все трое — слева Б.Б., подошедший в конце концов к боковому входу из города в цитадель, которую мы раскапывали (он же проследил следы каменного фундамента стены вокруг почти всего городища); в середине работал Е.А., справа я. На стыке участков Б.Б. и Е.А. в обмазке цоколя стены обнаружился наконечник впившейся здесь скифской стрелы. Б.Б. очень обрадовался этой находке: наряду с Урарту, он занимался и скифами, и связи их с урартами были для него особенно важны. Эта стрелка и еще некоторые находки убедили его в том, что именно скифы взяли Кармир-блур и разрушили Урарту; это осталось его твердым убеждением. Я был не так уверен в этом: ведь Геродот рассказывает, что у скифов стрелковому делу учились мидяне и персы, и по данным как Геродота, так и Библии, да и по ассирийским, выходило, что скорее это мидяне разрушили Урарту.

Несколько ниже почти одновременно Байбуртян и я обнаружили вдоль внешней стены слой обгоревших веток или хвороста. Аккуратно сняв его, мы начали наконец находить мелкие вещи, неразрушенную посуду.

Был как раз день выдачи зарплаты рабочим, и Борис Борисович уехал с раскопа в город за деньгами. Мы же, продвигаясь с Байбуртяном навстречу друг другу, обнаружили небольшой очаг со сложенными около него обугленными дровами; нам стало ясно, что вокруг внешней стены здания внутри крепостной ограды — очевидно, во время осады, — сооружались

временные жилища, крытые хворостом: может быть, жилища горожан? Может быть, город уже был взят врагами, а крепость еще держалась? Стрелка, вонзившаяся в стену, была выстрелена со стороны города, а не извне его. Эти догадки, которые все мы разделяли, подтвердились в следующую кампанию, когда за углом той же внешней стены были найдены скелеты убитых, а в одной из внутренних комнат — скелеты лошадей, взбежавших, как думает Б.Б., из двора вверх по пандусу и провалившихся через горящий потолок здания.

Этого мы еще не знали; но зато тут же рядом с очагом мы нашли горшок, точно такой, в каком по русским деревням варят пшенную кашу в русской печи, на три четверти полный зернами ячменя — равномерно обуглившимися от жара и от времени, но совершенно целыми; а рядом с горшком из земли вышла большая деревянная ложка — тоже точно такая деревянная разливательная ложка, какие можно видеть в деревнях, да в прежнее время и в городских кухнях: даже с крючковидным кончиком на рукоятке, чтобы вешать на стенку.

Весть об этой находке быстро разнеслась по раскопу; все сбежались; мы с гордостью показывали нашу ложку. И вдруг на наших глазах она начала как бы таять; ее края обвалились. Мы скорее закопали эту ложку в сырую землю. Тут над нами на холме появился Борис Борисович.

Он имел обыкновение при виде плохой археологической работы кричать «Рассамы!» — в честь раннего (XIX века) месопотамского археолога-кладоискателя, загубившего немало городищ. Но теперь, узнав про ложку, он ругался гораздо хуже, и тут же уехал в город за бинтом и парафином.

Никто не ждал находки дерева — в раскопках Месопотамии и Хеттского царства дерева никогда не находили, и все считали, что оно может сохраняться только в сухом климате Египта. Мы, конечно, наткнувшись на ложку, должны были немедленно прекратить копку, — но ведь и у Б.Б. не было никаких подручных средств на случай находки деревянных предметов. Ложка хранится теперь в Эрмитаже, но увы, уже не такая целенькая, какую видели мы.

С раскопа мы разъезжались усталые и в приподнятом настроении. Все разъехались кто куда — мы с Борисом Борисовичем в наш гостиничный номер, к ужину «малой кашей» или в ресторане (все-таки) и к заслуженному отдыху. Борис Борисович садился за свой экспедиционный дневник. Все, что находила его экспедиция — стены и вещи, их точное расположение, — Борис Борисович точнейшим образом записывал на месте своим четким почерком и аккуратно зарисовывал, а потом еще подводил итоги работы в дневнике. Но иногда он справлялся с этим быстро, и тогда он тащил меня в гости к Николаю Михайловичу Токарскому. Я бы охотнее пошел к Байбуртяну — он мне нравился своей мягкостью и спокойствием, какой-то внутренней интеллигентностью. Но он меня не звал, и, я знаю, он спешил к жене, которую очень любил.[1]

[1] Е.А.Байбуртян был вскоре арестован и погиб.

Байбуртян сравнительно недавно приехал в Ереван из Ростова-на-Дону и рассказывал забавную историю про свою поездку. Жена его очень огорчалась отъезду из знакомого Ростова в незнакомую и фактически совершенно чуждую среду — в Ереван, и плакала в вагоне; Е.А. обнял ее и пытался ее утешить. Увидев эту картину, проходивший мимо проводник-грузин крикнул ему:

— Нэ смэешь! Нахал!

Токарский был полуархитектор, полуархеолог, занимался историей закавказской средневековой архитектуры и нескладно пил. Этим мы и занимались по приходе к нему на квартиру. Токарский жаловался Борису Борисовичу на то, как несправедливо поступают с ним армяне, всячески оттесняя его; назывались знакомые им обоим имена и обстоятельства, а я скучал и без конца ставил на патефон пластинку:

Вдоль по улице метелица метет,
За-а-а метелицей мой миленький идет:
— Ты посто-ой, посто-ой, красавица моя,
Дай мне наглядеться, радость, на тебя.

В октябре мы вернулись в Ленинград.

VI

В октябре 1939 г. в газетах были опубликованы сообщения о переговорах с Финляндией по поводу обмена территорией — она должна была отдать нам Выборг и Карельский перешеек (с мощнейшими укреплениями «Линии Маннергейма» (считалось, что они грозят обстрелом Ленинграду), а мы ей — большой кус Карельской АССР, в основном болота. Финляндия не соглашалась, на границе начались перестрелки, а 30 ноября была объявлена мобилизация Ленинградского военного округа, в ночь на 1 декабря началась Финская война. Ленинград был затемнен; уличные огни погасли, в подворотнях ввинтили синие лампочки, на окнах, до сих пор сиявших по всему городу одинаковыми оранжевыми абажурами (других не было в продаже), было велено завести шторы.

Конечно, среди преданных, честных комсомольцев было много добровольно кинувшихся на войну — таких как поэт Павел Коган, автор знаменитой «Бригантины», и другие молодые комсомольцы Литературного института (был создан специальный институт по писательской подготовке).[1] Мишин аспирант Леня Бретаницкий не пошел в армию лишь по очень сильной близорукости. Но в нашей компании, хотя среди нас были партийцы Выгодский и Бабушкин, финская война не вызвала энтузиазма — что-то она мало походила на оборонительную, и тот самый Яша, который так рьяно рвался на Испанскую войну, сейчас не торопился пойти на Финскую.

Хотя считалось, что на войну мобилизован Ленинградский военный округ,

[1] Мне-то казалось, что писателя должна учить жизнь.

но вокруг нас почти не слышно было о мобилизации — во всяком случае, студентов и аспирантов не брали. Зато шли эшелоны на фронт откуда-то издалека.

Из Териок (быстро занятых нашими войсками) был получен «радиоперехват» — образовалось «Народное правительство Финляндии» во главе с коминтерновцем Отто Куусиненом; оно предложило текст мирного договора с СССР, который должен был быть ратифицирован после вступления Красной армии в Хельсинки. Карельская АССР была срочно превращена в Карело-Финскую союзную республику. Это было важным симптомом: в своей речи по поводу новой конституции Сталин определил, какая республика может стать союзной, то есть конституирующей Союз Советских Социалистических Республик, — а именно, если местная национальность составляет в ней большинство[1] и если она граничит с иностранными государствами, а потому может осуществить свое неотъемлемое право (!) выхода из состава Союза. В Карелии, конечно, русских было много больше, чем карелов, а все почти финны были схвачены (а финнов было там довольно много — это были частью отошедшие сюда бойцы потерпевшей поражение в 1922 г. финской Красной армии, частью коммунисты — реэмигранты из США). Значит, ясное дело, готовилось слияние Карелии с Финляндией в составе СССР.

Между тем мы уложили полмиллиона солдат и не продвинулись дальше Выборга, и в конце концов должны были заключить мирный договор. Выяснилось, что наша армия вооружена и воспитана все еще в духе гражданской войны. (Как пели в песне: «Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер»). Мы не знали, что есть минометы, снайперские винтовки, противопехотные мины, мощные оборонительные линии типа маннергеймовской; и что нельзя воевать зимой в шинелях. Но мы, я и мои друзья, хотя и понимали, что здесь мы промахнулись, но все же были уверены, что в большой войне опыт войны финской и предшествующих серьезных столкновений с Японией (озеро Хасан, война на Халхин-голе, в Монголии), из которых, как кажется, мы вышли с честью, будет учтен надлежащим образом.

Франция и Англия поддерживали финнов против нас (по той причине, что мы-то были в фактическом союзе с гитлеровской Германией). Это была почти чисто словесная помощь, но нам казалось — в соответствии с официальной точкой зрения, — что империалисты (Франция, Англия и Германия вместе с ее «осью» — Италией и Японией) смогут договориться между собой. Однако война мыслилась так, как она шла в Западной Европе: мощное танковое наступление и, прежде всего, бомбежки городов. То обстоятельство, что мы заключили с Германией пакт о ненападении, рассматривалось как тактическая уловка, позволяющая нам подготовиться, а сама неизбежность войны

[1] Сейчас (1986 г.) это уже неверно в отношении Казахстана, и в ближайшее время станет неверно в отношении Латвии.

была нам ясна. Мы допускали, что воевать придется со всей Европой, но танковыми колоннами.

На финскую войну ушло много добровольцев из молодежи, в том числе интеллигентской, но моих друзей это не коснулось. Финская война была для моего круга непопулярной. Хотя необходимость лучшей защиты Ленинграда была сильным доводом, но к финской (так называемой «Зимней») войне отношение было двойственным. Комсомольская интеллигенция, воспитанная на Багрицком («Если надо убить — убей»), на Фадееве и т.д., безоговорочно приняла объяснение, что Финляндия нам грозила, что ее пушки нацелены на Ленинград и, попав в руки империалистических держав, испепелят его; что она отказалась от уступки равноценной нашей территории и спровоцировала военные столкновения на границе. Поток добровольцев был велик. Но все же это было совсем не то, что бесспорная для нас справедливость войны в Испании; нельзя было отделаться от мысли, что безнравственно большой державе, да еще после сотен мирных заявлений («Чужой земли не хотим»), нападать на маленькую, что это агрессия в точном соответствии со знаменитым определением, изложенным Литвиновым в Лиге Наций и принятым многими государствами. В правдивость газетных утверждений, будто Финляндия напала на СССР, верилось с трудом. А кто разбирался лучше в политике, экономике, географии и просто обладал здравым смыслом (это всегда очень незначительное меньшинство), понимали, что Карельский перешеек — житница Финляндии, а на предлагавшейся в обмен территории растет одна клюква, что Выборг не менее важен для Финляндии, чем Ленинград — для нас, и что укрепления линии Маннергейма, на десять метров врытые в землю и залитые бетоном, в 60—80 км от Ленинграда, с артиллерией дальнобойностью в 20—25 км, не угрожали Ленинграду обстрелом, а были созданы для защиты от нас — и оправдали себя.

Мы и мои друзья понимали это не совсем ясно. «Оборона от нас» казалась нам дичью, абсурдом — ведь мы за мир, против экспорта революции! Утверждать, что кому-то надо было обороняться от нас, казалось так же бессмысленно, как «агитировать за Советскую власть». Был такой идиом: «Не агитируй меня за Советскую власть», в смысле — не ломись в открытую дверь. Все это повторяли.

Но финская война озадачивала, по меньшей мере. А тут еще явно липовое народное волеизъявление в государствах Прибалтики (после ввода туда наших войск) — для обороны их от Германии. Значит — Германия потенциальный враг? Но только что был раздел Польши между нами и Гитлером. В головах было смятение.

Прибалтика была наглухо закрыта для советских граждан, и вообще эти районы оставались как бы за границей. Даже коммунистов Западной Белоруссии, оказывается, не пускали в советскую Белоруссию (и наоборот). Все это походило на аннексию. Захват земли нас беспокоил. Хотя мы допускали, что война с финнами обеспечивает безопасность Ленинграда, но воевать в Финляндии нас не тянуло.

Конец войны в 1940 г. был относительно благополучен для Финляндии, и она не была захвачена. Кровопускание кончилось. Временно налаженные

отношения с Германией отстраняли немедленную опасность войны, но наиболее разумные — к которым я должен отнести и нашу компанию — как я уже упоминал, предполагали, что осенью 1941 г. она разразится. Поэтому начало ее не было для нас ударом с неба, как для многих. Но о войне с Германией думалось в понятиях, выражавшихся Сталиным и Ворошиловым, сводившихся к фразе: во-первых, «мы войны не хотим, чужой земли нам не надо, своей земли ни пяди не отдадим» и, во-вторых, что мы «могучим ударом» перенесем войну на вражескую территорию. До 1937 г. этот расчет, возможно, и имел некоторое основание — то есть до того, как был уничтожен весь высший командный состав армии (о чем мы не знали, да и никто не знал из гражданских) и были распущены танковые корпуса, подготавливавшиеся маршалом М.Н.Тухачевским, и что между тем Ворошилов и Буденный настаивали на развитии конницы — как будто лошадь может противостоять танку.

А немецкая армия за то же время стала гораздо сильнее. Но мы не знали о состоянии нашей армии и все еще полагали, что будут встречные танковые бои. Не знали и того, что оборонительные сооружения на старой границе снесли, а на новой не построили, — боясь «спровоцировать» Гитлера, который тем временем уже с конца 1940 г. подводил войска не только к этой границе, но и к финско-советской.

А что касается бомбежек, то мы думали прежде всего о Лондоне: бомбежка Лондона была тяжела, но все-таки город жил и работал.

Еще один маленький эпизод. Уже к концу финской войны мне вдруг позвонил мой брат Миша и вызвал меня к себе. Он тогда разошелся со своей первой женой, а со второй никак не мог сойтись, там тянулась сложная романтическая история. Жил он в огромной пустой комнате в Ламоттовском павильоне Эрмитажа. Туда он меня и вызвал.

Когда я пришел, он сказал, что ждет особу, которая позвонила и сказала, что придет к нему по важному делу, и чтобы он вызвал и меня. Через короткое время раздался звонок, и вошла очень интересная молодая дама, черноволосая, крупная, решительного вида, на груди у нее был орден «Красной Звезды». После войны этот орден носил каждый третий, а тогда он был большой редкостью. Поэтому женщина с военным орденом производила сильное впечатление.

Дело же у нее было следующее. Спросив нас, верно ли, что мы можем говорить по-норвежски, как норвежцы (что мы подтвердили), она сказала, что через Скандинавию готовится оказание англо-французской помощи Финляндии, и нам очень важно знать, что там происходит, особенно в гражданском, финансовом, а не военном мире. Поэтому нам предлагается пройти некоторые курсы, и затем мы будем отправлены в Норвегию на английском или американском пароходе. Там мы должны выдавать себя за американских миллионеров, сорить деньгами и выполнять задание, которое нам будет поручено.

Мы были ошарашены и не пришли от этого в большой восторг, сказав, что норвежско-американский акцент очень типичен и мы не можем его имитировать. Многие норвежцы проводят молодость в Америке и прекрасно отличают американцев от неамериканцев. Это будет несерьезно.

Тогда она сказала: «Вы можете быть австралийскими миллионерами, этот акцент они не знают».

Разговор продолжался довольно долго, и хотя мы и отверчивались, он пробудил в нас жилку авантюризма; мы были молоды, и поехать со шпионским заданием, выдавая себя за австралийских миллионеров, было любопытно. Главное, отказаться на том основании, что это страшно и опасно — перед женщиной с военным орденом, было ужасно неудобно. Когда мы заикнулись, что, конечно, кончим в тюрьме, то она сказала, что в шведской тюрьме отсидеть два-три года — пустяк, а потом нас выменяют. Когда она ушла, мы обсудили ее предложение и сказали себе, что после того, как мы побываем в Швеции, нас возьмут под такое наблюдение со стороны собственной государственной безопасности... Во всяком случае, решительного «нет» мы не смогли ей сказать. Но тут кончилась финская война, и вопрос отпал сам собой.

На Новый год мы, как и в предыдущий, ссорились с Ниной: я считал, что я должен его встретить с мамой, которая одна, только с Татой и Алешей, а Нина тогда говорила, что ее мама тоже одна. Теперь Я.М. был дома, но Нина все же не хотела, чтобы я шел встречать Новый год к маме. Не помню, как мы порешили, — но потом, как обычно, поехали к Шуре Выгодскому и, как обычно, пили, «чтобы не было войны». Мировой войны, конечно: «малая» — не очень малая — война уже шла. Пили мы в этой компании только на Новый год и то чуть-чуть — в других случаях не было ничего крепче чая.

На Скороходовой обстановка стала чуть-чуть спокойнее. Мама работала библиотекарем в своем Первом медицинском институте и очень увлеклась своей работой, стараясь заглушить свой ужас и устремив все мысли на встречу через десять лет. Тата смирилась со своей судьбой. Бусыга (Андрюша) рос и радовал бабушку (никогда не поминал ни отца, ни деда, и это казалось странным — хотя потом, уже взрослый, говорил, что дедушку помнил очень остро). Алеша написал сценарий о военно-морской войне Советского Союза и даже получил поощрительную премию. В Политехническом институте он получил разрешение писать дипломную работу по корабельным турбинам.

Однажды он вдруг пришел ко мне на Суворовский, что случалось не часто, и принес мне кипу своих новых, не известных мне стихов с просьбой спрятать.[1] А через несколько дней было сообщение, что Алеша женится. Невеста была его одноклассницей, по имени Нина Луговцева, коротенькая девушка с выразительными карими глазами и зачесанными назад волосами; она оказалась лучшей из маминых невесток.

Алеша, Нина и вторая пара, тоже из их школы — Фима Эткинд и Катя Зворыкина, и третья — Леня Салямон и Гета Волосова — вместе проводили свой медовый месяц на станции Лисий Нос, у Мадлены Геральдовны Меллуп,

[1] К сожалению, они погибли у меня на квартире во время блокады; более ранние, детские стихи сохранились.

Фиминой (и университетской) преподавательницы французского языка, женщины весьма замечательной; я знал ее немного через дочку, дружившую с Наталкой Кавун и Надей Фурсенко. Другая ее дочь, Ремочка, была тоже человек весьма замечательный и привлекательный. Молодым у Меллупов определенно было хорошо. Алеша смирился с Катей Зворыкиной, на которую он очень сердился за разрушение тройственного союза друзей (Алеша, Эрик Найдич и Фима), чему была посвящена сатирическая «гомеровская» поэма «Катериниада» (гомеровская потому, что описывала гекзаметрами гнев и даже рукопашную драку героев).

А Миша, когда я его в очередной раз навестил, заявил мне, что он вступает в партию.

— Ты не можешь, — сказал я ему, — вступить в партию, у которой руки по локоть в крови твоего отца. — Он отступился. Я почувствовал влияние честолюбия Евгении Юрьевны — которая в конце концов и добилась своего, когда я не мог больше оказывать на Мишу влияние. Она видела его мысленно не ниже чем членом-корреспондентом, а беспартийный член-корреспондент Академии наук стал уже редким явлением.

Уже после Нового 1940 года я опять как-то зашел в Ламоттовский павильон к Мише. Он был встревожен и сказал мне, что его вызывали в Большой дом к следователю. Я сказал:

— Наверное, как и меня, свидетелем по чьему-нибудь делу?

Миша сказал, что это дело его не беспокоит, но попросил зайти к нему назавтра во второй половине дня — узнать, что и как.

— И, пожалуйста, — сказал он, — ты будешь на Скороходовой? Если можешь, принеси мне мою виолончель.

Алеша давно уже перестал играть на скрипке, хотя мама бережно хранила и скрипочку, и подушечку к ней; но Миша до недавнего времени — до папиного ареста — продолжал играть на виолончели.

На другой день я тащу виолончель по темному подъезду Ламоттовского дома. Миша, видно, услышал мои шаги и открывает мне дверь; стоит в дверях.

Я протягиваю ему виолончель и вижу выражение ужаса на его лице.

— Папа умер, — говорит он.

Я вхожу, ставлю виолончель в угол и спрашиваю:

— Что это ты говоришь?

Не отец мой в это время умер — он умер еще прошлой осенью, — умерла мучительная, неверная надежда.

Миша рассказывает, что он пришел к следователю — у того «была ко мне одна просьба» (он не сказал, какая — вербовал в стукачи? Возможно).

— Он мне сказал, что от этого будет зависеть папина судьба. А потом сказал: «Подождите немножко» — и вышел. Через несколько минут возвращается и говорит: «Я должен Вас огорчить, Ваш отец скончался».

— И с этим ты и ушел? — С этим и ушел. Он назвал мне день. — (Эту дату Миша тогда мне назвал, но я ее не помню — знаю только, что в

официальной справке, полученной мной в 1955 году, дата стояла другая.[1] Для меня дата смерти отца — 26 октября 1938 г., день, когда он выбыл из «Крестов»).

Мы договорились, что не скажем не только маме, но и вообще никому, чтобы до нее не дошло. Я почувствовал, что надо хоть куда-нибудь, но вон — опять выехать, как тогда в Аше. Но надо было продолжать жить.

[1] Редко кому сообщалась истинная дата — эти даты, может быть, не всегда и фиксировались. Причиной смерти в моей справке 1955 г. была обычная «сердечная слабость»...

Часть II

Молодость в гимнастерке

О времени

Уже не мы так сердимся и спорим,
Уже не мы так дружим и поем,
Уже никто не плачет нашим горем —
Нам одиноко порознь и вдвоем
Как это сделалось, как может это статься?
Зачем все те же топчем мы пути?
Уж им пора судить и волноваться,
А нам пора с дороги их уйти.

Эта, вторая часть моих воспоминаний — о моей молодости в военной гимнастерке.

Я должен предупредить читателя, что моя гимнастерка не фронтовая, а штабная. За полвека появилось у нас много повестей, романов, исторических очерков о той войне — настоящей войне, где стреляли, где давили танками, зарывали трупы солдат в ямы и где на переднем крае трудно было выжить более недель, если не дней. Но у той войны были и штабные тылы, политуправления, разведотделы, СМЕРШи; о них что-то мало написано, а без них этой нашей войны, вероятно, до конца не понять. Там можно было выжить.

Когда к сорокалетию Победы меня вызвали в военкомат, чтобы вручить орден Отечественной войны второй степени — который выдавался за одно только дожитие, ни за что другое, — то из сотни человек, сидевших со мною в зале, едва можно было насчитать двух-трех безусловных фронтовиков, различимых по ленточкам медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», по георгиевской ленточке ордена Славы или просто по одной ленточке «За победу над Германией» без офицерских орденов. Среди нас было несколько бывших сестричек, человек тридцать смершевцев, остальные — такие, как я, штабники.

Почти все солдаты, не убитые в бою и не сгнившие в лагерях за то, что побывали в плену, умерли рано в неуютные послевоенные годы. Памяти всех умерших солдат я хочу посвятить эти картинки из штабных тылов, где решались — или не решались — их судьбы.

Легко было писать воспоминания, начиная с первых проблесков детства. Но далее, перечитывая ранее набросанные страницы, я встречаю подробности, встречи, разговоры, которых я теперь уже больше не помню. Значит, и 1945 год получится у меня неточным, приблизительным — вспоминаются эпизоды, и, наверное, не все, а порядок их помнится неуверенно. Сама канва внутренних событий моей жизни уже не дает представления о той немалой сумме знаний относительно окружавшего меня общества и мира, которую я успел приобресть и дома, и среди родительских друзей и знакомых, и среди моих товарищей и приятелей, и из книг, и из газет — а я был усердным читателем. Чтобы отразить как-то все то, что я знал к концу тридцатых— началу сороковых годов, пришлось начать с нового предисловия к моим воспоминаниям все еще юных, но уже военных лет.

Как-то уже в шестидесятых годах одна молодая женщина говорила мне (или, по крайней мере, давала понять), что все наше поколение либо по глупости не понимало, что происходит, либо служило существовавшему

государству просто со страху. И это заставило меня подумать о том, что все, до сих пор написанное из моих воспоминаний, было рассчитано на понятность некоторых вещей самих собою, как что-то, не требующее пояснений. А оказывается, приходят новые поколения, которые не понимают того, что нам казалось совершенно ясным. Поэтому я и решил, прежде чем начинать воспоминания военного времени, сначала сказать о том, что, собственно, мы думали и что знали перед началом войны.

В тридцать девятом году мне было двадцать четыре года. Когда я говорю «мы», то имею в виду тогдашнюю молодую интеллигенцию, тех, кто родился перед самой революцией и сразу после нее. В другой среде могло быть и иначе.

Изложить то, что мы знали и думали именно тогда, будет нелегко. Как зафиксировать на этом именно уровне своего развития тот процесс познания и понимания окружающего, который никогда не прекращался? Попробую это все-таки сделать — если все не будет совершенно точно, то во всяком случае будет приблизительно так, как было.

Когда я начал вообще осмыслять что бы то ни было из происходящего? Ну, допустим, мне было 10—12 лет, то есть в 1925—27 годах. В это время гражданская война уже ушла в прошлое. И все, что произошло в гражданскую, принималось как свершившееся, — мало того, для нас, еще детей, — как давно свершившееся, как данное и уже не подлежащее обсуждению.

Конечно, гражданская война была одной из самых жестоких войн в истории человечества — по крайней мере, со времен монголов и до середины XX века. И много в ней было ужасного. Уничтожался физически целый класс. Масштаб этого уничтожения еще не вполне оценен, по крайней мере у нас в стране. Показательно, что именно Дзержинский был занят борьбой с беспризорщиной: беспризорные — это были не только дети умерших с голодухи и от тифа (в пораженной тифом или голодом семье сначала умирали дети, потом родители), но и дети тысяч и тысяч расстрелянных. Между тем, уничтожавшееся дворянство и так называемая «буржуазная» интеллигенция возникла не на пустом месте: when Adam plowed and Eve span, Who was then the gentleman?[1] И дворянство, и интеллигенция выросли из народа; дворян верстали поместьями за заслуги, не всегда мнимые, а в интеллигенты выходили тем более по психологическим качествам — то и другое закладывалось в гены. В дворянство вливались и незаконные дети — от крепостных девок, даже от турчанок. Не случайно многие из бывших беспризорных потом стали учеными, писателями, деятелями всякого рода. Известный талантливый археолог, член-корреспондент Академии наук, чистолюбец и активный проводник ортодоксальной линии в науке С.П.Толстов был из беспризорных — отец его был казачий генерал, воевавший против Чапаева. Из беспризорных же были, например, писатель Л.Пантелеев и его (впоследствии расстрелянный) соавтор Г.Белых, сочинители знаменитой в свое время «Республики Шкид»; из беспризорных был заведующий Отделом Востока Эрмитажа А.А.Аджян (тоже расстрелянный) и многие другие. Итак, в числе

[1] Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был джентльменом? (англ.).

беспризорных было немало остатков уничтоженного класса, которые несли его гены. Класса, уничтоженного физически, при том, что классовая принадлежность определялась чрезвычайно расширительно.

Но этот враждебный класс имел свою армию, и в этом смысле его уничтожение воспринималось нами не как геноцид (и слова такого тогда еще не придумали), а как жестокая часть жестокой войны.

Этот считавшийся враждебным класс не только уничтожался, но и покидал страну. Тогда я этого не знал, но уже после войны я выбрал из «Энциклопедии Брокгауза и Эфрона» всех упомянутых в ней русских деятелей науки, искусства, литературы и публицистики, находившихся в живых на 1917 г., и сравнил с Большой Советской энциклопедией и собственными сведениями. Около 60% этих лиц за время гражданской войны либо умерло, либо ушло в эмиграцию. Интересные данные о размахе террора может дать статья «Смертная казнь» в «Энциклопедии Граната», продолжавшей выходить уже при Советской власти до самой Отечественной войны. В передававшихся по телевидению воспоминаниях дочери великого кораблестроителя академика Алексея Николаевича Крылова (который, естественно, до революции был генералом) был такой эпизод: внучка Крылова, увидев его фотографию в генеральской форме, спросила его: «Дедушка, ты был генерал? Как же тебя не расстреляли?» — Вопрос по существу.

Когда гражданская война кончилась, то одним вообще не хотелось вспоминать, другие старались вспоминать одно хорошее (а оно есть и во время войны — любой войны), третьи обо всем умалчивали потому, что надо было воспитывать молодое поколение без груза всех ужасов. Так было в той среде, к которой я принадлежал в течение всего детства и юности.

Но ужасы были. Об этом хорошо знали наши родители. Хуже знали мы, потому что детям, естественно, многое не рассказывалось. Однако все же, конечно, немало было и нам известно. К концу двадцатых—началу тридцатых годов мы знали о гражданской войне довольно хорошо, хотя и не в полную меру. В двадцатые годы начали выходить в Советской России кое-какие «белые» мемуары — например, Шульгина; еще в Норвегии я читал «Жизнь на фуксá» хорошего эмигрантского писателя Романа Гуля. Кроме того, были еще не подвергшиеся редактированию первые издания романов Фадеева и Фурманова, где действия красных хотя и восхвалялись, но кое в чем вызывали у такого читателя, как я, содрогание. Например, у Фурманова сообщалось, что только первого безоружного расстреливать трудно. Была «Конармия» Бабеля, был далеко не заумный, очень реальный Пильняк, был «Ночной обыск» Хлебникова и были случайно услышанные разговоры взрослых.[1]

И еще надо ясно представить себе, что сама не помершая от тифа и других причин интеллигенция была гражданской войной разделена надвое: кто-то ушел с белыми и, если не погиб, то эмигрировал; кто-то остался.

Кто-то уходил в Белую армию, но кто-то уходил в Красную. И так почти

[1] Любопытно, что хотя была такая аксиома марксизма — что мелкая буржуазия, как промежуточная социальная группа, не может создать своей постоянной власти, но тем не менее большевики превозносили кровавого доносчика Марата и утверждали, что Робеспьер и якобинцы (т.е. французские мелкие буржуа) погибли из-за недостаточного террора (было казнено всего несколько десятков тысяч человек). И поэтому большевики старались не повторить ошибок якобинцев.

в каждой семье. Вот у нас мамина сестра тетя Женя была в Красной армии, а ее любимый брат, дядя Толя, был в Белой. А мой двоюродный брат Боря был сначала в Белой, потом ушел в Красную. Дело, конечно, было вовсе не в том, что кто-то чего-то боялся, а другой нет, или что один был глупее, другой умнее... Дело было главным образом в том, что нечего было противопоставить тому, что предлагали народу большевики. Они шли к нему с определенной идеей. Да, они проповедовали, что цель оправдывает средства, но сама цель была рассчитана на самые добрые эмоции: жестокость сегодня должна была оправдаться всеобщим благом в будущем. Это теперь, с высоты семидесятилетнего опыта, видно, что та часть большевиков, которая определяла ход событий, не собиралась на самом деле отдавать землю крестьянам; что умственно сконструированная ими экономика оказалась громоздкой, малопродуктивной и разрушительной; что приучение тысяч и десятков тысяч к убийствам без суда с неизбежностью создавало кадры для всеобщего террора, невиданного в мировой истории и по своему размаху, и по своей бессмысленности; что для биологии человека необходимо сохранение ценных генов: расстреливая их носителей (Болконских, Ростовых, Нехлюдовых, Кирсановых, Базаровых, Штольцев, даже Обломовых), мы уничтожаем целые поколения возможных будущих людей, выдающихся по уму и нравственным качествам; что «демократический централизм» автоматически содействует тому, что вверх поднимаются либо умные, но услужливые и бессовестные, либо же тупицы, либо даже просто «паханы» — главари уголовников; что под них же станут подравнивать себя люди средних возможностей, способностей и твердости духа; а что идейные фанатики с интеллигентными лицами и рублевскими глазами, какие теперь увидишь только в фотографиях на стенах музеев, все сами падут жертвой затеянного ими кровавого дела. Но кто все это мог предвидеть тогда? Тридцать седьмой год отстоял от семнадцатого лишь на двадцать лет (столько, сколько от Хрущева до Горбачева), и все восторги и ошибки девятьсот семнадцатого были напрямик восприняты и моим поколением — еще более некритичным, потому что о прошлом оно знало не по жизненной практике, а со слов старших и из книг, признанных руководством к действию.

А поколением раньше самый умный из марксистов Г.В.Плеханов отвергал средства, но признавал цель; самый умный из интеллигентных кадетов П.Н.Милюков мечтал о конституции английского типа — и не ощущал ее полной неосуществимости в хаосе пришедших в движение озверевших людских масс.

Масс, озверевших из-за двух войн, на протяжении одного десятилетия затеянных самим правительством России, одна страшнее другой. А либералы поддерживали обе эти войны — и тем самым и голод, и разорение, и нарастающее озлобление крестьянства. Эсеры? Но эсеры сами были за террор — правда, не массовый, не за геноцид, а за индивидуальный. Но и для них цель оправдывала средства. Правые? Те хотели вернуть «все как было» — этого в истории не бывает. Сейчас, семьдесят лет спустя, нам говорят: Столыпин! Но Столыпин тогда в наших головах был связан с подавлением девятьсот пятого года, с виселицами. Мыслители? Достоевский (с одной стороны), Салтыков-Щедрин (с другой)? Но один, хотя и проповедовал

смирение и единство всего человечества, но при одном условии — единения только внутри православия, что явно было неосуществимо — а эта безумная идея заставляла его если не проповедовать, то исповедовать религиозно-национальную ненависть в стране, кишевшей угнетенными народами (отсюда его «французишки», «полячишки», «жидки»); второй вообще не проповедовал, но, рисуя гротескную карикатуру николаевской и послекрымской России, не знал еще того, что он в действительности предвидел бюрократический социализм. Где было найти того мудрого, кто нашел бы наиболее правильную дорогу? Легко судить прошедшее из будущего.

Оставались те, «кто бросались в житейский колодец, не успев соразмерить разбег». Оставался Ленин, но и он действовал наощупь: ни экономической, ни политической теории социализма не было создано; и он лишь в последние годы жизни — уже после ужасов гражданской войны — начал нащупывать какие-то более реальные пути; а до того было — «все то нравственно, что на пользу коммунизму» (так и не наступившему). И в том числе нравственно чека.[1]

Легко судить прошедшее из будущего!

Не зная будущего, люди восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого годов судили по тому, что виделось в настоящем. Одних ужасал террор (или же им просто грозила верная смерть вместе с истреблением класса, в котором они родились или к которому их относили) — и эти уходили к белым, которые ни в коем случае не могли выиграть войну, пока крестьянский народ был за красных (то есть пока большевики обещали землю крестьянам); других поражала убежденность красных и широта обещанных ими горизонтов — и, главное, идущий за большевиками народ, а быть с народом завещала им вся традиция русской интеллигенции; эти уходили к красным. Нам говорят теперь, что народ не шел за красными: из города этого, во всяком случае, не было видно, да вряд ли это и верно. Крестьянство (если не считать казаков и некоторых других групп) было с семнадцатого года за большевиков и стало отходить от них из-за продразверстки;[2] но в основном именно крестьяне восвали в Красной Армии и выиграли для большевиков гражданскую войну, и были за них по самую коллективизацию. С одной стороны, то, что большевики среди крестьян выделяли, по крайней мере, «хороших» (бедняков, будто бы осуществлявших диктатуру вместе с рабочим классом), а с другой — то, что аграрная политика белых была совершенно ошибочна, —

---

[1] Ленин, несомненно, хотел власти. Но, подобно другим таким людям, как он, был искренно убежден, что именно его власть принесет наибольшее благо человечеству (ибо речь шла о всемирной революции).

[2] Продразверстка свелась фактически к насильственному отобранию хлеба и фуража, а позднее и скота у всего крестьянства, кроме самой голытьбы. Она проводилась по всей стране с января 1919 г. (а кое-где и раньше) и по март 1921 г. Это совпало с периодом принудительной мобилизации крестьян в Красную Армию, вместо вербовки добровольцев, как в 1918 г. Уже в 1920 г. начались массовые крестьянские восстания, куда следует отнести и Кронштадтский мятеж. Все они подавлялись путем почти поголовного истребления восставших. Аграрная «политика» белых, однако, очень помогла красным удержать за собой большинство крестьянства. — Нечто сходное произошло в войну 1941—1945 гг.: крестьянство из-за колхозов готово было поддержать немцев в 1941 г., но сами немцы своей политикой помогли Советской власти удержать крестьянство на своей стороне. Сравним пугачевское движение: те пугачевцы, которых сразу же не повесили, потом беспрепятственно служили в екатерининской армии или своим помещикам.

все это обеспечивало большевикам поддержку значительной части крестьянства в течение гражданской войны.

Большевизм 1918 г. нельзя сопоставлять с другими, позднейшими явлениями в Европе, когда там возникали тоталитарные идеологии, построенные на представлениях совсем иного уровня. Убеждение в том, что Октябрьская революция — лишь преддверие мировой революции, прочно держалось и в двадцатые, и в тридцатые годы. Кто присоединялся к большевикам из идейных, кто из корыстных соображений, кто спасал жизнь — но как-то никто не хотел стоять на пути у победоносной мировой революции; и так как предполагалось, что эта революция несет свет народу, то интеллигенции казалось, что, при всех оговорках, ее место с революцией, а не против нее.

Итак, с революцией дело тогда обстояло по Светлову: «Пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Немецкие же фашисты (нацисты) не собирались ничего отдавать кому бы то ни было, кроме как самим себе. У нас же в идее речь шла о том, чтобы всем на земле было хорошо. В нашей среде молодой интеллигенции могли сомневаться — и сомневались — в средствах, но не сомневались в благости цели. И при этом — революция же была мировой! — не делалось никакой разницы между народами. Это было очень важно, это вошло нам в плоть и кровь.

Вот сейчас, например, люди из молодого и среднего поколения часто представляют себе дело так, что в числе руководящих большевиков господствовали евреи и «инородцы», озабоченные именно тем, чтобы угнетать русский народ, русских крестьян. На самом же деле тогда в Советской России совершенно не думали в этих категориях. Было объявлено всему миру, что надо дать землю крестьянам, что надо освободить рабочих, чтобы предоставить максимум возможностей для любого трудящегося человека. Лозунг «земля — крестьянам» был эсеровский, социал-демократы всегда стояли за то, чтобы земля была государственной. Но в революцию эсеровский лозунг принял Ленин, и именно этим обеспечил большевикам победу. (Правые эсеры предпочитали ждать Учредительного собрания, которое должно было дать демократическую конституцию, и уже по конституции крестьяне получили бы землю на законных основаниях. Но сколько можно было ждать?) Солдаты и крестьяне терпеть более не могли и пошли за тем, кто реально давал землю. То обстоятельство, что много евреев попало в число руководящих большевиков, объясняется тем, что евреи были угнетенным народом в царской России, и естественно, что они шли в революционеры, точно так же, как латыши, точно так же, как закавказцы. Большевики до революции стояли за передачу земли государству — и так в конце концов и сделали. Сделали не потому, что среди них были евреи, а потому, что они были большевики. Но у большевиков того времени, несомненно, и в мыслях не было, чтобы что-то не дать определенному народу, или что-то отнять у какого-то определенного народа. Верили в общее благо без различия народов — «без Россий, без Латвий», как сказал Маяковский.

И в благотворность смертной казни для всего буржуазно-помещичьего класса тоже верили — без различия наций (от смерти представители этого класса спасались лишь случайно или «в порядке исключения» — расстреливали «как правило», как любят выражаться наши законодательные акты).

Пока что фактом казалось то, что революция приносила всем, кто пойдет за нею, нечто полезное и важное. Поэтому в моем поколении ни коммунисты, ни беспартийные совершенно не мыслили в национальных категориях, будь то русские, армяне, евреи или латыши. И речь шла именно о том, чтобы ценой огромных страданий и потерь принести всему человечеству некое постоянное благо. И естественно, что за красными пошли очень многие, а белые в общем ничего не могли предложить, хотя в тылу у них были Учредительное Собрание и демократия. Но тон там задавали не они, а крайние правые, особенно офицерство. А правое офицерство в целом было убеждено, что все нужно восстановить в точности, как было; крестьян пороли шомполами и ничего конструктивного выдумать не могли. Если красные расстреливали, то белые вешали. При этом существенно, может быть, и то, что расстреливали (много) в подвалах или дальних оврагах, очень редко на улицах,[1] а повешенных (хотя их было поменьше) видели все. Кроме того, интеллигенции было крайне неприятно, что белые опирались на иностранцев, и этим как бы продавали Россию. В то же время взрослое поколение русской интеллигенции и в Советской России, и в белой армии было действительно недовольно тем, что к советской власти приходят люди неинтеллигентные и нередко чужаки, в том числе евреи. Но мы, младшие, смотрели иначе. Всемирный характер происходившей революции снимал для нас все национальные вопросы. И, кстати говоря, евреев полно было и у белых, кроме как в самых правых партиях, — среди эсеров, меньшевиков, кадетов.

Зверств, конечно, было очень много. И среди белых. И среди красных. Если говорить о красных, то да, уже в то время были лагеря, куда сгоняли, допустим, меньшевиков, эсеров (мы этого положительно не знали, но подозревали). Был массовый террор, причем и тогда он был непонятен. Например, если правый эсер Каннегиссер застрелил троцкиста Урицкого (кстати, оба были евреи), то почему за это был развернут террор против дворянства и буржуазии? А именно так оно и было. В 1918—19 гг. было физически истреблено почти все дворянство. Расстреливали в подвалах ЧК, расстреливали прямо в квартирах. Брали город с приказом немедленно ликвидировать буржуазию — как ее быстро выявить? Случалось, что расстреливали по телефонной книге: раз есть телефон, значит буржуй. В Крыму расстреливал с конца 1920 г. Крымский ревком, включавший венгерского революционера Бела Куна, Розалию Землячку и Дмитрия Ульянова, брата Ленина. Ревком в качестве буржуазии практически поголовно истребил застрявших в Крыму дачников — места массовых расстрелов показывали еще в середине 30-х годов. Усердие ревкома усиливалось потому, что первое большевистское правительство Крыма было в 1918 г. — еще до учреждения большевиками ЧК — расстреляно белыми почти в полном составе. После окончательного взятия Крыма все бывшие офицеры были вызваны для регистрации — и расстреляны. То же сделал Зиновьев в Петрограде.

Белые же зверствовали и в Крыму, и по всему пути своих наступлений.

[1] До 1930 г. вывешивались списки расстрелянных — но, конечно, только расстрелянных, так сказать, в организованном порядке.

А еще были местные националисты, махновцы, петлюровцы, бело-зеленые, красно-зеленые и просто зеленые. Все расстреливали массу людей, некоторые также и вешали или придумывали казни еще похлеще. Об этом мы знали меньше, потому что литературы о белой армии выходило мало, а о зеленых литературы и вовсе не было. Но все же и тут мы многое знали.

Однако все, что делается ужасного в прифронтовой полосе при любой войне, историей списывается, ибо это присуще войне. Так произошло и здесь.

А с другой стороны, большевистская власть явно стремилась дать свет народу, просвещение, то есть то, о чем интеллигенция мечтала десятилетиями. Это все начало осуществляться в течение короткого времени в стране, где почти половина населения была неграмотной. Так называемый «ликбез» был великим мероприятием, которое нельзя было не оценить. Не то чтобы он давал такую уж высокую грамотность, но на наших глазах весь народ стал читать и писать. Бесплатная медицина, которая сейчас становится до известной степени отягощающим грузом, тогда была огромным благом, так как большинство было лишено какой бы то ни было врачебной помощи.

И, главное, все хотели учиться, в особенности среди рабочих. Приятное зрелище — сдешь в трамвае, все читают, и не Пикуля, и не детективы, а Толстого, Горького, и учебники, учебники. Буквально каждый рабочий еще кроме того и учился. Если в те времена молодой человек, поступая на первый курс ВУЗа, задал бы вопрос: «А какую зарплату я буду получать?», то его просто подвергли бы общему презрению, с ним никто разговаривать бы не стал. Это, несомненно, было хорошо, и это принесла советская власть.

Поэтому, а не из-за карьеры, многие из интеллигенции стали вступать в партию. Я не могу сказать, что не вступали и из-за карьеры, но должен сказать, что явные случаи такого рода стали мне самому встречаться только во второй половине тридцатых годов. Я не отношу к карьеристам тех, кто вступали в партию с целью уравновесить отрицательные моменты в анкете: анкета ведь определяла так много в жизни. Если у тебя отец был дворянин, пути в жизнь были почти закрыты; если священник или офицер — закрыты полностью. Я уже упоминал, как мой университетский приятель Миша Гринберг говорил: когда он видит ортодокса, бьющего себя в грудь, его всегда занимает вопрос, кто его папа: фабрикант или жандарм? Но все же поступление в партию по идейным мотивам было среди молодой интеллигенции весьма распространено.

Но молодые люди моего круга в партию нередко не шли, предпочитая оставаться беспартийными.[1] Конечно, тут были оттенки. Некоторые считали, что в партии нужно быть кристально чистым и полностью разделять все ее идеи, и что им это не по силам. Другие относились и к партии, и к ее идеям более или менее скептически. Я считал, например, что, поскольку народ идет за партией, то нужно быть в отношении ее лояльным — но не более. Однако и у меня были изредка колебания — не надо ли и мне вступить в партию или в комсомол. Общий энтузиазм не оставил в стороне и меня. Насколько это настроение было всеобщим, видно на одном примере. Мой приятель Котя

[1] Примерно половина на половину. Из тех моих одноклассников в 176-й школе, которые считались «буржуазными», до половины позже вступили в партию.

Гераков был не только сыном дворянина, но и сыном «правоведа», т.е. воспитанника Училища правоведения, привилегированного учебного заведения, готовившего в царское время высших чиновников. Почти все правоведы были расстреляны в дни террора (о двух-трех правоведах, сохранившихся в востоковедении, я когда-нибудь расскажу особо). Был расстрелян и отец Коти.

Тем не менее в наших беседах, неизбежно касаясь политики (начало тридцатых годов было периодом подъема и коммунистического, и нацистского движения в Германии, и мы понимали, что германские события определят всю историю Европы и нашу судьбу), мы с Котей одинаково исходили из уверенности в мировой революции, и спорили только о сроках (придут к власти коммунисты в Германии — будет революция во Франции. Когда это будет?). Причем победа коммунизма мыслилась как Всемирный Советский Союз.[1] Об этом пели повсюду:

Два класса столкнулись в смертельном бою,
Наш лозунг — Всемирный Советский Союз,
Наш лозунг — Всемирный
Советский Союз!

Об этом же говорила Клара Цеткин, соратница Энгельса, Меринга и Либкнехта, открывая в качестве старейшего депутата германский рейхстаг нового созыва в августе 1932 года. И за ней стояло шесть миллионов немцев, проголосовавших за коммунизм, — а было бы и больше, если бы Сталин не запретил Коминтерну блокироваться с социал-демократами.

Существовала еще проблема коллективизации. Это нас непосредственно не затрагивало, потому что происходило в деревне, и многие из нас — это покажется невероятным — действительно ничего не подозревали. Ведь кулаков, по лозунгу, ликвидировали «как класс», а не как личностей. Но сам я, хотя знал далеко не все, но кое-что соображал. Присяжий из Норвегии, я знал, что там бедный крестьянин меньше четырех коров не имеет, а у нас раскулачивали за две, а иной раз и за одну — и ссылали в Сибирь. Это было странно и страшно. (Лишь в 1982 г. до меня дошло известие — не знаю, верное ли, — что в Омской тюрьме «кулаков» убивали газом в автомашинах-душегубках).

Вместе с тем, от моего отца я знал уже в Норвегии, что у нас в России кризис с товарным хлебом. Землю роздали крестьянам маленькими кусочками, и она еще дробилась с ростом семей. В результате каждый выращивал хлеб для своей семьи, а до международного рынка и даже до города хлеб не доходил. Я тогда еще не знал, что к концу 20-х гг. был введен непомерный налог как раз на те крестьянские хозяйства, которые могли бы стать товарными. Но я знал, что мы перестали вывозить хлеб. Первый раз Советский Союз ввез хлеб не в 50-х, а в 1929 г., потому что товарного хлеба не стало.

Мы тогда не представляли себе, что после большевистской земельной реформы кулаков в собственном смысле в деревне вовсе не было, а были крепкие крестьяне, которые (если кто) именно и могли давать этот самый товарный хлеб; и именно они подверглись истреблению как кулаки и

[1] Что-то о мирном соревновании двух систем мы в те дни не слыхивали.

высылались в чем мать родила, мужики отдельно, женщины и дети отдельно (чего мы не знали). Чисто лиц, подлежащих раскулачиванию, видимо, разверстывалось сверху по сельсоветам, не исходя из действительного числа состоятельных крестьян, а исходя из среднепотолочного планового задания. Поэтому, если нужен был хлеб для экспорта (и, соответственно, для импорта оборудования, необходимого при индустриализации), то коллективизации как раз производить не надо было. Теперь мы это знаем в цифрах,[1] тогда мы их не знали. По заученной нами теории выходило, что уже простая кооперация позволит увеличить производительность труда по сравнению с единоличным хозяйством.

Колхозы вводились так ускоренно не только в связи с хлебным вопросом. Нужно было еще перекачать средства и рабочую силу для строившейся промышленности. (Между прочим, многие так называемые «кулаки» смогли таким образом спастись и «перевариться в рабочем котле». Из них вышли потом как ненавистники советской власти, так и ее подхалимы; в том числе видные «писатели»-чиновники с якобы пролетарским прошлым).

Были, видимо, и другие политические причины, не знаю, более ли веские — в том числе и борьба наверху за власть; не знал тогда, не знаю и теперь, а следовательно, о том не стану говорить.

Поспешная коллективизация с уничтожением всех сколько-нибудь работоспособных хозяйств привела, как известно, к чудовищному голоду 1932 г. Когда мы ехали отдыхать в Крым, то по дороге видели вдоль железнодорожного полотна умирающих от голода, хотя мама отвлекала нас от окон. Когда я в 1939 г. был на раскопках Кармир-блура в Армении, то и там среди наших рабочих, помимо армян, были беженцы от голода с хлебной Кубани. Миллионных цифр жертв мы не знали, но не могли не знать, что коллективизация далась немалыми потерями. Видели и редкие колосья на колхозных полях, где несколько лет назад стояли густые хлеба.

Что-то из этого было нам известно; но вспомним настроение среди тех, кто нас окружал: НЭП рассматривался как уступка капитализму, как отступление; он вызвал огромное разочарование: вспомним знаменитое, бывшее на устах у всех рабочих «За что боролись?» После сворачивания НЭПа в городах, население, увлеченное идеями индустриализации и быстрого достижения социализма, было полно энтузиазма и преданности советской власти. Наибольший подъем был в 1936 г. Разве что старцы, казавшиеся нам совершенно ископаемыми, имели какие-то сомнения. Все остальные в моем поле зрения считали, что советскую власть надо поддерживать. Одни считали достаточным лояльное к ней отношение, другие включились в партийную работу сами, но таково было общее настроение.

Сила убежденности в необходимости и неизбежности социализма была такова, что даже ужасные 1937 и 1938 гг. не могли уничтожить ее. Конечно, я — и, думаю, мои друзья — считали, что социализм такими методами строить нельзя, но что его все-таки надо строить — сомнений не было. Мы этих годов не поняли, как мы не поняли — и даже не знали — коллективизации. Нам было ясно, что схвачено много больше людей, чем

[1] Недаром Сталин расстрелял статистиков, проводивших перепись в 1937 г.

надо, но, казалось, это делается по неумению следственных органов, по их полуграмотности, из-за перенесения методов террора гражданской войны на мирное время. Масштаб бедствия все же не полностью осознавался. О расстрелах мы слышали редко. Десять лет, тем более — без права переписки, конечно, свирепая и, как посмотришь, кого она постигала, явно несправедливая кара. Но она давала родным надежду, а то, что она означала расстрел, скрывалось самым тщательным образом. Однако если и было ясно, что пострадало очень много невинных, но что их много миллионов — это не осознавалось, и сколько из них было расстреляно — тоже никто не знал.

Очень существенно было то, что все население было объято полным молчанием — на эти темы не разговаривали даже с друзьями, даже с самыми близкими сотрудниками: было ясно, что доносы всегда идут от близких, от ближних. Выдавали ведь жены мужей, выдавали, казалось бы, лучшие друзья. Поэтому ни с кем нельзя было обсуждать положение, что-то еще узнавать, сопоставлять свои и чужие наблюдения — это было смертельно опасно. Все же мы думали, что хотя хватают тех, кто вовсе не враги, но для того лишь, чтобы не упустить в их массе врагов действительных. Какие-то политические движения, враждебные власти, должны же были существовать, думали мы; а что все эти аресты были абсолютно на пустом месте, никому не приходило в голову. Да и какому здравому человеку такое может придти в голову?

В каждой семье был кто-нибудь пострадавший, и каждая семья знала, что он-то пострадал безвинно. Но, не имея возможности ни с кем говорить об этом, считали, что наши семьи — все же какое-то несчастное, хоть и очень нередкое исключение.[1]

Да, до 1936 г. в нашем поколении не было страха, и страх не двигал поступками людей; но теперь опасность, действительно, ширилась и становилась массовой. И выдавали друг друга со страху, но увы — не только со страху, но и по убеждению, что тем помогают советской власти строить социализм: отдавали себе отчет в том, что данные их доноса ненадежны, и в то же время верили, что в НКВД сидят мудрые люди, которые разберутся и отпустят невиновных. Таких «верующих», видно, было немало. Я-то, конечно, не только к этому времени, но и никогда в НКВД не верил. Но и я, как и мои окружающие, думал, что массовость террора рождена массовым невежеством исполнителей.

Все это полузнание затрудняло осмысление происходящего, замедляло его. К тому же приходилось думать не о глобальных причинах беды, а о том, не сошлют ли нас самих, останемся ли мы в Ленинграде и на работе.

Когда я говорю: было смертельно опасно, мой читатель конца века, пожалуй, скажет:

— Ага, значит, все-таки побудительной причиной поддержки существующего порядка был страх.

Нет. Могу о себе сказать, что, как и все люди, знаю, что такое страх, но нет, страха как такового я не испытывал. Воевавшие меня поймут, если я скажу, что в атаку на пули идут не для личного, а для общего спасения и,

---

[1] Сейчас, похоже, можно сказать, что репрессиями, так или иначе, было охвачено до 10% населения. Такую же цифру для репрессированных в 1940 и 1948 гг. в Прибалтике называет, независимо от моих прикидок, и «Энциклопедия Британника».

во всяком случае, в состоянии личного умопомрачения; и не тот смел, кто безрасчетно лезет на брустверь. Тот трус и подлец, кто губит другого, чтобы спасти свою собственную шкуру — грозит ли ей что-нибудь или пока еще не грозит, — но тот не трус, кто не создает преднамеренно опасной для себя ситуации без пользы не только для себя, но и — главное — для других. И не страх, а непонимание происходящего удерживало от осуждения того, что нам называли социализмом.

Ни подвести итоги размышлениям, ни вычислить ориентировочно процент жертв не пришлось: в 1939 г. началась мировая война — пока еще за нашими рубежами, но мы не сомневались, что она дойдет и до нас. Никому из нас, конечно, никогда не приходило в голову, что в этой войне можно стать на сторону врага. Переосмысление нашего собственного террора шло негласно и понемногу, а что немецкий фашизм есть зло, не подлежало никакому сомнению. И что свою страну надо будет защищать, тоже было самоочевидно, что бы в ней ни творилось. Социализм строится не так, как надо, — слишком большой кровью. Но человечеству нужен именно социализм, а фашизм — всемирная беда. С таким багажом мои друзья и сверстники подошли к войне.

Глава первая (1939—1941)

Начинается война
И кровава и длинна,
В лазаретах запах пота
И солдатского сукна.
Трупы, трупы как грибы,
Рядом делают гробы...
Мы не мертвы, мы устали
От походов и пальбы.
На дороге столбовой
Умирает рядовой.
Он, дурак, лежит, рыдает
И не хочет умирать.
Оттого что умирает,
Не успев повоевать.
Он, дурак, не понимает,
Что в такие времена
Счастлив тот, кто умирает,
Не увидев ни хрена.

Мирон Левин (1934)

I

Воспитание мое продолжалось.

В нашем дружеском кругу мы считали, что война с Германией начнется осенью 1941 г. Непосредственных признаков именно такого грядущего конфликта мы не видели, но тучи явно сгущались.

Правда, мы совершенно не представляли себе ту войну, какая на самом деле произошла. Дело в том, что до этого, из года в год, на съездах и приемах выпускников военных училищ Сталин говорил, что мы победим, как тогда говорилось, «малой кровью, могучим ударом». У нас сильная армия, замечательные полководцы, война несомненно будет идти вне нашей территории, сразу будет перенесена на вражескую, и будет быстрой. Конечно, мы не могли не видеть, что Германия захватывает одно за другим европейские государства: захватила Чехословакию, в семнадцать дней покорила Польшу, армия которой считалась хорошей, затем Бельгию и Голландию, менее чем за полтора месяца уничтожила армию Франции, первоклассной мировой державы, завоевала Грецию, Югославию, фактически присоединила Болгарию, Венгрию и Румынию, почти голыми руками взяла Данию и Норвегию (сводки называли по радио такие знакомые и родные норвежские городки и долины — я ведь вырос в Норвегии). Война нависла над Англией.

Всё держалось на волоске. Мы понимали, что германская армия крепнет, становится все более мощной, но по-прежнему считали свои вооруженные силы достаточно сильными, чтобы противостоять Германии. Хотя и относясь к числу скептиков, я и то проявлял недостаточно скептицизма. А мой брат Алеша, который был из числа энтузиастов, очень во все это верил. Он перед войной написал сценарий к кинофильму, с которым выступал на конкурсе молодых сценаристов и даже получил за него поощрительную премию. Сюжет заключался в том, как наш военный флот громит неизвестного врага (и, конечно, подразумевалась Германия). В скором времени корабли победоносно возвращаются. Сам себя он изобразил инженером на одной из подводных

лодок, а меня — как молодого ученого-латиниста, который стоит на крыше и тушит зажигалки. Настоящая война вся оказалась совсем не такой.

Надо сказать, что последние годы, месяцы и дни постоянно проходили военные учения, так хорошо описанные у Ильфа и Петрова, где Остапа Бендера хватают как условно убитого и волокут на носилках. А тем временем уже прошла финская война, которая должна была бы подготовить нас к большим неприятностям.

II

Последние месяцы с весны 1940 по лето 1941 года мелькают в памяти — их подавляют последующие воспоминания. Просто перечислю события, очень кратко.

12 марта кончилась Финская война; в те же дни Нине удалось у проректора, Ю.И.Полянского, добиться перевода в университетскую аспирантуру.[1]

В конце апреля Нина рожала, — по настоянию Л.М. и по какому-то ходатайству — в Свердловской (правительственной) больнице. Она разбудила меня рано утром, я спросонка ничего не понял, потом бросился вызывать машину. Нина спокойно между схватками продолжала готовиться к аспирантскому экзамену. Я свез ее и поехал в Эрмитаж; с подъезда позвонил в родильный дом — родился мальчик, очень большой.

Нам с Ниной ясно было, что его зовут Мишей, в память моего папы.

Когда Нина вернулась из больницы, начались ужасные дни. В Свердловской больнице всех подряд заражали грудницей. У Нины температура сорок, мальчик кричал как зарезанный и не мог есть свою загноившуюся еду. Родичи Нины ходили из угла в угол, ломая руки, и вызывали врачей — один нехорош, другой, может быть, будет лучше. А не лучше, тогда третьего... Один говорит — резать, другой — ни в коем случае не резать, один говорит бинтовать, другой — не бинтовать. Нина лежит не кормленная, не ухоженная — а тем временем вышел страшный указ: за опоздание на службу свыше 21 минуты (не говоря уже — прогул) — под суд и в тюрьму.

Что было на улицах по утрам! Люди выбегали полуодетые, останавливали проезжавшие машины и даже мотоциклы.

Много было указов. Отменили пятидневку (нет — уже шестидневку), восстановили семидневную неделю. Запретили аборты (под суд и в тюрьму). Потом разделили школы на мужскую и женскую. Да всего не упомнишь.

По утрам я бегу с трамвая под арку и к Эрмитажу бегом. Кто из эрмитажников меня завидит — тоже бежит: известно, что я вбегаю в последний момент. Наконец-таки я опаздываю третий раз в месяц — Милица Эдвиновна пишет директору объяснительную записку, сообщая, что она посылала меня в библиотеку по своему поручению и забыла известить дирекцию. Милица Эдвиновна получает выговор, я не попадаю под суд. Но с Ниной сидеть тоже не могу, да и не знаю, с какого бока взяться за больную. Только по ночам я пою «Спи, младенец мой прекрасный» и «По синим волнам

---

[1] М.П.Алексеев, хотя и оставался ее руководителем, был не очень доволен Нининым переводом: в Герценовском заведовал кафедрой он сам, а в Университете — В.М.Жирмунский. Нина сказала Полянскому: — Если я останусь в Герценовском, у меня родится урод. — Тот засмеялся и отдал приказ о переводе.

оксана» вопящему крошке. Спасибо, появляется Ниночка Панаева, Нинина ученица с курсов, сверстница и теперь подруга. Она входит, выставляет всех за дверь и берется за уход и кормление. В несколько дней все приходит в норму.

Мы нанимаем какую-то дремучую няньку, которая живет с нами в одной комнате, за шкафом, повернутом ребром.

На лето мы уезжаем с Ниной Панаевой и ее мамой в Дубки — это место на Финском заливе, недалеко от Лисьего Носа — вместе с другой, много постарше ее Нининой ученицей с курсов, Марией Ивановной Русановой и ее мужем. У меня отпуск мал, я курсирую между Дубками и Ленинградом. В 1940 г. Б.Б.Пиотровский не пригласил меня на раскопки Кармир-блура. Не участвовал и Е.А.Байбуртян: его «взяли», и он больше не вернулся. Вместо него поехал И.М.Лурье.

В течение лета СССР оккупирует одну страну за другой: в начале июня — Бессарабию, принадлежавшую прежде царской России, но населенную в основном румынами (вследствие чего получаем военный союз диктатора Румынии Антонеску с Гитлером); Бессарабию присоединяют к Молдавской АССР (которую при этом урезывают, оставляя только ту часть, в которой действительно живут румыны + Кишинев), и делают Молдавской союзной республикой, а бессарабских и наших румын объявляют отдельной нацией молдаван. Заодно оккупируют половину Буковины, никогда не принадлежавшую царскому правительству, но населенную украинцами (и отчасти теми же румынами). Между серединой июня и началом августа проделываем акцию с Прибалтикой. Сначала мы представляем Литве, Латвии и Эстонии ультиматум о допущении на их территорию наших войск с целью защиты от возможного германского нападения (но, конечно, — негласно с ведома Германии); Гитлер дает приказ (или мы даем приказ? Не разберешь) всем прибалтийским немцам (а их очень много!) выселиться в Германию; мы начинаем волну арестов среди местного населения, затем инсценируем «единогласное избрание» в новые учредительные собрания, которые — единогласно же — просят Президиум Верховного Совета СССР принять эти республики в состав Союза. По всем присоединенным территориям проходит террор не хуже нашего 1937—38 года — если не того паче. Въезд на эти территории старым гражданам СССР запрещен, и переезды железнодорожные и шоссейные «на замке», как государственные границы.

Все же кое-кто туда попадал — по особым командировкам и с особого утверждения. Так, Александру Павловичу Рифтину удалось еще осенью 1939 г. съездить во Львов. Не знаю, какова была официальная цель его командировки, но он хотел попытаться найти Варшавского ассириолога-юриста Мозеса Шорра, автора важной книги по старовавилонским юридическим документам (а А.П. как раз выпустил книгу «Старовавилонские юридические и хозяйственные документы в собраниях СССР»). Но оказалось, что Шорр, хотя действительно бежал во Львов (он был, по совместительству, главным раввином Польши), был тут же арестован нашими как польский сенатор, и бесследно исчез.

Вероятно, осенью 1940 г. мы получили в Эрмитаже коллекцию Н.П.Лихачева. В связи с тем, что Мраморный дворец занимали под новый музей

Ленина, было произведено срочное перемещение академических институтов: археологов из Мраморного дворца поместили (вместе с каким-то институтом по точным наукам) на Дворцовой набережной 18, где до тех пор был Институт языка и мышления (бывший Яфетический); тот перевели в главное здание Академии (с 1934 г. президиум был переведен в Москву, и там помещался, кажется, Институт истории); Институт истории перевели в помещение Института книги, документа и письма (коллекция Н.П.Лихачева), а ИКДП закрыли — саму же коллекцию разрознили: часть памятников, в том числе египтологическую, клинописную и пуническую коллекции и некоторые другие отдали Эрмитажу, рукописи — частью институту Востоковедения, частью, кажется, Публичной библиотеке. Все это делалось в невероятной спешке: с грузовиков, вывозивших археологов, сыпались книжки и кремневые неолитические наконечники стрел. Я принимал за неделю или две от ученого секретаря клинописную коллекцию — к счастью, она была в полном порядке: у Ю.Я.Перепелкина было все заинвентаризовано, что было получено им от Н.П.Лихачева: даже шарик от шахматной фигурки и тюбик из-под зубной пасты. Последний предвоенный год я разбирался с лихачевской коллекцией и заносил ее — на этот раз очень кратко — в инвентарь.

А в остальном осень и зима 1940/41 гг. в моей памяти почти бесследно исчезла. Помню только, что в этот Новый год мы не встречались у Шуры Выгодского с нашими друзьями, не выпили тоста «за то, чтобы не было войны». И помню еще, что у меня была готовая работа — даже был читан доклад в Эрмитаже — о «военной демократии» в древней Месопотамии; она должна была быть положена в основу моей диссертации, но я считал, что с ней мне выступать рано — надо еще поработать.

Вот, кажется, все, что я помню про тот последний мирный год. Не очень мирный, но, во всяком случае, последний перед Великой войной.

Глава вторая (1941)

Если завтра война, если завтра в поход,
Если темные силы нагрянут,
Как один человек, весь советский народ
За великую Родину встанет.
Мы войны не хотим, но в войне победим,
Ведь к войне мы готовы недаром —
И на вражьей земле мы врага победим
Малой кровью, могучим ударом.

Популярная песня 30-х годов.

I

22 июня 1941 г. было, как известно, воскресенье, все гуляли. Выпускники школ проводили белую ночь с 21 на 22-е на Неве и Островах, и утреннее, в 11 часов, сообщение Молотова всех застало врасплох. Так рассказывается в большинстве воспоминаний. Но наша компания войну, как сказано, ждала, хотя еще не сейчас, летом.

В отличие от всех людей, которые в то воскресенье отдыхали, я работал: Эрмитаж выходной в понедельник, воскресенье было рабочим днем. Вход на нашу выставку и в наши кабинеты «Египта» (1-го отделения отдела Востока) тогда был отдельно, не с Большого подъезда,[1] а прямо с площади, с Комендантского подъезда. Во всем отделении нас в те дни было сначала трое, затем двое. Исидор Михайлович Лурье был вместе с Борисом Борисовичем Пиотровским на раскопках Кармир-блура, Михаил Абрамович Шер в штабе ПВО. Оставались Милица Эдвиновна Матье, Ксения Сергеевна Ляпунова и я. Мы разместились на двух этажах отделения очень свободно и спокойно занимались своим делом.

Я уже упоминал, что с первой половины 30-х годов постоянно проводились военные учения. На улицах останавливали движение, какие-то люди ходили в противогазах, кого-то объявляли условно отравленными глазами и т.п. Иногда это было в общегородском масштабе, иногда в учрежденческом. Во всяком случае, Эрмитаж имел свой штаб противовоздушной обороны. Этот штаб установил вполне реальное дежурство на крыше. Там была будочка, и в ней мог находиться дежурный. Нередко это был наш милый, чудаковатый Михаил Абрамович Шер, всегда в синем фланелевом тренировочном костюме, с одной стороны у него висел противогаз, с другой — планшетка. Иногда он навешивал на себя еще и бинокль. Он почти всегда находился в ПВО. О нем рассказывали, что он то и дело звонил в штаб с сообщениями: «Над вторым домом по улице Гоголя виден дымок, по-видимому, из трубы». В это время особенно многих принудительно привлекали в ПВО из отделов, а Шер охотно шел сам, часто за других. Поэтому у нас он почти не сидел, забегал только за книгами.

Были и более серьезные признаки надвигающихся событий. Например, в конце мая был экстраординарный призыв военнообязанных в армию. В Эрмитаже таким образом был призван Сережа Аносов, археолог, очень

[1] Большую часть Зимнего дворца тогда занимал не Эрмитаж, а Музей революции. Туда именно и вел Иорданский (ныне Главный) подъезд, с набережной.

приятный человек, муж Александры Михайловны Аносовой, реставратора. В пятницу или в субботу перед самым началом войны от него пришло письмо, где вскользь упоминалось о перестрелках на финской границе. Это нас не очень удивило, так как финская война недавно только кончилась. Затем пришло сообщение, что Сережа Аносов убит. Это было за день до объявления войны. И это еще не так поразило — такое всегда могло быть на границе. Газеты тогда насаждали культ пограничников, всё потому же: мы считали, что мы находимся в осажденной крепости, окруженной со всех сторон капиталистическими государствами, только и думающими о том, чтобы к нам вторгнуться и нас уничтожить. Этим многие объясняли атмосферу подозрительности и активность НКВД. Поэтому гибель Аносова, показывая серьезность положения, не обязательно предрекала, что завтра будет война.

Но вот с утра в самое воскресенье Милицу Эдвидовну вызвали в дирекцию без объяснения причин, и она там осталась. Вдруг к нам где-то около одиннадцати часов вбегает Михаил Абрамович, весь встрепанный, и говорит: «Война началась». Переглянувшись с Ксенией Сергеевной, мы не отнеслись к этому серьезно: очередные учения ПВО! Через несколько минут позвонили из дирекции и сообщили, что все сотрудники переходят на казарменное положение. Я выскочил на площадь через Комендантский подъезд. По громкоговорителю повторялась речь Молотова. Стояли мрачные толпы людей. Говорили, что немецкие самолеты бомбили наши города, назывались разные близкие к границе пункты и, помнится, даже Киев. Это было то, чего мы ожидали.

Я побежал на телеграф под арку Главного штаба. После работы я должен был в тот день поехать на дачу в Мельничный Ручей, где находилась моя жена с годовалым Мишей, праздновать пятилетие нашей свадьбы. Я боялся, что они кинутся в город, и считал, что чем дальше от ожидаемых бомбежек, тем спокойнее, и дал им телеграмму, чтобы они сидели на даче.

На работе сначала казалось, что ничего не происходит — все только толпились и обсуждали, что будет, а мы с Ксенией Сергеевной мирно сидели за своими столами — я наверху, она внизу, — и строчили свои ученые сочинения. Однако на самом деле в Эрмитаже почти сразу же началась работа, а именно работа плотничья. Иосиф Абгарович в свое время убрал из всех кабинетов диваны (из соображений нравственности) и сдал их в хранилище мебели. Где устраивать на казарменное положение такую кучу народа, было неясно. Стали строить нары. Для нас их сооружали там, где сейчас расположена выставка Ассирии. В кабинетах, где сейчас находится отделение Египта, тогда были комнаты отдыха старушек дежурных. Наверху, в комнате без окон, была их столовая, и там долго пахло борщом, поэтому мы впоследствии, когда заняли эти комнаты под кабинеты, называли ее Борщевкой.

Египетская выставка занимала тогда половину разгороженной растреллиевской галереи и была украшена пилонами из фанеры. Выставка была очень бедненькая, но интересная. Передняя часть галереи, примыкающая к Иорданскому (теперь Главному) подъезду, была ничья. Через Главный подъезд был ход в Музей революции (налево от подъезда). Из «Египта» по Комендантской лестнице можно было попасть в другие залы Эрмитажа,

которые тогда включали здания Нового и Старого Эрмитажа, Ламоттовский павильон и часть Зимнего на втором этаже. Незадолго перед войной, — когда в этой половине Зимнего открыли «Выставку военного прошлого русского народа»,[1] а потом и Петровскую выставку нового, Русского отдела, — появился ход из Советского[2] подъезда по лестнице в Русский отдел и далее по Министерскому коридору, где была галерея портретов Героев Советского Союза, и через Павильонный зал (с павлином) в старые залы Эрмитажа. Но перехода от Египта по первому этажу к Иорданскому подъезду еще не было, шло восстановление галереи, где до сих пор были одноэтажные царские кухни, а выше них все пространство под потолком, с капителями колонн, было просто замуровано. Реставрация кончилась перед самой войной. Тогда же был готов Сивковский мостик в Новый Эрмитаж. Фанерную перегородку поперек Растреллиевской галереи сняли только во время эвакуации.

Залы между тогдашними кабинетами отделения Египта на Комендантском и столовой дежурных были совершенно пусты. Построенные теперь нары шли в несколько рядов на всю ширину зала. Я пришел туда вечером, когда уже все было занято, и нашел место только с краю, рядом с одной сотрудницей, грузной и мрачной женщиной с тяжелой челкой зубра, которая жила с прелестной нежной, совершенно фарфоровой дамой, печатавшей на машинке и занимавшейся чем-то очень хрупким в отделе графики. Необходимость «спать с N», как я говорил тогда, показалась мне чем-то особенно смешным и в то же время символизирующим что-то мрачное.

Казарменное положение сразу отделило нас от города и страны (в этом, вроятно, и был смысл перевода на казарменное положение вообще едва ли не всех предприятий и учреждений), но и в городе никто толком не знал, что происходит — по крайней мере, в течение всего первого месяца войны. Информбюро сообщало о боях на границе примерно на одну строчку, дальше шли рассказы о мальчике Пете, который встретил в лесу незнакомца, привел его в сельсовет, и тот оказался вражеским шпионом, и тому подобное. За этими пространными рассказами мелькали сообщения об убитых нашими пограничниками в Н-ском лесу немцах. Все было неясно. Все населенные пункты были Н-ские, все направления боев Н-ские, не говоря уже о частях — те уж, ясно, всегда были только Н-ские.

В городе шла ловля шпионов. Всякий сколько-нибудь необычно одетый

---

[1] Эта выставка всех поразила. Ведь, как я уже упоминал, даже произносить самое слово «Россия» (вместо СССР или, в крайнем случае, РСФСР), было чем-то антисоветским. Особенно поражала галерея 1812 года с ее «офицерьем» в эполетах. Говорят, один пролетарий, бывший в числе первых посетителей выставки, войдя туда, подошел к дежурной старушке и робко спросил: «А Колчака здесь нет?» — Выставку делали Л.Л.Раков и полковник штаба Люшковский, подарившие свои коллекции оловянных солдатиков в формах 1812 г. для панорамы Бородинского боя, созданной в центре Белого зала; оба они, так же как тоже участвовавший в выставке В.Глинка, были великими знатоками истории частей старой русской армии и их мундиров. Заведующий нового Русского отдела Эрмитажа стал некто Васильев,по слухам — еще один работник НКВД, бросивший оперативную работу в 1937 г., человек малоприятный. Напротив, новый заведующий Античным отделом, Яковенко, того же происхождения, был популярен среди многих сотрудников. Люшковский в 40-гг., ради своего спасения, предал НКВД своего помощника, историка М.Б.Рабиновича, которому поручил написать историю частей, оборонявших Ленинград. Рабинович был осужден на 15 лет за разглашение военной тайны, хотя речь шла об уже историческом прошлом.

[2] Подъезд находился рядом с бывшим залом императорского Государственного Совета.

человек немедленно вызывал подозрение, и его вели в милицию. Надо отдать ей должное: чаще всего милиционеры благодарили за бдительность и выпускали «жертву» через черный ход. Но, к сожалению, не всегда; многие арестованные таким образом люди не вернулись. Одну-две сцены «поимки шпиона» можно было видеть постоянно, повсюду, куда ни выйдешь в город.

Несколько слов о настроении. Я не знаю, как чувствовали себя те, кто раньше уже видел настоящую войну, а для меня это все было вновь. Я и мои сверстники испытывали скорее подъем: наконец происходило то, чего мы ждали и не боялись. От войны в стране ожидались серьезные изменения. Мы не сомневались в быстрой победе. Ощущение «осажденной крепости», которому приписывалось многое, в том числе и 1937 г., должно было кончиться. Начиналась новая эпоха в нашей жизни. Поэтому подавленности не было.

В первые же дни ушел в армию по мобилизации Ваня Фурсенко. Ушел в армию добровольцем Шура Выгодский,[1] и больше мы о нем уже ничего не слыхали. Ушел добовольцем в армию и мой брат Миша. Происходила своего рода дуэль между Цехновицером, первым мужем Мишиной будущей жены, Евгении Юрьевны, и Мишей: они оба в первый же день ушли на войну. Несколько я понимаю, Миша воспользовался телефоном, который ему дала женщина, приходившая вербовать нас, и попал, видимо, в разведотдел. Он появился в Эрмитаже в офицерской форме со шпалой («шпала» — прямоугольник в петлице — означала до нового введения царских воинских званий помощника командира батальона, а после их введения — капитана). Был он на должности переводчика, но очень скоро учреждение, куда он попал, было расформировано, и он был зачислен в истребительный отряд. Задачей этих мертворожденных отрядов была охрана тылов от десантников и диверсантов. Кем Миша там был, я не знаю. Уже позже эти отряды были слиты с действующей армией, и он стал помощником начальника штаба полка по оперативной службе (ПНШ 1).

II

На второй день пришел приказ об эвакуации Эрмитажа. Мы давно удивлялись, что это за обструганные палочки стоят позади письменного стола Милицы Эдвидовны. Она улыбалась и молчала. Теперь оказалось (дело было секретное), что в подвалах Эрмитажа хранится полное оборудование для всех наших музейных вещей, которое в 1939 г., когда началась война в Европе, вытребовал Иосиф Абгарович. Он настаивал на том, чтобы Эрмитаж был обеспечен всем необходимым для эвакуации, и, хотя в «инстанциях» ему говорили, что он паникер, он все-таки, с большим трудом, и не без личной опасности, добился своего. Оборудование было великолепное. На каждом ящике был номер и указание, какому отделу он принадлежит, была опись ящиков, где было точно указано, что для каких вещей предназначается. В тайне от нас, комиссия сотрудников, созданная И.А.Орбели, проделала все

[1] Шура ушел из Радиокомитета, передав свое место Воле Римскому-Корсакову.

это заранее. Было доставлено (все по ночам) огромное количество стружки и пробковой крошки для упаковки посуды, много упаковочной бумаги.[1]

Теперь не хватало лишь рук и времени. Всего научных сотрудников было человек двести, а налицо, по летнему времени, и того меньше. Двигать ящики и тяжелые вещи было некому. И нам в помощь бросили студентов-добровольцев и военных, которых в городе было много, особенно моряков. Они являлись командами и преданно работали. Но по упаковке основной труд проделали, конечно, сотрудники. Предполагалось вывезти все в три дня. Таков и был приказ, данный нам. Но это оказалось совершенно неосуществимым. А нас торопили — в штабе эвакуации (в директорском кабинете) сидели три наркома: государственной безопасности, внутренних дел и председатель комитета по делам культуры М.Н.Храпченко, впоследствии академик.

Положение очень осложнялось тем, что многие сотрудники были в экспедициях или в отпусках. Заведывавший нашим отделом И.М.Лурье был в экспедиции, как и многие другие; прежний заведующий, мой брат, Михаил Михайлович, как уже сказано, ушел в армию. Милица Эдвиновна возглавляла штаб эвакуации и сидела в самом центре, в дирекции. Натальи Давыдовны Флиттнер я в те дни не помню — может быть, она была где-нибудь под Лугой на даче. Она появилась несколько позже и не участвовала в упаковке вещей первой очереди. Шер был неотлучно в штабе ПВО. Из семи сотрудников нашего отделения остались, как я сказал, мы вдвоем с Ксенией Сергеевной. Елена Федоровна Яковлева, которая была в нашем отделении чем-то средним между уборщицей и лаборанткой, тоже делала что-то техническое, но не для нашего Отделения, а для всего Отдела, где-то на втором этаже.

Моя трудность состояла в том, что за год до этого мы получили коллекцию клинописи Н.П.Лихачева, которая не была учтена при изготовлении ящиков, и надо было в заказанные ящики впихнуть и ее. Я ухитрялся набивать в ящики больше, чем предусматривалось предварительным расписанием, соответственно дополняя описи, но так все и не влезло, и я решил оставить те из клинописных табличек, которые уже были изданы. Так, в Ленинграде осталась Лагашская коллекция, изданная в начале века М.В.Никольским; она, к сожалению, очень пострадала от сырости и холода.

При упаковке важно было полное соответствие составлявшейся описи и содержимого ящика. С этим мы справились идеально. Вспоминается эпизод на упаковке эламских сосудов. Кто-то из стариков-реставраторов, — Михеев или, пожалуй, скорее великий богомаз Калинкин, — обучали нас, как надо укладывать посуду. Сосуд должен быть плотно забит рубленой пробкой, сверху окручен жгутами бумаги, еще раз обернут бумагой и завязан. После

[1] Ничего этого не было ни в одном из остальных музеев и в пригородных дворцах. Сотрудники растерялись, если не разбежались. В Павловске вещи укладывала преимущественно молоденькая сотрудница Е.Г.Левенфиш с несколькими рабочими. (Начальство разбежалось, хотя к сорокалетию войны его — и только его — портреты появились в мемориальном сборнике). Вещи укладывали в ящики, наскоро тут же сколоченные из подручных материалов, набивали их свежескошенным сеном, — и все это она вывезла (спасибо ей никто не сказал). В Царском Селе вещи паковали в разорванное на лоскуты царское белье и укладывали в бельевые сундуки; и т.д. Если бы в пригородных дворцах был свой И.А.Орбели, не было бы поисков Янтарной комнаты. И если бы среди начальства было меньше кретинов.

этого его можно кидать на пол. Кто-то из нас и в самом деле осторожно бросил такой пакет на каменный пол, и ничто не разбилось.

До этого с Ксенией Сергеевной у нас было мало контакта. Мы все в Отделении обменивались идеями, обсуждали работы, но она в этом не участвовала. А ее коптские ткани никого из нас, кроме Милицы Эдвиновны, не интересовали. Ксения Сергеевна (родственница композитора Ляпунова) была тихой, уравновешенной, очень приятной полной брюнеткой. Говорила она мало, но когда говорила, то по существу дела. Но теперь, работая вместе над ящиками, мы с Ксенией Сергеевной очень подружились. На работе по свертыванию музея все вообще очень сдружились между собой. Я мало соприкасался с теми, кто работал на втором этаже, но говорят, что и там было так. Наверное, это объясняется большим общим нервным подъемом. Война, спасение Эрмитажа! Бомбежки по-лондонски мы ждали со дня на день.

Было много и забавных случаев. Когда разбирали рыцарские доспехи, наши девчонки надевали их и в них щеголяли. На мужчин доспехи не лезли, средневековые рыцари были небольшого роста.

Работа шла круглосуточно, мы спали на своих нарах считанные часы. В нашем отделении мы справились с упаковкой быстрее, чем многие, и меня переставили на отправку ящиков.

В общей сложности мы, сотрудники Эрмитажа, уложили в ящики около миллиона вещей: все, что было в выставочных залах, кроме самых крупных скульптур, и многое из запасов. Ящиков было много, им предстояло занять все вагоны большого товарного эшелона.

Куда шел эшелон — не сообщалось.

Прибытие и отбытие машин шло потоком ко всем подъездам. Мы с Миленой Душановной Семиз стояли на Иорданском подъезде. Нашей обязанностью было записывать номера ящиков, грузившихся на каждую машину, и получать в нашей описи расписку военного, сопровождавшего груз:

— Сопровождающий, расписаться!

Ящики громоздились по всей Растреллиевской галерее и далее по всему пространству от лестницы до подъезда. Их опускали по доскам со второго этажа, перетаскивали из Античного отдела через Сивковский мостик. Мы сдавали ящик за ящиком, которые проволакивали по доскам на крыльцо, и затем выходили к машине за распиской. Эта деятельность продолжалась три дня из недели, занятой эвакуацией. Спали мы теперь на ящиках за стеклянными дверьми Иорданского подъезда по полтора-два часа; в последнюю ночь я спал полчаса — машины шли круглосуточно — я так устал, что еще год спустя несколько раз просыпался ночью от своего голоса: «Сопровождающий, расписаться!».

В последний вечер эвакуации, когда уехала последняя машина и увезла последний ящик, мы с Миленой Душановной поднялись наверх и прошли по залам. Всюду, километр за километром, висели пустые рамы и багеты, валялась стружка, как будто кто-то дорогой выехал из квартиры; и мы расплакались от усталости и опустошенности. Было, кажется, 1 июля.

А что происходило на фронте, оставалось неизвестным. Главные сведения начали поступать из «агентства ПОВ», как тогда говорили («Приходил один

военный»), потом оно стало называться «агентство ПОЖ» («Прибегала одна женщина»).[1] Сводки Совинформбюро называли мало городов, но было ясно, что наступление идет быстро. Никто ничего не знал точно, например, трагическая история эвакуации Таллинна оставалась совершенно неизвестной до самого конца войны. Иногда мелькали сведения о полуострове Ханко, расположенном между Финским и Ботническим заливами, который мы арендовали у финнов после Зимней войны и теперь с трудом обороняли от немецкого флота и финской авиации.

Кончилась эвакуация, и нам дали день передышки. Я поехал к своим и сказал им, чтобы они по-прежнему оставались на даче, в Мельничном Ручье.

В городе, между тем, шла эвакуация детей. Эвакуация эта была частью плана, заранее разработанного на случай войны. Идея была в том, чтобы вывезти детей из города, когда его будут бомбить в качестве промышленного центра. Эвакуация шла в не слишком отдаленные малые города — в Лугу, Струги Красные, Старую Руссу, словом, как раз навстречу врагу. Когда это выяснилось, обезумевшие матери кинулись возвращать детей. Как они это делали, при том, что поезда уже не ходили, не ясно. Наша приятельница Анка Эмме рассказывала позже, что, належавшись в болоте, она переходила с детьми и фронт немцев, и наш, чудом не попавшись ни тем, ни другим.

Когда я вернулся из Мельничного Ручья в Эрмитаж, я успел проработать всего дня два, — как вдруг мне сказали, что меня вызывает секретарь парторганизации Ревнов. Это была очень мрачная личность, известная по 1937 году, когда его доносом была погублена японистка, красавица Ира Иоффе. Она со своей подругой жила за стеной его комнаты в общежитии, он провертел в ней дырку и следил за тем, как к ним ходил японец, их университетский преподаватель, занимавшийся с ними языком. Почему-то он донес только на одну из подруг. Иру забрали, а ее подругу мы потом тщательно обходили. Это была впоследствии известная японистка Евгения Михайловна Пинус. Оказалось, что зря: Ира Иоффе потом вернулась из лагеря и рассказала, что Женя вела себя по отношению к ней не только благородно, но и героически. Страна не всегда знает своих героев.

История ареста Иры выяснилась из хвастовства самого Ревнова. Ничего хорошего вызов меня к нему не предвещал.

Партком находился на месте нынешнего кабинета заместителя директора (первый кабинет, как войдешь в коридор со Служебного подъезда). Там сидел Ревнов, какой-то военный и еще один человек, не помню, кто. Наверное, наш заведующий спецотделом (так это тогда называлось). Когда подошла моя очередь, Ревнов спросил меня:

— Вы намерены защищать Родину?

Я ответил:

— Намерен.

— Так почему вы не в армии?

Я ответил, что признан негодным по зрению, но что знаю несколько языков и, видимо, скоро пойду в армию переводчиком, предполагая, что на такой

[1] Потом, когда уже никто ниоткуда не прибегал, стали говорить об агентстве «ОЖС» или «ОБС» — «одна женщина (баба) сказала» — но это было уже когда меня в Ленинграде не было.

службе я буду полезнее, чем если я просто возьму винтовку, из которой не могу стрелять. (Миша тогда обещал устроить мне мобилизацию в свой разведотдел). На это Ревнов сказал:

— Так. Вы, значит, не хотите защищать Родину!

Когда он на мои объяснения повторял эти же самые слова снова и снова, я наконец спросил:

— Чего Вы от меня хотите?

Оказалось, что создается народное ополчение, и я должен добровольно в него вступить. Я плюнул и записался.

Тут же нам было разъяснено, что ополчение создается для охраны тылов, все сохранят свою зарплату, и семьи будут обеспечены. Это было логично, так как все боеспособные люди были уже мобилизованы, для ополчения оставались одни белобилетники, непригодные к строевой службе, или люди, имевшие броню — но такие были в основном на больших заводах.

На следующий день я пошел на сборный пункт. Это была, мне кажется, пятница, 4 июля.

Сборный пункт был назначен где-то на Фонтанке, около нынешнего Мухинского училища — это выяснилось из долгих расспросов. Когда я пришел туда, я увидел неслыханную толчею. Ни одного человека в форме нигде не было. Никто ничего не знал. Нас, эрмитажников, было человек двенадцать. Трое или четверо из рабочих, помощник начальника «старушек» в залах Тегин, Лев Львович Раков, Александр Николаевич Болдырев, Исидор Михайлович Лурье, заведующий реставрацией Румянцев, очень милый умница-бухгалтер, странную фамилию которого я не запомнил, и я.

После долгой бестолковщины кто-то сказал, что надо обратиться в здание, соседнее с Мраморным дворцом (где ныне Заочный Политехнический институт). Там действительно было несколько военных — какой-то штаб; нас приняли и записали в какие-то списки. Надо было ждать дальнейших событий в больших залах, где были приготовлены нары. Вокруг нас были всё люди, абсолютно непригодные для воинской службы. Рядом со мной примостился хилый, узкогрудый человек в пенсне, которое, казалось, вот-вот слетит у него с носа, по фамилии Принцметалл. Такой человек не мог продержаться в живых на передовой больше часа.

В первые дни ничего не происходило. Мы трижды в день ходили в столовку, остальное время сидели на наскоро сооруженных нарах и ждали. Потом нас разбили на роты и взводы и отправили на строевую подготовку. Командирами назначили тех, кто когда-то проходил военную службу. Они были назначены ротными и командирами взводов.

На третий день у выхода из нашей «казармы» мы увидели с обеих сторон наших жен, в том числе Нину Яковлевну с Мишенькой. Мы промаршировали, чтобы учиться шагистике в Летнем саду. Вдруг наш взводный Александр Николаевич Болдырев, стоявший к нам лицом, скомандовал нам: «Кругом!» — и мы оказались лицом к набережной, где с удивлением опять обнаружили за знаменитой решеткой наших жен. Среди них Нина, необычайно красивая, в белом платье, с тяжелым годовалым Мишей на руках. Мы не могли даже помахать рукой, так как были в строю. Тогда Александр Николаевич скомандовал нам «Вольно!», и мы подбежали к решетке. Но

потом сразу пришлось снова шагать. Обратно в казарму мы шли строем, до самых ворот окруженные нашими женщинами.

Спустя сутки нас подняли в шесть утра криком: «Вставай! Портянки будут выдавать!» Мы взбодрились, но портянок не воспоследовало. Только к вечеру их привезли. Л.Л.Раков, впоследствии директор Музея обороны Ленинграда, потом ЗЭК, а много позже — автор пьесы «Опаснее врага», красивый, элегантный человек, и в тот момент один из взводных командиров, говорил нам, что для пехотинцев ноги так же важны, как для балерины, и надо научиться правильно заматывать портянки. В тот вечер поздно мы и начали этому учиться.

На четвертый день нас вывели во двор и построили в каре. Вышел маленький зловещий человечек, судя по двум ромбам, генерал-лейтенант или, скорее, дивизионный комиссар. Он мрачно окинул нас взглядом и сказал:

— Главное, когда на вас идет танк, не пугаться.

Тут мы поняли, что посылают нас прямо на войну, а ни на какую не охрану тылов. После этого нам выдали винтовки, но не настоящие, а учебные, черные, с продырявленным стволом; выдали шинели, учили делать скатку.

Началась проходка строем по городу в полной выкладке, не очень большая: по улице Халтурина, через Марсово поле, по Садовой, мимо Цирка к Инженерному замку, по Литейному, по Невскому и обратно в казарму на Марсовом поле. Проходка была, видимо, устроена для поднятия настроения в городе. Каким-то образом о ней заранее стало известно, и когда мы выходили из наших ворот, то у Мраморного дворца в два ряда выстроилась еще выросшая толпа жен. В тот раз у Летнего сада появились только некоторые жены, а тут собрались все и ждали нас у Мраморного дворца до самого возвращения.

Несмотря на короткий путь, четверым пришлось выйти из рядов из-за сердечного приступа, в том числе Исидору Михайловичу. Вечером мы опять учились заворачивать портянки.

Наутро нас отправили стричься наголо, и мы пошли в нижний этаж казармы в парикмахерскую, под лозунгом Александра Николаевича: «Снявши волосы, по голове не плачут». Только мы побрили головы, как в нашу казарму приходит ординарец с бумажкой и называет пять наших фамилий: Болдырев, Дьяконов, Лурье, Румянцев; пятый был тот симпатичный бухгалтер, фамилию которого я запамятовал. Приказ явиться в штаб Ополченческой армии во Дворец профсоюзов.

Придя туда, мы застали еще большее столпотворение, чем тогда на Фонтанке, но тут люди были все-таки уже в форме. В числе их мы встретили профессора-литературоведа Г., с тремя шпалами — полковника, совершенно растерянного. Было ясно, что Ополченческую армию распускают, и ополчение будут вливать в армию действующую. Каждый офицер ополченческого штаба был озабочен вопросом, куда именно его сунут.

Мы добились наконец какого-то начальника, который дал нам направление в некую часть с номером полевой почты, сказав, что это на Галерной.

Мы пришли туда. Там были огромные железные ворота, снаружи стоял часовой. Нам открыли окошечко, мы сунули туда бумажку и ждали на улице ответа. Погода была паршивая. Оттуда нас отослали в другое место; и так мы обошли еще четыре адреса, с которых нас каждый раз отсылали дальше.

Наконец, на Охте нас приняли в старые казармы. Мы вошли в помещение, где были двухярусные нары с проволочной сеткой, составленные из скрепленных друг над другом железных кроватей, и завалились там спать. Утром, вместе со всеми солдатами[1] пошли поесть. Нас накормили без аттестатов. Как выяснилось, это был Особый десантно-истребительный батальон. Кто-то объяснил нам, что нас будут забрасывать в тыл немцам.

Стали ждать начальство. Ближе к часу дня появился маленький майор в кожаной куртке. Ему доложили о нас, и он подозвал всю нашу пятерку к себе. Мы подошли, и случайно получилось так, что впереди встали трое: Исидор Михайлович, Румянцев и я — все в очках, а Александр Николаевич и бухгалтер оказались сзади. Майор сразу сказал: «Очкариков мне не надо!» Он взял наше направление, пометил его и отослал нас всех обратно в штаб Ополчения, в Дворец прфсоюзов на Площадь Труда.

Когда же мы появились там снова, то уже и вовсе ничего нельзя было разобрать от общей беготни и бестолковщины, а людей в залах было уже гораздо меньше. Мы долго ходили и наконец нашли сержанта, мирно сидевшего за столом, — видимо, писаря. Когда мы кинулись к нему, объясняя, в чем дело, он взял направление и написал на нем: «Демобилизовать». Он не имел на это ни малейшего права, сделать это мог только Верховный главнокомандующий, тем не менее по этой бумажке мы вернулись в Эрмитаж. Обмундирование сдавать не пришлось: мы все еще были в гражданском. Шинели и портянки остались в нашей ополченческой казарме. Приказ о нашем отозвании из дивизии ополчения в его штаб был результатом хлопот Иосифа Абгаровича, который старался уберечь своих сотрудников, разбираясь в обстановке лучше, чем мы. Дальнейшее было делом писаря и нашего везения.

А в тот день, когда мы бегали по разным направлениям, остальным ополченцам выдавали обмундирование, и уже на следующий день после нашего возвращения их куда-то отправили. Мало кто остался в живых.[2] Жизнь в музее замерла, приказа о продолжении эвакуации не было. В первую очередь были вывезены все экспозиции, надо было браться за фонды в запасах.

---

[1] Нет, с красноармейцами. Слово «солдат» появилось в устном языке и в газетах сначала неофициально; как официальное название рядовых оно, помнится, было введено в середине 1942 года или позднее.

[2] Я помню, конечно, что наша ополченческая дивизия была Дзержинского района, но не знаю точно, какой она потом получила номер — как будто 4-й ополченческой дивизии. Солсбери в своей книге (2-е изд., 1985, с. 197, прим.) говорит, что 4 дивизия ополчения была переименована в 5-ю (что говорит о том, что она практически была сформирована заново), и что она была брошена под Пулково 11-12 сентября. Первоначальное ополчение Дзержинского района было практически уничтожено почти сразу. Это и не удивительно: 1-я дивизия Кировского района была укомплектована из здоровых заводских рабочих, снятых с «брони», освобождающей от воинской повинности, но и из нее мало осталось в живых; а в Дзержинском районе рабочих не было, и все боеспособные молодые люди ушли в армию еще сразу же, по мобилизации. Оставались одни белобилетники, негодные к воинской службе. Надо впрочем признать, что сначала ввели в действие более боеспособную Кировскую дивизию — впрочем, также и Василеостровскую, где было очень много университетских и других студентов; другие дивизии стали вводить позже — как мне говорили, последней ввели 6-ю Смольнинскую лишь в декабре. Но так или иначе, в течение осени все первоначально ополченческие дивизии были влиты в число строевых. Позже нам говорили, что в день начала сбора в ополчение немцы взяли Ригу, а в день нашего возвращения из ополчения взяли Псков, но мы этого, конечно, совершенно не знали. Да и сейчас я твердо этого не знаю.

В залах остались только большие статуи и каменные вазы, которые нельзя было сдвинуть с места.

Занимались в Эрмитажных дворах шагистикой, противогазами, разборкой винтовки. Проходили учения, как действовать при воздушной тревоге. Нас зачислили в пожарную охрану. особенно интересно было дежурить ночью на крыше.

Мы изучили многие ходы в Эрмитаже и Зимнем. Это оказалось необыкновенно интересное здание. Позднее в огромных сухих подвалах не только спасались от бомбежки, но и жили сотни людей. Зимний в этом смысле был самым надежным зданием в городе, и впоследствии сотрудники не только Эрмитажа, но и многих других учреждений города предпочитали прятаться и жить именно здесь.

В здании обнаружилось множество тайников. Тогдашний начальник охраны предлагал на случай захвата города немцами оставить его в Эрмитаже, где он сможет продержаться хоть три года, если его обеспечат продовольствием, и будет передавать командованию нужные сведения. Но ему этого не разрешили.

Выяснилось, что над Большими просветами под железом крыши был положен войлок, пропитанный дегтем, очень опасное сочетание в случае попадания зажигалок.

В будочках на крыше не всегда было приятно — комары донимали. Ночью было необыкновенно тихо, все, сравнительно немногочисленные тогда автомобили были с самого начала войны реквизированы в армию; но изредка было слышно, как какой-то армейский автомобиль въезжает на самый верх Дворцового моста: «та-так, та-так» по незакрепленным чугунным доскам, прикрывающим щель разводной части. Мы научились легко ходить по крышам, и там я впервые увидел вблизи Латника в Черных доспехах, который, по Блоку, «Не даст ответа, пока не застигнет его заря». Необычайны были закаты и восходы, и они становились все краснее по мере того, как приближался фронт. Вскоре мы поняли, что это горят леса.

Мы ходили в касках, но в своей одежде. Тотя Изергина (впоследствии жена И.А.Орбели, а тогда один из его нелюбимейших «черных котов») все уговаривала нас обучиться у нее альпинистским приемам, чтобы во время тревоги можно было скорее забраться на крышу, минуя длиннейшие ходы и лестницы.[1]

Питание в городе заметно ухудшилось, но в Доме ученых, куда мы являлись в пожарных касках, кормили более чем сносно, было даже бламанже. Подавали официанты-татары, как в царское время. Карточек пока не было.

Затем стали происходить воздушные тревоги. Тревоги эти были ложными, но тем не менее сеяли панику. В учениях по шагистике вместе с нами маршировали «старушки» из музейной охраны, и при звуке сирены то одна, то другая вдруг начинали метаться с криком, что ее убьют, а у нее дома дети, пыталась куда-то спрятаться.

---

[1] Альпинисты и альпинистки уже были применены для закрашивания золотого шпиля Адмиралтейства и купола Исаакиевского собора серой краской.

Подошла подготовка эвакуации второго эшелона. Работа шла споро, но уже не с таким необычайным напряжением.

В эти дни приезжал из армии мой самый близкий друг Ваня Фурсенко. Он был лейтенантом, командовал взводом. Ваня рассказал нам, то, что впоследствии мы слышали от многих. Он приехал из Новгорода с поручением о пополнении боезапаса или что-то в этом роде, и говорил нам, что Новгород почти окружен; город еще держится, но кругом армия бежит.[1]

Дело шло раз за разом таким образом: части занимают окопы; являются немцы с автоматами — трр-р-р веером; одновременно разносится слух о парашютистах в тылу — и начинается бегство. В нормально организованном армейском тылу парашютисты не страшны, но в сочетании с автоматчиками с фронта они вызывали ужас. Разбегаясь, наши красноармейцы приходили поодиночке в город, и каждый сообщал, что из дивизии уцелел он один. На деле, побросав оружие или с оружием, постепенно являлось до 80% бойцов. Наши танки ехали по дорогам, заваленным шинелями, противогазами и даже винтовками, которые солдаты бросали, чтобы облегчить себе бегство.

Рассказав все это, Ваня уехал в свою часть, и больше его никто никогда не видел. Лишь годы спустя стало известно, какие потери несли в наступлении и немцы, и как расписание наступления все менее выполнялось. А тогда было ясно, что либо армия остановится и остановит немцев, либо войне конец и советской власти конец.

Всюду обсуждали, как быть дальше. Уже давно происходила мобилизация всех женщин, кроме имеющих совсем малолетних детей, на рытье окопов. Прибегавшие женщины сообщали, что едва они успеют вырыть окопы, как их сразу же занимают немцы. Дело их тогда казалось нам бессмысленным.

Бесперебойно действовало «агентство ПОЖ» («прибежала одна женщина»). Говорили о взятии Нарвы, Луги, Толмачева, Сиверской.

Когда стало известно, что взята Сиверская, я решил, что пора отправлять семью в эвакуацию. На этом давно настаивал мой тесть Яков Миронович; война застала его в Саратове, где он возглавлял университетскую экзаменационную комиссию; он сразу телеграфировал, что устроит всем вызовы туда, но вся семья отказалась, и Яков Миронович вернулся в Ленинград. Но теперь эвакуироваться решила и теща, что было гораздо важнее.

Эвакуация населения в это время проходила хотя и в срочном порядке, но довольно организованно. Был городской штаб эвакуации, районные, и местные штабы во всех учреждениях, на фабриках и заводах. Идея заключалась в том, чтобы эвакуировать из Ленинграда всех, неспособных работать на оборону. Это исключало рабочих и инженеров всех больших и малых заводов, молодых женщин, годных для оборонных работ, и всех, кто мог пригодиться в возможных уличных боях, а включало всех детей и женщин с детьми, неработоспособных мужчин и все учреждения и фабрики, от которых не могло быть никакого прока в прифронтовой зоне. Каждому большому учреждению или группе малых выдавался железнодорожный эшелон.

[1] На самом деле Новгород держался за Лужской линией, которая была прорвана 8 августа; Новгород был взят 13 августа.

Такова была теория. На практике все было сложнее и запутаннее. Нельзя было, чтобы эвакуация сопровождалась паникой, и в городе не должна была замирать жизнь. Сильно сократившийся, из-за ухода большинства студентов и молодых преподавателей в ополчение, состав Университета не подлежал эвакуации, и было объявлено, что 1 сентября в нем начнутся лекции.[1] В театрах оставлялись труппы актеров, которые должны были удовлетворять культурным потребностям жителей города и его защитников; спектакли продолжались или возобновились; в июне — начале июля гастролировал Камерный театр Таирова, Алиса Коонен играла в «Адриенне Лекуврер». Непрекращающаяся жизнь города объяснялась еще тем, что едва ли не больше половины подлежащих эвакуации вообще не хотели уезжать. В результате в уже организованных эшелонах были недоборы, и в то же время был большой наплыв желающих эвакуироваться, для которых эшелонов не было — либо еще не было, либо и не предполагалось. Чтобы попасть в эшелон, надо было хлопотать. Я хлопотами заниматься не мог, находясь на казарменном положении, — и многие, по той же причине, так и не смогли эвакуировать семьи.

Детей эвакуировали все время и с самого начала — теперь уже не навстречу фронту, а в Ярославскую, Пермскую области и постепенно все дальше на восток. Сын моего брата Миши от первой жены, Андрюша — тогда девяти лет — был эвакуирован с наскоро образованным детским домом писателей в Ярославскую область и там попал под начало (наиболее ненавистного ему человека) новой возлюбленной и и будущей новой жены отца, выехавшей туда же со своим сыном на правах воспитательницы. Эрмитажные дети были вывезены тоже в Ярославскую область, возглавляемые замечательным человеком и педагогом Любовью Владимировной Антоновой; добирались они и на поездах, и на подводах, и, кажется, на баржах, и по дороге понесли потери от скоротечной кори, вспыхнувшей в эшелоне.

Но и детей эвакуировали не всех. Одни боялись повторения июльских ужасов детской эвакуации, другие считали, что спокойнее иметь детей при себе. Школы тоже должны были открыться 1 сентября.

Однако главная трудность с эвакуацией заключалась в том, что все меньше становилось железнодорожных путей. Уже были отрезаны Варшавская и Витебская дороги, к середине августа вышла из строя Московская, и единственный путь, который оставался, вел через Мгу, Тихвин и Вологду, но он уже был забит эшелонами. Начали эвакуироваться на баржах. При роспуске штаба Ополченческой армии отпустили из армии некоторых ученых, писателей, и говорили, что видели любимого студентами профессора Г., снявшего полковничьи шпалы и уплывавшего по Неве на верху груженой баржи. Правда ли это, не знаю. Много лишнего говорилось.

Последнее обсуждение — уезжать нашим или нет, происходило, как я упомянул, 14 августа у нас дома. Все согласились, что уезжать надо, кроме Ляли; все усилия родителей уговорить ее были тщетны.

Наши получили место в эшелоне для семей преподавателей и служащих

[1] На самом деле лекции и не начались. В университете на казарменном положении жили оставшиеся преподаватели, составлявшие, как и сотрудники Эрмитажа, пожарную команду.

Университета. Куда именно он пойдет, было неясно, и мы с Ниной договорились об условных адресах, по которым мы будем списываться, чтобы найти друг друга.[1] В какой-то момент выяснилось, что эшелон получает назначение в Свердловскую область. Поэтому мои тесть и теща взяли с собой очень приятную нашу коммунальную соседку, Анну Соломоновну, сестра которой была замужем за профессором в Свердловске; там был и еще один якорь — в Свердловск была распределена еще в 1940 г. Нинина подруга Талка Амосова, но начальство эшелона говорило, что на город надеяться трудно, что скорее всего разместят в области.

Шились мешки из синих полосатых чехлов для мебели (у Магазинеров они еще сохранялись), набивались чемоданы — очень-то много было не увезти; но в городе еще почти все можно было купить в магазинах, и моя теща закупила риса, грецких орехов и крабов в консервах — эти тюки, впрочем, по дороге украли. Но все эти хлопоты, на которые ушло три-четыре дня (с 14 или 15-го по 18-е августа) проходили без меня; из Эрмитажа не отпускали, шла работа по отправке второго музейного эшелона.

Поезд с моими уходил 19 августа с Финляндского вокзала. Мы ехали туда на трамвае; мой тесть с тещей, жена с годовалым Мишей, соседка Анна Соломоновна и провожатые: Ляля, я и двое-трое друзей. Товарные вагоны уже стояли у платформы, хмурые отъезжающие уже собирались. Подошли к вагону: солдатская теплушка, нары в два этажа, задвигающаяся дверь. Миша забрался на верхние нары, устроился у единственного окошечка. Было не до чувств: надо было всех получше разместить, найти место для вещей — они образовывали огромную кучу посреди вагона.

Задвинули двери, дали сигнал — в окошечке появилась веселая рожица Миши, который махал нам рукой, и было ему, видно, все это очень интересно. От этой радостной мордашки я почувствовал, что не могу удержаться от слез. Поезд двинулся. Кто будет жив, когда встретимся? Встретимся ли? Миша, Миша, Миша!

Я не пошел с Лялей, не помню уж, почему; наверное, ей надо было возвращаться на свой завод. Вместо этого я пошел к Панаевым; они жили близко, у самого Литейного, напротив Большого дома. Меня встретили и Нина, и мать ее Елена Борисовна, обе только что приехавшие из разных сторон с каких-то работ. Очень странно было, что такая дореволюционная дама, как Елена Борисовна, копала окопы. Известия ее были невеселые: Взята Гатчина, вероятно, взято Царское Село.[2] Когда я шел по Литейному, мне навстречу брели нескончаемые толпы беженцев из области.

Теперь надо было ждать известий от наших: проехали ли Мгу? И в городе, и на вокзале только и шли разговоры о застрявших эшелонах. И хотя их, видимо, пытались пропускать по порядку, получалось так, что некоторые поезда, вышедшие с вокзала еще 15-го, застряли на Фарфоровском посту, в Усть-Ижоре, в Рыбацком; потом, дней через пять, пассажиры возвращались

[1] Это были адреса наших друзей Юры Фридлендера и Талки Амосовой, получивших распределение после аспирантуры в Архангельск и Свердловск, и Галки Ошаниной в Ташкенте. Но Юра вскоре был выслан в «трудовой лагерь» как немец.

[2] На самом деле Гатчина и Царское Село еще держались, но находились в зоне огня.

оттуда пешком со всеми вещами на брошенную квартиру. Но я получил вскоре открытку из Тихвина: «Просхали благополучно, во Мге был фейерверк» — читай бомбежка. Следующие известия я получил только месяца через два, и не в Ленинграде. Девять дней в теплушке с разболевшимся мальчиком, без воды, высадка в Свердловске-товарном, теснота, потом сырой и холодный, прогнивший барак, голод, и наконец — место в Юридическом интитуте, помещавшемся между кладбищем, тюрьмой и больницей; опять голод уже как быт — но очень мало из всего этого до меня доносили письма, и я почти совершенно ничего не знал о тыловом быте — о таких вещах нельзя было писать, ведь на каждом письме стоял штамп военной цензуры.

Весь август я продолжал жить на казарменном положении. Еще в течение июля меня дважды вызывали в военкомат. В первый раз у меня отобрали белый билет и признали ограниченно годным — к нестроевой службе. Во второй раз мне дали назначение переводчиком корпуса. Я так и не дождался вызова туда, не зная о том, что корпуса были тем временем расформированы. А поскольку я ждал вызова, то я и не поехал в эвакуацию, в том числе и со вторым эрмитажным эшелоном, который вышел, помнится, после 20 августа, но еще успел проскочить. Впрочем, я не знал и того, что наши эшелоны идут туда же, куда отправились и мои, — тоже в Свердловск — это было засекречено.

Продолжая работать в Эрмитаже, я теперь участвовал в подготовке третьего эшелона, но уверенности в том, что он сможет выехать, не было.

Для настроений того времени характерен один разговор, который произошел у меня со случайным встречным во время воздушной тревоги. На Марсовом поле, в подворотне Ленэнерго, я пережидал тревогу вместе с молодым отцом, который был с очень славным маленьким мальчиком. Я спросил, почему он не уезжает. Он напомнил, что происходило при июльской эвакуации детей, и сказал, что из Ленинграда он не собирается уезжать, будь что будет. Я потом много раз вспоминал этого молодого отца с ребенком. Они, конечно, погибли.

III

А немцы подходили все ближе и ближе к городу. Почти все молодые женщины, мобилизованные на рытье окопов импровизированной оборонительной линии, теперь стали массами бежать в Ленинград, кто пешком по болотам, лесам и нехоженым дорогам, кто на случайных машинах. С их слов получалось так, что вся их работа пошла насмарку: чуть ли не на их глазах появлялись немецкие части, быстро переориентировавшие пулеметные гнезда и площадки для орудий в обратном направлении и открывавшие огонь по нашим тылам; ходили слухи о немецких парашютистах, от которых приходилось спасаться, пробираясь в Ленинград.

На самом деле все происходило не совсем так: Лужская линия задержала немецкое наступление почти на месяц, но я, например, узнал об этом только через тридцать лет из книги Гаррисона Солсбери «900 дней». (Он называет и имя инженера, спасшего тогда Ленинград: Бычевский). Но из того, что говорили женщины, верно было то, что немецкое наступление неумолимо

продолжалось. Агентство ПОВ сообщало о взятии Гатчины, о боях под Колпино, и с нашей крыши Зимнего дворца все виднее были зарницы и сполохи, а потом и слышен дальний рокот артиллерийского огня. Да и с севера в летней ночи была видна сплошная красная полоса, похожая на зарю. Горели леса, и запах гари стоял над городом. Говорили о боях у Стрельны — и у Белоострова.

Все мы думали: что происходит с большим городом, когда на него наступает огромная вражеская армия, а своя армия рассыпается и бежит? Напрашивавшийся ответ заключался в том, что город сдают. Разумеется, мы понимали, что будут уличные бои, что мы, уходя, будем оставлять за собой взорванные развалины. К этому, без шума, уже готовились, об этом доходил смутный слух. Но куда при этом денется население? Будет ли город сдан в сравнительно неповрежденном виде, или в совершенно разрушенном, — судьба населения должна была быть почти одинаковой. Но какой? Казалось, что в любом случае армия не может же быть вся уничтожена и куда-то же должна будет уйти, а все способное двигаться население должно попытаться уйти вслед за нею.

Был еще один вариант — осада города, но он казался маловероятным. Правда, во франко-прусской войне была осада Парижа, но это был конец войны, и немцы, собственно, пользовались осадой как козырем для получения такого мира, какой им был нужен; здесь же о конце войны, конечно, не было и речи. Как ни бежала наша армия, мы уже знали о формировании партизанских отрядов в тылу немцев (один такой отряд сформировался прямо у нас на Дворцовой набережной); мы знали, что японские войска так и не сумели завоевать Китай, и сейчас не собираются, кажется, вступать в нашу войну. Хотя регулярная китайская армия была японцами уничтожена, они держали в своих руках только города и железнодорожные узлы. Увы, ни мне, ни кому-либо из моих товарищей не казалось, что война кончится.

Совсем недавно была осада Мадрида. Опять не то: осада была не сплошной, дорога на Валенсию была совершенно свободной. Осада Сталинграда, начавшаяся с того, что весь город был в один день уничтожен немецкой авиацией, еще предстояла, и такого варианта мы себе не представляли.

Перед нами, теми, кто не был в армии, стояла очень реальная задача: что делать нам, независимо от того, что будет делать армия.

Ясная точка зрения на это была у нашей няньки Насти. Мы с ней и с Лялей остались одни в квартире: Ляля наотрез отказалась «удирать» с родителями, дав ясно понять, что считает непорядочным уезжать, и сейчас ходила на курсы медсестер, а позже записалась в доноры. Так вот Настя говорила очень спокойно:

— Ну что ж, и при немцах жить можно. В революцию бар резали, сейчас евреев будут резать — какая нам разница.— Она ошиблась в расчетах и умерла от голода в январе.

Конечно, о том, что же делать, мы говорили между собой. Но, хотя языки с июня сильно развязались, воспитанные тридцатыми годами, мы разговаривали даже с близкими друзьями с большим выбором. Ляля ничего не хотела слушать: надо оставаться, и все тут. Многие так считали. Побывал я дома у моих и говорил с Алешей. Алеша, так веривший в нашу армию и в ее легкую победу (и года не прошло, как он получил поощрительную премию за

сценарий военноморского фильма), бы в растерянности, и как мне показалось, даже в панике. Он говорил:

— Уходить, уходить с армией.

— Куда же ты будешь уходить? — но он ничего не слушал.

Это настроение растерянности у него, правда, быстро прошло: к середине сентября, когда немцы остановились — или были остановлены — у ворот Ленинграда, к нему полностью вернулся его оптимизм. Мне кажется, растерянность была от того знакомого мне чувства неполноценности, которое неизбежно должен испытывать молодой человек вне армии во время всеобщей войны. Алеша, несомненно, был рад, когда спустя два месяца его, несмотря на его -8 диоптрий, все-таки взяли в армию.

Идея уходить казалась мне нелепой; я думал, что единственно правильное будет оставаться и, когда немцы войдут в город, уходить в подполье. В том, что они войдут, я не сомневался: каким образом могла бы вдруг остановиться армия, в беспорядке ((а именно так это и выглядело по всем рассказам женщин, бежавших с окопов, и военных, то и дело появлявшихся с фронта) за два месяца откатившаяся на тысячу километров? Разве что потому, что откатываться больше некуда...

Но, поскольку я понимал, что, несмотря на наши поражения, война только еще начинается, и что я должен найти в ней свое место, постольку я определенно считал, что единственное решение — уход в подполье. Однако это решение было слишком серьезным, чтобы принимать его в одиночку. Надо было посоветоваться с умными людьми. Не с Лялей, которая вообще ничего не желала слушать, и увы, также и не с Алешей, который, казалось, потерял рассудок. И не с Мишей, который был на фронте неизвестно где. Но с кем-то, кому можно было доверять, как самому себе, — неосторожный разговор на такую тему мог стоить жизни.

Я решил поговорить с самым умным человеком в нашей эрмитажной пожарной команде — с Александром Николаевичем Болдыревым. Разговор шел на втором этаже кабинетов на Малом подъезде, где был штаб и казарма пожарных. С нами была и Тора Гарбузова, ставшая вскоре его женой. Услышав мою идею о подполье, Александр Николаевич сказал мне:

— Жить под НКВД — плохо; под Гестапо, быть может, еще хуже; но сначала НКВД, потом Гестапо, а потом опять НКВД — это просто невозможно. Я буду уходить с армией.

Это была краткая и ясная формула. Действительно, не нужно было большого воображения, чтобы представить себе, как будет обращаться НКВД с теми, кто остался под немцами (это потом и подтвердилось после войны). И в то же время эта формула была мудрой еще и потому, что исходила из неизбежности нашей победы. Поэтому я не мог с ней не согласиться. Но все же хотелось услышать и другое мнение. Я выбрал Яшу Бабушкина, светлую голову и человека, глубоко преданного коммунизму, человека, которого я особенно любил, и до сих пор вспоминаю его большие, чистые глаза. Он работал на радио. Позже для голодных ленинградцев в их темных холодных пещерах радио имело огромное значение, а Яша был, пожалуй, главным организатором блокадного радио; вещая, опираясь на костыли или что-то в этом роде — стоять уже не мог.

Я пригласил его в кафе «Норд» (теперь «Север»), и там мы обсуждали, уходить ли вместе с армией или оставаться в подполье. Яша сказал:

— Я останусь только в том случае, если буду знать, что в ЦК партии лежит приказ о том, чтобы я, Яков Бабушкин, остался в подполье.

Но что же делать? Уходить? Как, куда? Если даже будет куда отходить армии, может ли гражданское население забивать собой дорогу отхода? Яша сказал: «Посмотрим».

Между тем, всюду обсуждался вопрос о том, удержится ли само советское правительство. Как-то я говорил у Малого подъезда Эрмитажа с нашей эрмитажной античницей, Александрой Ильиничной Вощининой, и подошла ее мать. Когда заговорили об этом вопросе, я сказал, что речь идет не о власти, а о существовании России. Мать Александры Ильиничны очень взволновалась и сказала:

— Спасибо, молодой человек, что вы вспомнили о России.

При мне к Милице Эдвиновне подошла Милена Душановна Семиз и сказала:

— Что происходит, разве нас так учили!

Милица ответила ей:

— Сталину сейчас тоже очень тяжело!

Милена прямо сказала, что она хотела на Сталина.

У всех настроение было такое, что все рушится. Я уже слышал, как на улице группа пьяных кричала «бей жидов» — как будто не было четверти века советской власти.

В последних числах августа меня опять вызвали в военкомат. Они там «запарывались» с учетом во-первых мобилизованных, во-вторых подлежащих мобилизации, в-третьих получивших «броню» и т.п. Поэтому они просто вытянули из картотеки первую попавшую карточку человека, который, по содержащимся на ней данным, должен был быть грамотным парнем, и вызвали его, не сообщив о причине. Я сидел с ними около суток, и за разбором карточек мы, конечно, трепались; в числе прочего я рассказал им, каким образом случилось, что я знаю норвежский язык (что было известно из той же моей карточки) и что я живал в Скандинавии. Поэтому, когда через несколько дней пришел приказ комплектовать штаб Карельского фронта, они сообразили, что Карелия — это близко от Финляндии и «всяких там прочих шведов» и (поскольку по-прежнему думали в категориях «на вражьей земле мы врага разгромим») вытащили опять мою карточку. Весь этот ход событий я реконструировал чисто мысленно и гораздо позже; мне никто не сообщал, для чего меня вызывают и куда, собственно говоря, направляют.

В последний раз в военкомат меня вызвали 3 сентября 1941 года, а когда я наутро выстоял там огромную очередь, меня из райвоенкомата послали в горвоенкомат. Здесь скопилось огромное множество народу, но все — исключительно с высшим образованием, из чего можно было заключить, что формируется никак не строевая часть. Из знакомых тут был мой однокурсник, наш эрмитажный аспирант, очень талантливый, красивый и милый иранист и поэт Гриша Птицын. Комиссии пришлось пропустить около тысячи человек, и до меня очередь дошла только к вечеру. Вопросов было немного.

— Знаете ли немецкий язык?

— Да.
— Имеете ли родственников за границей?
— Да.
— Кого, где?
— Дядю на острове Ява.
— Ну, это ничего. Вы зачисляетесь переводчиком, получите звание старшего лейтенанта. Прибыть завтра к 10 часам утра... — и сказали адрес на Обводном канале, позади Фрунзенского универмага. Я заметил, что в их списке со мной и Гришей Птицыным стояла фамилия моего друга Воли Римского-Корсакова.

Я отошел, после меня к столу комиссии подошел Гриша Птицын. На первый вопрос комиссии он ответил скромно, что немецкий язык знает слабо (хотя думаю, он знал его не хуже меня). Его не взяли, и он погиб от голода в блокадном Ленинграде.

Получив назначение, несмотря на то, что уже был отбой, но полагаясь на мобилизационное предписание в кармане, я бросился к Воле Римскому-Корсакову сказать ему, чтобы он с утра явился в горвоенкомат — авось его еще успеют записать, и мы будем служить вместе. Но он был на казарменном положении в Радиокомитете. Дома была только его мать. Она замахала на меня руками: «Что вы, что вы, зачем это надо, он получит броню!» — Он тоже погиб от голода.

Проститься к моим я забежал поздно вечером. Дома были мама и бабушка — Алеши и его молодой жены не было. Мама очень расстроилась моим известием, хотя я и пытался объяснить, что буду где-то в штабе. Это ее не утешило: второй из ее сыновей уходил на войну. Бабушке я почему-то сказал, что буду штабс-капитаном по-старому. Это было вдвойне неверно — во-первых, старший лейтенант по-старому поручик, а во-вторых, я на самом деле до весны не получал никакого звания, хотя был на офицерской должности, содержании и довольствии, а к весне получил звание «техник-интендант второго ранга», иначе говоря, «узкопогонного лейтенанта» — по-старому подпоручика. Глупость! — Наверное, от спешки, в какой я прощался. Вечером же ко мне пришла Ниночка Панаева, принесла несколько кристалликов лимонной кислоты: «На марше будет мучить жажда». У тещи я нашел заплечный мешок, сшитый ею (на случай, если придется уходить пешком) из мебельного чехла в синюю и белую полоску. Так я и таскал его всю войну вместо положенного «сидора» цвета хаки.

Утром 4-го я явился в казарму на Обводном. Здесь не было той трагикомической обстановки, как в казарме Ополчения. Все было серьезнее. Нам дали полное обмундирование, а в качестве личного оружия я получил трофейный неисправный испанский браунинг.

Глава третья (1941 — 1942)

Льется дождь по окнам,
Кляксы — по столу.
Выждать только срок нам
В этом чертовом углу!
Кровь земля впитает,
Раны зарастут —
А душа твоя не знает:
Что ты делал тут?
Как друзьям ответить,
Что делал на веку?
Одну ты знал на свете
Чернильную тоску.

I

Утром 5-го сентября нас собрали во дворе здания у Обводного канала, обнесенного высокой решеткой. Там уже стояло для нас полсотни грузовиков, если не больше. Проводы были очень похожи на то, как это изображено в фильме «Летят журавли» — как будто нас снимали — а может быть, и в самом деле снимали, и кадр был взят из кинохроники? Очень уж было похоже.

К решетке прилипли рыдающие матери, жены, с детьми или одни. Наши, в шинелях, старались тоже подбежать к решетке хоть на несколько мгновений. Мне было лучше: меня никто не провожал.

Автоколонна выехала из города часов в 10 утра в неизвестном направлении (в действительности — в сторону Ладожского озера. До постройки «Ледовой дороги» туда не было толкового шоссе, а только узкие грунтовые проселки, а у командования не было карт: негде было взять — в штабе фронта своим не хватало, а купить было нельзя; все карты были изъяты из магазинов и засекречены еще с конца тридцатых годов). Колонна быстро заблудилась. Ехали до глубокой ночи. Ближе к рассвету добрались до переправы на Шлиссельбург. Километра на два под гору вся дорога впереди была забита машинами. Мы стояли и стояли. Ужасно хотелось спать. Я, не спрашиваясь, соскочил с кузова и пошел искать, где прилечь.

На одной из машин эшелона, стоявшего впереди нашего, девушки и ребята пели хорошо знакомые песни тридцатых годов:

Дан приказ ему на запад,
Ей в другую сторону, —
Уходили комсомольцы...

и, помолчав секунду:

... На германскую войну.

(вместо «на гражданскую войну»).

Как-то выражение «германская война» связывалось с войной 1914—1918 гг.; но, да, конечно, и эта тоже «германская»!

... И родная отвечала:
«Я жлаю всей душой,
Если смерти, то мгновенной,
Если раны — небольшой».[1]

[1] Позже стало понятно, что уходящему на войну надо желать большой раны, вызывающей инвалидность. Иначе — обратно на передовую, и там убьет.

Ребята запели другую:

В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят;
Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
Пройдет товарищ все бои и войны,
Не зная сна, не зная тишины —
Любимый город может спать спокойно
И видеть сны и зеленеть среди весны.

Я обернулся на певших — они были мне видны высоко в кузове машины на фоне зарева, но это была не утренняя заря, которая тоже тогда была на небе, но с другой стороны, на востоке. А это горела Невская Дубровка на западе.[1]

Я спустился еще дальше вниз вдоль застывших машин. У воды, вокруг замученного, наверное не первую ночь не спавшего капитана — распорядителя на переправе — толпились генералы и полковники. Все они матерились, угрожали ему расстрелом и требовали пропустить именно их эшелон первым. Капитан не обращал на них внимания и пропускал машины в порядке очереди.

Я нашел какой-то сарай с мокрой дранкой и улегся на ней спать; с полчаса, может быть, и в самом деле проспал. Моя машина была одна из последних в нашей колонне, а наша колонна была, может быть, третьей, а может быть, пятой. Через Неву мы переправились часов в девять утра, если не позже. Близко слышна была канонада, все шире было зарево; что-то полыхало с разных сторон. Переправившись, мы быстро проехали через почти пустой городок. Было утро 6 сентября 1941 года.

Выехав на шоссе, мы стали встречать бредущих нам навстречу солдат. Они шли гуськом, с серо-зелеными застывшими лицами, в грязных шинелях, выцветших уже пилотках, волоча винтовки, а кое-кто и без винтовок; шли по закраине шоссе или прямо по кюветам; на наши машины, бодро ехавшие навстречу им посередине шоссе, они смотрели равнодушно и, кажется, даже с жалостью. Странно, что среди них не было ни одного высокого ростом, — а впрочем, ничего странного тут не было, имея в виду, что еще никто не умел ползать по-пластунски. Все были маленького роста, сутулые, грязные. Куда они шли, было непонятно — из боя, очевидно. Но впереди для них был Шлиссельбург, и отдыха он не сулил. Мы же ехали на восток.

В Шлиссельбурге автоэшелон перестроился, и теперь моя машина была ближе к голове. Мы поехали дальше.[2]

Колонна наша то и дело проезжала через деревни; обычные русские серо-черные бревенчатые избы чередовались тут с кучами веером разбросанных щепок и трухи: прямое попадание бомбы. Где прямого попадания не было, были одинакового размера круглые как по циркулю ямы — воронки: на обочине, посреди огорода, на полях. Начальнику эшелона казалось как-то естественно останавливать машины среди деревни, чтобы дать людям «оправиться» и размяться. Но стоило первым машинам остановиться, как

[1] Немцы вышли на Неву между Рыбацким и Дубровкой еще 30 августа, перерезав все дороги, кроме дороги на Шлиссельбургскую переправу.

[2] Шлиссельбург был занят немцами 8 сентября.

подбегали люди и умоляли проехать дальше: машины привлекают пикировщиков. И мы стали останавливаться на дороге среди чистого поля. Из кузова спрыгивали в глубокую грязь, часто выше колен. В одном месте прыгавший вслед за мною симпатичный капитан (в быту метеоролог) Омшанский сбил мне с носа очки; так мы завязали с ним знакомство.

Над нами часто низко пролетали немецкие самолеты, но почему-то не бомбили. Это было тем более странно, — слежка без обстрела, — что немецкие самолеты, как рассказывали, нередко пикировали даже на одиночные машины и расстреливали их в упор. Надя Фурсенко (Фиженко) мне рассказывала, что за машиной знаменитого химика академика Фаворского, возвращавшегося с дачи, долго гонялся немецкий пикировщик, и ему едва удалось уйти.

Где-то ближе к горизонту мы видели схватки немецких самолетов со знаменитыми (и бессильными) нашими «ястребочками» — «Чайками»; их было мало, а немцы то и дело появлялись по всему небу. Были слышны и взрывы, но вдали где-то. Я решил, что летчикам, видимо, был дан приказ уничтожать колонны, движущиеся к фронту, и оставлять в покое отступающие: такой колонной, думал я, казались им мы. Колонна была очень растянута, и от нас хвоста ее было не видно.

К вечеру мы приехали на Волховстрой и улеглись спать на полу в пустых классах какой-то школы. Тут я из окна увидел первый авиационный налет. Вспыхнул яркий свет повисшей в небе осветительной ракеты, и затем началась бомбежка моста через Волхов — впрочем, как большинство таких бомбежек, безрезультатная.

Наутро нас повели куда-то строем. Шли мы по глубокой грязи. На каком-то бугре стоял человек с маршальской звездой защитного цвета на петлицах, с отвратительной злой мордой и что-то орал. По команде мы обернулись на него, отбивая шаг. Это был маршал Кулик, одна из самых мрачных фигур первых месяцев войны, ближайший помощник Берии по армии, а в то время командующий 54-й армией, будущим ядром Волховского фронта. Его появление всегда знаменовало расстрелы, разжалования и т.п., — но это узналось потом.

Нас привели на вокзал и погрузили в эшелон. Ехали мы в теплушках — известных в России «40 человек, 8 лошадей». По стенам были нары, в середине буржуйка,[1] впрочем, помнится, не топившаяся. Останавливался эшелон где попало. Тут я впервые напился воды из канавы, с радужным отливом, и навсегда отбросил строгое мамино наставление: пить только кипяченую воду. Почему-то, как наденешь шинель, никакая хворь не берет — ни простуда, ни понос.

Как мы миновали мост, я совершенно не помню, но должны были его миновать, так как ночевали на левом берегу Волхова и, наверное, там и грузились, а эшелон уходил на восток. Затем стояли, рывками двигались, опять стояли.

Помню, что один раз мы стали рядом со встречным эшелоном из одних открытых платформ, загруженных людьми — главным образом женщинами

[1] Самодельная круглая жестяная печка с жестяной трубой, выводившей дым в окно.

и детьми — с небольшими жалкими тючками. С кем-то из этих людей я разговорился и узнал, что они — беженцы из Лодейного Поля, и что финны вышли на Свирь: значит, железная дорога на Мурманск уже не действовала. Куда везли беженцев, было непонятно: Ленинград и так уже был переполнен беженцами из-под Пскова, Луги и других мест. Не менее непонятно было, куда ехали мы.

В дороге начали завязываться знакомства, хотя все говорили очень мало. Рядом со мной оказался самый интересный из моих спутников, Давид Прицкер. К сожалению, он почти сразу начал пульку в преферанс со своим соседом с другой стороны, и она длилась до прибытия к месту назначения. Но я познакомился и с другими людьми. Я тянулся к тем, кто не матерился, поэтому круг моих знакомых был очень ограничен. Мат висел в теплушке постоянно — видимо, от мата люди чувствовали себя более мужчинами и военными.

Один из моих знакомых был маленьким, круглым, доброжелательным человеком, который оказался доцентом Политехнического института по фамилии Бать. Это был человек, обладавший свойством действовать на окружающих умиротворительно и успокоительно.

Другой, Янковский, был человек очень странный. Его специальностью было изобретение новых музыкальных инструментов, и он был научным сотрудником музыкального института, а эти изобретения были его научной темой. Он оказался вегетарианцем, что очень впоследствии осложнило его жизнь, — не только потому, что в каше, которую нам давали, по нашим прибытии на место стали иногда попадаться кусочки мяса.

Третьим моим собеседником был школьный учитель немецкого языка Альтшулер. Он был явно неглуп, но мало разговорчив. Никому не хотелось сообщать свои мысли, тем более что мысли были мрачные и поэтому опасные, а между собою мы были очень мало знакомы.

Омшанский был в другом конце вагона, с ним не поговоришь.

Был еще очень веселый рыжий бухгалтер. Он прежде заведовал финансовой частью чего-то и надеялся сохранить такое же положение на новом месте.

Был маленький человек с громадным носом. Когда он входил, то сначала появлялся нос, остальное много позже.

Был еще элегантный сын известного литературоведа Евгеньева-Максимова, с великолепной выправкой и весь в ремнях; чтобы сохранить свои хромовые сапоги, он надел на них галоши. Не доезжая Вологды, на какой-то станции, его узрел начальник эшелона и был глубоко возмущен галошами, накричал на Максимова, — и пришлось ему их снять.

В Череповце мы пересекли мост. В Бую, очень неприятном, грязном городке — грязнее даже Аткарска, что было для меня мерилом, — под проливным дождем собралось множество военных. Может быть, именно тут, а не в Волхове стоял на бугре Кулик? — Затем мы прибыли в Вологду.

...Перед 1981 Новым годом мне неожиданно позвонил Моисей Иосифович Бать. Меня не было дома, ему сказали, что я приду поздно. Он сказал совершенно в своем духе:

— Игорь придет усталый, и я не хочу его беспокоить.

Тем не менее я ему позвонил сейчас же, и мы хорошо потрепались по

телефону. Очень было славно услышать его такой приятный грудной голос. Я ему коротко рассказал то, что помнил о первых месяцах своего путешествия — главным образом до того, как мы с ним познакомились. Оказалось, что, в общем, наши воспоминания совпали, но в чем-то он помнил иначе. Я ехал, как уже сказано, в третьей или четвертой машине от начала эшелона, а Бать в одной из последних. Я переправился на другой берег Невы спокойно, а над ним пикировал «Мессершмитт». Не бомбил, видимо, потому что уже отбомбился в другом месте. Но самые последние наши машины таки попали за Шлиссельбургом под бомбу и погибли, — а я об этом не знал. Погибло человек тридцать.

Бать нарисовал мне еще один любопытный эпизод, который у меня совершенно выпал из памяти.

— Мы с Вами ехали в одной теплушке, но в противоположных углах. Во время продолжительной стоянки в Вологде подошел начальник эшелона и вызвал из теплушки Вас и меня. Мы вышли, и начальник нам сказал: «Вам приказано охранять платформу. Идите к седьмому отсюда вагону и охраняйте». Мы пошли в голову эшелона, поднялись на совершенно пустую платформу и начали ее охранять.

(Замечу, что для охраны у меня был пистолет, из которого можно было стрелять только с угрозой для жизни стреляющего, а попасть в кого бы то ни было вовсе невозможно. У Батя не было и пистолета. Я был длинный, худющий, а он маленький, круглый, почти как шарик. Итак, мы стояли в разных концах платформы и ее охраняли. Продолжаю рассказ Батя.)

— На платформе не было ничего, но, как сказано в «Дон Кихоте» на 199 странице: «Тот воин прославится, который показывает полное повиновение начальству». Наконец стало темнеть. Была середина сентября, темнело рано. Мне пришло в голову, что нам пора вернуться в теплушку. Вы согласились со мной, и мы, оставив свой пост, ушли, нарушив устав караульной службы. Там мы получили котелок каши и, наконец, поели. Всех водили обедать, а мы, охраняя платформу, остались без обеда.

Для Батя осталось загадкой, в чем была идея охраны пустой платформы. Я думаю, что идея была в том, что всякому эшелону полагалось иметь впереди или сзади зенитные орудия и, видимо, предполагалось, что мы будем охранять пушки или их погрузку. Однако, для нашего эшелона их не хватило, и мы поехали так, а о нас с Батем попросту забыли.

Кроме того, Бать рассказывал про бомбежку в Волховстрое (я запомнил только фейерверк), что она была очень сильной, все стены нашей школы, где мы находились, ходили ходуном. Я этого не упомнил. В остальном воспоминания наши совпали, видимо, мы все запомнили правильно.

Из Вологды мы поехали на север, то есть явно от фронта. Прицкер захватил с собой карманный атлас, и, посмотрев в него, мы убедились, что из Архангельска, куда мы, очевидно, ехали, действительно нет никуда дороги — тупик. Куда же направлялся штаб — это, с сопровождающими, около тысячи человек, — было неясно. Кругом на сотни километров без просветов тогда еще тянулся сплошной роскошный хвойный лес.

Не доезжая Архангельска, от станции Обозерская, мы повернули на запад по новой ветке, которой не было на карте и о которой никто не имел понятия.

Много позже выяснилось, что ветку только что построили. Она должна была соединить у станции Сорокской (г.Беломорск) линию Москва—Архангельск и линию Мурманск—Ленинград; строить ее начали едва ли не несколько месяцев или недель назад.

Строили Обозерскую ветку заключенные, без правильной насыпи, прямо по глубокому болоту. Поезд шел медленно, и колея следом за каждым поездом расходилась. Заключенные снова восстанавливали дорогу.

Даже названия станций в тундре на болоте были какие-то обескураживающие: Мудьюга, Воньгуда, Малошуйка...

II

Мы ехали от Обозерской до Сороки трое суток и прибыли туда 14 сентября. Там нас высадили и у вокзала построили.

Надо было всех нас накормить. Сухой паек уже с сутки как кончился.

Заместитель начальника эшелона привел колонну в пустой концлагерь. Пустой, но не мертвый — заключенные, видимо, были на работе. Страшные бараки, колючая проволока, вышки с вертухаями. Посреди площади в центре стояла золотарская бочка, накренившаяся в распряженной повозке и роняющая потеками свое содержимое, как сопли. Альтшулер показал мне на нее и сказал: «Вот символ нашей жизни». Чем нас кормили, не помню. Очевидно, баландой, и за счет заключенных.

Оттуда группами нас стали вызывать в город.

Город Беломорск[1] был весь деревянный: мосты, избы, заборы; дощатые тротуары, дощатые мостовые. Было в нем только три каменных двухэтажных дома: школа, управление лагерей и еще что-то, может быть, райком. Весь город был широко разбросан и располагался на островах, соединенных длинными деревянными мостами. Их было, говорили, не меньше полусотни, но один мост был самый длинный, чуть ли не с полверсты. Мосты переброшены были через широкую реку Выг, всю порожистую, с торчавшими то тут, то там из воды гранитными валунами. Река казалась блестящей, светло-голубой, и в ней отражалось изумительное зеленоватое и розовое северное небо. Но если зачерпнуть, вода была как из болота — коричневая.

Начальник эшелона, догадавшись, что в ближайшем к вокзалу каменном доме, издали возвышавшемся над хибарами, должно быть какое-то начальство, отправился доложить о прибытии. Там за столом сидел полковник, которому он и представился:

— Начальник штаба Карельского фронта полковник Такой-то! — Тот поднялся из-за стола и ответил ему точно таким же представлением:

— Начальник штаба Карельского фронта полковник Этакий!

---

[1] Город назывался с некоторых пор, как выяснилось, Беломорском, а станция была по-прежнему Сорока или Сорокская. Так было принято у железнодорожников: город Чкалов, станция Оренбург, город Красногвардейск, станция Гатчина. Сорока находилась недалеко от устья знаменитого Беломорско-Балтийского канала, город и получил название «Беломорск», по-фински (финский в 1938 г. еще был одним из государственных языков Карельской АССР) Valkeameri («Белое море»); по-карельски (государственный язык Карело-Финской ССР после посадки всех финнов) он назывался «Беломорс».

Оказалось, что в Москве не понадеялись на то, что нам удастся выбраться из Ленинграда, и сдублировали состав штаба Карельского фронта у себя.

До тех пор наши штабы от Баренцева моря до Ладоги входили в состав Северного (т.е. Ленинградского) фронта. Но теперь они были отрезаны от Ленинграда финской армией, которая вышла на Онегу и на Свирь, и по приказу Ставки от 10 августа 1941 г. должен был быть сформирован отдельный Карельский фронт со своим штабом.[1] Карельский перешеек, отошедший к нам после Финской войны 1939—1940 гг., оставался в составе Ленинградского фронта, а наш Карельский фронт распространялся на север Карельской (с недавнего времени Карело-Финской) республики и на Кольский полуостров. Командовал фронтом генерал-лейтенант Фролов.

Немцы вошли в Шлиссельбург буквально по нашим следам, и мы действительно легко могли и не проскочить. В течение всего нашего десятидневного пути мы не имели связи с Москвой, и она не имела вестей о нас.

Было решено дать людей в штаб нового фронта, расположенный в Беломорске, и из московского, и из ленинградского эшелонов, а лишних людей отослать в армии и подчиненные им дивизии. Конечно, многие там и погибли, например, несомненно, погиб Омшанский, может быть, и Альтшулер — по крайней мере, я никогда больше ничего не слыхал о нем; потери среди работников штаба фронта были невелики.[2]

Бать, Прицкер, Янковский, я и еще некий Бейлин оказались переводчиками 2-го отдела (т.е. разведотдела) штаба фронта, в подчинении у капитана Б., кадрового военного. Во главе разведотдела стоял полковник Поветкин. Начальник высшего после Разведуправления Красной Армии разведывательного учреждения, он не только не имел ни малейшего представления о структуре немецкой армии, даже о немецкой солдатской книжке,[3] но и ни слова не знал по-немецки, да и в русском был не силен — писал «субота» через одно «б». В конце войны один западный корреспондент попросил у него автограф, и он сказал, что забыл его дома. Управляли делами фронта не самые просвещенные люди. Мы не могли этого понять — ведь Германия давно была наиболее вероятным противником, — и не знали, как это себе объяснить — разве что за счет общей неграмотности политического руководства.[4]

Перечисленные переводчики — Бать, Прицкер, Янковский, Бейлин и я —

---

[1] Чтобы избежать обычной путаницы, отмечу, что Карельский перешеек (т.е. территория между Выборгом и рекой Сестрой) к Карелии не относится.

[2] Это объяснялось неподвижным характером нашего фронта. На других фронтах потери штабников были больше, хотя, конечно, не шли ни в какое сравнение с потерями в частях.

[3] Так у нас назывался Soldbuch — денежный аттестат, служивший одновременно и воинским удостоверением личности, единственный документ любого немецкого военнослужащего. В нем были названы имя и фамилия, возраст и место рождения и номер части. Эти сведения, и только эти, немецкий военнослужащий имел право называть в случае попадания в плен (нашим пленным разглашение и этих сведений было запрещено и рассматривалось как государственная измена).

[4] На самом деле это объяснялось тем, что практически все командование Красной Армии, начиная с командиров дивизий (и соответствующего уровня штабных работников) и выше (а отчасти и ниже), было уничтожено в 1937—39 гг. За очень немногими исключениями, крупные военачальники и штабные работники 1941 г. были «выдвиженцами» из командиров батальонов и рот.

жили первое время в каменном здании управления лагерей. В нашей комнате было совершенно пусто. Спали вповалку. Дела не было. Постепенно приносили столы, стулья, военные карты, которые нужно было склеивать и наносить на них «разведобстановку» и ежедневно возобновлять.

Была хорошая возможность связаться со своими. Письма из армии шли по полевой почте, без адреса, с указанием только условного номера части («почтового ящика»). Конвертов, конечно, не было (вскоре их не стало и «на гражданке») — письма складывали треугольником. Но в Беломорске существовала и гражданская почта, которая ставила на письмах штамп с надписью «Беломорск—Valkeameri», и тем самым мои могли узнать, где я нахожусь.

Куда писать? Я уже упоминал, что, когда наши эвакуировались, мы записали адреса наших знакомых в глубоком тылу, через которых надеялись связаться. Я написал в Свердловск на адрес Наташи Амосовой — и не ошибся: наши именно туда и попали, как и надеялись.

О чем писать? Где я нахожусь — этого писать, конечно, было нельзя. Я решил описать пейзаж: мне казалось, что это может успокоить моих, если они волнуются о моей судьбе. Ведь они и того не знали, что я в армии, а узнав, им было бы естественным представить, что я на переднем крае.

Деревянный город был очень красив. Каменные острова со скудной зеленью и широкая река, кое-где с гранитными порогами. Кругом тундра, полуболотистая, бурая, пустая — под удивительным акварельно-пастельным небом. Я сразу полюбил этот город. О нем я и написал своим, совершенно не догадываясь о том, как это будет принято, — не зная, что у них там в Свердловске; что там голод, что мальчик болен, и совсем не до пейзажей. Нам не дано предугадать...

Когда я отправлял домой первое письмо, то надо было сдать его на городской почте в окошко, — почтовых ящиков либо не было, либо я им не доверял. Стояла небольшая очередь. Расталкивая всех, через нее начал ломиться генерал. Девушка в окошечке его остановила, сказав ему, что генерал он в армии, а здесь он клиент, как все. Он поднял неприличный крик, заявляя, что он — Антикайнен, но и это не помогло.

Еще раз я видел его в разведотделе. Это был руководитель партизанского движения в Финляндии и Карелии с 1918 г.

Считается, что Финляндия получила независимость из рук Ленина, и это так. Но это не мешало тому, что с нашей помощью там образовалась своя Красная Гвардия. Она потерпела там поражение, за которым последовали массовые расстрелы (причем погиб, между прочим, и замечательный писатель Мартти Лассила); но Антикайнен со своим отрядом отошел в Карелию, где продолжались бои до 1922 г. Антикайнен был героем известного тогда романа Геннадия Фиша «Падение Кимас-озера».[1] Вскоре из Беломорска Антикайнен был отозван в Москву — и не долетел: самолет погиб.

[1] Геннадий Фиш, которого я хорошо знал еще с Коктебеля, носил прозвище «писатель земли карело-финской» и служил, в чине трех шпал, в Беломорской фронтовой газете «В бой за Родину»; встретив кого-либо из нас на мосту или на улице, он брал за пуговицу и трогательно сообщал: «Я уже на 173 странице моего нового романа». — После войны я отдал ему часть своих киркенесских баек (см. главу 5) — все не отдал, пожалел. Еще часть я отдал Э.Казакевичу, который и меня самого и мою семью вывел в романе «Сердце друга».

Днем мы ходили в столовую. Кормили нас пшеном с редкими кусочками солонины, которые Янковский, вегетарианец по соображениям гигиены, учитывая возможности солдата, с трудом заставлял себя есть и потом болел. Хлеба давали в общем достаточно. Голодали только гражданские, но не на наших глазах, да их и было очень мало и становилось все меньше — кроме заключенных.

А путь в огромный столовый барак и обратно вел по длиннейшему мосту через изумительной красоты реку Выг:

Водной гладью золотистой,
Бледной радужкой стекла
Переливчатой и чистой
Вся река полна была...

III

Между тем шла война. Нужно было начинать работать. Мы были переводчиками информационного отделения 2-го (разведывательного) отдела штаба Карельского фронта.[1] Всего нас в отделе было человек пятьдесят, и я не имею ясного представления о том, что они делали. Мне казалось, что они больше ходят к интендантам, выбивая там ремни и яловые сапоги. Но этого я наверное не знаю. Могу рассказать только о своем отделении. Мы, информационное отделение, были связаны не только со своим отделом, но и с 1-м, Оперативным отделом: мы поставляли данные для оперативных решений. Тем не менее, в разведотделе не было единой карты, где были бы отмечены и позиции противника, и наши: у нас отмечались только позиции противника. В оперотделе и у начальника штаба фронта была сводная карта,[2] но как без нее обходился разведотдел — мне было не совсем понятно. Но и разведывательной обстановкой у нас занимались не мы — это происходило где-то выше нас. Я думаю, этим занимался старший лейтенант Задвинский, кадровый военный, красивый, со светлыми волнистыми волосами и голубыми умными глазами.

Начальник наш, капитан Б., был тоже по-своему красив, румян, подтянут — но только, в отличие от Задвинского, он был глуп — и этим похож на бесчисленное количество военруков, виденных всеми нами еще в Университете. Мы ему явно мешали, слоняясь без дела, изредка (и плохо) склеивая карты — и только. Но наконец откуда-то появился большой мешок трофейных писем. К нему нас и приставили. Одновременно нам отвели отдельную избу далеко от штаба, ближе к большому мосту.

Меня капитан Б. назначил начальником переводческой группы.

Нашей задачей было чтение немецких писем и документов с извлечением из них информации для разведки. Ценной информации было мало, если не считать общего впечатления о «политико-моральном состоянии» немецких частей и его постепенном изменении, но такие выводы — конечно, важные — могли быть сделаны лишь после длительного

[1] Интересно, что в армии ни одного другого государства не было при разведывательной службе должности переводчиков: считалось само собой разумеющимся, что всякий разведчик знает язык противника, да и другие языки.

[2] В частях на полковых картах наносились и разведывательные, и оперативные данные, но строго в рамках участка фронта части.

наблюдения над немецкой перепиской; пока чтение писем казалось мало осмысленным занятием.

Письма были солдатские и офицерские — австрийских горных егерей, воевавших против нас на Мурманском направлении, и летчиков; за очень немногими исключениями они были писаны от руки готическим шрифтом. Печатный готический я знал, а письменный читал скорее по догадке. В том же положении были Бать и Прицкер. Бать работал добросовестно и быстро, Прицкер и я — тоже. Труднее было Янковскому. Я давал ему только все самое простое.

С Бейлиным было труднее всего. Он был много старше нас всех, уже с сединой в голове. В письмах он ровно ничего не мог прочесть. Я спросил его, как он попал к нам. Он сказал, что надеялся в качестве переводчика попасть в тыл и считал, что, зная идиш, справится; поэтому (в отличие от Гриши Птицына) сказал в военкомате, что знает немецкий. Бейлину я давал только машинописные тексты. Такие иногда бывали у офицеров и летчиков. Однажды нашлась машинописная записка строки в четыре, и я с утра дал ее Бейлину. Днем мы пошли обедать. Вернулись — а Бейлин все еще читает. На мой вопрос говорит, что он вычитал кое-что пикантное. Беру, читаю, ничего не нахожу: «Дорогой Ганс, меня переводят в другую часть, оставляю тебе мой шлемофон. Ни пуха тебе, ни пера». Подпись. — Бейлин решил, что сокращение, означающее шлемофон, — F.T.Haube — это имя девушки, а выражение Hals- und Beinbruch означает... не знаю уж, что он решил.

Прицкер Бейлина разыгрывал, говорил: скоро нас переведут обратно в каменный дом. Этого Бейлин боялся ужасно, считая, что каменный дом будет несомненно главной мишенью бомбежки. В следующий раз Прицкер, возвращаясь из города, говорил ему: есть сведения, что нас оставят в избе, но Бейлина переведут в каменный дом. Бейлин начинал волноваться и умолял Прицкера сказать начальству, что он плохо знает немецкий язык.

По-видимому, Давид так и сделал, потому что скоро пришел приказ, что Бейлин назначается начальником вещевого склада на станции Няньдома, на железной дороге Вологда—Архангельск, более чем в 400 км от фронта. Я редко в жизни видел человека таким счастливым! То-то он в Няньдоме давал жизни кладовщикам!

Наряду с письмами, снятыми с убитых немцев, нам попался и один весьма интересный текст: памятка о советской армии, составленная для служебного пользования и розданная в декабре 1940—январе 1941 гг. всем немецким офицерам от командира роты и выше. Памятка давала очень точные сведения о структуре нашей армии, высоко отзывалась о нашем вооружении (хотя действительно мощное оружие мы ввели в действие только годом позже); еще выше оценивалась боеспособность советского солдата, как едва ли имеющего себе равных, но отмечался низкий культурный уровень среднего и высшего комсостава и делался вывод, что советская армия будет навязывать немецкой тяжелые бои на отдельных участках фронта, но не сможет устоять в целом, так как советское командование не умеет поддерживать связи с соседними частями и соединениями и оперировать большими массами войск.

Из того, что мы покамест знали о ходе войны, похоже было, что оценки германского штаба были близки к истине.

Не помню, как мы отапливались, кажется, плитой. В нашей избе было немного дров, дощатый стол и две скамьи. Спать на холодном полу в шинелях надоело, надо было как-то устраиваться. Поскольку «война есть преступление, включающее все преступления», то я и начал свою военную службу с небольшого преступления: пошел и украл у соседей сена на всех моих, чтобы было на чем спать. Не знаю, были ли соседи на работе или их уже эвакуировали, по крайней мере, никто не приходил жаловаться.

Через некоторое время из нашей группы выбыл Прицкер. К нему, как к уже нюхнувшему и пороха, и разведывательной работы в испанскую войну, в отделе относились иначе, чем к Янковскому, Бейлину или мне. Он получил каморку в другой избе неподалеку и какую-то другую работу, которую выполнял в самом 2-м отделе, в «каменном доме» вблизи от станции. Приходил он домой поздно ночью; я бросал ему снежок в окно, — стояла ранняя зима, — и он выходил ко мне. Мы гуляли и разговаривали вдвоем.

Однажды — это было, очевидно, 20 сентября — Прицкер вышел ко мне мрачный и сказал, что наши оставили Киев. В сводке Совинформбюро этого еще не было. В сводках никогда в тот же день не сообщали об оставленных городах, но Прицкер по долгу службы ловил немецкую передачу. Услышать о сдаче Киева ему было особенно горько, так как его родители были киевляне и сам он там родился 7 ноября 1917 г.; в Киеве были родные и друзья, хотя его семья и жила сейчас в Ленинграде.

Об этой новости невольно и заговорили мы с ним. Если пал хорошо защищенный, два месяца оборонявшийся и не окруженный Киев, то устоит ли Ленинград? Что он в кольце, мы знали с самого начала. Наша автоколонна потому и шла на Шлиссельбург, что из нашего города уже перестали уходить железнодорожные эшелоны: уже с середины августа проскакивали Мгу только некоторые, потом — лишь единичные. К концу августа ни одной железной дороги у Ленинграда не было; и нам здесь в Беломорске было хорошо известно, что и Шлиссельбург давно уже взят. Что творилось в нашем городе — о том не было ни слуху, ни духу.

Некоторое время спустя мне попалась среди трофейных материалов финская карта Ленинграда и окрестностей, где все населенные пункты имели финские названия. Но и по этой пропагандистской карте было ясно, что финны на Ленинград претендовать не будут: их сил на такой город, с населением, равным населению всей Финляндии, вместе взятой, просто не хватит. Едва ли эта страна могла бы и прокормить такой громадный город.

Судьба Ленинграда была неясна. Мы взвешивали варианты. Возможность длительной осады не укладывалась в голове. (Кстати, слово «блокада» мы услышали только от тех, кто ее перенес, и уже ближе к концу войны; у нас на Карельском фронте, где было столько ленинградцев, говорили «осада»).

Наряду с печальными известиями были заботы дня и забавные моменты. Мы были молоды, и не только огорчались, но и смеялись. Забавен был иероглифический дневник Янковского: кружок и в нем три точки (т.е. «каша») означал впечатление от еды, балалайка — музыкальные впечатления и т.д. Три кружка — сильное впечатление от еды, три балалайки — сильное впечатление от музыки (в Беломорск эвакуировалась петрозаводская оперетта). Не менее забавляли нас его рассказы, например, о том, как он решил

изобрести одностру нный рояль. Для этого он решил очистить мозг голодом. Голодал три недели.

— И как Вы себя чувствовали?

— Отлично. Моча коричневая, и при этом очень снижается половая потребность.

— А одностру нный рояль Вы изобрели?

— Конечно, изобрел. Это же была моя плановая работа.

Однажды по распоряжению начальства капитан Б. приказал нам подать полные списки своих знакомых. Я был ошарашен. По наивности я считал, что нужно перечислять действительно всех. Но ведь знакомых были сотни. Дойдя до Н.Д.Флиттнер, я остановился в сомнении, потому что она была немкой, и не только для меня, но и для нее могли получиться неприятности, если бы по моему списку стали бы рыться в досье моих знакомых. Я пошел советоваться к Прицкеру. Он сказал, что я сошел с ума и что надо написать имена 4-5 человек, больше из родственников. Никаких немцев не должно быть. Я сказал, что ведь могут проверить. На это Давид справедливо заметил, что никто ничего никогда проверять не будет. Нужно только подать бумажку, а раз мы работаем в разведотделе, значит, мы уже проверены. Я так и написал, и все были удовлетворены. Но насчет проверки Давид был все-таки не прав.

Мешок с письмами, собранными еще в сентябре, между тем, кончился; появлялись изредка новые письма, снятые с пленных или убитых, но и тех и других было мало, и писем, соответственно, тоже.

Из нашей уютной избы нас перевели обратно в здание штаба. Там шла какая-то настоящая работа, но больше всего клеили карты. Это было основным занятием разведотдела, так как обстановка до декабря еще менялась. Должен сказать, что клеил я очень плохо.

Здесь я стал понимать, откуда берутся разведывательные данные.

Во-первых, из донесений воинских частей: кто ведет огонь, какие орудия и сколько их есть у противника и, судя по этому, какое количество войск при них. Чтобы выяснить, какие именно части стояли перед нами, нужны были «языки». Но время для их захвата еще не пришло.

Во-вторых, из радиодонесений от наших агентов. Им ведало отделение дальней разведки. Агенты были, видимо, размещены в узловых точках вдоль дорог, ведущих к фронту (рокадных дорог вдоль фронта у немцев не было): агенты считали проходящие части и машины. Поветкин и его люди этим донесениям не доверяли, особенно когда они не соответствовали их представлениям о том, что, с их точки зрения, должно было делаться на фронте.

— Сдвоился, — цедил сквозь зубы какой-нибудь штабной майор. «Сдвоился» — значит «стал двойником», работает на нас и на противника, дезинформирует. Двойники, может быть, и в самом деле бывали (во всяком случае были они среди немецких и финских агентов у нас, но об этом в другой раз); но тут дело было в общем отношении, которое установилось к агентам со стороны командования. Выходившего от противника агента часто ждала печальная судьба — очевидно, по такой логике: трудно представить, что, живя за границей, человек не захочет там и остаться. А это переносилось и на агентов, живших и не за границей, а в тайге. Ментальность Кулика.

Надо иметь в виду, что единого фронта на север от Онежского озера не

было. Были небольшие отрезки фронта поперек дорог, ведших с запада на восток, а в промежутках между ними — сотни километров тундры или пустой, болотистой, редковатой карельской тайги. Наш Карельский фронт был разделен сначала на опергруппы, а с весны 1942 г. — на армии. На Мурманском направлении немцам преградила путь 14-я армия, на Кандалакшском[1] — 19-я, на Кестеньгском,[2] где немцы смыкались с финнами, — 26-я, на Ухтинском и Медвежьегорском против финнов стояла 32-я,[3] на Свири — 7-я, которая принадлежала то нашему, то Волховскому фронту. На занятой немцами территории не было почти никаких населенных пунктов; а если были отдельные лесные деревушки, да на Кандалакшском направлении — поселок Алакуртти, забранный в финскую войну от финнов, то население из них давно либо было эвакуировано, либо бежало. Только в южной, «олонецкой» и «петрозаводской» Карелии, оккупированной финнами, карельского населения за линией фронта осталось довольно много.

На севере, между Баренцевым морем и Ухтой, наступление их завязло ко второй половине сентября, и фронты были кое-где даже несколько отодвинуты; на юге же противник наступал энергично. К октябрю был взят Петрозаводск, и в конце месяца бои шли у Медвежьегорска. Надвинулась зима. Длинная слякотная осень здесь поздно в сентябре сменяется ранней зимой.

Для понимания дальнейшего нужно, вероятно, сказать, что первоначально на севере — от Баренцева моря до Ухты — армия противника состояла как из немецких (в том числе эсэсовских), так отчасти и из финских частей, и лишь южнее, от Ухты до Свири, части были почти полностью финские. Но впоследствии между финскими и немецкими солдатами начались конфликты: видимо, немцы вели себя высокомерно, и финны ощущали их как оккупантов. Тогда было произведено размежевание: на Мурманском, Кандалакшском и Кестеньгском направлениях стояли только немецкие части (на Мурманском — докомплектованные из горных австрийцев), от Ухты до Свири — только финские.

На расклейке карт я пробыл недолго. Этот период запомнился не работой, а тягостным хождением по нужде. О канализации в Беломорске и не слыхивали, и в тылах нашего роскошного каменного дома был сооружен большой деревянный нужник, расположенный в низинке, посреди незамерзающего озера мочи. Где-то в сторонке был, очевидно, нужник для генералов, но когда в штабе появились девушки, они ходили в большой нужник, куда и все. Это бы все еще ничего, да Янковскому и мне пока что не выдали пропусков в здание штаба — якобы потому, что мы, хоть и на офицерской должности, были «рядовые необученные», на самом же деле — впредь до проверки. Выйти наружу по черной лестнице мимо часового было можно, но вот обратно войти было много трудней; если попадался добросовестный

---

[1] Наш штаб армии был в тайге западнее Кандалакши.

[2] Сама Кестеньга была у немцев, а наш штаб армии находился в Лоухи у железной дороги, или в «Лоухах», как у нас говорили; передовая ее часть была около Ухты.

[3] Ухта и Медвежьегорск достались финнам, а наш штаб армии был в Сегеже.

часовой, так приходилось дожидаться, пока пройдет знакомый командир (в то время еще не «офицер») и проведет с собой; а телефона, чтобы позвонить к себе в отдел, у входа не было.

Пройдя мимо часового к озеру мочи, человек прыгал с ледяной глыбы на дощечку, с дощечки на кирпич, пока добирался до входа в нужник. Дальше было труднее: в нужнике моча стояла уже по колено или даже выше; ловким движением человек вскакивал на деревянное корытце писсуара и по нему добирался, балансируя, до кабинки. Здесь его ждал намороженный каловый кол, поднимавшийся почти на метр над очком. А потом — тот же путь обратно к часовому.

В конце концов капитан Б. объявил Янковскому и мне, что есть приказ нас отчислить и перевести в резерв. Я понял, что меня отчислили из-за «репрессированного» отца, Янковского же из-за того, что он был вегетарианцем (он даже жену и дочь обратил в вегетарианство). Очевидно, его сочли сектантом, хотя он исходил из чисто гигиенических соображений: мясо, макароны и еще что-то — «шлаковая пища», вредная для организма. Идеология же его была вполне советской.

Резерв находился в деревянном бревенчатом двухэтажном домике. Командиров (т.е. офицеров) там было мало: одна комната с двухъярусными нарами, да и она вмещала всего четверых. Двое попали сюда, как они считали, неизвестно почему (то были два «военинженера», один со шпалой — капитан, другой с тремя кубиками — старший лейтенант).[1] Они целыми днями лежали на нарах и весьма весело рассказывали неописуемые истории непечатного содержания.

Армия — это громадное количество молодых мужчин без женщин. Кроме того, в отличие от политических размышлений, разговоры о женщинах были совершенно безопасны. Беседовать о политике можно было в те годы только с глазу на глаз с самыми надежными и близкими друзьями, лучше на улице; за «паникерство» или за «антисоветские» разговоры могли подвести под трибунал.

Янковский говорил со мной о музыке и своей профессии; мы ходили с ним в оперетту. Из Петрозаводска был эвакуирован в Сороку этот театр с голодными музыкантами и с откормленными опереточными примадонной и тенором. Видимо, эти актеры (оба, говорят, москвичи) имели дополнительный паек. Все, кто играл вторые роли, были очень тощими — их паек, надо полагать, не мог сравниться ни с примадонским, ни с нашим.[2] На всю оперетту было только два мундира для любой военной роли: фиолетовый с серебристыми нашивками и галунами. Мы с радостью узнавали их то на гусаре, то на улане, смотря по пьесе.

Репертуар театра был не обширен: давали поочередно «Сильву», «Веселую вдову», «Роз-Мари» и, кажется, изредка «Корневильские колокола». Мы ходили ежедневно и в конце концов пересмотрели каждый спектакль десяток раз. Зрителей было немного, билеты всегда продавались, но зал (в деревянном

1 На самом деле они были русские немцы.

2 Позже мне довелось в 1945 г. в Кеми жить у одной эвакуировавшейся местной женщины. По ее словам, ели лебеду и крапиву.

здании клуба или кино) все-таки наполнялся — почти исключительно офицерами.

После каждого спектакля Янковский рисовал в своем дневнике соответствующее впечатлению количество гитар (три гитары — сильное музыкальное впечатление).

Были и другие развлечения. По дороге в столовую у моста стоял облезлый деревянный домик кубической формы, некогда голубой, под выцветшей красной округлой крышей: здесь находилась городская библиотека. Ее еще не эвакуировали. Туда-то я и ходил. Там были две девушки, очень уродливые, как часто среди карелов, но очень приятные и славные. Книг, которые можно было бы читать, не было никаких. Был граммофон, на который девушки по моей просьбе ставили пластинки. На одной с лицевой стороны было «Вдоль по улице метелица метет», а на обороте — мой любимый романс «Однозвучно гремит колокольчик». На другой были ирландская и шотландская застольные Бетховена.[1] Они, конечно, провертели их мне почти сотню раз; запомнилось как что-то щемящее на всю жизнь. А больше заняться было нечем. Из Свердловска писем еще не было.

IV

Однажды в помещение резерва вошел высокий, весь в ремнях, очкастый человек с толстым носом; в петлицах у него были три шпалы старшего батальонного комиссара и на рукаве комиссарская звезда.

Мы лежали на нарах, но сразу вскочили и вытянулись по стойке «смирно». Вошедший обратился ко мне, назвав меня по фамилии. Спросил, знаю ли я немецкий язык, и сказал, что я буду работать в Политуправлении фронта.

— Через три дня можете явиться. — Почему через три дня — оставалось неясно.

Улиц Беломорска мы не знали, обедать ходили через большой мост только по главной, «Солунинской улица».

В Карелии, кроме русского, был свой язык — или, вернее, ряд бесписьменных диалектов. В одном районе, Ухтинском, говорили фактически даже просто по-фински, и даже на самом лучшем финском языке, ибо именно здесь была записана Калевала, финский народный эпос. В Карельской автономной республике до 1937 г. официальным языком наряду с русским был финский. Когда-то здесь было много финнов, в основном из тех, кто во время гражданской войны в Финляндии отошел на советскую территорию; было также порядочно финнов-коммунистов из США и Канады. Почти всех в 1937 г. пересажали, и к нашему приезду их практически не было. В финскую войну Карелия из автономной стала Карело-Финской союзной республикой (в расчете на присоединение к ней Финляндии?), и тогда снова ввели официально финский язык, тем не менее в промежутке официальным языком был карельский. Его срочно начали изобретать (трудно было объявить государственным языком какой-либо один из бесписьменных диалектов) и

[1] Шотландская застольная Бетховена была в какой-то момент... запрещена цензурой! Но мои карелочки этого, конечно, не знали.

делать письменным языком. Но слов, которые совпадали с финскими, боялись из-за возможных (смертельных) обвинений в финском национализме. Быстро придумали своеобразный «общий для всех диалектов» письменный карельский язык. Сущность его заключалась в следующем: во-первых, письменность была принята русская, вместо финской латиницы. Во-вторых, существительные и прилагательные, включая словообразовательные суффиксы, были, как правило, русские, глаголы тоже были больше русские, но с финскими окончаниями; наречия, местоимения и служебные слова были финские (они по большей части совпадали с финскими и в реальных карельских диалектах).[1] Для русских слов брали поморские формы. Поморы цокают: «цай, улица». Женского рода в карельском нет, поэтому «Солунинской улица». Надо сказать, что местные городские карелы почти на таком языке и действительно говорили («Ванька городаст тулла?» — «Ванька пришел из города?»).

Первый секретарь Карело-Финского ЦК был карел (из коренной национальности, как было принято для всех союзных республик), но все карелы носили русские фамилии, и он был Прокофьев. Сталин сказал, что первый секретарь должен носить финскую фамилию. «Пусть будет Прокконен». Все втихомолку смеялись, потому что звукосочетание пр- невозможно ни в карельском, ни в финском языке — тогда уж нужно было «Рокконен». Но Сталина же не поправишь![2]

Одним из результатов всей этой лингвополитики было то, что никто так и не знал, как называется наш город.

На другой день после посещения нас старшим батальонным комиссаром я пришел по «Солунинской улица» с обеда, и мне говорят: приходил старший лейтенант и приглашал зайти по такому-то адресу.

Названия мелких улиц были вообще не выставлены, многие дома были необитаемы; я долго блуждал по затемненному городу и наконец нашел нужный дом. Открыл дверь старший лейтенант. Пригласил в комнату, посадил за стол и спросил, хочу ли я служить Родине. Я ответил, что то и делаю. Последовало разъяснение, что время трудное, возможен шпионаж и т.п. Я обещал сообщить сразу же, как услышу что-нибудь вредное для государства. Выяснилось, что это не совсем то, что требуется.

— Мы одобрили Ваше назначение в Политуправление, но просим регулярно сообщать о том, что говорят Ваши товарищи.

Я отказался, ссылаясь на возможность ошибиться и на большую ответственность: не всякий разговор сразу понятен; возможны разные толкования. Он успокоил меня тем, что будет проверка по параллельным сообщениям. Тогда я стал отказываться, уже ссылаясь на то, что таким образом получается, будто мне не доверяют.

[1] Судя по газете на другом финно-угорском языке СССР — коми, которую я недавно читал, литературный язык коми образован по тому же образцу.

[2] Все это я узнал от моего товарища-карела, Петра Васильевича Самойлова, вторая жена которого была членом Карело-Финского ЦК. — Интересно, что, хотя союзные республики по конституции составляют самый костяк Союза Советских Социалистических Республик и могут только по народному волеизъявлению самоуничтожаться, однако Карело-Финская ССР была распущена по личному волеизъявлению Никиты Хрущева. Одновременно с дарением Крыма Украине.

Он опять: Вам полностью доверяют. Я: Да, но я не полагаюсь на свое понимание. Он: Но Вас будут проверять. Я: Так значит, Вы мне не доверяете? И так далее. Разговор шел не менее часа, не давая сдвига. Наконец, он, казалось, меня припер к стенке, я уж не знал, что и отвечать; но тут неожиданно для меня он сдался. Спросил меня о товарищах, с которыми я до сих пор работал, и попросил написать о них. Я перечислил: капитан Б., кадровый военный, Прицкер, участник испанской войны, Бать, доцент Индустриального института, все высказывались с уверенностью в победе Советской власти. Он меня отпустил, предупредив об ответственности за разглашение. Однако, конечно, это была не последняя моя встреча с «органами» — о других я еще расскажу.

После этого меня, сколько я был в Беломорске, мучила мысль — кто же стал вместо меня осведомителем в нашей «конторе», где я начал работать? Старшего лейтенанта я раза два видел в наших краях.

Один из моих товарищей (не служивших со мной) вскоре рассказал мне о происшедшей с ним аналогичной беседе и о том, что он подписал бумагу с обязательством сообщать о слышанных разговорах. Что было дальше с ним, я не знаю. К концу войны до меня дошел слух, будто было распоряжение завербовать в армии каждого десятого. Но ввиду высокой смертности контингента это вряд ли могло удаться. Однако вербовали, сколько могли.

Так я расстался с резервом. Хуже произошло с моими товарищами: обоих инженеров (которые оказались немцами по национальности) и Янковского (которого, как я уже сказал, видимо, сочли за сектанта) услали в «трудовой лагерь».

Еще до резерва я переписывался со своим другом Юрой Фридлендером. Он по распределению после университета попал в Педагогический институт в Архангельск. Оказавшись вскоре в группе переводчиков Политуправления, я решил переманить его к нам — он превосходно знал немецкий язык; места переводчиков были. Вдруг получил от него письмо, что его отправляют в трудовой лагерь в Коми АССР. Я не знал, что это такое — «трудовой лагерь», хотя и подозревал, что это просто концлагерь. Переписываться с ним я продолжал.

Это и в самом деле были концентрационные лагеря, но так как люди там даже с точки зрения НКВД ничем не были запятнаны, то, может быть, режим там был чуть-чуть полегче. Для каких-то категорий лиц, по-видимому, даже делались известные поблажки: по крайней мере, бедный Янковский через год написал нам, прося выслать ему справку о том, что он работал на офицерской должности. Конечно, такую справку выслать ему было совершенно невозможно: кто бы ее выдал? Капитан Б.? Кто бы приложил печать? Поветкин? — Больше о Янковском я никогда не слыхал.

Изо всей нашей набранной в Ленинграде группы переводчиков — Альтшулер, Бать, Бейлин, Дьяконов, Прицкер и Янковский — во 2-м отделе остались только Бать и Прицкер. Кроткий Бать здесь процвел не так, как дерзкий Прицкер, который научился говорить с начальством еще в Испанскую войну. Б., имевший к тому времени свой отдельный кабинет, то и дело вызывал его к себе из общей комнаты:

— Прицкер! ... — Прицкер! ... — Прицкер! ...

Наконец, Давид, как мы говаривали, «сделал челюсть» и сказал ему:

— Товарищ капитан Б., «Прицкер» не собачья кличка. Прошу обращаться ко мне, как положено по уставу.

И Прицкер стал «товарищ Прицкер», а со временем даже «Давид Петрович». И в то время как, пожалуй, более успешно трудившийся Бать получил два кубика и звание лейтенанта, Прицкер получил три и звание старшего лейтенанта (впрочем, в Испании он был капитаном).

Всю работу за информационное отделение — а может быть, и почти за весь разведотдел — делали втроем Задвинский, Бать и Прицкер.

V

Через два дня я отправился на свою новую службу. Это была редакция газеты «Дер Фронтзольдат». Издавали ее на немецком языке и должны были распространять среди немецких войск. Находилась эта редакция, как мы говорили — «на Канале». Беломорканал — Беломорско-Балтийский канал, — который строили заключенные, и о котором газеты трубили как о месте, где перековываются преступники, становясь ударниками труда, был страшным местом. Там погибло несметное множество людей. В Беломорске говорили, что, когда приехала комиссия, и надо было пускать воду, а на дне еще не кончились работы, то эти работы вместе с людьми прикрывались брезентом и участок затапливался. Но если даже и не так, то все равно были бесчеловечно замучены, замордованы, заморены, расстреляны по меньшей мере десятки тысяч наших людей.

К Белому морю канал выходит в нескольких километрах от Сороки. Он совершенно никчемен, так как узок и мелок. Предполагалось, что по нему можно будет перебрасывать эсминцы на Север с Балтийского флота, но на самом деле могли ходить только небольшие баржи за буксиром.

В том году по нему не ходило ничего, потому что выход в Онегу был занят финнами. Речной вокзал на самом кончике канала, где его искусственные берега выдвигаются двумя молами в Белое море, был пуст; следующим летом солдаты купались с него в канале и в море. За каналом, на той стороне, находилась деревня Сальнаволок, очень красивая, похожая на Кижи: старинные дома из огромных бревен с внешними лестницами на галерею второго жилья, скошенные первые этажи, резьба. Жили в них поморы и карелы, их не эвакуировали.

Несколько изб было и по эту сторону канала. Грунтовая дорога вела из Беломорска мимо них к пристани у канала; направо отдельные здания вдоль дороги почти терялись в ровном, тонком рыжеватом окружавшем пространстве, кое-где проткнутом кривыми культями березок; налево за избами видны кое-где были полуплоские розовые гранитные глыбы и за ними сероватое море, почти всюду издали окруженное такими же сероватыми берегами. Выхода из моря не было видно.

Деревянный барак Управления каналом теперь занимало республиканское НКВД, выселенное из города, где его каменный дом занял штаб фронта. Ближе к нам было еще несколько жилых изб и пожарная команда (сарай с комнатой-казармой для пожарниц, — мужчины были мобилизованы). Затем

друг против друга по обе стороны дороги к каналу стояло два одинаковых рыжих дома — вероятно, в свое время жилье офицеров охраны канала, а теперь справа от дороги — редакция фронтовой газеты «В бой за родину», слева — наша редакция газеты для немцев, «Der Frontsoldat» — наш дом.

Это была типовая постройка, какие и сейчас можно видеть на любой захолустной железнодорожной станции. Они были разбросаны по всему Северу от Лодейного Поля до окраин Мурманска. Бревенчатый, двухэтажный, с двумя подъездами на четыре квартиры; по краям и в середине четыре дощатые окантовки, крашеные в рыжий цвет. Здесь и помещалась редакция, в которой я провел три года.

Позади него стояла покосившаяся избушка и какие-то сараи, и за ними — гранитные подушки у Белого моря, окруженные отдельными камнями по сторонам и между плоскими скалами.

Первый год мы совсем не выходили к морю — не было оно ни страшным, ни веселым, ни манящим, ни отталкивающим — никаким. И ко времени моего прибытия было, насколько хватал взор, покрыто льдом. Шагов до него было пятьдесят-сто.

С моря всегда дул холодный ветер, зимой и летом.

В отведенном нам доме, в первом этаже с правой лестницы входишь направо в коридор, по левую сторону которого находилась уборная, продуваемая ветром от залива, рядом кухонька, где помещалась машинистка, Минна Исаевна Гликман, веселая, круглолицая и белозубая, старше большинства из нас, — я считал ее пожилой: ей, наверное, было за тридцать. По правую сторону была жилая комната с большим окном; здесь помещалась другая машинистка, Айно. Она была финка, из тех, кто переселился к нам из Канады и Соединенных Штатов участвовать в строительстве социализма, и чудом осталась жива. В Америке она была призером чемпионата по машинописи: получила на конкурсе премию за четкость и скорость. Мы, бывало, давали ей рукопись маранную-перемаранную, по-немецки, т.е. на языке, которого она совсем не знала, и она мгновенно перепечатывала ее без единой ошибки и даже, бывало, поправляла авторские описки. Это была приятная молчаливая женщина с льняной стрижкой, видно, много хлебнувшая на своем веку, лет тридцати пяти, пожалуй.

В конце коридора были две параллельные комнаты: слева кабинет и спальня начальника редакции, старшего батальонного комиссара Питерского, направо — наша комната переводчиков; было нас трое.

Другая такая же квартира была с площадки лестницы налево. В одной комнате жили младший по чину инструктор-литератор, старший политрук Клейнерман и переводчик У., в других двух — старшие: заместитель начальника редакции батальонный комиссар Гольденберг и пожилой инструктор-литератор, тоже с двумя шпалами — Ривкин. Они должны были писать текст газеты для немцев, который мы уже только переводили, затем оформить самую газету. У., хотя числился переводчиком, немецкого не знал. Впоследствии он стал весьма замечательным детским писателем. В кухоньке жил короткий краснолицый художник Ж. Предполагалось, что инструкторы-литераторы будут писать материалы для газеты по-русски и по-немецки.

Над нами (во втором этаже направо) были только две комнаты (помещение

в торце коридора не делилось надвое). В торцовой комнате была женская спальня, в продольной — столовая; кухонька была действующая.

В левом подъезде внизу находилась типография с плоскопечатной машиной и маленькой «американкой» для листовок, наборный цех и (в кухоньке) цинкографический цех. Наверху было общежитие шофера (у Питерского была машина) и типографских рабочих.

Питерский в мирное время был директором Музея революции в Москве. Он был скор, все решал быстро и нередко бестолково. Постоянно был занят двумя вещами — самоэкипировкой и женщинами. Сначала он завел роман с местной колхозницей, которая стряпала на нас, стирала и делала уборку. Это была здоровенная красивая поморка, никого не боявшаяся и не стеснявшаяся, иной раз пускавшая Питерского по матушке при его подчиненных. В конце концов он ее уволил, а у нас в соседнем сарае появилась столовка. И можно было раз в неделю ходить в баню и там сменить белье. Баня стояла позади редакции «В бой за Родину», на болоте.

Питерский между тем постоянно шастал по Беломорску в поисках романа, играя роль «пробника». Так на конном заводе называют жеребца, запускаемого к кобыле ради ее возбуждения и перед явлением собственно племенного производителя. Едва Питерский затевал роман, как его всякий раз отшивали для другого.

В обеспечении его экипировки по моде главную роль играли декоративные ремни, но последним воплем моды по части ремней был, конечно, бинокль на ремешке через шею.

Раз в Беломорск для допроса привезли немецкого танкиста. Всякий пленный был тогда еще сенсацией, ну а танкист был огромной сенсацией: мы еще не знали, что на нашем фронте против нас были танки. На допрос танкиста собралось сравнительно много народа: от разведотдела сам Б. с переводчиком (Прицкером), от политуправления сам Питерский с переводчиком (Дьяконовым), а от танковых войск сам начальник их, красивый, стройный капитан С. (впрочем, всего-то танков в его подчинении тогда были, вероятно, единицы),[1] в красивой черной форме танкиста и с полным набором ремней, включая и бинокль. Питерский не мог этого спокойно видеть: подошел к капитану-танкисту и стал своими быстрыми фразами как бы невзначай спрашивать, где можно достать такой бинокль:

— Я командую отдельной частью, а у меня нет бинокля! — Как! — удивился капитан С. — В Вашей части нет ни одного бинокля? А какой частью Вы командуете?

Тут Б., отлично знавший, какой частью Питерский командовал, сказал:

— Бинокль ему нужен для рассматривания готического шрифта.

---

[1] Капитан С. дружил с Андроповым, начальником карельских партизан, вернее, диверсантов, так как местного населения за линией фронта не осталось — по крайней мере за линией фронта 14, 19 и 26 армий. И выходили после операции партизаны — главным образом, партизанки — в Кемь и Беломорск, где мы узнавали их по партизанским медалям на зеленой ленточке. Позже Андропов стал нашим послом в Венгрии, отличился в 1956 г., затем стал начальником КГБ и в конце концов — первым секретарем ЦК КПСС; а за ним генерал С., имевший за собой великолепные танковые операции — уже не с двенадцатью танками — на Кандалакшском и Мурманском направлении в 1944 г., оказался министром обороны СССР — но был снят из-за дела Руста, немца из ФРГ, благополучно приземлившегося в 1987 г. на Красной площади в Москве, минуя всю нашу «границу на замке».

Питерский вскоре стушевался, и уже без него выяснилось, что у немцев на Кандалакшском направлении только одна опытная танковая часть из французских «Рено», и что их командование склоняется к мысли о неприменимости танков в северных условиях. — Однако Питерский все-таки бинокль где-то достал и украсился им: лишние ремешки!

У Питерского была своя манера проверять новых людей. В соответствии с нею он в один из первых дней моего пребывания в редакции вызвал меня в свой кабинет и сказал:

— У нас есть сведения, что на нашем фронте появились части, сформированные из чехов. Вам приказывается разыскать в городе человека, знающего чешский язык, чтобы мы могли выпускать листовки на чешском языке. Выполняйте.

Я был ошарашен таким приказом. Беломорск был захолустным городом, в лучшие времена здесь едва ли было 10 тысяч жителей. Сейчас почти все они эвакуировались, и избы либо пустовали, либо были заняты военными учреждениями. Среди военных если и имелись люди со знанием иностранных языков, то все они были на учете. Приказ тем не менее надо было выполнять. Я ушел в город и зашел там в Отдел кадров — этот отдел ведал командирским составом. Попросил там данные о знающих иностранные языки — знающих чешский не оказалось. Затем пошел в отдел комплектования, где были сведения о рядовых, — там вообще ничего не удалось найти. Оставалось спрашивать на улице. Останавливать людей странным вопросом было небезопасно, по тем временам легче легкого могли принять за шпиона. Но поскольку военных я проверил, надо было все-таки браться за штатских. К Новому году в городе оставались только две категории гражданских: если они шли строем и под конвоем, то это были заключенные (концентрационные лагеря не были вывезены); если шли в одиночку и без конвоя, то это были министры: в Беломорск из Петрозаводска приехало правительство Карело-Финской союзной республики. Когда нашей типографии понадобился новый приводной ремень для плоскопечатной машины, мы столкнулись с министерствами. Для получения ремня надо было обратиться в Министерство какой-то промышленности Карело-Финской ССР. Я нашел избу на «Солунинской улича», где на двери была приколота вырванная из клетчатой тетради бумажка с надписью чернильным карандашом, что это и есть искомое министерство. Оттуда получил лично от министра[1] другую желтоватую бумажку, исписанную таким же чернильным карандашом, по которой должны были отпустить приводной ремень.

Не исключено было все-таки, что, кроме зэков и министров, на улицах Беломорска можно случайно натолкнуться на еще каких-нибудь штатских. Вот я и стал их останавливать в вечерней мгле на участке от станции Сорока до каменного дома нашего штаба фронта. Всем задавал один и тот же вопрос:

— Не знаете ли Вы кого-нибудь, кто бы знал чешский язык?

Занятие мое казалось совершенно бесполезным, но, к моему удивлению, от третьего или четвертого человека я услышал, что кладовщик станции

[1] Нормально штат министерства состоял из двух лиц: министра и секретарши.

Сорока знает все языки и среди них, может быть, и чешский. Мне назвали фамилию кладовщика, и я пошел его искать.

И нашел. Это был пожилой человек. Я спросил его:

— Правда ли, что Вы знаете чешский язык? Нам нужен человек со знанием чешского языка.

Он сказал:

— Да, я знаю чешский язык.

Я стал расспрашивать его, как это получилось. Выяснилось, что он был из Западной Украины, жил где-то подо Львовом. Говорил он вроде бы по-русски. С 1939 г. стал советским гражданином. В те годы за опоздание на службу или работу свыше 20 минут или за три любых опоздания в течение одного месяца гражданин СССР попадал в тюрьму на 3-5 месяцев, а иногда, ввиду переполнения тюрем, его сразу пересылали в концлагерь. Тот лагерь, который находился в Беломорске, в немалой мере был заполнен такими опоздавшими. Кроме кладовщика с чешским языком, оттуда же были почерпнуты два переводчика для Баронцева в разведотдел взамен Янковского и меня; они были тоже из опоздавших. Из вынули из лагеря и дали им лейтенантские кубики. Впрочем, немецкий они знали только из советской средней школы, т.е. очень плохо, и долго в штабе фронта не удержались. Вместо них потом работала не очень грамотная, некрасивая, но приветливая худышка девушка по фамилии П.

Мой же знаток чешского языка рассказал мне такую историю: человек сильно пожилой, он родился и провел свою молодость в Галиции, когда она была еще частью Австро-Венгрии; будучи человеком непоседливым, он объездил в юные годы всю страну и мог объясняться на всех языках Австро-Венгрии: по-немецки, по-венгерски, по-чешски, по-хорватски — на всех плохо; но по-чешски он все-таки кое-что кумекал.

Я радостно возвратился и доложил, что человек найден.

Потом оказалось, что никаких чешских частей против нас не было,[1] так что все кончилось ничем, и кладовщик напрасно ждал, что его возьмут в штаб.

Вот два маленьких эпизода, характеризующих нашего начальника. Далее последуют еще.

Помощником Питерского был батальонный комиссар Гольденберг (две шпалы), человек задумчивый и строгий: любил сажать под домашний арест. Главной его функцией было исполнять обязанности выпускающего, когда газета «Der Frontsoldat» изредка шла в набор. Помимо этого, особой пользы от него не было, хотя он хорошо знал полиграфию и газетное дело и мог дать хороший совет. В мирное время, помимо технической работы в какой-то газете, он занимался поэзией на языке идиш; мечтал перевести на идиш сборник стихов Константина Симонова «С тобой и без тебя». Перевел стихотворение «Жди меня, и я вернусь», которое все в армии знали наизусть. На идиш оно звучало так:

---

[1] Видимо, речь шла об единичных благонадежных, с точки зрения Гитлера, словаках, зачисленных немцами в дивизии СС «Север» на Кандалакшском (потом на Кестеньгском) направлении.

Варт аф мир, их кер зех ум,
Нор аф эмес варт,
Варт вен велкен он ди блум... и т.д.

Следующим по должности был Григорий Семенович Ривкин. Он тоже был батальонный комиссар (две шпалы).[1] Комиссарской звезды он не носил, но строевым майором не был. Не был он и интендантом второго ранга, потому что инструктор политуправления — даже инструктор-литератор — приравнивался к инструктору обкома и должен был быть партийным. (Так в начале войны: позже и я был одно время инструктором-литератором политуправления, не будучи в партии).

С Ривкиным я познакомился в первый же день, как только появился на Канале. Проделав несколько километров от города по дороге, кружившей по болоту и свалкам, я наконец добрался до «хозяйства Питерского»[2] и его кабинета. Он коротко поговорил со мной и послал меня наверх в столовую. Все уже отобедали. На столе стояла большая банка с вареньем. Правила там бойкая тетка (та самая, которую Питерский позднее уволил); подала мне первоклассный мясной обед. Кроме меня, за столом сидел хорошенький маленький блондин-лейтенантик (Сева Розанов). Вслед за мной в комнату вошел, волоча ноги, сутулый человек с испитым красным лицом, с синим носом сливой, сам весь в ремнях (мобилизованным офицерам ремень обычно давали только поясной, но мечтою была портупея, а лучше две). Заложив пальцы за ремень, вошедший батальонный комиссар некоторое время раскачивался с носка на пятку, затем плюхнулся на стул. Начался разговор:

— Вы из Москвы? — Нет, из Ленинграда. — А, Лнград крсивый город, я там бывал. Вы знаете Виллу Родэ?

(Это было известное в Петербурге злачное заведение в Новой Деревне, как спускаешься от Чернореченского к Строгановскому мосту).

— Знаю, — отвечаю я с некоторым удивлением. — А шшто там теперь? — Родильный дом. — Рдильный дом! А в мое время там был не рдильный дом...

Тут он чмокнул, потянул к себе коротенькими лапками банку с вареньем

[1] Майор (войсковое звание), батальонный комиссар (политическое звание) и интендант II ранга (интендантское звание) были равнозначны в пределах общевойскового, политического и нестроевого состава, и все носили по две шпалы. К ним приравнивался также майор медицинской службы и капитан третьего ранга флота. Форма у всех (кроме флотских) была одинаковая, но политсостав должен был носить тряпичную красную звезду на рукаве. Петлицы были разного цвета, и в них носились опознавательные знаки рода войск — но это только в парадной или городской форме. На фронте, включая по большей части и штабы, все обычно носили петлицы одинакового защитного цвета без опознавательных знаков родов войск. Артиллеристы и танкисты часто сохраняли свои черные петлицы и, конечно, флотские носили свою синюю форму. Обращения были: «товарищ лейтенант», «товарищ майор» и т.п.

Тряпичные звезды были позднее спороты с гимнастерок политруков и комиссаров, так как при взятии в плен все «комиссары», наряду с евреями, расстреливались на месте — а мы тогда еще были в какой-то мере обеспокоены судьбой своих пленных, хотя не допускали «Красный крест» к немецким пленным (так как не подписали конвенции!) — и, соответственно, немцы не пускали «Красный крест» к нашим, что позволило им в лагерях с «нашими» установить режим быстрого вымаривания голодом (погибло около 3/4 наших пленных; многих отправляли в «лагеря смерти»).

[2] Названия и номера частей были у нас строго засекречены и назывались «хозяйствами» — по своим командирам. Лишь во время наступления в 1943—44 гг. мы с удивлением увидели, что у немцев — всюду вывески с полным обозначением частей. Мы тогда тоже ввели указатели, но без номеров части, а — «хозяйство такого-то» и т.д.

и стал запускать туда суповую ложку. Лейтенант быстро отодвинул банку:

— Нельзя, Григорий Семенович!

Это совершенно не вязалось с моим представлением об армейской субординации.

Стоит тут же рассказать всю историю Григория Семеновича Ривкина. У нас он был «инструктор-литератор» (Политуправления фронта, которому подчинялась редакция). Его заданием было писать статьи для немецкой газеты. Это ему не удавалось. Ради каждой статьи он сидел две-три недели в своей комнате, обложившись словарями. Иногда заходил на нашу половину и к нам в комнату.

Лучше всех нас знал немецкий язык Лоховиц, веселый, бодрый, седой и лысый нестарый человек в звании интенданта II ранга (майора). Он был лингвист, и в мирное время был автором популярного немецкого словаря. Иногда он вдруг прихорашивался и шел куда-то в город — теперь я думаю: не к тому ли старшему лейтенанту? Тьфу, тьфу, надеюсь, что нет.

В нашей комнате переводчиков стояли сдвинутые столы у большого окна, выходившего на пожарный сарай. Справа, спиной к другому окну (на дорогу) сидел Розанов (он был сыном писателя Огнева, автора «Дневника Кости Рябцева», в свое время очень знаменитого романа о советских школьниках двадцатых годов — к тому времени его отца давно не было в живых, но он умер своей смертью). Мать Розанова работала в Германии в нашем посольстве, и Севка много лет учился в немецкой школе. Он идеально говорил по-немецки, но писал с ошибками.

Между Лоховицем и Розановым, спиной к печке, сидел я. Работая, я быстро набрался немецких идиом (а отчасти и вспомнил кое-что из уроков Сильвии Николаевны); но с падежами и родами я справлялся плохо. Лоховиц немецкие тексты сам писал редко (и скучно), но нам всем правил грамматику: без него бы мы не могли обойтись.

В этой-то комнатке у нас время от времени сбоку от печки, перед дверью появлялся Григорий Семенович. Раскачиваясь на пятках и заложив короткие толстые пальцы за ремни, задавал один и тот же вопрос:

— Пишете? — Пишем. — Ну, ну...

Лишь один раз Григорий Семенович явился с опусом.

— Я тт напсал статью, м-можно прочту? — И начал: — Der General-Polkownik Dietl...

Мы говорим:

— Григорий Семенович, это же не по-немецки, надо General Oberst!

— Нет, Polkownik — это немецкое слово.

После этого Лоховиц пошел к Питерскому и обоснованно попросил избавить нас от Григория Семеновича. Попытались сократить ему задания, а в конце концов поручили ему только одну работу: ежедневно приносить нам свежий номер газеты «В бой за Родину» из редакции, находившейся в бараке напротив нашего. Однажды к нам шел оттуда сотрудник этой газеты, поэт Коваленков. Он увидел Григория Семеновича, застрявшего посреди дороги. Было очень скользко, и Коваленков стал ему помогать перейти дорогу. Тот долго отбивался, не в силах объяснить, что он идет туда, куда в данный момент повернут спиною, так как его занесло не в ту сторону.

Таким образом, и эта дорога оказалась для него непосильной. Питерский решил избавиться от него совсем. Это было очень трудно, так как он был майор, и на фронте ему полагалось бы командовать полком. Питерский вызвал свою машину с лихим шофером Ваней Панченко и двинулся с Григорием Семеновичем к начальнику Политуправления фронта, генералу Румянцеву — решать его судьбу. Но Питерский никогда не мог ехать прямо по назначению, и раз десять заворачивал пофлиртовать и разузнать новости то в одном военном учреждении, то в другом. Григорий Семенович неподвижно сидел в машине. Наконец, добравшись до длинного голубого деревянного здания Политуправления и опять оставив Григория Семеновича в машине, Питерский пошел доложить генералу. Когда же он вернулся за объектом своего ходатайства, то выяснилось, что тот, от долгого ожидания, наложил в штаны и выйти не может. После этого Ривкин был переведен в Резерв Главного командования в Москву.

Сажал его в поезд Ваня Панченко. Это было очень непросто, так как проходящие поезда осаждали огромные толпы военных и гражданских. Ваня всех растолкал и со словами «раненого майора везу, раненого майора везу» запихнул его в вагон. Вечером, наконец освободившись от майора, мы хотели попить чайку — тут оказалось, что Григорий Семенович у всех увез сахарные пайки.

Это было не последнее напоминание о нем. Год спустя наш сотрудник Клейнерман был зачем-то командирован в Москву и в коридоре Министерства обороны натолкнулся на Григория Семеновича в полном параде. На приветствие и вопрос о том, чем он занимается, тот ответил:

— Ппрпдаю. — Что же Вы преподаете? — Mmundliche Praxis (Устную практику по немецкому языку).

Следующий за Ривкиным по званию был Клейнерман. Он был с одной шпалой — капитан, или, вернее, старший политрук. Как я сообразил только уже после войны, он был мой ровесник, я же воспринимал его как старшего и почтенного: я же был без звания, а он был капитан.

Правда, у нас в редакции не называли по званиям, кроме как Питерского и Гольденберга. Я называл Клейнермана по имени и отчеству (Юлий Абрамович) и на «вы», а он называл меня «Игорь» и на «ты». Только после войны и я стал говорить ему «ты». Он был черноглаз, очень миловиден и пользовался успехом у женщин. Имел бесконечное количество жен и умел расставаться с каждой без ссоры. Последняя его жена (послевоенная) говорила мне: «Юлик чудный человек, у него только один недостаток: все его жены приходят в гости».

Клейнерман много разъезжал по командировкам, так как именно на его обязанности лежала доставка газеты немцам. Специальных средств доставки не существовало. Только открытые двухместные «ночные бомбардировщики» — фанерные самолеты «У-2» — и больше ничего. Клейнерман садился позади пилота, и в нужном месте пилот сбрасывал через борт пятидесятикилограммовую бомбочку, а Клейнерман — через свой борт — пачку листовок.

Приезжая в Беломорск, Клейнерман иногда писал статьи для газеты «Der Frontsoldat», но уже довольно рано стало получаться так, что большинство

статей писал я и изредка Лоховиц и Розанов. — С Клейнерманом я подружился не сразу.

Затем у нас было два лейтенанта — вернее, два техника-интенданта II ранга, У. и Сева Розанов. Розанов был ленив, и чуть появлялась возможность ничего не делать, заваливался спать тут же в нашем кабинете.

У Севы в Москве была жена — маленькая актриса МХАТ — и маленький мальчик. Сам же Сева был еще больший донжуан, чем Клейнерман, но в другом роде — и это выяснилось не сразу. Был он довольно малообразован и треплив. И очень влюблен в У., которого (видимо, как уже известный знаток немецкого языка) именно он сумел устроить в эту контору.

У. мне очень не нравился. От него пахло затхлостью, изо рта торчали большие редкие зубы, и был он отвратительно циничен. Безделие было у него возведено в принцип. Я понимал, что он прав, считая, что вся работа нашей редакции — мнимая, но его убежденное безделие мне претило: шла война, и какое бы дело ни было приказано делать, его нужно было выполнять в полную силу.

Меня раздражала его матерщина. Одно дело, когда мат — это междометие, в которое никто никакого смысла не вкладывает, но У. произносил матерные слова со смаком и с явственным соотнесением к конкретному объекту. О женщинах, с которыми жил, любил рассказывать подробно весьма деликатные подробности. В основном он лежал на койке. Жил он на отшибе, во второй квартире вместе с инструкторами, в отличие от нас, переводчиков: Розанов спал там, где мы работали, у своего окна, мы с Лоховицем сначала там же, а потом, когда уволили нашу кухарку и закрыли нашу отдельную столовую, — с ним же спали наверху, в бывшей столовой на втором этаже.

У. знал много, любил и умел читать стихи (чужие и свои), зло острил. Запомнилось его четверостишие:

Буржуазный онанизм
Разрушает организм,
Наш советский онанизм
Укрепляет организм.

Конечно, в авторстве этого он не признавался (естественно для 1941 г.!) — «у нас в Литинституте ходило...» Но вряд ли кто другой мог это сочинить — в этом был весь У.

Другие его эпиграммы касались женщин, их общих с Розановым знакомых.

Вообще он казался мне недоброжелательным. Однажды я решился прочесть ему одно свое стихотворение. Он процедил: «Это не профессионально». Да, может быть, и в самом деле не профессионально, беда только в том, что у него ни для кого не находилось доброго слова. Тогда я написал другое стихотворение — о жизни насекомых, подсмотренной мною в траве:

Я утонул лицом в траве высокой,
Кругом колышется нежнозеленых стеблей
Колышимый и непроходимый лес,
Спешит здесь тварь за срочным предприятьем, и т.д.

— и выдал его за перевод почему-то из Т.С.Элиота. У. без всякой иронии сказал:

— Сразу видно, что писал великий поэт.

Я тогда понял, что он человек никчемный. А ведь он был на самом деле необыкновенно талантлив, добр и чуток!

Розанова позже перевели на радиостанцию, которая выдавала себя за подпольную немецкую, расположенную на оккупированной немцами территории, хотя находилась она на Соловках. Мы стали писать тексты и для этих передач. Розанов теперь жил на станции; там у него была подружка, радиотехник. Когда она его будила за две минуты перед передачей, то он отвечал: «Еще вагон времени». С тех пор мы стали считать время вагонами: например, «без пяти вагонов пять», «без десяти вагонов четыре» — без десяти пять, без двадцати четыре.

Если я рассказывают о всех обитателях «рыжего барака», то нельзя забыть и о наших милых соседях. Наискосок от нас у дороги стояла довольно видная изба, где обитала большая карельская семья. Взрослые не решались заходить в военное учреждение, но дети постоянно у нас околачивались. Особенной нашей любимицей была девочка Маша, лет одиннадцати-двенадцати, с сияющей краснощекой мордочкой и белозубая, большая выдумщица и шутница. Ребят мы, конечно подкармливали. Дни наших соседей, однако, были сочтены. Изба была заражена чахоткой, и семья, один за другим, быстро вымирала.

В Ухте тогда еще был жив финский, а в Олонце и в Заонежье — карельский и вепсский языки, но в Поморье карельский вымирал. Родители говорили с детьми по-карельски, но те всегда отвечали только по-русски или на некоем макароническом карельском.

К Новому году я получил два кубика в петлицы и стал получать офицерский дополнительный паек. В нем был, во-первых, табак, который я выменивал: сам я не курил. Затем были хорошие консервы (тресковая печень в масле) и сливочное масло, которое я перетапливал: паек должен был превратиться в посылку для моих ленинградцев. Становилось все яснее, что в Ленинграде очень плохо, но насколько — мы не знали. Было только известно, что там тяжелый голод. Исподволь просачивались оттуда известия. От эвакуированных тоже долго известий не было. Место эвакуации Эрмитажа было засекречено, и куда им писать — я не знал. Лишь много позже стали доходить вести из Свердловска — оказалось, они там же, где мои. И от брата Миши долго не было вестей.

В ноябре я получил письмо от Алеши о том, что его вызвали в военкомат и отобрали белый билет, хотя у него была −8 близорукость. Это всюду, кроме Ленинграда, освобождало от военной службы. Мама писала коротенькие грустные письма, из которых про их жизнь узнать было ничего невозможно. Затем Алешу мобилизовали.

В начале января пришло письмо от Алеши из части, от конца декабря. В нем сообщалось о смерти бабушки Марии Ивановны на 82-м году жизни: она надорвалась, нося дрова. Несмотря на это письмо было в целом очень оптимистичное. Он писал, что холодно и что «дядя Адя» (Гитлер) «часто нас навещает» (т.е. бомбят), однако наше наступление под Москвой показывает, что уже начался перелом в войне не в пользу дяди Ади.

Это было его последнее письмо. Почта из Ленинграда больше не шла.

Немецкие письма и газеты к нам поступали часто. Но примерно в январе

начались наши первые встречи с живыми немцами: появились пленные. Питерский был для допросов слишком важной персоной, Клейнерман был в командировке — послали меня. Пленные содержались в каменном здании СМЕРШа,[1] в подвале. Я шел туда и щипал сам себя, изумляясь, что не меня ведут на допрос, а я иду допрашивать.

Немцев было двое. Нам отвели келейку. Порознь допрашивать их оказалось невозможно.

Пока я допрашивал одного, другой из своего угла подавал реплики: «Идиот! Кретин!» Когда они сменились, то уже первый делал совершенно аналогичные замечания по поводу второго.

Мне впервые приходилось активно говорить по-немецки. Я справился, хотя иной раз приходилось переспрашивать. Особенно сбивало с толку то, что все «r», оказывается, глотаются, а «-er» произносятся как долгое a (Сильвия Николаевна, конечно, учила меня произношению Baltisch-Deutsch!). Но из писем я уже знал много слов немецкого военного языка: Stuka — «пикирующий бомбардировщик»,[2] KFR или Krad — «мотоцикл»,[3] Kampf-wagen — «танк», Fahrrader — «мотоциклист».[4]

Нашу «беседу» с немцами мы сами называли «допросом», но официальное название было «политопрос».

Задача политического опроса проста. Он не требует раскрытия военных тайн. Как уже упоминалось, немецкому солдату в плену разрешалось сообщать то, что содержалось в его Soldbuch: имя, фамилию, место и год рождения и номер части. Но разведчикам и СМЕРШу было нужно еще многое другое. Чтобы добыть данные о действиях, намерениях, силе и численности противника, пленных били, кормили селедкой, чтобы хотелось пить. Конечно, такие методы — свидетельство некомпетентности допрашивающего, независимо от этики, которой на войне нет. Хороший работник разведки не тронет пленного пальцем, а сведения получает, конечно, гораздо более достоверные. Мы же вообще только выясняли бытовые обстоятельства, новости из дому, анекдоты, характеристики офицеров и т.п. Все это тоже шло на пользу нашему командованию, но пленные об этом говорили легко.

Когда мой первый пленный пожаловался на холод, то я удивился, сказав, что ведь немецкие шинели теплые (они были какие-то даже пушистые на вид). На это он возмущенно сунул мне в руку свою полу; она оказалась только на вид ворсистой, а была совсем тонкая, вроде полы больничного халата.

— Nie mehr Karelien! — воскликнул он («В Карелию — больше никогда!»).

С первых вопросов выяснилось, что настроение у немцев ужасное. Если

---

[1] Кажется, это анахронизм: Особые отделы (филиалы КГБ в армии) лишь несколько позже (как говорили, и, я думаю, не без основания, — по придумке Сталина) получили официальное название Отделов «Смерть шпионам», сокращенно СМЕРШ. Ясно из названия, что никакие судебные процедуры не предусматривались, как не предусматривались и никакие кары, кроме расстрелов.

[2] Sturzkampfflugzeug.

[3] Kraftfahrrad.

[4] Собственно, «велосипедист». Так немецкие солдаты называли и партийных карьеристов: «er drückt nach unten und buckt sich nach oben» — «жмет вниз, сгибается наверху».

бы у нас тогда были силы — все то, что могло бы и должно было бы быть: командиры, автоматы, танки, минометы, артиллерия, «катюши», современная авиация, — мы бы выгнали немцев за рубеж к лету 1942 г.

Наши прославленные «ястребочки» («Чайки») годились против авиации Франко в испанскую войну, но не против немецких «Юнкерсов» и «Мессершмиттов» 1941 года; бомбардировочной авиации у нас просто не было — за бомбардировщика сходил «руссфанер». Только штурмовики («Der schwarze Tod» — «черная смерть» по-немецки) представляли для немцев реальную опасность, но что-то тогда я не слышал о них на Карельском фронте. Немецкие «рамы» (двухфюзеляжные разведчики) и «юнкерсы» то и дело появлялись в нашем небе и над Беломорском, и мы быстро научились отличать немецкие самолеты от своих по голосу их моторов.

К тому времени сложилась определенная картина Карельского фронта. Война приняла здесь стабильные формы. Расстояние от Баренцева моря до южного конца нашего фронта примерно равнялось общей длине всех остальных фронтов от Ленинграда до Одессы. Но наш фронт, как я уже упоминал, был не сплошным, а прерывистым. Наши армии стояли поперек нескольких дорог, ведших из тыла в сторону противника. Рокадных дорог (параллельных фронту) у нас не было, если не считать Мурманской железной дороги (от Мурманска до Сороки и далее на Обозерскую). У немцев рокадной дороги и вовсе не было.

Скажу здесь о нашем фронте немного подробнее, хотя я уже перечислял наши армии выше.

Нигде на советско-германском фронте наши не отступали так мало, как здесь на севере. Между границей Финляндии, выходившей у Петсамо-Лиинахамари к Баренцеву морю, и Кольской губой стояла наша 14 армия — наискосок от реки Большой Западной Лицы к р.Титовке не далее чем в 60 км от границы; затем шел пустой кусок горной тундры, где с довоенных времен стояла наша пограничная застава Ристикент, продержавшаяся всю войну. В тылу у немцев оставался нашим полуостров Рыбачий, занятый нашей морской пехотой, державшейся в бесплодных горных хребтах Мустатунтури, который отделял полуостров от большой земли. На нем раньше жили норвежцы, но к 1941 г. они были почти все репрессированы.

Здесь нигде не было леса ни на землянки, ни на топливо. Но наши продержались здесь три года.

Гораздо дальше на юг, уже не в тундровой, а в таежной зоне находилось Кандалакшское направление нашей 19 армии. Это был лесной район с озерами и горами. Основная часть фронта проходила по озеру Верман и его притокам и смежным озерам. Затем опять шел участок пустой тайги и болот, потом два больших озера; между озерами находился поселок Кестеньга, который был у немцев. Это был участок 26-й армии, тоже менее чем в 100 верстах от нашей границы; тылы армии были расположены на станции Лоухи на железной дороге.

Немцы всюду занимали самое выгодное положение: на Мурманском направлении, например, они стояли наверху остроконечной горы («сопки») — «высота 314,9», имевшей один крутой, другой пологий склон, а по бокам два

вертикальных почти стометровых обрыва; немцы держали верхушку и пологий склон, а мы — крутой. Этот склон был настолько крутым, что нельзя было подносить боеприпасы и пищу: снаряды поднимали веревочными лифтами сбоку, и на них же спускали раненых; немцы катили на наших сверху большие камни и свободно просматривали все наше расположение. На Кандалакшском направлении, у озера Верман наша 19 армия тоже окопалась под горой.[1] Немцы видели наш тыл и простреливали его. На Кестеньгском направлении наша 26 армия стояла в болоте, а дефиле (проход) между двумя дорогами был в руках немцев.

В 1941 и начале 1942 г. на всех северных направлениях вместе с немцами были и финские части, а на южных направлениях — вместе с финнами и немецкие; немецкие подразделения периодически выводились в финский тыл на отдых. Но финны плохо относились к немцам — те, понятно, держали себя высокомерно, безобразничали на хуторах, — а финны считали, что немцы втянули их во вторую войну, и это добром не кончится, кто бы войну ни выиграл; поэтому с середины 1942 г. немцы были выведены со всех направлений южнее Кестеньги, а финны — со всех севернее Ухты. Таким образом, соприкосновение немецких солдат с финским населением было сведено до минимума (на севере страны финского населения было очень мало). Теперь на Ухтинском направлении (26 армия) и далее к югу стояли только финны. От Ухты до Повенца был передний край 32 армии. Медвежьегорск был уже в тылу у финнов. Далее они занимали весь промежуток между Онегой и Ладогой, с городами Петрозаводском и Олонцом, а вдоль реки Свири лицом к северу стояла наша 7 армия, относившаяся то к нашему, то к Волховскому фронту.

Главные бои с финнами в 1941 г. происходили к северу от Петрозаводска: наши отводили войска с потерями, но в порядке. Во время операции финны стали обходить нашу группировку. Один генерал со штабом бросил свои части и вырвался из окружения, а большинство людей попало в плен. Генерал за это был отдан под суд и разжалован в солдаты.[2]

Здесь в январе 1942 г. наши задумали контрнаступление с целью отбить Медвежьегорск и, по возможности, освободить Петрозаводск. В связи с этим значительная часть штаба фронта была выделена в опергруппу и переброшена из Беломорска в Сегежу. Туда уехал и Прицкер. Наступать-то мы начали, но опять это кончилось нашим окружением. Дошло до раздачи сотрудникам штаба личного оружия, чтобы они могли отстреливаться. Однако финны, видно, не сообразили, что сдва не захватили штаб фронта, и отошли от Сегежи, остановившись за Медвежьегорском; Повенец тоже остался у финнов, вернее, прямо через него проходил фронт.

У немцев тогда было полное господство в воздухе. Железная дорога от Сороки до Мурманска подвергалась ежедневным бомбежкам. Однако, хотя

---

[1] Старые солдаты говорили мне впоследствии, что такое положение было и на других фронтах. Там это отчасти объяснялось тем, что в северном полушарии, как известно, вследствие вращения Земли западный берег реки всегда выше восточного. Действительно, Волховский фронт проходил по реке Волхов. Но не всюду было так.

[2] Впрочем, он выслужился довольно быстро, и к концу войны был, кажется, подполковником.

немецкие пикирующие бомбардировщики бросали бомбы почти в упор, тем не менее попасть точно в поезд или даже в нитку железной дороги было в те времена очень трудно: машинист при налете старался менять скорость — то убыстрял, то замедлял.[1] Поезда, несмотря на бомбежку, ходили точно по расписанию.

Соседняя с нами Кемь (город, очень похожий на нашу Сороку, но с отличием: в центре его стояла обветшавшая, с заколоченными окнами изумительная деревянная церковь, ровесница той, что в Кижах), город всего в часе езды от Сороки, подвергалась довольно сильным бомбежкам. Рыжий бухгалтер штаба, которого я упоминал, поехал в Кемь по делам — как все мы ездили время от времени — и там погиб при бомбежке. Кругом, совсем близко, шла война, но Беломорск вел спокойную жизнь.

Поздней осенью 1941 г. в Беломорске была первая и единственная воздушная тревога. Бомбили около вокзала, от нас далеко: мы слышали взрывы и стрельбу зениток. Оказалось, что погибло довольно много народу. Настоящих бомбоубежищ в городе не было, были кое-где вырыты только щели, и бомба попала в одну такую щель, где пряталось, по слухам, более 100 или даже 200 человек гражданского населения. Об этом мы узнали позже из разговоров. И больше бомбежек не было. Город как будто забыли.

Я объяснял себе это промежуточным положением Беломорска — между финским и немецким участками фронта: видно, немцы считали, что задача бомбить Беломорск лежит на финнах, а финны так же полагались на немцев. Между тем, казалось бы, разбомбить его было лестно: здесь было сосредоточено управление всеми войсками от Баренцева моря до Свири; и его легко было разбомбить: город весь был деревянный — и избы бревенчатые, и тротуары и мостовые дощатые. И в порту был лесной склад. Но мне всю войну везло, и как будто из-за меня Господь Бог отменил бомбежки Беломорска — хотя в небе мы часто видели и слышали и «юнкерсы», и «рамы».

Хотя Беломорск и не бомбили, но пожары возникали довольно часто. Около нас, на задворках, не доходя метров двадцати до вылизанных гладких скал на берегу Белого (серого) моря, стояла ветхая избушка, полуразвалившаяся конура. Но в те дни все было под снегом: и избушка, и скалы, и замерзшее море. В избушке жила женщина с кучей детей и коровой. Муж ее был на фронте; в отличие от городских, деревенских не эвакуировали. Чем они жили, я уж и не знаю.

Женщина ушла на работу, дети топили печку; из открытой топки выбросился огонь, и дом вспыхнул, как спичечный коробок. Дети успели выскочить. Они не кричали, но мы из наших окон увидели, что горит. Кинулись тушить. А чем? Достали в типографии ведро и бегали за водой к пожарной бочке перед нашим бараком.

Этим ведром потушить избу было невозможно, и мы только поливали

[1] Особенно усилия немецких летчиков-бомбардировщиков были сосредоточены на длинном ажурном мосту через реку Ковду южнее Кандалакши: разрушение этого моста надолго, если не совсем, парализовало бы единственную железнодорожную нить, связывающую нас с Атлантикой. Я видел в трофейном немецком журнале аэрофотосъемку моста через Ковду — весь снимок был усеян, как просом, точками воронок. И слышал поговорку немецких летчиков: Die Kovdabrucke steht immer noch — «А мост через Ковду так и стоит».) Уже после войны мне попалась немецкая история Карельского фронта, и там утверждалось, что мост через Ковду был ими разрушен!

стенки соседних сараев, чтобы не занялись. Тут кто-то обнаружил корову: хлев был полуподземный, и морда ее была вровень с землей, а сверху был сеновал, который горел огромным костром. Мы зовем: «Буренушка, выходи, выходи!» Она ни за что идти не хочет. Стали тянуть — не поддается, боится. Тогда мы вчетвером спустились в хлев, взяли ее за четыре ноги, подняли и поставили на снег. Она посмотрела на нас, глаза закатились — и она упала в обморок. Никогда я не думал, что корова способна на обмороки.

Против нашего окна и рядом с нашей столовой, шагах в шестидесяти-семидесяти от горевшей избы, находилась пожарная команда. Пожарники все были мобилизованы в армию, и на их месте работали женщины, которые никогда раньше не тушили пожаров и не знали, как это делается. После того как дом горел минут сорок, появилась пожарная машина: обогнув нашу столовую, подъехала к горящему дому. Тут выяснилось, что забыли шланг. Побежали за шлангом. Принесли шланг — негде взять воды. Надо сделать прорубь во льду на море, чтобы опустить туда шланг. Пока рубили прорубь, за всем этим дом сгорел дотла. Пожарницы усердно поливали пустое пожарище — ну и, конечно, соседние строения, чтобы пожар не вспыхнул и там.

Хозяйка пришла к концу пожара на одни угольки и тоже, как корова, чуть не упала в обморок, но ей сказали, что дети целы, и она успокоилась.

На следующий день Гольденберг, который был очень предприимчив, отправился на пепелище. Мы ему говорим:

— Там же ничего нет! — А я все-таки поищу. — Взял железный ломик и долго ковырялся. Приходит с торжеством:

— Я же вам говорил! Вот что я нашел.

Оказывается, на дне сундука, где хранилось разное барахло, завернутый в тряпку лежал паспорт. Дом сгорел, сундук сгорел, барахло сгорело, тряпка обуглилась; все сгорело, а паспорт остался цел и был вручен хозяйке.

Но самое интересное, что ей к весне колхоз отгрохал такую избу, ладно сложенную, в несколько комнат — никакого сравнения с той халабудой, в которой она жила. Так что колхоз может иметь свои достоинства — не раз потом, уже в Норвегии, я вспоминал об этом.

Я позже снимал у этой хозяйки комнату и жил там несколько месяцев в 1944 г.

Позже был пожар в городе, когда докторша моя (о ней позже) прыгала из окна второго этажа, и еще большой пожар в городской бане. Я шел мимо и принял посильное (запоздалое) участие в тушении. Пожар начался между гардеробом и мыльной; большинство успело выскочить и одеться, а одна тетка схватила только ватник и, прикрываясь снизу веником, бежала через весь длинный главный мост через Выг.

Все это показывало одно: налететь немецкой авиации — и из города с его деревянными домами, мостовыми, тротуарами и мостами будет один сплошной костер. Но немецкая авиация не налетала, хотя (как вскоре выяснилось) немцы прекрасно и в деталях знали обо всем, что находится в Беломорске.

Это был как раз момент некоторого перелома в ходе войны, который для нас ощущался особым образом: во-первых, в «Правде» из номера в номер

шла громадная пьеса Корнейчука «Фронт»: первый и единственный случай, когда пьеса печаталась в газете «Правда», занимая ее почти всю. Суть этой довольно плохой пьесы заключалась в том, что старый, заслуженный генерал, воспитанный на гражданской войне, неправильно ведет войну и терпит поражения, но, благодаря указанию свыше (подразумевался Сталин), он смещен, а взамен назначается несколько новых, энергичных людей, которые ведут войну уже совершенно иначе. Это соответствовало действительности, но причинно-следственные связи тут были опущены.[1]

Из старого командования — от комдива и выше — после 1937 г. сохранились в живых только некоторые командиры Первой Конной армии времен гражданской войны. Посланный тогда в Царицын Сталин истребил там весь командный состав, кроме определенной группы, которую считал с тех пор лично преданной себе. Это и была руководящая группа в Первой Конной, слава которой широко пропагандировалась (словно других объединений в Красной армии и не было), а теперь она стояла фактически во главе всех наших вооруженных сил: Ворошилов, Тимошенко, Буденный (назначены командующими фронтами Северным, Западным и Южным), Кулик, Мехлис, Мерецков;[2] из других сохранились лишь немногие: Жуков, Василевский, Воронов, и почему-то уцелел умнейший Шапошников, старый офицер еще царской армии. Рокоссовский (с вырванными ногтями на руках) был тоже возвращен в строй еще в 1940 г.

Когда выяснилось, что Командарм Первой Конной руководить войсками не умеет, так как развернувшаяся война совершенно не похожа на гражданскую,[3] то Сталин начал выдвигать таких полководцев как тот же

---

[1] Всем было заметно отсутствие маршала Блюхера, успешно проведшего наши маленькие войны на Дальнем Востоке в 30-е гг. (озеро Хасан, Халкин-Гол), и Тухачевского, прославившегося походом на Польшу в 1920 г. (окончившимся неудачно не по его вине) и, при сопротивлении Ворошилова, пытавшегося создать у нас танковые корпуса. Ему, по-видимому, принадлежал весь стратегический план нашей будущей войны с Германией, рассчитанный на встречные бои танковых корпусов. О расстреле Тухачевского было, как известно, объявлено в печати, так же как и ряда других выдающихся деятелей Красной Армии времен гражданской войны — Якира, Егорова, Гамарника. Но никто понятия не имел, что это была лишь ничтожная доля истребленного Сталиным высшего комсостава.

Тогда все, что было сделано «репрессированным» лицом, автоматически уничтожалось: книги, теории, планы. Так у нас были отменены танковые корпуса; уже после войны мы узнали, что в начале 1941 г. их под другим соусом начали было снова вводить, но не успели: война застала кузовы в одном месте, орудия — в другом, экипажи — в третьем; все это было по частям уничтожено немцами в первые дни войны. Тогда мы всего этого не знали, но о многом можно было догадаться. Так, мы уже знали, что в финскую войну против нас употребляли противопехотные мины, минометы, автоматы, снайперские винтовки — а что у нас и винтовок «девяносто первый дробь тридцатый» не хватало, несмотря на испанский и финский опыт.

[2] Уже при Горбачеве выяснилось, что Мерецков, вместе с большой группой видных командиров и отчасти их жен, был осенью 1941 г. арестован и предназначен к расстрелу, но по неизвестной причине был «выпут» Сталиным из этой группы и назначен командовать Волховским фронтом вместо Кулика; остальные были расстреляны, как и было задумано Главнокомандующим.

[3] По слухам, ходившим в армии, Ворошилов на Ленинградском фронте лично ходил в атаку. Буденный готовил конные части, и все «первоконновцы» широко продвигались, пользуясь расстрелами генералов, не смогших сделать невозможного с живой силой, почти безоружной по сравнению с немецкими войсками (и тем не менее наносившей немцам серьезные потери и снизившей темп их продвижения — но это выяснилось позднее).

Рокоссовский, Ватутин, Конев, Черняховский, Баграмян. Но большинство лучших уже погибло.[1]

Пьеса Корнейчука показала, что идут перемены. Ворошилов был поставлен во главе партизанского движения, Буденного поставили готовить ремонт конницы, и Тимошенко был послан уже не знаю куда. У нас ходили слухи, что Кулик расстрелян — насколько верные, не знаю. На место Шапошникова начальником штаба был якобы поставлен Василевский; внезапно начали переучивать многомиллионные массы пехоты на новый боевой устав, переучивать прямо в ходе боев. Надо было научить их действовать в бою иначе, чем им это вдалбливали в течение десятилетий. Весь средний и младший комсостав армии обязан был из нового боевого устава пехоты, составленного маршалом Василевским (а может быть, Шапошниковым), выучивать шестнадцать параграфов наизусть. Первый из них я помню и до сих пор: «Командиры отделений и взводов для правильного и твердого управления огнем в бою обязаны выделять и указывать ясно видимые всеми ориентиры и, перенумеровав их справа налево, дать им наименования».

Одновременно надо было учиться оружию, старую винтовку «девяносто первого дробь тридцатого года» мы зубрили еще в университете, и тоже наизусть: «курок с пуговкой», «ударник с бойком», «зуб отсечкоотражателя» — но нельзя сказать, чтобы эту винтовку мы действительно умели разбирать и пользоваться ею. А теперь надо было учить еще новое оружие.

Не я один тогда получил кубики в петлицы (техника-интенданта 2-го ранга), не имея решительно никакого военного образования. Но теперь наши занятия военным делом получили некое официальное оформление. Все офицеры, не имевшие специального образования, должны были пройти так называемые курсы «Выстрел». Для боевых командиров это означало временное откомандирование по месту нахождения этих курсов, а для штабников прохождение обучения было очень облегчено. Просто кто-нибудь из кадровых военных проводил с нами занятия у нас же на Канале; нас учили разным видам автоматического оружия, станковому и ручному пулемету и противотанковому оружию. Мы хорошо знали по именам изобретателей оружия: некоторых кляли последними словами, других любили. Любили мы Дегтярева: у него все было очень просто. Автомат («пистолет-пулемет») Дегтярева — ППД — можно было освоить за пятнадцать минут, да и ручной пулемет его был немногим сложнее. Зато врагом человечества был Токарев. Его пистолет ТТ имел десятки и едва ли не сотни деталей, которые надо было помнить, разбирать, чистить и собирать. По счастью, у меня ТТ не было, но был испанский браунинг, с которым было много хлопот другого рода. Еще раз в сто хуже, чем пистолет ТТ, был ПТР — противотанковое ружье Токарева. Его с трудом перетаскивали два бойца, в разборке оно было

[1] Союзники наши привыкли в военных сводках называть оперативные войсковые объединения именами генералов. Поэтому наш Западный фронт называли «армии маршала Тимошенко» до середины 1942 г., а сибирские дивизии назывались «войсками маршала Блюхера», так как никто не предупреждал их, что первый давно снят, а второй расстрелян. Но все же нашлись отличные штабные генералы, такие как Василевский и Шапошников; роль их, как и Жукова, а также Рокоссовского, Конева и других фронтовых командующих, была очень велика в нашей победе. Рокоссовского Сталин не любил, и как только его армии приближались к какой-либо важной цели, его сейчас же переводили на другой фронт. А это был, пожалуй, лучший и, во всяком случае, самый интеллигентный наш генерал.

невероятно сложным, а по имевшимся сведениям, на вражеские танки оно производило мало впечатления.

Кроме того, были полевые занятия. Всю нашу группу полковник Лехен (начальник редакции газеты для финнов, параллельной нашему «Фронтзольдату»), имевший большой опыт военного руководства по Испании (он был видный деятель Коминтерна, хорошо говорил на нескольких языках). Каждому из нас нужно было уметь устроить опорный пункт взвода, правильно расставить воображаемые пулеметы и т.д.

Предполагалась учебная стрельба, но до этого, слава богу, не дошло. Однако в предвидении ее я решил пойти на кучу камней среди болота в стороне от дороги — пострелять из моего знаменитого испанского браунинга. Сначала он у меня стрелять вообще не хотел, потом застрелял, но я никуда не мог попасть, пули исчезали в неизвестном направлении. Браунинг этот был без автоматического взвода, и после каждого выстрела надо было его, как пистолет Лепажа, снова взводить. Тогда следующая пуля перекашивалась и застревала на входе в ствол. Сильно дергать в таких случаях нельзя, потому что как раз тут-то «пушка» и может внезапно выстрелить. Оставить пистолет наполовину взведенным тоже нельзя. Сплошное бедствие! Однажды, несколько позже, я, сидя на койке и приводя пистолет в порядок (регулярная чистка и смазка личного оружия входили в наши обязанности), я опять перекосил патрон в стволе и, дернув, выстрелил и прострелил койку рядом со своим бедром. Не хватало попасть под военный трибунал за самострел!

Это был не единственный выстрел в стенах нашей редакции. Однажды мы мирно сидели и разговаривали, сидя на койках в комнате инспекторов; вдруг быстрыми шагами вошел Питерский с пистолетом в руках и выпустил две пули в оконную раму.

Просто захотелось пульнуть.

По курсам «Выстрел» надо было сдать два экзамена: в поле — Лехену и по боевому уставу пехоты — неизвестному нам боевому командиру.

Лехен вывел нас на пригорок и каждому ставил боевую задачу. Надо было ее решить. Я показал, где проведу ходы сообщения, где поставлю пулеметы и т.д. Лехен все это невозмутимо выслушал и сказал:

— Да, лейтенант Дьяконов вполне неудовлетворительно выполнил задание.

На этом все и кончилось.

Устав со мной в паре сдавал Владимиров, единственный из наборщиков партийный, а потому, в отличие от прочих, еще в Москве получивший офицерское звание и должность начальника типографии.[1] Он был совершенно исключительно глуп. До сих пор не забылось, как он сдавал экзамен:

— Вот Вы командир отделения, Вы должны дать приказ своим подчиненным — как Вы это сделаете?

Подумав, отвечает:

— Это вот, как его, по телефону. — Подумайте! У Вас одно отделение! Как Вы передадите приказ? — Да это, как его, записочку напишу.

[1] Партийность спасла Владимирову жизнь. Постепенно всех наших наборщиков забрали на передовую, а он остался до конца войны на Карельском фронте единственным у нас наборщиком.

Не знающему объясню, что в мирное время отделение состояло из десяти человек, а в военное — как правило, меньше.

Чтобы уже не возвращаться к Владимирову, расскажу еще один, позднейший эпизод (начала 1944 г.). Всех наших наборщиков к тому времени забрали на фронт, набирал листовки сам Владимиров, а печатала на «американке» некая «вольняшка» из местных поморов, по фамилии Дуракова, в смену с единственным оставшимся стариком печатником.

Владимиров на нашей половине отчитывается о ходе работ.

— Кто у Вас сегодня на «американке»? — спрашивает его начальник.

— Эта, как ее... Вот эта... Кулакова, што ль.

Фамилию Дуракова ему было не осилить.

Для меня с Владимировым экзамены за курсы «Выстрел», несмотря ни на что, закончились благополучно. Я и он вышли с экзамена с узаконенными прежними двумя кубиками в петлицах.

Прежде чем рассказать о работе в газете «Der Frontsoldat» и ответить на вопрос, помогал ли я победе, я должен ввести еще несколько действующих лиц.

Первыми к нам приехали две девушки: Тася Портнова и Лиза Циперович. Они были студентками Архангельского педагогического института и получили назначение переводчицами в армию. Тася была черненькая, очень хорошенькая, с легкими усиками и немного раскосыми глазами, лукавая. Лиза была на вид более заурядная, светло-рыжая, но веселая, неглупая и не без остроумия. Появление этих девушек очень оживило нашу компанию. У нас и до этого в редакции были женщины, но для нас они были стары: Минне Исаевне было года 32, она недавно потеряла мужа и мало включалась в нашу жизнь. И не потому, что она была в печали — напротив, она была хохотушка, но только всю нашу контору и в том числе всех нас по отдельности она не могла принимать всерьез. Айно была еще старше ее и еще более держалась в стороне от всех: видно, жизнь приучила ее опасаться.

Новенькие распределились так: Лиза умела печатать на машинке, и ее посадили работать вместе с Айно. Лизе принадлежит бессмертный афоризм, не раз пригодившийся мне впоследствии, когда я обучал аспирантов: «Если нет смысла, надо делать абзац». В наших листовках и статьях для бессмертной газеты «Der Frontsoldat» абзацы требовались часто.

Тася же, как переводчица, была посажена в нашу с Лоховицем комнату, на место Севы, который был на Соловках, на якобы подпольной немецкой радиостанции.

Педагогический институт, который они кончали, был военизирован, и офицерские (интендантские) звания — два кубика — они получили еще при распределении. И приехали они в форменных платьях цвета хаки.

Обе вскоре завели романы, чего я, по обыкновению, долго не замечал и не предполагал. Лиза мгновенно завела роман с шофером Ваней Панченко. Он был парень лихой, она тоже была на вид довольно лихая. Зачем Лизе понадобился именно Панченко, я не знаю, а Панченко говорил: «Мне лестно ... лейтенанта».

Тася завела свой роман немного позже (правда, У. трепался, что переспал с ней в первую же ночь, но он был циник и по этой части врун).

Присутствие женщин имело огромное значение в этом большом скоплении молодых мужчин, лишенных нормального женского общества.

В армии могла спокойно жить только та женщина, которая имела постоянного покровителя, иначе ухаживания принимали совершенно невыносимую форму. Я хорошо помню лицо, но не фамилию офицера, который ехал когда-то в одной теплушке со мной, а теперь курсировал по делам между Беломорском и Каналом, где стоял наш барак. Придя к нам в очередной раз, он рассказывал, что всходя на мост в Беломорске, за кучей бочек, валявшихся у въезда, видел пару, которая почти совершенно даже и не скрывалась. Была одна прелестная девушка, работавшая на полевой почте в Беломорске, с которой я был только чуть-чуть знаком, хотя нравилась она мне очень своим нежным и умным лицом, тихой манерой (ее звали Паня, она была из украинских беженцев); она рассказывала мне о своем женихе, оставшемся в оккупации. С такой преданностью и душевной тревогой говорила она о нем, и у нее было такое одухотворенное прелестное лица, — трудно было поверить, что она тоже в «это» включится. Она работала на полевой почте, а я ходил туда за своими письмами — как обычно тогда, свернутыми треугольником, потому что конверты не продавались. Паня продержалась год или немного дольше, не более двух лет, а потом тоже стала любовницей какого-то полковника.

После войны я узнал аналогичную историю моей университетской ученицы, Ани Ш. Она вместе с мужем (с которым успела прожить, наверное, месяца три) добровольно явилась в Ленинграде в военкомат еще в июне, до создания ополченческих дивизий, очевидно, считая, что он будет стрелять из ружья, а она подносить патроны, как в фильме «Дети капитана Гранта»: «Если ранили друга, перевяжет подруга» и т.д. Конечно, муж попал в строй, где его и убили в течение первых же дней, а она была назначена куда-то в госпиталь; значительно позже она стала переводчицей в разведотделе дивизии. Хотя красавицей она никогда не была, но нажим на нее был сильный, вплоть до того, что полковник приказывал ей находиться на наблюдательном пункте, где шанс быть убитым повышался во много раз. Не знаю, тогда или позже (кажется, позже) она была ранена в лицо, но, выйдя из госпиталя, узнала, что и это не помогает делу. В конце концов она сошлась с каким-то лейтенантом и забеременела от него. После войны они попытались начать совместную жизнь, но в условиях мирного быта новый муж оказался невыносим. В конце концов он донес на нее (по глупости — в военкомат, а не в НКВД или прокуратуру), что она незаконно хранит оружие (за это давали три года!). Дело в том, что уезжая из армии в Ленинград рожать, она ехала, разумеется, с пистолетом: по нашим тылам еще бродили немецкие солдаты, да и наши были для женщин едва ли не еще более небезопасны. Родив же, про пистолет она забыла. — По счастью, военком оказался приличным, ограничился тем, что отобрал пистолет и сказал: «Забудем об этом». — С лейтенантом она тогда же развелась.

А дочка, между прочим, получилась отличная.

Наступил Новый год. Может быть, потому, что у всех было паршиво на душе, Новый год прошел очень весело. Собрался весь офицерский состав с девушками, пришел кто-то из редакции газеты «В бой за Родину», по-моему,

Федор Маркович Левин, очень милый, интеллигентный литературовед, поэт Коваленков, прозаик Курочкин. Было много водки. До 42 года ее нам не выдавали, а потом стали давать 100 грамм «наркомовских» — на передовой практически каждый день, а нам, штабникам, по четырем главным праздникам (на Новый год, 23 февраля, 1 мая и 7 ноября). Но Питерский всегда доставал все, что хотел. Попойка произошла совершенно невероятная. Я ходил и кричал: «Смерть немецким оккупантам!» и, прижав ее на койке, полез было под юбку Тасе; впрочем, несмотря на то, что я был совершенно пьян, я сумел управиться с собой, а потом осоловел и завалился, как бесчувственное бревно, на кровать У.; Тася же завершила ту ночь поблизости, в кровати Клейнермана; и вообще происходили какие-то малопристойные события.

Мало было таких вещей, которые я вспоминаю с таким раскаянием и отвращением, как эту ночь. Причина для этого была не одна.

Но не все на самом деле так противно, как ажется после пьяного тумана. Тася и ее друг были очень счастливы весь 1942 год, и им было очень хорошо, особенно Тасе, а в сущности больше у нее в жизни так и не было никакого счастья.

Около Нового года произошел и такой случай. Я довольно часто встречался с Давидом Прицкером. Иногда он приходил к нам с известиями или в гости. Иногда меня посылали в информационное отделение 2 отдела штаба к капитану Б. Или я заходил к Давиду на квартиру. Это был один из главных моих источников сведений о советско-германском фронте. В газетных сводках ничего разобрать было невозможно. Разведотдел имел карту расположения немецких частей (но не наших), и по ней можно было догадаться, где что происходит. Кроме того, Прицкер вообще был необыкновенно интересный человек и удивительный рассказчик, всегда приятно было поговорить с ним, а заодно и с Батем.

Однажды Давид мне сказал:

— Вы знаете Фиму Эткинда? — Знаю, он большой друг моего младшего брата, Алеши.

— Он прислал мне письмо.

Выяснилось, что Фима по окончании университета был распределен в г.Киров (Вятку), куда и уехал с женой. Потом началась эвакуация из Кирова, куда перебросили некоторые московские учреждения, и Эткинд с молодой женой попали в Яранск, в глубокую тайгу, где всего и было что один водочный завод. Жить там было тошно. Он писал, что в армию его не берут как белобилетника из-за сильной близорукости. Оставаться в Яранске он не хотел. Я сказал Давиду:

— Давайте вызовем его.

Давид поддержал меня. Пошел я к Питерскому и сказал, что в Яранске есть мой хороший знакомый, который свободно говорит по-немецки и по-французски и может быть нам полезен, нельзя ли послать ему вызов в военкомат (призвать его в общем порядке было нельзя, но по специальному вызову мобилизовать было можно кого угодно).

Так Питерский и сделал. Он тут же дал напечатать на машинке отношение

в военкомат Яранска, а недели через три к нам в комнату ввалился очень странный человек.

Эткинд был в черном собачьем полушубке, у него были роскошные черные усики, и из каждого кармана торчало по бутылке водки. Дело в том, что благодаря яранскому водочному заводу Фиме водка была легко доступна, и в дороге он пользовался ею как валютой. Даже имея мобилизационное предписание, попасть в поезд было почти невозможно, и вот он передвигался, рассовывая кому надо эти свои бутылки. У него их было столько, что он довез кое-что и до Беломорска.

Я сказал ему, что нужно немедленно доложиться Питерскому. Фима вынул из карманов бутылки (мы их спрятали) и пошел к начальнику. Подошел к нему, косолапя, протянул огромную лапищу:

— Здравствуйте! Я Эткинд.

Питерский ничуть не смутился и не стал требовать уставного приветствия.

— А, очень хорошо! — сказал он. — Вы умеете писать стихи?

— Умею.

— Сейчас у нас 16 часов, к 19 часам нам нужна поэма о том, как себя чувствует немец перед Рождеством.

Фима вернулся ошарашенный, но готовый к свершению подвига. Лоховица не было, он сел на его место, положил перед собой бумагу и с молниеносной скоростью начал писать четырехстопным хореем поэму о Михеле перед Рождеством (уже, впрочем, прошедшим):

Michel der Gefreite
Stehet vor dem Stab,
Seine linke Seite
Fror ihm gänzlich ab...

(«Ефрейтор Михель стоит перед штабом, его левый бок совершенно отнялся от мороза...»).

К семи часам поэма была готова, вполне пригодная для пропаганды среди войск противника.

После Нового года дело с войной пошло хуже. Наступление под Москвой задохлось. Некоторое время приходили редкие вести из Ленинграда, потом они совершенно прекратились. Весь февраль и март ничего не было. Все, что я знал о моем городе, шло из немецких сводок.

Теперь я перейду, наконец, к рассказу, что же мы делали в редакции «Фронтзольдата».

VI

Одной из моих обязанностей было прослушивание радио. Для иностранных сводок, вообще говоря, существовала специальная служба при командовании, но Питерский не входил в состав лиц, имевших по должности право на радиосводки, однако же считал, что он тоже должен их знать. Он достал хороший приемник, — и, конечно, не он (не знавший языков), а я ежедневно слушал немецкие, английские и, по возможности, американские передачи. У нас в СССР у всех под страхом обвинения в шпионаже и т.п. были отобраны все приемники, в тылу и в армии; в тылу можно было слушать только так называемые «тарелки» (трансляционную сеть), а в армии известий не было

никаких, кроме газетных. До передовой, впрочем, и газеты, даже дивизионные на четырех маленьких листах и посвященные главным образом местным подвигам, доходили далеко не всегда.

Но речи Сталина всегда передавали не только в сеть, но и в эфир, и, кроме того, на прием передавался «Иван Краткий». Дело в том, что все районные (и дивизионные) газеты публиковали один и тот же материал общего содержания, в том числе сводки Совинформбюро и редкие правительственные сообщения особой важности. Свои местные новости (районные сводки об уборке урожая, перевыполнении планов, более или менее апокрифические подвиги на участке дивизии) могли добавляться только на последней странице. Все остальное одинаково воспроизводилось во всех газетах. Этот-то материал им диктовался по радио из Москвы, и принимал его «засекреченный» радист, имевший доступ к настоящему приемнику. Каждый раз, когда в этой передаче дело доходило до имен собственных и названий местностей, диктор говорил по буквам: «Иван-Василий-Анна-Николай» и т.д. Когда доходило до «й», произносилось «Иван краткий». Случилось так, что в первый же свой прием мы попали на «Ивана краткого» и были изумлены — что это такое? Потом эта передача так и называлась — «Иван Краткий».

Итак, моя обязанность была слушать передачи, в том числе и немецкие военные сводки. Надо сказать, что наши газеты и радиотрансляционная сеть ничего не говорили о том, что сообщает противник; но английское радио в последних известиях всегда передавало и немецкую сводку, с комментарием, и давало некоторые сведения из немецкой печати. Это делало их антигитлеровскую пропаганду особенно гибкой и убедительной, потому что ей придавался характер известной объективности.

Шестого ноября был какой-то великий нацистский праздник, выступал Гитлер. Его выступления всегда подавались примерно так: часа за три выключались все передачи и почти два часа гремели фанфары. Затем шло: «Es spricht Berlin, München, Wien, Hamburg, Dresden, Leipzig, Danzig, Warschau, Dnjepropetrowsk, Minsk, Kiew» и все прочие «немецкие» города. Этот длинный перечень повторялся на немецком, итальянском, японском, английском и, помнится, также на венгерском и румынском языках; чтение его длилось минут сорок или час. Потом включался зал, где говорил комментатор, вроде как на футбольном матче: «Зал еще пуст... но вот в него входят соратники фюрера.., бойцы 1922 года, ...мюнхенского съезда, ...славные эсесовцы... (следовала похвала всем входящим, пока не усядутся)... Вот открывается дверь и (на повышающемся ступенями пафосе): входит рейхсмаршал (Da kommt herein der Reichsmarschall, т.е. Геринг, командующий авиацией и первый заместитель Гитлера). ...Вот он подходит к столу и, опершись на него, стоит, пластичный и выразительный (plastisch und ausdrucksvoll — толстая туша!) ... И вот... (задыхаясь, продолжает комментатор)... входит!.. ФЮРЕР!!!» (Слышится шум вставания зала, и, заглушая комментатора, гремит — «Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль! — на полчаса).

Затем начиналась речь. Хотя я слышал раз Гитлера еще в 1936 г., но успел забыть, и теперь первая его речь была мне в новинку, — но затем фюрер стал повторяться. Все его речи строились по одному образцу: сначала шли

примеры из римской истории — Рим-де пал из-за смешения рас. С нашей империей этого не произойдет. Потом Гитлер переходил к евреям: «Евреи думают устроить новый пурим (праздник по поводу попытки древнеперсидского царя их полностью истребить), но это им не удастся!» Затем он приступал к Черчиллю, которого он считал своим персональным врагом — ругал его пьяницей, бездарностью, доходил до замысловатых поношений: «der whiskey-selige Herr Churchill» («блаженный от виски господин Черчилль»). Полчаса или сорок минут уходило и на это. Затем следовали сообщения с Восточного фронта — голос поднимался до торжественного крика. В тот раз он сказал: «Мои гренадеры стоят под Москвой. Они уже видят огни Москвы! Теперь я уже могу это сказать, потому что теперь я вправе это сказать — (и уже на вопле) — что ЭТОТ противник сломлен и НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ПОД-НИ-МЕТ-СЯ!!!» — «Зиг хайль, зиг хайль, зиг хайль, зиг хайль» — еще минут на пять-десять.

После этого он перешел к Ленинграду. «Вот мне говорят, что мы не можем взять Ленинград. Это неправда. Если мои гренадеры прошли от Кенигсберга до стен Ленинграда, то что им стоит пройти еще несколько километров! Но я не хочу тратить кровь моих солдат, потому что этот город упадет в наши руки, как спелое яблоко. Они сдохнут с голоду!» Далее сообщалось, что город будет полностью стерт с лица земли.

Мы очень ждали нашего наступления. Знали, что правительство выехало в Куйбышев, знали о знаменитом 16 октября — это был день паники, когда на Лубянке жгли бумаги так, что черные клочья летели по городу. Груженые машины с барахлом начальства шли на восток. Эвакуация Ленинграда была значительно упорядоченнее. Она шла не вполне удачно, но ничего похожего на московскую панику не было. Об этом хорошо сказано в стихотворении О.В.Кудрявцева:

...Бегут во тьму завмаг и предзавком,
Спешат во мглу машины сытой черни —
С заката пахнет кровью и огнем:
Vexilla regis prodeunt inferni.[1]

Все интересовались, где Сталин. О нем ходило много легенд: кто говорил, что его видели где-то на фронте; другие говорили, что он в Куйбышеве или в Москве. Вдруг 7 ноября радио из Москвы начало передавать его речь, произнесенную в метро на площади Маяковского в Москве. Это была его вторая речь за время войны. Первая была в июле (перед этим он в течение недели, как потом узналось, заперся у себя в панике, так как не ожидал войны, веря Гитлеру и полагаясь на договор с Германией о разделе Восточной Европы. Между тем, ему многократно докладывали о дне и часе, когда война начнется. Первые дни вместо него действовал импровизированный штаб).

Тогда, в начале войны, он произнес свою знаменитую речь, которая начиналась совершенно неожиданно: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои...» Он не приказывал, а просил. Слышно было, как от волнения у него стучали зубы о стакан, когда он пил.

Вторую свою речь он произнес совершенно спокойно. Тут он сказал

[1] Близятся знамена царя ада (из Дантова «Ада»).

знаменитую формулу о том, что Гитлеры приходят и уходят, а народ германский остается. Эта речь была сигналом к началу наступления. В тот же день был традиционный парад на Красной площади, с тем отличием от обычного, что участвовал в нем не гарнизон города, а те части, которые затем пошли в наступление под Москвой.

Сталин поступил тут так, как всегда в таких случаях он делал и позже — придерживал резерв до последнего. До последнего позиции под Москвой держали какие-то разбитые части, курсанты, ополченцы — и вдруг нагрянули свежие сибирские моторизованные и танковые дивизии — и «катюши»: очень важное оружие, такого еще тогда никто не видел. Изобретатель «катюши» был в свое время, говорили, обвинен во вредительстве и погиб, но само оружие было изготовлено и брошено в бой. Вводили его очень осторожно: грузовики со вздыбленными рельсами для ракет подъезжали к передовой, выпускали залп, сжигая все вокруг места попадания, и сразу же уезжали прочь. Строжайше следили, чтобы немцы не захватили ни самой «катюши», ни ракет. Это им удалось только в самом конце войны, когда уже не имело значения.

Официальное название «катюши» было «гвардейские минометы» (что указывает и на дату: гвардейские части стали вводиться примерно со времени публикации «Фронта» в «Правде»). Слово «ракетное орудие» вслух произносить было строжайше запрещено. Что значит «строжайше» по тем временам?

Может быть, мои читатели уже не знают, откуда это название — «катюша»? Да и о «катюшах», может быть, уже забыли? Была такая навязшая в ушах популярная песня:

Рас-цве-та-а-ли яблони и груши,
По-плы-ли-и туманы над рекой,
Вы-ха-ди-и-ла на берег Катюша,
На! высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла —
Про того-о, которого любила,
Про того! Чьи письма берегла.

А орел, как предполагалось в песне, был боец с заставы пограничной, и, by extension, любой боец Красной армии — она еще не была переименована.

Итак, в числе прочего, я слушал немецкие и английские сводки. Английские сводки пытались как-то осмыслить наши советские, очень туманные известия и часто были оптимистичнее, чем позволяла действительная обстановка, пытаясь ободрить своих и иной раз сообщая о взятии городов, которых мы не брали. Немецкие сводки сообщали тщательно о взятии ими города за городом, пока не началось наступление под Москвой, тогда они затихли. Советское информбюро имело на всякое сообщение определенную формулу: на занятие, оставление, оборону. Немецкие сводки всегда варьировались; ничего существенно своеобразного в них, конечно, не было, но появлялись новые слова, звучавшие как-то индивидуально. Для Ленинграда, однако же, была только одна повторяющаяся формула: «Тяжелая армейская артиллерия обстреляла с хорошим результатом военные объекты в Ленинграде» (Schwere Artillerie des Heeres beschoss mit guter Wirkung kriegswichtige Ziele in Leningrad).

К весне мы уже знали, что к этим «kriegswichtige Ziele» принадлежали рынки, трамвайные остановки, не говоря уже о госпиталях.[1]

Мне кажется, что мой рассказ очень растянут, но я не хочу его сокращать, потому что и на самом деле время тогда тянулось очень медленно. Даже сейчас эти четыре года я ощущаю как треть своей жизни. Занудство было заложено в самом нашем существовании. Чем мы собственно занимались? Минна Исаевна считала, что мы заняты ничем, пустым местом. В этом была доля истины. Она называла наше заведение «Маньчжоу-Го»,[2] а Питерского «императором Пу-и». Она была полна юмора, смеялась, показывая белые зубы и забавно образуя ямочки на щеках. Милая, некрасивая, кареглазая, она пошла на войну от общей тоски. Перед этим незадолго потеряла своего мужа. Мне кажется, что она была немного влюблена в меня. Я до сих пор иногда с нею переписывался. Но на этот (1981) Новый год от нее открытки не было. Не знаю, жива ли она еще.

Другая, основная и наиболее бесполезная часть нашей работы, это было издание для немцев газеты «Der Frontsoldat», которую потом с большим трудом нужно было забрасывать в немецкие окопы. Никаких возможностей выдать ее за что-либо, кроме советской газеты, не было. Не говоря уже о том, что передовые статьи переписывались из «Правды», готический шрифт XIX века никак не мог сойти за современный немецкий. Внешний вид газеты был очень убогим. Эта газета никого не могла убедить в том, что надо сдаваться и восставать против Гитлера.

Седьмой отдел Политуправления, т.е. «Отдел по пропаганде среди войск противника», подразделялся на собственно Отдел, который занимался распространением листовок и устной пропагандой через радио и полевые радиоустановки и рупоры, и две редакции — немецкой газеты «Der Frontsoldat» и параллельной финской газеты. Те же редакции обеспечивали тексты для радиопередач (но не для полевых установок — те обслуживались армиями и дивизиями). Наша же радиостанция, расположенная в 1942 г. на Соловках, как я уже говорил, выдавала себя за подпольные станции — немецкую и финскую. Диктором туда перевели Севку Розанова, действительно идеально говорившего по-немецки. (С Соловков лишь совсем недавно был убран зловеще известный концлагерь,[3] но в Беломорске и в других местах Карелии лагеря сохранялись и в войну).

---

[1] По показаниям И.А.Орбели в Нюрнберге, немцы нарочно бомбили Зимний дворец (Эрмитаж). Действительно, за время осады в Эрмитаж попало три фугасных бомбы и около полсотни зажигалок. Бомба упала против подъезда старого Эрмитажа, и осколки повредили атлантов. Я все-таки думаю, зная по опыту меткость немецких бомбежек, что немцы целили в Главный штаб (который считали военным объектом) и в соседний Дворцовый мост, и мазали. Что они держали под особым обстрелом мосты, это точно (и понятно), хотя ни одного из них не разбили. Кроме того, артиллерийские снаряды, от которых особенно страдали жилые дома, в Эрмитаж, насколько мне известно, не попадали.

[2] Так называлась марионеточная маньчжурская империя, созданная на северных территориях Китая Японией.

[3] Всем известен был стишок начала 30-х годов — времени уничтожения старой Москвы и посадки инженеров:

У Лукоморья дуб срубили,
Златую цепь в Торгсин снесли,
Русалку в карцер посадили,
А Леший сослан в Соловки.

Для меня работа в газете «Frontsoldat» была очень полезна не столько потому, что я получал практику в немецком языке, сколько потому, что здесь меня обучили полиграфии, которая мне очень пригодилась в последующей жизни. Держать корректуру я, в общих чертах, уже умел от отца, но одно дело пометить правку значками на полях, а совсем другое — осуществить ее на верстатке (набор у нас был, конечно, только ручной). Да и правки не сводились теперь лишь к замене опечаток и восстановлению оригинального текста. Надо было хорошо рассчитать пробелы, чтобы на краю строки не было неправильного переноса, чтобы «полоса» (будущая страница) не кончалась строкой с абзацем и чтобы последняя строка абзаца не повисала первой на следующей полосе (это называется «блядская строка»). Для этого нужно было текст, где нужно, «посадить на шпоны» (вложить «пробельный материал» между набранными строками), а где нужно, «убрать шпоны», между слов где-то вложить незаметный дополнительный пробельный материал («шпации»);[1] знать, что, если у наборщика в кассе не хватает какой-либо литеры, он ставит в набор любую литеру вверх ногами, а мое дело изобрести, как выйти из положения; если в набор попал случайно выскочивший из плоскости элемент пробельного материала или перевернутый лишний знак (что означает грязное пятно в тексте), надо специальным корректорским значком «осадить марашку»; надо уметь оценить размер подлежащей набору рукописи в типографских мерах длины и площади («квадратах», «линиях», «пунктах») и сократить ее так, чтобы рукопись «влезла на полосу»; нужно следить за тем, чтобы края набора были выровнены; нужно знать существующие шрифты («прямой», «курсив», «полужирный» по характеру «очка», «нонпарель», «петит», «корпус», «цицеро», «шестнадцатый» по размеру литеры, «латинский», «академический» и другие — по рисунку шрифта) и уметь «курсивить» и «убрать курсив», пометить «свой шрифт» и т.д. и т.п. Надо знать, что цинкографское клише делается путем вытравливания фона вокруг того, что должно остаться темным (на штриховом клише остаются только черные линии на белом фоне и оттенки невозможны, а тоновое клише состоит из множества очень мелких и более крупных точек, сливающихся в видимость сплошного темного фона: чем больше точек, тем темнее, чем меньше — тем серее и светлее; но белого фона на тоновом клише добиться нельзя). Газетная цинкография — это неважная техника: изображение получается нечетким, и по большей части лучше дать чистый штрих, чем размазанный и расплывчатый тон.

Разбираться в хитростях разгона строк, выбора шрифта и во всей терминологии наборного дела меня научил замечательный наборщик, рядовой Шанаев. Он относился к нашей газете иронически, но, видя мою заинтересованность и старание, он, поглядев на меня хитро и снисходительно черным глазом, стал учить меня полиграфическому делу. Он же рассказал мне, как выбирали наборщиков для нашей газеты. Штаб Карельского фронта создавался одновременно в Москве и Ленинграде, но редакция газеты «Der

[1] Выражением крайнего полиграфического пренебрежения к человеку было: «Эх ты, шпация двухпунктовая!» Пункт — наименьшая из типографских мер; самый мелкий шрифт — бриллиант — имеет очко четыре пункта, нормальный книжный шрифт — корпус — десять; меньше двух пунктов не ставят даже пробельного материала.

Frontsoldat» целиком сколачивалась в Москве. На это дали всего несколько дней. Питерский ходил по типографиям и вербовал наборщиков, еще не взятых в армию. Как рассказал Шанаев, он всем обещал командирское звание, оклад, доппаек и работу в тылу, а не на фронте. Поэтому он и другие поддались на уговоры.

На самом же деле офицерское звание дали одному Владимирову. Он стал начальником типографии. Ничего не делал. Ему подчинялись четыре наборщика, два печатника и цинкограф. Впоследствии их всех, кроме Владимирова, забрали в пехоту рядовыми. Такова же была и судьба Шанаева. Вряд ли они сносили головы.

Я ему по гроб жизни благодарен: полученными от него знаниями мне всегда в моей работе приходилось пользоваться, и уж в издательствах теперь меня никогда не проведут, заверив, будто того или иного никак сделать нельзя. Я и сам могу нынче что-то посоветовать техреду, не говоря о том, сколько моих учеников я учил корректуре.

Составлялась газета, как настоящая: сначала обсуждался план номера — за это отвечал Гольденберг, опытный газетчик. Затем заказывали статьи — Клейнерману, Эткинду или мне. У. не заказывали никогда: во-первых, он, видимо, не знал немецкого языка и в нашу редакцию попал по хлопотам своего приятеля Розанова; во-вторых, заставить его что-нибудь делать было выше сил человеческих. Да и сам он потом устроился куда-то не то в ансамбль песни и пляски, не то в что-то подобное. Розанову статьи заказывали редко, потому что и он был большой лодырь, и к тому же не умел связно и свободно выразить свои мысли, хотя и знал немецкий, как бог. Вскоре он выбыл диктором на Соловки, где приобрел преданную любовницу и полную свободу от начальства. Лоховиц отвечал за правильность немецкого языка, но сам писал очень мало.

В газете помещались карикатуры и иллюстрации, и меня обучили принципам цинкографии. Клише делали художник Ж. и цинкограф-солдат. Ж. был очень талантлив, — но очень неприятный человек. Говорил тупо и невнятно, не мог выразить свою мысль иначе как нарисовав или сделав знак толстым большим пальцем. Все время говорил о бабах, больше всего мечтательно, о том, как он спал с собственной женой, с такой малоизвестной славянской терминологией, что хоть святых выноси.

Статьи в газете были разные: быт немецких солдат (тогда еще излагавшийся очень неточно), сообщения о победах союзников и наших; специальный раздел назывался «Вести с родины», там описывались ужасные судьбы немцев в тылу. На самом деле ничего особенного с ними не происходило, бомбежки еще не начались. Главный наш козырь был в том, что СС якобы устроили человеческие случные пункты, чтобы немецкие женщины могли от них, эссовцев, производить чистых арийцев. Мы агитировали немецких солдат, уверяя их, что, пока они воюют, их жены путаются с эсесовцами. Это вызывало громкий хохот по ту сторону фронта, так как всем было известно, что ничего подобного не происходило. Года через полтора выяснилось, что это была утка швейцарской газеты на первое апреля. А наши раструбили ее всерьез в наших газетах — и нам в «седьмом отделе» это тоже было подано как блестящая идея для пропагандистской разработки.

Мы очень быстро поняли, что статьи писать надо по-немецки, а затем переводить на русский — только тогда язык получается более правильный. Я быстро и лихо усвоил идиомы и разные употребительные выражения, но путался в родах и падежах. Это выправлял Лоховиц. Затем мы переводили текст на русский язык для начальства: текст должен был быть утвержден начальником Политуправления, а по-немецки начальство, естественно, не знало. Наши произведения печатали Минна Исаевна (русский текст) и Айно (немецкий текст; она совсем не знала немецкого, но никогда не делала опечаток, какой перемаранный оригинал ей ни дай), Лиза помогала то той, то другой. Перед посылкой в Политуправление русский и немецкий тексты давались Питерскому на редактирование и на визу. Он знал немецкий весьма неважно, но все же читать мог, однако правил не немецкий, а русский вариант. Чаще всего от первоначального текста не оставалось камня на камне. Это нас до такой степени «доводило», что однажды мы взяли еще не читанную Питерским статью Эренбурга, соорудили из нее нечто и подсунули ему. — Статьи Эренбурга пользовались в армии неслыханной популярностью.[1]

Все его статьи шли нарасхват, их берегли, не раскуривали. У него был очень характерный, особый язык и стиль, с примерами из литературы и истории ренессанса и античности. — Питерский перечиркал все, заменив набором штампов. Мы не сразу решились ему сказать, что он правил Эренбурга. Он был несколько смущен, но с него все было как с гуся вода.

После проверок текст шел генералу Румянцеву, начальнику Политуправления, на утверждение. Он занимался пропагандой среди наших войск, и часто текст «Фронтзольдата» попадал ему после горячей речи, где он требовал смерти немецким оккупантам, и вдруг — «вести с родины»! Он этот заголовок вычеркивал и писал на полях: «У немца нет родины, у него есть логово». Мы, конечно, не писали «вести из логова», но как-то все же приноравливались к начальству. По счастью, в набор шел все-таки не перечирканный начальством русский текст, а немецкий, где можно было учесть начальственные требования довольно обтекаемо.

После утверждения газета шла в набор. Он, как я уже упоминал, был ручной, по буковке. Затем читали корректуры — сначала гранки (где текст набран сплошняком, без разбивки по страницам), затем верстку (воспроизводящую будущий вид газеты). Здесь всегда важна роль выпускающего. Это опять же был Гольденберг. Чтобы смонтировать статьи на полосе,[2] нужно было подгадать их размер. Заранее точно угадать необходимые размеры статей и заметок трудно, хотя они и заказывались на определенное число квадратов; тем более нельзя заранее придумать привлекательное расположение и даже кегель (=размер) заголовков: где-то надо обрезать, где-то досочинить две-три строчки. Это было делом выпускающего.

Корректуру читали двое: Тася Портнова и я.

---

[1] Это, между прочим, показывает, что в армию еще вовсе не проник антисемитизм. Эренбург в своих статьях нисколько не скрывал своего еврейства и даже с гордостью твердил: «Мать мою звали Хана».

[2] Полосой называется на типографском языке сплошная полоса набора — несверстанная в страницы (это называется гранкой) или имеющая вид книжной или газетной страницы (это сначала верстка, а потом сверка). — Когда Гольденберг раз заболел сыпным тифом, газету выпускали Клейнерман или я.

По окончании набора и правки корректур текст передавался на машины: маленькую американку (для листовок) и большую плоскопечатную (для газеты). Однажды в печатном цехе было шумное событие. Набор вначале связывают веревкой и вкладывают в «форму» печатной машины. «Форма» — это свинчивающиеся рамки. Печатник не завинтил их и пустил машину работать. Она форму подняла вертикально — и тысячи букв рассыпались по полу. Единственным нашим утешением было то, что наши «подписчики» не будут все равно в претензии за задержку газеты.

Одно время я стал корректором и по должности. Произошло это так: однажды вечером, когда все были свободны от работы, к нам пришла по какому-то делу очень милая девушка, буряточка, переводчица из политотдела армии — кажется, 26-й, — посланная «во фронт» в командировку. Все млели и таяли, как всегда, когда появлялась девушка. Время было вечернее, все собрались в одной комнате, и шел общий треп. Явился Питерский и стал совершенно неприлично к ней приставать, говорить ей сальности. Она краснела и бледнела, я не выдержал и тихо сказал ему, пользуясь тем, что разговор был неслужебный: «Товарищ старший батальонный комиссар, девушка смущается, пожалейте ее!» Он страшно рассердился и ушел. Взялся за дисциплинарный устав и стал подбирать подходящий параграф. Затем вызвал меня в свой кабинет и сказал: «Вы уронили мое достоинство в присутствии подчиненных, и я, как командир отдельной части, понижаю Вас за это в должности с сокращением зарплаты». Из переводчиков меня перевели в корректоры. Это сказалось на моем денежном аттестате, который шел моей семье, но так как всего моего аттестата ей едва хватало на поллитра молока, то понижение было не так уж важно. Я все-таки подумал, что надо что-то сделать, но по уставу жалобу на начальника можно подавать лишь через самого же начальника. Я пошел в город, где находился 7-й отдел, который возглавлял полковой комиссар Суомалайнен (о нем я позже расскажу подробнее), и рассказал ему эту историю, спросив, правильно ли поступил мой начальник, который как командир части понизил меня в должности.

Он сказал, что тот поступил совершенно неправильно и никакой он не командир отдельной части.

— Но Вам я не советую подавать жалобу.

Он был совершенно прав, потому что Питерский мог меня и отчислить — на передовую. Я был тогда уже в командирском звании и попал бы не в рядовые, а в командиры взвода — результат, впрочем, был бы одинаковый или даже худший: не только себя бы погубил, но и подчиненных. На фронте говорили: «Дальше фронта не пошлют», но для нас, тыловиков, как мы ни совестились своего тылового положения, посылка на фронт была все же — ну, скажем, — нежелательна.

Через три месяца меня перевели из корректоров в дикторы, и все это никакого значения уже не имело.

Когда газета была готова и тираж ее был напечатан, шло ее распространение, которым занимались инструкторы Суомалайнена. От нас в этом участвовал Клейнерман. Для этого приходилось ездить на передний край.

Распространение — это был сложный вопрос. У немцев все это было проще. Имелся особый миномет, в который закладывалась так называемая

Goebbelsgranate, т.е. «геббельсовская мина». Она была начинена листовками. Ее перебрасывали километра на полтора, и там листовки разлетались на большой площади. После того на столе у Суомалайнена появлялось донесение, что противник в таком-то квадрате пытался разбросать антисоветские листовки, но мобилизованные коммунисты и комсомольцы подобрали их все до единой, так что они не дошли до солдат. На самом деле солдаты читали эти листовки, да и сборщики рассказывали другим об их содержании.

У нас техники разбрасывания листовок не было. Сначала пытались сбрасывать их с самолета. Но в нашем распоряжении были только У-2 (или «ночной бомбардировщик По-2»), так называемые «Русфанер»[1] — фанерный самолет с двумя открытыми сиденьями, одно для летчика, позади него другое — для человека, который бросал либо небольшие бомбы, либо, если нужно, листовки, перегибаясь через борт. Это можно было делать только ночью, иначе в два счета бы сбили. Листовки часто относило к нам же обратно или в болота, которых вокруг была тьма. Кроме того, У-2 нашим работникам предоставляли редко: это была ценность, и рисковать самолетом и летчиком ради каких-то листовок никто из командиров частей не хотел. Тем не менее, Клейнерман летал на У-2; хотя чаще разбрасывать приходилось поручать летчикам, но наше начальство предпочитало наших инструкторов, так как не было никакой уверенности, что летчик не сбросит все листовки одним тюком сразу.

Конечно, этого метода распространения газеты «Фронтзольдат» было недостаточно. Второй метод был прекрасен: надо было ждать восточного ветра. Тогда газеты и листовки бросали по ветру, и предполагалось, что они выпадут на немецкие позиции.

Наши листовки не имели в тот год никакого влияния на политико-моральное состояние немецкой армии. У них были специальные политзанятия, где командиры читали наши листовки вслух, подчеркивая ошибки в языке и комментируя. Стоял общий хохот.

Наконец у нас решили, что нужно завести свой агитминомет. Впервые его сделали на Кандалакшском направлении. Клейнерман обратился к командиру дивизии с просьбой, чтобы его люди изготовили миномет. Сделать это было легко, так как в каждой дивизии были мастера на все руки. Выделили двоих, одному поручили сделать миномет, другому мины. Откомандированный по этому делу водопроводчик и слесарь из рядовых приехал в полупустую после эвакуации Кандалакшу и там отрезал кусок подходящей для ствола фановой трубы, приделал днище со штырем, который спускает мину, и все готово. Для изготовления самой мины бралась американская банка из-под тушенки, из тех, что шли к нам из Штатов через Мурманск. Они были из тонкой желтой жести, легко вскрывающейся, в отличие от наших консервных

[1] Немцы называли их «швейными машинками» (Nähmaschine) за их специфический шум. Название «Русфанер», которое мы приписывали немцам, было на самом деле наше. На наших фронтах они назывались «кукурузниками». Интересно, что в наших военных историях «русфанер» так и продолжает называться «ночным бомбардировщиком», и взору читателя представляются огромные четырехмоторные цельнометаллические машины. «Ночные бомбардировщики» использовались всю войну и несли потери хотя и большие, но меньшие, чем себе можно было представить: они вылетали на цель внезапно из-за какого-нибудь леса на бреющем полете.

банок, требующих впятеро больше металла и титанических усилий при открывании. В такие банки (размером со стеклянную литровую) набивалось довольно много листовок. Головка мины делалась из дерева на токарном станке. Мы шутили: переброска такой мины достигает двойной цели: во-первых, немцы читают наши листовки, во-вторых, они видят, что союзники нам помогают.

Наряду с нашей редакцией существовала такая же финская. Существование ее было гораздо более целесообразно. Во главе ее стоял, как я уже говорил, очень умный человек, полковник Лехен, старый работник Коминтерна, участник испанской войны. Он прекрасно говорил по-испански, по-немецки, по-фински и по-русски. Сотрудниками у него были исключительно финны. Это были политэмигранты-коммунисты, уцелевшие несмотря на 1937 год. Все они жили в России по 10-20 лет, но почти ни слова не говорили по-русски. Зато финский дух и психику они понимали великолепно и выпускали газету, полную народного юмора, интересную, которая, наверное, оказывала определенное влияние на финнов. Эта война была у них непопулярна. Если в финскую войну они дрались активно и даже отчаянно, потому что защищали свою родину, то в этой участвовать не хотели, считая, что их в это дело втравили немцы. Наши офицеры-финны, которым, так же как Клейнерману, приходилось ездить на фронт со своей газетой (на те направления, где против нас стояли финские части), каждый раз попадали под арест как шпионы, так как в поисках нужной части или на обратном пути ни слова не могли выговорить по-русски. В конце концов меня приставили к ним преподавать русский язык. Я не знал, с чего начать учить людей, которые по 20 лет прожили в России и не знали языка. Я начал учить их фонетике. Они не умели различать «с», «з», «ш», «ж», «ч», «щ» — для них это все была одна «буква», по-фински называвшаяся «эссе». Когда я диктовал слово вроде «жаровня», то один наклонялся к другому и шептал. «Это то эссе, которое сук?» (имея в виду «жук»). Эти седовласые люди трогательно списывали друг с друга. Однажды, когда я задал им составить фразу со словом, содержащим звук «ж», они все как один написали «утка плавает лусайка».

Третья, на самом деле важная часть нашей работы — это было изучение противника. Источниками информации были прежде всего пленные и перебежчики. Первое время перебежчиков не было, потом они начали понемногу появляться. Кроме того, источником были письма, которые шли к нам почти непрерывно. Дело в том, что немецкие солдаты их хранили и часто нумеровали. Письма забирали из карманов пленных и убитых. Иногда наши разведчики попадали в расположение немецких войск и там брали письма. Читая их, можно было представить себе немецкие нравы и понятия. Особенно мне запомнилась одна женщина, от которой хранилось довольно много писем. Звали ее Хильдегард Хан, до сих пор помню ее фамилию. Она писала 22 июня 1941 г. своему мужу: «Фюрер в своей глубокой премудрости наконец-то объявил войну России. Можно надеяться, что скоро мы сможем начать завоевывать Португалию!» Она писала многое в таком духе, но все это через тупую цензуру проходило. Позже, ближе к 1943 г., мне в руки попал дневник антифашиста, молоденького солдата-интеллигента, который был против войны из религиозных соображений.

Но большинство писем было стандартно и не представляло интереса. Начинались они одинаково, шли ли они на фронт или с фронта: «Meine lb. NN (или Mein lb. NN, сокращенно вместо liebe или lieber), bin noch gesund, was auch hoffendlich bei dir der Fall ist» (всегда hoffendlich вместо hoffentlich): «Моя дорогая (мой дорогой) NN, я еще здоров, что, надеюсь, и с тобой имеет место».

Кроме писем, разведчики доставали довольно много газет. Мы почти регулярно читали «Völkischer Beobachter» — главную нацистскую партийную газету, а также «Das Reich», — вроде нашей «Литературки», геббельсовскую. Более интересна была буржуазная «Frankfurter Allgemeine», печатавшая речи Гитлера петитом на последней странице и объявления типа: «Предприятие А. объявляет, что его основной капитал с 1 января будет не 500 тыс. марок, а 1.500 тыс. марок». Дело в том, что нацисты провели закон, ограничивающий «военные прибыли» — тремя или, помнится, пятью процентами с капитала. Но разрешалось сообщать об увеличении капитала, что сразу могло увеличить прибыль втрое.

Вообще нацистский социализм был прелюбопытная штуковина, но здесь не хочется об этом рассказывать.

Попадались и книги, чаще всего «Майн Кампф» (обладать которой вменялось всем немцам как бы в обязанность), «Миф XX века» Альфреда Розенберга и совершенно вонючая и густая вонь «профсоюзного» вождя Лея.

Все это мы читали и изучали. Это давало нам некоторую картину внутренней жизни нацистской Германии, но больше всего давали нам пленные, особенно материала для нашей внутренней пропаганды.

Я создал два опуса — один был очерком социально-экономического устройства нацистской Германии (он ушел в Москву под грифом «Совершенно секретно»), другой был сочинением листов на восемь, если не больше, который назывался у нас «Энциклопедия Штейнманниана». Это все было получено от немецкого офицера Штейнманна. О нем будет особый разговор. Все полученные нами данные и материалы шли в Главное политуправление Красной армии. Кое-что несомненно использовалось. Иногда мы встречали наш материал в статьях Эренбурга. Так, от Штейнманна исходил рассказ об одном немце, который имел трудности с поступлением в училище из-за того, что у него была неправильная, с расовой точки зрения, форма подбородка.

Собираемая нами информация позволяла довольно подробно описать состояние экономики, идеологической работы в немецком тылу и в армии, что могло принести большую пользу. Возможно, все это оставалось без внимания, как в свое время остались даже такие важные сообщения, как собранные Зорге. Так, по крайней мере, думала Минна Исаевна (хотя о Зорге мы тогда, конечно, ничего не знали).[1]

С середины 1942 г. для 7-х отделов начал выходить «закрытый» журнал, где публиковались материалы, собранные на разных фронтах. Была одна страшная запись опроса какого-то немца, который рассказывал, как у них работали уборщицами еврейские девушки как раз в тот момент, когда рядом

[1] Мир впервые узнал о нем из восхищенных воспоминаний немецкого шпиона, работавшего одновременно с ним в Японии. Лишь несколько лет спустя и мы нарушили молчание — конечно, при Хрущеве.

уничтожали их родное местечко и оттуда был слышен стрекот пулеметов. Жутко.

(В том же журнале уже в 1943 г. было напечатано четыре отчета переводчиков 7-х отделов из всех армий о технике политических опросов. Так случилось, что три из них были с нашего фронта — Эткинда, Касаткина и мой. У нас у всех были в этом деле свои амплуа: Фима вел опрос там, где были нужны находчивость и хитроумие, Шура специализировался на опросе идиотов, а я — интеллигентов).

События зимы и ранней весны 1942 года были в нашем захолустье мало интересны. Но чтобы передать впечатления о времени, надо рассказать и о них.

Работали мы порывами. Иногда приходило много писем или появлялось несколько пленных, тогда время работы не ограничивалось. На выпуске газеты были заняты только те, кто к этому имел отношение, остальные освобождались в 5-6 часов и вечером делали кто что хотел. Я шел в оперетту или просто гулял. Прогуливаясь с Фимой, мы, между прочим, обсуждали вопрос о том, можно ли наше государство считать социалистическим,[1] и я помню, что как раз когда Фима выступал с очень политически невыдержанной речью, я поднял глаза и обнаружил, что мы стоим под самым балконом дома, где помещалась наша госбезопасность. Я шепнул ему: «Самое подходящее место для таких разговоров», и увел его.

Как-то я сказал одному беломорскому другу, что, по-моему, наш социализм должен после войны стать каким-то иным, но он возразил мне:

— Какой социализм? У нас государственный капитализм.

К нему стоило прислушаться, — он был человек с хорошим историческим и экономическим образованием и очень умный. Все это не помешало ему очень скоро вступить в партию. Он был весьма честолюбив и мечтал стать дипломатом. И стал бы, причем отличным, если бы не нагрянувшая в конце и после войны волна антисемитизма.

Были и развлечения.

Больше всего у нас и повсюду было разговоров не о политике (тут легко было смертельно обжечься), а о женщинах. Это была центральная тема, и чем дольше шла война, тем эта тема была острее. Немцы давали каждому военнослужащему отпуск на родину через каждые одиннадцать месяцев — у нас отпусков не было. Обсуждали, ждут ли жены или уже давно изменили, или просто предавались воспоминаниям о разных любовных эпизодах — с женами и не с женами. Такие разговоры шли без конца, но больше всего потрясал поэт Александр Коваленков из газеты «В бой за Родину». Наши мужчины с упоением слушали его рассказы о коллективных оргиях, в которых он принимал (или якобы принимал) участие, когда на несколько минут тушился свет и нужно было успеть переспать с ближайшей соседкой,

[1] Этот вопрос тогда меня очень занимал. Я написал стихотворение, начинавшееся строками:

Верю в высь социализма
Без сегодняшних прикрас...

а кончалось оно строками, цитированными из Николая Тихонова:

Потому что я — прохожий,
Легкой тени полоса.

о преимуществах того, чтобы спать сразу с двумя женщинами, а не с одной, об анатомических особенностях китайцев и японок. Все слушали с затаенным дыханием, потом бурно участвовали в этих обсуждениях, ведшихся на полнокровном русском языке. Я в те годы считал для себя всякую похабщину абсолютно запретной, а любовь — вещью слишком серьезной, чтобы ее обсуждать. Поэтому всегда молчал, вызывая насмешки Розанова и других (молчал, впрочем, и Фима). Но, молча, я слушал и мысленно производил лексическую классификацию, как языковед.

Стиль был разным. У. любил рассказывать все в деталях, называя имена и адреса дам, с которыми имел дело. Клейнерман, рассказывая свои романтические истории, тоже нескромные, но имевшие более общий интерес, всегда говорил так, что никогда нельзя было определить, с кем все это происходило. У него были бесконечные романы, но он всегда был с женщинами джентльменом, никогда нельзя было бы выведать ничего порочащего их.

Такие разговоры шли непрерывно.

Однажды я тихо сидел за столом и работал над какой-то листовкой, между тем как между Клейнерманом и Лоховицем разгорелся какой-то спор, в который я не сразу вслушался; Севка Розанов тоже подбрасывал что-то в него. Лоховиц от волнения вскочил и, вложив одну руку в брючный карман, другой размахивал перед носом Клейнермана. Тут я вслушался и к своему изумлению услышал, что спор идет о возможной половой потенции Эренбурга. Клейнерман утверждал, что «да», иначе бы ему таких статей не написать, а Лоховиц горячился, доказывая, что «нет».

Все же наши были лучше, чем высокомерные «инструкторы-литераторы» из газеты «В бой за Родину».

Все они, конечно, были ой какие интеллигентные. Коваленков любил устраивать поэтическое соревнование: он читал две строчки из какого-либо стихотворения, а его партнер должен был сразу прочесть две следующие и назвать фамилию автора. Я очень гордился тем, что раз победил его. Он начал стихотворение:

Беспробудно пьянствую в течение
Этих всех тяжелых, смутных дней —
Это не имеет отношения
К воспитанию души моей;

Я подхватил:

Но куда глаза ни обратятся,
Всюду пьяны все, и потому
Как же я осмелюсь удержаться,
Чтобы трезвым быть мне одному?

Это китайское стихотворение в переводе уже погибшего тогда Ю.Шуцкого было напечатано один раз в востоковедном журнале 1923 г. Коваленков так растерялся, что даже не спросил у меня фамилии автора (китайского) — а я его не помнил. Все равно, победа была присуждена мне.

При всей эрудиции, Коваленков, конечно, вызывал отвращение. Там, в газетной редакции народ был в основном неприятный, хотя я уже говорил, что это все были, так сказать, интеллигенты — журналисты, по большей

части партийные. О войне я от них не слышал, хотя они постоянно бывали в частях. Разговоры их чаще всего были препротивные.

Среди них был один славный человек, Федор Маркович Левин. У него был хриплый голос, как будто сорванный на митингах. Он был старый член партии, кажется, с 1918 г., участник первых партийных съездов, наивно веривший в социализм. Очень добрый, полон интересных воспоминаний. Говорил интересно о людях, которых встречал, литературе, истории. Так, однажды он рассказал, как был делегатом на одном из ранних партсъездов. Дали слово Коллонтай. Вышла дама в модном платье, некоротко стриженая. Сидевшие в зале матросы, красноармейцы, кожаные куртки неодобрительно зашумели. Но она уверенно начала речь и кончила ее под бурные аплодисменты.

Федор Маркович еще до Нового 1942 года исчез. Однажды, идя по длинному мосту через Выг в Беломорске, я встретил команду заключенных в серых бушлатах далеко не первого срока. Вдруг среди них вижу Федора Марковича.

Его посадили, он просидел месяцев восемь, но потом вышел. Попал на хорошего следователя. Тогда такие сравнительно часто попадались. Во время войны набрали много ребят в НКВД по комсомольскому набору из студентов. Они имели совесть и иногда старались выручить людей, попавших по явно дутым делам. Такой следователь помог Федору Марковичу выйти из-под следствия, что удавалось крайне редко.

Позже он рассказал, как был арестован. Еще перед боями под Москвой, когда мы продолжали безудержно отступать, в комнате фронтовой газеты сидели четверо: Гольцев, Коваленков, Курочкин и он. Ставился академический вопрос: «Чем кончится война». Все думали, многие говорили тогда об этом. Было мало людей, которые считали, что мы можем проиграть, хотя фактов в пользу нашей будущей победы не было и в ближайшее время не предвиделось. Почти все, и я в том числе, склонялись к тому, что война примет форму «китайского варианта»: немцы займут города и узловые пункты дорог, а все остальное окажется в руках партизан. Этот вопрос обсуждался и этими четверыми, и кто-то из них сказал: не похоже, что мы выйдем из этой войны благополучно. Это была часть длинного разговора, но как раз на этой фразе Левин поднялся и куда-то вышел. Курочкин и Коваленков были беспартийными, в отличие от старого большевика Левина. Они переглянулись и вообразили, что он пошел доносить. Оба тут же написали на него донос сами, будто именно он сказал эту фразу. Левина арестовали.

В это время вместо кухни и маленькой столовой, которая была в нашем бараке наверху, нам дали новую общую с редакцией фронтовой газеты столовую в избушке рядом с бараком. Теперь мы обедали вместе с журналистами. Среди них были двое, Быстров и Адов (это был его псевдоним). Один другому как-то рассказывал, с аппетитом закусывая, как его знакомые чекисты пригласили его на расстрел. Казнили женщину. Он со смаком рассказывал, как ее раздевали и она голая ползала, вымаливая пощаду. У нас никогда не было желания общаться со всей этой журналистской публикой, которая жила по ту сторону улицы.

Читатель 80-х и 90-х годов получает почти в течение месяца слоновые

дозы националистической пропаганды (как мы в течение 20-х—50-х годов жили в атмосфере пропаганды коммунистической). Интеллигентный человек, по определению, это тот, который не ловится на пропаганду. Но устоять против нее очень трудно — в полной мере вряд ли кто, каждый в свою эпоху, был на это способен. Поэтому мой читатель не преминет заметить, что состав нашей редакции для немцев — за исключением лишь Айно, Розанова и меня — состоял из евреев: Гликман, Гольденберг, Ж., Клейнерман, Лоховиц, Питерский, Портнова, Ривкин, У., Циперович, Эткинд. Из шести набранных в Ленинграде в переводчики для разведотдела четыре (Альтшулер, Бать, Бейлин и Прицкер) были евреи и только двое (Дьяконов и Янковский) были русские. Та же картина была в штабах армии и в штабах всех других фронтов.

Но пусть читатель не вбивает себе в голову идей ни о коварном еврейском заговор, ни о трусливых евреях, намеренно отсиживавшихся в тылу. В первые же дни на фронт ушли добровольцами (и лишь частью по мобилизации — помечены звездочкой) только из моих близких знакомых евреи Шура Выгодский, Минна Гликман, Миша Гринберг, И.М.Дунаевская и ее муж, М.Э.Кирпичников, А.Лейбович (мой ученик по Эрмитажному кружку), И.М.Лурье, историк М.Б.Рабинович, журналистка А.Д.Мельман и ее муж Б.М.Рунин (Рубинштейн), мой студент Миша Храбрый, соперник брата Миши Орест Цехновицер, упоминавшийся выше Щ.; в 1944 г. был мобилизован рядовым Яша Бабушкин, до тех пор поддерживавший в живых блокадное ленинградское радио; из них Выгодский, Гринберг, муж Дунаевской, Лейбович, Храбрый, Цехновицер и Щ. сложили головы в 1941—42 гг., Бабушкин в 1944 г. Дунаевская была ранена в лицо, Кирпичников провел на переднем крае четыре года без отвода на отдых (!), но был лишь тяжело контужен; Лурье был отчислен вместе со мной из ополчения и больше не призывался как сердечник; рядовой Рунин попал в окружение и оттуда с трудом вышел. Из моих послевоенных товарищей и друзей — евреев — были к концу войны призваны рядовыми и выжили В.А.Лившиц, И.М.Оранский, В.Н.Шейнкер — последний — с тяжелым ранением в голову. Добавим к этому, что Альтшулер, Бать, Клейнерман, Портнова, Прицкер, Циперович были мобилизованы в общем порядке и не знали, куда будут назначены, Эткинд — по запросу из армии, и все они попали в редакцию или в разведотдел потому лишь, что активно владели немецким; хотя в наших школах немецкий был обязательным предметом, но школьники его не выучивали. Питерский и Гольденберг были направлены на армейскую работу партийными организациями, Ж. и Лоховиц были специально выбраны для немецкой газеты, один — как художник, другой — как автор немецких словарей; лишь У. попал в нашу редакцию по блату его русского приятеля Севки Розанова, и Бейлин сжулил. Из мобилизованных на фронт евреев, не имевших специальных военных знаний (переводческих, инженерных и т.п.), некоторые остались в живых таким же чудом, как и некоторые русские мальчики.

Но даже стыдно перечислять все имена исполнивших свой долг и по большей части сложивших голову: достаточно почитать любую мраморную доску с перечнем погибших в любом ленинградском учреждении. А чисто русский поэт Кирсанов, сунувшись раз на фронт, бежал оттуда «прямо в

пекло, в Ашхабад», как пелось известным кукольным хором Образцова, и из глубокого тыла писал свой серийный роешник «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата».

Евреи 1941—1942 гг. потому и погибали быстро, что были не только мужественными людьми, но и городскими мальчиками, интеллигентами, не приспособленными к тому, чтобы лежа вкапываться в землю и затем уже стоять — или лежать — насмерть; насмерть, но в то же время по возможности оставаясь в живых. Не их вина, что среди евреев не могло быть крестьян: царское правительство запрещало евреям заниматься земледелием. И к 1943 году на передовой евреев уже действительно было не видно. Лишь среди новобранцев они составляли процент, соответствовавший их численности в населении, причем следует учитывать, что большинство местечковых евреев Белоруссии, Прибалтики и значительной части Украины не успели бежать и, стало быть, истребление их неминуемо уменьшило число евреев в СССР по крайней мере пополам. В 1943 г. и позже евреев среди новобранцев было 1—2 на сотню, и иначе и быть не могло.

Зато после русских, украинцев и казахов евреи занимали четвертое место по числу Героев Советского Союза в процентном отношении к численности национальности. Эти данные были опубликованы в 1944 г. в армейских газетах, но были быстро изъяты из обращения и больше не воспроизводились.

На Карельском фронте один еврей командовал 26 армией, другой — артиллерией. Высок был процент евреев на всех высших нестроевых военных должностях, требовавших образования. Удивляться тут нечему — скорее можно было бы удивляться, почему тут мало было русских, если бы не знать, что была практически уничтожена русская дворянская и разночинная[1] интеллигенция (уничтожена из классовых, а не националистических соображений). Почти поголовно было уничтожено офицерство. В этих условиях естественно на первое место вышла русская еврейская интеллигенция, которая в 20—30-х гг. не принадлежала к классовым врагам, и притом в 90% случаев — во всяком случае, за пределами местечек — была неверующая и потому денационализованная. Подавляющее большинство евреев — моих сверстников — имели родным языком русский, редкие из них понимали идиш и никто не понимал иврит (евреев, шедших изучать свое национальное прошлое на отделение гебраистики филологического факультета, или молодых поэтов, пытавшихся писать на иврите, в счет, конечно, брать нельзя — да и те и другие, по преимуществу, кончали в концлагерях).

Поэтому легенда о сионистском засилии при советской власти и особенно во время войны — конечно, ложь, и притом кровавая, нацистская. Ее распространению немало способствовала немецкая армейская пропаганда — делали свое дело тысячи и тысячи немецких листовок, прочитывавшихся красноармейцами, когда фронт останавливался, — в 1942 и 1943 гг., и твердившая, что евреев нет на фронте: наши солдаты озирались вокруг и редко видели в своих рядах евреев, но зато видели их в числе политруков и в числе штабных, которых ненавидит любая армия.

[1] Разночинной интеллигенцией была в основном, конечно, интеллигенция не из купечества (эти были просто классовые враги) и не из мещанства (оно поставляло мало интеллигентов), а из детей священников, дьяконов, дьячков — словом, «лишенцев».

Прелестную историю рассказал мне мой сотрудник 70-х гг. по Институту востоковедения, Меир Натанович Зислин. Он служил по мобилизации в войсках связи рядовым. Однажды в результате артиллерийского обстрела где-то оборвались телефонные провода (они тогда уже были цветные — зеленые и красные, наверное, импортные). Зислин пошел по проводу и добрел до большой воронки посреди болота, полной воды, в которую уходили с разных сторон несколько разного цвета оборванных проводов. Зислин был дальтоник, так что цвет провода ему не помогал; он скрепил с оборванным один из свисавших проводов, показавшийся ему наиболее подходящим, и, как положено, пошел дальше по этому проводу с целью установить, нет ли еще обрывов и доходит ли провод до адресата. Но оказалось, что он соединил красный провод с зеленым и теперь полз по немецкому проводу к немецким позициям: вскоре появилась явно немецкая землянка, куда и уходил провод. Зислин в ужасе приник к стене землянки, вслушиваясь в шедшую оттуда речь.

— Слушай, товарищ лейтенант, а ведь евреев-то на фронте не видать.

— Да что с тобой? А я, по-твоему, кто?

— Вы, товарищ лейтенант, дело другое, а так евреев на фронте нет.

— Верно, нет, нет, — сказал еще один солдат.

Тут Меир Натанович вошел в землянку, и из пяти советских военнослужащих, находившихся в захваченном немецком передовом посту, оказалось уже два еврея.

Поэтому сталинский антисемитизм конца 40-х годов выпал на хорошо унавоженную нацизмом почву.

Еврейство исторически сохранялось в течение 2500 лет благодаря своей религии. Но религиозные евреи и вообще те, кто держался за свой язык, имели мало шансов выжить уже в 20—30-е гг. (вспомним белые и зеленые еврейские погромы, преследование раввинов и хедерных учителей красными), а «евреи» 1941—45 гг. были за минимальным исключением обрусевшими, забывшими свой язык. В то же время вспомним и то, что та часть еврейской интеллигенции, которая не подвергалась в это время преследованиям, так как безусловно не могла быть настроена процаристски, была все же в существе своем интеллигенцией «буржуазной» и уже поэтому никак не ответственной за партийных евреев первых лет советской власти — Троцкого, Зиновьева, Бермана, Френкеля, Ягоду. Для интеллигентных «евреев» их культурой была русская,[1] как русской была культура таких «немцев» как Фонвизин, Дельвиг, Кюхельбекер, Пестель, Грот, Блок.

Вообще существовал — и существует — несправедливый порядок: швед, поляк, англичанин, француз, живущий несколько поколений среди русских, всегда числится русским; еврей — вечно записывается евреем, хоть он уже и три поколения говорит только по-русски.

Вот из-за этой исключительной роли евреев в составе русской интелли-

[1] А что из этой интеллигенции многие уехали в 50—70-е годы — так что же можно было ожидать, когда «пятый пункт» закрывал в течение почти сорока лет возможность учиться во всех основных высших учебных заведениях и трудиться на всех более или менее интересных работах. Стоит ли удивляться поздней вспышке еврейского национализма? При царском режиме была хоть «процентная норма».

генции второй четверти XX века и оказывалось, что переводчики, «инструкторы-литераторы», — да и не только они, а и инженеры, артиллеристы, иной раз летчики-испытатели (Галлай), подводники (Герой Советского Союза Фисанович); да и множество жен молодых уцелевших русских интеллигентов и множество мужей уцелевших русских интеллигенток — были формально евреями и еврейками. Партийцы Питерский и Гольденберг не делали разницы между мной, Розановым — и Клейнерманом, Портновой; впоследствии сменивший Питерского Суомалайнен делал разницу, с одной стороны, между и мной и Клейнерманом, с другой — Рантой, Шаллоевым и прочими финнами и карелами. А карел и сын карельского мужика П.В.Самойлов не выносил финнов, зато легко дружил и с русскими, и с еврейскими интеллигентами.

Все было не так, как рисовала, рисует и будет рисовать пропаганда. Уж я-то, три года занимаясь пропагандой, хорошо это знаю.

Один пленный мне рассказывал:

— Геббельс умер и попал в рай. Ну, арфы, белые балахоны, славословия. Он подходит к краешку рая и смотрит вниз. Там Гитлер, Геринг с девицами пьют вино, поют песни.

— А это что?

— Это ад.

— Нельзя ли мне туда?

— Куда? В ад? Пожалуйста.

Отправляют Геббельса в ад, там его на вилы — и на сковородку.

— Позвольте! Но я же видел совсем другое!

— Нет у нас ничего другого! Тут же ад!

— Да, но я... за столом... Гитлер, Геринг... девицы...

— Ах это! Так это же пропаганда! (Ach das! Das war ja Propaganda!).

Это отступление в моих мемуарах — не лишнее: пропаганда классовой борьбы с конца войны стала в СССР явно беспредметной и бессмысленной, но всякая диктатура возможна только путем натравливания на «врагов народа»: классовая травля должна была неизбежно смениться травлей национальной; идейно близкий Сталину Гитлер подал ему хороший пример, а почва была хорошо подготовлена — парадоксальным образом — немецкой пропагандой; а если вдуматься, то это логично.

Но вернемся к моим воспоминаниям.

VII

Весна 1942 г. прошла на нашем фронте под знаком наступления на Мурманском направлении. Здесь в прошлом году немцы продвинулись всего на 60 км от границы и завязли в скалах. Если выбить их отсюда, был хороший шанс вырваться на узкую финскую полосу у Баренцова моря и — совсем близко оттуда — на территорию Норвегии. Можно себе представить, какое бы значение для нашего морального состояния имел бы выход на чужую территорию, когда вся война шла на нашей! Для подкрепления на наш фронт была переброшена совершенно свежая, экипированная с иголочки сибирская 152 стрелковая дивизия. Она прибыла с востока эшелоном до Кеми, а оттуда морем должна была быть переброшена в Мурманск — очевидно, чтобы отвести

глаза немецкой авиации, державшей линию Мурманской железной дороги под постоянным наблюдением. В Кеми местные интенданты сняли с солдат дивизии бараньи полушубки — апрель месяц, не положено! Но 3 мая, когда дивизия уже была брошена в бой, на Кольском полуострове начался ураган с бураном и, конечно, сильными морозами — интендантам надо было бы знать, что это не средняя полоса России. Авиация бездействовала. Все наши части понесли большие потери, но многие солдаты 152 дивизии просто замерзли до смерти и ушли под снег. Остаток дивизии — с тех пор получившей прозвище «голубой» — был выведен в тыл.

Однако больше всего нас занимали события в Ленинграде. Ясно было, что Ленинград держится, и что там сильнейший голод. Это мы знали, но и только — без всяких подробностей. Готовили продуктовые посылки и ждали, кто поедет на Ленинградский фронт в командировку. Стало известно, что из Политуправления регулярно ездит в Ленинград один батальонный комиссар и берет с собой посылки. Однажды он появился у нас, и мы с трудом уговорили его взять наши тючки. Он снова появился незадолго до Нового года. Мы спрашиваем, что в Ленинграде?

— Груда руин.

— Что с Эрмитажем?

— Груда руин.

Значительно позже мы выяснили, что он доезжал только до восточного конца Ледовой дороги — очевидно, до Войбокала — и там продавал посылки, никогда не добираясь до самого Ленинграда.[1]

В начале января я встретил того маленького человека с огромным носом в АХО (хозяйственном отделе) и спросил, имеет ли он что-нибудь из Ленинграда. Он сказал: «Имею, там у меня умерли жена и дети». Так просачивались сведения о нашем городе.

Прицкер вдруг получил письмо из города Буя, от матери. Она сообщала спокойным тоном: «Дорогой сынок, отец умер в Ленинграде, мы с Мусей и ребенком[2] были эвакуированы при первой возможности, но мне, к сожалению, пришлось сойти с поезда. Я лежу в госпитале, в Бую, скоро умру». И давала указания на случай ее смерти. Он кинулся к своему командованию, чтобы его отпустили на несколько дней доехать до Буя. Ему сказали, что у всех умирают родственники, это не довод, — но он вцепился, как бульдог. С ним было трудно спорить, и он-таки добился командировки в Буй.

---

[1] Этот же батальонный комиссар фигурирует в следующей анекдотической, но, как меня уверяли, достоверной истории. Он, как и многие другие старшие политработники, докучал начальнику Политуправления фронта генералу Румянцеву, чтобы его послали в части. В один прекрасный день Румянцев сказал им:

— Я сегодня еду в 19 армию, поедете со мной?

Все выразили восторг. Генералу был подан специальный состав с салон-вагоном, в котором все комиссары вместе с генералом пили водочку и уписывали семужку и икорку. Румянцев, по своему обыкновению, был молчалив. От Кандалакши почти до озера Верман политработники добрались на машинах. А здесь Румянцев приказал всем комиссарам идти на опорные пункты взводов и поднимать людей в атаку. По наш батальонный комиссар отказался под предлогом сильной боли в животе. После этого Румянцев его куда-то списал, и больше его мы не видели.

[2] Муся (Мария Павловна) Рит рожала в Ленинграде почти одновременно с Ниной Луговцовой, женой моего брата Алеши — 8 января 1942 г., но сохранила своего ребенка немного дольше. Ее мать, мудрая эстонка Амалия Адамовна, кажется, оставалась в Ленинграде — и выжила.

Приехав туда, он узнал в госпитале, что мать уже умерла. Ему сообщили, где она похоронена, и он сходил на могилу.

Что же касается жены и ребенка, то они проследовали дальше своим эшелоном, и о них ничего не было известно. Прошел месяц, не меньше, пока пришли вести о жене Прицкера с сообщением, что ребенок умер в дороге, и его взяли из ее рук и бросили из теплушки под откос. Она осталась где-то совсем одна.

Прицкеру вскоре удалось сделать ей вызов как журналистке. Она приехала; мы все встретили ее очень радушно. Им дали отдельную квартиру в городе, в доме, принадлежащем разведотделу. Таким образом, началась впервые в Беломорске семейная жизнь.

Я на посылки откладывал свой офицерский дополнительный паек; тогда он у нас еще был замечательный: консервы из тресковой печени, сгущенное молоко, сахар, табак и масло. С тем комиссаром, что продавал посылки, я (к счастью) не успел ничего послать, а дальше никаких оказий в Ленинград не было. Перетопленное мною масло успело прогоркнуть, и хотя я пытался его снова перетопить, оно было несъедобным, и я с горем его выбросил. Но между тем получил следующий паек в таком же составе, перетопил масло, нашел ящик и все уложил в него. Где-то в марте или апреле кто-то из редакции «В бой за Родину» сказал мне, что из Беломорска отправляется целый вагон с посылками для Ленинграда. Я срочно достал свой ящик, заколотил и зашил его и поволок в город — в АХО, где занимались этим вагоном; там мне сказали, что вагон стоит груженый на путях и, может быть, уже ушел. Я кинулся на вокзал. На путях стояли десятки, если не сотни товарных вагонов; все они были заперты, и я бегал вдоль каждого и кричал: «Где здесь в Ленинград?» Наконец, на двадцатом вопросе отворилась щелкой раздвижная дверь теплушки, и оттуда высунулась рука; я ей отдал свою посылку: будь что будет!

Много позже я узнал от мамы, что к ним в дверь постучался офицер, спросил: «Здесь живут Дьяконовы?» — и отдал ей в руки посылку, которая и спасла ей и Алешиной жене жизнь.

Однажды еще поздней осенью мне сказали, что меня спрашивает лейтенант. Я вышел — это был мой ученик-ассириолог Храбрый. Я очень ему обрадовался, провел наверх, и мы поговорили. Тут я первый раз услышал подробности о блокаде Ленинграда — трупы на улицах, дистрофия — слово это я узнал впервые. Его неразлучный товарищ, маленький и щуплый блондин Переслегин, ушел из общежития и не вернулся. А Храброго мобилизовали в саперы и прислали на Карельский фронт — уж не помню, как он разыскал меня. Вероятно, я писал ученикам, и он нашел меня по полевой почте.

Но он торопился. Мы простились, и я знал, что навсегда. Саперы редко выживают, а с такой фамилией...

Но писем из Ленинграда в то время у меня не было никаких. Вначале я переписывался с Алешей, с мамой и с сестрой моей жены Лялей (Еленой Яковлевной), но письма перестали приходить. От Алеши последнее письмо было от 26 декабря, а я получил его уже после Нового года. От Ляли и мамы письма прекратились даже раньше. По одному из позднейших писем Елены Яковлевны мы поняли, почему. Она пошла отправлять очередное письмо и

увидела, что письма торчат наружу из почтового ящика: некому было вынимать их. Они стали появляться снова только, пожалуй, в апреле.

Тогда же пришло письмо от Миши. Оказалось, что истребительный батальон быстро расформировали, и Миша попал в обычные части, в полк, который был расположен на «пятачке» Невской Дубровки. Это было место, откуда можно было выйти только тяжело раненым, и то только если удавалось через лед вытащить его на северный берег реки с помощью волокуши. Каждый квадратный метр земли был не раз поражен немецкими снарядами и осколками. Мишу волокушей перетащили на другую сторону, вывезли в Ленинград, и там он, голодный, валялся в каком-то госпитале. Нашла его Наталия Васильевна, и оттуда его вывезли на детских санках втроем: прежняя жена (Наталия Васильевна), будущая жена (Евгения Юрьевна) и бывшая любовница. Волокли в госпиталь, где активнее лечили и оперировали.

На операционном столе он умер — это была клиническая смерть; и все же его спасли.

Когда он поправился, то его как знающего персидский язык отправили в Иран. В то время грузы союзников (продовольствие, автомашины, самолеты и танки) шли зимой (когда на севере темно) через Баренцево море в Мурманск и Архангельск, а летом — в Иран и далее через Баку. Мы оккупировали северную часть Ирана, а Англия — южную, на основании давнего договора, позволявшего России и Англии занять иранскую территорию, если она используется для враждебных целей против этих держав.[1] Шахское правительство и в самом деле снюхалось с немцами. В Иране было много немецких агентов. Десять лет спустя я встретился с одним из них в Кембридже за столом трапезной Queens' College, во время международного конгресса востоковедов. Это был профессор В.Эйлерс, известный ассириолог и иранист. Англичане интернировали его в Австралии, где он несколько лет работал на овцеводческой ферме.

Бодрые письма писала Елена Яковлевна, сообщая, например, что была в кино. (Действительные события ее жизни в блокаду заслуживали бы отдельного рассказа. Она спаслась потому, что была донором и получала донорский паек, а затем, с зимы, — потому, что была мобилизована бойцом противовоздушной обороны и получала солдатский паек. Она никогда не рассказывала о своей жизни бойца ПВО — знаю лишь, что в ее районе пожаров было мало, и она их не тушила, но разбирала руины и вынимала трупы из руин домов и из разбитого снарядом трамвая). Я понимаю, что не много она мне могла рассказать в письмах, ведь они шли через цензуру.[2]

---

[1] Как известно, после октября 1917 г. все «кабальные договоры» с царской Россией были отменены, и советское государство не считало себя связанным каким-либо договором, заключенным до революции. Но для Ирана было сделано исключение.

[2] Каждое письмо, идущее через почту, с фронта или в тыл, имело на себе печать цензора. (У немцев письма тоже цензурировались, но штампа цензор не ставил.). Наши цензоры были всюду по большей части молоденькие комсомолки, часто студентки, и понятия о том, что надо вымарывать, у них были не всегда четкие. Они нередко «переживали» за «своих» авторов и особенно за женщин-адресаток. В одном любовном письме, приходящем в Свердловск с фронта, была цензорская приписка: «Не верьте ему, он всем это пишет». В 1944 г. Нина Яковлевна встретила, уже в Ленинграде, свою бывшую студентку, начала было рассказывать ей события своей жизни за войну; та сказала ей:

— Можете мне не рассказывать, Нина Яковлевна, я была цензором в почтовом отделении Вашей сестры.

От мамы с весны шли грустные письма. Ни от Алеши, ни от Миши известий не было. В нашей «скороходовской» квартире были только мама да Нина Луговцова — мама не написала, что они живут в одной комнате, а остальную квартиру заняла завсдующая продовольственным магазином с семьей.[1]

Я, конечно, переписывался с женой, обнаружившейся в Свердловске (об этом подробнее потом), но писал и во все стороны. Все нуждались в поддержке и радостно откликались на мои письма. В середине 1942 г. у меня было уже чуть ли не пятьдесят адресов: все эрмитажники, с которыми я был знаком, Надя Фурсенко, еще кто-то.

После того как нашелся Миша (когда он вернулся из Ирана), а об Алеше не было вестей, я решил написать на его полевую почту с просьбой сообщить, где находится Алексей Дьяконов. Вскоре в ответ я получил похоронку:

«Умер 30 декабря 1941 г., похоронен в Мельничном Ручье».

Было непонятно, что значит «умер» — от голода, болезни?

Я написал еще письмо с просьбой сообщить подробности, но, конечно, странно было бы и думать, что я получу ответ.

Судя по месту, где он похоронен, я понял, что он был на Ледовой дороге. Он не мог быть ранен на Ладоге и привезен умирать в тыл. Мельничный Ручей не бомбили, но и мертвых с Ладоги туда возить не могли. После многих размышлений я теперь думаю, что он умер от обострения нефрита — это часто бывает как раз в 21–22 года, а холода нефрит не выносит. Уже после войны его жена рассказала мне, что незадолго до Нового года пошла навестить алешиного друга Диму Курбатова. Нашла его умирающим от дистрофии. Дима плакал, говоря о каком-то письме от Алеши, в котором он просил его позаботиться о жене и ребенке, а он... Алешина жена попыталась при нем отыскать письмо, но не нашла. Через три дня Дима умер, как она мне сказала. — Это значит, что Алеша ждал смерти уже будучи в армии, в середине или конце декабря. Если так, то это тоже больше похоже на то, что он заболел сразу после мобилизации. Мне он написал такое бодрое письмо за четыре дня до смерти.

Умер Алеша накануне Нового года, и когда я пьянствовал, он уже лежал мертвым. А я-то все время думал, что ведь он больной, почечник, лежит где-нибудь в окопах — там сыро... Странным образом и об отце я тоже думал как о живом, хотя точно знал, что его нет. Я так убедительно уговаривал маму, что и себя убедил, что какая-то надежда есть, и мучил себя, стараясь представить себе условия лагеря. Я тогда еще не знал, что они превосходят всякое воображение и что иному мертвому лучше.

Я прочел Алешину похоронку — пить было нечего, я попросил у кого-то махорки и закурил. Той весной нам еще не давали водки. Никому ничего не сказал — даже Фиме только гораздо позже, когда он сообщил мне известие о гибели другого своего товарища.

---

[1] Похожее положение, как выяснилось после войны, было и на Суворовском. Ляля там жила одна (наша нянька Настя умерла в январе), а в комнату Анны Соломоновны въехал с семьей некий продовольственный деятель. Ляля иногда заходила к нему — погреться у буржуйки. Жаря на вилке ломоть колбасы, новый хозяин говорил:

— Да, тяжело приходится. Но терпеть надо! — Однако Лялю не угощал.

В курение я быстро втянулся, хотя раньше никогда не держал в зубах цигарки.

Письма, между тем, начали идти, идти и идти.

Снова стали приходить очень славные письма от Ляли. От мамы к лету пришло письмо с Алтая, из какой-то не предусмотренной популярной географией дыры. Она писала, что Нина Луговцова родила в январе девочку, что мама сама ее принимала, что девочка умерла почти что сразу — у Нины совсем не было молока, а вода была не ближе Невы; что они получили мою посылку, которая их спасла, и эвакуировались — Нина и она; и что об Алеше пришло то же печальное известие, что и мне (и в то же самое время: видно, мое письмо побудило прислать из части похоронку и матери). С Мишей мама списалась через его бакинского ученика и друга Леню Брстаницкого, которого он повидал в Баку по дороге в Иран.

Из Свердловска я получил письмо от М.Э.Матье, в котором она сообщала первые известия из Ленинграда, полученные от тех эрмитажников, что оставались в осаде. В этом письме было перечислено сорок фамилий погибших.

Пришло письмо из Арзамаса от Таты (Клавдии Борисовны) Старковой. В первом письме она писала, что они с Андреем Яковлевичем (Борисовым) подружились (а был момент перед войной, когда он не хотел ее видеть, понимая, что Тата в него влюблена). Чего Тата не писала, это что она была при нем неотлучно в подвалах Зимнего дворца все самое тяжелое зимнее время блокады, и что она его выходила. Потом, писала она, они должны были весной выехать вместе в Арзамас к родным Вали Подтягиной-Старковой, жены татиного брата (служившего на тихоокеанском торговом флоте); но заболела дочь Андрея Яковлевича, и он собирался выехать следующим эшелоном. Тата уехала одна и все ждала его, все встречая эшелоны и продолжала писать мне. Вдруг получаю от нее письмо, написанное совсем другим почерком — знакомым каллиграфическим почерком Андрея Яковлевича. Я даже вздрогнул. Но это было письмо не от него, а опять от Таты. Она писала, что Андрей Яковлевич умер дорогой.

С тех пор она и впоследствии пыталась писать его почерком, как бы продолжая его в себе — но с годами прежний почерк ее все-таки возвращался.

Брат Таты пропал без вести со своим кораблем — власти сочли, что он бежал, и Валю, жену его, сослали.

Сейчас уже не помню, но наверное вскоре после майских боев я получил от Питерского задание: съездить в наши фронтовые лагеря для военнопленных (такие были в Кеми и в Мурманске) и получить от немецких солдат ответы на составленную для них анкету («Как вы относитесь к нацистскому режиму», «Как вы видите перспективу войны» и тому подобные, всего вопросов двадцать, видимо, придуманных Питерским).

Сначала я заехал в Кемь, но там немецких пленных было мало. Помню, что я побывал здесь сначала в 7-м отделении политотдела 26 армии, где начальником был майор Самодумский. Здесь я встретил группу финских инструкторов-литераторов в больших званиях, которые меня поразили: если у Лехена его люди работали, и дельно работали, если в нашем «Маньчжоу-Го» была хоть какая-то видимость работы, то здесь не делалось ровно ничего.

Запомнился один батальонный комиссар, с такими светлопшеничными волосами, как будто выцвели на сильном солнце. Он целый день сидел за аккуратно прибранным столом и виртуозно оттачивал карандаши. Второй не сходил с верхних нар, и когда его спрашивали, не пора ли чем-нибудь заняться, отвечал:

— Бог спешки не создал.

Единственный человек, который что-то делал, что-то писал, что-то куда-то относил, был рядовой Илюша Вайсфельд, в миру кинематографический критик.

Другой замечательной фигурой был мальчик Пиньяйнен, 18 лет, который отличался тем, что под покровом темноты подползал к окопам финнов и всю ночь слушал их разговоры. Услыхав о нем, Самодумский взял его к себе, понимая, что гибель его иначе наступит очень скоро.

Из 7-го отделения я пошел в пересыльный лагерь для пленных. Когда я вошел в их помещение, они посыпались с верхних нар, вытянулись по стойке «смирно» и стали есть меня глазами. Я несколько недоумевал: требуется ли с них такая дисциплина нашим начальством, или своя, немецкая дисциплина им так въелась в плоть и кровь.

Скорее, думаю, что второе, и вот по какому признаку. Находясь в Мурманске, я получил известие о присвоении мне очередного звания и, конечно, прицепил в петлицы третий кубик. На обратном пути мне опять случилось заехать в кемский пересыльный лагерь — не к пленным, только к начальству, — но, когда я шел по двору, меня встретил один из пленных, которого я мельком видел сваливающимся ко мне с нар в первый раз; он лихо козырнул мне и подобострастно сказал:

— Gratuliere, Herr Oberleutnant! — Womit denn? — Mit Beförderung, — сказал он почтительно.[1]

Даже когда рядового немца производили в ефрейторы, то новоиспеченный ефрейтор норовил сняться с новой лычкой и послать фотографию семье. (Ефрейторское звание было в то время введено и у нас, но такое производство никого из наших солдат не волновало).

В Мурманске меня встретил представитель 7-го отделения политотдела армии, хорошо памятный мне с университета, старший лейтенант Гриша Бергельсон. Он отвел меня в роскошную многоэтажную гостиницу «Междурейсовую» — никогда ни раньше, ни позже не видал я в СССР гостиницу, где можно было сразу без заминок получить прекрасный отдельный номер, просто показав свое воинское удостоверение в окошечко к портье. Устроившись, я пошел в пересыльный лагерь. Он занимал порядочный многокомнатный деревянный барак. Здесь собралось человек тридцать-сорок пленных, что для 1941 г. было очень много. Я провел среди пленных довольно много времени и успел с некоторыми из них ближе познакомиться. Мою работу среди них затрудняло то, что они голодали: их со времени, когда Мурманское направление относилось к Ленинградскому фронту, держали на ленинградском иждивенческом пайке, вместе с ленинградским пайком уменьшая и паек

[1] Поздравляю, господин оберлейтенант. — С чем же? — С производством в чине.

пленных.[1] Тем не менее у меня с пленными установились вполне мирные отношения. На анкету они отвечали решительно как хотели.

Запомнились из них трое. Один был раненый летчик, сбитый над Баренцовым морем в новогоднюю ночь 1942 г. и выуженный нашими моряками. Он лежал плашмя, а на стуле, бывшем ему вместо тумбочки, стояла фотография милой девушки. Прочитав мою анкету, на ее первый вопрос («Как вы относитесь к гитлеровскому режиму») он написал карандашом: «Я его отвергаю» (Ich lehne sie ab) и упал обратно на подушку. Я спросил, откуда он родом и кем был «на гражданке» — оказалось, он из Гамбурга, рабочий. Рассказал, как его сбили над морем. Я показал на карточку:

— Это Ваша жена?

«По-вашему, — ответил он, — это моя жена. А у нас она считается моей невестой». И он рассказал, что как военнослужащий он не может жениться, не представив «паспорт предков» (Ahnenpass) своей невесты. Я потом видел такие «паспорта предков» — в них полагалось указать национальность всех прямых предков по отцовской и материнской линиям до 1800 г. (а эсэсовцы должны были показывать предков до 1700 г.), и каждая запись должна была быть подтверждена документом. Бабушка невесты моего летчика была шведка — все в порядке, арийка! Но надо было получить копию ее метрического свидетельства.

— Я получил разрешение на отпуск и на поездку в Швецию, нашел это свидетельство в какой-то захолустной церквушке. И, представьте себе, оно было у меня в кармане куртки в полете и все вымокло и не читается.

— После войны, — сказал я, исходя из его ответа на анкету, — это не будет иметь значения.

— Как знать, — ответил он.

Другой запомнившийся пленный был молодой, краснощекий артиллерист, про которого мне рассказали, что он был взят в плен во время боя, отведен на наш наблюдательный пункт и оттуда корректировал наш огонь по своим. Он мою анкету заполнил, как надо; но остальные мялись, ссылаясь главным образом на то, что дома могут наложить арест на сберегательную книжку, и жена останется без денег. Я понял, что надо найти лидера.

Таким лидером оказался Михель Марте, ефрейтор, горный егерь, австрийский крестьянин. Он был умен и общителен, а мне, собиравшему материалы по политическому и экономическому положению внутри рейха, разговор с австрийцем был особенно интересен, так как Австрия была присоединена недавно и население было не так оболванено.

Марте рассказал мне, что наци завели такой порядок: к каждому крестьянину весной является инспектор, который составляет опись всего хозяйства — сколько чего засеяно, сколько всего и какого скота и птицы, и определяет будущий доход. Осенью крестьянин может взять на себя и семью продуктов в объеме полагающегося на рабочую карточку, а остальное должен

[1] В 1941—42 гг. в постоянных лагерях военнопленных им выдавалось по 800 г хлеба, а при выполнении плана — 1 кг. Но после Сталинграда, когда специальных лагерей для военнопленных не хватало, их стали отправлять в наши обычные концлагеря, где они и дохли от тифа, дизентерии и голода. Но это было позже.

сдать государству — по последним среднерыночным ценам (а не фактически даром, как сдавали наши крестьяне, не получавшие и никакой рабочей карточки). Я еще раз мог убедиться, что нацисты сумели наладить свою экономику. (Секрет, конечно, заключался в том, что они могли столько платить своим крестьянам и рабочим, оплачивать им заграничные круизы и т.п. потому, что их экономика была рассчитана на завоевание и грабеж других народов в будущем; как только исчезли завоевания, потерпела крах и нацистская экономика).

— И как же, — спросил я, — как лучше — при наци или при независимой Австрии?

— Знаете, все-таки при наци, — сказал он. — Раньше я в хороший год заработал бы больше, но в плохой — меньше. А теперь у меня гарантированный доход.

И тут я вручил ему анкету. Он ее заполнил более или менее так, как мне хотелось, но сначала не хотел подписывать. Когда же я стал его уговаривать, он воскликнул:

— А, черт меня не заберет (Der Teufel wird mich nicht holen)! — И подписал.

И вслед за ним заполнили и подписали анкету почти все пленные.

Я привез все это в Беломорск, переписав предварительно все вопросы и ответы в том порядке, как они были записаны, и в их оригинальном тексте, и вручил Питерскому. Он остался очень доволен, прочел ответы, поставил птички против тех, которые воспроизводить в газете не нужно будет, а затем дал Лизе Циперович отпечатать. Она, не вчитываясь в содержание, перепечатала ответы, помеченные птичками. Текст был передан Лоховицу для правки орфографии, сдан в набор, вычитан в гранках Гольденбергом и во влажной верстке положен на стол Питерскому. Он, естественно, пришел в ярость; ярость его излилась на меня — единственного человека, который во всей этой истории был совершенно безвинен, — накричал и дал трое суток домашнего ареста. Лиза перепечатала еще раз уже правильные ответы и т.д. — газета от этого задержалась, но ее задержку никто не оплакивал.

У нас все было тихо.

Однако это затишье было на самом деле только у нас, в глубоком тылу. Правда, наш Карельский фронт был стабильным, т.е. вовсе не двигался три года, но наши части, которые редко, если вообще когда-нибудь выводили на отдых, все время несли потери, и немалые. Прямых цифр потерь мы не знаем и теперь, но в официозной книге «Карельский фронт в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» под ред. генерала А.И.Бабина (М., 1984) на с.141–142 приводятся данные по численности членов партии по Карельскому фронту: 197 019 человек было принято в партию с декабря 1941 г. до начала наступления, а на 1 июня 1944 г., т.е. за два месяца до наступления, числилось 119 943 члена партии. Даже не учитывая, что часть (незначительная) доживших до 1.07.1944 военнослужащих состояла в партии до декабря 1941 г., все же получается, что потери за время стабильности фронта составили около 40%.

Глава четвертая (1942—1944)

...Никто меня не ожидает там,
Моей вдове совсем иное снится,
А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как половицы.

Над трубами картофельный дымок,
Висят на окнах синие метели,
Здесь для меня дрова, нарубленные впрок,
Здесь для меня постелены постели.

(А.Городницкий)

I

Художник Ж. от нас ушел весной 1942 г., а новый художник был рядовой и помещался на солдатской половине барака. В освободившемся помещении на нашей половине, для вящей секретности, был помещен мой приемник для слушания иностранного радио. Той же весной, ближе к лету, я сидел перед ним и по обыкновению записывал немецкую или английскую сводку.

Прослушав радио, я встал, закурил цигарку и почувствовал, как будто у меня в горле газированная вода бьет фонтанчиком. Я приложил платок ко рту — он стал совершенно красным. Прижимая платок к губам, я вышел из комнаты, меня кто-то увидел. Кровь текла уже по гимнастерке. Меня взяли под руки, отвели и уложили на мою койку. Положили подушку, чтобы было повыше. Кровь шла долго. Вышло стакана два. Мне велели не шевелиться. Вызвали машину, и меня, как бьющуюся посуду, передвинули в нее и отправили в госпиталь. По лицам окружающих я видел, что все считали — я вот-вот помру. Я и сам понимал, что если внезапно выходит так много крови горлом, то это ничего хорошего не предвещает.

Меня привезли в госпиталь. Он сворачивался, не знаю, по какой причине, но всех переводили в какое-то другое место. Оставили только нетранспортабельных; их было человек пять на пятнадцать коек, стоявших в нашей светлой палате. Меня уложили на угловую койку — у окна и стенки, велели лежать на спине неподвижно. Рядом со мной стояло какое-то большое растение в глиняном горшке. Через некоторое время опять пошла кровь горлом, но скоро перестала. Вскоре я заснул, хотя на спине и не привык спать. Проснувшись, я почувствовал слабость и в то же время необыкновенную легкость. То и дело появлялись какие-то медики, и было ясно, что никто толком не знает, что со мной надо делать. Опять велели не шевелиться и не менять положение — на спине.

Утром я попросил у сестрицы чернил и бумаги — надо было написать в Свердловск Нине, и так, чтобы постараться не встревожить ее, но в то же время сделать распоряжение на случай, если я отбуду. Поэтому письмо получилось очень неудачным. Никто не понял, что положение тяжелое, и Нина даже на что-то обиделась.

Пока письмо шло туда, да пока шел ответ, — почти через месяц, получив его, я был удивлен холодным тоном, не соответствовавшим тому, где я был.

Все мои товарищи и приятельницы с Канала приходили меня навещать без уверенности, что еще застанут в живых. Чувствовал я себя очень

хорошо — это обычное явление после большой потери крови; недаром в прежние времена от всех болезней лечили кровопусканием: это улучшает самочувствие.

Я лежал, читал «Бегущую по волнам» — она потрясла меня; это и сейчас одна из моих самых любимых книг.

Тем временем палата снова начала наполняться ранеными, потому что госпиталь все-таки не перевели в другое место.

Госпиталь — один из трех каменных домов Беломорска — в прошлом был школой. За моей стеной была одиночная комната, вероятно, бывшая учительская. Там умирал какой-то человек; мне все через стенку было слышно — как он стонал, как ему становилось все хуже — я мог подробно следить за всем этим.

В нашей палате рядом со мной лежал летчик, которого за успешную боевую деятельность послали в прифронтовой дом отдыха, недалеко от Мурманска, и он там попал под бомбежку. Оторвало ногу. Это его смертельно угнетало: не просто потерять ногу, что само по себе ужасно для молодого человека даже в военное время, но вот то, что летал он героически, уцелел, а на отдыхе, на земле, потерял ногу — это нестерпимо мучило.

Мне не становилось хуже. Лечили меня хлористым кальцием. В больнице вообще не было никаких лекарств, кроме йода, хлористого кальция и валерьянки.

Хлористый кальций — ужасная гадость, и я не был уверен, что он мне действительно нужен, поэтому стал в конце концов выливать его в цветочек. Растение очень на этом процвело, я тоже.

В палате я подружился с одним лейтенантом-сапером. Первое время он лежал навзничь, не шевелясь, и только стонал. Его привезли на самолете прямо с переднего края с острым животом — это означает адские боли. Потом ему стало лучше.

Мне между тем тоже было уже разрешено двигаться, и нас обоих отправили на рентген. Его внесли первым, а я на носилках ждал своей очереди в «предбаннике». Когда его уже посмотрели и вынесли, я слышал, как врачи говорили между собой:

— Вот жалко, что нельзя посмотреть post mortem, а то ничего непонятно, что с ним такое.

Вот с этим Подгориным мы и подружились, и когда нам разрешено было ходить, мы вместе гуляли по коридорам, и он рассказывал мне свою жизнь. Она была очень любопытна. Работал он где-то в Сибири, недалеко от золотых приисков, неподалеку от концентрационных лагерей, где содержались и уголовники; бывали еще тогда и беглые. По дорогам шли транспорты автомашин, перевозивших золото, а беглые нападали. В одну из таких переделок попал и Подгорин. Выскочил живой чудом.

С ним было несколько таких случаев, когда он не должен был остаться в живых. Раз он лежал в больнице без сознания. Был тиф или что-то в этом роде. Человек в таком состоянии иногда на считанные минуты приходит в себя, незаметно для окружающих. В один из таких моментов он услышал, как врач сказал сестре: «Ну, к утру Подгорин умрет». Тогда он решил, что этого ни в коем случае не должно быть, поэтому, как только медики ушли,

он сделал над собой страшное усилие и сел на кровати. На одной силе воли просидел до утра, когда пришла уборщица мыть пол. Тогда он заснул. Спал долго, и когда проснулся, то соседи ему сказали, что приходил врач и спрашивал сестру:

— Ну, как Подгорин, уже экзитировал?

А она ответила:

— Да нет, поправляется, спал хорошо, температура упала.

И здесь, в нашем госпитале повторилась та же история. Подгорин был настолько плох, что врачи разрешили приехать жене. Это был один из тех случаев, когда муж и жена вместе ушли в армию и — что не бывало почти никогда — попали в одну часть: он сапером, она сестрой.

Жена некоторое время сидела у его постели, потом ее вернули в часть, а он еще некоторое время оставался. Тут мы и бродили с ним по коридорам. Его выписали раньше меня — продолжала ли судьба его так же неправдоподобно хранить? Трудно представить себе: саперы не выживали.

Кроме того, было много любопытных, к делу не относящихся наблюдений. Во-первых, шел непрерывный флирт между поправляющимися солдатами и офицерами — и сестрами. Причем для этого изыскивались самые сложные системы, например, можно было устроить свидание в кочегарке за котлами; или некоторые, уже поправившиеся, выскакивали в окно после обхода и уходили в город, где шастали в поисках девушек.

Еще когда я лежал плашмя и считалось, что двигаться мне нельзя, у меня начала подниматься температура и я стал уставать; потом она стала периодически подниматься. Пришла докторша, нежно наклонилась надо мной, расспрашивала, щупала пульс, слушала легкие — и тут я увидел у нее на шее засос от поцелуя. Она меня слушает, а я весь сотрясаюсь от сдерживаемого смеха. Было известно, что у нее есть друг — подполковник. Среди пожаров Беломорска один был в их доме, и мне рассказывали, как она прыгала со второго этажа от своего подполковника, спасаясь от пожара.

У нас была очень хорошенькая сестричка, Ласточкина, которая флиртовала со всеми подряд, в том числе со мной и Подгориным. Однажды нас повели в баню (это было уже на поправке). Только мы разделись и намылились — является Ласточкина: «Не надо ли потереть спинку?» Мы решили: пусть трет. Она мылила нас со всех сторон, и мы получали массу удовольствия.

Так мы развлекались, хотя место было мрачное. Покойников было много, состав населения нашей палаты менялся каждый день.

По прошествии пяти-шести недель меня выписали из госпиталя. Мне было предписано не работать месяц или два. Дышать воздухом, гулять. Было чудное лето. Я впервые стал выходить на коричневые скалы над Белым морем, на расстоянии двадцати шагов от нас и от той избы, где я спасал корову от пожара. Все купались, а я долго не мог решиться. Писал стихи.

Около этого времени к Эткинду из Яранска приехала его жена, Катя Зворыкина. Ее очень ждали — каждый приезд представительницы лучшей половины человечества был праздником. Все освободились на вечер, и у Давида и Муси готовилось пиршество. Вдруг, однако, меня вызывает Суомалайнен и приказывает мне с каким-то невероятнейшим пустяком ехать в Кемь в этот же вечер. Что делать — я поехал; все дело заняло у меня в

Кеми полчаса. Но увы — ближайший обратный поезд из Кеми в Беломорск приходил туда около 11 часов вечера — слишком поздно для нашего праздника. Я решил искать попутный эшелон — мы нередко передвигались с ними. Походив по железнодорожным путям, я действительно набрел на пустой эшелон, видимо, доставивший в 26-ю армию пополнение. Я дошел до паровоза, спросил у машиниста, когда он отправляется, — выяснилось, что через полчаса, — затем нашел открытую теплушку и поднялся в нее. Там уже было человек пять, а дверную щель, загораживая вид, занял какой-то подполковник.

Поезд тронулся и очень быстро домчал нас до Беломорска — но у перрона станции не остановился и простучал дальше. Я подумал, что он остановится на путях — в крайнем случае у Канала — но нет: через плечо подполковника я вижу другие названия станций и понимаю, что поезд уходит по Обозерской ветке. Подполковник произносит: «Проехали Малошуйку». Значит, следующей остановкой может быть только узловая — Обозерская. Произвожу в уме подсчет и понимаю, что поезд Москва—Мурманск сейчас пройдет по встречному пути, а в Обозерской я смогу сесть только на следующий поезд, который привезет меня в Беломорск только вечером. А это значит «самоволку» и очень крупные неприятности по военному времени. Небо краснеет — ночь-то белая, но время уже явно ночное.

Вдруг эшелон замедляет бег и останавливается. Соскакиваю на перрон: «Малошуйка». Все-таки Малошуйка!

На встречном пассажирском поезде через полчаса отправляюсь обратно и схожу не в Беломорске, а на остановке, что около Канала. Иду пять километров пешком и как раз поспеваю в столовую к завтраку. Никто моего отсутствия не заметил!

Катя вскоре появилась на Канале, все с ней снимались: веселая, круглолицая, волнистоволосая, очаровательная. Устроилась она сестрой в наш беломорский госпиталь, а жила в городе, в какой-то избе-общежитии с кучей других сестер. Я бывал у нее — знал ее по рассказам и сатирическим стихам брата Алеши — и там же встретил одного капитана-пехотинца, против всех правил — с бородкой. Он был женат на Катиной сестре, а сейчас приехал с Кандалакшского направления на курсы повышения квалификации или что-то такое. Это был Миша Кирпичников — ему суждено было в будущем стать моим главным другом.

На отдыхе я чувствовал себя ужасно неловко, как вообще все время пребывания в Беломорске: идет война, а я пишу какие-то глупости, а тут и вовсе ничего не делаю — валяюсь на лужку или греюсь на камешке над морем.

Наконец меня вызвали на ВТЭК: там сидела одна из госпитальных докторш. Первым делом она меня спросила, где мои родственники; когда выяснилось, что в Свердловске, она сразу написала, что мне требуется отпуск. Это было совершенно невероятно: обычно после ВТЭК либо списывали на демобилизацию, либо отправляли в свою или другую часть, либо, в крайнем случае, в ограниченно годные, но я и так был ограниченно годен. А тут вдруг — отпуск. У нас никто даже не слышал об отпусках в армии.

Секрет разрешился просто: она дала мне посылку для своих родственников.

Отпуск был на 14 дней, считая дорогу. Выехал я с большим трудом: то обстоятельство, что у меня было соответствующее удостоверение, нисколько не помогало сесть в поезд. Тем не менее до Буя я доехал вполне благополучно. Единственным впечатлением дороги были в нашем вагоне женщины-попутчицы под конвоем. Они были совершенно измотаны, страшны. Оказалось, это были немки. Немцев у нас в стране было много в прежнее время, особенно на юге: в Новороссии, на Украине, в Поволжье (Республика немцев Поволжья), в Закавказье. Жили они чисто и богато, значительно лучше русских крестьян; как они пережили коллективизацию — этого я сказать не могу. С начала войны всех их без всяких предупреждений сослали в Казахстан, Воркуту и прочие места, а женщин отдельно перебрасывали с одного места на другое. Это было жутковатое зрелище.

Буй находился на линии Москва—Владивосток. Там проходил поезд, который должен был отвезти меня в Свердловск. Городок утопал в глубочайшей грязи. Поражали вывески, которые все начинались со слова Буй: Буйгоркомхоз, Буйсовет и т.д. Здесь, как и в Карелии, была зона затемнения — сюда еще долетали немецкие самолеты. Тревога объявлялась так: «Внимание, внимание, передаем чрезвычайное сообщение Буйгорисполкома; воздушная тревога, воздушная тревога! — Председатель Буйгорсовета т.Иванов, секретарь т.Кузнецов». Отбой был обыкновенным — гудела сирена.

Я первым делом отправился на вокзал. Увидел там довольно безнадежную картину: стояло сотни полторы желающих уехать; из разговоров я понял, что никто не уезжает, потому что не сажают в поезд вообще. Мое воинское удостоверение ни на кого не произвело ни малейшего впечатления, в том числе и на кассиршу.

Даже ночевать было негде — только на полу в Буйвокзале. Поезд проходил поздним вечером, в полной темноте. Я был в отчаянии.

И тут меня осенило: когда подошел поезд, я выбежал на платформу, бежал вдоль поезда и кричал: «Где здесь третий вагон?» Все проводницы лежали на дверях, чтобы нельзя было их открыть. Когда я добежал до третьего вагона, проводница приоткрыла дверь и спросила:

— Здесь третий вагон — что нужно?

Я вскочил внутрь и закрыл дверь за собой, сказав:

— Ну теперь-то вы меня не выкинете?

Таким образом я поехал. Не помню, что я ей дал, вероятно, что-то из своего пайка. До Свердловска я доехал благополучно.

Первое, что я увидел, сойдя с вокзала в Свердловске, был большой магазин с вывеской: «Ателье по изготовлению танковых петлиц». Я невольно вспомнил «рога и копыта» у Ильфа и Петрова. Такой это был город.

Я не предупреждал, что приеду, потому что сам не знал, приеду ли в самом деле и когда, к тому же мне казалось, что так лучше — мне обрадуются; но, по-видимому, это было неправильно.

Мои жили в любопытном месте: в здании Юридического института, которое было очень удобно расположено: с одной стороны — больница, с другой — тюрьма, с третьей — кладбище. Кроме того, рядом стоял какой-то гнилой барак, в котором сначала и жили мои, и лишь позже переселились в здание самого института.

Тесть и теща занимали одну комнату, в другой, этажом выше, теснились моя жена с сыном Мишей и, кроме того, — неожиданно для меня — приехавшая из блокадного Ленинграда тетя Фаня в совершенно сумасшедшем состоянии.

Она усаживалась на горшок посреди комнаты в моем присутствии, а если и ходила в уборную, то принципиально только в мужскую. Наклонившись над спящим в кроватке Мишей, она говорила:

— Ну, его я, пожалуй, не зарежу.

Тут я понял, что ее пора устраивать в психиатрическую больницу; весь мой отпуск и был посвящен устройству сумасшедшей тетки в больницу. На это оставалось мало времени и удалось не сразу.

Нина, с непривычными косичками, заплетенными кружками по бокам головы, была невероятно замордованная, худая — между занятиями со студентами, очередями и ребенком, вечно голодная, она плохо реагировала на что бы то ни было кругом. Мой приезд сначала испугал ее — я же ввалился неожиданно, о моем отпуске она ничего не знала; наверное, не надо было так появляться. Рассказала, как она чуть было не увлеклась одним московским юристом — пустяковое переживание, но хоть какое-нибудь. У меня никаких увлечений не было, и я ничего о себе не рассказывал.

Познакомила со своей новой подругой А.Д., врачом, матерью двоих детей, еще более измученной. Нина стояла в очереди и бегала вести занятия, а когда ей закричали «Эта тут не была», А.Д. отстояла ее право; так они подружились.

Я уже знал по обратным адресам многих писавших мне эрмитажных коллег, что они находятся в Свердловске. Я стал их разыскивать — уж как, не помню, но разыскал. Жили они все вместе, общежитием — тощие, постаревшие на десять лет. Ящики хранились в доме, где когда-то была расстреляна царская семья, в подвалах; сотрудники спускались туда периодически для проверки сохранности. Помнится, спускался туда и я — или это только следы яркого рассказа моих друзей? Поразило меня, что питались они не все вместе — партактив питался в обкомовской столовой — это был, главным образом, административный персонал, из ученых один И.М.Лурье. — Сам И.А.Орбели оставался в Ленинграде.

Я же питался в столовой для раненых офицеров, которая числилась высшим классом, хотя ниже обкомовской. Там я получал обед, который состоял из щей, представлявших собой воду, где плавали кусочки капусты, и рагу — та же капуста, но без воды. Я знал, что в Ленинграде голод, но что голод всюду, и в том числе в Свердловске, я себе не представлял.

Не все, однако, бедствовали. Как выяснилось, в Свердловске находился дед Нины Яковлевны, профессор-медик Михаил Игнатьевич Футран — тот самый, от которого моя теща еще в ранней юности сбежала. Он жил в самой главной свердловской гостинице «Большой Урал» с молодой женой. Приехал он сюда в самые первые дни войны из Харькова. По истечении месяца-двух ему намекнули, что гостиница — не квартира, и пора съезжать. Тогда он пошел к директору и сказал ему:

— К вам приезжают видные люди — академики, министры, многие из них

пожилые. Вам необходимо иметь при гостинице врача. А я известный профессор. — И двойной номер был ему оставлен.

В бытность мою у него в гостях он рассказал мне такую историю.

— Приходит ко мне какой-то молодой человек, говорит: «Профессор, ради бога, у меня умирает жена». Я спрашиваю: «А какой Вы мне уплатите гонорар?» Он говорит: «Сколько хотите! Сто пятьдесят рублей». Я отвечаю: «Сто пятьдесят рублей? Это коробка папирос. До войны я брал двадцать пять рублей за визит. Вы где работаете?» Он говорит: «На табачной фабрике». — «Вы будете снабжать меня папиросами».

Я профессору понравился. Перед моим уходом он нагнулся, вытащил из-под кровати метровый ящик, вынул из него две папиросы и отдал мне.

(Он вскоре умер от рожистого воспаления).

Ночью я спал в юридическом институте, в аудитории на сдвинутых столах, а днем устраивал в больницу тетю Фаню. Взять ее, хотя бы временно, к себе в комнату Лидия Михайловна не хотела. Наконец, мне удалось выбить машину, с большим трудом выманить тетю из дому на улицу и усадить в автомобиль.

Тут она поняла, куда едет, и всю дорогу проклинала меня и всех моих близких. Проклятия были довольно изысканные: все мои родственники до десятого колена должны были умереть возможно более неприятной смертью.

— Вот, один уже умер, теперь другие... — и далее следовало подробное перечисление, как кто из моих умрет.

Наконец я привез ее в сумасшедший дом. Он стоял в хорошем парке. Куда идти, было неясно. Я заметил какую-то приятную женщину, гулявшую по дорожке, и спросил у нее, где приемный покой. Она показала мне, и я отвел туда тетю Фаню и сдал ее. Когда я вышел, та же особа объяснила мне, что можно передавать, когда приемные дни и часы, и вообще была очень любезна. Под конец я спросил, кем она здесь работает. Она ответила:

— Я нимфоманка.

Я вернулся. Оставался мне один день. Я пошел на базар и на оставшиеся 100 рублей купил одну связку маленьких морковок, которую подарил жене перед отъездом.

Город показался мне очень странным. Странными были названия улиц: главной была улица Малышева, а кто такой Малышев — неизвестно; затем, была улица Вайнера: чтобы как-то ее отметить, на углу сообщалось: «В этом доме в ночь с 18 на 19 октября 1918 г. ночевал т.Вайнер». Сам т.Вайнер был изображен в плоском рельефе, кроме длинного носа, который был смоделирован выпукло. То же с портретом Малышева и прочих. Имелась «улица, 17-летия Рабоче-крестьянской милиции».

Перейти даже через большую улицу в Свердловске было очень трудно, потому что все было погружено в глубокую грязь. Стояла поздняя осень. Чтобы переправиться от юридического института на противоположную сторону, нужно было с полкилометра пройти до относительно сухого места, где лежали кирпичи, а затем вернуться по другой стороне обратно. Сравнительно недалеко от института была трамвайная остановка, откуда моя жена ездила читать лекции в каком-то другом месте. Однажды она, с трудом обойдя все лужи, добралась до остановки — и видит на столбе объявление:

«Для удобства пассажиров остановка отменена». Это выражение вошло у нее в пословицу.

Перед отъездом я опять проходил ВТЭК по окончании срока отпуска, докторша послала меня на рентген. Затем на рисунке, сделанном со снимка (была только флюорография — пленок не было), она долго карандашом увеличивала пятно, которое там наблюдалось. Увеличивала, увеличивала, вздохнула и сказала:

— Вам придется все-таки ехать в часть.

Она очень хотела освободить меня от этой необходимости. Конечно, ей виделась настоящая боевая часть, а не наше «Маньчжоу-го».

В тот же день я зашел в военкомат (он находился при железнодорожной станции). Здесь я должен был отметить свое удостоверение. Был там большой прилавок, как в милиции, за ним сидел дежурный по военкомату и трое или четверо военных, которые весело о чем-то беседовали. В то время как двое из них были в поясах и с оружием, другие двое были без погон и поясов — явные арестанты. Я спросил, что они тут делают.

— А это дезертиры.

Видимо, в то время их не расстреливали, а отправляли обратно на фронт. Этим и объяснялось их веселое настроение.

Оказалось, что ни купить билет, ни сесть в поезд опять нельзя, но так как он стоял в Свердловске очень долго, то я обманул бдительность проводницы, вошел и сел явочным порядком. Когда поезд пошел, мы с нею договорились, что на ближайшей станции она выйдет и купит мне билет. Я дал ей деньги и еще что-то из пайка — наверное, табак.

Таким образом, я благополучно вернулся в Беломорск.

II

За это время на Канале многое изменилось. Редакция «Фронтзольдат» была распущена (давно было пора), изменился и состав людей в «рыжем бараке». Теперь мы назывались 7-м отделом Политуправления Карельского фронта, во главе стоял полковник[1] Суомалайнен, о котором я уже упоминал. Еще раньше перевелся куда-то У.; теперь и Питерского уже не было, вместе с ним выбыл Гольденберг. Что касается Минны Исаевны, то она с радостью покинула нашу контору и потом, по дошедшим до нас сведениям, служила в кавалерийской дивизии — правда, все-таки машинисткой. В подчинении у Суомалайнена были инструкторы-литераторы, которые, как предполагалось, должны были писать листовки, но делали это не всегда, а также переводчик и машинистка. Особо сохранялась в составе отдела редакция (для издания листовок); ее возглавлял переведенный из 14 армии (Мурманской) наш филфаковец майор Гриша Бергельсон, а входили в нее Лоховиц, Фима Эткинд, я и еще один филфаковец — Шура Касаткин. За редакцией сохранялась одна «американка» с одним наборщиком и двумя печатниками. Был у нас и новый художник Смирнов. Как мы обходились без цинкографа — я не помню; возможно, мы отдавали рисунки в цинкографию газеты «В бой за Родину».

[1] Наименование — и обращение — «батальонный комиссар» и т.п. вышло из обыкновения вместе с исчезновением тряпичных звезд с рукавов.

Инструкторы собственно 7-го отдела должны были выезжать на фронт и проверять, как там распространяются наши материалы. Из «немцев» на фронт ездил только Клейнерман. Кроме работников по пропаганде среди немцев, были и «финны», т.е. инструкторы-литераторы и переводчики для пропаганды среди финнов. Из этих самым приятным был майор Петр Васильевич Самойлов — очень умный, внутренне и внешне интересный человек, самоучка.

Петр Васильевич имел семейный дом в городе. Но в нем он жил не с женой — с ней он разошелся; а у него была страстная любовь не более и не менее как с заместителем (заместительницей) председателя Совета народных комиссаров Карело-Финской ССР. Он был из совсем глухой карельской деревни, где никогда не слышал русского языка, но теперь по-русски говорил идеально, подчеркнуто интеллигентно. Дружелюбно держался с нами, университетскими (это значит — с «немцами»).

Молодой капитан Ранта имел орден Ленина, полученный за какой-то геройский поступок. Он, насколько я мог заметить, теперь почти ничего не делал. Напротив, довольно энергичным был майор Шаллоев, красивый, но с очень ограниченным запасом слов. Что бы он ни говорил, всегда начинал со слов: «Вполне естественно, такая-то мать...» Почему «вполне естественно» — неизвестно. Шаллоев постоянно выезжал на фронт; в отличие от подлинных финнов полковника Лехена, ему не грозило задержание в качестве шпиона.

Это были любимцы Суомалайнена. Некоторых я помню смутно. При нем существовала секретарша, Нина Петрова, чистая финка, которая спаслась благодаря своей русской фамилии, когда выселяли финнов из окрестностей Ленинграда.[1]

Суомалайнен тоже был чистокровным финном. Фамилия его, означающая «финн», вероятно, была партийной кличкой. Он был похож на хряка: весь розовый, с белыми ресницами, круглый, толстый и очень флегматичный. Был у него необыкновенно маленький запас слов, — как у Эллочки-людоедки, только другого состава. Во-первых, любая группа лиц называлась «варяги», во-вторых, он прочел в газетах, что в школах отменили отметку «удовлетворительно», заменив ее на «посредственно», и решил, что это стало правилом для употребления этого слова во всех случаях; поэтому, когда он проводил совещание после прибытия инструкторов с фронта, то, выслушав отчеты, говорил:

— Наши варяги, ну вот, посредственно справились с заданием.

Наши сотрудники, да иной раз и Фима Эткинд, не раз выезжали в политотделы армий, а инструкторы — и на передний край, и по другим поручениям. Я лишь изредка, только в политотделы. Перед каждой командировкой был индивидуальный или коллективный инструктаж, и по возвращении нам надо было отчитываться. Сам Суомалайнен тоже время от

[1] Выселение производилось — уж не знаю, в 1939 или в 1941 г. — силами финских коммунистов и комсомольцев. В отличие от других переселенных народов, финны как-то не объявились даже при Горбачеве: вымерли в степях Казахстана? Но в армии финны все же были. — Эти были родом из Финляндии.

времени сдил в какие-то командировки, но кому он отчитывался — не знаю. Во время его отсутствия его заменял Петр Васильевич Самойлов. При том, что он был неизменно молчалив, в нем было что-то значительное, выделявшее его из остальных малоинтересных инструкторов. В его молчаливости была и некая независимость, и поручения ему, видимо, давались наиболее серьезные — мне трудно судить, на инструктажах и отчетах мне бывать было не положено, да многое происходило и с глазу на глаз с начальником отдела. Через жену Петр Васильевич имел сведения из республиканского правительства, встречался с самим Отто Вильгельмовичем Куусиненом, которого, при своем здоровом скептицизме, он все-таки глубоко уважал.

Однажды, в феврале 1943 г., Петр Васильевич отправился в Заонежье. Что там он должен был делать — не знаю, такие вещи не обсуждались. Возможно, там готовились партизаны для заброски в финский тыл.[1]

Прибыв в село Петров Ям в глубоком Заонежье, Петр Васильевич попросился ночевать в находившийся там тыловой госпиталь. Ночью он проснулся от автоматной стрельбы: госпиталь был осажден финскими десантниками (или партизанами: зависит от точки зрения). Он, как был, в одних кальсонах, растворил окно со стороны, противоположной от финнов, и выпрыгнул со второго этажа в глубокий сугроб. И там отлежался. Финны ворвались в госпиталь, перерезали больных и медицинский персонал и ушли.

Вскоре после этого, допрашивая пленного с Кандалакшского направления, я услышал от него, что наш лыжный отряд вырезал госпиталь у немцев в тылу. Я заинтересовался этим эпизодом и уже после войны спросил у моего друга Миши Кирпичникова, как раз служившего на этом участке фронта в 104 дивизии и участвовавшего в лыжных вылазках, был ли такой эпизод. Он сказал, что госпиталей мы не вырезали, но что однажды их лыжному отряду было приказано обстрелять пулеметным огнем здание, где находился немецкий публичный дом. — Я не сказал ему, что в прифронтовой полосе публичных домов у немцев не было.

Это была явная репрессия за Петров Ям. Почему она обрушилась на немцев, а не на финнов? Думаю, потому, что финские госпитали были в глубоком тылу, в коренной Финляндии, куда наши лыжные отряды не могли доходить. Тем более что большинство солдат наших лыжных отрядов, по словам Миши, впервые в армии стали на лыжи — в отличие от финнов.

Началась все та же жизнь в Беломорске: листовки, пленные, отчеты. Из пленных запомнился Бринкман, врач, который, не знаю почему, оказался на переднем крае. Наши разведчики отправились брать «языка», завязалась перестрелка. Бринкман, как истинный интеллигент, ползать не умел, поднял свой зад и получил туда пулю. Тем самым оказался беспомощен и стал тем «языком», которого наши разведчики захватили.

Раненые пленные попадали во фронтовой госпиталь, и он там и лежал. Там я его и опрашивал. Я был специалистом по опросу интеллигентов, естественно, что Бринкман достался мне.

[1] Кто видел фильм «А зори здесь тихие»? И читал роман Васильева под тем же названием? Там есть, однако, некая преднамеренная неточность: наши партизаны ходили только по финским тылам, где было местное население, — по немецким тылам они не ходили. Возглавлял их, как известно, Ю.В.Андропов.

Меня всегда интересовал вопрос, читают ли немцы Гете, и у Бринкмана я это тоже спрашивал. Прочел ему стихи из Гете, и он безошибочно угадал, что это Шиллер. Я не был в большом восторге от его интеллектуального уровня.

Обычно мы заводили разговор с пленными о расовой теории, о том, почему германцы считают себя лучше других. Спросил об этом и Бринкмана. Он только что был спущен с постели и сидел в больничном халате. Он сказал:

— Как Вам объяснить, чем ваша культура хуже нашей? Вот меня здесь хорошо лечат, ни на что не могу пожаловаться. Но чистое медицинское полотенце висит на ржавом барачном гвозде. Вот это и есть наглядная разница между вашей и нашей культурой.

Я говорю: — Может быть, это не так уж и важно?

— Ну да, но вот для меня сочетание чистого медицинского полотенца и ржавого гвоздя символично. Затем, у нас в палате имеется громкоговоритель, и передают музыку Бетховена. Это благородно. У нас русских композиторов не передают. Но что делает из Бетховена эта тарелка — сплошное дребезжание! Опять что-то есть хорошее, но в таком виде, что невозможно принять.

Очень интересным пленным был летчик, лейтенант Штейнманн. Это был толковый, действительно интеллигентный молодой человек, который оказался неисчерпаемым источником информации — правда, не столько о порядках в его летной части, хотя и об этом тоже, сколько о порядках в Германском рейхе. Был он филолог, не то романист, не то германист, сейчас уже не упомню (но в Шиллере и Гете тоже был не силен), и был взят в летную школу со второго или третьего курса университета. Это именно он рассказал нам, как его не хотели принимать в училище потому, что у него челюсть не соответствовала требованиям для чистого арийца. От него мы узнали, что Гитлер провел в Германии обобществление промышленности — вся она теперь числилась принадлежащей государству, но прежние владельцы были оставлены «фюрерами предприятий»; что на время войны, в порядке борьбы с «военной наживой», прибыли были ограничены 5% с капитала (но, как мы выяснили, капитал мог быть объявлен в любой сумме и в любое время). Во «Франкфуртер Рундшау», газете промышленников, которая чихала на Гитлера (до попытки переворота в 1944 г.), мы в каждом номере видели: «Фирма такая-то объявляет, что с такого-то числа ее капитал составляет не 50 000 марок, а 150 000 марок» — и так целая полоса.

Всего, что мы извлекли из Штейнманна, не перечислишь и не упомнишь. Материалы его опросов я собрал в большую рукопись, называвшуюся у нас «Энциклопедия Штейнманниана». Она же послужила основой для моей монографии о социальных и экономических порядках нацистской Германии военного времени. Эта моя работа, наверное, и теперь хранится где-нибудь в архивах Министерства обороны.

Штейнманн не был ранен, а поэтому с ним я виделся, конечно, не в госпитале, а в маленьком пересыльном лагере, находившемся тоже на Канале, но километрах в шести-восьми от 7-го отдела. Это была большая изба, разделенная наглухо на две половины, — одна для солдат, другая для офицеров. Хотя мы и не подписали конвенции о «Красном кресте», мы

следовали какой-то другой конвенции, по которой пленным офицерам предоставлялись привилегии в питании и размещении. Подозреваю, что никакой такой конвенции не было, но что НКВД считало нужным изолировать офицеров от солдат по собственным соображениям.

На солдатской половине было довольно людно и, следовательно, сравнительно весело — все эти солдаты могли считать, что смерть миновала их. Но пленных офицеров всегда было мало, и «офицерские привилегии» превратились для Штейнманна в одиночное заключение. Он просил освободить его от привилегий и перевести на солдатскую половину, но ему, конечно, было отказано. Сидел он у нас долго — несколько месяцев, потому что сообщения его не иссякали.

Когда у нас был Штейнманн, шел уже 1943 год. Однажды, когда я пришел к нему, он спросил, что от него хотел начальник пересыльного пункта, который зашел со словарем в руке и, тыкая в него, говорил Штейнманну:

— Адлер, Адлер!

Я объяснил, что он хотел объяснить пленному, что наши взяли город Орел («орел» по-немецки Adler).

Мы «доили» Штейнманна по очереди — то я для политуправления, то Давид Прицкер — для разведотдела. Как-то в очередной свой приход Давид сказал Штейнманну, что прервет допросы, так как по делу выезжает в Москву. Штейнманн ему заметил:

— Я раньше Вас буду в Москве.

Дня через два, когда я явился в пересылку продолжать опрос Штейнманна, я его там уже не обнаружил. Оказалось, что он подал рапорт о том, что:

1) он, Штейнманн, был не рядовым летчиком, а летчиком-испытателем, работавшим с новейшими моделями немецких истребителей;

2) что отец его, Штейнманна, состоял в должности главного инспектора по вывозу трофейного имущества с завоеванных «восточных территорий».

После этого он немедленно был переведен в Москву. И, как мы впоследствии узнали, посажен в Бутырки.

Другой пленный летчик обманул меня — единственный случай в моей практике, насколько я мог проверить. Он заявил мне, что он не офицер, а унтерофицер — был разжалован за дисциплинарный проступок, хотя продолжал летать пилотом-истребителем. Этим он добился перевода на солдатскую половину, но не полностью учел свою выгоду: в лагере под Ярославлем, прикрепленном к нашему фронту, офицеры имели тоже ряд привилегий по отношению к солдатам, в частности, в смысле обязательного труда. Вообще этот лагерь был вполне гуманный, по крайней мере до 1943 г. Наши работники 7-го отдела не раз ездили туда для пополнения ранее полученных при опросе сведений, и один раз мы послали туда одному пленному пачку писем от его жены, отобранных у него при пленении и попавших к нам. Нечего говорить, что этот жест завоевал нам доброжелательное отношение пленных — и новую информацию.

Постоянным нашим вопросом к пленным было — о вшивости. На Карельском фронте — по крайней мере, в дивизионных тылах и глубже в тыл (насчет передовой не берусь судить) — к 1943 г. со вшивостью было покончено благодаря строгой системе вошебоек (позже, когда от вошебоек

на железной дороге был освобожден старший офицерский состав, вши опять стали появляться даже в Междурейсовой гостинице). Мы не без основания считали, что степень распространения педикулеза имеет прямое отношение к политико-моральному состоянию войск.

Степень вшивости немецких пленных в конце 1941 г. трудно описать. В лохмотьях, которые от вшей были как живые, без теплой одежды, без теплой обуви, немцы с трудом выдерживали роль высшей расы. Вообще политико-моральное состояние противника никогда уже не было так низко, как зимой 1941—42 гг., и если бы мы имели тогда ту армию и то командование, какие мы могли бы иметь, гитлеровская армия уже тогда покатилась бы назад. Их одежда не стала теплее и к 1943 г., но моральный дух был гораздо выше.

Вначале немцы боролись со вшивостью довольно оригинально: поскольку всем солдатам были разрешены посылки из России в рейх, постольку некоторые солдаты посылали женам посылки с грязным бельем (и вшами) в стирку. Но к 1943 г. финны объяснили немцам, что существует такая вещь, как баня (явление, абсолютно неизвестное в Германии, где мылись в кухне в тазу). Сауна несколько поубавила вшивость у немцев, но, кроме летчиков, все пленные признавались, что вшивость в их части есть.

Правда, один немец на вопрос «Вши есть?» ответил:

— Einzelne ganz verkommene Exemplare (отдельные совершенно гиблые экземпляры).

Другой, ответив на первый вопрос «есть», на второй вопрос — «Как вы с ними боретесь?» — ответил:

— Как положено: каждому солдату выдан пакет с дустом, который полагается носить при себе в верхнем правом кармане, — и гордо вынул из карманчика невскрытый пакет.

Из опыта других опрашивателей немецких пленных помню два случая. Один был у Фимы. Он ездил, уже не помню, по какому делу, в Кандалакшу, и там обнаружил, что местные работники разведотдела 19 армии пытаются допросить недавно пойманного в тайге сбитого летчика и не могут добиться от него совсем никаких сведений.

— Будем бить, — сказали они Фиме. Тот ответил:

— Погодите, дайте его мне на один день.

Те согласились.

Фима начал опрос с самого начала, с данных, которые немецким пленным разрешалось сообщать: имя, фамилия, возраст, место рождения, номер части (настоящий номер, не наш «почтовый ящик»). Затем летчик заявил:

— Больше я ничего не скажу. Можете делать со мной, что хотите. Я приносил присягу.

— Очень жаль, а я хотел спросить у Вас о капитане Карганико. — Карганико был первый ас в 5-м воздушном флоте немцев, имевший на своем счету больше сбитых советских самолетов, чем наш лучший ас Сафонов — немецких.

— А что Вы хотели знать о Карганико? — спросил пленный.

— Да вот, что он сделал после того, как нашумел в офицерской столовой и побил лампочки? — А это и было почти все, что мы знали о Карганико от

предыдущего пленного летчика. Но Фимин пленный был сражен: все знают! Стоит ли запираться?

Фима сказал ему:

— Мы на Карганико очень сердиты.

— За что?

— Вы знаете, что Карганико был дважды сбит над нашей территорией и дважды уходил к своим?

— Да.

— Но Вы не знаете, что он побывал в наших руках и дал нам клятву, что будет сообщать нам данные. Мы его отпустили, а он не сдержал слово офицера.

Пленный задумался.

— Если Вы меня отпустите, то можете быть уверены, что я Вас не надую. Я буду все сообщать.

— Какие у нас гарантии? Вот ведь Вы сейчас и то не желаете ничего сообщать.

— Я все скажу. — И тут полилась самая полная информация. После этого пленный спросил:

— Ну, теперь Вы меня отпустите?

— Посмотрите на мои знаки различия, — сказал Эткинд. — Я же лейтенант, как и Вы. Я должен буду доложить по начальству.

После этого утка о Карганико, побывавшем у нас в плену и не сдержавшем своего офицерского слова, была передана на фронтовые радиоустановки. Карганико был убран с нашего фронта, а дальнейшая его судьба осталась неизвестной.

Помимо Фимы Эткинда и меня, из 7-го отдела работал с немецкими пленными только еще капитан Шура Касаткин. Ему доставались особо трудные субъекты. Так, с Кестеньги к нам был доставлен пленный солдат-австриец со странной для германца фамилией Еленко. Он отказывался говорить что бы то ни было, кроме обычных данных из Soldbuch и своей национальности — «немец», а в то же время он плохо понимал допрашивающего, а допрашивающий — его.

Касаткин упорно гонял его по всем обычным вопросам, а так как внятных ответов не следовало, то он задал ему все тот же обычный вопрос — есть ли в их части вшивость. Но и на это ответа не последовало. Тогда он решил подойти с другой стороны.

— А есть ли у Вас в части баня (Badstube)? — Versteh nix. — На этом всякий и остановился бы, но не таков был Касаткин. Он сообразил, что бани введены в немецкой армии от финнов, и употребил финское слово:

— Gibt's eine Sauna? — И тут неожиданно последовало:

— Jo, jo! Jawohl! (Да, да). У Касаткина блеснула светлая мысль:

— Und wie ist «Sauna» in Ihrer Sprache? (А как «сауна» на Вашем языке?)

— Купальница, — ответил Еленко.

— Так что ж Вы мне морочили голову, что Вы немец и т.п.? — И тут Еленко рассказал дивную историю.

Он словенец, жил в той части Югославии, которая с весны 1941 г. отошла к Германии. Вскоре в их деревню прибыло три немца, которые поставили на площади столы и стали вызывать молодых людей. Дошли и до Еленко.

— Ты немец? — Nix. — Ты понимаешь по-немецки? — Nix. — У тебя отец, мать — немцы? — Nix. — Жена у тебя есть? — Versteh nix. — Баба, баба есть (жест объятия)? — A, nix, nix. — Девушка есть? Mädl? — (Понял). — Jo, jo. — Немка? — Nix, nix. — Все. Немец!

И забрили его в германскую армию. Но, заметил Еленко, словенцы — маленький, никому не нужный народ, а немцы — великий народ. Потому он немец.

— А с матерью переписываешься? — спросил его Касаткин. Оказалось, что нет: по-немецки Еленко писать не умеет, а по-словенски военная цензура не пропускает. (Впрочем, мне попадались письма, писанные по-литовски — от уроженцев Мемеля—Клайпеды).

Любой другой допрашивающий отпустил бы теперь Еленко в лагерь, но не таков был Касаткин.

— А кто командир Вашей части? — Weiss nix. — А кто командир дивизии? — Weiss nix. — А кто командующий армейской группой Север? — Генерал-полковник Дитль.

Все, все, Касаткин! Больше ничего не получишь! Но Касаткин не таков.

— А как он выглядит, генерал-полковник Дитль? — Он такой длинный, тощий! — А где Вы его видели? — (Касаткин не скажет «ты»). — На обложке нашего фронтового журнала. — А с кем он там стоит? — С нашим командиром дивизии. — Как фамилия? (Называет.) А еще с кем? — С нашим командиром полка. — Как фамилия? (Называет.) — А где они сняты? — В расположении нашей части. — Как же Вы говорите, что Вы не видели ни командира полка, ни Дитля? — А я в это время был в дозоре. — А что у вас в части делал Дитль? — Осматривал нашу оборону. — Что же, он остался доволен? — Nix, он сказал, что ни к черту не годится.

После чего Касаткин извлек из него объемистую рукопись всякой информации, как «нашей», так и для разведотдела. Позже под моим руководством Еленко написал текст для листовки для своих соотечественников в германской армии — на словенском языке.

Продолжалось регулярное поступление от наших разведрот немецких писем, газет и даже книг. Тогда я прочел «Миф XX века» Розенберга, книгу Лея и засыпáл над «Майн Кампф».

Один раз наш лыжный батальон на Кестеньгском направлении зашел немцам глубоко в тыл и перехватил целую полевую почту эсэсовской дивизии «Север», с входящими и исходящими письмами. Мы получили возможность хорошо заглянуть в повседневную психологию СС и обнаружили там, что и ожидали: пошлость. Подтвердилась моя формулировка: фашист — это мещанин, перешедший в действие (ибо мещанин совести не имеет). Кроме предсказуемых выпадов против евреев и большевиков, запомнились два письма одного эсэсовца.

Одно — к невесте: «Милая Аннализа! Твое последнее письмо об английских налетах [дело было во второй половине 1943 г. или начале 1944 г.] меня потрясло. Так не может писать немецкая девушка», и прочее. Второе — к папе-коммерсанту: «Я обдумал твой совет; да, конечно, брак с Мици будет во всех отношениях благоприятным для нашей фирмы и для моего будущего».

Не без некоего злорадства я подумал, что ни невеста, ни папа писем не получили.

Кажется, в той же пачке попался «предковый паспорт» — Ahnenpass, анкета о родственниках, о котором говорил мне пленный летчик в Мурманске.

Позже стали у нас появляться не только пленные и не только трофейные материалы, но и перебежчики. Первый из них был коммунист-австриец, перешедший к нам сам и приведший с собой молоденького товарища. Он производил очень хорошее впечатление — умный и толковый, с ясным пониманием своих идей и целей, благожелательный человек. Как перебежчика его взял себе СМЕРШ. Пленный дал себя уговорить, чтобы его забросили обратно к немцам с нашим разведывательным заданием, но там сразу же попался и был повешен.

Другой — тоже не помню его фамилии: лица, образы всплывают сейчас куда легче, чем имена — это был берлинский пролетарский писатель, отсидевший у Гитлера в концлагере, а затем забритый в армию. Он, помнится, тоже привел с собой товарища. Видимо, он так давно внутренне репетировал, что будет говорить, когда сдастся в плен, что на все вопросы — а допрашивающих, естественно, было много из всех трех инстанций — он отвечал один и тот же заученный текст, как с граммофона. Это, конечно, возбудило большие подозрения СМЕРШа, и писатель, как и Штейнманн, угодил в Бутырки. Там его собирались расстрелять, но о нем прослышали Иоганнес Бехер и Эрих Вайнерт, прогрессивные писатели и деятели «Свободной Германии». Они добились свидания с ним, удостоверили его подлинность, и он вышел на свободу и включился в антифашистскую деятельность, а впоследствии играл какую-то роль в ГДР.

Всех пленных, конечно, не перечислить, да и не всех я помню. Могу только сказать, какое о них сложилось впечатление в целом. Почти не было такого случая, чтобы пленный держался в плену достойно, т.е. так, как мы бы хотели, чтобы в плену держались наши военнослужащие. Я уже рассказывал о парне, взятом в майских боях, который с большим энтузиазмом корректировал нашу стрельбу по своим частям.

Были, конечно, хотя очень редко, такие, кто ничего не говорил. Обычно эти до нас не доходили — их расстреливали на месте. Об одном пленном, решившем молчать, который, однако, дошел до нашего опроса, я уже рассказал.

Особый интерес представляли австрийские пленные. Я уже рассказывал, что они во многом отличались от немцев.

Самыми поразительными из них были тирольцы. Я видел их немало, но несколько наиболее ярких историй о тирольцах я слышал со слов Гриши Бергельсона, который видал их много в бытность свою в 14 армии. Он вообще изображал разных персонажей не хуже Ираклия Андроникова. Были у него номера и о допросе австрийских пленных.

Один был родом из южного Тироля[1], т.е. из Италии. Чтобы не попасть в армию Муссолини, он ушел через границу в Австрию, и там его сразу забрали в немецкую армию. Он отличался тем, что, когда к нему кто-нибудь входил,

[1] «Сиддироль».

чтобы его допрашивать, он снимал свою пилотку, глубоко кланялся и говорил: «Комиссар, доброе утро» и т.д. Ничего военного в нем не было. Потом он объяснял, каким образом он попал в плен: «Наш батальон лежал там, понимаешь, — русские лежали там, понимаешь; вот идут русские, я не стреляю — руки вверх, понимаешь...»[1] Он объяснил, что хотел дезертировать и здесь, на Севере, так же, как он сбежал из Италии, но пришлось ждать, потому что прохудились башмаки. Он понимал-де, что в плену придется сидеть долго, и новых сапог не дадут.

Ему же принадлежало гениальное дополнение к нашей передаче по громкоговорителю. Для него составили пропагандистский текст о том, как хорошо русские обращаются с пленными, Гитлер капут, нужно сдаваться в плен и т.д. Все было так несвойственно его речи, что, услышав это, немцы или австрийцы едва ли могли поверить, что это говорит он сам. Наши же этого не понимали, или, вернее, боялись что-нибудь изменить в утвержденном высшим начальством тексте; наш тиролец это хорошо смекнул. Пробубнив весь текст, он от себя прибавил: «И каша — первый сорт!» («Un die Kascha is Prima!»).

Другой номер, который показывал Гриша, был такой: когда пленный немец пройдет допрос в дивизии, армии и, наконец, доберется до фронта, где после разведотдела и СМЕРШа попадает к нам, то он уже чувствует себя спокойным, хотя еще и спрашивает: «В Сибирь не пошлют?» Отвечают: «Нет, нет, не пошлем».

После нашего, последнего, допроса его обычно спрашивают: «Нет ли каких-нибудь жалоб?»

— Да, у меня есть жалобы.

Допрашивающий (Гриша) вынимает блокнотик:

— Слушаю.

— Ваши солдаты, когда меня взяли, забрали у меня мои личные вещи, я очень прошу, чтобы их вернули.

— Что именно взяли?

Допрос идет километров за тысячу от тех мест, где он был захвачен.

— Во-первых, расческу (показывает, водя пальцами по голове); во-вторых, шерстяные подштанники.

Это, конечно, серьезно, но, к сожалению, непоправимо, ехать туда за ними, разумеется, невозможно.

У Гриши был чудный номер про майора интендантской службы Исрульского. В изображении Гриши это был комический персонаж. Я его мельком видел в Мурманске и потом лет через 30 у Медного Всадника на встрече ветеранов войны. На деле он был далеко не так комичен, как в передаче Гриши. Исрульский произносил не все буквы и говорил на не очень хорошем русском языке. Всегда стремился быть при каком-нибудь начальстве и вечно что-то доставал, или ему что-то доставали. Однажды с этим он где-то задержался после двенадцати ночи. В полночь меняется пароль. Прежний был «Берег», а новый был ему не известен — и как только он выйдет, его без знания пароля сразу задержат.

[1] Onsa Batlon log do, net. DRussn logn do, net. Do komn dRussn — ich hop net gschossn: Hände hoch, net!

Он звонит по полевому телефону в свою часть:

— Это говорит Исрульский, Исрульский говорит: я стою на берегу, на берегу я стою, но сейчас ведь уже 12 часов, так на чем я стою-у?

О ком из еще не упоминавшихся людей можно рассказать? Один из них был наш новый художник. Прежний, Ж., как я уже писал, убыл довольно рано, еще до моей поездки в Свердловск. Он несколько раз выезжал в части и там делал очень неплохие зарисовки бытовых военных сцен. Понравился кому-то из генералов, и тот оставил его при себе. Это ему было легче и интереснее, чем сто раз повторять карикатуры на Гитлера. Вместо него нам дали рядового Смирнова. Так как он был солдат, его поселили на другой половине барака, где жили рядовые. Но так как он был художник и должен рисовать, то ему отвели отдельную комнатушку (кухоньку).

Он был очень молчалив и несчастен. Прошло некоторое время, прежде чем он мне открылся. (Кроме Гриши, Фимы и меня, он ко всем относился с недоверием). Он рассказал, что сначала взяли в армию его сына, а когда пришла похоронка на сына, то взяли и его самого. Он ужасно тосковал и томился, жалея оставленную в отчаянии жену. Чувствовал, что вся его жизнь разбита. Тем не менее рисовал очень деятельно. Был менее талантлив, чем Ж., но делал все, что от него требовалось.

Смирнов непрерывно видел сны. Я издавна считал себя специалистом по снам, и он мне их рассказывал. По его снам я изучил некоторые закономерности замещений. Умерший, например, никогда не видится мертвым, но всегда неполноценным в чем-то: бледен, болен, лежит в тени, под дождем — это все метафоры смерти.

Иногда случалось, что Гриша Бергельсон уезжал в командировку; в таких случаях его замещал капитан Касаткин. Когда 7-й отдел существовал еще отдельно от редакции, у Суомалайнена, кроме его финских инструкторов, было два по немецкой части. Первый был Р. — очень противный и глупый, вредный дядька, который любил гнусно острить. Звоня по телефону, постоянно говорил телефонистке глупые гадости. У него был длинный нос, который всех раздражал. Фима говорил, что это о нем анекдот:

— Р., у Вас нос, как фабричная труба.

— Такой длинный?

— Нет, такой грязный.

Он к нам, слава Богу, не попал — сделался начальником 7-го отдела 14 армии. Потом я его встречал на пути в Киркенес.

Вторым «немецким» инструктором у Суомалайнена был Шура Касаткин. Он был, как и мы с Фимой, ленинградец, филфаковский. Очень интеллигентный. Идеально говорил по-немецки, по-французски, по-итальянски и по-английски. Очень правильно, очень грамматично. Но при этом был начисто лишен чувства юмора.

После войны он заведовал кафедрой романской филологии в университете, и все подчиненные от его занудной педантичности стонали.

У нас, когда он временами делался начальником, он принимал это до глупости всерьез. Гриша считал себя нашим товарищем, оказавшимся нашим начальником только из-за партбилета, и не пытался главенствовать. Мы сами ходили к нему за советом и знали, что получим совет дельный — иной раз

что-то такое, что мы просто сами не додумали, — это так важно, когда есть кто-то, с кем можно посоветоваться и услышать здравое и объективное мнение. Касаткин же начинал с того, что переселялся в гришину комнатку — это переселение было как бы знаком владычества — и проверял всю нашу работу лично и притом самым внимательнейшим образом. Сам он писал медленно и скверно. Например, утром Суомалайнен давал два одинаковых задания — мне и Касаткину. Касаткин сразу садился за стол и начинал писать. К восьми часам вечера заканчивал. Я вместо этого шел наверх, ложился, читал, немножко думал, спал. Наконец, мне приходила идея, и часам к семи я спускался и за час делал такую же листовку.

Однажды, когда Касаткин начальствовал, я написал очередную листовку, в которой значилось примерно следующее: «Сдавайтесь в плен, дела немецких вооруженных сил идут все хуже: за последнюю неделю у вас сбито 143 самолета, потоплено 17 подводных лодок». Мы давно знали, что нельзя писать «150» или «20» — этому никто не поверит, — некруглые цифры убедительнее. Отдал свой текст Касаткину. Он заперся на ключ и сидел до позднего вечера. Я начинаю нервничать. Прихожу и спрашиваю:

— Шура, в чем дело?

Он отпирает дверь — смотрю: он обложился кучей источников: газеты за неделю, сводки информбюро, какие-то немецкие материалы...

— Знаете, я не могу насчитать 143, получается только 141.

Смирнов должен был показывать свои рисунки начальнику, а тут вместо Гриши — Касаткин. Он его не переваривал. К рисунку, бывало, всегда придерется. Под конец Смирнов приходил ко мне с Фимой и спрашивал, тыча пальцем в дверь кухоньки:

— Оно еще там гнездится?

Наступил момент, когда Касаткин решил согрешить. Хотя он был беспартийным,[1] но считал, что его долг — во всем соответствовать образу советского офицера. (В 1943 г. уже говорили не «красноармеец» и «командир», а «солдат» и «офицер»). Ему вдруг влетело в голову, что в этот образ входит иметь любовницу. В один прекрасный день он нацепил ремни, портупею, планшетку (ничего этого, как и все мы, он обычно не носил), начистил сапоги до блеска и куда-то пошел. Спрашивает у Гриши: «Разрешите?» Тот разрешил.

Мы, конечно, интересуемся, куда это он попер. Вместе с Лоховицем, который был очень любопытен, выглядываем в окошечко. Касаткин идет через дорогу — но не в редакцию «В бой за Родину», а наискосок, в тот барак, где находилась их типография. Нам картина сразу стала ясна. Там работала необыкновенная красуля, пользовавшаяся огромным успехом. Бодро двинулся туда наш Касаткин, а через десять минут явился обратно с сильно покрасневшим лицом.

— Пожалуй, не пойду...

Очевидно, схлопотал. Больше таких выходов не было.

[1] По-видимому, он считал, что еще не созрел для партии — вступил в нее сразу после войны.

III

Осенью 1942 г. наша радиостанция на Соловках была закрыта, а Севка Розанов отозван в Беломорск (пробыл он там неделю, и сейчас никак не могу припомнить, когда и куда он от нас убыл; с 1943 г. я его не помню, много лет спустя встретился с ним в Московском метро). Теперь мы могли делать наши радиопередачи из Мурманска, где была гражданская радиостанция; но, поскольку у населения все приемники были отобраны, то мурманская радиостанция бездействовала, кроме передач на трансляционную сеть (на «тарелки»). Поэтому ее выход в эфир можно было использовать как «подпольные» финскую и немецкую станции.

Поезд Москва—Мурманск ходил точно по расписанию, хотя было вполне достаточно попыток со стороны немецкой авиации, чтобы разбомбить его и тем самым хоть на время прекратить движение по важнейшей нашей зимней магистрали, связывавшей нас с союзниками. Но машинист боролся с этими попытками, во время налета то неожиданно убыстряя, то столь же неожиданно замедляя ход поезда.

Ехали мы в обычных пассажирских зеленых «плацкартных» вагонах, только в купе обычно на нижних койках сидело по трое, по четверо пассажиров, и верхние полки были тоже заняты еще с Москвы; поэтому мы ездили на третьей, багажной полке — благо, багажа почти ни у кого не было; там было даже удобнее, чем на второй — она имела уклон внутрь, и за ноги не задевали проходящие. Раз я умудрился даже ехать на третьей боковой полке, привязавшись ремнем к проходившей там (холодной) трубе отопления.

Мурманск сильно изменился со времени моего первого приезда сюда в феврале или марте. Почти ни одного дома не было целого: все без стекол — окна забиты фанерой или картоном, — и все обколотые: полдома или четверть дома стоит, рядом груда кирпичей. Мостовые обледенелые, и тоже там и сям в полутораметровых воронках. Часть города, расположенная на склоне сопок с востока, вся была выжжена дотла. Здесь были старые, ветхие, почерневшие деревянные кварталы; в июле, в сильный западный ветер, налетела большая немецкая эскадрилья и забросала город «зажигалками» — тушить было нечем. Один встреченный мной позже в Мурманске офицер рассказал мне, как ему было поручено сопровождать группу английских журналистов в эту часть города, когда там бушевал пожар, и один журналист, через переводчика, спросил одного из тушивших безнадежно разгоравшийся пожар дома:

— Здесь было все ваше имущество?

— Да, — ответил погорелец.

— Как же вы будете жить теперь?

— Да ну его к..., — сказал погорелец, прибавив трудно переводимую формулу. — Сами живы, остальное приложится.

Новая, каменная часть города не сгорела, но, как сказано, стояла вся изуродованная. Посреди всего разрушения один только красивый высотный дом «Междурейсовой гостиницы» стоял совершенно нетронутый.

На этот раз, однако, я остановился не в «Междурейсовой» — мне был

забронирован номер поменьше во второй мурманской гостинице «Интурист» на одной из боковых улиц, отходивших от главного проспекта.

Приехал я вместе с немолодым лейтенантом Сало, диктором финской радиостанции (впрочем, не было двух радиостанций — была одна, вещавшая то по-немецки, то по-фински). Сало почти совсем не говорил по-русски, так что беседовать с ним было нельзя. Как припоминаю, я слышал от него по-русски только два выражения: «Топполнителны пайка» (которому он придавал большое значение) и еще гневное «Этта стары сэнсина», относившееся к русской дикторше на радио, которую Сало почему-то совершенно не переносил. Мои передачи и передачи Сало были в абсолютно разное время, поэтому, как приехали, мы с ним больше не встречались.

В отведенном нашей конторе номере гостиницы на пятом этаже я нашел Фиму Эткинда, который отработал свое на радиостанции, и теперь я должен был его сменить. Он познакомил меня с двумя славными девушками, жившими в том же коридоре гостиницы и работавшими переводчицами при шипчендлере. Чтобы читатель знал, что это такое, объясняю: это посредник, занимающийся продовольственным и другим обеспечением команд прибывающих иностранных судов и, по идее, мелкой торговлей на борту — но этого, мне кажется, в Мурманске не происходило. Мы — потом я один — часто бывали у этих девушек, и одна из них, рыхлая блондинка, даже несколько влюбилась в меня и позже писала мне — не только из Мурманска, но и потом, когда ее перевели на какую-то другую работу. Мне она совершенно не нравилась, и если уж кому-нибудь в меня влюбляться, так уж лучше ее черненькой подруге, да та интересовалась совсем не мной.

Познакомился я и с приятной дамой, жившей в номере напротив моего, которая оказалась командированной по делам службы в Мурманск матерью Севы Розанова. Она мне понравилась очень — если сын был порядочный лодырь и трепло, то его мать была сердечным, интересным человеком.

В ее комнате я заметил какие-то две досочки, аккуратно прибитые по самой середине паркета и натертые в цвет паркету. Когда я спросил ее, что это такое, она ответила:

— А, это фугасная бомба тут прошла насквозь.

— И что с ней стало?

— Ничего. Лежит тут где-то в подвале. Не разорвалась.

Фима ввел меня в курс дикторского дела (надо сказать, что в это время я был из переводчиков переведен в дикторы — уж не помню, как это сказалось на денежном аттестате моей семье). Моя обязанность заключалась в том, что я должен был получить свежий номер газеты, перевести на немецкий сводку Совинформбюро и сочинить, по-немецки же, какую-нибудь подобающую случаю статью и прочесть это в тот же день по радио. Никакого решительно утверждения где бы то ни было не требовалось. В Беломорске Лоховиц или сам Фима, когда вернется, должен был изредка ловить нашу передачу «для контроля», но обычно этого никто не делал. Такая вольность — или, как теперь говорят, гласность — нас, конечно, очень поражала, но надо сказать, что несмотря на постоянную деятельность СМЕРШа во время войны часто случалось, что командование действовало, исходя из здравого

смысла, а не из набивших оскомину вечных и всесторонних запретов. В этом мне и потом приходилось убеждаться.

Кроме нас, на радиостанции в соседней комнате работали девочки-операторы, включавшие в аппаратной наш микрофон, и — в смену с нами — дикторша трансляционной сети — «стары сэнсына» лейтенанта Сало. Вот ее так проверяли! Даже «Говорит Мурманск» печаталось на отдельном листе, заверенном восьмью подписями, — ну, может быть, «восьмью» — это я соврал; но подписей было много, включая обком. Однако же как-то раз (не при мне — до меня) аппаратчица нечаянно включила к немецкой передаче не «внешний» микрофон, а трансляционную сеть, и город услышал немецкую речь по «тарелкам»... По счастью, ошибка длилась около мгновения, и паники в городе не возникло. Впрочем, эту историю рассказывал мне такой человек, который мог и соврать. Se non e vero... Во всяком случае, так, безусловно, могло быть.

Радиостанция помещалась в «городском убежище». В самом центре Мурманска (стоявшего на скальном грунте) было высечено обширное убежище на шесть этажей в глубину. В шестом (если считать сверху вниз) скрывалось, естественно, самое драгоценное — обком партии, и туда вход был только по сверхособенным пропускам. В пятом находилась радиостанция, а четыре верхних служили собственно убежищем для всех желающих. Это были пустые коридоры и лестницы, сидеть можно было только на каменном полу, но убежище защищало надежно: однажды, работая на радиостанции, мы с Фимой прозевали авиационный налет — нам его было практически не слышно, — а при выходе мы увидели перед дверью в убежище большую, вероятно, тонновую воронку.

Первое время, чтобы я освоился, мы работали вдвоем: я читал сводку, а Фима — статью. Микрофон, естественно, у нас был только один, и его нужно было поворачивать то к одному из нас, то к другому. Раз я прочел свой текст, Фима протянул руку за микрофоном, а тут оказалась небольшая утечка тока, и его дернуло. Уступая ему микрофон, я посмотрел на него и по выражению его лица понял: он сейчас матюгнется; реакции у меня тогда были скорые, и я мгновенно выключил микрофон. Но потом долго разыгрывал его, говоря, что он рассекретил нашу «подпольную» станцию.

Не в тот же ли вечер мы устроили Фиме «отвальную» и, ужиная в гостиничном ресторане, раздавили весьма порядочный графинчик.[1] К тому же кончился табак, и я попытался свернуть цигарку из чая, бывшего в моем сухом пайке, выданном на дорогу. Ничего хорошего, кроме сердцебиения, от этого не получилось.

Ресторан этот был как ресторан, с эстрадой для оркестра — пустующей, по большей части, — со столиками на четверых, с чистыми скатертями. Кормили там хорошо, по военному времени даже необыкновенно хорошо.

Но что характерно — зал ресторана во всю длину был разделен толстым красным плюшевым шнуром на медных стойках. Шнур этот отделял советских посетителей от жителей гостиницы — иностранцев, главным

[1] Помнится, водка стоила 1000 р. литр. Это было примерно две трети моей месячной зарплаты, если я не ошибаюсь. Что за водка была в «Интуристе» — не помню. Вряд ли из нашего пайка.

образом, моряков с прибывавших морских конвоев, и в небольшом числе — английских и американских офицеров. Возникшая с начала 30-х гг. idée fixe о необходимости строгой изоляции советских от иностранцев продолжала действовать.

Это было тем более нелепо, что город бомбили по многу раз в сутки, а так как в гостинице «Интурист» не было бомбоубежища, то все жители ее спускались просто в первый этаж — в холл и служебные коридоры.

Выла сирена, и потом:

— Воздушная тревога! Воздушная тревога! Воздушная тревога! — И все тянутся вниз на первый этаж.

И тут все смешивались — русские и иностранцы, белые и черные, англичане и панамцы. Лишь английские офицеры держались особняком и не отвечали, когда с ними заговаривали. Все остальные образовывали оживленно беседующие группы. Американские торговые моряки (некоторые из них, спускаясь в холл во время тревоги, напяливали каски) продавали сигареты, причем брали за них произвольную сумму советских денег (на которые так или иначе ровно ничего нельзя было купить), но при обязательном условии: чтобы на купюре был изображен Ленин (таким образом, цена пачки сигарет была не ниже десятки, но что десятка, что пятак — нам было все равно: обеды мы оплачивали не наличными, а талонами). Я, с моим знанием английского языка, всегда был в центре какой-нибудь группы. Но чаще, чем деньги, американцы выпрашивали сувениры. Особенно звездочки с шапок — это мало кто соглашался отдавать, потому что это, как мы пытались объяснить американцам, badge, отличительный гербовый знак советского солдата.

Как-то раз во время затянувшейся тревоги я разговорился с рослым моряком-американцем. Среди прочего, он спросил, какие в городе есть достопримечательности, и почему в отеле нет бомбоубежища. Я ответил ему, что в гостинице убежища действительно не надумали построить, но что в городе есть замечательное скальное бомбоубежище для всех горожан, действительная достопримечательность. Он заинтересовался и спросил, нельзя ли посмотреть ее. Я сказал, что как раз туда иду, должен там быть через десять минут. Он проверил шнурки на каске (которой, конечно, не снимал) и выразил желание пойти со мной. Тревога как раз кончилась.

Я довел его до убежища, спустился вниз на разрешенные четыре этажа, попросил его подождать меня и пошел вниз на свою радиостанцию. Через пятнадцать минут поднимаюсь и, видя его сидящим на полу четвертого коридора, говорю ему:

— Ну, пойдемте домой, в отель.

— Нет, — говорит он, — я еще немного здесь посижу.

— Сколько же времени Вы намерены сидеть?

— Ну, до завтрашнего утра, — сказал американец.

Я его понял: месяцы на палубе корабля в ожидании налета и без убежища.

Разговаривали в холле гостиницы — и прислушивались к разрывам. Немецкие бомбардировщики имели по четыре пятисоткилограммовые бомбы или по две тонновые. Садиться с ними было нельзя, так что если невозможно было сбросить на цель, сбрасывали куда попало. Летели они на Мурманск с заданием бомбить суда в порту и причалы; но вокруг порта был такой

зенитный барраж, что никто не мог прорваться; и бомбы сбрасывали на жилые кварталы.

Вообще зенитка очень редко могла попасть в самолет; но когда небо полно ватными клочками зенитных разрывов, лезть в них большинство летчиков психологически не могло. Поэтому в течение всего времени немецкого господства в воздухе Мурманский порт практически не страдал, а в городе не было ни единого целого дома.

Итак, беседуем с американцем и считаем: У-ух! У-у-ух!! Фиюють-фюить. У-ху-ху-ух: третья — куда упадет четвертая? У-у-ухх!! Мимо! — Иногда перед этим был знакомый «не наш» звук летящих самолетов, иногда бомба ухала без дополнительного предупреждения, кроме тревоги.

В каждом налете участвовало немного немецких самолетов — десять, от силы двенадцать — значит, до восьмидесяти сброшенных полутонок — не так уж страшно. Но было по десять, пятнадцать и даже по двадцать налетов в сутки, а это уже полтысячи бомб.

И затем: — А-ат-бой! (Или, как говорили американцы, Attaboy!). До следующей тревоги через час, или два, или три.

Иной раз во время тревоги мы стояли у комнатки дежурного по гостинице; тот непрерывно принимал телефонные звонки, сообщавшие о попаданиях. До сих пор не могу себе простить: однажды дежурному сообщили, что на перекрестке, метрах в 300 от гостиницы, ранило осколком женщину; у меня в кармане был индивидуальный пакет с бинтом, а я не побежал на помощь.

Вообще говоря, во время бомбежек страшны были не бомбы — попадет такая, и вопросов больше нет; а страшны были барабанившие вокруг осколки от наших зениток. Мне не раз приходилось возвращаться с радиостанции под грохот зениток и разрывы бомб. Один раз четвертый свист застал меня перед входом в гостиницу, и пришлось упасть в снег. Я потом подобрал кусок стабилизатора «моей» бомбы (она упала от меня в полутора метрах, если не ближе; мне чертовски повезло); я долго носил стабилизатор в моем полосатом сидоре — потом, конечно, выбросил.

Я не имел ничего против возвращения с радиостанции под бомбежкой, но выходить под бомбежку, чтобы идти на станцию, мне определенно не нравилось — особенно когда бомбежка только начиналась. Поэтому раза два я пропустил очередную передачу, о чем честно и сообщил Суомалайнену, получив большой, но заслуженный нагоняй. Правда, от слушателей жалоб не поступало.

Как-то раз я стоял внизу во время очередной бомбежки, а в углу сидел на корточках моряк-негр необыкновенной черноты. Ко мне подошел наш офицер-моряк, капитан-лейтенант, назвался Фейнбергом и сказал мне:

— Простите, я слышу, Вы говорите по-английски. Не могли бы Вы помочь мне взять интервью у этого негра? Я работник редакции газеты Северного флота. — Я, конечно, согласился, и мы подошли к негру. Завидя двух русских офицеров, он встал.

— Вот этот джентльмен, — сказал я ему, — журналист и хочет взять у Вас интервью. — На лице негра изобразился искренний восторг. Я стал переводить вопросы Ильи Львовича.

— Вы давно в Мурманске?

— Прибыл с последним конвоем.

— Как Вам нравится в Советском Союзе?

Негр выразил необходимый восторг. На самом деле, чем Мурманск не устраивал матросов, это только отсутствием доступных баб. Мы с Фимой видели, как в проходе ресторана валялся, извиваясь, громадный негр, вопя: «No fuck thing!»

— А бывали ли Вы в Советском Союзе раньше?

— Бывал, — ответил радостно негр.

— Когда же? — В 1918 г., в составе американских оккупационных войск.

Интервью закончилось.

Неподалеку стоял памятник жертвам американской интервенции 1918 г., и во время бомбежки, если она заставала их на улице, американские моряки за него прятались, как будто памятник мог охранить их от бомб.

Я заговорил с Фейнбергом на эту и другие темы, и тут оказалось, что он приехал в Мурманск из Полярного, где был штаб флота, и ему негде ночевать. Я предложил ему свое гостеприимство. Мы поднялись на пятый этаж, я снял с кровати тюфяк и одеяла, накинул на свою постель мою длинную солдатскую «кавалерийскую» шинель, мы легли, и начался длинный разговор, как положено у русских интеллигентов.

Узнав, что Фейнберг «на гражданке» — пушкинист, я сказал ему, что давно пора перестать печатать шифрованные отрывки, писанные «онегинской строфой», в качестве якобы «Десятой главы», в то время как это определенно конец первоначальной восьмой главы «Странствие», и подробно объяснил, почему я так думаю.

— Это же надо напечатать, — сказал Илья Львович.

— А Вас это убедило?

— Нет, меня это не убедило, но это надо напечатать.

— Как я это напечатаю, где? Да и зачем — я ведь не пушкинист.

— Нет, Вы-то и есть пушкинист!

Много лет спустя я встретил его в Москве на Тверском бульваре. Он опять стал уговаривать меня напечатать мои «онегинские идеи». И хотя он повторил, что со мной не согласен, на этот раз я все-таки написал статью. Ни один журнал ее от меня не брал, пока наконец еще годы спустя ее не напечатал директор Пушкинского дома В.Г.Базанов, по той причине, что был в ссоре с главным присяжным пушкинистом Б.Г.Мейлахом.

Интересно, что Фейнберг подробно описал нашу встречу в своем дневнике; выписку мне после его смерти прислала его жена. Делать записи и фотографировать в армии разрешалось только корреспондентам: за дневник можно было иметь дело со СМЕРШем, поэтому я его не вел, а жаль. Любопытно, что мне и Фейнбергу об этой встрече запомнились разные вещи — не одни и те же.

Следующий раз при очередном налете бомбы упали в деревянные двухэтажные дома напротив. Мгновенно вспыхнул пожар. Множество людей — и я в их числе — бросились, не смотря на продолжавшуюся бомбежку, спасать пострадавших и имущество. Второе сводилось главным образом к тому, что мебель и другие вещи вышвыривались на улицу из окошек тех комнат, которые еще не занялись; а так как вскоре подоспели

штатные пожарные, то оказалось, что мы разрушили и опустошили квартиры, которые в конце концов все-таки не сгорели.

Из уст в уста ходили разные поразительные истории в связи с налетами. На главной улице стоял огромный десятиэтажный дом, поставленный покоем в сторону проезжей части. Между его «лапами» немцы сбросили торпеду — все три прилежащие стены вдавило внутрь. Никто не погиб — было дневное время, все были на работе, а неработавшие давно эвакуировались из города. Погиб один человек, стоявший позади дома, — взрывная волна, всегда причудливая, обогнула дом.

Другая история была про некоего лейтенанта и его девушку. Она жила на втором этаже дома, и как только они с лейтенантом там уединились, начался налет, и бомбой — как часто бывало — отвалило целиком фасад дома, но не тронуло ничего внутри. Парочка решила не тратить драгоценного времени, а под утро лейтенант связал канат из простынок и ушел, а девушку спасли позже с помощью пожарной лестницы. Не забудем, что стояла круглосуточная полярная ночь.

Третья история была такова. Муж был на работе, а жена дома. В квартиру упала бомба. Пришедший домой муж застал всю квартиру почти целой, но в крайней стене была дыра в соседнюю квартиру. Проникнув туда, муж нашел там жену под неизвестным военным — обоих мертвыми.

Я думаю, такие анекдоты рассказывались во всех городах, подвергавшихся бомбежкам. Но наши американские друзья говорили, что Мурманск на 1943 г. занимал четвертое место в мире по силе бомбежек после Сталинграда, Мальты и Тобрука.

Вскоре после этого я пришел — почему так поздно? — к мысли о полной бессмысленности спускаться в первый этаж по воздушной тревоге: ведь первый этаж — не бомбоубежище, и лететь ли с пятого этажа или быть прихлопнутым в первом — разница невелика.

Тут я подружился со своим соседом по коридору. Я его и раньше встречал внизу во время налетов — худой, даже изможденный светловолосый человек в гражданской одежде, с трудом спускавшийся по лестнице, поддерживаемый двумя приятелями. Англичанин.

Он еще раньше меня понял бессмысленность хождения в первый этаж во время бомбежек, но его приятели (из соседних номеров) все-таки уходили, и он оставался наверху в своем номере один. Наплевав на всякие запреты общения с иностранцами, я стал ходить к нему, и мы вместе коротали время налетов, иногда затяжное.

Он был из Йоркшира, говорил на забавном диалекте, произнося but как «бут»; показался мне он незаурядным человеком. История его жизни, как он мне ее рассказал, была такая.

В ранней юности он был спортсменом-парашютистом. До войны парашютный спорт в Европе очень мало развивался, и таких, как он, в Англии были единицы. С началом войны его взяли в диверсионную часть и неоднократно забрасывали с заданиями во Францию. Однажды, неудачно приземлившись при учебном прыжке, он повредил себе позвоночник и попал в госпиталь. Здесь врачи объяснили ему, что не только прыгать, но и ходить он не будет никогда. Он, тем не менее, начал себя тренировать и вскоре стал садиться

и даже вставать. Тогда он обратился к начальнику госпиталя с просьбой отчислить его из пациентов.

Начальник сказал, что он не вылечился, и если он настаивает на выписке, то должен будет дать подписку о том, что он не имеет к госпиталю никаких претензий, но что он, начальник, военнослужащего, отказавшегося от лечения, имеет право выписать только в часть. Мой йоркширец на это пошел.

Но при первом же прыжке с парашютом выяснилось, что служить в части он больше не может. Его демобилизовали, и он поехал в Йорк к родителям. Когда он шел уже по своей родной улице, начался налет, и на его глазах бомба упала на его дом; родители были убиты. Тогда он повернулся и сразу поехал в соседний городок к своей девушке. Но оказалось, что и она накануне была убита бомбой.

Он понял, что теперь он может работать на войну и только на войну. Он нанялся матросом в торговый флот на суда, возившие военные грузы; побывал в Дакаре, в Бразилии, в США — но каждый раз в порту его списывали в госпиталь; а он опять нанимался на очередной английский пароход.

— Я изучил, — говорил он, — все медицинские порядки. Лучше всего лечат у вас. — Он был в СССР уже второй раз.

На этот раз по прибытии конвоя его направили в английский военный госпиталь в Ваенге, километрах в 25—30 от Мурманска. Лечение там, по его словам, было самое скверное: каждый новый больной попадал к врачу не по специальности, а к дежурному в порядке очередности.

— Раз, — сообщил он, — я смотрю в палате в окно и вижу — к госпиталю подъезжает целая вереница машин с ранеными. Очевидно, прибыл в Мурманск очередной конвой. Ну, думаю я, теперь не то что меня лечить не будут, но еще меня же поставят кого-нибудь лечить, ведь у меня огромный опыт по этой части.

Пошел в каптерку, уговорил каптенармуса выдать ему его собственную робу и пошел по шпалам в Мурманск.

— Постой, — говорю я. — Как же так? Там ведь шлагбаумы через каждые несколько километров, проверяют документы!

— А я им говорю: Tovarish, Second Front — и никаких документов не нужно. Дошел до Мурманска и устроился здесь в гостиницу. А тут у меня зуб заболел нестерпимо. Вот я пошел с товарищами к зубному врачу — это где у вас другая большая гостиница. А тут темнотища, полярная ночь, я споткнулся у воронки на тротуаре, упал и вывихнул ногу. Вот теперь еле хожу.

Эту зубную поликлинику в «Междурейсовой гостинице» я знал хорошо. Я тоже ходил туда рвать зуб. Врач наложила мне щипцы, начала тянуть — а тут воздушная тревога. Она в бомбоубежище, а я так и сижу как дурак с разинутой пастью.

А Фиму так налет застиг в бане. Изба ходуном ходит, а он голый и намыленный.

— Очень не хотелось, — говорил он мне потом в Беломорске, — под бомбу попадать голышом.

Подходил Новый год, и наши шипчендлерские девочки решили устроить торжественную встречу — закуску сэкономили из ресторана и водку достали

там же — она свободно продавалась, но за астрономическую цену. Да деньги-то ведь все равно некуда было тратить. Были приглашены, кроме меня, еще двое приятелей.

К сожалению, Новый год оказался не совсем таким веселым, как хотелось бы: один из приглашенных гостей был в тот самый день убит бомбой. Но, в конце концов, смерть ведь была кругом.

Зато было внеплановое большое веселье, когда пришло известие о первом прорыве (подо Мгой) кольца вокруг Ленинграда.

Меня сменила в качестве диктора какая-то новенькая — еврейская девушка из какого-то института иностранных языков. Немецкий язык ее был плох, и находчивости, необходимой для самостоятельной работы с передачами, у нее не было. Но — приказ есть приказ: я сдал ей дела и уехал.

Ей повезло меньше, чем Фиме и мне: вскоре бомбой разбило ресторан гостиницы «Интурист», и ей пришлось столоваться в другом месте. Немного позже и весь «Интурист» накрыло бомбой, дикторше пришлось передвинуться еще куда-то — вероятно, в «Международную гостиницу», чья стройная, увенчанная башенкой-шпилем громада продолжала выситься нетронутой над городскими развалинами.

Февраль-март 1943 г. был пиком немецких бомбовых налетов. Немцы умудрились даже найти способ останавливать поезда на Мурманской дороге: они пускали на бреющем полете истребитель, и он из пулемета убивал машиниста и помощника. Поезд через некоторое время останавливался, и его было уже легко разбомбить.

Но весной немецкие бомбежки Мурманска прекратились навсегда — господство в воздухе перешло к нам.

IV

Немножко о быте этого времени. К концу 1942 — началу 1943 г. быт наш очень уже устоялся. Во-первых, ко многим приехали жены. К Прицкеру приехала его жена Муся Рит, к Фиме — Катя. Правда, жили они не с нами, и Суомалайнен терпеть не мог появлений Кати в нашей части. Он был против законных жен, считая, что они отвлекают офицеров от выполнения воинского долга. Случайные связи он, напротив, воспринимал как нечто само собой разумеющееся.

Муся Рит имела свой дом: к Прицкеру, умному и энергичному работнику, стали очень хорошо относиться в разведотделе, а трагическая история его семьи была известна; выделили ему в большом пустом городском доме, принадлежавшем разведотделу, небольшую квартирку. Вторая половина дома была пуста и всегда заперта.

Если раньше вечерá было некуда девать, то теперь мы ходили в город с определенной целью. Изредка в театр (не так часто, как когда я был в резерве, но на те же оперетты: «Веселая вдова», «Роз-Мари» и т.п.), а чаще всего в гости к Прицкерам. Между тем, у них почти сразу начались осложнения. Мы считали, что Муся приедет ошарашенная своими несчастьями, гибелью ребенка и блокадой, но она приехала кокетливая, уверенная в себе. На горизонте появился волоокий красавец бухгалтер, сиявший начищенными

сапогами и ничего не имевший за душой. Чем он ее пленил — неизвестно. Кончилось все же тем, что бухгалтер был изгнан, и семейная жизнь продолжилась своим чередом.

Мария Павловна Рит заслуживает того, чтобы о ней сказать несколько слов. При первом знакомстве она производила впечатление скорее неприятное, несмотря на милую, нежную какую-то улыбку, нежный пушок на щеках, красивые волосы и большие глаза. Неприятно поражала манера, как-то непрерывно кокетливая и капризная — она, видимо, считала, что капризы ей очень идут. Любила похвастать своими поклонниками, которые всегда оказывались выдающимися людьми: художник В.Лебедев, какой-то летчик-испытатель. Чувствовался во всем этом какой-то намек Давиду: раз избрали его, то нужно, чтобы он тоже был кем-то из ряда вон выходящим. Впрочем, Прицкер и так был честолюбив.

Муся Рит, при всей своей рафинированной интеллигентности, была из очень простой эстонской семьи, и, возможно, это и создавало в ней комплекс неполноценности. Позже в Беломорск приехала ее мать, действительно необычайно добрая и умная, хоть и не очень образованная женщина.

А Муся, в сущности, тоже была добрая — даже очень добрая. В действительно трудную минуту всегда можно было быть уверенным, что Муся будет у локтя. А вот в другое время... она любила, чтобы говорили только о ней, и по возможности, чтобы говорила это она сама.

Но при всех ее недостатках она была человек незаурядный, запомнившийся. Уже после войны она трагически погибла.

У кого не было жен — у тех были романы. Женщин было мало даже в штабе, но на кос-кого все же хватало. Сами женщины стремились иметь постоянного друга, потому что иначе не было спасения от приставаний.[1]

В связи с этими мимолетными романами у Батя в разведотделе нашлась новая обязанность.[2] Каждый раз, когда какая-нибудь из дам должна была рожать, месье бесследно исчезал, и передачи в роддом носил Бать. В госпитале долго думали, что это он сам и есть такой необычайный Дон-Жуан, что у него все рожают. Среди них оказалась и Тоня, переводчица разведотдела, на которую Прицкер свалил многие свои менее важные обязанности. Если он сам шел на работу с пленным, то ему не нужен был переводчик. С прочими посылали ее. Она была скромная и невзрачная — и вдруг и ей пришлось рожать. Бать приносил ей подарки, и при выходе из роддома с ребенком поздравляли именно Батя. Но это было позже, Тоня успела до тех пор год проработать в разведотделе.

С Батем мы теперь встречались редко — и, конечно, у Муси Рит. С домом

---

[1] Спрос был огромен. Однажды некий лейтенант задумал приударить за одной официанткой в столовой. Она его сразу же пресекла:

— У меня и от полковников не пересыхает.

Я уже рассказывал историю Пани Разумной.

[2] Кроме Давида, Батя и Тони, в разведотделе еще в начале 1942 г. появились новые два парня-переводчика, но их быстро спихнули в дивизию. Квалификация их в немецком была более чем умеренной. Они попали под указ об опоздании, по которому обычно сидели в тюрьме 3 месяца, но иногда, когда в тюрьме мест не хватало, то отсылали и в лагерь. По истечении срока их тут же в Карелии мобилизовали. Они рассказывали, что в лагерных бараках мест совсем не оказалось и что им приходилось ночевать в бетонных трубах, лежавших почему-то на территории лагеря. Время было летнее, поэтому они обошлись.

Муси у меня связано много воспоминаний. Только тут и можно было поговорить спокойно без недостаточно надежных слушателей — а это по тем временам были все, кроме самых близких друзей. Говорили о перспективах войны, о международной политике. Кроме того, выпивали. К этому времени на фронте были введены «наркомовские сто грамм», которые, несомненно, улучшили политико-моральное состояние солдат, хотя после войны весьма способствовали распространению привычного алкоголизма. В штабе водку давали только на три главных праздника, но за деньги или за вещи ее можно было достать в городе.

Один раз я страшно перепил. В моей жизни было всего два-три таких случая. Я устал (то ли были срочные переводы, то ли много работы с пленными) и пришел, когда пир был в разгаре. Меня заставили догонять. Я ничего не ел, пришел голодный и постеснялся попросить поесть (ведь за счет Мусиных карточек!). Свалился и проспал ночь на кровати Прицкера — потом надо было явиться на Канал рано, чтобы никто не заметил, что я не ночевал.

Самый любопытный случай был здесь с Фимой. Однажды он пришел к Прицкеру на работу. Оттуда они пошли вместе к нему на квартиру. Когда они уже пришли, оказалось, что Давид забыл ключ. Муси не было — она была журналисткой и часто уезжала в командировки в части. Фима, как всегда, полный неожиданных решений, предложил пройти через запертую часть дома и пробраться в квартиру через общий чердак. Так они и сделали. Взломали окно в запертой половине и с фонариками вошли в нее. Там увидели нечто странное: висят на перекладинах и лежат на полках немецкие и финские мундиры во множестве. Они поняли, что влезли куда не надо: это была амуниция для наших диверсантов. Прошли чердаком к Прицкеру и потом кое-как заделали взлом. Как-то это им сошло.

В театре был другой случай с Фимой. Комендантом города был исключительно свирепый полковник Дзрелашвили. Чуть только увидит лейтенантика, который не вовремя или не так козырнул, — иногда потому, что шел с дамой под ручку и правая рука была занята, — сразу наказывал. Офицера на гауптвахту не сажают, только под домашний арест по месту работы, но солдата или сержанта — сразу на «губу». Иногда и лейтенанта он гонял в комендатуру для промывки мозгов.

Как-то раз случилось, что Фиме заказали статейку для местной гражданской газетенки. Это была единственная газета на всю Карелию, неизвестно, кто ее читал, но она была. Фима написал по обыкновению лихо. Дзрелашвили как-то подошел к нему в фойе театра и сказал:

— Вы Эткинд?

— Да.

— Это Вы написали такую-то статью?

— Да.

— Молодец, поздравляю Вас!

Фима пришел домой весь сияющий:

— Ну, теперь меня уж не тронут!

Недельки через две мы отправились в театр с ним вместе. Фима был в валенках. По городу не разрешали ходить в зимнем обмундировании, только за пределами города, но он решил — сойдет, благо на дворе стоял сильный

мороз. В антракте мы вышли в фойе. Стоим, беседуем. Вдруг видим — Дзиелашвили манит Фиму пальцем. Фима мне говорит:

— Вот видите! Сейчас, как я подойду, я уже буду ему первый друг.

Подходит. Дзиелашвили говорит:

— Товарищ лейтенант, как Вы одеты? На кого Вы похожи? Трое суток ареста!

Оказалось — валенки.

Далее полагалось самому доложить по начальству, что комендант полковник Дзиелашвили наложил-де на меня трое суток ареста, — и отсидеть в редакции. Соответственно, из зарплаты — т.е. из аттестата, который шел родным, — вычиталась некоторая сумма. Докладывали не всегда, Дзиелашвили не очень проверял, и Фима, конечно, тоже не доложил.

Забавную историю с комендатурой нам рассказал кто-то в городе. По темному Беломорску слонялась под ручку парочка: он сержант, она младший лейтенант. Пристроиться было совершенно негде: кругом города либо болото, либо морозная пустыня, от сосенки до сосенки не докличешься, а в городе и гражданского населения-то нет — в каждой избе или учреждение, или казарма. Идут они, идут и нарываются на патруль. Козырнуть, держа под руку девушку, невозможно. Патруль задержал сержанта и повел в комендатуру, а девушку как офицера не тронули; но она сама пошла за ними выручать своего парня. Однако дежурный комендант в ответ на ее просьбы, несмотря на звездочку на погонах, приказал посадить под арест и ее. А дневальный, который разводил по камерам, запер обоих вместе; эти три дня на «губе» были счастливейшими в их жизни.

Наиболее тесная связь и по работе, и личная была у нас с разведотделом. Не только дружеская. Однажды Б., теперь уже майор, вдруг явился к нам на Канал, со всеми поговорил, поздоровался. Мы были в недоумении. Как-то я не привык к такой любезности со стороны моего прежнего начальника, а теперь начальника Батя и Прицкера. Но через некоторое время у нас появилась молодая дама, очень бестолковая. Оказалось, что это жена Б. Он тоже выписал к себе свою жену, но ее надо было устроить: домохозяек в Беломорск не только нельзя было выписать, но и жить им там не разрешалось: Муся Рит была журналисткой, корреспондентом журнала «Смена», Катя была сестрой в госпитале по медицинской физкультуре. Так жена Б. попала к нам на Канал. Когда-то она учила немецкий язык, ее посадили корректором, но и с корректурой она без помощи не могла справляться.

Кроме дружбы, наши связи с разведотделом объяснялись тем, что пленных мы получали от них. Сначала их допрашивали в СМЕРШе, затем в разведотделе, и уже оттуда они попадали к нам. Наша работа с ними называлась не допросом, а политопросом.

Сверх того мы получали от разведотдела самые разные сведения, нужные нам для работы. Дело в том, что мы, например, не имели доступа к военным картам. В сводках Информбюро в период отступления не было вовсе сведений о точном состоянии на фронтах; а с переходом к наступлению сведения опаздывали дня на три — о взятии города сообщали лишь тогда, когда уже становилось ясно, что захваченный пункт не отобьют.

Разведотдел сам не имел доступа к оперативным картам, на которых

обозначалось расположение наших частей, но у них были большие карты всего советско-германского фронта, где были обозначены все немецкие части и их передвижения (но не наши). По ним-то и мы, время от времени бывая у разведчиков, составляли себе представление о ходе войны. Правда, помимо этого мы слушали немецкие и английские сводки; но во всем, что касалось советского фронта, Би-би-си только повторяло сведения наших сводок, а если в чем-либо оптимистически расходилось с ними, то это всегда были ошибки. Немецкие же сводки давали гораздо меньше, чем карты разведотдела — разве что данные об обстреле Ленинграда.

То, что разведотдел не имел у себя оперативных карт, было частью нашей общей системы секретности. Считалось, что номеров и названий наших частей никто не знает, и в разговорах их не полагалось упоминать.[1] Было принято обозначать любую часть или соединение как «хозяйство такого-то». Так, вместо «7-е отделение политотдела 14 армии» говорили «хозяйство Райцина», вместо «7-е отделение 19 армии» — «хозяйство Ауслендера» и т.д.

Но только по тому, что мы видели и слышали в разведотделе, можно было сообразить, как идет война.

В частности, мы могли наблюдать, как разворачивалась трагедия 2-й ударной армии. Эта армия была сформирована вскоре после битвы под Москвой для прорыва блокады Ленинграда со стороны Волховского фронта. По идее она должна была пройти вдоль линии Московско-Ленинградской железной дороги, немного западнее, и прорваться к Любани и далее ко Мге. Во главе ее стоял лучший из генералов, преуспевших в битве под Москвой. Его дивизия там считалась образцовой настолько, что в нее пускали иностранных корреспондентов. Это был Власов.

На разведкарте вдруг обнаружился пузырь. Сплошная линия фронта немцев в одном месте на Волхове раздалась на очень небольшой участок, километров на шесть-восемь, затем стал расти пузырь, дошедший почти до Любани. Все мы смотрели на него с ужасом. Не могло быть двух мнений о том, чем все это должно кончиться. Если не расширить горловину, то она захлопнется. До наступления 2-й ударной армии фронт там проходил по Волхову, с его очень крутым берегом на немецкой стороне. Перебираться через него обратно было почти невозможно. Вдоль всей реки шла долговременная немецкая оборона — не то что человек, мышь не проскочит! Постепенно проход сужался все больше и больше, и наконец кольцо замкнулось, а затем на карте было видно, как немецкие части, оттесненные было «пузырем», вышли обратно на Волхов. Позже из немецких газет, которые наши разведчики подбирали в немецких окопах, мы узнали, что генерал Власов, переодетый рядовым, долго скрывался в лесах. Захваченный

[1] Позже, встречаясь в 1945 г. с нашими моряками, я узнал, что от командиров наших боевых судов засекречен ежегодный международный справочник силуэтов военных кораблей — Jane s Fighting Ships (старое издание которого — тридцатых годов — было у моего брата Алеши). Запрет пользоваться справочником мотивировался тем, что в нем есть... силуэты наших судов, и в случае гибели советского корабля справочник может попасть к противнику, и он узнает наши силуэты. Никому в НКВД не приходило в голову, во-первых, что, не имея справочника, наш командир может открыть огонь по своим или, наоборот, подпустить к себе врага; и во-вторых, что справочник продается за границей в любом книжном магазине. Рисовали Абвер по своему образу и подобию. Эта маленькая деталь показывает уровень работы нашей контрразведки в эпоху после уничтожения Берзина и поколения контрразведчиков-коминтерновцев.

наконец немцами, он через несколько дней сознался, что он генерал. Потом о нем ничего не было слышно, а через несколько месяцев немцы объявили о создании Российской Освободительной Армии, РОА, во главе с генералом Власовым. Эта армия быстро выросла численно. Достаточно сказать, что одних казаков в 1944 г. был целый кавалерийский корпус. Кроме РОА, существовали и другие национальные соединения: украинцев, литовцев, «идель-уральцев» (Идель — старинное название Волги). Сюда включались марийцы, коми, мордва, башкиры и т.д. Эти национальные формирования иногда были очень страшны. Очень ожесточенно против нас сражались украинцы и особенно литовцы. Из них набирали даже в СС. Сами немцы говорили нам, что эсэсовцы-украинцы вдвое хуже, чем эсэсовцы-немцы, а литовцы — вчетверо.

По каким причинам образовалась эта армия, нам было тогда не очень ясно. Единственное, что мы знали конкретно, происходило из протокола допроса двух власовцев, который один раз нам передали.

Раньше перехваченных немецких военнопленных из бывших советских граждан сразу расстреливали. Так, один раз лыжный разведбатальон (в нем находился, между прочим, Миша Кирпичников, впоследствии мой лучший друг) привел четверых немцев и двоих русских пленных: они кололи дрова, когда их внезапно захватили. Это были не власовцы — они только что перебежали к немцам. Их расстреляли сразу же на льду озера Верман.

С власовцами же надо было узнать, что это за соединение, откуда они берутся и т.д. Этих двоих допрашивали долго. Нас к ним не допускали. Для пропаганды среди войск противника они были не нужны, и все, что их касалось, было для наших войск сверхсекретно.

Эти два солдата были татары или башкиры, совершенно неграмотные, жалкие. Они объяснили, что пошли во власовскую армию из-за ужасающих условий в немецком лагере, где все мерли с голоду. Я уже говорил, что СССР не подписал конвенцию Красного Креста, и наши пленные, в отличие от всех других, не получали от него никакой поддержки. Сталин считал всех пленных предателями, которым нечего помогать. Положение русских пленных было неописуемым. Многие поэтому и шли во власовскую армию.

Протокол был страшненький. Он был составлен не так, как мы составляли политопрос, где излагалась только суть дела, а по схеме: вопрос — ответ, как в НКВД. Читаешь слова живых людей, которые обречены, так как был приказ Сталина предателей вешать публично. Их и повесили на перекрестке дорог между Кандалакшей и фронтом.

В разведотделе по-настоящему работали, как я уже упоминал, по-моему, только трое: кадровый офицер Задвинский, аспирант исторического факультета ЛГУ Прицкер и доцент по механике Политехнического института Бать. Работали они не только с пленными и вообще с той информацией, которую можно было собрать в штабе фронта, но для ее уточнения выезжали и в боевые части. Даже кругленький и малоподвижный Бать, которому и путь в столовую через мост и то был труден, бывал в полках — в том числе в одном из них встречался с моим другом Мишей Кирпичниковым.

Еще кто-то в их отделе работал с диверсантами, с агентурной разведкой, но деятельность их, насколько я понимаю, была не блестящей.

Большинство сотрудников разведотдела фронта — а их было несколько десятков, может быть, и пятьдесят человек — было занято тем, чтобы раздобыть ремни и диагоналевые синие брюки, и еще связями с девицами, если найдутся. Были среди них красочные личности. Одной из них был майор Гольцев.

Однажды Задвинский звонит нам на Канал и говорит:

— Мы кончили работать с очередным пленным, он в госпитале. Можете начать с ним работу.

(Мы чаще всего работали с ранеными, их можно было опрашивать долго, пока их лечили в госпитале). Я сказал: «Спасибо». Доложился Суомалайнену и пошел в госпиталь. Прихожу в приемный покой. Мне говорят:

— Да, да, в такой-то палате, но с ним сейчас работает майор. — Какой майор? Только что сказали, у него уже никого нет.

Подхожу к двери, стучусь. Мелкие шажки. Появляется маленький, гномообразный человечек и сквозь приоткрытую дверь:

— Вам что?

— Мне звонил подполковник Задвинский и сказал, что разведотдел кончил работу с пленным. Я из политуправления.

Он посмотрел на меня тупо и сказал:

— Я начальник информационного отделения 2-го отдела[1] штаба Карельского фронта майор юридической службы Гольцев, я работаю с пленным; когда кончу, Вы будете работать!

Я говорю:

— Вы меня извините, но мне сказал подполковник Задвинский...

Он выслушал и сказал снова:

— Я майор юридической службы Гольцев, начальник информационного отдела... и т.д.

Я говорю:

— Здесь произошло недоразумение.

Он опять повторяет:

— Я майор юридической службы Гольцев... и т.д.

Я вышел в коридор и сел на скамеечку. Жду, что будет дальше. Минут через пять выскакивает весь красный, как из бани, Прицкер:

— Уф!

Садится рядом. Я спрашиваю:

— В чем дело?

— Нам прислали нового начальника. Б. повысили, а этого прислали на его место. Он ничего не понимает. Знает себе повторяет только одно: сколько промышленных объектов разрушили немцы там, где расположена дивизия пленного. (А надо сказать, что во всей оккупированной немцами части Карелии вообще никаких промышленных объектов не было, и даже населенных пунктов не было).

Наконец, Гольцев кончил, я вошел и занялся совершенно обалдевшим пленным. Он и так ничего не мог понять, что от него хотят, а тут еще один комиссар на его голову.

[1] «Второй отдел» — это был разведотдел. Гольцев соблюдал конспирацию.

Гольнев стал встречаться мне довольно часто. Прицкер теперь от него отвязался, он уже давно отвык быть переводчиком и работал с пленными сам. Вместо него переводить ходила теперь Тоня, плоховато знавшая немецкий — но Гольневу это было все равно. Каждый раз, когда я отправлялся в госпиталь к пленному, Гольнев был тут как тут. Он обожал ходить туда.

Как-то я сам был положен в госпиталь на обследование моего туберкулеза — и опять рядом на койке Гольнев. Приходил он в госпиталь с гитарой или с балалайкой, не помню. Это было для него наслаждение. Ложился, требовал, чтобы его осматривали. Ничем болен не был, просто отдыхал. Требовал книги из библиотеки (книгоноша носила набор книг для раненых). Он смотрел последнюю страницу, где указан тираж. Если маленький, то не берет — значит, книга плохая. Если сто тысяч — годится, хотя бы и по свиноводству. Такая более всего, потому что до войны он работал главным бухгалтером свиносовхозтреста. Каким образом он стал майором юридической службы — это загадка. Имел ордена.

Прицкер спросил как-то, как он их заработал. Тот говорит:

— Я изобрел новый способ разоблачения дезертиров. Таким образом удалось выявить и уничтожить 50 тысяч дезертиров.

Прицкер заметил:

— Товарищ майор юридической службы, Вы нанесли советской армии больший урон, чем десять немецких дивизий.

После этого об изобретении больше речи не было.

Или так. Сидит Гольнев, допрашивает пленного. С ним Тоня. Я жду, когда он кончит. Все происходит в приемном покое. Через покой бежит сестра со здоровенной бутылью йода. Гольнев останавливает ее и начинает снимать с себя гимнастерку и рубашку в присутствии обалдевшего пленного, который ждет чего-нибудь худого. Гольнев подзывает сестру:

— Помажь мне тут и тут. (На спине.)

— У Вас там болит, товарищ майор?

— Нет, на всякий случай помажь.

Однажды Прицкер ездил в командировку в район Ярославля, в лагерь, где содержались пленные с Карельского фронта, в том числе был в Ростове Великом. Когда он сообщил об этом Гольневу, тот спросил, большие ли там разрушения. Будучи начальником информационного отделения разведотдела, он не знал, что Ростов Великий не был под немцами. Видимо, спутал с Ростовом-на-Дону.

Как-то Гольнев пошел вместе с Тоней допрашивать пленного. Прицкер, отдыхая от него, писал в отделе отчет. Вдруг звонок:

— Додя, запирается пленный — придется бить.

Прицкер отвечает:

— Погодите, не бейте, я приеду — разберусь.

Приезжает:

— В чем запирается?

— Не хочет сказать, какие промышленные объекты немцы разрушили в Лоухи.

И вообще-то непонятно, зачем немцам разрушать промышленные объекты,

пока они вовсе не собираются отсюда уходить. Но в Лоухи стояли тылы штаба нашей 26 армии, и немцы никаких объектов не могли там разрушить — да их и не бывало там никогда.

Другой интересный человек в разведотделе был полковник Рузов, поступивший в разведотдел фронта в 1944 г. Хотя он относится к последнему этапу нашего пребывания в Беломорске, но я расскажу о нем здесь. Леонид Владимирович Рузов (чаще его называли «дядя Леня») был очень милый человек. Он был евреем, несмотря на такое имя и фамилию. Во время гражданской войны был кавалеристом, служил в казачьих частях. Прославился тем, что увез жену у командира части, которую инспектировал. Посадил ее на круп коня и ускакал. Командир гнался за ним верхом и стрелял вдогонку из нагана. Так и не попал, и они прожили вместе всю жизнь. В 1937 г., когда Рузов увидел, что пахнет жареным — были посажены все командиры армий, дивизий и даже полков, — он подал рапорт, что просит отправить его на зимовку на Землю Франца Иосифа. Мы тогда осваивали эти острова. Просидел на зимовке с 1937 по 1939 год и вернулся как раз к финской войне на действительную службу.

В начале нынешней войны он был начальником разведотдела 14 армии.

Примерно 70% пленных сообщали нам, что они коммунисты. Наиболее честные говорили, что они раньше были коммунистами. Когда их спрашивали, с какого времени они перестали быть коммунистами, они говорили, что с 1934 года.

— Почему?

— Это же было запрещено!

Другие настаивали, что они и сейчас остались коммунистами. Как их выявить? Позже мы разработали целую систему политопроса: спрашивали по диамату, о производительных силах и производственных отношениях, по истории партии и т.д. У Рузова всей этой методики еще не было, и он решил проверить их «Интернационалом». Случилось это после майского наступления 1942 г. Пленных было много, сразу человек 15. И все или большинство из них, конечно, заявляли, что они коммунисты. Тогда Рузов спросил:

— Кто умеет петь «Интернационал»?

Выяснилось, что все!

Тогда он сказал: «Пойте!» Они запели нестройным хором. Видя, что поют нестройно, Рузов вскочил на стол и стал дирижировать. Тут дверь открылась, и вошел командующий армией, генерал-майор Панин. Как Рузов выкрутился — не знаю.

У нас он сменил Гольнева на должности начальника информационного отделения разведотдела. Прицкер, Бать и Задвинский вздохнули с облегчением. Сам Рузов ничего не делал, но предоставил возможность спокойно трудиться, защищал их перед начальством и дал им полную волю. Ходил анекдот (или это реальный случай, не знаю): Рузов вдруг говорит Прицкеру:

— Додичка, Додичка, что это там у тебя под столом беленькое лежит? А, совершенно секретная бумажка? Ну, пусть лежит.

Как-то Рузова послали в прифронтовой дом отдыха. Он находился на станции Тим, между Архангельском и Вологдой, в глухой тайге. (Это куда и меня послали, как я сейчас расскажу). На станции Обозерская, где

Архангельская линия соединяется с Мурманской, он вышел из поезда и встретил своего старого друга еще со времен гражданской войны.

— Леня! Что ты тут делаешь?

— Я служу на Карельском фронте.

— На Карельском фронте, когда происходят такие события! У вас же неподвижный фронт! Приезжай к нам на Южный!

И дядя Леня исчез. Уехал в дом отдыха и не вернулся. Через некоторое время приходит телеграмма с просьбой перевести его аттестат на Южный фронт. Он уже успел там оформиться. С ним Давид и я встречались дружески и после войны.

Как-то летом 1943 г. по дороге с Канала в город меня остановил худенький лейтенант в СМЕРШевских погонах.

— Игорь Дьяконов?

— Да?

— Я Иоффе.

Это мне ничего не сказало — я его не узнал; ему пришлось напомнить студента-юриста, преданного ученика моего тестя Якова Мироновича, побывавшего у нас дома перед отъездом семьи в эвакуацию. Как выяснилось, он работал на станции «радиоперехвата». Насколько я мог понять, никаких секретных шифровок они не «перехватывали», а просто ловили и записывали для начальства обычное немецкое, английское и американское радио, поскольку все радиоприемники были по всей стране изъяты — т.е. делали то же, что я когда-то делал для Питерского. Я стал изредка у него бывать. Помнится, их там работало четверо. Начальником был капитан Ветров или Вихров (сейчас точно не помню фамилии), музыкант, «на гражданке» служивший у нас в Эрмитаже в отделе истории музыки, дававшем интереснейшие публичные городские концерты на старинных инструментах, вроде виолы да гамба и виолы д'амур или скрипки танцмейстера, или клавесина. Потом, к сожалению, по настоянию И.А.Орбели, отдел был передан из Эрмитажа куда-то в другое место, и концерты прекратились.

Кроме того, в том же отделе «радиоперехвата» работали дружные супруги Цинман, люди очень замкнутые, но для тех, кого они допускали до себя, люди оригинального и тонкого ума. И с ними-то работал и Иоффе.

История о том, как Иоффе, попавший по мобилизации в СМЕРШ 19 армии, оттуда освободился, принадлежит самому Иоффе. Он был один из многих студентов, которые после уничтожения значительной части следовательских «кадров» 1938 г. были во время войны забраны в «органы» со студенческой скамьи; я встречал и других — они, главным образом, спивались; ни один из них не был способен на осуществление героического замысла Иоффе.

В штаб армии из Кандалакши прибежал мальчишка с романтической историей: по его словам, его родичи и их друзья — немецкие шпионы. Никаких доводов у него не было, но было произведено более десятка арестов, и арестованным грозил расстрел. Иоффе написал рапорт наркому безопасности Абакумову с просьбой об увольнении. Рапорт, адресованный начальству, нельзя задержать; Абакумов его получил и вызвал Иоффе. На вопрос, почему он требует увольнения, Иоффе сказал:

— Не для того я учился законам, чтобы их нарушать.

Абакумов спросил, сколько ему лет. Иоффе ответил:

— Двадцать один.

Абакумов, видимо, — хорошо пообедал и был в хорошом настроении, — сказал:

— Ну, получай 21 сутки ареста и возвращайся в часть. — Вслед за ним в часть пришел приказ о его увольнении из СМЕРШа и переводе в группу прослушивания немецкого радио.

Он стал впоследствии крупнейшим в нашей стране юристом-цивилистом. Я виделся с ним в последний раз в 1988 г. в городе Хартфорд штата Коннектикут в США.

В прифронтовой дом отдыха я попал после обследования в штабной поликлинике. Было решено дать мне недельный отпуск в Тим, маленький таежный поселок на железной дороге Архангельск—Обозерская—Вологда. Я поехал.

Этот дом отдыха был любопытным местом, по виду вроде дачи. Видимо, раньше здесь жил лесничий. Я приехал с новой сменой отдыхающих. Нас прежде всего собрали и прочли нам лекцию о вреде венерических болезней. Мы были несколько ошарашены.

Оказалось, тем не менее, что это предупреждение имело смысл. В полутора километрах стояла деревня, куда были сосланы советские немки. Они очень бедствовали и голодали; значит, ничего не поделаешь, — они прирабатывали среди отдыхающих офицеров. Дом отдыха был обнесен здоровенным забором, всюду засовы, ночью ходил дневальный: проверял, чтобы никто не удрал. Офицеры все-таки перемахивали через забор и удирали к немкам; поэтому и приходилось читать лекции.

Тут я познакомился с одним человеком и очень жалел, что не нашел его после войны, если он остался жив. Это был художник Н., белорус. У меня сохранился его рисунок. Я вспоминаю его с очень теплым чувством. Он был приятный, интеллигентный человек. Командовал ротой.

Теперь вернемся к Беломорску.

Я рассказывал, что опросы большей частью происходили в госпитале, хотя и не только в нем. Те, кого не отправили сразу в лагерь мимо нас, кто был достаточно интересен, чтобы быть отправленным в штаб фронта, содержались в подвалах СМЕРШа в здании, где раньше находился разведотдел, когда я еще служил там, где бегал в знаменитое учреждение с «пирамидой».

В подземелье я в первый раз в 1942 г. ходил допрашивать пленных, тех двоих, которые называли друг друга идиотами; к которым я шел и щипал себя, не веря, что не меня, а я буду допрашивать.

Именно там я видел одного очень любопытного человека. История его такова.

Все штабные учреждения Беломорска были разбросаны по всему городу, но основной командный пункт был обнесен колючей проволокой и представлял внутреннюю цитадель. Там была проходная с дневальным солдатом.

Как-то к нему вошел капитан и сказал: «Мне нужно видеть генерала Поветкина» (он был тогда начальником разведотдела). Солдат соединился с генералом по телефону. Генерал говорит:

— Какой еще капитан?

Тот называет фамилию.

— Не знаю такого, гони к черту!

Солдат говорит капитану:

— Генерал не хочет Вас принять.

Тот отвечает:

— Звони еще раз и скажи, что это по очень важному делу.

Звонит снова:

— Капитан очень настаивает, говорит — важное дело.

— Ну ладно, пусть идет.

Солдат выписал пропуск. Проситель пришел в кабинет генерала.

Поветкин по обыкновению лениво спрашивает:

— Ну, чего тебе нужно?

Капитан отстегивает кобуру и кладет на стол:

— Арестуйте меня, я шпион.

Поветкин побледнел, издал страшный вопль, сбежались майоры, начали крутить капитану руки, хотя он совершенно не сопротивлялся.

На самом деле он был старшим лейтенантом и командовал ротой на участке 32 армии, стоявшей против финнов. Во время наших поражений, когда немцы докатились до Волги и заняли Кавказ, дошли до Сталинграда, он решил, что война проиграна и незачем губить свою жизнь. Ушел к финнам, решив, что это все-таки не немцы, — отсидится. Но, уходя, был вынужден убить нашего часового.

Получилось же не так, как он себе рисовал: финны сразу же передали его немцам, а те послали его в школу для шпионов.

Он рассказывал об этой школе подробно и очень интересно: как у них поставлено было дело и что они знали. У наших волосы встали дыбом, когда оказалось, что каждая деталь нашей жизни им хорошо известна. В Беломорске тогда гражданское население все было выселено, даже зэков уже не было — одни министры одиночные встречались на улицах, и каждая изба была занята военным учреждением. И вот оказалось, что немцы в каждом случае знали, в какой избе какое учреждение, кто начальник и т.п. Этому человеку немцы дали пробный заход: его сбросили с парашютом за нашим фронтом, чтобы посмотреть, как это у него получится, и дали очень простое задание. Он имел три полных набора документов, денежных и вещевых аттестатов, документы на оружие, воинское удостоверение — словом, все. Он мог бы жить в СССР годами не разоблаченным.

Должен он был появиться в Беломорске как капитан имярек, потом попасть на передний край под предлогом инспекции уже под другой фамилией и вернуться к немцам.

Он сказал, что действительно сначала решил не воевать, считая наше дело проигранным, но выступать в роли шпиона против своей страны не хочет. Я видел этого человека, когда допрашивал своего немца в соседнем «загончике». Ему дали большой срок, но жизнь сохранили, так как он дал действительно феноменальные сведения.

Но значит, у немцев и помимо этого человека были в Беломорске шпионы. Интересно, что мощная, разветвленная организация СМЕРШа с ее тысячей

осведомителей, немало сажавшая наших людей по мнимым обвинениям, не смогла выловить ни одного немецкого шпиона, пока он сам к ним не пришел. Могут сказать, что могли быть шпионы, которых поймали неведомо для нас на Канале. Это кажется мне маловероятным. Ведь сообщили же нам о тех двух несчастных власовцах! Арест офицера по обвинению в шпионаже вряд ли мог остаться не известным в разведотделе — и у нас, скорее всего, стал бы предметом нашей пропаганды.

Вплоть до начала 1943 г. у нас в 7-м отделе сохранялось впечатление полной бессмысленности того, чем мы заняты — хотя наша пропаганда, несомненно, как я уже говорил, улучшилась.

Этот случай был одним из признаком происшедшего поворота в войне. Еще более ясным для всех признаком было то, что исчезли с нашего неба немецкие самолеты; хотя Беломорск всего один раз только и бомбили, но у нас сохранилась приобретенная в Мурманске привычка с утра поднимать голову к небу: «наша погода» (серое небо, самолеты не летают) или «их погода» (голубое небо, самолеты летают); а если видели в небе самолеты, прислушивались к их голосу: наши гудели «у-у-у-у-у», а немецкие — «уа, уа, уа, уа». Признаком были и вести с фронта, начиная с выигранной великой сталинградской битвы:

...И явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.

И не удивительно. К этому времени у нас были лучшие в мире автоматы («пистолеты-пулеметы»), лучшие орудия, лучшие танки, лучшие самолеты — не только прославленные и нигде не повторенные штурмовики, но и истребители (на бомбардировочную авиацию мы ставки не делали), лучшее в мире зимнее обмундирование. И, конечно, лучшие в мире солдаты. Появились и выдающиеся полководцы.

Как-то после войны я спросил у Миши Кирпичникова, прошедшего войну «от звонка до звонка», с июня 1941 по май 1945 г. на переднем крае, от рядового до начальника штаба полка:

— Почему мы с 1943 г. стали выигрывать войну?

Ответ был у меня в голове, но мне хотелось услышать, что скажет Миша. Его ответ не разошелся с моим:

— Потому что к этому времени повыбили кадровых военных, и командирами взводов, рот и даже батальонов стали запасники, имевшие высшее образование, читавшие Пушкина и Толстого и соображавшие, что укрепленный опорный пункт нельзя брать в лоб.

V

После Сталинграда в Москве был создан комитет «Свободная Германия». Туда вошло несколько немцев-антифашистов: коммунистов, писателей (Вейнерт, Бехер и др.), несколько активистов из пленных, в том числе генералов, занимавших либеральные позиции (что не помешало впоследствии двоих из них отдать под суд и повесить, когда Сталин велел вешать особенно отъявленных гитлеровцев). Остальные, большей частью, впоследствии процвели в ГДР.

К комитету постепенно примыкало довольно много пленных — по мере того, как уменьшались шансы на победу Германии, особенно после высадки союзников в Алжире, а потом и в Италии. Принадлежность к комитету давала материальные выгоды: паек побольше, работы поменьше. К тому же, после Сталинграда специальных лагерей для военнопленных стало не хватать, и их в самом деле стали отправлять в наши концлагеря, nach Sibirien.

Комитет «Свободная Германия» знал, о чем пишет, знал своих адресатов, имел такие данные о внутренней жизни Германии, о каких мы не могли и мечтать. В Комитете понимали, как немец думает, что его интересует, что волнует. Началась настоящая пропаганда. Мы стали ей подражать. Кроме того, мы были перевалочной инстанцией для передачи материалов «Свободной Германии» немцам. Количество наших листовок уменьшилось, но они улучшились. Очень хорошими были, например, те, в которых мы помещали карту военных действий. Немцы перестали в это время в своих сводках сообщать о продвижениях, называя свое отступление «выравниванием линии фронта». Мы помогали солдатам увидеть, как в действительности перемещается эта линия. Одна из этих листовок была великолепна. Если бы не плохой шрифт, по которому сразу было ясно, что она наша, то можно было бы выдать ее за немецкую. На обложке был изображен орел со свастикой в лапах и гриф немецкого Главного командования вооруженных сил. Внутри под общей шапкой: «Фюрер говорит» были приведены наиболее идиотские цитаты из речей Гитлера, которые были опровергнуты ходом войны. Вроде той, что «там, где ступил наш гренадер — он уже не отступит, там всегда будет наша земля...» и т.п. Или прогнозы захвата Сталинграда, Ленинграда, и просто благоглупости. Все это мы давали без комментариев — так было сильнее.

«Свободная Германия» обладала правом иметь своих представителей на всех фронтах и во всех армиях. Это было несколько удивительно, так как корреспондентов союзников никуда на фронт не пускали. Только один раз под Москвой английских и американских журналистов пустили в ту дивизию, где командовал Власов, впоследствии командовавший 2-й ударной армией, трагически погибшей между Волховом и Любанью. А эти немцы жили прямо вместе с нами.

Первыми приехали два представителя, солдаты. О них нам дали заранее телеграмму. Они, без охраны, ехали поездом. Я был послан на вокзал встретить их; отвел их в офицерскую гостиницу, которая находилась на краю Беломорска, но еще в городе, т.е. не на Канале, где мы жили. Там они побыли, а затем им выделили комнату на солдатской половине нашего «барака»; я пришел за ними и отвел их туда. После завтрака вдруг одного недостает. ЧП! Что делать! Куда он мог деваться в Беломорске? Думаю, что забыл что-нибудь в гостинице. Бросаюсь как сумасшедший к гостинице. И действительно, догнал его по дороге туда.

— В чем дело? Куда идете? — (Он ведь был в немецкой форме — это считалось обязательным для них, только без кокарды — и ни слова не говорит по-русски!)

Оказывается, что он забыл — шерстяные подштанники! После этого мы наших пленных отправили в армию: одного в 26-ю, другого в 19-ю, к Ауслендеру.

Наступило время, когда и к нам прибыл представитель комитета «Свободная Германия». Это был небольшого роста, темноволосый, довольно хорошенький сфрейтор по имени Йозеф Робинс, родом из Саарской области. Отдельного помещения он не имел, а жил вместе с нами, помнится, не то с Клейнерманом, не то с кем-то из финских инструкторов.

Первым делом, конечно, ему дали заполнить анкету. Он долго и обстоятельно с ней возился, и из нее мы узнали, что его довоенной специальностью было — кондитер, в политических организациях не участвовал. Носил он свою немецкую форму — чистенькую, — но из-за этого его нельзя было никуда выпускать из дому.

Толку от него не было ровно никакого. Давали ему править немецкий текст листовок, но оказалось, что в немецком языке и особенно в орфографии он много слабее Лоховица. Пытался писать листовки, но это были столь жалкие попытки, что от его имени пришлось их писать кому-нибудь другому.

Зато материалы «Свободной Германии», из Москвы шедшие к нам и для сведения, и частично для распространения, были и содержательны, и полезны.

Вскоре после нашей великолепной и решающей победы под Сталинградом к нам в Беломорск для обмена опытом приехал инструктор 7-го отдела политуправления Степного фронта (под Сталинградом) старший батальонный комиссар И.С.Брагинский. Особого опыта мы подарить ему не могли, но зато с волнением слушали его рассказы.

Голову немецкого клина, направленного на Сталинград и Волгу, составляли отборные немецкие части, на флангах же были с одной стороны румыны, с другой — итальянцы. Когда закончилось окружение противника в Сталинградском котле, было решено предложить итальянцам и румынам сдаться. На участке фронтов против румын был временно прекращен артиллерийский огонь, и ничью землю перешел наш офицер с белым флагом, сопровождаемый трубачом. Румыны прекратили огонь не сразу (это был роковой момент, несколько наших парламентеров так и погибло в разное время), но в конце концов допустили наших до своего переднего края. Обыскали и первым делом забрали часы. Затем солдаты вызвали своего офицера, тот послал связного выше — и наконец, наши парламентеры предстали перед румынским командующим. Наше требование было: к назначенному сроку сдать все оружие румынских частей и выходить в условленном месте безоружными (офицерам оружие оставляется); идти сначала генералам и офицерам, потом солдатам. Румынский генерал попросил отсрочку до следующего утра, чтобы посоветоваться со своими офицерами. Наш парламентер, как ему было приказано, согласился на отсрочку до 9.00 назавтра, после истечения срока наши войска перейдут в наступление. Генерал поблагодарил и спросил, нет ли у парламентера жалоб. Тот сказал про часы. Генерал сердито распорядился адъютанту, чтобы часы немедленно вернули.

Наша артиллерия должна была молчать час, истекали последние минуты. Но, довезя парламентеров до переднего края, адъютант начал давать нагоняй командиру взвода, командиру роты и солдатам и не хотел слушать нашего, который твердил:

— Да плюньте вы на часы, сейчас откроют огонь! — Но тот настаивал на

своем. Наконец, наш офицер дал знак трубачу, и они начали перебежку к нашим позициям.

В 9.00 следующего дня — на стороне румын полное безмолвие и неподвижность. Наше командование решило дать им еще час. Без нескольких минут 10 с той стороны появилась мощная колонна: шли пушки, танки, бронетранспортеры — в количестве, намного превосходившем подсчеты наших разведчиков, — и, главное, превышавшие мощностью все то, что имели на этом участке части окружения. Наконец, двинулись генералы и офицеры с саблями наголо, затем и неровные ряды солдат.

Как потом выяснилось из опроса пленных, накануне на военном совете мнения разделились натрое: одни считали — не принимать ультиматум и сражаться, другие — принять ультиматум и сдаться, и небольшая группа третьих считала: прорываться сквозь советское окружение, идти в Румынию и свергать Антонеску. Наконец, вторые и третьи соединились и набрали большинство голосов.

Дальше по степи они шли без всякого конвоя — у нас не было столько штыков, чтобы охранять такую уйму народа. Потом уже, когда они добрались до железной дороги, к ним пригнали эшелоны.

(Этого Брагинский не говорил, но с этого момента резко ухудшилась судьба взятых нами пленных — их стали загонять в наши «штатные» концлагеря).

Я рассказываю эту историю с чужих слов и почти через полвека, как ее слышал, и понятно, за истинность ручаться не могу; но думаю, что, если рассказ Брагинского был точен, то я не допустил больших искажений его слов.

Другая байка, которую рассказал Брагинский, касалась армейского пастора, взятого в плен близ Сталинграда, которого он, по его словам, допрашивал. И, допрашивая, полюбопытствовал: в чем состоят обязанности священника в армии? Тот сказал: утешение раненых, напутствие умирающих и устройство кладбищ; он назвал место, где его усилиями было устроено немецкое военное кладбище.

— А, знаю, — сказал Брагинский. — Мы все эти кресты снесли.

Пастор безмолвно поник головой, а Брагинский нашелся:

— Вы его устроили в месте, где по нашим законам кладбищ делать нельзя.

Законопослушного пастора это, будто бы, немедленно устроило.[1]

С Брагинским я не раз встречался после войны, даже редактировал его труд (перевод с древнееврейского библейской «Книги Руфь» для «Библиотеки всемирной литературы» — главную мысль которой он понял с точностью до наоборот с помощью тех сведений, которые он получил от частного учителя из хедера, преподававшего ему древнееврейский язык в ашкеназском произношении и нынешнем понимании). Жаль, что, за незнанием древне-

[1] С похожей проблемой столкнулся латышский лютеранский пастор в Асари (Юрмала). Здесь недалеко от берега был затоплен нашей авиацией немецкий транспорт, и погибших доставили на берег, рядом с которым находилось чистенькое латышское кладбище, с каменными плитами и крестами, решеточками, цветочными клумбами. Немецкое командование распорядилось — снести все надгробия и похоронить немецких мертвых в освященной земле.

На другой же день после ухода немцев из Асари и еще до того, как мы успели начать вводить свои порядки, пастор собрал верующих в Асари. Сходка решила: убрать немецкие кресты и восстановить прежние надгробия, кресты, решетки и клумбы, но немецких мертвых не трогать. — Так и лежат мертвые вместе, латыши и немцы.

иранского, не мог отредактировать его переводы из «Авесты» там же — подозреваю, что из иранских языков Брагинский знал больше таджикский в русской графике. Знал еще он и идиш, и даже был цензором для еврейских сочинений на идиш — до или после гибели Еврейского антифашистского комитета, этого я не знаю. Наверное, до — какая могла быть литература на идиш после? Его очень плохо аттестовал наш профессор И.Н.Винников, — но он мало о ком говорил хорошо.

(А впрочем, хотя его официальная репутация как востоковеда была преувеличена, но по крайней мере в старости он был добродушен и благожелателен. Кроме того, у него отличные дети.)

VI

Раз как-то — помнится, осенью — к нам заявились два военных корреспондента центральных газет: поэт Константин Симонов и прозаик Евгений Петров (соавтор Ильфа). Их работа, казалось бы, не связана была с нашей, но они разумно сообразили, что для их корреспонденций иногда могут пригодиться сведения о том, о чем думают и говорят немцы.

Они сидели в нашей комнате — Симонов на месте Лоховица, Петров — на моем; мы уселись на койке. Каковы бы ни были замысел и причина их прихода, они нас ни о чем не спрашивали — говорил Симонов. Он хорошо запомнился мне в майорской форме: по-грузински красивый, смуглый человек. Рассказывал он о том, как лазал по переднему краю Мустатунтури. Как я уже говорил, это было гиблое место — горная гряда, отделявшая наш Рыбачий полуостров от немцев, одни валуны и скалы, ни растительности, ни даже земли; все: снаряды, медикаменты, даже строительный материал надо было возить под покровом зимней полярной ночи по морю и так же надо было вывозить раненых.

Симонов пользовался тогда большой славой — за свои стихи «Жди меня, и я вернусь», которые твердил весь тыл — менее уверенно фронт, — и за свои блестящие корреспонденции с фронтов; слава его равнялась в этом отношении только со славой И.Эренбурга и Н.С.Тихонова — но статьи Эренбурга не были фронтовыми корреспонденциями, а Тихонов брал наше сердце больше всего тем, что его корреспонденции были из Ленинграда и с Ленинградского фронта. А Симонов успевал побывать повсюду, и характер его статей не оставлял сомнения в том, что он всегда старался бывать в самых жарких местах.

Старался — это было очень ощутимо и в его устном рассказе. Подспудно чувствовалось, что он тяготится тем, что он на фронте все же только гастролер, а не боец, чувство, более чем знакомое мне, которому не доводилось быть даже и гастролером; но Симонов делал все возможное, чтобы проводить эти гастроли в наиболее страшных местах.

Читая и слыша о нем впоследствии, я убеждался, что тогда уловил какую-то доминанту его характера. Любимец Сталина (небезоговорочный), участник литературных погромов конца 40-х гг., он все же нашел в себе силы бросить секретариат Союза писателей, впоследствии помочь опубликовать наследие Булгакова — и написал длинный военный роман, задуманный как правда, но получившийся едва ли и полуправдой.

Евгений Петров все время молчал. Очень скоро он погиб в авиационной катастрофе.

Приезд Симонова и Петрова еще более усилил мое ощущение, что я делаю что-то дурацкое, недостойное внутри воюющей армии. Все уже — даже Касаткин, даже Фима Эткинд — побывали между тем на переднем крае.

На Кестеньгском направлении была одна высотка, хорошо известная нам из опросов пленных. Называлась она по-немецки «Коньяк-Назе» — «Коньячный нос»: русское название, как все вообще, что нанесено на оперативной карте, было нам неизвестно. Знаменит он был тем, что выдвигался за линию немецких окопов и к тому же представлял собой небольшую высотку, поэтому, в виде исключения, здесь не немцам были видны наши тылы, а нам — немецкие.

Именно в дивизию, где была расположена эта высотка, был послан лейтенант Эткинд для инспектирования нашей «седьмой» радиоустановки. Попал он на передний край, однако, не на Коньяк-Назе, а рядом, в километре или двух. В боевом охранении он застал единичных бойцов, которые были при деле и к радиоустановке отношения не имели, а в центре опорного пункта взвода была землянка, в которой сидел один единственный человек с лупой в глазу и чинил часы.

Часы для офицера — жизненно необходимая вещь, и надо, чтобы они шли минута в минуту, так же, как часы вышестоящего командира, — иначе как выполнять боевые приказы? А солдат, которого обнаружил Фима, был единственный часовщик в дивизии. Перед ним лежали и другие часы.

Пока Фима Эткинд разговаривал с часовщиком, на соседний опорный пункт взвода немцы открыли ураганный огонь — как потом выяснилось, они стянули сюда артиллерию РГК со всего фронта и после двух-трехчасового обстрела на Коньяк-Назе не осталось ничего живого, и немцы заняли его лишь под незначительный огонь с соседних опорных пунктов. Фиме, как и мне, в войне неправдоподобно везло.

Летные приключения Юлия Клейнермана на «ночных бомбардировщиках» и инспектирование фронтовых радиоустановок сходили ему тоже с рук, а с аэродромов он привозил много интереснейших рассказов о жизни наших летчиков; в том числе он встречался и с таким замечательным асом как Сафонов. На аэродроме в Мурмашах видел присланные нам англичанами по «ленд-лизу» истребители — «Харрикейны», или, как у нас их называли, «Харитоны». О них у нас шла самая дурная слава:

Никто в нашей части
Не знает матчасти,
Она так сложна и прекрасна,
Летать же на ней опасно,
И всем давно это ясно —
Ай-ай-ай-ай, что за машина!
В ней летных качеств давно уже нет,
Но много жрет бензина!

На таком «Харрикейне» вскоре погиб и Сафонов: он пошел на вынужденную посадку над Баренцевым морем, но не смог выброситься, так как у «Харрикейна» не поднимался плексигласовый колпак над местом летчика.

Много лет спустя, в шестидесятых годах, когда я был представителем СССР

в Международной ассоциации историков-экономистов, я спросил одного из ее основателей, выдающегося английского ученого профессора Постана (а он был эмигрант из Бессарабии и по-русски говорил не хуже меня):

— Вы были экономическим советником Черчилля?

— Да.

— Объясните мне, пожалуйста, почему американцы поставляли нам доброкачественные военные поставки, а англичане почти год задерживали транспорт с вещами для советского тыла в Исландии, а для нашей авиации вместо «Спитфайров» поставляли никуда не годные «Харрикейны», и если бы мы не наладили в 1943 г. выпуск своих истребителей, мы так бы и не получили господства в воздухе.

Постан ответил мне:

— В этом виноват исключительно Сталин. У него англичане всегда были на подозрении, и если мы предлагали ему одну марку оружия, наилучшую, с нашей точки зрения, он всегда требовал другую — и, конечно, худшую.

То и дело приходили вести о погибших товарищах, сверстниках, старших. Я же почему-то сидел в таком краю, который даже не бомбили. Соседнюю Кемь бомбили, Сегежу бомбили, а Беломорск нет. Почему — так и неизвестно. Мое предположение: город находился на стыке финского и немецкого участков фронта. Финны считали, что бомбить должны немцы, а немцы — что бомбить должны финны. Это был узел железной дороги, по которой шли грузы от англичан и американцев из Мурманска, здесь был штаб фронта, казалось бы, сам Бог велел его бомбить, тем более что весь город был деревянный и мог вспыхнуть, как спичечный коробок, и сгореть, как сгорел летом 1942 г. деревянный Мурманск.

Отвратительно было ощущение того, что я, взрослый мужик, сижу здесь и пишу какие-то бумажки, в то время как даже наши из 7-го отдела бывают на фронте!

Сколько я ни доказывал Суомалайнену, чтобы он меня куда-нибудь послал, он все отвечал: «Нет, не положено». Но в один прекрасный день он все-таки смилостивился и дал мне командировку. И это был мой самый главный выезд.

Суомалайнен направил меня в 19-ю армию, на Кандалакшское направление, в 122 дивизию. Туда надо было ехать поездом до Кандалакши, а затем на попутных машинах. Штаб армии находился недалеко от железной дороги, и найти его было нетрудно. В отличие от Беломорска, где штаб фронта разместился в готовых домах, штаб 19-й армии был построен армейскими плотниками. Это были усовершенствованные землянки, больше похожие на богатые избы или дачи. В большой избе жил начальник 7-го отдела 19-й армии майор Ауслендер. К этому времени политические звания были отменены, поэтому люди, занимавшие политические должности, имели общевойсковые чины.

Ауслендер был красив, очень приятен в обращении, деликатен, хотя потом оказалось, что эта деликатность обманчива. Он очень хорошо принял меня, очень горько рассказывал о своей жизни, о том, какая у него в молодости была любовь с первой женой, как они решили разойтись, когда их чувства стали слабеть (по идеям 30-х годов, жить с женой можно было только будучи влюбленным в нее и никак не иначе); с каким трудом они расходились, как

им этого не хотелось, но они сознавали свой долг. Он рассказывал о трогательной прощальной поездке по Волге, и как несмотря на все это они все-таки разошлись. Она осталась в Москве, а он уехал в Магнитогорск, там женился не любя, завел детей... Правда, потом выяснилось, что его новая жена была дочерью председателя Горисполкома, так что все сложилось не так ужасно для него.

У Ауслендера я увидел очень интересный для меня материал, а именно — немецкие листовки. О том, что немцы разбрасывают листовки, мы узнавали только из телеграфных донесений, лежавших на столе Суомалайнена, где мы по очереди дежурили по ночам. В них обычно писали, что листовки были уничтожены отборной группой коммунистов и не дошли до солдат. Тем не менее, до Ауслендера они доходили — да и не только до Ауслендера: на переднем крае солдаты, узнав, что мы пропагандисты, простодушно делились с нами содержанием немецких листовок и радиопередач.

В немецких листовках было много чепухи, но некоторые были интересны. Была, например, целая листовка-книжка из захваченного немцами архива дивизионного СМЕРШа, где были удивительные вещи, в частности, дела того времени, когда наши войска вступили в Эстонию в связи с «добровольным присоединением» Эстонии к СССР. Рядовой спрашивает:

— А что, Эстония теперь часть Советского Союза?

— Да.

— Так значит, я здесь могу жить?

За то, что он захотел жить в Эстонии, его «взяли на карандаш». Это было немцами соответствующим образом обработано.

Сбрасывали немцы и целые брошюры с материалами по коллективизации из впоследствии всемирно знаменитого архива Смоленского обкома.

Однако, оценивая немецкую пропаганду профессиональным взглядом, я все же думаю, что она была плохой. Либо она была слишком тонкой, как эта история с солдатом в Эстонии, и была построена так, что в ней мог разобраться только рафинированный интеллигент, либо она была слишком грубой. Но зато она была оперативной. Если, например, сын писателя, подполковника Геннадия Фиша, Радий Фиш, известный теперь востоковед, прибыл в дивизию с командировкой, то уже на следующий день шли листовки «К вам прислали жида Фиша», и соответственно совестовалось, что с ним нужно делать.

Я думаю, что именно антисемитская пропаганда нацистов была наиболее действенной, и продолжает сказываться и до сих пор.

Впоследствии я сталкивался еще и с английской пропагандой (конечно, по радио) — вот это была пропаганда! Английские передачи, так же как и наши, шли частично под видом передач с немецкой территории. Но они были составлены на дивном немецком языке, с использованием солдатского жаргона и знанием мельчайших деталей быта. «Hier ist Gustav Siegfried Einz.[1] Wir kommen jede Stunde sieben Minuten vor voll».

Немцы долго не могли засечь эту станцию; действовала она из Дувра. Такие передачи не могли не действовать. У нас в Москве в этом роде был

[1] У немцев, как и у англичан, все буквы для удобства диктовки по телефону и по радио, имели свои постоянные названия. Gustav Siegfried Einz передавало сочетание GS 1 — что значил этот шифр, было неизвестно — вероятно, ничего, но звучало таинственно и потому достоверно.

«перебивальщик». Он вмешивался в немецкие военные сводки и тут же их комментировал, поясняя их лживость. Позже, правда, кто-то, скорее всего, сам Сталин, решил, что нельзя ему позволять передавать неутвержденный текст, и с тех пор ему можно было только выкрикивать лозунги. Немцы твердо считали перебивальщика «жидом», несмотря на его безупречный немецкий язык; думаю, что это был кто-то из ЦК ГКП.

Итак, я приехал к Ауслендеру, провел там ночь и утром отправился в часть. Была одна дивизия (122-я). в которой пропаганда бедствовала — не могли подобрать рупористов, которые умели бы кричать «Гитлер капут!»

Я затем и приехал, чтобы им помочь. Кроме того, надо было посмотреть, как работает наша пропаганда на переднем крае.

Добраться до дивизии было довольно трудно. Был август, для тех мест время уже осеннее. Было еще не темно, и найти дорогу можно, но нигде не было никаких указателей — даже «хозяйства такого-то», как было позже. (Это немцы на указателях совершенно спокойно писали номер дивизии и полка). Пока что и указателей у нас не было, и спросить было невозможно, чтобы не навлечь на себя подозрение. Единственным спасением были шлагбаумы, где проверяли документы. У каждого шлагбаума была землянка. Там можно было отдохнуть, покурить. Здесь собирались идущие и едущие на попутных машинах в разные стороны. Предъявив свои документы, можно было спокойно расспросить, как попасть в «хозяйство такого-то».

Так я пробирался, частью на попутных машинах, частью пешком. Проехал я и красивый тройной перекресток с нависающими слями, знаменитый тем, что именно там повесили власовцев.

Я добрался и доложился начальнику политотдела.

— А, слава богу, нам действительно нужны рупористы!

— В чем же трудность? В составе дивизии должны быть тысячи людей, окончивших семилетку и учившихся немецкому языку! Неужели они не могут крикнуть «Гитлер капут!» и прибавить еще пару фраз?

Мне прислали таких людей; я построил их и сказал:

— Ну, ребята! Hitler kaput!

Ничего не получается. Заставляю по одному.

— Гитлер капут! (С «г»).

— Нет. «Гитлер» немцы не поймут. Им надо говорить Hitla.

— Итля капут!

И так не годится.

Не знаю, сколько времени я с ними бился, наконец, пошел к начальнику политотдела и попросил дать тех солдат, у которых не больше трехклассного образования. Он мне дал таких, причем среди них оказалось несколько готовых рупористов. Один из них рассказал, что быть рупористом очень опасно: как только крикнешь «Гитлер капут!», в тебя начинает стрелять снайпер. Он рассказал, что однажды пуля залетела ему прямо в рупор: она была на излете и только ввалилась ему в рот — он ее выплюнул.

Вот этих я научил. Дальше я двинулся в полк.

Переночевал в землянке у 2-го ПНШ (помощник начальника штаба по разведке): на этом уровне специалистов по пропаганде среди войск противника не было; в роте был замполит, но он занимался пропагандой среди своих

солдат, а не немцев. Поэтому на уровне дивизии и полка мы контактировали уже с разведчиками.

Это была типичная землянка с буржуйкой, нарами — все, как полагается.

На этом пути я видел много разного жилья. В одном месте над дорогой стоял невиданной красоты терем с резными наличниками, коньками на крыше: какой-то начальник нашел умельца-плотника и тот отгрохал ему такой дом! В другом месте, когда я искал дорогу, я зашел в землянку классическую, немного заглубленную в землю, в которой были сплошные нары. На них вповалку лежали солдаты, и среди них одна женщина. Это была очень неприятная картина. Разумеется, никогда не раздевались, и как они устраивались со всеми своими делами — неясно. Женщина в армии — это ужасно. Мне многое рассказывали, что и повторять не хочется.[1]

Утром у ПНШ 2 ко мне пришел мой «Виргилий», мой гид. Его звали Кузнецов; он оказался племянником тети Фани, Фаины Мироновны, той самой, которую я отправлял в сумасшедший дом в эвакуации.

Это был любопытный парень. Решив, что достаточно быть интеллигентным для самого себя и не обязательно иметь интеллигентскую профессию и с нею плохо зарабатывать, он стал не то электромонтером, не то слесарем и работал на пивном заводе. Но он был интеллигентен в высшей степени.[2] Тем не менее при мобилизации разница сказалась. Если бы он работал где-нибудь в институте или университете, то попал бы на фронт лейтенантом, а так оказался рядовым. Правда, выживаемость лейтенантов была весьма низкой, а к тому времени Кузнецов уже успел дослужиться до сержанта. Он был диктором на радиопередвижке. С ним я и отправился на передний край.

Передний край проходил по озеру Верман. Немцы были на высоком берегу озера, а в этом месте наши позиции не доходили до озера. Нашей передовой была болотистая низина. Туда мы и стали спускаться, в низкий, негустой туман. Наверху красота осени была необыкновенная: черный словый лес и золотые березы. Скат, по которому мы шли, был открыт противоположному, где сидели немцы. Не было ни одного целого дерева, все отстреляны на высоте примерно четырех метров над землей. Мы шли как среди частокола. Кузнецов мне говорит:

— Вот сейчас немецкий наблюдатель, который сидит вон там, сообщает по телефону, что в квадрате таком-то прошли два советских солдата в направлении на юго-восток.

Мы спустились вниз, и он меня предупредил, что здесь много мин и что мы их не очень внимательно зарисовываем на кроки, где именно их ставим. Это мне ужасно не понравилось. Позже я спокойно переносил бомбежку, меньше любил осколки, но противопехотные мины наводили на меня тоску. Я шел, как он мне сказал, — по тропке, стараясь не оступаться в сторону.

---

[1] В какой-то землянке, куда я забрел, я встретил затурканного рядового солдата и разговорился с ним. Он оказался... финским шведом, но при этом ленинградцем, потерял жену и детей в осаде. Ночевал он на нарах второго этажа, как раз над нарами командира взвода и его ППЖ. Впоследствии он разыскал меня в Ленинграде и даже подарил разрозненное собрание сочинений Ибсена на норвежском, — но он, хоть и женился вновь, был всегда уныл, а у меня были свои огорчения, и знакомство наше замерло.

[2] Случай заурядный в 80-х гг., но почти немыслимый в 30-х.

К вечеру мы пришли на самый передний край — в землянку типа очень низкой избушки с тройным бревенчатым накатом, внутри — нары в один ряд, где кое-как располагались солдаты. Землянка ходами сообщений (окопами) соединялась с другими такими же и с опорным пунктом взвода, тот со следующим взводом и т.д. Здесь было то место, на котором Кузнецов базировал свой громкоговоритель.

В разных сторонах то и дело были слышны пулеметные очереди; Кузнецов сказал:

— Это они так, в белый свет.

Он показал мне текст своей последней передачи. Я немного подправил ему немецкий язык. Языковые ошибки в пропаганде всегда действуют очень плохо, но тут уж ничего нельзя было поделать: немецкий он знал не очень хорошо.

Мы решили попробовать провести передачу. Солдаты говорили, что в этом месте расстояние до немцев очень небольшое, порядка 80—100 метров, если не меньше. Здесь обычно шла непрерывная перестрелка, но в ту ночь — опять мое везение — не было ни одного выстрела. Где-то на флангах пролетали трассирующие пули — это очень красиво. Я видел их при пальбе зениток в Мурманске.

Кузнецов сказал:

— Сейчас заговорим — увидите, что получится.

Он выволок установку по ходу сообщения и стал вытаскивать рупор вбок на ничейную зону. Велел мне:

— Сидите здесь в окопе, не вылезайте.

Но уж если я попал на передний край, то надо хоть раз вылезти, тем более что по рупору непременно откроют огонь. Как мне всегда везет! Я пополз. Неумело. По-пластунски ползать — это целая наука. Кое-как проползли полпути до немцев, метров за сорок поставили рупор, приползли обратно.

Кузнецов начинает передавать — звука нет! Что-то сплоховало. Начал ковыряться в установке — звука нет. Так я и не испытал, что такое передача на переднем крае.

Командировка кончилась. На следующее утро Кузнецов пошел меня провожать обратно до штаба полка. Идем вверх по склону, и вдруг позади нас беззвучные фонтанчики — только песок взлетает. Он скомандовал: «Бегом!» — мы побежали. Минометчик вынес огонь дальше: берет в «вилку». Тут надо выскочить из «вилки»! Мы выскочили, а они долго били по пустому месту.

Добрались к землянке. Нас покормили.

Лапшу с тушенкой ели не спеша
В землянке у второго ППШ
— Ни фронтовик, ни гастролер не знали,
Что в этот август было на Урале.

Простились,[1] и оттуда на попутных машинах я доехал до Ауслендера. Он меня немного задержал — я приехал чуть раньше, чем нужно. Сказал мне,

[1] Кузнецов был убит у своей радиоустановки незадолго до нашего наступления в 1944 г.

что есть пленный, с которым он хотел бы чтобы я поговорил. У меня их побывало много, опыт я имел, а потому и согласился.

Этот пленный вдруг сообщает, что у нас здесь в штабе, где мы находимся, есть наш офицер, который регулярно передает немцам сведения. Что делать? Я решил, что должен сообщить в СМЕРШ. Так я и сделал. Они поблагодарили, и на этом все кончилось.

После этого я выехал на железную дорогу, втиснулся в поезд и вернулся в Беломорск. Там доложил обо всем Суомалайнену, а тот устроил мне страшный разгон. Как я посмел доложить не ему, а там? Я говорю:

— Мне казалось, что это так срочно, что командующий армией должен знать.

— Вы имеете свое начальство и должны докладывать по начальству!

Я понял, почему: это был наш двойник (человек, который делал вид, что он шпион). Так кончился мой выезд.

VII

Спали мы с Фимой со времени его приезда по большей части в кухоньке второго этажа, где вокруг плиты с трудом размещались наши две койки; одна была усечена по длине, и мы лежали, почти скрестив ноги. А по соседству был сортир, в дыру которого с первого этажа задувал с моря дикий холодный ветер. Но в нашей рабочей комнате было тепло; мы сидели за тем же двойным столом, между окном и теплой печкой — Касаткин слева, я спиною к печке, Фима справа (Лоховиц, помнится, переместился во вторую нижнюю квартиру, получив отдельный кабинет — бывшую комнатку с приемником).

Пили, но умеренно, хотя иной раз хотелось напиться: «наркомовские» давались в штабе только по большим праздникам. Правда, в военторге, наряду с сосновыми мундштуками, лакированными, но без дырки (проверчивать ее было нельзя — мундштук кололся), продавался иногда и одеколон, но у нас его пробовали не все; ходили слухи о «жмидави́» — сухом спирте, но в глаза его видели только Клейнерман и другие инструкторы.

Было такое впечатление, что все установилось на века; два года длились, как двадцать лет: осень... зима... лето... осень... зима... Времена года тут сменялись так: зима со снегами, ветрами и морозами длилась до начала мая, потом без весны сразу наступало лето с исчезающими ночами, пастельными желтовато-розово-сиреневыми красками во все небо до поздней ночи; с середины августа наступала холодная и ветреная, слякотная осень; во второй половине октября выпадал и уже лежал снег. После памятной трагедии 1942 г. с «голубой дивизией» интендантство не задерживалось с выдачей нам нашего изумительного зимнего обмундирования. В отличие от немцев, им у нас были снабжены все, от рядового до генерала: теплое белье, свитер под гимнастерку, фланелевые и шерстяные портянки, ватные штаны-«инкубатор» и мечта человека — валенки (правда, не для ношения в городе), на голове теплая шапка-ушанка и сверх всего теплейший бараний полушубок для каждого: это, говорят, был вклад нашего союзника Монголии в войну, и сколько людей он спас — не перечислишь. Полушубок подпоясывался одним ремнем с кобурой и пистолетом, а на плечи нашивались защитные погоны,

не отличавшие пехотинца от артиллериста, от интенданта или сапера. Сейчас — ирония истории — дамы с большим блатом достают такие полушубки как предмет моды, под названием «дубленки».[1]

Чтобы мы не забывали, что мы военные и кругом идет война, нас время от времени заставляли разбирать, протирать от тавота и снова собирать разное стрелковое оружие — от ручного пулемета — через ПТР и разные автоматы или «пулеметы-пистолеты» — до личного пистолета ТТ. Мы полюбили Дегтярева за необыкновенную простоту (и, говорят, надежность) его оружия и последними словами проклинали Токарева с бесчисленными сбивающими с толку деталями его противотанкового ружья и пистолета. А я, несчастный, должен был с опасностью для жизни моей и окружающих чистить мой испанский браунинг и даже пытаться стрелять из него.

Как-то Клейнерман в присутствии Самойлова, Лоховица и еще кого-то спросил меня, чем я, собственно, занимался в мирное время. Я сказал, что я занимаюсь вавилонской клинописью и историей древнего Востока. Тогда кто-то поинтересовался, какая у меня была зарплата в мирное время. Я сказал — 150 рублей. На это Клейнерман заметил:

— Мне не тебя жалко, а твою жену (Клейнерман говорил мне «ты», а я называл его, во-первых, по уставу, которого я всегда строго придерживался, и, во-вторых, как старшего по званию — на «вы»; так даже и после войны). Затем он попросил меня рассказать что-нибудь из древней истории. К моему ужасу, я обнаружил, что все вылетело из головы, и кажется, без следа.

Тогда я принял решение: на ночных дежурствах написать по памяти подробный очерк истории древнего Востока, заставить себя ее вспомнить, чтобы после войны не начинать все сначала.

Надо сказать, что в 7-м отделе, как в каждой военной части, у нас существовали обязательные ночные офицерские дежурства. На эти-то дежурства, происходившие в кабинете Суомалайнена, я брал с собой длинные узкие розовые листы бумаги, предназначавшиеся для печатания листовок, и писал на них «Историю древнего Востока», а также письма домой.

В кабинете Суомалайнена был телефон. Однажды по делу нужно было воспользоваться телефоном Смирнову (конечно, днем, а не во время ночного дежурства). Смирнов постучал, Суомалайнен разрешил войти, Смирнов позвонил:

— Пожалуйста, можно к телефону майора такого-то? — Затем спросил, что ему было нужно, и завершил разговор словами:

— Большое спасибо. До свидания.

Суомалайнен мрачно посмотрел на него и сказал:

— Рядовой Смирнов, чего это Вы «пожалуйста» да «пожалуйста». Вам это не положено.

Дежурный сменял на ночь в кабинете Суомалайнена, а тот уходил к себе на «левую половину».

Вечером Нина Петрова затапливала печку в его спальне, но вьюшка от печки была в коридоре. Поэтому после времени отбоя Суомалайнен заходил к дежурному и говорил одну и ту же фразу:

---

[1] Плохи были только перчатки — выдавать варежки было невозможно, потому что для стрельбы нужен свободный указательный палец. Поэтому выдавались не особенно теплые полуварежки, полуперчатки.

— Касаткин, закройте вьюшку.

— Дьяконов, закройте вьюшку.

И удалялся с Ниной Петровой, как он говорил, «подвести итоги дня».

Между тем, приближался Новый, 1944 год. Перед ним в гостях у нас был лейтенант Бать и застал мечтательно-оптимистические разговоры:

— Вот весной кончится война, тогда я...

Бать сказал, как говорил и полгода и год тому назад:

— Ну, в 1944 г. война не кончится...

Мы готовы были его разорвать.

Нынешняя новогодняя вечеринка была назначена где-то в городе — в клубе или в Политуправлении. Суомалайнен, не выносивший Фимы и меня и с трудом выносивший Бергельсона, на ночное дежурство назначил меня. Я сидел в начальственном кабинете злой и голодный — в этот день по случаю предстоявшей вечеринки в столовой не было или почти не было ужина. Сижу за своими розовыми листками.

Вдруг слышу нетвердые шаги по коридору (наборщиков у нас к тому времени позабирали на передовую, и дневального у входа не было). Выхожу из кабинета — идет незнакомый майор, шатаясь, и несет в руках по бутылке водки (все же не одеколона). Я сообразил, что это один из сотрудников фронтовой газеты «В бой за Родину».

— Забыли тебя тут? Ну, давай выпьем.

Я подумал, что он уж и так набрался изрядно, но на душе было действительно тоскливо — из Свердловска шли письма какие-то не такие, и от мамы с Алтая — очень грустные. Мы зашли в кабинет-кухоньку Бергельсона, сели, где-то достали стакан и докончили, во всяком случае, одну бутылку — вторую он унес, как только я допил. Я же вернулся за стол Суомалайнена и сел за свои листки. Но строчки бежали в разные стороны, и одолевал непобедимый сон. Я понимал, что покинуть пост дежурного и где-то завалиться на диван нельзя, но мне пришло в голову, что если я лягу на коврик между тумбами письменного стола, я не покину поста.

Где-то под утро в кабинет вошел Суомалайнен. Я, оставаясь между тумбами, с трудом поднял голову над столом и отрапортовал:

— Товарищ полковник, за время моего дежурства ничего не произошло.

Суомалайнен ничего не сказал и вышел, не упомянув о вьюшке.

А наутро, принимая у себя с докладом Бергельсона, он сказал ему:

— Наши варяги, ну вот, пить пьют, а пить не умеют.

На этом дело и кончилось.

Кажется, месяца два-три спустя — мы уже переоделись из полушубков в свои солдатские шинели — я встретил на улице Беломорска своего случайного знакомого по Коктебелю. Неживая бледность его постаревшего лица показала мне, что он из Ленинграда. Я не подошел к нему — он мог меня и не помнить; и о чем я заговорю с человеком, у которого за плечами осада нашего города?

К лету 1944 г. все изменилось.

Еще до этого постепенно в нашей штабной жизни накапливались мелкие события, и наша жизнь менялась. Прежде всего, после снятия осады Ленинграда к нам перебросили с Волховского фронта часть его штаба. Вместо прежнего командующего, генерала Фролова, в феврале 1944 г.

появился новый командующий фронтом, генерал Мерецков, из Первой Конной.

А у нас выбыл Фима Эткинд, и вот при каких обстоятельствах.

Он был командирован в очередной раз в Мурманск, а кроме того, было какое-то дело в политуправлении Северного флота, и надо было съездить в Полярное.

Там в штабной столовой Фима познакомился с одним морским офицером. Они разговорились. Фима не скрыл, что он из Политуправления фронта, и моряк спросил его:

— Это не у Вас служит полковник Суомалайнен?

Фима подтвердил это, а затем поинтересовался, какие у него дела могут быть с Суомалайненом. Тот довольно долго мялся, а потом рассказал ему следующую историю.

У него был роман с одной милой девушкой, радисткой, которая его очень любила, и он ее тоже. Но время от времени она покидала его без объяснений на несколько дней, и он заметил, что это всегда совпадает с появлением полковника Суомалайнена — он очень бросался в глаза своим белобрысым видом и армейской формой с полковничьими погонами. Он стал ревновать свою девушку к полковнику и становился все более настойчивым в своей ревности.

В конце концов она объявила, что расскажет все. И рассказала.

Ее завербовала финская разведка. Суомалайнен — финский шпион, который отбирает от нее секретные сведения.

Моряк был сражен. Он очень любил свою девушку, но — шпионка? Его безусловный долг — донести. И он донес. Девушку арестовали.

Он не находил себе места и впал в тяжелую тоску. Но однажды, командированный в Мурманск, он встретил ее на улице. Это была точно она. Заметив его издали, она перешла на другую сторону улицы. Но она была точно шпионка, по ее же собственному признанию! А что сейчас делает Суомалайнен?

По этому поводу Фима не смог сказать ничего, кроме как что Суомалайнен процветает. Но теперь ему стало понятно, почему полковник по вечерам уединялся в своей комнате «на той половине» со своей секретаршей Ниной Петровой. Дело тут, возможно, вовсе не в романтических делах. Не передатчик ли у них? Не следует ли обратиться к начальству, и к какому именно?

Фима вызвал на совет меня и Клейнермана. Я был в нерешительности, но Клейнерман настаивал, что надо идти к начальнику контрразведки.

Фима пошел. Его принял не начальник, а заместитель — очень его поблагодарил и сказал, что доложит начальству.

Через три дня его вызвал начальник политуправления и объявил ему, что он, лейтенант Эткинд, освобождается от работы в политуправлении с запрещением работать в какой бы то ни было воинской части или военном учреждении, имеющих какой-либо контакт с противником.

Фима пришел на Канал как в воду опущенный. Объявленный ему приказ означал, что ему придется работать где-нибудь в глубочайшем тылу, и поскольку он на самом деле не лейтенант, а «техник-интендант второго

ранга», то придется работать по интендантству, где его непременно подведут под какое-нибудь уголовное дело, связанное с материальной ответственностью.[1]

Подумав, Эткинд поехал в Лоухи — уж не знаю, с каким документом. И там его немедленно взяли переводчиком — видимо, разведотдела, и держали не в «Лоухах», а в оперативном штабе ближе к Кестеньге. Здесь он встретился и очень подружился с милейшим, вышедшим из узилища Федором Марковичем Левиным; пошли бесконечные историко-литературные споры и литературно-бытовые воспоминания, пока однажды к Фиме не подошел молодой лейтенантик и не сказал ему:

— Извините, Ефим Григорьевич, тут у вас с Федором Марковичем интересные разговоры, но я не все понимаю. А я должен сообщать о ваших разговорах — так говорите, пожалуйста, так, чтобы я не слышал. — Фамилию лейтенанта я теперь забыл, но долго помнил. Потом встретил его как доктора филологических наук.

Там же был забавный эпизод, когда в землянку, где оживленно беседовали Эткинд, Левин и еще несколько «политических» майоров, с двумя солдатами вошел капитан — комендант штаба, и, указывая на буржуйку, сказал:

— Убрать! — А на протесты майоров постучал себя по голове и сказал:

— Убью — оправдают.

Дело в том, что из-за тяжелого ранения в голову у капитана в черепе была металлическая пластинка, а в его деле было записано, что во время высадки разведгруппы в тыл противника он застрелил нашу девушку якобы за неповиновение. На трибунале он был признан невменяемым, но для списания в запас этого было недостаточно, и его перевели на «безвредную и безопасную» работу коменданта командного пункта армии.

Не один Фима выбыл из нашего 7-го отдела политуправления. Выбывали и другие, и прибывали новые. Куда-то перевели Клейнермана — чуть ли не к Ауслендеру в 19 армию. Лизу перевели в 26-ю армию, в Лоухи — как будто, в армейскую газету.[2] Сразу после отъезда Клейнермана Тася Портнова пала в объятия некоего Гриши Белякова (или Беляева), нового (волховского) корреспондента из «В бой за Родину»; и так как он не был джентльменом, то она вскоре уехала в недавно освобожденный родной свой городок рожать.

На месте Фимы появился кроткий Исаак Моисеевич Смолянский, тоже наш университетский. Он поразил нас тем, как лирически вспоминал лучший год своей жизни — когда он работал санитаром в сумасшедшем доме, женился и там же получил комнатку и был счастлив — только изредка молодую среди ночи будили вопли пациентов. На свою беду Смолянский решил тут же похвастать перед Айно своим знанием финского языка, приобретенным от одного пациента-финна. К сожалению, тот финн твердил нечто не для дам, начинавшееся с «Дайте мне....» Айно шарахнулась.

На месте Клейнермана появился молодой статный красавец майор Лопатин, на месте Таси — его невеста Курдюмова. Уже после моего отбытия

---

1 Секрет же был в том, что Суомалайнен снабжал противника «дезой» (дезинформацией).

2 Здесь Лиза вышла замуж за майора-журналиста; после войны уехала с ним в Винницу; они прожили вместе долгую и счастливую жизнь; ее сыновья учились с моими в университете.

в Мурманске справлялась свадьба Лопатина и Курдюмовой. Ко всеобщему изумлению, деликатнейший, скромнейший Г. вдруг куда-то увел невесту и заперся с ней, и до утра жених бушевал. Думаю, что он был в большом подпитии, и что невесте ничего не грозило.

Эта была все та же проблема мужчин без женщин в армии[1] — проблема, которую немцы разрешали путем предоставления всем военнослужащим поочередно, независимо от чинов, отпуска домой через каждые 11 месяцев (отпуска прекратили лишь в последний год войны), а также путем создания солдатских публичных домов из девушек, собранных с оккупированных территорий. Заметим, что у немцев не было своих женщин — даже сестер — ни на фронте, ни даже в ближнем тылу.

За три года в Беломорске почти все штабные обзавелись так называемыми ППЖ: у Клейнермана была Тася, у Суомалайнена — Нина Петрова, у Розанова и у Шаллоева — разнообразные преданные подружки, у Самойлова — его зам. председателя Совета министров, у Фимы — законная жена, у Давида — законная жена. Никого не было у Батя, у Лоховица, у меня и у Гриши Бергельсона.

Сокращение ППЖ было в подражание общеизвестным ППД и ППШ, названиям автоматического оружия: »пистолет-пулемет Дегтярева» и «пистолет-пулемет Шпагина». ППЖ, конечно, означало — «полевая походная жена». Они еще шутя назывались «боевыми подругами». Возлюбленные генералов и командиров частей хотели, чтобы те выражали им какое-то внимание, а в распоряжении тех были только пайки да ордена и медали. Дать своей своей ППЖ боевой орден было все-таки неудобно перед бойцами. Поэтому им давали медаль «За боевые заслуги» (а бойцам — «За отвагу»). Это было столь частое явление, что эту медаль стали называть «За половые услуги».

Но это все не главное, а главное то, что на самом деле положение девушек было невеселым, и ведь большинство из ППЖ воевало на фронте, и не хуже солдат; медсестры вылезали за ранеными на ничью землю, снайперы (если не оседали в штабах) выставлялись под пули, и немало из них сложили свои головы. Как поет Булат Окуджава:

Сапоги — ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон.
Вы наплюйте на следчиков, девочки!
Мы сведем с ними счеты потом.

---

[1] А Анна Дмитриевна Мельман (о которой ниже) рассказывала мне впоследствии такой эпизод времен войны уже с Японией. Она была командирована редакцией газеты в какую-то часть, но ее застала ночь на аэродроме. Рядом был расположен женский полк связи, и она попросилась у командира полка переночевать в общежитии. Командир долго мялся, предлагал ей переночевать в штабе на столе, но потом поддался на ее настоятельные просьбы и отвел ее в общежитие. Был уже отбой, в помещении было темно; командир нашел свободное место на нарах и посветил ей фонариком, чтобы она могла устроиться. Едва она стала задремывать, как почувствовала навалившуюся тяжесть и запах перегара в лицо. С трудом избежав ласк пьяного, она выбежала во двор; было холодно, и она прохаживалась вокруг барака.

Вдруг ее осветил фонарик командира полка, делавшего обход.

— Это Вы? Почему Вы здесь? — Да так, не спится как-то. — А, я знаю, как не спится. Пойдемте! — И, взяв ее за руку, ввел ее обратно в барак и, войдя, повернул выключатель.

На всех койках, на верхних и на нижних, были пары.

— Мать вашу, — закричал командир полка, — сучьи, сучьи меня перед товарищем корреспондентом.

Ей еле удалось утихомирить его, чтобы он отвел ее спать на столе в штабе.

Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад
— До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад!

Не надо женщинам быть в воюющей армии.

Среди прочих штабников, переведенных к нам с Волховского фронта, было и несколько газетчиков, в том числе и упоминавшийся выше Беляков, который, впрочем, не представлял собой ничего особенно интересного — высокий, смазливый брюнет, ухудшенный вариант Клейнермана. Более интересен был бы поэт Павел Шубин, если бы он хоть изредка не был под большим градусом. Он сочинил, между прочим, переложение известной тогда песни, ставшее «национальным гимном» Волховского фронта, которое и мы приняли:

Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Но уж, когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось.

Вспомним про тех, кто неделями долгими
В мокрых лежал блиндажах,
Дрался на Ладоге, дрался на Волхове,
Не отступил ни на шаг.

Вспомним про тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
В горло вцепляясь врагу.

Пусть вместе с нами земля Ленинградская
Рядом сидит у стола:
Вспомним, как русская сила солдатская
Немцев за Тихвин гнала.

Будут в преданьях навеки прославлены —
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой.

Встанем и выпьем и чокнемся стоя мы
В память годов прожитых:
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за встречу живых.

И мы вставали и пили. За чужое мужество, за тех, кто пал вместо нас. Вставали и пили и в 1944 году, и в 1954 году, и в 1964 году.

Наиболее приятными из новоприбывших в редакцию «В бой за Родину» были для меня супруги Рунины: длинный, носатый, добродушный Борис Михайлович Рунин, с узкими капитанскими погонами, и маленькая, удивительной красоты его жена Анна Дмитриевна Мельман, тоже в форме, но без погон — вольнонаемная.

В начале войны с ними случилась такая необыкновенная история: они оба пошли в армию добровольно, но, конечно, сразу же были разлучены: она сидела в газете Западного фронта, он был направлен в часть.[1] И вместе с одним из подразделений, как тогда часто водилось, попал в немецкое окружение.

[1] Часть была своеобразная: она состояла... целиком из членов Союза писателей.

Когда Анне Дмитриевне сообщили, что он пропал без вести, она лишилась дара речи — не в переносном, а в совершенно прямом смысле слова: она стала немой. Пила, ела, жила, слышала — а говорить не могла.

Такое состояние длилось долго. Рунин, правда, довольно скоро выбрался из окружения, но ему еще предстояло проходить проверку в СМЕРШе, как всем выходившим. Тогда, в 1941 г., большинство выходило из проверки благополучно — вот почему нам даже в голову не приходило, что все пленные, так радостно освобожденные в 1945 г., будут без разбора отправлены на Воркуту и Магадан, в концлагеря.

Рунин вернулся, и при виде его у жены вернулся голос. Оба они были необыкновенно приятные собеседники, и очень по мне: стихов они знали не меньше, чем Коваленков, ума у обоих было много и идей тоже, и люди они были глубоко порядочные.

VIII

Не только люди сменились. Изменилась и обстановка на нашем Карельском фронте. Еще с весны 1943 г. прекратились бомбежки на железной дороге, прекратились бомбежки Мурманска, и уже мы бомбили, и очень сильно, немецкие портовые базы в Лиинахамари, Киркенесе, Вадсё, Вардё. Было ясно, что вскоре и у нас начнется наступление, которого мы так долго ждали: с лета 1943 г., после битвы на Курской дуге, наступал весь советский фронт. Ход войны повернулся в нашу пользу.

В июне 1944 г. началось общее наступление на Финляндию: Ленинградского фронта — через Свирь на Олонец и Петрозаводск, и нашей 32 армии — на Медвежьегорск и Петрозаводск, и 26-й — против немцев на Суомуссальми.

В самом начале наступления погиб мальчик Пиньяйнен. Наши заняли оставленный немцами командный пункт армейской группы в Кестеньге. На одном из газонов лежала немецкая граната с длинной ручкой — как было мальчишке не поднять ее? Но это был «сюрприз» — и ему оторвало голову.

Немцы отошли от Кестеньги потому, что откатывались финны. Скорый выход Финляндии из войны можно было предвидеть, хотя бы по тому, как аккуратно финны уходили из Петрозаводска, стараясь ничего не разрушить. (Это, правда, им не помогло — их заставили платить за обнаруженные разрушения, т.е. за то, что взорвали мы сами при отходе в 1941 г., например, за Петрозаводскую филармонию). Когда наши войска вступили на территорию, оккупированную финнами, то там обнаружилась такая картина: они выселили всех жителей прифронтовой полосы, но карелам дали лучшие квартиры в Петрозаводске, а русских расселили как похуже, вроде как в гетто. Карелы очень отличались от финнов по языку, по вере, по уровню культуры, и прежде у них не было профинских настроений. А теперь, когда мы входили в их квартиры, то всюду видели портрет Маннергейма на стенке. В дальнейшем карелы спаслись от участи крымских татар только тем, что они были союзной республикой, упразднять ее было труднее, чем автономную, да и нерасчетливо: Карело-Финская республика имела даже свое министерство иностранных дел, и Сталин рассчитывал, что наши союзные

республики, подобно британским доминионам,[1] получат голоса в ООН — вернее, мы получим 16 голосов вместо одного.

Итак, в Карелии мы встретили неблагожелательный прием.

Тут произошла одна «очаровавшая» нас история. Некая молодая карелка подала командованию жалобу на то, что ее пытался изнасиловать поэт Ш. Впоследствии в Германии жалоб на изнасилование были тысячи, и никто на них не обращал ни малейшего внимания,[2] но тут была наша территория, а с этой проблемой командование встретилось впервые. Ш. отдали под военный трибунал; напрасно он объяснял, что забрался к этой карелке в сарай, чтобы выспаться, и был в том состоянии опьянения, когда изнасиловать кого бы то ни было физиологически невозможно. Его приговорили к расстрелу, замененному тремя месяцами штрафной роты. Он остался жив и потом даже получил обратно свои майорские погоны.

В ожидании выхода Финляндии из войны штаб фронта начали с июля перебазировать на север, в Кандалакшу и поселок Нива III.

Вслед за всем штабом фронта, передвинувшимся в Кандалакшу и Ниву, начал двигаться и наш 7-й отдел. Нас перебросили с Канала, где мы неподвижно просидели более двух лет, в Ниву III (теперь называется Нивский), пригород Кандалакши, аккуратную каменную новостройку.

В отличие от Беломорска, он не состоял из старых избенок, и главная улица была асфальтирована. От пребывания там у меня в воспоминании осталось несколько сценок. У нас вдруг появился от Ауслендера (начальника 7-го отдела 19 армии) длинный худой изможденный солдат в видавшей виды гимнастерке, серых обмотках и худых башмаках. Я ахнул — это был наш красавец Андрей Иванович Корсун, восседавший среди резного дерева и карельской березы кабинета Николая II, небрежный библиотекарь нашего Отдела Востока в Эрмитаже и немного поэт, председатель знаменитого «Перузария». Мы сели с ним на какие-то бревнышки и начали беседовать. Он долгое время был армейским почтальоном, потом попал связным (т.е. попросту денщиком) к молоденькому полуграмотному грубияну-лейтенанту. Об этой службе он не мог говорить без дрожи в голосе. — Ауслендер пытался его взять к себе в отдел, но для 7-х отделов он... недостаточно знал немецкий! Андрей Иванович всегда относился несерьезно к формальному образованию; пожалуй, и университета он как следует не кончил — на войне это ему очень повредило. Я уже некоторое время до этого переписывался с ним, как и с десятками других эрмитажников — дружеские письма тогда очень ценились. Поговорили и разошлись — он ушел в свою часть. С войны он вернулся, но недолго потом прожил.

---

[1] Что показывает его слабую грамотность в области государственного права: статус доминиона не имеет ничего общего со статусом советской союзной республики. Доминион нельзя упразднить указом из британской столицы, как при Никите была все-таки упразднена Карело-Финская союзная республика.

[2] Характерную историю рассказала мне после войны моя ученица и дивизионная переводчица Ирина Дунаевская: какая-то наша девушка-боец, утомленная сапогами и гимнастеркой, нацапала где-то по немецким квартирам дамское белье и платье и, так переодевшись, гуляла по улице. Тут ее встретили два Ивана и, не слушая ее уверений, что она своя, разумеется, изнасиловали ее.

Она подала жалобу командиру своей дивизии. Командир дивизии написал на ее жалобе резолюцию: «Трое суток ареста за хождение одетой не по форме». Все увеселялись.

Еще продолжалось наступление против финнов. В ходе наступления наши подошли к Суоярви, к северу от Онежского озера. Здесь проходила финская граница до 1939 г., и здесь финны пытались задержаться, чтобы улучшить свое положение при заключении перемирия.

В связи с этим произошел такой эпизод. Ночью у Мерецкова зазвонил телефон. Это был Сталин.

— Почему вы не продвигаетесь?

Мерецков отвечает:

— Перед нами четыре дивизии, и наших сил недостаточно. — Нет, две, — сказал Сталин. Мерецков стал было возражать, но Сталин сказал:

— По вашей сводке, — и повесил трубку.

Мерецков, который имел еще большее основание бояться Сталина, чем любой другой советский гражданин на свободе (в сорок первом он едва ушел от расстрела), срочно потребовал к себе начальника разведотдела. Это уже был не Поветкин, который писал слово «суббота» через одно «б», а значительно более грамотный генерал-майор Василенко. Тот, понимая, что речь пойдет о разведданных, взял с собой тех, кто составлял сводки — Задвинского и Прицкера. Все трое вошли и доложились. Мерецков встретил их матом и беспрерывно материл минут семь. Наконец, выяснилось, в чем дело:

— Почему вы меня ставите в такое положение перед Верховным, что я ему говорю — передо мной четыре дивизии, а он говорит — две! Почему вы меня неправильно информируете?

Василенко ему говорит:

— Конечно, две. Мы давали Вам сводку, и Вы ее сами подписали. Две дивизии убыли и уже обнаружены на Ленинградском фронте.

— Ничего подобного! — закричал Мерецков и продолжал материться, обещая снять Василенко с должности.

Но Василенко был генералом, и так просто его снять было нельзя. Для разбора дела приехал представитель Ставки. Он просмотрел документы и нашел копию телеграммы, подписанной Мерецковым, который о ней, видимо, забыл. Было ясно, что Василенко не виноват. Представитель Ставки сказал ему:

— Снять кого-то нужно, не снимать же Мерецкова, придется все-таки снять Вас.

Там же, на Ниве я получил открыточку от Фимы Эткинда. Этот человек всегда был полон неожиданностей. На этот раз он сообщал мне, что надумал вступить в партию и просил моего мнения. Я написал (пользуясь тем, что цензоры читали только исходящие письма), что не следует вступать в такой брак, который нельзя расторгнуть. Он послушался совета, был мне благодарен и впоследствии смеялся над своим неуместным порывом.

Делать на Ниве было ровно нечего: пленных не было, трофейных писем, книг и бумаг — тоже, листовки бросать в условиях наступления трудно. Мы, главным образом, чесали языки — о ходе войны и о женщинах; я, конечно, в первых разговорах принимал самое активное участие, а во вторых — никогда. Разговоры о женщинах с течением времени становились все менее легкомысленными и все более принимали горький и трагический характер.

Анна Дмитриевна Мельман, которая была настоящий военный корреспондент и по смелости вряд ли уступала Константину Симонову, приехав из командировки на Кандалакшское направление незадолго до того, как наш фронт здесь тронулся с места, рассказывала мне следующий эпизод. Она решила посетить опорный пункт взвода, лежавший на одинокой высотке на фланге, отделенный от ближайшего нашего расположения полутора или двумя километрами простреливаемых противником болот. Вместе со своим провожатым она проползла эти полтора километра на брюхе и явилась на нужный ей опорный пункт. Надо было ее видеть, какая она была красавица, с точеным лицом, шелковыми черными волосами, чудными глазами — только слишком маленькая, особенно в военной форме (только без звездочки на пилотке и без погон). А тут еще и вообще первая женщина, появившаяся здесь от начала времен. Ее окружили со всех сторон, восхищались ее смелостью, сравнивали с начальством, которое ни разу сюда не заглядывало — ни командиры, ни политработники; да что там начальники — и почтальоны не всегда добирались, кашу доставляли холодной. Один молодой солдат сел позади нее и осторожно гладил ее волосы, думая, что она не заметит. Потом перешли — опять-таки в порядке сравнения — к своим женам: все стервы, изменщицы, спят кто с милиционером, кто с бригадиром (откуда бригадир? Инвалид, наверное).

Только один солдат сказал: «А я вот про мою жену ничего плохого не скажу. Она мне часто пишет, и из колхоза пишут, какая она работящая да молодец». Помолчал и прибавил: «Приеду, все равно убью».

Анна Дмитриевна сначала ошалела от такой декларации, но потом сообразила, что «убью» здесь означает всего-навсего «побью».

— Отчего же, раз она такая хорошая?

— А вдруг все-таки блядует?

Она спросила, кто из них самый большой герой, о ком написать надо.

Тут разговор был прерван прибытием похоронной команды.

— Где у вас этот мертвяк-то?

— Да вон там, за камнями, видишь, без сапог? А кто герои, спрашиваешь, девушка? Ну, какие из нас герои! Вот у нас был старшина, так вот это герой! И человек какой, и выручит, и позаботится!

— Да, такого поискать!

— Ну, это человек, да-а!

— А где же он? Могу я с ним говорить?

— Да нет, девушка! Три дня как убило. Да вот же, похоронная как раз сейчас за ним приходила.

Ну а у нас в 7-м отделе похоронная команда ни за кем не приходила, но разговоры и у нас тоже были больше всего о женских изменах.

Можно ли простить. А если и сам виноват, можно ли простить. А может ли женщина столько времени без мужика. Нет уж, такая мне не нужна. Да уж, кому такая нужна.

И так до бесконечности, по кругу.

И вдруг несчастный, всегда молчавший художник рядовой Смирнов встал и сказал:

— Мне умный человек так сказал: приедешь — скажи жене: «Подмойся и забудь».

Это прозвучало как-то окончательно, и все замолкли.

В августе действия против финнов почти прекратились — уже начались переговоры о перемирии. Но на севере Финляндии немцы уходить не собирались и продолжали сражаться. 9 сентября мы начали наступление на Кандалакшском направлении. План наступления подсказывался самой ситуацией — участок нашего соприкосновения с немцами был окружен пустой тайгой, и, подкопив войска, можно было через эту пустоту попытаться взять немцев в клещи.

Как читатель помнит, сплошного Карельского фронта не было, а были короткие небольшие фронты среди тайги и тундры. На Кандалакшском направлении наши части, усиленные подкреплениями, двинулись по сторонам укрепленного участка, с выходом в долины рек Тенисойоки (67, 104, 341 стрелковые дивизии и 38 танковая бригада) и Тумчи (122 дивизия); они быстро продвинулись с двух флангов и окружили немцев: им оставалась только узкая лазейка для отступления. Около Куолаярви мы почти сомкнули кольцо вокруг немецких дивизий, базировавшихся на Алакуртти, оставшемся далеко позади. Идея, конечно, заключалась в том, чтобы сделать им котел. Но на это надо было получить разрешение Сталина. А он запретил.

Всякому было известно, что спорить со Сталиным накладно и опасно, но Мерецков все же позвонил в Ставку, и несколько его представителей полетели в Москву объясняться. Сталин ему сказал:

— Я отвечу Вам, как Кутузов: «Вы ищете славы, а я смысла». Запрещаю. Пускай отойдут.

Сталин оказался прав, так как, сделав немцам котел, мы сами понесли бы огромные потери, потому что они не сдались бы без тяжелых боев. А таким образом мы бесплатно освободились от них, потому что они отошли даже не в Финляндию, которая вскоре вышла из войны, а вглубь Норвегии, и более в боевых действиях не участвовали.

У нас в штабе этот разговор передавали именно так; в официальной истории Карельского фронта он передан несколько иначе, но смысл тот же.

К осени, к нашему изумлению, у нас сняли Суомалайнена. На его месте появился некий подполковник Курбанов, или Курганов, не помню точно. Дела нашего он не знал, а назначение его, надо думать, было связано с начавшейся «линией» на руссификацию кадров. Для меня его появление неожиданно обернулось орденом. Дело в том, что Суомалайнен принципиально представлял к орденам только тех, кто бывал на передовой: у Ранты еще со времен боев под Петрозаводском был орден Ленина, у Самойлова — Отечественной войны и т.д.; Клейнерман и Гриша Бергельсон получили скромную «Звездочку». Новый начальник быстро доставил по «Красной Звезде» капитану Касаткину и старшему лейтенанту Дьяконову — за что именно, — в приказе значилось довольно туманно. Доставили мне орден уже в Норвегию в начале следующего года.

В сентябре, почти одновременно с заключением перемирия с финнами, начало готовиться наше наступление и на Мурманском направлении.

Если и на Кандалакшском было трудно, то здесь еще труднее: здесь были

скалистая тундра, сопки — и при том все наиболее удобные, господствующие позиции — у немцев. Считалось, что там в тундре — как и в тайге — ходить танки не могут. Немцы привезли под Кандалакшу некоторое количество французских танков, но они едва могли там передвигаться.

Обманув немцев ложными передвижениями перед их фронтом, наши, пользуясь тем, что над нашими коммуникациями уже не было немецких самолетов и день был уже предельно короток, перебросили на Мурманское направление новые части, в том числе, неожиданно для немцев, и танки; 9 октября по всему фронту началась мощная артиллерийская подготовка, а на правом, незащищенном фланге немцев (нашем левом), между Ристикентом на финской границе и верхним течением реки Титовки, по каменной тундре двинулись наши танки[1] с пехотой, угрожая отрезать немецкие дивизии у побережья, с их мощными долговременными укреплениями.

Одновременно наша морская пехота начала высадку в Петсамской губе, отрезав немцев в их горных позициях на Мустатунтури; те до сих пор, в свою очередь, блокировали нашу морскую пехоту на полуостровах Среднем и Рыбачьем. Немцы покатились от Мустатунтури в сторону Петсамо, преследуемые морской и неморской пехотой.

По рассказам генерала В.И.Щербакова, командующего 14 армией, которые я слышал от него много лет спустя, операция была много сложнее того, что описано в опубликованной литературе, например, в мемуарах члена военного совета фронта Грушевого, который занимался вопросами тыла и, видимо, недостаточно знал то, что происходило на фронте; и не так, как описано в мемуарах Мерецкова, которые на самом деле писал его послевоенный адъютант.

Между Мерецковым и Щербаковым была неприязнь. По Щербакову выходило, что всю операцию вела его армия, а Мерецков только мешал делу. Я готов этому верить, ибо к сентябрю в распоряжении командующего фронтом только и оставалась 14 армия, которой непосредственно командовал Щербаков, одна дивизия из 19 армии и танки, так что функция командующего фронтом тут была вроде бы вообще не ясна. Оба штаба, фронта и армии, расположились рядом. Да и вообще Мерецков считался в штабе дураком, чего не скажешь о Щербакове.

Однако этой операцией Сталин остался доволен — она была объявлена десятым из знаменитых «Десяти сталинских ударов» 1944 года (не звание, ныне уже исчезнувшее из учебников и энциклопедий). И Мерецков получил за нее, наконец, маршала. Это звание до тех пор все время от него ускользало, хотя он и был из любимой Сталиным Первой Конной времен гражданской войны и победоносно командовал Волховским фронтом, — да видно, Сталин не мог ему простить дело 2-й ударной армии. То обстоятельство, что осенью 1941 г. Мерецков ожидал расстрела, а Сталин его вдруг помиловал (одного из десятков смертников!), Сталина волновало, наверное, меньше. Впрочем, и к Рокоссовскому, также спасшемуся из застенка, Сталин относился недоверчиво.

---

[1] Во-первых, немцы считали, что танки не смогут проходить по скалам и скалистой тундре; во-вторых, их не видела немецкая воздушная разведка: их разгрузили в Мурманском порту, над которым давно уже не было немецкой авиации, а затем перебросили на левый берег Кольского залива, где до фронта шла грунтовая дорога.

Щербаков же остался как бы в тени, и к тому же после взятия Киркенеса превратился в тылового генерала, — хотя, конечно, получил не только наш, но и высший норвежский орден, и в честь его в Киркенесе была названа аж целая улица.

Начавшиеся в октябре бои оказались очень тяжелыми.

Между норвежской границей и нашей территорией была выходившая к Баренцеву морю полоса Петсамо, которая принадлежала Финляндии до войны 1939—1940 гг. Затем мы ее забрали, а в 1941 г. она снова отошла к финнам. Мы за два года не успели ее тогда освоить, она так и осталась финской и саамской (лопарской).

На этой территории не было собственно городов или поселков городского типа, а были только скопления домов — у берега в Лиинахамари, в Петсамо собственно и в Луостари, что в Печенгской долине, и юго-западнее, в районе никелевых разработок.

Финны, хорошо зная наших, увели все население из области Петсамо, которое там оставалось, полностью. Все там было пустынно, хотя здания уцелели.

Самыми сложными были бои за порт Лиинахамари. Петсамо лежит в стороне от моря, а это был выход к морю, здесь была одна из немецких военно-морских баз. Лиинахамари был занят одновременно нашим морским десантом и нашей пехотой. Немецкие части были тем самым частью уже полностью отрезаны, частью им угрожало окружение от нашего флангового продвижения. Они начали откатываться по трем дорогам — от Петсамо в Норвегию к Ярфьорду и Киркенесу, от Луостари на Ахмалахти и Никель, а оттуда — частью к северу в сторону Киркенеса и западнее его, частью вверх по реке Патсойоки, вдоль норвежско-финской границы.

Луостари было занято 12 октября, Лиинахамари — 13-го и собственно Петсамо — 15-го, т.е. после почти недельных боев; еще более недели шли тяжелые бои, пока наши, продвинувшись от Петсамо на 30—40 километров, 22—23 октября не вышли на норвежскую границу.

В первых числах октября и наш 7-й отдел фронта еще раз перебросили на север — теперь в Мурманск.

Глава пятая (1944—1945)

...Над милым прошлым поднялась завеса
Пожаров красно-синей полосой,
Видением чужого Киркенеса,
Спаленной жизни теплою золой.

I

Наступление 14 армии на Мурманско-Киркенесском направлении было очень тяжелым, по условиям местности и из-за жестокого сопротивления противника, но тем не менее шло блестяще, с большим перевесом в боевой силе и технике. Заходившие с фланга неожиданно для противника наши танки наводили на него панику, авиация наша заполняла небо. Уже настала зима, и боеприпасы из тыла частично доставлялись оленными отрядами. С Мустатунтури во фланг австрийцам ударила морская пехота.

В Мурманске не было ни одного совершенно целого дома — значительная часть лежала в руинах, у других — где обрушилась стена, где стены были пробиты или побиты осколками, и во всех окнах либо зияли дыры, либо чернела фанера. На восточном склоне, где раньше была деревянная часть Мурманска, торчали одни трубы, и лишь по самому краю сохранилось несколько стандартных деревянных двухэтажных домов. Но все же это был все тот же город, который мы полюбили во время бомбежек и наших якобы подпольных радиопередач.

А сейчас мы в Мурманске сидели и бездельничали. С началом наступления нам заняться было нечем. Трубить в громкоговорители радиопередвижек и разбрасывать листовки было бесполезно. Оставалась, казалось бы, работа с пленными. Но они попадали к разведчикам и в Мурманск не переправлялись: вообще армии было не до нас.

Поместили нас в громадном гимнастическом зале школы — с битыми стеклами. Там были расставлены многочисленные койки и стоял стол или два. Все мы сидели на этих койках, и было неясно, что нам дальше делать. Резались в покер. Читали стихи. На Канале мы успели обзавестись книгами, но с собой их не взяли. Чемоданов, в отличие от немецких офицеров, мы не имели.

Что происходило вокруг нас? Наши части выбили немцев (вернее, австрийцев по преимуществу) с горных опорных пунктов за рекой Большой Лицей и заставили их отойти от Мустатунтури, освободив осажденный Рыбачий полуостров; затем вступили в долину Петсамо, тогда финскую, перед норвежской границей (проходившей, кроме небольшого полуострова к востоку от ее устья, по реке Паз, или, по-фински, Патсойоки, а по-норвежски — Пасвикэльв). На этой узкой полосе, соединявшей Финляндию с Баренцовым морем, были расположены поселки Салмиярви (около современного Никеля), Луостари (теперь Заполярный), Петсамо (Печенга) и порт Лиинахамари.

После выхода из войны Финляндии и нашей победы на Кандалакшском направлении 32-я и 26-я армии были расформированы, а части переброшены на другие фронты. Части 19-й армии участвовали в боях на фланге

Мурманско-Киркенесского направления, но потом были тоже отведены на Первый Украинский фронт. Разумно было бы расформировать и Карельский фронт, но этого не было сделано. Его командующий Мерецков имел теперь в своем распоряжении одну единственную 14-ю армию, которой успешно командовал генерал В.И.Щербаков, а кроме этого, одну дивизию и танки из 19 армии. Штаб Щербакова находился сначала на Лице, а потом был выдвинут в Луостари. Сам Мерецков со штабом находился в подземном убежище под Мурманском, но оперативная группа штаба фронта была выдвинута рядом со штабом Щербакова, и это, судя по всему, только мешало делу.

У Мерецкова был начальник штаба и почему-то целых два «члена военного совета», т.е. политических комиссара, Штыков и Грушевой, а у Щербакова был свой начальник штаба и еще «член военного совета» генерал-майор авиации Сергеев. Штыков был переброшен из Ленинграда и вместе со всем штабом Карельского фронта впоследствии попал на Дальний Восток; таким образом он спас жизнь, когда Сталиным было затеяно пресловутое «ленинградское дело»; Грушевой — не знаю, откуда взялся, но во всяком случае особо близко не подъезжал к фронту. Зато после войны, как рассказывал мне В.И.Щербаков, велел своему адъютанту (послевоенному) написать его воспоминания о Киркенесской операции и тем ввел в полное заблуждение последующих историков войны.

Я тогда этого не знал, но 22 октября 1944 г. наши войска стали пересекать норвежскую границу.

Надо сказать, что наш Северный флот и наша 14-я армия воевали по «моим» картам. В 1939 г. меня пригласили в Адмиралтейство и предъявили норвежские морские карты, которые я должен был перевести на русский язык — вернее, перетранскрибировать русскими буквами, согласно их норвежскому произношению, те географические названия, которые были подчеркнуты составителями наших соответствующих карт. Нужные названия были отобраны разумно, а я получал по 50 коп. за каждое, и в итоге вместе с гонораром за перевод стихотворного отрывка из «Эпоса о Гильгамеше» я заработал достаточно для того, чтобы сшить красивое осеннее пальто — «шкуру Гильгамеша», — которое я потом сдал при мобилизации и после войны очень жалел о нем.

Примерно год спустя, в 1940 г., я был вызван в секретный отдел Эрмитажа, и там мне было предложено проделать такой же перевод карты Северной Норвегии для армии. Платили мне по 10 коп., а после работы приказали подписать бумагу «о неразглашении тайны»; но, в отличие от моряков, армейские картографы выбирали названия для перевода совершенно безумным образом. Я сразу сказал пришедшему с картами военному, что, поскольку в Норвегии нет деревень, а только хутора, постольку на всех картах, кроме километровок, помечаются названия только церквей — центров «бюгдов» — округ или приходов, потому что отдельный хутор всегда может быть покинут или, проданный, получить новое название по новому владельцу. На моем же оригинале были подчеркнуты названия именно хуторов, причем произвольных. Например, в Киркенесском районе были вовсе не подчеркнуты пограничные населенные пункты — Гренсе-Якобсэльв, Ярфьурботн, Бурис-

Глэб и другие. В Ярфьурботне была подчеркнута какая-то «башенка» — то ли колокольня, то ли каланча, при которой было написано «taarnet» «башенка, the tower». Но картограф сказал мне: «Выполняйте приказ». Я выполнил, написал «Торнет» и т.п., а потом наши офицеры тщетно искали на местности то, что было обозначено на карте.[1] В наших военных сводках и в официальной истории Карельского фронта сообщается, что наши войска заняли город «Тарнёт» (так!). Вообще, по сводкам, мы заняли в норвежской провинции Финнмарк четыре города: город Тарнет, город Киркенес, город Мункэльвен и город Нейден. «Тарнет» вообще не существует, Киркенес мы обошли стороной, Мункэльвен — хутор, Нейден — маленький поселок. Совсем пропущен был взятый нами большой горняцкий поселок Бьёрневатн. Так пишется история.

Если я правильно помню, именно 22 октября 1944 г., когда наши войска вышли на норвежскую границу и начался четвертый и последний рывок наступления 14-й армии, перед школой, где мы помещались, остановился виллис,[2] откуда вышел лейтенант и, войдя в наш гимнастический зал, спросил:

— Старший лейтенант Дьяконов здесь?

Я отозвался.

— Вас вызывает командующий фронтом, возьмите с собой все вещи.

У меня был только заплечный мешок — не стандартный защитного цвета, а сшитый из тещиного чехла на мягкий стул, полосатый. Я его оставил. Солдатская шинель, ремень, пистолет, ушанка — их уже успели выдать вместо летних пилоток. Кажется, Гриша мне сказал: «Может быть, Вы едете надолго — пойдите, получите полушубок». Я пошел и получил. Приказа перейти на зимнюю одежду не было, но я решил, что сойдет. Надел полушубок, но не успел перешить погоны — лейтенант торопил: я сунул их в карман. Сел с лейтенантом в машину, и мы поехали по какой-то непонятной дороге за город. Вышли в пустом месте, среди скал и уже запушенной снегом тундры. Неожиданно открылся подземный ход; оказывается, он вел на засекреченный командный пункт штаба фронта. Прошли по ступеням, по коридорам и наконец подошли к помещению командующего фронтом генерала К.А.Мерецкова. Он встретил нас сурово, был чем-то раздражен — не тем ли, что его фронт состоял теперь из одной только армии и командующий ее, генерал В.И.Щербаков, без помощи командующего фронтом сам справлялся с наступлением.

— Вы Дьяконов? Норвежский знаете? Хорошо знаете? — спросил командующий.

— Почти как русский, — ответил я.

---

[1] На месте потом не оказалось никакой башни, но название Торнет там было известно — это было несколько домиков, через которые на Лицу проходила немецкая автотрасса — «Ледовая дорога», построенная нашими военнопленными до Луостари.

[2] Виллис, «козлик», или джип — маленький открытый автомобиль защитного цвета, с необтекаемым кузовом, на высоких колесах со специальными шинами для езды по бездорожью. Мы получали их от американцев по «ленд-лизу», ездили на виллисах высшее командование, порученцы и т.п.

— Хорошо, отправляйтесь немедленно в распоряжение начальника политуправления фронта генерала Калашникова, в Луостари.

Я сказал — Есть! — и вышел в полной растерянности. Что и как делать? Как добираться через Кольскую губу до Петсамо? В коридоре мне встретился Давид Прицкер. Он, оказывается, только что получил такую же точно командировку в оперативную группу фронта в Луостари.

Из Мурманска прямой дороги к Петсамо не было. Поперек тянулся длинный Кольский фьорд — по-русски Кольская губа. Нужно было перебираться через него на пароме. А на чем добираться оттуда до Луостари — тоже было неизвестно. Прицкер сказал, что надо ехать до Мурмашей, дачного пригорода Мурманска, там есть аэродром, и нас перебросят. Нашли попутную машину и отправились в Мурмаши. Из горной тундры въехали в прекрасный лесной поселок, добрались до аэродрома и доложились начальнику воинской части бомбардировочной авиации. Он сказал:

— Мне сейчас вас не на чем отправлять. Ждите.

Мы устроились на нарах в какой-то землянке или избе, сейчас уж не помню. Кто-то потеснился. Жили там два дня. Каждое утро приходили на аэродром и ждали до вечера. Самолеты приходили и уходили на свои боевые задания, а нас не брали. Я очень волновался, так как мне было приказано немедленно явиться. Прицкер, более опытный и знакомый с воинскими порядками еще с Испанской войны, говорил:

— Вы не беспокойтесь, еще прилетите слишком рано.

На второй или третий день дежурный сказал, что командир полка нас сейчас отправит. Там были маленькие бомбардировщики ИЛ-2; всему миру были известны штурмовики ИЛ-2 («черная смерть»), но эти (ИЛ-2 МЗМ) были оборудованы под бомбежку. В них было очень мало места: только для пилота и стрелка-радиста или бомбометателя. Прицкера впихнули в кабину вместо бомбометателя, а меня посадили в брюхо самолета — в бомбовый люк. Самолет летел без бомб, на какое-то другое задание. Я шутил сам с собой: а что если пилот по рассеянности нажмет кнопку, бомбовый люк откроется, и я полечу на немцев вместо бомбы? Это я в первый раз в жизни летел в самолете. Хотелось посмотреть на землю, но для обзора у меня была только маленькая щель, где люк неплотно закрывался. В щель была видна тундра, затем окопы и над ними дым. Видимо, шел бой западнее Луостари. Больше ничего я не мог разглядеть. Наконец, самолет развернулся, и мы приземлились в чистом поле, на временной посадочной площадке. Когда мы вышли, мы спросили у солдат — видимо, из БАО (батальона авиационного обслуживания), — где тут штаб армии и политотдел. Они сказали, что недалеко — километров восемь-десять.

— Вы не потеряетесь: идите прямо, в этом направлении.

Мы пошли. Дороги никакой. Шли по тундре, ориентируясь по солнцу. Это были места недавних боев, непременно должны были быть минные поля. Всюду лежали убитые немцы — наших, видимо, убрали. У гражданских покойников близкие закрывают веки, а мертвые солдаты лежат, таращась в небо, и мелкий снежок падает в синие глаза.

Так мы шли, шли и шли. Все время попадались аккуратно сложенные огромные склады боеприпасов. Прицкер страшно сердился: они с Батем

занимались немецкими тылами и гордились тем, что подробно знают, где находятся все военные склады противника. Но из тех, что мы видели, ни один у них не числился.

Склады были нетронутые, боеприпасов было много. Немцы отступали, видимо, поспешно. Потом кое-где стали попадаться дощечки с надписями: «Разминировано. Сержант Петров» и т.п., — но где не было разминировано, там дощечек не было.

Позже, уже на норвежской территории, всюду были выставлены надписи: либо «Осторожно, мины!», либо «Разминировано, такой-то». — Впрочем, как потом стало ясно, много невыявленных минных полей было повсюду, на всех фронтах. Полагалось составлять крокú («крóки») минных полей, но чаще всего не успевали, а немецкие кроки до нас уж никак не доходили.

Наконец мы стали спускаться с плоскогорья в долину и увидели там и сям желтые и зеленые дома Луостари.

Это не город. Как обычно на севере, жилье разбросано, и дорога соединяет разрозненные группы построек. Добрались до штаба армии затемно. Я «прибыл» к начальнику 7-го отдела Р., тут же встретил и других «седьмых» знакомых. Жили не в домах — дома, видно, были слишком разбиты, — а в наскоро оборудованных землянках — когда-то немецких, красиво обустроенных, но теперь уже довольно ободранных и грязных.

Помимо служб штаба армии, здесь же поблизости находился и выброшенный вперед эшелон штаба фронта. Я сразу разыскал землянку начальника политуправления и доложился:

— Товарищ генерал, по приказанию командующего фронтом, старший лейтенант Дьяконов прибыл в ваше распоряжение.

Генерал Калашников сначала ничего не понял. Я сказал, что знаю норвежский язык. Тогда он откликнулся:

— А, с норвежским языком! Ждите.

Я ушел в землянку 7-го отдела и в ожидании слушал там в течение суток или более всякий тыловой треп — о бабах, разные байки и анекдоты. Спал скорчившись где-то в углу. Срочности действительно никакой не было, Прицкер оказался прав.

Наконец, на второй день ко мне пришел адъютант генерала с сообщением, что назавтра в девять утра я должен выйти на перекресток дорог, будет проезжать генерал и меня подберет.

Утром я стою в полушубке у столба на перекрестке без вещей. Во время наступления по тыловым дорогам всегда идет много машин. Движение большое: легковые, виллисы, грузовики с боеприпасами, с людьми, связные офицеры тянулись непрерывно в одном направлении. Определить, в какой машине был генерал, я не мог. Стоял часа полтора. Вдруг с противоположной стороны подъезжает «козлик». Высовывается малосимпатичная физиономия генерала Калашникова:

— Вы Дьяконов? Ну что же Вы!

Я говорю: — Мне приказано стоять на перекрестке и ждать Вас.

— Ну, садитесь скорей!

Я сел в «козлик». Там было уже два или три офицера. Генерал больше ничего не сказал мне ни тогда, ни после. Поехали по той же тундре, вверх

из долины на запад, в горы. Это была уже не дорога, а скорее, наезженная тропа.

В одном месте генерал остановил машину, и все мы вышли. Он произнес: «Граница».

Это была граница между Норвегией и Финляндией, а теперь с нами, но что это вообще граница, наверное, только по карте можно было определить. Она никогда ранее не размечалась. У меня было удивительное чувство — как странно, что вот через столько лет я снова въезжаю в Норвегию, — только с противоположной стороны. Какой она явится мне?

Снова сели в «козлик». Через некоторое время среди редкой тундры и камней началась серпантина на крутом спуске вниз, и впереди заблестел кусочек фьорда.

Мы спускались все ниже, и снова попали в поток машин. Дорога была расквашена танками и самоходками.[1] Вдоль обочины мы уже то и дело миновали норвежцев в синих свитерах с вытканными белыми оленями и в красных вязаных шапочках — знакомые зимние фигуры.

Зима только начиналась. Едва ложился снежок, по всей дороге была глубокая слякоть. Между гор внизу лежал синий Ярфьорд. Вдоль него были разбросаны знакомые цветные домики — хуторские, но похожие на дачки. Чаще красные, иногда зеленые, синие или желтые, всегда с белыми наличниками окон. Перед каждым домом, по скандинавскому обычаю, были белые флагштоки, а на некоторых уже трепетали национальные флаги: на темнокрасном фоне синий, окантованный белым крест.

Кое-где встречался крестьянин с лошадью и подводой, но скота нигде не было видно.

На хвосте огромной движущейся советской военной махины мы спустились — я спустился — к норвежскому фьорду. Мы проехали еще немного вдоль него и остановились у небольшого двухэтажного выцветшего желтого домика на левой стороне от дороги. Это была школа. В ней помещался штаб нашего 131-го стрелкового корпуса. Генерал вышел из машины и пошел к крыльцу. Вдруг, оглянувшись на меня, он спросил:

— Где Ваши погоны?

Я говорю: «Не успел пришить».

— Пришить, пока я хожу!

Как их тут, к черту, пришьешь? Я остановил солдата, который сворачивал себе козью ножку, и спросил иголку и нитки. У солдата всегда с собой есть шитье — куда же без него? Он дает мне иголку и моток голубых шелковых ниток. Спрашиваю:

— Откуда шелковые нитки? Взял у местных жителей? Как не стыдно! Они тут страдали в оккупации, мы их освободили, а ты воруешь!

— Как — освободили? А я считал — раз за линией фронта, то враги!

Я говорю: «А политзанятия перед вступлением в Норвегию у вас были?»

— Были.

— И что же вы проходили?

---

[1] Самоходно-артиллерийские установки представляли собой артиллерийские орудия, установленные на шасси танка.

— Четвертую главу «Краткого курса» (сталинской истории партии).

Я голубыми нитками пришил погоны. Вышел генерал:

— Погоны есть? Поехали.

Мы покатили дальше. Остановились у бурной, широкой реки Паз (Патсойоки).[1] Тут был большой железный мост, взорванный немцами перед отходом. Он стоял, вздыбленный с двух сторон, с провалом в середине.

Генерал послал адъютанта в соседнюю часть, где ему дали для переправы амфибию. Это легковой автомобиль, встроенный в металлический футляр-понтон поверх колес (или гусениц), так что спереди, сзади и с боков получаются плоские скошенные выступы, как бывает на носу моторной лодки. Позади лодочный винт.

Генерал сел с водителем, сопровождающие сели на задние сидения, а мне пришлось лежать на покатом хвосте на месте автомобильного багажника. Амфибия подползла к реке, плюхнулась в воду, лихо переправилась на другую сторону, так же лихо въехала на противоположный довольно крутой и скользкий берег и дальше вырулила на шоссе. Здесь генералу подали другой «виллис». Дорога шла через хвойный лес. Эта часть Норвегии приветливее Кольского полуострова, покрытого только тундрой. За Патсойоки начинаются леса.

Дорога была асфальтирована. В одном месте мы въехали во что-то белое, густое и вязкое. Оказывается, здесь вдоль шоссе тянулись армейские продовольственные склады, которые немцы, уходя, сожгли. Сгущенка, а местами и сало растеклись по дороге. У этого белого потопа кое-где стояли наши Иваны и ковыряли эту массу штыками. Мы проехали по ступицу в сгущенном молоке.

Везде лежали спутанные красные и зеленые провода, трупы, остовы сгоревших машин. Всюду — аккуратные указатели, готическим шрифтом были обозначены подходы к расположению различных немецких частей с указанием их номеров и расстояния в километрах. Раньше такие сведения у нас на дорогах отсутствовали секретности ради; потом мы переняли у немцев обычай ставить указатели, но на них писали только «Хозяйство такого-то» (командира части или соединения), и только.

Доехали до развилки на Киркенес и свернули к нему с шоссе. У въезда в город меня поразил запах свежевыпеченного хлеба: это тлела большая куча зерна, которую немцы, уходя, подожгли.

Въехали в самый Киркенес. Города не было. На одной из окраин видно было домов пять; все остальное было уничтожено. Сады, аккуратные заборчики вокруг палисадников, асфальтированные улицы, тротуары — а посреди этого только пепелища. Кое-где торчали пальцами трубы: когда деревянный дом сжигают, они стоят, на два этажа и выше. В разных местах города виднелись огромные кучи угля (им в Норвегии отапливались дома, а в Киркенесе был еще и завод). Уходя, немцы не только зажгли уголь, но и насовали в него гранат и ракет. Все это до самой весны медленно горело, по временам взрываясь. Синий или красноватый огонь угольных куч и каменные квадраты фундаментов.

---

[1] Устье реки Патсойоки на наших картах значилось как Бекфьорд. К 26 октября, когда мы с генералом подъехали сюда, на реке не было видно никаких «плавсредств» — их угнали выше по течению. Был только батальон «амфибий».

Мы въехали в середину городища. Там скрещивалось несколько улиц, образуя что-то вроде площади, и лежала большая куча дивных, зеленых с белым лыж. Генерал остановил машину, я соскочил. Генерал в первый раз за всю дорогу, если не считать эпизода с погонами, обратился ко мне:

— Ну вот, вы здесь останетесь и каждый день будете доносить мне о политико-моральной ситуации среди местного населения.

Я сказал: «Есть, товарищ генерал», — и спросил, откуда я должен отправлять донесения.

— Из штаба корпуса.

Это была та самая школа в Ярфьорде, в 18 километрах от Киркенеса, за взорванным мостом. Как я буду туда каждый день добираться и сообщать ему донесения, сказано не было.

Здесь надо раз и навсегда рассчитаться с официальной историей «Карельский фронт в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Военно-исторический очерк», ред. А.И.Бабин, изд. «Наука», М., 1984. Цитирую со страницы 285.

«Предвидя неизбежность своего поражения, гитлеровцы в ночь на 25 октября приступили к разрушению Киркенеса. Они жгли и минировали жилые дома, предприятия, школы, угольные склады. Взрывы и пламя пожаров вызывали ненависть к оккупантам» — имеется в виду — у наших войск, находившихся тогда в Ярфьорде, на восточном берегу Патсойоки — Бекфьорда.

Затем описывается артподготовка «рано утром 25 октября» и форсирование «Бекфьорда» со второй попытки («200-метровый водный рубеж»).

«К 9 часам 25 октября залив форсировали основные силы 45-й и 14-й стрелковых дивизий 131-го стрелкового корпуса, части подоспевшего с юга 99-го стрелкового корпуса и 73-й гвардейский танковый полк». Дальше описывается переправа наших войск через Лангфьорд, т.е. западнее города Киркенеса, а также высадка десанта морской пехоты на побережье у Гренсе-Якобсэльва, к северу от Ярфьорда. (Морская пехота уткнулась в широкий Бекфьорд и до Киркенеса дойти не могла). Затем читаем:

«Бои за город Киркенес носили ожесточенный характер. Гитлеровцы цеплялись за каждый дом, за каждую улицу» — но ведь дома — все деревянные — были сожжены еще раньше! ... «Воины соединений и частей 131-го и 99-го стрелкового корпуса, 73-го гвардейского танкового полка шаг за шагом выбивали их из укрытий и развалин домов. 25 октября, к часу дня, Киркенес был освобожден. Пятитысячный гарнизон противника был полностью разбит. Оставшиеся 160 человек сдались в плен. В Киркенесе было захвачено много трофеев, в их числе 233 различных военных склада...»

Вот это уже чистая фантастика. На пятачке полуострова Киркенес, соединявшемся с материком дорогой через узкое дефиле, не могли поместиться два стрелковых корпуса и танковый полк. В Киркенесе действительно был пятитысячный немецкий гарнизон, и историк осторожно не утверждает, что он был весь перебит — если бы он был перебит, на другой день все улицы Киркенеса были бы полны немецких трупов, — но трупов не было. Трупы лежали вдоль дороги от моста через Патсойоки на Лангфьорд и Нейден. По воде немцы из Киркенеса ускакать не могли — немецкие солдаты не лягушки.

Правда же в том, что они заблаговременно удрали из города. И подготовка к взрывам и поджоги начались не в ночь на 25-е, а самое позднее — 22 октября, а скорее, раньше.

Что в действительности произошло, подсказывает здравый смысл и подтверждает мнение боевых офицеров Советской армии, которым я ставил вопрос о том, что могло произойти.

Наступая по пятам немцев вдоль шоссейной дороги от Патсойоки на запад, наши части имели по правую руку догорающий маленький городок на замкнутом полуострове. Продолжая наступление, командир корпуса или дивизии мог отрядить туда разведроту или, максимум, батальон — чтобы посмотреть, что там творится. Никаких боев за каждый дом не было, потому что не было уже почти никаких домов. Тот, в котором потом размещалась наша комендатура, был прошит двумя-тремя пулеметными очередями — очевидно, «профилактическими», чтобы убедиться, что там никто не скрывается. Напротив и рядом были совершенно целые дома и садики, а далее шла пустыня, кое-где перемежаемая кучами горевшего каменного угля. Никаких двухсот тридцати трех немецких складов не было и в помине — если несколько складов и было, они были взорваны немцами в первую очередь. А те 160 немцев, которые сдались, были, конечно, обеспечивавшей отход командой, имевшей, может быть, задание завершить разрушение города. Как уже упоминалось, немцы не забыли сжечь и все продовольственные склады на подступах к Киркенесу, — а складов боеприпасов не оставили и подавно, — в отличие от того, что мы с Прицкером видели на подходах к Луостари.

Чтобы уж покончить с официальной историей Карельского фронта, перейдем еще к с.289. Здесь сказано:

«Гитлеровцы завезли в Северную Норвегию заболевших дизентерией, паратифом и дифтерией, которые раньше здесь почти не наблюдались. Для лечения больных с помощью Советского командования было открыто дополнительно шесть больниц. 46 тяжелобольных были помещены в армейский госпиталь в районе Киркенеса. Норвежским властям было выделено 1 млн. кубиков дифтерийной сыворотки, сантранспорт, большое количество бактериофага и других медикаментов. Советские врачи оказывали помощь больным на дому».

В гитлеровских частях не было, насколько было известно 7-му отделу, ни дизентерии, ни дифтерии. Паратиф после ухода немцев действительно был, что и неудивительно в создавшихся условиях. Никаких шести «дополнительных» больниц мы не могли открыть хотя бы потому, что никаких вообще больниц не сохранилось. Позже были созданы две больницы, но не советским, а собственно норвежским командованием. Армейского госпиталя в районе Киркенеса не было, был палаточный медсанбат, и норвежцев я там не видел. Выдавали ли наши врачи норвежскому «Красному Кресту» или единственному гражданскому врачу Палмстрёму какие-нибудь сыворотки, я не знаю, но думаю, что бактериофага у наших медиков вообще не было, — по крайней мере, его не было в Беломорском военном госпитале. Сантранспорта населению мы предоставить не могли при всем желании. «На дому» помощь нашими врачами вряд ли оказывалась, первое время потому, что оставшиеся (очень немногие) дома были переданы населению не сразу, и оно жило в

шахтах, а позже — потому, что норвежцы быстро наладили свою медицинскую службу. В принципе, конечно, несомненно, что местному населению приходилось обращаться к нашим военным врачам, и те, естественно, в помощи не отказывали. Но при чем тут наше командование?

И так пишется история. Откуда берутся такие фантастические утверждения? Не читал мемуаров адъютанта генерала Грушевого — может быть, все эти сведения оттуда? А то — с потолка? Впоследствии генерал В.И.Щербаков жаловался мне на лживость мемуаров Грушевого.

Но вернемся к нашему «виллису», на котором я вместе со свитой генерала въехал в Киркенес. Машина с генералом развернулась и уехала, и я остался один.

В Киркенесе, конечно, уже не было никаких немецких войск, но не было и наших — они проследовали дальше. В сущности, меня выбросили на ничью землю, со всеми вытекающими отсюда последствиями — без продовольствия, денежного и вещевого аттестата; не ясно было, где я должен жить и чем питаться, но об этом я не задумывался. И вообще это было не мое дело — я уже привык, что в армии такие вещи за нас решает начальство.

Итак, я остался один. Первой задачей было найти какого-нибудь жителя. Норвежские города все стоят на пригорках, на склонах горы. Иду в горочку по асфальтовому тротуару, грустно смотрю на огни. Навстречу идет очень симпатичная, немолодая женщина с изможденным лицом и несет кошелку. Откуда — неизвестно. Я подошел и — с отвычки не без некоторого труда — заговорил с нею по-норвежски: спросил, где я могу видеть людей. Она посмотрела на меня с удивлением и ответила:

— Здесь вот есть бункер, там много людей, — и показала, где в скале было убежище.

Я сказал «спасибо», но решил, что сначала надо поискать кого-нибудь на поверхности, а потом уж идти под землю. Я поднялся дальше вверх по улице — всюду безлюдно. Подумав, я повернул назад по направлению к убежищу: оно было в двух шагах оттуда, где мы разговаривали — напротив большой горевшей угольной кучи, в каменном пригорке были высечены ступени и был бронированный вход. Туда она перед тем сама и вошла.

Теперь напротив входа в бункер сидел на корточках молодой человек в куртке, без шапки, и поджигал об огни угольной кучи какие-то черные палочки, чтобы запалить фитиль фонаря «летучая мышь», который стоял рядом с ним на земле. Никак они не загорались, и он все снова и снова совал эти палочки в пожар.

А это были полоски сухого пороха. Их валялось много вокруг. Они взрываются только от удара. Я подошел и спросил, как пройти в убежище. Он оставил фонарь, зажег одну палочку как маленький факел и повел меня по ступенькам вглубь горы. Спускаемся в убежище, и вдруг я слышу из темноты, где-то сбоку, русские голоса женщин и детей. Спрашиваю:

— Кто это такие?

— А это ваши, угнанные немцами, мы их спрятали, чтобы их не увели дальше.

В полной темноте, минуя русских,[1] по полусырому туннелю я пошел за ним дальше. В конце дороги внутри подземелья стоял домик. Молодой человек сказал мне:

— Это штаб нашего «Красного Креста». Заходите.

Я вошел. Горит электричество от движка; мебель: диван, мягкие стулья, стол, какие-то шкафчики, аптечка. Видимо, все это вовремя было вынесено из домов. Сидят прелестные ребята — молодые девушки и мальчики и с ними эта дама, которую я встретил на дороге.

Они мне сразу же говорят:

— Вот хорошо, что вы пришли — мы очень рады. Сейчас будем вас угощать! — На горелочке что-то грелось.

На стене висел портрет короля Хокона VII и норвежский флаг. Я спрашиваю:

— Как вам удалось все это вывесить? Ведь не сейчас же?

— А немцы к нам не ходили. У них было свое убежище.

На столе появилось любимое норвежское блюдо — лапскяус: мясо с капустой в полужидком соусе, и кофе.

Дама мне говорит: «Это настоящий кофе, мы украли его у немцев!»

А я думаю: «Ну, мои норвежцы с двадцатых годов продвинулись! Впрочем, ведь у врага взято, это можно даже и для норвежцев».

Мы очень уютно устроились, ребята начали рассказывать, как они образовали отряд «Красного Креста», когда началось приближение наших войск, как прятали население в подземельях. Немцы хотели все население угнать, но норвежцы не хотели уходить.

Я спросил: «А от чего погиб город? От нашей бомбежки?»

— Нет, вы бомбили очень точно. С весны 1943 г. по осень 1944 г., пока шли ваши бомбежки, погибло более восьмисот немцев и всего восемь норвежцев. Это немцы, уходя, все здесь сжигали. Они предупредили: русские все истребят, и вы остаетесь-де на собственную ответственность. Они все подряд взрывали. Если что уцелело, то случайно. — Это было несовсем правда, значительная часть города была уничтожена нашей бомбежкой прошлым летом.

У отряда «Красного Креста», сформированного норвежцами, была маленькая крытая машина, на которой они вывозили наших раненых прямо из зоны боев. Норвежцы же дали нам лодки, помогли нашим частям переправиться через Бекфьорд и Лангфьорд.[2]

Сидим, уютно разговариваем. Вдруг раздаются шаги, открывается дверь и на пороге появляется наш советский лейтенант. Обращаясь ко мне, говорит: «Разрешите обратиться? Вас вызывает комендант города». Кажется, едва ли не впервые меня просили разрешения обратиться, а не я просил. Я почувствовал, что я здесь уже какая-то важная фигура. Спрашиваю:

— А откуда здесь комендант? Ведь ни войск нет, ни города нет. А я

---

[1] Что я мог бы им сказать? Еще все было мне самому не ясно, даже эти русские голоса.

[2] Ширина Лангфьорда, глубоко вдающегося в сушу, на пути наших войск — с Большую Невку, а берега отвесные, высотой метров сто, а то и побольше. Я побывал там позже.

коменданту не подчинен. Приду сам, когда кончу свои дела. Меня вызывать не нужно.

Прошло минут пять, я не успел допить свой кофе, как опять входит лейтенант и за ним высокий добродушный полковник:

— Голубчик, вот Вы где, идите скорее, Вы так мне нужны! Дело в том, что я назначил тут встречу с местными властями. Я не знаю их языка, они не знают моего языка, будете переводить.

Я сказал, что я из политуправления с таким-то заданием.

— Но ведь Вам негде жить, приходите к нам, будете нам помогать.

Тут бесшумно стали входить какие-то люди в самом диком виде: кто в хорошем пальто, но без шляпы (потеряна где-то), кто в спортивной одежде, кто в какой-то рвани. Это оказался муниципалитет, избранный еще до немцев. Председателя не было (был такой социал-демократ Дёльвик; он пока продолжал скрываться). Возглавлял пришедших пожилой человек, очень представительный, какой-то надежный, — потом выяснилось, что это был Борген, директор школы и председатель еще предшествовавшего муниципального совета, представитель правой партии. Когда все собрались, полковник Рослов мне говорит:

— Ну вот, скажите им... — А я ему:

— Подождите, товарищ полковник, сейчас будет речь.

По выражению лица представителя муниципалитета я видел, что он рожает спич. И я не ошибся. Он вышел вперед и сказал:

— Господа, на мою долю выпала необыкновенная честь: первым из официальных представителей моей страны приветствовать освободительную армию на нашей территории... — и т.д.

Я быстро переводил.

В конце речи Рослов меня спрашивает:

— А что я должен ему сказать? — Я говорю:

— Скажите что-нибудь, а уж я переведу. — Он действительно сказал «что-нибудь», а я перевел в нужном стиле.

Дальше пошли деловые разговоры: о том, что надо вывести население из-под земли, что наши части будут выдавать питание, так как есть этим людям было совершенно нечего. Словом, речь шла о самом главном.

После разговора с муниципалитетом я простился с полковником Рословым и пошел в город. Я даже не знаю, почему не пошел с ним сразу в комендатуру. Вероятно, нужно было не столько ему, сколько себе показать, что я не завишу от комендатуры и имею собственные задания. Я хорошо знал, что такое военное начальство, и не хотел иметь сразу две беды на свою голову.

Уже стемнело, и я немногое успел рассмотреть.

Город лежал на маленьком полуострове и тянулся от въезда с шоссе до крайнего мыса примерно на километр или чуть больше. С одной стороны над городом был обрыв: окаймляла город скала. С двух сторон было море и причалы.

Все было разрушено.

На конце мыса раньше находился завод, железоделательный. Он перерабатывал руду ближайших рудников. Теперь его не было, только по старым фотографиям я потом узнал, каким он был, — например, что здесь высились

две огромные трубы. Все на территории завода было перекорежено, по руинам было трудно даже лазить. Тут же рядом стояла школа, когда-то самое большое здание в Киркенесе, в четыре этажа, железобетонное. Наверное, считалось очень красивым. Под него была заложена торпеда — не поленились немцы сюда ее довезти и подложить! Взрыв перекосил нижние этажи, а верх держался.

Тут же еще дальше на мысу стояла раньше и церковь. Сейчас она тоже была руинами, наподобие раскопок Херсонеса: сохранился только фундамент.

Во всем городе уцелело очень немного домов. Красные домишки рыбаков я обнаружил не сразу: они стояли под обрывом над морем, всего домов шесть или восемь. И около убежища, где я побывал, шагах в 50 вверх по улице тоже сохранилось несколько домов: три, не подряд, по одной стороне и один на другой; эти были совершенно целехоньки.[1]

В первом доме — крайнем, белом двухэтажном деревянном доме, обшитом вагонкой, и помещалась комендатура. Туда я и пришел примерно через полчаса. Света не было. Достали где-то фонарь «летучая мышь», керосиновый (и даже с керосином), и зажгли.

Нас было сначала трое: полковник Рослов, лейтенант Грицаненко и я; в тот же вечер появился некий подполковник, который ведал трофейным имуществом. Он должен был после боев регистрировать и вывозить трофеи.

Пришел он, ругаясь: по донесениям числились танки, машины, пушки, стрелковое оружие — ничего этого найти было нельзя. Во-первых, потому что одни и те же трофеи регистрировали последовательно разные проходящие части, и таким образом всего оказывалось много больше, чем на самом деле. Во-вторых, все было оставлено в таком виде, что воспользоваться этим было уже невозможно. Подполковник был в большом затруднении: вывозить было нечего, а приказ надо было как-то выполнять.

Мы ему очень обрадовались, так как он приехал на «виллисе» и привез сухари и несколько бутылок трофейного эрзац-рома. Сухарей был большой запас, и мы питались ими по меньшей мере две недели. Вскоре лейтенант Грицаненко раздобыл еще порядочный запас эрзац-рома.

С этим ромом была беда. Немцы уничтожали все, но винные склады всюду намеренно оставляли. Это причиняло массу огорчений. В Лиинахамари (порту Петсамо) был большой винный склад, который с двух сторон освободили одновременно моряки и пехота. Дошло до перестрелки. Еле удалось их разнять и разделить между ними этот трофей.

И под Киркенесом в шахте было спрятано много рома, о чем я дальше расскажу.

На ночь Рослов устроился на диване, подполковник — на сдвинутых креслах, Грицаненко спал на полу первого этажа под шинелькой, а я на каких-то широких грязных нарах, сохранившихся в угловой комнате второго этажа.

[1] И внутри сохранилась даже обстановка. Лишь дом, выбранный Рословым под комендатуру, был прострелен пулеметными очередями и пуст, если не считать двух комнат на втором этаже; в одной стоял большой письменный стол и несколько кожаных кресел, в другой — кресла и еще кожаный диван. В этом проявилась скромность Рослова — видимо, не хотел отнимать у лишившихся крова норвежцев ни одного из домов, сохранявших жилой вид.

Наша комендатура занимала бывший частный дом. Видимо, там жил какой-нибудь инженер завода, или, может быть, директор или вице-директор. Сравнительно большой дом для тех мест. Окна смотрели в садик. Это было очень странно, так как город находился на той же широте, что и Мурманск, где никаких садов не было и в помине. Сейчас была почти зима, уже падал снежок. Самого садика не было видно, только черные лапы деревьев.

Стены в доме были крашеные, белые. Как я уже сказал, мебель была только в двух комнатах, остальные были совершенно пустые. В углу каждой комнаты стояла на ножках круглая чугунная с венцом или квадратная керамическая угольная печка. Как всюду в Норвегии, вьюшек не было, и тепло было только пока горел уголь, — это была не проблема, угля было во всем городе полно.

Постепенно мы обжились. Натащили мебели из развалин и разместили по-своему то, что было в доме. Я остался в маленькой комнатке в стороне от прочих. Когда-то, видимо, это была комната прислуги, хотя у норвежцев прислуга не могла помещаться на нарах.[1] Комната была метров девять, и, кроме нар, у окна маленький столик. За окном, как и в разных других местах города, невысокими огнями горели огромные кучи, и время от времени картина дополнялась шипящим или грохочущим взрывом цветной ракеты или просто гранаты. Кучи горели до самого лета.

Перед окном росли деревья, и каждый день в неосвещенной комнате на стенах играло все то же движущееся кружево теней от подвижного огня и веток.

Каждый день, или каждую ночь. Все, о чем здесь рассказано, происходило довольно далеко за Полярным кругом. В Киркенесе полярная ночь наступила в последнюю неделю ноября, а тогда, месяцем раньше, день, если его можно назвать днем, длился часа три.

Эта комнатка была моим прибежищем. Вещей первое время не было, синий полосатый заплечный мешок я оставил в 7-м отделе. Умывались в саду из ведра с водой, притащенного Грицаненко.

Едва мы расположились в доме на ночь — ко мне вбегает лейтенант и срочно требует к полковнику. Иду, наспех одевшись. Рослов в нервном состоянии, держит в руке пистолет. А я — первое, что сделал — отцепил свой пресловутый браунинг и сунул его в ящик стола. Я сразу понял, что в Норвегии надобности в пистолете не будет. Остальные чувствовали себя иначе и, переступив линию фронта, считали, что оказались среди врагов.

Оказывается, лейтенант Грицаненко доложил коменданту, что в скале позади развалин завода скрываются какие-то люди. Рослов сгонял меня за пистолетом, мы взяли с собой подполковника и отправились смотреть. Лезли через руины завода, перекореженные железяки, кирпичный лом, поднимались по очень неприятным скалам. Наконец где-то высоко влезли в какую-то дыру. Там перед нами открылась большая, высокая, на вид естественная, широкая пещера. Освещалась она слабым светом — чем-то вроде той же «летучей мыши». Все было устроено очень добротно: нары, одеяла, подушки.

[1] Следующей весной я узнал, что в этом доме у немцев располагалось гестапо — поэтому, надо думать, что на моих нарах лежали заключенные.

Сотни народу. Было ясно, что это очередная группа местного населения, которая скрывается от немцев. Для полковника это было не так ясно, и он велел мне спросить: «Кто здесь старший?» Я пятнадцать лет не говорил по-норвежски, и у меня вылетело из головы, как это надо сказать. Никаких «старших» у норвежцев, конечно, не бывает. Вместо того, чтобы спросить «Кто здесь отвечает за всех?», я так и выпалил: «Кто здесь самый старый?» Они изумленно засуетились и минуты через три вытащили какого-то древнего старца, лет под девяносто. Я опять спрашиваю:

— Вы здесь старший?

Он отвечает:

— Старше меня никого нет.

Тогда я перевожу полковнику, что это старший и т.д. Он спрашивает:

— Кто вы такие и что здесь делаете?

Он отвечает:

— Мы жители Киркенеса, спрятались здесь во время боев.

— Бои давно кончились, почему вы не выходите?

— А мы не знали.

— Ну вот, можете выходить.

Все, слава Богу, кончилось благополучно, и мы вернулись в комендатуру.

Публика в пещере, однако, разошлась не скоро: наверное, послали кого-нибудь вперед, и он сказал, что все дома разрушены и жить негде.

По счастью, заместитель председателя муниципалитета и его люди проявили энергию: с помощью ребят из «Красного Креста» и их машины взяли на учет все сохранившиеся в округе и не занятые нашими солдатами домишки, переписали людей и в них, и в киркенесской пещере, и в рудниках и постепенно принудительно расселили всех по домам, какие остались. Надо, однако, заметить, что не только домов, где разместились наши, но также и группу пустых домов выше убежища «Красного Креста» они не тронули, считая, видимо, что и эти хорошие дома должны остаться русским.

Утром я вспомнил, что должен писать донесение. Приказано ведь было — каждый день сообщать о политико-моральном состоянии местного населения. Между тем, местного населения, кроме тех, что сидели в пещерах и вряд ли могли сообщить что-нибудь дельное, не было. Я обратился к моим друзьям из «Красного Креста», и они сказали мне, что большая часть населения находится в Бьёрневатне. Это был горняцкий поселок в 10—12 км от Киркенеса.

Там, где кончалась скала и еще не начиналось море, был перешеек, соединявший полуостров Киркенес с шедшей мимо шоссейной дорогой. Здесь и была куча подожженного хлеба и здесь же невдалеке стоял вагончик узкоколейки. Был тут и паровозик, но все это бездействовало. Узкоколейка эта и грунтовая дорога вдоль нее вели в Бьёрневатн. Машин, ни наших, ни норвежских, нигде не было, и я пошел пешком.

Дорога вела через лес и дальше плоскогорьем. Обычная норвежская дорога, с неотесанными глыбами вертикально поставленных камней на поворотах. Всюду опять валялись обрывки разноцветных немецких проводов. Кое-где тряпье от разорванных мундиров. Трупы убрали, но от разорванных на части людей всегда остается такое тряпье. Наша похоронная команда действовала

исправно. Кое-где были фанерные обелиски с именами павших, написанными химическим карандашом (...И мрамор лейтенантов, фанерный обелиск...). Все наши были зарыты в братских могилах, но и немцы не оставлены. Самая большая братская могила наших находилась в стороне, под аэродромом Хёйбуктмуэн — по-нашему, коротко Хебуктен,[1] где раньше хоронили наших пленных.

Бои продолжались; наши войска переправились через Патсойоки выше взорванного моста, южнее, в обход Киркенеса. Там был сделан (или туда передвинут) наплавной мост. Тогда я этого не знал. Оттуда наши части двинулись на Лангфьорд. Там высокие берега, и сам фьорд очень узкий, не шире 200—400 метров. Переправляться было трудно. Помогали, как уже мне было рассказано, местные жители. Оттуда войска дальше пошли на запад. По ночам мы видели всполохи выстрелов в той стороне, звуки до нас не долетали.

Я отшагал десять километров и пришел в маленький поселок — не больше двух десятков домов. Все целы. Крашены в темнобордовый и желтый цвет, обычные для Норвегии белые наличники окон, — не разбитых. Все пусто. Тут я встретил наших солдат. Они задержали меня и спросили, кто я и куда иду.

Меня привели к командиру взвода, который составлял гарнизон Бьёрневатна. Это был маленький крепыш, татарин, лейтенант Бахтеев. Он был человек, заслуживающий всяческого уважения: не говоря о том, что он один со взводом не дал разрушить поселок, но, мало того: надо сказать, что при нем там был полный порядок. Только после ухода его взвода начались безобразия.

Бахтеев был человек простой, но дельный. Я сказал ему, что разыскиваю местное население. Он сообщил, что они в шахте. Конец узкоколейки въезжал прямо внутрь горы. Дальше был пологий скат по штреку, который вел в забой. Кроме этого «туннеля», ниже его в скале были выдолблены еще два. В одном находился склад эрзац-рома, в другом — динамит, который должен был взорвать весь рудник.

Я пошел по узкоколейке внутрь пещеры и там увидел картину, похожую на ту, что была в скале над Киркенесом. Порядка здесь, правда, было побольше: аккуратные нары, проходы; развешенные одеяла отделяли семейные углы. Один из отсеков туннеля (длиной он был километра полтора) был отведен под родильный дом, где верховодила медицинская сестра — именно здесь она приняла на свет несколько младенцев. За одним из одеял пищал новорожденный. Бегали дети. Женщины занимались хозяйством. Какая-то рьяная девица сразу ко мне рванулась, услышав, что я говорю по-норвежски, и стала со мной разговаривать, стреляя глазами. Я расспросил, как они сюда попали.

Выяснилось, что, когда немцы приняли решение об эвакуации Киркенеса, то объявили местному населению, что все должны уйти вместе с ними, иначе

[1] Крестным отцом аэродрома был я, как о том рассказано выше. Предвидя затруднения, я при переводе иной раз сокращал слишком длинные названия, но так, чтобы жители поняли, о чем их спрашивают. Аэродром назывался Хёбуттмуэн или Хёйбуктмуэн, буквально — «нагорный луг в Высокой бухте». Я превратил его в «аэродром Хебуктен», т.е. «аэродром Высокой бухты», и норвежцы, в самом деле, довольно легко понимали, о чем речь.

им грозит гибель от большевиков. Тем не менее, местное население в большинстве отказалось уходить. Немцам было не до того, чтобы гнать перед собой население города, хотя его и было-то не так много.

Район и в мирное время имел жителей тысяч двенадцать-пятнадцать, не больше, но и столько народу гнать было хлопотно: машин для них, конечно, не было, и шли бы они медленно, и кормить их всех было бы надо. Поэтому немецкое командование угнало тысячи полторы людей и не очень настаивало, чтобы остальные шли, но сжигали все жилье и продовольствие,[1] довольно спокойно смотрело на то, как большинство норвежцев (тысяч до семи) собрали все, что могли унести (так как о том, что все дома будут взорваны, было объявлено), и забрались в пещеры и шахты Киркенеса и Бъёрневатна и по лесным углам. Все оборудование для жизни в шахтах они строили на глазах у немцев. На что рассчитывали норвежцы — не ясно, потому что, казалось бы, они должны были сообразить, что и шахты взорвут. Действительно, выяснилось, что в Бъёрневатне под жилой туннель, как я уже упоминал, была заложена гигантская масса взрывчатки.

История с предполагавшимся взрывом неясна; до сих пор об этом ходят разные легенды.[2] Я сам слышал от Бахтеева и от норвежцев, как это, по их сведениям, происходило. По одному из рассказов, немецкий офицер, который должен был поджечь бикфордов шнур, не сделал этого. Просто воспользовался суматохой и ушел со своей группой солдат. Это делает честь человеческой природе, но так ли было дело, я точно не знаю. Вслед за ним сразу явился Бахтеев со своим взводом. Однако слух о готовящемся взрыве дошел до норвежцев раньше. Один из них, Хуго Йенсен, прибежал к нам за помощью, и наше командование направило туда Бахтеева с разведвзводом, и он отбил немецкую группу. Мне кажется вероятным, что к приходу Бахтеева немцы уже удирали полным ходом и, увидев или услышав русских, оставили в покое дома Бьёрневатна. Кто предотвратил взрыв, я достоверно не знаю.

Но идея взорвать шахту с людьми действительно была — это так. Месяца два спустя норвежцы, у которых тогда еще сохранились радиоприемники (мы их отобрали на 1 мая 1945 г.), слышали сообщение радио Осло, контролировавшегося немцами, о том, что русские, ворвавшись в Киркенес, будто бы взорвали рудники, где пряталось мирное население. Был назван ряд фамилий «погибших» из числа тех, кто действительно был в руднике. В той обстановке эта немецкая передача была прекрасной пропагандой в нашу пользу.

До ухода Бахтеева не было набегов на склад рома и не было никаких жалоб на наших солдат в этом районе.

Принимали нас норвежцы изумительно. Ни объятий, ни поцелуев, конечно, не было — это у норвежцев не принято. Тем не менее отношение к нам было самое лучшее. Ребята из «Красного Креста», проезжая мимо комендатуры, даже пели наш авиационный марш: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» и другие советские песни.

[1] Немцы не только сжигали все продовольственные склады, но и угнали у норвежцев скот. Далеко его гнать было трудно, и где-то поодаль они его перестреляли. Об этом я услышал только после войны.

[2] Одна из них была впоследствии обыграна в фильме И.Масленникова «Под каменным небом». Фильм дурацкий, сплошная «развесистая клюква». Мы смотрели его с генералом В.И.Щербаковым без всякого удовольствия.

II

Наши тоже отнеслись к норвежцам (или, как говорила вся армия, «норвегам») хорошо. Мы в комендатуре сли подполковничьи сухари, но в частях были свои полевые кухни и печеный хлеб. У норвежцев же никакого снабжения не было, все продовольствие было уничтожено немцами, и наладить их жизнь было не в наших силах — в частности, не в наших силах было сотворить все те благодеяния местному населению, которые описаны в официальной истории Карельского фронта. В частях помогали с пищей, подкармливали детишек, а чуть позже командование оказало населению и другую важную помощь, о чем я расскажу ниже.

Солдатский черный хлеб очень ценился, и ходила легенда, что в буханки запекают настоящее сливочное масло, поэтому он такой вкусный. Такого хлеба в Норвегии никогда не знали.

В «Красном Кресте», в Бьёрневатне, у членов муниципалитета я собрал всякие нужные сведения: о немцах, что они тут делали, какое к ним было отношение (и какое к нам), как норвежцы относились к квислинговцам, что это за нынешний муниципалитет и т.д.

В домах Бьёрневатна и по дороге оттуда в Киркенес образовывались настоящие коммунальные квартиры. Идя из Бьёрневатна, я решил, что у меня может найтись прекрасный информатор о населении — местный пастор. Это полуофициальное лицо могло мне хорошо обрисовать положение. Стал искать пастора, походил по разным домам — всюду по 5—10 человек в комнате, где пастор — никто не знал. Наконец, я его нашел: он жил в невероятно переполненном домике, сохранившемся на Бьёрневатнской дороге. Пастор был страшно замученный, несчастный человек с большой семьей. Он очень удивился, что его разыскивает советский офицер. Рассказал о жизни при немцах, об их издевательствах над русскими пленными, об их попытках угнать жителей.

После визита к пастору я пришел в комендатуру и написал большущее донесение. Не помню, где я взял бумагу — помнится, я засунул в карман шинели большой блокнот. Я заполнил страниц двадцать своим мелким почерком. Возник вопрос, как отправить. Генерал Калашников велел пересылать ему донесения через штаб корпуса, который находился в Ярфьорде, по другую сторону реки. Я не имел понятия, что выше по ее течению есть наплавной мост, и поэтому лез через взорванный, по искалеченным металлическим конструкциям, проявляя чудеса эквилибристики. Мне амфибии не было подано. Обе стальные фермы моста были вздыблены со стороны берегов и обрушивались в воду посередине; по счастью, между ними на реке плавали какие-то бревна или доски — видимо, от покрытия центральной взорванной части или от временного, уведенного отсюда наплавного моста — и я переправился.

Дошел уже затемно до штаба корпуса в Ярфьорде и там отдал комиссару свою бумагу. Ясно понял, что больше я писать не буду, дела хватит и без донесений. Каждый день ходить за 18 км — это было невозможно. Стану я баловать генерала! Тем более что он, скорее всего, успел забыть про меня и больше моих сочинений читать не будет. — Я уже не помню, как добирался

среди ночи обратно, — вероятно, все-таки через наплавной мост выше по реке; во всяком случае, к утру я добрался в комендатуру. Это было памятное путешествие.

Из собранных рассказов я узнал много интересного. Так, оказалось, что мэром киркенесского муниципалитета при квислинговцах был назначен жалкий замухрышка. У него было чуть ли не десять человек детей, он ужасно бедствовал и был постоянно пьян. Ему было все равно, кем быть — лишь бы прокормиться. Его все презирали, но ненависти к нему, естественно, не было.

Мне объяснили, что в Киркенесе была большая группа угнанных русских женщин и детей из Ленинградской области. Причем, когда немцы уходили, то норвежцы, несмотря на охрану, проникли в этот лагерь и сообщили женщинам, чтобы они готовились уходить к ним. Затем забрали их в «Красный Крест» и другие убежища. Их-то я и слышал в первый день в темном ответвлении бункера.[1]

Один из забавных рассказов был о деятельности наших разведчиков: как они тут прекрасно работали!

Оказывается, все норвежцы отлично знали, где они находились и что делали. Разумеется, этого я в донесение не включил. Зато рассказал другой эпизод — как один норвежский инженер, принудительно работавший по какому-то ремонту на аэродроме, увидел, что с самолетов разгружается совершенно новый военный груз — уж не помню, что, многоствольные минометы, может быть, или что-нибудь в этом роде. Он вечером встал на лыжи, за ночь прошел по пустынному плоскогорью 25—30 км и вышел к нашему агенту; тот передал сведения по радио, а инженер ушел, как пришел, и наутро как ни в чем не бывало вышел на работу. Я позже с ним познакомился, и он подтвердил этот рассказ.

29 октября бои окончились. Наши передовые части вышли на реку Тана — это большая, широкая полноводная река. Дальше командование приказало не идти.

Для нас это было разумное решение: Норвегия представляет собой длинную узкую полосу, и если бы мы пошли вглубь Норвегии, то продолжали бы нести потери и растянули бы до бесконечности наши коммуникации. Зимой надо было бы держать несколько дивизий на одной расчистке шоссейной дороги (железных дорог в северной Норвегии нет). А так — немцы уходили в тупик, и эти их части уже потом не принимали участия в войне.

Но для норвежцев так было хуже. Уходя, немцы все методично и спокойно уничтожали: дома, заборы; под каждый телеграфный столб закладывали взрывчатку. К концу войны между нами и ними простиралась зона пустыни на 300 км. Там все было взорвано и уничтожено дотла, и все население угнано.

День или два в комендатуре было тихо — норвежцы искали, где поселиться, и жалоб с их стороны не поступало.

Однажды в короткие светлые дневные часы раздался вой снаряда и взрыв.

---

[1] Женщины эти вскоре вернулись из подземелий в оставленные немцами лагеря и еще довольно долго оставались там, но потом исчезли. Очевидно, их увели наши смершевцы. Вернулись ли они в свои деревни или же попали на Воркуту, я так и не узнал. Надеюсь, что они успели попасть домой до рокового приказа Сталина о пленных.

Офицеры комендатуры взволновались, и полковник скомандовал выйти на улицу. Мы выскочили и стали под скалой: наша улица была прорублена в скале, и та нависала над противоположным тротуаром, там мы и стояли. Взрывы, сначала близкие, стали, ухая, отходить все дальше.

Оказывается, на острове Скугерей,[1] который расположен внутри Киркенесского фьорда, сохранилась немецкая береговая дальнобойная артиллерия. Батарея была нацелена на море, в защиту от наших судов, и из города ее было не видно. Немцы развернули орудия и начали палить по городу. Любопытно, что мне не было страшно, скорее занятно. Я очень хорошо понимал, что это не от храбрости, а по неопытности. Обстрелянные военные яснее понимали опасность и поэтому были несколько обеспокоены. Мы постояли минут десять-пятнадцать, переждали обстрел и вернулись обратно в дом. Это было мое последнее прямое соприкосновение с войной. (Косвенное было и позже: я еще раз попал под обстрел уже после войны).

А пока я чувствовал, что здесь застрял надолго и вряд ли увижу войну. От этого мне стало неловко — я, молодой, полный сил человек, был «милых жен лобзанья недостоин».

Полковник Рослов (который не считал себя моим начальником) уже через день-два пребывания в Киркенесе решил, что в принципе надо организовывать постоянную комендантскую службу. Особых мер он, однако, пока не принимал. Единственное новое, что появилось, — у него возник связной, или ординарец: молоденький хорошенький мальчик, на вид лет семнадцати, не больше. Рослов с ним очень строжился, куда-то посылал, заставлял по всем правилам козырять и поворачиваться. Как выяснилось потом, это был его родной сын, которого он взял к себе, дабы несколько уменьшить шанс, что его ухлопают на передовой. Правда, он его не прятал от огня, и когда бывал на переднем крае, то мальчик следовал за ним. Таким образом, в комендатуре прибавился еще один человек. Но некоторое время у нас особых событий не происходило.

Кроме одного: обстрел Киркенеса со Скугерея был последним: наши моряки заняли остров. В порту Киркенеса появились наши катера; они прошли по фьорду мимо Скугерея после того, как высадили там десант.

Очень существенным было то, что в результате выхода наших войск на Тану освободился большой норвежский полуостров Варангер. Он находился на другой стороне широкого залива Варангерфьорд, куда открывались мелкие проливы и фьорды, врезавшиеся в сушу между Киркенесом и устьем Патсойоки. На полуострове Варангер было несколько значительных городков, в том числе столица области Финнмарк — Вадсё и другие. В противоположность утверждению официальной истории Карельского фронта, наши части на полуострове не бывали, в том числе, конечно, не было их в Вадсё; зато наши моряки освободили другой малый полуостров к северу от Ярфьорда — Холменгро — и рыбачий городок Вардё на островке у побережья полуострова Варангер. Но оттуда наши моряки были вскоре выведены на базу в Лиинахамари или в Полярный.

[1] Здесь я ошибся: батарея была не на Скугерее, а на маленьком островке восточнее него в самом устье фьорда. Она была в тот же день, или на следующий, захвачена нашими моряками.

Наши армейские части в ходе наступления на запад к реке Тане с неизбежностью должны были оставить в тылу перешеек, связывавший полуостров Варангер с большой землей. Поэтому немцы поспешили оттуда эвакуироваться заранее: примерно тогда же, как и из Киркенеса. Тем самым полуостров был освобожден и без вступления на него наших войск. Но и после ухода немцев с Варангера полуостров не имел прямого сообщения с районом, занятым нашими войсками. Дело в том, что, когда наше командование приняло решение не преследовать немцев за Таной и оттянуть наши передовые части к Нейдену западнее перешейка, ведшего на полуостров, то люди по суше могли бы попадать на него только через ничью землю, а линия Нейдена была укреплена как фронтовая, и ни наши, ни норвежцы через нее ходить не могли. Поэтому связь между Киркенесом и центром области Финнмарк — Вадсё — была только по морю; это значит — рыбачьими моторными ботами.

В то же время оккупированная нами территория была разрезана надвое рекой Патсойоки (Пасвикэльв): к востоку от нее был кусок, широтно разрезанный пополам Ярфьордом и граничивший с Печенгской областью (Петсамо, бывшей Финляндией); здесь были поселки Гренсе-Якобсэльв на крайнем востоке, затем Ярфьурботн на южном берегу одноименного фьорда, и Эльвенес на западном берегу Бекфьорда, перед устьем реки. А на запад оттуда и от реки, за полуостровом Холменгро, был Киркенесфьорд, и в нем, на некотором расстоянии от широкого Варангерфьорда, был на своем мысу расположен Киркенес, отгороженный от моря Скугереем и мелкими островами; километрах в пятидесяти дальше на запад по прямой линии был расположен Нейден (по шоссе — почти вдвое дальше, так как оно огибало узкий и длинный Лангфьорд, на восточном берегу которого был аэродром Хебуктен). И наконец, километров на сто к югу вдоль западного берега Патсойоки тянулась узкая полоса норвежской территории с поселком Сванвик, отделявшая Печенгскую область от Швеции. Дорога на Сванвик шла через упоминавшийся уже горняцкий поселок Бьёрневатн. Немного ближе на западной стороне реки было с полкилометра финской (теперь нашей) территории с православной (покинутой перед боями) церковью Бориса и Глеба (по-норвежски Бурис-Глэб).

Наплавной мост был на Патсойоки выше Бурис-Глэба, и норвежцы, идучи из Бьёрневатна или Киркенеса в Эльвенес или Ярфьурботн, должны были проходить по территории Печенгской области, теперь нашей. Пока это еще никого не беспокоило.

Такова была доставшаяся нам — а если говорить о точке зрения местного населения, то, собственно, именно мне — «губерния», точнее «уезд» Сёр-Варангер (в отличие от «уезда» Нур-Варангер, охватывавшего полуостров). «Уездом» я называю эту территорию условно — потому что это было подразделение «области» или «губернии» (фюльке) Финнмарк; по-норвежски такой район назывался «коммбнэ», т.е. «община», он имел свой муниципалитет в Киркенесе и очень широкие права самоуправления.

Чтобы лучше понять обстановку действия моего рассказа, надо еще объяснить, что Финнмарк представляет собой не один, а два мира: один — это побережье и долины, заросшие еловым и сосновым лесом и обжитые

человеком, — но, как и всюду в Норвегии, ни деревень, ни сел нет, есть только хутора и посёлки — либо так называемые «погрузочные», т.е. приморские (Вестре-Якобсэльв, Эльвенес, Нейден), либо горняцкие — Бьёрневатн; Киркенес, Вардё и Вадсё считались городами, хотя ни в одном из них не имелось более пяти тысяч жителей. Сванвик и Ярфьорд — это «бюгды», т.е. группы разбросанных хуторов с центром в церквах (при мне не сохранившихся); Бурис-Глэб — только церковь, ее немногочисленные прихожане почти все жили до войны в Печенгской области по ту сторону реки (т.е. тогда в Финляндии), хотя батюшка, бывало, ездил играть в картишки в Киркенес к пастору. Все население финляндских территорий в тылу немецких войск было перед боями эвакуировано в финские тылы.

Второй мир — это плоскогорья, «видда». Зимой туда никто не ходит и никто там не бывает (и там-то и отсиживались наши разведчики); весной лопари (саамы), живущие там и сям в Финнмарке, выпускают туда своих олешек, и они там дичают в течение лета. Саамы по большей части — протестантские сектанты, но были и крещеные у Бориса и Глеба или в православной часовенке-избе св.Георгия в Нейдене.

На видде — свои озера, реки, холмы, горы, камни, тундра; на картах они, конечно, есть, но мирным жителям, за исключением саамов (лопарей), они вовсе не известны, кроме тех мест, где зимой пролегают лыжни между хутором и хутором.

Отход наших войск от реки Таны означал потерю соприкосновения с немцами. Хотя было вероятно, что они будут отходить все дальше на запад и на юг, сокращая свои коммуникации, однако было совсем не лишним каким-то образом следить за ними и представлять себе, что они делают. Наше командование приняло решение попытаться создать партизанские отряды из норвежцев и забрасывать их за Тану.

Следующий эпизод совсем было выпал из моей памяти, как часто выпадают ситуации, в которых ты проявил себя так, что можно самого себя осудить. Вспомнил я его при таких обстоятельствах.

В годовщины освобождения Киркенеса впоследствии стало обычаем посылать туда нашу делегацию для участия в торжествах; кто был в этих делегациях — не ясно, во всяком случае, в них не бывало ни полковника Лукина-Григэ, ни меня, ни даже, насколько я знаю, генерала Щербакова. В 1989 г. в Киркенесе побывал заведующий кафедрой скандинавистики филологического факультета Ленинградского университета профессор В.П.Берков. Там он встретил некую фру Силльнес, урожденную Воррен (дочь Ника Воррена, члена муниципалитета), помнившую меня с 1944 г., хотя тогда она была всего-навсего шестилетней девочкой. Она переслала мне с В.П. приглашение навестить Киркенес (которым я, по старости лет, тогда не воспользовался) и ксерокопии двух протоколов заседаний киркенесского муниципалитета:

> «Года 1944, 3 ноября состоялось заседание муниципалитета Южного Варангера в «муниципальном бараке» у спортивной площади в Бьёрневатне. Присутствовали следующие члены: председатель муниципалитета Сверре Дёльвик, Ивар Викен, И.А.Ульсен и Николас Воррен. Кроме того, присутствовали отставной лейтенант Б.Бернтсен и директор школы Аксель Борген.
>
> ...Пункт 6 — о призыве добровольцев на военную службу.
>
> Причиной собрания было следующее заявление русского командования, сделанное гражданской администрации генерал-майором Сергеевым, членом военного совета 14-й армии, того же дня в 8.30:

1. Ваше правительство приняло решение о сформировании двух отрядов из населения Южного Варангера для участия в борьбе против немецких оккупантов.
[Сведения Сергеева были неправильные: норвежское правительство приняло решение послать две воинские части в Северную Норвегию из Англии и через Швецию].
2. Муниципалитет должен в течение 1 суток мобилизовать мужчин, к которым он питает доверие и способных носить оружие.
3. Место сбора подразделений должно быть установлено муниципалитетом.
4. Муниципалитет несет полную ответственность за мобилизацию и формирование подразделений.
5. Советское командование назначило своим представителем генерал-майора Сергеева, который будет оказывать всевозможную помощь».

Заявление генерал-майора авиации Сергеева было, конечно, совершенно незаконным, так как решение о мобилизации норвежцев в армию могло быть принято только норвежским правительством (а текста такого решения у нашего командования не было); и в любом случае районный муниципалитет не правомочен осуществлять мобилизацию. Добровольно же организовывать отряды могли бы только сами граждане, но никак не муниципалитет. Однако муниципалитет немедленно разослал известия с призывом вступать в добровольные отряды в Бьёрневатн, Саннес и Киркенес, а через русские радиоустановки — и в более отдаленные местности вплоть до Ярфьорда, Сванвика и Нейдена. В то же время муниципалитет потребовал, чтобы русское командование связалось с норвежским правительством в Англии.

«К присутствовавшему русскому старшему лейтенанту Дьяконову муниципалитет обратился с просьбой сформулировать телеграмму к норвежскому правительству через норвежское посольство в Москве».

Следующий протокол муниципалитета, писанный уже не от руки, а на машинке, сообщает о присутствии семи членов муниципалитета и еще девяти лиц, в том числе представителя завода «Сюдварангер» Сейнесса, начальника полиции, — и опять-таки, десятым, старшего лейтенанта Дьяконова.

«Председатель муниципалитета сообщил о своих переговорах с русским командованием через старшего лейтенанта Дьяконова, и что, по мнению генерала Сергеева, дело призыва идет вяло.
Муниципалитет, подтвердив патриотическое желание населения участвовать в освободительной борьбе, сослался как на причины медленности призыва:
1) на полное отсутствие подготовленного офицерского состава;
2) общее состояние в районе (сгоревшие жилища, отсутствие питания и отсюда — повышенные требования к мужчинам обеспечивать свои семьи);
3) отсутствие нужной одежды и обуви;
4) отсутствие планов использования добровольцев;
5) отсутствие военной формы [что означало немедленный расстрел немцами в случае попадания в плен]».
Старший лейтенант Дьяконов «заявил, что с их стороны будет оказана вся возможная помощь, кроме военной формы, так как норвежские воинские подразделения не могут носить русскую форму».
«Члены муниципалитета заявили вполне обоснованно, что мероприятия военного характера не могут входить в его компетенцию, и предложили создать комиссию с участием бывших военнослужащих для принятия решений о формировании и дальнейшей деятельности отряда».

Пока суд да дело, добровольцы, числом тридцать-сорок, были перепоручены мне; наши выдали им десятка два автоматов ППШ, и я принялся за их обучение. По счастью, ППШ — такое простое оружие, что даже при моем очень поверхностном с ним знакомстве я и сам его сразу освоил и сумел кое-как обучить обращаться с ним моих подопечных.

Эпизод этот выпал у меня из памяти, по-видимому, потому, что я, во-первых, ощущал незаконность всего этого мероприятия, а во-вторых, вероятно, потому, что я чувствовал, что готовлю смертников.

В это же время к нам шло сплошное паломничество из штаба фронта и из 14-й армии — всем хотелось побывать «за границей», пока фронт не

перебросят в другое место, и, хотя получить командировку и тем более транспорт, вероятно, было трудно, я помню вереницу «гастролеров».

Первым, после недели моего пребывания в Киркенесе, совершилось появление киношников. Они приехали снимать освобождение города. Немножко опоздали, но это же кино! Они просили меня это освобождение инсценировать.

Мы отправились в Бьёрневатн, потому что в Киркенес наши войска не заходили и никакого населения там в то время не было, а через Бьёрневатн наши части действительно прошли, и там было местное население, которое мы в самом деле освободили.

Когда мы приехали в Бьёрневатн, то выяснилось, что норвежцы все еще живут в рудничных штреках; вышли наружу только те, которые и до прихода немцев жили в самом Бьёрневатне.

Норвежцы, обитавшие в горе, хорошо поняли задачу, которую поставили им киношники, и очень были ею довольны. Даже те, кто успел давно выйти из подземелья, пришли туда обратно. Бахтеев еще находился на месте, поэтому и подразделение, освобождавшее Бьёрневатн, было тут же, и все можно было разыграть в точности, как оно происходило.

Я встал на пригорке у дороги, в стороне, и оттуда дирижировал действиями в той мере, в какой нужен был мой норвежский язык: я переводил команды режиссера и оператора. Впрочем, и я каким-то образом попал в кадр, и впоследствии многие мои знакомые видели меня в кинохронике. Я там резко отличался от всех наших, так как солдаты были тогда еще в шинелях, а я из Мурманска предусмотрительно приехал в полушубке.

Все шло очень хорошо: Бахтеев со своими солдатами приблизился, они рассыпались, осматривали дома — не скрываются ли там какие-нибудь немцы. И вот здесь я убедился, что никаких немцев в Бьёрневатне к приходу Бахтеева не было, в противоположность тому, что впоследствии показывали в фильмах, потому что если бы они там были, то бойцы это вспомнили бы и показали бы их разоружение и захват, как на самом деле.

Наконец, когда наши осмотрели поселок, киношники велели дать сигнал норвежцам, и они двинулись из пещеры, тоже соблюдая все точно так, как было. Они шли с норвежским флагом навстречу своим освободителям; те построились, отдавая честь флагу. И тут произошло неожиданное событие. Наши бойцы решили, что так будет суховато, нужно, чтобы были объятия; они кинулись навстречу норвежцам и стали их лобызать. У норвежцев поцелуи между мужчинами абсолютно невозможны, и освобождаемые стали отпихивать своих освободителей. Пришлось остановить съемку и объяснить нашим солдатам, что целоваться здесь не принято, и то, что норвежцы не обнимаются, еще не значит, что они недовольны или не благодарны своим русским освободителям.

Я увидел эту хронику много позже, уже в Ленинграде.

Потом появились другие «гастролеры», частью знакомые, частью незнакомые. Это были политработники 7-го отдела, корреспонденты, писатели. Кажется, приезжал Геннадий Фиш. Один из знакомых — не помню, кто, и не могу сейчас помянуть его добрым словом по имени — привез мне от Гриши Бергельсона пилотку, шинель, мой полосатый заплечный мешок с остатком

стабилизатора бомбы, промахнувшейся мимо меня в Мурманске, с образцами наших лучших листовок (их, как и фрагмент бомбы, я выбросил) и со всеми давними письмами ко мне. Он же привез мне особенный подарок от Гриши, оторванный им от сердца, — так называемую «шкуру», т.е. оленью меховую полость два метра на полтора. Это сразу создало мне уют на моих нарах — было мягко и тепло: снизу полость, сверху полушубок, под голову — шинель.

Самое же главное, что, помимо старых писем, мне привезли и относительно новые — сентябрьские-октябрьские — от мамы и Нины. От Нины было письмо ласковое, под впечатлением родных стен нашего дома, где мы с нею жили вместе, — и казалось, что в этих стенах ей недостает меня.

Мне кажется, что тогда же мне привезли и орден «Красной Звезды»,[1] и приказ о производстве в капитаны, и даже звездочки — нацепить на погоны.

Гастроли вскоре прекратились. Наши войска были в начале ноября оттянуты от реки Таны в поселок Нейден и перешли на отдых.

Проблема размещения людей — и наших, и норвежцев — была очень сложна. Муниципалитет селял людей, сколько мог, в оставшиеся дома, но их было очень и очень мало. Многие люди жили в лесу в шалашах, прикрытых снегом. Бьёрневатн и Нейден были целы, но в окрестных поселках и в Киркенесе почти ничего не сохранилось, а в сохранившихся зданиях размещались наши солдаты и офицеры. Наше командование — не знаю, кто именно, думаю, что генерал В.И.Щербаков — в начале ноября издало приказ всем нашим солдатам выйти из сохранившихся домов. Норвежцам была передана и большая часть оставшихся кое-где немецких бараков.

Приказ об освобождении домов выполнялся с некоторым скрипом; и мне приходилось время от времени пособлять в этом деле. В Музее Советской Армии в Москве хранится листок, вырванный из блокнота:

«Предъявитель сего гр-н Вильгельмсен В. вселяется в дом по наряду местного самоуправления. По приказанию коменданта города очистите помещение.
2.11.44
Дежурный комендант
Старший лейтенант *И.Дьяконов*».

«Дежурный комендант» — это я, конечно, придумал: не было у меня никакой должности, я был «заброшенный».

Вилли Вильгельмсена я встретил в Киркенесе в 1990 г. — он был одним

[1] За какие заслуги я получил орден? Дело в том, что за несколько дней до моего отъезда из Мурманска в связи с негласным приказом «лиц некоренной национальности не задвигать, но и не продвигать» (имелись в виду евреи, но сказать так было пока неудобно), был смещен со своей должности начальника 7-го отдела политуправления фронта полковник Суомалайнен, а на его место назначен какой-то совершенно неизвестный и малопривлекательный тип. Просматривая дела своих подчиненных с «национальной» точки зрения, он обнаружил, что все карелы, финны и евреи награждены орденами и имеют звания майоров, а единственный русский, Дьяконов — старший лейтенант и ордена не имеет.

Майорами они были по своей партийности. В силу ее они числились политработниками, а политработники, даже тыловые, были приравнены к боевым офицерам и получали новое звание каждые три месяца (боевые офицеры, конечно, только если они выживали). Но так можно было дойти только до майора, потому что звание подполковника давала уже только Ставка. В конце нашего пребывания в Беломорске там толпами ходили майоры (а в действующей армии майор было очень высокое звание).

Я же, будучи беспартийным, был не политработником, а «интендантской службы» — и, в отличие от моих товарищей-майоров, почти не бывал в зоне огня. Мне и не причиталось ордена.

Но новый начальник представил меня к ордену «Красная Звезда» как русского, без каких-либо моих заслуг, — а также к очередному званию капитана. То и другое я успел получить до роспуска Карельского фронта.

Позже, уже после войны, я получил еще два ордена — и оба без каких-либо моих заслуг.

из «комитета» по моему приглашению туда с женой. Он рассказал мне, что, обнаружив в доме раненых русских, он не воспользовался моим приказом; он и обратился ко мне потому лишь, что в его 18-19 лет муниципалитет назначил его ведать снабжением, и ему хотелось иметь место для конторы.

Дело несколько облегчалось тем, что начался отвод наших частей на другие фронты; но все же на территории Финнмарка оставалось более дивизии наших. Зимой, в ноябре, нашим солдатам было приказано очистить дома для норвежцев — и они жили в палатках; землянок пока не было.

Сразу после приказа нашим солдатам выйти из оставшихся домов прибегает ко мне человек, совершенно бледный:

— Вы знаете, рубят лес! (Тоненькие такие березки, сантиметров в десять — растет такая на Севере 100—150 лет.) Порубят лес, что я буду делать, это мой лес, мой доход!

Иду разбираться. Оказывается, раз была команда освободить дома, чтобы жители могли вернуться, то, конечно, стали строить землянки, а для них нужен лес — что же делать? Не держать же солдат под открытым небом.

Я доложил комдиву, и тот скомандовал, чтобы за лесом ездили на бывшую финскую сторону, в Печенгскую область. Обстраивались очень медленно, и еще весной можно было видеть группы солдат вокруг костров.

Надо здесь заметить, что прекращение военных действий Карельским фронтом не предполагало конца военных действий Северного морского флота: на море продолжалась война — немецкие подводные лодки продолжали свои нападения на наши военные и транспортные корабли.

III

15 ноября 1944 г. вышел приказ Верховного главнокомандующего о роспуске Карельского фронта. Начался вывод наших частей, в том числе 131-го стрелкового корпуса, включавшего 368-ю дивизию, к которой принадлежал Рослов, и остальных четырех корпусов вместе с танками.Так Рослов выбыл из Киркенеса. Осталась из 99-го стрелкового корпуса, наступавшего южнее 131-го, одна 114-я дивизия полковника Кощиенко. Части нашего фронта были переброшены на разные другие фронты — главным образом на 3-й Украинский маршала Толбухина. Однако не все части, выведенные из Норвегии, были переброшены на западные фронты: некоторые из них остались в Печенгской и Мурманской областях, образовав 14-ю отдельную армию во главе с генералом В.И.Щербаковым.

Штаб фронта, включая, конечно, и политуправление, был переброшен в Ярославль, а потом на Дальний Восток, где назревала война с Японией.[1] Кто знал немецкий язык — Гриша Бергельсон, Липа Иоффе, Шура Касаткин и многие другие — были переброшены в Германию. Для меня это имело существенное значение, так как я был работником именно этого штаба. Обо мне просто забыли. Я узнал о его роспуске чуть ли не месяц спустя, когда

[1] На Дальнем Востоке на мою штатную должность инструктора-литератора был назначен майор Ким Ир Сен. Так как ЦК Корейской компартии было расстреляно в Москве еще в 1937 г., то майору Ким Ир Сену предложили возглавить новое социалистическое правительство Северной Кореи.

его уже и след простыл. Разыскивать моих товарищей было безнадежно. С конца октября я висел в воздухе, без денег, без продуктов и вещевого довольствия и даже без номера полевой почты. Об этом своем предстоящем положении я знал, когда отправлялся из Мурманска, но до сих пор я считал его временным: я где-то числился и куда-то мог и должен был вернуться. Что касается переписки, я мог бы отправляться каждый раз в штаб дивизии около Сванвика и пользоваться ее почтовым номером, но ходить ежедневно за двадцать-тридцать километров или больше для того, чтобы получить письмо — или не получить письма, — было явно невозможно.

Когда я был направлен в Киркенес, уже предполагалось, что в нем не было немецких войск, но не было и наших. В сущности, меня выбросили на ничью землю, и никому не ясно было, где я должен был жить и чем питаться; никто не предупредил меня — да в штабе фронта, может быть, и не знали, — что здесь будет такой же бездомный комендант (впрочем, у Рослова все же было место в дивизии и там же был почтовый ящик). Да и прислан я был вовсе не в комендатуру, а заброшен для выполнения определенного задания в моем качестве инструктора-литератора Политуправления фронта; никаким комендантам я не был подчинен. И вообще все это было не мое дело — я уже привык, что в армии за нас решает начальство. Только к концу января или февраля я был зачислен в часть — а именно, в разведотдел штаба 14-й отдельной армии. До тех пор я «выполнял специальное задание командования».[1]

Зачисление в разведотдел 14-й армии означало, что я поступил в подчинение начальника разведотдела полковника Полякова. Он, впрочем, разве что раз или два появлялся в Киркенесе, и, помимо поступавших от него время от времени кретинических распоряжений, повседневного руководства от него, слава богу, я не ощущал и считал себя по-прежнему помощником коменданта.

Полковник Поляков был из войск НКВД и с гордостью до конца войны носил свою зеленую фуражку пограничника: войска пограничной охраны подчинялись НКВД. Поляков был, разумеется, типичный полковник НКВД, что проявлялось в его вечной глупой подозрительности и неумении справиться с простейшими возникающими ситуациями. Был он человек маленького роста и немалой агрессивности.

С Поляковым я познакомился много позже — организация «разведотдела» в Киркенесе отняла довольно много времени, хотя не ясно, что она должна была там разведывать. Для меня же перемена обстановки произошла таким образом.

Я спал в своей конурке, утром встал и пошел доложиться Рослову, но в кабинете вместо него увидел совершенно другого полковника. Я козырнул и представился. Он сказал:

---

[1] Сразу после войны во всех анкетах надо было перечислять все части и должности, в которых ты служил в армии. Я же с 15.11.1944 г. и по конец января 1945 г. нигде не числился в штате и в анкетах писал, как и было на самом деле, что «выполнял специальное задание командования». Я не знал, что эта формула означает, что я был агентом за линией фронта, но именно это — при моей-то анкете — открыло мне возможность выезжать в заграничные командировки. Только в середине 80-х годов мне позвонили из «органов» и спросили, в чем состояло мое специальное задание.

— Я новый комендант, полковник Рослов убыл со своей частью, моя фамилия Лукин-Григэ,[1] зовут меня Павел Григорьевич.

К моему немалому удивлению, он подал мне руку.

У Лукина-Григэ был совершенно голый череп, орлиный нос, очень волевое лицо, показавшееся мне страшноватым, но потом я увидел, что он был добрым и хорошим человеком.

Норвежцам повезло с комендантами.

С Лукиным-Григэ в комендатуру сразу пришел совершенно другой дух, чем при Рослове. Тот, хотя и привел сюда своего сына, но держался гостем — вот-вот улетит. Лукин-Григэ пришел надолго и сразу стал превращать комендатуру в учреждение. Оборудовал кабинет, поставил стол спиной к окну, лицом к двери. Все красиво. Кроме того, он посоветовался со мной — что надо еще сделать? Обратил внимание на флагштоки, которые стояли у каждого дома, с норвежским флагом, и сказал, что нам тоже надо сделать что-то в этом роде. Перед нашим домом тоже был флагшток. Раздобыть советский флаг было не так легко. Изготовили в дивизии, подняли на флагшток. По моему совету он завел такой же порядок, как у норвежцев, флотский: утром флаг поднимали, вечером опускали. Солдаты стояли по стойке смирно, руку к козырьку — все по правилам.

Я работал совершенно независимо от офицеров комендатуры, и даже не очень хорошо знаю, чем именно они занимались. В 80-х гг. я неожиданно получил письмо от Грицаенко, работавшего после войны в колхозе на Ставрополье, а в то время бывшего уже на пенсии; я попросил его написать, что он сам помнит о Киркенесе, но он был к тому времени уже ветхим стариком, и воспоминания его были довольно спутаны и отрывочны. По-видимому, он и его люди поддерживали связь с дивизией и отдельными частями на подведомственной нам территории (иногда вследствие поступавших ко мне жалоб), а также занимались транспортом и снабжением. Грицаенко же выполнял и другие задания коменданта, мне не известные — например, я не знал, что он переправлялся через фьорд в Вадсё.

Грицаенко был очень дельный и честный парень, но сильно пил. По его собственным словам, он мог выпить бутылку водки, не сходя с места. Это не помешало ему дожить здоровым до старости.

Между тем в комендатуре появились новые люди.

Лейтенант Грицаенко остался от Рослова и формально стал помощником коменданта; кроме того, ему в помощь были даны еще два, а потом и три лейтенанта и позже — один старый солдат. На вид тому было за пятьдесят, т.е. на пределе возраста, в котором еще служили в армии. У него была очень странная форма: видимо, призывая на действительную службу, ему дали гимнастерку и брюки до такой степени бэ/у,[2] что пришлось их заменить, и форма была ему перешита из немецкой — кажется, им самим. По нашему покрою, но немецкого цвета, лягушачье-серая.

Кроме того, появился капитан Ефимов. Он был приятного вида, немного

[1] Настоящая фамилия его была Лукин; но он был поклонником музыки Грига и еще в юности официально принял вторую фамилию Григэ, что означало «Григ Эдвард».

[2] бэ/у (БУ) — «бывшее в употреблении».

как бы потерянный. Он представлял у нас СМЕРШ. Ему была определена комната по соседству с моей каморочкой.

Наверное, в тот момент, когда у нас появился капитан Ефимов, я чуть ли не впервые задумался над тем, как я буду исполнять здесь свою роль. Было ясно, что она заключается в общении с иностранцами — с местным населением, в хождении по их квартирам, в вызовах их к себе и т.д. Между тем, это был 1944 год, когда за один разговор с иностранцами вполне нормально было попасть в концлагерь или на тот свет. Взвесив все это, я решил, что единственный выход для меня — это выполнять то, что считаю нужным. Если захотят, так все равно схватят, как ни трусь. Я уже давно заметил, что в армии, во время войны, если ты нужен, то тебе предоставляют полную свободу действовать. Это мое решение было, конечно, правильным.

Нас вскоре взяли на довольствие в дивизии, и появился еще солдат, который был назначен поваром. Для этого у него была бесспорная квалификация: он был одноглаз и хром, и потому в строй не годился. Он обосновался на кухне в подвальном этаже, и все, кроме полковника, приходили туда есть в удобное для них время. Но как повар он имел и небольшие недостатки: во-первых, он был невероятно грязен и нечистоплотен, а во-вторых, ему никогда не приходилось ничего готовить, кроме «блондинки» (пшенной каши), которую он еще в своей роте, бывало, варил в большом котле, — несложная кулинария.

Выносить зрелище его стряпни и обращения с посудой было тяжко. Между тем, одновременно с поваром у нас в комендатуре появились еще два новых лица, которых моя бабушка назвала бы денщиками, однако сержант, обслуживавший полковника, назывался ординарцем, а иногда адъютантом, а мой — связным. То, что мне дали связного, означало признание меня вторым лицом в комендатуре — впрочем, и в той единственной нашей дивизии, которая осталась на норвежской территории, было, наверное, не более полудесятка капитанов, так что я в любом случае был большой шишкой: не то, что в Беломорске, где одних майоров насчитывалось не менее сотни-двух: знай будь начеку, чтобы вовремя козырнуть. Впрочем, неприятности возникали только, если не козырнешь подполковнику или полковнику: всякий майор знал, что капитан и даже старший лейтенант может очень скоро стать майором, так зачем наживать себе врага. А перед генералом старшему лейтенанту в Беломорске полагалось вытягиваться по стойке смирно и становиться «во фрунт».

Ординарец полковника был хитрый, плутоватый и оборотистый парень; мой же связной был маленький, хилый и забитый паренек, тянувший ноги так, как будто у него башмаки были без шнурков — безошибочно можно было угадать бывшего пленного: на эту повадку и эту походку я насмотрелся у пленных немцев.

Когда у меня появился связной, я после некоторого размышления решил питаться у себя в каморке, хотя обычай нашей армии — каждому званию питаться отдельно от других — мне очень не нравился. Дело в том, что, в отличие от всех армий мира, наши офицеры не только не обедали с солдатами, но, в зависимости от звания, норовили поесть невидимо для тех, кто по званию ниже; это объяснялось тем, что офицеры получали «доппаек», причем разный, в зависимости от звания: младшие офицеры получали, скажем,

консервы (в начале войны — и масло), а старшие, скажем, еще и колбасу; генералам же перепадали осетрина и икра и т.п.

В комендатуре я доппайка не получал; а стелить, например, постель или чистить сапоги моему связному не приходилось, потому что спал я на Гришиной шкуре на нарах, а ваксы же у нас в заводе не было. Так что подать мне наверх в конурку поесть было единственной обязанностью моего связного. Я пошел на такой снобизм — не питаться с другими офицерами — исключительно для того, чтобы не видеть повара. Он всегда норовил запустить грязный палец в тарелку с кашей.

Примерно одновременно с полковником Лукиным-Григэ в Киркенес прибыл и морской комендант, или, как он называется на флоте, старший морской начальник. Не упомнил его фамилии. Он въехал в дом напротив комендатуры; в отличие от нашего, он был полностью меблирован: ковры, кресла, буфеты, шкафы, кровати, постельное белье. Рослов не занял этот дом из скромности. Кроме того, дом имел живого хозяина, одного из инженеров завода, который почему-то замешкался въехать к себе домой из пещеры; он частенько бывал в гостях у старшего морского начальника и выпивал с ним стаканчик эрзац-рома. Что делал старший морской начальник остальное время — я не знаю.

Сохранившийся целым дом был и рядом с комендатурой. А еще один целый и меблированный дом стоял среди руин дальше на пригорке, метрах в 70—100 от комендатуры по нашей стороне. Там был размещен Лукиным-Григэ комендантский взвод охраны, подобранный из лучших коммунистов дивизии.

Изо всех других сохранившихся домов наше командование приказало солдатам и офицерам выселиться.

Они жили всю зиму на снегу вокруг костров — норвежцы постоянно слышали их песни и игру на гармошке; нередко приходили просить хлеба или медицинской помощи.

Когда фронт был распущен, я оказался в Советской армии ничьим, но фактически был работником комендатуры. До февраля у меня не было никакой должности; по существу я был то ли «зам», то ли «пом» Лукина-Григэ. Когда мне приходилось называть свое положение, я говорил или писал, что был помощником коменданта по иностранным делам. Формально же я все еще был инструктором-литератором политуправления уже распущенного фронта.

Лукин-Григэ ввел комендантский час, так как все-таки ему было не ясно, вовсе ли убрались немцы, и не будут ли они забрасывать, например, диверсантов. Это была прифронтовая зона, и ходить по территории, занятой нашими войсками, можно было только по пропускам. Дивизионная многотиражка отпечатала на какой-то коричневой оберточной бумаге бланки пропусков, а я их подписывал. Один такой бланк с моей подписью хранится где-то в Музее армии, а несколько экземпляров по сей день сохранили норвежцы. Я их выдавал очень много. Фактически ходить надо было всем, и я никому не отказывал: кто приходил, тот всегда и получал.

Раз приходит ко мне старик-дневальный со своим обычным:

— Товарищ капитан, там норвег пришел.

Выхожу. Оказывается — квислинговский мэр Сёр-Варангера (Киркенеса).

Оборванный, жалкий, несчастный, руки дрожат. Пришел спросить, когда его будут арестовывать. Я поднялся к коменданту и доложил ему. Он приказал его отпустить домой.

Нам было строгое указание из Москвы не вмешиваться ни в какие внутренние дела, и арестовывать кого бы то ни было нам не было приказа. Но все-таки, услышав, что в округе живет квислинговский мэр, Лукин-Григэ приказал на всякий случай сделать у него обыск на предмет возможного хранения оружия. Я пошел с солдатом делать обыск. Прибыли; видим страшно бедный домишко, прямо какой-то грязный сарай. Детишек, пожалуй, с десяток. Жена заплакана. Немцы выбрали такого мэра потому, что никто получше к ним не шел. Сейчас с ним никто не разговаривает. Чем питаться — неизвестно. Сделал обыск; никакого оружия, конечно, не нашли. Он начал складывать вещи: думал, его заберут. Я его оставил в покое, и на этом дело пока закончилось.

Впоследствии его арестовали норвежские военные власти.[1] Он отделался короткой отсидкой.

Начались жалобы на кражи. Как только люди начали возвращаться на свои пепелища, обнаружились недостачи — прежде всего, велосипедов и машин, которых у местного населения, по нашим тогдашним советским понятиям, было довольно много. Каждое дело я старался расследовать, хотя это было нелегко, так как передвигаться мне приходилось способом пешего хождения — одному или с автоматчиком. И результатов было мало: как правило, машины были угнаны офицерами уже выведенных частей. В очень многих случаях машины и велосипеды мы находили — не поедешь же на велосипеде в строю части на марше, — но находили по большей части пришедшими в негодность.

Однажды, уже где-то чуть ли не в феврале, ко мне приходит в приемную комендатуры человек довольно поздно вечером, чуть ли не перед комендантским часом. Жалоба на кражу автомобиля. Беру временно случайно прибывшую из дивизии машину и еду с автоматчиком на место происшествия. Выясняется, что автомобиль стоит в 150 метрах от дома своего хозяина и от того места, где был взят. Как выясняется после расспросов, наши солдаты проникли в пещеру с ромом, напились и, увидев у обочины легковую машину, влезли в нее и поехали. Управлять они не умели, уехали недалеко и свалились в кювет. Казалось бы, после их ухода хозяин мог бы вытащить ее из кювета и ездить на ней. Но норвежцы — народ законопослушный: если русские взяли машину — значит, так надо; был, к тому же, опыт с немцами; поэтому хозяин дал ей пролежать в кювете несколько месяцев. Любой проезжавший водитель что-нибудь с нее снимал, как с брошенной, и теперь уже там лежал один кузов. Тут уже ничем нельзя было помочь.

Машины все исчезли. Осталась одна у районного врача, осталась машина «Красного Креста» и, может быть, еще две-три; откуда уж они брали бензин, не знаю.

Потом начались жалобы на кражу часов. Тут, по большей части, удавалось

[1] Арестовал его Юст фон дер Липпе, о котором речь пойдет ниже. Сидел «мэр» в тюрьме, оставшейся от немцев, где-то за Бьёрневатном: рубленая чистая изба, внутри чистые нары, на окнах негустая решетка.

выследить виновника. Однажды пришел жалобщик, очень бедный человек, явно нехорошо было у него переть часы. Я пошел, разыскал виновного солдата. Говорю ему:

— Как тебе не стыдно, он был в оккупации, сам бедняк, русских хорошо встречал, радовался, а ты его ограбил.

Солдат говорит:

— А что я его ограбил? Часы взял?

— Ну как это «что»? Часы — ценность для него!

— Ну да! Он же себе другие за сто крон купит, а я живу в Тулунском районе Якутской области, там часов и в помине нет!

Часы я все-таки у него отобрал и вернул хозяину.

Почти все конфликтные ситуации были связаны с различным национальным понятием о собственности. Вот какую историю рассказал мне полковник Лукин-Григэ:

— Еду сегодня и вижу картину: на горке стоит хуторок, затем лощина, и на другой стороне другой хуторок. А в лощине горит громадная угольная куча. Послал Грицаненко вызвать хозяина хутора, говорю ему кое-как по-немецки:

— Почему не тушишь кучу?

— Не мой уголь.

— А где тот хозяин?

— Немцы угнали.

— А у тебя есть уголь? Чем ты будешь топить зимой?

— Буду в холоде сидеть.

— Так потуши и возьми себе! — Как же я могу взять — это чужое!

— Так оно же сгорит!

— Ну и что же — это меня не касается — это чужое.

С лодками тоже бывала беда. Однажды ко мне прибегает рыбак с выпученными глазами и говорит:

— Я погиб! У меня солдаты увели лодку, а я этим живу, я с семьей умру с голоду!

Я беру фонарь, автоматчика и иду в соседнюю часть.

— Брали лодку?

— Брали.

— Зачем?

Оказывается, там, недалеко от берега был нашей авиацией утоплен немецкий транспорт, и на нем было много консервов, которые наши с него доставали. Пустили слух, что под консервами был большой запас водки. Наши устроили самодельный ЭПРОН;[1] подплывали на лодках, ныряли в зимнюю воду и доставали из трюма, что там было.

Ныряльщики говорят мне:

— Что ему надо, мы же вернули лодку!

— А где она?

— Вон стоит!

---

[1] ЭПР Н — в 30-х гг. «Экспедиция подводных работ особого назначения», имевшая большую рекламу в нашей прессе.

Я говорю норвежцу:

— Вот же ваша лодка, на что вы жалуетесь?

— Да, но ведь это не на моей земле, а на земле соседа: я не могу пройти по чужой земле, с меня потребуют за убытки, когда я потащу лодку по его территории.

Первое время главной нашей бедой был винный склад в Бьёрневатне. Бахтеев со своим взводом ушел, наших там никого не было, но норвежцы рассказывали разное. Так, один наш солдат вышел будто бы оттуда с двумя бутылками в карманах и двумя в руках. На глазах удивленной публики он отбил горлышко у одной бутылки — буль, буль, буль; у другой — буль, буль, буль; третью вынул из кармана — буль, буль, буль, до четвертой не дошло, свалился и остался там лежать. Надо отдать должное норвежцам, что они тоже добрались до этой пещеры и пользовались складом. Но мы были озабочены не норвежцами, а своими — от этого склада шла большая часть безобразий, вызывавший жалобы в комендатуру. Мы не знали, что с этим делать. Наконец, Лукин-Григэ связался с командиром дивизии, и для охраны склада был выделен взвод наиболее надежных коммунистов. Это было еще до вывода всех наших остальных войск из Финнмарка, и результат был только тот, что вокруг склада собралось до батальона единичных пьяниц — не исключено, что среди них были и норвежцы, я сам не видел — и они с криком «ура» пошли в атаку на склад; охрана разбежалась, и через полчаса в пещере не было ни одной целой бутылки. Мы вздохнули с облегчением, и норвежцы тоже.

Были и такие случаи: я уже говорил, что наши подкармливали местное население буханками нашего черного хлеба. В одном норвежском доме жил наш солдат. Делился хлебом, помогал по хозяйству. Выяснилось, что его часть уходит. Хозяйка в тот момент доила корову. Солдат вошел в хлев, приставил к груди хозяйки автомат, снял часы и ушел. Одно другому совершенно не мешало. Опять был выезд для меня, и опять без толку.

Еще одна история, и тоже с выездом. Прибегает в комендатуру не совсем старушка, но к тому близится. Я уже тогда не сам принимал всех жалобщиков — внизу была оборудована приемная, и дневалил старик солдат в лягушачье-серой форме.

— Мне старшего лейтенанта Дьяконова.

Старик дневальный ко мне: «Товарищ капитан (я уже тогда получил четвертую звездочку), там норвеги пришли». «Норвегов» он очень жалел — даже с постели поднимал меня иной раз. Иду.

— В чем дело?

— Меня хотят изнасиловать.

— А что вы от меня хотите?

— Пришлите солдат.

Взял солдат, поехал к ней.

— Кто вас хотел обидеть?

Показывает: в полукилометре от нее наша часть.

— Они!

— Какие у вас данные об их намерениях?

— Они приходили, смотрели.

Я уехал. На другой день опять она. Так она ходила неделями, пока не появились норвежские власти и я не передал дело их полиции — тогда она исчезла.

Всех просьб и обращений ко мне я, конечно, не могу упомнить. Забыл я, в числе прочих, и один эпизод, на самом деле необыкновенно укрепивший мой авторитет у норвежцев. Мне его рассказали лишь в 1990 г.

Уничтожая при своем уходе все, чем можно было питаться, немцы забыли или не успели сжечь склад, в котором хранилось 70—80 тонн муки. Норвежцы его не трогали, рассуждая так, что раз склад был немецкий, то, значит, теперь это русский трофей. Они решили запросить свое правительство в Лондоне, нельзя ли купить эту муку у русских.

Каким образом запросили? Дело в том, что в немецком тылу в Сёр-Варангере были не только русские агенты, но и английский, норвежец по национальности и, конечно, с передатчиком. Норвежцам хватило разума нам об этом не говорить — мы бы этого агента взяли, и только бы его и видели.

Норвежское правительство правильно сообразило, что такую покупку можно совершить только через Москву, и дело непомерно затянется. Поэтому оно моим норвежцам в покупке отказало.

Что делать? На все такие вопросы был один ответ: «Пойдем-ка к Дьяконову». Они изложили мне свое дело, и я сказал им:

— Надо подумать. Приходите завтра. — Приходят назавтра. И я говорю им:

— Берите!

Замечу, что думать надо было, конечно, не одному мне, а вместе с Лукиным-Григэ. Я хоть ему был не подчинен, но дело такой важности не стал бы решать без его ведома. Но Павел Григорьевич был разумный и добрый человек, и к тому же всегда прислушивался к моим советам. Но слава — судьба несправедлива! — досталась только мне.

Эту муку до сих пор помнят в Киркенесе; говорят, она спасла много жизней.

Были в нашем округе и богатые, антисоветски настроенные люди, но как назло наши солдаты их не трогали, а обижали простой люд. Например, был некто Миккола — крупный по тамошним масштабам предприниматель по рыболовецкой части, финн (или «квен», как говорили в Финнмарке: «финнами» здесь называли саамов, или лопарей). Микколу не грабили, потому что у него все было на запоре; грабили тех, кто радушно распахивал двери солдатам. А вообще у норвежцев, по обычаю, дома никогда не запирались.

Из моих выездов я вспомнил один в Эльвенес — поселок на дальнем берегу Бекфьорда, северо-восточнее Ярфьорда. Вообще территорию за Патсойоки я редко посещал — там позже была своя маленькая комендатура, и я не знаю, насколько она подчинялась Лукину-Григэ. До Ярфьорда надо было добираться через наплавной мост выше Бориса-Глеба, а затем к Ярфьорду и оттуда на север; по вырубленной в скале над водой дороге, кое-где проложенной поверх бурных сбегающих с горы ручейков, можно было ехать до Эльвенеса на полуострове. Едучи с шофером на дивизионной грузовой машине, я с удивлением заметил, что в одном месте, где ручей пересекал узкую скальную дорогу, проезд прерывался, а поперек была положена авиаторпеда. По ней-то мы лихо и проехали. Я спросил водителя, разряжена ли она. Он ответил:

— Нет, не разряжена, но ведь мы не задеваем взрыватель, так ничего.

А вот другая история. В стороне над высоким обрывом Лангфьорда был немецкий аэродром Хебуктен. Обрыв громадный, метров сто. На краю лежала гигантская торпеда, длиной метров восемь-десять — необычная. Решили ее исследовать — она оказалась с сюрпризом: вдруг, на глазах у всех, подпрыгнула и грохнулась во фьорд и там разорвалась. После этого по крайней мере месяц наши без спросу брали у норвежцев лодки и ловили там глушеную рыбу. На этот раз они ставили лодки на место.[1]

А то жаловались, что солдаты сено брали. Через Лукина-Григэ мы сообщили об этом комдиву, но это было, конечно, неисправимо.

Один раз пришел норвежец с жалобой, что у него наши солдаты растащили склад целлюлозы. Целлюлоза — это сырье для изготовления бумаги, она делается из растительной клетчатки. Спрашиваю:

— А на что вам целлюлоза?

— Как на что! Скотину кормить, сена-то ведь нет.

Пришлось ехать. Оказалось, наш офицер себе землянку обуютил — обил стены целлюлозой, и щели не страшны. Уж не помню, приказал ли я ему ее содрать со стен, — скорее, дал распоряжение больше целлюлозы не брать.

Примерно в то же время приходит ко мне в приемную высокий, немолодой человек в поношенной полицейской форме; представляется мне (фамилию я не помню) и сообщает, что по решению муниципалитета он взял на себя организацию полицейской службы. Признался, что служил в полиции и при немецкой оккупации и что был назначен охранять в местной тюрьме захваченных немцами норвежцев, работавших на нас; но ночью отворил тюрьму и вместе с заключенными бежал к нашим агентам на «видду»; дождался, когда их начали переправлять к нам, и затем вернулся на свою службу. За «халатность» был отдан под суд, но дело затянулось до прихода русских, и таким образом он спасся.

Некоторые старики из приходивших ко мне норвежцев кое-как объяснялись по-русски. Оказывается, до 1914 г. граница была открыта — каждый год приплывали поморы с Колы, и происходила меновая торговля — меховые шкурки на рыбу, русский хлеб на колониальные товары. Это было настолько регулярно, что выработался особый пиджин-русский жаргон, на котором поморы объяснялись с норвежцами. Кое-кто оставался здесь и жить. Среди являвшихся ко мне норвежцев был некто Йе́гурув (Егоров), ни слова, впрочем, не знавший по-русски.

---

[1] Позже наши солдаты выплывали во фьорд глушить рыбу просто взрывчаткой. Один раз они нечаянно подорвали лодку и стали барахтаться в воде. Соседний старик-рыбак заметил это, вышел на своей лодке и выудил неудачных глушильщиков. Это известие как-то дошло до командующего, и к рыбаку была выслана группа офицеров — выразить ему благодарность за спасение наших солдат и вручить награду — какую, уже не помню.

Старик встал навстречу гостям, все его домашние тоже встали, и он пригласил нас за свой скромный ужин.

Хуже было с награждением рыбаков, помогавших нам переправляться через Бекфьорд, Лангфьорд и Нейденэльвен. Наши тщательно записали их фамилии и послали в Москву на представление к орденам. Разумеется, запрос шел шифровкой, а фамилии давались клэром. При расшифровке фамилии, видимо, сочли тоже зашифрованными, и ордена были выписаны на «дешифрованные» фамилии. Когда бумага об их награждении пришла ко мне, я не мог отождествить ни одного из награжденных, и они так и остались без орденов.

IV

В первые дне недели моего пребывания в Киркенесе моя деятельность состояла главным образом в разборе жалоб. Но жалобы были все-таки не каждый день.

В декабре 1944 года у меня случилось немного свободного времени. То, что окружало меня: руины домов, разрушенных нашими бомбардировками и сожженных немцами при отступлении — наводили на размышления о добре и зле. Я взял сохранившиеся у меня красные листки для печатания листовок, и написал то, что потом назвал «Киркенесской этикой».

* * *

Утверждение, будто существует много различных этик, которые меняются в зависимости от общественного производства, периода, расы, национальности, религии или класса, неверно. Существуют два единых основных этических принципа для всех систем общественного производства, периодов, рас, национальностей, религий и классов; разница заключается только в количественном истолковании этических понятий.

Первый этический принцип, или максима, заключается в том, что благо моего ближнего важнее моего личного блага.

Это прагматически верно, потому что в нашей жизни мы привыкли отождествлять хорошего человека как человека альтруистичного, а злого человека — как эгоистичного.

Это биологически правильно, потому что «я» означает особь, а «мой ближний» не является раз навсегда определенной индивидуальностью; следовательно, он представляет вид, а с биологической точки зрения смысл жизни заключается в сохранении вида, а не особи.

Это социально-экономически верно, потому, что индивид не может существовать, не составляя части коллектива, но коллектив может существовать без индивида. Если индивид присваивает себе первенство, он, в конечном счете, разрушает общество, а тем самым предпосылки человеческого существования.

Это верно в религиозном отношении, потому что во всякой религии Бог или божественные силы имеют первенство перед личностью; «я» может быть мыслимо как включаемое в Божество, но только поскольку это «я» есть часть человечества, а поэтому не как нечто предпочитаемое «моему ближнему». И т.д. и т.п.

Поэтому принцип первенства блага моего ближнего над моим благом — первый принцип этики — обязательно должен являться общим для любой жизнеспособной этической системы.

Между прочим, это даст ответ на вопрос, дошедший до нас из седой древности, поднимавшийся еще авторами «Невинного страдальца», «Экклесиаста» и «Иова», — почему праведный несчастлив, а злой счастлив? Ответ: потому что счастье индивида не имеет существенного значения; имеет значение благо того сообщества людей, которое мы условно называем «моим ближним»; а также потому, что это сообщество погибло бы без праведности праведного.

Часто спрашивают: разве не справедливо, чтобы праведный был вознаг-

ражден, а злой наказан? Ответ содержится в притче: у одного отца было два сына; один был послушен и добр, трудолюбив и сострадателен; другой же сказал: «Отец, я буду послушным, если дашь мне сладкого вина, добрым, если ты дашь мне пряник, трудолюбив, если ты дашь мне денег, и сострадателен, если ты меня похвалишь». Должен ли отец дать вознаграждение второму сыну? Нет, потому что это не сделает его более праведным, но разбалует его, подвигнув на еще большее зло. Но следует ли отцу дать вознаграждение первому сыну? Тоже нет, ибо дешево то доброе дело, которое ожидает вознаграждения, и, будучи вознагражденным, первый сын будет не лучше второго. Вознаграждение есть подарок, милость, но она не вытекает логически из праведности.

В скобках. Вот почему автор «Киркенесской этики» не верит ни в рай, ни в ад, «но довлеет дневи злоба его» («достаточно дню его заботы»). Тем не менее, как мы увидим ниже, даже и в этической системе, построенной на рае и аде, первый принцип этики сохраняется, хотя и искажен тщетными обещаниями вознаграждения. Человек не потому праведен, что он ожидает награды, а он потому праведен, что праведен. То, что некоторые индивиды должны быть праведными, заложено в природе человека, иначе человечество само себя уничтожит. Прирожденная сила, делая человека праведным, может быть названа совестью. Можно так же сказать, что «Царство Божие внутри нас», но это значит просто выразить ту же мысль другими словами. Чтобы человечество выжило, не необходимо, чтобы все люди были праведными; достаточно, чтобы некоторые люди были праведными.

Но доля совести сокрыта в каждом человеке, добром и злом, за исключением немногих монархов и великих вождей. Существование совести можно было бы, вероятно, объяснить биологически, как некоторый механизм, необходимый для выживания вида; такой механизм пока не выявлен, но может быть выявлен впоследствии,[1] как выявлены биологические механизмы страха, гнева, радости и наслаждения; совесть можно было бы при желании объяснить как некоторое чисто духовное (религиозное) явление — для настоящего трактата это безразлично.

Теперь мы подходим к разнице между этическими системами, которые существовали в истории человечества. Разница состоит только в различном объеме, приписываемом понятию «ближний».

Даже самый примитивный дикарь, живущий по правилу: «если я съем моего врага, это очень хорошо; если мой враг съест меня, — это очень плохо», несомненно, следует тому же, первому принципу этики. Дело в том, что для него враг — не ближний. В этом-то и беда большинства этических систем: открыто или молчаливо они исключают из числа «ближних» иногда меньшую, а иногда большую часть человечества. Иногда они доходят до того, что считают «неближнего» нечеловеком, как свободолюбивые греки считали нелюдьми рабов и варваров, а в более новые времена нелюдьми считались все члены антагонизируемой расы, нации или класса, и т.п. Если даже мы объявляем вместе с Шиллером «Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости одной», то на самом деле никто не может жить, практически отождествляя

[1] Это как будто подтверждается некоторыми новейшими биологическими исследованиями.

«моего ближнего» со всем «человечеством». Святой Франциск (если я не ошибаюсь) и Сиддхарта Гаутама Будда включали все живые существа (а не только людей) в круг своих «ближних», а из удивительной книги Арсеньева «Дерсу Узала» мы узнаем, что то же делал сибирский абориген, звавшийся так. Я склоняюсь перед этими тремя людьми; но я знаю, что даже Гаутама, которого я ценю чрезвычайно высоко, и апостол Павел, который мне не так симпатичен как личность, хотя я признаю его ведущую роль в превращении христианства в великую религию, — не полностью включали женщин в число «ближних»; даже всеобъемлющая формула в «Послании к Колоссянам» не включает женщин.[1] В этом даже Иисус из Назарета был не всегда последователен.

Поэтому, в то время как категория «я» неразделима, категория «мои ближние» обычно разделяется на концентрические круги; на внутренних расположены те, кто «более мои ближние», а на наружных — те, кто «менее мои ближние».

Это непроизвольное нарушение Великого Правила — не каприз, но зависит от имманентного недостатка того же единого этического принципа: дело в том, что он абсолютно действителен только между двумя людьми, но недействителен, если речь идет об отношениях также с третьим. Подобно задаче трех тел в небесной механике, эта задача не имеет очевидного решения, во всяком случае без привлечения в высшей степени изощренного математического аппарата, которым «я» не может оперировать в своих отношениях с людьми. Благо моего ближнего имеет право преимущества перед моим благом. Ну а если я имею дело одновременно с двумя людьми, то очевидно, что благо как одного, так и другого имеет преимущество перед моим. А что будет, если благо одного не есть благо другого? Или, если я должен уступить свое благо моим ближним, то как мне выбрать между ними, когда благо, как чаще всего и бывает, неразделимо?

Притча: два ребенка одного пола и возраста тонут в канале. Я, женщина, могу спасти только одного ребенка. Кого выбрать? (Задача Буриданова осла).

Предположим, что один ребенок — мой. Буду ли я подлежать этическому осуждению, если я, мать, спасу своего ребенка?

Конечно, если мы обратимся к житийной литературе, скажем «Житию Алексея Человека Божьего»[2] (или житию того, другого типа, имя которого я забыл, который оставил свою пятнадцатилетнюю сестру на произвол мужчин в городе и отправился спасать в монастыре свою душу), — или обратимся к другим подобным несимпатичным историям, то покажется, что сделать праведное дело ценой страдания наиболее близких к тебе людей именно и есть вершина святости.

Но нормальный порядочный человек, не святой и не Будда, сказал бы, что на женщине, спасшей своего ребенка, а не другого, нет морального пятна. Причина в том, что подобно тому как первый этический принцип врожден человеку, — являясь кантовским «категорическим императивом», — так же

---

[1] «Нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного» и т.д.

[2] Разве Алексей не нарушил заповедь «Чти отца своего и мать свою»?

точно и разделение ближних на концентрические круги — тоже чувство врожденное.

Другая притча: мужчина любит женщину, но обручен с другой (или состоит в браке, или связан моральными обязательствами). Ясно, что женщины эти имеют преимущества перед мужчиной. То обстоятельство, что он любит, в данном случае значения не имеет. Но ясно ли, что мужчина должен отдать предпочтение той, с которой обручен, а не той, которую любит? А если она тоже любит его, а будущая невеста — нет? Или если мужчина, отвергнув любимую женщину, вызовет ужасные последствия, в то время как другая довольно равнодушна к возможному ходу событий? Число возможных вариантных ситуаций бесконечно, и почти всегда нет простого ответа на задачу.

Еще одна притча, и именно та самая, которая вызвала к жизни «Киркенесскую этику». Это случай войны. Конечно, война препятствует универсальному толкованию понятия «ближний» и в любом случае есть величайшее из преступлений. Но оставим это пока в стороне и не будем также задаваться вопросом, кто виновен в войне. Возьмем этические проблемы, которые в условиях войны должны решать простые люди, как мы с вами.

Война, раз начавшись, сразу разделяет всех людей резкой чертой фронта. К противнику не относятся никакие этические преимущества. Убить противника не значит совершить убийство. Теоретически это относится только к вооруженному и носящему форму противнику, не находящемуся в плену. В реальной действительности — ничего похожего. Пилот-бомбардировщик сбрасывает свой смертоносный груз, прекрасно зная, что он разорвет на части, или может разорвать на части, и гражданских лиц, детей. То же относится к артиллеристу и (чаще, чем обыкновенно полагают) к рядовому пехотинцу.[1] Грабеж, кража, изнасилование сопутствуют каждой войне. Автор «Киркенесской этики» начал свою военную службу с кражи сена у крестьянина: его люди расположились в неотапливаемой хибаре, на дворе был октябрь, а место действия недалеко от полярного круга.

Теперь предположим, что в этих условиях есть довольно большой участок фронта, сильно укрепленный противником и окруженный диким лесом, а командующий армией (или командир дивизии) в течении десяти месяцев не имеет сведений о том, что происходит позади вражеских укреплений. Одна разведгруппа за другой погибает, командир потерял уже четыреста — пятьсот человек, и наконец разведчики приводят пленного офицера. Но этот офицер молчит и этим исполняет свой долг, ибо от его молчания зависит жизнь тысяч его товарищей. Что должен делать наш командир? Является ли тот факт, что офицер противника приволочен на эту сторону фронта и разоружен, чем-то, из-за чего он автоматически переводится в круг ближних из круга неближних? А даже если так, то разве долг командира по отношению к дивизии не перевешивает его долг по отношению к пленному?

Я не думаю, чтобы подобные проблемы имели разумное решение; они

1 Все это было написано до Дрездена, Хиросимы и Нагасаки.

должны решаться в основном интуитивно. Но говоря так, мы, по-видимому, разрушаем все сложное построение универсальной этики, и прежде всего первого этического принципа, который мы вначале объявили врожденным. Разве девяносто процентов этических проблем, встающих перед нами, не являются проблемами трехчленного или более сложного характера? Нет простого решения для каждой этической задачи в частности, но есть общее правило этического поведения.

Мы переходим ко второй максиме этических принципов, которая тоже носит всеобщий характер: по мере твоих сил не умножай мирового страдания. Это правило более трудно для интерпретации.

Мы еще не дали определения «добру» и «злу». В биологическом смысле «добро» — это, видимо, просто выживание рода. Однако это не может быть прямой целью действия, мотивированных нашей совестью, потому что такие действия иррациональны, автоматичны и эмоциональны. Поэтому, когда индивид действует интуитивно в соответствии со своей совестью, он не может знать, что важно для выживания вида в данном случае: решение, принятое спонтанно, по обстановке, в какой-либо не предрешенный заранее момент, не может определяться высшими соображениями; оно складывается именно иррационально, автоматически и эмоционально. Однако же, если индивид попросту старается не умножать каких бы то ни было страданий в мире, он совершает косвенным образом поступок, способствующий выживанию вида, и в этом смысле совершает «добро» и в биологическом смысле.[1]

Что касается «зла», то единственное толкование этого понятия, не вызывающее противоречий, — отождествление зла со страданием. Страдание может прямо, немедленно, эмоционально быть воспринято нашими чувствами; мало того, человек способен также к сочувствию страданиям других. Поэтому правило «не причиняй другим страданий» не превосходит человеческих возможностей, даже при условии, что действие это автоматическое и эмоциональное.

Правда, если сравнительно легко установить, кто твой ближний — по крайней мере, в рамках унаследованных норм нашего круга, нашего общества, нашего идейного окружения, — и если сравнительно легко даже определить, какие мои действия увеличат зло в мире, страдания в мире, то гораздо труднее выбрать, какие из моих действий более, чем другие, увеличивают зло в мире. Что надо особенно иметь в виду — это отдаленные последствия наших действий (сравните «Фальшивый купон» Льва Толстого). Несомненный факт, например, что насилие, которое в момент его совершения казалось необходимым и меньшим злом (скажем во время войны или гражданской войны), имеет тенденцию полностью менять сознание лиц, его применявших, и вызывать цепную реакцию насилий, которые могут продолжаться без конца в течение десятилетий. Это легко подтвердить общеизвестными фактами из истории XX века. А значит, правило о неумножении страданий в мире верно и в социологическом смысле.

[1] Можно возразить, что страдание особей может быть биологически необходимо для вида. Это верно. Однако в отношении между А («мной») и Б («моим ближним») индивидуальность представлена только А, в то время как Б представительствует за целый вид: мой ближний в качестве ближнего не есть особь, а есть представитель вида. Страдания индивида могут быть на пользу виду, однако страдания вида — безусловное зло. Поэтому страдать должен А, но не Б.

Что касается религии, — во всяком случае, если взять современные религии — это правило, очевидно, верно.

Возвращаясь к трудностям выбора между действиями, увеличивающими сумму страданий (как выбрать, которое из них меньше увеличивает страдания?), мы опять приходим к интуиции, то есть, в конечном счете, к совести. Мы уже упоминали, что почти никто из людей не лишен совести полностью, однако тут следует различать два типа людей: с одной стороны — фанатиков, идеально приспособленных к действию, но видящих только одно непосредственное следствие из него, и интеллигентов, способных видеть этически разные стороны предмета и тем самым более ограниченных в своей способности действовать. Однако эта ограниченность лишь мнимая, потому что она, в сущности, сводится к ограничению способности увеличивать страдания мира. Но поскольку решение относительно моих действий целиком зависит от моей интуиции, моей совести — и, конечно, от моей свободы воли, это вытекает из функциональной роли совести, — постольку «Царство Божие внутри нас»: только мы сами можем оказать милосердие и проявить самоотверженность и самопожертвование.

Как мы пытались показать выше, что бы ни правило нашей жизнью — биологическая эволюция, Второй закон термодинамики или Бог, — это сила, не имеющая дело с личностью, но, в лучшем случае, лишь с видом. Это сила не всеблагая и не милосердная, может быть, в человеческом смысле, она даже вообще не благая (для личности). И, по-видимому, она не может быть всеведущей, разве что в отношении самых общих законов развития Вселенной.[1]

Мало того, можно утверждать, что всезнание физически и философски невозможно: оно нарушает принцип неопределенности, — зная место частицы в пространстве, мы не можем знать направления и скорости; зная скорость, мы не знаем места в пространстве. Заметим, что речь идет не о совершенстве человеческого познания, — просто в природе что-то не может существовать одновременно, а несуществующего не могло бы познать даже всезнающее существо.

Вообще верховная сила весьма равнодушна к нашим личным страданиям,

---

[1] Первородный грех, как его изображает христианская традиция, есть нечто весьма тривиальное: трудно понять, какое зло (в смысле данного выше определения) было совершено Евой и Адамом — разве что считать эту историю притчей об отдаленных последствиях наших деяний. Но она полностью противоречит представлению о всеведущем Божестве. Оно бы предвидело совершение первородного греха, ибо решение свободной воли человека было бы заранее известно Божеству. Зачем же тогда наказание? И разве оно не слишком жестоко для отношений между Отцом и его Детьми (оно длится тысячелетиями!). Также принесение Божеством самого себя в жертву, если считать, что оно всеведуще, производит странное впечатление: выходит, что Иисус знал, что его мучения продлятся всего шесть часов — то есть меньше, чем предсмертные мучения большинства людей, умирающих естественной смертью, — после чего он знал точно, что проснется в Раю, в то время как умирающий человек в этом уверен быть не может, и от неведения страдает больше! Вечное наказание несправедливо и аморально, и вообще почему столько хлопот об обеспечении вечного блаженства для избранных, раз они уже предрешены заранее всеведущими божеством, которое могло бы все сделать сразу.

Первородный грех может быть истолкован только как врожденное несовершенство человеческой совести и потому — человеческих действий. Жертва Божества может означать добровольное соучастие в этом несовершенстве, а обещанная награда — незаслуженный дар, милость. Смысл этого был бы в том, чтобы вырвать человечество из слишком узкого круга «ближних» и показать, что правило должно, по возможности, применяться универсально. Я не думаю, что из всего этого можно вывести всеведущее Божество, и вообще жертва Иисуса за все человечество кажется мне куда убедительнее, если считать, что он был человеком.

что и показано в «Книге Иова». Но именно эта сила вложила в нас инстинкт совести, разрушительный для индивидуальности его носителя, но необходимый для выживания человечества. И только в этом «Царстве Божьем» — которое внутри нас — мы можем искать доброту, снисхождение и любовь.

Однако и тут я не вижу места ни для веры, ни для надежды. Надежда — хорошее успокоительное, но она не необходима для добрых деяний. Мало того, — и это, кстати, о Рае и Аде — я думаю, что святые мученики были праведны не потому, что они надеялись на награду, а несмотря на то, что они на нее надеялись.

Итак, будем надеяться, что наша совесть не слишком часто вводила нас в заблуждение, и то, что живет в нас, по-отцовски простит нам те ушибы, которые мы — время от времени, вольно или невольно — оставляли на ребрах ближних. Но, конечно, и эта надежда, как и всякая надежда, тщетна, и нам следует выполнять наш долг в меру нашего понимания, не беспокоясь, простят нас в конце концов или не простят. Остальное — энтропия.

* * *

В такие свободные дни я обычно играл по вечерам в «пятьсот одно» со смершевцем Ефимовым; свой отчет он писал ближе к ночи. Но однажды, зайдя к нему, я застал его сидящим совершенно пьяным в кресле; вытянув вперед ноги, он каким-то речитативом исполнял экспромтом какую-то эпическую песнь верлибром; содержание ее было не вполне внятно, но между прочим речь в ней шла о каких-то семнадцати загубленных душах.

V

8 ноября улицы Киркенеса, между нашими домиками и угольными кучами, вдруг наполнились солдатами в незнакомой английской форме — защитного, но не нашего, цвета шинельки, вместо кителей и гимнастерок — свободные кофты с широким поясом, брюки и ботинки, на голове — темносиний берет. Солдат было всего человек 250, зато была большая «миссия» (у нас она официально называлась «штабом»). Во главе норвежцев стоял не батальонный командир, а командующий; задачей его было не только преследование отступавших немцев и помощь населению, которое могло остаться при отходе немецкой армии за Таной, но и организация гражданской администрации на освобожденной нами территории.

Пришедшим норвежским солдатам было скомандовано «вольно», и они разбрелись по Киркенесу, осматривая его руины, а их командующий с двумя офицерами поднялись представиться Лукину-Григэ.

Это был полковник Арне Даль, прямой, стройный, высокий человек с красивым волевым загорелым лицом. Сопутствовали ему его начальник штаба майор Идланн, небольшого для норвежца роста, темноволосый, с

усиками, и начальник разведки и контрразведки, носивший неожиданно немецкую фамилию — Юст фон дер Липпе. Я думаю, Даль взял его с собой к нашему коменданту не потому, что он был начальником разведки, а потому что он хорошо говорил по-русски. — Я понимал, что если доложу по начальству его полную фамилию, то потом не оберусь подозрений, организации наблюдения за ним и прочего. Поэтому во всех донесениях и документах я называл его просто Липпе (так его, впрочем, звали и его товарищи), и под таким именем он и вошел в нашу официальную историю.

Липпе был коммунист и, мало того, один из секретарей ЦК норвежской компартии. Но поскольку коммунисты играли безусловно положительную роль в подпольном движении сопротивления, Даль решительно выбрал его своим начальником разведки и контрразведки, отметая другие мнения.

В данном случае переводить ему не пришлось — переводчиком был я; я знал норвежский лучше, чем Липпе — русский.

После взаимных воинских приветствий Даль передал Лукину-Григэ копию решения норвежского правительства о посылке войск в Финнмарк (с русским переводом), объяснил вкратце поставленную перед ним задачу и сказал, что просит помочь с размещением своего отряда. Лукин-Григэ приказал освободить ему немецкий барак по дороге на Бьёрневатн — он был особенно удобен, так как был разделен на комнаты; здесь Даль и поместил свой штаб.

Когда Даль со своими спутниками вышел из комендатуры, я пошел с ним — знакомиться с норвежскими офицерами. Они окружили меня, и завязался разговор. Из них я запомнил врача Эгеде-Ниссена из-за его знаменитой в норвежской культурной истории фамилии (он тоже был коммунист) и журналиста капитана Юве. Сам Даль и некоторые из его офицеров были ветеранами обороны Нарвика в 1940 г. (не удавшейся из-за отвода английских и французских сил), а впоследствии эти люди участвовали в различных операциях английских войск. Форма на норвежцах была тоже английская, лишь на рукаве было слово NORGE и норвежский герб.

При размещении миссии в отведенном им бараке произошла забавная и в то же время характерная история. Барак не имел уборной. Норвежское командование вызвало инженера Сейнесса, ведавшего руинами завода «Сюдварангер» (конечно, частного), с тем чтобы он построил соответственное учреждение на 50 человек (материалы на заводе кое-какие сохранились, и люди были). Инженер заломил такую цену, что на ее оплату едва ли хватило бы всего бюджета миссии. Мы поставили Даля в известность об усердной деятельности инженера в пользу немцев, всем в округе ведомой, и дело сортира было быстро решено.

В составе норвежской миссии был и моряк — седовласый капитан второго ранга, занимавший должность старшего морского начальника. (Дело в том, что в составе крошечных норвежских вооруженных сил, присланных в Финнмарк, было два-три маленьких военных корабля. В

Киркенесском порту если они появлялись, то только раз или два — твердо не помню, функцией их было патрулирование норвежского побережья от Таны и далее на запад, а позже — участие в операции по захвату острова Сёрёйа, где находился важный немецкий военно-морской пост).

Норвежскому старшему морскому начальнику Лукин-Григэ отвел дом, ранее предоставленный под отряд охраны — сначала охраны рома, а потом нашей комендатуры; теперь комендант решил распустить отряд за явной ненужностью. Моряк пошел принимать дом — это был один из тех, где сохранилась кое-какая обстановка, — и очень скоро пришел ко мне и попросил, чтобы я для порядка зашел и проследил за передачей помещения.

Я выразил недоумение — что там может случиться, и даже сказал, что охрана состоит из отборных коммунистов.

— Может быть, они и коммунисты, — сказал мне моряк, — но командир охраны положил себе в карман вазочку со стола. Но вы не беспокойтесь — он думал, что она серебряная, а она из белого металла.

Я готов был провалиться сквозь землю.

— Да вы не волнуйтесь, — сказал он. — Все армии воруют.

Это мне было плохим утешением. Вскоре ту же мысль стал развивать для меня журналист Юве. Он сказал:

— Все армии воруют, но воруют по-разному. Например, в оккупированной Норвегии немцы не грабили частных лиц. Но почему-то на прилавках магазинов стали редеть товары, а на почтах выстраивались очереди немецких военных с посылками в фатерланд. Англичане больше гоняются за сувенирами. А американский военный подгонит три студебеккера к универмагу, грузит на них все товары и отправляет к знакомому капитану в какой-нибудь порт, тот переправляет груз в США, а герой этого дела после войны открывает универмаг в Оклахоме.

Даль для начала занялся организацией жизни населения. Был сменен знакомый нам полицейский, поставленный муниципалитетом, и начальником полиции был назначен майор Бьёрнсон. Это сразу облегчило мою работу, потому что жалобы непосредственно в комендатуру почти прекратились. Сложнее было с транспортом и продовольствием. Даль попросил аудиенции у генерала Щербакова (весь его батальон теоретически был подчинен нашей 14-й армии и фактически был поставлен в ней на довольствие — «блондинкой», но ее надо было привозить).[1] За Далем, Липпе и еще двумя норвежскими офицерами была прислана машина, а мне тоже был прислан отдельный сильно потрепанный «козлик». Путешествие на нем мне хорошо запомнилось: дело в том, что в машине не закрывались обе дверцы — ни слева от водителя, ни справа. Водитель был молодой и явно очень неопытный парень. Правая дверца была поручена мне, и я всю дорогу придерживал ее рукой. Но на самом

[1] К осени пшено стало сильно надоедать норвежцам, которые раньше его в глаза не видали. «Куриная еда», — говорили они.

крутом спуске к Печенгской области, над обрывом, стала открываться и левая, и мой водитель, крутя баранку по серпантине почти вслепую, стал ловить раскрывающуюся дверцу левой рукой и глядел больше на нее, чем на дорогу. Тем не менее, мы живыми прибыли в Луостари.

Первое, о чем пришлось просить Далю (не помню уж, только в этот приезд или еще и в следующие), были продовольствие и транспорт. Армия смогла выделить для норвежцев довольно много муки и еще кое-каких продуктов, но с транспортом дело обстояло плохо: импортные (ленд-лизные) студебеккеры и виллисы почти полностью ушли вместе с отбывшими на другие фронты частями, и выделять машины для Даля приходилось, буквально обирая части 14-й армии под гребенку. Выдали три легковых машины, обслуживавшие у нас генералов, и семнадцать грузовых машин. Эти машины были нужны не только как транспорт в пределах освобожденной территории, но и для переброски норвежских офицеров и солдат за Нейден и Тану, для установления местоположения немецких войск и слежения за ними.

К сожалению, норвежцы были привычны к исправным машинам и исправному обслуживанию их. Обслуживания не было, а сами машины, проездившие три года по горным дорогам и просто по бездорожью Кольского полуострова, в неопытных руках норвежцев очень быстро отказали. Все, как одна!

Между тем, Далю непременно было нужно побывать в зоне, оставляемой немецкими войсками за Таной. Пришлось одалживаться грузовиком у командира нашей дивизии. Тот согласился, но при этом вызвал к себе водителя и сказал ему:

— Смотри, повезешь иностранцев, чтобы комар носу не подточил!

Рядом с шофером сел Даль, а в кузов набились его люди. Об этой поездке мне рассказывал участвовавший в ней Юве:

— Доехали мы до Таны, машина остановилась, и мы уже стали заносить ноги за борт, чтобы спрыгнуть. Но шофер нам сигнализирует: не надо! Повел машину тихонечко и — плюх в реку. Какими-то одному ему ведомыми способами разыскивал мелкие места и переправил-таки нас на другую сторону. Поехали мы — все пусто, хутора сожжены дотла, провода сорваны, столбы взорваны, людей нигде нет, едем где по дороге, а где и по бездорожью; немцев, конечно, тоже нет. Наконец, к вечеру видим на пригорочке сохранившийся хуторок. Мы остановились, открыли свои продовольственные пакеты, зовем шофера покушать — он отрицательно качает головой. Мы пошли ночевать на хутор, а он развернул тряпочку и ест свою краюху черного хлеба. Поспали мы в хуторе, шофер — под баранкой; подходим к машине, — а он откинул капот и что-то возится в моторе. Ну, все союзные офицеры обучены автомобильному делу, столпились — хочется посмотреть: что это за машина такая, вездеход, и через реку может, и по горам? А у него все там замотано проволочками; что-то не заладилось — он снял сапог, оторвал полоску от портянки,

замотал в моторе что надо — и поехали дальше. И так трое суток ездили — шофер спал за баранкой и ел свою краюху, а машина брала любые препятствия.

— Да, — сказал мне Юве, — теперь понятно, что вы побеждаете немцев.

Я вспомнил, как в трофейных бумагах СС-овского батальона, что стоял на Кестеньге, я находил рапорты о том, что машина не может ходить из-за отсутствия какой-нибудь пустяковой детали. А потом, после нашего наступления, на всех брошенных за неисправностью немецких машинах ездили наши генералы; и не из них ли были и те легковые машины, которые у Даля «не пошли»?

Другой раз, если правильно помню, Даль и с ним я ездили в Луостари к Щербакову по поводу восстановления электростанций в Ярфьорде и Киркенесе. Ввели их в действие совместными силами — единственно, кто в этом не участвовал, это представители завода «Сюдварангер». — Историк говорит также о восстановлении водопровода в Киркенесе нашими силами — я этого не помню, но, очевидно, это было, и наверное, тоже было сделано совместными или только норвежскими силами. Зато хорошо помню, что норвежская часть быстро восстановила в округе телефонную связь.

Помню неприятный случай в период восстановления тока в Киркенесе: только что восстановленный провод был оборван ветром и болтался, время от времени задевая лужи и какие-то железки — заводские, что ли, рельсы. А к нам в комендатуру шел генерал Кощиенко — он хотел отодвинуть рукой висевший на его пути провод, схватился за него, его ударило током, он упал, и не может разжать руку. Я и адъютант генерала шли рядом, и валявшейся поблизости сухой доской оторвали его от провода. К счастью, он остался жив, был только сильный шок.

Соседний с комендатурой пустовавший совершенно целый дом мы отдали под больничку, организованную приехавшим с миссией норвежским доктором Володарским, в прежние годы одним из лучших врачей Осло, которого норвежские патриоты спасли оттуда (так же, как моего школьного приятеля Ханса Селикмана[1] и нынешнего зубного врача миссии Зеликовича — норвежцы произносили «Селикувитс»). Володарский был очень приятный, веселый и общительный человек с необычной биографией: по происхождению одесский еврей, он уехал еще в детстве, до первой войны, с родителями в Бельгию, в ту войну бежал в Норвегию и там жил до 1940 г. Он хорошо (но по-одесски) говорил на русском языке. Пациентов у него было очень мало (он мог оказывать только амбулаторную помощь), и впоследствии он уступил часть дома созданной некоторое время спустя норвежской комендатуре. Как часто бывает во времена кризисных ситуаций, заболеваний среди норвежцев было пока мало, и с ними по большей части справлялся местный доктор, имевший свою машину.

[1] Так мне сказали тогда; но потом было известие, что Селикман погиб.

Но зато у наших разведчиков и смершевцев Володарский вызывал тяжелое обострение болезни бдительности. Однажды полковник Поляков, как-то заявившийся в нашу комендатуру, вошел в неосвещенный кабинет Лукина-Григэ, подозвал меня к окну и показал мне не соседние светящиеся окна Володарского:

«Подглядывает за комендатурой», — сказал он.

Я зажег свет в кабинете и спросил полковника, видит ли он дом Володарского.

«Если бы он следил за комендатурой, он должен был бы потушить у себя свет», — дерзко сказал я полковнику.

Премудрый разведчик промолчал.

Перед Новым годом через новую шведскую границу за поселком Сванвик перешло еще до батальона норвежцев. Они проходили военную подготовку в Швеции — в первую половину войны Швеция подыгрывала Германии, но в 1944 г. пора было уже выразить дружеское отношение к союзникам. Потому и была разрешена подготовка на шведской территории этого батальона — но для поддержания видимости своего нейтралитета шведское правительство делало вид, что готовятся только полицейские части для освобождения Норвегии — и солдаты были не в английской форме, а в какой-то синевато-зеленой якобы полицейской.

Примерно в феврале к нам прибыли двое работников разведки армии, подчиненные Полякова, молодой подполковник Янкелевич и с ним один незаметный майор. Я не запомнил его фамилию и не помню, чтобы он чем бы то ни было занимался.

Янкелевич объявил мне, что я зачислен переводчиком в разведотдел и что отныне я буду находиться в его подчинении. Я был наконец поставлен на довольствие, сделалось возможным писать домой и получать письма (от случая к случаю); но Янкелевич был настолько разумен, что почти не вмешивался в мою работу и не требовал с меня никаких отчетов о ней. В чем, собственно, заключались его функции, мне было не ясно: норвежская воинская часть числилась в непосредственном подчинении 14-й армии, и вести против нее разведку было как-то странно, а с немцами мы давно потеряли контакт. Не имел Янкелевич и никакой агентуры среди норвежцев — сам же не знал никакого иностранного языка, кроме китайского (когда-то учился на китаиста), и не мог общаться ни с каким норвежцем, кроме как через меня, а меня он к своей деятельности не привлекал. Часто бывал в штабе дивизии.

Месяца через два или около того Янкелевич как-то вызвал меня и с большой таинственностью повез на дивизионной машине куда-то вглубь «нашей» норвежской территории. Привез к какой-то будочке в чистом поле, оставшейся от немцев. В будочке находился наш связист; на столе стояла какая-то аппаратура и лежали наушники и большая чистая конторская тетрадь. Янкелевич объяснил мне, что удалось подключиться

к норвежской телефонной сети, и предложил мне начать подслушивание, а все услышанное записывать в книгу.

Я надел наушники и вскоре услышал телефонный разговор. Я стал записывать его перевод в книгу, слово в слово.

— Ингрид, это ты? Здравствуй, как там дела? Хорошо? Слушай, там у меня на второй полке справа стоит большая банка брусничного варенья. Да, справа, с краю. Пожалуйста, принеси ее с собой к Хансенам.

— Хорошо, принесу.

Я записал это в книгу и передал Янкелевичу. Он нервно начал читать, потом дал мне знак идти за ним, молча вышел и увез меня обратно в комендатуру. Больше об этой акции я ничего не слышал.

Вскоре после этого Янкелевич организовал в комендатуре радиостанцию. Там работала симпатичная молодая связистка, потом оказавшаяся женой Янкелевича. Ближе к осени там появилась еще одна симпатичная женщина, по специальности парикмахерша. Много лет спустя, когда Лукин-Григэ пришел ко мне в гости в Ленинграде с женой, я узнал в ней неизвестную с радиостанции.

Больше никаких моих отношений с Янкелевичем — кроме одного случая, о котором я расскажу позже, — я что-то не припомню. С его майором тем более я не имел никаких отношений.

После прихода пополнения из Швеции в Киркенесе возникла норвежская комендатура на первом этаже дома Володарского. В отличие от нашего коменданта, бывшего верховной властью в «Восточном Финнмарке» (параллельно с Далем, но в чем-то важнее его), норвежский комендант был просто старший офицер гарнизона на данной территории — конкретно говоря, командир полуроты. Это был очень славный капитан Карлсен, а при нем был переводчик, тоже очень симпатичный и дельный, коммунист Сельнес; позже был ему придан еще военный юрист, молодой и ехидный человек по фамилии Анденес.

Сельнес был по образованию русист; по его словам, он защитил диссертацию о правилах ударения в русском языке, чем я был немало удивлен; я-то был убежден, что, независимо от того, что могло быть в древнерусском, в современном языке нет никаких правил ударения, а есть только закрепленное обычаем словоупотребление. Сельнес сказал мне, что я не прав, но сам продолжал делать в русских ударениях ошибки. Практически ему никогда не приходилось до сих пор применять свои знания: после университета началась война и подпольная работа, затем бегство в Швецию. Политических вопросов мы с ним не обсуждали, но как-то раз он обратился ко мне: «ты как коммунист» — и я сказал ему, что я вовсе не коммунист.

Я встретил Сельнеса в 1970 г., он тогда преподавал в университете в Осло. Я спросил его, не подействовала ли на его убеждения «секретная» речь Хрущева (широко публиковавшаяся во всех зарубежных газетах). Он ответил:

— Вся моя жизнь прошла с этими убеждениями, теперь поздно их менять.

Значительная часть возникавших местных осложнений шла теперь мимо меня — по мере возможности с ними теперь разбиралась норвежская полиция, при надобности обращаясь к нам через Сельнеса. Но в целом ни норвежская комендатура, ни мнимое мое подчинение Янкелевичу не повлияли на характер моей жизни и работы.

Совсем иное дело был начальник разведотдела 14-й армии полковник Поляков, которому я действительно должен был подчиняться. Сначала он донимал меня телефонными звонками, преимущественно среди ночи (теперь в комендатуре был телефон) и обычно по каким-то чудовищным пустякам, однако требовавшим от меня ночных выходов или выездов.

Так, раз он позвонил и сообщил мне, что, по его сведениям, на подведомственной нам территории скрывается граф Фольке Бернадотт: мне предлагалось немедленно установить, так ли это.

— Выполняйте немедленно. Сегодня же ночью, и если обнаружите, задержать.

Граф Фольке Бернадотт был племянник шведского короля, активный деятель бойскаутского движения, а затем «Красного Креста». В конце войны он пытался организовать переговоры между немецким и союзными правительствами с целью ускорить конец войны. (Впоследствии он был назначен представителем ООН для посредничества между Израилем и палестинскими арабами и был убит израильскими террористами). Слухи о германской миссии Фольке Бернадотта проникли в прессу, вероятно, где-то в апреле 1945 г.

Я вышел и направился в соседний дом норвежской комендатуры. Был второй час ночи. Дверь была на замке, и во всех окнах было темно; работники комендатуры спали во втором этаже, у Володарского. Я высмотрел окно, за которым, по моим расчетам, должен был спать Сельнес, и по какому-то стоявшему рядом дереву вскарабкался и постучал ему. Сельнес проснулся и открыл окно.

— Кто это? Это ты, Дьяконов? Что случилось?

Я говорю:

— Граф Фольке Бернадотт прибывал к вам? — Очнись, какой такой граф Фольке Бернадотт? Иди спать!

Я ушел и написал донесение о том, что граф Фольке Бернадотт не прибывал в Норвегию. И черта ли ему было тут делать?

А если бы каким-либо чудом он действительно сюда прибыл? Тогда бы, без всякого сомнения, его ждала судьба Валленберга.[1]

Хотя война на море и продолжалась, в порт Киркенес начали заходить не только изредка появлявшиеся норвежские военные катера и постоянно

[1] Валленберг был другой шведский благотворитель, который на оккупированной немцами территории Венгрии сумел вывезти и спасти от уничтожения десятки тысяч евреев. По вступлении наших войск в Венгрию он был ими задержан и тайно расстрелян как «шпион», в чем мы признались лишь в 1990 г.

курсировавшие между Киркенессом и Вадсё рыбачьи боты, но и грузовые теплоходы. Это были корабли серии «Либерти» — первые в мире морские суда, которые удалось строить на поточной линии; суда эти были американские, но, помнится, приходили под норвежским флагом.

Корабли чаще всего вставали прямо у причала — Киркенесфьорд глубокий. Помню, как по прибытии первого корабля был сброшен трос и пришвартован к тумбе на берегу, — а корабль относило от берега, натягивая канат, — и по нему на палубу корабля нетерпеливо вбежал старик — норвежский морской начальник.

Но иногда суда останавливались на рейде. Обычно первая шлюпка доставляла капитана, который являлся с кратким визитом вежливости к коменданту и к нашему старшему морскому начальнику — у Лукина-Григэ для таких официальных визитов был выработан ритуал: выходил его адъютант и выносил три рюмочки водки на металлическом блюде; пили за победу и за здоровье друг друга. Откуда взялись блюдо, рюмки и водка — я в это не вникал, но одна рюмка — для меня — всегда была с водой. Это было правильно — на моей работе пить было ни к чему, но я каждый раз боялся, что адъютант неправильно подаст блюдо, и рюмка с водой достанется гостю. Но он никогда не ошибался.

Как-то раз сижу в своей каморке и вдруг слышу сильный взрыв где-то у нас в доме. Бегу к коменданту. В его комнате ералаш. Оказывается, адъютант нечаянно загрузил в печку вместе с углем гранату. Стол защитил Лукина-Григэ.

Убрали комнату, где-то в руинах нашли новую, такую же печку.

Однажды подходил теплоход «Либерти» — я стоял у причала и ждал шлюпку (это был чуть ли не первый же или второй из приходивших кораблей) и вижу — в шлюпке стоит между гребцов вовсе не капитан, а высокий человек в английской сухопутной военной форме; когда он сошел на берег, я не увидел на его рукаве надписи NORGE и норвежского герба. Я провел его к коменданту, где он сообщил по-английски, что он представитель ЮНРРА[1] и послан для изучения жилищного и продовольственного положения норвежского населения. С норвежским командованием он явно не был связан. Лукин-Григэ принял его и тут же запросил Луостари. Поляков дал команду немедленно выдворить этого человека. Его нашли и вежливо попросили уехать на том же корабле обратно. — В виде исключения, потом выяснилось, что он действительно был английским разведчиком.

Корабли «Либерти» привозили норвежцам продовольствие, бензин и разборные Nissen huts — в собранном виде это были полуцилиндрические домики на деревянной опорной раме с крышей из волнистого железа. Они могли собираться любой длины; их использовали главным образом для размещения солдат, а отчасти и населения. Позади норвежской коменда-

[1] UNRRA — United Nations Relief and Rehabilitation Administration — Администрация помощи и восстановления при Организации Объединенных Наций.

туры был возведен маленький Nissen hut для зубного врача, уже упоминавшегося Зеликовича, к которому я иногда забегал поболтать (по-норвежски, русского он не знал); такие же сооружения появились и в других местах нашего округа.

Кроме того, началось воздушное сообщение союзников с Финнмарком. О прилете очередного транспортного самолета мы извещались заранее; первый самолет вел американский полковник авиации, весьма известный летчик, вроде нашего Чкалова или Громова, норвежец по происхождению — Бернт Балкен. Для встречи самолета в Хебуктен выехали Лукин-Григэ, наш старший морской начальник, Поляков и, кажется, также член военного совета Сергеев; все надели полный набор орденов на кителя и готовились к торжественной церемонии. С ними, конечно, был и я. Самолет приземлился, с него выбросили трап — и каково же было всеобщее изумление, когда навстречу собравшимся орденоносцам вышел американский полковник в пилотке — и плавках. Все были невероятно шокированы, но с тех пор было принято, что самолет ездил встречать один я; а так как у комендатуры не было постоянного транспорта, то я ездил на аэродром на заднем сидении мотоцикла Анденеса. Он же был хулиган и нарочно мчался с повышенной скоростью, по возможности через ухабы.

Хебуктен из пустынного поля превратился в примитивный, но все же аэродром. Наши отрядили туда небольшую группу солдат — не совсем БАО (по численности), но все же способную на кое-какое обслуживание самолетов.

В один из моих приездов в Хебуктен у меня был любопытный разговор с одним пожилым солдатом.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться. У меня к вам вопрос есть один. Вот норвеги наши союзники, а у них, оказывается, есть бароны.

Я был ошарашен. В Норвегии в XIX в. было два или три баронских семейства и одно графское, датского происхождения, но дворянство и все дворянские титулы были отменены еще законом 1850 года.

— Кто сказал, что у норвежцев есть бароны?

— А я их спрашиваю тут — ну, как они живут, а они говорят «баре ножки».

Наши солдаты уже знали, что норвежцы называют себя norske — произносится «ножьке». Норвежцы на вопросы солдата отвечали «bare norsk», что означает «(понимаю) только по-норвежски».

Я успокоил солдата, — который путал барона и барина, — уверив его, что баронов у норвежцев нет.

Однажды, не помню уж, на самолете ли или через Мурманск, прибыл к нам главный епископ норвежской армии, Фьелльбю. История его была любопытна. В мирное время он был епископом города Трондхейма, третьего по величине и самого старого города Норвегии, и оставался там и при немцах. В один из праздничных дней, когда в собор стеклось

особенно много народа, он прочел необыкновенную проповедь, призвав норвежцев к сопротивлению. Конечно, после этого ему немедленно пришлось скрыться и бежать, как бежали сотни норвежцев, ночью на лодке или моторном боте в Англию, уклоняясь от немецких сторожевых судов, — норвежское побережье очень длинное, и у немцев, видимо, сторожевых судов не хватало. В Англии Фьелльбю и был назначен главным епископом норвежской армии в чине полковника. Лукин-Григэ, никогда до сих пор не встречавшийся с духовными лицами, принял его с большим уважением. Епископ попросил, чтобы ему выделили какое-нибудь помещение, где бы он мог прочесть проповедь. Комендант распорядился очистить для него барачное красное здание, где у немцев была баня,[1] а у нас — формально клуб, формально офицерский, а на самом деле общий с норвежцами, которые собирались в «Рюссебракка» («Русском бараке») на танцульки.

Я пошел слушать его проповедь. Помещение было набито битком, епископ стоял на каком-то возвышении на фоне портрета Сталина. Я встал в сторонке у двери. Надо сказать, что мне редко приходилось слушать более блестящую речь. Он сказал все то, что в тот момент было надо норвежцам, — внушил им надежду на скорое возрождение, отдал должное нашей армии-освободительнице, указал на то, что мы передали норвежцам все оставшиеся дома, а наших солдат разместили под открытым небом, признал, что между армией и населением неизбежно могут возникнуть трения и трудности, и призвал норвежцев всячески поддерживать русские войска в их нелегкой миссии.

Затем епископ объехал всю округу. Машину, кажется, ему давали из дивизии.

После этого прилетел к нам с визитом норвежский министр Т.Волл. Этот визит был довольно формальным и недолгим. Помнится, что министр переправлялся в Вадсё на рыбачьем боте. Он тоже, как и епископ, был поражен тем, что наши солдаты ночуют под открытым небом у костров. Немецкие офицеры вселялись в норвежские квартиры, а то и выселяли хозяев, и никогда ничем с норвежцами не делились.

Вместе с министром или вскоре после него прибыл и также проследовал на рыбачьем боте в Вадсё назначенный норвежским правительством «фюлькесманн» — губернатор области Финнмарк.

В связи с этими визитами и без связи с чем бы то ни было Поляков забрасывал меня посланиями к Далю.

Один из приказов Полякова заключался в следующем. Когда норвежская военная миссия и воинская часть следовала через Мурманск, у прибывших не проверяли паспорта, а принимали по списку и общим счетом: столько-то офицеров, столько-то солдат. Но месяца через

---

[1] У нас баню (по-черному) Лукин-Григэ приказал соорудить в развале одного из сгоревших домов поблизости от комендатуры.

полтора-два Поляков, просматривая списки и счет прибывших, обнаружил, что через порт было пропущено против списков на одного офицера больше и на одного солдата меньше. Ясно — среди норвежцев оказался шпион! Непонятно, конечно, почему именно шпиона нельзя было включить в штатный список, но что делать, если наш полковник — идиот. Я получил приказ: выявить и выставить.

Отправляюсь в лагерь норвежской воинской части около Сванвика. Командир части говорит мне, что одного солдата произвели в офицеры в пути, на корабле. Говорю ему — ничего не знаю, у меня приказ: одного офицера вывезти обратно в Англию (заметим, что норвежцы находились на своей суверенной территории).

Покуда суд да дело, я сидел с норвежскими солдатами и болтал. (Все это темной полярной ночью, конечно). Слышу, говор западной части города Осло — родной для меня диалект. Спрашиваю: есть ли здесь ребята, учившиеся в Риисской школе? Есть, говорят, — вот, Хейердал. А со мной в одном классе училась Осе Хейердал — оказывается, двоюродная сестра. Ну, мы разговорились об общих знакомых — Том Ветлесен пытался бежать в Англию на корабле, погиб; Шак Редер, Улав Раабе были летчиками и погибли; Кисс Хейердал-Ларсен — военный летчик, пока жив; кто-то в Сопротивлении; никого на службе у квислинговцев и немцев.[1]

Наконец, выделили одного офицера, дали сопровождающего, и я с ним поехал в Хебуктен, проследил, чтобы он сел в самолет, и самолет улетел.

В 1970 г. мы были в Осло с женой, занимались шоппингом на улице Карл-Юхан, проголодались и, как обычно советские туристы, купили самое дешевое и сытное — бананы. Нина говорит мне — неприлично есть бананы на улице, зайдем в подъезд. Зашли, я жую банан и лениво рассматриваю список жильцов. Вдруг вижу — «4 этаж — д-р Зеликович». Я говорю:

— Смотри, мой приятель, давай зайдем. — Нет, я не пойду: может быть, это однофамилец. — В Норвегии, — говорю я, — нет двух докторов Зеликовичей. — И поднимаюсь наверх.

Приемная, вдоль стен человек пять ожидающих пациентов. Хорошенькая сестричка в накрахмаленном передничке и наколке.

— Вам что угодно? — Мне нужен доктор Селикувитс. — Доктор Селикувитс, как видите, занят, он не может вас принять. — Скажите ему, что его спрашивает Дьяконов.

Она уходит в кабинет доктора, и я вижу, как его пациенты, один за одним, встают и исчезают. Когда исчез последний, из кабинета, в белом халате и шапочке, выбегает Зеликович:

— Дьяконов! Откуда? Заходи, выпьем рюмочку.

— Меня внизу ждет жена.

— Зови ее.

---

[1] Один из двух евреев в нашей школе, Давид Рюбинстейн, попал в концлагерь и был расстрелян... в мае 1945 г. — Это я узнал, посетив Риисскую школу в 1990 г. Шак Редер жив и поныне.

Зову. Заходим в кабинет. На столике рюмки — не эрзац-ром — и сидит еще какой-то смутно знакомый человек.

— Не узнаете? Я Бьёрнсон. Майор Бьёрнсон.

Начались воспоминания. Вдруг меня осенило:

— Слушайте, я читал где-то, что в вашем отряде в Киркенесе был знаменитый путешественник Тур Хейердал (мы с женою видели в пригородном парке его плот «Кон-Тики» рядом с «Фрамом» Нансена и кораблем викингов).

— Конечно, был, — говорит Бьёрнсон. — Да ты же его и выслал.

Я, что называется, «сбледнул с лица».

— Но ты не беспокойся — самолет отлетел на 12 км и сбросил его к нам обратно на парашюте. Он потом с отличием сражался за остров Сёрёйа.

Посланий от Полякова — а каждое из них надо было переводить на норвежский — стало так много, что миссия любезно подарила мне пишущую машинку. А Поляков, со своей стороны, прислал к нам в Киркенес шифровальщика. Это был приятный рослый человек в звании капитана. Никак не вспомню, где его поместили, — кажется, не в комендатуре, а где-то отдельно.

Теперь по ночам меня будил уже не телефон, а шифровальщик с очередной шифровкой.[1] Я быстро переводил ее на норвежский прямо на машинку и, как настаивал Поляков, каждый раз ставил гриф «секретно».

Однажды Поляков сам позвонил мне и приказал: пойти в штаб Даля и изъять там все секретные письма, которые мы им посылали, и запретить снимать с них копии: ведь с их помощью они могут разгадать наш шифр!

Бесполезно было объяснять Полякову, что норвежцы получают не тот текст, который он зашифровал, а перевод с него: и порядок, и число, и длина слов совершенно отличны; да и к чему норвежцам поляковский шифр? — Делать нечего, надо было выполнять — я пришел к Далю поздно вечером и сообщил ему новый приказ, повергнув его в немалое изумление. Но формально он был подчинен армии Щербакова (хотя номера армии, которой он был подчинен, секретности ради ему не сообщали), и в этом смысле наши приказы для него все же были обязательны. Он вызвал своего начальника штаба и распорядился вырвать все русские письма из подшивок. Что он долго стоял и делал в моем присутствии.

Через некоторое время ночью меня будит уже не шифровальщик, а сам Лукин-Григэ в кальсонах:

— Игорь Михайлович, вставайте, срочное письмо от Полякова.

Встаю, разворачиваю письмо:

«Срочное. Секретно.

Глубокоуважаемый полковник Даль!

В соответствии с существующим между союзниками обычаем предлагаю вам немедленно сообщить мне состав гражданской администрации области Финнмарк.

Подпись: *Поляков.*»

[1] Почему по ночам? Потому что Сталин работал по ночам, а потому и штабы были вынуждены работать по ночам.

Перепечатываю и иду в штаб к Далю. Ночь. У двери штаба никого нет — к чему? Они же у себя дома, и дверь не заперта на ключ — это у норвежцев не принято. По пустому коридору вхожу в комнатку, где спит Даль; с трудом бужу его. Он открывает глаза и смотрит на часы.

— Дьяконов, вы когда-нибудь спите?

— К вам срочное письмо.

Он лежа прочитывает его и говорит:

— Ну ладно, оставьте мне.

Я говорю:

— Господин полковник, вы знаете, что мне запрещено оставлять у вас секретные письма.

— Хорошо, дайте мне со стола блокнот и карандаш.

Я отворачиваюсь, делая вид, что не вижу, как он списывает текст письма.

На другой день у меня не было особых дел, я сижу в своей комнатке и вижу, как во двор лихо въезжает норвежский солдат на мотоцикле. К нему выходит наш дневальный и берет от него огромный белый пакет размером с полтора листа с пятью сургучными печатями. Несет ко мне.

Я вскрываю пакет — в нем второй; во втором — еще конверт, как Кащеева смерть. Вскрываю третий, последний конверт:

«Срочное. Секретно.

Глубокоуважаемый полковник Поляков!

Настоящим извещаю вас, что в области Финнмарк губернатор — такой-то, главный судья — такой-то, начальник полиции — такой-то.

Поскольку вы обратили мое внимание на существование между союзниками обычая сообщать друг другу состав гражданской администрации, предлагаю вам немедленно сообщить мне состав гражданской администрации Мурманской области.

Полковник *Даль*.»

Не скрою, что я не без злорадства перевел это послание и направил его Полякову.

Как нашему штабу пришло в голову писать такое послание? Я думаю, объяснение очевидно: Полякова из Москвы запросили о составе норвежской гражданской администрации и намылили ему голову, когда оказалось, что он его не знал. Вместо того, чтобы позвонить мне по телефону и спросить меня — а если бы я не знал, кто у них главный судья, я мог бы перейти улицу и спросить у Анденеса — Поляков предпочел секретную шифровку, причем со вручением не мне, а коменданту.

Другое дело Поляков решил тоже поручить самому Лукину-Григэ, а уж он вызвал меня и передал приказ.

— У нас есть сведения, что майор Му (ведавший в норвежской миссии продовольственным снабжением населения) — английский шпион. Вам приказано пригласить его в гости и поить до тех пор, пока он не сознается.

Я говорю:

— Павел Григорьевич, ведь все норвежцы знают, что им не разрешен

вход в комендатуру дальше приемной. Если Му — разведчик, то он, конечно, заподозрит нас...

— Это приказ. Выполняйте. Мой адъютант выдаст вам бутылку водки.

Я не мог принимать майора Му на своих нарах, и мне отвели комнату почему-то отсутствовавшего Ефимова, дали бутылку водки, краюху хлеба и два стакана. Кроме того, некоторое время тому назад мне Лукин-Григэ вручил для поощрения большую банку патоки. Я ее тоже притащил.

Вышел на улицу — небо было ясно, стоял морозец и падал легкий снег. Не успел я далеко отойти — смотрю, навстречу идет майор Му. Я поздоровался с ним и говорю:

— Что же вы когда-нибудь не зайдете ко мне пропустить стаканчик?

— Я с удовольствием. Когда?

— Да хоть сейчас.

Я провел его в комнату, где было заготовлено пиршество, разлил водку по стаканам. Му потер руки с мороза и взял стакан.

— Скол!

— Скол! — Мы хлопнули.

— Хорошо с морозу, — говорит Му. — А вы знаете, я ведь был английским шпионом.

Ошарашенный, я был уже готов убрать бутылку со стола за дальнейшей ее ненадобностью, но решил послушать подробности. Му рассказал, что он был в 1940 г. заброшен в тыл немецкой армии в Финляндию и узнал точный срок нападения Германии на СССР: 22 июня 1941 года, о чем он немедленно и сообщил в свой центр; а вызванный вскоре обратно в Англию, лично убедился в том, что его сообщение было передано в Москву.

Увы, таких сообщений приходило немало не от одного только Зорге.

К тому времени норвежские отряды уже некоторое время продвигались по выжженной земле за Таной. Начались операции по захвату немецких маяков и базы на о.Сёрёйа, обслуживавших немецкие подводные лодки, которые продолжали активно действовать в Баренцовом море. Последнее письмо Полякова укрепило Даля в решении перенести свой штаб и миссию в городок Кэутокейно в глубине Западного Финнмарка. Дел там хватало, там еще не было норвежской власти. Переезд состоялся уже после 9 мая. В Кэутокейно не было шоссейной дороги, туда не было телеграфной линии (хотя норвежцы позже наладили телефон), и связь была только по радио — и притом не с Поляковым. В Сёр-Варангере была оставлена только норвежская комендатура в Киркенесе во главе с капитаном Карлсеном, полиция и врачи.

Кроме Володарского, в составе миссии Даля был еще один военно-морской врач, Квиттинген — умный и решительный человек, ветеран борьбы с фашизмом: он был врачом негуса Хайле Селассие во время войны в Эфиопии (Абиссинии) с итальянскими фашистскими войсками, ушел из страны вместе с негусом и последней абиссинской частью. По его словам, он содействовал ускорению высадки союзных войск в Нормандии таким

образом: среди моряков, которые должны были обеспечивать высадку, был высок процент больных сифилисом. Он же предложил их лечение сухой баней: в ней температура воздуха нагонялась до 50-60 С° и больше, и бледная спирохета дохла. Правда, он признавал, что при этом методе лечения были смертельные случаи, но ввиду срочности военной задачи надо было идти на такой риск. Этот врач и его два товарища — курсанты-медики — решили создать в Киркенесе больницу — маленькая больничка Володарского, как сказано, могла фактически служить лишь как амбулатория, а в округе теперь стало отмечаться немало серьезных заболеваний.

Больницу решено было оборудовать в бывшей школе. Я уже рассказывал, что ее здание было подорвано торпедой, но почему-то пострадал только первый этаж; если подвести под здание бетонные подпорки, оно годилось к использованию. Обратились к фирме «Сюдварангер» — у них был и цемент, и рабочие, но заведовавший руинами завода инженер отказал в какой-либо помощи. Врачи тогда тем не менее где-то сами раздобыли цемент, им согласился помогать один старый рабочий, и к концу апреля они привели здание в пригодное состояние. На верхнем этаже разместилось жилое помещение и приемный покой.

За нашими повседневными делами было легко забыть, что идет война. Но вот вслед за одним из норвежских ботов и очередным «Либерти», прибывшим в порт Киркенес, во фьорд ворвалась немецкая подводная лодка и выпустила торпеду — промахнулась по обоим судам, но разнесла вдребезги старый причал, а во всем городе повылетали сохранившиеся или восстановленные стекла. — Ей не удалось, однако, уйти обратно в Баренцево море — у выхода из фьорда она была потоплена нашими катерами.[1]

Около этого времени до нас дошло известие о потоплении подводной лодкой — по-видимому, той же самой — большого гражданского транспортного судна между полуостровом Варангер и полуостровом Рыбачий — в двух шагах от Кольской губы. Никто не спасся. Война еще продолжалась.

Как-то раз в Киркенес приехал сам генерал Щербаков. Это было еще до отъезда Даля в Кэутокейно; Лукин-Григэ пригласил его (и, конечно, меня) и устроил неплохой выпивон для двух начальников. Щербаков, который, как я не раз видел во время наездов Даля в Луостари, легко выносил алкоголь в значительных количествах, тут вдруг — без нужной закуси, что ли — перепился, да и Даль заложил основательно. Я сидел с ними и упорно, по приказу, переводил их разговор.

Щербаков: Ты консерватор, я коммунист — почему ты считаешь, что я плохой человек?

---

[1] Как выяснилось в 1990 г., это ошибка: наши потопили какую-то другую подводную лодку. А командир той, что палила по причалу, выпустил в 80-х гг. свои мемуары, где утверждал, что потопил оба судна. Капитан бота не поленился найти его в Германии, чтобы объяснить ему его ошибку.

Даль: Я не считаю Вас плохим человеком, но наши взгляды различаются.

Щербаков: Ты консерватор, я коммунист — почему ты считаешь меня плохим человеком?

И так ad infinitum.

Это не в упрек генералу — он был умница.

В этот приезд Щербаков увидал меня в солдатской шинели и гимнастерке и приказал мне завести офицерский китель и офицерскую шинель. Куда-то я ездил за ними. И ездил, как всегда, на нашу территорию, при моем проклятущем пистолете. На обратном пути наткнулся на контрольный пост, где отбирали трофейное оружие. Напрасно я пытался доказать, что мой браунинг — не трофейный, а внесен в мой документ — отобрали. Должен сказать, что я вздохнул с облегчением.

Однако ненадолго. В следующую поездку в Луостари меня задержали за то, что я без оружия. Пришлось ехать куда-то к черту на рога — на склад трофейного оружия — и они-таки нашли мой браунинг и вручили его мне обратно. Но я сделал его безопасным — вынул из него обойму. Так и сдал при демобилизации, без обоймы.

Хотя часть моей работы с меня сняла норвежская полиция, но и сейчас, в апреле и мае, то и дело приходил ко мне наш дневальный в лягушачьей форме и говорил:

— Товарищ капитан, там норвеги пришли.

Однажды пришла дама с молоденькой, чрезвычайно некрасивой дочкой и требует приема у коменданта. Я говорю:

— Комендант занят, он не может вас принять, изложите, пожалуйста, ваше дело мне.

— Нет, у меня дело очень важное, я могу говорить только с комендантом.

— Госпожа, — говорю я, — комендант не понимает по-норвежски, и вам придется с ним говорить только через меня же.

— Да? Ну хорошо... Дело в том, что моя дочка выходит замуж.

— Поздравляю, — сказал я. — А кто же жених?

— Русский офицер. Я хотела бы получить от коменданта его характеристику — могу ли я доверить ему свою дочь?

Хотя еще не было вскоре последовавшего официального запрета браков (и связей) наших военнослужащих с иностранками, все равно этот случай был ЧП.

— Русский офицер? Позвольте узнать его звание и фамилию. — Звания мы не знаем. Карин, как зовут твоего молодого человека?

— В-вася... — робко произносит дочка.

Вопрос был ясен. Всякий солдат был Васей, если он не хотел, чтобы его отождествили. А взгляд на «невесту» ясно дал мне понять, что дело было темной ночью.

— Вася? — сказал я. — Я его знаю, и ни в коем случае не рекомендую доверять ему вашу дочь.

— Вы уверены?

— Совершенно.

У бедной «невесты» на лице изобразилось горе, и с упавшим лицом она удалилась вместе с мамой.

Ничего другого сказать им было, конечно, нельзя.

Другой раз меня вызвал «норвег» по какому-то довольно маловажному делу, но когда я вышел, он на меня не взглянул и стоял, уставившись в стенку.

— В чем дело? — спросил я.

— Вот об эту стенку меня били головой, когда здесь помещалось гестапо.

Так я узнал о предыдущей аватаре нашей комендатуры и о происхождении моих нар.

Меня часто спрашивали знакомые, слышавшие о том, что я во время войны работал в комендатуре, часто ли происходили изнасилования, бич наших начальников и комендантов в других оккупированных областях, особенно в Восточной Пруссии. Нет, в Норвегии этого не было. Кроме дела с «Васей», которое к изнасилованиям не отнесешь, мне был известен один единственный случай. Он произошел весной под Нейденом, стал известен норвежской полиции, и о нем довел до нашего сведения Анденес. Наши начальники не хотели заводить дела, но Лукин-Григэ настоял; в Нейдене произошел открытый судебный процесс, и виновник был присужден к 10 годам. Однако где-то в июле норвежцы рассказали нам, что осужденного солдата опять видели около Нейдена. Мы с Лукиным сказали, что этого не может быть и что норвежцы обознались. На самом же деле так и было: солдату автоматически заменили 10 лет заключения на 6 недель штрафбата, только боев у нас не было, так что он благополучно вернулся в свою часть.

Никак не вписывается в мои воспоминания эпизод с моим полетом в штаб Северного флота — зачем я туда летал? Может быть, по просьбе норвежского морского начальника? И когда именно? Мне смутно помнится, что это было в апреле — было еще очень холодно — но, может быть, и позже.

В порту Киркенеса приземлилась летающая лодка «Каталина». Это был довольно большой по тем временам самолет, с лодочным фюзеляжем и приподнятой над ним плоскостью крыльев и двумя моторами; он мог садиться только на воду и взлетал тоже с воды. Меня подвезли к нему на лодочке; дверца была только в кабину пилота, а в фюзеляж надо было пробираться через отверстие для пулемета, проделанное в плексигласовом шаре в борту фюзеляжа.

«Каталина» отнесла меня в Полярное.

Опять не помню, кто принимал меня в Полярном и почему, только

помню, что принимали хорошо и даже пригласили в кают-компанию какой-то подводной лодки. Обедал я в столовой с И.Л.Фейнбергом. Обратно я добирался в Лиинахамари мимо Рыбачьего полуострова на «охотнике (за подводными лодками)» — это довольно большой вооруженный зенитками и глубинными бомбами катер. На палубе мне стоять не разрешили (да и дул режущий холодный ветер) — и я провел все время лежа на металлических нарах, прижатых к железному же борту, за которым слишком хорошо ощущалась ледяная океанская вода. Из Лиинахамари я возвратился в Киркенес опять же на «Каталине».

В первых числах мая в порт Киркенеса пришел очередной корабль «Либерти». Его капитан не только посетил наших коменданта и старшего морского начальника, но и пригласил их (и, конечно, меня) в гости на свой корабль. В капитанской каюте нас неожиданно ожидало пиршество, которого наши офицеры не видывали в жизни: неслыханная ветчина, обед, как в лучшем американском ресторане, отбивные котлеты, упоительное сладкое с нежным кремом — и невиданные напитки: джин с лимоном, великолепное виски с содой, шампанское. Оба моих начальника до такой степени доугощались, что заснули в своих мягких креслах.

Тогда у меня завязался дружеский разговор с капитаном, который был норвежцем из Осло.

— Откуда ты так хорошо говоришь на говоре Осло?

— Я прожил там пять лет и учился в школе.

— Да? Ну а кого ты знаешь в Осло?

-- Что за странный вопрос? Десятки, может быть, сотни людей — да и Осло большой город — какой шанс, что у нас есть общие знакомые?

— Ну, назови хоть одно имя.

— Пожалуйста. Герд Стриндберг. Я был в нее влюблен. — Стриндберг? На Нубельсгате?

— Ну да.

— А я был женихом ее сестры Хишти. К сожалению, дело не сладилось. Так ты, вроде, мой зять?

— Вроде, — сказал я и спросил его, что он знает о судьбе Стриндбергов. Он сказал, что до войны было все в порядке, а с начала войны он сведений не имеет: все норвежские капитаны со дня вторжения немцев в Норвегию увели свои суда в союзные порты.

— И, — прибавил он, — надо сказать, что союзники посылали их на самые опасные задания, так что норвежского торгового флота фактически и не осталось.

VI

В первых числах мая из Луостари пришел приказ отобрать у норвежского населения все радиоприемники. Это была нелепость — немцы уже раз их отбирали, и они остались только у тех, кто подпольно слушал Лондон и Москву. Зачем это было нужно — я скоро понял: когда норвежцы притащили в комендатуру свои приемники, я обнаружил в комнате рядом с кабинетом коменданта целую группу наших старших офицеров — явно близился конец войны, и каждому хотелось самому об этом услышать. Но увы — все приемники, кроме одного, оказались неисправными, а исправный взял себе Лукин-Григэ.

7 мая я сидел рядом с кабинетом коменданта и крутил приемник. Вдруг слышу громкий голос:

— Говорит граф Шверин фон Крозигк...

После гибели Гитлера (еще достоверно не известной, но предполагавшейся) и бегства Риббентропа в неизвестном направлении граф Шверин фон Крозигк был и министром иностранных дел и заместителем при адмирале Дёнице, главе временного немецкого правительства в Киле. Сейчас он возвещал о том, что немецкое правительство приняло требование о безусловной капитуляции и отдало приказ всем войскам прекратить сопротивление.

Я сейчас же сказал об этом Лукину-Григэ, Ефимову, Грицаненко и другим нашим лейтенантам и солдатам — и стало «беспощадно ясно», что надо выпить, и основательно. К сожалению, во всем здании комендатуры не было ни капли спиртного.

В надежде уж не знаю на что я вышел на улицу. Вижу: навстречу идет наш милый шифровальщик и держит одну руку другой.

— Что случилось?

— Сильно порезался, бинта нет.

Я сразу сообразил, что надо его вести в новую норвежскую больницу (в бывшей школе): уж там-то есть спирт!

Пошли мы с ним туда, поднялись наверх; я говорю доктору и подмигиваю, как могу: вот, порезал человек руку, спиртом бы промыть хорошо. А он говорит: не надо никакого спирта, надо только перевязать, это ты и сам бы мог.

Перевязали ему руку, и мы в полном расстройстве чувств выходим на лестницу. Смотрим — навстречу поднимается капитан с «Либерти», а у него бутылки и в карманах куртки, и в карманах брюк.

— Зять? Куда это ты? Ты что, не знаешь, что произошло? Это же обмыть нужно.

Вернулись мы к морякам-медикам, и тут началась могучая попойка. В середине ее мой тихий шифровальщик взбунтовался: указывает на черный форменный галстук доктора и кричит:

— Почему черное? Это оскорбление! — Я перевел. — Тот подошел к своему рундучку и вынул из него ярко-красный галстук, и тут же повязал его.

Длилось это долго, но не дотемна. Я почувствовал, что нашим хозяевам приятно побыть и одним, и ушел, уведя с собой шифровальщика. По дороге мне встретился капитан Карлсен:

— А, Дьяконов! Хорошо, что я тебя встретил, вот тут такое дело... — Потом взглянул мне в лицо и сказал:

— Подождет это дело!

Я вернулся в комендатуру и завалился спать на своих нарах.

Как известно, 8 мая День Победы справляли наши союзники, но на советско-германском фронте еще продолжались бои в Праге, где генерал Шёрнер, когда-то командующий немецкими войсками в Финляндии и Норвегии, еще продолжал сопротивление, а сломить его помогали нашим войскам еще и власовцы, перешедшие в тот миг на нашу сторону (что, впрочем, им не помогло). Но, не справляя еще официально Дня Победы, не могли же мы не справить его с союзниками по приглашению капитана «Либерти»? На этот раз я упился тоже и ничего не помню, кроме того, что давал салют цветными трассирующими крупнокалиберными пулями из корабельного «Эрликона».[1]

На 9 мая было назначено совещание Даля и некоторых членов его миссии с командующим армией генералом Щербаковым. Совещание предполагалось по текущим деловым вопросам, но оно совпало с нашим Днем Победы. Утром Даль с сопровождающими его лицами явился к нам в комендатуру явно не вполне трезвый, но не мог отказаться от того, чтобы выпить с Лукиным-Григэ за Победу. Я, ожидая нелегкий день, благословил предусмотрительность моего полковника, благодаря которой в моей рюмке была вода. Тем более, что тост тут был не один. Наконец, Даль, ссылаясь на то, что его в Луостари ждет генерал, оторвался от гостеприимства Лукина-Григэ, и мы все погрузились в два «козлика» — уж не знаю, обзавелся ли к этому времени Даль своими или они были из нашей дивизии — и помчались по горным дорогам к штабу армии. Я ехал на задней машине, и несколько раз видел, как Даль пытался вывалиться из своего «виллиса», а когда мы наконец доехали до землянки Щербакова, то норвежский командующий поскользнулся в луже и упал перед порогом. Это не помешало ему на совещании (как это и обычно бывало) добиться от Щербакова всего, что ему требовалось от него; только иногда, сказав фразу и дав мне перевести ее, он снова и снова повторял ее же. Рядом со Щербаковым сидел Поляков, записывал что-то в блокнот, а рядом с Поляковым сидел Липпе. По другую сторону стола сидели я и генерал Сергеев; другие офицеры сидели у стен.

Когда заседание было закончено, Щербаков пригласил всех поужинать. За большим столом (покрытым широкой белой скатертью, но явно составленным из нескольких столов поменьше) уселись человек двадцать-двадцать пять и трое-четверо норвежских офицеров.

Вспоминаю этот ужин как одну из самых трудных моих работ. Были тосты «за Победу», «за Сталина», «за СССР», «за Норвегию», «за Черчилля» (Рузвельт незадолго перед этим умер), «за короля Хокона», «за Даля», «за Щербакова» — это уже восемь тостов, и все лишь стоя и по русскому обычаю: «пей до дна» — для переводчика не делалось исключения. Затем начался общий разговор за столом и дополнительные стаканы уже без тостов.

---

[1] В моих затуманенных мозгах это было зенитное орудие; сейчас в доступных мне справочных изданиях я не мог установить, что это было такое; скорее всего, сдвоенный тяжелый зенитный пулемет калибра миллиметров 16 или больше.

Разговоры были исключительно международные (свои со своими могли разговаривать и в другое время) — а следовательно, исключительно через меня. Я был в таком страшном напряжении, что... не пьянел.

Когда встали после ужина, выяснилось, что Даль стоять на ногах не может. По строго выработанному порядку этих совещаний, норвежцам разрешалось досидеть только до порога землянки Щербакова и полагалось уезжать по окончании совещания. Но сейчас это было явно невозможно. Даля и еще кого-то, кто был с ним (начальника штаба, наверное) устроили спать где-то тут же в бараке командующего. Но Липпе был как стеклышко и заявил, что спать не пойдет. А за стенами штабного барака начинался праздник Победы — довольно большое пространство командного пункта армии наполнилось гуляющими офицерами и солдатами; звучали нестройные песни, виднелись вспышки ракет, слышались пистолетные и автоматные салюты. Липпе заявил, что он тоже хочет выйти гулять. Тут меня подозвал Поляков и строго приказал следить, чтобы Липпе не выходил за пределы здания и, если нужно, сидеть здесь с ним всю ночь. (Надо сказать, что, поскольку Липпе был начальником норвежской контрразведки, то он был под особым подозрением наших начальствующих лиц — даже несмотря на то, что незадолго до того о нем была запрошена Москва, подтвердившая, что Юст фон дер Липпе — второй секретарь ЦК норвежской компартии).

Я был поставлен в нелегкое положение. Подошел к Липпе и говорю ему:

— Ну куда ты пойдешь? Что там для тебя интересного? Давай лучше посидим, поболтаем. Вот тут есть свободная комнатка, — и завел его туда.

— Ох, уж этот мне полковник внутренних войск Поляков, начальник разведотдела 14-й отдельной армии, — сказал Липпе, усаживаясь за стол.

Я знал, что номер армии, которой они подчинены, был засекречен от норвежских офицеров, но не стал темнить и спросил его?

— Откуда ты это знаешь?

— Он же держит у меня под носом блокнот с печатным заголовком и номером его армии, — сказал Липпе. — А что он полковник войск НКВД, это видно по его зеленой фуражке.

Затем всю ночь он рассказывал мне о себе, переходя то на русский, то на норвежский язык; как он был представителем норвежской компартии в Коминтерне в 1930-е годы и работал несколько лет в Москве под руководством Д.З.Мануильского, и что может рассказать мне много больше того, что он мог бы узнать в толпе празднующих красноармейцев.

Мы так и не спали в ту ночь, а рано утром мы поехали обратно в Киркенес.

8 мая союзники высадились в Осло. Квислинг был арестован, и норвежское правительство вернулось в столицу.

Уже в мае или июне Даль известил нас, что Киркенес должен посетить кронпринц Улав, сын норвежского короля Хокона VII и главнокомандующий норвежскими вооруженными силами. Кажется, он прибыл на военной летающей лодке — во всяком случае, мы встречали его в порту. Щербаков отрядил в Киркенес группу собою наиболее видных солдат, отбиравшихся для Парада Победы в Москве. Они стояли через равные промежутки вдоль улиц от причала до здания ранее нашего старшего морского начальника, а ныне норвежского морского начальника. Для приема был привезен из

Мурманска интуристский шеф-повар, лакеи и самые неслыханные деликатесы из интуристских запасов — стерляди, черная икра, шампанское — и, конечно, водка quantum satis. У норвежцев с обеспечением дело обстояло гораздо хуже — в частности, никакого алкоголя не было. Я не помню, по какому уж делу я зашел в это время к зубному врачу Селикувитсу (он же Зеликович) и включился в бурное обсуждение приема кронпринца. Разговор был не совсем пустой: Зеликович уверял меня и нескольких норвежских офицеров, обретавшихся у него, что он знает рецепт изготовления ликера из денатурата, совершенно безопасный (я несколько сомневался, потому что осенью у нас погиб целый штаб полка, которому полевой врач разрешил пить спирт из найденного бочонка, — но оказалось, что это не спирт, а антифриз). Тем не менее, охваченный общим энтузиазмом моих коллег, я решил попробовать знаменитый ликер — и присоединился к мнению норвежцев, что напиток прекрасен, но для кронпринца все-таки не годится. Поэтому Даль запросил у Щербакова 12 бутылок водки, которая и была ему доставлена из того же «Интуриста».

Кронпринц прибыл с небольшой свитой, пошел сначала к норвежцам, потом к нам. За столом сидел весь штаб 14-й армии, комендатура — и я, грешный, по правую руку от кронпринца. Начались обильные тосты «за Победу», «за Сталина», «за короля» — но очень скоро кронпринц сказал:

— Говорят, что точность — вежливость королей; я должен поблагодарить моих гостеприимных хозяев — через час меня ждут в Вадсё. — Встал и проследовал между нашими воинами, бравшими «на караул», к шлюпке и к «летающей лодке». Вместе со Щербаковым и Лукиным-Григэ я провожал кронпринца до причала, по ходу отвечая на его вопросы.

Повернув назад от причала, я услышал громовое «ура»: это полковник, заместитель начальника штаба по тылу, кликнул бойцов почетного караула в банкетный зал и отдал им на поток и разграбление осетрину, икру и прочее. Когда я вернулся из порта, столы были очищены, а в углу стоял с убитым видом представитель «Интуриста», рассчитывавший, несомненно, на большие доходы.

Любопытно, когда мой послевоенный норвежский приятель в 80-х годах в разговоре тогда уже с королем Улавом V по одному международному делу сослался на мое мнение и назвал мою фамилию — оказалось, что король помнит и мою фамилию, и меня самого.

Для Даля этот визит кончился неприятностью. «Интурист» представил ему счет на водку из расчета 1000 р. за бутылку (это была действительная цена водки на черном рынке в тогдашнем тылу) и по официальному валютному курсу. Десяти тысяч долларов у Даля не было, но после этого в течение нескольких недель в порт Киркенеса шли рыбачьи боты, полные красной рыбой, в оплату за 12 бутылок водки.

Война кончилась, но служба моя в комендатуре не кончилась. Я еще не знал тогда, что по моей военно-учетной специальности надо служить до 1948 года, и, как и все, ждал скорой демобилизации.

Я все еще выдавал пропуска на хождение по занятой войсками территории, хотя и реже, потому что у всех пропуска уже были — разве что кто-нибудь потерял. Давно уже реже стали жалобы на похищение сена или еще чего-нибудь в этом роде.

Уже перед самым концом войны в 14-ю армию неизвестно зачем прислали пополнение из бывших уголовников. Число ЧП, естественно, возросло, но с ними в основном справлялась норвежская полиция, связывавшаяся непосредственно с местными командирами частей. Кроме того, и само местное население обратило внимание на изменившуюся ситуацию и, чуть ли не впервые в своей истории, норвежцы завели замки на дверях.

Не то чтобы в Норвегии вообще не бывало случаев воровства и грабежей — они были, но очень редко; однако даже вещь, случайно подобранную на улице, норвежец нормально относит в полицию. Теперь же, полиция полицией, а мои выходы на место происшествия опять умножились.

Наиболее неприятной была история с часовой мастерской. Часовщик решил в связи с окончанием войны снова открыть свое дело — тем более что за истекший год часы чинить было некому, да и много часов перешло в собственность наших солдат. Дом часовщика был, конечно, на строгом запоре. Тем не менее замок был сломан, и вынесли все часы, какие были. Дело расследовал Анденес вместе с полицией — на влажной земле были следы по меньшей мере двух пар сапог, легко отождествлявшихся как наши форменные кирзовые. Расследовали норвежцы это дело что-то долго, и бумага поступила ко мне только в конце лета или начале осени. Мне пришлось докладывать коменданту. Он велел мне оставить документы ему.

В мае или начале июня наш старший морской начальник заходил к коменданту, чтобы обсудить вопрос о переброске в Киркенес наших военных кораблей — не отдавать же такую великолепную морскую гавань норвежцам! Надо сказать, что такие настроения были и у командиров сухопутных частей, и они поддерживались тем, что война кончилась, а приказа нашим войскам выйти с норвежской территории не было и не было. Кое-где начали строить долговременные казармы. Это участило тревожные визиты норвежцев ко мне. Я утешал их тем, что воинская часть не может находиться в безделье — если она не воюет, она строится. Но тревога среди населения росла.

Вопрос с нашим старшим морским начальником вскоре решили, хотя и не самым лучшим образом. Он был отозван из Киркенеса. Прореагировал на это он тем, что подогнал к своей резиденции несколько грузовиков с моряками и погрузил на нее всю мебель своего хозяина — в его присутствии. И вывез. Тот даже не пошел жаловаться.

В связи с окончанием войны наши начали организовывать «границу на замке». Между тем, между Норвегией и Финляндией размеченной границы никогда не было, и многие норвежцы, жившие к востоку от Патсойоки, пасли своих оставшихся коров на территории Печенгской области. Таких коров наши, конечно, конфисковали, и ко мне опять потянулись жалобщики. Трудность была и с Борисом и Глебом, оставшимся по норвежскую сторону Патсойоки. Его оставили на «замкнутой» границе.

Впрочем, первое дело, связанное с нарушением нашей границы, было у меня еще до 9 мая.

Вызывает меня дневальный в приемную:

— Товарищ капитан, Вас там наш офицер просит.

Выхожу. В чем дело?

Это был командир нашего строительного батальона, тоже капитан, очень

хороший человек. Его часть сплошь состояла из ленинградских рабочих, и это была единственная часть, на которую не было ни одной жалобы.

Как помнит читатель, норвежская территория, освобожденная нашими войсками, делилась на две части широкой и бурной рекой Патсойоки. Взорванный немцами мост у Эльвенеса, через который я когда-то лез с донесением, был непригоден для движения, да, вероятно, к тому времени уже и рухнул местами, и норвежцы ходили из Эльвенеса и Ярфьорда в Киркенес через наш наплавной мост; но этот мост, как я уже упоминал, был по течению выше Бориса и Глеба, так что приходилось идти через прежнюю финскую территорию, а ныне — нашу. Между тем, наши уже готовили будущую «границу на замке», и стройбату было приказано построить специально для норвежцев настоящий мост, который бы вел от Ярфьорда на киркенесскую сторону целиком по норвежской территории.

Приказ есть приказ. Стал наш инженер собирать строительные материалы — а лес-то рубить нельзя! Шарил, шарил и нашел на территории руин киркенесского завода большие запасы шпальника — это такой лесоматериал, из которого делаются шпалы: бревна по форме уже обтесаны, но только пополам не распилены, так что по длине как раз для полотна моста. Начал он с солдатами вывозить шпальник, а тут появляется главный инженер завода Сейнесс и протестует.

Капитан с горечью в голосе говорит мне:

— Неблагодарные, мы для них же мост строим, мы их освободили, а они... — и прочее, я такое уже не раз слыхал. Я и говорю:

— Подождите, товарищ капитан, давайте разберемся. Вы для кого мост строите? Для народа?

— Ну конечно, для народа! Мы их освободили, а они...

— А шпальник чей, народный?

— Шпальник заводской.

— А завод чей?

— Ну, наверное, частный.

— Вот то-то. А хозяевам до народа дела нет. И вообще не положено с местными властями и учреждениями самим сноситься, на то и существует комендатура. Идите себе в часть, мы это дело устроим, приходите завтра.

Иду к коменданту, докладываю это дело.

Полковник говорит:

— Что же мы будем делать, ведь у нас валюты нет покупать этот шпальник.

— Здесь всем известно, — говорю я, — что администрация завода с немцами рука об руку работала. Поговорите-ка с главным инженером, думаю, вы договоритесь.

Лукин-Григэ шлет за главным инженером. Тот является, как бобик. Полковник сделал лицо Торквемады и говорит:

— Господин главный инженер, нам известно, что Вы работали с немцами. Придется принять меры.

— Да что Вы, господин полковник, я...

— Не отпирайтесь, нам все известно.

Молчание.

— Но мы можем проявить снисходительность, если Вы со своей стороны окажете помощь нашим войскам.

— Ну конечно же, господин полковник, все, что угодно. Мы все отдадим.

— Нам так много не надо. А вот не могли бы Вы отпустить шпальник для постройки моста у Эльвенеса? Для норвежского народа.

Дело кончилось ко всеобщему удовольствию.

Надо отдать должное капитану: когда его часть уходила, норвежцы ее провожали с цветами. Мне было приятно, что капитан был ленинградец.

В конце мая я недосчитался своего несчастного шаркающего связного. Я не знал тогда о приказе Сталина о бывших военнопленных, но я родился не вчера и знал наши разведывательные и контрразведывательные порядки, а потому понимал, что, по всей вероятности, он, побывав в гитлеровских лагерях, теперь непременно попадет в наши, а при его слабом здоровье и общей зашибленности выжить он не имел шансов.

Я был переведен в новую просторную комнату на первом этаже, где были поставлены две койки, и получил нового связного — Поткина. Это был человек, о котором я сохранил самые благодарные воспоминания. Он был маленький мускулистый крепыш, необыкновенно благожелательный и с большим чувством собственного достоинства. И было чем ему гордиться — на гражданке он был орденоносцем-лесорубом, ездил за наградой в Москву, а в армии он во время Киркенесской операции первым ворвался в немецкий опорный пункт на скале и был представлен к званию Героя Советского Союза — и не получил звезды только потому, что часть расформировали, и все отправленные из нее в центр бумаги автоматически потеряли действие. После конца войны звание Героя более не выдавали.

Не знаю, как, но Поткин сделал всю мою жизнь предельно благоустроенной и легкой. В нем не было при этом никакого низкопоклонства: я хорошо делаю свое дело, и он за это меня уважает. Но и он, Поткин, делает хорошо свое дело, и за это сам себя уважает.

Я приходил в свою комнату, как домой; все для меня было готово, и ждал меня дружелюбный человек.

В нашей комендатуре стали бывать разные новые люди. Остановлюсь на двух из них, вызывавших симпатию. Один из них был капитан-лейтенант Сутягин, говоривший по-норвежски, хорошо знакомый местным активным антифашистам и боготворимый ими; они называли его «Суттйэге» (Sort-jeger — «Черный охотник»). В военное время он занимался тем, что забрасывал антифашистов, время от времени переходивших наш фронт или приплывавших в Кольскую губу на лодках, в немецкий тыл на полуостров Варангер. Это было связано с неким приключением, о котором мне рассказал профессор географии Герценовского педагогического института в Ленинграде доктор наук П.Г.Сутягин в 80-х гг. В один из его ночных катерных налетов в Варангер он был схвачен немцами, едва ли не приговорен к смерти, отправлен в Германию в лагерь, затем выменен нашим командованием на немецкого агента (бывали, значит, и такие случаи!) и после долгой проверки возвращен служить на Северный флот, где снова забрасывал людей на Варангер.

Второй был тоже моряк, помоложе, и тоже, видимо, разведчик или

контрразведчик. Он был послан во время войны в Англию для получения военного корабля по «ленд-лизу» и прожил в составе его английской команды месяца два; по-английски он говорил очень хорошо. Обладая пытливым умом, он провел среди английских моряков, незаметно для них, культурологическую анкету: кто из офицеров и матросов читал Диккенса, Шоу и Байрона и кто хотя бы слышал о них. Из офицеров Диккенса читало 10-20%, слышали о нем все; о Шоу тоже слышали все, но только по анекдотам о нем; о Байроне слышало 1-2% офицеров и никто из матросов; не читал никто.

По его словам, если провести среди наших военных моряков такую анкету, скажем, по Толстому, Чехову и Пушкину, то результат будет очень в нашу пользу. Правда, я сказал ему, что Байрон все-таки не Пушкин, да и Шоу и Чехов «не в одной весовой категории».

Кроме этих людей, с которыми можно было и о чем-то поговорить, нашу комендатуру стали во множестве посещать смершевцы, среди которых Ефимов совершенно потерялся. Их было с каждым днем все больше, во главе их стоял полковник, и они имели собственного переводчика, ходившего под фамилией Петров, большого, молоденького, медведистого, светловолосого парня в форме лейтенанта СМЕРШа. Он был пухлый, отъевшийся и веселый и при не весьма большом уме отлично говорил по-норвежски. Этим он обращал на себя внимание на улицах; норвежцы его спрашивали, откуда он так блестяще знает их язык. Он говорил, что кончил Московский университет по скандинавистике. То же говорилось и мне, и это была совершенная неправда, потому что до войны кафедра скандинавистики была только в Ленинградском университете. В конце концов какой-то норвежец, заходивший ко мне по делу, спросил меня:

— Что это за странный новый переводчик Петров появился у вас? Он говорит, что кончал Московский университет; ну, я понимаю, в университете можно научиться норвежскому языку; но нельзя научиться диалекту города Вардё.

В чем был секрет, я догадывался. У входа в Кольскую губу есть остров Кильдин, до войны населенный норвежцами из Вардё — ко мне даже приходил один норвежец с просьбой переслать его письмо родственникам на Кильдин. К 1941 г. эти норвежцы, конечно, разделили судьбу ленинградских финнов, дальневосточных корейцев, а впоследствии и многих других народов; но где бы они теперь ни были, они находились в ведении органов госбезопасности, и им ничего не стоило получить оттуда и откормить себе переводчика.[1]

Между тем смершевцы у нас все множились; мне уже сообщили норвежцы про странного человека, приехавшего на машине в форме капитана первого ранга и прошедшего через задний ход в комендатуру, а через неделю появившегося уже в форме армейского полковника и проследовавшего туда же. Этого я не видел, но видел много других. Они сидели у Ефимова, курили

[1] Я догадался почти точно. Он был родом из норвежского поселочка, но не на Кильдине, а на Рыбачьем полуострове. Норвежцы вскоре это выяснили — у него были родные в Гренсе-Якобсэльве. Фамилия его была Эйен (1990 г.). Все норвежцы с Рыбачьего (а они поселились там, когда еще не была размечена граница между Норвегией и Россией) погибли через НКВД.

без устали, иногда и пили, рассказывали антисемитские анекдоты, часто задевали меня и предлагали элементарные вопросы о местной жизни. Как-то, не выдержав особенно густого антисемитского анекдота, я вышел на улицу и зашел в норвежскую комендатуру — только затем, чтобы услышать там конец того же самого анекдота, только не про еврея, а про шведа.

Однажды смершевский полковник (не тот, который являлся в виде моряка, а другой, возглавлявший всю эту группу) отвел меня в сторону и предложил мне работать у них.

— Я вам не гожусь, — сказал я, — у меня отец репрессирован.

— А, ну тогда, конечно... — сказал тот и отвязался от меня.

Вскоре появились первые следы их деятельности в виде вежливого письма ко мне от полицмейстера Бьёрнсона:

«Майор, состоящий при коменданте поселка Эльвенес, предлагал одному из подчиненных мне констеблей сообщить ему интересующую его информацию. Мы всегда готовы быть полезными советским воинским частям, но впредь, если вам потребуются какие-либо сведения, прошу обращаться непосредственно ко мне, как к начальнику местной полиции».

Я принял это письмо к сведению и, конечно, никакого хода ему не дал.

Приятным контрастом к смершевцам был старший лейтенант из политотдела армии — помню только его имя и отчество: Владимир Александрович. Это был интеллигентный человек, на гражданке какой-то научный работник, человек веселый и оптимистичный. Помню, зашел как-то с ним весной солдатский разговор о судьбе ожидающих жен — Владимир Александрович считал, что тут нет никаких проблем. Я спросил его, когда он был мобилизован в армию — оказывается, в 1943 году. У меня вопросов больше не было.

Приехал он читать лекции о Советском Союзе для норвежцев — разумеется, с моим переводом. Мы повесили объявление на бывшей бане («Рюссебракка») и собрали полную аудиторию. Баня эта была популярна, потому что последнее время в ней нередко показывали наши кинофильмы — тоже, конечно, с моим синхронным переводом.

После лекции Владимира Александровича были вопросы. Один был такой: как при существующей в СССР политической системе учитывается мнение простых граждан? Владимир Александрович отвечал, что заинтересованные лица пишут в газеты, а критическая статья в газете непременно приводит к необходимым мерам со стороны правительства. Как-то неудобно было это переводить.

Потом Владимир Александрович выразил желание посетить Вадсё. И я тоже очень хотел побывать там, но до сих пор не было ни повода, ни времени. Я пошел в порт и договорился с капитаном рыбачьего бота. Кроме нас с Владимиром Александровичем, бот должен был свезти в Вадсё его уроженца — старика-капитана с очередного «Либерти». Он оказался немногословным, но интересным собеседником; в числе прочего он рассказал, что плавал на линии Ливерпуль—Нью Йорк в 1942 г., на которой выживал обычно один корабль из трех; что он благополучно проделал этот путь три раза, хотя в последний раз подводная лодка оторвала кораблю торпедой нос, и он чудом выдержал судно на плаву.

По дороге дул свежий ветер и было заметное волнение; если бы оно длилось дольше, могло бы нас и укачать. Вдруг перед самым носом всплыла большущая мина — она ранее стояла на якоре и была, конечно, рассчитана не на такие мелкосидящие боты, но, видно, порвался трос. Наш бот был вооружен зенитным тяжелым пулеметом, и с первого же выстрела мина была утоплена. Честно говоря, я думал, что она должна взорваться, но удар попал в пустую верхнюю часть мины, которая держит ее на плаву. Патрон я спрятал себе на память и потом подарил сыну.

Когда мы прибыли в Вадсё, мы увидели город, только частично разрушенный, с руинами и пальцами труб; добрая половина его была цела — обычные норвежские цветные деревянные домики с белыми окнами. Капитан «Либерти» пошел по своим делам, а капитан бота отвел нас к своему знакомому — рыбопромышленнику, владельцу десятка или двух рыбачьих ботов. Домик его был скромный — две комнаты и антресоль для детей. Жена его подала нам в кухне-столовой эрзац-кофе с сэндвичами, и мы легли спать. Утром нас в кухоньке ожидал более основательный завтрак с яичницей и жареной рыбой. Пока мы сидели за столом, вошла знакомая хозяйки с кошелкой и завела с ней какой-то разговор. Когда она ушла, хозяин сказал нам:

— Это жена министра прежнего правительства. Он в Англии, а может быть, уже и в Осло.

Мы пошли прогуляться по городу с нашим хозяином. Обратили внимание на красивое зеленое кладбище — посреди него мы увидели белый крест с советской красной звездой посреди перекладины. У креста лежали цветы. Хозяин сказал нам, что здесь похоронен русский летчик, сбитый в прошлом году над Варангером; похоронили его еще при немцах, только крест поставили теперь.[1] Помещения, где можно было бы прочесть лекцию, не нашлось, и мы с Владимиром Александровичем на том же боте вернулись в Киркенес, а он уехал в свой штаб.

Между тем, в конце мая английские войска высадились в Тромсё в пятистах километрах по прямой линии к юго-западу от Киркенеса, и приняли капитуляцию отошедших сюда из Финляндии немецких частей. В июне или начале июля норвежцы наладили прямую телеграфную связь с Осло, и в отстроенном недавно домике на другой (от нашей комендатуры) стороне Киркенеса было открыто почтовое отделение. Конечно, воспользоваться гражданской почтой вместо нашей полевой (и цензурируемой) — тем более

[1] В 1949 или 1950 г., после вхождения Норвегии в НАТО, в нашей печати была развернута громкая кампания об осквернении норвежским правительством могил советских воинов. Этой кампанией воспользовался замечательный писатель Э.Казакевич: ему непременно надо было написать роман о войне, где герой бы погиб, но этого ему начальство не позволило: в «Весне на Одере» ему пришлось по начальственному указанию воскресить своего героя Лубенцова. История с осквернением могла позволить ему дать погибнуть герою его нового романа «Сердце друга». Действие романа начиналось на хорошо известном Казакевичу и блестяще описанном Первом Украинском фронте, но затем герой был переброшен в 14-ю армию и погиб в Норвегии. Хотя Казакевич собирал материалы у П.Г.Сутягина и у меня (я даже выведен в романе; у него я «очень молодой человек в роговых очках, с живым красивым лицом»), однако наш фронт описан у него гораздо слабее. — На самом деле никакого осквернения могил не было — наши могилы были разбросаны по всей территории Норвегии (в значительной части это было могилы не павших в бою, а умерших в немецких лагерях), организовать уход за ними было невозможно, и норвежцы торжественно перезахоронили их всех в одном месте — на одном из своих многочисленных островов — и, конечно, обеспечили кладбище уходом. На месте прежних захоронений были установлены памятные камни с надписью по-норвежски и по-русски.

иностранной почтой — было большим преступлением, за которое я мог бы иметь очень большие неприятности; но мои свободные хождения по территории были всем привычны, и за мною не следили. Поэтому я пошел на почту и дал телеграмму Герд Стриндберг на Нубельсгате 31, Осло: «Жив, Алик и отец погибли, сообщи о своих»; дал обратный адрес «Киркенес, до востребования» и через два дня получил ответную телеграмму о том, что все Стриндберги живы и здоровы.

Почти тогда же я обнаружил, что Янкелевич с майором и кто-то из наших смершевцев отправились в порт к причалу. Я решил, что на подведомственной мне территории происходит нечто, о чем мне следует знать, и последовал за ними.

У причала стояла лодка и в ней норвежец и с ним явно наш парень — в гимнастерке и сапогах, но без погон и без шапки. Наши вежливо помогли ему выйти из лодки и сразу куда-то увели. За ним вышел на берег и норвежец.

На мои вопросы он рассказал мне, что парень — русский летчик, сбитый над Варангером в прошлом году: «Моя семья спрятала его и приютила, а теперь война кончилась, и он может вернуться на родину».

Через два дня норвежский почтальон принес в комендатуру письмо, адресованное этому летчику по какому-то адресу в Тульской или Смоленской области, и с надписью коменданту — просьбой переслать это письмо.

Я показал его Янкелевичу и спросил, что с ним делать. Он взял его от меня и аккуратно, чтобы не повредить, вскрыл и велел мне читать. Это было необыкновенно милое любовное письмо от дочки норвежца, который доставил летчика в Киркенес, с приветом поименно его родителям и сестре и с обещанием приехать, как только установится связь с Россией. Янкелевич вздохнул и письмо порвал.

Как ни странно, впоследствии я узнал продолжение этой истории. Летчик, понятно, попал в лагерь как изменник родины, но в 1955 г. был освобожден, и невеста приехала к нему в Москву и вышла за него замуж; вскоре, однако, он умер, и его жена — теперь советская гражданка — попросилась на родину. Ее отпустили, однако с обязательством сообщать нам разведданные. Этим она честно и занялась, но быстро провалилась; в 1970 г., когда я был с женой в Норвегии, она находилась под судом.

Было решено группе наших офицеров побывать на ничьей земле между Таной и Тромсё. Не знаю, чье это было решение — вероятно, разведотдела или СМЕРШа армии, или обоих. В Киркенес подали «Каталину», и на нее погрузилось человек пятнадцать, в том числе Янкелевич и я. Местом посадки был выбран городок Лаксэльвен, ближайший за Таной, в глубине более чем стокилометрового Порсангерфьорда, сразу за Нордкапом. Наш самолет приводнился в самой глубине фьорда у берега, спустили с самолета лодочку и высадились. Вдоль берега шла хорошая асфальтированная дорога, но городка... не было. Не было вовсе, не стояло даже обычных пальцев кирпичных труб, не было телеграфных столбов, не было заборов. Сжигали и взрывали осенью, а сейчас молодая трава уже прикрыла даже фундаменты — в Киркенесе их отчасти спасал от травы горевший уголь. Снялись группой на шоссе и пошли по тропе вглубь материка по дороге на Карашьок. Через некоторое время набрели на руины лагеря. Лагерь был явно временный: за колючей проволокой было лишь несколько временных деревянных

укрытий — вероятно, для охраны, а земля была изрыта окопами и норами со следами человеческого пребывания. В этих норах ютились наши военнопленные, прежде чем их погнали далее на юг, к Тромсё.

В следующем фьорде, у Алты, находилась норвежская часть, совершившая захват острова Сёрёйа. Но задержать угон наших пленных они не смогли или не успели.

От лагеря мы поднялись на холм, чтобы обозреть местность, и там вышли на саамское стойбище. Оно состояло из нескольких чумов, сделанных из скрещенных жердей, покрытых оленьими шкурами. Саамы (как я уже говорил, норвежцы называют их финнами, а русские — лопарями) были одеты в синие широкие кафтаны, на голове были разноцветные колпаки с несколькими острыми концами. Оленей не было — уже выпустили в горы — летовать.

К нам вышел старик саам, чинно поздоровался. Он хорошо говорил по-норвежски. Мы спросили его про лагерь, он рассказал, что немцы обращались с русскими, если коротко сказать, бесчеловечно. Били прикладами, не давали есть, не давали разводить огонь.

— Вообще, — сказал он, — немцы не люди, а враги Христовы. И финны тоже, — прибавил он, подумав.

— Почему финны? — спросил я. — А как же. Мы ведь в чуме слушали радио Хельсинки (по-фински он, видно, понимал не хуже, чем по-норвежски: саамы постоянно кочуют через границу). — Они там говорили, что ведут против русских священную войну. А чей лозунг «священная война»? Мусульманский. Значит, они Христа предали.

Мои начальники не следили за моим разговором, и им явно стало здесь скучно на пустынном плоскогорье. Мы спустились к фьорду и улетели на своей «Каталине» обратно в Киркенес.

Вскоре после этого был еще полет. 14-я армия долго пыталась испросить разрешения на него — ссылались на необходимость ознакомиться с положением наших пленных. Но Тромсё был в англо-американской зоне, требовалось разрешение чуть ли не самого Эйзенхауэра, а оно не приходило и не приходило. Решили лететь «на арапа». В Киркенес опять прибыла «Каталина». Узнав, что мы собираемся в Тромсё, с нами попросился норвежский морской начальник. С лодчонки в фюзеляж забрались он, Поляков, Янкелевич, еще несколько армейских и морских офицеров — и я.

На летающей лодке стараются лететь все время над морем, а не над сушей — неровен час... на суше она не может приземлиться. Мы облетели полуостров Варангер, оставили позади городки Вардё и Берлевог и вышли на траверз мыса Нурхюн (Нордкин). В противоположность распространенному мнению, что самой северной точкой Европы является мыс Нордкап, расположенный на острове восточнее, этой точкой является именно Нурхюн.

И далее мы полетели на юго-запад вдоль норвежского побережья, вдоль огромных рыжих и серых скалистых обрывов, окаймленных соснами и елями. Много я впоследствии ездил по всему миру, но никогда не видал ничего красивее.[1] Если бы не холодный климат, этот берег кишел бы купающимися,

[1] Нет, вру. В 1963 г. мне пришлось лететь на авиалайнере из Ташкента в Дели. Мы пролетали через пустыню Такла-Макан и поперек Гималаев — это снежный горный Кавказ, увеличенный в пятьдесят раз, а за ним уступами спускаются зеленые долины Кашмира. Небо было яснейшее, прозрачное — я смотрел, завороженный. Увы, остальные пассажиры сидели, уткнувшись в номера журнала «Крокодил», и в окна ни один из них не глядел.

а так туристы видят его только с океана. Кто видел в Крыму Карадаг с моря? Побережье от Нордкапа до Тромсё — это Карадаг в триста километров длиной, и еще изрезанный фьордами и бухтами. Жилье, если где есть, то только в глубине фьордов, с «Каталины» мы его почти не видели.

Не долетая до Тромсё, мы увидели в бухте лежавший брюхом кверху немецкий «карманный броненосец» «Тирпитц» — огромная туша, тонн на 12000 водоизмещением, — а рядом на участке плоской земли — совершенно круглое озеро. Броненосец — последний из группы тяжелых кораблей, наносивших огромный вред союзным морским перевозкам, — был застигнут в октябре 1944 г. тяжелой английской бомбардировочной авиацией скрывавшимся в глубине небольшого норвежского фьорда. Бомбежка повредила его настолько, что он не мог переместиться оттуда — а в ноябре английская авиация сбросила на него и вокруг него четыре пятитонные бомбы и перевернула вверх дном; одна бомба упала на сушу, и она-то и образовала озерко. Невольно вспомнились привычные метровые воронки от немецких полутонновых бомб — и подумалось о будущих войнах.

Наконец, мы приводнились посреди Тромсёфьорда. За нами, очевидно, следили радарами, и в ту же минуту к нам подошел английский военный катер. Поляков через меня объяснил, что мы представители советского командования и прибыли для совещания с британским командованием по поводу судьбы русских военнопленных.

Катер взял нас на борт, доставил к причалу, и один из английских моряков проводил нашу группу к дому, где размещался английский командир бригады. Штаб был как штаб, солдаты и офицеры в форме, хорошо известной нам по норвежским союзникам; у входа стоял часовой. Нас проводили к английскому начальнику — я заметил, что по правую руку от него стоял тот самый «представитель ЮННРА», которого Лукин-Григэ и Поляков выставили из Киркенеса, и из фраз, которыми он перекидывался с начальником, было видно, что функции его вовсе не продовольственные.

Для перевода с английского в группе был некий морской офицер, так что я сидел в сторонке без дела. Английский начальник объяснил, что все лагеря по всей Норвегии были уже 8 мая открыты самими норвежцами, что наши военнопленные свободно ходят по городу, гостят в домах у норвежцев, помогают им по хозяйству. (Как, впрочем, свободно ходили и немцы).

У наших офицеров были, видимо, еще какие-то вопросы к английскому начальству, а меня послали посетить лагерь и доложить обстановку. Англичане дали мне «виллис», где за баранкой сидел немецкий солдат, и я поехал в лагерь. Мы проехали сквозь Тромсё, и я мог убедиться, что город практически не пострадал от авиации. Лагерь представлял собой огромный барак с двух- и трехэтажными нарами, среди которых вольно прогуливались сравнительно немногочисленные наши бывшие военнопленные. Все молодые, рослые ребята — пленные первого года войны. Один из них подошел ко мне и сказал, что возглавляет подпольную группу сопротивления, что они давно уже связаны с норвежским подпольем, что норвежцы обеспечивают их нормальным питанием — и даже вызывали их разоружать немецких солдат, — и что он хотел бы встретиться с представителями советского

командования. Мы сели с ним в «виллис» на задние сиденья, и я приказал водителю везти нас к английскому штабу.

— Битый небитого везет, — сказал я моему соседу.

Он встретился с Поляковым, и тот сказал ему, чтобы бывшие военнопленные не беспокоились — за ними скоро будет прислан из Мурманска транспорт.

Время затянулось, и нам надо было где-то переночевать. Английский начальник сказал, что город переполнен и что он может предложить нам для ночевки только немецкий офицерский барак. Дело в том, что немцы, хотя и были разоружены, но эвакуированы не были — не так-то легко их было возвращать в уничтоженные города Германии — и они по-прежнему жили в своих «унтеркунфтах» и несли там караульную и другую службу.

Услышав такое, Поляков впал в гнев, да и струхнул: как? Провести ночь в немецком расположении и под немецкой охраной? Смекнув, он обратился к представителю наших пленных и приказал ему выделить караул из самых надежных людей, по крайней мере, человек двенадцать — охранять нас ночью.

Англичане подвели нас к расположению немецкой части. Аккуратный заборчик, выметенные дорожки. Нам отвели барак, или, вернее, скромный одноэтажный домик; наши «караульные» уже стояли вокруг нас.

Нам предложили поужинать. Немецкие солдаты принесли большой бачок и разложили по тарелкам знаменитый «эйнтопф» — стандартную пищу немецких солдат, некое полужидкое варево с мясом. Поляков поднял скандал: за кого они нас принимают?! Это же солдатская еда! Я постарался ему объяснить, что в немецкой — да и во всех других армиях — офицеры получают одинаковое питание с солдатами. Он не поверил, продолжал ругаться и перед сном вышел проверить, бдит ли караул. Разнес какого-то пленного за то, что он отошел на два шага от указанного ему места.[1]

Утром, после очередного «эйнтопфа», англичане быстренько спровадили нас на «Каталину»; с нами, как и прежде, был старик — норвежский морской начальник. Мне было приказано держать его в заднем отсеке и ни в коем случае не пускать его в передний. А он все рвался туда — говорил, что отсюда ему плохо видно.

Вдруг самолет резко снизился и пошел на бреющем полете.

— Он с ума сошел! Он же так врежется в скалу или в море, — восклицал норвежец.

Я прошел в передний отсек и увидел, в чем дело. Наши проводили аэросъемку союзного норвежского побережья, о чем норвежскому офицеру, безусловно, знать было не положено.

Уже за Нурхюном мы снова набрали высоту и вскоре прибыли в Киркенес.

Несколько слов о наших бывших пленных в Тромсё. За ними действительно пришел наш транспорт; все норвежское население высыпало на причал их провожать, бросали им охапки цветов. А в Мурманске причал оказался

[1] Пожалуй, тогда я в последний раз удостоился видеть Полякова. В 60-х гг., когда мое имя (и именно в связи с Киркенесом) как-то появилось в газете, я получил на Институт востоковедения письмо:

«Глубокоуважаемый Игорь Михайлович! Может быть, Вы помните скромного полковника Полякова...» и так далее.

Вспомнил мое имя и отчество! — Признаюсь, что я оставил письмо без ответа.

оцеплен войсками НКВД; всех погрузили в вагоны и отправили прямо в Воркуту. Если я не ошибаюсь, тот парень, который в Тромсё возглавлял подпольное движение, во время знаменитого восстания зэков в лагерях Коми АССР принял в нем активное, едва ли не ведущее участие — и, конечно, погиб.

Вскоре после моего возвращения из Тромсё — а может быть, и раньше, в памяти все смешивается — стоявшая в Сёр-Варангере наша дивизия получила звание гвардейской. На аэродроме Хебуктен был устроен парад: сначала все выстроились во фронт, и командир дивизии произнес речь и поцеловал знамя, встав на колено; затем это знамя с гвардейскими лентами понесли вперед, а дивизия продефилировала за ним вокруг аэродрома. Я стоял в стороне и смотрел на эту церемонию. — У нас ведь ходили разговоры — и эту идею приписывали Сталину, — будто зря мы остановились на Эльбе, надо было идти до Атлантики. Но поглядел я на солдат — это были не те бравые молодые люди, каких я видел в Тромсё, — средний их возраст был лет сорок, а в последних рядах шли уже совсем тщедушные и даже хромые старые люди.

Между тем, в Хебуктен (или Хёйбуктмуэн) продолжали прилетать самолеты, а я с Анденесом ездил их встречать. Однажды в жаркий летний день был какой-то важный прилет, мне дали машину, и мы поехали на аэродром с Янкелевичем и еще с кем-то — не то с майором, не то с Грицаненко — и взяли с собой Анденеса. Мы уже возвращались вниз под горку (аэродром, как я уже говорил, находился высоко на горе над Лангфьордом), уже миновали справа обустроенное норвежцами обширное наше братское кладбище у подножья Хебуктена — и вдруг над нами просвистел снаряд. Потом другой, в несколько ином направлении. Потом третий. Водители ускорили ход, и мы выскочили из-под обстрела — впрочем, стреляли не по нам, снаряды неслись куда-то вдаль, причем в двух разных направлениях.

По расследовании оказалось, что на пригорке над дорогой лежал большой немецкий склад мин. Лежал и лежал. Но мины были особые, экспериментальные, срабатывавшие от тока ли, или вообще от нагревания. 28° тепла оказалось достаточно для того, чтобы они сработали. Причем лежали они, как дрова, — крест-накрест, поэтому обстрел и начался в двух направлениях — и продолжался, пока склад мин не иссяк. Это был мне последний привет от войны.

По счастью, Сёр-Варангер населен редко — все мины попадали в пустое место, только одна взорвала где-то хлев и убила корову.

Шел август 1945 года, близился сентябрь. Смершевцы продолжали у нас толпиться; одни сменялись другими. Раз я увидел среди них знакомого — лейтенанта О., когда-то ученика моего брата Михаила Михайловича на скандинавском отделении филологического факультета ЛГУ. Он был пьян — по-видимому, подобно моему другу Ефимову, никогда не просыхал. Оба были из той когорты пополнения НКВД, которых брали по комсомольскому набору из студентов, взамен расстрелянных следователей 1938 года. Он-то мне и сказал, что у них лежит 330 донесений Ефимова о моем одиннадцатимесячном пребывании в Киркенесе — и только одно из них не положительное. Может быть, чуть-чуть и соврал — но и ста было бы довольно. Во всяком случае,

Ефимов показал себя с лучшей стороны, каковы бы ни были за ним прежние прегрешения.

Однажды вдруг вызывает меня смершевский полковник и говорит:

— Наш Петров заболел. Придется тебе попробовать. Надо взять с норвега подписку.

Вхожу в их комнату. Сидит в дымину пьяный норвежец, даже на стуле не может усидеть, все сползает. Узнаю технику СМЕРШа — напоить до положения риз, а потом получать «информацию» или вербовать.

— Ты его спроси: он согласен давать нам информацию о военных объектах в Киркенесе? — Перевожу. Тот мычит: «Согласен».

— Он согласен, — говорю я. — Ну переведи ему подписку.

Перевожу:

«Я, такой-то, такого-то года рождения, обязуюсь сообщать советскому командованию все сведения о норвежских и иностранных военных объектах и военных мероприятиях. Если я этого не исполню, то понесу полную уголовную ответственность за свои действия».

Ну, слово в слово я эту расписку не помню, но думаю, что ошибся минимально.

Даю ему подписать. Подписывает корявыми буквами. Мы получили еще одного шпиона.

Ну как мы можем его покарать за невыполнение условий подписки?

— Разрешите идти?

— Идите.

В эти же дни у меня была одна из самых неприятных жалоб. Пришла женщина и рассказала, что к ней приходила русская военнослужащая и сказала по-немецки, что у нее день рождения, будут справлять праздник, а ей очень надоели гимнастерка и сапоги; и не даст ли она, хозяйка, на один день приличное платье и туфли. Та, конечно, дала и выбрала, что получше. Но вот уже прошла неделя, а та женщина не является.

Я стал выяснять, и оказалось, что подразделение, где служила эта любительница принарядиться, как раз в тот день или в следующий было отведено (не помню — то ли она была связистка, то ли зенитчица). Я связался с норвежской полицией и узнал, что эта особа обошла с такой же просьбой десять (!) семейств. Искать ее было напрасно. Наряду с историей с часовой мастерской — и, конечно, с нашим старшим морским начальником — это было наиболее «масштабное» дело среди моей мелкой повседневности.

Приезжал архитектор, старший лейтенант Прибульский — выбирать место для памятника советским солдатам в Киркенесе. Место выбрал на скале, выше бункера «Красного Креста» и не доходя до дома, где еще недавно жил наш старший морской начальник. Показал чертежи.

Памятник был впоследствии действительно там поставлен, но норвежцами.

VII

Однажды утром в конце сентября вызывает меня к себе Лукин-Григэ.

— Игорь Михайлович, пришел приказ Ставки: в течение трех суток вывести все наши части с территории Норвегии; чтобы к 11.00 на третьи сутки не осталось по эту сторону границы ни одного советского. Подождите. И кроме того, с норвежских властей надо получить официальный документ о том, что Норвегия не имеет к СССР никаких материальных претензий. Никаких, вы поняли?

Задачка! В первую очередь вызываю к себе, прямо в комнату рядом с кабинетом коменданта (где когда-то Щербаков и Даль обсуждали вопрос «ты меня уважаешь?») Карлсена, Бьёрнсона и Анденеса — для выяснения объема материальных претензий, которые у них реально есть. Я не сомневался, что Анденес ведет строжайший реестр всем кражам, порубкам и т.д. И не ошибся. Анденес открыл гроссбух и начал читать по пунктам. Я говорю ему:

— Подождите. Давайте начнем с общей суммы и потом прикинем, что мы признаем, а что нет. Ведь, небось, не всюду есть свидетели? Давайте общую сумму.

— Извольте: 583.275 крон.

Я закачался. Ведь в нашем распоряжении не было ни одного валютного рубля, да и советских рублей не было.

— Ну, давайте разбираться.

Примерно тысяч на пятьдесят было потерь без свидетелей или уже полюбовно улаженных. Трагедией был часовщик — его потери тянули почти на 200 тысяч крон. Анденес положил на стол полицейские протоколы осмотра местности — две пары кирзовых сапог, следы ведут к такой-то нашей части.

Я говорю: эта часть давно ушла.

— Ничем не могу помочь, — говорит Анденес. — По соглашению вашего правительства с нашим, вы должны оплатить нам все убытки, нанесенные вашей армией.

У меня этих денег не было, а если бы я вернулся в СССР с валютным долгом, то головы бы мне было определенно не сносить, и мои друзья из СМЕРШа тут бы уж постарались. Поэтому я стоял намертво.

— Почему я должен верить вашему отождествлению, что сапоги советские? Почему вы тогда не вызвали меня на свежие следы?

Что ограбили часовщика не норвежцы, особенно в период, когда в нашу часть перебросили уголовников, сомнений, конечно, не было. Но я мог сослаться на недостаточность их доказательств.

Наконец, Анденес, видимо, догадался, что таких денег у нас нет и негде взять, и согласился отложить дело часовщика в пачку недоказанных дел.

Все же после всей торговли получился остаток без небольшого тысяч в триста крон, погасить который надо было во что бы то ни стало. Я сказал, что по округе осталось немало немецкого имущества, которое теперь наше по праву завоевания, и попросил мне дать оценщика от норвежцев. Оценщик был быстро найден — это был представитель профсоюза, специализировавшийся на конфликтных делах и имевший доверенность от муниципалитета. Я взял машину, оценщика и Грицаненко — он больше меня скитался по

территории и знал расположение различных сохранившихся немецких бараков. Мы объехали почти всю нашу территорию до Сванвика и почти до Нейдена — Грицаненко сказал, что в Нейдене для нас ничего нет. У каждого барака (в них теперь жили местные норвежцы, иногда помещались какие-то конторы и магазины) оценщик записывал ориентировочную цену в блокнот. Здания были все дощатые, копеечные. Мы все-таки наскребли тысяч полтораста крон. Барачные возможности истекли. Я повез моего оценщика на аэродром. Предлагаю его. — Представляю себе, что мне будет за продажу военного аэродрома. Но оценщик не заинтересовался.

— Какой аэродром? Это просто чистое поле. Луг. И к тому же наш, норвежский.

Смотрю, по краю поля остались от немцев бетонные укрытия для самолетов, и я широким жестом предлагаю их оценщику, но тот даже удивился:

— На что нам эти штуковины?

Грустно иду по аэродрому и вдруг на краю его наталкиваюсь на огромную яму, полную битумом.

— Смотрите, — говорю, — битум! Это же вам нужно! Щели на зиму смолить!

— Гм. Битум? Посмотрим, сколько его тут. — (Меряет). — Хорошо. Пятнадцать тысяч.

Все. День заканчивается, а на мне еще 113 тысяч крон долга. Подъезжаем к Киркенесу вдоль узкоколейки. Идея! Узкоколейка.

Спрашиваю оценщика: чья узкоколейка — заводская?

— Нет, — говорит, — это немцы от рудников до завода построили.

Ура! Значит, наша! Прихожу с Грицаненко в комендатуру и шлю его в руины завода за Сейнессом.

Приходит. Садится. Я говорю ему:

— Нужна вашему заводу железная дорога к рудникам?

— Завод разрушен, — отвечает он.

— Да, но ведь он будет отстроен, и тогда железная дорога понадобится.

— Может быть.

— Ну, если вам она не нужна, мы ее разберем и вывезем в Мурманск на лом. — (Он еще не знает, что послезавтра днем нас тут уже не будет.)

— Сколько вы за нее хотите? У нас нет наличных.

— Нам годится и вексель.

— Хорошо, я пришлю заводского оценщика.

Он ушел, оставив меня в беспокойстве. Сколько может стоить железная дорога? На мой взгляд, может быть, и полмиллиона, но ведь я целиком завишу от оценки, которую мне предложат.

Между тем Лукин-Григэ вызвал своих офицеров к себе в кабинет (не всех: Янкелевич с майором и радистками и Ефимов со всеми смершевцами убыли накануне)[1] и говорит:

---

[1] Еще раньше убыл и адъютант Лукина-Григэ, но судьба его сложилась неудачно. Как мне рассказывали (за что купил, за то и продаю), он (не будучи бессеребреником и имея кое-какие средства) купил в Мурманске на барахолке звезду Героя Советского Союза и под свое геройство устраивал какие-то махинации, но на них попался и угодил за решетку.

— Товарищи офицеры, как вам известно, комендатура — не воинская часть, и я, по уставу, не командир воинской части, и вам выдавать отпуска не могу. Но если я поставлю свою подпись, никто не будет сверять, имел я право или не имел права выдать вам отпускные свидетельства.

И он выдал нам всем отпуск на месяц, с денежным довольствием.

Назавтра приходит инженер.

— Мы покупаем железную дорогу.

— Какая же ваша цена?

— Сто тысяч крон.

— Простите, — говорю я, — а я посылал своего оценщика, и он оценил дорогу в 113 тысяч крон.

По тому, как он сразу же согласился, я понял, что дорога стоила по крайней мере втрое больше. Но мне необходимо было, чтобы обе стороны не имели друг к другу материальных претензий — поэтому мне нужно было ни больше, ни меньше — ровно 113 тысяч.

— Как мы расплатимся? — спросил он.

— У нас есть кое-какой долг муниципалитету, напишите переводной вексель на них.

Сказано — сделано. Но сделано еще не все: надо получить от норвежских властей бумагу, в которой они выражали бы нам благодарность и сообщали, что не имеют к советским войскам никаких претензий.

Только я сел за машинку, приходит дневальный:

— Товарищ капитан, там норвег пришел.

Выхожу. Вовсе не норвег, а саам, в своем синем балахоне и пестрой шапке с углами в три стороны, и в глазах его отчаяние.

Беда, действительно, большая: саамы ездят на оленях только зимой, а летом они выпускают их на выгул в тундру. А наши солдаты, конечно, принимали их за диких, и теперь чуть ли не больше половины оленей саамы не досчитались.

Этого мне не хватало к моим 113 тысячам! Взял бы я с инженера больше — теперь мог бы рассчитаться с оленеводом. Но мне ничего не оставалось, кроме как сказать ему, что комендатура закрыта и счет за потери надо подавать в советское посольство в Осло. (Конечно, адрес довольно безнадежный. Но нет у меня больше средств!).

Сажусь снова за машинку и пишу письмо от имени норвежских властей к нам. Текст его наизусть не помню, но оно было опубликовано, и историк его найдет.[1] Иду с ним в комендатуру к Карлсену.

В углу комнаты накрыт стол, на столе коньяк. Подаю Карлсену текст письма и говорю, что мне необходимо получить такое послание от норвежских властей. Без этого мы не можем уйти, а уходить нужно завтра. Карлсен говорит:

— Хорошее письмо. Замечательное письмо. Мало вы их тут грабили, они все с немцами снюхивались. Какие тут могут быть материальные претензии.

---

[1] Уже в Ленинграде летом 1946 г. я подошел к вывешенной на стене газете и прочел: «Заявление премьер-министра Норвегии». Заявление было сделано в стортинге (парламенте) и было приведено в газете полностью. Это был тот самый текст, который составил я в Киркенесе — ни одной запятой не было изменено.

Но только ты обратился не по адресу — это же международный акт, правительственное заявление. А я только командир роты, расквартированной в Сёр-Варангере.

— Ты здесь комендант, — говорю я. — С такими же полномочиями, как Лукин-Григэ.

— Какие полномочия! Лукин-Григэ — военный губернатор, а я просто маленький офицер.

— Но если на этой бумаге будет стоять подпись старшего офицера на этой территории, то это будет иметь большой вес.

— Ты с ума сошел. Надо губернатора вызвать из Вадсё. — Бросается к телефону: губернатор выехал в Осло. Пытается соединиться с Далем в Коутокейно: связи долго нет. Наконец, Даль подходит к телефону, я слышу его голос:

— Что, русские уходят? Ничего не подписывать без меня. Я завтра же вылетаю на вертолете.

— Да, господин полковник. — Видишь? — говорит мне Карлсен.

— Ну, — говорю я, — я не уйду, пока ты не подпишешь. Мне без этой бумаги тоже головы не сносить.

— Ну, садись, будем пить.

Попиваем коньячок. Сельнес мне молча сочувствует. Анденес молча ехидствует. Снова и снова смотрю на часы. Двенадцать. Час ночи...

Вдруг Карлсен говорит:

— Ну-ка, покажи еще мне эту бумагу... Да, хорошая бумага. Замечательная. Но я же...

И потом вдруг:

— А! На гражданке я тоже найду работу. — И подписал.

Я лечу с бумагой к Лукину-Григэ, который ждет меня — не дождется.

Утром рано в мою каморку приходит старик-дневальный:

— Товарищ капитан, там норвег пришел. — Какой норвег? Комендатура закрыта, приема больше нет. — Он очень вас просит, товарищ капитан.

Выхожу. Стоит норвежец, смутно мне знакомый. Я говорю:

— Комендатура уже закрыта. Что вам угодно?

— Извините, я знаю, что вы уходите из Киркенеса. Вы меня, наверное, помните, я приходил из-за сена. Вы уж меня простите, я же понимаю... Это жена меня запилила. А я пришел поблагодарить русских солдат за все и пожать вам руку.

Поднимаюсь в кабинет к Лукину-Григэ, чтобы рассказать ему об этом трогательном визите — что за черт! Где же печка в углу кабинета? Оказывается, милый мой полковник, никогда ничем с норвежцев не поживившийся, под конец не удержался — ночью вызвал машины и вывез из дома комендатуры все печки! Зачем они понадобились ему там, где он будет служить? Они же угольные и без вьюшек, под дрова не годятся!

Но время истекает. Уже наш караул вышел во двор к флагштоку, и Карлсен со своими солдатами подходит с улицы. Смирно! Под козырек! Советский флаг спускается, и на флагштоке взвивается норвежский флаг. Мы все выходим, полковник садится в «виллис», мы остальные — Грицаненко, я и три его офицера и два солдата — садимся в кузов грузовика. У меня

мелькнула мысль — что подумают те, кто собрался занять здание комендатуры?

VIII

Мы поехали через Пасвик и Ярфьорд, поднялись по серпантине. У самой границы уже стоял Карлсен с почетным караулом. Мы сошли с машин, козырнули союзникам, пожали руки. И поехали дальше — за поворотом нас уже ожидала машина с комендантскими печками.

Расстались мы с полковником Лукиным-Григэ и его дамой на много лет, но не навсегда[1] — в Луостари, откуда наш грузовик повез нас, пятерых офицеров, в Лиинахамари. Там мы погрузились на «Каталину» — она теперь сильно отличалась от той чистенькой боевой машины, которая возила нас в Лаксэльвен и Тромсе — сейчас полным ходом шло заселение русскими Печенгской области, а летающая лодка была единственным регулярным видом транспорта между Печенгой и Кольской губой — вроде маршрутного автобуса. Поэтому, хотя залезать по-прежнему приходилось через щели для пулеметов, внутри в обоих отсеках фюзеляжа пассажиры стояли, держась за кожаные петли, точно как в трамвае тридцатых годов.

«Каталина» доставила нас в Вангу (что ныне Североморск) — это тогда был поселок из беспорядочно разбросанных пятиэтажек посреди небольшой долины, окруженной крутыми горными склонами. Грицаненко, который у нас был за старшего, — я был, видимо, слишком возвышенной персоной, чтобы утруждать меня хозяйственными делами, — раздобыл новую грузовую машину, и мы поехали в Мурманск.

Ехали мы впятером — Грицаненко, я и три лейтенанта, приданные Грицаненко в помощь. Только с вещмешками — никто из нас «за границей» ничем не поживился, я даже отдал Карлсену свою прекрасную пишущую машинку — еще скажут дома, что украл, как докажешь, что она подарок?

Из наших лейтенантов, помощников Грицаненко, одного я совершенно не помню, другой был молодой толстенький веселый еврей, третий был человек уже совсем не молодой, худой, с начинавшейся лысинкой, уралец. В отличие от прочих он имел высшее образование — инженерное. По дороге пошел разговор — где будем ночевать в Мурманске. Я сказал — в гостинице. Но это мои лейтенанты приняли за шутку. Грицаненко говорит:

— Погодите, я знаю в Мурманске одно замечательное место, где можно переночевать, — и дал указание водителю повернуть налево, в сторону сгоревших деревянных кварталов, где у самого склона сохранилось несколько двухэтажных построек. Подъезжаем к одной из них — Грицаненко командует:

— Здесь!

Смотрю — над входом чуть ли не метровыми буквами мелом начертано: БАРДАК.

— Как, — говорю, — здесь мы будем ночевать? Ну нет, я поеду в гостиницу.

---

1 Из действующих лиц этого повествования я еще встречался с Янкелевичем, Сутягиным, Далем, Линне, Сельнесом, Зеликовичем, Бьёрнсоном — и с Герд Стриндберг Иссен. Наиболее тепло — с Далем и с Герд.

Но мои лейтенанты уже повыскакивали из кузова. Только старший из них, инженер, говорит мне:

— Ну что ж, товарищ капитан, может быть, попробуем, что у вас за гостиница.

Я приказал шоферу везти меня к высотному зданию Междурейсовой гостиницы — кажется, единственному целому зданию в городе.

Как я и ожидал, гостиница пустовала — не было ни иностранных судов в порту, ни командированных из Москвы в потерявший свое значение Мурманск. Я подошел к окошечку портье и заказал два отдельных номера. Затем привел моего инженера в его номер — он был на этаж ниже моего. Открыли дверь ключом — хорошая гостиничная комната, застеленная постель, ковровая дорожка на полу. Столик с салфеточкой, телефон, в углу полированный шкаф. За дверцей ванная с унитазом.

Мой товарищ остановился на пороге в полной немоте. Потом проговорил:

— Так я в жизни никогда не жил...

И мне представилась его жизнь. В детстве коммунальная квартира где-нибудь в Челябинске. Одна комната на семью; потом студенческая общага; потом армейские землянки; потом комната-общежитие в комендатуре... Я пожелал ему всего хорошего и пошел к себе, а утром вышел на знакомые и почти родные улицы разбомбленного Мурманска — купить на вокзале билет до Ленинграда. Через сутки я был дома на Суворовском проспекте.

Всю войну я возил в кармане ключ от квартиры и стеклянный «литик» с изображением скорпиона — мою личную эрмитажную печать. Я открыл дверь ключом — в квартире никого не было. Я прошел по коридору до нашей комнаты. Вхожу — меня встречает необыкновенно очаровательный пятилетний мальчик и смотрит на меня с недоумением. Я подумал: сказать ему «я папа» — это будет, может быть, сразу слишком большим нарушением его уже сложившегося детского мира. Я протянул ему руку и сказал:

— Здравствуй, Миша. Я Игорь Михайлович Дьяконов.

Он пожал мне руку и вдруг побежал куда-то. Смотрю — он несет мне семейный альбом фотографий. Раскрывает страницы, показывает пальчиком и спрашивает:

— Это кто? А это кто?

Только убедившись, что я всех узнаю, он ко мне смягчился и пошел показывать мне какие-то свои вещи и немногочисленные игрушки.

Я оставил мальчика — не помню, на кого, может быть, на самого себя — и поехал в университет, где встретил Нину и почему-то Тату Дьяконову, мою невестку. Мы пошли через Дворцовый мост — я хотел сразу зайти и в Эрмитаж, но Нина увела меня домой.

Встретились мы, с одной стороны, так, как если бы и не расставались, а с другой стороны, уж очень как-то буднично. Нина была худая, все еще с неидущими ей косичками вокруг головы. Наш дом — наша комната — тоже была та, но как бы и не та. На стенах не помню фотографий. Вся мебель стояла почему-то вдоль одной стены без разбору (перед моим отъездом она была разгорожена шкафами, за которыми спала нянька Настя, умершая в блокаду). Только Нинино старинное бюро сразу узналось.

«... Но в мире новом друг друга они не узнали». Начиналась эпоха нового знакомства между нами — за спиной у Нины был голод, невыносимые условия работы, мальчик на руках и многие, многие неизвестные мне волнения. За моей спиной было четыре года штабной службы, без голода и в полнейшей безопасности, и мои приключения Нину мало интересовали.

Забегая вперед, скажу, что нам пришлось пройти через длинные полосы взаимных испытаний, но вот мы справили уже нашу золотую свадьбу, и скоро бриллиантовая.

На следующий день я все-таки попал в Эрмитаж, где представился И.А.Орбели, а потом пошел на Комендантский подъезд, в наш «Египет». Внизу была только М.Э.Матье на своем обычном месте. Она встретила меня возгласом: «Капитан!» — а потом уже так и называла меня до конца жизни. В наших верхних кабинетах все с виду было по-прежнему, но не было ни М.А.Шера, ни К.С.Ляпуновой. У нас наверху на своем месте сидел И.М.Лурье, а за столом Шера — наша милая лаборантка Леля Яковлева, и за своим столом — Б.Б.Пиотровский, еще не успевший укрепиться в Институте археологии. Не помню, была ли Наталия Давыдовна Флиттнер — она теперь работала в Академии художеств, а в Эрмитаже была то ли на полставки, то ли просто приходила по старой привычке — все в такой же зеленой кофточке и с черной лентой на седых волосах.

Впрочем, мне повезло, что я застал весь «Египет» в его нынешнем составе — М.Э.Матье исполняла обязанности заместителя директора и большей частью сидела в большом кабинете напротив Орбели на Служебном подъезде; а Исидор Михайлович больше сидел в парткоме.

Оттуда я попал в университет. Мне было известно, что там теперь был создан на базе филологического новый Восточный факультет (в значительной мере — усилиями моего учителя А.П.Рифтина, которому не дали им заведовать, хотя во время войны он был деканом филологического факультета: «не задвигать, но и не продвигать»); знал и то, что А.П. по возвращении университета из Саратова создал новую ассириологическую группу на Восточном факультете, но что в самом начале этого, 1945-го, года он умер, надорвавшись, таская дрова к себе на пятый этаж. Мне было известно, что в России испокон веку бывал только один ассириолог — сначала М.Н.Никольский, потом В.К.Шилейко, потом А.П.Рифтин — и что на мне лежит моральное обязательство не только продолжить ассириологию в России, но и создать школу.

В факультетском коридоре я встретил нашего арабиста, красивого В.И.Беляева.

— Виктор Иванович, — сказал я, — вот прошла война, а на факультете та же студенческая толпа, как будто ничего не изменилось.

— Очень много изменилось, — сказал он. — Замученные, изголодавшиеся преподаватели и буйные студенты. Часть из армии, отвыкли от студенческих порядков, часть — довольно неуправляемые девицы.

— Я слышал, — говорю я, — что Александр Павлович создал ассириологическую группу — осталось ли от нее что-нибудь?

— Осталось; две девицы; или, кажется, уже только одна. Да вот я попрошу Сережу Певзнера позвать ее.

Сережа Певзнер, студент-арабист, был одним из немногих выживших моих учеников из блестящего довоенного школьного кружка при Эрмитаже, который я вел. Он побежал в читальный зал и привел очень тощую девочку с длинным подбородком и довольно жидкой прической. Когда она волновалась, она косила одним глазом. Я спросил ее:

— Вы ученица Александра Павловича Рифтина?

— Да.

— А где же вы теперь числитесь, когда его больше нет?

— Нигде. Я жду, когда специальность возобновится.

Тогда я схватил ее за руку и потащил через мост в Эрмитаж, в замдиректорский кабинет к Милице Эдвиновне Матье. После блокадного мора в музее было много свободных штатных единиц, и ее зачислили научно-техническим сотрудником (лаборантом). Так была заложена основа моей будущей научной и жизненной школы.

Пока я был в кабинете Милицы Эдвиновны, меня вдруг вызвал к себе через секретаря И.А.Орбели. Я пришел, постучался в его кабинет и вошел. Иосиф Абгарович принимал какого-то генерала (потом оказалось, что это был начальник кадров Советской армии, который завернул в Эрмитаж, чтобы посмотреть Золотую Кладовую). Он представил меня:

— Познакомьтесь, это Игорь Михайлович Дьяконов, один из лучших наших сотрудников, крупный специалист своего дела.

И моргает мне глазом — дескать, выйдите! А генерал стоит лицом к Орбели и спиной ко мне, и я, естественно, выйти не могу. Я вижу, что Иосиф Абгарович весь накаляется и краснеет. Вдруг, наконец, генерал повернулся ко мне лицом.

— Товарищ генерал, разрешите идти?

Вижу, с Орбели спала краска гнева, и он мне улыбнулся.

На Суворовском вся семья была в сборе, но и тут не было ощущения, что все начинается с точки обрыва четыре года назад.

Мой брат Миша демобилизовался еще в 1943 г., был деканом факультета в Московском университете, теперь заведовал Ленинградским отделением Института археологии. Жил со своей новой женой Евгенией Юрьевной Хин и с ее сыном в ее — или ее прежнего мужа Цехновицера — квартирке на набережной около Адмиралтейства, с мебелью карельской березы и старинными книгами в переплетах свиной кожи — и чувствовал себя там, мне кажется, не совсем уютно. Дуэль его с Цехновицером кончилась гибелью того при эвакуации нашего флота из Таллинна.

Мама и Нина Луговцева, Алешина жена, были еще в эвакуации на Алтае. Из наших с моей Ниной друзей Яша Бабушкин и Шура Выгодский погибли на фронте, Воля Римский-Корсаков — от голода в блокаде; Юра Фридлендер был в «трудовом» лагере. Погиб на фронте Ваня Фурсенко, хотя его сестре Наде как-то показалось, что она видела его в трамвае и он будто бы вышел, как только ее заметил — такие видения случались нередко.

После всех визитов я должен был вернуться на службу в штаб Карельского военного округа — в Кемь. Перед отъездом Иосиф Абгарович мне сообщил, что он подал ходатайство начальнику кадров Советской армии о моей досрочной демобилизации — по правилу мне оставалось бы служить в армии еще три года.

В Кеми я жил на частной квартире, в избе у одной старушки-поморки, проведшей здесь всю войну. По ее рассказам, жили они — рядом с нашими штабами — в крайнем, почти блокадном голоде, ели крапиву. За моей стеной жила молодуха, дождавшаяся своего мужа из армии. Их приглушенный разговор был всю ночь слышен мне; больше всего меня поразило то, что она уверяла мужа, будто ее знакомые и подружки «все гуляли», только она одна «стояла, как скала». Но очарование и страстность свидания не побуждали, видно, мужа к тому, чтобы слушать про поведение подружек.

Каждый день я таскался на работу в разведотдел — работы не было буквально никакой. Мне давали переписывать какие-то бумаги. Группа агентурщиков выезжала на границу — на явки. Вернулись темнее тучи:

— Семнадцать человек — и ни один не вышел!

Я мог бы им это предсказать.

В декабре пришел приказ о моей демобилизации. 25 декабря 1945 г. я сдал в Ленинграде военные документы и пистолет (без обоймы, которую вышвырнул в канал), получил паспорт, снял погоны — носить китель и особенно шинель пришлось еще долго; и вернулся на работу в Эрмитаж и в Университет, где кафедрой семитологии тогда заведовал И.Н.Винников, а ассириологию я разделил с Липиным.

Молодость моя кончилась. Я чувствовал, что теперь я способен поступать ответственно и самостоятельно и создавать свою жизнь, как мне нужно. Начинались новые главы ее.

Мои окружающие, куда я ни пойду, были в состоянии некоторой эйфории — синдром «осажденной крепости» кончился, кругом наши союзники; возможно, будет всемирное общение. Опыт Киркенеса заставлял меня в этом очень сомневаться — и действительно, скоро пошли «Звезда» и «Ленинград», Ахматова и Зощенко (поразительное соединение!), «низкопоклонство перед Западом», Лысенко и борьба с кибернетикой, 1948 год, когда моя одинокая мама ждала возвращения отца, «космополитизм», идея о переселении всех евреев в Биробиджан (за колючую проволоку? Вот где сказалось массовое чтение нацистских листовок и национальные пристрастия Сталина — от этой чумы мы и в 1990 г. не избавились). Теперь дожили до перестройки — и, кажется, до «привала» в ней.

Конец сороковых и пятидесятые годы темно, нечетко возникают в моей памяти — верный признак, что это были плохие годы, и в собственной жизни, и в стране. Облегчение приносила работа в науке, по 14 часов, семь дней в неделю. Уже к весне 1946 г. я защитил диссертацию, в 1949 г. выпустил первую книгу.

В шестидесятые годы пришли ученики, признание моего места в моей науке — сначала у нас, потом и международное. За это время произошло много необычного в моей жизни, заслуживающего бы рассказа — но песок в часах убегает. Если останется время, напишу немного о замечательных людях, которых мне посчастливилось в жизни повстречать.

Последняя глава

(После войны)

Эта глава написана через много лет после остальных и несколько иначе, чем они. Она содержит события моей жизни как ученого и члена русского общества; более личные моменты моей биографии — а среди них были и плачевные и радостные, сыгравшие большую роль в истории моей души, — почти все опущены, если они, кроме меня самого лично, касаются тех, кто еще был в живых, когда я писал эту последнюю главу. Поэтому она, эта глава, не так откровенна, как остальные. Но оборвать историю моей жизни в 1945 году — на моменте, который миновал полвека тому назад, — показалось неправильным и издательству и мне самому.

Зато я позволил себе приложить к этим воспоминаниям несколько моих стихотворений, может быть нелишних для освещения жизни, которая описана в этой книге.

* * *

Был декабрь 1945 года. Я снова поступил в Эрмитаж, и в Университет, на нашу прежнюю кафедру, которой теперь заведовал этнограф и немного гебраист И.Н.Винников (Рифтин умер незадолго до этого от сердечного приступа — говорили — таскал дрова на пятый этаж). По существу, вымерла вся прежняя кафедра. На нашей кафедре (теперь восточного, а не филологического факультета) студентов-ассириологов было только двое: Н.Янковская и С.Блюмгардт; та была определенно интриганка, но Н.В.Пигулевская вскоре взяла ее на свое (новое для кафедры) отделение сирологии.

Но проработать там мне долго не пришлось. По доносу этой же Блюмгардт нашу кафедру вскоре закрыли — за сионизм (ведь там преподавался древнееврейский язык). Н.Янковскую, доучивавшуюся я уже не помню под какой рубрикой, я привел в Эрмитаж и устроил ее в наш сектор лаборантом на вакантное место Лели Яковлевой.

В моем столе в Эрмитаже сохранился текст моего последнего большого студенческого доклада «Развитие земельных отношение в Ассирии». Его легко удалось переделать в кандидатскую диссертацию, которую я и представил весной 1946 года в Институт востоковедения АН. В то время это было просто: надо было напечатать четыре странички реферата, и не требовалось бесконечных предварительных обсуждений и многократных отзывов. Одновременно со мной подал и свою докторскую диссертацию (кажется, «Древнее общество Средней Азии») и мой брат Миша. Он защищал первым, а я — вторым. На Мишу обрушились с резкими нападками академик И.Ю.Крачковский, А.А.Фрейман, Н.В.Пигулевская. Главным пунктом их обвинений было то, что источники, писанные в оригинале по-гречески, по-латыни, по-сирийски и по-арабски, цитировались, по-видимому, по европейским переводам. Голосование Мишу почти провалило, хотя работа сама по себе была дельная и полезная. Сам не свой, я начал вступительное слово к моей диссертации. Некоторые из членов совета уже слышали эту работу как студенческую в 1941 году, но, к моему удивлению, я получил единогласное

«за». Мне было очень неловко, и я готов был думать, что так совет голосует нарочно, чтобы показать свое беспристрастие; кроме того, тут мог играть роль и тот факт, что Миша тогда уже, по доброму совету, вступил в партию, и его диссертация могла рассматриваться членами совета как «партийная халтура». Меня же в принадлежности к партии, кажется, никто не подозревал (в армии меня титуловали «капитаном» by courtesy, а был я «техник-интендант первого ранга», а не «старший политрук»). Защита моя прошла «на ура», а вскоре мне удалось (что тогда было большой редкостью) издать диссертацию отдельной книжечкой. В этой работе была заложена моя концепция истории древнего Востока как общества, основанного не столько на рабстве (хотя и на нем тоже), сколько на общинном землевладении.

В Университете нашу кафедру, как я уже говорил, закрыли «за сионизм». По специальности «история Древнего Востока» оставили одну ставку — и я уступил ее Липину, не зная еще тогда достоверно, что он стукач, и на его совести жизнь милого и доброго Ники Ереховича. Но на одну эрмитажную зарплату было не прожить с семьей, даже с тем, что зарабатывала Нина, и я, по совету ученика моего брата Миши, Лени Бретаницкого, подрядился написать для Азербайджана «Историю Мидии». Все тогда искали предков познатнее и подревнее, и азербайджанцы надеялись, что мидяне — их древние предки. Коллектив Института истории Азербайджана представлял собой хороший паноптикум. С социальным происхождением и партийностью у всех было все в порядке (или так считалось); кое-кто мог объясниться по-персидски, но в основном они были заняты взаимным поеданием. Характерная черта: однажды, когда в мою честь был устроен банкет на квартире директора института (кажется, переброшенного с партийной работы на железной дороге), я был поражен тем, что в этом обществе, состоявшем из одних членов партии коммунистов, не было ни одной женщины. Даже хозяйка дома вышла к нам только около четвертого часа утра и выпила за наше здоровье рюмочку, стоя в дверях комнаты. К науке большинство сотрудников института имело довольно косвенное отношение. Среди прочих гостей выделялись мой друг Леня Бретаницкий (который, впрочем, работал в другом институте), один некий благодушный и мудрый старец, который, по слухам, был красным шпионом, когда власть в Азербайджане была у мусаватистов, один герой Советского Союза, арабист, прославившийся впоследствии строго научным изданием одного исторического средневекового, не то арабо-, не то ираноязычного исторического источника, из которого, однако, были тщательно устранены все упоминания об армянах; кроме того, были один или два весьма второстепенных археолога; остальные все были партработники, брошенные на науку. Изысканные восточные тосты продолжались до утра.

Незадолго перед тем началась серия юбилеев великих поэтов народов СССР. Перед войной отгремел юбилей армянского эпоса Давида Сасунского (дата которого вообще-то неизвестна) — хвостик этого я захватил в 1939 г. во время экспедиции на раскопки Кармир-блура. А сейчас в Азербайджане готовился юбилей великого поэта Низами. С Низами была некоторая небольшая неловкость: во-первых, он был не азербайджанский, а персидский (иранский) поэт, хотя жил он в ныне азербайджанском городе Гяндже, которая, как и большинство здешних городов, имела в Средние века иранское

население. Кроме того, по ритуалу полагалось выставить на видном месте портрет поэта, и в одном из центральных районов Баку было выделено целое здание под музей картин, иллюстрирующих поэмы Низами. Особая трудность заключалась в том, что Коран строжайше запрещает всякие изображения живых существ, и ни портрета, ни иллюстраций картин во времена Низами в природе не существовало. Портрет Низами и картины, иллюстрирующие его поэмы (численностью на целую большущую галерею) должны были изготовить к юбилею за три месяца.

Портрет был доставлен на дом первому секретарю ЦК КП Азербайджана Багирову, локальному Сталину. Тот вызвал к себе ведущего медиевиста из Института истории, отдернул полотно с портрета и спросил:

— Похож?

— На кого?... — робко промямлил эксперт. Багиров покраснел от гнева.

— На Низами!

— Видите ли, — сказал эксперт, — в Средние века на Востоке портретов не создавали...

Короче говоря, портрет занял ведущее место в галерее. Большего собрания безобразной мазни, чем было собрано на музейном этаже к юбилею, едва ли можно себе вообразить.

Доказать азербайджанцам, что мидяне — их предки, я не смог, потому что это все-таки не так. Но «Историю Мидии» написал — большой, толстый, подробно аргументированный том. Между тем, в стране вышел закон, запрещающий совместительство, и мне пришлось (без сожаления) бросить и Азербайджанскую Академию наук, и, увы, Эрмитаж с его мизерным заработком. Некоторое время работал с Ленинградском отделении Института истории, созданном на руинах разгромленного уникального музея истории письменности Н.П.Лихачева, а одно время числился почему-то по московскому отделению этого же Института истории.

От моей прежней семьи на Скороходовой (Монетной) улице осталась только одна мама. Она жила со вдовой моего брата Алеши, потом выдала ее замуж за хорошего человека, и они жили втроем в двух комнатах — остальная часть папиной квартиры, вместе с мебелью, перешла к вселившейся туда какой-то блокадной коммерсантке. Мама не хотела переезжать к кому-нибудь из родных, твердо уверенная, что дождется дома моего отца, когда выяснится, что он арестован по ошибке; о том, что его не было в живых я, конечно, не говорил ни ей, ни брату Мише, даже когда он вступал в ту самую партию. Младший мой брат Алеша, как я уже говорил, погиб еще в 1942 году. Из эвакуации мама вернулась тяжело больной, протянула недолго и умерла в 1949 году.

В том же году у нас с Ниной родился еще один сын — Митя. Ныне оба наши сына — видные физики.

В тот же год при раскопках в Туркмении древней Нисы, столицы Парфянской империи, было найдено множество черепков с надписями на непонятном языке. Начальник археологической экспедиции разослал фотографии с них разным ученым, надеясь, что они их прочтут. В числе их был мой брат Миша, в то время уже известный иранист (получивший в конце концов свою докторскую степень и — позже — должность декана факультета

в Москве). Миша пригласил на помощь меня. Я определил, что письмо было арамейское, но текст был написан гетерографически, то есть основные слова были написаны по-арамейски, а служебные — на каком-то иранском языке; арамейский текст был как бы шифром, и при расшифровке его весь текст должен был читаться на иранском языке, судя по месту находки — на парфянском. Миша знал только литературный новоперсидский («таджикско-персидский»), а для работы нам нужен был специалист по среднеиранским языкам. Как раз незадолго до этого я участвовал в Университете в комиссии по приему выпускных экзаменов и обратил внимание на замечательно блестящего и располагающего к себе студента — В.А.Лившица, лингвиста-ираниста. Я пригласил его, и втроем мы прочли эти документы. Это были банальные хозяйственные ведомости, но они давали «мостик» между древнеарамейским письмом и доисламскими видами иранского письма, а также между более поздними и более древними иранскими языками и письменностями. Мы выпустили нашу дешифровку маленькой книжечкой, потом я докладывал о нашей работе на международном конгрессе востоковедов в Кембридже; позже в Нисе стали находить все новые и новые черепки с надписями; мы выпустили книжку побольше к международному конгрессу востоковедов в Ленинграде, а потом пошла серия роскошных томов в серии Corpus Inscriptionum Iranicarum, издаваемой специальным ученым обществом, членом которого я был выбран вместе с Лившицем и до сих пор состою. Миша до этого не дожил. Он вскоре заболел тяжелейшей болезнью — лейкозом и умер. План, задуманный его женой-доброжелательницей: партия — Москва — должность декана — звание академика или по меньшей мере члена-корреспондента — мучительно оборвался.

Я уже не помню, в результате каких перипетий я был переведен в Ленинградское отделение Института Востоковедения — вернее, в его остатки. На одном из партсъездов член политбюро А.И.Микоян помянул Институт востоковедения (который тогда существовал только в Ленинграде) и заявил, что тот не ориентирует партию и правительство в отношении политики в странах Востока (но Институт был, конечно, создан совсем не для этого); приехала комиссия из Москвы и Институт закрыла; вместо него был создан партийно ориентированный Институт востоковедения в Москве; но перевезти в Москву гигантскую коллекцию рукописей и всю библиотеку было невозможно, поэтому в Ленинграде было оставлено человек двенадцать, главным образом проверенных партийцев; они все сидели в зале библиотеки рядками. Сюда же попал и я.

Через несколько лет было решено вновь образовать отделение Института востоковедения в Ленинграде. Во главе его был поставлен И.А.Орбели, которого незадолго перед тем пришлось снять с поста директора Эрмитажа, так как там он поссорился со всей остальной администрацией и не пускал к себе в кабинет даже заведующих секторами. Придя в Ленинградское отделение Института востоковедения, Иосиф Абгарович составил список нужных ему сотрудников — главным образом из талантливой университетской молодежи. Но этот список должен был еще быть утвержден в Москве. Однако каждый раз, как текст приготовлялся для отправки в Москву, приходил секретарь парторганизации А.К.Боровков, вычеркивал ряд фами-

лий и вписывал другие. Орбели восстанавливал свой список, Боровков... — и так далее. В конце концов И.А. проследил, чтобы его список ушел в Москву, где он попал в руки заведующего отделом кадров, довольно зловещего человечка без высшего образования. Ответа из Москвы от него не приходило. И.А. попросил наконец свою секретаршу позвонить ему. Она, прикрывая трубку рукой, сообщает:

— Он говорит, что должен еще проверить список.

— Ах так, — сказал И.А., — скажите ему, что я проверил все, кроме подштанников, а подштанников я проверять не буду. — Этот текст она и передала в трубку, и список был немедленно утвержден. Выбор, сделанный И.А.Орбели, был превосходен, с тех пор прошло сорок лет, а институт живет практически без склок и выдает огромную научную продукцию.

В 1954 г. я был в составе делегации наших ученых за рубежом — на Международном Конгрессе востоковедов в Кембридже. В этой делегации — в которой, по тогдашнему обыкновению, участвовал представитель ЦК партии и обязательный стукач — я был поставлен в привилегированное положение: если остальным вменялось в обязанность ходить только по-двое и ни в коем случае не оставаться наедине с каким-либо иностранцем, то я — чуть ли не единственный беспартийный в делегации — мог ездить один куда хотел.

Причина этого выяснилась много позже. Еще в конце 40-х гг. я как-то сидел за столом и заполнял гигантскую анкету (которыми нас в то время постоянно донимали), и там нужно было указать с точностью до дня все части Красной Армии, где я служил, когда и в каком качестве. Между тем, у меня не было никаких документов на первые три месяца моего пребывания в Киркенесе (с четвертого месяца меня подчинили разведотделу 14-й армии). Я сидел в недоумении. Тут в комнату вошел мой очень партийный бакинский друг Леня Бретаницкий, и я ему рассказал о своем затруднении. Он предложил: «Напишите, что Вы выполняли специальное задание командования». Я так и сделал, но я не знал, что эта формула означает. Эта запись открыла мне многие незримые двери, и только лет тридцать спустя мне позвонили из надлежащего учреждения и попросили уточнить, какие это специальные задания я выполнял, и в форме или в гражданском. Я объяснил; но в это время уже в воздухе пахло перестройкой.

В Кембридже я делал доклад о документах из Нисы, с уже упоминавшимися результатами. Позже я участвовал в различных международных конгрессах; в том числе в Мюнхене я докладывал о родстве урартского языка с хурритским, что положило начало целому циклу моих работ по древним языкам Передней Азии; так, в 1967 г. я выпустил большую книгу «Языки Древней Передней Азии», содержавшую десять кратких грамматик (шумерскую, хурритскую, урартскую, эламскую, хаттскую, аккадскую, т.е. ассиро-вавилонскую, угаритскую, финикийскую, древнееврейскую, староарамейскую), потом вышли «Семито-хамитские языки» (1965) и «Афразийские языки» (1988) по-русски и по-английски, Hurrisch und Urartäisch (1971) по-немецки и, вместе с С.А.Старостиным, Hurro-Urartian as an Eastern Caucasian Language (1986) по-английски. Кроме того, я написал ряд глав для многотомников «Языки Азии и Африки» и «Языки народов мира». Много писал я и для энциклопедий.

Мы все три брата Дьяконовы были поэтами — и участвовали в работе отца как переводчика. Свои лирические стихи я хранил в столе, но решил предстать перед публикой в качестве стихотворного переводчика. В 1966 году я издал стихотворный перевод «Эпоса о Гильгамеше» с аккадского, а впоследствии (публикации 1973, 1984, 1985 гг.) и стихотворные переводы с древнееврейского («Экклесиаст» и «Песнь песней») и другие. Мне кажется, эти переводы удались и поэтически, и по точности передачи содержания и формы оригинала. Переводы по подстрочнику чаще всего суше и жестче.

Продолжал я работать главным образом по истории. В 1959 г. я выпустил книгу «Общественный и государственный строй древнего Двуречья: Шумер» (резюме напечатал в США). Я еще до этого даже пытался защитить диссертацию на степень доктора исторических наук — отнес рукопись академику В.В.Струве и договорился с еще двумя оппонентами. В.В. принял рукопись очень любезно, но затем все замолкло, и я не задавал вопросов. Потом я начал встречать встречать разных коллег, и каждый спрашивал меня: «И.М., что это такое ужасное Вы написали, что В.В. этим так недоволен?» Первый коллега, второй, третий, четвертый... Наконец, звонит мне заместитель декана восточного факультета и просит зайти к нему. Захожу. Он сообщает мне, что В.В. имеет много возражений против моей диссертации и просит, чтобы я явился к нему для их обсуждения. Я сказал, что В.В. известен мой телефон, но тем не менее явился. На столе у В.В. лежала моя рукопись и еще более громоздкая кипа замечаний. Он настаивал, чтобы я приходил к нему и выслушивал его критическое чтение. Замечания были очень разрушительные и иногда мало внятные по форме, но совершенно пустые по содержанию. После двух сеансов я отказался это продолжать и решил — ну, так я не буду доктором наук.

Гнев В.В. был понятен. Хотя я никогда и нигде с ним не полемизировал, но моя идея о том, что общество древней Месопотамии делилось на два сектора, из которых один был частно-общинным (т.е. представлял собой частные хозяйства членов общины), а другой — царско-храмовым, работники которого при этом рисовались мне не совсем как рабы — противоречила концепции древнего общества, созданной В.В.Струве и канонизированной Сталиным в «Кратком курсе ВКП(б)». Кроме того, В.В. было известно, что я консультировал его оппонента, академика А.И.Тюменева, по его работе о храмовом хозяйстве древнего Шумера.

В 1959 г. мне было поручено организовать Международный конгресс востоковедов в Москве. Я переехал на целый год в Москву и занимался рассылкой приглашений. Мне была придана секретарем Анна Владимировна Н., которая когда-то работала на похожей канцелярской работе в Коминтерне.

Мы прекрасно справились бы со всей работой с ней вдвоем, хотя нам с ней еще придали в помощники некого бездельника — условно назовем его Ы, — в виде моего партийного помощника и надзирателя. Дела оказалось неожиданно много, потому что за нашей работой следил ЦК партии; мы должны были подавать ежедневные отчеты о работе, с указанием, из какой страны и сколько поступило заявок на сегодня, и сколько взято назад. Кроме того, меня время от времени вызывали в ЦК на ковер к какой-то важной идиотке, которая делала мне строгие, но вполне бессмысленные замечания.

Все это приводило к тому, что штат непрерывно разрастался — мы то и дело снимали с работы то одного, то другого научного сотрудника, пока наша комната не заполнилась ими до отказа.

Как-то раз, уже в 1960 г., незадолго до начала конгресса, я бежал из своей конторы в другой конец Института востоковедения через подъезд. В это время с улицы по ступеням поднимался академик В.В.Струве, а сверху, навстречу ему, случайно спускался директор Института, член ЦК партии, Б.Г.Гафуров; он остановил меня и подвел к В.В., к которому обратился, говоря со своим обычным таджикским акцентом:

— Василий Васильевич, почему Вы возражаете против диссертации Игоря Михайловича? Игорь Михайлович — секретарь конгресса востоковедов, и нам очень важно, чтобы он имел докторскую степень.

Василий Васильевич был не так построен, чтобы спорить с членом ЦК. Он немедленно сказал, что все сделает, и тут же вызвал меня на разговор. Он сказал, что не будет мешать моей защите, но и сам выступать оппонентом не будет. Сразу после этого ожили и другие мои оппоненты. Уже до конгресса оставалось немного дней, я был страшно занят, когда меня вдруг позвали в актовый зал, где и состоялась моя докторская защита.

Фигура Гафурова заслуживает более подробного упоминания. Уроженец таджикского кишлака, он дорос к 1937 г. до секретаря райкома, но когда вся партийная верхушка Таджикистана была перехватана, он вознесся до положения первого секретаря ЦК компартии республики. Единственный из всех первых секретарей, он понял, что это положение может быть не вечным, и благоразумно опубликовал собственную книгу «История Таджикистана». Кто ее готовил, я не знаю. Мой брат М.М. написал на нее довольно отрицательную рецензию, не принимая во внимание того, что ему еще придется и в будущем, как археологу, работать в Таджикистане. Но и Гафуров не обиделся, а выпустил новое издание книги с поправками, после чего был избран действительным членом в республиканскую академию. Когда с приходом нового руководства все сталинские первые секретари полетели и исчезли из поля зрения, Гафуров остался на поверхности в качестве республиканского академика и сохранил членство в ЦК в Москве. Когда первоначальных директоров Института востоковедения АН СССР пришлось снять — первого, В.И., за безделье и преувеличенное внимание к своим материальным выгодам, а второго, А.А.Губера — по его желанию (и нежеланию возиться с этим весьма громоздким учреждением), новым директором был назначен Б.Г.Гафуров, который на этой почве был избран во Всесоюзную Академию. Он оказался энергичным и способным организатором. Единственным его недостатком была любовь к почету; из-за нее он позже разлюбил меня, так как я, приезжая в Москву, не всегда заходил поклониться ему.

Впоследствии, когда ему стало ясно, что жить ему оставалось недолго, он пошел в ЦК и обратил внимание на то, что Саудовская Аравия приобретает сейчас все большее политическое значение, а мы не имеем никаких сведений о том, что там происходит. Он предложил, что, будучи мусульманином, может поехать туда как паломник и посетит Медину и Мекку. Это ему разрешили и дали переводчика-мусульманина же. По прибытии в Мекку он

был уже в таком слабом состоянии, что его обнесли вокруг святыни на носилках. Вернувшись в Москву, он созвал ближайших людей в свой кабинет в Институте и сказал приблизительно так:

— Что я был первым секретарем ЦК компартии Таджикистана — это чепуха. Что я был членом ЦК КПСС — чепуха. Что я был академиком — это тоже чепуха. А вот что я хаджи — это в моем кишлаке оценят. — И уехал на родину умирать.

Но это было потом. Конгресс прошел прекрасно, однако я почти ничего не видел и не слышал, так как все время был занят разными техническими вопросами.

Многие участники конгресса приехали с женами, и их надо было занимать, а партнерши, которых мне предоставили, не могли поддерживать интеллигентного разговора. Поэтому я вызвал в Москву мою жену: умница, красавица, ученая женщина, говорившая свободно по-английски и на других языках, Нина Яковлевна была тем, что было нужно нам.

Посреди конгресса часть его участников полетела в Ленинград на воскресенье; по дороге Нина Яковлевна подружилась со старым норвежским иранистом, Г.Моргенстьерне, когда-то учителем моего брата в университете Осло. Эта дружба потом сыграла роль в нашей жизни.

А пока в Ленинграде я свалился с тяжелым аппендицитом. Конгресс кончился без меня, я приехал позже — разбирать остатки документации и нашел там на моем месте Ы в состоянии глубокого безделья, а документы в хаосе.

Мне с начала 60-х годов предлагали длительную заграничную командировку. На первое такое предложение я сказал, что поеду не иначе, как в паре с работником НКВД; но в 1963 г. я согласился и без пары поехал в США, где три месяца работал в Восточном институте в Чикаго; здесь составляется многотомный словарь аккадского языка. Завязал научные и дружеские отношения с американскими древневосточниками — И.Е.Гельбом, Э.Рейнер, С.Н.Крамером и многими другими.

Приглашение в Чикаго исходило от И.Е.Гельба, который очень интересовался проблемами социальной истории. Сразу по приезде мне предложили вести семинар для продвинутых студентов по шумерским текстам Урукагины с показом, как подобный текст можно анализировать с точки зрения социально-экономической истории. К моему ужасу, наряду с пятью студентами на моих занятиях сидели и пять профессоров (Гельб, Оппенхейм, Шеберг, Гютербок и Рейнер). Позже я смог посетить Нью-Йоркский университет, где я подружился с Э.Бикерманом, Пенсильванский университет, Анн-Арборский университет, Гарвардский университет и женский университет Брин Мор. Всюду я заводил дружеские отношения. Я опубликовал свои наблюдения относительно двух общественных секторов древнего мира в кратком английском резюме в США и еще ряд статей на социально-экономические темы по-русски и по-английски. И.Е.Гельб долгое время не был готов со мной согласиться; однако в конце концов, кажется, признал мою точку зрения с некоторыми оговорками.

Отношение к моим работам за рубежом всегда было заинтересованным: они были написаны профессионально, содержали новые идеи (это позволяла

моя некоторая универсальность в специализации); наличие или отсутствие в них марксистской теории формационного развития общества не казалось решающим обстоятельством. А это жаль, потому что понимание истории как процесса — важно, и между тем постепенно развивались — у нас, и в частности и у меня — определенные новые теоретические взгляды на этот процесс, которые могут иметь универсальное значение.

К началу 60-х годов я был уже довольно известен в зарубежном востоковедении, и в сущности мне стоило бы писать работы по-английски, что не составляло никакого труда. Уже теперь, когда жизнь кончается, я могу наблюдать, что даже самые лучшие мои работы не входят в международную науку, если написаны по-русски: правило Rossica non leguntur продолжает действовать непреложно. Поколение наших востоковедов начала века строго стояло на том, что нам следует писать только по-русски, и тогда весомость русского вклада в науку преодолеет это злосчастное правило. Этого, однако, не произошло: всё написанное по-русски, по крайней мере в области востоковедения, остается мировой науке неизвестным. Если я, тем не менее, продолжал писать по-русски, то это объясняется теми административными рогатками, которые стояли на пути публикаций на иностранных языках: чтобы получить разрешение на такую публикацию, к ней в любом случае должен был прилагаться русский текст для цензуры, то есть всякую работу нужно было делать вдвойне: по-русски и по-английски (или по-немецки), да еще и на это надо было каждый раз получать особое разрешение. Тем не менее из тридцати двух моих книг пятнадцать вышло по-английски и одна книга — по-персидски, а из 170 статей — 60 по-английски и по-немецки. (Теперь статей уже больше). Писал я по самым разным вопросам языков и древних культур западной Азии и северной Африки. Конечно, многие их этих книг и статей писаны в соавторстве с моими товарищами и учениками.

С течением времени меня выбрали почетным членом Американской академии искусств и наук, почетным членом Британской Академии, французского Азиатского общества, британского Королевского Азиатского общества и ученых обществ Италии и Венгрии.

Меня не раз спрашивали, как это получается, что за рубежом я признан и избран в разные академии, а дома — нет? Тут, конечно дело в отечественной системе избрания. В иностранные академии и общества меня избирали по моим общеизвестным научным работам, только испросив мое согласие. А у нас для вступления в нашу Академию надо писать прошение, к которому я должен приложить характеристику о том, что я не политическая сволочь; и две фотокарточки (а вдруг у меня только один глаз, и тогда меня нельзя избрать в Академию?). Я должен заполнить анкету. С меня спрашивают про партийность, про национальность, и чуть ли не анализ мочи нужен. Кроме того, хотя есть среди академиков несколько истинно замечательных ученых, но уж очень часто в Академию наук избирают не за науку, а за административную работу. Скажем, человек лет 30 (и, конечно, с партбилетом) проработал ученым секретарем отделения — чисто административная работа. И становится членом-корреспондентом, а там, глядишь — и академиком. Академия у нас — это заведение в высшей степени бюрокра-

тическое, и никакая перестройка его не берет — те же сидят академики, и те же ото всех требуют бумажки.

А меня, однако, недавно (в 1993 году) и у нас выбрали академиком. Только — естественных наук, как я ни отговаривался, что всю жизнь занимался науками неестественными и противоестественными. И никаких анкет — вручили корочку и все.

Во второй половине 60-х гг. я несколько раз участвовал в Международных конгрессах историков-экономистов. Во время конгресса в Мюнхене выяснилось, что наш представитель в Международном Комитете Конгресса не знает ни одного языка и принимает виднейших историков разных стран не иначе, как за шпионов. Руководитель нашей делегации срочно предложил меня в качестве представителя СССР в Комитете. Это дало мне возможность два раза в год ездить на заседания Комитета и познакомиться с ведущими западными учеными в области экономической истории — англичанином (собственно, молдаванином и русским эмигрантом) Постаном, французскими «анналистами» Броделем, Ле Гоффом, Леруа-Ладюри, молодым немецким ученым Келленбенцем и завязать сердечную дружбу с замечательным человеком и большим ученым, Жаном Боттеро. Разговоры с ними позволили мне понять, что мои собственные исследования в области экономической истории занимают определенную нишу в мировой науке.

Побывал я и в Индии — видел с воздуха чудесные по своей красоте Гималаи, бродил по Дели и Агре, видел удивительный Тадж-Махал.

Но через несколько лет я отказался от представительства в Комитете — две поездки за рубеж в год, причем на очень короткий срок, а стало быть с самыми скудными средствами — едва хватало на два банана вместо обеда — лишали меня возможности получить и другие, более интересные командировки за границу. Я еще принял участие в 1969 г. в конгрессе историков-экономистов, который происходил в Ленинграде в здании Таврического дворца, где когда-то собирались Дума и Учредительное собрание, а теперь была партшкола (и поэтому вход туда был, вообще говоря, строго запрещен посторонним лицам). Проходя как-то через вестибюль, я увидел Э.Бикермана, стоявшего напротив лестницы, ведущей в парадный зал, вперившись в нее, и подошел к нему. Он сказал мне:

— На этом месте я, зауряд-прапорщик, прибывший с фронта, стоял в 1917 г., а по этой лестнице спускался Керенский, а за ним Милюков и Гучков. Увидя меня в солдатской форме, он подошел ко мне и спросил, каков дух солдат на фронте, и прибавил: «Мы сейчас полагаемся только на вас». Я подумал: «Ну, дела твои плохи»

Тот же Бикерман в трамвае защищал пассажирку от хамства молодого парня; тот крикнул ему: «Еще иностранец, а лезет!». — Бикерман спокойно объяснил: «Нет, я не иностранец, я белогвардеец».

После этого конгресса я сложил с себя полномочия представителя СССР в Организационном комитете и передал их Г.Г.Котовскому, сыну знаменитого красного командира.

Строгость запрета общаться с иностранцами стала ослабевать, и нас два раза посещал и жил у нас дома замечательный, светлый человек, лингвист и путешественник Георг Моргенстьерне, а в 1970 году мы с женой ездили к

нему в гости в Норвегию. Я встретил старых друзей по Киркенесскому году и даже еще по двадцатым годам. Завязалась дружба с дочерью Моргенстьерне и ее мужем.

Потом появились и другие зарубежные друзья: историк России Филип Лонгуорт и историк русской поэзии Генри Гиффорд.

1970—1980 гг. были периодами моей наиболее активной научной работы. Я работал теперь не один, а возглавлял целую группу »Древневосточной филологии», в которой работали В.А.Якобсон (древневосточное право и теоретические вопросы), И.М.Дунаевская (хаттский язык), И.Т.Канева (шумерский язык), Н.В.Козырева (история старовавилонского периода), А.С.Четверухин (египетский язык), Г.Х.Каплан (аккадский язык), блестящий, мирового значения гебранет-кумрановед И.Р.Тантлевский, и другие; наша группа была связана с параллельной «Группой древневосточной истории», которую по смерти В.В.Струве и Ю.Я.Перепелкина возглавил замечательный историк М.А.Дандамаев (нововавилонская история и история ахеменидского Ирана), нашедший научный выход и на зарубежную аудиторию; в эту группу вошли отличные египтологи-историки О.Д.Берлев, Е.С.Богословский, А.И.Еланская (коптолог), ассириолог Н.О.Чехович, археолог И.Н.Медведская и другие; мы также связаны с отделением древнего Востока Эрмитажа, где теперь работают В.К.Афанасьева, Н.Б.Янковская, М.М.Дандамаева, Е.В.Зеймаль, А.О.Большаков, А.Я.Коковкин, А.Никитин и другие, и с кафедрой древнего Востока университета (Р.А.Грибов, С.Г.Кошурников, И.Сущевский и другие). Таким образом, в Ленинграде воссоздался большой коллектив историков, литературоведов и языковедов, а также искусствоведов и археологов, изучающих Древний Восток и не уступающий любому научному центру Запада или Востока, — к сожалению, пока недостаточно учитываемый за границей, хотя многие коллеги все же публикуются иногда и за рубежом; начался и обратный поток — публикаций зарубежных исследований в России, хотя еще очень слабый.

К сожалению, сейчас у российского государства нет средств на науку, и нашим специалистам по экзотическим языкам приходится подрабатывать более прозаическим образом.

Моя работа за это время проходила в двух направлениях. В области истории, кроме целого ряда теоретических и других статей, мы с товарищами создали обобщающую работу — «Историю древнего мира» в трех томах под редакцией И.М.Дьяконова (Ленинград), В.Д.Нероновой (Пермь) и И.С.Свенцицкой (Москва); она вышла тремя изданиями в 1982, 1984, 1989 гг., каждый раз с обновленным текстом (первый том вышел в 1991 г. в США по-английски); кроме того, я выпустил очень обстоятельное исследование «Люди города Ура», где на основании клинописных текстов и археологических находок восстанавливалась повседневная жизнь вавилонян начала II тысячелетия до н.э. Пожалуй, помимо большой конкретной исторической и социальной картины, которую удалось нарисовать, для дальнейшего было особенно важно, что я уже здесь нащупал важность социально-психологического фактора в развитии исторического процесса. Переход от одной социально исторической ступени к другой происходит не автоматическим путем смены производственных отношений, но только в силу перемен ценностной

ориентации и мотивации действий. Это заставило меня в дальнейшем заняться социальной психологией, которая в древности проявляется главным образом в мифологизированной форме («Архаические мифы Востока и Запада», М., 1990, сейчас переведено на английский язык в Швеции).

В области языкознания я предпринял довольно грандиозную работу — создание сравнительного этимологического словаря афразийских языков (т.е. семитских, египетского, берберо-ливийских, кушитских и чадских). Вначале в этом приняло участие множество народа, но постепенно выявились главные авторы — помимо меня, это были А.Г.Белова, А.Ю.Милитарев, В.Я.Порхомовский, О.В.Столбова. Мы опубликовали три выпуска с 1981 по 1986 гг. крошечным тиражом, не попавшим за границу, — предполагалось, что потом все это будет объединено в общий том и издано в английском варианте* — но в конце 80-х гг. выяснилось, что у всех моих соавторов появились свои особые интересы, свои подходы к встающим проблемам — и работа над словарем прекратилась. Я очень тяжело перенес это — у меня началась депрессия и пришлось прибегнуть к помощи психиатра. Сейчас, в середине 90-х гг. мои соавторы как будто решили издать по крайней мере уже вышедшие выпуски по-английски, а может быть, и продолжить издание — но боюсь, что моих сил на это уже не хватит.

В 1990 г. мы с женой получили приглашение поехать в Осло и в Киркенес, где старожилы помнили меня и все, что я сделал для них. Нас трогательно чествовали. Оказалось, что об этом эпизоде войны — и моем участии в нем — есть целая литература по-норвежски. Нас встречали как желанных гостей; мы жили в отстроенном красивом Киркенесе, посетили Бьерневатнский туннель и съездили в Вадсё, повстречав по дороге большое стадо диких оленей. Все путешествие оплатило норвежское военное ведомство. К сожалению, генерала Даля мы не застали — он умер в день нашего приезда — но повидали многих друзей и знакомых. Ездили мы туда по приглашению и еще раз к 50-летию освобождения Киркенеса, в 1994 г. Принимали меня как дорогого гостя.

Начиная с 1990-х гг. я почувствовал, что работать по специальности больше не могу — мозг не работает на уровне детального анализа; однако я пустился на большую авантюру: написал популярную историю человечества от питекантропа до подступов к XXI веку; здесь я предложил новую периодизацию исторического процесса, опирающуюся не только на изменения в характере производства и социальных отношений, но и на изменения в мотивации социальной деятельности (в области социальной психологии). Вместо четырех или пяти марксистских формаций я предложил делить человеческую историю на восемь фаз. Тоталитаризм — нацистский и коммунистический — я отнес к разновидностям седьмой («капиталистической») фазы, оканчивающейся тем, что рушатся все империи. Далее я постулировал восьмую — «посткапиталистическую» фазу (поэтому я считаю, что попытка вернуться к капитализму у нас неосуществима). К посткапиталистической фазе я отнес современную Швецию, Норвегию, Данию,

* В настоящее время издательство «Европейский Дом» публикует английский вариант законченных выпусков Словаря: *Historical Comparative Vocabulary of Afrasian* // St. Petesburg Journal of African Studies. Nos. 2-3, 1994; No. 4, 1995 (to be continued). [*Прим. ред.*]

США, Новую Зеландию; в переходе к ней почти вся Европа. Книга вышла в 1994 г.

Я перевалил за восьмидесят лет, я страдаю склерозом. Век мой прошел, идет век моих сыновей — математический, а не гуманитарный. Все, что я мог, я сделал; если в чем согрешил — согрешил.

Меня как-то спросил один журналист — устраивает ли меня время, в котором я живу. Я сказал, что устраивает: мне интересно. Я рассматриваю себя как пережиток русской интеллигенции. Петербургской.

Интеллигенция наша страшно поредела. Настоящей живой интеллигенции уже почти нет. Добрая половина эмигрировала в 20-ые годы, и истребляли ее и в гражданскую, выселяли в Казахстан в 1934; сколько могли, уничтожили в 1937 — 1938 гг. (да и раньше уничтожали, и позже); многих съело ополчение, война, эмиграция не только 20—х гг., но и 60—х гг. Многие ленинградские интеллигенты мигрировали в Москву, не вернувшись в разрушенный Ленинград. В Петербурге почти нет старого поколения интеллигентов. Только стены старые здесь стоят, заметно обветшавшие. Да и по стране нас мало осталось; а кто остался жив, тот деклассировался.

Когда расстреливали интеллигента, убивали не только лично его, одного человека, но и детей его, внуков его, потенциальных учеников его потомства. Поэтому и оказалась у нас интеллигенция такой малочисленной, такого она у нас низкого качества по сравнению с прежней. Нашей интеллигенции нанесен больше не восполнимый урон. Впрочем, так же уничтожали и рабочих, и особенно крестьян — тоже главным образом лучших, тех, кто выделялся из среднего уровня.

Еще не было империи, которая была бы построена на возможно более полном уничтожении наиболее ценного генофонда своей же нации. Теперь мы можем найти остаток настоящих русских интеллигентов в... Казахстане или в Норильске.

От интеллигенции естественный переход к национальному вопросу. В традиции некоторых обществ — натравливать одну группу населения на другую. Натравливают по признаку этнической обособленности или по признаку сословия, в котором случайно родился.

В 1943 г. по нашей армии был издан секретный приказ о том, что-бы «евреев и других националов» не продвигать, хотя (пока) и не задвигать. Одновременно с улиц Ленинграда были сняты таблички с еврейскими фамилиями. По ошибке сняли и «Либкнехта». Это было только начало.

В таком государстве нельзя, чтобы все были хорошие — какая-то группа населения, какая-то нация должна быть плохой, чтобы ее можно было тащить и не пущать. Это и есть фашизм.

Национальность — это самосознание. Но желание найти вокруг себя людей лучше тебя или хуже тебя по национальному признаку — это симптом комплекса неполноценности и следствие дурного воспитания.

Современный нам национализм — это что-то вроде раннего гитлеровского нацизма. Люди объединяются на почве ненависти к другой нации, толкутся там, где действуют неподвластные разуму законы толпы и где они чувствуют себя силой, — а поодиночке ощущают свою незащищенность.

У нас не будет правового государства, пока сохранится «пятый пункт» в

паспорте и в анкетах и не восстановится суд присяжных. У нас неправильно представляют себе, что такое суд присяжных. Предполагается, что вместо двух «кивал» к судье приставят шесть или двенадцать, — что за разница? Только дороже. — Между тем, суд присяжных принципиально иной. Решение о вине принимают не судьи, а набранные случайно, по жребию, средние граждане, исходя из среднего понимания добра и зла. Дело судьи — назначить меру наказания.

После войны мы потребовали с Германии контрибуцию и вывезли много оборудования, главным образом устаревшего. А американцы предложили план Маршалла — и Западная Германия за десять лет возродилась. В результате американцы получили отличного и преданного партнера. Мы же тогда от плана Маршалла с презрением отказались.

Англичане разрешили всем гражданам бывшей Британской империи, если они хотят, селиться в Англии. Очень много англичан работали над собой, чтобы преодолеть в себе поколениями воспитанное отвращение к чернокожим. Одолели. Хотя крикливые «коричневые» есть, конечно, и в Англии.

И теперь, подводя итоги своей жизни — несколько слов о моем мировоззрении (и опять же, об этике).

Наука пока не может объяснить убедительно, почему, например, бабочка красивая, почему красив цветок. Как началась первая жизнь, биологи объяснить пока убедительно тоже не смогли. С другой стороны, мы очень точно знаем время сотворения всего невообразимо громадного мироздания.

Вселенная настолько велика, что происходящее на нашей планете никакого отношения к сотворению триллионов солнц не может иметь. Творец, если он существует, не станет заниматься такой малостью, так же как человек не может руководить отдельно жизнедеятельностью каждой клетки своего тела. Лишь благодаря редчайшему стечению обстоятельств на одной нашей планете и, похоже, больше нигде, возникла жизнь.

Может быть, и на нашей земле кто-то заведует всем, что здесь происходит, на нашем крохотном шарике, который на карте звездного неба самого большого масштаба не передать даже мельчайшей точкой. Если я допускаю творца, как некое вселенское начало, это не значит, что я верую в Бога местного, земного, который будто наказует и милует нас. Моя этика базируется не на вере в Бога, а на законах биологии и социальной психологии. Если для кого-то более убедительна гипотеза Бога, я не стану спорить.

Наша планета — это что-то вроде чулана на самом дальнем углу дома. «Ein Kerichtfass und eine Rumpelkammer», — как сказал Гете, — «ведро с обмотками и чулан хлама». Наш частный планетный Бог, если он и существует, как видно, не все может, в том числе и в отношениях с человеком, потому что, если бы он мог все, на земле было бы только добро. Но существование бытия Божьего не доказано, а тем более бытия доброго Бога.

На место Бога я ставлю врожденную каждому человеку совесть. Это тоже биология: вид, где есть совестливые, — выживает; вид, где каждый друг другу ненавистник и враг, — непременно погибнет.

По законам природы жизнь человеческая не может длиться вечно. Если жизнь человека имеет трагический конец, то почему человечество в целом не может иметь трагический конец? С этим нужно заранее

смириться. С развитием человечества возрастает энтропия — иначе говоря, силы хаоса.

Но времени нам пока сколько-то отпущено. Если мы сами себя срочно не уничтожим, то, может быть, сотни лет еще проживем.

Меня очень раздражают рассуждения о прогрессе. Если здесь у нас прогресс, значит откуда-то мы берем материал для его создания. Если тут насыпана гора, значит где-то увеличивается яма. Если что-то к лучшему, то что-то и к худшему. Прогресса без потерь не может быть.

Что бы я сказал человечеству, если бы оно у меня об этом просило? — Не умножайте мирового зла. Это трудно, но иначе человечество не переживет XXI века.

Синодик

Это — поминание тех, кто назван в моей книге, кого я знал лично или через друзей, и которые умерли не своей смертью. Список не полон, некоторые судьбы мне неведомы. На момент сдачи этой книги в печать мне достоверно было известно, что из моих персонажей оставалось в живых (и не побывало в заключении) двадцать четыре человека. Остальные либо вошли в этот синодик, либо умерли своей смертью, либо я о них не знаю. Думаю, что если бы я мог назвать все судьбы, то мой синодик сильно бы пополнился. Имена же их ты, Господи, веси.

В него конечно, не вошли общеизвестные исторические личности, а также люди, о судьбе которых мне хотя и известно, но в книге они не были упомянуты.

Знак вопроса относится не к имени или профессии упомянутого лица, а к ненадежности моих сведений о его судьбе.

Погибли от геноцида (расстреляны или умерли в концентрационных лагерях): *Аджян А.А.*, востоковед; *Архангельский А.*, преподаватель; *Бадалян*, студент; *Бакке*, доктор (расстрелян немцами); *Башинджагян А.Г.*, лектор-маррист; *Бухаркин*, историк-марксист; *Ванаг Н.Н.*, *Васильев П.*, поэт; *Введенский А.*, поэт; *Вельковичь*, студент-поэт; *Вознесенский А.А.*, ректор Ленинградского университета; *Воронцова Л.(?)*, журналист; *Годес М.С.*, марксист-китаист; *Горбаченко*, преподаватель; *Горловский*, историк, директор института; *Гринберг И.*, студент; группа студентов-корейцев; *Губер П.*, писатель; *Гуковский Г.А.*, литературовед; *Гюламирян Г.Ч.*, востоковед; *Давиденков Н.Н.*, студент, сын знаменитого врача (арест, освобождение, армия, плен, бегство, участие в союзных войсках, расстрел); *Дьяконов М.А.*, литератор (мой отец); *Емельянов А.П.*, офицер (брат моей матери); *Ерехович Н.П.*, студент (после лагеря умер в ссылке); *Зайдель Г.С.*, марксист-теоретик; *Ионов И.И.*, партийный деятель, директор Госиздата; *Кадацкая Л.А.*, студентка, жена партийного деятеля; *Ковалевы*, семья (высланы; отец погиб); *Кокин М.Д.*, марксист-теоретик, китаист; *Колбасьев С.*, писатель; *Корнилов Б.*, поэт; *Левин Р.* («Старик»), студент (дважды репрессирован); *Лившиц Б.*, поэт; *Мадьяр Л.И.*, марксист-китаист; *Малышев А.И.*, историк СССР, марксист; *Мандельштам О.Э.*, поэт; *Маторин*, марксист-этнограф; директор Института этнографии; *Межлаук И.И.*, партийный и государственный деятель; *Миллер А.А.*, археолог; *Невский Н.А.*, востоковед, посмертно лауреат Государственной премии; *Олейников Н.М.*, поэт; *Огуз И.*, студентка (выжила?); *Орас*, комиссар ледокола «Красин»; *Островский Е.А.*, партизан, студент; *Папаян Г.К.*, марксист-китаист (умер от пыток); *Пашуканис Е.Б.*, партийный деятель, юрист; *Петропавловский (?)*, политэкономист; *Петухов К.(?)*, летчик-испытатель; *Потапов П.П.*, студент; *Пригожин*, марксист-теоретик; *Пуликовский С.Н.*, биолог; *Раврebe И.И.*, востоковед-семитолог; *Розенблит Г.(?)*, студент; *Росин (?)*, партийный деятель; *Рощаковский*, б.офицер флота; *Самойлович А.Н.*, востоковед, академик; *Самойлович Р.Л.*, полярник; *Снегирев И.Л.*, египтолог; *Соколов М.Н.* с женой, востоковед; *Стенич (Сметанич) В.О.*, литератор-переводчик; *Стрелков А.С.*, искусствовед (за «связь с И.А.Орбели»); *Томсин-*

ский С.Г., историк-марксист; *Хармс Д. (Ювачев)*, поэт; *Цвибак М.*, марксист-историк; *Эберман В.А.*, востоковед-арабист (дважды репрессирован); *Эгге* (?), командир ледокола «Красин»; *Элердов* (?), торгпред; *Шуцкий Ю.П.*, востоковед-китаист — **более 70 человек.** Кроме того, **16 востоковедов** были обвинены в 1941 г. по доносу известного ученого Б., пытавшегося таким образом спасти своего арестованного сына; они погибли, частью от голода. Сына Б. не освободили, однако лагерь он пережил.

Были репрессированы или арестованы, но выжили: *Берггольц О.Ф.*, поэтесса; *Болдырев А.В.*, филолог-классик; *Бриль Ю.*, участница Испанской войны; *Гнедич Т.Г.*, поэтесса (перевела байроновского «Дон-Жуана» в камере); *Гумилев Л.Н.*, историк (трижды репрессирован); *Гюзальян Л.Т.*, востоковед; *Доватур А.И.*, филолог-классик; *Дьяконов А.Н.* (мл.) (в японских лагерях); *Ермолаев М.М.*, полярник; *Жирмунский В.М.*, филолог, академик; *Заболоцкий Н.А.*, поэт; *Иоффе И.Л.*, студентка, японистка; *Ковалев С.И.*, историк-античник; *Конрад Н.И.*, востоковед, академик; *Коростовцев М.А.*, египтолог, академик; *Крачковский И.Ю.*, арабист, академик; *Крейнович Е.А.*, специалист по языкам народов Севера; *Кривцов В.Н.*, китаист, литератор; *Любарская А.И.*, литератор; *Люблинский Ю.*, студент; *Магазинер Я.М.*, ученый-юрист; *Оде-Васильева К.В.*, арабистка; *Ольденбург С.Ф.*, востоковед, академик; *Раков Л.Л.*, историк, литератор (дважды репрессирован); *Старкова (Подтягина) В.*, учительница; *Рыкова Н.Я.*, переводчица; *Тарле Е.В.*, историк, академик; *Фридлендер Г.М.*, литературовед (трудовые лагеря); *Харитонов В.А.*, политэкономист; *Шпринцин А.*, востоковед-китаист; *Шумовский Т.А.*, востоковед-арабист (дважды репрессирован) — **30 человек.**

Погибли от голода в блокаду: *Бендер И.Г.*, востоковед; *Болдырев А.В.*, филолог-классик; *Борисов А.Я.*, востоковед; *Дьяков Б.Я.*, техник; *Дьякова А.П.*, зубной врач; *Дьякова А.Я.* («Нюрочка»); *Дьяконова М.П.* (мама — от последствий дистрофии); *Емельянова М.И.* (бабушка); *Жебелев С.А.*, историк-античник, академик; *Зееберг Н.*, мой товарищ по классу; *Казин В.Н.*, востоковед-китаист; *Клодт Е.П.*, преподавательница; *Козлова Е.*, преподавательница; *Коковцов П.К.*, семитолог, академик; *Курбатов Д.*, товарищ брата Алеши; *Лебедев И.С.*, филолог; *Ляпунова К.С.*, музейный работник; *Михельсон С.Н.*, преподавательница; *Птицин Г.*, востоковед, поэт; *Рейхардт*, муж (профессор) и жена (экскурсовод); *Ривин А.*, поэт; *Римский-Корсаков В.А.*, филолог; *Родин Н.*, преподаватель; *Сауков П.А.*, музейный работник; *Свидер М.*, семитолог (умерла с голоду после войны); *Ухтомский А.А.*, физиолог, академик; *Фурсенко В.В.* (отец), преподаватель; *Шер М.А.*, музейный работник — **28 человек.**

Погибли на фронте: *Бабушкин Я.*, работник блокадного радио в Ленинграде; *Ветлесен Т.*, погиб на корабле, взорванном немецкой торпедой; *Выгодский А.Г.*, литературовед-теоретик, работник радиокомитета в Ленинграде; *Гринберг М.Е.*, арабист; *Дьяконов Алексей* (брат), инженер-кораблестроитель; *Мачинский А.Д.*, археолог; *Марморштейн* (?), историк-марксист, доносчик; *Петров Е.*, писатель; *Ревнов* (?), арабист, доносчик; *Розенштейн Д.*, философ; *Самойлович В.Р.* (сын); *Старков В.Б.*, капитан корабля; *Фурсенко И.В.*, биолог.

Воспоминания стихотворные

Белой ночью

Светлый север зеленеет над затихшею землей,
Тихо листьями шевелит бесконечный шар земной.

Темно-красной влагой полных двух стаканов слышен стук.
В полутьме передо мною позабытый старый друг.

Как прохладный этот вечер, тихо наша речь течет,
И в своей недолгой жизни сам себе даю отчет.

Забываешь по крупинке все, чем сердце билось встарь,
Но в такую ночь, быть может, городская сгинет гарь,

И пойдет душа дорогой, вдаль под темною листвой,
Вспоминая понемногу путь давно пройденный свой.

Можно век итти полями, край планеты не найти —
Хорошо, что светлоглазой с той душою по пути...

1935

* * *

С темно-зеленой выси, где в волненье
Мы прерываем праздный разговор,
Недвижный в вечно плещущем движенье
В величье голубом открыт простор.

На полукруг пустынных побережий
В мильонный раз свершали струи бег,
И я познал пред миром трепет прежний,
Племен премудрых поздний человек.

Когда был ревом полон лес косматый
И неисхожен мир, дремуч и гол,
На берег вышел некто волосатый
И, хитроумный, камень расколол.

Воздвигнув мир, как дед — шалаш свой дикий,
Свершали люди все страшней дела,
И под стопы их мудрости великой
Природа покоренная легла.

На полосе песков все было пусто,
Все рокотали струи без конца, —
Мы продолжали речи про искусство,
Не помянув косматого отца.

1939

* * *

Из Вильденвея

Et ensomt land er denne dunkle sjel

Страна пустынная — туманная душа,
Где все живет, страдает, отражает
Страдания и жизнь других. Спроси ж:
Кто путешествует страной твоего сердца?
Кто благородный ищет там цветок,
Чьи ветры по миру разносят семена
И сеют в плодородной этой почве,
Далеко от садовников и грядок?
Кто ищет родников по лесу твоих мыслей,
И там живет, и жизнь из жизни пьет,
И изучает там сиянье глаз своих?

* * *

Гончарный круг

Круг вертится, время шутит, —
На круженье положись —
Как захочешь, он закрутит
Нашу глиняную жизнь.

Круга ход всегда единый —
Он не может не крутить —
Быть горшку из кома глины,
Чтобы кашу в нем варить.

Много лет придет и минет —
Равнодушная рука
Из земли разверсткой вынет
Два разбитых черепка.

Я тебе, когда на деле
Срок для жизни наступил,
Обожженной той скудели
Два кусочка подарил.

Подожди еще немного —
Круг шуршит, верна рука,
И совсем не дело бога
Обжиганье горшка.

Кармир-блур, 1939

* * *

15 августа

Покрыты мягкие холмы
Ковром мохнатым. Скоро осень.
Над озером склонились мы,
Где синь небес и темень сосен.

Друг другом горды и богаты,
От этих сосен и долин
Мы донесем свои пенаты
В тот неизбежный край седин,

Где будем вместе я и ты,
Как наше озеро, чисты,
Прямей душою этих сосен,
Как вереск, цветом встретим осень.

* * *

Земля зимы, земля озер и сосен,
Зеленых звезд прозрачный хвойный лес!
Еще без краю и долин и весен,
И синих, и пылающих небес.

Не терпит время, путь еще далекий,
Но нам дорога с песнею легка —
Берем с разбега перевал высокий,
И все уходят с неба облака!

Но вот желтеет небо и вершины,
И слышен стук колес и звонкий плач,
И пар встает над новою долиной,
И воздух пахнет морем и горяч.

Широк тот мир, что разлился под нами
Огромней, необъятною землей,
Высоко ночь открылась перед нами,
Но долог путь за нашею звездой.

* * *

Начало осады

Вчера смеялись и любили,
Вчера для всех весна цвела,
А многие уже отжили,
И жизнь короткая прошла.

Вчера мы были солнцу рады,
Шумели кроны Островов —
Сегодня слышно канонаду
И немцы взяли Петергоф.

И по асфальту наших улиц
Навстречу вечной спешке дня
Без края толпы потянулись
От Пскова, Гдова, Ильменя.

Тянулась к смерти: нет на свете
Страшней, чем беженцам в пути!
Горят костры, устали дети,
Неведомо, куда идти.

Узлов убогость, женщин мука,
Сентябрь, холодная роса,
И летчики на черных Stuka*
Чертят родные небеса.

Круги воронок вдоль дороги,
Где избы, где одна труха,
Хлопки зениток, плач тревоги,
Вокзальной давки чепуха,

Ребенок у окна теплушки
И неизбежность тишины:
Все было в жизни безделушки
Перед суровостью войны.

1941

* Пикирующие бомбардировщики.

* * *

За поворотом дороги

Как поворот дороги горной,
От детства в зрелость поворот —
И вот уж смерти гром упорный
Со всех сторон меня гнетет.

Обряд таков: ты постепенно
Не веришь — веришь — месяц — год —
И вдруг на сердце лед мгновенный:
Обжег и холодом грызет.

Тогда лицо увидишь ясно,
Морщинки у веселых глаз,
И все, чем жил он — так напрасно —
И ходит призрак среди нас.

А часто вспоминать не буду —
Он очень хрупок, призрак мой:
Пыльца сотрется, тьма повсюду —
Он тут, но он уж неживой.

Потом запретно будет имя
Так долго — кажется навек;
А там — заговоришь с чужими:
Все забывает человек!

И жизнь то бьет меня, то шутит,
С людьми делю судьбу одну.
Пускай дорога снова крутит,
Нырнет, вползет на крутизну! —

Одну надежду я питаю:
Чтоб до того мне не дожить,
Как снова свистнет пуля злая,
Чтоб сына моего убить.

Чтоб раньше (был ли путь бесплодным?),
Когда придет мой смертный сон,
Вот так же громом бед холодным,
Как я, он был бы поражен.

1943

* * *

Недавно только с неба солнце скрылось, —
Неугасимая, холодно-золотая
Заря катится по зеркальным водам,
Где по стеклу сиреневая рябь
Под сероватым севером небесным.
И вдруг мне неожиданно открылось,
Что в разных красках на высотах тая,
На небе ярусами облака.
И снова солнце всходит из-за моря —
Еще ему помедлить было можно б —
С ним новый день и новая тоска
Потянутся ко мне, за душу споря,
Бледно-зеленые, как здешний мертвый воздух,
Холодные, как вечная заря.

Беломорск, 1943

* * *

Сорока

Водной гладью золотистой,
Бледной радужкой стекла,
Переливчатой и чистой,
Вся река полна была,

Серо-розовым каменьем
В низколесных берегах,
И звучала шумным пеньем,
Рассыпая светлый прах.

Вся река, спеша водами
Меж сердитых спин камней,
Распадалась зеркалами
Разноосных плоскостей.

К ночи в водах — рябь булата,
Стал зеленым небосвод,
С серебристого заката
Тает розовый налет.

Здесь у рек — душа болотца,
И, зачерпнута тобой,
Гладь речная обернется
Темно-бурою водой.

Здесь болотам нет границы,
И, дурманя ложью рот,
Что-то вроде медуницы
Над болотами растет.

Край весенних ветров диких,
Край шинелей, край беды,
Ходят ссыльных темноликих
Мутно-серые ряды.

Край старушечьих сосенок,
Серо-ржавый край болот,
Урожай пустых избенок,
Хлеба сердца недород.

Край сиреневого снега
И оранжевого льда,
Где смешались в мерном беге
Нынче, завтра, никогда —

Скудный север, царство мрака,
Как болезнь в моем мозгу;
Только рыжего барака
Я покинуть не могу.

Город твой стоит свободный,
Город вечный, город твой,
Над великой, многоводной,
Над суровою Невой.

Там ты счастлив, там ты молод,
Ты душою — знаешь сам, —
Золотой иглой приколот
К нашим бледным небесам.

Там любовью нашей дышат
В темных кронах Острова,
От судьбы там сердце слышит
Скорби мудрые слова.

Ныне близко вражьи силы,
Пища — прах, на сердце — лед,
Сколько славных из могилы
С братских кладбищ не придет!

Он горит и не сгорает,
В ледяной коросте жив,
Гибель горькую встречает,
Смертью силу победив.

Моего судьба народа
В этот темный год беды
Занесла меня на годы
К берегам чужой воды —

Но повсюду славный город
Будет мой, и я — его,
Золотой иглой приколот
К сердцу друга своего.

Кемь—Бе́ломорск, 14 марта 1943.

* * *

Если даль социализма,
Так без нынешних прикрас,
Потому что скептицизма
Слишком жёсток хладный глаз,

Потому что слишком бойкий
Век для пыли и чернил,
Потому что грязь постройки
Чистоплюйством заменил,

Потому что без иллюзий
Я гляжу в широкий свет,
Потому что общей музе
Отголоска в сердце нет,

Потому что все на свете
Я по полкам разместил,
Потому что в сорок третьем
Сорок первый не забыл,

Потому что честность тоже
Косит честная коса —
Потому что я — «прохожий,
Легкой тени полоса».

1943

* * *

Август 1943

Был август. Боевое охраненье
Речным туманом скрыто. Миномет
Пролает, и передний край заснет
Опять на Кандалакшском направленье.

А в штабе фронта — лошадиный флирт
И разговор об орденах и званьях;
Тоска по дому, письма из изгнанья,
Любовь шинельная и горький спирт.

И лучше было, что не там я встретил
Тот август. Был прозрачен он и светел,
И воздух чист, и первый мил мороз, —
Такая осень!
На холмах увидеть
И елей чернь, и золото берез,

И в сумерках над Верманом спускаясь
Меж редких пней и сосен без вершин
С товарищем — с тех пор уже убитым —
Дышать великой чистотою мира...

Озеро Верман, 1943

* * *

Воспоминанья след едва отыскан:
Был ясен воздух, хвоей пахнул лес,
Весельем полон день наш был, и взыскан
Наш труд благословением небес.

Широкие и пыльные дороги
С высот моих, с лесистых гор легли —
Наш час настал, и вот несут нас ноги
В путь неизвестный, в жажде и пыли.

Судьба людей меня не миновала,
И суждено прожить мне этот год,
Когда земля от грохота металла
Тяжелыми разрывами цветет.

Прошитый весь зеленым, красным шелком,
Затмился звезд знакомых милый лик,
Когда железная капель осколков
По крышам барабанит каждый миг,

И в снег придавлен слабым свистом с неба
Прохожий равнодушный человек.
Добытый трудно, скуден ломоть хлеба.
Для сына виден тот же грозный век...

А честность все на тысячи считает,
И все на тысячи считает зло,
Беззлобность в счет нейдет у них пустая,
И милосердью тропы замело.

И не поможет, если ошалев
От правых дел и правых зол без счета
И правоту жестокую прозрев,
Чернильницей бессильно брошу в черта.

Мурманск, 1943

* * *

Немецкий солдат

Снег ложится в глаза убитому,
Далеко уж слышна пальба.
Где-то быть тебе все же зарытому —
Что ж, и хуже бывает судьба.

Да какую еще судьбину
Лучше нам у Бога молить?
Умереть до времени — сыну
Или матери — пережить?

1944

* * *

На все вопросы не найти ответов.
«Война, — ты спросишь, — видел ты ее?»
... Уже убрали трупы из кюветов,
Но там и сям немецкое тряпье,

Стальных конструкций сломанные крылья
Над бешено летящею водой,
У переправ толпа автомобилей
И пальцы труб над теплою золой,

И скомканные пламенем машины,
И петли разноцветных проводов,
И горько-сладкий дым, и синий иней,
И лунный свет над пеплом городов...

Над милым прошлым поднялась завеса
Пожаров красно-синей полосой,
Виденьем чужого Киркенеса,
Спаленной жизни теплою золой.

Как горе нам, как радость приурочить?
Смешались все листки календаря!
И тянешь жизнь, что с каждым днем короче,
Душе о близкой смерти говоря.

Как о войне сказать позднее жившим,
В послевоенной жившим тишине?
Война — как жизнь: не образы, а люди —
Людей узнаешь только на войне.

Нет, о войне не рассказать спросившим.
Что видел сердцем — надо пережить;
Глаз видит только стреляные гильзы,
Да большака серебряную нить.

Киркенес, 1944

* * *

Дом стоял на перекрестке
Где-то в городе моем.
Там на лестнице в известке
Мы измазались вдвоем...

Был облезлый он, как кошка,
Или крашен в желтый цвет?
Я теперь забыл немножко,
Да и дома,
в общем, —
нет.

Эти маленькие ранки
Как делить с женой и сыном?
И несутся с гиком санки
По заснеженным руинам.

1946

* * *

He was a man, take him for all in all...

Сорок лет я в отпуску у смерти,
Сколько мной протоптано следов!
Сорок лет я в этой крутоверти, —
Еле слышно тиканье часов.

Каннибальская неразбериха!
Жуй ли, рви ли — это не про нас.
И пускай хлебать со всеми лиха —
Лишь бы честно встретить смертный час.

Отвечая толкам и наветам,
Сын мой про меня чтоб мог сказать:
«А в итоге — был он человеком,
Больше мне такого не встречать».

1955

* * *

Какие прошли надо мною
Великие полчища бурь!
Их тучи вставали стеною,
Недолгую жрали лазурь.

Одну за другой их спускала
С приструнки рука подлеца,
Чтоб по миру смерть завывала,
Кося и кося без конца.

Судьбою народной шутила,
В термометре ртутью ползла,
В ночи со штыком приходила,
Военной дорогой вела.

Земля под ногами дрожала,
Все ближе ложился разрыв...
Как много со мною стояло!
Как много!.. А я еще жив:

Остался я жив и беспечен,
Кругом мишура и уют.
Но общей судьбой я отмечен,
И горе и смерть меня ждут.

Когда, предъявив полномочья,
В тиши, иль железом звеня,
Когда она глянет мне в очи,
И страху научит меня?

1960

Бессонница

Часы стучат, заполонив молчанье,
Пока в душе, как в улице, темно,
Отстукивают с мигами прощанье.
Уже трамвай скрежещет мне в окно,

А звездное пустое мирозданье
Холодной черной вечностью полно.
Вся наша жизнь — сплошное расставанье,
И чем я жил — пожалуй, все равно.

* * *

Жизнь состоит из череды вещей
Обидных и непоправимых. Сами
С собой всегда мы. Гадко там,

Нельзя забыть, нельзя заткнуть ушей,
Нельзя бежать и жаловаться нам,
Как дети жалуются маме.

М.М.Д.

С четырех со сторон меня смерть окружила,
А любовь — ни с одной стороны.
Поскорей бы прохладная скрыла могила
И не мыслились мысли, не снились бы сны.

О грядущем не ведать, не ведать, не ведать.
О прошедшем забыть и с е г о д н я проспать;
Не любить, не читать; не грешить; не обедать;
Не учить и не спорить; не думать; не ждать.

Лечь, к устам подступающей речи не зная,
Ни как после бессилие слов ощущать,
Чтоб была то ни малая ночь, ни большая:
Без томленья лежать; без усилья молчать.

1954

* * *

На пушистых ветках темной ели,
Среди хрупких блесток, среди тьмы,
Словно в детстве, свечи нам горели, —
И, как в детстве, замечтались мы.

Мне свеча сгорает без возврата,
Если пламя сильное — коптит.
Каждый миг горения — утрата:
Догорела... нет... еще горит.

Так, — хотя уж безнадежно дело, —
Наше тело борется с концом.
Но душа гораздо раньше тела
Судорожным гаснет огоньком.

Что ж — последним синим трепыханьем,
Искоркой златя стеклянный шар,
Лапы тьмы качнув своим дыханьем,
Стеарином истекай, душа.

1957

* * *

Что ни день одно — все эта же боль,
Каждой ночью — раскаянье
И на сердце ком — то ли снег, то ли соль
И никак не дождаться таянья.

И лежат вокруг, как себя ни неволь,
Кольца скользкого змея:
Каждый день одно — все новая боль,
Но другим от меня больнее.

1972

Кассандра

Все, кого остерегает —
Слепы и глухи:
Так Кассандру Бог карает
За ее грехи.

А тяжелее есть ли грузы?
Лучше помолчим:
Кто измерил вес обузы
Раменам чужим?

15—16.11.1976

* * *

И останется Ленин до века великим,
Как великим до века остался Петр,
И ни пуля в затылок, ни вдовьи клики —
Все не в счет, все не в счет, все не в счет, все не в счет,

Тихо в детских домах для врагов народа:
Пусть глумленье, пусть смерть рукотворных сирот —
Все оплатится словом кимвальным «свобода»
И высоким забором: там кто-то жрет.

Все нас будут учить, как писать нам оды,
Как нам морду плевкам подставлять, что ни год,
Как нам классы травить, как травить народы
И не помнить, что есть человеческий род.

Все ль еще нам делить берега Иордана
И кому отдать захолустный Наблус?
Где приправлены нефтью, где солью раны,
И напрасно ли был распят Иисус?

Слышен глас пророков в бензиновом чаде,
Вымирает зверь и не дышит лес, —
Так задохнемся ж, люди, в собственном смраде —
И без нас у вселенной достанет чудес!

1978

* * *

На такой же больничной постели
Через десять лет, через год —
Может быть, через две недели
Смертный вздох мой выдохнет рот.

А помчат меня так же срочно
Под привычный сирены свист.
И повесят мне так же точно
В ноги температурный лист.

Не дадут мне дома возиться,
Книги милые перелистать.
Не дадут мне с мыслью проститься —
И в больницу свезут помирать.

Не для дома больничные муки:
Чтобы память была легка,
Не сдавайся в нежные руки —
Равнодушная легче рука.

Смрад от тела, утка да судно,
Стыд и боль — ничем не помочь;
Долго, больно, стыдно и трудно
Мы из жизни уходим прочь.

1960

* * *

В последний год,
Когда на Луне
Партбюро еще ни разу не собиралось,
И не открыли отдела кадров,
Черные тени ложились на снег
При неистраченной лунной погоде.
Все пока еще довольно недурно:
Еще на Луне не построены сортиры
И не разбросаны консервные банки.
В двадцать четвертом веке
Люди будут стоять на планете
Вплотную, как на площадке трамвая,
Природы не будет
И не будет любви.
Я — последний человек,
Потом уже роботы
С электрическими токами мозга,
Которыми управляют
Пошляки
С высшим монтерно-политическим образованием.

Мир асфальтовый, шинно-бензинный
Закрутился вкруг бензоколонки,
Мир удобный, бездумный и чинный
С океаном в мазутовой пленке,

Мир цифирный, единый, машинный
И, как детское горло, ломкий.
А я видел, самый последний,
То, чего не увидят потомки:

Где весною бродят олени
И цветы шелковисты и тонки —
Исчертили зимние тени
Синий снег, алмазный и звонкий.

1969

* * *

I

Еще мы мальчиками были,
Еще нас лычки занимали,
Еще махорку не курили,
Еще ремнями щеголяли

И, выходя на пост дежурный,
На небо взор мы не кидали
И тучи — ясности лазурной
Еще мы не предпочитали.

Еще устам впервой проклятья,
Еще ушам ужасны стоны,
Еще не умирали братья,
Еще не изменяли жены,

В смешных шинелях, не по росту,
В раструбах кирзовых, шагами
Еще не мерили погостов,
Что карты числят городами,

Еще нам дым не застил неба
И запах не вставал в пустыне
От догорающего хлеба,
Незабываемый отныне,

Друзей мучительные тени
Еще никем не призывались —
Одни средь новых поколений
Мы только в тридцать лет остались.

Полвеком жизни мы не сыты,
На ласку, как на смерть влекомы,
Ласкают, чьи мужья убиты,
Ласкает горький хмель знакомый.

Нам полста лет не надосели —
Полтысячи нам будет мало!
А жизнь давно прошла — в шинели;
Паек получен. Ночь настала.

II

Еще мы мальчиками были,
Еще нас лычки занимали,
Еще махорку не курили,
Еще как моль не умирали.

Но слухом чутким, духом чистым
Шаги судьбы нам слышны были,
И в сердце грозные горнисты
То замирали, то трубили.

Какой же ныне глухотою
Нам уши время заложило?
Над нашей каменной землею
Судьба лицо свое склонила,

Как в пленке из агар-агара
Все беспорядочно теснятся.
Недолго в тонкой пленке шара
Кишенье будет продолжаться.

А в сердце, мысли, ум и знанье
Ты детям передал напрасно:
Удел их — смертное страданье,
Одно лишь мужество прекрасно:

По Откровенью Иоанна,
Над нами ангел встал разящий,
И кровью станут океаны,
И сушу огнь пожрет палящий,

И средь дымящейся пустыни
Родится скудный род уродов —
Что нужно делать — делай ныне,
Наследник тысячи народов:

Когда замрет людей сознанье,
Их предназначенная мука,
Повсюду будет мирозданье
Чернеть без мысли и без звука.

* * *

Стало зло и добро — все сказка,
Добродетели и порок.
Только есть, что рана и ласка
И безбожно короткий срок.

Может, жизнь прожита и недаром,
Может, сам не заметив меж дел,
От кого-то отвел я удары
И кого-то где-то согрел.

И когда я под влажною кожей
Стану куклою восковой,
На меня немного похожей,
Но не думающей, не живой, —

Если жизнь на что-то годится,
Если чем-то была хороша, —
Прежде чем совсем испариться,
Воспарит моя к Богу душа.

К судии, сотворенному нами,
Чтобы он меня похвалил,
А за тех, что ушиб я локтями,
По-отцовски меня простил.

* * *

Все, что было, мы знаем,
Да теперь все не так,
За ушедшим трамваем
Я бегу как дурак.

Тяжек воздух для старца,
Непрозрачна вода.
Никуда не податься —
Ни туда, ни сюда.

Я в ненужных остатках,
Как мой письменный стол.
В моих стоптанных тапках
Мой потомок ушел.

1986

* * *

Острова есть над серым морем,
Черный лес, где ни троп, ни дому,
Где ушел неведомым створом
Чей-то след по безлюдью морскому.

Я срывал, опаленный югом,
Виноградные в дымке кисти,
Мне прибой за полярным кругом
Нес неведомой пальмы листья.

Пилось виски, гремели громы,
Загорались сполохов очи,
И по мне комендор незнакомый
Вел огонь ненастною ночью.

Я бродил по каменным тундрам,
Поднимался в волшебные замки,
Мелочь долларов лондонским утром
Наменявши в приличном банке.

Уходил за тибетским топазом —
Никому мой уход не в потерю:
Только Дэзи с завязанным глазом,
Топнув в палубу, скажет: верю!

1987

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I
Детство и юность

Глава первая (1915-1922) 7
Глава вторая (1922-1926) 25
Глава третья (1926-1928) 77
Глава четвертая (1928-1929) 137
Глава пятая (1929-1932) 172
Глава шестая (Коктебель) 232
Глава седьмая (1932-1933) 254
Глава восьмая (1933-1935) 297
Глава девятая (1935-1936) 345
Глава десятая (1936-1937) 390
Глава одиннадцатая (1937-1939) 403

Часть II
Молодость в гимнастерке

О времени 481
Глава первая (1939-1941) 493
Глава вторая (1941) 497
Глава третья (1941-1942) 516
Глава четвертая (1942-1944) 581
Глава пятая (1944-1945) 645
Последняя глава. (После войны) 730
Синодик 745
Воспоминания стихотворные 747

Игорь Михайлович Дьяконов

Книга воспоминаний

Оригинал-макет — *Андрей Курбанов*
Логотип серии — *Карен Авакян*

ЛР № 060898 от 19 марта 1992 г

Подписано к печати 9.12.95. Формат 70×100 1/16. Печать офсетная, 768 стр.
Заказ № 3550

О.О.О. «Европейский Дом»
191187, Санкт-Петербург, ул.Фурманова, д.3.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Санкт-Петербургской типографии № 1 РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д.12.